



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



БИБЛИОТЕКА „СЪВЕРА“



C. L. dal.



J. F. BEIG

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Д. Л. Мордовцева.

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
Д. Л. Мордовцева.

ЦАРЬ И ГЕТМАНЪ

ИСТОРИЧЕСКІЙ РОМАНЪ

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Томъ V.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе Н. О. Мертца
1901.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 1-го февраля 1901 г.

Типографія „В. С. Балашевъ и К'“. С.-Пб. Фонтанка, 95.

1.

Міръ Божій и жизнь человѣческая не были бы столь прекрасны и обаятельны и въ то же время столь мрачны и ужаса исполнены, если бы прекрасное и свѣтлое не чередовались съ мрачнымъ и ужаснымъ, и если бы мракъ не придавалъ цѣны свѣту, а счастье не красилось бы горемъ и отчаяніемъ, какъ молодость прожитая красится воспоминаніями передмогильнаго старчества, а сладость прошлаго жгучей, но обильной отравой саднить на сердцѣ въ соединеніи съ горечью настоящаго...

— О, мое золотое прошлое! о, мое молодое счастье! не кукуйте вы подъ моимъ окномъ горькою кукушкой... Единъ... два... три... четыре... пять... конца нѣту сему кукованью горькому... Все она кукуетъ, все кукуетъ, все кукуетъ, а мнѣ, горькой, все жить — маяться, горе мыкати горючее, по моей молодости поминъ творити, саванъ подымати — на свое лицо взирали... Не гляди на меня, Васенька, не смотри на меня, милъ сердечный другъ, на твою прежнюю Софьюшку... Вона какъ зайндевѣла коса моя дѣвичья, пенломъ-серебромъ присыпалася, посеребрилася моя головушка, словно риза похоронная, серебромъ прошитая... А мы думали съ тобой, ненаглядный соколъ мой Васенька, думали-гадали эту буйную дѣвичью головушку золотомъ прикрыть — златымъ вѣнцомъ царскимъ... Охъ, не кукуй, не кукуй ты, горькая кукушка!...

Такъ, стоя у келейнаго окна въ Новодѣвичьемъ монастырѣ, плакалась царевна Софья Алексѣевна, въ то утро, когда въ Москвѣ гремѣли сорок-сороковъ въ честь всешутѣйшаго собора.

Какой страшный контрастъ!

Тамъ — земля стонетъ отъ звона тысячъ мѣдныхъ глотокъ съ мѣдными языками, отъ неизобразимаго топота ногъ и говора людского. Здѣсь — только голуби воркуютъ, гнусливо переговариваясь о своихъ птичьихъ дѣлахъ и нуждахъ, шурша крыльями о каменные карнизы монастырскаго зданія, да воробы радуются невѣдомому благополучію, беззаботно чирикаютъ, повидимому не подозревая, что и у нихъ, какъ и у людей, бываютъ свои,

воробьиная горя и невзгоды... Изъ оконъ кельи виднѣется Москва съ кремлевскими стѣнами и золотыми маковками церквей, которыя и ей, Софѣ-царевнѣ, а нынѣ старицѣ Сусаннѣ, кричали когда-то въ сорокъ-сороковъ мѣдныхъ глотокъ... Влѣво зеленѣется лѣсъ, и въ этомъ лѣсу кукуетъ горькая кукушка...

— Единъ... два... три... четыре... Зачѣмъ я считаю, сколько мнѣ еще лѣтъ жить, сколько дней и ночей въ скорбехъ и печалехъ маяться?... О, житіе человѣческое, житіе плачевное... И она, чаю, Ксенія царевна Годунова, сидючи здѣсь, въ это окошечко со слезами сматривала, житіе свое царское вспоминаячи...

Ахъ и сплachtetца на Москвѣ царевна,
Борисова дочь Годунова:
Ино охте мнѣ горе горевати..

— Ахъ, и не кукуй... не кукуй же ты, пташечка!.. А онъ, Гришка Отрешевъ царь, сказываютъ, приходилъ сюда къ ней въ эту келью... Полюбилась она ему, чу, тутъ, Ксенія трубокоса... А мой-отъ братецъ лиходѣй не жалуетъ ко мнѣ... Охъ, лиходѣй!... Что-й-то у него нонѣ на Москвѣ затѣяно? Что звоны-то раззвонилися? Али шведа побилъ?...

Кто-то подѣзжаетъ въ дворцовой коляскѣ къ монастырю. Софья всматривается...

— Никакъ Алеша-царевичъ, племянничекъ?.. Спасибо ему—не забываетъ старой тетки...

А тетка Софья дѣйствительно стара стала—не такъ годы состарили, какъ думы... Глубокою рѣзбою вышли на ея бѣломъ, нѣкогда полномъ, молочномъ лицѣ государскія думы—эка рѣзба какая! Русые волосы, выбившіеся изъ-подъ чернаго монашескаго клобука, шибко серебрятся—живенный иней выступилъ на нихъ, холодъ, что душу пронизывалъ много лѣтъ, снѣгомъ палъ на голову... А глаза еще живые, молодые... А все не тѣ ужъ, что были, когда въ нихъ смотрѣлъ любовно милъ сердечный другъ, Васенька князь Голицынъ...

Стукъ коляски замеръ у крыльца кельи. Изъ коляски выскочилъ юноша лѣтъ тринадцати, высокенькій, стройненькій, съ худымъ, блѣднымъ лицомъ и кроткими, задумчивыми, робкими глазами. Вслѣдъ за нимъ вышелъ изъ коляски старикъ въ длиннополomъ кафтанѣ, словно въ подрясникѣ, опираясь на трость съ золотымъ набалдашникомъ въ родѣ поповскаго посоха.

— Ишь какъ ступеньки-то потерты... То-то время Божье—все сложетъ,—говорилъ старикъ, стуча тростью о ступеньку крыльца.

— А старъ монастырь?—спросилъ юноша.

— И-и старъ! Ступней-отъ много человѣческихъ перебывало тутъ—и святыхъ подошвы, и грѣшныя, и царскія, и смердыи терли камень сей...

Пріѣзжіе, взойдя по ступенькамъ на верхъ лѣстницы, постучались въ дверь кельи.

— Господи Иисусе Христе Сыне Божій, помилуй насъ!

— Аминь! — тихо отозвались изъ кельи.

Пришедшіе вошли и перекрестились истово на богатые иконы, украшавшія келью. Это были — тринадцатилѣтній царевичъ Алексѣй Петровичъ и наставникъ его, князь Никифоръ Вяземскій. При входѣ ихъ глаза старицы, царевны Софьи, блеснули тепломъ и радостью.

— Здравствуй, Алешенька-царевичъ! Здравствуй, князь Никифоръ! — звонко сказала Софья, подходя къ царевичу и глазами привѣтствуя Вяземскаго.

— Здравствуй, тетушка-царевна! — отвѣчалъ радостно юноша, цѣлуя руку тетки, которая при этомъ звякнула четками и поспѣшила обмотать ихъ вокругъ пухлой кисти бѣлой руки.

— Здравія и долгоденствія, царевна-матушка! — низко кланяясь, привѣтствовалъ Вяземскій и тоже поцѣловалъ руку Софьи и край ея черной мантии.

— Спасибо, что не забываете старуху заключенную...

— Сохрани Богъ забыть!.. Забвенна буди десница моя.

— Садитесь, дорогіе гости. Что у васъ на Москвѣ дѣется? Что звонъ такой?

— Батюшка гѣшится, — съ едва замѣтною улыбкою на толстыхъ губахъ отвѣчалъ царевичъ, не глядя на тетку.

— Скоморошествуетъ, матушка-царевна... Нарядилъ стараго грѣховодника, учителя своего недостойнаго, Микитку Зотова, въ скоморошескія ризы, посадилъ его въ ковшъ, что свинью въ купель, и носить до городу подъ звонъ святыхъ колоколовъ...

Софья, слушая это, задумчиво качала головой, перебирая четки.

— А Москва что? — спросила она.

— Москва бѣснуется, благо ей вина выкатили бочекъ, несчетное число...

— О! Москва всегда была глупа, что овца въ Петровки, — съ горечью сказала Софья, нервно перебирая четки. — А ты, Алеша, — обратилась она къ царевичу, — по батюшкову примѣру въ ковшъ посадишь учителя своего, князя Никифора, когда царемъ будешь?

— Нѣтъ, тетушка-царевна! — быстро, оживленно заговорилъ Алексѣй. — Я всѣ эти батюшкины новшества выведу — заведу опять все старое, по старинѣ, а новое изгоню...

— Нѣтъ, не говори этого, царевичъ, — серьезно, такъ же горячо замѣтила Софья, — не все старое хорошо, не все новое дурно... Наше старое — темень неученья, наше новое — свѣтъ ученья... Просвѣтись симъ свѣтомъ самъ и просвѣти онимъ Русскую землю... Я вотъ о себѣ скажу: мало-ли у меня было и сестеръ, и тетокъ, и бабокъ, и невѣстокъ — и никто изъ нашей царской семьи, ни единая женщина, не касалась трона превысочайшаго, не правила россійскою державою, не подписывалася „самодержицею всеа Русіи“, чего не бывало какъ и Русская земля стоитъ... А я все сіе извѣдала — я была самодержицею всеа Русіи... А чeso ради?

— Мудрости твоея ради, матушка-царевна,—отвѣчалъ Вяземскій.

— Не говори этого, князь Никифоръ,—возразила Софья:—были и умнѣ меня жены и дѣвицы, а не правили царствомъ, а я правила...

Она остановилась, какъ бы забывъ, о чемъ говорила и вопросительно глядѣла то на царевича, то на Вяземскаго, какъ бы спрашивая послѣдняго: „почему же я-то одна царствовала?“

— По благодати Божіей,—рутинно отвѣчалъ Вяземскій, не зная что сказать.

— Не говори... не говори такъ, князь... У благодати Божьей глаза лучше нашихъ...

Царевичъ, до того времени молчавшій, послѣ замѣчанія о „новшествахъ батюшки“, подошелъ къ теткѣ и, вставъ на колѣни у ея кресла, началъ ласкать ея руку съ четками.

— А я знаю, тетя,—сказалъ онъ нѣжно.

— Что ты знаешь, Алешенька? — спросила Софья, глядя голову царевича.

— Почему ты была самодержицею всеа Русіи...

— А почему, дружокъ?

— Мнѣ батюшка сказывалъ...

— Ну, ну, что онъ тебѣ сказывалъ?

— Осерчалъ онъ на меня однова, что я урка не выучилъ, и говорить: „тетка-де твоя Софья хорошо урки учила, и для того у тебя-де, дружка, говорить, чуть царство не отняла“...

Софья горько улыбнулась... Рука ея дрожала, глядя продолговатую голову племянника... „Не для царскаго вѣнца эта голова добрая...“

— А ты и вправду думалъ, что я у тебя царство бы отняла? — съ какою-то судорогою въ горлѣ спросила она, не глядя на племянника.

— Нѣтъ, тетя... Да и на что оно мнѣ, царство-то?.. Заслужить бы только царство небесное...

— Не говори этого, другъ мой,—по обыкновенію возразила Софья.— Учись, чтобы быть мудрымъ царемъ.

— И батюшка говоритъ это... „Ученье, говорить, нищему вѣнецъ дасть, нагого порфиною одѣваетъ, а неученье изъ-подъ царя престолъ похищаетъ, порфиру рубищемъ замѣняетъ... не у него-де, такъ у дѣтей, внуковъ и правнуковъ его...“

— Правда, правда, другъ мой... Я хорошо учила урки, когда наставлялъ меня въ книжной мудрости покойный учитель мой—царство ему небесное!—Симеонъ Полоцкій Петровскій-Ситіановичъ... Какъ онъ любилъ меня и какъ я его, свѣта моего, любила!.. Онъ иначе не называлъ меня, какъ—„бѣлокурая моя царевна Премудрость...“

— Софья—премудрость Божія,—важно замѣтилъ Вяземскій.

— „Ну, что,—говорить,—бѣлокуренькая Премудрость моя, урки выучила, а може переучила?“—А я, бывало, всегда переучивала; онъ, бывало, задастъ мнѣ „до сихъ“, а я, жадная такая, забѣгу дальше—все впередъ,

впередъ, безъ оглядки... И въ келью къ нему, бывало, отай бѣгивала: шмыгну переходами, да вонъ изъ терема... „Ахъ, срамъ, говорятъ, какой! дѣвка царевна подъ солнышкомъ ходить, въ келью къ монаху бѣгаетъ“... А мнѣ, бывало, и нуждушки мало... Приберусь монашкою да къ нему шмыгъ—всѣ у него книги перерою, свитки, харатѣя... Увидала разъ я у него писанье новое—въ черни еще, вижу: „Вѣнецъ вѣры“, и прошу его дабы далъ прочести... А онъ и напиши мнѣ вириши таковы:

О, благороднѣйшая царевна Софія,
Ищещи премудрости выну небесныя,
По имени твоему жизнь твою ведещи,
Мудрая глаголеши, мудрая дѣеши.
Ты церковныя книги обыкла читати
И въ отеческихъ свитцѣхъ мудрости искати
Увидѣвши же, яко и книга писана новая,
Яже Вѣнецъ вѣры реченная,
Возжелала ту еси сама созерцати
И еще въ черни бывшу прилежно читати,
И, познавши полезну въ духовности быти,
Велѣла еси чисто ону устроити...

Глаза ея горѣли молодымъ огнемъ, когда она декламировала это. Черный клубокъ ея сдвинулся нѣсколько на бокъ, открывъ новыя пряди бѣлокъ, посеребренныхъ временемъ и думами волость. Царевичъ смотрѣлъ на нее съ удивленіемъ, Вяземскій—съ грустью...

— Я хотѣла пролить свѣтъ ученія на Русскую землю, — продолжала она словно-бы въ какой-то забывчивости, не глядя ни на кого. — И маленскій Петруша сталъ учиться изъ зависти ко мнѣ... А тамъ и дальше—все я да я! Уже какъ и царемъ онъ сталъ, не его просили о томъ, чтобы Русскую землю просвѣтить свѣтомъ ученія, а меня просили... Вонъ и чудовскій архидіаконъ Каріонъ Истоминъ писалъ мнѣ тогда:

Умоли убо самодержцевъ сущихъ,
Да государи они то изволятъ,
Обще Господа о томъ да помолятъ,
Наукамъ велятъ быти совершеннымъ
И учителемъ людямъ извѣщеннымъ...

А теперь на—поди! все онъ да онъ—а я ни при чемъ... У него на головѣ вѣнецъ, а у меня...

И она судорожно дотронулась рукой до чернаго клубка... И царевичъ, и Вяземскій молчали—все разомъ какъ-бы замерло кругомъ; какъ замерла та жизнь свободы, власти, борьбы и свѣта впереди, которая вспала на умъ бѣдной заключенницѣ...

Только слышалось опять, какъ за окномъ горько, однообразно-горько и надоѣдливо-горько куковала кукушка...

— Единъ... два... три... четыре, — безсознательно, опустивъ голову, повторяла Софья.—Конца нѣту кукованьямъ—нѣту и мнѣ конца...

нець; за чужую голову ты носишь его... и Господь наградить тебя вѣнцомъ царскимъ... А теперь мнѣ жаль тебя: я хочу дать тебѣ утѣшеніе... Хочешь видѣться съ матерью?

— Хочу,—со страхомъ отвѣчалъ юноша.

— И соблюдешь тайну отъ батюшки?

— Соблюдаю—видитъ Богъ.

Софья подошла къ небольшому, покрытому чернымъ бархатомъ съ золотомъ аналою и открыла лежавшую на немъ, рядомъ съ золотымъ крестомъ, книгу.

— Клянись,—сказала она.

Царевичъ не зналъ, что отвѣчать. Онъ глядѣлъ то на строгое лицо тетки, то на недоумѣвающего учителя своего.

— Повторяй,—сказала Софья.—Сложи персты вотъ такъ и повторяй за мною клятву.

Она показала—царевичъ повиновался.

— Азъ, рабъ Божій, царевичъ Алексій, клянусь всемогущимъ, въ Троицѣ славимымъ Богомъ предъ святымъ Его евангеліемъ и животворящимъ крестомъ Христовымъ...

— Азъ, рабъ Божій, царевичъ Алексій,—повторялъ юноша дрожащимъ отъ страха голосомъ.

— Никому же не повѣдати тайны сея...

— Никому же не повѣдати тайны сея,—трепетно повторялась клятва.

— Аще же я о семъ клянусь ложно, то да буду отлученъ отъ святыи единосущныи и нераздѣльныи Троицы, и въ семъ вѣцѣ и въ будущемъ не иму прощенія...

— Не иму прощенія...

Голосъ Софьи все мужалъ и становился грознымъ, пугающимъ. Голосъ царевича съ трудомъ выходилъ изъ горла, перехватываемаго судорогами.

— Да трясусь яко древній Каннъ и разверзнувшися земля да пожретъ мя яко Дофона и Авирона...

— ... пожретъ мя яко Дофона и Авирона...

— И да воспріиму проказу Гізіеву, удушеніе Іудино и смерть Ананіи и жены его Салфиры...

— ... удушеніе... смерть Ананіи...

Царевичъ повторялъ какимъ-то удушливымъ, обморочнымъ голосомъ, весь дрожа и шатаясь...

— И часть моя будетъ съ проклятыми діаволы,—глухо выкрикивала Софья.

Царевичъ не кончилъ клятвы... Онъ зашатался и упалъ на полъ...

II.

На другой день послѣ всеутѣйшаго собора царь уже скакалъ на сѣверъ, къ морю, къ дорогому, недавно только приобрѣтенному клочку земли, который непосредственно соприкасался съ этой, неоцѣнимой ника-

кими сокровищами міра стихіей — съ горькою, какъ горе людское, и соленою, какъ ихъ слезы, морскою водою, открывавшею ему путь во всѣ концы вселенной. Въ Москвѣ онъ чувствовалъ себя неспокойно, тоскливо. Въ Москвѣ ничто не развлекало его, даже шумный всешутѣйшій соборъ, на которомъ мысль его уносилась куда-то далеко-далеко — или къ невозвратной молодости, которую словно бы украли у него съ шестнадцати лѣтъ вмѣстѣ съ грезами юности, а взамѣнъ ихъ дали лишь корону и тяжелую порфиру, или къ невѣдомому, но полному славы и величія будущему. Ему все казалось, что и этотъ дорогой клочокъ земли, этотъ лучшій алмазъ въ его коронѣ украдутъ такъ же, какъ украли молодость съ ея золотыми грезами, и оставятъ его опять съ одной Москвой, этой постылой старухой, и улыбки, и ласки, и привѣтствія которой ему опротивѣли до тошноты, какъ ласки постылой, заточенной имъ въ монастырь Авдотьи-царицы.

Для скорости онъ взялъ съ собою только Меншикова да Павлушу Ягужинскаго. Дорога отъ Москвы-рѣки—этой грязной клоаки, въ которой не только ему, гиганту, но и воробью по колѣни—дорога отъ Москвы до Невы многоводной казалась ему нескончаемою: На всѣхъ ямахъ ставили подъ царя лучшихъ лошадей — чертей-коней; на козлы садились ямщики, которые могли перегоняться съ вѣтромъ и птицею; а царь все торопиль—коней до загона, ямщиковъ—до одури...

— Когда жъ это люди дойдутъ до того, что летать будутъ?—говорилъ онъ какъ-бы про себя, глядя въ синюю даль.

— Дойдутъ, государь, скоро,—отвѣчалъ Меншиковъ, зная, что отвѣчать надо было во что бы то ни стало, какъ-бы ни былъ замысловатъ вопросъ.

— А когда?—нетерпѣливо добивался царь.

— Когда больше будетъ такихъ царей, какъ ты.

Царь улыбнулся. Онъ зналъ грубую, топорную, подчасъ ловкую находчивость своего Алексашки.

— Не царей... Однихъ царей для сего мало, — сказалъ онъ раздумчиво:—а когда всѣ будутъ работать какъ ихъ царь... Вонъ мозоли...

И онъ показалъ широчайшую, массивную ладонь, загрубѣлую, покрытую мозолями...

— Это не мозоли, государь, а камни многоцѣнные, — тихо сказалъ Меншиковъ.

Павлуша Ягужинскій, сидѣвшій въ томъ же экипажѣ, повидимому, не слушалъ, что говорилъ царь съ своимъ любимцемъ. Но это только такъ казалось: у Павлуши былъ слишкомъ музыкальный слухъ, который схватывалъ не только слова царя, но и нервную музыку его голоса, и въ то же время слышалъ свистъ встрѣчнаго воздуха... Только глаза его задумчиво бродили по отдаленнымъ предметамъ, видѣвшимся на горизонтѣ, а мысль по временамъ забѣгала далеко на югъ, въ садъ Диканьки, гдѣ ему предстало видѣніе въ цвѣтахъ...

— А ты какъ думаешь, Павелъ, будутъ люди летать?—обратился къ нему царь.

— Будутъ, государь,—отвѣчалъ юноша, скользнувъ своими мягкими глазами по стальнымъ глазамъ царя.

— Почему ты сіе знаешь?

— Потому, государь, что люди умнѣе птицъ.

— Хвалю—умно...

Царь несказанно радовался, снова увидавъ Неву и возникающій городъ—любимое дѣтище его сердца. Словно изъ-подъ земли выросли крѣпостныя стѣны. Гранитныя плиты точно сами собой громоздились одна на другую... Нѣтъ—не сами собой... Вонъ весь невскій берегъ усыпанъ человѣческими тѣлами, прикрытыми сѣрымъ, безцвѣтнымъ, безобразнымъ лохмотьемъ... То рыжая, вѣкогда ничѣмъ, кромѣ корявыхъ пальцевъ, нечесанная борода торчитъ къ голубому, хотя сѣверному, но теперь душному, морящему небу; то печется на жаркомъ солнцѣ, вся въ пыли отъ щепня, косматая голова, которая всегдѣ разъ, только въ купели, была до-чиста вымыта, а потомъ было некогда мыть ее; то глядитъ на это жаркое солнце голая колѣнка сквозь продранные порты; то истрепавшійся лапоть, столько же чистый, какъ прибрежная грязь, отдыхаетъ послѣ каторжной гонки съ берега на крѣпостную стѣну, со стѣны въ сырую канаву... Эта сѣрая куча тѣлъ человѣческихъ, зипуновъ, лаптей, тачекъ, лопатъ, рогожъ, изодранныхъ рубахъ и портовъ—это титаны, воздвигающіе новую столицу своему великому царству, титаны, которые, похлебавъ чистой невской воды съ нечистыми сухарями, теперь отдыхаютъ въ жаркій полдень подъ стѣнами возводимой ими крѣпости...

А немного выше возводимой гранитной твердыни уже высится небольшая, на-скоро сколоченная деревянная крѣпостца съ шестью бастіонами...

— Это первое логовище медвѣди, — весело сказалъ царь, стоя на одномъ изъ бастіоновъ.

— Россійскій Капитолій, государь,—подсказалъ находчивый Павлуша, который прилежно читалъ исторію.

— Такъ, такъ, Павелъ, и гуси въ немъ будутъ?

— Не знаю, государь.

— Я сюда изъ Москвы навезу гусей—въ бородахъ: пускай не спятъ по ночамъ, какъ тѣ гуси, что Римъ спасли, да стерегутъ мой Капитолій... А кто жъ у насъ Манліемъ будетъ—ты, Данилычъ?

Меншиковъ не нашелся, что отвѣчать, какъ ни былъ находчивъ: онъ не зналъ исторіи.

— Чѣмъ государь изволить указать быть, тѣмъ и буду, — уклончиво сказалъ онъ.

— А ты знаешь, кто былъ Манлій Капитолійскій?—спросилъ царь.

— Не знаю, государь.

— Ну, да тебѣ не до ученья было... Ты у меня и безъ того молодецъ... Прежде сего ты зналъ токмо „пирогы-горячи“, а нынѣ мы съ тобой

„законы горяченьки“ печемъ... Я назначаю тебя губернаторомъ сей новой моей столицы...

Меншиковъ сталъ на колѣни и поцѣловалъ мозолистую руку царя.

День былъ ясный, жаркій. Широкая лента голубой воды катилась подъ ногами царя, у стѣнъ бастіона. Видно было ровное Заневье съ зелеными лугами, окаймленными темнымъ боромъ, — Заневье — со стороны крѣпости, гдѣ нынѣ Адмиралтейская сторона. Все это было пустынно, мрачно. Острова также представляли собою глухую лѣсную пустыню... Задумчиво глядѣлъ царь на открывавшіеся передъ нимъ виды...

— Россія будетъ вспоминать Петра вотъ на этомъ самомъ мѣстѣ... Коли Богъ благословитъ мои начинанія, я сюда перенесу престолъ царей россійскихъ: и будетъ шумъ жизни и говоръ людской, идѣ же не бѣ. Храмы и дворцы воздвигнутся, идѣ же мохъ одинъ зеленѣть... Будетъ на семъ мѣстѣ новый Римъ — и память о Петрѣ пронесется изъ рода въ родъ.

Петръ говорилъ это съ глубокой задумчивостью, потому что то, что говорилъ онъ, было его завѣтнымъ вѣрованіемъ, мечтою, наполнявшею всю его жизнь. Да и какъ могло быть иначе? Изъ-за чего же онъ работалъ какъ каторжный, физически, мускульно и умственно работалъ, не давая себѣ ни на день, ни на часъ роздыху, работалъ словно водовозная лошадь въ пожаръ, когда имѣлъ всѣ способы наслаждаться жизнью, развлекаться соколиною охотою по примѣру блаженнаго памяти родителя своего, тишайшаго и благочестивѣйшаго царя Алексѣя Михайловича всеа Русіи? Изъ-за чего онъ не досыпалъ ночей, не доѣдалъ лакомаго царскаго куска, не зналъ покою ни днемъ, ни ночью? Ради чего онъ грубилъ свои державныя руки, натруживая ихъ до опухолей, до мужицкихъ мозолей? Конечно, не ради притворства. Да и передъ кѣмъ, да и для чего ему было притворяться? Не передъ кѣмъ, не для чего... Можно не соглашаться съ историками въ оцѣнкѣ этой необыкновенной между людьми личности — за и противъ; можно оспаривать пользы, принесенныя имъ странѣ; можно не одобрять приемы его дѣятельности; можно идти еще дальше, вслѣдъ за славянофилами... Но онъ работалъ... конечно, во имя своихъ идеаловъ...

— Я перенесу сюда мощи предка моего, благовѣрнаго князя Александра Невскаго... Кости его возрадуются здѣсь, видя, что слѣды славной викторіи, одержанной имъ четыре съ половиною вѣка назадъ, не забыты его потомками...

Въ это время изъ Малой Невы выплыла небольшая рыбацкая лодка и, видимо, приближалась къ бастіону, на которомъ стоялъ царь. Виднѣлась только сторбленная спина работавшаго на веслахъ старика и обнаженная, бѣлая какъ лунъ голова.

Лодка причалила къ берегу, а изъ нея вышелъ старикъ и, приблизившись къ валу, палъ ницъ на землю.

— Это, кажись, старый знакомый, — сказалъ царь, всматриваясь въ старика.

— Я не узнаю его, государь, — отвѣчалъ Меншиковъ.

— Рыбакъ, новгородецъ, — подсказалъ Павлуша Ягужинскій, у кото-
раго была изумительная память.

— Онъ-онъ, — подтвердилъ царь: — Двоекуровъ, что проходъ намъ въ
Мыю показалъ и первой нашей морской викторіи своимъ указаніемъ спо-
собствовалъ... Что онъ?

Старикъ все лежалъ на землѣ. Царь вмѣстѣ со своими спутниками
сходить съ бастіона и приближается къ распростертому на землѣ старцу.

— Встань, старичокъ, — говоритъ царь ласково. — Что тебѣ нужно?

Старикъ поднимаетъ сѣдую голову отъ земли и остается на колѣняхъ.
Старые глаза свѣтятся радостью.

— Здорово, Двоекуровъ!

— Буди здоровъ, царь-осударь, на многи лѣта! — дребезжитъ разбитый
старческий голосъ.

— Что скажешь?

— Сижкомъ кланяюсь твоему царскому величеству.

— Спасибо, дѣдушка... Чѣмъ ты сказалъ?

— Сижкомъ, царь-осударь... Сига пымалъ тебѣ во здравіе...

Но вдругъ лодка, стоявшая у берега, поплыла сама собой: ее что-то
тянуло въ глубь рѣки. Старикъ, всплеснувъ руками, отчаянно заметался.

— Охъ, Владычица-троеручица! охъ, ушелъ разбойникъ! ой, батюшки!

И старикъ бросился въ воду, стараясь догнать лодку... Лодка удаля-
лась все дальше и дальше... Старикъ отчаянно бился въ водѣ, посипѣшая
за лодкой: сѣдая голова нѣсколько разъ окуналась въ воду и снова по-
казывалась на поверхности... Моментъ былъ рѣшительный — старикъ тонуть.

— Онъ тонетъ! — крикнулъ царь и бросился къ воду; Меншиковъ
за нимъ.

— Государь! что ты дѣлаешь? Карауль!

Въ этотъ моментъ откуда ни возьмись яликъ съ двумя матросами, ко-
торые, взмахнувъ веслами, разомъ очутились около утопающаго старика.
Одинъ изъ нихъ, схвативъ показавшіеся на поверхности рѣки сѣдые во-
лосы, приподнялъ утопающаго, не давая ему снова окунуться въ рѣку.
Другой гребъ къ берегу. Старикъ, немного опомнившись, горестно за-
стоналъ:

— Охъ, Владычица! охъ, троеручица!.. сигъ ушелъ... сигъ ушелъ съ
лодкой...

Старика вытащили на берегъ, но онъ опять лѣзъ въ воду, повторяя:
„Сигъ ушелъ... лодку увелъ... охъ, батюшки!..“

Царь, сообразивъ въ чемъ дѣло, приказалъ одному матросу побережъ
старика, а другому велѣлъ догонять рыбацкую лодку, уплывшую по волѣ
сига-разбойника... Старикъ продолжалъ метаться и стонать жалобно.

Но лодку скоро привели и разбойника-сига вытащили изъ воды. Это
былъ дѣйствительно разбойникъ — сигъ необыкновенной величины: будучи
привязанъ за жабры къ лодкѣ, онъ силою своею увлекъ ее въ глубь
рѣки и чуть не утопилъ несчастнаго старика, какъ бы въ отмщеніе за

то, что тотъ поймалъ его въ свои сѣти и привелъ къ царю, кланяясь своей добычей.

Петръ былъ радъ, что все кончилось благополучно, и любовался великаномъ-сигомъ, котораго съ трудомъ удерживали два матроса. Спасенный отъ смерти старикъ, любясь на великана-царя и почти столько же на великана-сига, плакалъ радостными, старчески-мелкими слезами, поминутно крестясь и шамкая беззубымъ ртомъ.

— Спасибо, спасибо, дѣдушка!—благодарилъ царь.—Вотъ такъ рыба-богатырь!.. Да онъ больше моего Павлуши...

Павлуша Ягужинскій обижается этимъ сравненіемъ...

— Нѣтъ, государь, я больше...

— Ну-ну, добро... Ай да богатырь!.. Да это что твой шведскій корветъ, что мы съ тобой, дѣдушка, взяли...

— Точно, точно, царь-осударь.

— Да какъ ты его осилилъ, старикъ?

— Оманомъ, оманомъ, царь-осударь, осилилъ подлеца... Сколько сѣтей у меня порвалъ—и-и!..

— Ну, знатную викторію одержалъ ты надъ шведомъ-сигомъ, старикъ. Похваляю.

Старикъ, радостно осклабясь, качалъ головой и разводилъ руками.

— А еще хотѣлъ у меня купить ево, голубчика... Нѣтъ, думаю, повезу царю-батюшкѣ...

— Кто хотѣлъ купить?—спросилъ царь.

— Онъ, швединъ, осударь...

— Какой швединъ? что ты говоришь?—встрефенулся царь.

— Швединъ, царь-осударь... Онъ, значить бы, съ кораблемъ пришелъ, а корабль-отъ у Котлина острова оставилъ. Чухонцы ево ко мнѣ на тоню лодкой привезли... Чухна и говорить: „продай ему рыбу-то, а не продашь—онъ даромъ возьметъ“... А онъ, швединъ, и говорить: „я-де, чу, не московская собака, чтобъ чужое даромъ брать“... Такъ меня это, осударь-батюшка, словно рогатиной подъ сердце ударило... Я и говорю: „русскіе-де, говорю, православные люди, а не собаки, и сига-де вамъ моего не видать“... Такъ только смѣются...

— Гдѣ-жъ ты ихъ видалъ?—тревожно спрашивалъ царь.

— У лукоморья у самого, царь-осударь, тамъ—за островомъ.

— А корабль ихъ гдѣ?

— У Котлина острова стоитъ... Чухна сказывала: шанецъ, стало быть, острогъ на Котлинѣ рубить хотять...

Царь былъ незнаваемъ. За минуту ровный, ясный, спокойный, взглядъ его теперь горѣлъ лихорадочнымъ огнемъ. Лицо его поминутно передергивалось... Еще въ Москвѣ, во время празднествъ и всепугѣйшаго собора, его мучила неотвязчивая мысль объ этомъ проклятомъ Котлинѣ: этотъ маленький огрудокъ въ лукоморѣ, этотъ прыщикъ на поверхности взморья можетъ превратиться въ злокачественный вередъ—и гдѣ же?—у самаго

сердца... Сердце!... у него нѣтъ своего сердца... вмѣсто сердца у него слава Россіи... Когда онъ прощался съ круглоглазой, курносенькой Мартой и слышалъ, какъ колотится у него подъ мозолистой рукой ея маленькое, робкое сердце, онъ и тогда думалъ объ этомъ Котлинѣ...

„А они хотятъ тамъ шандъ возводить... новый Ніеншандъ... нарывъ у самого моего сердца... Такъ не бывать сему!“ клокотало въ душѣ встревоженного царя.

Въ ту же ночь Петръ, въ сопровожденіи Меншикова, Павлуши Ягужинскаго, стараго рыбака Двоекурова и дюжины матросовъ, пробрался на небольшомъ катерѣ къ самому Котлину и, пользуясь начинавшимися уже сумерками, вышелъ на островъ. Шведскаго корабля тамъ уже не было, потому что онъ, изслѣдовавъ бѣгло берега острова, вышелъ въ открытое море, воспользовавшись первымъ благоприятнымъ вѣтромъ.

На взморьѣ старикъ Двоекуровъ не утерпѣлъ, чтобы не показать то мѣсто гдѣ онъ поймалъ сига-великана.

— Отродясь, батюшка-осударь, такого богатыря не видывалъ, — умилялся старый рыбакъ.

— Это онъ изъ моря пришелъ — поглядѣть на богатыря-царя, — пояснилъ Меншиковъ.

— Точно-точно, батюшка бояринъ.

А Петръ, сидя у руля и всматриваясь въ туманныя очертанія острова и берега Финскаго залива съ его темнозелеными возвышенностями и крутыми взлобьями, мечталъ: „тутъ у меня будетъ крѣпость „Парадизшлюсъ“ — ключъ къ раю Россійскому... или „Кроншлюсъ“ — ключъ къ коронѣ Россійской... или „Кронштадтъ“... А тамъ я возведу „Петергофъ“ — мою резиденцію, а тамъ — „Алексисгофъ“, а около „Петергофа“ — „Мартенгофъ“... Какіе добрые, нѣжные глаза... Нѣтъ, она не будетъ называться Мартой — непригоже... А лучше бы Клеопатра... нѣтъ, я не Антоній — не промѣняю царства на бабы глаза...“

Море положительно вдохновляло его. Тихій прибой волнъ и плескъ воды у крутыхъ реберъ плавно скользящаго по заливу катера казались ему музыкой. На морѣ онъ забывалъ и дѣтей, и семью... Да и какая у него семья! — Ни онъ вдовецъ, ни онъ женатый... Сынъ — выродокъ какой-то... моря не любить, войны не любить... Ему бы не царемъ быть, а черноризцемъ...

И опять охватываютъ его грезы, величавыя думы...

„Тутъ упрусь плечами, яко Атлантъ мифологійный — и на плечахъ моихъ будетъ полміра, а ногами упрусь въ берега Дуная, гдѣ сидѣлъ прадедъ мой, великій князь Святославъ... Онъ плечами доставалъ Кіева и Новгорода, а я — на Невѣ крикну, а на Дунаѣ мой голосъ услышатъ... Карла я вытолкаю за море, къ варягамъ, правую и лѣвую Малороссію солью воедино... Мазепа и Палій будутъ мои губернаторами... А тамъ — что Богу угодно будетъ“...

И неутомная мысль его переносится въ Воронежъ, къ Дону, гдѣ

строятся корабли для войны съ турками... Вспоминается изможденное, кроткое, святое лицо Митрофана, епископа Воронежскаго, котораго царь такъ полюбилъ за умъ свѣтлый, воспримчивый, за обаятельную чистоту сердца и за положительную святость, какой онъ еще не видалъ на землѣ...

„Онъ благословилъ меня на агаринъ... святой старикъ!..

„Се азъ на тя, Гогъ, и на князя Росъ, Мосоха и Оувеля и обращу тя окрестъ, и вложу узду въ челюсти твои“... Я не забуду этихъ словъ его изъ пророка Іезекииля... Недаромъ народъ боготворить его, при жизни молебны ему служить“...

Катеръ присталъ къ берегу острова Котлина. Островъ небольшой, низменный, съ небольшими излобинами, кое-гдѣ покрытый лѣсомъ, кое-гдѣ осокой. Окружавшее его море было тихо, и только небольшая зыбъ нагоняла на берегъ едва замѣтныя, сонныя волны. Уже совсѣмъ разсвѣло, когда пловцы вышли на берегъ, и проголодавшіеся за ночь птицы уже рѣяли надъ водою, ища себѣ пищи. Выкатывавшееся изъ-за горизонта солнце золотило уже верхушки финляндскаго побережья... То была шведская земля...

Петръ, стоя на возвышеніи, задумчиво глядѣлъ на море, на вырѣзавшіеся вдаль, вправо и влѣво, возвышенные берега... Виднѣлось даже что-то похожее на устье Невы... Петру грезилось на-яву, что онъ видитъ уже тамъ, на мѣстѣ заложеннаго имъ городка, золотыя маковки церквей, упирающіеся въ небо кресты, какой-то гигантскій, необычный, какъ безконечная свайка, иглообразный шпигъ съ ангеломъ и крестомъ на золотомъ яблокѣ... Безчисленныя, словно лѣсъ, черныя мачты кораблей съ флагами изъ синихъ, бѣлыхъ и красныхъ широкихъ полосъ...

— Ишь, островокъ махонькой, словно бы проранъ въ иглѣ, — шамкалъ старый рыбакъ, топчась на мѣстѣ и благоговѣнно взглядывая на царя.

— Что говоришь, старикъ? — спрашиваетъ царь, очнувшись отъ грезъ.

— Островочекъ, говорю, осударь, махонькой — проранъ, чу, въ иглѣ...

— Проранъ?

— Проранъ, царь-осударь, куда нитку вдѣваютъ...

— Да, правда твоя, старикъ: это — точно, игольное ушко...

— Игольное, осударь, игольное...

— И кто войдетъ въ сіе игольное ушко — вельбудъ-ли шведскій, яли — тотъ и будетъ въ царствіи небесномъ, въ „парадизѣ“ сирѣчь...

— Точно-точно, осударь, — шамкаетъ старикъ, не понимая словъ царя и его иносказаній.

А Меншиковъ и Павлуша Ягужинскій хорошо понимаютъ его. Котлинъ — это дѣйствительно игольныя уши къ Петербургу, къ новой столицѣ русской...

— Вдѣнь же, государь, нитку въ ушко — благо ушко свободно, — иносказательно говоритъ Меншиковъ.

— Нынѣ же нитка будетъ вдѣта, — отвѣчаетъ царь.

Тутъ же на возвышеніи, откуда онъ осматривалъ море и его окрестности,

царь велитъ матросамъ оголить отъ вѣтвей росшую одиноко, стройную сосенку. Когда сосенка была очищена, Петръ велитъ снять съ катера бѣло-красно-синій флагъ и водружаетъ его на верхушкѣ сосенки. Потомъ на стволѣ дерева собственноручно вырѣзываетъ матросскимъ ножомъ:

На сей горсти земли, данной мнѣ Богомъ, созижду охрану царства моего. Anno 1703. Piter.

Оглянувшись, царь увидѣлъ, что Павлуша Ягужинскій сидитъ у подножія холма, глубоко опустивъ свою черную голову.

— Павлуша!—окликаетъ его царь.

Юноша съ трудомъ поднимаетъ голову и смотритъ помутившимися глазами.

— Ты спишь, Павелъ?

— Нѣту, государь,—отвѣчаетъ слабый, болѣзненный голосъ.

— Такъ что съ тобой?

Юноша силится встать на ноги, приподнимается и снова въ изнеможеніи опускается на землю. Съ безпокойствомъ приближаются къ нему царь и Меншиковъ. Голова Павлуши падаетъ на сырой песокъ.

— Павелъ... Павлуша...—Царь съ участіемъ нагибается къ нему.

— Онъ занемогъ, государь... Весь въ огнѣ, — тихо говоритъ Меншиковъ, дотрогиваясь до головы юноши.

— Ахъ, Господи!.. печаль какая!

И откуда у суроваго, желѣзнаго Петра столько ласки, столько нѣжности въ голосѣ, привыкшемъ повелѣвать, посылать на смерть, подъ пули, на плаху! Откуда!.. Да вѣдь ему, которому принадлежало полъ-Европы, некого было любить, некого жалѣть, не надъ кѣмъ склониться съ нѣжностью и плакать теплыми слезами... Не надъ кѣмъ!.. Сынь... Э! да Богъ съ нимъ... не такой онъ... А въ этомъ мальчикѣ десять... двадцать такихъ сидитъ, какъ сынь... Золотая голова... золотой глазъ...

Царь опускается на колѣни, нѣжно и съ боязнью глядитъ на молодое лицо, упавшее на песокъ...

— Павлуша... дружокъ... Господь надъ тобой...

Желѣзныя руки бережно приподымаютъ юношу... Какъ маленькаго ребенка великанъ прижимаетъ его къ груди... Горячая голова Павлуши валится съ плечъ...

— Господи!.. Скорѣ бы въ городъ... лѣкаря... Катерь живѣ!

И царь несетъ своего любимца къ катеру, быстро входитъ въ него, велитъ застлатъ полъ лодки плащами, парусомъ, кафтанами и бережно кладетъ на нихъ больного...

Катерь быстро скользитъ по гладкой поверхности моря. Царь, сидя у руля, не спускаетъ глазъ съ больного юноши, который мечется въ жару...

— Мазена гетманъ... змѣи въ глазахъ... Цвѣты... цвѣты—море цвѣтовъ... Кочубей... Мотри... въ волосахъ цвѣты... а тамъ змѣи...

— Бредитъ Малороссіей...

Да, юноша не вынесъ утомленія, безсонныхъ ночей, гонки изъ конца

въ конецъ Русской земли, массы подавляющихъ впечатлѣній, крови... онъ уже видѣлъ кровь сраженій... Что выносили желѣзные тѣла и желѣзныя души царя и Меншикова, того не вынесъ хрупкій организмъ и незакалившійся еще духъ мальчика, будущаго желѣзнаго человѣка...

III.

Поразительное, невиданное зрѣлище представляла Русская земля въ годъ заложения Петербурга и Кронштадта—1703 годъ. Если бы существовало на землѣ всевидящее око и всеслышающее ухо, то увидало бы оно и услышало то, что „не лѣтъ есть человѣку глаголати“.

Непрестанный стукъ топоровъ и визжанье пилъ оглашаютъ всю Русскую землю отъ Невы до Дуная почти, до Дона и до дальнихъ изгибовъ Волги. Это Русская земля строить корабли. Все царство раздѣлено на „кумпанства“ для корабельнаго строенія. Вотчинники свѣтскіе и духовные, помѣщики и гостинные люди, люди торговые и мелкопомѣстные слагаются въ „кумпанства“ и строятъ по одному кораблю: свѣтскіе—съ десяти тысячъ крестьянскихъ дворовъ, духовные—съ восьми тысячъ, а гости и торговые люди строятъ сами собой двѣнадцать кораблей...

И вотъ, стучать топоры и визжать пилы по всему царству, пугая своимъ гамомъ и птиць, и звѣрей, и людей, которые разлетаются по лѣсамъ и полямъ, прячутся въ норы, трущобы и язвины, убѣгаютъ въ степи, скиты, въ пустыни и за рубежъ Русской земли... Стучать топоры, сколачивая неуклюжія „баркалоны“—громаднѣйшія сорока и пятидесятипушечныя суда во сто и болѣе футовъ длиною... Сколачиваются и „барбарскія“ суда, и „бомбардирскія“, и „галеры“—еще громаднѣе первыхъ... Вся Русская земля превратилась въ топоръ, въ пилу, въ лопату, въ тачку, въ горель—для литья пушекъ, въ фискала—для собиранія податей на великое дѣло, въ рекрутское присутствіе—для обращенія всей молодой Россіи въ новобранца...

— Эко стукъ-отъ, Господи!—бормоталъ Омушка юродивый, бродя въ Воронежѣ по верфи, гдѣ торопились строить новые корабли въ ожиданіи царя.

Омушка прибрелъ въ Воронежѣ для поклоненія святителю Митрофанію, о подвижнической жизни котораго пронеслась великая слава по всей Русской землѣ.

— До неба, до престола Божія стукъ этотъ доходить... Корабли—все корабли—ковчеги великіе, словно передъ всемірнымъ потопомъ... Быть потопу великому...

Такъ каркалъ юродивый, окидывая изумленными глазами то, чего онъ въ Москвѣ никогда не видывалъ. Такъ каркали многіе на Руси въ то время... Да и нельзя было не каркать...

Только къ зимѣ, по окончательномъ выздоровленіи Павлуши Ягужинскаго, Петръ могъ выѣхать изъ Петербурга, надежно укрѣпивъ его и за-

ложивъ у Котлина фортъ Кроншлотъ,—и поспѣшить въ Воронежъ. Тамъ ожидали его построенные за лѣто и вновь начатые постройкою корабли. Тамъ же ожидалъ его новопостроенный хитрыми нѣмецкими мастерами при помощи русскихъ плотниковъ и каменщиковъ небольшой дворецъ, обращенный фасадомъ къ рѣкѣ, на берегу которой вотъ уже нѣсколько лѣтъ кипѣла египетская работа — построение великихъ кораблей, этихъ ковчеговъ будущаго спасенія Русской земли отъ потопленія русскаго могущества на сушѣ...

Не доѣзжая еще до города, Петръ услышалъ этотъ отраднѣйшій для его слуха и сердца стукъ топоровъ и визгъ неугомонной пилы...

— Это сколачиваютъ гробъ старой, бородатой, косной Руси,—сказалъ онъ задумчиво.

Встрѣченный колокольнымъ звономъ, царь вышелъ изъ экипажа, увидавъ толпы народа и впереди ихъ престарѣлаго святителя, епископа Митрофана, во главѣ духовенства, съ крестомъ въ рукѣ.

Былъ холодный день глубокой осени. Солнце ярко горѣло на золотой митрѣ епископа и на крестѣ, который святитель держалъ окоченѣлыми отъ холода, худыми, безкровными, всю жизнь неустанно молившимися и благословлявшими паству руками. На кроткомъ, невыразимо симпатичномъ и страшно изможденномъ лицѣ святителя покоилась глубокая мысль и въ дебряхъ, глубоко запавшихъ, но юношески чистыхъ глазахъ свѣтилось что-то не отъ міра сего... Какъ ни обаятеленъ былъ видъ вновь прибывшаго царя, но народъ не спускалъ глазъ съ Митрофанія...

Петръ подошелъ къ кресту, глубоко склонивъ свою гордую, непреклонную, царственную голову... Великанъ смиренно склонился предъ дряхлымъ, маленькимъ, кроткимъ старичкомъ... И не для простого народа это была потрясающая картина...

Павлушѣ Ягужинскому, при видѣ Митрофана-епископа, казалось, что это древнѣйшій образъ сошелъ со стѣны церкви и вышелъ навстрѣчу царю... Еще не совсемъ оправившійся отъ болѣзни, Павлуша дрожалъ какъ въ лихорадкѣ... Онъ еще вѣрилъ...

— Буди благословенно пришествіе твое, о царю! — яснымъ, юношескимъ голосомъ говорилъ дряхлый епископъ. — Да будутъ благословенны вси пути твои и начинанія во благо Русской земли, ради счастья народа твоего вѣрнаго... Буди славенъ и препрославленъ трудъ твой, подъятый ради возвращенія отечеству невскихъ береговъ, ихъ же ороси нѣкогда кровь предковъ твоихъ и предковъ народа русскаго подъ святымъ стягомъ благовѣрнаго князя Александра Невскаго... Тѣла убитенныхъ тамо вопіали ко Господу о возвратѣ останковъ ихъ родной землѣ... И ты, царю, возвратилъ русскія кости убитенныхъ тамо Русской землѣ, и за то молился о тебѣ святая церковь... И ты молился о душахъ ихъ, царю?

— Молился, владыко,—отвѣчалъ царь.

— Да благословитъ тебя Господь Богъ!

Епископъ широко осѣнилъ крестомъ сначала царя, потомъ народъ на

всѣ четыре стороны... Высоко поднялись, за крестомъ, въ воздухъ тысячи рукъ, и какой-то радостный ропотъ, словно ропотъ волнъ, прошелъ по толпѣ отъ края до края...

— Многая лѣта!.. многая лѣта! — гремѣлъ хоръ во слѣдъ удалявшагося царю.

Часть толпы бросилась за царемъ, большая же половина стѣнной окружила епископа, жаждающая поближе взглянуть на него, получить благословеніе, прикоснуться къ его ризамъ... Тутъ сказывалось глубокое благоговѣніе и беззаветная, дѣтски-неудержимая любовь къ святителю...

Да и какъ могъ народъ не любить Митрофанія! Всѣ эти тысячи и десятки тысячъ согнанныхъ со всѣхъ концовъ Россіи строителей великаго ковчега—плотники, плотнички, каменщики, землекопы, „амо обращающіе потоки водные, камо отъ-вѣка не текли они“; этотъ бѣдный народъ, пришедшій на богомолье и терпящій отъ голода и холода,—всѣ эти алчущіе и жаждущіе, странніи и обремененніи, слѣпые и хромые каждый день толпятся у архіерейскаго двора и получаютъ изъ обширной архіерейской поварни все, чего имъ, по бѣдности, не довелось ни допить, ни доѣсть... Это было всенародное кормленіе, леченіе, призрѣніе... Самъ владыка изодня-въ день бродилъ своими старыми, недужными ногами по оврагамъ, норамъ, трушобамъ и язвинамъ, гдѣ въ непогодъ укрывались голодные и больные строители великаго ковчега, и всѣхъ ихъ кормилъ, поилъ, лечилъ, утѣшалъ, самъ падая отъ изнеможенія... Огромныя архіерейскія мастерскія были заняты день и ночь изготовленіемъ для бѣдныхъ теплой одежды и обуви... Криками радости и благословеніями встрѣчали святого старичка бабы и дѣти, едва замѣчали вдали черный клубокъ святительскій и подъ нимъ кроткое апостольское лицо, улыбавшееся дѣтямъ... О! народъ недаромъ самъ канонизуетъ при жизни своихъ любимцевъ—святителей и угодниковъ: только непосредственнымъ добромъ народу заслуживается народная слава...

Какъ ни былъ смѣлъ Ѳомушка юродивый, который даже царя не боялся, но при видѣ Митрофанія пропала вся его смѣлость и находчивость: разъ только святитель взглянулъ ему въ очи своими кроткими, дѣтски-чистыми глазами—и Ѳомушка появлялъ, что угодникъ однимъ взглядомъ прочиталъ всю его жизнь, заглянулъ во всѣ сокровенные изгибы его души, выкопалъ изъ-подъ пепла прошлаго все, что даже онъ самъ давно забылъ, похоронилъ, отмолилъ у Господа...

— Охъ, страшно, страшно всевѣдѣніе святости,—бормоталъ онъ, пряча свои глаза:—разогнулася книга моя животная—листокъ по листку... Охъ страшно, Господи!

Петръ, для котораго московскіе бородачи и черные клубуки были болѣе ненавистны, чѣмъ шведы, только передъ однимъ клубукомъ невольно смирялся, какъ передъ олицетвореніемъ нравственной, идеальной чистоты, добра и правды—это передъ клубукомъ смиреннаго, кроткаго Митрофана. Гордый царь чувствовалъ, что въ худенькой, костлявой рукѣ, благослов-

лявшей обнаженной головы толпы, было больше силы, чѣмъ въ его державной, мозолистой рукѣ, и не завидоваль этому...

— Эти живыя мощи сильнѣе меня,—думалось ему, когда толпа заколыхалась, бросившись вѣлѣдъ за уходившимъ святителемъ:—онъ одинъ не понимаетъ своей страшной силы, точно младенецъ невинный.

Въ этотъ прїѣздъ въ Воронежъ царь особенно чѣмъ-то озабоченъ былъ даже при видѣ своихъ любимыхъ кораблей. Лицо его чаще обыкновеннаго нервно подергивалось, и Павлуша Ягужинскій, который всегда видѣлъ его насквозь, на этотъ разъ никакъ не могъ понять причины тайнаго безпокойства своего повелителя. Одинъ разъ въ жизни онъ видѣлъ у царя почти такое же выраженіе лица съ нервными подергиваньями; но тогда глаза его метали искры гнѣва, а теперь они казались болѣе задумчивыми... То было давно, когда Павлуша былъ еще очень маленькимъ и служилъ у Головкина: то было во время стрѣлечкой расправы... Но что теперь происходило въ душѣ у царя, Павлуша не могъ понять. Одно онъ замѣтилъ: когда въ этотъ разъ, проѣздомъ изъ Питербурха въ Воронежъ, они оставливались въ Москвѣ, царь нѣсколько разъ бесѣдовалъ о чемъ-то наединѣ съ царевичемъ Алексѣемъ Петровичемъ, казался раздраженнымъ и разсѣяннымъ, а потомъ долго разговаривалъ о чемъ-то съ Мартою и въ разговорѣ нѣсколько разъ настойчиво произносилъ слово „пароль“ и упомянулъ имя царницы Авдотьи...

На другой день царь послалъ Павлушу пригласить къ себѣ преосвященнаго по дѣлу. Около архіерейскаго дома по обыкновенію стояли толпы, толкаясь по дѣлу и безъ дѣла. Увидѣвъ молоденькаго царскаго денщика, толпа заколыхалась, догадавшись о цѣли посольства Ягужинскаго.

— За архіереємъ идетъ отъ царя...

— Охъ, свѣтики! такъ выдетъ самъ-отъ батюшка?..

— Знамо, чу, выдетъ...

— Къ царю—ахъ, матыньки!

— Сюда, робята! самъ выдетъ...

— Ой ли! что ты!

— Пра!.. къ царю, слышь...

Въ архіерейскомъ домѣ Ягужинскаго встрѣтилъ толстый, съ добродушнымъ лицомъ келейникъ, который тотчасъ же доложилъ о приходѣ царскаго денщика и затѣмъ, воротившись въ пріемную, просилъ его слѣдовать за собою, извиняясь, что владыка нѣсколько усталъ за службою и теперь отдыхаетъ.

Павлушу ввели не то въ кабинетъ, не то въ моленную, уставленную иконами въ дорогахъ окладахъ. У иконъ теплились лампадки, и свѣтъ ихъ, смѣшиваясь съ дневнымъ свѣтомъ, проникавшимъ въ окна, производилъ такое впечатлѣніе, какъ будто бы въ комнатѣ долженъ былъ находиться покойникъ...

Павлуша почувствовалъ, какъ холодный трепетъ прошелъ по его тѣлу—въ комнатѣ дѣйствительно былъ покойникъ!.. Господи! что это такое!

Въ переднемъ углу, головою къ образамъ, стоялъ на полу простой дубовый гробъ—въ гробу-то и лежалъ покойникъ... но онъ былъ живъ: блѣдное, усталое лицо смотрѣло изъ гроба кроткими, привѣтливими глазами... Это былъ святитель Митрофанъ!

Павлуша околѣлъ на мѣстѣ...

— Миръ ти, юноше!—тихо проговорилъ голосъ изъ гроба.

Святитель силился приподняться, но не могъ отъ слабости. Келейникъ нѣжно наклонился къ нему и какъ ребенка приподнял изъ гроба... Въ гробу, въ изголовьи, лежали дубовыя стружки... Какова постель!

Святитель приблизился къ Павлушѣ и благословилъ его. Юноша съ трепетомъ и благоговѣніемъ припалъ къ худой, сухой и холодной рукѣ архіерея, который ласково глядѣлъ въ смущенное лицо посланца.

— Ты отъ царя, сынъ мой?

— Отъ царя, владыко,—былъ робкій, едва слышный отвѣтъ.—Его царское величество указалъ просить...

— Явиться къ царю?

— Да... пожаловать, святой отецъ...

— Буду, неукоснительно буду... А ты денщикъ царевъ?

— Денщикъ, святой отецъ...

— Молоденькій какой... А трепетна служба на очахъ у царя—охъ, трепетна... Близо царя—близо смерти...

Павлуша молчалъ. Что-то невыразимо доброе звучало въ голосѣ святителя... это забытый голосъ матери... Павлушѣ плакать захотѣлось...

— А какъ имя твое, сынъ мой?

— Павелъ Ягужинскій, владыко.

— Павелъ Ягужинской... Не російскаго, видно, роду?

— Я изъ Польской Украины, святой отецъ...

— Такъ-такъ... Отъ запада прииде свѣтъ—все отъ запада... Тамъ, на западѣ, солнце долѣе стояло, чѣмъ на востокѣ—по повелѣнію Іисуса Навина... Такова воля Господа—нынѣ отъ запада свѣтъ,—говорилъ, словно про себя, святитель, тихо качая головой.—А намъ пора въ могилу... вотъ моя ладія—вѣчная ладія тѣла моего брэннаго...

„Да не смущается сердце ваше—вѣруйте въ Бога и въ мя вѣруйте—въ дому отца моего обителіи многи суть“, слышится протяжное, за душу хватающее чтеніе: это читаетъ кто-то въ сосѣдней комнатѣ.

— „Господи! что за страшная жизнь!“! щемитъ въ душѣ у Павлуши, и онъ готовъ разрыдаться, но сдерживается...

— Доложи, сынъ мой, царю, что немедленно приду къ нему,—прерываетъ тягостное молчаніе архіерей.

Павлуша кланяется, и глаза снова падаютъ на ужасный гробъ... Это страшнѣе кладбища!

Черезъ нѣсколько минутъ архіерей, въ сопровожденіи своего келейника, вышелъ изъ дома. Толпа, стоявшая у воротъ и на площади, казалась еще многочисленнѣе. Едва показался старый епископъ, какъ всѣ об-

нажили головы; многіе крестились. Толпа разомъ нахлынула къ своему любимцу; онъ кротко улыбнулся, поднялъ свои добрые глаза къ небу, какъ бы прося благодати у невидимой силы, и сталъ благославлять направо и налево: „Благодать Святаго Духа... благодать Святаго Духа... благодать Святаго Духа“...

Архіерейскій домъ отдѣлялся отъ новаго царскаго дворца только площадью, и архіерей направился къ царю пѣшкомъ, какъ онъ обыкновенно посѣщалъ норы и язвыны бѣдныхъ и рабочихъ...

Царь смотрѣлъ въ окно на шествіе святителя... Что это было за шествіе! Рабочіе бросали на землю свои зипуны, бабы платки и холсты, чтобы только святые ноги архіерея прошли по ихъ одеждѣ... Иные цѣловали слѣды этихъ ногъ, брали изъ-подъ нихъ землю и навязывали на кресты, бабы подносили своихъ дѣтей... Только младенческій народъ такъ непосредственно умѣетъ цѣнить святость и истинную доброту человѣческую...

— Владычица! упадетъ кормилецъ...

— Изъ гроба, чу, всталъ свѣтикъ нашъ...

— Охъ, матушки! изъ гроба...

— Изъ дубового, самъ, братцы, видѣлъ... и стружки въ емъ...

— Охъ Господи! касатикъ!

— Всѣ тамъ будемъ...

Архіерей, съ трудомъ пройдя площадь и вступивъ на царскій дворъ, обогнулъ дворецъ справа, чтобы подойти къ главному входу, съ фаса, обращеннаго къ рѣкѣ.

Подойдя къ подъѣзду съ опущенными въ землю глазами и потомъ поднявъ ихъ, архіерей остановился въ неподвижномъ изумленіи... На добромъ лицѣ его изобразились не то гнѣвъ, не то горечь и жалость... Дѣтскіе кроткіе глаза заискрылись—и онъ попятился назадъ...

— Святъ-святъ... Что есть сіе?

На крыльцо выбѣжалъ Ягужинскій, чтобы встрѣтить владыку. Но тотъ стоялъ неподвижно, только голова его дрожала и посохъ нервно ударялъ въ промерзлую землю...

— Идолы еллинскіе... Чертогъ царя—и кумиры идолжертвенные... Святъ-святъ Господь Саваоѣ!...

У входа во дворецъ стояли статуи. Особенно поражалъ своею величественностью Нептунъ съ трезубцемъ, болѣе другихъ любимый Петромъ классическій богъ. Тутъ же стояли Аполлонъ, Марсъ и Минерва...

Статуи эти соблазнили святителя, который считалъ „еллинскихъ идоловъ“ неприличнымъ украшеніемъ для царскаго дворца... Архіерей былъ правъ съ своей точки зрѣнія и сообразно византійскимъ преданіямъ, господствовавшимъ тогда въ нашей церкви.

— Куда ты меня привелъ?—и кротко, и въ то же время строго спросилъ онъ келейника.

Тотъ молчалъ. На добродушномъ лицѣ его выражалось смущеніе.

— Что это такое, я тебя спрашиваю?—повторилъ святитель громче.

— Дворецъ, владыко...

— Не дворецъ царскій, а капище идольское...

— Ваше преосвященство!—смущенно заговорилъ Ягужинскій, приближаясь къ архіерею,—его величество ждетъ...

Свѣтитель вскинулъ на него своими чистыми, блестящими внутреннимъ огнемъ глазами.

— Доложи его величеству, что служитель Бога живаго, предстоящій престолу Его предвѣчному, не видитъ въ капище языческое...

— Владыко... отецъ святой...

— Пойди и передай мои слова государю, юноша!—попрежнему кротко, но твердо сказалъ архіерей.

Ягужинскій убѣжалъ въ домъ. Архіерей продолжалъ стоять на дворѣ, опустивъ голову... Народъ, прорвавшись въ ворота, смотрѣлъ въ недоумѣніи на стоящаго у крыльца свѣтителя...

Снова вышелъ Ягужинскій. Смущеніе и страхъ выражались на его живомъ прекрасномъ лицѣ.

— Его величество повелѣтъ указать...—Юноша совсѣмъ замялся и покраснѣлъ.

— Что повелѣтъ указать?

— Явиться къ нему... н... и (голосъ у Павлуши сорвался)... напомнить, что ожидаетъ... ослушниковъ...

— Скажи, юноша, его величеству, что я скорѣе явлюсь къ престолу Всевышняго, будучи преданъ лютой казни, чѣмъ переступлю порогъ капища сего!—громко, отчеканивая каждое слово, отвѣчалъ Митрофаній.—Я охотно приму мученическую смерть... Доложи царю, что и гробъ у меня готовъ уже...

И, быстро поворотившись, онъ вышелъ со двора, благословляя народъ... Словно море заколыхалась площадь человѣческими головами...

Царь стоялъ у окна блѣдный, съ зловѣщими, страшными подергиваніями искаженного лица...

IV.

Народъ, сопровождавшій Митрофанія, былъ необыкновенно пораженъ тѣмъ, что онъ видѣлъ. Нѣкоторые видѣли только, что архіерей былъ тѣмъ-то остановленъ у входа въ царскій дворецъ и воротился назадъ съ особенной строгостью на добромъ, всепрощающемъ лицѣ, которое такъ было знакомо народу именно въ смыслѣ всепрощенія. Другимъ удалось слышать протестующій голосъ владыки. Инымъ бросилось въ глаза изумленное и испуганное лицо юнаго царскаго денщика. Нѣкоторые, наконецъ, слышали самыя слова Митрофанія, хотя уловили ихъ безъ связи: „дворецъ“... „капище идольское“... „лютой казни“... „гробъ готовъ“... Что это такое? Кто на кого разгнѣвался? Кто кому угрожалъ? Кого ожидаетъ гробъ?... Конечно того, кто менѣе силенъ въ этомъ столкновеніи. А что столкновеніе

между царемъ и архіереемъ произошло—это было ясно какъ день. Но изъ-за чего? Конечно, изъ-за этихъ мѣдныхъ „бѣсовъ“, что поставлены при входѣ во дворецъ. Да и кто могъ не смутиться при видѣ этихъ огромныхъ мѣдныхъ дьяволовъ, что стоятъ тамъ! Еще когда только привезли ихъ откуда-то, да привезли не на простыхъ возахъ, а на какихъ-то огромныхъ каткахъ съ невиданно-толстыми колесами безъ ободьевъ и безъ спицъ, такъ и тогда народъ диву дался и недоумѣвалъ, что бы это было такое. Вѣдь шутка-ли! однѣхъ лошадей было впряжено въ эти дьявольскія колесницы по три тройки. Сначала думали было, что это царь, для потѣхи себѣ, велѣлъ привезти изъ Москвы царь-пушку да царь-колоколь—и всѣ съ нетерпѣніемъ ждали увидѣть эти чудеса. Но когда чудеса эти корабельные плотники цѣлой артелью едва осилили стащить съ катковъ и когда стали освобождать ихъ отъ рогожъ, то изъ рогожъ показались ужасы!.. Тамъ нога мѣдная торчитъ, тамъ рука, да такой необычайной величины, что и не лѣтъ есть человѣку глаголати—плотники такъ и шарахнулись отъ нихъ съ ужасомъ, крестясь и чураясь: „чуръ... чуръ... чуръ меня!.. чуръ, нечистая сила!“ А какъ нѣмецкіе мастера сняли рогожи съ верхнихъ частей этихъ чудищъ, и народъ увидалъ тамъ огромныя мѣдныя головы съ мѣдными волосами и мѣдными глазами безъ зрачковъ, такъ всѣмъ ясно стало, что это дьяволы, „идолы мѣдныя“. Съ тѣхъ поръ такъ эти чудовища и пошли за мѣдныхъ бѣсовъ, и народъ боялся ихъ.

Теперь, когда что-то произошло между царемъ и архіереемъ, и когда архіерей, видимо, хотѣвшій пойти къ царю, наткнулся на мѣдныхъ бѣсовъ и воротился назадъ, — ясно стало, что все это изъ-за бѣсовъ. По городу, по рынкамъ и между рабочими артелями пошли толки самые разнообразные, самые невѣроятные. Бабы и тутъ, какъ и вездѣ, представляя собою матеріалъ болѣе воспріимчивый и болѣе горячій, оставляя въ своемъ болѣе впечатлительномъ мозгу всегда свободное гнѣздилище для фантазій,—бабы уже разносили по городу цѣлыя легенды, съ неопровержимыми цитатами, что „сама-де своими глазами видѣла“. Одна рассказывала, что „когда батюшка Митрофаній подошелъ къ мѣднымъ бѣсамъ, такъ они испугались его, угодничка, и мѣдными глазами своими такъ и воззрились“. Другая увѣряла, что когда Митрофаній „перекрестилъ ихъ, бѣсовъ, такъ у нихъ, у проклятыхъ, изъ ушей и изъ ноздрей поплыла... поплыла такъ и пышетъ“. Третья рассказывала, что бѣсы, какъ увидали, что „къ нимъ идетъ самъ угодничекъ Митрофанушко, такъ отъ радости, мать моя, заплесали, да заплесамши-то и говорятъ: нашъ еси, Митрофаніе,—восплещетъ“. Однимъ словомъ, толкамъ, догадкамъ и ужасамъ не было конца. Но все это сводилось къ одному страшному вопросу: „сказнитъ“ царь Митрофанія или „не сказнитъ“. Большинство было увѣрено, что „сказнитъ“. Слова, сказанныя самимъ архіереемъ о „казни“, о „готовомъ гробѣ“, подтверждали возможность и даже неизбежность этого послѣдняго, трагическаго исхода.

Но еще большее изумленіе и ужасъ пришелъ народъ, когда къ вечеру

услыхали, что самый большой колокол соборной колокольной ударилъ на „отходъ души“. Всѣ невольно вздрогнули отъ этого звона: всѣ знали, что этотъ колоколъ звонить только „на отходъ священнической души“. Кто же изъ поповъ соборныхъ умеръ, недоумѣвали всѣ... За первымъ ударомъ, какъ это всегда бываетъ при звонѣ „на отходъ души“, слѣдовалъ убійственно долгій промежутокъ: унылый, мрачный гулъ перваго удара все еще стоялъ, медленно замирая, въ вечернемъ воздухѣ. Ждали втораго удара—напряженно ждутъ. Сколько-то разъ ударить?... Чѣмъ больше ударовъ, тѣмъ старше попь. Но вмѣсто повторенія удара на соборной кафедральной колоколнѣ, ударилъ колоколъ на крестовой архіерейской церкви!.. Ужасъ напалъ на богомольныхъ воронежцевъ и на весь пришлый, тысячами согнанный для корабельнаго дѣла народъ... Умеръ кто-то въ крестовой церкви—кому же больше какъ не Митрофанію!.. Послѣ крестовой отходный колоколъ уныло ударилъ на колоколнѣ малаго собора, потомъ въ другой, въ третьей, въ четвертой церкви—всѣ воронежскія церкви ударили по разу, да такъ медленно-торжественно, пока не замиралъ послѣдній звукъ стонущаго колокола на предыдущей колоколнѣ. А тамъ снова загудѣлъ большой соборный колоколъ... Опять ему отвѣтили всѣ церкви одна за другою—опять это страшное перекликанье глухо ревущей мѣди.

Что это такое?... Народъ повалилъ толпами къ архіерейскому дому, слышно уже было, какъ выли и голосили бабы. Рабочіе, топоры которыхъ стучали на верфи до глубокой ночи каждый день, теперь покинули свои работы и кучами свѣшались на площадь. Площадь уже полна народу. Въ окнахъ архіерейскаго дома свѣтятся необычайные огни; видно, что зажжены свѣчи у всѣхъ паникадилъ, у всѣхъ образовъ. Мелькаютъ тѣни протопоповъ, поповъ и діаконовъ въ черныхъ ризахъ. Изъ самаго дома невинятно доносится погребальное—не то отходное пѣніе...

Умеръ Митрофаній — переставился угодничекъ Божій. Да и смотрѣлъ онъ уже мертвецомъ, не жильцомъ на бѣломъ свѣтѣ. Весь-то онъ былъ словно восковой, точъ въ точъ бѣлая свѣчечка воскояровая,—и ручки-то восковыя да холодныя-холодныя! Только въ глазахъ и теплился огонекъ.

Царь въ недоумѣніи. Что за необычный звонъ на отходъ души? Чья душа отходитъ, да не мірская душа, а іерейская? Не таковъ звонъ—это звонъ большой, епископскій—это отходъ большой души, словно бы царской... Петръ невольно дрогнулъ... Подходить къ окнамъ—площадь залита народомъ, а въ архіерейскомъ домѣ зловѣщіе огни. Что тамъ творится?

Немедленно царь посылаетъ Ягужинскаго узнать, что дѣлается въ архіерейскомъ домѣ, по комъ это звонъ въ городъ?

Сопровождаемый двумя рейтарами, Павлуша съ трудомъ пробивается сквозь живую стѣну мужичьихъ тѣлъ. На архіерейскомъ дворѣ — тѣ же толпы, но только больше духовенства. „Посоль отъ царя, посоль отъ царя!“ проносится глухой говоръ по площади и по двору. На лѣстницѣ также толпится духовенство, въ покояхъ — тоже... Воздухъ пропитанъ куреніями... Въ крестовой идетъ служба...

— По указу его царскаго величества—пропустите! — заявляет Павлуша своимъ отроческимъ, еще не сформировавшимся голосомъ.—Гдѣ посвященный?... Его величество указать изволилъ...

— Владыка въ крестовой... отходить,—отвѣчаетъ кто-то убитымъ голосомъ.

Кругомъ слышатся стenanія, то глухія, то неудержимыя.

— Отходить?... кончается?—растерянно спрашиваетъ Павлуша.

— Готовятся на исходъ души...

Павлуша входитъ въ крестовую. Она полна духовенства. Всѣ стоятъ колѣнопреклоненныя...

Юнаго царскаго посланца охватываетъ ужасъ... Среди церкви, на архіерейскомъ возвышеніи стоитъ гробъ, а у гроба Митрофаній, колѣнопреклоненный, громко, предъ всею церковью, исповѣдуются въ грѣхахъ всей своей жизни—и плачетъ. За нимъ плачетъ вся церковь...

— Заповѣдую вамъ, молю васъ! тѣло мое грѣшное псомъ верзите,—слышится Павлушѣ это говорить Митрофаній.

Юноша не выноситъ этой, раздирающей душу, сцены. Еще недавно онъ самъ вынесъ жестокую горячку, которая подкосила его въ тотъ моментъ, когда неугомонный царь воздвигалъ крестъ на Котлинѣ, въ ознаменованіе закладки тамъ будущей грозной крѣпости; еще недавно метался онъ на могучихъ рукахъ царя, въ безумномъ бреду, переживая тѣ острые боли постоянно бьющихъ по сердцу и по нервамъ впечатлѣній, неизбежныхъ въ присутствіи такой страшной, все опрокидывающей силы, какъ Петръ, и слишкомъ сильныхъ для такого хрупкаго организма, какъ организмъ юноши; еще не успѣлъ этотъ юноша отрѣшиться ни отъ глубокаго потрясенія, какое онъ испыталъ въ Украинѣ, въ саду у Кочубея, при необыкновенной встрѣчѣ съ его дочкою, залитою цвѣтами, и съ этимъ смѣющимся сатиромъ съ лукавыми глазами, ни отъ сцены смерти Кенигсека, ни отъ кровавыхъ сценъ штурма Ніеншанца,—и вдругъ эта потрясающая сцена! Изможденный старикъ заглядываетъ въ свой гробъ... Но мало ему этого гроба: гробъ—это роскошь для него!—„Верзите псомъ тѣло мое!“—вотъ гдѣ должно успокоиться изможденное тѣло...

Разбитый, подавленный этимъ впечатлѣніемъ, Павлуша возвращается къ царю блѣдный, растерянный.

— Ну, что тамъ?... Что съ Митрофаномъ?... Скончался?—спрашиваетъ Петръ, участливо глядя на своего любимца, котораго еще недавно онъ съ трудомъ отнял у смерти.

— Кончается, государь... У гроба исповѣдуются... Велить тѣло свое собакамъ отдать... Всѣ плачутъ...—безсвязно отвѣчаетъ юноша.

— Такъ внезапно!.. Бѣдный старикъ, я огорчилъ его... Я хочу его видѣть...

— Нѣтъ, государь... да... успокой его...

Царь быстро проходитъ чрезъ пріемную, гдѣ нѣмецкіе и галландскіе мастера-корабельщики ждутъ его съ своими докладами, чертежами, моделями—

и они видимо торопятся, и они наэлектризованы неугомоннымъ кайзеромъ— куда дѣвалась нѣмецкая неповоротливость!

— Клейхъ—клейхъ, мине херент!—торопится царь:—я скоро ворочусь!

— Ай-ай-ай!—диву даются нѣмцы!—Нгунъ! сисъ орканъ!.. ай-ай-ай!

А этотъ „ураганъ“ уже несется по площади,—на цѣлый аршинъ высится надъ всѣми голова великана, и народныя волны разступаются передъ „ураганомъ“—площадь колыхается... „Царь... царь идетъ“... Пока царь шелъ, шопотъ этотъ, обойдя всю площадь, проникъ и въ архіерейскій домъ, и въ крестовую церковь. Понятно поэтому, что тамъ ждали царя, и когда онъ проходилъ по дому въ крестовую, то все раступалось передъ нимъ и склонялось какъ трава подъ вѣтромъ. Но служба продолжалась; Петръ слышалъ, что въ церкви поютъ „отходъ души“.

Царь вступилъ въ церковь и остолебѣлъ отъ изумленія: на архіерейскомъ возвышеніи стоялъ гробъ, а мертвецъ, положенный въ гробъ, благословлялъ его, царя!

— Благословенъ грядый во имя Господне!—благословлялъ царя Митрофанъ изъ гроба.

Царь не понималъ, что вокругъ него дѣлается; онъ видѣлъ только, что всѣ плачутъ, а тотъ, кого оплакиваютъ, глядитъ изъ гроба и благословляетъ своею мертвою рукой.

— Митрофанъ! Что есть сіе? — спросилъ Петръ, приблизившись къ гробу и глядя въ кроткое какъ и всегда лице епископа.

— Творю волю цареву,—отвѣчалъ лежавшій въ гробѣ.

— Какую мою волю? Кто объявлялъ ее тебѣ?

— Твой денщикъ... передъ лицомъ народа твоего.

— Но что онъ объявилъ тебѣ?

— То, что ослушника царевой воли ожидаетъ смерть... Я готовлюсь къ смерти... я долженъ умереть.

— Ты не долженъ этого дѣлать: жизнь твоя въ рукахъ Божіихъ.

— И въ царевыхъ... Ты изрекъ мнѣ смерть... Не мимо идетъ слово цареву...

— Митрофанъ!—рѣзко сказалъ царь. — Ты смѣешься надо мной!.. Встань изъ гроба!

— Не встану!—отвѣчалъ старикъ.

— Встань, говорятъ тебѣ!

— Не встану!

— Послушай,—и лицо Петра исказилось:—вспомни митрополита Филиппа и царя Іоанна!

— Помню, царь... Большого и ты не сдѣлаешь. Я умру...

Петръ отшатнулся отъ гроба. Онъ чувствовалъ, что желѣзная воля его встрѣтила волю болѣе упругую: изъ молота онъ самъ превратился въ кусокъ желѣза, и тяжкій молотъ былъ по немъ. Кто же былъ этотъ молотъ?—Полумертвецъ... Петръ снова почувствовалъ, какъ чувствовалъ это утромъ на площади, что онъ безсиленъ этой тѣни въ образѣ человѣка.

— Митрофанъ, епископъ воронежскій и задонскій! — грозно сказалъ царь:—я повелѣваю тебѣ встать!

— И паки реку: не встану!.. Не мимо идетъ слово царево,—продолжалъ твердить упрямецъ.

— Въ послѣдній разъ говорю тебѣ, Митрофанъ... Слушай! Божіею милостію мы, Петръ Первый, императоръ и самодержецъ всероссійскій, повелѣваемъ тебѣ: встать!.. Это мой именной указъ...

— Именному указу я повинуюсь: я встаю, — сказалъ, наконецъ, Митрофаній.

Но встать онъ не могъ: силы покинули его. Онъ было приподнялся изъ гроба, перекрестился, но хилое, испостившееся и изморовшееся тѣло не выдержало страшныхъ напряженій духа—и старикъ опрокинулся навзничъ, ударившись головой о край гроба. Присутствующіе вскрикнули въ ужасъ. Испуганный царь нагнулся къ несчастному и силился приподнять его...

— Прости меня, отче святой, прости!—шепталъ онъ, цѣлуя холодную руку подвижника.

— Богъ проститъ... Богъ проститъ...

— Я былъ не правъ передъ тобою... Я сказалъ необдуманное слово... Прости меня!

— Богъ да благословитъ тебя, сынъ мой.

Поддерживаемый царемъ, Митрофаній всталъ изъ гроба и, обращаясь къ присутствующимъ, сказалъ: „Отцы и братья! Царь даровалъ животъ мнѣ... Молитесь о здравіи царя“. Потомъ, обращаясь къ Петру, сказалъ: „Не суди, царь, безуміе мое видимое... Ради тебя я не вступилъ въ дворецъ твой: не идолы сляинскіе остановили меня, а невѣгласы... Помни, царь, на ихъ выихъ зиждется крѣпость твоя, а я—пастырь ихъ... Крѣпко будетъ царство твое, докоѣ овцы будутъ слушать гласа пастыря своего“...

Въ ту же ночь, по приказанію царя, статуи, стоявшія у входа во дворецъ, были сняты. Это было первый разъ въ жизни Петра, что онъ покорился чужой волѣ. И кто же сломилъ этого желѣзнаго великана! Дряхлый, стоящій одною ногою въ могилѣ старичекъ.

Когда на другой день Митрофаній явился къ царю, то о вчерашнемъ происшествіи не было произнесено ни одного слова ни съ той, ни съ другой стороны. Петръ былъ еще болѣе внимателенъ къ старому святителю и казался нѣсколько задумчивымъ.

— Я хочу посовѣтоваться съ тобою, святой отецъ,—сказалъ царь.— Меня отягчаютъ и семейныя и государственныя заботы, и я прошу твоей помощи.

Митрофаній сидѣлъ молча, наклонивъ голову и тихо перебирая четки.

— У меня нѣтъ семьи, владыко, — продолжалъ царь.—Я одинокъ...

Митрофаній молча подыалъ на царя свои кроткіе глаза и ждалъ.

— У меня нѣтъ жены, а сынъ... сердцемъ—принадлежитъ не мнѣ, да

онъ и не приносить мнѣ утѣшенія... Я помышляю вступить во второй бракъ, владыко... Благослови меня...

Митрофаній не сразу отвѣчалъ. Чотки въ рукахъ его усиленно перебирались.

— Если церковь благословитъ твой бракъ, то и я благословляю тебя, государь,—отвѣчалъ онъ наконецъ.

— Я и желаю, владыко, чтобъ церковь осватила мой бракъ...

— А кого ты избираешь царицею? Дщерь православной церкви?

— Нѣтъ, владыко...

На лицѣ Митрофанія выразилась горечь сожалѣнія... Онъ грустно покачалъ головой...

— Ошибки... все ошибки... Великія дѣла и... великія погрѣшности... Величіе и... слѣпота,—повторялъ онъ какъ бы про себя.—Господи! просвѣти очи царицы...

— О какихъ ошибкахъ говоришь ты, владыко?—нетерпѣливо спросилъ царь.

— Разогни книгу твоей жизни и ты увидишь ихъ,—отвѣчалъ Митрофаній.—Теперь новую ошибку хочешь вписать въ книгу жизни твоей... А ошибки царей—вѣдай, государь,—кровію миллионовъ пишутся на скрижаляхъ исторіи...

— Я понимаю, владыко, о какой ошибкѣ говоришь ты,—перебилъ его царь.—Но ту, которую я намѣренъ царицею наименовать, я введу въ лоно православной церкви... Какія же другія ошибки ты разумѣешь? Не ты-ли благословлялъ меня на дѣло просвѣщенія Россіи? Не ты-ли одинъ словомъ твоимъ мудрымъ укрѣплялъ меня въ трудахъ моихъ? Не ты-ли благословилъ борьбу мою съ Карломъ за возвращеніе земель предковъ моихъ? Не ты-ли окропилъ святою водою первый корабль, который я построилъ здѣсь на твоихъ глазахъ? Не ты-ли свѣтлымъ умомъ прозрѣлъ будущее величіе Россіи и поддержалъ меня, одинокаго, никѣмъ не понятаго? И я-ли не любилъ тебя за это!

Петръ всталъ и нервно заходилъ по комнатѣ... Поразительный контрастъ представляла его мощная, гигантская фигура рядомъ съ тщедушнымъ тѣломъ архіерея, который грустно покачивалъ головой, повидимому, далеко блуждая своей старческой мыслью...

— Я скоро, великій государь, предстану предъ лицомъ Бога моего... Се нынѣ здѣ, съ тобою бесѣдную, а на утро въ землю отыду, откуда же взять есмь... Творцу моему я повиненъ буду отчетъ дать въ томъ, все ли исполнилъ я на землѣ... Не все я исполнилъ, государь... не все... и виною тому ты, великій государь.

— Въ чемъ же вина моя предъ тобою, владыко?—спросилъ царь.

— Имѣй уши слышати—да слышитъ, имѣй разумъ вѣдѣти—да вѣдаетъ, имѣй очи сердечныя—да видитъ... А у тебя, царь, сѣдце слѣпствуетъ...

— Говори же—въ чемъ?..

— Да ты не послушаешь гласа моего... Не пастырь я твой...

Петръ остановился передъ нимъ, вытянувшись во весь свой гигантскій ростъ. Лицо его дергалось; но въ огненныхъ глазахъ свѣтилась небывалая теплота.

— Послушай, владыко!—рѣзко сказалъ онъ, и голосъ его дрогнулъ:— чего тебѣ надо отъ меня? Послушанія, любви? Да я-ли не люблю тебя больше всего на свѣтѣ, послѣ Россіи! Я-ли не сынъ тебѣ. Я отца родного не любилъ такъ, какъ тебя люблю. Я не знаю, не вѣдаю, что это за сила въ тебѣ—духъ ли то Божій чувствуется мнѣ въ твоей кротости, умѣ ли то божественный горитъ въ очахъ твоихъ смиренныхъ, но я всегда слушаю тебя трепетно. Ты одинъ не усыпляешь умъ мой лестію и ты одинъ, одинъ во всей державѣ моей, понялъ меня, подкрѣпилъ, благословилъ... Такъ ты-ли не пастырь мнѣ!

Онъ остановился, увидѣвъ, что старикъ плачетъ... Мелкія, мелкія какъ роса утренняя—крупныя ужъ давно выплаканы!—слезы, сбѣгая съ блѣднаго, худого лица, разбивались о чотки.

— Прости меня, царь, — тихо сказалъ Митрофаній: — я говорю съ тобою въ послѣдній разъ... Земля зоветъ сію земную оболочку мою (и онъ указалъ на свое изможденное тѣло), я отхожу отъ міра сего—часть мой приспѣ... Выслушай же меня, великій государь, Богомъ живымъ заклинаю—выслушай.

— Я слушаю,—покорно сказалъ Петръ.

— Великія бѣдствія, царь, готовишь ты державѣ твоей въ сердцѣ твоёмъ: сердце твое отвратилось отъ сына, а онъ—не Авессаломъ. Помни это!—сказалъ Митрофаній.—Слезы нелюбимаго отольются горячайшими слезами на любимомъ. Въ новомъ бракѣ твоёмъ, царь, я предвижу горе для сына твоего.

Царь слушалъ, задумчиво склонившись на руку и, повидимому, прислушиваясь къ стуку топоровъ и визгу пилъ, доносившихся съ пристани.

— Напрасно, владыко: я люблю Алексѣя,—сказалъ царь по прежнему задумчиво,—только онъ не любитъ моего дѣла.

— Оттого, что ты его не любишь.

— Не знаю, но онъ назадъ глядитъ, а не впередъ.

— А потому, что назади у него—образъ матери...

Лицо Петра подернулось.

— Не напоминай мнѣ царицу Авдотью,—сухо сказалъ онъ.

— Я напоминаю тебѣ все, что велитъ мнѣ совѣсть моя, я иду отдавать отчетъ Богу и Царю моему и твоему... Ты вспомнишь меня въ самые тяжкіе часы твоей жизни и тогда увѣруешь въ слова мои: въ кого ты душу свою положишь, царь, отъ того душа твоя прободена будетъ...

— Отъ кого же?—живо спросилъ царь.

— Я не знаю, я не пророкъ: я не имена говорю тебѣ, а заповѣди человѣческія.

Въ это время въ кабинетъ, гдѣ сидѣли царь и Митрофаній, вошелъ

Павлуша Ягужинскій и остановился у двери. Лицо юноши было необыкновенно оживлено, на щеках игралъ румянецъ, въ глазахъ свѣтилось что-то особенное.

— Ты что, Павелъ?— спросилъ царь, пристально взглядываясь въ лицо своего любимца.

— Посланцы, государь, отъ гетмана Мазепы пріѣхали.

— Кого прислалъ онъ?

— Енеральнаго судью Василя Леонтьича Кочубея съ бунчуковыми товарищами.

— Добро... Скоро приму ихъ... А ты что такой веселый?—неожиданно спросилъ царь.

Павлуша смѣшался, еще болѣе покраснѣлъ — и готовъ былъ провалиться сквозь землю.

— Я... ничего, государь... такъ,—бормоталъ онъ.

— Не такъ,—я знаю тебя,—ну!—настаивалъ царь.

— Я, государь, Диканьку вспомнилъ (Павлуша зналъ, что солгать царю нельзя было—допытается).. Тамъ въ саду такъ хорошо... и Кочубей тамъ, и Мазепа...

Но юноша не досказалъ: не Кочубей, и не Мазепа вспомнились ему въ этихъ цвѣтахъ, а Мотря; только о Мотрѣ онъ не сказалъ царю... А между тѣмъ эта Мотря прислала съ отцомъ поклонъ ему, Павлушѣ... Вотъ отчего горять его щеки...

Царь улынулся, а Митрофаній, глядя своими кроткими глазами на Павлушу, съ любовью шепталъ: „Дитя... сихъ бо есть царство Божіе“... „Она не забыла меня“, билось радостно сердце Павлуши, и щеки его еще пуще горѣли.

V.

Прошло три года послѣ описанныхъ нами событій. Петръ продолжалъ войну съ Карломъ XII; положеніе дѣлъ годъ-отъ-году становилось съ обѣихъ сторонъ напряженнѣе, и грозный, никому невѣдомый исходъ этой роковой борьбы тѣмъ болѣе обострялся, что напряжение силъ и съ той и съ другой стороны, можно сказать, уже переходило за предѣлы упругости — сталь событій, если можно такъ выразиться, не тамъ, такъ здѣсь должна была лопнуть. Петръ ни за что не думалъ уступать Балтійское море, и лихорадочно работалъ надъ укрѣпленіемъ Петербурга и ключа къ нему—Котлина съ нововозведенной крѣпостью Кронштадтомъ. Для этой борьбы Россія должна была нести страшныя, небывалыя жертвы: для того, чтобы достать средства на войну, царь обложилъ налогами и землю и воду, живыхъ и мертвыхъ. Обложена была податью даже борода—отъ 30 до 100 рублей, смотря по челозѣку, что на наши деньги составляетъ тысячный налогъ на одну бороду. Рабочіе, приходившіе въ городъ для заработковъ, должны были платить по двѣ деньги всякій разъ, какъ входили въ го-

родскія ворота и заставы или выходили изъ нихъ, если были съ бородами. Зипунъ, армякъ, чапанъ, однорядка — всякое русское платье, входившее въ городъ, платило 13 алтынъ 2 деньги, когда оно входило въ городъ пѣшимъ, и 2 рубля — коннымъ. Каждый мужикъ, идя въ городъ, долженъ былъ нести въ казну три камня для мошенія улицъ. Дубовые гробы были отобраны у продавцовъ и продавались четверною цѣною богатымъ и благочестивымъ людямъ для ихъ мертвецовъ. Рекрутскіе наборы чуть не превратились въ поголовщину.

Можно по этому судить о напряженіи народныхъ силъ.

Нравственное напряженіе отражалось и на каждой отдѣльной личности, а иныхъ привело къ роковому концу. Царь сталъ еще суровѣе, чѣмъ былъ. Отношенія его къ сыну сдѣлались еще болѣе натянутыми, особенно съ тѣхъ поръ, какъ царь сталъ подозрѣвать, что Алексѣй, руководимый лукавою теткою, царевною Софьею, успѣлъ тайно свидѣться съ матерью.

Царевна Софья недолго еще выжила въ своемъ грустномъ заточеніи, да тамъ же, въ Новодѣвичьемъ, и Богу душу отдала. Въ предсмертной агоніи она все отмахивалась отъ чего-то, съ ужасомъ глядя на окна своей кельи и бессвязно повторяя:

— Что вы мнѣ подаете ваши челобиты!.. Подавайте ихъ Господу Богу... вы повѣшены... переставились... Что глядите съ висѣлицъ ко мнѣ въ окна!.. Уйдите... не глядите на меня... не дражните мертвыми языками... я сама къ Богу иду... уйдите!

Это воспоминались ей стрѣльцы, которыхъ когда-то царь повѣсилъ передъ ея окнами и далъ имъ въ мертвыя руки челобитныя, въ коихъ были писаны ихъ „повинки“...

Митрофаній также недолго прожилъ послѣ того, какъ, вслѣдствіе царскаго гнѣва, велѣлъ звонить по себѣ „на отходъ души, и когда царь видѣлъ его лежащимъ въ гробѣ и благословляющимъ входящаго въ церковь грознаго монарха: онъ скончался черезъ нѣсколько недѣль послѣ разговора съ Петромъ, прерваннаго Павлушею Ягужинскимъ извѣстіемъ о прибытіи пословъ отъ Мазепы. Царь искренно плакалъ надъ гробомъ святителя и на своихъ богатырскихъ плечахъ, вмѣстѣ съ сановниками и Павлушею, перенесъ маленькое тѣло угодника въ его вѣчное успокоеніе.

— Какъ легки мощи угодника, — сказалъ Петръ, опуская въ могилу гробъ Митрофанія: — точно тѣло младенца.

— Для того имъ легче будетъ, ваше величество, изъ земли изыти и истинными мощами стати, — замѣтилъ Кочубей, бывшій тутъ же на похоронахъ.

— Кочубей правду говорить, — сказалъ на это царь. — Одною тою боюсь я, какъ бы намъ съ тобою, Василій Леонтіевичъ, не пришлось скоро опускаться въ землю нашего любезнаго и вѣрнаго гетмана — сведуть его со свѣту эти подагрическія да хирагрическія немощи.

Кочубей ничего не отвѣчалъ, только какой-то неудовимый свѣтъ пробѣжалъ по его чернымъ татарскимъ глазамъ и тотчасъ же потухъ. Пав-

луша Ягужинскій, ни на шагъ не отходившій отъ Кочубея во все время его пребыванія въ Воронежѣ и постоянно разспрашивавшій его о Диканькѣ, о тамошнемъ садѣ, о цвѣтахъ, о томъ, какіе цвѣты больше любить панна судіевна,—одинъ Павлуша могъ прочитатъ въ татарскихъ глазахъ Кочубея отвѣтъ на опасенія царя о Мазепѣ: „ну, его чортъ не скоро еще возьметъ“ — и Павлушѣ это очень понравилось, потому что онъ почему-то съ перваго разу не влюбилъ гетмана, особенно когда тотъ поцѣловалъ въ лобъ свою крестницу.

Дѣйствительно, чертъ не думалъ еще брать Мазепу. Въ то самое утро, когда въ Воронежѣ царь опускалъ въ могилу маленькій гробикъ Митрофанія и думалъ о своемъ вѣрномъ гетманѣ, тоже, повидимому, стоявшемъ на краю могилы,—въ это утро Мазепа на лихомъ арабскомъ конѣ мчался по снѣжному Батуринскому полю рядомъ съ своей хорошенькой крестницей.

Въ это утро гетманъ устроилъ у себя въ Батуринѣ охоту по порошѣ. Утро выдалось великолѣпное, яркое, морозное. Ровное, нѣсколько всхолмленное поле серебрилось первовыпавшимъ снѣгомъ. Вершины лѣса, тянувшегося съ одной стороны поля, также искрились брилліантомъ. Брилліантовые кристаллики носились и въ морозномъ воздухѣ, сверкая чудными иридовыми искорками, словно бы огромная радуга, превращенная морозомъ въ кристаллъ, разбилась на мелкія пылинки и носилась по полю.

Въ этой брилліантовой пыли, обсыпаемые ею, мчатся Мазепа и Мотревка. На Мазепѣ темнозеленый кунтушъ, съ сивыми, какъ его усы и голова, смушковыми выпушками, и высокая свѣтлосивая, свѣтлѣе даже его сивыхъ волосъ, шапка съ ярко-зеленымъ верхомъ. Черезъ одно плечо—маленькое двустольное ружье съ блестящими серебряными настьчками, черезъ другое—огромный турій рогъ въ изящной, итальянской работы, золотой оправѣ. На лугѣ сѣдла — шелковая, ярко-красная, какъ свѣжая кровь, нагаечка, которую на-дняхъ привезла изъ Бѣлой Церкви пани Палиха и подарила ее пану гетману съ самою любезною, но и съ самою лукавою улыбкою, какъ подарокъ работы самой пани полковниковой и какъ эмблему того, что пану гетману не мѣшало бы этою нагаечкою „выпендизитъ“ изъ лѣвобережной Украины всѣхъ молодыхъ польскихъ пахолятъ, которые какъ мухи облѣпили дворъ пана гетмана. Конь подъ паномъ гетманомъ, какъ и самъ онъ, какъ и его шапка — тоже сивый: все въ немъ и на немъ и подъ нимъ сивое, сѣдое, блистающее серебромъ мудрости и лукавства.

Рядомъ съ паномъ гетманомъ, на высокомъ, тонконогомъ, съ круто-выпуклою шею, бѣломъ какъ снѣгъ аргамакѣ, несется гетманская крестничка панна Кочубеевна. На ней темномалиновый кунтушикъ, опушенный гагачьимъ пухомъ по разрѣзу, по подолу, по рукавамъ и вокругъ лебединой шейки. На черной головкѣ ея—барашковая бѣлая, бѣлѣе снѣга, шапочка съ ярко-малиновымъ верхомъ, и изъ-подъ этой шапочки, словно изъ-подъ снѣгу, выглядываетъ смуглое, разрумянившееся личико и черные

ласковые глаза, которые у Павлуши Ягужинскаго и въ Воронежѣ съ ума нейдутъ и на Невѣ съ ума не выходили.

Въ створѣхъ, по ровной снѣговой возвышенности, виднѣются другіе охотники—гости пана гетмана и его дворская молодежь, польскіе и малорусскіе пахолята да юные бунчуковые товарищи. Тамъ же, впереди всѣхъ, на огромномъ ворономъ конѣ, мчится гигантскихъ размѣровъ женщина, передъ массивною фигурою которой всѣ пахолята и бунчуковые товарищи кажутся дѣтьми. На этой гигантской амазонкѣ съ такою же какъ и на Мазепѣ барашковою опушкой кунтушъ и смушковая шапка съ висячимъ въ видѣ мѣшка огромнымъ краснымъ верхомъ. Это пани Палиха, которая, съ нагайкою въ зубахъ и съ двустольнымъ ружьемъ наперевѣсь, бѣшено мчится за волкомъ, выпугнутымъ доѣзжими изъ сосѣдняго лѣска и забирающимъ къ глубокой лѣсистой балкѣ.

— То пани пулковникова пендзи за своимъ старымъ менжемъ, — остритъ польскій пахольекъ, не поспѣвающий за Палихой.

— Ни-ни! то она за московскимъ подъячимъ, что грамоту отъ цари привезъ, — остритъ юный Чуйкевичъ.

Мазепа и его хорошенькая крестница, напротивъ, преслѣдуютъ чернобурю лисицу, которая, едва ускользнувъ отъ пастей гончихъ, перемахнула черезъ оврагъ и наткнулась на гетмана съ его миловидной наѣздницей. Вотъ-вотъ настигнуть они выбившуюся изъ силъ жертву — все меньшее и меньшее пространство отдѣляетъ ихъ отъ бѣднаго звѣря. Вотъ-вотъ изнеможетъ лисичка... Но близко и спасительный лѣсъ...

Мазепа, грузно навалившись къ лукѣ, забывъ подагру и хирагру, уже наводитъ свою двустолку на истомившагося звѣря и прищуриваетъ лукавый глазъ...

— Не треба, таточку, не треба! — испуганно шепчетъ рядомъ скачущая Мотренька.

Мазепа нѣжно оглядывается на нее, опускаетъ свою дубельтувку...

— Чого, Мотренько, не треба?

— Не бійте, тату, лисички!

— Ну, серденько, якъ-же-жъ можно!

И ужасная дубельтувка опять наводится на бѣдную лисичку, сивый гетманскій конь, почуявъ остроги у боковъ, прибавляетъ роковой рыси... Охъ, не уйти лисичкѣ!

Мотренька не отстаетъ отъ Мазены... Вотъ-вотъ грянетъ дубельтувка!

— Тату! тату! я заплачу! — молится Мотренька и трогаетъ гетмана за плечо.

Гетманъ опускаетъ дубельтувку, вскидываетъ ее за плечи и пускаетъ поводья коня. Лисица скрывается въ ближайшемъ возлѣскѣ.

— Добрый! любый татуню! — и Мотренька, перегнувшись на сѣдлѣ, ласково обнимаетъ старого гетмана.

Мазепа сначала какъ бы отшатывается отъ дѣвушки, но потомъ руки

его обвиваются вокруг стана хорешенькой спутницы, и онъ припавъ, своими сивыми усами къ пунцовой щечкѣ, страстно заговорилъ:

- Серденько мое! квите мій рожанный! Мотренько моя коханая!
- Охъ, тату, яки у васъ вусы холодни,—отстраняется дѣвушка.
- Люба моя! зоренька ясная! ясочка моя!
- Охъ, щекотно, тату... буде вже, буде...
- Мотренько! рыбко моя! я не хочу безъ тебе...
- Буде, тату, буде!.. Ой, вусы!

Дѣвушка не понимала, что съ ней дѣлается. Ей казалось, что это холодные усы гетмана щекочутъ ея пылающія щеки; но отчего же и въ сердцѣ какъ-то не то щекотно, не то страшно?.. А тато такой добрый—лисичку не убилъ... Надо татка ласкать, цѣловать... Да онъ и хорошенькій такой!.. Морозъ подрумянилъ его блѣдныя щеки, сивые усы такіе славы, хотя и холодные, — и глаза добрые, и весь онъ добрый — лисичку простилъ... Онъ всегда былъ добрый—и въ монастырь лососи возилъ, и Мотреньку на колѣна сажалъ, про горобчика рассказывалъ...

Не успѣлъ онъ опомниться, какъ изъ ближайшей балки показалась красновѣрая шапка массивной Паліихи.

— А онъ, тату, и пани полковникова,—шепчетъ дѣвушка, оправляясь на сѣдлѣ.

— А! чортъ несе сего Голяаа въ юпци!—ворчитъ Мязепа.

А у Паліихи въ торокахъ уже болтается огромный сѣрый волкъ.

— Якъ ваша работа, пане гетьмане?—спрашиваетъ Паліиха, грузно опираясь на сѣдло. — Я вже вовка сироманця, мовъ татарина, у полонѣ взяла.

— Добре, добре, пани... А мы—ничего ще не взяли...

— Мы лисичку впустили,—пояснила Мотренька.

— Такъ зайчика піймаєте,—улыбнулась Паліиха.

Наѣзжаютъ другіе охотники со всѣхъ сторонъ. У кого въ торокахъ заяцъ болтается, у кого лиса, у кого сѣрая остромордая сайга. Начинается оживленный говоръ, похвальбы, рассказы о небывалыхъ случаяхъ. А вдали все еще то протрубить рогъ, то дружно затавкуютъ собаки, то раздастся глухой выстрѣлъ...

Около гетмана уже большой кружокъ не только дворской молодежи, но и знатной войсковой старшины: Филиппъ Орликъ, генеральный писарь, Апостоль Данило, миргородскій полковникъ, Павло Полуботокъ, полковникъ черниговскій, молодой Войнаровскій, полковникъ полтавскій Иванъ Искра, и другіе.

— А! и у пана писаря лисичка,—обращается пани Паліева къ Орлику, серьезное лицо котораго и задумчивые сѣрые глаза, казалось, говорили, что онъ тутъ не по своей волѣ, а такъ—изъ политики.—Яка добра лисичка...

— А у пани добрый вовкъ, — лаконически отвѣчаетъ серьезный Орликъ.

— Симилия симилибузь,—добредушно замѣчаетъ Мазепа.

— А панови гетманови василиска не достае,—платить тѣмъ же находчивая Палиха.

Изъ лѣсу скачетъ казакъ въ ушастой вольчей шапкѣ и что-то машетъ руками. Это Охримъ, уже знакомый намъ, любимый хлопецъ стараго Палия. Онъ приближается къ панамъ и на всемъ скаку осаживаетъ коня.

— Ты що, хлопча?—спрашиваетъ его Палиха.

— Тамъ, у лиси, пани-маточка, наши хлопцы самого Карлу застукали,—радостно отвѣчаетъ Охримъ.

— Якого Карлу, дурню?

— Та самого жъ шевця Карлу—дванадцятаго чи тринадцятаго, чи-що... ведмедя застукали...

Такому рѣдкому гостю, конечно, всѣ обрадовались и двинулись къ лѣсу. Впереди всѣхъ ѣхала Палиха въ сопровожденіи Охрима, а за ними вся старшина съ молодежью. Мазепа не отпуская отъ себя ни на шагъ свою Мотреньку.

— А ты жъ, доню, не злякаешься?—заботливо спрашивалъ онъ.

— Ни, съ таткою я ничего не боюсь,—отвѣчала дѣвушка.

Выѣхали на полянку, съ трехъ сторонъ окруженную густымъ лѣсомъ. Въ дальнемъ углу полянки стояли два казака съ длинными ратищами въ рукахъ, словно часовые. Недалеко отъ нихъ темнѣлась куча хворосту, наваленнаго у корней столѣтняго дуба. Сквозь хворостъ, присыпанный снѣгомъ, проходилъ не то дымокъ, не то паръ: то была берлога медвѣдя—отъ дыханья его шелъ тотъ паръ, который можно было принять за дымокъ.

Всѣ остановились какъ вкопанные. Палиха сдѣлала знакъ, что она желаетъ вступить въ единоборство съ „шевцемъ Карлою двѣнадцатымъ“, такъ какъ это было ея неотъемлемое право. Мотренька было хотѣла протестовать, но Мазепа тихо остановилъ ее: „нехай, доню, — вона и чорта служе“...

Палиха сошла съ коня, отдала его Охриму, подозвала одного казака съ ратищемъ и взяла ратище изъ его рукъ. Сняла съ плеча двустволку, осмотрѣла ея курки, осмотрѣла длинное трехгранное желѣзное остріе ратища и пошла прямо къ берлогѣ. Въ нѣсколькихъ саженьяхъ отъ берлоги, на полянкѣ, росла старая осина, подъ которою Палиха и остановилась. Поднявъ затѣмъ комъ мерзлой земли, она швырнула имъ въ отверстіе берлогы, швырнула другимъ комомъ, третьимъ... Въ берлогѣ что-то засопѣло и завожилось. Захрустѣлъ хворостъ — и изъ берлоги высунулась черная остромордая голова, поводя ушами. Палиха опять бросила мерзлымъ комомъ прямо въ морду звѣрю. Медвѣдь замоталъ головой, выскочилъ изъ берлоги и, рыча, пошелъ прямо на „Голіаѳа въ юпкѣ“. Онъ шелъ быстро, переваливаясь всѣмъ грузнымъ тѣломъ своимъ и понурая голову, словно бы собирался драться съ бараномъ, лобъ объ лобъ. Палиха стояла какъ вкопанная, разставивъ ноги въ красныхъ съ подборами „сапьянцахъ“

и приложивъ двустволку къ правой щекѣ. Последовалъ выстрѣлъ. Пули, задѣвъ верхнюю часть головы медвѣдя, у праваго уха, засѣла гдѣ-то въ щеку. Медвѣдь страшно заревѣлъ и сталъ на заднія ноги, раскрывъ переднія мохнатая лапы словно для дружескихъ объятій. Страшно было видѣть это двуногое чудовище на короткихъ мохнатыхъ ногахъ, ступавшихъ такъ, какъ ступаютъ малыя дѣти, съ перевалкой, но плотно, грузно. Плотно стояла на своемъ мѣстѣ и Палиха, держа длинное ратище на перевѣсѣ. Едва медвѣдь приблизился на разстояніе ратища, какъ сильная рука Палихи уже всадила его въ грудь звѣря. Звѣрь запатался было, но въ тотъ же моментъ, схвативъ древко ратища передними лапами, самъ какъ бы началъ вдавливать его въ себя, такъ что оно прошло насквозь его тѣла и вышло въ спину... Медвѣдь двигался по ратищу, наизывая на него свое страшное тѣло... Вотъ лапы его уже не далеко отъ рукъ Палихи... вотъ-вотъ обнимутъ ее... Но страшная баба разомъ выпускаетъ изъ рукъ конецъ ратища, медвѣдь падаетъ съ нимъ на-четвереньки, а Палиха новымъ выстрѣломъ изъ двустволки пробиваетъ черепъ своего противника... Медвѣдь не устоялъ—и, ткнувшись мордой въ землю, распластался словно копра черной шерсти.

Мотренька съ испугомъ ухватила за руку Мазепы... „Охъ, таточко!“

Тутъ только присутствующіе опомнились, какъ бы очнувшись отъ временнаго оцѣпенѣнія, и бросились поздравлять побѣдительницу. А Палиха, „низенько вклоняясь“ панамъ и обращаясь къ Мазепѣ, сказала:

— Прошу нана гетьмана не погордувати моимъ подарункомъ: нехай кожухъ оцего дядьки буде грити гетманьскій педаггическія нижки.

Мазепа моргнувъ сивымъ усомъ, поморщился, но любезно отвѣчалъ: „Падамъ до ножекъ паньскихъ“...

— Тѣ-те-те!—засмѣялась Палиха:—я не ляховка, не пани Фальбовска... у мене ноги велики, а панъ гетьманъ любе нижки малюсеньки...

Всѣ засмѣялись, не зная только, на какую пани Фальбовскую намекаетъ Палиха; но Мазепа зналъ: онъ догадался, что злобная баба не даромъ язвить его, намекая на давно забытый грѣхъ молодости, когда... когда...

И передъ старыми глазами его встала картина давно забытой молодости—цѣлый рядъ картинъ, отодвинутыхъ отъ него на десятки лѣтъ, на полное столѣтіе!..

Эхъ, молодость, молодость! безумная молодость!..

Кто этотъ юный, ловкій, гибкій какъ червонная таволга, на черномъ конѣ, освѣщенный майскою луной украинской ночи, пробирается къ темному саду пана Фальбовскаго? Привычная лошадь чуть слышно, словно кошечка на бархатныхъ лапкахъ, пробирается къ калиткѣ сада и останавливается какъ вкопанная. Съ шитаго шелками сѣдельца соскакиваетъ гибкій юноша, и когда луна упала на его лицо, то освѣтила тѣ же самыя изогнутыя брови надъ тѣми же самыми ласковыми, не то черзуръ добрыми, не то лукавыми глазами, которые теперь смотрятъ на убитаго

медвѣдя—только тѣ глаза, и брови, и все лицо, и русые усики, освѣщенные луной, на пятьдесятъ лѣтъ моложе этихъ, что смотреть на убитого медвѣдя и на Палиху.

Да, это все онъ же подѣхалъ къ саду пана Фальбовскаго, онъ, Мазепа, но только не гетманъ съ семьюдесятью годами и цѣлымъ историческимъ, именно „мазепинскимъ“ цикломъ украинской исторіи на плечахъ, съ подагрою и хирагрою въ придачу къ этому циклу, съ дружбою могучаго Петра новороссійскаго на тѣхъ же плечахъ, съ цѣлымъ коробомъ лукавства, обмановъ, козней, казней, кровавыхъ битвъ и клятвopеступленій,—а Мазепа-пажъ, ловкій, дерзкій, лживый, только-что удаленный отъ двора Іоанна-Казимира за шляхетскій гоноръ не у мѣста, за горячность, за буйство, за обнаженіе сабли въ королевскихъ покояхъ...

Какъ глубоко тѣломъ тотъ, пажъ, и какъ лукавъ умомъ этотъ, гетманъ, что стоитъ рядомъ съ Мотреньюкою и глядитъ на убитого медвѣдя!..

Передъ пажемъ какъ бы сама-собою открывается настежь калитка сада. Пажъ входитъ въ прямую, освѣщенную луной, аллею и поворачиваетъ въ узкую боковую аллею. Навстрѣчу ему идетъ что-то закутанное легкой тканью. При приближеніи пажа ткань спадаетъ съ этого чего-то, и луннымъ свѣтомъ освѣщается прелестнѣйшая чернокудрая головка... „Сердце мое! душа моя“!..

И тихо-тихо въ саду, тихо всю ночь до зари — только лягушки проквакали до утра въ ближнемъ пруду, да соловей, самъ не вѣдая зачѣмъ, а можетъ просто отъ бессонницы, надрывался всю ночь въ густомъ кусту крыжовника, да въ голубомъ павильонѣ слышались иногда не то стоны, не то шопотъ страстный, не то жаркіе поцѣлуи—не то все это вмѣстѣ... О, безумная молодость!

А, вотъ и другая такая же ночь проносится передъ семидесятилѣтними очами гетмана...

Тотъ же пажъ Мазепа пробирается къ тому же саду. Все такъ же свѣтитъ луна-сводница, все такъ же квакаютъ лягушки въ пруду, все такъ же не спится соловью, и онъ трещить-надрывается... Вотъ Мазепа уже у калитки—сходитъ съ коня... — „Кто идетъ!“ кричитъ кто-то надъ самымъ ухомъ юноши—и шесть, а то и болѣе сильныхъ рукъ схватываютъ его словно клещами... „А, негодяй! ты къ моей женѣ!“ узнаетъ Мазепа голосъ пана Фальбовскаго.—„Нѣтъ... нѣтъ!“ отрицаетъ несчастный...

И юный пажъ, раздѣтый донага, привязанный на спину своей лошади головою къ хвосту, мчится по степи, освѣщаемый майскою луной... О, безумная молодость!..

Мазепа гетманъ вздрагиваетъ...

— Вамъ холодно, тато?—участливо спрашиваетъ Мотренька.

— Холодно, доню,—отвѣчаетъ гетманъ, отмахиваясь отъ воспоминаній молодости.—И скучно якосъ, серденько мое, охъ скучно!

— Чого жъ бы вамъ, тату, скучно?

— Охъ доню, доню!.. Одинъ я, одинъ якъ перстъ...

--- А я у васъ, татуню.

— Э!.. ты не моя... тебе скоро визьмутъ у мене... И останусь я, мовъ ота былинка въ поли...

Они тихо йхали снѣжнымъ полемъ—и Мазепа указаль на сухой стель травы, одиноко торчавшій изъ-подъ снѣгу: „Ото я, доненько, ота былиночка“... Дѣвущкѣ невыразимо стало жаль его—такъ хотѣлось плакать, обхватить эту сѣдую, одинокую какъ былинка голову — и плакать, плакать надъ нею...

— А про яку то пани Фальбовську, тато, казала Палиха?—спросила дѣвущка помолчавъ.

— Та то вона такъ, серденько, сама не зна що меле.

И въ лукавыхъ глазахъ гетмана выразилось что-то большее, чѣмъ лукавство, что-то холодное и злое. Кто зналъ эти глаза, тотъ навѣрное догадался бы, что рано-ли, поздно-ли не одобровать тому, кто вызвалъ на глаза гетмана этотъ злой холодъ, что этимъ взглядомъ въ его сердцѣ уже подписано роковое рѣшеніе: выкопать исподволь глубокую-глубокою яму и столкнуть въ нее и Палиху за ея намеки и гордость, и ея мужа, старого Палия, ставшаго гетману на дорогѣ, столкнуть такъ, какъ онъ столкнулъ своего благодѣтеля, гетмана Самойловича.

VI.

Съ того дня, какъ Петръ въ Воронежѣ опустилъ въ могилу гробъ Митрофанія и оплакалъ его, а Мазепа, въ Батуринѣ, на охотѣ, признался крестницѣ своей, Мотренкѣ Кочубеевой, что любитъ ее, но какъ—дѣвущка этого не поняла,—съ того дня, въ теченіе трехъ лѣтъ, многое измѣнилось и на Украинѣ обѣихъ сторонъ Днѣпра.

Правобережная Украина, вызванная къ жизни народнымъ гениемъ Палия, давно осиротѣла: не стало у нея „батька“ старого, не стало съ нимъ и доброй „пани-матки“, которая одна ходила на медвѣдя и на тура. Правобережною Украинною распоряжались уже, попеременно, то поляки, то шведы, то русскіе, смотря потому, кто кого выгонялъ оттуда силою оружія.

Куда же дѣвался старый „батько“, оплакиваемый казаками?

А вонъ послушаемъ, что говоритъ народъ, толкающійся на рынкѣ въ Вѣлой Церкви. Рынокъ пестрѣетъ народомъ какъ поле цвѣтами: тутъ и истые украинцы-казаки, и польскіе жолнеры, и московскіе рейтары, слоняющіеся отъ группы къ группѣ, отъ шинка къ шинку, и скучающіе по родинѣ...

— Эхъ! кабы да не этотъ шведъ проклятый, давно бы мы дома были!

— Да, толкуй! ево, чорта, и ладономъ не выкуришь...

Вниманіе скучающихъ рейтаровъ привлекаетъ одинъ украинецъ, совсѣмъ голый, но въ высокой смушковой шапкѣ набекрень. Вмѣсто рубахи и штановъ на немъ красуется полотенце, расшитое красными узорами и обмотанное вокругъ голаго тѣла такъ, какъ это принято у новозеландцевъ.

Онъ стоитъ около сидящаго на землѣ слѣпого нищаго съ бандурою въ рукахъ и въ чемъ-то упрасиваетъ его. Рейтары тоже подходятъ.

— Та заспивай бо, старче Божій!—упрашиваетъ голякъ.

— Та про кого?—спрашиваетъ слѣпецъ.

— Та про батька жъ Палія заспивай, голубе сивый!

— Та спивайте бо, дядьку! Чого боитесь!—упрашиваютъ другіе, собравшіеся кучкой около старца. — Мазепа не почуе, а почуе, такъ послуха...

— Та намъ що Мазепа! Мазепа не нашъ, винъ тогобочный!—протестуютъ новые голоса. — Спивайте, дядьку!.. Онъ и москали послушаютъ (это къ рейтарамъ,—рейтары улыбаются дружелюбно).

— Спой, дѣдушка, не бойся: мы свои люди! — говорить одинъ рейтарь.

— Вашей вѣры мы—православные, подтверждаетъ другой.

Слѣпой нищій—это тотъ лирникъ, котораго мы уже видѣли въ Батуринѣ на дворѣ у Кочубеевъ—не поднимая своей старой, слѣпой головы, тихо перебираетъ пальцами по струнамъ бандуры. Вдругъ онъ начинаетъ мотать головой изъ стороны въ сторону, словно бы плакать ему захотѣлось, быстро перебѣгаетъ лѣвой рукой по ладамъ бандуры и скрипучимъ старческимъ голосомъ заводитъ:

Ой, не знавъ, не знавъ проклята Мазепа, якъ Палія взяли,
Ой, ставъ же, ставъ проклята Мазепа на бенкетъ запрошати:

„Ой, прошу тебе, Семене Палію, по чаши вина пити“.

— „Ой, брешешь, брешешь, вражій сыну, хочешь мене згубити“.

— У! иродова Мазепа!— не вытерпѣлъ голякъ, нашъ старый знакомый, казакъ Голота, до сихъ поръ оплакивающій свою Хиврю и пропивающій все, что бы ни попалося ему подъ руку.—А таки изгубивъ, бисивъ сынъ!

Другіе слушатели посмотрѣли на Голоту, сочувственно покачали головами, но молчали. Въ нѣмомъ молчаніи ихъ держала бандура лирника, который, продолжая качать головою, вытренькивалъ на своихъ говорливыхъ струнахъ то, что сейчасъ пропѣлъ горломъ. Затѣмъ опять тотъ же говорокъ:

А тамъ Максимъ Искра сидитъ, про Мазепу добре знае,
Палієви Семенови оттакъ промовляє:

„Ой, годи, Семене Палію, въ Мазепы вина пити,
Ой, хоче Мазепа проклята тебе вбити“.

Снова умолкаетъ старый голосъ и снова слышится только треньканье бандуры.

Кто не слышалъ пѣнія кобзаря въ Малороссіи, гдѣ-нибудь на рынкѣ или, въ праздничный день, на улицѣ, на свободной громадской сходкѣ, тотъ не въ состояніи будетъ представить себѣ, какое неотразимое вліяніе имѣетъ эта простая, дѣтски-наивная поэзія на слушателей, какъ могущественно властвуетъ надъ сердцемъ толпы безхитрое слово пѣсни, а

въ особенности ея музыка. Это особенная музыка—не пѣсенная, не хоро-водная, не уличная, а музыка „думъ“ и „духовныхъ стиховъ“: въ ней болѣею частью звучитъ глубокая грусть; въ ней для каждаго слушателя отчетливо плачетъ его собственное горе, — а у кого въ жизни не сидѣло оно на вороту въ той или иной формѣ!.. Мазепа погубилъ Палія: каждому жаль Палія; но въ плачѣ кобзаря о Паліѣ каждому слышится и свой плачъ: всѣ изъ этой толпы когда-либо плакали, — и въ плачѣ кобзаря непременно прозвучитъ для каждаго хоть одна нота этого, для каждаго „своего“ плаканья...

Вотъ почему такъ горько плачетъ Голота—конечно, спьяну немножко, но и не пьяному нельзя не плакать... Другіе не плачутъ потому, что стыдно; а пьяному не стыдно: за него плачетъ его пропащая жизнь, пропащая голова... Въ погибели Палія онъ переживаетъ похороны Хиври, когда и онъ былъ человѣкомъ, а не пропойцей...

А кобзарь, передохнувъ маленько, да покачавшись, да побренькавъ струнами безъ словъ, опять выговариваетъ:

Ой, пье Палій, ой пье Семень, да головоньку клонить,
А Мазепинъ чура Палію Семену кайданы готовить...

Толпа все больше и больше надвигается къ кобзарю. Уже затерлись въ ней и московскіе рейтары, и плачущій казакъ Голота. Всѣмъ хочется послушать этой „новой думы“— дума эта плачетъ о человѣкѣ, котораго многіе видѣли здѣсь и въ Бѣлой Церкви, знали его, любили... Не видать уже его сивой головы въ церкви, гдѣ онъ обыкновенно самъ пѣлъ на клиросѣ; не развѣвается его сивый усъ и на крѣпостной стѣнѣ; не слышно болѣе его голоса... Слышится только голосъ кобзаря:

Не давъ гетьманъ Палію Семену ни пити, ни исти,
Докиль не выславъ проклята Мазепа на столицу листы:
„Отто-жъ тобі, промовляе, царю, есть Палій изминникъ,
Винъ тебе хоче вже отступати, въ пень Москву рубити,
А самъ хоче вже на столиці царемъ царювати“...

Куда же въ самомъ дѣлѣ исчезъ Палій, о которомъ уже успѣла сложиться народная дума?

А вотъ гдѣ онъ, благодаря лукавству Мазепы, который успѣлъ-таки столкнуть его въ яму:—въ Сибири, въ Енисейскѣ, въ самомъ отдаленномъ изъ извѣстныхъ въ то время мѣстъ ссылки, на этомъ—буквально—концѣ свѣта, у выѣзда изъ города, стоятъ жалкая избушка, обнесенная высокимъ частоколомъ съ заостренными верхушками. Въ избушкѣ всего два окошечка, да и тѣ обращены куда-то на сѣверъ, въ невѣдомую для тогдашняго украинца область вѣчныхъ снѣговъ и вѣчной ночи. Недаромъ въ Украинѣ говорили, что царь, по доносу „проклятаго“ Мазепы, заточилъ Палія въ такую темницу, до которой только вороны разъ въ году долетаютъ на Спаса,

куда солнце доходить только разъ въ году — на Купалу, — заточилъ его въ эту темную темницу, а ключи отъ нея бросилъ въ море...

Избушка, въ которой поселили Палія въ Енисейскѣ, состоитъ изъ двухъ половинъ, раздѣленныхъ стѣнами. Въ той и другой половинѣ помѣстился сначала самъ Палій съ своимъ пасынкомъ Семашкою, котораго тоже постигла ссылка; а когда къ старику вмѣстѣ съ вѣрнымъ Охримомъ пріѣхала въ Сибирь и его мужественная „пани-матка“, то Семашко свое мѣсто у вотива уступилъ своей матери, а самъ съ Охримомъ переехалъ на другую, кухонную половину избышки.

Мучительно-тоскливую жизнь проводилъ въ своемъ заточеніи бѣдный старикъ, у котораго было отнято все—и родина, и родные, и его не родные, но дорогіе ему „дѣтки“ — казаки, которыхъ онъ выростилъ, выкормилъ, на коней посадилъ. Цѣлый край отняли у старика, край, имъ созданный на мѣстѣ кладбища, вызванный къ жизни изъ могилы, которая даже уже быльемъ поросла. Это было хуже плѣненія вавилонскаго: увведенные въ вавилонскій плѣнъ евреи не сами создали и оживили обѣтованную землю, они получили ее въ наслѣдство отъ предковъ, а Палій самъ создалъ и оживилъ правобережную Украину на мѣстѣ ужаснѣйшей пустыни, тѣмъ болѣе ужасной, что это была не Богомъ созданная пустыня, а „руина“, усыпанная развалинами городовъ, крѣпостей, церквей и усыпанная костями человѣческими, украинскими костями.

Въ далекой ссылкѣ старику ничего не оставили на память о родной сторонѣ, даже одежды—его одѣли въ одежду ссылнаго. Только какимъ-то чудомъ уцѣлѣла у него „хусточка“, вышитая украинскими узорами, и уцѣлѣла потому только, что когда въ Москвѣ, въ малороссійскомъ приказѣ, плѣннаго старика одѣвали въ московское арестантское платье, онъ плакать и этою „хусточкою“ утиралъ себѣ слезы... Въ Енисейскѣ, въ своей ссылной избышкѣ, онъ повѣсилъ эту „хусточку“ подъ образомъ Богородицы, „утоли моя печали“—и молился этому образу.

По цѣлымъ днямъ, бывало, старикъ и его товарищъ по изгнанію, молодой Семашко, сидятъ на берегу Енисея и вспоминаютъ о далекой родинѣ... Хотѣ бы птица залетѣла оттуда! Хотѣ бы пѣсню родную вѣтеръ принесъ съ Украины,—нѣтъ, ничего не слышать...

— На рѣкахъ вавилонскихъ, тамо сѣдохомъ и плакахомъ,—часто, бывало, вспоминаетъ старикъ этотъ стихъ изъ ветхозавѣтной поэзіи, и ему вспоминался другой старикъ, что тоже пятнадцать лѣтъ выжилъ въ Сибири и, возвращаясь на родину, за Дунай, благословилъ его, Палія, на „оживленіе костей человѣческихъ“...

И онъ оживилъ ихъ, а его самого, живого, заточили въ могилу...

— Да, истину, великую истину говорилъ Крижаничъ Юрій про Москву, —самъ съ собою разсуждалъ бывало старикъ.

Добровольный пріѣздъ въ ссылку жены и Охрима оживилъ старика. „Пани-матка“ привезла цѣлую „скриню“ всякаго добра изъ Украины, а что всего было отрадиѣ—это книги и разные хронографы малороссійскіе,

до которыхъ Палій былъ такой охотникъ. Чтеніе и слушаніе этихъ хронографовъ наполняли теперь всю жизнь ссыльнаго героя... Онъ любилъ слушать, когда читали, потому что старые глаза уже отказывались ему служить, хотя въ полѣ, на конѣ, онъ бы еще видѣлъ далеко, узналъ бы сразу и ляха и татарина, и мушкетъ его промаху бы не далъ... А въ книгѣ ужъ онъ ничего не видитъ...

Вонъ и теперь они сидятъ въ своей избушкѣ за какими-то тетрадками: это рукописныя „нотатки“, писанныя то тѣмъ, то другимъ книжнымъ человѣкомъ—будущіе источники украинской исторіи.

— А ну, любко, прочитай бо, якъ той чоловікъ пише про нашу Вкраину, коли вона була еще „руиною“,—говорить онъ, обращаясь къ женѣ, желая воскресить въ своей памяти незабываемую имъ сцену встрѣчи съ Юріємъ Крижаничемъ.

— Се що бъ тоди, якъ я не була ще твоею малжонкою?—спрашиваетъ пани-матка, перебирая лежащія на столѣ тетрадки и книжки.

— Та обь руини же—яка вона була до насъ съ тобою.

— Добре, добре, чоловіче.

И пани-матка, насадивъ на свой орлиный носъ огромныя, круглыя очки, напоминавшія стекла телескопа, развертываетъ одну тетрадку, перелистываетъ ее, шепчетъ что-то, головой качаетъ... А и въ этой мужественной головѣ, въ густыхъ волосахъ, попротянулись уже серебряныя нити... А все Мазепа!...

— Ось! найшла... И, поправивъ очки, пани-матка начала читать такимъ тономъ, какимъ въ церкви читаются только „страсти“.

„И прохода тогобочную, иже отъ Корсуня и Бѣлой Церкви Малоросійську Украину, потімъ на Волюнь и далѣй странствуя, видѣхъ многіе грады и замки безлюдные и пустыя, валы, негдысь трудами людськими аки холмы и горы высыпанные и тилько звѣремъ дикімъ прибіжищемъ и водвореніемъ сущіи. Муры зась, яко-то въ Чолганскомъ, въ Константиновѣ, въ Бердичевѣ, въ Збаражѣ, въ Сокалю, що тилько на шляху намъ въ походѣ войсковомъ лучилися, видѣхъ едни малолюдные, другіе весьма пустіи, разваленіи, къ землѣ прилинувшіе, заплеснялые, непотребнымъ быліемъ зарослы и тилько гнѣздящихся въ себѣ зміевъ и разныхъ гадовъ и червей содержашіе. Поглянувши паки, видѣхъ пространные, тогобочные, украинно-малоросійскіи поля и разлеглыя долины, лѣса и обширные садове, и красныя дубравы, рѣки, ставы и озера—запустѣлыя, мхомъ, тростіемъ и непотребною лядиною зарослые. И не всуе поляки жалѣючи утраты Украины онаю тогобочныя, раемъ свѣта польского въ своихъ универсалахъ ее нарицаху и провозглашаху, понеже оная предъ войною Хмѣльницкаго бысть аки вторая земля обѣтованная, медомъ и млекомя кипящая. Видѣхъ же къ тому на разныхъ тамъ мѣстахъ много костей человѣческихъ, сухихъ и нагихъ, тилько небо покровъ себѣ имущихъ, и рѣкохъ во умѣ: „кто суть сія?“

— О, бидна, бидна Украина! — шепчетъ старикъ подѣ чтеніе этихъ

украинскихъ „страстей“, а Охримъ, сидя въ углу, на лавкѣ, и думая, что въ самомъ дѣлѣ читають „святе письмо“, набожно крестится.

„Тѣхъ всѣхъ, еже рѣхъ, пустыхъ и мертвыхъ — продолжаетъ читать пани-матка—насмотрѣвшись, поболѣхъ сердцемъ и душою, яко красная и всякими благами прежде изобиловавшая земля и отчизна наша Украина Малороссійская, въ область пустынь Богомъ оставлена, и насельницы ея, славніи предки наши, безвѣстни явишася“...

— Такъ, такъ... Оттака жъ вона була, ся руина, якъ я вперше посетивъ ии и того Крижанича зустрівъ,—сказалъ Палій, качая сивою головою.—Така-жъ, така... тихо було, голосу чоловічьеского нечути, тилько небо синє та могили зъ витромъ розмовляли.

— А теперъ, яке добро!—съ горечью замѣтила пани-матка.

— Добро-то воно, мамо, добро, та коли-бъ Мазепа его зновъ руїною не зробивъ,—пояснилъ Семашко, который, сидя у открытаго окошечка, задумчиво глядѣлъ на Енисей.

Наступила опять тишина въ избушкѣ; слышно было только, какъ вздыхалъ Охримъ, которому тѣсно и душно было въ этой клѣткѣ и которому даже во снѣ грезилось постоянно, какъ они бывало, тихонько отъ батька Палія, на ляховъ ходили.

Но вдругъ Охримъ захохоталъ. Всѣ посмотрѣли на него съ удивленіемъ: ужъ не съ ума-ли онъ сошелъ отъ тоски? Сидитъ себѣ въ углу и хохочетъ, ухватившись за бока.

— Ты чого, Охрime?—спросила пани-матка.—Здуривъ?

— Та я ничего, пани-матка, такъ...—И хохолъ снова залился самымъ искреннимъ смѣхомъ.

— Та чому ты радий, дурню!—удивлялась Паліиха.

— Та Голоту згадавъ.

— Ну?... що жъ Голота?... Голота добрый чоловікъ, хоча й п'яный.

— Та не гоже казати пани-матка.—И Охримъ застыдился. — Се я, бачъ, такъ—здуря.

— Отъ дурный, а ще козакъ...

— Та я ничего,—оправдывался тотъ.—Онъ вони, батько, знають (и онъ указалъ на Палія).

— Що таке, Охрime?—спросилъ тотъ.—Що я знаю?

— Та якъ Голота ляхамъ дорогу показувавъ.

Палій тоже улыбнулся, и Охримъ былъ радъ, что развеселилъ старика, на лицѣ у котораго давно никто не видалъ улыбки. Это заинтересовало и Паліиху.

— А якъ-же-жъ винъ показувавъ?—спросила она мужа.

— Та по-козацьки... Ишовъ польскій regimentъ пидъ Хвастовымъ, та не знавъ дороги. А Голота зъ козаками сино косивъ — стоги вершили, такъ винъ на стогу стоявъ. Его й пытають ляхи—де дорога на Лабунь. А Голота й показавъ де-що таке, що ляхи его трохи не вбили за те, та други козаки не дали...

Охримъ не утерпѣлъ и опять покатился со смѣху.

— Ото дурный!—смѣялась и Паліха.

— Не винь дурный,—замѣтилъ старикъ,—а панъ региментарь: винь до мене универсалъ приславъ, що Голота ему—*„juxta suam barbariam rusticam, in honeste tergiversationem ostendit“*—такъ въ универсали и написавъ, мовъ Цесарь сенату.

— Ну-вже я вашон бурсацькой рѣчи не розумію,—сказала Паліха.

Въ это время въ сѣняхъ что-то застучало и высморкалось. Всѣ взглянули на дверь—кому бы тамъ быть? Охримъ схватился съ лавки, подошелъ къ двери, но дверь сама отворилась, и на порогѣ показалась лысая голова съ остатками сѣдыхъ болтающихся за ушами косичекъ. Въшедшій былъ старикъ лѣтъ шестидесяти, съ лицомъ, обезображеннымъ оспою, съ глазами, косившимися такъ, что никто никогда не зналъ, куда они глядятъ и что видятъ. Одѣтъ онъ былъ въ желтый нанковый кафтанъ, подпоясанный широкимъ какъ у попа кушакомъ, въ нанковыя-же грязно-зеленыя штаны, убранныя въ сапоги изъ некрашенной юфти. Войдя въ избу, онъ, повидимому, глядя въ лѣвый уголъ, перекрестился на правый, передній, гдѣ въ углу, въ золотой ризѣ, блисталъ образъ Покрова Богородицы, увѣшанный узорчатыми полотенцами. Кланяясь образу, онъ сильно встряхивалъ косичками и то же дѣлалъ, привѣтствуя хозяина и хозяйку.

— Миръ дому сему и здравіе,—сказала лысая голова, глядя не то въ потолокъ, не то подъ лавку.

— Дякуемъ... благодаримо на добромъ словѣ, батюшка Потапичъ,—поспѣшила Паліха.—Просимо жаловати и сѣсти—гостемъ будете.

— Не до гостинъ, матушка полковница,—отвѣчалъ лысый.—По дѣльцу пришелъ къ батюшкѣ Семенъ Ивановичъ отъ воеводскаго товарища.

Всѣ вострепнулись, переглянулись, снова оглядѣли пришедшаго съ ногъ до лысой маковки, какъ бы желая въ его фигурѣ прочесть — на истыканномъ оспою лицѣ и въ бродячихъ глазахъ прочесть было нечего — съ добрыми или худыми вѣстями пришелъ онъ. На ветхомъ, иконномъ ликѣ Палія только осталось прежнее выраженіе—застывшая въ рѣшимость покорность всему, что бы ни случилось, потому что отъ судьбы, какъ и отъ жизни, уже ждать нечего. На мужественномъ лицѣ пани-матки, умягченномъ несчастіями, засвѣтилась другая рѣшимость—рѣшимость борьбы, словно бы предстояло единоборство съ туромъ или медвѣдемъ. На молодомъ лицѣ Семашки блеснула надежда. Добродушное лицо Охрима выразило то, что оно всегда выражало при видѣ москаля: „съ москалемъ дружи, а камень за пазухою держи“.

— А по какому дѣлу, Потапичъ? — спросилъ Палій, немного помолчавъ.

— Да оно, дѣльцо-то, батюшка Семенъ Ивановичъ, безъ касательства, безо всякаго касательства... Привели къ воеводѣ это нонѣ нѣкоего яко-бы бродягу—сказать-бы варнакъ, такъ вѣтъ, ноздри не рваны и клеймъ на емъ никакихъ не обрѣтается, а все сумнительной человѣкъ.

— Так какое-жъ мое къ оному бродягѣ касательство есть?

— Не касательство, батюшка, не касательство, а единственно для-ради той причины, что оный реченный бродяга рѣчию своею явѣ себя творить, яко-бы онъ черкасской породы.

— А какъ зоветь себя?

— Въ томъ-то, батюшка Семенъ Ивановичъ, и загогулинка: оный невѣдомый старецъ именуетъ себя гетманомъ малороссійскимъ и запорожскимъ.

— Гетьманомъ!—не утерпѣла пани-матка:—Мазепою! Да якъ же такъ!

— Не вѣдаю, матушка... А древній, зѣло древень мужъ.

— И очі якъ у василиска и аспида?

— Не видывалъ, матушка, ни аспида, ни василиска, а токмо въ священномъ писаніи чель: „на аспида и василиска наступиши и попереши льва и змія“...

У пани-матки глаза метали искры: воображаемый врагъ стоялъ передъ нею. И Палій казался встревоженнымъ.

— Дакъ что жъ я-то до него и онъ до меня?—спросилъ онъ въ раздумьи.

— Можетъ, батюшка Семенъ Ивановичъ, признаешь его личину—кто таковъ есть онъ,—отвѣчалъ лысый, шмыгая косыми глазами по угламъ избы.

— Добре. Ходимо до воеводы.

— Онъ не у воеводы, батюшка, а въ воеводской канцеляріи за приставы.

Палій сталъ собираться: накинулъ на себя кунтушъ, привезенный женою изъ Укаины, взялъ палку, шапку, перекрестился и направился къ дверямъ.

— И я, Потапычъ, съ вами,—нерѣшительно сказала Паліиха:—чи можно жъ?

— Можно, можно, матушка,—отвѣчалъ подъячій:—дѣло не секретное. Да у насъ тутъ, въ Сибири, не то что въ Москвѣ—у! тамъ звѣри, а не люди... Въ оно время, еще при блаженной памяти царѣ и великомъ государѣ всея Русіи, при осударѣ Алексіи Михайловичѣ, бывалъ я на Москвѣ—соболей возили въ казну,—такъ видѣлъ московскіе приказные порядки—и не приведи Господь Богъ!—оберуть какъ липку, да и лапотки изъ тебя сплетутъ, да еще и наглумятся: „лапотокъ-де ты, лапоточекъ плетеный, ковыряный“... А у насъ, въ Сибири—рай не житье: живи вольно, никто тебя персогомъ не тронетъ...

Охримъ при этихъ словахъ даже плюнулъ съ досады.

— Бывывалъ я на Москвѣ и при царевнѣ Софій Аликсѣвнѣ съ дьякомъ сибирскаго приказу Семишуровымъ, и оную царевну зрѣлъ—въ ходахъ шла,—продолжалъ словоохотливый подъячій,—красавица изъ себя! Лицомъ бѣла, станомъ полна, аки крупичата, матушка, и глаза съ поволокой... И бывывалъ я, государи мои, на Москвѣ и ранѣй того, блаженная памяти при царѣ Алексіи Михайловичѣ всея Русіи: въ ту пору еще вашего гетмана Демка Игнатенкова Многогрѣшнова къ намъ, въ Сибирь, провожали, народу на Москвѣ онаго, яко измѣнника, показывали, Охотнымъ рядомъ водили, и Охотный рядъ на его плевалъ, и „гетманишкой“ и вся-

кими скверными и неподобными словами ругалъ. А у насъ здѣсь не то — у насъ рай...

Такъ проболталъ подъячій всю дорогу, вплоть до воеводской канцеляріи.

Войдя въ канцелярію, Палій останоѵился: онъ пораженъ былъ тѣмъ, что увидѣлъ; голова его затряслася, все тѣло его дрожало, и онъ, казалось, готовъ былъ упасть...

— Кого я вижу, Боже всеильный! — съ ужасомъ проговорилъ онъ. — Ты ли это, Ивасю, друже мой и искренній!

— Я — Божію милостію Іоаннъ Самуїловичъ, Малороссіи обѣихъ сторонъ Днѣпра и Запороговъ великій гетьманъ, — отвѣчалъ тотъ важно, гордо поднимая голову.

Палій со слезами бросился обнимать его, бормоча: „Боже праведный! Боже! Ивасю мій“!..

Странный видъ представляла та невѣдомая личность, которая назвала себя гетманомъ Самойловичемъ и которая такъ поразила Палія.

Это былъ очень ветхій, дряхлый, согнувшійся старикъ, хотя широкія плечи и кости, обтянутыя желтой, испаленной солнцемъ кожей, обнаруживали, что это останки чего-то крѣпкаго, коренастаго, нѣкогда мускулистаго и мужественнаго. Высокій лобъ, на половину закрытый космами сѣдыхъ, спутавшихся волосъ; сѣрые съ какимъ-то блуждающимъ огнемъ глаза, смотрѣвшіе изъ-подъ нависшихъ, какъ у старой собаки, сѣдыхъ бровей; сѣдые усы, длиннѣе, чѣмъ такая же сѣдая борода, бѣлыми жгутами спадавшіе на грудь, прикрытую рубищемъ; мертвенно-худое лицо, оживленное быстрыми, гордыми, какими-то повелительными глазами, — все это вмѣстѣ съ лохмотьями и огромнымъ чекмаремъ въ правой рукѣ невольно поражаѵ.

При видѣ сцены, послѣдовавшей за входомъ Палія, изумленіе приковало къ мѣсту и косога подъячаго, который стоялъ у порога, растопыривъ руки и пальцы и не зная на чемъ остановить свои бродячіе глаза, и часового, стоявшаго у дверей съ старинною, ржавою до коричнеѵости алебардою, и приземистаго, съ двойнымъ подбородкомъ и двойнымъ животомъ на широко-разставленныхъ ногахъ воеводскаго товарища, вышедшаго изъ другой двери и остановившагося съ разинутымъ ртомъ... Тутъ же стояла Паліиха и крестилась...

— Иванъ Самуїловичъ! что съ тобою приключилося? Ты живой еще, дяковати Бога! — говорилъ Палій, протягивая руки. — Обнимемся, друже.

Странный старикъ продолжалъ сидѣть, держа чекмарь въ правой рукѣ.

— Обнимемся, обнимемся, Семене, — сказалъ онъ, наконецъ, спокойнымъ голосомъ. — Подержи булаву! — обратился онъ повелительно къ часовому, протягивая чекмарь: — сей есть клейноть войсковый.

Часовой повиновался, изумленно поглядывая то на воеводскаго товарища, то на косога подъячаго.

— Теперь обними мене, Семене... Ты давно съ Запороговъ?.. Что мои козаки?.. Повертаются изъ Крыму? Гдѣ обрѣтается нынѣ съ войскомъ

московскимъ бояринъ князь Василій Васильевичъ Голицынъ?.. Какіе указы, слышно, получены отъ великихъ государей Іоанна и Петра Алексѣевичей и правительницы царевны Софіи Алексѣевны?—спрашивалъ странный старикъ, обнявъ Палія и вновь принимая чекмарь изъ рукъ часового.

Палій понялъ, что предъ нимъ только тѣнь его школьнаго товарища и друга, впоследствии славнаго гетмана Ивана Самойловича,—тѣнь, живущая памятью прошлаго, слѣпая и глухая ко всему, что теперь ее окружало... Счастливое безуміе! завидно несчастному это безуміе,—безуміе, когда память и потерянный разсудокъ застыли на картинахъ счастливаго прошлаго, на воспоминаніяхъ золотой поры молодости и съ ней—могущества и славы... И въ умѣ Палія горько прозвучали слова, за нѣсколько часовъ до этого прочитанныя ему женой въ рукописной тетрадкѣ „лѣтописцевъ козацкихъ“, въ которыхъ говорится о превратностяхъ судьбы бывшаго гетмана Самойловича: „и за тую гордость и пыху скаранъ отъ Господа zostалъ, же перше отъ чести великой отдаленъ и якъ якій злочинца зъ безчестіемъ на Москву голо проваженъ, а напотомъ маестности и скарбы, которые многіе были, усе отобрано, въ которыхъ мѣсто великое убожество осталось, вмѣсто роскоши—срочная неволя, вмѣсто каретъ дорогихъ и возниковъ—простой возокъ, телѣжка московская съ поводникомъ, вмѣсто слугъ нарядныхъ—сторожа стрѣльцовъ, вмѣсто музыки позитивовъ—плачь щоденный и нареканія на свое глупство пыхи, вмѣсто усѣхъ роскошей панскихъ—вѣчная неволя“...

Палій заплакалъ. Чужое горе, и притомъ такое, было для него жестооче его собственнаго.

Онъ не зналъ, что отвѣчать на эти вопросы своего безумнаго друга, и молчалъ, не отнимая отъ глазъ „хусточки“, которую подала ему жена.

— Такъ ты, полковникъ Семенъ Ивановичъ Палій, признаешь сего человѣка,—спросилъ воеводскій товарищъ, подходя къ плачущему старику и кладя ему на плечо свою жирную, съ сердоликовымъ въ алтынъ величиною на указательномъ пальцѣ перстнемъ, и красную руку.

Палій отнялъ отъ глазъ платокъ и, казалось, не понималъ, что ему говорили. Глаза были заплаканы.

— Признаешь сего человѣка?—повторилъ воеводскій товарищъ, показывая головою на страннаго старика.

— Признаю, бояринъ,—тихо отвѣчалъ Палій.

— Кто жъ онъ таковъ есть именемъ и званіемъ?

— Бывый малороссійскій гетманъ Іоаннъ Самуйловичъ.

— Какъ бывый, Семене!—перебилъ безумецъ.—Вожю милостію Іоаннъ Самуйловичъ, Малороссію обихъ странъ Діѣпра и Запороговъ великій гетманъ.

— Гетманъ, точно великій гетманъ,—повторилъ Палій, горестно качая головою.

— Онъ былъ сосланъ въ Сибирь? — продолжалъ воеводскій товарищъ.

— Сюда, въ Сибирь, а въ какой городъ оной—то мнѣ не вѣдомо, бояринъ..

— А давно-ли то было?

— Давно... о, вельми давно... Я тогда былъ еще въ Запорогахъ.

— То было року тысяща шестьсотъ восемьдесятъ седьмого,— добавила Паліха.

— О! девятый-на-десять годъ уже—давно, давно,—говорилъ воеводскій товарищъ, качая головой.—Но невѣдомо какъ онъ попалъ сюда.

Потомъ, обращаясь къ самому Самойловичу, онъ спросилъ:

— Господинъ гетманъ, въ какомъ городѣ находился ты въ ссылкѣ?

— Какъ въ ссылкѣ! кто меня ссылалъ!—отвѣчалъ тотъ гордо. —

Меня еще недавно государыня царевна Софія Алексіевна грамотою похвалила.

— А гдѣ ты былъ теперь?—продолжалъ воеводскій товарищъ.

— Мы съ бояриномъ князь Василиемъ Василіевичемъ Голицынымъ въ Крымъ ходили.

— А нынѣ гдѣ твоя милость обрѣтается?

— Нынѣ... нынѣ я не знаю... Вчера мы у Великому Лузи были, и я сына Грицька выслалъ на той бокъ Днѣпра до Сѣчи зъ войскомъ,—бормоталъ несчастный, силясь что-то припомнить,—вѣроятно то, что произошло послѣ этого рокового „вчера“—и не могъ; на этомъ роковомъ днѣ обрывалась нитка его памяти и его разсудка.

Только Палій и его жена знали событія этого рокового дня, слѣдовавшаго за роковымъ „вчера“. Нѣсколько часовъ назадъ еще, сегодня же, Палій, грустно качая головой, слушалъ какъ пани-матка черезъ свои огромныя очки нараспѣвъ читала „лѣтописца козацкаго“:

„И якъ пришло войско малороссійское на Кичету, и тамъ старшина козацкая — обозный, асаулъ и писарь войсковый Иванъ Мазепа и иные преложеные, видячи непорядокъ гетманскій у войску и кривды козацкія, же великіе драчи и утѣсенія арендами, написали челобитную до ихъ царскихъ величествъ, выписавши усѣ кривды свои и людскіе и зневагу, якую мѣли отъ сыновъ гетманскихъ, которыхъ онъ постановлялъ полковниками, и подали боярину Василию Василіевичу Голицыну, просячи позволенія перемѣнити гетмана Ивана Самуйловича, которую заразъ принявши, бояринъ скорымъ гонцомъ послалъ на Москву до ихъ царскихъ величествъ. На которую челобитную пришелъ указъ отъ ихъ царскихъ величествъ и войско засталъ на Коломацѣ, гдѣ бояринъ ознакомилъ старшинѣ козацкой и нарадившись зъ собою, оточили сторожею доброю гетмана на ночь: а на свѣтанню, пришовши старшина козацкая до церкви, и узали гетмана зъ безчестіемъ, ударивши, и отдали Москвѣ. И заразъ сторожа московская, усадивши на простыя колеса московскія, а сына гетманскаго Якова на коницу худую охляпъ безъ сѣдла, и проводили до московскаго табору до боярина, и тамъ узали за сторожу крѣпкую... И такъ того часу скончалося гетманство Ивана Самуйловича поповича и сыновъ его, ко-

торый на урядѣ гетманства роковъ пятнадцать zostаваль и мѣсяцъ“...

— Видишь самъ, бояринъ, въ какомъ онъ несчастномъ состояніи ума?— тихо спросилъ Палій, показывая на Самойловича.

— Вижу, полковникъ, вижу—не въ своемъ умѣ.

— Что жъ вы съ нимъ учините?

— Самъ не знаю... Отпишу обо всемъ на Москву—буду ждать указу.

— Такъ, такъ... А какъ онъ попалъ сюда?

— Найдены бекетами и доставленъ въ Енисейскъ.

— А далеко найденъ и какъ?

— Верстъ за сто, а то и болѣе будетъ... Сказывалъ бекетнымъ, что заблудился якобы у Запорожья и ищетъ свое войско...

Палій грустно покачалъ головой. А Самойловичъ, задумчиво вертя въ рукахъ чекмарь—воображаемую гетманскую булаву, бормоталъ про себя:— Одна надія у меня на писаря, на Мазепу... разумна и правдива голова... Мы съ нимъ у шоры уберемъ прокляту Москву...

— А поки до указу, бояринъ, отдай его мнѣ на поруки, — по-прежнему тихо сказалъ Палій.

— Винъ, небога, може, давно голодный,—пояснила Палиха.

— Такъ, такъ,—соглашался бояринъ:—по человѣчеству жаль его.

— Коли не жаль! Подивиться на его...

А несчастный продолжалъ бормотать, витая своимъ безуміемъ въ прошломъ:

— Мазепа и сыновъ моихъ добру и письму научилъ... Мазепа и се и те... О! голова Соломоновой мудрости!..

— Такъ вы его одпустите до насъ, господинъ бояринъ?—не отставала пани-матка.

— Отпущаю, матушка, отпущаю: поберегите его...

— Мы доглядимо, никуды не пустимо.

— Да и куда ему, матушка, отсель уйтить! Сторонка не близкая...

— Такъ, де вже ему уходитъ! хiba въ домовину...

— Ну, матушка, до домовины ему далеко—поди тысячь шесть верстъ будетъ.

Пани-матка улыбнулась.

— Домовина—се гробъ по нашему,—сказала она.

— А!—удивился бояринъ:—вотъ языкъ чудной! Гробъ у нихъ домовина... Да оно и вправду, матушка,—гробъ есть наша вѣчная домовина...

Самойловича увели наконецъ, прибѣгнувъ къ маленькому обману. Палій показалъ видъ, что передъ нимъ настоящій гетманъ и постоянно обращался къ нему съ словами: „пане гетьмане“, „ясневельможный“, „батьку козацкій“ и т. п. Онъ поддерживалъ въ немъ его тихое, спокойное заблужденіе, что они теперь находятся въ Украинѣ, на Днѣпрѣ, не далеко отъ Запорожской Сѣчи, а именно на хуторѣ у Палія. На Енисей безумецъ смотрѣлъ какъ на Днѣпръ...

— А, Днипро батьку, здоровъ бувъ!—привѣтствовалъ онъ голубую, широкую ленту воды при видѣ Енисея, когда подходилъ къ невольному

жилью Палія.—Ото добре будетъ, какъ поплывуть тутъ чайки козацкія да въ море выйдуть! Они тамъ будутъ Царь-градъ мушкетнымъ дымомъ окуривать, а мы тутъ у Крыму ордѣ чосу задамо.

— Задамо, задамо,—подтверждалъ Палій, грустно опуская сѣдую голову.

Они вошли въ избу.—Вотъ и куринь мой, пане гетьмане,—говорилъ Палій.—Добрый, добрый куринь, —бормоталъ безумецъ. Ему представили Симанка и Охрима.

— А Мазепа гдѣ?—спохватился безумный.

Палій смѣшался было—вопросъ засталъ его врасплохъ. Но пани-матка выручила своей находчивостью.

— Мазепа универсалы пише, пане гетьмане,—сказала она.

— А! универсалы... добре, добре... У Мазепы перо соловьиное... у... мастеръ писать, собачій сынъ!.. На тотъ часъ какъ мы съ Дорошенкомъ на перахъ войну вели, Мазепа золото былъ для мене: такого, було, спотыкача у листу надрыпа, що у Дорошенка, було, ажъ шкура заболить... „Ознаймучи“, було, вверне, да „здирства вшеляки“, да латинескою рѣчию, мовъ перцемъ, пересыплеть—такъ у вражого сына Дорошенка одъ такого листа ажъ очи рогомъ... Золото, а не писарь Мазепа...

Палій замѣтилъ, что въ памяти несчастнаго прошлое сохранилось нетронутымъ и представлялось въ послѣдовательномъ и логическомъ порядкѣ; въ картинахъ прошлаго воскресалъ и потерянный разсудокъ его, сказывалась и ясность представленій; но въ настоящемъ былъ хаосъ и полное забвеніе всего, что происходило уже за предѣлами этого свѣтлаго круга. Старики вспомнили даже, какъ они юношами учились въ кievской коллегіи и какъ, несмотря на дружбу, на глубокую, можно сказать, взаимную привязанность, они были непримиримыми врагами тамъ, гдѣ дѣло касалось первенства: и тотъ и другой хотѣлъ быть первымъ въ коллегіи и потомъ—на зсей Украинѣ. Будучи оба одарены богатыми способностями, они быстро усвоивали все, что касалось знанія, обогащенія памяти научными свѣдѣніями,—и вѣчно воевали изъ-за перваго мѣста въ классѣ.

— Цесарь, Цесарь, собачій сынъ, этотъ Мазепа, —бормоталъ Самойловичъ, который въ ссылкѣ, повидимому, совсѣмъ усвоилъ велико-русскую рѣчь и все на нее сбивался:—настоящій Цесарь—*veni, vidi, vici*...

— А помнишь, друже, какъ мы съ тобою въ коллегіи хотѣли оба бути цесарями?—наводилъ Палій на прошлое.

— Какъ не помнить!.. „Лучше быть первымъ на Украинѣ, чѣмъ вторымъ за партою въ коллегіи“—это ты жъ выгадалъ,—задумчиво улыбался Самойловичъ, не разставаясь съ своимъ чекмаремъ.

— Я, я... Только не удалось мнѣ быть первымъ на Украинѣ,—продолжалъ Палій, тоже впадая въ русскую рѣчь. — А вотъ ты былъ первымъ...

— Какъ былъ! Я и поднесъ первымъ остаюсь: Дорошенка отправилъ туда, гдѣ козамъ рога правятъ.

Палій спохватился, понявъ свою ошибку.

— Такъ такъ, точно первый ты на Украинѣ, пане гетьмане...

— Ты... признайся теперь, Семене, съ досады на меня и на тотъ бокъ Дѣйбра ушелъ? а?—лукаво допрашивалъ безумецъ. — Не осиливъ Іоанна Самуйловича?.. а?

— Правда, правда—по зависти ушелъ...

— И скучна, пустынна должна быть оная „руина“? а?

— Была пустынна, теперь тамъ рай земный, страна обѣтованная, текущая медомъ и млекомъ... Тамъ бы и умереть...

И у Палія защемило сердце отъ одного воспоминанія объ отнятомъ у него краѣ—о новомъ царствѣ Украинскомъ... Хвастовъ, Паволочъ, Погребичи, Бѣлая-Церковь—эта „новая Троя“, какъ ее назвалъ Рейнгольдъ Паткуль,—все это, какъ пестрая лента, протянулось въ памяти старика и выдавило слезы изъ глазъ.

— А вотъ что, Семене,—снова началъ безумецъ:—мы съ тобою отвоюемъ эту правобережную Украину у ляховъ, а потомъ (безумецъ оглядѣлся по сторонамъ—не подслушалъ бы его кто) отложимся отъ проклятой Москвы, поставимъ новое царство Украинское: я буду царемъ сегобочнаго царства Украинскаго, ты же, Семене, царемъ тогобочнымъ, какъ бывало въ коллегіи за партою: и я и ты первый... И будетъ у насъ два царства, како двѣ Іудеи, либо царство Римское и Византійское... А Москва намъ не помѣха: она нынѣ сама съ собою не справится... Да и у нея на сей часъ два царька, два младенца—Іоаннъ да Петръ, коими баба, дивчина, заправляетъ аки мамка...

Слушая безумца, Палій горестно улыбался: пусть-де утѣшается передъ смертью несчастный, у котораго горе вычеркнуло изъ жизни и изъ памяти двадцать лѣтъ страданій, двадцать долгихъ лѣтъ, въ продолженіе коихъ у Палія и у Самойловича успѣли пожелтѣть сивыя бороды, а изъ младенца Петра выросъ великанъ, который топчетъ своими побѣдоносными ногами не только сегобочную и тогобочную Украину, но и все балтійское и варяжское побережье съ Корелією и Ингерманландією... Куда безумнымъ старцамъ тягаться съ этимъ великаномъ, у котораго и силы и замыслы непомѣрны какъ его ростъ!

Пани-матка между тѣмъ и добрый Охримъ хлопотали по хозяйству, чтобы успокоить и накормить дорогого гостя, безумнаго гетмана своего. Съ него сняли лохмотья и дали ему чистую сорочку и иную одежду, взятую у Семашка, такъ какъ платье тщедушнаго и маленькаго тѣломъ, хотя могучаго духомъ Палія было не по плечу коренастому, хотя тоже теперь сторбенному и пригнутому къ землѣ, нѣкогда гордому вельможному гетману. Семашко притащилъ живой рыбы на обѣдъ—досталъ у рыбаковъ на Енисеѣ. А безумецъ все не разставался съ своимъ чекмаремъ-булавою даже тогда, когда Палій переодѣвалъ его... Украдетъ... украдетъ этотъ собачій сынъ, Петрушка Дорошонокъ, какъ его покойный царь Алексѣй Михайловичъ въ грамотѣ обляялъ—хочется ему моей булавы,—пояснѣлъ несчастный.

Увидавъ на столѣ неприбранную по нечаянности тетрадку „лѣтописцевъ козацкихъ“, Самойловичъ взялъ ее и, шурясь старческими своими близорукими глазами, началъ перелистывать.

— А, „лѣтописецъ козацкій“... Того жъ року... того же року зима велика была,—шепталъ онъ, перелистывая тетрадку.—А! вотъ и обо мнѣ пишутъ—гетманъ Иванъ Самуйловичъ... Такъ, такъ... „Того же року тысяща шесть сотъ семьдесятъ восьмого“... О! давно сіе было — десять лѣтъ назадъ... Ну, ну, почитаемъ: „Того жъ року, іюля 10-го, войска великія подступили турецкія съ визиремъ Мустафою подъ Чигиринъ съ тяжарами великими“... Такъ, такъ... это объ чигиринскомъ походѣ, когда проклятый Дорошенко турокъ на Украину призвалъ... Ну — „а войско его царскаго величества съ княземъ Ромодановскимъ и гетманомъ Иваномъ Самуйловичемъ переправилось того часу черезъ Днѣпръ, нижей Вужина, на поля чигиринскія“... О... помню, помню: трудное то было время—не мало полегло въ полѣ козаковъ... А все проклятый Дорошенко, да и Юрасько Хмельницкій тамъ былъ...

Перелистывая тетрадку, онъ прищурился къ одной страничкѣ и задумался.

— Объ комъ бы сіе писано было, о какомъ гетманѣ?—удивлялся онъ.

— Что такое, пане гетьмане? —тревожно спросилъ Палій, догадываясь съ ужасомъ, что безумецъ наткнулся на ту именно роковую страницу, гдѣ описывалось его собственное, Самойловича, паденіе.—Что тамъ писано? Да будетъ тебѣ, пане гетьмане, читать,—поговоримъ лучше.

И Палій хотѣлъ какъ-нибудь тихонько стащить эту злочастную тетрадку.

— Нѣтъ, постой, постой, Семене,—не давалъ безумецъ:—о комъ бы сіе писаніе?... „И оточили сторожею доброю гетмана на ночь (читалъ онъ, водя пальцемъ по строкамъ), а на свѣтани, прійшовши старшина козацкая до церкви, и узали гетмана зъ безчестіемъ, ударивши, и отдали Москвѣ. И заразъ сторожа московская, усадивши его на простыя колеса московскія, а сына гетманскаго Якова на коницу худую охляпъ безъ сѣдла, и провадили до московскаго табору“...

Несчастный остановился и смотрѣлъ на Палія безумными глазами. Онъ, казалось, хотѣлъ что-то припомнить — и не могъ... Вотъ-вотъ, кажется, что-то припоминаеть... Ночь такая жаркая... Слышятся окрики часовыхъ... А тамъ утромъ шумъ на площади, крики: „давай гетмана сучого сына! кіями его, злодѣя!“... Лошадь... кого-то ташутъ... кто-то бьетъ въ ухо: кажется, это его бьютъ, гетмана Ивана Самуйловича... Нѣтъ — это сонъ!.. И телѣжка московская—сонъ...

Несчастный мучительно силится припомнить что-то — и мозгъ его не слушается—память отлетѣла... Какіе-то осколки въ памяти—жаркая ночь и крики—только... Что жъ послѣ было, утромъ? кого везли на телѣжкѣ?.. Кого били по уху и по щекѣ?—Его, Божю милостію гетмана Іоанна, —

нѣтъ, не можетъ быть!... А, кажется, били... щека и теперь какъ будто горитъ...

— А красная у меня, Семене, лѣвая щека? — дико глядя на Палія, спрашиваетъ несчастный...

— Нѣту, пане гетьмане, не красная, — дрожа всѣмъ тѣломъ, отвѣчаетъ Палій.

— То-то... а горитъ... это я сегодня во снѣ видѣлъ, что меня кто-то въ щеку ударилъ... на московской телѣжкѣ везли меня... Вотъ какой сонъ!

— Всякіе сны бываютъ, пане гетьмане.

— Да, да... а горитъ щека...

Въ это время изъ избу вошла пани-матка, вся раскраснѣвшаяся, съ засученными за локти рукавами шитой сорочки. Она „поралась“ въ кухнѣ, готовила обѣдъ дорогому гостю, ясновельможному гетману обѣихъ половинъ Украины.

— А я вже и обидати наварила, пане гетьмане! — весело сказала она. — Заразъ буду дорогого гостя частувати чимъ Богъ пославъ у московскій неволн...

Палій строго взглянулъ на жену, и она, спохватившись, прикусила свой говорливый, бойкій языкъ. Она тотчасъ же собрала на столѣ все, что на немъ лежало, въ томъ числѣ и предательскаго „лѣтописца козацкаго“.

Несчастный гетманъ, впрочемъ, услышавъ слово „обидати“, забылъ опять все—и прошедшее и настоящее: онъ ощутилъ только одно чувство теперь—это мучительное, чисто животное чувство голода, который томилъ его—онъ и самъ не помнитъ сколько ужъ дней и ночей... Въ безумцѣ проснулось животное, и онъ жадно ждалъ обѣда...

За обѣдомъ ѣлъ онъ съ алчностью идиота, молча и какъ будто со злобой пожирая огромные куски хлѣба, рыбы, обжигаясь горячимъ и давясь неразжевываемою беззубымъ ртомъ пищею. Съ свѣсившимися на лицо прядями сѣдыхъ волосъ, пасмы коихъ полузакрывали его впалыя, какъ у мертвеца, щеки; съ глазами, горѣвшими безумнымъ огнемъ изъ-подъ сѣдыхъ, длинныхъ, словно собачьихъ бровей; со ртомъ, набитымъ пищею,—онъ походилъ на звѣря или озвѣрѣвшаго, одичалаго человѣка...

И Палій, и пани-матка, и Семашко, и Охримъ съ глубокимъ сожалѣніемъ и какою-то боязнію смотрѣли украдкой на несчастнаго и почти ничего не ѣли. Подъ конецъ обѣда онъ сталъ ѣсть спокойно, не такъ तो-ропливо. Влѣдное лицо немножко утратило свою мертвенную безцвѣтность. Глаза стали добрѣе, осмысленнѣе.

— А теперь высьемо по чарци сливянки за здоровье пана гетьмана! — провозгласила пани-матка. — Я зъ Украины привезла-таки сіен доброй горилки не одну пляшечку... Охримъ, щобъ не отняли іи москади, визъ пляшечки за пазухою.

— Та въ штаняхъ,—пояснилъ добросовѣстный Охримъ.

Палій опять сдѣлалъ женѣ глазами знакъ насчетъ „Украины“ да „москалей“. Пани-матка поняла намекъ и замолчала.

Выпили по чаркѣ. Самойловичъ совсѣмъ ожилъ, даже какъ будто выпрямился, выросъ. Выпили по другой—и гетманъ тотчасъ-же охмѣлѣлъ: усталость, голодъ, теперь съ избыткомъ удовлетворенный, и душевное истомленіе взяли свое... Старикъ скоро уснулъ, сжавъ свою воображаемую булаву обѣими руками, и долго спалъ, иногда бормоча во снѣ безсвязныя рѣчи: „Мазепа золото—не писарь“... „Украинское торгобочное царство“... „украинскій царь“... „щека горитъ“...

Проснувшись, онъ не скоро узналъ Палія—все какъ-то дико всматривался въ него, потомъ спросилъ, гдѣ онъ, гдѣ Мазепа, и успокоился, когда ему отвѣчали, что Мазепа универсалы пишетъ. Подойдя къ окошку и увидавъ Енисей, спросилъ, что за рѣка? Ему опять отвѣчали, что Днѣпръ. Онъ сказалъ, что хочетъ пойти на берегъ—посмотрѣть, скоро-ли его „казачи на чайкахъ приплывутъ, чтобъ идти Крымъ и Царь-градъ плюндровать“...

Вышли на берегъ. Лѣтнее солнце клонилось уже къ западу. За Енисеемъ далеко тянулись темныя лѣса, высились сѣрыя съ темною же зеленою горы. Надъ рѣкою носились и „кигикали“ чайки—точно въ самомъ дѣлѣ это Днѣпръ... То же голубое небо, то же теплое, даже жаркое, какъ и у Перекопа солнце, та же трава подъ ногами, что и въ Кіевѣ, у Крепятицкаго спуска... Все то же—тотъ же одинъ невидимый Богъ раскинулъ и надъ Кіевомъ съ Днѣпромъ и надъ Енисейскомъ съ Енисеемъ этотъ голубой шатеръ, убралъ землю свою зеленою, набросалъ въ нее цвѣтовъ, а съ цвѣтами набросалъ помежъ людей счастья, горы счастья, а дьяволъ, тотъ что въ Печерскомъ монастырѣ, „во образѣ ляха“, бросалъ на немолящихся людей свои цвѣты—„лѣпки“,—этотъ завистникъ отъ вѣка набросалъ помежъ людей горя горстями, цѣлыя горы горя набросалъ...

Гетманъ въ нѣмомъ умиленіи остановился надъ рѣкою—глядя на небо, на далекое зарѣчье, на рѣку, на воду, на водныя струи, катящіяся къ сѣверу!.. Къ сѣверу!..

— Что это такое дѣлается?—съ изумленіемъ и ужасомъ сказалъ гетманъ, глядя на воду, а потомъ глянулъ на небо, на солнце, опять на воду.—Что это?! Днѣпръ не туда побѣжалъ... не на полдень, а на полночь... Господи!.. что жъ это такое?

Палій поблѣднѣлъ и задрожалъ на мѣстѣ... Гетманъ глянулъ на него, на свой чекмарь, оглядѣлся кругомъ... Палію казалось, что онъ видитъ, какъ у безумца волосы на головѣ шевелятся... Онъ ужъ, кажется, опять не безумецъ... понялъ все... все вспомнилъ!..

— Такъ это былъ не сонъ... не сонъ... Меня били въ щеку—гетмана били... Вотъ ужъ двадцать годовъ горитъ отъ пощечины щека гетманская... О! проклятый Мазепа!.. это онъ...

И Самойловичъ, уронивъ чекмарь, упалъ ничкомъ, какъ ребенокъ, стукнулся головою въ песчаный берегъ и зарыдалъ...

— О, мои дѣтки!.. О, проклятый Мазепа... о-о!

Палій, поднявъ глаза къ небу, перекрестился и безнадежно махнулъ рукой... А небо было такое же голубое какъ и надъ Украиною, надъ Киевомъ, надъ Мазепою...

VIII.

Что же дѣлалъ въ это время Мазепа, котораго гдѣ-то въ далекой Сибири, въ невѣдомомъ ему городѣ, проклинали люди, занимавшіе не послѣднее мѣсто въ воспоминаніяхъ его долгой, какъ дорога до Сибири, жизни?

Что думалъ онъ въ то время, когда одинъ изъ этихъ проклинавшихъ его, самый несчастный, колотился головой о песчаный берегъ Енисея и тщетно звалъ къ себѣ тѣни дорогихъ сыновъ своихъ, тоже погубленныхъ Мазепою?

Мазепа думалъ о скорой женитьбѣ своей, о хорошенькой Мотренкѣ, о томъ, какія у нихъ пойдутъ дѣти отъ этого „малжонства“, о томъ, какъ онъ надѣнетъ на свою сивую семидесятилѣтнюю голову и на черненькую головку Мотренки вѣнцы, да не церковные, не вѣнчальные, а маестатные, настоящіе владѣтельные вѣнцы... И дѣтки его отъ Мотренки будутъ расти въ порфирахъ да виссонахъ... Вѣдь она его любитъ—„сама сказала и рученьку биленькую дала“...

Задумавъ жениться и не получивъ еще согласія на этотъ бракъ родителей невѣсты, онъ по какому-то сродственному сѣпленію мыслей вспоминалъ, что и у него есть мать, о которой онъ рѣдко думалъ, хотя и продолжалъ побавиваться—единственное существо въ мірѣ, которому Мазепа не могъ смотрѣть прямо въ глаза и робость передъ которой не вышибли изъ него долгія семь съ половиною десятилѣтій жизни. Можетъ быть онъ потому побаивался матери, что это опять-таки было единственное существо въ мірѣ, которое знало, что Мазепа всю жизнь фальшивилъ и лукавилъ—лукавилъ отъ первыхъ проблесковъ въ немъ сознанія, лукавилъ отъ колыбели. Она замѣтила начала этого лукавства въ своемъ „Ивасѣ“ еще тогда, когда „Ивасъ“ спалъ въ колыбелькѣ, убаюкиваемый усыпительными дѣтскими пѣсенками и еще не имѣлъ своей кровати. Она замѣтила, что „Ивасъ“ не любилъ засыпать подъ колыбельную пѣсню, а любилъ, лежа въ своей „колысочкѣ“, играть золотыми мишурными кистями, спускавшимися отъ верха колыбели и развлекавшими его. Мать часто наблюдала за ребенкомъ и подсмотрѣла, что, когда его начинали качать и монотонно пѣть—„у котика, у кота колысочка золота“, онъ скоро закрывалъ глаза и, повидимому, засыпалъ; но тотчасъ же оказывалось, что онъ притворялся, чтобъ только скорѣй перестали его качать и оставили его съ любимыми „пацами“—кистями. Притворство и лукавство росли въ „Ивасѣ“ съ годами, и эти качества тѣмъ болѣе укоренялись въ немъ, что развитіе ребенка совершалось подъ двумя несходными нравственными вліяніями: отецъ, старый шляхтичъ Мазепа, души не чаялъ въ своемъ „Ивасѣ Коновченкѣ“,

какъ онъ называть будущаго казаккаго „лыцаря“, и до крайности баловалъ его; а мать, вспоенная немножко молокомъ польской культуры, мечтала выработать изъ своего сына „уродзонега паняча“ съ лоскомъ, граціей и манерами отборнаго панства. Способный и смѣтливый мальчикъ гнулъся и въ ту и въ другую сторону словно угорь, обманывалъ мать, которая была баба не промахъ, попадался въ просакъ, вился передъ нею какъ змѣенышъ, а потомъ, когда мать окончательно пристроила его ко двору короля Яна-Казимира, гдѣ тоже приходилось виться и такъ и этакъ,— юный Мазепа окончательно превратился въ нравственно-безпозвоночное существо. Лукавить, притворяться, лгать—стали его природой, и онъ такъ выхолилъ въ себѣ лукавую душу, что самъ иногда не сознавалъ, лукавить онъ или дѣйствуетъ искренно. Эта внутренняя присосная къ душѣ лукавость въ свою очередь выработала и вѣтшіе органы для своего проявленія, превративъ образъ Мазепы въ какіе-то неувольнимые лики — именно лики, нѣсколько ликовъ, а не лицо: ликъ кротости, цѣломудрія, смиренно-мудрія, терпѣнія и любви передъ сильными міра сего, ликъ добродушія и даже простоватости передъ равными и ликъ милого бѣса, котораго не отличишь отъ ангела—передъ прекраснымъ поломъ; и только старость уже наложила на эти лики печать какой-то угрюмости, да и то въ моменты лишь его одиночества и раздумья. Оттого Петру онъ казался добрымъ, уминымъ и преданнымъ старикомъ, полякамъ казался своимъ братомъ шляхтичемъ, а женщины были отъ него безъ ума,—и только народъ, дѣти и собаки сторонились отъ его глазъ, какъ ни старался онъ сдѣлать ихъ добрымъ и ласковымъ. Одна мать хорошо видѣла эту бѣсовскую трипостасность своего чадушка подъ всѣми соусами, потому что изучила съ пеленокъ этого чадушка, и чадушка побавлялся своей матушки. Зато вдали отъ матушки — а онъ былъ всегда вдали отъ нея — онъ лукавилъ вездѣ и всегда: передъ москалями прикидываясь ихъ покорнымъ и строго-исполнительнымъ орудіемъ, передъ поляками рисуясь своими симпатіями къ польской культурѣ, передъ православнымъ духовенствомъ воздвигая храмы и давая въ монастыри большіе вклады, передъ католиками лаская ихъ таинственными недомолвками. Онъ лукавилъ и передъ собой и передъ Богомъ—лукавилъ на молитвѣ, стоя дольше на колѣняхъ передъ образами, чѣмъ того желало бы его лукавое сердце и подагрическія ноги. Зная это, хитрая старуха-мать, увидавъ, бывало, своего сына-гетмана, какъ онъ, заходя иногда въ Фроловскій монастырь, гдѣ его матушка была игуменьей, распинается на людяхъ передъ Спасителемъ въ терновомъ вѣнцѣ, бывало нѣтъ-нѣтъ да и шеннетъ, проходя мимо молящагося гетмана:

— Ивасю! али ты не знаешь, что у Бога очи лучше моихъ?.. Я, и то вижу, а онъ...

Вотъ и теперь передъ женитьбой онъ надумалъ навѣстить эту вѣдмугматушку и испросить у нея родительскаго благословенія, тѣмъ болѣе, что, возвращаясь изъ похода съ правобережной Украины на лѣвобережную, онъ заѣхалъ въ Кіевъ какъ для свиданія съ кіевскимъ воеводою княземъ

Дмитріємъ Голицынымъ, такъ и для закупки подарковъ и приданого для своей невѣсты.

Мазепа пріѣхалъ въ монастырь въ богатой берлинѣ съ двумя сюрдюками позади. Лицо его послѣ продолжительнаго похода по Задѣпровской Украинѣ для возстановленія покорности въ бывшей Паліивщинѣ казалось усталымъ, несмотря на густой загаръ, наложенный на него южнымъ солнцемъ, что еще болѣе выдавало сивизну его головы и усовъ, ставшихъ въ послѣдніе три года совсѣмъ бѣлыми, чисто серебряными. Такимъ же серебромъ отливала пара отличныхъ сѣрыхъ коней, запряженныхъ въ берлину, обитую внутри малиновымъ бархатомъ, къ которому и была прислонена лукавая сивая голова гетмана.

Выйдя изъ берлины онъ направился по монастырскому двору, пестрѣвшему всевозможными цвѣтами, прямо къ кельѣ игуменѣ. Встрѣчавшіяся ему монашенки робко и низко кланялись не, глядя на него, а попавшаяся на пути кудластая черная собака, взглянувъ въ добрые глаза гетмана, поджала хвостъ и словно укушенная августовскою мухою бросилась подъ ближайшее крыльцо. Далѣе попалась молоденькая чернышка съ большими черными глазами—хотѣла, повидимому, ихъ спрятать, но не успѣла: вспыхнула, поклонилась и тоже какъ собака юркнула въ сторону. Мазепа проводилъ ее глазами и вступилъ на знакомое крыльцо.

Въ сѣняхъ не оказалось никого, въ первой просторной кельѣ—тоже. Окна открыты въ садъ. Пахнуло запахомъ цвѣтущей липы и листьями увядающей розы—это на окнѣ, на листѣ сивей бумаги сушились розовые лепестки на солнышкѣ. Въ сосѣдней кельѣ сквозь полуоткрытую дверь слышны голоса.

— Я, бабуся, принесу котикъ червонную ленточку на шею, — щебечетъ дѣтскій голосокъ.

— Червонную нельзя, дитятко,—отвѣчаетъ старческій голосъ.

— Отчего, бабуся?

— Котикъ живетъ въ монастырѣ, а въ монастырѣ ничего червонаго нѣтъ.

— А цвѣты, бабуся?

— То цвѣты божьи сами червонные, а носить на себѣ червонаго нельзя.

— Та котикъ же, бабуся, не монахъ...

Мазепа улыбнулся и тихо отворилъ дверь; онъ все дѣлалъ тихо, какъ-то неожиданно, словно пугалъ.

— Те-те-те! старе и мале котикомъ забавляются,—сказалъ онъ, входя во вторую келью.

Въ этой кельѣ, просторной, свѣтлой, съ богатыми образами въ переднемъ углу и съ цвѣтами на окнахъ, въ глубокомъ креслѣ, на подобіе ниши, сидѣла старушка, повидимому, глубокой старости. Она была въ монашескомъ одѣяніи, хотя по келейному, но съ перламутровыми чотками на правой рукѣ, и вязала чулокъ. Маленькое, отъ-старости сжавшееся личико

было необыкновенно бѣло, такъ что едва отличалось отъ такихъ же бѣлыхъ, сухихъ и мягкихъ какъ ленъ волосъ, выбившихся изъ-подъ чернаго платочка, охватывавшаго всю голову. Сухой, горбатый какъ у кобчика носъ, острый, кверху поднявшійся подбородокъ, полное отсутствіе губъ, давно и безвозвратно втянутыхъ беззубымъ ртомъ, и небольшіе сѣрые, круглые какъ у птицы глаза, — невольно приковывали вниманіе къ этимъ живымъ останкамъ человѣка. Но что особенно было въ глаза, такъ это черныя брови, непонятнымъ образомъ уцѣлѣвшія среди общаго отцвѣтанія этого ветхаго существа и придававшія какую-то молодую живость птичьимъ глазамъ.

У ногъ старушки забавлялся огромнымъ клубкомъ чернѣйшій котикъ, а около него на полу же сидѣла дѣвочка лѣтъ двѣнадцати-тринадцати, одѣтая по городскому, въ бѣлой съ узорами сорочкѣ и въ голубой юбкѣ.

Послѣ перваго восклицанія Мазепа подошелъ къ старушкѣ, низко наклонилъ голову и подставилъ почти къ самому носу маленькаго съжившагося существа обѣ ладони пригоршней для благословенія.

— Благословите, мамо и матушка игуменья, — сказалъ онъ тихо, опустивъ глаза.

Старушка подняла свои, сдѣлала головой движеніе, какъ бы клонула клювомъ Мазепу, положила на колѣни чулокъ, снова клонула и благословила, гремя чотками.

— Во имя Отца и Сына... Богъ благословить...

— Живеньки-здоровеньки, мамо? — спросилъ гетманъ, цѣлуя руку матери.

— Живу... Вотъ послѣднія панчошки плету себѣ для дороги на тотъ свѣтъ, — и она указала на чулокъ. — Далекая дорога!

— Далекая, мамо, далекая... только Богъ дастъ еще поживемъ.

Старушка махнула сухой ручкой.

— Что ужъ обѣ насъ!.. А вотъ какъ ты, сынку, живешь?

— Да мы, матушка, сейчасъ изъ походу — до Львова доходили, всю тогочасную Украину ускумнили, а то Палій ее избаловалъ ни за что... Заѣзжалъ и до дому — до вашихъ маестностей...

— А! пусто тамъ?

— Нѣтъ... Только хлопы того дуба срубали, что вы посадили въ день моего рожденія.

Старушка вздохнула и молчала. Мазепа тотчасъ перемѣнилъ разговоръ.

— А! и Оксанка тутъ! — ласково обратился онъ къ дѣвочкѣ. — У! какая большая стала дивчина... А очи, ай батюшки, еще больше стали... Ухъ, боюсь-боюсь Оксанкиныхъ очей...

Дѣвочка размѣялась, взяла кошку на руки и стала ее гладить.

— Такъ червоную ленточку ему нельзя? — улыбаясь, шутилъ Мазепа.

— Нельзя, грѣхъ... А я ему бѣленькую, шелковую стричечку привесу, — заговорила дѣвочка.

— Ну, добре. А что батько, старый Хмара?

— Татко до Запорожжа поехали съ козаками.

— А мати, въ городѣ?

— Мама дома.

— Ну, скажи матери, что я буду къ ней въ гости: пускай ковбаски готовить.

Болтая съ дѣвочкой, Мазепа украдкой поглядывалъ на мать. Та, съ своей стороны, молча вяжучи чулокъ, нѣтъ-нѣтъ да и клонитъ сына, да опять въ чулокъ спрячетъ свои птичьи глаза.

Но надо было начать о дѣлѣ, а при дѣвочкѣ нельзя, не годится о такомъ важномъ дѣлѣ при постороннихъ говорить. Мазепа взглядываетъ сначала на мать, потомъ на дѣвочку. Ждать некогда...

— Ну, Оксанка,—говоритъ онъ ласково:—возьми, дивчинко, котика да пойдѣ поиграй съ нимъ у садочку.

Дѣвочка поднимаетъ на него свои большіе сѣрые глаза.

— У! яки очи велики! боюсь-боюсь ихъ! бѣги отсюда!

Дѣвочка съ котомъ на рукахъ выбѣжала изъ кельи, а мать Мазепы, положивъ чулокъ на колѣни, устремила на сына безмолвный вопросительный, скорѣе испытующій взоръ... „Что онъ задумалъ? О чемъ намѣренъ лгать и для чего? Или въ первый разъ въ жизни хочетъ правду сказать?“—говорили пытливые глазки матери-игуменьи.

Мазепа пододвинулъ къ ногамъ матери складную кожаную табуретку и опустился на нее. Съ минуту и тотъ и другая молчали. Мазепа сидѣлъ, опустивъ голову и устремивъ глаза на колѣни матери, на чулокъ, бѣлѣвшійся на нихъ. Въ памяти у него мелькнуло свѣтлой искоркой, какъ онъ маленькимъ сидѣлъ бывало на этихъ колѣняхъ и игралъ дорожными ожерельями, блестящими на бѣлой точеной шеѣ матери. Какъ давно это было! Не видать теперь и шеи бѣлой, да и какая она теперь!.. А мать, глядя на сѣдую, наклоненную голову сына, тоже вспомнила бѣлокуренькую головку Иваса... Сѣдая ужъ и она, да какъ сѣда!... Такъ и сжалось старое сердце—руки дрогнули...

Мазепа наклонился, взявъ эти маленькія, сухія, сморщенные руки и сталъ цѣловать ихъ... Еще больше дрогнули руки.

— Что, Ивасю?.. Что съ тобой, сынокъ?—дрогнувъ голосъ у старушки.

„Ковалику-ковалику! скуй мени пичку, такую невеличку“... доносился со двора веселый напѣвъ Оксанки.

Мазепа выпрямился и глянулъ въ глаза матери. Онъ прочелъ въ нихъ давно, почти никогда невиданную нѣжность, и въ сердцѣ у него шевельнулось что-то острое... „И я бы былъ добрѣе, если бъ эти глаза добрѣе были“,—сказалось у него въ душѣ какъ-то невольно.

— Матушка! благослови меня на доброе дѣло,—выговорилъ онъ наконецъ нервнѣе.

— На доброе дѣло я всегда благословлю тебя,—отвѣчала игуменья.—Какое жъ это дѣло, сынку?

— Я хочу въ малжонство вступить—жениться.

— Жениться! въ твои годы!.. А сколько тебѣ?

И старушка стала нетерпѣливо перебирать чотки, какъ бы считая годы, десятилѣтія. Голова ея дрожала, впалый ротъ жевалъ что-то, круглые глаза стали еще круглѣе... У Мазепы межъ бровями прошла складка—та историческая складка, которую замѣтилъ разъ и царь Петръ Алексѣевичъ, когда во время одного буйнаго пира, разгоряченный виномъ и неловкимъ замѣчаніемъ Мазепы, онъ дернулъ гетмана за сивый усъ; замѣтилъ эту складку и Палій передъ тѣмъ какъ Мазепа велѣлъ его заковать въ желѣза... Онъ не отвѣчалъ на вопросъ матери.

— Восьмой десятокъ давно... не позднехонько-ли, сынку?—продолжала старушка.

— Не въ лѣтахъ, матушка, дѣло... Аще въ силахъ,—говорить святое нисѣмо... Могій вмѣстити, да вмѣститъ,—сказалъ онъ рѣзко.

— Такъ-то такъ... Ну да это твое дѣло... Ты не мала дитина—обдумалъ поди... Тебѣ жить...—Старушка какъ-будто смягчилась и снова взяла чулокъ въ руки.—А кого вздумалъ взять?

— Кочубеивну...

Старушка откинулась назадъ, заторопилась и спустила петлю. Сначала она не знала что сказать и то глядѣла на сына, то на чулокъ, какъ-бы со стороны ожидая разрѣшенія своего недоумѣнія.

— Кочубеивну!.. Дочку Кочубея Василя!.. Да онъ самъ тебѣ въ дѣти годится...

— А хоть-бы и во внуки... Моя воля...—У Мазепы голосъ становился рѣзче и складка между бровями обозначалась явственнѣе: лицо его превращалось въ тотъ ликъ, котораго пугались дѣти и собаки.

— А которую это изъ нихъ?

Мазепа на это не отвѣчалъ, а точно оборвалъ басовую струну у гитары:

— Матрону!

Старуха рванулась было встать, но ноги ея не слушались—она ихъ только поджала подъ кресла.

— Да ты Лоть что-ли!—оборвала въ свою очередь старуха.

— Не Лоть—Лоть былъ святой человѣкъ, а я просто Мазепа гетманъ,—отвѣчалъ онъ ужъ съ спокойной злостью.

— Дочь-то свою брать себѣ въ жены!..

— Она мнѣ не дочь, а крестница.

— Все равно содомскій грѣхъ... хуже еще—она твоя духовная дщерь...

Мазепа всталъ и началъ ходить по кельѣ. Лицо его было сурово. Глаза, смотрѣвшіе изъ-подлобья, изъ-поръ сѣдыхъ нависшихъ бровей, казались, были не его, да и смотрѣли все какъ-то въ бокъ, точь-въ-точь глаза собаки, которую рванули сзади за икры, а она, не успѣвъ отмстить врагу, косо озирается, какъ-бы нища, на комъ сорвать злость.

— Боже мой! Боже мой!—говорила сама съ собой старушка:—и когда умереть въ немъ эта похотливость проклятая!.. Съ дѣтства такой: покою-камъ ни одной не давалъ проходу... Тамъ съ этой Фальбовской связался...

Еще милостивъ былъ панъ Фальбовскій — не къ хвосту конскому привязалъ, а на спину...

— Да что вы, матушка, изъ могилъ людей выкапываете! — остановился онъ передъ матерью.

— Какъ не выкапывать!.. Отца бы твоего выкопать — пусть бы порадовался на своего сына...

— И порадовался бы... Изъ нашего и вашего роду кто былъ гетманомъ! Кто водилъ дружество съ царями и владыками? Я одинъ... Моего батюшки могила никому невѣдома, козы по ней ходятъ и траву щиплютъ; а объ сынѣ его и вапемъ, объ Иванѣ Мазепѣ, лѣтописцы уже пишутъ, какъ онъ писали о Мономахѣ да о другихъ владыкахъ земли... И твое имя, матушка инокиня Магдалина, по мнѣ воспомнятъ будучіе лѣтописцы. Ради меня ты и игуменство получила, а не будь у тебя сына Ивана, тебя бы давно Палиева голубѣ на поругу изъ твоихъ маестностей собаками выускала, а то можетъ и по тебѣ бы давно козы паслись, какъ пасутся на батюшкиной могилѣ... Для тебя одной сынъ Иванъ — не сынъ: онъ-де стыдъ и поношеніе нашему роду... Знаю я тебя! Всю жизнь точила ты меня какъ червь старую осину: можетъ оттого и сидитъ во мнѣ этотъ червь, котораго никто кромѣ меня не чувствуетъ... А каково жить-то съ этой червоточниной въ сердцѣ. Вотъ часомъ оглянешься на свою прошлую жизнь, какъ собака на червивый хвостъ глядитъ, — и что жъ увидишь тамъ! Кто меня любилъ? — Никто! мать родная не любила! А за что! За то что мать — шляхтянка, молокомъ матери шляхтянки да католички отравленная, и у сына — на вонь! не панская кровь, а козацкая, батьковская... Да ты и эту кровь запустила — ни я козакъ, ни я ляхъ, а выродокъ какой-то, и хуже Измаила... Того отецъ выгналъ въ пустыню, но у него осталась мать Агарь... А у меня не было и Агари — у меня никого не было! Я думалъ — сынъ, сынъ у меня будетъ, — будетъ-де кому умираючи передать и добро мое и имя. Такъ нѣтъ у меня и сына! Некому меня любить... Одна душа добрая нашлась, дитя чистое, такъ и ту хотѣть отнять у меня... Нѣтъ! не бывать этому! До патріарха вселенскаго дойду: онъ дастъ благословеніе...

Мазепа остановился; онъ былъ страшенъ и силенъ. Но и предъ нимъ былъ камень, хотя уже до половины закопанный въ могилу. У старухи все лицо ходенемъ ходило.

— Патріархъ дастъ, такъ я не дамъ своего благословенія! — какъ-то долбанула она своимъ птичьимъ клювомъ и застучала клюкой, стоявшей у кресла. — Не дамъ!

— Такъ и не нужно мнѣ твоего благословенія!

Старуха швырнула на полъ чулокъ, оперлась на клюку-посохъ и встала, дрожа всѣмъ тщедушнымъ, изсохшимъ тѣломъ.

— Не нужно!.. тебѣ материнскаго благословенія не нужно, змѣенышъ! — и она подняла посохъ. — Такъ вотъ же тебѣ — на!

Она, шатаясь и дрожа, пошла на него съ посохомъ. Мазепа отступалъ.

Старушка запуталась въ чулкъ, слабыя ноги не выдержали, и она клонулась носомъ о полъ, упавъ безшумно, словно мѣшокъ со старымъ хламомъ...

— Будь же ты проклятъ, аспидово отродье! Проклятъ, проклятъ, про-о-клять!..

— Матушка!..

— Буди проклятъ, проклятъ!.. Аминь... буди проклятъ!

— Мамо! мамо!—онъ хотѣлъ поднять ее.

— Прочь, прочь, проклятый! Сгинь съ очей моихъ.

Мазепа вышелъ, не оглядываясь болѣе на свою мать. Въ ушахъ у него звенѣло проклятіе...

— Мене бить... гетмана... какъ послѣднюю собаку... сего еще не доставало!..

— А мати Галина котикъ рыбки давала! — зазвенѣлъ ему навстрѣчу голосокъ и тогда же смолкъ: Оксанка испугалась очей гетмана...

IX.

Съ проклятіемъ матери и съ горькимъ чувствомъ глубокаго одиночества и сиротства воротился Мазепа въ свою столицу, въ Батуринъ. Теперь онъ еще болѣе чувствовалъ то, что въ послѣдній разъ высказалъ матери — что его кто-то проклялъ отъ колыбели, наложивъ на всю его жизнь какъ на братоубійцу Каина печать отчужденія. Но онъ, Мазепа, не убивалъ брата, да у него и не было брата... И онъ перебиралъ всю свою жизнь... Но и тамъ ничего, кромѣ старыхъ ранъ, — ничего, надъ чѣмъ бы заплакала усталая память сладкими слезами.

Тутъ, во всей этой Малороссіи, онъ чувствуетъ себя чужимъ, отгороженнымъ отъ сердца народа, какъ онъ всю жизнь былъ отгороженъ отъ сердца матери: народъ не любилъ его, не вѣрилъ ему, чуждался его; у него одинъ кумиръ, какъ тотъ израильскій змій въ пустынѣ, — и этотъ змій—Палій. И казаки, и старшина не любятъ Мазепу; онъ это видитъ, чувствуетъ, подмѣчая въ глазахъ всѣхъ ту искорку недовѣрія, какую можно видѣть у чужой собаки, которая можетъ и укусить... Тамъ, въ тогочной Малороссіи, онъ и подавно чужой: надъ каждой хаткой, надъ вновь запаханнми нивами, надъ вновь выросшими изъ „руины“ городами витаетъ тѣнь того же змія пустыни, а на Мазепу всѣ смотрятъ какъ евреи смотрѣли на Фараона...

Да и Москва, царь и Польша смотрятъ на него только какъ на сторожевую собаку, которая прикована на цѣпь около ихъ, чужого, добра и должна лаять по ночамъ...

Сгнула бы совѣтъ эта проклятая, безмозглая хохлатчина!..

И онъ невольно припоминаетъ стихи, когда-то сочиненные имъ:

Вси покою щире прагнуть,
Та не въ одинъ гужъ вси тягнуть—
Той направо, той наливо...

А вотъ и здѣсь на сердцѣ одна была у него улада, одна надежда, такъ и ту отнимають. Кочубей и слышать не хотѣтъ о замужествѣ на ихъ дочери, когда гетманъ формально посватался, самъ богатые ручники и подарки привезъ изъ Кіева. А все эта проклятая Кочубейна Любка, запорожецъ въ юбкѣ, такой же запорожецъ какъ и сажонная Паліиха... Ну, да та теперь далеко—въ Енисейскѣ гдѣ-то, гдѣ холодное небо съ снѣжною сибирною землею сходится... Тамъ и Самойловичъ сгинулъ... Всѣхъ сломилъ Мазепа—одну эту Кочубейну Любку не сломить. Эко Салтанъ-Гирей какой завелся на Украинѣ! Нельзя, говорить, жениться на крестницѣ — земля-де пожретъ обоихъ въ первую же ночь послѣ вѣнца... Вздоръ какой, „нисенитница“! А она-де, говорить, Мотря — еще „мала дитина“... Мала!.. Чуть-ли не девятнадцатый годъ...

А сама Мотренька? О! да она безумно любить стараго, никѣмъ не любимаго, одинокаго среди своего величія и роскоши гетмана. Можетъ быть за это одиночество, за это сиротство и привязалось къ нему чистое, еще никого, кромѣ „тата“ да „мамы“, не любившее дѣвичье сердце... Все время послѣ той охоты по порошѣ, когда Паліиха убила медвѣдя и когда потомъ гетманъ съ войскомъ ушелъ въ походъ на тотъ бокъ Днѣпра, въ Польшу, дѣвушка не переставала думать о немъ. Окруженный ореоломъ могущества и славы, полновластный владыка цѣлой страны, могучій умомъ и волею, какимъ онъ казался всѣмъ и ей самой, онъ въ то же время въ мечтахъ дѣвушки рисовался грустнымъ, одинокимъ, такимъ одинокимъ, какимъ не могъ казаться самый послѣдній нищій, такимъ сиротствующимъ, которому, какъ въ тотъ день, когда онъ особенно былъ грустенъ и когда Мотренька приносила ему цвѣты, ничего не оставалось въ этой жизни, какъ искать своей могилы. И молодое сердце дѣвушки разрывалось на части при мысли, что никто, никто въ мірѣ не можетъ утѣшить его, что нѣтъ въ свѣтѣ существа, на груди котораго онъ могъ хоть бы выплакать свои никому, кромѣ ея одной, невидимыя слезы, существа, которое могло бы приласкать эту сѣдую, такъ много и такъ горько думавшую голову и отвѣчать любящими слезами на его горькія, одинокія слезы. И Мотренька плакала иногда какъ безумная, думая о немъ, особенно послѣ того какъ онъ сказалъ, что она одна составляетъ радость его жизни, яркое солнышко въ его мрачной старости, и что это солнышко скоро закатится для него. Первое ея чувство, изъ котораго выросла потомъ страсть, было—жалость къ нему,—о, какая жгучая жалость! Такъ бы, кажется, и истаяло, изошло слезами молодое сердце.

Когда Мазепа во главѣ своей свиты — войскового обознаго, есаула, генеральнаго судьи, войскового писаря, полковниковъ разныхъ полковъ и другой казацкой старшины, окруженный блестящимъ эскортомъ изъ золотой украинской молодежи — бунчуковыми товарищами и сердюками, въѣзжалъ въ Батуринъ подъ звуки трубъ и котловъ, подъ звонъ колоколовъ и при многочисленномъ стеченіи народа, — Мотренька не вышла вмѣстѣ съ другими навстрѣчу гетмана и отца и притаилась въ своемъ саду, мимо кото-

раго слѣдовалъ торжественный кортежъ, и когда изъ блестящей свиты выдѣлилось сѣдое, понурое и болѣзненно-угрюмое лицо Мазепы рядомъ съ черноусымъ и моложавымъ лицомъ Кочубея, дѣвушка, прикрытая зеленою садо, восторженно упала на колѣни и перекрестила эти двѣ головы—голову отца и Мазепы; но въ душѣ она крестила только послѣдняго, а тату своего мысленно цѣловала и дергала за черный усь, что она, перебалованная имъ до-нельзя, очень любила дѣлать. Это движеніе видѣла лишь старая няня, слѣдившая за панночкой, и заплакала отъ умиленія, глядя на свою вскормленницу и благоговѣнно бормоча: „отъ дитина добра... Божа дитина“...

Въ тотъ же день вечеромъ Мазепа навѣстилъ Кочубеевъ, явившись къ нимъ съ поддужиною сердюковъ, которые принесли цѣлые вороха подарковъ—для самой пани судини и для панночекъ, которыхъ у Кочубеевъ, кромѣ Мотренки, было еще двѣ. Гетманъ былъ особенно любезенъ съ хозяйкою, рассказывалъ о своемъ походѣ, описывалъ яркими красками то цвѣтущее положеніе, въ какомъ онъ нашелъ Паліивщину — ту часть тогочной Украины, которую вызвалъ къ жизни Палій. Говорилъ о новыхъ милостяхъ, оказанныхъ ему царемъ какъ въ видѣ дорогихъ подарковъ, такъ и любезныхъ писемъ, и о слухахъ, ходившихъ насчетъ шведскаго короля, о его беззаветной храбрости, о простотѣ его жизни, ничѣмъ не отличающейся отъ жизни солдатъ. Разскалъ его быть живъ, увлекателенъ, остроуменъ. Между серьезной рѣчью блистали остроты, каламбуры, словесныя „жарты“, которыя такъ любятъ украинскій умъ. Онъ пересыралъ свою рѣчь удачными пословицами, стихами, польскою солюю. Панночки слушали его съ величайшимъ удовольствіемъ, а Мотренка украдкой любовалась имъ и болѣла за него, зная, догадывалась, что подъ этой веселой, живой наружностью таится глубокая тоска, переживается тяжкое одиночество.

— А все мои старыя кости не нашли своей домовины,—неожиданно и съ горечью заключилъ онъ свою живую и восхитительную бесѣду.

Это было сказано такъ, что Мотренка, прибѣжавъ въ свою комнату, бросилась на колѣни передъ образомъ и зарыдала.

Немного спустя, Мазепа отыскалъ ее въ саду съ заплаканными глазами. Это было поводомъ къ роковому объясненію, положившему начало той страшной исторической драмѣ, которая черезъ три года закончилась кровавыми актами — трагической кончиной отца дѣвушки, пораженіемъ Карла XII подъ Полтавой и не менѣе трагической кончиной Мазепы, котораго прокляла вся Россія и втайнѣ оплакало лишь одно существо, одно, любившее эту анаематствованную церковью крупную историческую личность, когда ее, повидимому, ненавидѣли всѣ, и свои, и чужіе.

Увидѣвъ свою крестницу заплаканною, гетманъ спросилъ ее о причинѣ ея слезъ. Дѣвушка сначала молчала, сядя на скамейкѣ подъ дубомъ и разсматривая дубовый листъ отъ вѣтки этого развѣсистаго зеленого гиганта, свѣсившейся къ самой ручкѣ высокой скамьи. Старикъ сталъ гла-

дять ея голову, допытываясь о причинѣ слезъ. Дѣвушка продолжала молчать, теребя листокъ, какъ это дѣлають дѣти, собирающіяся вновь заплакать, и по всему видно было, что она собиралась разревѣться. Мазепа отнялъ отъ ея рукъ вѣтку, взялъ за подбородокъ какъ ребенка и хотѣлъ приподнять ея лицо. Дѣвушка упиралась, Мазепа тихо-тихо и грустно называлъ ее по имени. Снова молчаніе, только на руку ему скатились двѣ горячія слезы... „Что съ тобою, дитятко мое?“ съ испугомъ спросилъ онъ. — „Вась жалко“... И дѣвушка, припавъ къ плечу гетмана, горько, неудержимо плакала. Мазепа тихо привлекъ ее къ себѣ и, одною рукою придерживая станъ, другою глядя бившуюся у него на груди горячую головку, долго сидѣлъ молча, пока она не выплакалась и пока грудь ея не стала ровнѣе и покойнѣе биться на его груди. Тогда онъ отвелъ отъ себя ея заплаканное лицо и, глядя въ дѣтски свѣтлые глаза, которыхъ никакъ не могъ забыть Павлуша Ягужинскій, тихо спросилъ: „ты обо мнѣ плачешь?“ — „Объ вась“... — „О томъ, что я одинокъ—въ могилу гляжу?“ — „О, тату!“ — Мазепа помолчалъ, какъ бы собираясь съ силами... „Хочешь быть моею?“ дрожа и почти шопотомъ спросилъ онъ. — „Я давно твоя“... — Мазепа стиснулъ ея руки... „Я говорю: хочешь-ли ты быть вся моею?“ — Дѣвушка молчала, глядя на него безумными глазами... „Хочешь-ли быть малжонкою стараго гетмана—передъ людьми и Богомъ?“ — Дѣвушка снова упала къ нему на грудь съ страстнымъ шопотомъ: „Возьми мене... носи мене хочъ на край свита... я твоя... твоя“!..

Непостижима душа человѣческая!.. Въ этотъ самый моментъ передъ глазами ея пронеслось какое-то видѣніе: яркое весеннее утро, садъ и земля, усыпанная розовымъ цвѣточнымъ снѣгомъ и юноша съ заплаканными, такими мягкими, теплыми какими-то глазами... „Мнѣ восемнадцать уже исполнилось“, говоритъ юноша.

Когда на другой день Мазепа объявилъ о своемъ сватовствѣ, Кочубеи рѣшительно отказали ему. Гетманъ былъ глубоко пораженъ. Дѣвушка плакала безутѣшно. Но она уже не могла жить безъ того, кого она полюбила. Между нею и Мазепою начались почти каждодневныя тайныя свиданія по ночамъ, то въ саду Кочубеевъ, то въ саду гетмана. Старикъ охваченъ былъ всепожирающею страстью. Никогда въ жизни не любилъ онъ такъ, какъ полюбилъ теперь, хотя любить ему приходилось не разъ и въ самую раннюю весну своей жизни, еще при дворѣ Яна-Казимира, а потомъ въ саду у пана Фальбовскаго и въ самомъ зрѣломъ возрастѣ. Зато никогда не встрѣчалъ онъ и такой женщины, такого чуднаго и обаятельнаго ясностью и полнотою духа существа и съ такимъ глубокимъ и серьезнымъ складомъ чувства, какое онъ нашелъ въ этой своей предмогильной привязанности. Онъ и въ молодости не испыталъ того, что теперь въ первый разъ испытывалъ: это обаяніе и опьяненіе фѣломудреннаго, робкаго какого-то чувства, въ которомъ господствовали болѣе чистые порывы духа. Можетъ быть это чувство очищалось чистотою той, которая вызвала его; но Мазепа чувствовалъ глубоко, что онъ самъ переродился съ этой привя-

занностью; въ немъ проснулася невѣдомая для него сила—доброта... Ему въ первый разъ въ жизни стало жаль погубленныхъ имъ жертвъ—Самойловича, Палія и легіона другихъ, забытыхъ имъ. Въ сердцѣ его въ первый разъ шевельнулася холодная змѣя—совѣсть, стыдъ за свое прошлое, чувство безгласности своихъ собственныхъ мерзкихъ дѣлъ, которая до этой роковой минуты не казалась ему гадкими. Руки его дрожали, когда въ темнотѣ ночи онѣ ловили руки дѣвушки, трепетно ждавшей его,—и дрожали боязнью, что вотъ-вотъ и ночью, во мракѣ, лаская его, она увидитъ на этихъ рукахъ невинно пролитую кровь, ощутитъ слезы, которые заставили вылиться изъ множества глазъ эти сжимаемыя нѣжными пальчиками дѣвушки жесткія, злодѣйскія руки. „Прости, прости меня, чистая!“ шепталь онъ невольно, обнимая колѣни дорогого ему существа. А дѣвушка, страстно обнимая и цѣлуя сѣдую голову, надрываясь, плакала: „Головонько моя! серденько... На горенько я съ тобою спозналася“...

Но скоро объ этихъ свиданіяхъ провѣдала мать Мотреньки, и тогда для послѣдней адомъ сталъ ея родительскій домъ. За несчастной учредили строгій надзоръ. Суровая, гордая, несдержанная на языкъ Кочубенка поѣдомъ ѣла дочь, язвя ея своимъ змѣинымъ языкомъ съ утра до ночи. Дѣвушка выслушивала такія замѣчанія, такіе оскорбительные намеки, отъ которыхъ кровью обливалось ея тоскующее сердце. Но что было мучительнѣе всего—это ничѣмъ несдерживаемая брань, которая сыпалась на голову Мазепы. Ему приписывалось все, что только можетъ быть унизительнѣе для человѣка...

Но дѣвушка не плакала — она точно окаменѣла. По цѣлымъ часамъ она сидѣла въ своей комнатѣ, не двигаясь съ мѣста и прислушиваясь къ вспышкамъ домашней бури, и только тогда, когда матери не было дома, она со стономъ бросалась на полъ и страстно молилась... И опять—таки молилась за него... Она видѣла свое горе, знала какъ переносить его; но его горя она не видала, а не виданное такъ страшно...

Что дѣлаетъ онъ?... какъ онъ выносить свое горе?... До дѣвушки доходятъ слухи, что онъ боленъ... Она представляетъ себѣ его одиночество, безпомощность... Отъ нея не отходить его образъ, тоскливый, скорбный... И она готова на казнь идти, лишь бы увидѣть его, утѣшить...

Самое могучее чувство женщины не любовь, а жалость. Когда жалость закралась въ сердце женщины, въ ней просыпаются неслыханныя силы, слагаются рѣшенія на неслыханныя дѣла и подвиги: тутъ ея самопожертвованія не знаютъ предѣловъ, героизмъ ея достигаетъ величія...

Послѣ долгихъ, мучительныхъ дней въ сердцѣ Мотреньки сложилось, наконецъ, послѣднее безповоротное рѣшеніе: она должна идти, чтобы взглянуть на него! Отъ этого не останавливать ее ни позоръ, ни смерть...

И вотъ ночью, когда всѣ въ домѣ спали и когда старая няня Устя, наплакавшись надъ своею панночкой, которая въ нѣсколько недѣль извелась ни на что, тоже глубоко уснула, скукожившись на полу у постели своей панночки, Мотренька тихо сошла съ своего ложа, перешагнувъ че-

резь спящую старушку, тихо въ темнотѣ одѣлась, отворила окно въ садъ и исчезла...

Тѣнистымъ садомъ она прошла до того мѣста, гдѣ ихъ садъ сходилъ съ садомъ гетмана, и сквозь отверстіе, сдѣланное еще прежде въ частоколѣ и закрытое густымъ кустомъ бузины, вошла въ гетманскій садъ. Но какъ войти въ домъ? Какъ пройти мимо часовыхъ, мимо разставленныхъ вездѣ сердюковъ и стрѣльцовъ, которые хотя и дремали по ночамъ, но около нихъ не дремали собаки?... Дѣвушка приглядывалась сквозь темную зелень, не свѣтитесь-ли огонекъ въ рабочей комнатѣ гетмана... Можетъ быть онъ сидитъ еще, работаетъ... Нѣтъ, онъ, вѣроятно, боленъ, бѣдненькій, лежитъ одинокій, всѣми покинутый, хоть покой его и оберегаетъ свора этихъ сердюковъ и московскихъ красныхъ кафтановъ... Страшно въ темной глубинѣ сада. Гдѣ-то межъ старыми дубами филинъ стонетъ, пугачъ страшный: „пу-гу, пу-у-гу!“ А изъ-за этого птичьего стога слышится, какъ за садомъ, должно быть на выгонѣ, свиститъ „вивчарикъ“, котораго никогда Мотренька не видала, но знаетъ его ночной свистъ—не то свистъ птички, не то звѣрка. А еще выше, изъ-за вершинъ липъ и серебристыхъ тополей глядятъ чьи-то далекія очи-божьи, всевидящія: они смотрятъ на Мотреньку, слѣдятъ за каждымъ ея шагомъ, даже за біеніемъ ея сердца... Но она вѣдь ничего дурного не сдѣлала: она исполняетъ евангельскую заповѣдь — ей жаль больного, страдающаго... Мотренька двигается дальше, трепетно прислушиваясь къ чему-то: что-то стучитъ около нея, не то идетъ за нею, крадется... „токъ-токъ-токъ“... Господи! что это такое?... Дѣвушка останавливается, прислушивается... Все стучитъ, все идетъ: „токъ-токъ-токъ“... Охъ! да это стучитъ у нея внутри—это „токаетъ“ сердце въ ребра, вотъ тутъ подъ сорочкой...

Но Боже! что-то движется, кто-то идетъ по аллеѣ... Дѣвушка такъ и затрепетала на мѣстѣ... Куда двинуться! гдѣ скрыться!.. Кто-то говоритъ точно самъ съ собою: „Можетъ Карлъ, можетъ Петръ... кто сломить... а мнѣ куда? до кого, да и на что!.. Эхъ, Мотренько!.. Мотренько!“ Огнемъ опалило дѣвушку—это голосъ гетмана... „Тату-тату! любый!“ Мазепа остолбенѣлъ на мѣстѣ—раскрылъ руки... Дѣвушка всѣмъ тѣломъ упала къ нему на грудь, обвилась вокругъ него, шепча что-то—и тихо, безъ чувствъ опустилась у ногъ оторопѣвшаго гетмана... Онъ хотѣлъ вскрикнуть и не могъ. Дорогое существо лежало безъ движенія... Дрожа всѣмъ тѣломъ, старый гетманъ упалъ на колѣни, припалъ къ дорожному, какъ-то беспорядочно брошенному на земь неподвижному тѣлу дѣвушки и, обхвативъ ее дрожащими руками, прижалъ къ себѣ какъ маленькую, какъ бывало онъ нашивалъ ее еще въ свивальничкахъ, спящую, и, цѣлуя ея лицо, волосы, шею, понесъ въ домъ, не чувствуя не только „подагрическихъ“ и „хирагрическихъ“ болей, но даже забывъ, что ему далеко за семьдесятъ...

Мимо двухъ стрѣльцовъ, которые съ удивленіемъ видѣли что-то несущаго на рукахъ гетмана—„не то ребенка махонькаго, не то собаку—темень, не видать-ста“, Мазепа вошелъ въ домъ, прошелъ въ свой каби-

нетъ и бережно опустил свою ношу на широкій турецкій диванъ. Но только что онъ хотѣлъ подложить подъ голову дѣвушки подушку, чтобъ не скатывалась голова, какъ Мотренька открыла глаза.

— Тату, тату! я у тебе, любимый мій!—и руки ея обвилися вокругъ шеи старому гетмана, который, стоя у дивана на колѣняхъ, плакалъ отъ счастья.

— Якъ-же-жъ ты змарнила, дитятко мое, сонечко мое!.. личко, ху-деньке... очици запали...—шенталъ онъ, заглядывая ей въ лицо.

— Ничого, таточку, теперъ я съ тобою... буде вже, буде!

— Рыбонько моя... ясочко...

Въ этотъ моментъ гдѣ-то тревожно ударили въ колоколь. Мазепа вздрогнулъ. Начались учащенные удары, беспорядочные, набатные. Только во время пожаровъ и бунтовъ такъ отчаянно кричатъ колокола. Что это? Не бунтъ-ли? Не встали-ли казаки и мѣщане на стрѣльцовъ, на самого гетмана? Недаромъ такъ косо они смотрѣли всегда на московскихъ людей. А можетъ быть пожаръ...

Нѣтъ, въ окна не видать зарева, а набатъ усиливается. И гетманъ и дѣвушка тревожно смотрятъ другъ на друга, въ глазахъ послѣдней испугъ...

— Не лякайся, дитятко мое, я заразъ узнаю,—успокоиваетъ ее гетманъ.

Онъ хлопнулъ два раза въ ладоши, и въ дверяхъ показался хорошенькій мальчикъ, „пахолокъ“, одѣтый въ польскій кунтушикъ. Онъ стрункой вытянулся у дверей. Большіе сѣрые глаза его выражали больше тѣмъ изумленіе: въ нихъ былъ ужасъ... У пана гетмана вѣдьма, русалка, „мавка“... Но скоро глаза „пахолка“ блеснули радостью: онъ узналъ панночку.

— Покличъ, хлопче, московскаго полковника Григора Анненка,—ска-заль гетманъ.

— Анненко самъ тутъ, ясневельможный пане,—бойко отвѣчалъ па-холокъ.

— Тутъ! Чого ему?.. До мене?

— До ясневельможнаго пана гетьмана.

— Такъ покличъ заразъ...

Мотренька между тѣмъ, незамѣтно выйдя въ образную, упала на ко-лѣни и горячо молилась.

Вошелъ Анненковъ, Григорій, начальникъ московскаго отряда, состояв-шаго при гетманѣ для охраненія какъ особы гетмана, такъ и его столицы Батурина. Анненковъ былъ мужчина уже не молодой, полный, свѣтлору-сый, съ голубыми глазами на вкатѣ.

— Что случилось въ городѣ, господинъ полковникъ?—спросилъ Ма-зепа чисто по-русски.—Что за сполохъ? Пожаръ?

— Никакъ нѣтъ, ваше высокопревосходительство! Это генеральный судья звонить.

Въ глазахъ Мазепы блеснуло что-то холодное. Онъ понялъ, что тамъ объявляли войну.

— Что жъ онъ въ звонари, что-ли, записался?.. Давно бы пора!

— У него, ваша ясновельможность, дочь дѣвка сбѣжала.

— Сбѣжала!—нахмурился гетманъ.—Али она собака?.. Сбѣжала!—говорилъ онъ съ неудовольствіемъ.

— Ушла отай, ваша ясновельможность.

— Такъ онъ и намѣренъ звонить всю ночь, никому спать не давать? а?—гетманъ сердился, правый усь его нервно подергивался.

Анненковъ зналъ Мазепу и зналъ, что это дурной знакъ. Быть бурѣ.

— Я спосылалъ къ нему Чечела,—сказалъ онъ скороговоркой, чтобъ остановить его,—такъ говорить: пока-де дочь мою не найдутъ, буду звонить хоть до Покрова.

— А если я заставлю его звонить кандалами, да не до Покрова, а до могилы,—сказалъ гетманъ тихо, понизивъ голосъ; но въ этомъ пониженіи звучало еще болѣе угрозы.

Потомъ онъ задумался и заходилъ по комнатѣ. Тусклый свѣтъ нагрѣвшихъ восковыхъ свѣчей въ серебряныхъ канделябрахъ падалъ по временамъ на какое-нибудь одно мѣсто его сѣдой головы, то на високъ, то на затылокъ, и казалось, что эта гладкая голова покрыта фольгой.

— Мотренько!—вдругъ сказалъ онъ, подойдя къ двери образной.—Выйди сюда, дочко.

Дѣвушка вышла, блѣдная, заплаканная, но спокойная: она видѣла того, по комъ тосковала... Онъ не боленъ... Анненковъ почтительно поклонился, не безъ смущенія взглянувъ на гетмана.

— Вотъ гдѣ обрѣтается дочь генеральнаго судьи, ея милость Мотрона Леонтьевна Кочубей,—сказалъ Мазепа, обращаясь къ Анненкову.—Она у гетмана... Ея милость не сбѣжала и не отай ушла изъ дома родительскаго... Она пришла просить моего покровительства, и я по долгу службы и по знаемости како крестный отецъ Мотроны Леонтьевны и гетманъ принялъ ее подъ свою защиту.

Между тѣмъ набатный звонъ не умолкалъ. Видно было, что Кочубей, настроенный женою, намѣревался привести въ исполненіе свою угрозу—звонить до Покрова. Мазепа подошелъ къ крестницѣ, стоявшей у стола, и положилъ ей руку на плечо.

— Доню!—сказалъ онъ съ нѣжностью въ голосъ:—чуешь звонъ?

— Чую, тату,—едва слышно отвѣчала дѣвушка.

— Се родители твои зовутъ тебе до себе,—продолжалъ гетманъ.

Дѣвушка молчала. Видно было только, что золотой крестъ, который висѣлъ у нея на груди, дрожалъ.

— Доню, дитятко мое! що я маю робити съ тобою?—еще съ большей нѣжностью и грустью спросилъ Мазепа.

Дѣвушка подняла на него заплаканные глаза, рѣсницы дрогнули; но она опять не сказала ни слова.

Мазепа подошелъ къ Анненкову и, указывая на дѣвушку, сказалъ:

— Видишь, полковникъ, она пришла искать суда—она, дочь генеральнаго судьи малороссійскаго... Кто повиненъ разсудить ее съ родителями?

— Никто, кромѣ Бога, ваше высокопревосходительство!—отвѣчалъ Анненковъ.

— Но Богъ судить на томъ свѣтѣ,—возразилъ гетманъ:—это Божій судъ. Но ея милость ищетъ суда людскаго. Меня Богъ и люди поставили судьей надъ малороссійскимъ народомъ. Я посему повиненъ разсудить и ея милость Мотрону Леонтьевну съ ея родителями. Я и разсужу ихъ—и горе неправымъ!

Голосъ его прозвучалъ грозно, словно бы посылалъ въ битву свои полки. Свѣдая голова поднялась высоко. Но набатъ не унимался.

— Доню!—снова заговорилъ Мазепа:—се твои родители жалуются на насъ Богу—до Бога кричать миднымъ языкомъ... Повинись родителямъ, дитятко! Вернись до дому.

— Тату! не гонить мене!

— Доненько моя! я не гоню тебе, я прошу тебе: повинись теперь закону. А тамъ—я покажу имъ кто я!

Затѣмъ, обращаясь къ Анненкову, Мазепа сказалъ:

— Тебѣ, полковникъ Григорій, я поручаю съ честію и съ великимъ береженіемъ проводить ихъ милость Мотрону Васильевну Кочубей въ домъ генеральнаго судьи, ея родителя. Скажи Кочубею мою властную и непремѣнную волю: если съ сего часу я узнаю, что онъ дозволитъ себѣ или женѣ своей сдѣлать хотя бы то наималѣйшее утѣсненіе, либо огорченіе дочери своей родной, а мнѣ духовной, то я, гетманъ, не токмо дочь его силень взяти, но и жену отъяти у него не премину. Скажи это ему!

Потомъ онъ подошелъ къ Мотренькѣ, поцѣловалъ ее въ голову и перекрестилъ.

— Се мое благословеніе тебѣ, дочь моя любимая! Прощай, моя дочечко! Господь да пошлетъ тебѣ своего ангела хранителя, а я не оставляю тебя и не забуду... Забвенна буди десница моя!

Дѣвушка молча поцѣловала его руку и, взглянувъ полными слезъ глазами въ глаза Мазепы, направилась къ Анненкову. Мазепа остался среди комнаты угрюмый и безмолвный: казалось, что въ этотъ моментъ онъ постарѣлъ нѣсколькими годами.

Выйдя въ другую комнату какъ-то машинально, ничего не понимая, Мотренька замѣтила, что у двери стоитъ молоденькій пахолочъ и плачетъ.

— Ты объ чемъ это, хлопчикъ?—спросилъ его Анненковъ.

— Панночку жалко!—и пахолочъ совсѣмъ расплакался.

X.

Прошло еще два года. Борьба Петра съ Карломъ XII принимала такой острый характеръ, что со дня на день слѣдовало ожидать кризиса, и, по-

видимому, рокового для Россіи. Союзникъ Петра Августъ, король польскій, былъ раздавленъ коронованнымъ варягомъ, который, казалось, пришелъ съ своего далекаго полуострова, изъ-за Варяжскаго моря, на континентъ, чтобы повторить въ новѣйшей исторіи Россіи и Польши роль предковъ своихъ, какими историки называютъ старыхъ варяговъ Рюрика, Синеуса и Трувора. Вѣрнаго слугу Петра и Августа, бойкаго и ловкаго Рейнгольда Паткуля, котораго Палій часто вспоминалъ въ Сибири, этотъ коронованный варягъ на польской, униженной и разоренной имъ землѣ колесовалъ самымъ ужаснымъ образомъ, приставивъ въ палачи поляка, не умѣвшаго колесовать, а потомъ растерзанныя части его тѣла выставилъ какъ указательные знаки на пяти колесахъ по дорогѣ изъ Варшавы въ Москву! По этой дорогѣ Карлъ гнался за Петромъ, убѣгавшимъ изъ Польши во Москву — въ эту постыдную Москву, не научившую въ теченіе столѣтій своихъ солдатъ драться и побѣждать варяговъ. Петръ бѣжалъ въ Москву затѣмъ, чтобы вывезти изъ нея всѣ казенныя и церковныя сокровища на Бѣлоозеро, подальше отъ страшнаго варяга, а оттуда бѣжать въ свой новый „парадизъ“ и защищаться тамъ отчаянно или пастъ, но только не въ Москвѣ, а тамъ, въ Петербургѣ, поближе къ дорогому морю.

Но куда прежде бросится страшный варягъ—на Москву или на Петербургъ, или кинется на югъ, въ Украину?

Вотъ что долженъ былъ рѣшить царь, когда къ нему, успѣвшему въ побѣгѣ отъ варяга достигнуть Витебска, привезли Кочубея, Искру и нѣсколькихъ другихъ украинцевъ съ неожиданною вѣстью: гетманъ съ Малороссіею передается на сторону Карла!.. Перо хрустнуло въ рукѣ Петра, начавшей было писать какой-то указъ съ любимаго царемъ „понеже“, въ тотъ моментъ, когда ему принесли вѣсть объ измѣнѣ Мазепы; а въ глазахъ тутъ же находившагося Павлуши Ягужинскаго Головкинъ, Гаврило Ивановичъ, принесшій царю эти вѣсти о Мазепѣ и Кочубеѣ, при имени послѣдняго замѣтилъ что-то необычайное, но какъ будто бы радость...

Царь ни за что не хотѣлъ вѣрить, чтобы Мазепа измѣнилъ ему. Уже не разъ на него доносили по злобѣ или по зависти, и всякій разъ оказывалось, что доносы были ложны. Такъ не подтвердился еще почти двадцать лѣтъ назадъ доносъ нѣкоего инока Соломона, подосланнаго врагами Мазепы съ извѣтомъ, будто бы гетманъ хочетъ отдать Малороссію Польшѣ,—и царь выдалъ доносчика головою Мазепѣ же. Такъ оказался ложнымъ доносъ въ формѣ подметнаго письма на „злаго и прелестнаго“ Мазепу,—письма, повидимому, сочиненнаго родственниками бывшаго гетмана Самойловича—гадячскимъ полковникомъ Самойловичемъ, княземъ Юріемъ Четвертинскимъ, полковникомъ Дмитрашкою Райчею и Леонтіемъ Полуботкомъ; и этихъ Петръ выдалъ головою своему любимцу-гетману, какъ и инока Соломона. Того же самаго ожидалъ царь и отъ доноса Кочубея; но при всемъ томъ велѣлъ Головкину разслѣдовать это дѣло тщательное, „по розыску“. Это уже пахло застѣнкомъ...

И Гаврило Ивановичъ работаетъ надъ этимъ дѣломъ день, другой,

третій, работаетъ недѣлю, другую... Работаетъ съ нимъ и Павлуша Ягужинскій, которому царь велѣлъ приучаться къ „сыскнымъ дѣламъ“, узнавъ вѣрность его глаза, его необыкновенную смѣтку и находчивость, такую находчивость, подмѣченную имъ только въ еврейхъ, что онъ кажется и въ пудѣ пороха нашелъ бы маковое зерно. Впрочемъ, Павлуша давно уже не Павлуша, а Павелъ Ивановичъ: ему пошелъ двадцать-четвертый годъ, — хотя Головкинъ доселѣ никакъ не можетъ привыкнуть къ этому: все зоветъ его Павлушею.

Вотъ и теперь въ Витебскѣ, въ главной походной квартирѣ царя, сидя въ просторной комнатѣ, у стола, заваленнаго бумагами, молодой Ягужинскій перебираетъ какія-то письма, приложенныя къ показаніямъ Кочубея. А самъ Гаврило Ивановичъ „на розыскъ“ — пытается доносителей... Лицо Ягужинскаго такое печальное. Нѣтъ-нѣтъ да и откинется отъ стола его красивая голова съ блѣднымъ лицомъ и черными ласково-грустными глазами, и на этомъ лицѣ выражается не то тоска, не то физическая боль... Онъ, кажется, прислушивается къ чему-то, хотя ничего не слышно, кромѣ имъ же производимаго шороха бумаги. Но ему какъ будто слышится стонъ, долгій-долгий такой, какой — онъ это слышалъ уже — пытаемые издають на дыбѣ или на „вискѣ“. Вѣдь пытаются его, отца той, въ цвѣтахъ, кораллахъ и дивной зелени диканькинскаго сада, которой вотъ уже пять лѣтъ не можетъ за-быть Павлуша: пытаются Кочубея, отца Мотренки... „Мотря“ — имя, котораго Павлуша не встрѣчалъ во всей Россіи... Гдѣ она теперь бѣдненькая? что съ нею?.. Тогда ей было пятнадцать лѣтъ, а теперь ужъ двадцать... Помнить-ли она Павлушу, какъ онъ плакалъ у нихъ въ саду, уткнувшись носомъ въ траву? — Нѣтъ! гдѣ помнить? Можетъ быть, она давно ужъ замужемъ...

Вдругъ глаза Ягужинскаго съ нѣмымъ удивленіемъ остановились на бумагѣ, что лежала передъ нимъ въ кипѣ другихъ бумагъ. Что это такое?... Глаза его расширились... Онъ схватилъ бумагу — руки дрожать... Это ея имя, имя Мотренки; но кто ей пишетъ и что?

„Мое сердце коханое, Мотренько, — жадно читаетъ Ягужинскій, — сама знаешь, якъ я сердечно, шалене люблю вашу милость“...

— Люблю... „шалене“ — безумно что-ли это значить, чортъ бы его побралъ! — шепчетъ Ягужинскій, скрипя зубами отъ злости. — Кто это, дьяволовъ сынъ, ну...

„Еще никого на свѣтѣ не любивъ такъ. Мое-бъ тое счастье и радость, щобъ нехай ѣхала до мене, тилько жъ я уваживъ, якій конецъ съ того можетъ бути, а звлаща при такой злости и заедлости твоихъ родичовъ. Прощу, моя любенько, не одмѣняйся ни въ чемъ, яко южъ не поеднокротъ слово свое и рученьку дала есь, а я вземне, пока живъ буду, тебе не забуду“...

— Кто жъ этотъ злодѣй?.. Нѣту подписи подъ письмомъ... Кому она это слово и рученьку дала?..

Ягужинскій такъ сжалъ листокъ, что онъ превратился въ комокъ, ■

хотѣлъ было швырнуть его въ открытое окно; но опомнился: письмо это приложено къ дѣлу по доносу малороссійскаго генеральнаго судьи Василя Кочубея съ прочими на гетмана Ивана Степановича Мазепу якобы о измѣнѣ оного *)... Его бросать нельзя — за это самого въ застѣнокъ поведутъ.

Но вотъ другое письмо, писанное тою же повидимому старческою рукою. Ягужинскій читалъ:

„Мое серденько! зажурился, почувши отъ дѣвки такое слово, же ваша милость за зле на мене маешь, иже вашу милость при себѣ не удержишь, але дослалъ до дому. Уважь сама, що бѣ съ того выросло. Першая: щобъ твои родичи по всѣмъ свѣтѣ разголосили, же взявъ у насъ дочку у ночѣ гвалтомъ и держить у себѣ мѣсто подложницѣ. Другая причина: же, державши вашу милость у себе, я бымъ не могъ жадною мѣрою вытримати, да и ваша милость такъ же: мусѣли-бы-смо изъ собою жити, якъ малженство кажетъ, а потомъ пришло бы неблагословеніе одъ церкви и клятва, жебы намъ съ собою не жити. Гдѣ жъ бы я на тотъ часъ подѣлъ? И мнѣ бѣ же чрезъ тое вашу милость жаль, щобъ есь на мене напотомъ не плакала“.

— Проклятый!.. Значить, она-то была у него ужъ, а онъ отослалъ ее къ родителямъ. и она знать печалуется объ немъ... У! аспидъ!.. Ночью гвалтомъ взялъ... подложница... она-то! голубица чистая... Да еще „жить“ съ нимъ—малженство... Господи!

Ягужинскій схватился руками за голову... То, о чемъ онъ думалъ пять лѣтъ, что не выходило изъ его памяти и сердца ни подъ гулъ пушекъ въ виду шведскихъ войскъ, ни подъ стукъ топоровъ на стройкѣ кораблей, ни подъ рѣзкій скрипъ неугомоннаго царскаго пера, ни въ церкви при пѣніи клира,—теперь это дорогое, далекое милое разомъ разбилось... Остались только эти проклятыя бумаги, перья...

Но можетъ быть она не любить его? Да и какъ, если-бъ любила, письма отъ любимаго человѣка попали бы въ это проклятое дѣло? Да и зачѣмъ они тутъ? Зачѣмъ Кочубей привезъ ихъ съ собою? Не хотѣлъ же онъ срамить свою дочь...

Какъ ни былъ находчивъ Ягужинскій, который по увѣренію царя могъ найти маковое зерно въ пудѣ пороха, но тутъ онъ растерялся. Дѣло касалось его самого — его сердца, его тайныхъ думъ... А онъ такъ долго ждалъ, все надѣялся—авось царь повернетъ въ Малороссію или его пошлетъ зачѣмъ-нибудь туда, въ этотъ цвѣточный рай, въ Диканьку... И вдругъ,—чтожъ это такое!

*) Приводимыя здѣсь письма Мазепы къ любимой имъ дѣвушкѣ къ Мотровѣ Кочубей—суть историческіе документы: они доселѣ хранятся въ московскомъ коллежскомъ архивѣ... Печальное историческое безсмертіе! клочки бумаги пережили людей, которымъ дороги были эти клочки.

Но живуча человѣческая надежда: это самое живучее въ мірѣ животное, живучѣе, кажется, чумного яду...

Ягужинскій опять схватился за письма, опять читаетъ:

„Мое серденько, мой кѣтте рожапой! Сердечне на тое болѣю, що на далеко одъ мене їдешъ, а я не могу очипъ твоихъ и личка бѣленького видѣти. Черезъ сее письмечко кланяюся и вси члонки цѣлую любезно“...

— Всѣ „члонки“ — дьяволъ!.. А чтожъ нѣтъ ея писемъ?.. Нѣтъ ли дальше?

И Ягужинскій перелистываетъ лежащую передъ нимъ кипу писемъ, ищетъ; но все видитъ одинъ этотъ проклятый почеркъ да рѣзущія глазъ слова: „Мотренъко“, „коханая“, „серденько“, „личко бѣленькое“, „ручки“, „ножки“... Голова идетъ кругомъ!

Нѣтъ, надо читать все по порядку. Можетъ, такъ и сыщется правда. И онъ скрѣпя сердце читаетъ:

„Мое сердечко! уже ты мене засушила краснымъ своимъ личкомъ и своими обѣтницами. Посылаю теперь до вашей милости Мелашку, щобъ о всѣмъ размовилася зъ вашею милостью. Не стережися ей ни въ чемъ, бо есть вѣрная вашей милости и минѣ во всемъ. Прошу и вельце, за ножки вашу милость, мое серденько, облавивши, прошу не откладай своей обѣтници“...

— За ножки облавивши... Медвѣдъ проклятый! Просить объ чемъ-то: что-то она ему обѣщала...

Ягужинскій съ горемъ и бѣшенствомъ падаетъ головою на бумаги, которыя капля-по-каплѣ брызгали ядомъ на его молодое, въ первый разъ полюбившее сердце...

Въ эту минуту въ дверяхъ показалась колоссальная фигура царя, который сильно нагнувшись, чтобъ не стукнуться своею высоко посаженною головою объ косякъ низкой двери, теперь выпрямился во весь свой исполинскій ростъ и съ удивленіемъ глядѣлъ на лежащую на кнѣ бумагъ чернокудрую голову юнаго царедворца. Въ глазахъ его мелькнулъ какъ-будто гнѣвъ—такъ часто эта искра, не всегда впрочемъ гнѣвная, свѣтилась въ пронизывающемъ взорѣ,—тогда какъ губы передернулись улыбкой.

— Что, Павелъ, уснулъ надъ дѣлами?—сказалъ онъ, дѣлая шагъ впередъ.

Ягужинскій вскочилъ, какъ ужаленный. Блѣдное лицо его залилось румянцемъ.

— Я не сплю, государь!—сказалъ онъ быстро, глядя въ глаза царя.— Я задумался надъ этими письмами.

— Надъ какими это?—и царь подошелъ къ столу.

— Въ дѣлѣ по доносу на гетмана... Я еще не всѣ, государь, сіи письма прочелъ и не нахожу подписи чьи они быть должны.

Царь взглянулъ на письма.

— А! рука гетмана... Тебѣ она не вѣдома поди: ты недавно у дѣлъ... Сіи письма писаны — я знаю о томъ — писаны имъ Кочубеевой дочери... Всѣ прочелъ со вниманіемъ?

— Не всё еще, государь, читаю только.

— Уликъ не сыскать, поди?.. наметковъ какихъ?..

— Улики есть, государь!—отвѣчалъ Ягужинскій смущенно и думая о чемъ-то: онъ зналъ теперь, кто его злѣйшій врагъ, кто отнялъ у него самое дорогое въ жизни; онъ вспомнилъ теперь и выраженіе лица Мазепы, когда, въ саду Диканьки, онъ ехидно смѣялся: „у васъ-де не до жаргъ“...

— Какъ? улики, говоришь? — восторженъ былъ царь, и лицо его разомъ сдѣлалось страшно, похоже на то, какъ тогда, давно когда-то, — Павлуша былъ еще маленькимъ тогда, четырнадцатилѣтнимъ мальчикомъ и жилъ у Головкина,—когда въ Преображенскомъ рубили головы стрѣльцамъ. Ягужинскій растерялся.

— Улики! Покажи!.. такъ ли ты понялъ?

— Да вотъ, ваше величество, и изъ сего письма явствуетъ,—указывалъ Ягужинскій на лежавшее сверху письмо, краснѣя и запинаясь.

„Мое сердечное коханье! Прошу, и вельце прошу, рачъ зо мною обачитися для устной розмовы. Коли мене любишь, не забывай же; коли не любишь—не споминай же! Спомни свои слова, же любить обѣщала, на що жъ мнѣ и рученьку бѣденькую дала. И повторе и постокротне прошу, назначи хоть на одну минуту, коли маемо зъ тобою видѣтися для общого добра нашего, на которое сама жъ прежде сего соизволила есь была. А нимъ тое будетъ, пришли намисто зъ шиі своей, прошу“...

Кончивъ читать, царь вопросительно посмотрѣлъ на Ягужинскаго, который стоялъ какъ вкопанный.

— Тутъ ничего не нахожу я, — говорилъ царь: — простая любовная цидула...

— Онъ прямо признается ей въ своей любви, государь — бормоталъ Ягужинскій:—сіе ясно...

— Что-жъ! любовь —не измѣна отечеству... И я люблю, и ты, можетъ, любишь,—улыбаясь уже говорилъ царь.—Гдѣ жъ тутъ измѣна?

Ягужинскій совсѣмъ смѣшался и стоялъ красный какъ ракъ.

— И я, государь, измѣны гетмана не вычелъ изъ писемъ, — почти шепталъ онъ.

— Какія жъ улики ты поминалъ?

— Про любовь, государь, улики...

— А! про любовь токмо... Ну, сіе не важно, понеже любить и Христосъ велѣлъ... Ну, братъ Павелъ, осрамился ты въ новяхъ-то, на первомъ сыскномъ дѣлѣ: любовныя цидулы принялъ за измѣнныя письма...

Царь говорилъ это совсѣмъ спокойно и весело. Сегодня онъ получилъ вѣсти, что Карлъ уже не гонится за нимъ, а самъ застрѣлъ въ Литвѣ, въ Родошковицахъ, ожидающаго корпуса Левенгаупта изъ Лифляндіи, — и потому царь былъ въ духѣ.

— Осрамился, осрамился, братъ!—повторялъ онъ, глядя на раскраснѣвшаго будущаго воротилу, который впослѣдствіи уже не краснѣлъ и не блѣднѣлъ даже передъ плахой. — А ну, что онъ тутъ еще пишетъ своей ма-

тресѣ, старый? А, каковъ! за семьдесятъ ужъ давно перевалило, а поди на! меня за поясъ заткнетъ, старый хрѣнъ... Еще, значитъ, поживемъ: мы съ нимъ и Карлушку уложимъ... А то на! измѣна... да я на него, на вѣрнаго Мазепу, какъ на каменную гору надѣюсь... Молодецъ, молодецъ, — люблю и за это: былъ молодцу не укорь...

И царь торопливо перелистывалъ письма. Ему пришло на мысль, что и онъ сегодня писалъ такое же любительное письмо къ своему „другу сердешному Катеринушкѣ“, въ отвѣтъ на ея письмо, въ которомъ она, „мудерь-матка оповѣщала своего „Петрушеньку“, что дочки его — „шишечки Катюша да Аннушка во здравіи обрѣтаются, а Катюша-де второй зубокъ выдываетъ—слюнявочки поминутно мѣнять приходится“...

— А ну-ну, старый... „Мое серденько!—читаетъ царь,—тяжко болѣю на тое, що самъ не могу зъ вашею милостью обширне поговорити, що за одраду ваша милость въ теперешнемъ фрасунку“—печали сирѣчь, польское слово (пояснилъ Петръ)—„фрасунку учините. Чого ваша милость по мнѣ потребуешъ, скажи все сій дѣвцѣ. Въ остатку, коли они, проклятія твои“—это родители, полагать должно—„тебѣ пураются, иди въ монастырь, а я знатиму, що на той часъ зъ вашею милостью чинити. Чого потреба и повторе пишу, ознайми минѣ ваша милость“!

При словѣ „монастырь“ глаза Ягужинскаго нѣсколько оживились, а Петръ покачалъ головой.

— Бѣдная дѣвка!.. Не весѣло, полагаю, жилось ей у родителей... А ты ее видѣлъ, Павелъ?—вдругъ обратился онъ къ Ягужинскому.—Помнишь, съ бумагами посыланъ былъ отъ меня при Кочубеѣ?

— Помню, государь,—нерѣшительно отвѣчалъ тотъ.

— Такъ видалъ дѣвку?

— Видалъ, государь.

— Какова она видимостью и персоною показалася тебѣ?

— Она, государь, чернокося, лицомъ бѣла, глаза тако жъ черны—вся въ цвѣтахъ была.

— А персоною какова?

— Такой я, государь, и не видывалъ.

— Да, по отцу судя...—И царь задумчиво перелистывалъ лоскутки бумаги, на которыхъ пестрѣли признанія Мазепы въ любви и его сожалѣнія.—Жаль старика... „Моя сердечне коханая (почти про себя читалъ онъ)! Тяжко зафрасовалемъ, почуѣвши, же тая катувка-палачка“ то есть мать, надо думать—„не перестаетъ вашу милость мучити, яко и вчора тое учинила. Я самъ не знаю, що зъ нею, гадиною, чинити. То моя бѣда, що зъ вашею милостью слушного не мамъ часу о всѣмъ переговорити. Большъ одъ жалю не могу писати, только тое яко жъ кольвекъ становься, я поки живъ буду, тебѣ сердечне любити и зычити всего добра не перестану, и повторе пишу—не перестану, на злость моимъ и твоимъ ворогамъ“!

За дверями послышались шаги и шорохъ бумаги. Царь быстро оглянулся. На порогѣ показался прежде всего большой лысый лобъ со сполз-

шимъ на маковку парикомъ, а потомъ и пѣлая фигура въ темно-коричневомъ камзолѣ съ огромными мѣдными пуговицами, въ башмакахъ съ такими же огромными пряжками, словно отъ конской сбруи, и на козыхъ тонкихъ краяхъ, обтянутыхъ красными чулками. Бритое лицо съ красноватыми подкожными жилками смотрѣло обрюзгло; на немъ горбоватый носъ, словно кадыкъ, помѣстившійся выше тонкогубаго рта, и такой же горбоватый кадыкъ ниже подбородка съ висячими какъ у индюка складками; каріе съ желтизной, зоркіе и юркіе глаза, точно тараканы, постоянно прятвшіеся въ щели, — все это глядѣло непривлекательно и не возбуждало къ себѣ ни нѣжнаго чувства, ни особеннаго довѣрія. Пришедшій, держа въ лѣвой рукѣ связку бумагъ, еще на порогѣ низко поклонился, опустивъ правую руку къ башмакамъ, какъ бы стараясь достать пальцами пола, какъ это дѣлаютъ передъ иконой.

— А! Гаврило Ивановичъ... въ красныхъ чулкахъ: изъ застѣнка, значить, — сказалъ царь, быстро окинувъ взоромъ вошедшаго. — Въ красненькихъ чулочкахъ — у князя-кесаря Ромодановскаго перенялъ, чтобы кровушки на ногахъ не видно было...

— Истину изволить молвить великій государь, — отвѣчалъ вошедшій (это былъ Головкинъ): — дабы кровушки въ нашемъ-то заплочномъ мастерствѣ не видать было.

— Ну, что, винится доноситель?

— Винится, государь; сразу повинился, какъ только дыбу спозрѣлъ.

— А! Что-жъ открываетъ?

— Сказываетъ, государь: писалъ-де на гетмана ложно, изbleвомъ, по злобѣ, а мыслилъ-де, что великій государь безъ разспросу вѣру его извѣстнымъ рѣчамъ дастъ... Въ такомъ-то великомъ государевомъ дѣлѣ да безъ разспросу, безъ сыску!.. Я и искалъ и доискался правды: по злобѣ-де ложь затѣялъ — облыжно писалъ.

— А Искра?

— Искра, государь, на него же все дѣло сматываетъ, на этотъ самый клубокъ нитку мотаешь: его вся эта, Кочубеева, извѣстная затѣя — онъ, Кочубей, и Искру подучалъ... Обнадеживалъ его: государь-де милостію за сіе пожалуетъ... Я Искрѣ, государь, по твоему государеву указу, велѣлъ дать десять, такъ и подъ кнутомъ утвердился на первыхъ рѣчахъ: ничего-де измѣннаго за гетманомъ не вѣдаетъ, а слышалъ-де отъ Кочубея. А какъ Кочубея стали раздѣвать...

Ягужинскій при этихъ словахъ Головкина вздрогнулъ...

— Что, Павелъ? — спросилъ царь, замѣтивъ эту дрожь въ своемъ любимцѣ.

— Знобить какъ будто, государь: отъ окошка, должно быть.

— Ну? — обратился царь къ Головкину: — раздѣлъ-таки и Кочубея?

— Раздѣлъ, государь, а онъ изъ-за пазухи и вымасть вотъ сіе рукописание и говоритъ: покажь-де оное великому государю, онъ-де помилуешь горестію удрученнаго отца о погибели дщери своея.

Ягужинскій опять вздрогнулъ и прислонился къ стѣнѣ: онъ, казалось, готовъ былъ упасть. Головкинъ съ низкимъ поклономъ подалъ царю пакетъ. Государь, молча разорвавъ конвертъ, сталъ пробѣгать глазами написанное на бумагѣ.

— Да, такъ и есть: все изъ-за дочери, — сказалъ онъ наконецъ. — Пишетъ, якобы гетманъ обольщалъ ее. „На день святого Николая, пишетъ, прислалъ Мазепа Демьянка, приказуючи, жебы зъ нимъ видѣлася дочка моя, а объявилъ тое, же дирка въ огородѣ межи частоколомъ противъ двора полковническаго есть проломана, до которой дирки абы конечно вечеромъ пришла для якогось разговору. Якая присылка частокротне бывала, якимъ способомъ крайніи намъ учинилися оболга и поруганіе и смертельное безчестье“... А все-жъ это не измѣна, — пояснилъ царь.

— Не измѣна, великій государь, — подтверждалъ Головкинъ.

— Посмотримъ дальше... „Въ день святого Савы, — читалъ Петръ, — прислалъ его милость гетманъ зъ Бахмача рыбъ свѣжихъ чрезъ Демьянка, а за тою оказією тотъ Демьянко говорилъ Мотронѣ на самотѣ, же усиленно панъ жадаеть, абы для узрѣнія къ ему прибыла, а обѣцуетъ 3,000 червонныхъ золотыхъ. А потомъ того жъ дня, поворачиваючися зъ Бахмача, прислалъ того жъ Демьянка, приказавши наговаривати Мотрону, же панъ 10,000 червонныхъ золотыхъ обѣцуетъ дати, абы тилько такъ учинила; а коли въ томъ она отговоровалася, тогда просилъ тотъ хлопецъ словомъ пана своего, щобъ часть волосовъ своихъ урѣзала и послала пану на жадање его“... Ишь, старый! — улыбнулся царь: — волоски ему понадобились...

— Какъ же, государь, нельзя безъ этого: все же легче, — шутилъ и Головкинъ, дѣлая скверные глаза.

Одинъ Ягужинскій стоялъ молча; и какъ онъ въ постоянной близости царя ни вымущтровалъ свое лицо, оно все-таки выдавало его глубокую тревогу.

— Ахъ, старый, старый! — качалъ головою Петръ, читая показаніе Кочубея: — словно паренекъ молоденькій... „Присылаючи, — читалъ онъ дальше, — гетманъ бравъ сорочку Мотроны зъ тѣла зъ потомъ килько разъ до себе. Бравъ и наместо зъ шіи килько разъ, а для чого, тое его праведная совесть знаетъ“...

— А самъ поди и чулочки и подвязочки у своей-то любушки бирывалъ, — скверно, плотоядно хихикалъ Головкинъ, семена красными икрами, словно гусь, около царя.

— Да, да, — подтверждалъ царь: — а все я никакой измѣны тутъ не нахожу... Развѣ въ письмахъ самого Мазепы къ оной дѣвицѣ: да я ихъ чель и ничего не вычель.

И царь снова пододвинулъ къ себѣ письма Мазепы. Ягужинскій лихорадочно слѣдилъ за нимъ.

— Вотъ большое письмо, — нѣтъ-ли тутъ чего?.. „Моя сердечно коханая, наймильшая, найлюбезнѣйшая Мотроненько! Впередъ смерти на себе

сподѣваясь, нѣжъ такой въ сердцу вашемъ одмѣны. Спомни только на свои слова, спомни на свою присягу, спомни на свои рученьки, которыя минѣ не поеднокротъ давала, же мене, хочъ будешь за мною, хочъ не будешь, до смерти любить обѣщала. Спомни на остатокъ любезную нашу бесѣду, коли есь бывала у мене въ покою. Припомни тилько слова свои, подѣ клятвою мнѣ данные на тотъ часъ, коли выходила есь зо покою мурованого одѣ мене, коли далемъ тобѣ перстень діамантовый, надѣ который найлѣпшого, найдорогшого у себе не маю, же хочъ саяъ, хочъ такъ будетъ, а любовь межи нами не одмѣнится. Нехай Богъ неправдивого караетъ, а я, хочъ любишь, хочъ не любишь мене, до смерти тебе подлугъ слова своего любить и сердечне кохати не перестану на злость моимъ врагамъ. Прошу, и вельце, мое серденько, якимъ-кольвекъ способомъ обачься зо мною, що маю зъ вашею милостью далей чинити, бо южъ большъ не буду врагамъ своимъ терпѣти, конечно одомщеніе учиню, а какое—сама обачишь. Счастливиши мои письма, що въ рученькахъ твоихъ бывають, не жели мои бѣдныя очи, що тебѣ не оглядають!“

Царь остановился. Рука его машинально перебирала бумаги, тогда какъ въ головѣ, видимо, созрѣвала новая мысль, заставляя нервно подергиваться мускулы на его подвижномъ лицѣ и зажигая новыя искры въ глазахъ. И Головкинъ и Ягужинскій, напряженно слѣдя за этой работой мысли, оба ожидали чего-то, но только не съ одинаковыми чувствами.

— Понеже...—началь было царь, но потомъ, какъ бы опомнившись, продолжалъ:—вотъ что, Гаврило Ивановичъ, кончай ты съ этимъ розыскомъ скорѣе,—я вижу, что тутъ измѣна вѣрнаго гетмана примазана безлѣпно... Жаль мнѣ и Кочубея, а наипаче жаль Мазепу... Каково отнять у старика послѣднюю радость! А ежели она, дѣвка-то, любить его, горемычная? Каково ей?.. А она любить его, сіе несумнительно... Такъ быть по сему: отошли ты Кочубея, Искру и прочихъ доносителей къ Мазепѣ—на его волю: хочеть—казнить, хочеть—помилуетъ... А на этой красавицѣ я самъ его женю, самъ и сватомъ буду и посаженнымъ отцомъ. Я хочу, чтобы Россія имѣла сына отъ Мазепы: доблестный и вѣрный родъ Мазепы не должень угаснуть—это моя воля!

Что выражало при этомъ блѣдное, безъ кровинки лицо Ягужинскаго—трудно передать... Бѣдный Павлуша...

XI.

Въ концѣ іюня 1708 года по Днѣпру, недалеко отъ впаденія въ него Тетерева, плыла небольшая парусная галера, тихо подгоняемая сѣвернымъ вѣтеркомъ, который едва-едва надувалъ парусъ и лѣниво поскрипывалъ флюгеромъ, изображавшимъ стрѣлу, пробивающую полумѣсяцъ. День выдался жаркій, безоблачный, и хотя солнце повернуло уже на западъ, но зной все еще не спадалъ и близость воды не приносила прохлады. Галера была вооружена двумя небольшими чугунными пушками. Въ передней части

ея расположилась группа солдатъ и стрѣльцовъ, изъ коихъ одни спали, раскинувшись кто кверху носомъ, кто книзу, другіе играли въ какую-то замысловатую игру и то-и-дѣло били другъ друга по ладонямъ концомъ толстой смоленой снасти, а третьи вели между собой бесѣду о предметахъ, вызывающихъ на размышленіе.

— Знамо, сторона она чужая, черкасская, а все не то, что свейская. Вонъ я, примѣромъ сказать, у этихъ самыхъ свеевъ въ ту пору, послѣ ругодивской громихи-то, въ полону былъ, такъ и не приведи Богъ! Слова рускова не услышишь: все одна тебѣ собачья рѣчь, индо одурь возьметъ слушаючи, какъ они тамъ промежъ себя лопочутъ по собачьи. Ну, а у этихъ, у черкасовъ, ничего—можно жить: такъ малость какая не подходить къ нашей рѣчи, не въ-моготу имъ, черкаскимъ людямъ, говорить по нашему, потому языкъ у нихъ слабый самый, суконный, сказать бы, крѣпости въ ѣмъ нашей нѣту, а то все понятно, только сказать бы маленько попорчено: у насъ вотъ примѣромъ бы сказать—дѣвка, а у ихъ дѣвчина, у насъ это парень, а у нихъ будетъ либо парубокъ, либо хлѣпецъ, а вино у ихъ—горѣлка... Да и вправду, братецъ ты мой, горѣлка она у ихъ, не то что у насъ на Москвѣ, на кружечныхъ дворахъ—Москвой-рѣкой она разбавлена: не водку пьешь, а Москву-рѣку сказать бы лакаешь. А у черкасовъ—ни-ни! водка какъ есть водка, огонь—такъ и горитъ въ нутрахъ горѣлка-та ихняя... А ужъ и попили мы ее, братцы, горѣлки-то этой въ Диканькѣ—вонъ у его въ гостяхъ...

И рассказчикъ, стрѣлецъ, скуластый и коротконогій, почти безо лба и съ калмыковатымъ разрѣзомъ глазъ увалень, чудомъ спасшійся отъ висѣлицы, когда стрѣльцы шли за царевну Софію, и потомъ вмѣстѣ съ другими стрѣльцами высланный въ украинные города, а послѣ въ Батуринъ, въ полкъ Григорія Анненкова, на службу Мазепѣ,—кивнулъ головой по направленію къ казенкѣ, у которой въ тѣни полога видѣлись двѣ чело-вѣческія фигуры, прикрытыя рогожами, а по сторонамъ ихъ, на свернутыхъ канатахъ, сидѣли два рейтара съ ружьями и дремали.

— А ты нешто бывалъ у нево?—спросилъ одинъ изъ игравшихъ въ замысловатую игру съ жгутомъ.

— А какъ же, за его хозяйкой насъ посылалъ весной Григорій Анненковъ съ Трошинскимъ полковникомъ да съ волохами.

— Такъ стало Кочубейшу взяли?

— Вѣстимо, взяли... И, братецъ ты мой, вотъ яга-баба! отъ міру отведенная... Прибѣжали мы это въ Диканьку утреемъ, только что раннюю обѣдню отпѣли. Спрашиваетъ полковникъ, гдѣ панія будетъ? — Въ церкви, говорятъ.—Мы въ церкву; караулъ вокругъ поставили. Входимъ, а она стоитъ на колѣняхъ у мѣстныхъ образовъ да поклоны кладетъ. Полковникъ, перекрестившись какъ слѣдъ, говорить: „по приказу-де гетмана я пріѣхалъ за тобою, имать тебя за приставы“. — „Плевать-де я, гыть, хотѣла на вашего гетманишку-измѣнщика. Я, гыть, знаю одного царя-батюшку, какъ-де онъ повелитъ, на томъ-де я стану“ А полковникъ

и говорить: „нашъ-де, гыть, гетманъ по указу его царскаго величества тебя имать приказалъ“. — „Не слушаю-де я, гыть она, вашего гетманишки, бездѣльника бл.ина сына: покажь царскій указъ“. А полковникъ—отъ намъ и мигаетъ: возьмите-де вѣдму! Мы къ ей, а она—ужъ и ѣшь ее мухи—Бога не побоялась: возьми да прямехонько царскими-то вратами да въ самый алтарь! Мы такъ и ахнули. Боже милостивый! баба въ алтарь!.. ужъ это какъ есть послѣднее самое дѣло—баба въ алтарь...

— Это что и говорить!—подтвердили слушатели:—церковь баба опоганила.

— Ну, она это въ алтарь, и мы въ алтарь: знамо, приложились допрежъ къ мѣстнымъ образамъ. Входимъ, а она за алтарь шмыгнула да какъ крикнетъ: „не пойду съ церкви! нехай постражду межъ алтаремъ, какъ Захарія!“

— Это кто-жъ Захарій-то?

— Запорожець, сказывали, былъ такой: поляки его въ церкви изрубили.

— Ну, и что жъ—взяли медвѣдицу?

— Имали... Хотѣли было эдакъ подъ ручки, такъ куда! словно волчица въ лѣсу: „не трошь меня, гыть, погаными руками—сама пойду на плаху!“ — Ну и пошла, а мы за ей да на дворъ... А на дворѣ наза-встрѣчь къ намъ дочка ейная идетъ, красавица писаная, Мазепина, сказываютъ, крестница. Ужъ и красавица же, братцы! Чернокошая, что твоя волошка, бѣлолица, словно свѣчечка воску бѣлаго. Идетъ и плачетъ, а за ей, братецъ ты мой, птица всякая валить—и куры, и гуси, и индѣйки, журавли, братецъ, словно робятки за ей идутъ да въ глаза заглядываютъ. А она только ручкой машетъ: нѣту-де у меня ничего—самое-де берутъ... Жалко ее стало, страхъ какъ жалко! А за ей идетъ старушка старенька, нянька сказать бы, либо мамка ейная—и въ голосъ голосить... Вотъ тутъ мы и попили гарѣлки этой—въ мертвую голову пили, потому погребъ казаки ихніе, черкасскіе, распоясали: „пей, говорятъ, братцы, кучубеевскую гарѣлку: онъ-де супротивъ нашего батьки гетмана пошелъ измѣной“... Ну и попили!

— А ихъ куда же, Кучубейшу-ту съ дочкой?

— Въ Батуринъ за приставы привезли.

Солнце клонилось все ниже и ниже, тѣни отъ береговъ и берегового лѣсу становились длиннѣе, досягая чуть не до половины Днѣпра. Вѣтерокъ совсѣмъ упалъ, а вмѣстѣ съ нимъ упалъ и парусъ, лѣниво болтаясь на снастяхъ. По знаку рослаго мужика, стоявшаго у руля, солдаты и стрѣльцы, бросивъ свою интересную игру, убрали парусъ. Галера стала двигаться еще медленнѣе, ее несло только теченіемъ.

По берегамъ Днѣпра то тамъ, то здѣсь вытыкалось жилье, бѣлѣлись изъ-за зелени чистенькія хатки, пестрѣли разными цвѣтами да подсолнухами огороды. Кой-гдѣ паслись стада. По Днѣпру скользили иногда маленькія лодочки-душегубки и, завидя московскую галеру съ пушками, спѣшили къ берегу.

— Тихая сторона, не то что у насъ на Волгѣ,—говорить скуластый стрѣлецъ, поглядывая на берегъ.

— А ты нешто и на Волгѣ бывалъ?—спрашивалъ его молодой рейтаръ съ сросшимися бровями.

— Бывалъ и на Волгѣ... А ты спроси—гдѣ я не былъ! И въ полону у свеевъ былъ, да убѣгъ, и въ Польшѣ былъ, и съ Мазепою къ Запорогамъ хаживалъ, и въ Астрахани съ Шереметевымъ бояриномъ смуту усмиряли.

— А съ чего смута была?

— Да все изъ-за бородъ да изъ-за взятковъ: стали это брать съ ихъ банныя деньги, съ бани по рублю, да съ погребовъ, да причальныя, да отвальныя пошлины, да съ гробовъ дубовыхъ, — ну и заартачились астраханцы. А мы какъ приплыли Волгой да сыпанули изъ пушекъ чугуныя арбузами... Ужъ и арбузы же тамъ, братецъ, дыни астрахански!..

У казенки, подъ рогожами, зазвенѣли желѣза; изъ-подъ рогожки показалась черная съ сильною сѣдиною голова и съ длинными тоже посеребрёнными сѣдиною усами. Давно небритый подбородокъ также чернѣлъ и серебрился густою щетиною.

Трудно было узнать въ этомъ лицѣ Кочубея—до того измѣнился онъ; а это былъ онъ, отецъ Мотренки, выдержавшій не одну пытку въ застѣнкѣ Головкина и до этого еще прошедшій не одну нравственную пытку съ тѣхъ поръ, какъ въ дому у него поселилось горе и его любимая дочка гасла какъ свѣчка. Кочубей приподнялся, перекрестился, насколько позволяли ему ручныя кандалы. Онъ оглянулся на небо, на берега Днѣпра. Онъ соображалъ, повидимому, гдѣ они плывутъ, далеко-ли еще осталось до конца... Да, конецъ приближается... Давно они уже плывутъ изъ Смоленска родною, дорогою рѣкою, по которой когда-то плавали на волѣ, на казацкихъ чайкахъ. Какъ это давно было! Еще при Дорошенкѣ и Самойловичѣ; но и ихъ давно нѣтъ.

Что-то дома дѣлается? что жена, дѣти, бѣдная Мотренка?... А все изъ-за нея это... А чѣмъ она виновата? Виновата „личкомъ биленькимъ, станомъ тоненькимъ, карими очами, черными бровями“...

Солнце все ниже и ниже. Галка летитъ Днѣпромъ, опережая галеру... „Ой, полети ты, черненькая галко, та до дому рыбы исти, ой, принеси ты, галко, та зъ родины висти“... Улетѣла и галка.

А какъ спина болятъ отъ пыточныхъ ударовъ!.. Боже правый!..

Изъ-подъ рогожки выглядываетъ и другое лицо, тоже съ трудомъ узнаваемое. Это Искра, тотъ веселый Искра Иванъ, что такъ любилъ „жарты“... Ничего не осталось ни отъ Искры, ни отъ Кочубея: и платие на нихъ арестантское, сермяжное, а ихъ дорогіе кунтуши и перстни, какъ и всѣ маестности, въ казну взяты.

— Ты спавъ, Иване?—спрашиваетъ Кочубей.

— Заснувъ трохи... хоть сонною дуюмою дома, у Полтави, побувавъ...

— А мене и сонъ не бере... Десь тамъ выспимось... голова буде спати сама собою, а тило само собою.

Отворилась дверца въ казенкѣ и оттуда вышелъ пожилой мужчина въ синемъ кафтанѣ, худой и морщинистый. Это былъ стольникъ Вельяминовъ-Зерновъ, которому царь приказалъ доставить Кочубея и Искру къ Мазепѣ, находившемуся въ то время съ запорожскимъ войскомъ за Днѣпротъ, въ Паливщинѣ.

Вельяминовъ-Зерновъ зѣвнулъ, перекрестилъ ротъ, отѣнилъ маленькіе свои глазки ладонью и приглядывался къ синѣющей дали и къ золотящимся отъ садившагося за горы солнца берегамъ Днѣпра.

— А далеко еще до Кіева?—спросилъ онъ, взглянувъ на Кочубея и Искру, сидѣвшихъ въ своемъ арестантскомъ углу.

— Завтра надо бы быть тамъ,—отвѣчалъ Кочубей.

— Завтра, на день апостоловъ Петра и Павла; это изрядно, какъ-бы про себя проговорилъ стольникъ.

Потомъ онъ пропелся вдоль галеры, сдѣлалъ кое-какія замѣчанія солдатамъ и стрѣльцамъ, постоянно позѣвывая и крестя ротъ. Онъ, видимо, скучалъ этой долгой волокитой отъ Смоленска до Кіева, спалъ до одурѣнія и все никакъ не могъ скоротать времени. Добредя потомъ до рулевого, онъ сѣлъ на скамейку, зѣвнулъ, перекрестилъ ротъ и затянулъ вполголоса „Свѣте тихій“!..

Вечерѣло. Воздухъ становился прохладнѣе. Солнце не золотило уже ни береговъ, ни вершинъ лѣса, ни горъ: оно само давно спряталось за гору. И даль, и поверхность Днѣпра, и зелень—все мало-по-малу теряло цвѣтность, окутывалось невидимою дымкою. Съ берега доносилось иногда блеянье овецъ, ревѣли коровы: это стада возвращались съ полей къ жилью.

Стольнику надоѣло, повидимому, тянуть и „Свѣте тихій“...

— А пора бы, кажись, и къ берегу... Завтра въ Кіевъ поди рано приплывемъ,—сказалъ онъ рулевому.

— Богъ дастъ, рано управимся, бояринъ: къ обѣднямъ поспѣемъ,—отвѣчалъ рулевой, не спуская глазъ съ кормы.

— Такъ чаль—вонъ приглубый бережокъ, и рыбки молодцы къ ужину поди наловятъ.

Галера привернула къ лѣвому берегу. Заякорились, бросили сходцы на берегъ и стали выходить.

— Ну, ребята, раскладывай костеръ, да бредешкомъ забредите—можетъ стерлядочекъ зацѣпите, али окуньковъ хорошенькихъ, бычковъ—прекусная рыбаца,—оживился стольникъ, ходя по берегу и разминая залежавшіеся члены.

Одни арестанты остались на своемъ мѣстѣ, на галерѣ, да часовые, которые караулили ихъ.

Солдаты и стрѣльцы бросились собирать сухой валежникъ, разложили и разожгли костеръ, поставили огромный треногъ съ висячими крючками,

подвѣсили котелки съ водой... Говоръ такой на берегу, весело! Повеселѣлъ и стольникъ, большой охотникъ до рыбы, особливо же, ежели ее теперича поймать свѣженькую да прямо изъ воды да въ колелокъ, да лучку туда, да перчику, да лавроваго листу, да щавельку свѣжаго, да солцы въ мѣру—да такъ на воздухѣхъ, подъ Божиимъ покровомъ, и трапезовать: то-то любо дорого.

Костеръ распылался на славу—фу да ну!—а кругомъ отъ зарева темень, и небо темнѣе стало, звѣзды высоконыко да даленко помигиваютъ, и на галеру зарево костра падаетъ, а изъ галеры, изъ арестантскаго угла выглядываютъ два блѣдныхъ лица—тоже глядятъ на костеръ.

Скуластый стрѣлецъ, что бывалъ и у свеевъ въ полону и на Волгѣ, и молодой рейтаръ съ сросшимися бровями раздѣлись донога,—голыя тѣла такъ ярко освѣщены заревомъ костра,—захватили бредешокъ и тихо сошли въ воду, бережно ощупывая глубину у берега. И стольникъ тутъ: руками машетъ, шикаетъ.

— Шшъ... тише... глубже забирай, водой не плещи...

Бредутъ, долго бредутъ, а стольникъ за ними по берегу идетъ... „Заходи... рейтаръ, становись; стрѣлецъ, вытаскивай живѣй: улю-лю-лю! ловись, рыбка! гоните ее, святые угоднички Петры-Павла, въ бредешокъ“...

Вытащили—трепыхается рыбка, и крупненькая, и махонькая...

— Давай ведра! живѣй, ребята! — командуетъ стольникъ, поднимая полы и засучивая рукава камзола.—Ай да рыбка, рыбина Божья! Ишь трепыхается... а вотъ и рачокъ соколикъ, другой... Те-те-те! окунище знатный—ишь, бояринъ какой! Улю-лю-лю! рыбина Божья... — присѣвъ на карточки, радуется стольникъ, хватая то окунька, то ершика.

И долго еще радовался стольникъ, суетясь потомъ около костра, заглядывая въ котелки, пробуя ушницу Божью, потомъ смакуя ее и рыбину сердешную, скусную, подсаливая ее, да запивая потомъ ренскимъ, да слово-слова Бога, насытившаго его земныхъ благъ въ чаяніи не лишити и небеснаго царствія...

Бли потомъ и рейтары и стрѣльцы, освѣщаемые костромъ и похваливая уху и рыбку...

А изъ угла галеры виднѣлись два блѣдныхъ лица, да мигали съ неба блѣдныя звѣзды...

Утромъ въ день Петра и Павла галера подплывала къ Киеву. Чудное утро выдавалось, радостное. Кіевъ такъ весело, празднично смотреть. Зазваниваютъ къ обѣднямъ. Послѣ обѣденъ, люди разговляться будутъ, въ гости другъ къ дружкѣ ходить; молодежь любиться будетъ жарче, жарче втихомолку цѣловаться стануть... Сколько поцѣлуевъ будетъ украдено у жизни, у старости всезапрещающей, у вѣчнаго, глазаго цензора „нелзя“!.. Эхъ, хороша ты, жизнь проклятая! Какъ же не хороша?.. Вонъ дѣти купаются въ Днѣпрѣ: сколько счастья на ихъ невинныхъ личикахъ.

— Докійко! Докійко! — кричитъ дѣвочка, выставивъ изъ воды черную головку съ распушеною косою: я поплыву онъ до того великого човна.

— Охъ, панночко! не плавайте, втонете!—кричитъ другая дѣвочка, ныряя въ воду какъ утка.

— Ни, Докійко, поплыву, пливи за мною.

И дѣвочки словно русалки быстро подплываютъ къ галерѣ—и съ испугомъ останавливаются на водѣ: они узнаютъ на галерѣ два лица, но какія страшныя эти лица!

— Охъ, Докійко,—шепчетъ первая дѣвочка, отплывая съ испугомъ отъ галеры:—та тожъ Кочубея москали везутъ, Мотрѣнчиного тату... Я такъ злякалася, трохи не втонула.

— То-то, панночка, втонете вы коли небудь.

— Бидна Мотрѣнька... Ходимъ, Доко, подивимось, якъ ихъ поведуть.

Это та дѣвочка, Оксая Хмара, которую мы видѣли съ котикомъ на рукахъ въ кельѣ игуменьи Магдалины, матери Мазепы, когда гетманъ приходилъ просить ея благословенія.

Не успѣли дѣвочки выйти изъ воды и одѣться, какъ галера пристала къ берегу и арестантовъ повели прямо въ Печерскую крѣпость.

Черезъ двѣ недѣли Кочубей и Искра были уже въ обозѣ Мазепы, который со всѣмъ малороссійскимъ и запорожскимъ войскомъ стоялъ станомъ за Вѣлю Церковью, на Борщатовкѣ.

Съ ранняго утра собраны были войска на площадь около церкви. Скоро прибылъ на площадь и Мазепа, окруженный блестящею свитою: Филиппъ Орликъ, Данило Апостолъ, Павло Полуботокъ, Иванъ Скоропадскій, Войнаровскій, Гамалия, Лизогубъ, Галаганъ — всѣ это на добрыхъ коняхъ, въ богатой одеждѣ. На Мазепѣ голубая андреевская лента—рѣдчайшая въ то время въ цѣлой Россіи. Голубой цвѣтъ ея, играя на солнцѣ, придаетъ какую-то мертвенную блѣдность щекамъ гетмана. Съ тѣхъ поръ какъ мы его видѣли въ послѣдній разъ съ Мотрѣнкой, когда онъ подъ набатный звонъ передавалъ ее Григорію Анненкову для сопровожденія къ родителямъ, Мазепа еще болѣе осунулся, и лицо его стало напоминать что-то хищное, птичье,—то, что было въ лицѣ его матери: брови больше спустились на глаза, что оттянуло ихъ особенно сильно и придавало имъ черноту и блескъ; усы тоже свисли и какъ-бы еще болѣе оттянули книзу углы губъ. Орликъ иногда поглядывалъ на него изъ подлобыя, постоянно вдумываясь въ что-то и словно высчитывая умомъ и за и противъ. Скоропадскій тоже о чемъ-то думалъ... Да и нельзя было не думать! Его хорошенькая жиночка Настя такъ настойчиво провожала его въ походъ словами: „хочу бути гетьманшею“... А вотъ что значить слушаться „жинокъ“—вонъ Кочубей изъ-за жены да изъ-за дочки погибаетъ...

Но вотъ ударили въ бубны и котлы. Встрепенулись казаки и старшина. Всѣ оборачиваютъ головы, ждуть. Изъ-за звуковъ бубенъ слышатся позвякиванія желѣзъ: тилимъ-тилимъ, тилимъ-тилимъ... Глаза Мазепы со всѣмъ исчезаютъ подъ бровями. Онъ жадно прислушивается къ этому пи-

лящему по душѣ тилимъ-тилимъ... „За карі очи, та за черні брови... Охъ, сколько народу изъ-за васъ пропало!..“

Ведуть! ведуть! — прошелъ шопоть по рядамъ казаковъ. Иные крестятся, взглядывая на церковь, на крестъ которой сидитъ ворона и каркаетъ... „На кого она проклятая каркаетъ“? думается Мазепѣ.

Ряды раздвигаются и пропускаютъ арестантовъ. Впереди отряда стрѣльцовъ, конвоирующихъ осужденныхъ, идетъ скуластый стрѣлецъ, усердно выбивая подъ бубенъ тактъ запыленными ногами. Стольникъ Вельяминовъ-Зерновъ въ новомъ камзолѣ переваливается съ боку на бокъ и какъ бы повторяетъ мысленно подъ тотъ же бубенъ: „улю-лю-лю... ловись, рыба Божья, ловись“...

Показываются и сермяжные чапаны, подпоясанные мочалками. Это Кочубей и Искра съ непокрытыми головами, съ нависшими на лбы волосами и съ глазами опущенными долу, какъ будто бы глаза эти ищутъ дороги, какъ бы не сойтись съ нею, не угодить туда, въ яму невидимую... а можетъ скоро и увидетьъ... На ногахъ арестантскіе казенные коты и бѣлые суконныя онучи, обхваченныя желѣзными кольцами, отъ которыхъ идутъ такія же желѣзныя звенья къ поясу... Арестантовъ ввели въ старшинскій кругъ и поставили лицомъ къ церкви. Глаза ихъ не сразу охватили и узнали все, что въ этомъ почетномъ кругу; а въ кругу вотъ что было: бѣлыя сосновыя доски, настланныя въ видѣ стола; два какіе-то холстовые мѣшка на этомъ помостѣ со ступеньками; тутъ же два новыхъ наскоро сколоченныхъ гроба.

Отъ этихъ досокъ и гробовъ Кочубей поднялъ глаза и они упали на голубую ленту, потомъ выше и встрѣтились съ глазами Мазепы... Филиппъ Орликъ махнулъ рукой и бубны умолкли... Тихо стало, такъ тихо, что слышно, какъ дышутъ казаки.

— Помни, Иване Мазепо, я иду до Бога! — громко сказалъ Кочубей, показывая на церковь.

— Съ Богомъ, Василе, съ Богомъ... иди! — хрипло отвѣчалъ Мазепа, сверкнувъ глазами.

— Помни, Мазепо, я зову тебя на страшный судъ...

— Помню-помню...

— Буди проклято чрево, носившее тя, и сосца, яже еси сосалъ! — не выдержалъ Искра, топнувъ закованною ногою.

Мазепа самъ думалъ то же, потому что въ этотъ моментъ въ памяти его пронеслось послѣднее свиданіе съ матерью, съ котораго, повидимому, и начались всѣ несчастія, а тамъ и потеря существа, которое одно въ жизни онъ любилъ искренно. Но въ это время Орликъ подаль знакъ, загудѣли бубны и все собой покрыли. Затѣмъ Орликъ развернулъ бумагу и снялъ шапку. За нимъ обнажили головы старшина и все войско.

„По указу его царскаго пресвѣтлаго величества и по приговору войска малороссійскаго запорожскаго“, — началъ читать Орликъ, когда умолкли бубны. Въ приговорѣ упоминалось и „ложное доношеніе“, и „посажка на

гетмана“, и „изблеваніе клеветы“ на все войско и иныя преступленія.

Кочубей тихо качалъ головой, беззвучно шевеля губами.

— Бреше, сучій сынъ! — крикнулъ Искра при словахъ „изблеваніе клеветы на войско“. — Мы на козаківъ не блювали.

— Шкода! шкода! — закричали казаки за спинами старшины.

Опять машетъ Орликъ рукой, опять колотятъ бубны... Къ осужденнымъ подходитъ священникъ съ крестомъ. Осужденные падаютъ ницъ, звеня кандалами, потомъ поднимаются, крестятся. Священникъ ихъ напутствуетъ только имъ однимъ слышными словами и даетъ цѣловать крестъ.

Осужденные остаются на колѣняхъ: они знаютъ казацкіе обычаи и не хотятъ въ послѣдній разъ въ жизни ударить передъ казаками лицомъ въ грязь. Снова Орликъ машетъ рукой. Изъ-за стрѣльцовъ выходитъ низенькій, широкоплечій, татарскаго облика „катъ“ съ блестящимъ топоромъ въ рукахъ. Молніей блеснуло желѣзо въ глаза осужденнымъ. Палачъ положилъ топоръ на помостъ и взялъ оттуда бѣлый мѣшокъ: это былъ саванъ — что-то длинное, словно доповская риза безъ рукавовъ. Когда палачъ подошелъ къ Искрѣ, чтобы связать ему руки висѣвшею у пояса веревкою, Искра оттолкнулъ его.

— Геть! — крикнулъ онъ съ силой: — я не хочу йти до Бога злодіємъ... не рушъ моихъ рукъ.

Палачъ глянулъ на Мазепу. Тотъ сдѣлалъ знакъ, чтобы Искрѣ не связывали рукъ. Тогда палачъ накинулъ саванъ сначала на него, потомъ на Кочубея. Оба осужденные поднялись съ земли, бодро взошли на помостъ, повернулись къ казакамъ, сдѣлали имъ по глубокому поклону и стали на колѣни, вытянувъ впередъ головы, чтобы удобнѣе было палачу рубить имъ шею.

Палачъ взялъ топоръ и, поглядывая на Мазепу, ожидалъ знака. Желтая, съ золотистыми крыльями бабочка, порхавшая надъ помостомъ, спустилась и сѣла на помостъ какъ-разъ передъ осужденными, расправляя свои блестящія крылышки. Искра, высвободивъ изъ-подъ своихъ колѣнъ подолъ савана, махнулъ имъ на бабочку, и она снова закружилась надъ помостомъ.

Мазепа сдѣлалъ знакъ. Топоръ блеснулъ въ воздухѣ — и голова Кочубея стукнулась лбомъ объ помостъ вмѣстѣ съ туловищемъ. Голова не отлетѣла отъ шеи, а держалась на ней небольшой полосой кожи. Искра, поднявъ голову, страшно глянулъ на палача.

— Собака! ты и рубать не вмѣешь! — грозно сказалъ онъ, снова протягивая свою воловью шею.

— Отъ побачишь! — огрызнулся палачъ.

— Рубай — я подивлюсь...

Но ему уже не удалось „подивиться“ на искусство палача и на то, какъ упрямая голова широкомъ лбомъ хлобыстнулась объ помостъ, а туловище все еще стояло — какъ бы не хотѣло падать... Но и оно грохнулось, изливая фонтаномъ горячую кровь.

— Погибе память ихъ съ шумомъ!—сказалъ Мазепа и поворотилъ своего коня.

Въ это время ударили къ обѣднѣ, словно бы то былъ звонъ не похоронный, а скорый, частый, какъ бы радостный: то звонили для живыхъ, которые должны были молиться и за себя, и за усопшихъ.

Казаки, и конные и пѣшіе, по отѣздѣ гетмана и старшины, пона-двинулись къ казненнымъ и долго смотрѣли на нихъ. Ни на одномъ лицѣ не видно было ни осужденія, ни какого-либо иного укора; напротивъ, всѣ смотрѣли строго, жалостливо, иногда съ ужасомъ, боязнью, но болѣе всего съ какою-то тайною загадкою во взорѣ, съ неразрѣшимымъ вопросомъ и относительно себя и относительно вотъ ихъ, лежащихъ на помостѣ такъ страшно-картинно: Кочубей уткнулся въ кровавую лужу, словно кланяется церкви, хотя голова его лежитъ бокомъ къ полу, а усы и ротъ мокнувъ въ крови, точно пьютъ ее; Искра же растянулся во всю длину и какъ бы тянется всѣмъ своимъ массивнымъ тѣломъ къ головѣ, которая откатилась отъ туловища и закрыла глаза, точно прислушиваясь—сразу отрубать ее отъ тѣла или не сразу.

А желтая бабочка опять тутъ: то на Кочубея сядетъ, то на Искру, расправляетъ крылышки, приближается къ крови и снова поднимается... Ее занимаютъ, повидимому, эти бѣлые, обрызганные кровью саваны...

— Якій метеликъ—дивиться, хлопцы,—говорилъ одинъ казакъ, указывая на бабочку:—то може душа Кочубеева прилинула... Онъ якъ коло головы его крыльцями віе...

— А може се дочка до его прилетѣла, убивается по батькови, — замѣтила баба-богомолка, возвращавшаяся изъ Кіева: — онъ якъ лине до батенька...

— Яка, бабусю, дочка?

— Та Матроною, кажуть, зовуть. Вона, кажуть... Мазепа до неї, та щось не тее...

Богомолка не договорила. Бабочка опустилась на трупъ Кочубея и ползала по его савану, расправляя крылышки.

— Та вона жъ, се вона... бідна дитина...—Богомолка утерла слезы,—отъ и поплакати нікому...

Только по окончаніи обѣдни труны казненныхъ были положены въ гроба и повезены въ Кіевъ, на родину, поближе къ своимъ... Богомолка была права: тутъ надъ ними некому было поплакать.

ХІІ.

Прошло лѣто, прошла осень, прошла и половина суровой зимы. Наступилъ 1709 годъ—скоро весна...

По снѣжной равнинѣ, раскинувшей бѣлымъ саваномъ къ востоку отъ Сумъ до Сейма, гладкою возвышенностью ѣдетъ группа всадниковъ. Нѣсколько впереди всѣхъ, на полкорпуса лошади, высокаго и тонконогаго,

чернаго съ бѣлою звѣздою во лбу скакуна—рѣзко выдѣляется изъ группы и своею осанкою, и своимъ устрѣмъ на богатомъ сѣдлѣ фигура молодого человѣка въ войлочной трехъуголкѣ съ зрительною трубою въ правой рукѣ и съ огромнымъ палашемъ у бедра.

Что-то странное, непонятное въ лицѣ у этого молодого человѣка. Не-обыкновенно круто вскинутыя брови; нѣсколько приподнятыя съ концами бровей внѣшніе углы глазъ; въ томъ же направленіи приподнятые углы дерзко-насмѣшливыхъ губъ; носъ, какъ-то упрямо выдающійся на этомъ какомъ-то черствомъ, закрубѣломъ лицѣ; ноздри, постоянно раздувающіяся какъ у горячей норовистой лошади, и въ особенности сѣрые, съ неподвижными, какъ у безумца или мономана, какіе-то жесткіе, упрямые, стоячіе глаза,—все это такъ рѣзко выдвигало лицо этого молодого человѣка изъ группы другихъ лицъ, что при видѣ его встрѣчный невольно пятился назадъ съ вопросомъ внутри себя: что это такое, или это злодѣй, или необыкновенный человѣкъ?.. А между тѣмъ одѣтъ этотъ необыкновенный человѣкъ очень просто, даже бѣдно и нечисто: военный однобортный кафтанъ потертъ, вываливъ въ сѣнѣ; металлическія пуговицы на немъ заржавѣли; старый черный галстукъ обмотанъ вокругъ шеи неловко, небрежно; высокіе, выше колѣнъ сапоги неизвѣстно когда чищены; огромныя шпоры тоже носятъ на себѣ слѣды ржавчины. Зато конь убранъ богато, по-царски: да и конь рѣдкой породы и необыкновенно выхолонный.

Рядомъ съ нимъ, тоже на кровномъ скакунѣ, стараясь держать своего коня нога въ ногу съ первымъ всадникомъ, ѣдетъ розовый мальчикъ, не спускающій глазъ съ перваго и нервно слѣдящій за каждымъ его движеніемъ. Розовыя щеки его обвѣтрены, но юношескій, какъ на персикѣ, пушокъ еще не сошелъ съ нихъ, а чистые свѣтло-голубые глаза такъ ясны, что никогда кажется до смерти не обвѣтрѣютъ. Юноша также одѣтъ по военному и съ такимъ же большимъ палашемъ, который, кажется, своею тяжестью гнетъ его на сторону.

По другую сторону перваго всадника на бѣломъ конѣ, на высокомъ казацкомъ сѣдлѣ, грузно сидитъ знакомая намъ, нѣсколько сутуловатая и понурая фигура, съ такимъ же понурымъ лицомъ, съ понурыми бровями и понурыми сѣдыми усами. Это Мазепа въ своей сивой смушковой шапкѣ, мало отличающейся отъ сивой головы гетмана.

Далѣе почти въ рядъ слѣдуютъ и незнакомыя намъ въ незнакомыхъ костюмахъ лица и давно знакомый намъ старшина малороссійскій — Филиппъ Орликъ съ своими сѣрыми серьезными глазами, Войнаровский и другіе.

Первый всадникъ съ какою-то неподвижною задумчивостью глядѣлъ вдаль, какъ бы силясь прозрѣть, что тамъ далеко-далеко за этимъ бѣлымъ пологомъ, точно разостланнымъ чистою скатертью до невѣдомаго царства, до невѣдомыхъ людей.

— А отсюда, ваше величество, и до Азіи не далеко—всего только нѣсколько миль,—не то съ ироніей, не то съ придворной лестью заговорилъ Мазепа на чистомъ латинскомъ языкѣ.

— Да?—круто повернувшись на сѣдлѣ, спросилъ первый всадникъ, странный на видъ молодой человѣкъ, который былъ не иной кто какъ Карлъ XII.

— Точно, ваше величество,—отвѣчалъ гетманъ.— Вотъ какъ далеко проникло ваше побѣдоносное оружіе!

— *Sed non conveniunt geographi* (географы на двое сказали),—не то отшутился, не то повѣрилъ Карлъ.

— Сѣверный Донецъ, ваше величество, нѣкоторые географы считаютъ этой границей, а Донецъ недалеко отсюда,—продолжалъ Мазепа.

Карлъ нервно приподнялся на сѣдлѣ, оглянулся на свиту, отыскалъ глазами худого съ сухимъ носомъ и такими же сухими, точно никогда не смѣявшимися глазами старика съ большимъ орденомъ на шеѣ и громко сказалъ:

— Слышите, Реніильдъ, мой старый другъ? Мы скоро доберемся до Азіи—не далеко ужъ.

— Съ вами, ваше величество, и до аду не далеко,—уклончиво отвѣчалъ хитрый фельдмаршалъ.

У Мазепы неволью дрогнулъ сивый усъ, а лукавые глаза его только одному Орлику знакомымъ языкомъ добавили: „туда вамъ и дорога“.

— Я хочу быть въ Азіи!—продолжалъ упрямый король.— Если мой предки, варяги, съ ихъ смѣлыми конунгами ходили въ Византію, то и мы пройдемъ до Азіи.

Розовый мальчикъ, ѣхавшій рядомъ съ нимъ, глядѣлъ на него съ восторгомъ и благоговѣніемъ.

— О, ваше величество!—воскликнулъ онъ:—вы идете по слѣдамъ Александра Македонскаго.

— Ахъ, мой милый Максъ!—улыбнулся Карлъ:—здѣсь даже и онъ не ходилъ... нѣтъ тутъ его слѣдовъ...

И странный король показалъ на снѣжную равнину, по которой ихъ кони дѣлали первые слѣды. Юноша вспыхнулъ. Это былъ юный Максимилианъ, герцогъ виртембергскій, который, будучи очарованъ небывалою военною славою дерзкаго короля Швеціи, явился къ нему въ лагерь въ качествѣ ученика военнаго генія Карла и просилъ его принять въ число другихъ дружинниковъ этого новаго варяжскаго конунга. Карлъ принялъ его; томилъ юношу тою суровою жизнью солдата, какую самъ велъ: скакалъ съ нимъ по цѣлымъ часамъ отъ отряда къ отряду, спалъ вмѣстѣ съ нимъ на снѣгъ и на голой землѣ, и юноша боготворилъ своего суроваго учителя.

— О, ваше величество!—восторженно, съ яркою краскою на загорѣлыхъ и обветренныхъ, но все еще нѣжныхъ щекахъ сказалъ Максимилианъ:—вы въ Азіи найдете слѣды Александра Македонскаго и затопчете ихъ вашими ногами, вашею славою...

— Хорошо, хорошо, мой храбрый Максъ, затопчемъ ихъ.

Мазепа продолжалъ помаргивать сивымъ усомъ, думая о чемъ-то дру-

гомя, а Орликъ сердито поглядывалъ на него, какъ бы желая сказать: „охота тебѣ было, пане гетмане, нагадать козѣ смерть—раздразнить этого короля-гульвису: онъ теперь заберетъ себѣ въ упрямую башку Азію да этого пройди-свѣта Александра, а Украина пропадай!“

А Карлъ дѣйствительно уже забралъ себѣ въ голову. Онъ снова повернулся на сѣдлѣ и, отыскавъ глазами другого всадника, бѣлоглазаго съ льняными волосами плотнаго мужчину не молодыхъ лѣтъ, крикнулъ:

— Любезный Гилленкрукъ! наведите справки о путяхъ, ведущихъ къ Азіи.

— Справиться не трудно, ваше величество, но дойти до Азіи не легко, — сердито отвѣчалъ бѣлоглазый мужчина.

— Вы всегда скучны со мною, старый дружище! — засмѣялся король. — Только я все-таки хочу добраться до Азіи: пусть Европа знаетъ, что мы и въ Азіи побывали.

— Ваше величество все изволите шутить, а не серьезно помышляете о такомъ важномъ дѣлѣ, — попрежнему сердито отвѣчалъ Гилленкрукъ.

— Я вовсе не шучу! — оборвалъ его король.

Въ сумасбродной, „железной головѣ“ короля-варяга, какъ его тогда называли нѣкоторые, зароялись дерзкія, безумныя мечты о будущемъ, и поэтическія, полныя суроваго очарованія воспоминанія о далекомъ, сѣдомъ прошломъ и картины своего далекаго, суроваго, но милаго скандинавскаго сѣвера и этого вотъ, что разстилался передъ его глазами, безбрежнаго какъ океанъ степнаго „сарматскаго“ юга. Изъ этого сѣдого прошлаго выступаютъ тѣни великановъ сумрака но сумрака славнаго, полнаго яркихъ личностей, громкихъ дѣлъ, — и эти великаны проходятъ передъ нимъ, передъ своимъ потомкомъ, сумрачными рядами. И они какъ и онъ топтали своими ногами и копытами своихъ коней эти необозримыя степи Сарматіи, вода свои дружины вмѣстѣ съ ратами полянь, курянь, кривичей и дреговичей на половцевъ и печенѣговъ. Они, старые конунги съ варягами, бороздили своими лодками воды Днѣпра, по которымъ и онъ, ихъ потомокъ, плавалъ уже — и снова съ весной поплыветъ на югъ, къ Азіи... А давно уже не бродили тутъ ноги варяговъ — отвыкли эти ноги отъ дальнихъ ходовъ, приросли подошвами къ родной Скандинавіи; а тѣмъ временемъ въ теченіе столѣтій эта сарматская Русь выскользнула изъ варяжскихъ рукъ — и вонъ какъ ширится! Раскинулась и на востокъ, и на югъ, и на западъ, и на сѣверъ, а теперь вонъ въ лицѣ этого великорослаго коронованнаго дикаря протянула свою ненасытную руку и къ Варяжскому морю... О! никогда не бывать этому! Скандинавія проснулась — проснулись древніе варяги вмѣстѣ съ своимъ конунгомъ — и горе сарматской Руси съ ея великорослымъ дикаремъ! Съ сѣвера пахнуло стариной — и опять варяги приберутъ къ своимъ рукамъ эту Русь, эту Московію-Сарматію, которая доселѣ „велика и обильна, а порядку въ ней нѣтъ“... „Идите вновь, варяги, володѣть и править нами“...

— А до Запорожской Сѣчи далеко еще? — востепенувшись вдругъ, спросилъ „железная голова“ Мазепу.

— Далекъ, ваше величество,—попрежнему о чемъ-то думая, отвѣчалъ Мазепа.

— Но не дальше Азіи.

— Дальше, ваше величество.

И Мазепа опять о чемъ-то задумался, глядя въ безбрежную даль. Не весело ему—да и давно уже ему не весело, а въ послѣднее время чѣмъ-то безнадежнымъ пахнуло на него, и послѣдніе лепестки надеждъ на будущее, которые еще оставались въ душѣ его, словно листья дуба свернулись отъ мороза и унесены куда-то холоднымъ вѣтромъ. Онъ чувствовалъ, что его положеніе день ото дня становилось все болѣе безысходнымъ. Сегодня прибылъ въ шведскій станъ его вѣрный „джура“ Демьянко и сколько горькаго и тяжкаго поразсказалъ онъ! Демьянко все сообщилъ, что происходило въ той части Малороссіи, которую покинулъ Мазепа, передавши Карлу, — и какъ скоро отеклась отъ него Малороссія! Одинъ Батуринъ еще держался нѣсколько дней, но и тотъ москали взяли и разгромили. Взятъ былъ и вѣрный Чечель, полковникъ надъ сердюками. Разгромлена была вся столица Мазепы и сожжена—камня на камнѣ не осталось. Какъ лютовали москали надъ роскошнымъ дворцомъ гетмана, надъ вѣми его пожитками и челядью! Гетманскихъ любимцевъ — и громаднаго барана и огромнаго „цапа“, которые бывало своимъ единоборствомъ развлекали старика и тѣшили дворцовую молодежь, казачковъ да пахолковъ, — и барана и козла москали середь гетманскаго двора изжарили на вертелахъ и тутъ же съѣли, запивая виномъ изъ гетманскихъ погребовъ. Богатый садъ Мазепы выломали, вытрошили все въ немъ и протоптали московскими сапожищами всѣ дороженьки, по которымъ когда-то хаживалъ Мазепа съ Мотренкою и на которыхъ еще оставались слѣды ея маленькихъ крошекъ, „ножекъ биленькихъ“. Замела и эти дорогіе слѣды проклятая Москва! „Жиночокъ и диточокъ“—прислугу гетманскую, что оставалась въ батуринскомъ дворцѣ и замкѣ, въ Сеймѣ побросали и потопили.

А что было въ Глуховѣ, на радѣ, при избраніи новаго гетмана вмѣсто него, Мазепы! Что было послѣ рады! Вмѣсто Мазепы избрали этого губошлепа Скоропадскаго, который и козакувалъ, и полковничалъ, и Богу молился изъ-подъ башмака свой Насти. Дождалась таки Настя гетманства! Теперь ее поди и съ коня рукой не достанешь... Фу, какая тоска! какъ тошно жить на свѣтѣ!

Еще разсказывалъ Демьянко про молебствіе въ Глуховѣ, когда его, Мазепу, проклинали... Царь стоитъ такой сердитый, заряженный, высокій какъ колокольня въ Ромнахъ и страшно озирается по сторонамъ; а лицо такъ и дергается—вотъ-вотъ увидитъ Демьянка! А попы, архіереи, протопопы, дяки и самъ царь выкрикиваютъ надъ Мазепинымъ портретомъ, поставленнымъ на эшафотѣ: „клятвопреступнику, измѣннику и предателю вѣры и своего народа, трепроклятому Ивашкѣ Мазепѣ—анаеема! анаеема!

анаеема"! Ажно собаки жалобно и боязно завывали по Глухову отъ этого страшнаго пѣнія... И вездѣ теперь, по всей Украинѣ, поютъ эту новую пѣсню про Мазепу—„анаеема! анаеема"! „А тамъ „катъ“ привязалъ веревку къ портрету и потащилъ его чрезъ весь Глуховъ на висѣлицу и... повѣсилъ"... Далеко видна голубая андреевская лента на повѣшенномъ подъ висѣлицею портретѣ... Долго висѣлъ тамъ портретъ — и вороны и „круки“ слетались къ портрету, думая клевать мертвое тѣло Мазепы... Нѣтъ, оно еще не мертвое!.. вонъ на бѣломъ конѣ грузно сидитъ, сивымъ усомъ подергиваетъ.

Да, не весело Мазепѣ, очень не весело. Ужъ и прежде, давно, онъ чувствовалъ себя одинокимъ, осиротѣлымъ; а теперь, здѣсь, около этого коронованнаго гайдамака, около короля пройди-свѣта, онъ увидѣлъ себя окончательно всѣми повинутымъ. Почти всѣ передавшіеся съ нимъ этому шведскому чумаку полковники бѣжали отъ него къ Петру: и Апостолъ Данило, и Галаганъ, и Чуйкевичъ, и Покотило, и Гамалія, и Невинчанный, и Лизогубъ, и Сулима—всѣ бѣжали къ царю... Все повернулось вверхъ дномъ—и счастье Мазепы опрокинулось дномъ кверху и рассыпалось пылью... Что было вверху—стало внизу, а нижнее до облаковъ поднялось... Вонъ на какую высоту поднялась вдова Кочубеиха, облаканная царемъ; а онъ, Мазепа, упалъ съ высоты и... разбился. Вонъ и эти бродяги-шведы, видимо, ужъ не вѣрять ему, слѣдить за нимъ, — Мазепа это чувствуетъ своимъ лукавымъ сердцемъ, видитъ своими лукавыми глазами, хотя самъ король пройди-свѣтъ и вѣрить еще ему, да что въ томъ толку! Мазепа ужъ себя не вѣрить!

А она, голубка сизая—что съ нею? гдѣ она? Демьянко говорить, что видѣлъ ее въ Кіевѣ, въ Фроловскомъ монастырѣ: вся въ черномъ она стояла въ церкви на колѣняхъ рядомъ съ игуменьею магдалиною, а когда проклинали Мазепу, вздрогнула и, припавъ головой къ церковному помосту, горько плакала... О комъ? о чемъ?

— Что безнокоить мудрую голову гетмана?—спросилъ вдругъ Карлъ, замѣтивъ молчаливость и угрому Мазепы.

Захваченный врасплохъ съ своими горькими думами, которыя далеко унесли его отъ этой однообразной картины степи, съ вечера присыпанной яркимъ, послѣднимъ предвесеннимъ снѣгомъ, Мазепа не сразу нашелся, что отвѣчать на вопросъ короля, какъ ни былъ находчивъ его лукавый умъ.

— Мою старую голову безнокоить молодая пылкость вашего величества,—отвѣчалъ, наконецъ, онъ медленно, налегая на каждое слово.

— Какъ! *quomodo, tantum*?—встренулся Карлъ.

— Вашему величеству угодно было лично отправиться въ поле на поиски за непріятелемъ, и мы не посмѣли отпустить васъ одного въ сопровожденіи его свѣтлости принца Максимиліана и нѣсколькихъ дружинниковъ,—вѣдь это не охота за зайцами, ваше величество... Мы можемъ наткнуться на московитовъ или на довскихъ казаковъ...

— O, dux Sarmatiae!—засмѣялся молодой король: — для меня до-

статочно одного моего богатыря Гинтерсфельта, чтобы не бояться цѣлой орды дикихъ московитовъ... Гетманъ видѣлъ моего богатыря?.. Вонъ онъ ѣдетъ рядомъ съ старымъ Реншильдомъ.

И Карлъ показалъ на бѣлобрысаго, коренастаго шведа съ бѣлыми вѣ-ками и краснымъ носомъ, глядѣвшаго какимъ-то бѣлымъ медвѣдемъ.

— Этотъ добрякъ Гинтерсфельтъ—удивительный чудакъ,—продолжалъ Карлъ. — Однажды еще подъ Нарвой, будучи тогда простымъ солдатомъ, онъ долженъ былъ стоять на часахъ около своей батареи, но, соскучившись, забрался въ шалашъ маркитанши да и запыняствовался тамъ. Я дѣлалъ ночной объѣздъ патруля и часовыхъ и наткнулся на его батарею... Вдругъ слышу кто-то у шалаша испуганно говоритъ: „король! король“! И что же я вижу! Изъ шалаша выбѣгаетъ Гинтерсфельтъ, схватываетъ пушку съ лафета и дѣлаетъ мнѣ пушкой на-караулъ! Ружье-то онъ у маркитанши забылъ впопыхахъ... Каково! пушкой на-караулъ!

Мазепа съ удивленіемъ посмотрѣлъ на богатыря, хотя и полагалъ, что Карлъ, по свойственной ему пылкости, преувеличивается, но отвѣчать ничего не отвѣчалъ, а только выразилъ нѣмое удивленіе...

— А въ дѣлѣ мой богатырь—просто кладъ! — продолжалъ увлекающійся король:—онъ обыкновенно пронизываетъ своего противника мечемъ и перекидываетъ черезъ голову. А разъ въ Стокгольмѣ, проѣзжая подъ сводами городскихъ воротъ, онъ ухватился рукой за вдѣланный въ сводахъ крюкъ и приподнялъ себя вмѣстѣ съ лошадью!

— Ахъ, какъ смѣшно, я думаю, болтала бѣдная лошадь ногами въ воздухъ!—не вытерпѣлъ юный Максимиліанъ.

— О, нѣтъ, мой Максъ, далеко не смѣшно: она взбѣсилась съ испугу и помяла нѣсколькихъ солдатъ. Съ тѣхъ поръ я и не велѣлъ моему Геркулесу такъ опасно шалить... Но какъ долго зима стоитъ у васъ въ Сарматіи, точно у меня въ Скандинавіи, — нетерпѣливо обратился Карлъ къ Мазепѣ.

— Да, ваше величество, это небывалая зима: я такой и не помню у насъ въ Малороссіи, а живу уже я давно... Вотъ ужъ скоро апрѣль, а поле вновь покрылось снѣгомъ точно зимою... Невиданная зима!

— Скорѣй бы тепло! а то мои люди болѣютъ и мрутъ отъ этой стужи, хоть они и привычны ко всему... Скорѣе бы до Запорожья добраться, а тамъ и крымцевъ перетянуть на свою сторону, и ужъ тогда, побывавъ въ Азіи, затоптавъ слѣды Александра Македонскаго, какъ выражается мой юный другъ Максъ, мы изъ Азіи ринемся на Москву, а изъ Москвы къ Невѣ и съ береговъ Невы загонимъ нашего любезнаго брата Петра въ Сибирь, на берега Иртыша—пусть онъ тамъ владѣетъ царствомъ Кучума, которое завоевалъ для его прапрадѣда храбрый Ермакъ... Я хочу быть для Москвы новымъ Тамерланомъ—и буду! Я не потерплю, чтобы Петръ распоряжался въ моихъ наслѣдственныхъ земляхъ. Я ссажу его съ престола, какъ ссадилъ Августа съ трона Пястовъ. Я напому ему, что не онъ потомокъ Рюрика, а я!

Карлъ былъ сильно возбужденъ. Ломанныя брови его поднялись еще выше, глаза остоячились — онъ былъ весь нетерпѣннѣе. Приближенные его знали упрямую порывистость своего короля, знали, что противорѣчіе и даже спокойное совѣтываніе ему торо или другого толкало эту упругую волю неугомоннаго варяга на совершенно противоположныя рѣшенія, и молчали: еслибъ ему сказали, что это невозможно, то непремѣнно получили бы отвѣтъ: „я именно и хочу сдѣлать невозможное“.

Въ это время Орликъ, отдѣлившись отъ общей группы и дѣлая какіе-то знаки Мазепѣ, поскакалъ къ виднѣвшейся въ сторонѣ „могилѣ“ — высокому степному кургану.

— Что онъ? куда поскакалъ? — спросилъ удивленный Карлъ, обращаясь къ Мазепѣ.

— Къ кургану, ваше величество, чтобы съ возвышенія осмотрѣть окрестности.

— А какіе знаки онъ дѣлалъ, руками?

— Онъ проситъ ваше величество остановиться на минуту.

— Хорошо... Но и я самъ хочу видѣть то, что онъ увидитъ, — упрямился Карлъ.

— Конечно, ваше величество... Но вамъ не извѣстны наши казацкіе приемы въ подобныхъ случаяхъ.

— А что? какіе приемы?

— Вонъ изволите видѣть...

И Мазепа показалъ на Орлика. Этотъ послѣдній, подскакавъ къ кургану, соскочилъ съ лошади, забросилъ поводья на сѣдельную луку и самъ ползкомъ сталъ взбираться на курганъ. Всѣ остановились и ждали, что изъ этого выйдетъ. Доползши до вершины, Орликъ вынулъ изъ кармана что-то бѣлое, въ родѣ полотенца, и накрылъ имъ свою голову.

— Это, ваше величество, чтобъ голова не чернѣла, чтобъ издали отъ снѣгу нельзя было отличить, — пояснилъ Мазепа.

Нѣсколько минутъ Орликъ оставался въ лежачемъ положеніи съ нѣсколько приподнятою головой. Наконецъ онъ сдѣлалъ какое-то движеніе, оглядѣлся во всѣ сторонѣ и опять ползкомъ спустился съ кургана.

— Что намъ скажетъ почтенный скриба войсковой? — съ улыбкой спросилъ Карлъ, когда Орликъ снова прискакалъ къ группѣ.

— Я замѣтилъ въ отдаленіи нѣчто въ родѣ отряда, ваше величество, — почтительно отвѣчалъ Орликъ, какъ и Мазепа, на хорошемъ латинскомъ языкѣ.

— Отрядъ? тѣмъ лучше! — обрадовался неугомонный варягъ. — *Arma! arma!*..

— *Arma virumque capo*, ваше величество! — улыбаясь своими серьезными глазами, добавилъ Орликъ.

— О! это начало *Виргиліевой „Энеиды“*... Прекрасно, почтенный скриба (Карлъ любилъ цитаты изъ классиковъ и Орликъ съ умысломъ сослался на *Виргилія*)... Вы хорошо владѣете языкомъ Цезаря: я не забылъ

вашей латинской предварительной договорной статьи, присланной моему министру графу Пиперу...

Орликъ поклонился. Мазепа снова угрюмо молчалъ, косясь на Карла. Его бездокольно привезенное Орликомъ извѣстіе о появленіи какого-то отряда.

— Такъ прикажете, ваше величество, намъ ближе рассмотреть, что это за отрядъ,—не утерпѣлъ онъ:—можетъ статья это неприятель.

— Тогда мы на него ударимъ,—поторопился нетерпѣливый король.

— Непремѣнно, ваше величество, только прежде узнаемъ его силу.

— Я никогда не считаю враговъ!—заносчиво оборвалъ Карлъ.

— Но, быть можетъ, это наши друзья, ваше величество,—вмѣшался старый Реншильдъ.

— Хорошо. Такъ узнайте.

Тогда Мазепа, Орликъ, принцъ Максимиліанъ, Гилленкрукъ и бѣлый медвѣдь Гинтерсфельдъ отдѣлились отъ группы и поскакали къ стогу сѣна, чернѣвшемуся въ томъ направленіи, куда указывалъ Орликъ. Юный Максимиліанъ со слезами на глазахъ умолялъ короля позволить ему участвовать въ этой неожиданной маленькой экспедиціи, и Карлъ отпустилъ его. Прискакавъ къ стогу, они увидѣли, что ниже, въ пологой ложбинѣ, бурлитъ рѣчка, которой они издали не могли замѣтить, и что хотя ночью и выпалъ снѣгъ, а къ утру подморозило, однако рѣченка не унималась и дѣлала переправу по ту сторону невозможной. Рѣчка эта, повидимому, изливалась въ верховье Сейма, по ту сторону котораго лежалъ путь отъ Воронежа на Глуховъ, пересѣкая Муравскій шляхъ.

Скоро изъ засады, изъ-за стога сѣна, можно было различить, что по ту сторону рѣчки по гладкой равнинѣ дѣйствительно пробирался небольшой отрядъ. Зоркій глазъ Орлика тотчасъ же уловилъ то, что было нужно знать: въ отрядѣ виднѣлись и донскіе казаки съ заломленными набекрень киверами и московскіе рейтары. Они сопровождали пару большихъ колымагъ. Скоро этотъ отрядъ съ колымагами такъ приблизился къ рѣкѣ, что изъ засады можно было даже различать уже лица этихъ невѣдомыхъ проѣзжихъ. Въ передней колымагѣ сидѣлъ ветхій старикъ, высунувшій голову и повидимому глядѣвшій на бурливую рѣчку. Изъ-за его головы виднѣлась голова женщины.

Орликъ вздрогнулъ даже, увидавъ старика.

— Та се самъ сатана!—невольно вырвалось у него восклицаніе.

— Кто, Пилипе?—съ меньшимъ удивленіемъ спросилъ Мазепа.

— Та сатана жъ Палій!

Мазепа задрожалъ на сѣдлѣ и тотчасъ схватился за „дубельтукку“—коротенькую двустолку, висѣвшую у него на лѣвомъ плечѣ. Взведя курокъ, онъ выѣхалъ изъ засады; за нимъ выѣхали и другіе. Казаки, сопровождавшіе колымаги, увидавъ засаду, осадили коней.

Мазепа ясно увидѣлъ, что изъ колымаги на него смотритъ Палій. Какъ ни было велико между ними разстояніе, но враги узнали другъ друга.

— Га! здоровъ быть, Семене! — хрипло закричалъ Мазепа. — А ось тоби гостинець.

Дубельтувка грянула. Мазепа промахнулся.

— Га! сто чортивъ тоби та пекло! — бѣшено захрипѣлъ онъ и снова выстрѣлилъ — и снова промахнулся, проклиная воздухъ.

На выстрѣлы съ той стороны отвѣчали выстрѣлами, но тоже бесполезно: слишкомъ велико было разстояніе для тогдашняго плохого оружія.

На выстрѣлы прискакалъ Карлъ съ своею свитою. Но было уже поздно: колымаги и сопровождавшіе ихъ конники скрылись за небольшимъ пригоркомъ.

Мазепа молча погрозилъ въ воздухъ невидимо кому...

XIII.

Квартируя съ своимъ войскомъ въ Малороссіи всю зиму 1708—1709 года, Карлъ постоянно порывался то пробраться на югъ, въ Запорожье, въ союзъ съ запорожцами и крымцами пройти потомъ съ огнемъ и мечемъ вдоль и поперекъ Московіи, столкнувъ Петра, какъ лишнюю фигуру съ шахматной доски; то, загнувъ въ самую Азію, оттуда прошибить желѣзнымъ клиномъ владѣнія Петра и прищемить его опять къ стѣнамъ Нарвы какъ чернаго таракана; то, наконецъ, волкомъ забраться въ его овчарню, въ корабельное гнѣздо — въ Воронежъ и тамъ придавить его вмѣстѣ съ его игрушечными кораблями. И въ этихъ-то мечтаньяхъ безпокойный варягъ и теперь, въ тотъ день, какъ мы увидѣли его съ Мазепою, Орликомъ и другими, далеко отбился отъ своего войска съ небольшимъ отрядомъ, для того чтобы облегчить свою безпокойную душу и охладить немного свою горячую желѣзную башку хотя тѣмъ, что вотъ-де понюхалъ таки онъ, чѣмъ это тамъ поближе къ корабельному гнѣзду пахнетъ и какая это тамъ Сарматія. Въ эту-то безумную, бесполезную экскурсію свита его и натолкнулась на Палія, который, будучи возвращень Петромъ изъ ссылки съ Енисея и облаканный имъ въ Воронежъ, возвращался теперь на свою дорогую Украину, которой онъ уже не чаялъ видѣть у предверія своей могилы.

Нечаянная встрѣча съ Паліемъ заставила задуматься и Карла, и Мазепу. Если Палій возвращень царемъ изъ ссылки, то какъ онъ очутился въ этой половинѣ Малороссіи, въ самой восточной? Почему онъ не слѣдовалъ изъ Сибири на Москву, а оттуда на Глуховъ или прямо на Кіевъ? Что заставило его пробѣжать гораздо ниже и перерѣзать Муравскій шляхъ? Одно, что оставалось для рѣшенія этихъ вопросовъ, это то, что самъ царь теперь гдѣ-нибудь тутъ, въ этой сторонѣ, и скорѣе всего — что онъ въ Воронежѣ. Очень можетъ быть, что онъ съ этой стороны намѣренъ съ весны начать наступленіе, и тогда надо во что бы то ни стало занять крѣпкую позицію на Днѣпрѣ, упереться въ него и сдѣлать его базисомъ своихъ дѣйствій. Мазепа такъ и дѣйствовалъ: онъ говорилъ, что

надо укрѣпиться въ Запорожьѣ. „Это гнѣздо, изъ котораго всегда вылетали на московскую землю черные круки, а теперь изъ этого гнѣзда вылетитъ самъ орелъ“, — пояснилъ Мазепа, называя орломъ Карла. Карлу и самому нравилась эта мысль; но какая-то варяжская непосѣстость, жажда славы и грому подмывала его побывать и нагрѣмѣть разомъ вездѣ — и въ Европѣ, и въ Азіи, и пожалуй за предѣлами вселенной.

„Вотъ чадушко!“ Думаль иногда Мазепа, глядя на безпокойное, дерзкое лицо Карла съ огромнымъ, далеко оголеннымъ лбомъ и съ высоко вздернутыми бровями, какія рисуются только у чорта: „вотъ чадо невиданное! и лобъ-то у него, точно у моего папа, что проклятые москали съѣли въ Батуринѣ, — этимъ лбомъ онъ бы и бараса моего спибы съ ногъ... Вотъ ужъ истинно мѣдный лобъ!“

Далеко за полдень воротился Карлъ* съ своею свитою изъ описанной выше сумасбродной экскурсіи. Подъѣзжая къ своему лагерю, онъ замѣтилъ въ немъ необыкновенное движеніе, особенно же въ лагерь Мазепы, расположенномъ бокъ-о-бокъ съ палатками шведскихъ войскъ. Видно было, что казаки и шведскіе солдаты бросали въ воздухъ шапки и шляпы, что-то громко кричали, смѣялись, обнимались съ какими-то всадниками, спѣшившимися съ коней. Гулъ надъ лагеремъ стоялъ невообразимый. Лошади ржали какъ бѣшенныя, точно сговорились устроить жеребячій концертъ.

— Что это такое? — съ удивленіемъ спросилъ Карлъ, осаживая коня.

— Я и самъ не знаю, ваше величество, что оно означаетъ, — съ меньшимъ недоумѣніемъ отвѣчалъ старый гетманъ. — Развѣ пришло изъ Польши ваше войско — такъ нѣтъ: это кажется не шведы. Не пришло-ли подкрѣпленіе отъ турокъ?

— Нѣтъ, султанъ что-то ломается, должно быть Петра боится.

— Такъ крымцы...

— Не гоги-ли и магоги пришли мнѣ на помощь противъ Александра Македонскаго? — шутилъ Карлъ, который вѣчно шутилъ, даже тогда, когда велъ тысячи своихъ солдатъ на вѣрную смерть.

— О, намъ бы и гоги и магоги пригодились, — пасмурно отшутился Мазепа.

Орликъ, не дожидаясь разъясненія загадки, приппорилъ коня, понесся было впередъ, свѣта краснымъ верхомъ своей шапки, но, проскакавъ нѣсколько и приблизясь къ группѣ всадниковъ, бѣжавшихъ къ нему навстрѣчу, онъ всплеснулъ руками и остановился какъ вкопанный: прямо на него скакалъ какой-то рыжеусый дьяволъ и широко раскрылъ руки, словно птица на полетѣ.

— Пилиппе! друже! — кричалъ рыжеусый дьяволъ.

— Костя! се ты!

— Та я колись бувъ, голубе.

— Братіку! голубе!

И, не слѣзая съ коней, пріятеля перегнулились на сѣдлахъ, обнялись и

горячо поцѣловались. Только кони подъ ними, какъ оказалось, не были пріятелями: они заржали, одыбились и какъ черти грызли другъ дружку.

Подскакалъ и Мазепа, котораго подмывало нетерпѣніе...

— Гордіенко! батьку отамане кошовый!—закричалъ онъ радостно.

— Пане гетьмане! батьку ясневельможный!—отвѣчали ему.

— Почоломкаемось, братику!

— Почоломкаемось...

И они начали цѣловаться, несмотря на грызню бѣшеныхъ коней.

— Якъ! до насъ съ Запорогивъ!

— До васъ, пане гетьмане, до вашей коши...

Подѣхалъ и Карлъ со свитой. Мазепа тотчасъ же представилъ ему усатаго дьявола, повидимому, большого охотника цѣловаться хоть съ казаками. Да и не удивительно: усатый дьяволъ былъ запорожець, а у нихъ насчетъ бабьяго тѣла строго... Поцѣловалъ только бабу, либо уцѣпнулъ, либо за пазуху ненарокомъ забрался—заразъ „товариство“ кіями накормить: потому—законъ такой на Запорожьѣ: этакого скромнаго, бабьятины, чтобы—ни-ни! ни Боже мой!

— Имѣю счастье представить высочайшей потенціи вашего королевскаго величества кошевого атамана славнаго войска запорожскаго низового, Константина Гордіенка,—сказалъ Мазепа церемонно, официальнымъ тономъ.

Гордіенко, осадивъ коня, сидѣлъ на сѣдлѣ словно прикованный къ нему, жадно вглядываясь своими маленькими, узко разрѣзанными какъ у калмыка глазками въ того, кого ему представляли. Лицо Гордіенка смотрѣло такъ добродушно, и не шло къ нему другое имя какъ Костя: немножко вздернутый, кирпатый носъ, избличалъ какую-то дѣтскость и веселость; загорѣлыя круглыя щеки скорѣе, кажется, способны были покрываться у него краской стыдливости, чѣмъ гнѣва; только рыжіе усища, спадавшіе на широкую грудь длинными жгутами, какъ-то мало гармонировали съ этимъ добродушнымъ лицомъ и точно говорили: по носу—добрый человекъ, а по усищамъ—у! бѣдовый козарлюга! самому чортякъ хвостъ узломъ завяжетъ...

Сказавъ первую фразу къ лицу короля, Мазепа повернулся къ кошевому и спросилъ по-украински:

— Кланяешься, батьку отамане, его величеству королю славнымъ войскомъ запорожскимъ?

— Кланяюсь,—былъ отвѣтъ.—И кошевой низко склонилъ голову передъ Карломъ.

— Дух Запорогіае Константинъ Гордіенко кланяется вашему величеству славнымъ войскомъ запорожскимъ!—торжественно перевелъ Мазепа королю поклонъ кошевого.

— Душевно радъ! душевно радъ!—весело, съ необычайнымъ блескомъ въ сухомъ взорѣ, отвѣчалъ Карлъ.—А сколько у васъ на лицо славныхъ рыцарей?—спросилъ онъ, обращаясь къ кошевому.

Тотъ молчалъ, наивно поглядывая то на короля, то на Мазепу, то на Орлика, какъ бы говоря: „вотъ, загнулъ загадку, собачій сывъ!“

— Онъ, ваше величество, понимаетъ только свою родную рѣчь,—поспѣшилъ на выручку Мазепа.

Шумъ усиливался. Запорожцы, цѣловавшіеся съ своими пріятелями казаками-мазепинцами, замѣтивъ или скорѣе догадавшись, что это король пріѣхалъ, и увидавъ знакомыя лица Мазепы и Орлика, шумно закричали: „Бувай здоровъ, королю! Бувай здоровъ на многая лета!“

— Это они привѣтствуютъ ваше величество,—пояснилъ Мазепа.

Карлъ, у котораго лицо дергалось отъ волненія и брови становились совсѣмъ торчмя, двинулся къ запорожцамъ въ сопровожденіи графа Пипера, старшаго Реншильда, бѣлоглазаго Гилленкрука, медвѣдковатаго Гинтерсфельта и розоваго Максимиліана, обводя глазами нестройныя толпы храбрыхъ дикарей и привѣтствуя ихъ движеніемъ руки.

Пришельцы дѣйствительно смотрѣли не то дикарями, не то чертями: всѣ, повидимому, на одинъ ладъ, но какое разнообразіе въ частностяхъ! Шапки—невообразимыя, невообразимыхъ размѣровъ, высотъ, объемовъ и цвѣтовъ — и между тѣмъ это нѣчто въ родѣ цвѣтушаго макомъ поля, что-то живое, красивое. А кунтуши какихъ цвѣтовъ, а штаниши какихъ цвѣтовъ, широтъ и долготъ!.. Это что-то пестрое, болтающееся, мотающееся, развѣвающееся по вѣтру, бьющее эффектомъ... А шаблюки, а ратища, а самопалы, а чоботы всѣхъ цвѣтовъ юхты и сафьяну!.. Только настоящая воля и полная свобода личности могла выработать такое поражающее разнообразіе при кажущейся стройности и гармоничности въ цѣломъ... Тутъ есть и оборванцы; но и оборванецъ чѣмъ-нибудь бросается въ глаза, поражаетъ —или усищами необыкновенными, или невиданными чоботищами, или ратищемъ въ оглоблю, или чубомъ въ лошадиную гриву...

Карлъ радовался какъ ребенокъ. Ему казалось, что онъ видитъ настоящихъ Геродотовыхъ сарматовъ, рожденных львицами пустыни, вскормленных львинымъ молокомъ. Что бы было, если бъ такихъ чертей увидала Швеція, Европа,—и эти черти сами пришли къ нему...

— Что, старый Пиперь! что, Гинтерсфельтъ! вотъ съ кѣмъ потягаться!—обращался онъ то къ Пиперу, то къ бѣлому медвѣдю Гинтерсфельту, то къ сухоносому Реншильду.

А что касается до юнаго Максимиліана, такъ онъ глазъ не сводилъ съ невиданныхъ усищъ Кости Гордіенка, да съ одного страшнаго чуба, который казался чѣмъ-то вродѣ лошадинаго хвоста, торчавшаго изъ-подъ смушковой конусообразной шапки запорожца въ желтой юбкѣ... но это была не юбка, а штаны, на которые пошло по двѣнадцати аршинъ китайки на каждую штанину.

На радостяхъ Карлъ приказалъ задать пиръ запорожцамъ на славу. Тутъ же, среди лагеря, поставили нѣчто вродѣ столовъ—доски на бревнахъ, изжарили на вертелахъ почти цѣлое стадо барановъ, недавно отбитое у москалей, выкатили нѣсколько бочекъ вина, нанесли всевозможныхъ

ковшей, мисъ и чаръ для питья—и началось пированье тутъ же, на воздухѣ, тѣмъ болѣе что солнце стало порядочно грѣть и весна брала свое.

Тутъ же помѣстился и Карлъ съ своимъ штабомъ и со всею казакою и запорожскою старшиною.

Обѣдъ вышелъ необыкновенно оживленный. Карлъ былъ веселъ, шутилъ, перекидывался остротами съ графомъ Пиперомъ, трунилъ надъ старымъ Реншильдомъ, заигрывалъ посредствомъ латинскихъ каламбуровъ съ Мазепою и Орликомъ, которые очень удачно отвѣчали то стихомъ изъ Горация, то фразой изъ Цицерона; шпиговалъ своего бѣлаго медвѣдя, который, не обращая вниманія на шпильки короля, усердно налегалъ на вино. Даже Мазепа повеселѣлъ и когда увидѣлъ, что около одного изъ отдаленныхъ столовъ какой-то ранній запорожецъ уже выплясываетъ, взявшись въ боки, и приговариваетъ:

Ходе панъ, ходе
И задкомъ и передкомъ,
Ходе панъ, ходе,
Паню за хвистъ воде,—

развеселившійся гетманъ, указывая на пляшущаго казака, сказалъ Карлу:
— Да, ваше величество,—

Nunc est bibendum,
Nunc pede libero
Pulsanda tellus...

Пляшущій за королевскимъ столомъ запорожецъ особенно понравился Карлу. Желая выразить въ лицѣ плясуна свое монаршее благоволеніе всему свободному запорожскому рыцарству, король самъ наполнилъ венгерскимъ огромную серебряную стопу работы Бенвенуто Челлини и приказалъ Гинтерсфельту поднести ее импровизированному свободному художнику въ широчайшихъ штанахъ на „очкурѣ“ изъ конскаго аркана. Когда Гинтерсфельтъ, переваливаясь какъ медвѣдь, приблизился къ плясуну, выдѣлывавшему ногами удивительнѣйшія штуки, и протянулъ къ нему руку со стопою, запорожецъ остановился ферткомъ и ждалъ.

— Чого тобі?—спросилъ онъ вдругъ, видя, что шведъ молчитъ.

— Та пій же, сучій сынъ!—закричали товарищи.

Запорожецъ взялъ стопу, взглянулъ на Гинтерсфельта веселыми какъ у ребенка глазами и, сказавъ— „на здоровьечко, пане“, опрокинулъ стопу въ ротъ, словно въ пропасть. Потомъ, полюбовавшись на стопу и лукаво пояснивъ— „у шинокъ однесу“, опустилъ ее въ широчайшій карманъ широчайшихъ штановъ, откуда у него торчала люлька и болталась „китиця“ отъ кисета съ тютюномъ, тщательно обтеръ ротъ и усы рукавомъ и полъзъ цѣловаться со шведомъ...

— Почоломкаємось, братику!

— Добре! добре, Голота!—кричали пирующіе.—Ще вдарь, ще загни—нехай внять подивитись!

И Голота—это былъ онъ—„вдарилъ“ и „загнулъ“, снова „вдарилъ“—и ну „загинать“ спиной, ногами, каблуками, всѣмъ казакомъ „загинать“!.. А Гинтерсфельтъ, неожиданно поцѣлованный запорожцемъ, стоялъ съ разинутымъ ртомъ и только хлопалъ глазами, поглядывая на казацкіе штаны, въ которыхъ громыхла королевская стопа... „Вотъ тебѣ и стопа, вотъ тебѣ и тостъ!“ выражало смущенное лицо шведа.

А Голота, увлекаясь собственнымъ талантомъ, вошелъ въ такой азартъ, что вмѣсто ногъ пустилъ въ ходъ руки и, опрокинувшись торчмя внизъ головой, такъ что чубъ его стлался по землѣ, сталъ ходить и плясать на рукахъ, выкидывая въ воздухъ ногами невообразимые выкрутасы и хлестая красными, донельзя загрязненными чоботами другъ о дружку.

Во время этихъ операций изъ кармана штановъ его посыпались на земь камень и „кресало“, люлька и кисеть, моченый горохъ, которымъ онъ раньше лакомился, и сушенныя груши. Вывалилась изъ кармана и королевская стопа. Гинтерсфельтъ, увидавъ не, нагнулся было, чтобы поднять драгоценный сосудъ, но Голота остановилъ его словами: „не рушь, братику“, и, собравъ съ земли свои сокровища, снова пустился въ плясъ, но только уже не на рукахъ, а на ногахъ.

Не утерпѣли и другіе казаки—повскакивали съ земли, расправили усы, подобрали полы, взялись въ боки и ну садить своими чоботищами землю. Тутъ была и молодежь, и сѣдоусые старики. Тѣмъ поразительнѣе была картина этого необыкновеннаго пляса, что старіеи вывертывали ногами всевозможные выкрутасы молча, посапывая только, и съ серьезнѣйшимъ выраженіемъ на своихъ смурыхъ, сѣдоусыхъ лицахъ, словно бы этотъ плясъ составлялъ для нихъ нѣчто вродѣ исполненія общественнаго, громадскаго долга и словно бы они, выкидывая своими старыми, но еще крѣпкими ногами трепака, должны были показать этимъ молодежи въ вѣчное назиданіе, что вотъ-де такъ-то пляшутъ гопака старые люди, что такъ-де плясали его отцы и дѣды, испоконъ-вѣка, какъ и земля стоитъ, и что такъ-де слѣдуетъ выбивать этого гопака „поки свить сонця“.

— Оттакъ, дитки! оттакъ треба!—приговаривали они, свѣтя то лысыми головами, то сѣдыми усами, „бо шапокъ чортма“—шапки давно на утопанной землѣ валяются.—„Оттакъ, хлопци! оттакъ, дитки!“

А „дѣтки“—и не приведи Владычица!—не только не отстаютъ отъ „батьковъ“, но, конечно, за поясъ ихъ затыкаютъ легкостью своихъ ногъ, живостью и упругостью мускуловъ и прочаго казацкаго добра.

А ужъ сбоку тутъ же на кучѣ конскихъ сѣделъ и прочей сбруи, сваленной копною, примостился одноглазый казачекъ „сиромыха“ Илько, страстный музыкантъ и поэтъ въ душѣ, на этой самой музыкѣ и глазъ пооерявшій, потому что разъ какъ-то въ недобрую годину онъ такъ натянулъ витую проволокой струну на своей бандурѣ, что растреклятая струнища возьми да и лопни, да и выхлестнула сиромыху Ильку лѣвый

глазъ, оставивъ правый для стрѣльбы изъ мушкета въ ляха да татарина,—примостился кривой Илько съ своей бандурой, заходилъ по ней пальцами, заерэгаль по ладамъ—и бандура „загула-загула“...

И около короля возрастаетъ оживленіе. Молчаливый кошевой, доселѣ не проронившій ни единого слова, но залившій изрядно всѣ предложенные ему Карломъ кубки, уже подергивается на мѣстѣ отъ нетерпѣнія, а серьезный Орликъ, съ улыбкою глядя на своего друга Костю, нарочно подмигиваетъ ему, что „вонъ-де тамъ такъ настоящій праздникъ—полудьски-де умѣетъ веселиться товариство“... Увлеченный картиною общаго оживленія, Карлъ уже настойчиво требуетъ отъ Гилленкрука, чтобы онъ составилъ маршрутъ и планъ похода въ Азію и доложилъ проектъ военному совѣту изъ шведскихъ украинскихъ и запорожскихъ военачальниковъ.

— Помилуйте, ваше величество, вѣдь мы живемъ не во время Шехеразады,—отбивался Гилленкрукъ, боясь, чтобы сумасбродный король въ самомъ дѣлѣ не забралъ себя въ желѣзную башку этой шальной идеи.

— А я хочу повторить Шехеразadu!—настаиваетъ желѣзная голова:—я хочу, чтобы Европа прочла „тысяча вторую“ сказку Шехеразады“.

Въ это время подошелъ смущенный Гинтерсфельтъ, не смѣя взглянуть въ глаза королю.

— Что, мой богатырь?—спросилъ этотъ послѣдній.

— Я поднесъ ему кубокъ, ваше величество: но онъ его въ карманъ положилъ,—отвѣчалъ смущенный богатырь.

— Какъ въ карманъ положилъ!.. не выпивши вина?—засмѣялся Карлъ.

— Нѣтъ, ваше величество, онъ вино выпилъ, поцѣловалъ меня и кубокъ положилъ въ карманъ.

— Ну и прекрасно: я ему жалую этотъ хорошій кубокъ какъ своему союзнику,—весело сказалъ Карлъ.

Мазепа, глянувъ своими хитрыми глазами на ничего непонимавшаго кошевого Костю, поднялся съ мѣста и, улыбаясь своею кривою и тонкою верхнею губою безъ участія нижней, торжественно произнесъ:

— Ваше королевское величество! вы оказали величайшую милость всему запорожскому войску вашимъ драгоцѣннымъ подаркомъ.

— Очень радъ,—отвѣчалъ Карлъ:—желалъ бы сдѣлать имъ еще большій подарокъ.

— И этого много, ваше величество: они пропьютъ его всѣмъ кошмемъ за ваше драгоцѣнное здоровье.

— Тѣмъ больше радъ.. Виватъ, мои храбрые союзники и ихъ доблестный полководецъ, кошевой Константинъ Гордіенко!—воскликнулъ онъ, подымая кубокъ.

Добродушный Костя кошевой, услыхавъ свое имя, единственно понятное ему въ рѣчахъ короля, всталъ и закричалъ такимъ голосомъ, котораго хватило бы на десять здоровенныхъ глотокъ:

— Гей, казаки братци! панове товариство! а нуте многая лита его королевскому величеству! Многая, многая лита!

— Многая лита! многая лита!—застонало все Запорожье, плясавшее и не плясавшее, ѣвшее и пившее, кругомъ, цѣловавшееся и спорившее безъ умолку.

Пиръ приходилъ къ концу. Многіе запорожцы были уже совсѣмъ пьяны: одни обнимались со шведами, иные дружески боролись съ ними, пробуя свои силы, и то шведъ леталъ черезъ голову ловкаго запорожца, то дюжій шведъ сминалъ подъ себя неловкаго, мѣшковатаго казака.

Юный Максимиліанъ, увидавъ эту борьбу, бросился къ ратоборцамъ и увлекъ за собою силача Гинтерсфельта. Последняго, выпившаго порядкомъ, шибко подзадорило то, что онъ увидѣлъ, и онъ пошелъ пробовать силу: ставъ въ боевую позицію, онъ показывалъ видъ, что ищетъ охотника побороться, засучивая рукава. Охотникъ тотчасъ же нашелся. Наплясавшись вдоволь и увидавъ своего новаго пріятеля, топтавшагося шведа, якобы подарившаго ему кубокъ, Голота подступилъ къ нему съ ясными признаками, что хочетъ съ нимъ потягаться, т. е. поплеывая и фукая въ ладони.

— А ну, братику, давай!—говорить онъ, разставляя ноги и протягивая впередъ руки.

Гинтерсфельтъ понялъ, что его приглашаютъ на единоборство, и немедленно облагоустроилъ противника. Началась борьба. И Голота и Гинтерсфельтъ, согнувшись въ пахахъ и обхвативъ другъ друга, стали медленно топтаться и кружить на мѣстѣ, широко разставляя ноги и нагибая другъ дружку то въ ту, то, въ другую сторону. Ноги такъ и дѣлаютъ борозды по землѣ, все напряженіе и напряженіе становятся мускулы рукъ и затылковъ единоборцевъ, но ни тотъ, ни другой еще не дѣлаютъ послѣднихъ усилій. Наконецъ Голота сдѣлалъ отчаянное напряженіе и приподнялъ шведа—словно оторвалъ отъ земли прикованныя къ ней могучія ноги богатыря, но не перекинуть черезъ голову, ни смять подъ себя не могъ. Снова ставъ ногами на землю, шведскій богатырь въ свою очередь сдѣлалъ усиліе, подогнулъ немножко, колѣнками къ землѣ, подъ своего неподатливаго противника—и не успѣли казаки, обступившіе борцовъ, мигнуть очами, какъ Голота, перелетѣвъ черезъ голову шведа и зацѣпивъ подборами двухъ-трехъ казаковъ, валялся уже недалеко за спиною ловкаго варяга, трепыхая въ воздухъ своими красными чоботами.

— Ого-го-го!—застонали запорожцы.

— Голла! Голла!—захлопали въ ладоши шведы, а болѣе всѣхъ „маленькій принцъ“.

Честь запорожцевъ была затронута. Голота, приподнявшись на четвереньки, растрепанный, запачканный, красный, и, обводя вокругъ себя изумленными глазами, старался подобрать высыпавшіеся у него изъ кармана сокровища: горохъ, сушенныя груши, огниво и люльку.

— Задери-Хвистъ! дядьку Задери-Хвистъ!—кричали запорожцы.—Кете, сюды, дядьку!

Изъ толпы выползъ плечистый, коренастый запорожець съ короткими обрубковатыми ногами, съ короткою и толстою какъ у вола шеєю и съ добрымъ лѣнивымъ лицомъ.

— Чого вы, вражи дити?—сонно спросилъ онъ, оглядывая товариство.

— Та онъ Голоту побороли... Онъ винъ рачки лазить, горохъ собирае, —пояснили „вражи дити“.

Мѣшковатый запорожець свистнулъ...

— Фю-фю-фю! овва!—кто жъ се его такъ?

— Та онъ той бугай—вернигора...

Мѣшковатый запорожець, подойдя къ Гинтерсфельту, смѣрлялъ его глазами и опять свистнулъ.

— Ну давай!—лаконически бухнулъ онъ и отбросилъ шапку.

Противники молча обнялись. Можно было думать, что это—нѣмая встрѣча друзей, нѣмая объятія или что это соединило ихъ безмолвное горе. Стоять — и ни съ мѣста, только нѣтъ-нѣтъ да и пожмутъ другъ друга. А лица все краснѣе становятся; слышно, какъ оба сопятъ и нѣжно жмутъ одинъ другого въ объятіяхъ. Но вотъ они начинаютъ медленно-медленно переставлять ноги и какъ-то всегда разомъ обѣ, боясь остаться на одной опорѣ. Вотъ уже запорожець подается, гнется... Вотъ-вотъ опять сломить шведскій бугай... Пропало славное войско запорожское! срамъ! осрамилъ дядько Задери-Хвистъ всю козаччину! Это вѣрно не то, что тогда, какъ онъ настоящаго разъяреннаго бугая удержалъ за хвостъ и осадилъ на земь, за что и прозвали его „Задери-Хвистъ“... Эхъ, пропалъ дядьку... Но дядько, во мгновеніе ока припавъ на одно колѣно, такъ трихнулъ шведа, что тотъ своимъ толстымъ животомъ садонулся объ голову запорожца, страшно охнулъ и растянулся какъ пласть пятками къ казакамъ... А запорожець уже сидѣлъ на немъ верхомъ и, доставъ изъ-за голенища рожокъ съ табакомъ, преспокойно нюхалъ, похваливая: „у! добра кабака“...

Храбрый Гинтерсфельтъ не скоро очнулся...

Тѣмъ временемъ въ другомъ мѣстѣ запорожцы успѣли затѣять съ шведами уже настоящую ссору. Перепившись до безобразія, эти дѣти степей и раздолья, подобно Голотѣ, начали тащить со столовъ всякую посуду, и серебряную, и оловянную. Шведы хотѣли было остановить дикарей, замѣчали, что не годится такъ грабить, отнимали добычу. Запорожцы за сабли—и пошла писать!

— Се ваше и наше, а що ваше — те наше!—кричали низовые экономисты.

— А наше буде ваше—отъ що!—подтверждали другіе.

— У насъ усе громадське, кошове! — нема ни паньскаго, ни козацькаго.

Шведы не понимали новой экономической теоріи своихъ союзниковъ и стояли на своемъ, защищая столы съ посудой.

— Намъ у шинокъ ничего дати,—поясняли нѣкоторые, болѣе спокойные запорожцы, но упрямые шведы и этимъ не внимали.

Тогда запорожцы бросились на шведовъ и одного тутъ же зарубили. Сдѣлалась суматоха. Шведы также обнажили сабли и кинулись на зачинщиковъ. Начиналась уже свалка, скрещивалась и визжала сталь, усиливались крики. Но въ этотъ моментъ прибѣжали кошевой, гетманъ и другая старшина.

— Назадъ! назадъ! якого вы биса! отъ чорты!—заревѣлъ страшный голосъ Кости Гордіенка.

Это былъ уже не тотъ добродушный, застѣнчивый Костя съ дѣтскими глазками, что сидѣлъ за королевскимъ столомъ: это былъ звѣрь, котораго знали запорожцы и трепетали. Они остолбенѣли услышавъ его, ревъ. Сабли ихъ такъ и остановились въ воздухѣ съ застывшими руками.

Пришелъ на шумъ и Карлъ со свитою. На землѣ валялся обезображенный сабельными ударами трупъ злополучнаго защитника права собственности. Нѣсколько въ сторонѣ лежалъ лицомъ кверху массивный Гинтерсфельтъ, бессмысленно поводя глазами, а около него, тутъ же на землѣ, сидѣлъ его противникъ и никакъ не могъ насыпать себѣ на хитро сложенные дулей пальцы понюшку табаку, насыпая все мимо да мимо.

— Что тутъ случилось?—спросилъ Карлъ строго.—Убійство?

— Пошалили дѣти, ваше величество, и вотъ одному досталось, — поторопился отвѣтить Мазепа.

Карлъ увидѣлъ Гинтерсфельта и понятился назадъ.

— Это еще что!—грозно крикнулъ онъ. — Моего могучаго Гинтерсфельта!.. Кто его?

— Се я его... поборовъ,—бормоталъ совсѣмъ опьянѣвшій запорожецъ, сился засунуть рожокъ за голенище.

— Они боролись, ваше величество, — пояснилъ Мазепа недоумѣвающему Карлу:—и вотъ этотъ пьяница поборолъ и зашибъ вашего богатыря.

Карлъ ничего не отвѣчалъ. Онъ понялъ, съ какими людьми столкнула его судьба.

XIV.

Наступило лѣто 1709 года. Влизила роковая развязка для всѣхъ дѣйствующихъ лицъ исторической драмы, избранной предметомъ нашего повѣствованія.

Что дѣлала въ это время та нѣжная рука, которой такъ жестоко, хотя невольно разбила и гордыя политическія мечты Мазепы, и личное его счастье, отнявъ у него и покойную смерть старости, и мѣсто на славномъ историческомъ кладбищѣ его родины? Что дѣлала и что чувствовала несчастная дочь Кочубея?

Послѣ ужасной смерти отца, она вмѣстѣ съ матерью и другими сестрами находилась нѣсколько времени подъ арестомъ; но потомъ онѣ были освобождены.

Что пережила бѣдная дѣвушка за все это время—извѣстно только ей одной, и только необыкновенная живучесть молодости, да страшно богатый запасъ здоровья, которымъ такъ щедро, такъ по-царски надѣлила ее чудная, благодатная природа Украинны—спасли ее отъ смерти, отъ безумія, отъ самоубійства въ порывѣ тоски и отчаянія, охватывавшихъ ее порою такъ, что она готова была искать забвенія въ могилѣ, въ глубокой рѣкѣ, въ самоудавленіи... Вѣдь она страстно любила и отца, котораго сама же погубила, и мать, которая прокляла ее и не хотѣла видѣть до смерти. Она любила и того, котораго, какъ и отца, потеряла навѣки...

Проклятая и изгнанная съ глазъ матери, она приютилась у матери того, котораго продолжала любить и любила съ новою, небывалою нѣжностью, любила его, далекаго, потеряннаго для нея навсегда, одинокаго и славнаго въ ея сердцѣ, въ ея памяти, и проклятого всѣмъ, какъ и она проклята матерью. Тамъ, въ монастырѣ, у матери Мазепы, она съ безумной тревогой въ сердцѣ разспрашивала бывало старушку объ ея Ивасѣ, съ котораго та теперь въ глубинѣ своей души сняла материнское проклятіе въ тотъ день, какъ его начала проклинать церковь. Она постоянно бывало просила мать Магдалину рассказывать ей о томъ времени, когда курчавенькій Ивасъ Мазепинька былъ маленькимъ, какъ онъ росъ, что любилъ, какъ шалилъ, какъ учился. И старушка въ долгіе зимніе вечера рассказывала ей о своей молодости, о жизни при дворѣ польскихъ королей, о томъ, какъ у нея родился Ивасъ, какъ она его лелѣла и холила, и какой это былъ странный, неразгаданный мальчикъ. Слушая рассказы матери Мазепы, Мотренька чувствовала, что ея горе становится какъ будто менѣе острымъ и что тутъ, при этихъ разсказахъ, присутствуетъ его душа, его мысль, его память о ней...

Съ наступленіемъ весны Мотренька начала иногда посѣщать могилу своего отца, котораго вмѣстѣ съ Искрой похоронили въ лаврѣ. Какъ часто дѣвушка перечитывала скорбную надпись, высѣченную на камнѣ надъ братскою могилою ея дорогаго татка и милаго, жартливаго дяди Искры!.. Вотъ эта горькая надпись:

„Кто еси, мимо грядый, о насъ невѣдущій,
Елицы здѣсь естесмо положены сущи?
Понеже намъ страсть и смерть повелѣ молчати,
Сей камень возопіетъ о насъ ти вѣщати:
И за правду и вѣрность къ монарсѣ нашу
Страданія и смерти испіймо чашу.
Злуданьемъ Мазепы всевѣчно правы,
Посѣченны zostавше топоромъ во главы,—
Почиваемъ въ семъ мѣстѣ Матерѣ Владычнѣ,
Подающія всѣмъ своимъ рабамъ животъ вичный“.

„Року 1708, мѣсяца іюля 15 дня, посѣчены средь обозу войскового, за Бѣлою Церковію, на Борщаговцѣ и Ковшевомъ, благородный Васиій Кочубей, судія генеральный, и Іоанъ Искра, полковникъ полтавскій“.

„Ахъ, тато, тато! — думалось Мотренкѣ при чтеніи этой эпитафіи: — зачѣмъ же злуданьемъ Мазепы? Развѣ онъ виновать во всемъ, что случилось?... Я, проклятая, виновата: я погубила и тебя, и Мазепу, и всю Украину... Не встать ей теперь больше никогда. А всему я, проклятая, виною... На что я родилась, кому на счастье, на утѣху?—никому, никому таки въ свѣтъ!.. На одно горечко да на зло родила меня недоля—родила на недолю всѣмъ. Не родись я на свѣтъ Божій, не зналъ бы меня маленькою мой гетманъ милый, не крестилъ бы меня въ купели на горе, не носилъ бы меня на рукахъ вмѣстѣ съ булавою, не полюбилъ бы меня, проклятую гадюку... А то полюбилъ, и я полюбила его, душу мою въ него положила... Думали и такъ и такъ, и то и это загадывали, и далеко и высоко—охъ, высоко загадывали!.. А вонъ что вышло... Теперь и этотъ шведъ сюда пришелъ, и царь нагрянулъ, а все изъ-за моей недоли, все изъ-за меня, окаянной: не будь меня на свѣтъ, не будь этой косы гаспидской (и дѣвушка горько улыбнулась, взявъ изъ-за плеча свою толстую, мягкую косу и перебирая ее пальцами)... не будь этой косы, не будь меня — гетманъ не полюбилъ бы меня, не пошелъ бы противъ воли мамы и татка, а татко не пошелъ бы къ царю... А вышло вонъ оно какъ: пропалъ татко, и гетману приходилось пропасть, а все изъ-за меня... Что жъ ему оставалось дѣлать? — Идти къ Карлу, чтобы онъ заслонилъ собою Украину отъ царя, и онъ заслонилъ, и гетмана моего милаго взялъ... А кто теперь верхъ возьметъ? Возьметъ царь — не станетъ моего гетмана, возьметъ Карлъ — что тогда будетъ?.. Эхъ, татко, татко! зачѣмъ ты все это сдѣлалъ?.. Да это не ты, а мама: ты бы отдалъ меня моему гетману, такъ мама не схотѣла... „Не хочу, говорить, завязать тебѣ свѣтъ—отдать за стараго гетмана: выходи, говорить, за молодого, за Чуйкевича“. А на что мнѣ Чуйкевичъ, хоть онъ и молодой? На что мнѣ былъ этотъ „козьяничій лицаръ“, какъ его всѣ называли съ той поры, какъ онъ отъ гетманскаго цапа меня спасъ? Что я ему? Такъ только—счастье мое разбилъ, долю мою по вѣтру пустилъ да пылью развѣялъ. А на что ему была моя доля, моя краса дѣвичья? Вонъ женился же онъ на Цяцѣ нашей: значить, ему все равно было—что я, что Цяца.

Недолго пришлось Мотренкѣ прожить и въ монастырѣ, у матери Мазепы. Весною этого года мать Магдалина тихо скончалась. Передъ смертью она все вспоминала и звала къ себѣ своего сына: „Ивасю мой гетмане, гдѣ ты? Не увижу я тебя больше на этомъ свѣтъ“... Умирая, она благословляла и Мотренку, и еще другую дѣвочку, Оксанку Хмару, что была тутъ же, и говорила качая головой: „охъ, не будетъ вамъ доли на свѣтъ, дѣточки,—не будетъ... не такъ вы смотрите... красота ваша погубитъ васъ... Красота, дѣточки, это великое несчастье: красота—это цѣлое царство, на волоскѣ висящее... дунулъ вѣтеръ — фу! и нѣту царства... А потомъ все будетъ казаться, что корона на головѣ; а короны уже нѣтъ — одни сѣдые волосы“...

Со смертью игуменьи Магдалины Мотренка вмѣстѣ съ своею неразлуч-

ною нянею Устею переѣхала изъ Кіева поближе къ своему родному дому, къ Диканькѣ. Но въ Диканькѣ она не смѣла жить,—тамъ сама Кочубеиха вдова жила; а она не хотѣла и на глаза пускать къ себѣ несчастной дочери. Мотренька поселилась въ Полтавѣ, у своей тетки, у вдовы казеннаго Искры. Эта добрая женщина, и прежде любившая свою бойкенькую племянницу „съ оченятами карими да бровенятами на шнурочку“, какъ называлъ ее покойный „жартливый“ Искра,—теперь еще болѣе привязалась къ дѣвушкѣ, справедливо сознавая, что не она, не Мотренька, была причиною гибели мужа ея и Кочубея, а что сами они, Кочубей и Кочубеиха, по упрямству своему погубили всѣхъ, въ томъ числѣ и лучшую изъ своихъ дочерей.—Вотъ диво какое, невидаль, что Мазепа держалъ ее, дитятку малую, на рукахъ послѣ купели—отчего бъ не держать ему ее и послѣ у себя на колѣняхъ, какъ малжонку властную!“—говаривала она иногда, осуждая Кочубеевъ за то, что „свѣтъ завязали твоей дочери“.

Съ самой весны въ Полтавѣ поговаривали, что шведы гдѣ-то недалеко, чуть-ли не въ Опшнѣ, и что видѣли тамъ и самого Мазепу вмѣстѣ съ королемъ: старый гетманъ, несмотря на проклятіе, все такимъ же, говорятъ, молодцомъ смотреть, постоянно на конѣ и постоянно съ королемъ разъѣзжаетъ. А куда они двинутся—никто не зналъ: одни говорили, что на Кіевъ пойдутъ, другіе—что въ Запорожье, третьи—что будто бы прямо на Москву, какъ только сойдутъ рѣки.

Мотренька слышала эти толки и въ сердцѣ ея зарождались надежды, которыхъ она никому бы на свѣтѣ не довѣрила, развѣ только тому, о комъ она день и ночь думала и чье имя ставила на молитвѣ рядомъ съ именемъ отца, только нѣмой молитвѣ довѣряя свою тайну.

Разъ въ воскресенье, возвращаясь отъ обѣдни, она увидѣла, что какой-то москаль-коробейникъ, проходя мимо дома Искры съ своимъ коромъ, помахиываетъ подождкомъ и звонко распѣваетъ:

Эй, тетки-молодки,
Вѣлыя лебедки,
Красныя дѣвчаты—
Червонныя шаты,
Заплетены косы,
А ноженъки босы,
Идите до храму,—
Новово товару
Принесъ купецъ Сашка—
Миткальна рубашка—
Стрѣчекъ да мониста
Алтыновъ на триста...

Поровнявшись съ Мотренькой, онъ вдругъ, понизивъ голосъ, назвалъ ее по имени.

— Матрена Васильевна, панночка-боярышня! я вамъ поклонъ принесъ.

Дѣвушка невольно остановилась. Въ сердцѣ ея шевельнулось что-то давнишнее, давно тамъ какъ-бы насильно задушенное—и дорогое, и страшное.

Ей показалось даже, что она слышала гдѣ-то этотъ голосъ вкрадчивый, съ которымъ обратился къ ней коробейникъ. Она смотрѣла на него своими большими изумленными глазами и молчала.

— Поклонъ принесть я вамъ, хорошая панночка,—еще тише повторилъ коробейникъ, и сердце у дѣвушки дрогнуло.

— Отъ кого?—чуть слышно спросила она, блѣднѣя.

— Отъ Ивана Степановича—отъ етмана.

Мотренька съ испугомъ отступила назадъ: сказанное коробейникомъ имя было такъ страшно здѣсь, во всей Украинѣ—еще и сегодня его проклинали въ церкви, откуда возвращалась Мотренька.

— Вы меня, боярышня, не узнали, оттого и испугались,—продолжалъ коробейникъ:—я Демьяшка, помните Демку, что отъ етмана вамъ гостинцы изъ Бахмача вазивалъ, да еще въ послѣдній разъ онъ, етманъ, велѣлъ мнѣ передать вашей милости на обновки десять тысячъ червонцевъ, а у вашей милости выпросить для его, для етмана, придочку вашей дѣвичьей косы на поглядѣнье... Я и есть тотъ Демьянко.

При послѣднихъ рѣчахъ коробейника дѣвушка зардѣлась... Да, онъ правду отчасти говорить: когда ей запрещено было свиданье съ гетманомъ, то онъ однажды дѣйствительно, востосковавшись по ней, прислалъ нянѣ Устѣ десять тысячъ червонцевъ, чтобъ только она прямо съ ея Мотренькиной тѣла сняла сорочку или урѣзала небольшую придочку косы и прислала бы къ гетману, но, кажется, не съ Демьянкомъ, а съ Мелашкою.

Да, это, точно, Демьянко. Мотренька теперь узнала его, вспомнила; только прежде онъ одѣвался не по-московски, а по-украински, когда служилъ у Мазепы.

— А вотъ вашей милости и перстенецъ алмазной отъ етмана.—Коробейникъ подаль ей перстень, блеснувшій на солнцѣ всеми цвѣтами радуги.—Это чтобъ вы мнѣ вѣрили, не сумлѣвались... Я всегда у его милости етмана былъ вѣрный человекъ.

— А гдѣ теперь гетманъ?—спросила Мотренька съ большимъ довѣріемъ; однако голосъ ея дрожалъ какъ слабо натянутая струна.

— Они теперь не далеке будутъ, съ свейскимъ королемъ,—вась, боярышня, ищутъ.

Краска снова залила блѣдныя щеки дѣвушки. Она чувствовала приливъ глубокой радости, такой радости, что готова была заплакать.

— А какъ его здоровье?—спросила она, не поднимая глазъ.

— Его милость въ здоровѣ, только о вашей милости гораздо убиваются. А какъ узнали, что вы въ Полтавѣ здѣсь, такъ и послали меня провѣдать, точно-ли ваша милость тутотка; а коли-де ваша милость тутотка, такъ етманъ наказали мнѣ: „когда-де ты, Демьянъ, увидишь Матрену Васильевну, такъ скажи ей наединѣ, съ глазу на глазъ, что я-де, етманъ, вмѣстѣ съ свейскимъ королемъ приду подъ Полтаву и Полтаву-де возьму; такъ чтобъ-де Матрена Васильевна не пужалась; я-де за ней иду и ей-де никто никакого дурна не учинить“... Такъ вотъ я, боярышня,

для-ради этого, чтобы изъ свейскаго обозу пройти въ Полтаву, и наря-
дился коробейникомъ. Да мнѣ и не привыкать стать: допрежъ сего я и въ
Россей у себя съ коробомъ хаживалъ, а опосля у Меншикова Александръ
Данилыча въ комнатахъ служилъ, да какъ меня хотѣлъ царь въ матросы
взять—я и сбѣжалъ съ Москвы къ вашимъ черкасамъ, въ Запорогя, а
оттѣдова ужъ его милость етманъ взялъ меня къ себѣ въ ѣздовые.

Мотренька слушала его съ смѣшаннымъ чувствомъ тревоги и счастья.
Все это случилось такъ неожиданно, окутано было такою волшебною дым-
кою, что она думала, не сонъ-ли это. Такъ нѣтъ—не сонъ: она чувство-
вала у себя въ ладони что-то дорогое, что напоминало ей то время, когда
по ея душѣ не прокатилось еще это страшное колесо судьбы, раздавившее
ея жизнь, ея молодыя грезы.

— Мотю! а Мотю!—раздался вдругъ чей-то голосъ.

Мотренька восторженно и испуганно взглянула на коробейника. Тотъ
понялъ, что пора прекратить тайную бесѣду.

— Счастливо оставаться, боярышня!.. Такъ ничего не купите?—ска-
залъ онъ скороговоркой.

Дѣвушка ничего не отвѣчала. А коробейникъ, вскинувъ за плечи свою
ношу, зашагалъ вдоль улицы, звонко выкрикивая: „эй, тетки-молодки, бѣ-
лыя лебедки, красныя дѣвчаты“...

Оказалось, что Мотреньку окликнула ея „титочка“, вдова Искриха.

— Ты не забудь, Мотю, що у насъ на двори Купало?—сказала она,
показываясь въ воротахъ вся красная и съ ложкою въ рукахъ.

Все это утро пани Искра вмѣстѣ съ старою Устею и маленькою по-
коювкою Орисею занята была серьезнымъ дѣломъ—приготовленіемъ на зиму
разныхъ „павидель“ и другихъ прелестей изъ вишенъ, малины, полуницъ
и всякой ягоды, какія только производитъ благодатная природа Украины.
По этому случаю среди двора весь день горѣлъ очагъ—варенье всегда
лучше варить на воздухъ, вкуснѣе выходитъ—и пани Искра совсѣмъ ис-
пеклась на очагѣ, тогда какъ у Ориси даже правое ухо было все въ ва-
реньѣ отъ усерднаго лизанья тарелокъ и кострюлекъ съ пѣнками.

— Забудь Купалу?—спросила добрая женщина, ласково глядя на Мо-
треньку, которая казалась и встревоженною и разсѣянною.

— Ни, титочко, не забудь, — отвѣчала дѣвушка, думая о чемъ-то
своемъ.

— То-то—ни... Вечеромъ—хочешь не хочешь—а я прогоню тебе съ
Орисею подивитися, якъ на Ворскли дивчата та парубки будутъ черезъ
огонь скакати, та купальскихъ писень спивати; а то онъ-яка ты все сумна
та невесела.

— Та мени, титуню, не до Купалы.

— Ни вже, годи все плакати та сумувати... не вернешь его—уплыло...

Искриха настояла-таки на своемъ. Вечеромъ Мотренька, сопровождае-
мая Орисею, пошла за городъ, гдѣ, на берегу Ворсклы, происходили ку-
пальскія игры.

Вечеръ былъ великолѣпный. Западная часть неба еще не успѣла окутаться темною синевою, которая боролась съ потухающею зарей; но мало-по-малу эта синяя темень надвигалась все ниже съ середины неба къ западному горизонту, сгоняя съ запада и его блѣдную розоватость и прозрачную ясность воздуха. Показывались звѣзды, которыя какъ-то слабо, веровно мигали. Но когда взоръ отъ неба переносился къ землѣ, въ сторону, противоположную той, гдѣ гасла заря, то глаза прямо тонули во мракѣ, и этотъ мракъ становился еще плотнѣе оттого, что въ нѣсколькихъ шагахъ впереди по берегу рѣки нылали костры, отражаясь золото-красными бликами то на рѣкѣ, то на бѣлыхъ, какъ будто сѣдыхъ листьяхъ серебрястыхъ тополей, кое-гдѣ темнѣвшихъ у костровъ и освѣтившихся только красными обращенными къ огню пятнами. У костровъ то мелькали тѣни, на мгновеніе заслоняя огонь, то двигались какія-то красныя пятна—бѣлыя сорочки, лица, плахты, руки, освѣщаемыя красноватымъ заревомъ.

Отъ костровъ доносилось пѣніе, странная, солидная какая-то, словно застывшая во времени мелодія котораго всегда почему-то переносить воображеніе въ сѣдую, глубочайшую древность, когда вотъ такъ же пѣли поляне, кружась то вокругъ истукана Перуна, то вокругъ Ярилы, совершая эти игрища не какъ простыя игры, а какъ моленіе, обрядовое торжество и славословіе силъ природы въ образѣ многообразныхъ боговъ и полубожковъ...

Купала на йвана,
Купався Иванъ
Та въ воду упавъ...

„Иванъ... упалъ въ воду—сгинулъ навѣки“, думалось Мотренкѣ подѣ это монотонное пѣніе: „а завтра йвана — завтра онъ, гетманъ, именинникъ... Гдѣ-то и съ кѣмъ завтра будетъ онъ праздновать свои именины?—Вспомнить-ли обо мнѣ, вспомнить-ли, какъ въ третьемъ году мы вмѣстѣ съ нимъ смотрѣли въ Батурино на купальскіе огни у берега Десны?“

По мѣрѣ приближенія къ кострамъ темнота кругомъ, и на землѣ и въ небѣ, становилась непрогляднѣе, но зато тѣни, двигавшіяся у огней, выступали рельефнѣе, ярче, грубѣе: то блестнеть надъ огнемъ красноватый дискъ круглаго молодого лица съ свѣтящимися глазами и смѣющимися щеками; то вспыхнетъ пламенемъ бѣлая сорочка съ искрящимися на груди монистами; то огонь отразится на гирляндѣ цвѣтовъ, обвивающихъ голову. Что-то волшебное, чарующее въ этой картинѣ... А вокругъ костра медленно двигаются, схватившись за руки, убранныя цвѣтами дѣвушки, плавно и въ тактъ пѣнію покачиваясь изъ стороны въ сторону, а красное пламя попеременно освѣщаетъ то то, то другое лицо, по мѣрѣ движенія ихъ вокругъ костра...

— Пидемъ и мы, панночко, у коло,—говоритъ, дрожа отъ восторга, Фриса, которая давно отмыла свои щеки и уши отъ варенья и „заквѣчала“ свою черную головку всевозможными цвѣтами, такъ что вся голова

ея походила на громадный сплошной букетъ, а розовое личико съ загорѣлыми щеками и свѣтящимися глазами представляло подобіе маленькаго живого портбукета.— Пидемъ, панночко!

— Та йди жъ, Орисю,—задумчиво отвѣчала Мотренъка.

— А вы жъ, панночко?

— Я постою, подивлюсь.

Орися юркнула въ „коло“, и черезъ секунду ея маленькая, чудовищно утыканная пѣтами голова уже торчала между шитыми рукавами двухъ „дивчатъ“, достигая имъ только до поднятыхъ немного локтей.

Мотренъка остановилась подъ тополемъ, недалеко отъ одного изъ костровъ, но такъ что ей разомъ видно было два „кола“, которыя „вели танокъ“—кружились, то есть, то въ ту, то въ другую сторону, или, говоря по-старорусски— „посолонъ“ или противъ хода солнца. Съ правой стороны чернѣла вода Ворсклы, отражая длинныя полосы купальскихъ огней, а влѣво за кострами разстилалась темень до самаго горизонта и даже далѣе—до неба и на небо, которое чуть-чуть синѣло, особенно тамъ, гдѣ моргали звѣзды Воза—созвѣздіе Большой Медвѣдицы. Еще лѣвѣй, къ городу, высились крѣпостныя валы, на которыхъ иногда слышались окрики часовыхъ.

И эти ночныя окрики, и это пѣніе у костровъ, иногда звонкій смѣхъ дивчины и грубоватый хохотъ парубка-казака—все это наводило Мотренъку еще на большее раздумье... Вспоминался ей и покойный отецъ, и Мазепа, „ищущій могилы себѣ“, и этотъ Чуйкевичъ, какимъ-то разрывъ-зельемъ вошедшій въ ея жизнь, и этотъ хорошенькій, плачущій на травѣ въ Диканькѣ „москаликъ“ Павлуша Ягужинскій... Гдѣ-то онъ теперь? что съ нимъ?... А какъ это было давно! какія они тогда еще дѣти были!..

Вонъ звѣздочка прокатилась по небу!... Это чья-нибудь жизнь скатилась въ вѣчность—свѣчечка погасла, и не будетъ ужъ этой звѣздочки на небѣ... А еще гетманъ говорилъ, что это такія же земли, какъ вотъ и эта земля, гдѣ купальскій вечеръ справляютъ люди, а другіе плачутъ... И тамъ, вѣрно, плачутъ...

Купала на йвана,
Купався Иванъ...

Да такъ всю ночь изъ головы не выйдетъ это пѣніе... А вонъ Орися какъ веселится... Счастливая!.. Она черезъ огонь прыгаетъ—какъ козочка перелетѣла...

А что это словно тѣни какія-то движутся отъ степи?... Да, что-то метлежится во мракѣ—что-то высокое-высокое, какъ будто бы и не люди, а что-то большее чѣмъ люди... На темной синевѣ вырѣзываются, но такъ неясно, двѣ-три—даже четыре большія тѣни—и все ближе и ближе... Можетъ быть, это казаки откуда-нибудь ѣдутъ; только зачѣмъ же безъ дороги?... тамъ нѣтъ дороги: дорога идетъ лѣвѣе, мимо самыхъ крѣпостныхъ палисадовъ... Да это конные...

Если-бъ не это пѣніе „Купала на Йвана“, не смѣхъ и не жарты у рѣки и если-бъ Мотренька стояла немного къ степи поближе, то она могла бы разслышать даже шопоть на незнакомомъ ей языкѣ, на томъ языкѣ, который она, впрочемъ, слышала въ польскихъ костелахъ—на латинскомъ...

— Довольно, ваше величество, — опасно дальше двигаться... Вы видите, что это не бивачные огни: это полтавская молодежь затѣяла свои обычные игры накануне Іоанна Крестителя... Это праздникъ Купалы,—шепчетъ одинъ кто-то.

— Такъ я хочу посмотрѣть на этого Купалу, — отвѣчаетъ другой шопоть.

— Но вы рискуете собой, ваше величество,—снова шепчетъ первый.

— Я, любезный гетманъ, и люблю рискъ,—отвѣчаетъ второй.

— Но тутъ близко крѣпостной валъ, часовые тамъ, могутъ замѣтить...

— Пустяки, гетманъ! Я знаю—часовые далеко.

Все ближе темныя фигуры. Это всадники. Они скоро приблизятся къ линіи свѣта отъ костровъ. Вотъ они выступаютъ въ эту область свѣта, но такъ тихо-тихо... Видны уже лошадиныя морды, кое-гдѣ искорками блеститъ сбруя, тамъ свѣтъ упалъ на стремя... Еще ближе—свѣтъ костра падаетъ на лица... Одно лицо, молодое, впереди, въ какой-то странной шляпѣ... Еще лицо... усы бѣлѣются...

Боже!.. Мотренька узнала его!.. Это онъ—гетманъ...

Она невольно вскрикнула.. Всадники парашнулись отъ костровъ въ степь, въ темь... Съ бала раздалися выстрѣлы... Вдали, во тьмѣ, раздавался конскій топоть...

Все успокоилось у костровъ. Пѣніе прекратилось. Послышались визги, оханья — все бросилось бѣжать въ городъ, оставляя купальскіе огни на произволъ судьбы.

Когда испуганная Оріся подбѣжала къ своей панночкѣ, панночка лежала безъ чувствъ... Она „зомлила“...

XV.

Таинственные всадники, иодѣзжавшіе въ купальскимъ огнямъ подѣ Полтавой, были—Карлъ, Мазепа, юный принцъ Максимиліанъ и генералъ Левенгауптъ, недавно присоединившійся къ королю съ своимъ отрядомъ.

Карлъ, овладѣвъ въ іюнѣ Опощею и ожидая подкрѣпленій изъ Польши, на которыя, впрочемъ, сомнительно было рассчитывать, зарядился вдругъ по обыкновенію безумною мыслью—завладѣть Полтавою. Мысль эта, надо сказать правду, не сама забралась въ желѣзную голову, а натолкнулъ на нее какъ-бы нехотя и случайно лукавый бѣсъ — Мазепа. Этотъ „полуdivный бѣсъ“, какъ называла его хорошенькая молодая гетманша, Настя Скоропадчиха, прослышавъ, что его „ясочка коханая“ Мотренька находится въ Полтавѣ, безумно захотѣлъ хоть еще разъ въ жизни взгля-

нута на нее, услышать ее голосокъ, ее соловьиное щебетанье,—и живучи были надежды, упряма была его желѣзная воля! — бокъ-о-бокъ съ нею идти къ своей цѣли, добиться короны герцогской,—что уже между нимъ и Карломъ порѣшено было,—и вмѣстѣ съ Мотренкою потомъ взойти на ступени герцогскаго трона. Подъ давленіемъ этой двойной страсти онъ и забросилъ въ шальную голову Карла мысль—взять Полтаву, гдѣ должны были храниться огромные запасы провіанта и боевыхъ припасовъ, въ которыхъ шведы чувствовали ужасающій недостатокъ: шведскіе солдаты умирали съ голоду въ благодатной Украинѣ, а пороховъ ихъ за зиму былъ подмоченъ и почти не стрѣлялъ... Полтава и должна была дать все это Карлу...

Зарядившись этой мыслью, король-варягъ уже не слушалъ совѣтовъ своихъ полководцевъ и министровъ.

— Что за безумная мысль пришла ему въ голову брать Полтаву?—ворчалъ Гилленкрукъ, допрашивая Реншильда, когда Карлъ сказалъ, что сегодня, 23 іюня, онъ хочетъ ѣхать ночью осматривать укрѣпленія Полтавы.

— Король хочетъ, пока не придутъ поляки, немножко потѣшиться, *s'amuser*—„повозиться“, какъ онъ юношей любилъ „возиться“ съ фрейлинами, а потомъ—съ волками и медвѣдами на охотѣ, теперь—съ москочитами,—съ улыбкой отвѣчалъ старый фельдмаршалъ, хорошо изучившій своего коронованнаго ученика.

— Сегодня ночью цвѣтетъ папоротникъ—я хочу найти этотъ цвѣтъ,—съ своей стороны говорилъ Реншильдъ этотъ коронованный ученикъ его.

Осторожный Гилленкрукъ и голову повѣсилъ. Даже храбрый Левенгауптъ задумался: „у него все шуточки... онъ также играетъ Швеціей и своей короной и своею жизнью, какъ маленькимъ играть въ Александра Македонскаго“...

Вотъ за этимъ-то цвѣтомъ папоротника онъ и явился подъ Полтаву, къ самымъ купальскимъ кострамъ, принявъ ихъ за огни бивуаковъ. И онъ нашелъ волшебный цвѣтъ: одна пуля, пущенная съ крѣпостнаго вала вдогонку неизвѣстнымъ всадникамъ, угодила Карлу прямо въ пятку лѣвой ноги, прошла сквозь всю лапу и застряла между пальцами. Упрямый варягъ даже не вскрикнулъ, не промолвилъ слова, даже замѣтить никому не далъ, что онъ раненъ. Напротивъ, этотъ безумецъ былъ счастливъ, радовался этой ранѣ! Да и какъ не радоваться! На языкѣ древнихъ варяговъ-викинговъ рана называлась „милость“, отличіе—*faveur*, и ее не слѣдуетъ перевязывать раньше какъ черезъ сутки... Вѣдь сага Фри-тиофа въ пѣснѣ XV-й говоритъ:

Рана—прибыль твоя: на груди, на челѣ—то прямая украса мужамъ; Ты чрезъ сутки не прежде ее повяжи, если хочешь собратомъ быть намъ...

— Господи! помоги намъ!—въ ужасѣ воскликнулъ Левенгауптъ, увидавъ по возвращеніи въ лагерь, что изъ сапога короля льется кровь.—Случилось именно то, чего я всегда боялся и что я предчувствовалъ!

— Жаль, что рана только въ ногѣ!—отвѣчалъ безумецъ съ сожалѣніемъ:—но пуля еще въ ней, и я велю вырѣзать ее на славу.

Хмурый гетманъ только головою покачалъ: ему было не до Карла, не до его раны,—онъ самъ сегодня разбередилъ свою старую, страшную рану, которая сведетъ его въ могилу... Онъ ее видѣлъ...

Но упрямый король, счастливый и гордый своею раной, истекая кровью, все-таки не прямо отправился въ свою главную квартиру, а поскакалъ по лагерю—посмотрѣть, что тамъ дѣлается.

Рана между тѣмъ дѣлала свое дѣло. Нога воспалилась, страшно распухла, и нужно было разрѣзывать сапогъ. Оказалось, что кости въ лапѣ были раздроблены; нужно было вынимать осколки костей и дѣлать глубокіе разрѣзы въ ступнѣ. А онъ—какъ ни въ чемъ не бывало: веселъ!

— Рѣжьте, рѣжьте, живѣе, ничего! — ободрялъ онъ хирурга, любясь операціей.

— Отъ чадушко!.. бисова жъ дитина!—невольно проворчалъ по своему, по-украински, Мазепа, дивуясь на эту „бисову дитину“.

— Что говоритъ гетманъ?—спрашиваетъ чадушко.

— Благоговѣть предъ вашимъ величествомъ! — былъ латинскій отвѣтъ, замѣнившій „бисову дитину“.

Въ это время въ палатку, гдѣ происходила операція, заглянулъ Орликъ, знаками приглашая Мазепу выйти. Гетманъ вышелъ. У палатки стоялъ знакомый намъ коробейникъ.

— Ну, что, былъ?—нетерпѣливо спросилъ Мазепа.

— Были-съ, ваша милость,—тряхнулъ волосами коробейникъ.

— И ее видѣлъ?

— Какъ-же-съ, видали-ста... Приказали кланяться и на подарочкѣ благодарить.

— И она здорова?

— Ничего-съ, слава Богу, во здравіи... только объ вашей милости больно убиваются.

У Мазепы усь задрожалъ и пальцы хруснули—такъ онъ стиснулъ одну руку другою.

— А что москали?—спросилъ онъ послѣ минутнаго молчанія.

— Царя ждутъ въ городъ... Онамедни, сказываютъ, боньбу изъ-за Ворсклы бросилъ въ городъ, а она, боньба, пустая, а въ боньбѣ грамоту наши: что потерпите-де, молъ, маленько—на выручку иду.

Мазепа задумался на минуту.

— Ладно, ступай въ мою ставку, — сказалъ онъ и вошелъ въ палатку короля.

Карль, которому въ это время перевязывали ногу послѣ операціи, съ мертвенно-блѣднымъ лицомъ, видимо, искаженнымъ страданіями, которыхъ онъ, однако, не хотѣлъ изъ упрямства обнаруживать, съ блестящими лихорадочнымъ огнемъ глазами разсматривалъ только-что вынутую изъ ноги пулю.

— Какая славная пуля!—говорилъ онъ словно въ бреду.—А помнялась немножко... Посмотри, Реншильдъ, какой дорогой алмазъ...

Реншильдъ нагнулся и ничего не сказалъ. Онъ только вздохнулъ.

— Проклятый кусокъ!—проворчалъ Левенгауптъ, тоже нагибаясь къ черному кусочку свинца, помятому и окровавленному.

— Зачѣмъ проклятый, фельдмаршалъ?—возразилъ безумный юноша.— Я велю оправить ее въ золото и буду носить въ перстнѣ—это моя гордость, мой драгоценный алмазь.

— Да, ваше величество, это великая истина,—подтвердилъ Мазепа, тоже всматриваясь въ пулю: о! это королевская регалія... Только это не нашего, не казацкаго литя, а московскаго... Эту пулю, ваше величество, надо вдѣлать не въ перстень, а въ корону... это драгоценнѣйшій діамантъ въ коронѣ Швеціи—онъ будетъ свѣтить вѣчно во славу Карла XII.

Карлъ даже приподнялся на постели и глядѣлъ безумными глазами на Мазепу.

— О, да! мой гетманъ правъ!—воскликнулъ онъ восторженно, хотя слабымъ голосомъ:—мой мудрый Сократъ всегда скажетъ что-нибудь умное... Да... да... эту пулю надо вдѣлать въ мою корону, въ корону Швеціи... это лучший перлъ въ исторіи Швеціи...

— И съ кровью... ваше величество,—прибавилъ гетманъ.

— Какъ съ кровью!—онъ глядѣлъ на Мазепу, видимо, не понимая, почти въ бреду.

— Съ кровью вашего величества пуля эта должна быть вдѣлана въ корону Швеціи.

— Да... да-да... О, великій умъ у гетмана, великій!—бормоталъ король, все болѣе слабѣя.

— И вокругъ этой окровавленной пули,—продолжалъ Мазепа,—будетъ вырѣзана, ваше величество, надпись: „Sanguis regis Caroli Duodecimi sanctissima, pro Scandinaviae et omnium regionum septentrionalium gloria cum virtute heroica effusa“.

— Да!.. Да!.. pro gloria... pro gloria aeterna... in omnia saecula saeculorum...

Далѣе онъ не могъ говорить. Желѣзная голова опрокинулась на подушку—Карлъ лишился сознанія.

Когда черезъ нѣсколько минутъ его привели въ чувство, докторъ сказалъ:

— Вашему величеству нѣсколько дней строго запрещается всякое умственное занятіе и физическое движеніе... Это запрещаю не я, а медицина...

— Медицина мнѣ не бабушка, возразилъ упрямый король:—слава Швеціи для меня старше медицины.

— Такъ слава Швеціи запрещаетъ вамъ это!—строго сказалъ, старый Реншильдъ.

— Хорошо, слава Швеціи я повинуюсь,—уступилъ упрямый шведъ:—но что я буду дѣлать?

— Лежать и сказки слушать.

— Да-да, сказки... я люблю сказки о богатырях... Такъ пошлите ко

мнѣ моего стараго Гульмана: пусть онъ рассказываетъ мнѣ сагу о богатырѣ Рольфѣ Гетриксонѣ, какъ онъ одолѣлъ русскаго волшебника на островѣ Ретузари и завоевалъ Данію и всю Россію...

Мазепа только головой покачалъ... „Ну, вже жъ и чортиня!.. Изъ одного, десъ, куска стали выковавъ коваль и сего, маленькаго, и того— великаго... Ой-ой-ой! кто кого, кто кого?“—садило у него на сердцѣ.

Вошелъ Гульманъ—нѣчто безцвѣтное, грязноволосое, красноносое и съ отвисшею нижнею губою. Глянувъ на короля, Гульманъ укоризненно покачалъ головой.

— Ты что такой сердитый?—весело спросилъ его Карлъ.

Гульманъ не отвѣчалъ, а, ворча что-то подъ носъ, началъ сердито комкать и почти швырять платье короля, разбросанное въ разныхъ мѣстахъ палатки. Карлъ улыбнулся и подмигнулъ Реншильду.

— Гульманъ! а Гульманъ! ты что не отвѣчаешь, старина?— снова спросилъ король.

Гульманъ, не поворачивая головы, отвѣчалъ тономъ ворчливаго лакея:

— Да съ вами послѣ этого и говорить-то не стоитъ, вотъ что!

— Что такъ, старина?—(Карлъ, видимо, подзадоривалъ его).—А?

Гульманъ, порывисто повернувшись къ Реншильду и не глядя на короля, заговорилъ обиженнымъ тономъ:

— Вотъ и маленькимъ былъ все такимъ же сорви-головой: то онъ на оленѣ скачетъ, то спитъ на полу съ собаками, а платья на него не припасешь... Хуже послѣдняго рудокопа, а еще королемъ называется!.. Я и тогда говорилъ ему, маленькому: не сносить вамъ, говорю, головы... Такъ вотъ, на поди!.. эхъ!

— Полно-полно, старина!—успокивалъ его Карлъ.—Знаешь, сегодня вѣдь канунъ Иванова дня, когда цвѣтеть папоротникъ: я нашелъ этотъ самый цвѣтъ...—И онъ показалъ Гульману пулю.

А Мазепа все раздумывалъ, глядя на высокій, гладкій, словно стальной лобъ короля: „Охъ! кто кого, кто кого?.. А если тотъ этого?..“

А въ это самое время тотъ, о которомъ думалъ Мазепа, въ свою очередь думалъ о Мазепѣ. Онъ только-что воротился въ свою палатку изъ осмотра ночныхъ работъ по возведенію шанцевъ на полтавскомъ полѣ, которое въ теченіе нѣсколькихъ послѣднихъ дней стало спорнымъ полемъ между Петромъ и Карломъ. Петръ, прибывъ къ Полтавѣ съ лѣвой стороны Ворсклы, со дня на день ожидалъ нападенія Карла на городъ, и въ виду этого, извѣстивши посредствомъ брошенной въ крѣпость пустой бомбы (о которой передавалъ Мазепѣ и его шпионъ-слуга, коробейникъ Демьянко, и въ которую было вложено царемъ письмо),—извѣстивши полтавскаго коменданта о приближеніи своемъ съ войскомъ,—Петръ сталъ по ночамъ переправлять отдѣльныя его части на правый берегъ Ворсклы, отчасти въ тылъ и къ лѣвому крылу арміи Карла. Когда послѣдній, увидавъ купальскіе огни, поскакалъ съ Мазепой и Левенгауштомъ удостовѣриться—не бивуачные-ли это огни арміи царя, и получилъ ахиллесовскую рану въ пятку, царь въ это самое время, позже, находился недалеко, на другой сторонѣ Ворсклы,

потому что и онъ, какъ и Карлъ, принялъ купальскіе огни за бивуачные огни своего противника. Въѣстъ съ Шереметевымъ, Меншиковымъ и Ягужинскимъ царь тихо подъѣхалъ къ Ворсклѣ и, окутанный мракомъ ночи и кустами верболоза, видѣлъ все, что происходило по ту сторону рѣчки; только онъ не видалъ того, что видѣла Мотренька—Карла и Мазепу, потому что ихъ закрывали густыя вѣтви тополя, прислонившись къ стволу котораго стояла Мотренька. Ее-то царь, правда, видѣлъ и даже полюбовался этимъ освѣщеннымъ красными огнями, строгимъ, задумчивымъ, единственно серьезнымъ женскимъ личикомъ среди оживленныхъ, веселыхъ и смѣющихся лицъ другихъ дивчатъ; но онъ и не догадывался, что это дочь того Кочубея, который почти годъ назадъ погибъ вслѣдствіе своей роковой ошибки, сдѣланной имъ въ пылу гнѣва на Мазепу за честь якобы дочери, но главное—подъ давленіемъ сварливаго характера своей жены,—Кочубея, котораго теперь часто вспоминалъ царь съ чувствомъ искренняго сожалѣнія. Зато Ягужинскій узналъ Мотреньку и едва не вскрикнулъ отъ изумленія и радости. Онъ кинулся было къ рѣкѣ, забывши и осторожность и присутствіе царя; но въ этотъ моментъ послѣдовали выстрѣлы съ крѣпостнаго вала, крики и суматоха среди молодежи, кружившейся около огней—и всѣ были крайне изумлены: царь было подумалъ уже, что это шведы начинаютъ приступъ и уже готовъ былъ скакать къ своему войску; но послѣдовавшая затѣмъ тишина на томъ берегу рѣки успокоила его: онъ догадался, что это были шведскіе развѣдчики. Только Ягужинскій съ ужасомъ вскрикнулъ:—„Боже мой! это ее убили!“—„Кого убили! Что ты. Павелъ?“—съ недоумѣніемъ спросилъ царь, увидавъ блѣдное лицо Ягужинскаго.—„Ее, государь... дочь Кочубея... я узналъ... она стояла подъ деревомъ, а теперь лежитъ“... Дѣйствительно, царь увидѣлъ, что дѣвушка, которою онъ любовался издали, лежала на землѣ, а около нея, стоя на колѣняхъ, ломала руки маленькая дѣвочка съ конной цвѣтовъ на головѣ...—„Такъ это она, бѣдная?“—сожалѣлъ царь.—„Она, государь,—что Мазепа проклятый погубилъ“.—„Ахъ, бѣдная, бѣдная!.. А ты ее все помнишь—угадалъ?“—„Угадалъ, государь“,—дрожа всѣмъ тѣломъ, говорилъ Ягужинскій. Но скоро они увидѣли, что дѣвушка приподнялась, тихо встала и медленно пошла въ городъ, ведомая дѣвочкой. Царь также усекалъ къ своимъ шанцамъ: онъ и не зналъ, что сейчасъ находился почти лицомъ къ лицу съ своимъ непримиримымъ и непобѣдимымъ врагомъ, котораго онъ считалъ такимъ страшнымъ и который такъ беззаботно игралъ и своею жизнью, и своею храброю арміею, и всею Швеціею,—игралъ, по выраженію ворчливаго Гультамана, „словно деревенскій мальчишка мячикомъ“...

— Охъ, надо, надо съ Божіею помощію готовиться къ генеральной баталіи,—говорилъ самъ съ собою царь, осматривая шанцевыя работы:—а то онъ, отъ чего сохрани Боже, не сегодня-завтра къ штурму прибѣгнетъ... Только вотъ все нѣтъ калмыцкаго войска, а безъ него боюсъ начинать...

Воротившись къ своей палаткѣ, царь, несмотря на темноту, разглядѣлъ среди множества толпившихся тамъ генераловъ и полковниковъ ма-

малороссійскихъ войскъ маститую фигуру Палія и подошелъ къ нему, сойдя съ коня и отдавъ его въ руки ординарца.

— Ну, что, мой вѣрный Палій, какъ нашелъ ты мое доблестное войско?—спросилъ онъ старика.

— Орлы, государь, истинные орлы, — прошамкалъ старый рубака, гроза крымцевъ и турокъ.

— А малороссійскіе полки?

— Оные, государь, полки за тебя и въ огонь и въ воду, да и самому Люциперу себя знати дадутъ.

— А какъ ты себя на конѣ носишь?

— Погано, ваше царское величество: мое дѣло старое... А все-жъ-таки проклятому Мазепѣ сала за шкуру налить не примину.

Царь улыбнулся. Онъ самъ видѣлъ, что пять лѣтъ ссылки и тоска по родинѣ наложили страшную печать разрушенія на старика, и безъ того ветхаго.

Отдавъ нѣкоторыя приказанія начальникамъ отдѣльныхъ частей, царь вошелъ въ палатку въ сопровожденіи неразлучнаго своего Павлуши, теперь уже Павла Ягужинскаго. Въ палаткѣ на походномъ столѣ лежали планы, бумаги и пакеты, привезенные курьерами изъ Москвы, Петербурга, Воронежа и другихъ мѣстъ обширнаго царства. Нѣкоторые болѣе важные и спѣшныя были уже распечатаны и прочитаны; оставались только домашнія письма—бабья переписка.

— Что-то моя matka пишетъ, мудеръ Катеринушка?—говорилъ царь, взявъ одно письмо и распечатывая его.—„Всемиловитѣйшій государь, дорогой хозяинъ мой, батюшка! доношу, милости твоей, что я съ дочуркою нашею Анянушкою благодію всевышняго Бога въ добромъ здравіи, только лапушка наша нынѣ скорбитъ зубками, понеже еще одинъ зубокъ выдываетъ, и оттого слюнки текутъ во множествѣ. А впротчемъ, государь хозяинъ, не изволь сомнѣватца. А за то, государь, что изволилъ прислать мнѣ съ Азовскаго моря устерсы да матерію по голубой землѣ цвѣтъ лазоревъ, и за то тебѣ, государю моему, земно кланяюсь, и тебя въ ономъ новомъ голубомъ капотѣ обнять страхъ желаю, красавца моего свѣтъ Петрушеньку“...

Царь приподнявшись надъ письмомъ, весело встряхнулъ своею курчавою гривую.

— Ахъ ты, мудеръ-мудеръ Катеринушка! не даромъ я тебѣ оный царь далъ,—радостно говорилъ онъ самъ съ собою.—Ну-ну, что далъ?—„А обо мнѣ, для-Бога, не печалься: мнѣ тѣмъ наведешь мнѣнье. При семъ посылаю тебѣ, государю моему, ящикъ съ анисовкою и цедреоли шесть скляницъ, а есть-ли бы у меня у горькой крылья были, и я бы сама къ тебѣ прилетѣла, другу моему. А что о царѣвнѣ Алексіи Петровнѣ изводишь писать, государь, что яко-бы онъ тайнымъ способомъ, отъ тебя, государя, таясь, къ матери своей, старицѣ Ольгѣ, въ Суздаль ѣздилъ, и то, государь, онъ самъ мнѣ, предъ Господомъ кающись и прося у тебя,

государя своего, родительскаго прощенія, со откровенностью повѣдалъ. И ты, всемилостивѣйшій государь, молю слезно, сына своего, для Бога, прости, понеже не онъ то своею волею учинилъ, а умысломъ покойной царевны Софіи Алексѣевны: она его тому научила“...

Царь быстро откинулся отъ стола и лицо его нервно задергалось.

— У! зелье — сестрица Софьюшка! и изъ гроба-то мнѣ покою не даешь!—съ волненіемъ проговорилъ онъ.—Мало со стрѣльцами да съ бородачами раскольниками намутила, а вонъ и въ наслѣдство мысль свою змѣнную сыну моему дурачку оставила... У, зелье московское!

Онъ всталъ и заходилъ по палаткѣ. Какъ не великъ былъ шатерь царскій, но и въ немъ великану шагать двухъ-аршинными шагами было тѣсно. Онъ опять присѣлъ къ столу и сталъ читать письмо:

„А я тебѣ, другу моему сердешному Петрушеньку, хоша и стыдно мнѣ велики и алая кровь со стыда къ щекамъ приливаетъ, на ушко другу моему шепну: у меня, другъ мой, тамъ во чревѣ подъ сердцемъ твоя шишечка возится — къ Рождеству Христову можетъ и сына тебѣ дать“...

Петръ вскочилъ и вытянулся во весь свой исполинскій ростъ. Въ глазахъ его мелькнула не то безумная радость, не то гнѣвъ.

— Павелъ!—громко окликнулъ онъ.

Въ другомъ отдѣленіи палатки, которая разбита была пологами на нѣсколько комнатъ, послышался шорохъ бумаги и быстрый отвѣтъ: „Сейчасъ, государь!“ Это отвѣчалъ Ягужинскій, который, войдя съ царемъ въ палатку, тотчасъ прошелъ въ свое отдѣленіе и сталъ писать письма, раньше заказанныя ему царемъ. Ягужинскій вышелъ изъ-за полога и остановился, ожидая приказаній.

— Мнѣ Богъ сегодня радость послалъ,—сказалъ царь необыкновенно весело:—такъ я хочу и тебѣ радость учинить.

Онъ остановился и, ласково улыбаясь, глядѣлъ на своего смущеннаго любимца. Тотъ стоялъ блѣдный и смутный, словно статуя, съ лицомъ изъ бѣлаго воска.

— Я давно замѣтилъ, что у тебя въ сердцѣ зазноба есть... а? правда?—спросилъ царь, продолжая улыбаться и кладя руку на плечо молодого человѣка.

Ягужинскій молчалъ. Царь чувствовалъ, что онъ дрожить.

— Ты не бойся, Павелъ... Говори мнѣ правду: любишь эту черненькую Кочубеевну?

— Люблю, государь,—чуть слышно отвѣчалъ тотъ, не поднимая глазъ и чувствуя, что краснѣетъ.

— То-то же, я это и нынѣ замѣтилъ: малый чуть въ воду не кинулся, когда увидалъ, что дѣвка упала съ испугу... Такъ хочешь—я тебя женю на ней, когда одержу викторію надъ Карломъ?

Ягужинскій упалъ на колѣни и сталъ цѣловать руки царя.

— Ну, полно, полно.... Самъ сватомъ буду... А дѣвка, сдается мнѣ,

лицомъ благообразна... Недаромъ этотъ проклятый сатиръ Мазепа такіа епископѣи къ ней писалъ... Встань!

Ягужинскій всталъ весь красный.

— У, попадись мнѣ этотъ домовой старый—сто стрѣleckихъ казней я учиню надъ нимъ, и то ему мало!—гнѣвно говорилъ царь, снова зашагавъ по палаткѣ.—А тебя женю на этой черкашенкѣ... какъ ее зовутъ—не знаю...

— Мотря, государь.

— Мотря — какое хорошее имя... Мотря-Мотрюшка — хорошо, зѣло хорошо... У насъ такого имени нѣтъ... Да и такъ говоря, мнѣ украинская здѣшняя рѣчь зѣло по душѣ — благозвучія въ ней много... Какъ приведу здѣсь все къ желанному концу, заведу школы по городамъ, дабы въ оныхъ ученіе преподавалось ихъ же малороссійскою рѣчью,—говорилъ царь какъ бы самъ съ собою, ходя по палаткѣ. — Такъ всѣ мудрые государи, какъ то изъ исторіи видно, поступали, понеже отнимать у народа языкъ, Богомъ ему данный, и Богу противно и безумно есть... Теперь я подлинно вѣдаю, что и Мазепа всего своего потентату лишился ради того, что склонность имѣлъ болѣе къ польскимъ нравамъ и къ польской рѣчи, чѣмъ къ малороссійской... Такъ ступай, Павелъ, кончай съ письмами и ложись спать: завтра у насъ дѣла будетъ изрядно.

Ягужинскій ушелъ въ свое отдѣленіе, а царь, сѣвъ къ столу, глубоко задумался надъ письмомъ своей „матки Катеринушки“. Письмо это заставило его безпокойный мозгъ работать въ томъ направленіи, какого онъ самъ не ожидалъ. Онъ видѣлъ рядомъ съ постылымъ сыномъ отъ постылой женщины другого сына, и передъ этимъ послѣднимъ нуня Алексѣй казался такимъ жалкимъ, недостойнымъ того призванія, которое выпало ему на долю актомъ рожденія... А что если изъ его безсильныхъ рукъ, которыя способнѣе держать кадило, чѣмъ скипетръ, выскользнетъ все, что пріобрѣтено вотъ этими мозолистыми руками (царь невольно раскрылъ свои массивныя ладони: мозоли плотника, мозоли отъ топора, отъ молота — всѣ ладони въ мозоляхъ, словно бы это были ладони рудокопа), все, что добыто годами тяжкаго труда, безсонными ночами, подъ удары этого страшнаго молота—этого новаго Карла-Мартепа!.. Нѣтъ, не бывать: этому этому постылый сынъ долженъ уступить мѣсто будущему брату...

Но чѣмъ еще кончится предстоящая баталія? Страшно подумать, если Полтава будетъ второй Нарвой... Страшно!..

Но и послѣ второй Нарвы можно будетъ стать на ноги. Вонъ Нева ужъ взята... Не сидѣть постылому Алексѣю на престолѣ въ Петербургѣ—довольно Алексѣевъ! Пусть Петры только будутъ царствовать въ Россійской землѣ!..

И царь невольно вздрогнулъ: ему представился гробъ, а въ гробу лежать Митрофаній и грозить пальцемъ...

XVI.

Утро 27 іюня 1709 только начинается брежжиться. Полтава еще окутана дымкой ночи и только на верхних частях ея крѣпости да на вершухахъ и крестахъ церковей отражается бѣлесоватый свѣтъ отъ блѣдной полосы неба, все болѣе и болѣе расширяющейся вдоль восточнаго горизонта. Звѣзды еще свѣтятся, мигаютъ, но это миганіе уже какое-то слабое, трепетное, словно вѣки выглядывающихъ съ неба чьихъ-то невѣдомыхъ глазъ, которые все чаще смежаются.

Между тѣмъ выше Полтавы, вдоль нагорнаго берега, по всхолмленной равнинѣ, кое-гдѣ за холмами торчатъ, словно изъ земли, какія-то темныя точки и иногда какъ бы дрожать, движутся, обнаруживая при ближайшемъ разсмотрѣніи то высокую казацкую шапку, то длинное ратище копы, то стволъ мушкета. Это передовые сторожевые пикеты лѣваго крыла шведскаго войска.

Востокъ, луговое Заворсклье глядитъ все яснѣе и яснѣе, и Полтава мало-по-малу словно изъ земли выплываетъ, сбрасывая съ себя темное покрывало. По нагорному возвышенію отъ Ворсклы движется какая-то одинокая тѣнь. Это человѣческая фигура. Бѣлѣющей востокъ слабо освѣщаетъ наклоненную подъ высокой казацкой шапкой голову, сѣдой чубъ, свѣсившійся на глаза, и сѣдые усы, глядящіе въ землю, словно имъ уже не ко времени торчатъ молодецки кверху, а пора-де въ могилу смотрѣть. По мѣрѣ движенія этого стараго путника, темная шапка за ближайшимъ холмомъ нагибается все ниже и ниже и наконецъ совсѣмъ прячется.

— А бисивъ сонъ! уже й ранокъ, а винъ не йде! — бормочетъ самъ съ собою старый путникъ: — не сплять стари очи...

Старикъ останавливается и съ удивленіемъ осматривается — гдѣ онъ?

— Отъ, старый собака! де се я бреду?.. чи не до шведа втрапивъ? — изумленно спрашиваетъ онъ самого себя, наткнувшись почти на самый холмъ.

Изъ-за холма опять показывается шапка и стволъ мушкета и украдкой двигается къ задумавшемуся и опустившему къ землѣ голову старику.

— Охъ, лищечко! та се жъ батько Палій! — невольно вскрикиваетъ шапка съ мушкетомъ.

Старикъ вздрагиваетъ и оглядывается, не понимая, гдѣ онъ и что съ нимъ...

— Батьку! батьку ридный! — радостно говоритъ шапка съ мушкетомъ — не шапка, а ужъ цѣлый запорожець въ желтыхъ широчайшихъ китайчатыхъ штанахъ.

— Та се ты, сынку? — изумляется старикъ.

— Та я-жъ, батьку, — я, Голота... и онъ бросается къ старику. — Такъ вы живи, не вмерли тамъ?

— Живый ще, сынку... А ты що?

— Та у шведа съ запорозцями.

— У шведа? о бодай тебе!

— А вы, батьку?

— Я въ царя—винъ мене съ Сибиру вызволивъ...

Вдругъ со стороны, гдѣ расположенъ былъ шведскій лагерь, что-то грохнуло, стукнуло и покатилося въ утреннемъ воздухѣ, отозвавшись эхомъ и въ Полтавѣ и за Ворсклой. Голота и Палій встрепенулись. Это пушечный выстрѣлъ—вѣстовой сигналъ къ наступленію, къ битвѣ.

— Тикайте, батьбу! тикайте хутко до себе, а то въбьютъ!—торопливо говорятъ Голота:—тикайте до царя, а мы вси запорозци до васъ перекинемось одъ бисового шведина...

На первый грохотъ отвѣтили въ другихъ мѣстахъ. Ясно, что шведы начинаютъ... Голота скрылся за холмомъ, а къ Палію съ другой стороны, отъ московскаго войска, подскакалъ держа въ поводу другую осѣдланную лошадь какой-то казакъ... То былъ Охримъ...

— Сидайте, батьку, на ковы, бо винъ, проклятый, сдается, кашу варити зачина.

И онъ помогаетъ старику сѣсть на лошадь... Не тотъ ужъ это Палій—самъ ужъ и на коня не сядетъ...

Битва дѣйствительно зачиналась... Карлъ не вытерпѣлъ: надоѣло ему лежать въ постели да слушать сказки Гультмана о Рольфѣ Гетриксонѣ, слушать ворчанье стараго слуги да ждать-ждать, пока заживетъ эта проклятая нога. А между тѣмъ лазутчики изъ казаковъ донесли ему, что царь со-дня-на-день ждетъ двадцатитысячнаго калмыцкаго корпуса... Гдѣ жъ тутъ ждать!

— На пиръ, на пиръ кровавый, мой храбрый Реншильдъ! — метался больной король въ бессонницѣ. — На пиръ, мой мудрый гетманъ! Повторимъ Нарву!

Рослые драбанты вынесли его изъ палатки на качалкѣ и внесли на высокій курганъ.

— Вотъ здѣсь и дышется легче... Сна мнѣ нѣтъ... но подъ побѣдный грохотъ пушекъ и подъ побѣдные клики моихъ богатырей я усну въ этой качалкѣ, какъ подъ колыбельную пѣсню... Несите же смерть врагамъ, а мнѣ—мой сонъ.

И онъ въ горячечномъ жару махнулъ рукою — и грохнула вѣстовая пушка, за ней другая, третья...

Какъ изъ земли, изъ палатокъ, изъ-за шанцевъ, изъ-за холмовъ и изъ рововъ выростали люди и смыкались въ стройные ряды, рядъ къ ряду, колонна къ колоннѣ, словно живые параллелограммы, покрытые синею краскою — это утренній блѣдноватый свѣтъ падалъ на синія груди шведскихъ войскъ, строившихся въ колонны и развертывавшихся внизу по равнинѣ. передъ лихорадочно блестящими глазами желѣзнаго полководца въ горячкѣ. Свѣтъ уже отражается на оружіи, на копьяхъ, на латахъ; а по бокамъ, словно разноцвѣтная бахрома, не стройно, но внушительно вол-

нуется и строится конница на нетерпѣливыхъ коняхъ: это малороссійскія Мазепинскія войска, сильно порѣдѣвшія, казацкіе полки въ своихъ невообразимыхъ шапкахъ и разноцвѣтныхъ кунтушахъ, и дикое, нестройное, но страшное и пугающее глазъ этой самой нестройностью запорожское „лицарство“, пестрое до боли глазъ, разношерстное, богатое и бѣдное, цвѣтно разукрашенное и ободранное какъ липка, на коняхъ всевозможныхъ цвѣтовъ, какъ цвѣты этого полтавскаго поля, уже притоптаннаго тамъ и сямъ конскими копытами.

Когда Карлъ махнулъ рукою и откинулся на своей качалкѣ, съ холма какъ бѣшеные понеслись вѣстовые, его дружинники и казаки къ отдѣльнымъ командирамъ и частямъ войскъ, а за ними окруженные своими штабами спустились сами военачальники — Реншильдъ, Левенгауптъ, Гилленкрукъ съ одной стороны, и Мазепа, Орликъ, Костя Гордіенко — съ другой.

Въ то время, когда войска смыкались въ ряды и передвигались какъ огромныя синія шапки по неровной шахматной доскѣ, артиллерія, расположенная на холмахъ, бороздила воздухъ и взрывала землю ядрами, выбрасывая огромные клубы бѣлаго дыма, какъ будто бы это дымилась и курилась вздувшаяся холмами и пригорками земля. Впереди всѣхъ, какъ стройная стая волковъ передъ овцами, двигается отборный легіонъ Карловыхъ дружинниковъ, въ блестящихъ рыцарскихъ латахъ, съ блестящимъ оружіемъ, на отборныхъ, привычныхъ къ бою, словно къ игрѣ, коняхъ. Виднѣется и коренастая фигура Гинтерсфельта и рядомъ съ нимъ жиденькая фигурка юнаго принца Макса.

И Мазепа, блѣдный, сумрачный, сосредоточенный, подъѣхалъ къ своимъ полкамъ и, указывая на Полтаву, гдѣ маковки и кресты церквей уже золотились веселымъ солнышкомъ, сказалъ:

— Туда, хлопцы!.. Тамъ ваше добро, ваши жены, ваши дѣти! Вызволимо ихъ изъ московской неволи, бо московска неволя гирша неволи турецкой! Вызволимо Украинну неньку!

И вѣчно серьезный Орликъ тоже блѣденъ... „Чортъ ихъ несетъ на эту Полтаву!“ думается ему нерадостно: „обломаемъ мы объ нее послѣдніе зубы... а все этотъ старый дьяволъ!“

И Костя Гордіенко, „батько кошовый“, подъѣзжаетъ къ своему „товариству“ — къ запорожцамъ. Всѣ готовы къ бою: шапки насунуты на самыя очи, чтобъ на скаку не спадали, чубы расправлены, мушкеты и ратища наготовѣ: только гикнуть да гаркнуть — и пошли въ сѣчку чортовы дѣти, пошли задавать москалю рѣзака да чесака знатнаго.

Маленькіе глазки у батька кошевого веселы, радостью и отвагой свѣтятся; курносая „кирпа“ такъ и раздуваетъ ноздри — мушкетнаго дыму нюхать хочетъ; ушица подобраны, за плечи закинута, словно косы дѣвичьи, чтобъ не мѣшали казаку „колѣти та стреляти, та у-пень Москву рубати“...

И Голота тутъ. Но это уже не тотъ Голота, что когда-то въ Павлочи

пропилъ штаны и сорочку и ходилъ голый что бубень, въ чемъ мать родила, плачучись московскому попу Лукьянову на свое сиротство, на то, что его мастерицы Хиври не стало — ясны оченки грошами мѣдными закрыты, бѣлы ручки накрестъ сложены, черны брови и уста щебетучія да поженки ходючія землею присыпаны... Нѣтъ: этотъ Голота уже на добромъ конѣ, въ желтыхъ шароварахъ, не пьянъ, а такой задумчивый, „сумный та думный“—думаетъ, какъ бы все товариство отъ проклятаго Мазепы отвернуть, да до стараго батька Палія повернуть... Широкое дѣло задумалъ Голота, большое—удастся-ли только до добраго конца его довести?

Тутъ и дядько Задери-Хвистъ. И онъ думаетъ то же, что казакъ Голота думаетъ; Голота успѣлъ шепнуть ему, что батько Палій живъ, что царь воротилъ его изъ „Сибиру“, что онъ будетъ биться съ „проклятою Мазепою“, такъ не дурнобы было „биднымъ невольникамъ“—козакамъ махнуть до батька Палія, „бо дуже добрый батько, щирый козацкій батько, не смердитъ людскимъ духомъ, якъ просмердивъ Мазепа“.

И дядько Тупу-тупу-табунецъ-Булатный тутъ. И онъ думаетъ заодно съ Голотою и съ дядькомъ Задери-Хвистомъ. У батьки Палія было бы лучше, чѣмъ у приклятаго Мазепы. Да и пани-матка бывало позволяла казакамъ, тихонько отъ старого, погулять въ полѣ, ляшковъ-панковъ пощупать по панскимъ хоромамъ да жидовскіе кашпуки порастрасти... Надо-надо перемахнуть до батька Палія...

И загремѣло же, загуркотало все поле, когда Москва заговорила изъ своихъ пушекъ. Видно, какъ онѣ, черныя, зѣбвластныя, словно старухи какія пузатыя стоятъ окарачъ на холмахъ да рыгаютъ въ шведа и въ казаковъ дымомъ и огнемъ пекельнымъ, да ядрами съ картечью... жарко бьютъ!

Но что это несется вдоль рядовъ московскаго войска, такое большое. словно дубъ, либо яворъ на конѣ? Фу! какое большое да страшное. И конина подъ нимъ страшенная... Да это жъ онъ самъ—самъ москаль, самый большой и старшой изъ всѣхъ москалей—это батько москалячій, царь московскій... У! какая дѣтина здоровенная!—дивуются казаки-мазепицы.

— А за нимъ,—казакамъ это видно съ высокой „могила“,—за нимъ трюхъ-трюхъ кто-то—невеличекъ, сгорбленный, и чубъ и усъ серебрятся на солнцѣ... Не поспѣваетъ за царемъ—куда поспѣтъ!.. Да это, братцы, самъ батько Палій—онъ, онъ, родимый, онъ, дѣдусъ добрый!.. Такъ и задрожало сердце у казаковъ, у тогобочныхъ да у охочекомонныхъ при видѣ ихъ любимаго дѣдуса.

Битва страшно разгорается. И шведъ крѣпко напираетъ на москаля, и москаль на шведа; въ одномъ мѣстѣ сшиблись ряды, въ другомъ сшиблись — ужъ сотни валяются по полю мертвыхъ, раненыхъ, съ перебитыми и переломленными костями, съ разможженными головами... Сшибутся-сшибутся, смѣшаются въ кучу, а тамъ разойдутся, живые, побросавъ мертвыхъ,—а все ничья не беретъ... Ряды опять расходятся.

А царь, проскакавши передъ рядами, остановился, снялъ шляпу и перекрестился на полтавскія церкви. Перекрестились и ряды, несмотря на адскій огонь шведской артиллеріи и пѣхоты...

— Дѣти мои! сыны Россіи!—громко, голосно сказалъ царь, да такъ голосно, что ни гулъ орудіи, трескъ и лопотанье ружей не въ силахъ были заглушить этого голоса:—помните, что вы сражаетесь не за Петра, а за государство Петру врученное... Вы сражаетесь за свои кровы, за дѣтей, за Россію; а о Петрѣ вѣдайте, что ему жизнь не дорога, только бы жила Русь, слава, честь и благосостояніе ея!

Въ этотъ моментъ пуля съ визгомъ пронизываетъ его шляпу. Онъ снимаетъ шляпу и снова крестится.

— Борисъ, и ты, Александръ!—говоритъ онъ Шереметеву и Меншикову:—думайте только о Россіи, а меня забудьте... Коли я нуженъ для блага Россіи, меня спасетъ Богъ... А убьютъ—не падайте духомъ и не уступайте поля врагу... Изгоните шведовъ изъ моего царства и погребите тѣло мое на берегахъ моей Невы—это мое послѣднее слово!

Опять запищала пуля и впиалась прямо въ грудь царя, на которой висѣлъ золотой крестъ.

— Государь!..—съ ужасомъ вскрикнулъ Меншиковъ.

— Ничего, Богъ хранить меня,—пуля какъ воекъ сплюснулась...

И съ обнаженною шпагою царь скачетъ впередъ.

Увидѣвъ царя впереди всѣхъ, Москва буквально осатанѣла: съ какимъ-то ревомъ бросилась она по полю, спотыкаясь черезъ трупы товарищей и враговъ.

Карлъ видѣлъ все это съ холма и задрожалъ всѣмъ тѣломъ.

— Несите меня туда, къ этому великану!—закричалъ онъ, порываясь броситься съ носилокъ.

Драбанты сбѣжали съ холма, подняли носилки съ королемъ выше головы, словно плащаницу, и понесли вдоль войска...

И передъ синими рядами
Своихъ воинственныхъ дружинъ,
Несомый вѣрными слугами,
Въ качалкѣ, блѣденъ, недвижимъ—

Вотъ какимъ, по словамъ поэта, явился онъ впереди своихъ дрогнувшихъ—было и остановившихся синихъ, уже окровавленныхъ рядовъ... Но эта плащаница шевелится, приподымается... Карлъ ожилъ, и...

И слабымъ маніемъ руки
На русскихъ двинулъ онъ полки...

Шведы, увидавъ своего идола, блѣднаго, простирающаго впередъ руки, какъ бы съ желаніемъ схватиться съ тѣмъ великаномъ, что издали видѣлся на бѣломъ конѣ,—шведы пришли въ звѣриную ярость и сдѣлали

нечеловѣческія усилія... Но и они встрѣтили то, чего не ожидали: они увидѣли передъ собою—

Ужъ не разстроенныя тучи
Несчастныхъ нарвскихъ бѣглецовъ,
А нить полковъ блестящихъ, стройныхъ,
Послушныхъ, быстрыхъ и спокойныхъ,
И рядъ незаблѣмый штыковъ...

Но какъ ни незаблѣмъ былъ этотъ рядъ, какъ ни стойки были московскія рати, какъ ни старались разстроить шведскія, словно скованныя цѣпями коловны, малороссійскіе полки, врѣзавшіеся въ самую гущину шведскаго живого бора,—ничего не помогало... Страшная плащаница, носимая надъ головами сражающихся, осиливала...

Московскіе ряды дрогнули... Дрогнуло лѣвое крыло арміи, гдѣ командовалъ Меншиковъ... Какъ полотно побѣлѣлъ „счастья баловень безродный, полудержавный властелинъ“ и выстрѣлили въ перваго попятившагося назадъ...

Но въ эту минуту, откуда ни возмись, Палій, обхвативъ руками шею коня, чтобъ не упасть, сопровождаемый Охримомъ, безъ шапки, съ развѣвающимся по вѣтру словно грива сивымъ чубомъ, съ громкимъ воплемъ, врѣзался въ правое крыло шведскаго войска, которое составляли запорожцы...

— Ой! дитки! дитки!—отчаянно кричалъ онъ съ плачемъ:—убійте вы мене, диточки!.. убійте старого собаку! Я не хочу, чтобъ мои очи бачили поругу Украины... Поругавъ іи ляхъ, поругавъ татаринъ — теперь шведъ наругается...

— Палій! Палій!—прошло по рядамъ.

— Не дамо на поругу Украину! не дамо ни шведу, ни татарину!—звучалъ зычный голосъ Голоты.

— Не дамо! не дамо!—дрогнуло по всему правому крылу.

И въ одно мгновеніе нѣсколько сотъ запорожцевъ, повернувъ коней, съ тылу врубились въ шведскіе ряды. За ними махнули другія сотни... Шведскія разомкнулись, разстроились...

— Зрада! зрада!—закричали мазепинцы:—запорозци своихъ бьютъ.

— Бійте шведа! рубайте Мазепу проклятого!—отвѣчали запорожцы.

Дрогнувшіе было московскіе полки ободрились, ринулись въ гущину смѣшавшихся шведскихъ полковъ, и началась уже рѣзня: въ русскомъ солдатѣ сказался мужикъ — онъ началъ буквально косить, благо не привыкать—стать ни къ косѣбѣ, ни къ молотѣбѣ... Другія колонны и конница, разрѣзавъ на-двое шведскій центръ, отбросили шведскаго главнокомандующаго фельдмаршала Реншильда отъ остальнаго войска и вогнали въ Ворсклу часть его пѣхоты...

У стараго Реншильда опустились руки, когда онъ увидѣлъ себя отрѣзаннымъ. Когда къ нему подскакалъ Меншиковъ, упрямый варягъ, разстрѣлявшій всѣ свои патроны, съ отчаянья переломилъ свою саблю объ луку съѣда и бросилъ ее въ Ворсклу. Принцъ Максимиліанъ хотѣлъ было бро-

ситься съ кручи, но его удержали, и этотъ безумный мальчикъ сдался только тогда, когда Голота выбилъ у него изъ ослабѣвшихъ рукъ саблю.

Карлъ, видя гибель своего войска, велѣлъ въ послѣдній разъ нести себя впередъ, какъ знамя; но Брюсъ, командовавшій русскою артиллерію и давно съ одного холма наблюдавшій въ зрительную трубу за королевскою калачкою, велѣлъ направить на нее разомъ нѣсколько пушекъ—качалка была подбита, драбанты полегли подъ нею — и несчастный Карлъ вывалился изъ своей послѣдней побѣдной колыбели на землю... Но онъ и не застоналъ отъ боли, хотя рана на ногѣ открылась и изъ нея хлынула кровь.

— О, великій Богъ! Швеція упала!—закричалъ Левенгауптъ, все еще державшійся на лѣвомъ крылѣ, и поскакалъ было къ королю.

Но въ это время богатырь Гинтерсфельтъ, соскочивъ съ коня, словно ребенка поднялъ съ земли своего побѣжденного, плавающего въ крови бога и, снова сѣвъ на коня, поскакалъ въ лагерь, прижавъ къ груди безчувственного героя, словно кормилица или мать свое дѣтище.

— Дивись-дивись, дядьку!—закричалъ, увидавъ эту трогательную сцену, Голота, который вмѣстѣ съ казакомъ Задери-Хвистъ гналъ черезъ поле шведскихъ плѣнныхъ.—Дивись бо, дядьку! отъ чудесія!

— Та що тамъ таке!—лѣниво отвѣчалъ тотъ.

— Та онъ той, що съ тобою боровсь, комусь цицьки дае!

И Голота искренно захохоталъ, не догадываясь что это точно ребенка у груди матери спасаютъ короля. Голота и погнался бы за этимъ „чуднымъ“ шведомъ, что другому „цицьки дае“, да ему нельзя теперь отлучиться отъ плѣнныхъ, а заряды всѣ разстрѣлены; остался пустой мушкетъ да сабля — издали ничего не подѣлаешь... Голота свиснулъ только: „Ну-ну... отъ бисовы сыны!“...

Отъ всего лѣваго крыла шведской арміи остались отдѣльные отряды и кучки плѣнныхъ, которыхъ, словно разогнанное оводами да слѣпными стадо, гнали къ Полтавѣ то малороссійскіе казаки и запорожцы, то московскіе рейтары. Правое крыло, увидавъ унававшего короля и не видя главнокомандующаго, стараго рубака Реншильда, также дрогнуло и попятилось назадъ, несмотря на то что оставшіеся вѣрными Мазепѣ запорожцы съ кошевымъ во главѣ, носясь по полю словно хвостатые дьяволы, гикая и ругаясь, вырывали лучшія силы изъ рядовъ русской арміи. Мазепа, Орлякъ и Гордіенко съ самыми отчаянными головорѣзами-запорожцами прорубились было черезъ все правое крыло русской арміи, но, не видя ни короля, ни Реншильда, ни Пипера, ни Левенгаупта, повернули къ степи и скрылись въ облакахъ дыма и пыли.

— „Или-или-лима самахвани!“ какъ-то застоналъ Мазепа евангельскими словами, съ горя и стыда припавъ къ гривѣ коня своею старою, обездоленною головою: ему казалось, что тамъ, въ красующейся зеленѣю Полтавѣ, на возвышеніи стоятъ Мотренька и ломаетъ свои нѣжныя ручки.—„Боже мой! Боже мой! вскую же ты оставилъ меня!“

— Но еще не „свершишася“, пане гетьмане! — мрачно сказалъ Орликъ:
— у насъ за пазухою Крымъ и Турція.

Мазепа безнадежно махнулъ рукой... Что ему Крымъ, что ему Турція,
что ему теперь вся вселенная!

.

Умолкъ громъ пушекъ. Тихо на полтавскомъ полѣ: слышенъ только
стонъ раненныхъ и умирающихъ, да говоръ людей, копающихъ громадную
могилу, такую громадную, въ которой можно было бы похоронить и по-
гибшую, хотя незавидную славу Карла XII, и позоръ Нарвы, и тысячи
жертвъ обоюдныхъ увлеченій и ошибокъ, — похоронить и всю старую
византийско-иконописную и татарско-суздальско-московскую Русь съ ея
невѣжествомъ и безобразіемъ. Но напрасно думаетъ царь, что онъ выкопаетъ
такую могилу: еще въ нѣдрахъ Русской земли не образовалась та залежь
железной руды, изъ которой можно было бы добыть достаточно железа на
выковку лопатъ для вырытія задуманной Петромъ могилы...

Но могила все-таки выкопана, — не та, а полтавская, — и въ нее сва-
лено все, что мѣшало торжеству викторіи...

И началось торжество тутъ же, на кровавомъ полѣ. Изъ всѣхъ тор-
жествъ, до которыхъ люди всегда такіе охотники и которыя всегда окупа-
лись рѣками слезъ и крови другихъ, не принимавшихъ въ нихъ участія, —
это полтавское торжество было одною изъ величайшихъ историческихъ
ошибокъ Петра: для того чтобы сказать громкую для учебниковъ русской
исторіи фразу, для того чтобы выпить кубокъ „за здоровье своихъ учи-
телей“ — шведовъ и получить на это глупый отвѣтъ Реншильда „что
хорошо же-де отблагодарили ученики своихъ учителей“ (точно не для нихъ
сказаны были давно-давно великія слова: „обнаживый ножъ отъ ножа
погибнетъ“), — для одного этого торжества пожертвовали цѣлымъ столѣтіемъ
труда и развитія двухъ огромныхъ государствъ... Петръ, у котораго закру-
жилась голова отъ неожиданной викторіи, торжествуя ее, забылъ о железн-
номъ варягѣ, который, не будучи никѣмъ преслѣдуемъ, успѣлъ скрыться
и тѣмъ положить начало новой великой сѣверной войнѣ, продолжавшейся
ровно сто лѣтъ и стоившей столькихъ жертвъ и такихъ потоковъ крови,
что въ ней могли бы потонуть не только всѣ участники торжества, но и
тѣ, которые не участвовали въ немъ...

Эту громадную историческую ошибку Петра какъ нельзя проще и пра-
вильнѣе оцѣнилъ Голота, который, нализавшись на радостяхъ до поло-
женія ризъ, сказалъ своему пріятелю, казаку Задери-Хвистъ:

— Дядьку! а дядьку! чуй-бо!

— Ну, чую.

— Москаль-то?..

— А що?

— Нашъ братъ, козакъ, пье, коли въ его дила нема, а москаль тоди
й пье, коли у его дило за пазухою... Отъ-що!

Дѣйствительно, въ то время, когда русскіе пировали, разстроенныи боемъ части шведскаго войска, избѣжавшія смерти и плѣна, и казацкіе полки Мазепы, равно запорожцы, снова сплотились, но, не смѣя вступить во вторичный бой, рѣшились идти искать счастья за Днѣпромъ, а въ случаѣ новыхъ неудачъ — нести свои обездоленные головы въ Турцію..

Они такъ и сдѣлали. Очнувшемуся отъ обморока Карлу перевязали рану. Сначала онъ долго не понималъ, гдѣ онъ и что съ нимъ; но злая память не замедлила воротить къ нему то, что онъ желалъ бы навѣки забыть: онъ вспомнилъ этотъ день — первый день въ своей жизни, когда отъ него отвернулось счастье. Когда же онъ узналъ, что старый Реншильдъ, юный Максъ, старый Пиперъ и другіе генералы въ плѣну, что и любимецъ его Адлерфельдъ, писавшій исторію Карла, раздробленный русскимъ ядромъ, уже не можетъ продолжать своей исторіи, — несчастный безумецъ воскликнулъ:

— Тѣ убиты, а тѣ въ плѣну—въ плѣну у русскихъ! о! такъ лише смерть у турокъ, чѣмъ плѣнъ у этихъ варваровъ!.. Впередъ! впередъ!

Его посадили въ коляску.

Наступала ночь. Полтава чуть-чуть видѣлась въ вечернемъ сумракѣ, какъ тогда, когда около нея горѣли купальскіе огни. Печальный corteжъ двинулся степью въ безвѣстную даль. Мазепа съ своимъ штабомъ ѣхалъ впереди, открывая шествіе и руководя движеніями шведскаго войска... Какъ хорошо была ему знакома эта широкая чумацкая дорога — этотъ „битый шляхъ“ мимо Полтавы до Днѣпра и до самаго Запорожья, гдѣ провелъ онъ молодость! Какъ далека теперь казалась ему Полтава, въ которой онъ оставлялъ все, что было самаго дорогаго въ его жизни! А между тѣмъ вонъ—она тутъ подъ бокомъ, да только дорога къ ней заросла теперь для него могильною травой...

Вонъ взошла звѣздочка надъ Полтавою... Можетъ быть, и тѣ добрыя, ласковыя „очинята“, что когда-то на него съ любовію глядѣли, тоже теперь смотреть на эту звѣздочку...

„О, моя Мотренка! О, мое дитятко! кто-то закроетъ на вѣки мои очи старыя ни чужой сторонѣ?... Не въ твои чистыя, невинныя очи гляну я въ послѣдній разъ моими очами бѣдными, закрываячи ихъ въ путь въ далекую-далекую, безвѣстную дорогу“...

— Тату! тату! охъ, таточку!—послышался вдругъ стонущій голосъ въ сторонѣ отъ дороги.—Ой, тату! возьми мене съ собою!

Мазепа задрожалъ всѣмъ тѣломъ — онъ узналъ, чей это былъ голосъ... Онъ поскакалъ туда, гдѣ слышался этотъ милый голосъ, и черезъ минуту казаки увидѣли гетмана съ дорогою ношею на рукахъ.

— Отъ намъ Богъ и дѣтину давъ,—добродушно говорили казаки, съ любовью поглядывая какъ, старый гетманъ, утирая скатывавшіеся на сѣдые усы слезы, усаживалъ въ свою походную коляску что-то бѣленькое да блѣдненькое такое, да жалкое...

— Ну, теперь хоть на край свѣта!..—Только край этотъ для Мазепы былъ не далеко, очень не далеко...

XVII.

Трогательно, хотя мрачными красками описываютъ шведскіе историки-современники *) это печальное бѣгство двухъ злополучныхъ союзниковъ, съ именами которыхъ связано въ исторіи такъ много трагическаго и поучительнаго. Одинъ даже говорить, что если бѣ эти злополучные союзники—Карлъ и Мазепа, соединились раньше, то „намъ бы можетъ быть довелось увидѣть украинское величество изъ династіи Мазепидъ и великую Шведскую имперію на сѣверѣ Европы“!

Напрасная надежда! Исторія не признаетъ этихъ „кабы“ да „если бы“.

Страшные дни потянулись для Мазепы, не говоримъ—для Карла: этому оставалась еще молодость, у которой никогда нельзя всего отнять, которую никогда и никакими побѣдами нельзя ни побѣдить, ни ограбить; у Карла оставалось еще цѣлое царство гдѣ-то тамъ за быстрыми рѣками, за безлюдными степями, за синими морями да за высокими горами. А у Мазепы ничего не оставалось, кромѣ старости да воспоминаній, да вотъ еще этого дорогого существа, грустное личико котораго выглядываетъ вонъ изъ той богатой коляски, безмолвно созерцая неизмѣримую, безвѣстную даль, разстилавшуюся передъ очами. Что-то съ нею будетъ, когда его не станетъ на чужой сторонѣ, да и какъ ему самому покинуть это сокровище, хотя бы для загробной вѣчной жизни?.. Богъ съ нею, съ этой вѣчной жизнью безъ земли, безъ этого жаркаго голубого неба, безъ этой степи, выжженной солнцемъ, безъ этихъ милыхъ глазокъ, по временамъ съ нѣжной грустью останавливающихся на немъ, на бездольномъ старикѣ, лишенномъ всего! Богъ съ нею!

„Вотъ и опять ѣдемъ искать моей могилы въ невѣдомой степи“, думаетъ Мазепа при видѣ блѣднаго личика Мотренки, выглядывающаго изъ коляски,— и ему вспоминается тотъ день въ Батуринѣ, когда онъ въ первый разъ узналъ, что Мотренька любитъ его. Но онъ не выдалъ ей своихъ мрачныхъ мыслей—не хочетъ огорчать ее.

— Дитятко мое! ясочко моя! — тихо шепчетъ онъ, подъѣзжая къ коляскѣ.

— Таточку мій! любый мій! — страстно молится она, съ тоскою заминая, какъ этотъ послѣдній годъ и этотъ послѣдній, вчерашній день со-старили ея милаго, ея гордость, ея славу и придали что-то мягкое: дѣтское

*) I. A. Nordberg. Histoire de Charles XII. 4-e La Haye. 1728, 315—339. G. Adlerfeld. Histoire militaire de Charles XII, 1741. т. III, стр. 293—315, и продолжатель и издатель Адлерфельда, убитаго подъ Полтавой, его племянникъ Карлъ Максимилианъ Адлерфельдъ.

его вѣчно задумчивому лицу... И она любить его еще больше и беззаветнѣе, чѣмъ когда-либо любила.

А ему вдругъ въ безумную старую голову лѣзетъ шальной стихъ, который онъ любилъ повторять о себѣ еще пажомъ, когда на виду великихъ пановъ, при дворѣ короля Яна-Казимира, онъ такъ безпутно ухаживалъ за всеми панями и паненками:

Цо-жъ вамъ шкодзи, вельке паны,
Же-сѣн-кохамъ, же-мъ коханы?
Кажда пѣнка для мнѣ рувна,
Кедымъ здоровы, гожи, млоды—
Чи шляхцянка, чи крудювна,
Чи-ли жона воеводы,
Чи москевка, чи русинка,
Чи Маруся, Катаржинка,
Чи-ли влошка, чи черкеска,
Вишневецка, чи Собѣска,
Чи-то Дольска, чи Фальбовска...

Онъ сильно прищипорилъ коня и поскакалъ впередъ, мимо коляски короля, завидѣвъ вдали синюю полосу Днѣпра, гдѣ они должны были переправиться на тотъ берегъ, за предѣлы Гетманщины.

„Прощай, мое славное царство“! колотилось у него въ сердцѣ.

Авангарды изъ малороссійскихъ казаковъ, запорѣжцевъ и шведской конницы подскакали къ берегу. Шведовъ поразило умѣнье и неустранимость казаковъ, тотчасъ же спѣшившихся съ коней и вмѣстѣ съ ними бросившихся въ воду. Понукая лошадей, съ криками, жартами, смѣхомъ, свистомъ и руганью эти степные дьяволы, держась за хвосты своихъ привычныхъ ко всему четвероногихъ товарищей, пустились вплавъ, всплывая всю поверхность рѣки, усявъ ее то фыркающими лошадиными мордами, то своими усатыми и чубатыми головами въ косматыхъ шапкахъ.

Подѣхали къ берегу и коляски, изъ которыхъ въ одной лежалъ, страшно страдая отъ раны и зноя, сломленный упрямою судьбою упрямый король-варягъ, а изъ другой выглядывало задумчивое, прелестное личико Мотреньки. Солнце клонилось къ западу, хотя все еще жгло невыносимо.

Мотренька вышла изъ коляски и спустилась къ самому берегу Днѣпра, припала колѣнями на камень, торчавшій у самой воды, сбросила съ головы бѣлый фуляръ, защищавшій ее отъ солнца и, зачерпывая пригоршней воду, стала освѣжать ею и пылающее лицо, и усталую отъ горькихъ думъ голову... Намоченная коса стала такъ тяжела, что ее нужно было расплести, чтобы выжать изъ нея волю, и Мотренька, усявшись на прибрежный валунъ и выжавъ косу, стала приводить въ порядокъ свою голову.

— Ото, мабуть, мавка косу чеше, — шутили казаки съ того боку Днѣпра, суша на солнышкѣ свои кунтуши да чоботы.

А Мотренька, глядя, какъ передъ нею плавно катились днѣпровскія воды, съ грустью думала: „Не течи уже имъ до Кіева, въ родную землю.

не воротиться имъ никогда назадъ изъ моря, не воротиться какъ той попови Марусь-Богуславкѣ, которая потурчилась, побусурманилась ради роскоши турецкой, ради лакомства поганого“.

И вспомнилась ей та далекая Пасха, когда Мотренька была еще маленькою, десятилѣтнею, а можетъ быть и меньшею дѣвочкою, и когда у нихъ въ Диканькѣ на дворѣ сидѣлъ сѣдой, слѣпой лирникъ и, потренькивая на бандурѣ, жалостливо пѣлъ про Марусю-Богуславку да про „бѣдныхъ невольниковъ“... Какъ тогда жалко ей было этихъ невольниковъ, проводившихъ святой день—„великдень“—на далекой чужбинѣ, въ тяжелой неволѣ и въ темной темницѣ! Какъ охотно она отдала бы тогда имъ свои „писанки“ да „крашанки“, чтобъ только имъ легче было!.. А теперь и она, и ея тато милый—тѣ же „бѣдные невольники“ и такъ же, какъ и тѣ казаки-невольники, не будутъ знать въ чужой землѣ, когда въ христіанской землѣ „великдень“ настанетъ.

Между тѣмъ запорожцы, что оставались еще на этой сторонѣ Днѣпра съ Мазепою, Орликомъ и Гордіенкомъ, успѣли наладить нѣчто вроде паромовъ—плавучіе плоты на маленькихъ лодкахъ, чтобы на нихъ можно было перевезти коляски съ королемъ и Мотренькою, да богатая сокровища Мазепы въ разной утвари да боченкахъ съ золотомъ *).

Мазепа такъ торопился перевезти на тотъ бокъ свое единственное сокровище—Мотреньку, боясь, чтобы ее не настигли царскія войска, что почти совсѣмъ забылъ о своихъ боченкахъ съ золотыми дукатами, и Карлъ тихонько отъ Мазепы велѣлъ ихъ потомъ похитить **).

Увидавъ Мотреньку сидящую у воды въ глубокой задумчивости, Мазепа, покончивъ всѣ распоряженія съ переправой, самъ сошелъ къ водѣ и тихо положилъ руку на голову дѣвушки.

— О, моя Клеопатра!—сказалъ онъ, стараясь казаться веселымъ, хотя на душѣ у него было очень смутно:—иди до своихъ кораблей...

И онъ указалъ на приготовленные къ переправѣ плоты. Дѣвушка радостно взглянула на него, думая, что онъ въ самомъ дѣлѣ веселъ.

Когда они подошли къ экипажамъ, стоявшимъ на берегу, чтобы вмѣстѣ съ коляской и каретой самого Мазепы (его собственная карета слѣдовала

*) „On passa seulement quelques calèches, bien liées ensemble, que l'on avoit mises sur des canots, afin que sa majesté pût s'en servir, de même que le vieux Mazeppa et quelques dames cosaques qui étoient du transport“, говоритъ продолжатель Адлерфельда (стр. 306). А у Нордберга говорится: „Comme il n'y avoit point assez de bateaux, on ramassa des poutres, des couvertures de chariots, pour faire des espèces des radeaux, des planches, sur lesquels on transporta quelques voitures donc on avoit absolument besoin (стр. 318).“

**) Продолжатель Адлерфельда откровенно признается, что Карлъ, переѣхавъ Днѣпръ, послалъ Нейгебауера „pendant la nuit pour aller chercher des tonneaux (оставленные Мазепою), et il revint bientôt avec cet argent, qui nous fut dans la suite d'un grand secours“ (стр. 306).

за нимъ въ обозѣ) перейти на плоты, изъ одной коляски выглянуло молодое, блѣдное лицо съ такими глазами, какихъ Мотренька ни разу не видала въ жизни, и пристально посмотрѣло на дѣвушку. Мотренька невольно почему-то, а вѣроятно по этимъ именно страннымъ глазамъ, тотчасъ догадалась, что это былъ король, котораго она до сихъ поръ не видала, такъ какъ онъ ѣхалъ не въ передовомъ, не въ казачкомъ обозѣ, а въ шведскомъ. При видѣ блѣднаго лица у дѣвушки сжалось сердце... „Боже! да какой же онъ молоденькій еще, а ужъ что испыталъ!“—подумалось ей.

Карлъ сдѣлалъ знакъ, чтобы Мазепа приблизился. Мазепа повиновался.

— Кто эта прелестная дѣвушка? — спросилъ король, глядя на Мотреньку.

— Сиротка, ваше величество, родственница моя, крестница...

— Какое милое существо! И она рѣшилась раздѣлить вашу суровую участь?

— Да, ваше величество... Это мое единственное сокровище, которое мнѣ оставила немилосердная судьба...

— О! не говорите этого, гетманъ,—мы ее заставимъ быть милосердной!—вызывающе воскликнулъ упрямый юноша, и глаза его стали какими-то стеклянными.—Фортуна—это брыкливая лошадь, на которой можетъ ѣздить только смѣлый... Мы ее объѣздимъ...

— Вы—я въ томъ увѣренъ, ваше величество, но я... меня уже ждетъ Харонъ съ лодкою, чтобы перевезти въ область Аида...

И Мазепа мрачно указалъ на плотъ, стоявшій у берега.

— Такъ познакомьте меня съ вашей прелестной Антигоной, Эдипъ, царь Украины!—съ улыбкой сказалъ король.

Мазепа кликнулъ Мотреньку, которая стояла въ сторонѣ и смотрѣла, какъ казаки втаскивали на плотъ ея коляску и карету гетмана.

— Дитятко! ходи сюда!—сказалъ онъ.—Ихъ величество маюť оказати тобі жичливість.

Дѣвушка подошла, потупивъ голову, и сдѣлала молчаливый поклонъ.

— Очень радъ познакомиться съ вами, прекрасная панна! — сказалъ Карлъ по-польски...

Мотренька снова поклонилась и подняла на короля свои робкіе, стыдливые глаза.

— Это дѣлаетъ вамъ честь, что вы не бросили вашего батюшку... Только въ несчастіи познаются истинныя привязанности..

Но въ этотъ моментъ къ коляскѣ короля подскочалъ Левенгауптъ, весь встревоженный.

— Ваше величество, за нами погоня!—торопливо проговорилъ онъ.—За Переволочною уже показались русскіе отряды... Торопитесь переправляться...

— Я раньше моей арміи не переправлюсь.

— Государь! умоляю...

— Мнѣ бѣжать? никогда!.. Я эту коляску сдѣлаю моею крѣпостью и

буду защищаться въ ней, какъ защищался въ Нарвѣ, — отвѣчалъ упрямецъ. — Вотъ кого поберегите — женщинъ.

И онъ указалъ на Мотренку. Мазепа тоже больше всего боялся за нее, и потому, откланявшись королю, взявъ подъ руку свою любимицу и торопливо повелъ на плотъ. Тамъ было уже нѣсколько женщинъ, тоже оставившихъ Украину вмѣстѣ съ своими мужьями и родственниками: Они оказывали Мотренкѣ необыкновенное вниманіе и уваженіе.

Солнце было уже низко, когда плотъ присталъ къ тому берегу Днѣпра.

— Теперь мы, доненъко, въ запорожскихъ вольностяхъ — се ихъ земля, ихъ и царство, — сказалъ Мазепа, вступая на берегъ. — Колись я тутъ, ще молодымъ, похोдивъ, якъ бувъ у Дорошенка... Дорошенко тоди гетьманувавъ на симъ боци Днипра...

Мотренка съ грустью оглянулась на покинутую уже ею сторону Днѣпра, на которой лежали красноватая полосы свѣта отъ заходящаго солнца. Дѣвушка мысленно прощалась съ тогочиною Украинною, гдѣ оставались лучшія воспоминанія ея молодой, незадавшейся жизни.

И вдругъ, какъ бы отвѣчая на ея мысль, какой-то запорожець, нѣсколько поодаль отъ мѣста переправы, сидя на берегу и глядя на ту сторону Днѣпра, затянулъ:

Ой зйду я на могилу
Та погляну на Украину:
На Украини добре жити,
Добре жити — не тужити...

По ту сторону все еще видѣлась коляска короля, около которой толпились генералы и офицеры. Упрямый Карлъ никакъ не хотѣлъ переправляться — не хотѣлъ показать, что онъ бѣжитъ. Онъ до того разгорячился, что толкнулъ Левенгаупта въ грудь, воскликнувъ съ азартомъ: — Генераль самъ не знаетъ, что говорить! Мнѣ приходится думать о другихъ болѣе важныхъ дѣлахъ, чѣмъ моя личная безопасность.

— Коли бъ его москали не взяли, — какъ бы про себя замѣтила Мотренка.

— Кого, доню? — спросилъ Мазепа.

— Та короля, тату.

— Зъ его стане... Чортъ пославъ мени на погибель сего молокососа! — съ сердцемъ сказалъ старый гетманъ.

На душѣ у него ужъ слишкомъ много накопилось. Упрямая воля, которая поддерживала его въ теченіе всей бурной жизни, отказывалась служить ему. Онъ чувствовалъ себя физически разбитымъ. Онъ начиналъ жадать покоя, а между тѣмъ новыя тревоги только начинались.

Едва лишь къ полночи успѣли переправить на другую сторону Днѣпра обезумѣвшаго отъ неудачи короля. Коляска поставлена была вмѣстѣ съ нимъ на двѣ лодки, и двѣнадцать драбантовъ на веслахъ мигомъ доставили его къ берегу.

А въ это самое время на томъ берегу, который онъ сейчасъ оставилъ, слышались мушкетные выстрѣлы. Это Меншиковъ, посланный паремъ на другой день послѣ попойки, успѣлъ нагнать остатки шведскаго войска, въ числѣ 16,000 человекъ, предводительствуемаго Левенгауптомъ, и послѣ легкой перестрѣлки заставилъ его положить оружіе...

Карлъ слышалъ, какъ замолкла перестрѣлка, и понялъ, что случилось...
— Ставка проиграна, — сказалъ онъ съ свойственнымъ ему легкомысліемъ: — такъ я удвою ее!

Но на эти слова никто не отвѣчалъ.

Бѣглецы въ ту же ночь вступили въ безбрежную степь. Это была настоящая пустыня — мертвая, безлюдная и безводная. Могильная тишина царствовала кругомъ и только звѣзды смотрѣли съ темнаго неба, словно живыя существа, осуждающія безразсудныя дѣянія человѣческія. Шведы были глубоко поражены видомъ этого застывшаго мертваго моря, которому они не видѣли ни конца, ни края *).

Одни запорожцы были тутъ какъ дома. Имъ не привыкать было плавать въ этомъ морѣ по цѣлымъ мѣсяцамъ, выискивая красной дичи въ видѣ косоглазаго крымца, а то буйвола, либо лося, либо быстროного сайгака.

Вонъ и теперь они весело балагурятъ, усѣвшись въ кружокъ и потягивая тютюнъ изъ люлекъ. Бѣглецы, отъѣхавъ верстъ съ десятокъ отъ Днѣпра, остановились на ночлѣгъ. Всѣ спятъ послѣ трудовъ и тревогъ послѣднихъ дней; тихо кругомъ; только нѣсколько казаковъ въ сторонѣ отъ обоза стерегутъ спутанныхъ коней и калякаютъ себѣ по душѣ.

Вдругъ слышатъ, кто-то идетъ и какъ будто самъ съ собою разговариваетъ. Присматриваются: дѣйствительно кто-то тихо бредетъ отъ обоза... Кому бы это быть? Кто не спитъ, когда скоро ужъ и утро настанетъ? Ближе, ближе... Видать — фигура гетмана... Да, это самъ гетманъ и есть... Чего онъ ходитъ, о чемъ разговариваетъ?.. Запорожцы присмирѣли — слушаютъ...

— Ни, не спать, не спать моя голова, важко їй, важна моя стара голова — сонъ не бере, — бормочетъ старикъ, останавливаясь и качая головой. — Де таку голову сну побороти?.. вона въ золотій коруни... Охъ, важна та коруна, важна! Доставъ Мазепа коруну, винецъ державный... а! лиха матери!.. не винецъ державный доставъ Мазепа, а винчикъ погребный... Отъ скоро, скоро возложить на сю шалену голову винецъ державный смерти... О! смерти! смерти! страшна твоя замашная коса!.. А дитинку жъ чисту, невинность голубину за що я погубивъ? До кого воно, бидне дитя, головку прихилить на чужини?.. Проклятый, проклятый Мазепа... анаема, проклять...

Слова замолкли. Старикъ снова, не подымая головы, тихо побрелъ къ обозу.

*) «Un silence profond regnoit partout, et personne ne savoit où l'on tourneroit pour traverser le désert.» п т. д.

— А мабуть и певне проклять,—замітивъ кто-то.

— Та проклять же... Онъ весною, чумаки ихали степомъ за силою, такъ казали, що на всій України его у церквахъ попы проклинають.

— О! що попы! то московськи попы, не наши.

— Ни, и наши проклинаюте.

— Та то-жъ москаль веливъ.

— Хиба... О, забирае силу вражій москаль, охъ якъ забирае!

Начинало свѣтать. Прежде всего проснулся предразсвѣтный вѣтерокъ и струйками пробѣжалъ по степному ковылю, нагибая и покачивая то тотъ, то другой бѣлый чубъ безбрежной степи.

Просыпалось и небо. Тамъ отъ времени до времени слышалось карканье ворона да клекотъ орла, такой странный да гулкій, какъ будто бы кто-то высоко-высоко въ небѣ ударялъ палочкою объ палочку. Это пернатые казаки чуюли себѣ кормъ по ту сторону Днѣпра.

Мазепа, къ которому съ разсвѣтомъ воротились его разбитыя и распуганныя ночнымъ мракомъ и безсонницею мысли, тихо подошелъ къ коляскѣ, въ которой ѣхала Мотренька. Неслышно приподнялъ онъ полу фартука и заглянулъ внутрь экипажа. Дѣвушка спала. Подложивъ лѣвую ладонь подъ щеку, она, казалось, пригорюнившись думала о чемъ-то. Черные волосы падали ей на бѣлый низенькій лобъ и на правую блѣдную щеку. Видъ спящаго человѣка всегда представляетъ что-то какъ бы маленькое, беззащитное. Спящая Мотренька казалась безпомощнымъ, горькимъ ребенкомъ, который, наплакавшись, крѣпко уснулъ и не вполнѣ соизналъ съ лица слѣды горя...

Съ благоговѣйнымъ чувствомъ, но съ ѣдкой тоской глядѣлъ гетманъ на это милое, невинное личико... Чего бы не далъ онъ, чтобы воротить прошлое!

— Гетьманъ иде... ласощи несе,—шептали во снѣ губы дѣвушки.

Видно, что ей грезилось ея беззаботное дѣтство, когда она еще воспитывалась въ монастырѣ и всякій разъ съ радостію ожидала, что вотъ-вотъ пріѣдетъ гетманъ и привезетъ всѣмъ имъ, дѣвочкамъ, всякихъ сластей и хорошенькихъ „цѣць“, игрушекъ. „Ласощи несе“...

У гетмана задрожали вѣки и по блѣднымъ, впалымъ щекамъ прокатились двѣ мелкія, едва замѣтныя слезинки, которыя и спрятались въ сивомъ волосѣ усовъ.

— Правда... принись ласощивъ, охъ, принись, проклятый! — простоналъ онъ и отошелъ отъ коляски.

Обозъ просыпался. Казаки готовили коней и экипажи въ далекій, невѣдомый путь...

XVIII.

Прошло еще нѣсколько мѣсяцевъ.

Изъ села Варницъ, недалеко отъ Бендеръ, подъ заунывные звуки трубъ и литавръ выступаетъ похоронная процессія. Впереди трубачи и литаврщики въ глубокомъ траурѣ, на коняхъ, покрытыхъ траурными мантиями отъ ушей до самыхъ копытъ. За ними на траурномъ конѣ выступаетъ кто-то знакомый: это запорожскій кошевой атаманъ Костя Гордіенко. Открытое лицо его смотритъ задумчиво, а громадные усы какъ-то особенно мрачно спускаются на грудь. Въ рукѣ у него, гетманская булава, которая такъ и горитъ на солнцѣ дорогими камнями да крупнымъ жемчугомъ. Вслѣдъ за кошевымъ шестерка прекрасныхъ, бѣлыхъ какъ первый снѣгъ коней, въ траурѣ же, везетъ погребальный катафалкъ, на которомъ стоитъ гробъ, покрытый дорогою красною матеріею съ широкими золотыми нашивками по краямъ. По сторонамъ катафалка—почетная стража съ обнаженными саблями, готовая поразить всякаго, кто бы осмѣлился оскорбить бранные останки, покоящіеся въ гробѣ. За гробомъ идутъ женщины... Какъ голосно плачутъ и причитаютъ! Какъ раздираетъ душу горькая мелодія этого народнаго причитанія,—причитанія, съ которымъ хоронили когда-то и Олега „вѣщаго“, и ослѣпленнаго Василька, и стараго Богдана Хмельницкаго... Отъ временъ Перуна и Дажбога идетъ эта мелодія слезъ, мелодія смерти... Только одна женщина не плачетъ—это Мотренъка; она идетъ, глубоко наклонивъ голову, и переживаетъ всю свою горькую, незадавшуюся жизнь... За нею, на конѣ, Филиппъ Орликъ—новый гетманъ: еще серьезнѣе его вѣчно серьезное лицо, еще сосредоточеннѣе взглядъ... „Надъ кѣмъ гетманувать я буду?“—вотъ что выдаетъ его задумчивое лицо: „да и гдѣ моя гетманщина?“ Рядомъ съ нимъ Войнаровскій, племянникъ того, кто лежитъ въ гробу. За Орликомъ и Войнаровскимъ выступаетъ варяжская дружина Карла XII. Какъ мало ея осталось съ того дня, какъ она оставила родную землю, чтобы слѣдовать за своимъ безпокойнымъ конунгомъ скандинавскаго сѣвера! Какъ много ихъ полегло на чужихъ поляхъ, не зная даже, что дѣлается дома. Изъ 150 варяго-дружинниковъ, вышедшихъ съ Карломъ изъ Швеціи, до Полтавы едва уцѣлѣло 100 человекъ, а подъ Бендерами—только 24 королевскихъ варяга провожали до могилы трупъ Мазепы: остальные полегли на чужихъ поляхъ, а конунгъ ихъ лежалъ раненый. По обѣимъ сторонамъ всей процессіи ѣхали запорожцы съ опущенными долу знаменами и оружіемъ.

Мотренъка шла за гробомъ, по временамъ взглядывая на него и прислушиваясь къ печальной музыкѣ, отдававшей послѣднюю честь одиноко умершему старику, и память ея переживала послѣдніе тяжкіе дни, послѣдніе часы дорогаго ей покойника. Съ переходомъ черезъ степь и черезъ Бугъ, со вступленіемъ на турецкую землю, духъ, могуче дѣйствовавшій въ старомъ тѣлѣ гетмана, какъ бы разомъ отлетѣлъ, оставивъ на землѣ одно

дряблѣе тѣло, которое двигалось машинально, да и двигалось какъ-то мертвенно. Старикъ, видимо, умиралъ изо-дня въ-дѣнь. По цѣлымъ часамъ онъ лежалъ, устремивъ глаза въ потолокъ и какъ бы припоминая что-то. Иногда онъ дѣлалъ отрицательныя движенія то рукой, то головой, словно бы отрицался отъ всего прошлаго, отъ всей его жи, отъ горькихъ ошибокъ и жгучихъ увлеченій, отъ которыхъ остался лишь саднящій осадокъ...

— Ваше высочество, бормоталъ онъ невнятно:— князь Полоцка и Витебска... Божією милостію мы, Іоаннъ Первый, великій князь полоцкій и витебскій, древняго Полоцкаго княжества и иныхъ земель самодержецъ и обладатель... обла-а-датель... *) по-московски... О, царь, царь! ты мене за усь скубъ, якъ хлопа... Чи царь, чи гетьманъ? — куць выгравъ... куць програвъ... Чи чить, чи лишка?... Лишка! лишка!.. Пропала Украина— пропаде и Запорожье... все оддвитае и умирае... зацвитутъ други цвисты, а старыхъ уже не буде... Зацвите и друга Украина, тастарои вже не буде... А я думавъ, що вона и сама, своимъ цвистомъ, цвисти буде... Такъ ни,— нема цвисту, одинъ барвиннокъ зостався... **).

Когда Мотренька подходила къ нему, лицо его принимало молитвенное, но страдальческое выраженіе, и часто слеза скатывалась на бѣлую подушку, на которой поклонялась такая же бѣлая голова умирающаго...—О, моя ясочко!.. закрой мени очи рученьками своими, та вертайся до дому, на Вкраину милу... у той садочокъ. де мы съ тобою спизналися...—Мотренька безмолвно плакала и цѣловала его холодящія руки...—Не вдержу вже й булавы,—бормоталъ онъ,— а хотивъ скипетро держати, та тоби его, мое сонечко, передати...

Въ послѣднія минуты онъ глазами показалъ, чтобы Мотренька передала гетманскую булаву Орлику, и она съ плачемъ передала ее. Тутъ стоялъ и Войнаровскій и Гордіенко—стояли словно на часахъ, ожидая, когда душа умирающаго разстанется съ тѣломъ.

Тихо отошелъ онъ, со вздохомъ: глубоко-глубоко вздохнулъ о чемъ-то,

*) Въ договорѣ, заключенномъ Мазепою съ Карломъ XII и Станиславомъ, королемъ польскимъ, 4-мъ пунктомъ Мазепа обязывался: «Qu'il remettroit toute l'Ukraine aux polonois de même que la Séverie, les provinces de Kiow, Tschernikow et Smolensko, qui toutes ensemble devoient retourner sous la domination de la Pologne.» En revanche on promettoit à Mazepa pour récompense le titre de prince, aux mêmes conditions, que le duc de Courlande possède son pays, avec les palatinats de Witepsky et de Polotsko (Адлерфельдъ, 248).

**) Нордбергъ положительно говоритъ о причинахъ, ускорившихъ смерть Мазепы: «Le chagrin de se voir abandonné par la fortune, dans le temps même qu'il se flattoit de délivrer l'Ukraine de la domination russe, ne laissa pas d'y contribuer beaucoup» (стр. 338). Какъ Мазепа могъ освободить Украину отъ русскаго владычества, отдавая ее полякамъ—этого страннаго противорѣчія шведскіе историки не объясняютъ. Видно, самъ Мазепа, полякъ до мозга костей, не понималъ этой несообразности.

вытянулся во весь ростъ, и лицо стало спокойное, величественное, царственное... Да, это она, „смерти замашная коса“, наложила печать царственного величія... „Ну вже бильше ему не лгати... буде вже... теперь тилько первый разъ на своимъ вику сказавъ правду—вмеръ“, думаль молчаливый Орликъ, держа булаву и серьезно глядя въ мѣртвое лицо бывшаго гетмана...

Скоро похоронная музыка смѣшалась съ перезвономъ колоколовъ, когда процессію увидѣли съ колокольни церкви, стоявшей отъ Варницъ нѣсколько на отшибѣ.

У воротъ церковной ограды два казака держали лодъ—узды боевого коня Мазепы, покрытаго длинной траурной попоной. Умное животное давно догадывалось о чемъ-то недобромъ и жалобно, фальцетомъ, словно скупающій по матери жеребенокъ, заржало, увидѣвъ приближающуюся процессію. Съ большимъ трудомъ казаки могли удержать его. Когда же гробъ прослѣдовалъ въ ворота, казаки увидѣли, какъ изъ умныхъ, черныхъ глазъ гетманскаго коня катились слезы.

— Що, жаль, косяу,—жаль батька?—спросилъ казакъ, ласково глядя морду животнаго.

— Эге!—философски замѣтилъ другой казакъ:—може одному коневи й жалко покойного, но ниhto въ свити не любивъ его—лукавый бувъ чоловікъ.

Конь заржалъ еще жалобнѣе.

Когда гробъ хотѣли уже опускать въ склепъ, Мотренъка быстро подошла къ послѣдней и вѣчной „домовинѣ“ гетмана, обхватила ее руками и вскрикнула со стономъ:—Тату! тату! возьми мене съ собою...

Стоявшій тутъ же на клюшкахъ король подошелъ было къ дѣвушкамъ, съ участіемъ нагнулся къ несчастной, чтобы поднять ее; но она была безъ чувствъ...

Карлъ быстро повернулся и съ какимъ-то страннымъ, неуловимымъ выраженіемъ оловянныхъ глазъ погрозилъ кулакомъ на сѣверъ...

А на сѣверѣ все шло своимъ чередомъ.

Царь, разославши плѣнныхъ шведовъ по всѣмъ городамъ, всѣхъ участвовавшихъ въ преславной полтавской вѣкторіи русскихъ награди́лъ орденами, чинами, вотчинами, своими портретами, медалями и деньгами, а себѣ пожаловалъ чинъ генераль-лейтенанта. Затѣмъ, пославъ въ Москву курьера съ извѣстіемъ о побѣдѣ, велѣлъ на радостяхъ звонить и палить „гораздо“, на зло старымъ бородачамъ: и Москва звонила „гораздо“—безъ устали колотила въ колокола ровно семь день, разбила, какъ доносилъ кесарь Ромодановскій, триста семнадцать колоколовъ и опояла до смерти семьсотъ-четырна́дцать человѣкъ разнаго званія людей, „наипаче-же изъ подлости и низкаго рангу“.

Самъ же Петръ, захвативъ съ собой Данилыча и Павлушу, поскакалъ въ Варшаву, гдѣ заключилъ алліансъ съ Августомъ. Изъ Варшавы черезъ Торунь—въ Маріенвердеръ, гдѣ заключилъ алліансъ съ прусскимъ королемъ—и все противъ Карла. Изъ Маріенвердера—къ Ригѣ, которую и велѣлъ Шереметеву Борыкѣ осадить „накрѣпко“. Бросивъ для начала собственноручно три бомбы въ крѣпость, усккалъ въ Петербургъ,—ужъ давно подмывало его туда!

Въ Петербургѣ первымъ долгомъ навѣстилъ стараго рыбака Двоекурова, который уже ждалъ царя съ подаркомъ: съ самаго лѣта у него въ Невѣ сидѣлъ уже на цѣпи невообразимой величины ситъ—презентъ царю. У старика царь выпилъ ковшъ анисовки, и оттуда—на вновь устроенный корабль. Тамъ ему подали привезенныя курьерами изъ разныхъ мѣстъ бумаги и, между прочимъ, отъ Палія пакетъ, въ которомъ находился переводъ перехваченнаго палиевскими казаками письма Карла; но къ кому—не извѣстно.

Царь прочелъ это письмо вслухъ.

„Онъ-бо гдѣ я емь, какъ я всѣми оставленъ! Гдѣ мои смѣлые люди? Гдѣ ихъ ратоборственная смѣлость? О, Реншильдъ, помози, чтобъ они паки доброе сердце воспріали и на зажертву за меня принесли свою прежде сего другую кровь. О Левенгауптъ!.. гдѣ ты?.. гдѣ съ остаткомъ дѣвался? Помози мнѣ въ нуждѣ, въ которой я нынѣ обрѣтаюсь. О, Пиперъ! ниши нынѣ ты почасту—прежъ сего писывалъ. О горе! я обрѣтаю, что ты съ иными отлучился. Кого жъ я при себѣ нынѣ имѣю? кому я могу себя вѣрить? Ахъ, всѣ отлучились и всѣ погибли! Когда прямо сіе размышляю и себя самого осмотряю, то я обрящу, что нынѣ слово карлъ (т. е. карликъ) емь я. Хотѣлъ своими людьми орла понудить, чтобъ онъ мнѣ свою корону предъ ноги низложилъ“...

При этихъ словахъ письма царь нервно тряхнулъ головой, такъ что волосы на ней задрожали...

— Ого! я передъ тобой... мою корону!.. Нѣтъ, я тебя и изъ Турціи вышвырну, бродяга!

И царь снова началъ читать:

„... корону передъ ноги низложилъ; но нынѣ такъ я бѣгу, чтобъ могъ только уйтись, понеже собственная моя корона черезъ сей бой подвизается“...

— Сіе вонистипу,—вставилъ Меншиковъ.

„Но куда мнѣ побѣжать? (продолжалъ царь). Гдѣ могу покой сыскать? Понеже я нынѣ далеко отъ земли моей обрѣтаюсь. Только бъ нынѣ волохи могли бъ меня провесть, инакожъ я несчастливый и съ моею землею погибъ. Но, орелъ, объяви мнѣ какъ хочешь, чтобъ я поклонился, понеже ты черезъ сей бой надо мною мастеромъ сталъ. Приходи, Августъ, приходи паки назадъ въ Польшу, понеже сія корона по достоинству прамая твоя. Но ты, Станиславъ! Я былъ твой пріятель, пока я силу имѣлъ и тебѣ помочь могъ; но нынѣ то миновалось: можешь ты только сіи вѣсти

прочешь, какъ я нынѣ мастера своего въ великомъ царѣ сыскалъ, того ради послѣдуй моему совѣту, лягъ предъ королевскими ногами и проси, чтобъ онъ тебѣ паки милостивъ былъ, а ты себѣ избери чернической монастырь, ибо сей бой намъ есть временная адская мука. Прощаясь, я нынѣ принужденъ чрезъ чужую землю итти, ибо новаго пути въ свою землю искать имѣю. Моя болѣзнь нынѣ всему свѣту извѣстна, что я нынѣ кричать принужденъ: о горе! о горе! моя нога!“ *)

Царь, повертѣвъ письмо въ рукахъ, бросилъ его въ кучу съ другими бумагами.

— Старика Палія симъ письмомъ въ обманъ ввели, — сказалъ онъ: — оно сочинено малороссійскими ласкателями, понеже малороссійскіе люди преострые сочинители и хорошаго и дурного — ужъ такъ у нихъ въ крови.

Скоропадскій ему доносилъ тутъ же, что „вѣроломецъ и Іудинъ братъ Ивашка Мазепа въ турецкой землѣ аки песь скаженный здохъ“.

— Умеръ Мазепа, — сказалъ царь вслухъ.

При этихъ словахъ Ягужинскій, подававшій царю пакеты, такъ вздрогнулъ, что уронилъ пакетъ.

— Что, Павелъ? — спросилъ царь участливо: — ее, вѣрно, вспомнилъ... Забылъ какъ ее зовутъ...

— Мотря, государь, — отвѣчалъ тихо Ягужинскій, блѣдный и не поднимая глазъ.

— Да-да, Мотренушка, — вспомнилъ! — продолжалъ царь. — Помни, Павелъ, что я у тебя въ долгу...

Ягужинскій молчалъ, только бумаги въ рукахъ его дрожали.

— Обѣщалъ тебя женить на этой отроковицѣ, такъ вонъ она ушла въ Турцію съ Мазеной и Карломъ... Ну, не печалься, Павлуша: на слѣдующій годъ я достану — себѣ Карла, а тебѣ — оную отроковицу...

Но царь и тутъ остался въ долгу у своего Павлуши: Прутскій походъ 1711 года доказалъ, что ни Карла, ни отроковицу достать нельзя...

Скоропадскій въ письмѣ своемъ добавлялъ, что его „малжонка Анастасія повергаетъ къ подножію ногу его царскаго величества бочку варенія кievского сухого цукрованого, оныя Анастасіи руками власными на здравіе царскаго пресвѣтлаго величества сваренного“.

„У! ловкая баба, — подумалъ Петръ: — она трижды умнѣе своего колпака-мужа... да такой тамъ намъ надобеть!“

Осматривая затѣмъ корабль, царь увидѣлъ, что на мачтѣ словно бѣлка

*) Письмо это дѣйствительно существуетъ. Оно нигдѣ не напечатано и находится въ числѣ рукописей Румянцевскаго музея (подъ № CCCLXVI). Пишущій это снялъ съ него копію, когда специально занимался исторіею Мазепы; но потомъ по разнымъ соображеніямъ бросилъ эту затѣю, какъ неудобную.

съ реи на рею перескакиваетъ какой-то молоденькій, бѣлокурый юнга, укѣпная снасти. Царя заняла эта ловкость и смѣлость.

— Ты кто такой?—крикнулъ онъ на матчу.

Двуногая бѣлка въ нѣсколько мгновеній соскочила съ мачты и уже стояла передъ царемъ въ струнку, смѣло похлопывая глазами.

— Юнга вашего царскаго величества!—бойко сказалъ мальчикъ, которому на видъ было лѣтъ четырнадцать, а то и меньше.

Царь улыбнулся.

— А какъ зовутъ? Какова фамилія?

— Симка Крохинскій, ваше царское величество!—по прежнему бойко отвѣтилъ мальчикъ.

— А!—царь что-то вспомнилъ и глаза его блеснули.—Это ты тогда въ Шлиссельбургѣ первый російскій корабль изъ лаптя соорудилъ и онучкой оснастилъ?

— Я, ваше царское величество!

— Молодецъ-молодецъ! помню... А потомъ?

— Потомъ въ московскомъ навигаторскомъ училищѣ учился...

— Кончилъ съ доброю аттестаціею?

— Съ аттестаціею „оптима“, ваше царское величество!

— Зѣло радъ...—И лицо царя дѣйствительно выражало живую радость: блестящими глазами онъ посмотрѣлъ на Меншикова и Ягужинскаго.—А! смердѣй сынъ, землекопъ — а теперь вонъ что! — быстро говорилъ царь, любуясь мальчикомъ и его льняными кудрями:—теперь тебя за море, въ нѣмецкія и голландскія страны вмѣстѣ съ боярскими дѣтьми доучиваться пошлю... А тамъ—что Богъ устроитъ соизволить...

Но почему-то сейчасъ же вспомнился „сыночекъ — Алѣша дурачекъ“, а тутъ же и „сестрица Софьюшка—зелье московское“ и „постылая царица Авдотья“, и московскія „бороды“, разбитые триста семнадцать колоколовъ... А тутъ и „Катеринушка“—давно ее не видалъ... а можетъ быть и „шинечка“ скоро будетъ...

И такъ, гетмана Мазепу похоронили. Царь мечтаетъ о будущемъ величій Россійской державы...

Кого же еще желательно было бы вспомнить?—Палія и Мотренку?—Да, ихъ.

Палій самъ умиралъ на рукахъ своей мужественной жены, когда получилъ извѣстіе о смерти Мазепы.

— О, отыде духъ лукавый... отыде,—бормоталъ умирающій.—Я найду его тамъ и приведу на судъ къ престолу Божию, яко врага и погубителя матери нашея Украины... И онаго старца словенина Крижанича Юрія обрѣту у Господа, за народы словенскіе молящася... А теперь прощай, жинко, прощай, Охрима... Я отхожу зъ Украины...

Онъ сильно въ послѣдній разъ дохнулъ и потушилъ восковую свѣчку, теплившуюся въ его холодѣющихъ рукахъ... Потухла и его свѣчка жизни.

И Мотренька умерла на своей милой Украинѣ, въ Диканькѣ... Ей удалось поцѣловать тѣ мѣста, гдѣ ступали когда-то старыя ноги проклятаго, но ей дорогаго чловѣка... Да, вѣрно, батьку Тарасе:

Дурни-дурни люде!..

Въ Полтавѣ и до сихъ поръ показываютъ могилу Мотреньки.

К О Н Е Ц Ъ.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Д. Л. Мордовцева.

ДВѢНАДЦАТЫЙ ГОДЪ

ИСТОРИЧЕСКІЙ РОМАНЪ

ВЪ ТРЕХЪ ЧАСТЯХЪ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Томъ VI.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе Н. О. Мертца
1901.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 7-го марта 1901 г.

Типографія „В. С. Балашевъ и К^о“. С.-Пб. Фонтанка, 95.

I.

Полный мѣсяцъ, ярко вырѣзываясь на темной, глубокой синевѣ неба, серебрить темную зелень сада и заливаетъ серебрянымъ свѣтомъ широкую аллею, усыпанную пожелтѣвшими листьями. Тихо, беззвучно въ саду, такъ тихо, какъ бываетъ только тогда, когда подходитъ осень и ни птицы, ни насекомыя не нарушаютъ мертвенной тишины умирающей природы. Только слышенъ шелестъ засохшихъ листьевъ: кто-то идетъ по аллеѣ...

Мѣсяцъ серебрить бѣлое женское платье и непокрытую женскую, глубоко наклоненную головку.

— Первый разъ въ жизни она приласкала меня... Неужели же и въ послѣдній?.. Ахъ, мама, мама! за что ты не любила меня?.. За то, что я не похожа на дѣвочку, что я дикарка?.. Бѣдный папа! ты одинъ любилъ меня — и отъ твоего добраго сердца я должна оторвать себя... Папочка, папочка милый! прости свою Надечку, прости, голубчикъ...

Не то это шопотъ, не то шорохъ бѣлаго платьяца, не то шелестъ сухихъ листьевъ, усыпавшихъ аллею... Нѣтъ, это шопотъ.

Въ концѣ аллеи виднѣется небольшой деревянный домикъ съ мезониномъ—туда направляется бѣлое платьеце. Въ двухъ крайнихъ окнахъ домика свѣтится огонекъ.

— Въ послѣдній разъ я вхожу въ мое дѣвическое гнѣздышко...

Стоящая на столѣ свѣча освѣщаетъ лицо вошедшей. Это — высокая, стройненькая дѣвочка лѣтъ пятнадцати, съ блѣднымъ, продолговатымъ личикомъ. Близна молодого личика почти совсѣмъ не оттеняется свѣтлорусыми волосами, которые, почти совсѣмъ незаплетенные, длинными прядями падаютъ на плечи и на спину. Личико кроткое, задумчивое и какъ будто бы робкое. Только черные, добрые глаза подъ совершенно черными бровями составляютъ рѣзкій контрастъ съ матовою бѣлизною лица и волосъ. Плечи у дѣвочки и грудь хорошо развиты.

— Надо проститься съ папочкой не въ бѣломъ платьѣ, а въ черномъ капотѣ — онъ его любитъ, — говорить дѣвочка и, закрывшись пологомъ стоящей тутъ же кровати, наскоро переодѣвается.

Глаза ея останавливаются на саблѣ, висящей на стѣнѣ. Сабля старая, видимо, бывавшая въ бояхъ. Дѣвочка снимаетъ ее со стѣны, задумчиво смотритъ на нее, вынимаетъ изъ ноженъ и цѣлуетъ блестящій клинокъ.

— Милая моя,—шепчетъ странная дѣвочка:—а холодная, какъ мама... Теперь ты будешь моею мамою. Я играла съ тобою маленькою... у меня не было куколъ, а ты была у меня... Уйдемъ же съ тобою вмѣстѣ... ты будешь моимъ другомъ, моимъ братомъ, моею славою... Съ тобою я найду свободу... Мама говоритъ, что женщина—раба, жалкое существо, игрушка мужчины... Нѣтъ, я не хочу этого—съ тобой я буду свободна... Что жъ, когда ничѣмъ другимъ женщина не можетъ добыть себѣ свободы, кромѣ сабли?... Да и мужчины тоже—не они правятъ міромъ, а сабля да пушка... Папа часто говоритъ это... Ахъ, папа мой! бѣдный папа!..

Она прислушивается. Въ саду слышенъ шелестъ сухихъ листьевъ.

— Это онъ идетъ — мой папочка... Охъ, какъ сердце упало... Папа! папа! это твоя кровь говоритъ во мнѣ, ты вложилъ въ меня безпокойную душу... Папа мой! папа!

Она торопливо вѣшаетъ саблю на стѣну. Шаги уже не въ аллеѣ, а въ сѣняхъ. Отворяется дверь. На порогѣ показывается мужчина въ военномъ платьѣ. Лысая голова съ остатками сѣдыхъ волосъ и сѣдые усы страннымъ образомъ придаютъ какую-то молоджавость открытому лицу съ живыми черными глазами. Онъ ласково кладетъ руку на голову дѣвочки и съ любовью смотритъ ей въ лицо.

— Ты что такая блѣдная, дѣвочка моя? Здорова-ли?—говоритъ онъ съ участіемъ.

— Здорова, папочка.

А сама дрожитъ, и голосъ дрожитъ—въ молодой груди что-то словно рвется. Она не поднимаетъ глазъ. Онъ беретъ ее за руки, привлекаетъ къ себѣ...

— Что съ тобой, дитя мое? У тебя руки—какъ ледъ, сама дрожишь... Ты больна?

— Нѣтъ, папа... Я устала, озябла...

Онъ опускается въ кресло, а дѣвочка припадаетъ головой къ его колѣнямъ и ласкаетъ его... Онъ тихо гладитъ ея голову.

— Ахъ, ты моя старушка, — говоритъ онъ съ любовью: — шутка-ли? сегодня шестнадцатый годъ пошелъ... совсѣмъ большая—чего большая! старуха ужъ... Ишь отмахала—пятнадцать лѣтъ!.. А сегодня скакала верхомъ на своемъ Алкидѣ?

— Нѣтъ, папочка,—въѣдь гости были.

— Да, да... Ну, завтра наскочишься...

Дѣвочка невольно вздрагиваетъ... „Завтра... гдѣ-то я буду завтра?“—шепчетъ у нея на сердцѣ.

— Теперь ты совсѣмъ молодцомъ ѣздишь, — продолжаетъ отецъ. — И посадка гусарская, и усѣтъ кавалерійскій—хоть на царскій смотръ... Эхъ, старъ я, а то бы взялъ тебя съ собой противъ этого выскочки—корси-

канда, противъ Бонапарта... Онъ что-то недоброе затѣваетъ—того и гляди, пойдетъ на Россію...

Дѣвочка молчитъ и еще крѣпче прижимается къ колѣнямъ отца.

— Эхъ, ты, гусаръ! а сама дрожить, какъ осиновый листъ,—говорить постѣдній, и ласково приподнимаетъ голову дочери.—Иди-ка сюда, на руки ко мнѣ, на колѣни... Я буду твоимъ Алкидомъ... Вотъ такъ-то лучше... Дай я тебя согрѣю...

И онъ сажаетъ ее на колѣни къ себѣ, обнимаетъ. Дѣвочка обвиняется вокругъ отца, шепчетъ только:

— Папочка мой, дорогой мой, папа добрый...

— То-то, добрый... Ишь, дрянъ какая... И плечишки дрожать... Ахъ, ты моя милая, крошечка моя золотая, Надечка моя... Что-то мнѣ тебя жалко сегодня, мою дѣвочку. Съ мамой просталась на ночь?

— Просталась, папа.

— Ну, и что жъ?

— Она сегодня такая добрая—поцѣловала меня...

— Ну, и слава Богу... А теперь раздѣвайся да ложись спать... Тепло-ли тебѣ подъ одѣяльцемъ?

— Тепло, папочка...

„Подъ одѣяльцемъ... А сегодня моимъ одѣяльцемъ будетъ ночка темная, небо голубое,—прощай, моя постелька... не сидѣть ужъ мнѣ на лапинныхъ колѣняхъ“, снова шепчетъ сердце.

Онъ встаетъ и креститъ голову дочери.

— Ну, прощай, покойной ночи, спи хорошенько,—говоритъ онъ, нѣжно взявъ ее за подбородокъ.—Прощай, пучеглазая...

И онъ уходитъ... Пучеглазая бросается на колѣни и цѣлуетъ полъ,—то мѣсто, гдѣ стояли ноги отца. Слезы такъ и полились изъ переполненныхъ глазъ... „О, мой папа! мой добрый, мой другъ!.. Одинъ ты у меня былъ на свѣтѣ—и тебя я покидаю...“

Шаги отца слышатся на лѣстницѣ, ведущей въ мезонинъ. Вотъ онъ наверху—шаги слышатся надъ головою... Шаги дорогого существа, шорохъ платья милой—это тотъ же шопотъ любви, шопотъ признанья... „Дорогой мой папочка... не буду уже больше никогда я прислушиваться къ шагамъ твоимъ, къ голосу твоему милому, ласковому...“

Дѣвочка встаетъ съ полу и подходитъ къ зеркалу, висящему на стѣнѣ рядомъ съ отцовскою саблей. Въ зеркалѣ отражается блѣдное заплаканное личико.

„Прощай, мой милый капотъ,—я его папѣ оставляю на память...“

Дѣвочка снимаетъ съ себя капотъ и остается въ одной бѣленкой сорочкѣ. Такъ она кажется еще моложе—совсѣмъ ребенокъ. Потомъ беретъ со стола ножницы, подноситъ ихъ къ своей бѣлокурой, совсѣмъ растрепавшейся косѣ... „Вотъ и постриженье мое... прощай, коса дѣвичья, прощай краса рабыни—историческая крѣпостная запись женщины на вѣчное рабство... Ахъ, мама, мама! теперь я не раба...“

Скрипять ножицы, съ трудомъ перерѣзывая бѣлокурыя пряди косы одну за другою...

Великій шагъ для женщины — историческій шагъ! Обрѣзать косу въ 1806 году, когда и теперь стриженная женщина считается чуть не чудовищемъ, рѣшиться на такое дѣло въ 1806 году, когда даже не покрытая женская голова позорила эту голову въ глазахъ большинства—это былъ историческій подвигъ. И этотъ историческій подвигъ въ 1806 году совершаетъ пятнадцатилѣтняя дѣвочка.

Обрѣзавъ косу вкружало, по-казацки, она кладетъ отрѣзанныя пряди въ столъ... „Папочкѣ на память — онъ любилъ мои волосы, любилъ „лѣняную головку...“

— Теперь я совсѣмъ казаченокъ,—шепчетъ она, глядя на себя въ зеркало:—совсѣмъ выростокъ казачій—и лицо у меня другое, — никто не узнаетъ, что я дѣвка, барышня...

Но вдругъ румянецъ заливаетъ ея блѣдныя щеки: сорочка спустилась съ плечъ и открыла ея бѣлыя дѣвическія груди, небольшія, но круглыя, упругія...

„Ахъ, противныя... вотъ гдѣ я женщина... Но я васъ затяну въ чекмень—никто не увидитъ, никто не догадается, что тамъ подъ чекменемъ... И женскую сорочку долой—у меня припасена мужская“...

Странная дѣвочка уходитъ за пологъ постели и черезъ нѣсколько времени выходитъ оттуда совсѣмъ преобразившеюся. Это дѣйствительно казаченокъ, „выростокъ“ — такой стройненькій, съ „черкесскою тальей“. На головѣ — высокій курпейчатый киверъ съ краснымъ верхомъ... киверъ сидитъ набокъ, молодцовато. Синій чекмень перетянутъ кушакомъ. На широкихъ шароварахъ ярко вырѣзывается красный, широкій лампасъ... Плечи широкія, грудь высокая, словно у сокола—никто и не заподозритъ, что она, грудь эта, не форменная, не мужская...

Она привязываетъ съ боку отцовскую саблю—звякаетъ сабля, словно кандалы... „Охъ, папочка услышитъ... Нѣтъ, онъ спитъ ужъ—не слышать его шаговъ милыхъ...“

Она осматриваетъ стѣны своей комнаты, окна, свой столъ, долго глядитъ на постель и, наклонившись надъ изголовьемъ, цѣлуетъ подушку... „Прощай, мой другъ, мой нѣмой собесѣдникъ... Даже и ты не знала, что думала голова, которая на тебѣ покоилась...“

— А! ты не узналъ меня, милый Бонапартъ,—пятишься отъ меня... Глупый, глупый,—это я, Надя, у которой ты всегда спалъ на ногахъ и которая сливочками тебя кормила... Прощай, Бонапартушка.

Послѣднія слова относились къ черному большому коту, который, не узнавъ своей госпожи въ новомъ видѣ, ежился и пилился отъ нея.

— Прощай, Бонапартушка... Я иду воевать съ твоимъ тезкой... А кто-то тебѣ будетъ сливочекъ давать?

И она гладила Бонапартушку. Бонапартушка, понявъ, въ чемъ дѣло, самодовольно мурлыкалъ и выгибалъ свою бархатную спинку. Потому что она

достала изъ комода двѣ небольшія кожаныя переметныя сумки, заранѣе ею приготовленныя, и, взявъ свой черный капотъ съ другими принадлежностями женскаго туалета, тихо задула свѣчу, снова поцѣловала то мѣсто пола, гдѣ въ послѣдній разъ стояли ноги ея отца, и вышла въ садъ. Услышавъ шаги, собаки бросились за ней и залаяли; но она тотчасъ же остановила ихъ, назвавъ по именамъ. Собаки стали ласкаться къ ней и лизать ея руки.

— Прощай, Робеспьеръ,—сказала она огромному псу, большому охотнику до чужихъ цыплятъ.— Узнаешь-ли ты меня, какъ я ворочусь лѣтъ черезъ десять?

Робеспьеръ неистово махалъ хвостомъ и подпрыгивалъ, желая облапать барышню.

— Прощай и ты, Вольтеръ.

Вольтеръ—это была косматая дворняшка, непримиримый врагъ всякой свиньи, будь она чужая или своя: Вольтеръ оборвалъ хвосты почти у всѣхъ свиней, какія только были по сосѣдству, но зато онъ очень любилъ свою барышню и спалъ у нея на крыльцѣ.

Дѣвушка, провожаемая собаками, дошла до калитки сада, выходившей къ рѣкѣ. Это была Кама рѣка. Собакамъ она не велѣла идти дальше, а сама, выйдя изъ калитки, заперла ее. Бросивъ на берегу рѣки свой женскій туалетъ, чтобъ заставить всѣхъ думать, что она утонѣла, дѣвушка пошла на гору, возвышавшуюся надъ городомъ. Что задумала эта странная дѣвочка? Куда тянетъ ее молодое, несутерпчивое сердце?

Осенняя ночь съ полною луною была необыкновенно свѣтла. Мертвая тишина, царствовавшая кругомъ, придавала ей что-то строгое, внушительное. Не видно нигдѣ людей, не видно ихъ вѣчной суеты, не видать ни тайныхъ дѣлъ ихъ, ни тайныхъ думъ, прикрытыхъ пеленою ночи и запечатанных печатью молчанія; но почему-то чудится, что это великое око ночи видитъ все—заглядываетъ и въ темную гущину лѣса, и въ мрачныя пропасти, видитъ и то, что прячутъ люди отъ людей...

Возвышающій душу страхъ охватываетъ безстрашную дѣвочку при видѣ этой строгой картины ночи. Вдали за Камой тянется безконечная темень лѣсовъ, и тамъ, гдѣ вершины ихъ не серебрятся луною, они кажутся не лѣсомъ, а бездонными пропастями, въ которыхъ ничего нѣтъ, кромѣ смерти. Кое-гдѣ между пропастями блеститъ поверхность лѣсныхъ озеръ—холодною сталью кажется эта поверхность, и отъ воды, какъ и отъ пропастей, вѣетъ холодомъ смерти... У ногъ, подъ горою, ютится спящій городъ, гдѣ проведено дѣтство и отрочество странной дѣвушки, и какъ ни охотно покидаетъ она этотъ городъ, какъ ни безстрашно мѣняетъ свою жизнь на что-то невѣдомое, хотя желательное,—жалость и тоска сжимаютъ сердце, бередя заснувшія воспоминанія беззаботнаго отрочества...

„Папа мой! ты не чувствуешь, что твоя дѣвочка въ послѣдній разъ глядитъ на кровлю твоего дома... Милый ты мой!.. А мама?.. Ахъ, мама, мама! зачѣмъ ты оттолкнула меня отъ себя? зачѣмъ поставила холодную,

лядную стѣну между твоимъ и моимъ сердцемъ?.. Дикарка я, разбойникъ, Емелька Пугачевъ, выродокъ женскій... Ахъ, мама, мама! лучше выродокъ, лучше Пугачевъ, чѣмъ раба...

На горѣ, освѣщенная луною, вырисовывается человѣческая фигура, а около нея—осѣдланый конь, нетерпѣливо бьющій копытомъ о землю.

— Спасибо, Артемъ,—говорить дѣвушка, подходя къ человѣку, держащему коня подъ-устцы.—Ты его хорошо накормилъ сегодня?

— Хорошо, барышня: и сѣна давалъ, и овса вволю.

Конь узнаетъ свою наѣздницу и радостно ржетъ.

— Здравствуй, Алкидъ,—говорить дѣвушка. — А я принесла тебѣ именинного пирога: я сегодня была именинница.

И она, доставъ изъ сумки кусокъ сладкаго пирога, кормить имъ своего Алкида и любовно гладить его шею. Алкидъ — умный конь: онъ бережно беретъ куски пирога изъ бѣленькой, маленькой ручки наѣздницы и глотаетъ какъ пилюли. Ему не привыкать—стать къ сластямъ и ко всякимъ кушаньямъ: когда его барышня-наѣздница была еще маленькой дѣвочкой, она кормила его и сахаромъ, и яблоками, и пряниками, и даже вареньемъ. Но болѣе всего Алкидъ любилъ соль, и барышня послѣ каждого обѣда таскала ему по цѣлой солоницѣ. И умный конь удивительно привыкся къ этой странной дѣвочкѣ. Онъ ходилъ за нею, какъ прикормленная овца. Онъ радостно ржалъ, гдѣ бы ни увидѣлъ ее. Для нея онъ пренебрегалъ всякими лошадиными обычаями: такъ, иногда онъ, словно собака, взбирался на крыльцо, желая проникнуть въ домъ: но его, конечно, гнали, ибо онъ своими копытами портилъ ступеньки крыльца; чаще же онъ просовывалъ голову въ окно и ржалъ на весь домъ, когда не видѣлъ своей любимицы. За это его, разумѣется, били; но ему это было нипочемъ и онъ все оставался такимъ же конемъ вольнодумцемъ, для котораго между конюшнею и барскимъ домомъ не существовало никакой разницы.

— Ну, теперь въ путь, Алкидушка!—сказала дѣвушка, быстро вскочивъ на сѣдло и гладя шею коня своею маленькою ручкой. —Давай теперь пику, Артемъ.

Артемъ, старый денщикъ ея отца, простоватый малый, болѣе боявшийся барскаго коня, чѣмъ самого барина (потому что Алкидъ сразу узнавалъ, когда Артемъ былъ хоть немного подъ хмелькомъ, и въ это время Алкидъ въ грошъ не ставилъ Артема, часто выгонялъ изъ конюшни и даже дралъ за волосы),—Артемъ подаль своей молоденькой госпожѣ казацкую пику.

— Теперича вы, барышня, въ-акурать казакъ,—сказалъ онъ, ухмыляясь.

— Да, Артемушка?—радостно спросила дѣвочка.

— Лопни глаза-утроба... Самъ Анапартъ испужается.

— Ну, прощай, добрый Артемъ... никому не говори, что видѣлъ меня здѣсь.

Она сунула ему что-то въ руку, тронула коня и скоро скрылась изъ глазъ своего добродушнаго оруженосца, который изумленно качалъ головой:

„Ужъ и Пилать-дѣвка! вотъ разбойникъ—сущій Пилать... а добрая“...

Нѣсколько времени дѣвушка скакала быстро, какъ-бы чувствуя за собою погоню—погоню прошлаго, погоню своего дѣтства, погоню женщины-рабы, отъ которой она отрекалась, убѣгала... Чѣмъ лихорадочнѣе она скакала, тѣмъ мучительнѣе отзывалась въ ней эта боязнь возврата и тѣмъ явственнѣе слышалось ей, будто вѣтеръ свиститъ въ уши: „Не уйдешь отъ себя... не уйдешь отъ женщины, не ускочешь отъ рабства... Судьба женщины найдетъ тебя и въ полѣ, и въ морѣ... Подъ грохотъ ядеръ, въ пылу битвы—скажется въ тебѣ женщина...“

Мѣсяцъ между тѣмъ скрылся. Ночь становилась все мрачнѣй и мрачнѣй. Дорога пошла темнымъ сосновымъ лѣсомъ, гдѣ и закаленному въ бѣдахъ и опасностяхъ мужикѣ стало бы страшно... При едва замѣтномъ просвѣтѣ такъ и кажется, будто отъ гигантскихъ сосенъ протягиваются косматыя руки, косматое чудовище трясетъ длинною бородою, и грозитъ схватить невидимыми руками... „Злой Кереметь... косматый Кереметь...“ вспоминаются дѣвчкѣ рассказы о лѣсномъ духѣ.

И она гонитъ отъ себя эти воспоминанья... „Я на волѣ... я свободна... мнѣ принадлежитъ весь міръ... Я сама взяла свободу, драгоценнѣйшій даръ неба, сама завоевала ее—и сохраню до могилы, до послѣдняго издыханія... Папа мой милый, добрый, слышишь, какъ кричитъ къ тебѣ мое сердце? какъ оно голубемъ, ласточкой вьется у тебя подъ окномъ?... Прощай, мой незабвенный учитель... Я ворочусь къ тебѣ, мой папа, но не раньше, какъ стану лицомъ къ лицу съ гордымъ корсиканцемъ и когда буду имѣть право сказать тебѣ: „и я билась противъ Бонапарта“.

II.

На другой день отецъ и мать дѣвушки, ночной путешественницы, собрались къ утреннему чаю вмѣстѣ съ другими членами семьи.

— Что жъ Надежды нѣтъ? Она вѣчно пропадаетъ!—рѣзко говорить смуглая, сухая женщина среднихъ лѣтъ съ сѣрыми, тоже какими-то словно сухими глазами и сѣроватыми отъ серебра сѣдины волосами.—Позовите ее.

— Да ея нѣтъ въ комнатѣ,—тихо отвѣчаетъ отецъ дѣвушки.—Она, вѣрно, гуляетъ.

— Гуляетъ! Ты ее избаловалъ такъ, что дѣвчонка совсѣмъ отъ рукъ отбилась. Ты ее видѣла, Наталья?—обратилась она къ горничной, стоявшей у порога.

— Нѣту, матушка барыня, не видала... Когда я пришла къ нимъ въ комнату сегодня, чтобъ убрать, такъ и постелька ихъ не смята,—знать не ложились совсѣмъ,—робко отвѣчала горничная Наталья, теребя передникъ.

— Что ты врешь? Я самъ ее вчера на ночь благословилъ, — замѣтилъ отецъ дѣвушки.

— Прекрасно, прекрасно — нечего сказать, хорошо себя ведетъ дѣвка, — ворчала мать. — Ну, ступайте съ Артемкой — ищите ее по горамъ да по доламъ.

Горничная вышла.

— Отлично воспитали вы свою дочку, — обратилась она къ мужу. — Ужъ, поди, сбѣжала съ кѣмъ-нибудь... пора ужъ — вчера семнадцатый годъ пошелъ... Да такой батюшка чему не научить...

— Не батюшка, а матушка, скажи, — возразилъ отецъ.

— Какъ матушка? Развѣ я дѣвку избаловала?

— Да, ты избалуешь! Поѣдомъ ѣшь бѣднаго ребенка.

Въ это время въ комнату вошла Наталья, дрожа всѣмъ тѣломъ.

— Охъ, Господи! охъ, Казанская! — стонала она.

— Что съ тобой? что это такое? — съ испугомъ спросилъ отецъ дѣвушки.

— Капотикъ барышнинъ, и рубашечка ихняя, и штаники ихнія...

— Ну, что-жъ? говори — не мучь.

— Бабы привесли, у Камы, у самой воды подняли...

— Господи!

Какъ помѣшанный, онъ выбѣжалъ на дворъ, крича растерянно:

— Вѣстовые! разсылные! скорѣе давайте неводъ... сѣти тащите... она утонула! Нада моя! Надечка!

И онъ бросился черезъ садъ къ Камѣ. Собаки, понявъ, что случилось что-то необыкновенное, можетъ быть, даже что-нибудь очень веселое, съ визгомъ и лаемъ кинулись за бариномъ, опережая его и бросаясь на все — и на воробьевъ, и на голубей, и лая даже на воздухъ, на небо.

Вѣстовые также поняли, въ чемъ дѣло, и мигомъ притащили къ рѣкѣ сѣти, достали лодки.

— Закидывай ниже! заводи глубже! — кричитъ несчастный отецъ, бѣгая по берегу и поминутно бросаясь въ рѣку.

Волокутъ сѣть... вытаскиваютъ на берегъ... скоро вся вытащится...

— Охъ, живѣй, живѣй, батюшки!

Страшно... А если ея нѣтъ тамъ!... А если она тамъ — мертвая, мертвая, холодная, бездыханная?

— Нѣту ихъ тамъ, баринъ, — робко говорить Артемъ, приближаясь къ своему господину. — Не ищите.

— Что ты?

— Не тамъ барышня, — онѣ не утонули.

— Что! что ты говоришь?

— Онѣ кататься уѣхали... И Лакиту взяли...

— Ты самъ видѣлъ?

— Самъ... я былъ вчера выпимши за здоровье барышни и уснулъ...

Такъ они Лакиту-то сами изволили взять.

Страшный камень свалился съ сердца... Она жива... она не утонула... Она поѣхала кататься—ахъ, разбойникъ дѣвчонка, какъ напугала... Но зачѣмъ тутъ этотъ капотъ? Новое сомнѣніе закрадывается въ душу. Зачѣмъ платье и бѣлье брошено у воды?

Онъ велитъ продолжать закидывать сѣти, а самъ идетъ въ комнаты дочери... Да, дѣйствительно, постелька не тронута, не помята. Котъ Бонапартъ жалобно мяучить—опять становится страшно... Она такъ дрожала вчера, такъ нѣжно ласкалась къ отцу... Она что-нибудь задумала. На сѣнѣ—нѣтъ сабли: новое предположеніе, что она что-то задумала и—можетъ быть—ужь исполнила. На столѣ брошены ножницы.

Нѣтъ-ли записки?

Нѣтъ, на столѣ ничего не видать. Развѣ въ столѣ?..

„Боже мой! это ея волосы, ея локоны! всѣ обрѣзаны!.. Надя! Надя! дѣвчонка моя! Что съ тобой? Гдѣ ты?“

И, цѣлуя волосы дочери, онъ залился горькими слезами. Казалось, что онъ цѣлуетъ локоны мертвой, похороненной.

„Дитя мое! гдѣ ты? гдѣ ты, моя радость, мое сокровище?“

А сокровище это уже пятьдесятъ верстъ отмахало. Она нагнала казачій полкъ на дневкѣ—туда-то и стремилось ея необузданное воображеніе. Полкъ шелъ на Донъ, къ домамъ, на побывку, и имѣлъ дневку въ небольшомъ селеніи на Камѣ.

Встрѣтивъ казаковъ, которые вели коней на водопой, дѣвушка пріосанилась на сѣдлѣ и, подѣхавъ къ донцамъ, привѣтствовала ихъ своимъ дѣтскимъ голосомъ:

— Здравствуйте, атаманы-молодцы! Богъ въ помощь!

Странно прозвучалъ въ утреннемъ воздухѣ этотъ металлическій голосокъ,—такъ странно, что казаки невольно остановились и удивленно посмотрѣли на этого диковиннаго мальчика. Что это такое? Съ виду, по одежѣ—казаченокъ, малолѣтокъ, барченокъ, и конь добрый, горской породы, черкесскій конь, дорогой—казаки знаютъ толкъ въ своихъ боевыхъ товарищахъ—однимъ словомъ, „душа добрый конь“... И чекмень казацкій добрый, хорошаго сукна, и пика добрая, и посадка добрая, казацкая, атаманская... А собой—какъ есть дѣвочка: груди высокія, перетяжка—въ рюмочку, голосокъ—словно птичка звенить... Фу ты пропасть! Откуда оно выскочило? Тутъ кони ржутъ—нить хотять, а тутъ птичка щебечетъ—личико бѣленькое, словно сейчасъ изъ яичной скорлупы вылупилось, глазенки черненькіе. Ахъ, чтобъ тебя разорвало! Вотъ штука невиданная!

Казаки отдають честь. Переглядываются: „Здравія желаемъ!“

А „оно“ опять щебечетъ:

— Скажите, какъ мнѣ найти вашего полковника?

— Это Николай Михайлыча?

— Да, Каменнова.

— Вонъ тамо-тка, гдѣ часовой стоитъ—зеленые ставни.

— Спасибо, братцы.

И „оно“ поѣхало дальше, а казаки, разинувъ рты, глядятъ ему въ слѣдъ.

— А и бѣсенокъ-же какой! Кубыть и большой ѣздить.

— А поди еще кашку съ ложечки учится есть.

— Вылитая дѣвочка.

— А посадка не наша, не казацкая.

— Да, это гусарская посадка... Ижъ и дьяволенокъ же!

Когда дьяволенокъ подѣзжалъ къ зеленымъ ставнямъ, указаннымъ ему казаками, изъ воротъ вышли офицеры и остановились при видѣ молоденькаго всадника. Этотъ послѣдній, ловко осадивъ коня, отдалъ честь офицерамъ совершенно по-военному.

— Я желаю говорить съ полковникомъ Каменновымъ,—молодцевато прощелбеталъ онъ и зардѣлся какъ дѣвочка.

— Я къ вашимъ услугамъ,—отвѣчалъ полный брюнетъ, съ черными, ласкающими глазами.

Офицеровъ не менѣе, какъ и казаковъ, поразилъ голосъ и вся наружность прѣзжаго. Но онъ такъ ловко соскочилъ съ сѣдла, бросилъ поводья на луку сѣдла такъ умѣло и изящно и такъ дружески сказалъ коню: „смирно, Алкидъ“, который и сталъ какъ вкопанный,—что все это разомъ расположило ихъ въ пользу таинственнаго гостя.

— Что вамъ угодно?—спросилъ полковникъ ласково.

— Я прѣхалъ просить васъ, полковникъ, чтобы вы взяли меня въ вашъ полкъ.

— Васъ! въ полкъ!.. Да вы ребенокъ,—извините пожалуйста.

— Нѣтъ, господинъ полковникъ, я уже не ребенокъ... я могу владѣть оружіемъ...

— Но простите,—я не знаю, кто вы...

— Я дворянинъ, полковникъ... Моя фамилія—Дуровъ... Я хочу служить царю...

— Но для этого есть законный путь.

— Для меня онъ закрытъ, господинъ полковникъ: отецъ запрещаетъ мнѣ служить, а я желаю.

— Но вы не изъ казачьяго роду?

— Нѣтъ, мой отецъ русскій дворянинъ, служилъ въ гусарахъ.

— Въ такомъ случаѣ, вы не можете быть казакомъ: противъ васъ законъ.

Дѣвушка поблѣднѣла и зашаталась. Тревоги нѣсколькихъ дней, почти двѣ ночи, проведенныя безъ сна, послѣдняя ночь, полная потрясающихъ впечатлѣній, пятьдесятъ верстъ на сѣдлѣ безъ роздыха, безъ сна, безъ пищи, страстность, съ которою все это дѣлалось, чтобы исковеркать всю свою жизнь какъ женщины, боязнь и мука за отца, грозное и невѣдомое будущее, наконецъ, просто усталость, разбитость нѣжнаго тѣла и нервовъ,—все это заставило зашататься необыкновенную дѣвушку. Офицеры замѣтили это и подскочили къ ней. Самъ полковникъ поддержалъ ее.

— Простите... успокойтесь... вамъ дурно...

— Нѣтъ, благодарю... я устала... (дѣвушка спохватилась на окончаніи женскаго рода, и слабая краска опять залила ея блѣдныя щеки),— я не спалъ двѣ ночи...

Полковникъ ласково держалъ ее за руку.

— Рученки-то какія—совсѣмъ дѣтскія... Да, вамъ надо отдохнуть, а тамъ мы потолкуемъ,—говорилъ онъ нѣжно.—Господа, пойдите ко мнѣ... милости прошу и васъ, господинъ Дуровъ.

Дѣвушка сдѣлала знакъ Алкиду—онъ пошелъ за нею.

— Ахъ, какой дивный конь!—замѣтилъ полковникъ.

— Да его хоть въ гостиную, — засмѣялся молоденькій офицеръ. — Пожалуйте, господинъ Алкидъ,—какъ васъ по батюшкѣ....

Всѣ засмѣялись. Алкидъ чинно выступалъ за офицерами, словно и въ самомъ дѣлѣ собирался въ гостиную.

— Ахъ, какой милый конь! какая умница!.. Лузинъ, выводи его да задай ему овса,—распорядился полковникъ, обращаясь къ вѣстовому.

— Позвольте, господинъ полковникъ, я прикажу Алкиду слушаться, а то онъ нѣкого къ себѣ не подпуститъ,—замѣтила дѣвушка, обращаясь въ сторону своего коня.

И дѣйствительно, когда Лузинъ подошелъ не нему, чтобы взять его, Алкинъ поднялъ голову и сдѣлалъ угрожающій видъ.

— Ишь ты, строгій какой, недотрога,—засмѣялся вѣстовой. —Фу-ты, ну-ты...

Дѣвушка подошла къ нему и, погладивъ шею коня, поправивъ чубъ, падавшій на глаза упрямцу, сказала:

— Ну, Алкидъ, слушайся вотъ его—это Артемъ.

Конь радостно заржалъ. Слово „Артемъ“ напомнило ему, вѣроятно, конюшню, овесъ и всякія сласти въ лошадиномъ вкусѣ. Онъ позволилъ взять себя подъ-устцы.

— Вотъ такъ-то лучше, — улыбнулся вѣстовой казакъ, — а то, на—чортъ ему не брать.

Юнаго гостя ввели въ домъ, занимаемый полковникомъ,—это былъ домъ сельскаго попа,—усадили, ухаживали за нимъ, какъ за найденышемъ, полковымъ найденышемъ. Вошла матушка-попадья, заинтересованная необыкновеннымъ шумомъ, да такъ и всплеснула руками:

— Ахъ, святители! да какой же молоденькій! Да и какая это мать-злодѣйка отпустила дятю такую!

— А вы, матушка, живѣй самоварчикъ велите подать да закусить чего-нибудь нашему птенчику,—распоряжался добрякъ полковникъ.

— Да гдѣ это вы раздобыли младенца такого? Ахъ, святители! и жалости въ нихъ нѣтъ!—убивалась попадья.

— Это нашему полку Богъ послалъ радость,—смѣялся полковникъ.— Да не морите же его, матушка! Онъ совсѣмъ ослабъ.

— Сейчасъ, сейчасъ...

Юный воинъ дѣйствительно изнемогъ. Необыкновенная блѣдность щекъ выдавала это изнеможеніе, а внутренняя тревога добивала окончательно. Да и кого хватило бы на такой подвигъ, на такіе труды, когда на карту ставилась вся жизнь, и назади даже не было примѣра, на который бы можно было опереться? Кто жъ бы не поддался тревогѣ въ такомъ положеніи? И на какія щеки не сойдеть блѣдность въ минуты, когда вынимается жребій жизни? А вѣдь это ребенокъ, дѣвочка, еще не выросшая изъ коротенькаго платица, но уже отважившаяся на небывалый, историческій подвигъ... Тысячи трудностей, мелочей, но въ ея положеніи—роковыхъ мелочей опутываютъ ее какъ паутиной. Ее можетъ выдать голосъ, походка, всякое движеніе, ненужный блескъ глазъ и стыдливость тамъ, гдѣ у мужчинъ не блеснутъ глаза, не вспыхнетъ румянецъ стыдливости или нечаянности... И во снѣ она должна помнить, что она должна быть *она*... А эти противныя женскія окончанія на *а*—была, спала, ѣла—такъ и сверлятъ память, путаютъ, мѣшаютъ говорить, бросаютъ въ краску и въ холодъ.

— Вы, кажется, озябли,—я бы вамъ совѣтовалъ выпить рюмку рому, для васъ это было бы хорошо,—суеился добрякъ полковникъ.

А молоденькій офицеръ ужъ тащить фляжку и рюмку—наливаетъ.

— Нѣтъ, благодарю васъ, я не пью,—уклоняется гость.

— Помилуйте! въ походѣ да не пить, это святотатство! — горячился полковникъ.

Но гость все-таки отказывается.

— Мнѣ не холодно, а скорѣй жарко,—щебечетъ дѣтскій голосокъ.

— Ну, такъ растегните чекмень, оставайтесь въ одной рубашкѣ: мы свои люди.

Шутка сказать—растегните чекмень! А что подъ чекменемъ-то? Рубашка?... То-то и есть, что противная рубашка выдастъ тайну... замѣтно будетъ.

— Растегнитесь...

— Нѣтъ, ничего... благодарю васъ, мнѣ и такъ ловко.

Въ это время въ комнату опять явилась попадья, вся запыхавшаяся, съ двумя банками варенья и блюдечками. За ней—стряпуха съ самоваромъ. За стряпухой—дѣвочка съ подносомъ и шипящей на сковородѣ глазастой яичницей.

— Вотъ вамъ яичница — свѣженькая, изъ самыхъ лучшихъ яицъ,—сама за курами смотрю, сама ихъ щупаю и до разврата съ чужимъ гѣтухомъ не допускаю... Чистыя яички... Кушай, мой голубчикъ, на здоровье... Поди, еще и не кушалъ сегодня?—съ ногъ сбившись, хлопотала попадья около юнаго гостя.

— Благодарю васъ.

— А много за ночь проѣхали?—любопытствовалъ полковникъ.

— Пятьдесятъ верстъ.

— Батюшки мои! святители! пятьдесятъ верстъ!—ужасается попадья.—

Да мой попъ, когда за ругой ѣздить, пятьдесятъ-то верстъ въ пять недѣль не объѣдетъ... Ахъ, Боже мой! Гурій казанскій! пятьдесятъ верстъ въ одну ночь... Слыхано-ли! Ахъ, голубчикъ мой, ахъ, дитятко сердечное!.. Ну, кушай же, кушай, а послѣ вареньица, — сама варила — и вишенное, и земляничное, — кушай, родной... А батюшка съ матушкой есть у тебя?

— Есть.

— И какъ же они отпустили тебя одного, — ахъ, Господи! ахъ, Гурій казанскій!

— Ну, матушка, — замѣтилъ смѣясь полковникъ, — вы совсѣмъ отняли у насъ нашего товарища.

— Ахъ, Господи — Гурій казанскій! какой онъ вамъ товарищъ? Прости, Господи, черти съ младенцемъ связались... Не людоеды мы, чай... Знамо, дитю покормить надо... Вонъ и у меня сыночекъ въ бурсѣ — какъ голодаетъ бѣдный.

И попадья насильно усадила юнаго воина за столъ, дала ему въ руки ложку, хлѣбъ и заставила ѣсть яичницу.

— Кушай, матушка, кушай — не гляди на нихъ... Они рады ребенка замучить.

Офицеры добродушно смѣялись, смотря, какъ гость ихъ, красѣя отъ причитаній попадья, съ видимымъ наслажденіемъ ѣлъ яичницъ.

— Изъ законнорожденныхъ яицъ яичница, — шутя замѣтилъ молодой офицеръ, — должно быть, очень вкусная.

— А развѣ, матушка, отъ распутной курицы яйца не вкусны? — спросилъ другой офицеръ.

— Тьфу! вамъ бы все смѣяться, озорники, — ворчала попадья.

Молодой воинъ, видимо, насытился. Усталость какъ рукой сняло.

— Ну, теперь и о дѣлѣ можно потолковать, — сказалъ полковникъ.. Такъ вы твердо рѣшились остаться при вашемъ намѣреніи, господинъ Дуровъ?

— Твердо, полковникъ.

— Ну, дѣлать нечего — я беру васъ съ собой: вы будете моимъ походнымъ сыномъ, а когда мы пойдемъ на границу, въ Польшу, я сдамъ васъ на руки какому-нибудь кавалерійскому полковнику... А въ казаки васъ принять нельзя.

— Мнѣ все равно, полковникъ. Я только хочу быть кавалеристомъ.

— Ну, и отлично... А если вашъ батюшка узнаетъ, гдѣ вы — вѣдь онъ имѣетъ право вытребовать васъ, какъ несовершеннолѣтняго.

— О! тогда я готова пулю себѣ въ лобъ пустить...

И она опять спохватилась на этомъ противномъ женскомъ окончаніи — „готова“... Она вся вспыхнула... Офицеры замѣтили это и переглянулись. Надо было найти въ себѣ страшную энергію, чтобы не выдать себя — и дѣвушка нашлась.

— Ахъ, противная привычка! — сказала она, вся красная какъ ракъ. — Я говорю иногда точно дѣвочка, а это оттого, что я съ сестрой всегда

шались: я говорилъ женскими окончаніями, а она мужскими—ну, и привыкли...

— Но отчего, скажите, батюшка вашъ не хотѣлъ, чтобы вы служили въ военной службѣ?

Дѣвушка замялась. Она, повидимому, не на всѣ вопросы могла отвѣчать, не на всѣ приготовилась. А этихъ вопросовъ впереди еще было такъ много; да и какіе еще могли быть впереди!.. Она молчала.

— Вѣроятно, по молодости,—замѣтилъ другой офицеръ.

Дѣвушка все еще не знала, что сказать; но наконецъ рѣшилась.

— Мнѣ тяжело отвѣчать на нѣкоторые вопросы,—сказала она.—Ради Бога, господа, простите меня, если я не всегда буду отвѣчать вамъ... Есть такія обстоятельства въ моей жизни, которыхъ я никому не смѣю открыть. Но вѣрьте—моя тайна не прикрываетъ преступленія.

— Ну, простите, простите... мы изъ участія только.

Въ то же утро часамъ къ двѣнадцати назначено было выступленіе. Со всего села казаки небольшими партіями съѣзжались къ сборному пункту—къ квартирѣ полкового командира. Къ этому же пункту со всего села бѣжали бабы, дѣвки, ребятишки, чтобы взглянуть на невиданныхъ гостей. Казаки чувствовали это и рисовались: бодрили своихъ заморенныхъ лошадей, заламывали свои кивера набекрень такъ, что они держались на головѣ какимъ-то чудомъ, а иной съ гикомъ проносился мимо испуганной толпы, выдѣлывая на сѣдлѣ такія штуки, какія и на землѣ невозможно бы было, казалось, выдѣлать.

Выѣхалъ, наконецъ, со двора и полковникъ, сопровождаемый офицерами. Выѣхала и юная героиня на своемъ Алкидѣ.

Казаки, завидѣвъ ее, пришли въ изумленіе—не всѣ знали о появленіи этого нечаяннаго гостя.

— Что это, братцы, на сѣдлѣ тамъ? Кубыть пряники? — шутили казаки.

— Да это попадья инспекта полковнику на дорогу.

— Нѣтъ, казаченьки, я знаю, что это.

— А что, братъ?

— Это нашъ хорунжій Прохоръ Микитичъ за ночь оценился...

Хохотъ... Раздается команда: „Строй! равняйся! справа заѣзжай!“

Казаки построились, продолжая отпускать шуточки то насчетъ другихъ, то насчетъ себя.

— Пѣсельники впередъ! маршъ!

Полкъ движется. Покачиваются въ воздухѣ тонкія линіи пикъ, словно приросшія къ казацкому тѣлу. Да и это тѣло не отдѣлишь отъ коня — это нѣчто цѣльное, недѣлимое... Пѣсельники затягиваютъ протяжную, заунывную походную литію:

Душа добрый конь!
Эхъ и- душа до-доб-рый конь!

Плачетъ казакская пѣсня — это плачь и утѣха казака на чужбинѣ... Ничего у него не остается вдали отъ родины, кромѣ его друга неразлучнаго, меренка-товарища, и оттого къ нему обращается онъ въ своемъ грустномъ раздумьѣ:

Ухъ-и-душа до-о-о-доб-рый конь!..

Нѣтъ, не вынесешь этого напѣва... Клубкомъ къ горлу подступаютъ рыдания...

Не вытерпѣла бѣдная дѣвочка... Она перегнулась черезъ сѣдло, прижалась грудью къ гривѣ коня, обхватила его шею. И у нея никого не осталось, кромѣ этого коня, кромѣ добраго Алкида... это подарокъ отца — его память... Папа! папа мой! о, мой родной, незабвенный мой!..

— Господинъ Дуровъ! а господинъ Дуровъ! — слышится ласковый голосъ офицера.

Она приходитъ въ себя и выпрямляется на сѣдлѣ... Около нея тотъ молоденькій офицеръ — Грековъ.

— Вамъ тяжело? — говоритъ онъ еще ласковѣе. — Еще есть время воротиться...

— О! никогда! никогда!.. Я не возвращусь домой, пока не встрѣчусь лицомъ къ лицу съ Наполеономъ.

— Ну, будь по вашему.

А пѣсня все плачетъ:

Охъ и душа добрый конь!..

- III.

Вотъ уже нѣсколько недѣль юный Дуровъ слѣдуетъ съ полкомъ и все болѣе и болѣе сживается съ своею новою жизненною обстановкою. Казаки не только привыкаютъ къ нему, но даже начинаютъ сосредоточивать на немъ всю свою нѣжность, какъ на любимомъ дѣтищѣ. Да и кого любить бродячѣ-казаку вдали отъ родины, кромѣ коня? Да что конь? Конь самособой! — „душа добрый конь“, другъ и пріятель, а все сердце еще ищетъ чего-то. Заведись въ полку собачка — и она становится общою любимицею: каждый казакъ зоветъ ее спать съ собою, ее носить на рукахъ, съ нею дѣлать лучшій кусокъ, изъ-за нея ссорятся. А тутъ завелось у нихъ „дítě“, „сыночекъ полковой“, такой тихій да скромный, „словно дѣвица красная“. Ну, и легъ у сердца онъ каждому казаку. А офицеры и подавно полюбили своего найденыша. Болѣе всѣхъ подружился съ нимъ молоденькій Грековъ, черноглазый и горбоносый, съ восточнымъ профилемъ, юноша лѣтъ за двадцать, большой фантазеръ, тоже мечтавшій взять въ плѣнъ Наполеона.

„Какъ только придемъ на Донъ, тотчасъ же попрошусь подъ команду Пла-

това—и тогда держись, корсиканская лиса“, часто говаривалъ мечтательный юноша и тѣмъ очень располагалъ въ свою пользу такого же мечтательнаго „камскаго найденыша“, какъ казаки называли иногда Дурова. Этотъ послѣдній, какъ ни старался держать себя въ сторонѣ отъ всѣхъ, однако съ Грековымъ менѣе дичился и былъ болѣе неразлученъ, чѣмъ съ другими офицерами

Вотъ и теперь, когда полкъ уже перешелъ границы земли Войска Донскаго и проводилъ послѣднюю дневку въ слободѣ Даниловкѣ, на Медвѣдицѣ, Грековъ и Дуровъ, пользуясь яркимъ и теплымъ октябрьскимъ днемъ, бродятъ вмѣстѣ по лѣсу и стрѣляютъ утокъ. И день, и мѣстность выдались великолѣпные. Солнце не печетъ, а только грѣетъ и окрашиваетъ въ безконечно разнообразныя цвѣта сильно желтѣющую и краснѣющую зелень лѣса; словно цвѣтами унизаны деревья сверху донизу желтыми, оранжевыми, красноватыми и ярко-красными листьями—это цвѣты осени, румянецъ, зловѣщій, какъ на щекахъ чахоточнаго, румянецъ лѣса передъ смертью... Тихо, такъ тихо кругомъ, что слышно, какъ желтый листокъ, отдѣлившись отъ стебля, уже не питающаго его своими соками, падая, задрѣваетъ другіе листья, еще не упавшіе, но уже мертвенно-блѣдные, пожелтѣвшіе. Листокъ за листкомъ падаютъ они на землю, словно бабочки, словно бы въ умирающей зелени еще остаются движенія жизни. Движенія жизни—нѣтъ, это смерть, это разложеніе. Отъ времени до времени слышится въ желтой листвѣ рѣзкій шелестъ и звукъ паденія—это выпадаетъ изъ своей чашечки перерѣзанный жолудь, какъ и желтыя листья, ищущій своей могилы. Ни птичьяго говора, ни гудѣнья насѣкомыхъ. Куда все это дѣвалось?

Набродившись до усталы, Дуровъ и Грековъ раскинулись на зеленой полянкѣ и молча глядятъ въ голубую высь.

Куда все это дѣвалось? Куда дѣвались птицы, распѣвавшія отъ зари до зари, отъ утра до ночи? Куда дѣвались тѣмъ другіихъ жизней и голосовъ, участвовавшихъ въ несмолкаемомъ хорѣ природы? А куда дѣвались молодыя грезы, золотые сны на-яву? Прошли,—все прошло, замерло, какъ замираетъ этотъ шорохъ отъ падающаго листа. Высоко, высоко въ голубомъ небѣ летятъ птицы... Длинной, ломаной линіей растянулись онѣ—и летятъ. Куда? откуда? И онѣ уходятъ туда, куда все ушло—и птицы, и весь весенній говоръ природы, и грезы, и сны золотые на-яву—уходятъ въ невозвратное прошлое. Нѣтъ, птицы воротятся опять, воротится и весенній говоръ природы,—но это будетъ не тотъ говоръ, не тѣ птицы,—а грезы не воротятся...

„Это лебеди летятъ... счастливые“, думается Дуровой, „какъ бы я съ ними полетѣла“.

И она летить-летить... Такъ легко стало ей тѣло, такъ легко разсѣвается она воздухъ въ стаѣ летящихъ по небу лебедей... И видится ей земная поверхность на необъятныхъ пространствахъ—отъ одного края Европы до другого, отъ сѣверныхъ морей до южныхъ, словно на обширной ланд-

картъ. Голубыми лентами извиваются рѣки, въ видѣ голубыхъ зеркалъ раскинуты тамъ и тамъ озера, окаймляемые то кудрявою, желтѣющею зеленью лѣсовъ, то зубчатыми или всхолмленными ожерельями горъ, то желтыми доскутами песковъ. Темными пятнами разбросаны по этому необозримому, неровному и неровно-цвѣтному полотну тысячи городовъ, селъ, отдаленныхъ, едва заметныхъ утесовъ.

„Это папа ходитъ по саду, думаетъ о чемъ-то, можетъ быть обо мнѣ... какой грустный... Папа, папа мой!“ Но голосъ не долетаетъ до него. Голова папы все наклонена къ землѣ, — не поднимается къ небу, чтобъ взглянуть на летящихъ лебедей. Это Кама виднѣется — словно змѣя, брошенная между зеленью и неподвижно застывшая.

„А это что за голоса доносятся отъ земли — такіе горестные, точно вопли?“

— Это плачутъ люди, — отвѣчаетъ одинъ лебедь, тотъ, который былъ вождемъ всей стаи.

— Какіе люди и о чемъ плачутъ?

— Это плачутъ матери и жены, дѣти и сестры, отцы и братья тѣхъ, которыхъ Наполеонъ положилъ въ безвременную могилу подъ Аустерлицомъ... Много тысячъ погибло тамъ.

— О, бѣдные, бѣдные! Какъ много несчастныхъ на землѣ...

— Ихъ больше, чѣмъ люди видятъ и знаютъ, больше даже, чѣмъ могутъ предполагать они.

— А ты почему знаешь это?

— Я все знаю — я Сатурнъ: я леталъ въ пространствѣ, когда еще земли не было и ничего не было, кромѣ меня и пространства, моего брата, да нашей матери — безконечности, которая не рождала насъ никогда, потому что и мы, оба брата, и мать наша существовали *всегда*.

— Господи! какъ страшно... Когда же это будетъ, и будетъ-ли, что люди меньше станутъ плакать?

— Будетъ... Но не скоро, — такъ не скоро, что для твоего ума это будетъ непостижимо.

Бѣдою, рѣзущею болью отзываются эти слова въ сердцѣ дѣвушки. А этотъ безконечный плачъ и стонъ! И все это несется отъ земли къ небу, и небо не разорвется, какъ гнилое полотно, отъ этихъ стоновъ и воплей. Небо... пустое, холодное, безконечное пространство, такое-же вѣчное, какъ и эта крылатая птица, этотъ вожатый лебедь-сатурнъ, время...

— А это же еще что за стоны и плачъ на землѣ — на всей землѣ?

— А это люди... видишь, сколько ихъ наплодилось съ того времени, какъ образовался этотъ атомъ вселенной — земля, наплодилось до тысячи милліоновъ этихъ двуногихъ паразитовъ земли, и вотъ они мрутъ, а то бы имъ негдѣ было жить на этой орѣховой скорлупѣ, что зовутъ землей... А всякій паразитъ, умирая и страдая, кричитъ, и этотъ крикъ земныхъ паразитовъ доносится до тебя... Ихъ такъ много, этихъ паразитовъ, что въ каждый моментъ умираетъ изъ нихъ одинъ или два и больше... Нѣтъ во

времени ни одного момента, чтобъ ни умиралъ какой-либо паразитъ, а вмѣсто него не нарождался бы другой—и тоже съ крикомъ, съ плачемъ... И я все это слушаю тысячи, миллионы, миллиарды лѣтъ, и опротивѣла мнѣ вселенная съ ея паразитами, съ ихъ глупыми страданіями, съ ихъ еще болѣе глупыми радостями и гордымъ сознаніемъ, что они—вышія существа, высшіе паразиты между низшими, инфузорными паразитами... Вонъ на Корсикѣ одна баба-корсиканка выкинула маленькаго паразита, не доносила во чревѣ, потому что и во чревѣ ея онъ былъ слишкомъ беспокоенъ,—и вотъ этотъ паразитикъ выросъ и, благодаря людской глупости, сталъ сначала ѣздить на людяхъ, а потомъ, видя ихъ конечную глупость, сталъ бить ихъ, а они за это вознесли его до небесъ, сдѣлали его своимъ идоломъ и теперь приносятъ ему человѣческія гекатомбы при Ульмѣ, при Аустерлицѣ, при Іенѣ, Ауэрштедтѣ... Глупые, подлые, ничтожно-падшіе паразиты...

— Не говори этого,—это неправда.

— Правда, вѣчная правда! Если бы они были не подлое ничтожество, они не позволили бы подлости торжествовать надъ ними, они не страдали бы такъ, какъ теперь страдаютъ,—они создали бы на землѣ рай, а они сдѣлали изъ земли хуже ада, и сами же плачутся... Придетъ время—и ты будешь плакаться...

— На кого?

— На себя.

— Какъ на себя?

— Такъ, на себя. Никто не долженъ плакаться на другого—каждый самъ себя создаетъ и рай, и адъ... Ты теперь что задумала? Зачѣмъ надѣла на себя эту ливрею смерти?

— Какую ливрею смерти?

— Мундиръ-саванъ... Вѣдь эта ливрея для того надѣвается, чтобъ другого уложить въ саванъ или самому саваномъ прикрыться... Развѣ ножомъ счастье пріобрѣтается?..

— Я ножомъ хочу завоевать себя свободу, которой лишена всякая женщина.

— Ножомъ завоевать свободу!.. О, жалкіе паразиты! Что ножомъ завоеывается, то ножомъ и отвоеывается. Пока люди будутъ считать убійство подвигомъ, до тѣхъ поръ они будутъ оставаться рабами и будутъ вѣчно страдать и плакать, какъ вонъ плачутъ теперь... Будешь и ты плакать и, умирая, пожалѣешь о своемъ молодомъ увлеченіи.

— Ты—духъ зла, сгинь отъ меня!

— Нѣтъ, я духъ добра, потому что я—знаніе: во мнѣ спасеніе человѣка и всего міра... Я, время, дамъ жалкому паразиту-человѣку знаніе, но только не скоро онъ догадается взять его знамя въ руки вмѣсто ножа...

И летять они все дальше и дальше, не слышно разсѣвая воздухъ, опережая бѣгъ, тонко-прозрачныя тучки. И земные предметы кажутся съ высоты такими ничтожными, мелкими, жалкими, какъ ничтожна и жалка вся земля въ страшной, непостижимой цѣпи мірозданья. Да, дѣйствительно,

все это жалкіе паразиты и притомъ безумные. Вонъ на обширной равнинѣ копошатся они, двигаются рядами, останавливаются, что-то выкрикиваютъ своими жалкими голосами... Это войска какія-то: виднѣтся вооруженіе, блестятъ стволы ружей, шишаки, кирасы, гладко отполированныя пушки. Да, это—войска, это—ничтожныя мошки, собравшіяся уничтожать другъ друга, словно бы имъ надоѣла ихъ жалкая жизнь, словно бы этой жизни отпущено имъ на сотни, тысячи лѣтъ. Шумъ особенно усиливается, когда къ этимъ рядамъ мошекъ приближается какая-то сѣренькая, самая маленькая мошка въ треугольной шляпѣ, верхомъ на конѣ.

— Что это такое тамъ?

— Это бѣшенныя мошки,—онѣ совсѣмъ обезумѣли и хотятъ сами умереть или закусать всякаго, кто попадется.

— Затѣмъ?

— А затѣмъ, что, по глупости своей, они не могутъ видѣть этой сѣренькой мошки, чтобъ не [прійти въ бѣшенство отъ восторга, и тогда идутъ на смерть, какъ на пиръ, забывая себя, своихъ женъ, дѣтей.

— Кто-жъ эта сѣренькая мошка? кто онъ?

— Да тотъ, о которомъ ты постоянно думаешь, который и тебя сдѣлалъ безумною... Это тотъ маленькій человѣчекъ, котораго, на зло глупому человѣчеству, не доносила какая-то корсиканская баба и выкинула.

— Такъ это Наполеонъ?

— Да. Онъ тебя свелъ съ ума. Ты была умненькая дѣвочка, пока не начиталась и не насышалась объ немъ отъ отца. А теперь и ты обезумѣла—хочешь быть героиней, убивать бѣшенныхъ мошекъ...

— Неправда! неправда! я ищу свободы...

И кажется ей, что это говорить не лебедь, называющій себя „Сатурномъ“, „временемъ“ и „знаніемъ“, а тотъ странный, умный старичокъ, котораго она видывала въ Малороссіи и котораго называли „философомъ“.

„Неужели это онъ говоритъ? Развѣ онъ умеръ и я умерла? Нѣтъ, мы сейчасъ охотились съ Грековымъ и говорили о Наполеонѣ, о войнѣ... Мы идемъ на Донъ... Затѣмъ же я лечу? Развѣ я птица? Или это сонъ?.. Нѣтъ, это не сонъ,—я сознаю, что я лечу надъ землей— выше лѣсовъ, выше горъ, выше облаковъ... Да и что такое летать? Мысль моя всегда парила надъ землей—она такая же крылатая какъ Сатурнъ... Но только она не всеѣдущая... Это и старичокъ философъ говорилъ... Я не забуду его словъ, его пѣсенъ...“

Добре було нашимъ батькамъ на Украини жпти,

А тепера досталося панщину робити.

Наступила чорна хмара, наступила й сива—

Не одбуде сынъ за батька, а батька за сына..

„Да, хорошо на Украинѣ—и мнѣ было тамъ хорошо... А что онъ, котораго я любила... Любила?.. А развѣ я и теперь не люблю его? Развѣ

не для *него* я покинула свой домъ, надѣла этотъ саванъ?.. Для свободы покинула? Для *него* покинула, чтобъ свободно найти *его*... А онъ, Сатурнъ, говорить, что я отъ Наполеона обезумѣла... И Сатурнъ не *все* знаетъ...”

„Но гдѣ же земля? Надо мною только небо, а подо мною—вода, вода вода безъ границъ, безъ очертаній...”

— Гдѣ мы? гдѣ земля?

— Земля подъ нами.

— А это что за вода?

— Это океанъ—это вода... Если этой водой всплеснуть вверхъ да по бокамъ, такъ весь родъ людской съ его городами, храмами, дворцами и хижинами такъ же смоеся съ лица земли, какъ смывается водою пыль съ запыленного лица.

И на поверхности этой безбрежной воды носится что-то маленькое, жалкое, едва видимое... Боже мой! это лодочка,—это ничтожная щепка въ океанѣ... Какъ бросаетъ ее съ одного гребня валовъ на другой—такъ и зализываетъ водяными языками... На этой щепкѣ кто-то сидитъ — несчастный!..

— Кто это въ лодкѣ, бѣдный?

— Это ты, безумная. Это ты пустилась въ океанъ жизни на щепкѣ...

Валы, между тѣмъ, становятся все сердитѣе и сердитѣе. Это какіе-то страшные звѣри, чудовища съ длинными бѣлыми гривами. Они попеременно набрасываются на утлую лодочку—поднимаютъ ее на гриву, потомъ сбрасываютъ въ мутно-зеленую бездну, снова подхватываютъ на гребень и снова сбрасываютъ... Не устоять противъ нихъ бѣдной ладѣ — ихъ миллионы, и каждый стремится догнать бѣдную щепку, вскинуть на бѣлую вершину свою и опять столкнуть внизъ...

Но вотъ и щепки не видно—пропала бѣдная щепка!

„Утонула безумная!“ слышится голосъ въ ропотѣ морскихъ волнъ.

Нѣтъ, „безумная“ не утонула еще—она летитъ надъ океаномъ вмѣстѣ съ стаей лебедей. Все ниже и ниже къ водѣ спускаются птицы... „Безумная“ чувствуетъ уже на своемъ лицѣ холодъ — это брызги волнъ долетаютъ до нея... Все ниже и ниже—ноги касаются воды... Охъ, страшно!.. Она погружается въ океанъ... Лебеди плывутъ по волнамъ, плывутъ дальше, дальше, а она—тонетъ...

Она начинаетъ кричать; но голосъ ея замираетъ въ дикомъ шумѣ волнъ.

— Папа! папа! спаси меня...

Этотъ странный крикъ разбудилъ Грекова, который, лежа на травѣ и глядя на голубое небо, вздремнулъ. Приподнявшись на локтѣ, онъ видитъ, что это стонетъ Дуровъ.

— Дуровъ! что съ вами?—окликаетъ онъ товарища.

— Спаси! спаси, папа! Я упала въ море...

— Да вы бредите что-ли, Дуровъ?

Нѣтъ отвѣта. Слышится только невнятный стонъ. Грековъ встаетъ и тихонько подходитъ къ товарищу. Тотъ лежитъ на спинѣ, голова закинута назадъ. Шевелятся только губы у соннаго да грудь высоко подымается... Что за чудо! Грековъ себѣ не вѣрить... Ему и прежде казалось, что у этого стройненькаго, перетянутаго въ рюмочку, женоподобнаго Дурова, при всей его тонинѣ и жидковатости, грудь казалась очень высокою, соколиною; но теперь онъ положительно видѣлъ, что подъ чекменемъ вздымаются и опускаются женскія груди. Форма груди совсѣмъ женская, и овалъ у талии, закругленія къ бедрамъ—совсѣмъ не мужскія. Нѣтъ, это не Геркулесъ, а скорѣе Омфала, Венера...

Грековъ нагибается и тихонько дотрогивается до груди спящей и тотчасъ же отдергиваетъ назадъ руку въ величайшемъ смущеніи... „Это женщина...“ Необъяснимое, смѣшанное чувство овладѣло молодымъ чело-вѣкомъ — и чувство стыда, и чувство нѣжности, и глубокая радость... „Бѣдная!..“

— Дуровъ! а Дуровъ!

Онъ трогаетъ спящую за плечо. Та съ испугомъ открываетъ глаза и сначала никакъ не можетъ прійти въ себя.

— Что это? Что случилось?

— Ничего... Но вы очень стонали во снѣ, — я испугался за васъ и разбудилъ, — говорилъ Грековъ, чувствуя, что онъ краснѣетъ, и не смѣя взглянуть въ глаза товарищу-дѣвушкѣ.

Покраснѣла и она; но тотчасъ же быстро вскочила на ноги и оправилась.

— Мнѣ страшный сонъ привидѣлся—я тонула...—И она покраснѣла еще больше... Проклятая привычка!

— Да, вы очень стонали... Вы уснули слишкомъ навзничъ — это вредно... приливъ крови...

— Ахъ, какой сонъ!.. Сначала мнѣ казалось—я летаю, что я лебедь... Тутъ и Сатурнъ какой-то въ видѣ лебедя, и вся земля подъ ногами, и Наполеонъ...

— Да это оттого, что мы все объ немъ говорили.

— А потомъ страшный океанъ, лодочка на немъ, потомъ я падаю, тону... Какой тяжелый сонъ!.. Вѣроятно, я очень стоналъ?

— Да, очень.

— Какъ это глупо... Во снѣ чело-вѣкъ—точно ребенокъ,—ничего не соображаетъ и часто болтаетъ вздоръ...

— Да. Но иногда и проговаривается—тайну выдаетъ.

Дурова подозрительно, исподлобья взглянула на своего собесѣдника. Тотъ замѣтилъ это и постарался погасиваться, все болѣе и болѣе убѣждаясь, что передъ нимъ женщина.

— Часто во снѣ произносятъ имя любимой особы,—сказалъ онъ.

— Такъ, можетъ, и я во снѣ называла имя какой-нибудь барышни—да?—принужденно, видимо насильственно смѣялась Дурова.

— Нѣтъ, не барышни, а мужчины,—отвѣчалъ Грековъ, улыбаясь.
Дурова еще больше смѣшалась.

— А! вотъ какъ! вѣроятно, имя школьнаго товарища, а можетъ быть—конюха Артема?—отшучивалась она.

— Нѣтъ, вы говорили, кажется, „папа“, „папа...“

— Очень можетъ быть!... Однако намъ пора въ слободу, — я проголодался какъ волкъ.

— И я тоже... хоть я и не тонулъ, какъ вы, а все-таки доходился до собачьяго аппетита.

Они взяли свои ружья, сумки съ настрѣлянной дичью и направились къ слободѣ, раскинувшейся на полугорѣ, надъ большимъ озеромъ, съ одной стороны окаймленнымъ густымъ лѣсомъ. Дорога шла ровнымъ какъ скатерть лугомъ. Дойдя до конца луга, охотники невольно остановились. На широкой, гладко укатанной дорогѣ, растянувшись во всю длину, грѣлась на солнышкѣ сѣрая, аршина въ полтора длиною змѣя.

— А! мудрецъ спитъ на дорогѣ,—замѣтила Дурова.

— Какой мудрецъ?

— Да вотъ — сѣрый, длинный... Будьте мудры яко змѣи, а онъ, дуракъ, на самой дорогѣ уснулъ.

— Правда... А ну-ка я попотчую мудреца.

И Грековъ, приложившись къ ружью, собирался выстрѣлить въ неосторожнаго гада. Но Дурова остановила его.

— Нѣтъ, не трогайте,—я его въ плѣнъ живымъ возьму.

— Какъ? Вѣдь онъ укуситъ.

— Не укуситъ—онъ глупъ, какъ Ева... только такую дуру, какъ наша прабабушка, онъ и могъ соблазнить.

Грековъ какъ-то странно засмѣялся, а Дурова, вынувъ изъ своего ружья шомполъ, тихо приблизилась къ змѣѣ. Последняя, слышавъ шаги, быстро поползла съ дороги, торопясь укрыться въ травѣ, но Дурова предупредила ее забѣжавъ впередъ. Змѣя, свившись спиралью, подняла свою тонкую, черную, красиво блестящую на солнцѣ головку. Маленькіе глазки ея заискрились, копьевидный раздвоенный языкъ-жало, словно черная стальная булавка, быстро высовывался и прятался.

— А! трусишь?

— Она злится... она бросится...

— Нѣтъ, трусить... А, мудрецъ! а бабушку зачѣмъ соблазнилъ? Мы бы и теперь въ раю жили, если-бы не ты, да и Наполеона бы не было...

— Антихриста-то? Апаііона?

Когда змѣя, видя опасность, юркнула было въ сторону отъ Дуровой. эта последняя, быстро нагнувшись, ловко прижала головку гада шомполъ къ землѣ, а другою рукою схватила его у самой головки и подняла на воздухъ. Змѣй, уцепленный пальцами дѣвушки у самой головы, не могъ укусить своей побѣдильницы и отчаянно извивался всѣмъ своимъ длиннымъ сѣрымъ тѣломъ: то онъ обвивался нѣсколькими браслетами вокругъ кисти

дѣвушки, то разматывался, какъ кнутъ, во всю длину и извивался въ воздухѣ.

Грекова такъ поразила эта смѣлость дѣвушки, что онъ, хотя за нѣсколько минутъ до этого сильно было заподозрилъ ея полъ и даже совсѣмъ убѣждался, что передъ нимъ женщина, теперь снова поколебался въ своей увѣренности: ни на что подобное никогда не рѣшится женщина... А эта... что это? Она поднесла змѣю къ своей шеѣ, и та ожерельемъ обвилась вокругъ воротника дѣвушки. Это ужъ чортъ знаетъ что такое!

— Охъ, матинко! охъ, лышечко! у козака на шии гадюка! жива гадюка!—закричали дивчаты, шедшія навстрѣчу охотникамъ, и бросились вразсыпную.

Дурова, освободивъ шею отъ живого, холоднаго ожерелья, быстро швырнула извивающагося гада наземь и прижала его ногой.

— Вотъ такъ мы и Наполеона раздавимъ, какъ я давлю этого библейскаго мудреца!—торжественно сказала странная дѣвушка.

Грековъ оцѣмѣлъ отъ изумленія. „Это бѣсъ какой-то“, смущенно думалось ему.—„Вотъ дьяволъ!“

IV.

Человѣчество живетъ порывами.

Хотя природа, какъ и исторія, не дѣлаютъ, говорятъ, скачковъ, а если послѣднія и допускаетъ иногда, повидимому, отступленія отъ этого общаго закона природы, въ видѣ насильственныхъ и массовыхъ переворотовъ, какъ бы выступаая изъ береговъ, то снова потомъ входитъ въ старое, естественное русло, по которому и течетъ медленно фарватеромъ поступательнаго движенія впередъ;—однако само человѣчество, творецъ этой исторіи, живетъ порывами. Иначе оно и жить не можетъ: безъ порывовъ и массовыхъ увлеченій оно оставалось бы стоячимъ болотомъ, въ которомъ и поросли не растутъ, и рака не заводится, и живая рыба не плеснетъ мертвою водою.

Историческіе скачки—это такія явленія, для совершенія коихъ еще не приспѣло время, не подготовлены умы, не выросли люди. Но и скачки эти—это историческая „проба пера и чернила“: не дозрѣли люди, такъ поймутъ, что надо дозрѣвать; не доросли старые умы — такъ доростутъ молодые, благо старыми умами имъ солнце указано, свѣтъ зажженъ— къ свѣту-то и потянутся молодые поросли. Но уже самые скачки показываютъ, что явленіе назрѣваетъ.

А порывы человѣчества—это его естественное творческое напряженіе, безъ котораго немислима жизнь, немислимо развитіе. Только напряженное состояніе факторовъ творчества—всякаго творчества, и физическаго, и духовнаго, только потенциальность не только матеріи, но и духа—плодотворны: потенциальность и напряженіе мускуловъ въ физическомъ трудѣ, потенциальность и напряженіе мысли и фантазіи въ художественномъ творествѣ, по-

взглядомъ, нѣмчикъ, кушавшій бѣлыя булочки съ свѣжимъ масломъ; и оттого самъ такой бѣленькій, почтительный къ папашѣ и мамашѣ, ласковый съ сестрами, услужливый передъ наставниками и начальствомъ. На немъ артиллерійскій на мѣху шпенцеръ и мѣховой картузь. Говорить мягко, мелодично, вкрадчиво.

Кошечка эта—не менѣе знаменитый, чѣмъ Платовъ, партизанъ Фигнеръ. Если солдаты и не боготворятъ его, какъ казаки боготворятъ Платова, за то глубоко вѣрятъ, что эти ясные глаза не моргнутъ, эта бѣлая, мягкая, словно крупчатая рука не дрогнетъ—перестрѣлять изъ пистолета разомъ до сотни беззащитныхъ плѣнныхъ, одного послѣ другого. Солдаты глубоко увѣрились, что подъ этой крупчатой наружностью кроется дьявольская сила характера, отвага невиданная, хладнокровіе въ битвахъ непостижимое и неслыханная жестокость—и все это съ внѣшней мягкостью, съ улыбкой на розовыхъ губахъ, съ невинностью во взглядѣ!

Славный партизанъ 12-го года и товарищъ Фигнера, поэтъ Денисъ Васильевичъ Давыдовъ, такъ характеризовалъ впослѣдствіи своего соратника въ письмѣ къ Загоскину, автору безсмертнаго романа „Юрій Милославскій“:

„Когда Фигнеръ входилъ въ чувства, — а чувства его состояли единственно въ честолюбіи и самолюбіи, — тогда въ немъ открывалось что-то сатаническое, такъ, какъ и въ средствахъ, употребляемыхъ имъ для достиженія опредѣленной имъ цѣли, ибо сіе сатаническое столько же оказывалось въ его подлой униженности предъ людьми ему нужными, сколько въ надменности его противъ тѣхъ, отъ коихъ онъ ничего не ожидалъ, и въ варварствахъ его, когда, ставя рядомъ до 100 человекъ плѣнныхъ, онъ своей рукой убивалъ ихъ изъ пистолета одного послѣ другого... Бывъ самъ партизаномъ, я знаю, что можно находиться въ обстоятельствахъ, не позволяющихъ забирать въ плѣнъ; но тогда горестный сей подвигъ совершается во время битвы, и не хладнокровно и послѣ уже того опаснаго обстоятельства, которое миновалось, что дѣлалъ Фигнеръ. Лицемерство его доходило до того, что, будучи безбожникомъ во всемъ смыслѣ слова, онъ, по занятіи Москвы, другой книги не имѣлъ и не читалъ, кромѣ Библіи. Что же касается до коварства его, то вотъ два случая: былъ взять въ плѣнъ одинъ французскій офицеръ; Фигнеръ съ нимъ обошелся ласково, потомъ вошелъ съ нимъ въ дружескую связь, и когда, черезъ нѣсколько дней, все изъ него вывѣдалъ, тогда подошелъ къ нему сзади, когда сей несчастный обѣдалъ съ офицерами отряда, и убилъ его своею рукою изъ духового ружья своего. Съ другимъ плѣннымъ офицеромъ онъ также вошелъ въ дружескую связь и, вывѣдавъ у него все, что нужно было, призвалъ въ отрядъ его находившагося ахтырскаго гушарскаго полка поручика Шувалова и спросилъ его: „Знаете-ли, что ваша обязанность исполнять волю начальника?“ — „Знаю“, — отвѣчалъ тотъ. — „Такъ подите сейчасъ и задавите веревкою соннаго французскаго офицера или застрѣлите его“. Шуваловъ отвѣчалъ, какъ благородный офицеръ, и Фигнеръ

нарядилъ на этотъ подвигъ ахтырскаго гусарскаго полка унтеръ-офицера Шіапова, извѣстнаго храбреца, но человѣка тупого ума, непросвѣщеннаго и увѣреннаго, что истребленіе французовъ какимъ бы то способомъ ни было доставляетъ убійцѣ царство небесное. Онъ исполнилъ приказаніе.

„Ко всѣмъ симъ отвратительнымъ порокамъ,—продолжаетъ Давыдовъ,—Фигнеръ соединялъ быстрый, тонкій, проницательный и лукавый умъ. Былъ мало свѣдущъ въ наукахъ, даже относительныхъ къ военному дѣлу, хотя служилъ въ артиллеріи. Но зато обладалъ духомъ непоколебимымъ въ опасностяхъ и, что всего важнѣе для военнаго человѣка,—отважностію и предприимчивостію безпредѣльными, средствами всегда готовыми, глазомъ точнымъ, сметливостію сверхъестественною; личная храбрость его была замѣчательна, но не равнялась съ сими качествами—могу сказать—съ сими добродѣтелями военными: въ нихъ онъ былъ единственъ! Зато безнравственность, безсовѣстность, плутни самыя низкія, варварство самое ужасное—превышали всѣ сіи качества военнаго человѣка“.

Называя Фигнера „Улиссомъ“ хитроумнымъ и лукавымъ, а третьяго славнаго партизана Сеславина благороднымъ „Ахилломъ“, который былъ выше Фигнера „и какъ воинъ, и какъ человѣкъ“, Давыдовъ такъ заключаетъ характеристику коварнаго „Улисса“: „Онъ мнѣ говаривалъ во время перемирія, что намѣреніе его, когда можно будетъ отъ успѣховъ союзныхъ армій пробраться чрезъ Швейцарію въ Италію, —явиться туда съ своимъ италіанскимъ легіономъ, взбунтовать Италію и объявить себя вице-королемъ Италіи на мѣсто Евгенія. Я увѣренъ, что точно эта мысль бродила въ головѣ, такъ какъ подобная бродила въ головахъ Фернанда Кортеса, Пизарра и Ермака; но однимъ удалось, а другимъ воспрепятствовала смерть и, можетъ быть, воспрепятствовали бы и другія обстоятельства—вотъ разница. Все-таки я той мысли, что Фигнеръ вылитъ былъ въ одной формѣ съ сими знаменитыми искателями приключеній: та же безчувственность къ горю ближняго, та же безсовѣстность, лицемеріе, коварство, отважность, предприимчивость, увѣренность въ звѣздѣ своего счастія!“

Такова-то ласковая кошечка, сидящая рядомъ съ Платовымъ подъ деревомъ. Поэтому понятно, что на слова Платова, что человѣчество живетъ порывами и что „міръ управляется казаками“, начиная отъ Моисея атамана и Христа и кончая атаманомъ Наполеономъ, кошечка, мечтавшая о коронѣ, отвѣчала:

— Я думаю, генераль, что міръ управляется казаками и партизанами.

— Во-во—вѣрно... Ахъ, проклятый почечуй!.. Вотъ еще кто править міромъ—почечуй...

Въ эту минуту что-то звякнуло, стукнуло — и передъ Платовымъ очутился казакъ, словно онъ съ неба сорвался: самъ красный какъ ракъ, киверъ на-сторону, конь весь въ мылѣ... Платовъ вопросительно глянулъ на него.

— Бакетъ, вашество, скрали,—отвѣчалъ тотъ.

— У кого?

— У *ево*, вашество.

— Кто?

— Атаманскаго полка хорунжій Грековъ съ казаками, вашество.

— Ну?

— *Онъ* недалече, вашество... Наши ребята тотчасъ по грибы пошли.

Платовъ улыбулся.

— По грибы?

— Точно такъ, вашество,—изъ полка Каменнова охотнички.

— А бекетъ что?

— Сначала все молчали, а какъ пытать стали черезъ дуло — ко лбу приставили—такъ показали, что самъ *онъ* недалече, а супротивъ нашего крыла — ихнихъ три корпуса: Лановъ корпусъ, да Сультовъ, да Муратовъ...

— Знаю... Я самъ скоро буду... Ступай.

Казакъ повернулся и ускакалъ какъ бѣшеный... Вдали послышались выстрѣлы и въ то же время что-то словно упало тяжелое, такъ что воздухъ дрогнулъ...

— Проснулся—откашливается,—замѣтилъ Платовъ, прислушиваясь.

— Вѣроятно, думаетъ возобновить вчерашнюю игру, — отвѣчалъ Фигнеръ, вставая съ травы, на которой сидѣлъ около Платова.

— Да, вчера у него карты были не козырные... Однако намъ пора къ своимъ мѣстамъ...

— Вы, генераль, вездѣ на мѣстѣ,—вкрадчиво сказалъ Фигнеръ.

— Ну, не совѣмъ... Намъ бы надо было гнать Наполеона, а не ему насъ.

Платовъ свистнулъ, и изъ кустовъ выѣхалъ казакъ, держа въ поводу лошадь атамана. Тамъ же была и лошадь Фигнера. И тотъ, и другой вскочили на сѣдла и поѣхали по тому направленію, куда ускакалъ вѣстовой казакъ.

Битва, видимо, началась. То тамъ, то сямъ учащенные ружейные выстрѣлы, словно хлопнушки, какъ-то глухо замирали въ воздухѣ, между тѣмъ какъ болѣе внушительные звуки, не частые и не гулкіе, но какіе-то тупые, точно разрывали этотъ воздухъ и колебали его. Бѣлые клубы дыма, какъ огромные ключья взбитой ваты, взвивались то съ правой, то съ лѣвой стороны неглубокой рѣчки, извивавшейся въ пологихъ берегахъ; иногда дымные ключья вылетали изъ-за кустарниковъ или изъ-за опушки лѣса, а имъ отвѣчали такими же дымчатыми шарами изъ-за зеленыхъ, густою щетиною проросшихъ нивъ. Дымные круги все болѣе и болѣе сближаются, выстрѣлы становятся учащеннѣе, окрики орудій становятся все непрерывнѣе—и словно нервная дрожь пробѣгаетъ въ дымномъ воздухѣ—все дрожить и стонеть. Птицы, нечаянно попавшія въ это дымное пространство, испуганно мечутся и быстро отлетаютъ въ сторону...

Изъ-за дыма показываются двигающіяся колонны — и странный видъ представляютъ онѣ издали: это какія-то громадныя чудовища, которыя то

извиваются, то спрямляются, блестя щетиною трехгранных штыковъ или изрыгая клубы дыма съ какимъ-то словно бы захлебывающимся лопотаньемъ... А пушечные окрики все энергичнѣе и энергичнѣе—бумъ! буммъ! буммъ!

Въ дѣло бросается конница. Французскіе драгуны спихаются съ русскими уланами. Эскадроны несутся стройно, ровно, словно на парадѣ, пока въ эти ранжированные по ниткѣ ряды не ворвется смерть... Земля стонетъ отъ конскаго топота...

Съ самымъ первымъ эскадрономъ конно-польскаго полка, въ первой линіи, рядомъ съ сѣдоусымъ, хмурымъ вахмистромъ несется что-то юное, стройное, блѣднолицее—совсѣмъ дитя, и такъ бѣшено мчится въ объятія смерти, гдѣ свистящія пули и грохочущія ядра пушекъ... Это она — Дурова; въ глазахъ не то благоговѣйный ужасъ, не то благоговѣйный восторгъ...

— Да провались ты отселѣ, щенокъ!—рычить на нее сѣдоусый вахтеръ, видя, что она скачетъ не въ своемъ эскадронѣ—не по праву: она еще не заслужила права на смерть; ихъ эскадронъ еще не снялся съ мѣста, а она, по незнанію, кинулась впередъ—прежде отца въ петлю!

— Да сгинь ты, молокососъ!—снова огрызается вахтеръ.

— Да что тебѣ, дѣдушка?—удивленно спрашиваетъ дѣвушка, захлебываясь отъ скачки.

— Это не твой эскадронъ...

А ужъ смерть тутъ—спихались! Послышались крики, стоны, удары, ругательства... „Охъ... о!.. Боже!.. смерть моя!.. Смертушка, братцы!..“

Уже то тамъ, то здѣсь бѣшенный конь несется безъ сѣдока, высоко закинувъ голову... Иной несетъ на сѣдлѣ мертвое тѣло, пока оно не свалилось на землю... Нѣтъ порядка, нѣтъ ранжиру—смерть командуетъ...

А ружейное лопотанье такъ и захлебывается въ переливчатомъ огнѣ, перебѣгая съ мѣста на мѣсто, — словно это что-то живое лопочетъ несвязно, нервно... А горластыя пушки такъ и задыхаются, кажется, торопясь изрыгнуть больше и больше огней и смертей...

Отбившись отъ общей свалки, окруженный французскими драгунами, какой-то русскій офицеръ отчаянно защищается. Но онъ одинъ, а надъ нимъ сверкаютъ до пяти-шести сабельныхъ клинковъ... Онъ уже шатается на сѣдлѣ, готовъ упасть, сабельные удары скользятъ по немъ, по его сѣдлу, по лошади... Погибаетъ бѣдный!..

Это видитъ Дурова — и не выносить такого мучительнаго зрѣлища. Какъ безумная, съ пикой наперевѣсь, она несется на помощь погибающему, гикая по-казацки своимъ дѣтскимъ голосомъ—и странно, непостижимо! старые драгуны Наполеона робѣютъ этого дѣтскаго гиканья и разлетаются въ стороны.

— Кто вы?—спрашиваетъ дѣвушка, подскакивая къ офицеру, который уже лежалъ на землѣ раненый.

— Панінъ,—отвѣчаетъ тотъ.

А раненый конь его, освободившись от сѣдока, бѣшено скачетъ за убѣгающими драгунами, въ ряды непріятели, словно хочетъ отмстить имъ за своего хозяина.

Дѣвушка нагибается къ офицеру и поддерживаетъ его.

— Вы въ состояніи сѣсть на лошадь?—спрашиваетъ она, и у самой голосъ дрожить отъ волненія и счастья.

— Да мой конь убѣжалъ,—отвѣчаетъ тотъ.

— Садитесь на моего.

— А вы сами?

— Я здоровъ, а вы ранены.

Раненый, взглянувъ въ лицо своему спасителю, невольно восклицаетъ:

— Да вы—ребенокъ! какъ вы попали въ этотъ адъ?

Дѣвушка, ничего не отвѣчая, помогаетъ ему сѣсть на сѣдло.

— По крайней мѣрѣ скажите—кто вы? Я хочу знать имя моего спасителя,—настаиваетъ раненый.

— Я—Дуровъ, конно-польскаго уланскаго полка... Спѣшите въ обозъ перевязать вашу рану... Алкидъ! будь уменъ, вези хорошенько,—обратилась она къ коню и потрепала его шею. — До свиданья, господинъ Панинъ.

Панину казалось, что все это сонъ. Сномъ казалась и необыкновенной дѣвушкѣ первая битва, въ которой она участвовала и—спасла человѣка. Она сама не понимала величія своего подвига — она только радовалась, что сдѣлала доброе дѣло.

— А онъ еще щенкомъ меня назвалъ, этотъ сердитый вахмистръ... Но, Боже мой! наши, кажется, отступаютъ... Я ничего не понимаю... Я только благоговѣю передъ величіемъ боя... О, мой папа! мой папа!

V.

Да, это было отступление—и не первое... Русскіе уже не въ первый разъ отступаютъ, привыкли—Наполеонъ научилъ ихъ отступать. О! это хорошій учитель,—онъ научилъ отступать всю Европу, весь міръ—и русскіе отступаютъ. Отступали послѣ Ульма, отступали послѣ Аустерлица, отступали послѣ Прейсишъ-Эйлау. Отступалъ Кутузовъ, отступалъ Ваграціонъ, отступали Каменскій, Барклай-де-Толли, Буксгевденъ. Отступаютъ и теперь Бенигсенъ, Платовъ, Фигнеръ.

И она, жалкая снѣжинка этой великой русской арміи, тающей отъ взгляда корсиканца,—и она несется въ общемъ вихрѣ отступленія. Стыдомъ пылаютъ ея блѣдныя щеки, глаза не глядѣли-бы на это бѣгство — первое въ ея жизни. А какъ они бѣгутъ — эти маститые, закаленные въ бояхъ! И имъ не стыдно!

„Что скажетъ папа, когда узнаетъ о нашемъ отступленіи? Бѣдный! А

онъ такъ любилъ слушать, когда я декламировала ему оду Поспѣловой на разбитіе маршала Массены Суворовымъ:

Какъ буря облака—грядю
Онъ гонить галловъ предъ собою...

„А теперь, галлы гонятъ насъ, потому что у насъ нѣтъ больше Суворова. Какъ измѣнилось все со вчерашняго дня: какое хмурое небо, какая угрюмая зелень лѣса! А вчера такое голубое было небо, и еще голубѣе казалось оно изъ-за порохового дыма... А теперь мнѣ видится и на зелени кровь, и въ шумѣ лѣса мнѣ слышатся стоны раненыхъ, — не тѣхъ, что тамъ стонали, въ битвѣ, стонали и умирали подъ копытами лошадей, а тѣхъ, что я видѣла въ обозѣ, на перевязочномъ пунктѣ... Это они стонутъ... Какое лицо у казака, что умиралъ отъ страшныхъ ранъ и все стоналъ: „не снимайте съ меня гайтана—тамъ земля родная, съ Дону... Палага на прощаньи на гайтанъ навязала и на шею привѣсила...“ Какой ужасный бредъ!.. Бѣдная Палага — не жди вѣстей отъ своего друга... А Панинъ—какъ онъ жалъ мнѣ руку, какъ благодарилъ: не на гайтанѣ, говоритъ, „а въ глубинѣ сердца буду носить вашъ образъ и умру съ нимъ“... Зато и Алкидъ же былъ радъ, когда увидалъ меня въ обозѣ, какъ собака терся своей головой о мое плечо:

„Ты что жалобно чирикаешь, бѣдненькая птичка? Боишься за свое гнѣздышко?.. Да, наши кони растопчутъ его, какъ топтали вчера людей... Страшно! Вчера, на перевязочномъ пунктѣ, содрогаясь отъ стога раненыхъ, я еще болѣе содрогалась оттого, что слышала, какъ гдѣ-то неподалеку въ кустахъ заливался. глухой соловей, словно бы это былъ нашъ садъ на Камѣ, гдѣ я играла съ собаками, а не смертный пунктъ“...

Впереди какое-то препятствіе—и ряды конницы, двигающейся большею частью гуськомъ, останавливаются. Это плотина на дорогѣ, гать, да такая узкая, что можетъ пропустить только по три всадника въ рядъ. Передніе отряды переправляются, а задніе выжидаютъ. Солдаты перекидываются замѣчаніями.

— Да ты прежде накорми солдата, да тады и веди въ дѣло.

— Знамо, голодному какая война?

— Это точно, какая храбрость у голоднаго?

— На голодное брюхо и пуля идетъ, а отъ сытаго брюха отскакиваетъ.

Смѣются. Настоящіе дѣти!

— А все провіантскіе.. пусто-бъ имъ было!

— Знамо, провіантскіе... Не французъ насъ бьетъ, а свой братъ чинovníкъ.

Въ сторонѣ отъ дороги спѣшились гусары и кучкой усѣлись около чего-то, разсматриваютъ что-то съ большимъ вниманіемъ. Дурова подѣзжаетъ къ нимъ. Въ срединѣ кружка сидитъ старый гусаръ и держитъ

на колѣняхъ что-то такое, къ чему и приковано вниманіе всего кружка. Это что-то—черненькая собаченка. Бокъ у нея перевязанъ окровавленной тряпкой. Суровыя, загорѣлыя лица гусаръ съ нѣжной любовью и жалостью смотрятъ на раненое животное.

— Что это, братцы?—спрашиваетъ дѣвушка, тоже спѣшиваясь.

— Да вотъ Жучка наша эскадронная отходитъ.

— Ахъ, бѣдненькая!—ранена развѣ?

— Да, ранилъ вчера проклятый французъ... Семь разъ съ нами въ атаку ходила—цѣлехонька была... Ужъ мы ее и отгоняли, такъ нѣтъ—вонъ дядю Пилипенка она на шагъ отъ себя не отпускала, любить его шибко,—ну, и зашибли ее,—говорилъ словоохотливый гусарикъ.

А дядя Пилипенко глазъ не спускаетъ съ своего дорогого, раненаго друга. Руки, загрузѣлыя въ битвѣ, никогда не дрожавшія, когда тяжелымъ палашомъ мозжили и турецкія, и французскія головы, или когда въ Италіи сплетали этимъ палашомъ кровавыя лавры Суворову—эти руки теперь дрожать, бережно поддерживая умирающую Жучку. И углы губъ дрожать у стараго гусара, подъ сѣдыми бровями блестятъ слезы на опущенныхъ рѣсницахъ.

— А давно она въ нашемъ полку?—спрашиваетъ дѣвушка, у которой, при видѣ слезъ стараго гусара, тоже готовы брызнуть слезы.

— Давно ужъ—съ самаго какъ-есть съ походу. Она намъ всѣмъ какъ родная была... Дядя Пилипенко за пазухой ее у себя маленькую вынянчилъ... Ужъ и любила-жъ она его!.. Да и мы любили ее—такъ эскадронной крестницей и звали... Да и отплатила она намъ—подъ Пултускомъ нашъ полкъ спасла.

— Кто? она?

— Да, Жучка эта самая.

— Какимъ образомъ?

— Ночью разъ французы совсѣмъ было въ мѣшокъ насъ убрали, такъ Жучка увидала ихъ и сдѣлала тревогу; ну, и спаслись да еще и ихъ погладили маленько... Коли бы не грѣхъ, мы бы выпросили ей егорьевскій крестъ—она заслужила его... Когда на дядю Пилипенка надѣли тады этого Ягорья, такъ онъ такъ и сказалъ: „не я, говорить, это заслужилъ, а Жучка“.

— А! здравствуйте, Дуровъ!—раздался вдругъ голосъ за спиною дѣвушки.

Она невольно вздрогнула. Она грустно думала о старомъ гусарѣ, который, можетъ быть, въ этой Жучкѣ терялъ единственное дорогое существо—привязанность, которая одна осталась ему въ его небогатой теплыми воспоминаніями жизни.

Оглянувшись, Дурова увидѣла передъ собою Грекова и тотчасъ-же почему-то вспомнила, какъ они съ нимъ когда-то охотились, когда входили съ ихъ полкомъ въ Землю Донского Войска, какъ она видѣла тогда странный и тяжелый сонъ, какъ убила змѣю... Наполеона—и что-то вродѣ

краски показалось на ея загорѣлыхъ щекахъ, на которыхъ и слѣда не осталось прежней дѣвической бѣлизны и нѣжности.

— Что вы тутъ дѣлаете?

— Да вотъ бѣдная собачка умираетъ отъ ранъ—смотрю.

— Эскадронная Жучка, ваше благородіе,—пояснилъ словоохотливый гусарь.—Вчера семь разъ съ нами въ атаку ходила, ваше благородіе,—хорошая собака.

— Зачѣмъ же вы ее пускали?

— Никого не слушалась, ваше благородіе... Да она и подъ Устерлицомъ въ дѣлѣ была, и подъ Пултускомъ, да Богъ спасъ. А теперь—на-вотъ.

Послышалась команда, и спѣшившіеся гусары должны были садиться на коней. Старый Пилипенко бережно передалъ собаку на руки другого гусара и, вскочивъ на сѣдло, снова взялъ ее къ себѣ. Взводъ ихъ двинулся къ гати. Дѣвушка стояла задумчивая такая, грустная, провожая глазами отбѣжавшихъ гусаръ, увозившихъ съ собою Жучку... Бѣдная большія дѣти!

— Ну, что, какъ ваши дѣла?—спросилъ Грековъ, всматриваясь въ своего бывшего спутника, на лицѣ котораго, казалось, написано было что-то такое, чего не было прежде, но что такое—этого молодой казакъ прочесть не могъ.

Она молчала, тихо глядя шею своему коню.

— Были вчера въ дѣлѣ?—снова спросилъ Грековъ.

— Былъ.

— Ну, и что-жь?

— Ничего... занято... а вотъ сегодня объ Жучкѣ плачу...

И могилу въ полѣ ратномъ
Не лопатой—палашами
Жучкѣ вырыли герои...

Напишу такую „оду на смерть Жучки“ и пошлю къ Державину либо къ Карамзину въ „Вѣстникъ Европы“...

Дѣвушка говорила это какъ-то нервно, не то съ грустью, не то съ досадой.

— Дуровъ, да что съ вами?—приставалъ Грековъ.—Вчера, говорятъ, очертя голову лѣзъ на вѣрную смерть, вытаскивалъ другихъ изъ пекла, а сегодня—то-ли онъ смѣется, то-ли въ самомъ дѣлѣ плачетъ надъ Жучкой.

— Конечно, плачу надъ Жучкой.

Грековъ засмѣялся.

— Чудакъ же вы, я вижу.

— Не чудакъ. я а я серьезно говорю, что Жучка—герой! Она достойнѣ нашихъ нынѣшнихъ полководцевъ... Жучка цѣлый полкъ спасла

подъ Пултускомъ... Никогда еще этого не было, чтобъ русскихъ били, а теперь бьютъ какъ собакъ!

И дѣвушка, вынувъ изъ кармана тетрадку и показывая ее своему собесѣднику, спросила:

— Вы читали это?

— Что такое?

— „Мысли вслухъ на Красномъ крыльцѣ“—изъ Москвы прислали... Ростопчинъ сочинилъ.

— Нѣтъ, не читалъ. А что?

— Да все вретъ—досадно даже!.. Говорить, будто-бы мы бьемъ Бонапарта въ усь и въ рыло... Вотъ что онъ пишетъ о Наполеонѣ: „Италію разграбилъ, двухъ королей на острова отправилъ, цесарцевъ обдулъ, прусаковъ донага раздѣлъ и разулъ, а все мало! весь міръ захотѣлъ покорить: что за Александръ Македонскій!“

— А! то-то-же... а не вы-ли сами тоже говорили?—Помните зѣбу, что вы растоптали?

— Помню... Да это что! я и не говорю, что теперь мы бьемъ Бонапарта или прежде били, а онъ вонъ что плететъ о немъ: „Мужичишка въ рекруты не годится: ни кожи, ни рожи, ни видѣнья; разъ ударишь, такъ и слѣдъ простынетъ и духъ вонъ, а онъ таки лѣзетъ впередъ на русскихъ. Ну, милости просимъ!.. Лишь перешелъ за Вислу, и стали бубноваго короля катать: подъ Пултускомъ по щекѣ—сталъ покашливать; подъ Эйлау по другой—и свѣту Божью не взвидѣлъ...“ А вонъ мнѣ солдаты говорили, что тамъ насъ бубновый король каталъ...

— Ну, не совсѣмъ.

— Какъ не совсѣмъ! Вѣдь мы же отступили, какъ и сегодня отступаемъ.

— Экой вы какой горячій... Не даромъ о васъ всѣ говорятъ...

— Что говорятъ?

— Да что вы вчера цѣлый отрядъ французскихъ драгунъ обратили въ бѣгство...

— Вздоръ какой! (но дѣвушка не могла скрыть чего-то, не то краски, не то блѣдности, набѣгавшихъ на ея щеки—и стыдъ, и радость вмѣстѣ).— Ихъ было всего три или четыре человѣка...

— Полно скромничать... А кто свою лошадь отдалъ офицеру въ самомъ пылу сшибки?

— Да вѣдь онъ раненъ былъ, а я здоровъ.

— Ну, вѣстимо! Зато теперь вездѣ слышно: „проявился, говорятъ, какой-то отчаянный мальчишка, не то дѣвченка, да такъ и лѣзетъ на смерть, очертя голову“...

— Это не обо мнѣ, это о Жучкѣ. говорятъ... Непремѣнно сочиняю о Жучкѣ...

Въ полѣ ратномъ, въ полѣ честн
Жучкѣ вырыли могилу,

А копали палашами,
Оросили всю слезами,
И какъ Жучку погребали—
„Мысли въ-слухъ“ надъ ней читали.

— Однако, Дуровъ, вы не только злой рубака, но и злой стихотворецъ.

— Поневоля будешь злымъ, когда все злится, на что ни взглянешь... Мне теперь стыдно вспомнить, какъ я вмѣстѣ съ офицерами нашего полка, когда еще не столкнулись лицомъ къ лицу съ Баналартомъ, декламировать изъ „Димитрія Донского“ Озерова—

И чувство пылкое, творящее героя,
Покажемъ скоро мы среди кровава боя!

Вотъ и показали!.. А одинъ офицеръ все носился съ этимъ стихомъ:

Поди и возвѣсти Мамаю,
Что я его какъ чорта изломаю!

— А сегодня, когда я его спросилъ—„ну, что—изломали Мамаю?“—такъ онъ отвѣчалъ, что солдаты потому плохо дрались, что были голодны, что провіантскіе чиновники совсѣмъ заморили нашу армію.

— Это правда,—подтвердилъ Грековъ.—Вчера французы отрѣзали было у насъ обозъ съ провіантомъ, а наши гаврилычи напали на нихъ и отбили. Такъ провіантскій чиновникъ, который завѣдывалъ этимъ обозомъ, подбѣгаетъ къ нашему уряднику, что обозъ отбилъ, и падаетъ ему въ ноги—такъ и валяется. Урядникъ думаетъ, что тотъ его благодарить за спасеніе обоза, да и говорить, что не за что-де благодарить; а тотъ валяется въ ногахъ и просить, чтобъ отдали обозъ французамъ опять... „Какъ!“ говоритъ урядникъ: „французамъ отдать?“—„Да тамъ, говоритъ чиновникъ, вмѣсто крупы и муки, по ошибкѣ—каково!—по ошибкѣ, говоритъ, пріемщика, оказался песокъ да опилки“...

— Ну, и что-жь?—спросила Дурова.

— Да подвернулся въ это время самъ атаманъ и какъ узналъ, въ чемъ дѣло, такъ сначала накормилъ провіантскаго чиновника нагайкой, а потомъ велѣлъ его кормить той мукой и крупой изъ песку и опилковъ, что онъ для солдатъ приготовилъ.

Дурова и руками всплеснула.

— Вотъ злодѣи, а еще русскіе!

На сердцѣ у нея становилось все тяжелѣе и мрачнѣе. Всѣ тѣ дѣтскія грезы, тѣ грандіозныя представленія войны и ея поэзіи не то, чтобы разбились о холодную, подавляющую стѣну дѣйствительности, но какъ будто-бы притупились сразу и упали камнемъ на сердце. Вмѣсто грознаго, крова-

ваго, величественнаго бога передъ нею вставало отвратительное чудовище—кровавое, но грязное, пресмыкающееся... Это былъ не тотъ поэтический громъ орудій, не тотъ свистъ пуль, не тѣ стоны раненыхъ и умирающихъ, которые представлялись когда-то въ летучихъ грезахъ,—нѣтъ, тутъ было что-то мертвящее, давящее, унижающее... Эти не кормленные солдаты, этотъ мусоръ вмѣсто хлѣба—и бѣгство, постыдное бѣгство!

Зато тѣмъ величественнѣе, страшнѣе и непостижимѣе представлялся ей образъ Наполеона. Она никакъ не могла думать, что онъ не великанъ. Только великанъ можетъ бросать отъ себя такую гигантскую тѣнь—тѣнь на полвселенной... Египетскія пирамиды при закатѣ солнца не могутъ бросать отъ себя тѣни на полміра, а онъ—онъ бросаетъ... „Мужичишка въ рекруты не годится—ни кожи, ни рожи, ни видѣнія!“ „Эхъ, Ростопчинъ, Ростопчинъ!.. Растопчетъ и тебя онъ когда-нибудь съ твоею кичливою похвалбою“...

Войска двигаются въ безпорядкѣ, какими-то табунами; всѣ части войскъ спутаны—кавалерія, пѣхота... Тамъ идутъ вбродъ черезъ ручьи и рѣчки, тамъ вязнуть въ болотахъ, путаются въ лѣсахъ.

— Куда мы идемъ? куда бѣжимъ?—спрашиваетъ она съ тоскою въ сердцѣ.

— Не знаю, а кажется—къ Фридланду или къ Кенигсбергу,—отвѣчаетъ Грековъ наобумъ.

— Что-жъ, развѣ насъ гонять?

— Да похоже на то, что не мы гонимъ.

— Боже мой! да какъ не сгорить со стыда вся армія, вся Россія!..

— Ужъ и со стыда! Подождите, и мы его накроемъ мокрымъ рядномъ.

Влѣво, у опушки лѣса, замѣтно какое-то особенное движеніе. Нѣсколько кавалеристовъ окружили развѣсистую иву и размахиваютъ руками, указывая на ея вершину.

— А! вѣрно кого-нибудь поймалъ,—замѣтилъ Грековъ.

— Кто—кого поймалъ?

— Фигнеръ кого-то.

— А! Фигнеръ? Это тотъ храбрецъ, что въ Греціи и въ Италіи бѣжалъ, а теперь чудеса дѣлаетъ?

— Да, онъ самый—большой проказникъ.

— Покажите мнѣ его.

Они подъѣхали къ лѣсу. Фигнеръ, окруженный нѣсколькими драгунами, направилъ дуло пистолета на вершину ивы и сердито кричалъ: „Слѣзай, чортова отродье, а то какъ бѣлокъ перестрѣляю!“.

На вѣтвяхъ ивы, въ густой зелени листьевъ, копошились двѣ темныя фигуры.

— Прыгай, пархатый!—и Фигнеръ выстрѣлилъ.

На деревѣ что-то вскрикнуло и словно мѣшокъ свалилось на траву. За нимъ съ дерева карабкалось что-то другое.

На травѣ валялся и стоналъ еврей, повидимому, раненый. Рыжіе

пейсы болтались безпорядочно, какъ растрепанныя пасмы льна.—Ой-вей! ой-вай!—стонать и бился оземь раненый.

— Говори, пархатый, откуда ты?—спрашивалъ Фигнеръ.

— Ой-вай, изъ Прейсишъ-Эйлау, господинъ панъ.

— А зачѣмъ ты сюда попалъ?

— Ахъ, мейнъ гневиге геръ! мы же шли у Фридланду.

— Зачѣмъ?

— Гандель робиць, пане добродзѣю... Ой-ой!

— Зачѣмъ же ты рѣку перешелъ, когда Фридландъ на той сторонѣ Алле?

— Мы, пане, францозенъ боялись, тамъ францозенъ мародиренъ.

Съ дерева слѣзъ другой еврей, блѣдный, дрожащій.

— А много тамъ французовъ?

— Много, ай много, пане.

— А куда они идутъ?

— Не вѣмъ, пане, далибугъ не вѣмъ.

— Врешь, пархатый! Ты посланъ шпиономъ... Говори ты!

И онъ обратился къ другому еврею, слѣзшему съ дерева:

— Говори! шпионы вы?

Еврей отчаянно трясъ головой и только бормоталъ:

— Не вѣмъ, пане, ницъ не вѣмъ...

— Говори! признавайся!—и нагайка повторила этотъ допросъ на снитѣ вопрошаемаго. Тотъ отчаянно вился и упорно повторялъ: „не вѣмъ—охъ, не вѣмъ, не вѣмъ!“

— Повѣсите ихъ! Это французскіе лазутчики... Отъ нихъ мы ничего не добьемся... На сукъ ихъ!—скомандовалъ Фигнеръ. — Они не стоятъ заряда.

Раненый приподнялся на колѣняхъ и съ отчаяньемъ поднималъ руки къ небу. Другой ухватился за стремя Фигнера и съ плачемъ цѣловалъ его ногу.

— Вѣшай ихъ живѣй!—командовалъ Фигнеръ, и сѣрые, стоячіе глаза его заискрились.—Вѣшай собакъ!

— Вережки нѣту, ваше благородіе, а казенной жаль,—апатично отозвался рябой, курносый драгунъ, словно бы рѣчь шла о томъ, какую веревкою перевязать пукъ сѣна.

— Ну, захлестните ихъ за тонкія вѣтви ивы, все равно подохнуть,—отозвался Фигнеръ.—Да живѣй, мнѣ некогда ждать.

И онъ поскакалъ впередъ. Оба еврея отчаянно бились на землѣ, ползая у лошадиныхъ копытъ драгунъ. Послѣдніе пригнули къ землѣ одну толстую, упругую и развѣсистую вѣтку ивы и, приподнявъ съ земли обезумѣвшихъ отъ ужаса евреевъ, быстро обмотали гибкими вѣтвями ихъ шеи, дѣлая это такъ хладнокровно, какъ бы они плели плетень изъ хворосту. Мертвыя ожерелья были скоро готовы. Несчастныя жертвы почти уже не кричали и не стонали, а только бились конвульсивно въ безжалостныхъ рукахъ своихъ палачей...

— Ладно... Пушай,—скомандоваль рябой драгунъ.

— Жиды на вербѣ...

— На верби груши!—состриль какой то хохоль драгунъ.

Дурова, закрывъ лицо руками, отвернулась отъ этой страшной картины и сказала, не оглядываясь, бессмысленно бормоча: „О война!.. проклятіе Божіе... братоубійство... Каины, Каины проклятые!..“

VI.

Фридландъ, Смоленскъ, Бородино... Страшно и скверно звучать эти имена и въ русской памяти, и въ русской исторіи... Страшно и скверно звучать они на человѣческомъ языкѣ... славою гремятъ—на языкѣ войны.

Двѣ великія арміи сошлись на берегахъ маленькой, жалкенькой рѣчки Алле, впадающей въ такую же жалкенькую рѣчку Прегель у Фридланда. Одною армію, большую, командуетъ великанъ міра, апокалипсическій страшный звѣрь,—ведетъ онъ ее на борьбу со всѣмъ міромъ. Другую армію, меньшую, ведетъ противъ апокалипсическаго звѣря полумертвецъ, полуразвалина—это русскій полководецъ Бенигсенъ. Въ предыдущей битвѣ онъ трупомъ лежалъ подъ деревомъ, въ обморокѣ, а когда приходилъ въ сознаніе, то командовалъ шепотомъ.. Шепотъ—передъ ревомъ пушекъ! Полководецъ въ обморокѣ—противъ Наполеона!

И теперь, наканунѣ 2-го іюня 1807 года, у Фридланда, съ глазу на глазъ съ страшнымъ Наполеономъ, русскій полководецъ, больной, изнемогающій, ищетъ себѣ ночлега! Но на этомъ, на правомъ берегу „паршивой рѣчки“ Алле, какъ называли ее солдаты, нѣтъ ночлега—ни одной лачужки. А тамъ, по ту сторону, Фридландъ—тамъ можно найти покойную постель русскому стратегу, противнику Наполеона, — Наполеона, которому сѣдло служить постелью.

— Здѣсь наши позиціи сильнѣе, чѣмъ на томъ берегу,—докладываетъ Багратионъ.

— Что-жъ, батюшка, околѣвать мнѣ здѣсь прикажете!—сердито отвѣчаетъ Бенигсенъ.

Нечего было дѣлать, надо было покоряться волѣ главнокомандующаго, которому не доставало постели. Только Платовъ не вытерпѣлъ и съ собственнымъ ему народнымъ юморомъ замѣтилъ:

— Да мои атаманы, ваше превосходительство, изъ-подъ самого Бонапарта достанутъ вамъ постельку, тепленькую,—только прикажите, мигомъ выкрадутъ.

Бенигсенъ раздражительно махнулъ рукой, и войска получили приказъ двигаться за Алле.

Какъ ни тяжела эта адская переправа послѣ усиленной гонки, послѣ безсонныхъ ночей и дождя, хлеставшаго двое сутокъ, но солдатикъ выноситъ все, какъ онъ стойчески выноситъ и самую жизнь свою. Да и что

была бы его жизнь безъ шутки? Хлѣба нѣтъ, сухарей нѣтъ — зато есть шутка: сапогъ нѣтъ на ногахъ—зато во рту присказка. Шутка—это солдатскій приварокъ.

Рѣчку большею частью приходилось переходить вбродъ.

— Эй, Заступенко, скидай портки!—кричитъ статный фланговый товарищу, который, засучивъ штаны, осторожно шагаль по водѣ, выскивая, гдѣ помельче было.—Скидывай скорѣй!

— На що ихъ скидать, коли я сегодня ще не пью?—отвѣчаетъ хладнокровно Заступенко.

Солдатики хохочутъ. И они вѣдь ничего не ѣли—ну, и смѣшно... До портковъ-ли тутъ?

— Какъ на что? Портками карася либо рака поймаешь—ну, и сваримъ ушицу, поужинаемъ.

— Овва! заразы сама юшка зробицца.

— Какъ? Какъ, изъ твоихъ штановъ развѣ?

— Та такъ. *Винъ* намъ такого жару задасть, що сама оця гаспидська ричка закипить и сама юшка изъ рыбы зробицца: тоди бери ложку та прямо изъ рички и їжъ... Отъ побачите.

— Ай да хохоль!

— То-то хохоль! Тоди вси безъ штановъ будемо...

Товарищи хохочутъ дружно, залпомъ.

— Молодцы, ребята!—раздается знакомый солдатикамъ голосъ.—Перебрались ужъ...

Солдатики встрахиваются—передъ ними Багратіонъ, любимецъ ихъ, тоже спутникъ большой.

— Ты что, Лазаревъ, безъ сапогъ?—обращается онъ къ статному фланговому, который острилъ надъ хохломъ, надъ Заступенкомъ.—Куда дѣваль сапоги?

— Да мы всѣ безъ сапогъ, вашество.

— Какъ безъ сапогъ?

— Точно такъ, вашество. Были у насъ сапоги, да только все казенные.

— Такъ что-жъ?

— Безъ подошовъ, значить.

— Какъ безъ подошовъ?

— Точно такъ, вашество,—безъ подошовъ... Какъ обули мы ихъ да пошли въ дѣло—подошвы и отвалились совсѣмъ да и сапоги развалились... Такъ мы ихъ, вашество, и побросали:—такъ-то, босикомъ, и драться способнѣе, ногамъ вольготнѣе.

— А на голодни зуби, ваше проходительство, ще лучше драться,—вставилъ свое слово Заступенко.

— Что такое?—удивляется Багратіонъ, попросту болтавшій съ солдатиками.

— Да хахоль, вашество, говорить, что голодный солдатъ храбрѣе сытаго,—поясняетъ Лазаревъ.

— Потому винъ храбришій, що исти хоче...

Солдатики опять смѣются. Смѣется и Багратіонъ.

— А вы, вѣрно, очень проголодались?—говоритъ онъ.

— Очень, ваше проходительство.

— Ну, значить, хорошо драться будете.

— Будемо, ваше проходительство.

Но въ это время гдѣ-то грянула пушка, за ней другая, третья, четвертая...

— Ну, дьяволы! и поговорить не дали!—огрызнулся храбрый Лазаревъ, видя, какъ Багратіонъ понесся по рядамъ только-что перебравшагося черезъ рѣку войска.

Канонада все разгоралась болѣе и болѣе, охватывая полукругомъ оба крыла нашей арміи. Точно съ неба или изъ-подъ земли раздается этотъ грохотъ, а самихъ французовъ не видать да и ружейныхъ залповъ не слышно.

— Да гдѣ они, черти?—слышится въ рядахъ солдатъ.—И стрѣлять не въ кого.

— Береги пулю, будетъ въ кого,—утѣшаетъ старый солдатъ.

— Та се винъ насъ такъ лякае, бисивъ сынъ,—поясняетъ Заступенко.

— Онъ теперь себѣ кашу варить, такъ вотъ и пугаетъ, чтобъ мы ему не мѣшали,—замѣчаетъ Лазаревъ.

— А димонивъ сынъ! чорти-бъ зѣтили его батька съ квасомъ!

— Ударимте на него, ребятушки, отымемъ у него кашу,—предлагаетъ смѣльчакъ.

— Нельзя, не приказано.

А канонада не умолкаетъ. Заступенко правъ былъ, говоря, что французы только „такъ лякаетъ“. Наполеонъ дѣйствительно открылъ канонаду подъ Фридландомъ на разсвѣтъ для того, чтобъ подъ ея пугающимъ прикрытіемъ дать время своимъ войскамъ занять выгодныя позиціи и успѣть отдохнуть до формальной битвы.

Если-бъ Заступенко имѣлъ хорошую зрительную трубу, то онъ увидѣлъ бы въ едва мигающей дали, на небольшомъ холмѣ, кучку людей на коняхъ, а среди этой кучки маленькаго, немножко пузатенькаго человѣчка съ нахлобученною на лобъ трехугольною шляпою, на которую не походила ни одна шляпа въ мірѣ. Заступенко увидалъ бы, что этотъ человѣчекъ, поднося къ глазамъ зрительную трубу, показывалъ рукою то по тому, то по другому направленію: то онъ показывалъ иногда на него, на самого Заступенку, то на его сосѣда Лазарева, и особенно вонъ на ту ворону, испуганно каркающую надъ русскими пушками, взвозимыми на возвышеніе. Ухъ, какъ каркаетъ проклятая ворона, не къ добру!.. Еслибъ Заступенко, наконецъ, могъ слушать и понимать французскую рѣчь, то онъ услышалъ бы, какъ этотъ маленький человѣчекъ въ трехугольной шляпѣ, показывая рукою на Заступенку и обращаясь къ окружающимъ его маршаламъ, говорить:

— Заступенко (то-бишь: „непріятель“, да это все равно), Заступенко хочеть, кажется, дать битву... Сегодня счастливый день, годовщина Маренго. А знаешь, Заступенко, что за Маренго? Вотъ сегодня узнаешь.

Маленькій человѣчекъ, окруженный свитою, состоящею изъ маршаловъ и генераловъ—Сультъ, Ланна, Мюрата, Лепрана и другихъ, объѣзжаетъ свои войска и осматриваетъ какъ свои, такъ и русскія позиціи. А русскій главнокомандующій давно нашель свою позицію, покойную постель въ Фридландѣ, и покоить на ней свое разбитое болѣзнями тѣло. Дурной, роковой признакъ!.. Бенигсенъ на знаетъ даже, что онъ очутился лицомъ къ лицу съ главными силами Наполеона, да и никто этого не знаетъ. Знаетъ все только одинъ Наполеонъ, потому что онъ вездѣ самъ, вездѣ носится его маленькое тѣло съ большою головою, прикрытою трехугольною небывалаго фасона шляпою, всюду заглядываетъ его зоркій глазъ, и силы, и движенія непріятеля ему такъ же ясны всегда, какъ движенія шашекъ на шахматной доскѣ. Это дѣйствительно богъ, или, вѣрнѣе, демонъ войны.

— Счастливый день, годовщина Маренго!

И эти слова императора-полководца вмѣстѣ съ громомъ пушекъ облетаютъ всю великую армію, и великая армія назлектризована, она дышетъ отвагой и увѣренностью въ побѣдѣ.

Стойка и безсапожная, голодная русская армія. Все равно умирать: приказало начальство, ну—и баста. А можетъ, коли кто уцѣлѣеть, и хлѣбца достанетъ, сухарика погрызетъ, щецъ похлебаеть... Куда щецъ! Да изъ-за шей русскій солдатикъ съ голыми руками на пушку пойдетъ, безъ рукавицъ чорта задавить...

А тамъ все буммъ да буммъ! А стрѣлять не въ кого... Животы подвело...

Но вотъ заговорили и ближніе пригорки, кусты, высокая зеленая рожь. Есть въ кого стрѣлять, есть на кого идти... Словно огненнымъ кольцомъ обвилися французы вокругъ лѣваго русскаго крыла, это ихъ стрѣлки сыплютъ свинцовымъ горохомъ, чтобы дать возможность развернуться конницѣ и пѣхотѣ... Развернулись, налегли всею массою, давятъ; въ русскихъ рядахъ то тамъ, то здѣсь у солдатиковъ подкашиваются рѣзвы ноженъки, закатываются ясны оченьки. Мѣста упавшихъ заступаютъ ихъ товарищи, смыкаются плотнѣе, идутъ лавою... Взять бы эти проклятыя, горластыя пушки, которыя выкашиваютъ цѣлые ряды босоногихъ и обутихъ героевъ, заставить бы ихъ замолчать, и тогда на штыки, въ рукопашную, какъ на кулачки, улица на улицу, лава на лаву... Такъ нѣтъ! шибко, смертно бьютъ проклятыя... „Охъ, смертушка!“—слышится страшный возгласъ. „Умираю, братцы!“... „Стой! не выдавай, ребята! поватужься!“

И отчаянно натуживается мужицкая грудь, какъ натуживалась она и надъ сохой въ полѣ, и надъ цѣпомъ на току, и съ серпомъ и косой на барщинѣ,—не привыкать ей натуживаться... Такъ нѣтъ! не обхватишь всей его силищи,—несомѣтная она, дьяволова!

— За мной, ребяташки!—кричитъ Багратіонъ съ саблею наголо.—Заткнемъ глотку вонъ той проклятой старухѣ... Впередъ!

Ему хочется завладѣть одной изъ самыхъ губительныхъ непріятельскихъ батарей, дѣйствія которой производятъ страшныя опустошенія во всемъ лѣвомъ крылѣ арміи, и онъ ведетъ своихъ молодцовъ въ атаку, прямо въ адскую пасть этой батареи.—„За мной!“

— Впередъ, братцы! дружнѣе! не выдавай! — вторятъ ему офицеры командъ, и также сверкаютъ жалкими клинками сабель.

Идутъ нога-въ-ногу, штыки на перевѣсъ, — лавой прутъ впередъ бося и обутыя ноги... Съ крикомъ „ура“ бросаются на „чортову старуху“, но, подкашиваемые словно серпомъ, не выносятъ адскаго огня, оставляя впереди и позади себя сотни труповъ, распластанныхъ, разметанныхъ, иногда трупъ на трупѣ...

— Нѣтъ, братцы,—не въ-моготу... охъ, смертно бьетъ!

И снова разстроенные ряды смыкаются, а пока они переводятъ духъ, впередъ несется кавалерія, стонетъ земля подъ конскими копытами, какъ лѣсъ вѣютъ въ воздухѣ разноцвѣтные значки, храпятъ лошади, что-то стонетъ и разрывается въ воздухѣ — и небо разрывается, и земля разверзается... А оттуда все напираютъ и напираютъ новыя силы... Адъ, чистый адъ!

Огненное и дымное кольцо охватываетъ уже и правое крыло русской арміи... Вотъ-вотъ отрѣжутъ самый Фридландъ, возьмутъ Бенигсена вмѣстѣ съ его ночлегомъ и постелью...

Онъ только теперь узнаетъ, что противъ него вся армія Наполеона.

„Погибъ! все погибло!“ стучить у него въ мозгу, въ сердцѣ, во всемъ тѣлѣ... Онъ падаетъ головой на столъ, на карту, на которой плохо изображена топографія мѣстности, гдѣ теперь идетъ битва,—и стонетъ не то отъ боли, не то отъ отчаянья.—„Пропала слава Прейсишъ-Эйлау... пропала моя слава... Андрей первозванный...“ Ему вспоминается этотъ орденъ, пожалованный ему за Прейсишъ-Эйлау... Непостижимъ человѣческій умъ: вспоминается ему и то, что онъ сегодня во снѣ ѣлъ гречневую кашу... Онъ стонетъ...

— Велите отступать! — хрипло говоритъ онъ стоящимъ около него адъютантамъ. Насъ отрѣжутъ...

Но и отступать уже нельзя, некуда: одно отступленіе—въ могилу.

На правомъ русскомъ крылѣ едва-ли еще не страшнѣе, чѣмъ на лѣвомъ и въ центрѣ... Кавалерійскіе полки такъ и таютъ отъ адскаго огня непріятельскихъ батарей... Наполеонъ знаетъ хорошо тактику смерти: чугунными ядрами онъ разрѣшетитъ сначала всѣ полки врага, смѣшаетъ конницу и пѣхоту, насуматошитъ во всѣхъ частяхъ арміи и тогда пускаетъ своихъ цѣпныхъ собакъ, своихъ гренадеръ, свою старую армію, и эти псы страшные окончательно догрызаютъ обезумѣвшаго врага.

— Счастливый день!—то-и-дѣло повторяетъ онъ.—Годовщина Маренго! Браво, моя старая гвардія!

И несутся по арміи эти ядовитыя слова, и звѣремъ становится армія...

— Vive l'empereur! — то тамъ, то здѣсь воютъ эти бѣшеные псы въ косматыхъ шапкахъ, и рѣзня идетъ неумолимая, неудержимая.

Безсильно стучить объ столь жалкая голова Беннигсена... „Отступать — спастись...“

— Бейте отступление! — кричитъ адъютантъ Беннигсена, подскакивая къ Горчакову, который командуетъ правымъ крыломъ.

— Кто приказалъ? — сердито раздается охриплый голосъ послѣдняго.

— Главнокомандующій.

— Скажите главнокомандующему, что для меня нѣтъ отступленія... Я не хочу отступать въ могилу... Я продержусь здѣсь до сумерекъ: пусть лучше останется въ живыхъ хоть одинъ солдатъ, но пусть онъ умретъ лицомъ къ врагу, а не затылкомъ... Доложите это главнокомандующему!

Отправивъ назадъ адъютанта, Горчаковъ пускаетъ въ атаку кавалерію... Ужасенъ видъ этихъ скачущихъ массъ: топотъ копытъ, лошадиное ржанье, невообразимое звяканье оружія и всего, что только есть у кавалеріи металлическаго, звящаго, бряцающаго — все это заставляетъ трепетать невольно врага самаго смѣлаго... Но и это безсильно заставить умолкнуть горластыя пушки, ревъ которыхъ еще страшнѣе кажется тогда, когда ядра ихъ падаютъ въ живыя массы людей, вырываютъ цѣлые ряды ихъ, мозжатъ головы и кости у людей, у лошадей, ломаютъ деревья, взрываютъ землю и засыпаютъ ею и живыхъ, и убитыхъ...

И Дурова несетъ въ этой массѣ бушующаго моря... Вотъ ея истомленное, блѣдное личико съ пылающими отъ бессонницы и внутренняго пламени очами... Ты куда несешься, бѣдное, безумное дитя!

До половины выкашиваютъ адскія пушки изъ этой массы скачущихъ людей. Поля, пригорки, ложбины устилаются убитыми и искалѣченными лошадьми, разможенными и расплюснутыми людьми... Вонъ стонетъ недобитый... Вонъ плачетъ искалѣченная лошадь... лошадь плачетъ отъ боли! Бѣдное животное, погибающее во имя человѣческаго безумія и человѣческаго звѣрства! Тебѣ-то какая радость изъ того, что побѣждать твои палачи? Да и тебѣ, бѣдный солдатикъ, какая радость и польза отъ того же? О! великая польза!..

Изъ конно-польскаго уланскаго полка, въ которомъ находилась Дурова, легло болѣе половины. Перебиты начальники, перебиты офицеры, полегли лучшія головы солдатскія... Почти уничтоженный полкъ выводить изъ-подъ огня, отдохнуть, оглядѣться, промочить окровавленную водою Алле пересохшія глотки...

— Красновата вода-то, — говоритъ Лазаревъ, нагибаясь къ рѣчкѣ, чтобы напиться. Удивительно, какъ самъ онъ остался цѣль, находясь подъ самымъ адскимъ огнемъ и ходя въ пятаки нѣсколько разъ, чтобы одолѣть „чортову старуху“ — батарею: онъ весь въ пороховой сажѣ, въ грязи, въ крови.

— Та се-жъ юшка, — лаконически замѣчаетъ Заступенко, котораго и тутъ не покидаетъ шутка.

— Не уха, а клюквенный морсь, братецъ.

Дурова посмотрѣла на воду и въ ужасѣ всплеснула руками: вода дѣйствительно окрашена была клюквеннымъ морсомъ—солдатскою кровью! И они ее пьютъ, несчастные!

Въ это время она видитъ, что по полю, на которомъ только-что происходила битва и которое теперь оставлено было живыми въ пользу мертвыхъ; валявшихся въ томъ положеніи, въ какомъ ихъ застала смерть, — что среди этихъ мертвецовъ, по нѣ засыпанному кладбищу, скачетъ какой-то одинокій уланъ, но скачетъ какъ-то странно, безъ толку, то взадъ, то впередъ. Лошадь его постоянно перескакиваетъ черезъ трупы, не задѣвая ихъ копытами, или осторожно объѣзжаетъ мертвецовъ. Уланъ кружится словно слѣпой или пьяный, то на секунду остановится, то поѣдетъ шагомъ, то поскачетъ...

Дѣвушка подѣзжаетъ къ нему, окликаетъ издали.

— Уланъ! а, уланъ!

Молчитъ уланъ, продолжая кружиться. Она подѣзжаетъ еще ближе.

— Любезный! землякъ! ты что безъ толку скачешь?

Молчитъ, но какъ будто вздрагиваетъ. Она къ нему, но лошадь спасаетъ своего сѣдока, несется черезъ трупы въ открытое поле, къ французамъ... Дѣвушка даетъ шпоры своему Алкиду и перехватываетъ бродячаго улана. Онъ шатается какъ пьяный, но сидитъ устойчиво.

— Ты что здѣсь дѣлаешь, землякъ?

Молчитъ. Глаза глядятъ безумно, лицо какое-то странное, на лбу кровь.

— Да говори же, что съ тобой?

Уланъ бормочетъ какъ во снѣ:—Стройся! справа по три—маршъ!..— Это бредъ безумнаго...

Тутъ только поняла дѣвушка, что онъ раненъ въ голову и обезумѣлъ, но съ коня не падаетъ, словно приросъ къ сѣдлу...

„Коли ты называешься уланъ, такъ тебѣ съ коня падать не полагается, хуть ты живъ, хуть ты убить, а седи на конѣ... Уланъ падать съ лошади не долженъ — ни-ни-ни Боже мой! Падай вмѣстѣ съ конемъ — таковъ уланскій законъ... А съ коня—ни-ни! не роди мать на свѣтѣ!“ — вспоминаются дѣвушкѣ слова стараго улана, ея дядьки Пуда Пудыча.

— Что у тебя голова?—спрашиваетъ она несчастнаго.

— Это не голова, а ядро... Мою голову унесло,—бормочетъ раненый. Морозомъ подираетъ по кожѣ отъ этихъ словъ... Его нельзя здѣсь бросить, онъ пропадетъ.

— Поѣдемъ со мной,—говоритъ она.

— Куда? Голову мою искать?... Она укатилась—вотъ такъ: у-у-у!

— Мы найдемъ ее—поѣдемъ.

— Катится... катится... у-у-у-у...

Взявъ за поводъ его лошадь, она тихо поѣхала къ обозу, постоянно вздрагивая при безумномъ бормотаньи своего спутника.

— Ядро пить хочеть... ядро кружится... ядро разорветъ — берегись... у-у-у!

А тамъ-то назади—Боже мой! Страшно и оглядываться...

Кровавый день подходитъ къ концу... Цѣлый день битва, цѣлый день гудятъ орудія, цѣлый день умирають люди и все не могутъ всё перемереть... Изъ „непобѣдимаго“ батальона измайловскаго полка, изъ 500 человекъ, въ четверть часа убито 400!

— Братцы мои! родные мои! дѣтки мои!—словно рыдаетъ Багратіонъ, въ послѣдній разъ обнажая свою шпагу.—Смотрите—это подарокъ отца вашего Суворова... Онъ смотритъ на васъ съ высокаго неба, смотритъ на дѣтокъ своихъ и плачетъ...

Онъ останавливается, утираетъ потъ съ усталаго лица... Солдаты плачутъ, а иные крестятся...

— Братцы мои! дѣтки мои! порадуемъ его, отца нашего, не дадимъ на позоръ нашу славу... Ура!

Грянуло послѣднее, хриплое, но тѣмъ болѣе страшное „ура“... Послѣднія силы понесены были въ жертву страшному богу, но и онъ не спасли...

Кровавый день наконецъ кончился. На страницахъ исторіи кровью написано новое слово: „Фридландъ“.

VII.

Прошло десять дней послѣ рокового Фридланда. Русскія войска, гонимыя страшнымъ сѣренькимъ человѣкомъ въ необычайной шляпѣ, поспѣшно ушли за Нѣманъ, въ Россію, махнувъ рукою и на Пруссію, которую они не смогли защитить отъ страшнаго сѣренькаго человѣка, и на свою славу, лавры которой, завядшіе и полинявшіе, по лепестку оборвали этотъ страшный сѣренькій человѣкъ и бросилъ на произволъ историческимъ вѣтрамъ.

— Буди проклято чрево, носившее тя, и сосцы, яже еси ссаль!—бормоталъ какъ-бы про себя, стоя на русскомъ берегу Нѣмана, старенькій полковой священникъ, отецъ Матвѣй, которому вспомнилось, какъ онъ подъ Фридландомъ, въ виду напиравшаго на русскихъ врага, не успѣлъ даже помолиться надъ тѣлами воиновъ, кучами лежавшихъ по обѣимъ сторонамъ замутившейся кровью рѣчки Алле.

День только начинается. Солнце, каждый день видѣвшее все битвы да битвы, освѣщавшее все кровь да кровь, сегодня выглянуло изъ-за лѣсу какъ-будто привѣтливѣе... Не слышно пушечнаго грома... Дымъ отъ пороха не застилаетъ очи солнышку; оно во всё глаза глянуло на рѣку—это скромный Нѣманъ, на расположенный по береговому склону ея городокъ—это городъ Тильзитъ. По обѣимъ берегамъ Нѣманъ усыпанъ народомъ, войсками всѣхъ національностей, оружіемъ и типовъ, и стонетъ тысячами

голосовъ. Что это за сборище? И почему всё эти массы толпятся у берега, посматривая на рѣку, на серединѣ которой, на поверхности воды, держится что-то невиданное, необычайное? Это на водѣ обширный плотъ, а на плоту — два красивыхъ, затѣйливо изукрашенныхъ флагами зданія: одно изъ нихъ большее, болѣе затѣйливое и болѣе изукрашенное, другое — меньшее, меньше и изукрашенное. Надъ большимъ высятся два фронтона, и на одномъ изъ этихъ фронтоновъ красуется гигантская буква N, на другомъ — такое-же гигантское A. Далеко видны эти буквы. На верхушкѣ послѣдняго фронтона, надъ самою буквою A, сидитъ ворона и громко, безпутьно какъ-то каркаетъ, обратившись клювомъ къ русскому берегу рѣки.

— Ишь проклятая! — ворчить на нее знакомый уже намъ гусарикъ, тотъ самый, что распространялся объ „эскадронной Жучкѣ“, толкаясь на берегу Нѣмана вмѣстѣ съ другими солдатиками.

— Ты что огрызаешься? — спрашиваетъ его старый гусарь Пилипенко, тотъ, который плакалъ надъ раненой Жучкой.

— Да вонъ, дядя, ворона въ нашу стороны каркаетъ, на насъ, значить.

— На свою голову, не на насъ.

— А що воно таке тамъ написано? — любопытствуетъ Заступенко. Якого биса винъ тамъ надрыпавъ?

— Какого бѣса! эхъ, ты хохоль безмозглый! надрыпалъ! — строго замѣчаетъ гусарикъ. — Эко слово сказалъ!

— А що жъ? то *винъ* писавъ, а *винъ* ще ничего добраго не робивъ.

— То-то не робилъ! Это знаешь, что написано тамъ?

— Та кажу-жъ тобі, чортивъ москаль, що не знаю — я не письменный, — сердится Заступенко.

— А вотъ что написано: это *иже*, а вотъ это — *азъ*?

— Такъ що-жъ коли *иже* та *азъ*? А що воно таке се бисове *иже* та сей чортивъ *азъ*?

— Ну, хохоль, такъ хохоль п естъ! безмозглый — мозги съ галушками съѣлъ.

— Та ты не лайся, а кажи дило.

— Дѣло я и говорю: *иже* — значитъ *императоръ*, а *азъ* — *Александръ*. И выходить — *императору Александру*.

— Те-те-те! отъ вигдавъ бисивъ сынъ.

Въ разговоръ вмѣшивается донской казакъ, который предлагаетъ новое толкованіе буквамъ, написаннымъ на фронтонахъ павильона.

— Ты говоришь — *иже* — *императоръ*; а я думаю — не *императоръ*, — обращается онъ къ гусарику.

— А что-жъ по-твоему?

— А вотъ что, братъ. Кто строилъ эти палаты-то?

— Онъ, французъ, знамо.

— Такъ какъ-же, по-твоему, себя-то онъ и обидитъ? Не таковский онъ человекъ, что-съ обижать себя. А онъ вотъ какую штуку придумалъ:

одна-де каланча пущай будетъ ваша, къ примѣру, русская; на ней *азъ* будетъ стоять—Александра, значить, Павловичъ; а на другой-де каланчѣ я самъ себя напишу... И написалъ *иже*... А знаешь, что такое *иже*? а?

— *Иже* и есть!

— То-то! не совсѣмъ съ того хвоста... Слыхалъ ты объ антихристѣ?

— Ну что-жъ! слыхаль.

— А кто антихристъ?

— Онъ—Апаліонъ,— это всякій знаетъ.

— Ну, такъ вотъ и знай: въ священномъ писаніи *иже* и есть антихристъ... „*иже*, говоритъ, придетъ соблазнять людей и покорити ихъ подъ нозѣ ногъ“... Вотъ что!

И гусарикъ, и Заступенко объявили протестъ противъ этого толкованія и за разрѣшеніемъ своего спора обратились къ батюшкѣ, который тоже стоялъ на берегу и задумчиво глядѣлъ на Тильзитъ, въ которомъ видѣлось необыкновенное движеніе. Гусарикъ подошелъ къ батюшкѣ подъ благословеніе и спросилъ:

— Скажите, батюшка, зачѣмъ это онъ написалъ тамъ *иже*?

— Какое *иже*? это не *иже*, любезный, а французское *нашъ* — „Наполеонъ“, значить; а это *азъ* — „Александръ“.

— Объ *азъ*-то, батюшка, я и самъ догадался, а вотъ *иже*-то меня сбило... Покорнѣйше благодаримъ, батюшка.

И гусаръ, почесавъ въ затылкѣ, отошелъ къ товарищамъ, чувствуя свое посрамленіе.

Въ другой группѣ солдатиковъ шли не менѣе оживленные толки о томъ, зачѣмъ онъ, Наполеонъ то-есть, назначилъ свиданіе съ царемъ русскимъ непремѣнно на водѣ, а не на землѣ.

— Зачѣмъ! Знамо зачѣмъ—отъ гордости... Онъ теперь думаетъ о себѣ, что ему чортъ не братъ,— ну и ломается, какъ свинья на веревкѣ,—говорить солдатикъ съ Георгіемъ.

— Это точно, что ломается,—вторить другой.

— Затесавшись эта ворона въ чужіе хоромы и говоритъ нашему царю: „Жди, говоритъ, русской царь, меня въ гости“.

— Ишь ты! а вотъ чего не хочешь-ли? И солдатикъ рукой показалъ нѣчто, чего, по его мнѣнію, Наполеонъ не хочетъ. Ну, а царь-отъ и говоритъ: „Сунься-ко“.

— Значить, рыло въ крови будетъ...

— Знамо. А онъ и говоритъ: „Досюдою, говоритъ, до Нѣмана, я дошелъ—досюдою, значить моя земля; а дотудю, говоритъ, за Нѣманомъ—твоя, дескать, земля“—русская, значить, русскаго царя батюшки. „А вода, дескать, не земля, она ничья—она Божья: такъ приходи, говоритъ русскому царю, либо ты ко мнѣ въ гости на Божью воду, либо я къ тебѣ—опо-де и не обидно никому“.

— Ишь шельма! ловко придумать.

— А я, дядя, не то слыхалъ,—вмѣшивается третій солдатикъ.

— А что?

— Да сказываютъ: онъ для того хочетъ съ нашимъ-то на водѣ встрѣтиться, что какъ они вдвоемъ съ нашимъ владѣютъ всѣмъ свѣтомъ, онъ—этой половиной, а нашъ—этой, такъ ежели теперича они, примѣромъ сказать, сойдутся вмѣстѣ, такъ земля, значитъ, не сдержитъ ихъ... такая у нихъ у обоихъ сила!

— Сила не маленькая, — что говорить! Поди и впрямь земля не выдержитъ.

— Говорю тебѣ—не выдержитъ...

— Гдѣ выдержатъ!

— Да и потому имъ нельзя встрѣтиться на землѣ, что за насъ опасаются,—пояснѣлъ солдатикъ съ Георгіемъ.

— А для чего имъ за насъ опасаться, дядя?

— Какъ для чего! Мы задержимся съ ими, съ французамъ: какъ-бы сошлись маленько, такъ и драка.

— Это точно, что драка.

— Да еще какая драка, братецъ ты мой! Потому мы будемъ опасаться за *свою*, а они за *свою*—ну, и пошла писать...

— Гдѣ не пошла! Такую-бы ердаю заварили; что ой-ой-ой!

— Вѣрно... А тутъ-бы наши казачки скрасть *его* захотѣли...

— Какъ не захотѣть! Лакомый кусочекъ... А казаки на это молодцы, живой рукой скрадутъ.

— Скрадутъ безпремѣнно... Вонъ не далѣ какъ подъ Фридландомъ французскій бекетъ скрали... Велѣли это Каменновъ да Грековъ—ужъ и ловкіе жъ шельмецы! — велѣли это своей согнѣ раздѣться, да нагнѣмъ, въ чемъ мать родила, аки младенцы изъ купели, и переплыли черезъ рѣку, да и скрали бекетъ, а опосля какъ кинутся на самый ихъ станъ, а тѣ какъ увидали голыхъ чертей, ну и опѣшили...

— Да, ловкія шельмы эти казаки.

— Гдѣ не ловкіе! Поискать такихъ, такъ не найдешь.

— Гдѣ найти! продувной народецъ.

Какъ-бы въ подтвержденіе этого въ толпѣ показался верховой казакъ, который, перегибаясь то на ту, то на другую сторону, словно въонъ, и дѣлая разныя эволюціи своею пику, покрикивалъ:

— Эй, сторонись, братцы! подайся маленько! конвой идетъ, конвою дайте мѣсто.

Толпа нѣсколько отхлынула и отгѣснила въ сторону пейсатого еврейчика, который, толкаясь средъ народа съ лоткомъ, наполненнымъ булками, огурцами, колбасами и всякой уличной снѣдью, выкрикивалъ на распѣвъ и въ носъ

— Келбаски свѣжи... огуречки зелены... булочки бялы... Ай-вей! ай-вей!

Въ одно мгновенье казакъ такъ ловко нанизалъ на свою пикку огу-

репъ, потомъ колбасу, затѣмъ булку и все это пихалъ себѣ за пазуху, что еврейчикъ положительно не могъ опомниться...

— Ай, да казакъ! ай да хватъ!

— Ай-вей! ай-вей! мои булечки! мои огуречки! ай келбаски!

Въ толпѣ хохотъ.

— Сторонись, братцы! подайся маленько! конвой идетъ!—покрикивалъ этотъ „хватъ“, какъ ни въ чемъ не бывало.

Къ берегу Нѣмана дѣйствительно двигался конвой стройными рядами, блестя на солнцѣ оружіемъ и красивыми мундирами. Конвой составляли полуэскадронъ кавалергардовъ, чинно и гордо возсѣдавшихъ на холеныхъ коняхъ, и эскадронъ прусской конной гвардіи, которой еще болѣе, чѣмъ русскому войнству, тяжело досталось отъ немилостивой руки „новаго Атиллы“. Конвой, отгѣснивъ толпу, выстроился въ линію, которая правымъ флангомъ упиралась въ берегъ Нѣмана, а лѣвымъ касалась какого-то полуразрушеннаго зданія, осѣняемаго однако двумя огромными флагами—русскимъ и прусскимъ.

То же самое движеніе замѣчалось и на противоположномъ берегу Нѣмана, особенно же въ той улицѣ Тильзита, которая вела къ рѣкѣ: старая наполеоновская гвардія становилась шпалерами вдоль улицы, эффектно покачивая въ воздухѣ своими высокими мѣховыми шапками. О, какъ ихъ зналъ и ненавидѣлъ весь міръ эти страшныя шапки, и какъ при видѣ ихъ трепетали короли и народы!.. И итальянское, и африканское, и сирійское солнце жгло своими лучами эти ужасныя шапки!.. Оставалось только, чтобъ русское суровое небо посыпало ихъ своимъ инеемъ... И оно—о! оно скоро не только посыплетъ, но и совсѣмъ засыплетъ ихъ...

Эти назойливыя, острыя и жгучія мысли винтили мозгъ юной Дуровой, которая урвалась изъ своего эскадрона, пропешаго мимо Тильзита въ Россію, и очутилась вмѣстѣ съ другими зрителями на берегу Нѣмана, сгорая нетерпѣніемъ хоть издали увидѣть того, котораго она—она сама не могла уже дать себѣ отчета—не то ненавидѣла еще больше чѣмъ прежде, не то... Нѣтъ, нѣтъ! Она только чувствовала, что онъ, этотъ, въ одно и то-же время и страшный, и обаятельный, демонъ войны, поражалъ ее, давилъ своимъ величіемъ... Она страдала за русскую славу, за себя лично, за отца, за всѣхъ погибшихъ въ бояхъ товарищахъ своихъ, и въ то же время душа ея какъ-то падала ницъ передъ страшнымъ геніемъ, падала отъ удивленія, смѣшаннаго съ ужасомъ...

— Объ чемъ вы думаете, Дуровъ?—раздался сзади ея тихій, ласковый голосъ.

Она невольно вздрогнула. У самаго ея плеча свѣтились теплымъ блескомъ калмыковатыя глаза Грекова.

— О чемъ или о комъ?—еще тише повторилъ Грековъ.—О недавнемъ нашемъ врагѣ, а теперь союзникѣ?

— Ахъ, Грековъ, Грековъ!—отвѣчала съ страстнымъ порывомъ дѣвушка.—Я не знаю, что со мной дѣлается... Онъ—это какой-то демонъ...

я только о немъ и думаю... Послѣ нашихъ пораженій я много, много думалъ... Вѣдь не можетъ же быть, чтобъ это дѣлалось такъ, случайно, однимъ счастьемъ... Да Боже-жъ ты мой!—и въ Тулонѣ счастье, и на Аркольскомъ мосту счастье, и подъ пирамидами счастье—Господи! куда ни ступить эта нога, вездѣ она попираетъ всѣ усилія людей, ихъ умъ, ихъ волю, все, все падаетъ передъ нимъ... Вѣдь весь Западъ, до этой жалкой рѣченки, все онъ взялъ, все искромсалъ... Остается перешагнуть сюда; на этотъ берегъ — и весь міръ его... Господи! да что-жъ это будетъ!..

Ласковые глаза Грекова съ любовью глядѣли на раскраснѣвшееся лицо его юнаго собесѣдника. Но при послѣднихъ словахъ Дуровой онъ горячо возразилъ:

— Нѣтъ! этого-то не будетъ, сюда онъ не перешагнетъ...

— Эй, односумъ! цари скоро придутъ?—закричалъ Заступенко, продолжавшій толкаться въ толпѣ.

Возгласъ его относился къ „хвату“ казаку, который теперь, отъѣхавъ въ сторону, наслаждался булкой съ колбасой, закусывая огурцомъ.

— Односумъ! чуй-бо! цари скоро придутъ?

— Какой я тебѣ односумъ, „хохли—всѣ подохли!“—спокойно отвѣчалъ казакъ, глотая свою добычу.—Развѣ ты казакъ донской?

— Казакъ, тильки чубъ не такъ... Та ты скажи, скоро придутъ?

— Нѣтъ, не скоро, когда хохлы поуменьютъ.

— Ова! та се-жъ тоди буде, якъ вы крапти перестанете.

Но толпа усиленно задвигалась и зашумѣла—явный признакъ, что что-то приближается.

Дѣйствительно приближался блестящій поѣздъ. Вдали, между рядами войскъ, показались трепещущіе въ воздухѣ султаны и перья, конскія гордо поднятыя головы и головы сидящихъ на нихъ генераловъ. Посреди нихъ катилась коляска, на четыре мѣста. Коляска катится ближе и ближе... Въ коляскѣ сидятъ трое, но лица всей толпы и войскъ преимущественно обращены къ одному. Это—бѣлокурый, съ рыжеватыми бакенбардами мужчина лѣтъ около тридцати; онъ одѣтъ въ генеральскій мундиръ преображенскаго полка, но безъ эполетъ, а только съ жгутами; черезъ правое плечо къ груди перекинуты аксельбанты; на головѣ высокая трехугольная шляпа съ чернымъ султаномъ на гребнѣ и бѣлымъ плюмажемъ по краямъ; на ногахъ бѣлыя лосины и короткіе ботфорты; шарфъ и шпага блестятъ такъ красиво, а андреевская лента черезъ плечо видна за версту.

— Царь! царь!—слышится въ толпѣ.

— А съ нимъ кто?

— Цесаревичъ Костянтинъ.

— Знаю я... А другой-то?

— Прутскій король, пардону, значить, у нашего просить—помощи.

Царскій поѣздъ остановился у полуразрушеннаго зданія. При выходѣ изъ коляски, царь бѣглымъ взглядомъ окинулъ виднѣвшіеся сквозь шпа-

леры гвардіи пловучіе на рѣкѣ павильоны и скользнулъ взоромъ по громаднымъ, красовавшимся на фронтонахъ буквамъ N. A.

Онъ вошелъ въ уцѣлѣвшую комнату полуразрушеннаго зданія, вошелъ съ болью въ сердцѣ, оразившеюся на лицѣ.

За Александромъ, молча и хмуро, входятъ прусскій король, цесаревичъ Константинъ и обширная свита. Всѣ молчатъ и всѣ ждутъ... Минута, двѣ, три—конца нѣтъ минутамъ!.. Историческія минуты... А *его* все нѣтъ—онъ не торопится... Багратіонъ нервно поправляетъ кресты на широкой груди и хмурится, Бенигсенъ усталъ въ землю, словно ему въ очи лѣзутъ Пултускъ, Эйлау, Фридландъ съ мягкой, проклятою постелью. У Платова—какъ будто на лицѣ написано: „у, дьяволъ корсикавскій! его и почесуй не беретъ...“ Тягостное, невыносимо тягостное ожиданіе!—„Это демонъ какой-то... Что жъ онъ не ѣдетъ?..“

Изъ-за спины Багратіона выглядываютъ два черныхъ глаза, упорно наведенныхъ на императора. Юное лицо, курчавые, спадающіе на бѣлый лобъ волосы, добрыя какія-то складки губъ, доброе выраженіе глазъ—ничто, повидимому, не изболчиваетъ, что это уже закаленное исчадіе войны, хотя еще слишкомъ юное, но кипучее, беззавѣтно дерзкое. Это Ценисъ Давыдовъ—поэтъ и въ душѣ, и на дѣлѣ, гусаръ по традиціямъ и по темпераменту.

Прошло полчаса ожиданія, точно жизнь вселенной остановилась на полчаса! Изъ-за чего!—Изъ-за того, что одинъ маленькій человѣчекъ не успѣлъ еще выпить обычную чашку своего утренняго кофе.

— Ваше величество! *тамъ* уже ждутъ васъ,—говоритъ Мюратъ этому маленькому человѣчку.

— Ждутъ?.. Кто всталъ до солнца, долженъ ждать его,—отрывисто отвѣчаетъ маленькій человѣчекъ, доканчивая свой кофе.

— Но Иисусъ Навинъ можетъ приказать солнцу поторопиться, какъ онъ приказалъ ему когда-то помедлить,—съ улыбкой замѣчаетъ Талейранъ.

— О, вы всегда находчивы,—говоритъ маленькій человѣчекъ, ласково кивая Талейрану.—Солнце встаетъ...

И онъ направился къ выходу.

И земля, и воздухъ задрожали, когда маленькій человѣчекъ, окруженный блестящею свитою изъ сановниковъ—Мюрата, Бертье, Дюрока и Колленкура, показался среди своей гвардіи, въ своей исторической, извѣстной всему міру шляпѣ.

Голоса изъ-за Нѣмана донеслись и въ полуразрушенное зданіе, гдѣ ждали того, кому теперь кричать. Александръ судорожно сжалъ перчатку, которую машинально вертѣлъ въ рукѣ... Ноздри его расширились, какъ будто бы въ груди оказалось мало воздуха и надо было его побольше вдохнуть въ себя. Да, мало воздуха, тѣсно стало, душно...

— Ёдетъ, ваше величество!—провозгласилъ дежурный флигель-адъютантъ, отворяя дверь.

Прусскій король вздрогнулъ и испуганно заглянулъ въ глаза Александру. Онъ замѣтилъ въ нихъ какой-то новый огонекъ...

Вскорѣ отъ того и другого берега Нѣмана отъѣхали барки съ развѣвающимися штандартами Россіи и Франціи, онѣ отъѣхали въ одинъ моментъ по сигналу, который извѣстенъ былъ только капитанамъ барокъ.

И удивительно! всѣ головы и съ того, и съ другого берега рѣки обратились въ одну сторону, всѣ тысячи глазъ устремились на одну маленькую точку, видѣвшуюся на баркѣ, которая двигалась отъ тильзитскаго берега. И не удивительно! Это онъ, тотъ маленький и необыкновенно великій человѣкъ, котораго не рожденіе, не богатства и не историческіе предразсудки вознесли на недосыгаемую высоту, а его собственный, небывалый въ исторіи всего міра геній, и какая высота! высота, до которой не достигалъ ни одинъ человѣкъ, рожденный женщиною.

Яке жъ воно маленьке!—невольно вырывается наивное до трагизма восклицаніе добродушнаго Заступенки.—Мати Божа, яке малесеньке!

А это „малесеньке“, въ своей міровой шляпѣ, въ позѣ, тоже знакомой всему міру, стоитъ впереди своихъ генераловъ, скрестивши на груди руки, и глядитъ нѣтъ, онъ какъ будто никуда не глядитъ, ни на кого, а въ глубь самого себя, въ глубь своей великой души, этой страшной пропасти, до половины залитой кровью... Что жъ это за чудовище? что это за великанъ? гдѣ печать его генія? Ничего не бывало!.. Что-то маленькое, толстенькое, пузатенькое, кругленькое... Гладко, плотно лежащіе, далеко не густые волосы... Матовая бѣлизна лица, лица какого-то каменно-неподвижнаго, какое-то отсутствіе выраженія въ глазахъ, скорѣе кроткихъ и ласковыхъ, чѣмъ холодныхъ, и удивительно! кроткая, дѣтски кроткая улыбка.

Но вотъ эти кроткіе глаза скользнули по двумъ буквамъ на фронтонахъ и задумываются... И рисуется передъ ними, какъ рука исторіи, невидимая, всесильная рука стираетъ другую букву, букву А, и горитъ надъ міромъ одна единая буква, словно всевидящее око Творца... Это—буква Н... око всевидящее міра.

„Едино стадо и единъ пастырь“,—думается ему.

И Александръ глядитъ на роковыя буквы на фронтонахъ. „Да, Н больше, положительно больше А... неужели это апокалипсическое существо?“

Вотъ близко-близко плоть съ павильонами, фронтонами и буквами...

Наполеонъ сдѣлалъ какое-то едва замѣтное движеніе, и его барка полсекундой раньше стукнулась о край плотовъ. Полсекундой раньше, чѣмъ Александръ, онъ ступилъ ногой на паромъ и сдѣлалъ два шага навстрѣчу Александру.

Ворона, все время сидѣвшая на одномъ изъ фронтоновъ, надъ буквою А, снялась и полетѣла.

— Полетела-полетела!—какъ-то радостно крикнулъ Заступенко.

— Кто полетѣлъ?

— Ворона...

— Ну, что жь! А ты, хохоль, видно, все воронъ считаешь?—сострилъ казакъ.

— Ни, вона полетела онкуда, до ихъ... Бude имъ лихо... У Хранцію полетела...

— А тебѣ жаль, хохоль, что она тебѣ не въ ротъ влѣтъла?

— Молчи, гостропузый! вона боялась, шо ты ия вкрадешь...

И Наполеонъ, и Александръ вошли въ павильонъ разомъ, нога-въ-ногу, боясь, чтобъ кто-нибудь ни поллини, ни полноздри, какъ лошади на скачкахъ, не опередилъ одинъ другого... Но что они говорили между собой въ павильонѣ, говорили съ глазу-на-глазъ, въ теченіе двухъ часовъ, этого ни историки, ни романисты не знаютъ.

VIII.

Оставимъ навремя поля битвы и кровавыя картины смерти, при видѣ которыхъ болью и горечью закипаетъ сердце, смущается разумъ, падаетъ, словно барометръ передъ бурей, вѣра въ прогрессъ человѣчества, въ грядущее торжество добра и правды надъ зломъ и ложью, творческой силы духа надъ силою разрушительною. Дальше отъ этого дыму ужаснаго, отъ злого хохота пушекъ, безжалостно смѣющихся надъ глупостью людскою! Дальше отъ этого стона умирающихъ, которые взываютъ къ будущимъ поколѣніямъ, къ поколѣніямъ мира и братской любви! Дальше!..

Съ полей битвъ, отъ убивающихъ другъ друга людей, хочется перенестись... къ дѣтямъ. Они еще не научились убивать.

Передъ нами живой цвѣтникъ. Это и есть дѣти, въ тенлый іюньскій вечеръ высыпавшія на гладкую, усыпанную пескомъ площадку Елагина острова, на той его оконечности, которая обращена ко взморью и называется аристократическимъ пуантомъ. Чѣмъ-то оживлены эти смѣющіяся, раскраснѣвшіяся, миловидныя личики мальчиковъ и дѣвочекъ отъ пяти до десяти и болѣе лѣтъ. Музыкально звучатъ въ воздухъ веселые возгласы, звонкій смѣхъ, задушевное лепетанье... Да, здѣсь еще нѣтъ вѣянья смерти—дѣти играютъ.

Кудрявый, черноголовый мальчикъ лѣтъ восьми, съ типомъ арапчечка, взобравшись на скамейку, декламируетъ:

Стрекоцущу кузнецу
Въ зленемъ блатъ сущу,
Ядовиту червецу
По злкамъ ползущу...

Дружный взрывъ дѣтскаго хохота покрываетъ эту декламацию. Иные хлопаютъ въ ладоши и кричатъ: „браво! браво, Пушкинъ!“

Арапченко, поклонившись публикѣ, продолжаетъ:

Журавель летящъ во грахѣ,
Скачущъ черезъ ногу,
Забываячи всѣ страхи,
Урчить хвалу Богу.

Браво! браво! брависсимо! бисъ!—звенять дѣтскіе голоса.
Арапченко съ комическимъ пафосомъ продолжаетъ:

Элефанты и леонты,
И лѣсныя сраки,
И орлы, оставя монты,
Учиняють браки...

— Ахъ, безстыдникъ баринъ! вотъ я уже мамашенькѣ скажу,—протестуетъ нянюшка арапченка, бросившая вязать чулокъ и подошедшая къ шалуну.—Что это вы неподобное говорите, баринъ!

— Молчи, няня, не мѣшай! Это Третьяковский, нашъ великій пѣнта, защищается арапченко и продолжаетъ декламировать:

О, koliko се любезно,
Превыспренно вразно,
Нарочито преполезно
И сугубо смачно!

И, соскочивъ со скамейки, онъ обхватываетъ сзади негодующую нянюшку, преспокойно утѣвшуюся подъ деревомъ, перегибается черезъ ея плечо и цѣлуетъ ворчуню.

— Вотъ такъ сугубо смачно!—хохочетъ шалунъ.

Нянюшка размягчается, но все еще не можетъ простить озорнику.

— Посмотри, — говоритъ она, — какъ умненько держитъ себя Вигельмушка...

— Ай! ай! Вигельмушка! Вигельмушка! да такого, няня, и имени нѣтъ...

— Да какъ же по-вашему-то? Я и не выговарю... Вигельмушка Кухинбековъ.

Арапченко еще пуще смѣется. Смѣется и тотъ, котораго старушка называетъ Кухинбековымъ.

— Кюхельбекеръ моя фамилія, нянюшка, — говоритъ онъ, мальчикъ лѣтъ Пушкина или немного старше, такой бѣленькій и примазанный нѣмчикъ въ синей курточкѣ.

— Эхъ, няня! да Кюхельбекеръ и шалить не умѣетъ! — смѣется неугомонный арапченко.—Онъ нѣмчура, ливерная колбаска.

— А ты—арапъ, — возражаетъ обиженный Вильгельмушка Кюхельбекеръ.

— Ну, перестаньте ссориться, дѣти,—останавливаетъ ихъ нянюшка. — Перестаньте, баринъ.

— Да развѣ онъ смѣетъ со мной ссориться? Вѣдь я—самъ Наполеонъ... я всѣхъ расколочу, — буйнить арапченокъ, становясь въ вызывающую позу.

— А я самъ Суворовъ,—отзывается на это мальчикъ лѣтъ одиннадцати-двѣнадцати, въ зеленой курточкѣ съ свѣтлыми пуговицами.—Я тебя, французскій пѣтухъ, въ пухъ разобью.

— Ну-ка, попробуй, Грибоѣвъ! — горячится арапченокъ, подступая къ большому мальчику.—Попробуй, и съѣшь грибъ.

Задѣтый за живое Грибоѣдовъ—такъ звали двѣнадцатилѣтняго мальчика—хочетъ схватить Пушкина за курточку, но тотъ ловко увертывается, словно угорь, и когда противникъ погнался за нимъ, онъ сдѣлалъ отчаянный прыжокъ, потомъ, показывая видъ, что поддается своему преслѣдователю, неожиданно подставилъ ему ногу, и Грибоѣдовъ растянулся.

Послѣдовалъ дружный хохотъ. Больше всѣхъ смѣялись дѣвочки, которыя играли нѣсколько въ-сторонѣ, порхая словно бабочки.

— Ахъ, какой разбойникъ этотъ Саша Пушкинъ!—замѣтила одна изъ нихъ, блѣлокуренькая дѣвочка почти однихъ лѣтъ съ Пушкинымъ, въ блѣломъ платьицѣ съ голубыми лентами.

— Еще-бы, Лизута,—отвѣчала другая дѣвочка, кругленькая, завитая барашкомъ брюнеточка, повидимому, ея пріятельница, не отходившая отъ Лизуты ни на шагъ.—Онъ совсѣмъ дикій мальчикъ — вѣдь у него папа былъ негръ.

— Не папа, а дѣдушка...

Первая изъ этихъ дѣвочекъ была Лиза, дочь Сперанскаго, входившаго въ то время въ великую милость у императора Александра Павловича. Курчавая брюнеточка была ея воспитанница, Сонюшка Вейкардтъ, мать которой пользовалась большимъ расположеніемъ Сперанскаго и была какъ-бы второй матерью Лизы, въ раннемъ дѣтствѣ лишившейся родной матери—англичанки, урожденной миссъ Стивенсъ.

Маленькій Пушкинъ, догадавшись по глазамъ дѣвочекъ, что онѣ не одобряютъ его проказъ, тотчасъ же сдѣлалъ имъ гримасу и, повернувшись на одной ножкѣ, запѣлъ речитативомъ:

Хоть папа Сперанской
И любимецъ царской,
Все-же у Сперанской,
Одѣтой побарски,
Обликъ семинарской...

Будущій поэтъ уже и въ дѣтствѣ часто прибѣгалъ къ сатирѣ—къ бичу, котораго впослѣдствіи не выносилъ ни одинъ изъ его противниковъ...

Этотъ злой экспромтъ услышали другія дѣвочки и засмѣялись... „У любимицы царской—обликъ семинарской“—не безъ злорадства повторяла одна

изъ нихъ, маленькая княжна Полина Щербатова. Все это были дѣти петербургской и отчасти московской аристократіи—княжны Щербатова, Гегарина, Долгорукая, Лопухина, будущія красавицы и львицы.

— Ахъ, какъ смѣшно! „У Лизы Сперанской—обликъ семинарской...“

Всѣ эти дѣти аристократовъ слыхали часто отъ своихъ родителей, что Сперанскій всѣмъ имъ перешелъ дорогу, у всѣхъ отбилъ царя, и потому привыкли къ эпитетамъ насчетъ Сперанскаго—„семинаристъ“, „поповичъ“, „звонарь“, „кутейникъ“, „высочка“, „сорвался съ колокольни“ и т. п.

Лиза не могла вынести насмѣшки и заплакала, хотя старалась скрыть и слезы, и смущеніе. Зато Сонюшка, вспыхнувъ вся, подбѣжала къ озорнику Пушкину и дрожащимъ отъ волненія голосомъ сказала:

— Вы гадкій мальчишка... Я не знаю, какъ съ вами играютъ благородные мальчишки... Вы негръ, сынъ раба, у васъ рабская кровь... фуй!

Дѣвочка вся раскраснѣлась отъ негодованія. Пушкинъ, какъ ни былъ дерзокъ и находчивъ, не нашелся сразу, что отвѣчать, особенно когда другія дѣвочки начали шептаться между собою, но такъ, что Пушкину слышно было: „Негръ... негръ... рабская кровь...“

— Все-же я не сынъ звонаря, — защищался онъ. — Я не съ колокольни...

— Хуже,—замѣтилъ ему обиженный имъ Грибоѣдовъ: — ты изъ звѣринца... твой дѣдушка съѣлъ твою бабушку...

— Молчи, Грибоѣдъ!

— Молчи, людоѣдъ!

— Саша Вельтманъ пріѣхалъ! — кричитъ маленькая княжна Щербатова. — Онъ у насъ будетъ водовозомъ...

— А вонъ и Вася Каратыгинъ идетъ съ своей мамой, — лепечутъ другія дѣти...

Пушкинъ, Грибоѣдовъ, Кюхельбекеръ, Вельтманъ, Каратыгинъ—все это дѣти, играющія въ Наполеона, ловящія бабочекъ на Елагиномъ острову, дѣти, которыхъ имена впоследствии прогремятъ по всей Россіи... А теперь они играютъ, заводятъ дѣтскія ссоры, декламируютъ „стрекочуща кузнеца“ и „ядовита червеца...“ Но и до ихъ дѣтскаго слуха часто доносится имя Наполеона, оно въ воздухѣ носится, имъ насыщена атмосфера...

Лиза, огорченная выходкой дерзкаго арапченка, отдѣляется отъ группы играющихъ дѣтей и подходитъ къ большимъ.

На скамейкѣ, къ которой она подошла, сидятъ двое мужчинъ: ветхій старикъ съ сѣдыми волосами и отвисшей нижней губой, и молодой, тридцати-пяти-четырехъ лѣтъ, человекъ съ добрымъ, худымъ лицомъ и кроткими, задумчивыми глазами. Нѣкогда массивное тѣло старика казалось нынѣ осунувшимся, дряблымъ, какъ и все лицо его, изборожденное морщинами, представляло развалины чего-то сильнаго, энергическаго. Огонь глазъ потухъ и только по временамъ вспыхивалъ изъ-за слезащихся старческою слезою вѣкъ. Сѣдые пряди какъ-то безжизненно, словно волосы съ

мертвой головы, падали на шею съ затылка и на виски. Губы старика двигались, словно беззубый ротъ его постоянно жеваль.

Эта развалина—безсмертный „гѣвецъ Фелицы“, сварливый и завистливый старикъ Державинъ, министръ юстиціи императора Александра I. И онъ выползъ на пугать погрѣться на холодномъ петербургскомъ солнцѣ, посмотреть на его закатъ въ море, закатъ, котораго, кажется, никто изъ смертныхъ не видываль съ этого знаменитаго пуганта. Старикъ не замѣчалъ, что и его солнце давно, очень давно закатилось, хотя и въ полдень его жизни оно не особенно было жарко.

Сосѣдь его, кроткій и задумчивый, былъ Сперанскій. Этого солнце только поднималось къ зениту, и что это было за яркое солнце! Сколько свѣта, хотя безъ особаго тепла, бросало оно вокругъ себя, какъ ярко горѣло оно на всю Россію, хотя скользило только по верхамъ, не проникая въ мрачныя, кромѣшныя трущобы темнаго царства!..

Усталымъ смотреть это кроткое, задумчивое лицо. Заработалась эта умная, рабочая голова, не въ мѣру много и о многомъ думающая. Устали эти молодыя плечи, навалившія на себя слишкомъ великую тяжесть. Рука устала, устала держать перо, водить имъ по бумагѣ. И глаза устали, имъ бы теперь отдохнуть на зелени, на играхъ дѣтей, на гладкой поверхности взморья, на закатѣ солнца, котораго, кажется, никогда не будетъ. А этотъ старикъ такъ надоѣдливо шамкаетъ...

— Я хочу, ваше превосходительство, такъ это выразить—повозвышеніе.

Унизия Рима и Германьи
Такъ духъ, что, ими въявь и втай
Господствуя, несеты длани
Простеръ и на полночный край.
И зрѣлъ-ли онъ себѣ препону,
Коль могъ бы вѣру колебнуть,
Любовь къ отечеству и къ трону?
Но онъ ударилъ въ русску грудь...

Съ видимой скукой Сперанскій слушалъ эти спотыкающіяся вирши выдохшагося отъ времени, полинявшаго отъ старости и окончательно терявшаго поэтическое чутье ветхаго пѣнты; грустное чувство возбуждала въ немъ эта человѣческая развалина, передъ которой все еще издали благоговѣла Россія, развалина, не сознающая, что въ душѣ ея и въ сердцѣ завелась уже паутина смерти, что творчество ея высохло, какъ ключъ въ пустынь; грустно ему было заглядывать и въ свое будущее—и тамъ паутина смерти, забвеніе, мракъ... Но при словѣ „вѣру колебнуть“ улыбка сожалѣнія невольно скользнула по его лицу, пробѣжавъ огонькомъ по опущеннымъ глазамъ. Однако онъ не сдѣлалъ возраженія—безполезно! поздно передъ могилой!..

А старикъ продолжалъ шамкать, сисясь, хотя напрасно, овладѣть

своими непокорными губами и коснѣющимъ языкомъ, который, по старой привычкѣ, искалъ зубовъ во рту, обо что бы опереться, и не находилъ.

— Я нарочито напирая, ваше превосходительство, на „русску грудь“:

О, русска грудь неколебима!
Твердѣйшая горы стѣна,
Скорѣй ты ляжешь трупомъ зрима,
Чѣмъ будешь кѣмъ побѣждена.
Не разъ въ огняхъ, въ громахъ, средь бою,
Въ крови тонувши ты своей,
Примѣры подала собою,
Что россовъ въ свѣтъ нѣтъ храбрѣй.

И опять по глазамъ Сперанскаго скользнула улыбка сожалѣнья, а надо слушать... эти кочки вмѣсто стиховъ,—старикъ вѣдь такъ самолюбивъ... да и недолго, вѣроятно, придется слушать это предмогильное шамканье... Скучно на свѣтѣ!

— Какъ вы находите сіе, ваше превосходительство?—спросилъ старикъ, закашлявшись и стараясь передохнуть.

— Превосходно, превосходно, какъ все, что выходитъ изъ-подъ пера вашего высокопревосходительства.

Въ это время подошла Лиза и застѣнчиво остановилась около отца.

— Это дочка ваша?—спросилъ Державинъ, ласково глядя на дѣвочку.

— Дочка... единственное сокровище, которое осталось у меня на землѣ,—тихо сказалъ Сперанскій и положилъ руку на плечо дѣвочки.

— А Россія, ваше превосходительство? Она дорога вамъ...

— Да, но она не моя... а это—мое...

— Прелестное дитя, прелестное... Вся въ папашу, и умомъ, вѣрно, въ папашеньку будетъ.

— О, она у меня умница, умнѣе папаша... Больше меня языковъ иностранныхъ знаетъ. Да ты что не играешь съ дѣтьми? а? соскучилась?

— Соскучилась, папа.

— А гдѣ же твоя Сонюшка—козочка?

— А тамъ, играетъ.

— А мама гдѣ?—„Мамой“ Сперанскій называлъ г-жу Вейкардтъ.

— Мама вонъ на той скамейкѣ, съ дадей Магницкимъ разгориваетъ. Вонъ, гдѣ Крыловъ стоитъ да Жуковскій съ Гречемъ.

— Дѣвочка-то всѣхъ знаетъ... экая милая крошка,—замѣтилъ Державинъ.

— А васъ она почти всего наизусть знаетъ,—выронилъ Сперанскій.

Старикъ какъ-то по-дѣтски, но невесело улыбнулся и опустил голову.

— Да... да... правда... И въ могилѣ когда я буду, будутъ меня читать... да я-то не услышу себя...

И старикъ еще болѣе осунулся и сгорбился. Губы его что-то беззвучно шептали, а голова тихо дрожала. „Не услышу... не услышу...“ По

какому-то несповѣдному капризу мысли старческая память сразу перенесла его съ Елагина острова на Волгу, въ Саратовъ, въ свѣтлую и счастливую молодость, когда онъ, въ чинѣ молодого гвардейскаго офицера, гонялся за страшнымъ Пугачевымъ и улупетывалъ (въ чемъ онъ, впрочемъ, никому не сознавался) отъ его „страховитыхъ очей“, какъ полемизировалъ съ комендантомъ Бошнякомъ насчетъ защиты Саратова. Эта хорошенькая дѣвочка Юнгерь, съ большущими, смѣлыми глазами—больше глаза, чѣмъ у Лизы Сперанской. Арбузы камышинскіе... А тамъ слава, льстивыя похвалы, лавры на головѣ... а подъ лаврами—сѣдые волосы... беззубый ротъ... могила скоро... и на могилѣ будутъ лавры, и на гробу... Вотъ отчего дрожить голова у старика—отъ лавровъ...

„А потомъ и меня забудутъ—перестанутъ читать меня... другихъ читать будутъ... можетъ быть, вонъ того арапченка...“

— Да ты, Лизута, кажется, плакала? Что у тебя глазки? — спрашиваетъ Сперанскій, глядя голову дѣвочки.—Плакала? о чемъ?

Дѣвочка молчитъ, не смѣетъ сказать правду, а неправду еще никогда не говорила.

— Вѣрно съ Сашей Грибоѣдовымъ опять не поладили? Или съ Сашей Пушкинымъ?.. Преострый мальчикъ!

Дѣвочка обхватила руками шею отца и ласково шептала:

— Ничего, папочка... это такъ... немножко...

— Да какъ же такъ? И немножко не надо плакать этимъ глазкамъ.

— Ничего, ничего, папуля.

Въ это время подскочила къ нимъ Соня Вейкардтъ, такая веселая, оживленная.

— Ну, сашу Пушкина совсѣмъ арестовали,—щебетала она. Его няня разсердилась на него и насильно увела.

— Да что онъ обидѣлъ кого-нибудь?—спросилъ Сперанскій.

— Да, онъ всѣхъ обидѣлъ.

Сперанскій невольно засмѣялся при этомъ наивномъ отвѣтѣ дѣвочки.

— О, это на него похоже... Такъ всѣхъ обидѣлъ?

— Всѣхъ... А его обидѣлъ Саша Грибоѣдовъ.

— Такъ онъ и Лизуту обидѣлъ?

— И Лизуту.

— Какъ же? чѣмъ?

Дѣвочка замаялась и поглядѣла на Лизу. Обѣ вспыхнули.

— Ну, чѣмъ же? а? Говори, моя козочка.

— Стихами обидѣлъ, — рѣшилась наконецъ сказать Соня.

— Какими стихами?

— Объ Лизѣ.

— Вотъ какъ! стихами о моей Лизѣ? Что-жъ это за стихи?

Дѣвочка опять засмѣялась. Ее выручила сама Лиза, которая, наконецъ, рѣшилась все сказать.

— Онъ говоритъ, папа, что ты любимецъ царскій, а у меня обликъ семинарскій.

По лицу Сперанскаго пробѣжала тѣнь. Онъ понялъ, что устами мальчика, устами рѣзвago ребенка говорить весь Петербургъ, его завистливая, ничему не учившаяся, ничего, кромѣ французскаго языка, не знающая и ни на что, кромѣ интригъ, неспособная аристократія. Онъ-вновь убѣждался, что противъ него ведется тайная война, рожются подкопы подъ каждый его смѣлый шагъ, чернится каждое его лучшее дѣло... Въ немъ заговорила гордость борца, чувствующаго свою мощь среди пигмеевъ и бездарностей...

— Что-жъ, милая, въ этомъ нѣтъ для меня и для тебя ничего обиднаго, что я былъ семинаристомъ... Я горжусь своимъ семинарскимъ происхожденіемъ...

— А Ломоносовъ, великій Ломоносовъ былъ крестьянинъ, простой рыбакъ,—прибавилъ очнувшійся Державинъ.—А твой папá совѣтникъ и любимецъ государя императора... Самъ Пушкинъ, можетъ быть, такъ и умереть какимъ-нибудь прапорщикомъ или корнетомъ, а то и копіистомъ безграмотнымъ, а Лиза Сперанская, Богъ дастъ, по милости великодушнаго монарха, скоро будетъ графиней Сперанской, а то и княжной... И это не за горами... И Лизу будетъ знать вся Россія, а Пушкина, никто.

— Я, дѣдушка,—заторопилась Соня, подбѣгая къ Державину, — еще хуже обидѣла Пушкина.

— Чѣмъ же, моя птичка?

— Да я ему, дѣдушка, сказала, что у него папа былъ негръ...

— Ай да молодецъ, дѣвочка! люблю за находчивость... А ты бъ сказала ему, что его предокъ былъ купленъ за бутылку рома.

Дѣвочки такъ и покатались со смѣху при этихъ словахъ.

— Ай-ай! за бутылку рома... Какъ смѣшно!

— А ромъ идетъ на пуддингъ,—пояснила Лиза.

— Только вы, дѣти, не попрекайте его происхожденіемъ, это не хорошо,—серьезно сказалъ Сперанскій.

— А! нашъ славный исторіографъ... Николай Михайловичъ Карамзинъ... отшельникъ,—быстро заговорилъ Державинъ.

— Гдѣ онъ?—спросилъ Сперанскій.

— Вонъ идетъ съ кѣмъ-то... не разберу.

— Да, съ тѣхъ поръ, какъ онъ „постригся въ историки“, его нигдѣ не видать... Точно схиму принялъ архивную.

Карамзинъ замѣтилъ Державина и Сперанскаго, повернулъ къ нимъ, издали привѣтливо кланаясь.

IX.

Хотя Карамзину въ это время было съ небольшимъ сорокъ лѣтъ, но онъ казался много старше своего возраста. Усиленные литературныя занятія въ теченіе болѣе двадцати лѣтъ, безпокойное, утомительное и трудное

дѣло по изданію „Вѣстника Европы“, въ то время, когда журнальное дѣло у насъ было еще такъ мало налажено и когда, кромѣ литературнаго, исключительно художественнаго и ученаго элемента, Карамзину приходилось вводить въ литературу элементъ политическій; наконецъ, лихорадочная работа надъ „Исторіей російскаго государства“, работа, поглотившая всего его, всѣ силы его духа, мысли и фантазіи, работа трижды египетская, когда не существовало еще никакихъ изданій старинныхъ памятниковъ, которыхъ послѣ смерти Карамзина изданы по наше время и правительственными, и частными усиліями буквально цѣлая горы, и когда эти горы приходилось раскапывать въ архивахъ, въ пыли вѣковъ и среди могильной затхлости, и изъ цѣлыхъ горъ выкапывать двѣ-три историческихъ жемчужины—факта, когда не существовало ни описей библиотекъ, ни каталоговъ и когда, чтобы добыть и провѣрить то или другое историческое свидѣтельство, нужно было буквально открывать новый міръ архивный и слѣпнуть, и задыхаться въ архивныхъ склепахъ, все это не могло не отразиться на всемъ его существѣ, но могло не лечь преждевременными складками и тонкими, но неизгладимыми морщинками на его молодомъ, открытомъ и ясномъ лицѣ, не могло не унести въ архивный мракъ и часть огня его глазъ, и нѣкоторую долю его живости, веселости, общительности. Чаше и чаще воображеніе автора „Писемъ русскаго путешественника“ и „Бѣдной Лизы“ отрѣшалось отъ дѣйствительности, отъ живой жизни, отъ свѣтлаго солнца, отъ живой зелени, отъ живыхъ людей и уходило въ могильную тишину историческаго прошлаго, къ мертвымъ бумагамъ, къ мертвымъ, давно забытымъ интересамъ, къ мертвымъ, истлѣвшимъ, всѣми забытымъ людямъ съ ихъ, какъ и они сами, истлѣвшими интересами, желаніями, горями и радостями. вмѣсто Наполеона въ его душу стучался какой-нибудь не разгаданный „Якупъ слѣпой“, вмѣсто „Бѣдной Лизы“—гордая Рогнеда или истлѣвшій черепъ съ неистлѣвшею золотою косою Верхуславы, вмѣсто Державина пѣлъ его слуху „Боянъ вѣщій“... Въ концертахъ, на музыкѣ онъ слышалъ, какъ чьи-то мертвые, костлявые персты изъ-за могилы на „живыхъ струнахъ рокотахъ“... Въ блестящихъ кавалергардахъ онъ видѣлъ „курятъ, конецъ копія вскормленныхъ“... Устали глаза; устала память, устало воображеніе, а впереди еще такъ много работы—цѣлая пирамида бумаги, архивныхъ дѣлъ, свитковъ... Можно высохнуть отъ этого, зачерствѣть, душу превратить въ пергаментъ...

— Вы совсѣмъ отреклись отъ міра, почтеннѣйшій Николай Михайловичъ, съ тѣхъ поръ какъ „постриглись въ историки“, и васъ нигдѣ не видать,—сказалъ Сперанскій послѣ первыхъ привѣтствій, когда пришедшіе тоже усѣлись на скамейку.

Карамзинъ улыбулся, но ничего не отвѣчалъ.

— Да что отъ міра, ваше превосходительство!—нашъ почтенный исторіографъ скоро, сдается мнѣ, и отъ пищи совсѣмъ откажется,—весело сказалъ его спутникъ.—Сегодня, въ такую-то дивную погоду, я нашелъ его въ академическомъ архивѣ, гдѣ, кромѣ него и архивнаго кота, ни души не

было... Да онъ, кажется, только съ котомъ и можетъ теперь объясняться, совсѣмъ разучился говорить съ людьми... Прихожу сегодня я въ этотъ склепъ могильный, въ архивъ, и вижу—Николай Михайловичъ ползаетъ по полу и распускаетъ какой-то ужасный свитокъ, на которомъ написаны разныя неизобразимыя каракули, и вижу—человѣкъ совсѣмъ помѣшался: глаза горятъ отъ восторга, а самъ что-то бормочетъ... А на другомъ концѣ сидитъ маститый академикъ Васька, котъ архивный, и тоже лицо его сіяетъ восторгомъ: онъ тоже, кажется, сдѣлалъ ученое открытіе въ подпольѣ—цѣлую семью молодыхъ мышать...

Всѣ разсмѣялись, не исключая старика Державина и дѣвочекъ. Соня даже въ ладоши захолопала.

— Ахъ, Лиза, молодые мышата!

Этотъ веселый собесѣдникъ былъ Тургеневъ, Александръ Ивановичъ, еще довольно молодой человѣкъ, но уже выдвигавшійся изъ толпы петербургской знати, благодаря своимъ блестящимъ способностямъ и познаніямъ. Обращеніе его было мягкое, разговоръ легкій и игривый, а изящныя манеры и костюмъ изобличали, что онъ не былъ скученъ и въ обществѣ хорошенькихъ женщинъ, и какъ находчивъ былъ по службѣ, въ дѣлѣ, въ ученомъ разговорѣ, такъ не менѣе находчивъ и въ салонной болтовнѣ.

— А! говорю, здравствуйте, Николай Михайловичъ! Здравствуйте, Василій Васильевичъ!

— Кто-жъ этотъ Василій Васильевичъ?—спросилъ Державинъ.

— Да Міофаговъ, ваше высокопревосходительство.

— Какой Міофаговъ? Я не знаю такого.

— Да новѣйшій подпольный исторіографъ и академикъ, архивный котъ Василій Васильевичъ Міофаговъ... Подъ этой фамиліей ему и суточные раціоны отпускаютъ по службѣ въ академическомъ архивѣ.

Дѣвочкамъ это очень понравилось.

— Слышишь, Лиза, въ академіи есть академикъ Васька-котъ... Назовемъ и мы своего Ваську академикомъ Міофаговымъ.

— Нѣтъ, Соня, нашему Васѣ надо дать другую фамилію. Вѣдь нашъ Вася еще не академикъ...

— Такъ будетъ онъ умный.

— Какъ же вамъ удалось вытащить изъ архива добрѣйшаго Николая Михайловича?—спросилъ Сперанскій.

— Да совершенно неожиданно... Знаете, говорю, какое тяжелое впечатлѣніе произвело на всѣхъ извѣстіе о пораженіи нашихъ войскъ подъ Фриданомъ? А онъ мнѣ на это: „Да, это, говорить, печально, только меня, признаюсь, говорить, больше печалитъ, что нѣтъ другого списка Слова о полку Игоревѣ“.

— Ну, ужъ вы сочиняете,—кратко возразилъ Карамзинъ:—я совсѣмъ не такъ выразился...

— Помилуйте! А не вы-ли, когда я заговорилъ о свиданіи государя

съ Наполеономъ въ Тильзитѣ, не вы-ли сказали: „меня, говорить, теперь больше занимаетъ свиданіе Святослава съ Цимисхіемъ“... А?

Опять всѣ засмѣялись.

— Видите? Совсѣмъ отъ міру отведеннымъ человѣкомъ сталъ... Вижу, что чѣмъ-то онъ доволенъ, весело гладить Ваську, и говорю: чему это вы радуетесь? что открыли въ этой могилѣ? „Якуна слѣпота“ какого-то, говоритъ, нашелъ, да еще и съ „златотканной лудой“, и не понимаю, что это за „златотканная луда“, да и того не могу, говорить, понять, какъ это „слѣпой Якунъ“ могъ предводительствовать войскомъ... А я и говорю: „пойдемте, говорю, къ адмиралу Шишкову, онъ насчетъ этого старья собаку съѣлъ... Можетъ онъ, говорю, самъ жилъ при „Якунѣ“ и выдывалъ его... ну, и вытащилъ изъ архива.

— Въ самомъ дѣлѣ,—серьезно сказать Карамзинъ, ни къ кому не обращаясь,—меня смущаетъ это мѣсто лѣтописей нашихъ: какъ „слѣпой Якунъ“ могъ начальствовать войскомъ, а главное—лично участвовать въ битвѣ?

— А какъ-же у чешскихъ таборитовъ былъ предводителемъ слѣпой Жижка?—возразилъ Державинъ.—Онъ тоже лично участвовалъ въ битвахъ.

— Такъ-то такъ, да все это меня не успокаиваетъ,—спокойно говорилъ Карамзинъ.

— Можетъ быть, впоследствии историки и откроютъ, что Якунъ былъ не слѣпой,—замѣтилъ Сперанскій.

— Да, можетъ быть.

— Область знанія безконечна... Безконечно пространство и время, это такъ... но и пытливость духа человѣческаго также безконечна... Теперь вы въ недоумѣніи отъ „слѣпоты Якуна“, а можетъ быть лѣтъ черезъ пятьдесятъ найдутъ наши дѣти и внуки, что онъ былъ вовсе не слѣпой,—найдутъ, быть можетъ, и то, кто такіе были эти варяги... Вонъ теперь мы долго ждали свѣдѣній о свиданіи государя съ Наполеономъ, а черезъ пятьдесятъ лѣтъ, черезъ сто, можетъ быть, за тысячи верстъ можно будетъ слушать, что говорятъ отсутствующіе... Могушество мысли человѣческой безгранично,—задумчиво говорилъ Сперанскій, глядя головку Лизы, которая стояла тихо, прижавшись къ его колѣнямъ.

Старикъ Державинъ заснулъ, пригрѣтый солнышкомъ. Сѣдая голова его какъ-то безпомощно опустилась на грудь, и вѣтерокъ игралъ его сѣдыми волосами. И это—„пѣвецъ Фелицы“! Грустно... такъ могущественъ умъ человѣческій, и такъ безсильно его тѣло... Грустно, грустно!

— Это дочка ваша?—спросилъ Карамзинъ послѣ общаго раздумчиваго молчанія.

— Да, моя Лиза, названная такъ въ память вашей „Бѣдной Лизы“.

Карамзинъ грустно улыбнулся, любуясь обѣими дѣвочками. Онъ вспоминалъ, когда писалась эта „Бѣдная Лиза“. Какъ давно это было!

— А сегодня моя Лиза совсѣмъ „Бѣдная Лиза“,—шутя замѣтилъ Сперанскій.

Почему-же?—спросил Карамзинъ.

Огорчилъ ее одинъ мальчикъ-озорникъ... попрекнулъ происхожденіемъ.

Тѣмъ, что она произошла отъ Адама и Евы?

— Да, только отъ семинариста.

— А тотъ мальчикъ развѣ не отъ этой пары прародителей производитъ себя?

— Должно быть.

— У него папа былъ негръ,—удачно пояснила Соня.

Всѣмъ это очень понравилось; но Сперанскій погрозилъ ей пальцемъ.

— А какъ ваша работа подвигается?—обратился онъ къ Карамзину.

— Медленно, Михайло Михайловичъ,—копотливая это работа... Каждое пустое извѣстіе надо подкрѣпить, цитатой подковать.

— Да, этихъ гвоздей у васъ много, такъ и пестрятъ страницы цитатами.

— Да чуть-ли эти гвозди не больше вѣсятъ, чѣмъ самые сапоги,—иронически замѣтилъ Тургеневъ.

— Что-жъ, и правда,—отвѣчалъ Карамзинъ скромно.

— Но какой языкъ у васъ богатый!—говорилъ Сперанскій.—Вы положительно творецъ нашего литературнаго стиля.

Карамзинъ предостерегательно показалъ на спящаго Державина.

— Ничего,—успокаивалъ его Сперанскій.—Вѣдь онъ не прозаикъ,—поэтъ.

— А какія вѣсти изъ арміи и отъ государя?—спросилъ Карамзинъ, видимо желая переимѣнить разговоръ.

— Да вѣсти не совсѣмъ утѣшительныя... Уже одно то ново, что русскихъ бьютъ, чуть-ли не первый разъ съ начала нашей исторіи... такъ кажется?

— Нѣтъ, бивали не разъ и прежде,—замѣтилъ Карамзинъ.

— Въ древнее время, можетъ быть?

— Нѣтъ, и въ послѣдніе два вѣка: и поляки бивали, и шведы.

— Да... Но теперь говорятъ, что не такъ бьетъ Наполеонъ, какъ свои-же...

— Неужели? Кто-же это?

— Казнокрады, интенданты да подрядчики... Ну, и бездарные вожди.

— Да, съ такимъ чадушкомъ, какъ Наполеонъ, не легко бороться.

— Пигмеямъ,—пояснилъ Сперанскій.

— А государь что?

— Онъ, кажется, очарованъ новымъ цезаремъ послѣ личнаго свиданья... Да и не удивительно—великій геній.

— Охъ, сдается мнѣ—плачущій крокодилъ,—замѣтилъ Карамзинъ.

— Да, но въ слезахъ этихъ блестятъ перлы западной цивилизаціи, а не булыжникъ обскурантизма.

— Оно такъ, но цивилизація-то у него стоитъ на запяткахъ, а не замѣсто кучера,—возражалъ Карамзинъ.

— Лучше, Николай Михайловичъ, если цивилизація даже на запяткахъ, чѣмъ вмѣсто кучера—капитанъ-исправникъ... Вѣрнѣе мнѣ, вы хорошо, лучше меня знаете русскую исторію: когда-нибудь намъ придется поплатиться за этого капитанъ-исправника передъ всей Европой... Только тогда Россія будетъ безопасна отъ новаго крестоваго на нее похода Европы, когда приметъ и усвоитъ себѣ формы жизни, которыя рекомендуетъ всему міру наука... Я скажу вамъ: не *noblesse oblige*, а *civilisation oblige*...

Сперанскій говорилъ горячо, хотя тихо и ровно. Спокойное лицо его оживилось, глаза сдѣлались добрѣе и красивѣе. Онъ много думалъ надъ тѣмъ, что говорилъ.

— Россіи многого не достаетъ,—продолжалъ онъ,—да по правдѣ сказать, она еще и не начинала идти этой обязательной для всего человѣчества дорогой... Даже и Петръ на этомъ пути ничего не сдѣлалъ, онъ больше думалъ о себѣ.

— Какой-же это путь?—спросилъ Карамзинъ.

— Кажется, на этомъ пути съ помощью Лагарпа и Сперанскаго Александръ хотѣлъ попробовать сдѣлать первый шагъ,—сказалъ какъ-бы про себя Тургеневъ, глядя на возморе.

— Нѣтъ,—возразилъ спокойно Сперанскій,—я только мечтаю объ этомъ съ своею подушкою... съ Іеремією Бентамомъ...

— Это тотъ, что вы издали?

— Да. Бентамъ ищетъ такую форму человѣческихъ отношеній, которая дала-бы „величайшее возможное счастье для величайшаго возможнаго числа людей“. А я мечтаю о немножко большемъ, чѣмъ это...

— Ахъ, папочка! ты точно стихи говоришь!—наивно воскликнула Лиза.

— Да, стихи, моя дурочка! это — поэзія директора департамента.

— Какіе стихи? Кто стихи сочинилъ?—очнулся старикъ Державинъ.— Директоръ департамента?

Одно слово „стихи“ будило стараго поэта, какъ труба боевого коня.

— Да вы же сегодня декламировали мнѣ вашу новую оду,—спокойно отвѣчалъ Сперанскій.

— Да, но я вамъ конецъ не сказалъ... А конецъ этотъ пророческій...

— Что же пророчить ваша ода, ваше высокопревосходительство?—любезно, но съ скрытой ироніей спросилъ Тургеневъ, придвигаясь къ старику.—Надѣюсь, мой вопросъ не нескроменъ.

— О, нѣтъ!—отвѣчалъ старикъ, довольный, что его сажали на его коня.—Я думаю такъ окончить свою оду:

Падетъ Европа на колѣни
Предъ тѣмъ, борьбу кто прекратитъ

И токѣ прольетъ въ ней днѣй блаженныхъ.
Се ужъ еѣ орелъ паритъ!

— Прекрасно! великолѣпно! сейчасъ чуешь орлиный полетъ „Пѣвца Фелицы“,—заговорилъ Тургеневъ опять-таки не безъ скрытой ироніи.—Но вотъ что скверно, ваше высокопревосходительство: галльскій-то пѣтухъ шибоко поклеваль, сказывають, нашего орла...

— А орелъ послѣ совсѣмъ заклюеть пѣтуха!—горячился старикъ.

— Ну, это конечно... А что касается Европы, то сначала, когда нашъ орелъ заклюеть пѣтуха, это точно, она падетъ передъ орломъ на колѣни, а какъ оклемаеть маленько, то и закричить на него: „кшъ-кшъ!“

— Какъ это, государь мой?

— Да колѣнкой насъ.

— Нѣтъ, государь мой, этому не бывать.

Старикъ волновался. Частое повтореніе „государь мой“—явный признакъ этого волненія.

— Не спорю, не спорю, ваше высокопревосходительство,—оправдывался Тургеневъ, очень хорошо знавшій упрямство самолюбиваго старика.—Что касается нашихъ воиновъ, то они готовы въ супѣ съѣсть галльского пѣтуха. Я получилъ сегодня изъ Тильзита письмо... знаете отъ кого?—обратился онъ къ Карамзину.

— Не знаю. Отъ кого?

— Отъ вашего... то-бишь, отъ нашего земляка—симбирца. Вѣдь знаете, милостивые государи мои, кому Россія обязана Карамзинымъ?—Изволите знать, государи мои?

— Что это вы насъ сегодня все экзаменуете, Александръ Ивановичъ?—спросилъ Карамзинъ.

— Да, точно, экзаменую. Когда впослѣдствіи на экзаменахъ будутъ вопрошать российское юношество: „кому Россія обязана тѣмъ, что у нея оказался свой тащить—Карамзинъ?“—российское юношество должно будетъ отвѣтствовать: „Россія симъ обязана родителю Александра Ивановича Тургенева, бригадиру Ивану Петровичу Тургенову, который въ Симбирскѣ открылъ Карамзина, какъ Колумбъ открылъ Америку, и вытащилъ его изъ захолустя въ Москву, гдѣ юный симбирскій дворянинъ, будущій творецъ „Вѣдной Лизы“ и будущій, а нынѣ на лицо сущій исторіографъ и проявилъ свой геній.“ Правда это?—обратился онъ къ Карамзину.

— Правда,—отвѣчалъ тотъ:—вашему батюшкѣ я обязанъ тѣмъ, что я не загложъ въ провинціи въ качествѣ степняка и любителя псовой охоты.

— Помните это, дѣти,—комично обратился Тургеневъ къ дѣвочкамъ.

— Я не забуду, что дядю Карамзина открылъ въ Симбирскѣ вашъ папа,—серьезно сказала Лиза.

— И я не забуду,—повторила за ней Соня:—Америку открылъ Колумбъ, а дядю Карамзина вашъ папа... А дѣдушка Державина кто открылъ?—наивно спросила она.

Всѣ засмѣялись; но Державинъ торжественно прибавилъ:

— Меня открыла великая Екатерина!

— Да, это счастливое открытіе дѣйствительно принадлежитъ генію Екатерины,—сказалъ Карамзинъ.

— А тебя, папа, кто открылъ?—неожиданно спросила Лиза отца.

Это было выше всякаго ожиданія. Даже старикъ Державинъ не выдержалъ:

— Ахъ, умница! ахъ, крошечка!—говорилъ онъ, кашляя.—Иди я тебя расцѣлю... Твоего папу открылъ самъ императоръ Александръ Павловичъ... Онъ нашелъ сіе жемчужное зерно...

— Въ кучѣ навоза... въ семинаріи,—пояснилъ Сперанскій.

— Такъ кто же этотъ нашъ землякъ и что онъ вамъ пишетъ изъ Тильзита?—обратился Карамзинъ къ Тургеневу.

— Это Давыдовъ Денисъ Васильевичъ, адъютантъ Багратиона, сызранецъ... Между прочимъ онъ пишетъ (и Тургеневъ досталъ изъ кармана письмо): „Если Наполеону и удалось обворожить государя, то офицерамъ французскимъ обворожить насъ не удастся, какъ они ни стараются дѣлать намъ глазки, точно барышнямъ: мы остаемся медвѣдями. По тайному наказу Наполеона, они хотятъ насъ, видимо, влюбить въ себя всякими привѣтливостями и вѣжливостями, и мы имъ отвѣчаемъ тѣмъ же; но дальше этого—ни-ни! подобно деревенскимъ дѣвкамъ: „языкомъ болтай, а руками волю не давай“. И мы, и они, всѣ мы чувствуемъ, что межъ нами уже всталъ дорогой трупъ, который говоритъ: „я жду вѣнка на мой гробъ; а вѣнокъ сей: штыкъ въ крови по дуло, ножъ въ крови по локоть“.

— О! это ужасно!—невольно вырвалось у Сперанскаго.

— А вотъ тутъ онъ приписываетъ: „Общее возбужденіе таково, что намъ даже отъ дѣтей нѣтъ отбою—все просятся въ войско: своимъ примѣромъ Наполеонъ заразилъ весь міръ. Ходитъ даже слухъ, что во всѣхъ нашихъ послѣднихъ кровавыхъ битвахъ принимала участіе—кто-бы вы думали? кто бросался въ огненные сѣчи?—дѣвочка!..“

— Дѣвочка!—съ восторгомъ воскликнули въ одинъ голосъ Лиза и Соня.

— Да, мадамъ, дѣвочка—вотъ такая какъ вы, съ такими же глазами, и стрѣляла этими глазами, и убивала наповаль...

— Ахъ, Лиза! пойдѣмъ и мы.

— Пойдемъ, только съ папой и мамой.

— Вотъ это умно!—засмѣялся Тургеневъ.

— Имени этой дѣвушки не называютъ?—спросилъ заинтересованный Карамзинъ.

— Нѣтъ, хотя догадываются.

— Вотъ находка для будущаго историка—россійская Іоанна д'Аркъ,—сказалъ Карамзинъ.

— Какое Іоанна! просто Анюта или Лиза,—засмѣялся Тургеневъ.

— А можетъ быть Соня,—вступилась эта послѣдняя за свое имя.

— Ну, будь по вашему! Она — Лиза-Соня, какъ Петры-Павлы. Только Давыдовъ пишетъ не мало интереснаго и насчетъ нашихъ солдатиковъ—это настоящіе герои!—„При осмотрѣ нашихъ войскъ—пишетъ онъ вотъ тутъ дальше—Наполеонъ пожелалъ видѣть храбрѣйшаго изъ нашихъ богатырей. Вызываютъ перваго по ранжиру—Лазарева: дѣтина ражій, рослый, плечи въ косую сажень, на груди хотъ горохъ молоти, а рыло доброе, младенческое и въ глазахъ дѣтская доброта и ясность. Наполеонъ даже отступилъ въ удивленіи „O! c'est un Mars!“ невольно воскликнуть онъ, не вѣря, что съ такими дѣтски-добрыми глазами этотъ великанъ пронизывалъ ветерановъ его старой гвардіи штыкомъ по дуло. А Лазаревъ стоитъ, руки по швамъ, и то на Наполеона посмотреть съ удивленіемъ, сверху, словно съ горы на ребенка—Наполеонъ ему чуть не по поясъ,—то съ любовью и благоговѣніемъ покосится на государя, у котораго на лицѣ все время играла ангельская, радостная улыбка. Наполеонъ снимаетъ съ себя крестъ почетнаго легіона и собственноручно (увы! привставъ на цыпочки...) вѣшаетъ его на грудь великану, который при этомъ нагибается къ великому Банапарту словно дѣвочка къ куклѣ...”

И Лиза, и Соня при этомъ даже въ ладоши захлопали отъ радости.

— Но слушайте! слушайте!—продолжалъ Тургеневъ: „А великанъ и говорить: „А Заступенкѣ, ваше превосходительство?“ (Наполеона онъ не хочетъ, какъ видно, признавать императоромъ—не говорить: „ваше величество“, а просто — „ваше превосходительство“). „Заступенкѣ, говорить, ваше превосходительство, что-жъ? Онъ храбрѣ меня“.— Наполеонъ не понимаетъ.—„Какому Заступенкѣ?“ съ удивленіемъ спрашиваетъ государь.—„Однокашнику моему, ваше императорское величество—Охремій Заступенко; локоть-въ-локоть стоимъ завсегда и деремъ локоть-въ-локоть: коли я не закололъ француза, онъ заколетъ, коли онъ не докололъ, я доколю...” Императоръ милостиво смѣется невинности этого наивнаго младенца и говоритъ, чтобъ онъ не беспокоился о своемъ другѣ, что и его не обойдетъ царская награда...”

— Да, это истинное геройство,—задумчиво говоритъ Карамзинъ.

— Больше чѣмъ геройство, Николай Михайловичъ: это—высочайшая человѣчность,—замѣчаетъ Сперанскій.—Она только и живетъ въ младенцѣ-народѣ.

— Давыдовъ еще выше это понимаетъ. Онъ пишетъ, что, узнавъ русскаго солдата, онъ находитъ, что на него „молиться надо“: „это боги, говорить, а не люди“,—прибавилъ Тургеневъ.

— И этихъ боговъ мы истребляемъ безжалостно!—съ горечью замѣтилъ Сперанскій, которому вспомнилось при этомъ его собственное дѣтство, бѣганье босикомъ среди того самаго народа, изъ котораго вышли эти боги... И все они остаются бѣдными, жалкими, безпомощными,—а вотъ онъ, поповичъ, звонарское сѣмя, отбившійся отъ народа, онъ, поросль отъ племени Левита, стоитъ уже на милліонахъ этихъ божествен-

ныхъ головъ... высоко, высоко стоитъ, такъ что и не видать ему этого народа, не видать сѣрой массы съ сѣрыми лицами... Ахъ, если бъ эти младенческія головы, эти брызги сѣраго моря народнаго не пропадали... А они пропадаютъ на чужихъ поляхъ, далеко отъ родной сохи...

А подѣ чтеніе письма и тихій разговоръ старикъ Державинъ мирно всхрапываетъ.

— „Потомъ,—продолжаетъ читать Тургеневъ,—данъ былъ общій обѣдъ баталіону старой французской арміи и баталіону нашихъ преображенцевъ. И вообразите: сидятъ сіи дѣти-великаны за столами попережку съ французскими усачами-гренадерами, кушаютъ съ серебряной посуды, дружески чокаются стаканами, не понимая другъ-другу, мѣняются своими шапками—то нашъ богатырь надѣнетъ на французскаго усача свой киверъ, то французъ-усачъ надѣнетъ на нашего великана свою мѣховую шапку. А далѣ ужъ и обнимаются, и цѣлуются—друзья закадычные стали. А дальше..., и подѣ столъ валились, обнявшись, да такъ другъ-на-другу и засыпали, словно на полѣ битвы, мертвые, въ объятіяхъ другъ у друга...“

— Это ужасно, ужасно!—шепчетъ Сперанскій.—И этакіе люди погибаютъ!

А Державинъ продолжаетъ тихо похрапывать... Грезятся старику его молодые годы, его ясныя оченки, русыя кудерюшки, рѣзвы ноженки... А теперь эти ноженки едва бродятъ и все зябнуть... Вонъ и теперь, на лѣтнемъ солнышкѣ, онъ дремлетъ въ теплыхъ бархатныхъ сапогахъ, словно старая салопница... И грезится ему широкое поле, а на этомъ полѣ движутся массы народа, несутъ кресты, церковныя хоругви, вѣнки, перевитые цвѣтами и лентами... И гробовую крышку несутъ, а на крышкѣ огромный лавровый вѣнокъ съ надписью... Что это? „Пѣвцу Фелицы!..“ На подушкахъ ордена несутъ, звѣзды... И поютъ такъ величественно, внушительно: „Воду прошедъ яко сушу и египетскаго зла избѣжавъ...“ Кто-же въ гробу лежитъ?... Да это онъ самъ, только съ мертвымъ ликомъ—это Державинъ-поэтъ... А надъ полемъ неумолчно звучитъ какой-то невѣдомый голосъ, покрывающій погребальную канту хора:

О ты, пространствомъ безконечный,
Живый въ движеніи вещества...

А другой голосъ еще громче, громче трубы архистратига, кто ее слышалъ, возглашаетъ:

Ты богъ, ты царь, ты рабъ, ты червь!..

Старикъ вздрогнулъ и проснулся.

Х.

Въ это время по шоссе, ведущему отъ Крестовскаго острова къ Елагинскому пуэнту, показалась большая, желтая четверомѣстная коляска, которая, подѣхавъ къ прочимъ экипажамъ, стоявшимъ у пуэнта, остановилась, а изъ нея вышли двѣ дамы, сопровождаемыя ливрейнымъ лакеемъ. Обѣ дамы были уже не молодыхъ лѣтъ и обѣ въ траурѣ: бѣлыя, нашитыя на черныя платья полоски, выражающія человѣческое горе, бросаются въ глаза очень издалека. Бѣлыя полоски, плерезы, слезныя обшивки выражаютъ не простое горе, но горе специальное, горе, причиненное смертью близкаго лица... Горей человѣческихъ такъ много, и качества ихъ такъ разнообразны, что если-бъ и къ нимъ принято было примѣнять особую форму внѣшняго выраженія, особый значекъ, то ни значковъ, ни цвѣтовъ, ни красокъ для этого въ природѣ не достало бы... Одной смерти дана привиллегія кричать издали бѣлой нашивкой на черномъ платьѣ... Всякимъ остальнымъ горямъ человѣческимъ оставлено одно мѣсто для своего выраженія и обнаруженія, одна страничка для траурной рекламы—поверхность лица человѣческаго, на которомъ печатаютъ въ траурныхъ каемкахъ свои объявленія и голодъ, наводящій худобу и блѣдность на лицо, и разбитыя надежды, и безысходное отчаянье, и безпросвѣтная тоска...

Но эти бѣлыя полоски на платьяхъ, привезенныя на пуэнтъ, кричатъ о чьей-то смерти... Хотя въ то время тяжелая рука Наполеона успѣла разсѣять этихъ бѣлыхъ полосокъ по лицу всей Европы тысячи и десятки тысячъ, хотя та же рука начала обшивать тысячами полосокъ и русскія платья, и обшиваетъ ихъ вотъ уже нѣсколько лѣтъ, такъ что бѣлыя полоски начинаютъ уже рябить въ глазахъ по всей Россіи, однако зачѣмъ имъ появляться въ мѣстахъ общественныхъ гуляній? Ихъ мѣсто по церквямъ, да по кладбищамъ, а не на аристократическомъ пуэнтѣ...

Оттого всѣ глаза гуляющаго и отдыхающаго пуэнта и обращены на вышедшихъ изъ коляски дамъ съ бѣлыми полосками. Что это? — Нищій на званомъ обѣдѣ? звуки балалайки въ церкви? гробъ не на своемъ мѣстѣ?..

Одна изъ дамъ—высокая, смуглая брюнетка, о возрастѣ которой громко кричатъ тѣ же бѣлыя полоски, которыя не на платьѣ, а въ волосахъ, — эти серебряные бичи, эти плерезы, которыми время и горе, и думы, и страсти обшиваютъ голову человѣческую, бѣлыми змѣйками перевиваютъ волосы—это сѣдина, плерезы молодости, трауръ жизни... Всѣ волосы этой дамы перевиты серебряными полосками—это сплетаются жизнь со смертью, старость съ молодостью. Какъ много въ волосахъ этой дамы серебряныхъ нитей! Словно куколь, словно сорныя травы времени, скоро заполонятъ всю голову, вытѣснятъ съ нея послѣдній черный волосъ, напоминающій молодость, какъ засохшій и выдохшійся цвѣтокъ въ книгѣ напоминаетъ весну... Но она, эта высокая, сѣдая дама ступаетъ бодро...

Другая—меньше ея ростомъ, и хотя время еще не осыпало ея голову серебромъ и сѣѣгомъ, зато провело по лицу какія-то черты и рѣзы, говорящія о прошломъ, какъ египетскіе іероглифы говорятъ о прошломъ Нильской равнины... Да, и это живой саркофагъ, которому мѣсто не здѣсь, не на пузѣтъ...

Не глядя ни на кого, дамы эти прямо направляются къ той скамейкѣ, на которой сидятъ Сперанскій, Карамзинъ, Тургеневъ и гдѣ за минуту передъ этимъ дремалъ Державинъ. Эти послѣдніе, при приближеніи дамъ, замѣтивъ странность ихъ появленія и что-то особенное въ выраженіяхъ лицъ, невольно встаютъ со скамейки и сторонятся.

Высокая, сѣдая дама подходитъ къ скамейкѣ и становится передъ нею на колѣни. Затѣмъ она нагибается къ землѣ и что-то ищетъ на пескѣ. Что она потеряла?... Осмотрѣвъ слѣды ногъ на землѣ, оставленные сидѣвшими тамъ, въ томъ числѣ и неуклюжіе слѣды бархатныхъ сапогъ Державина, странная незнакомка съ горькимъ, скорбнымъ упрекомъ посмотрѣла на Державина.

— Это вы затоптали слѣды его ногъ, безжалостные! — тихо сказала она.

— Чьи слѣды, сударыня?—съ удивленіемъ спросилъ Державинъ.

— Его, моего Сержа... Онъ еще вчера сидѣлъ здѣсь со мною... О, Боже мой!

— Здѣсь, сударыня, и другіе сидѣли... Наконецъ, всякіе слѣды сметаешь сторожъ, какъ и время,—оправдывался Державинъ.

— Да, время... время все сметаешь, и его смело раньше меня, а меня оставило... Но его не время смело, а пуля... злодѣйская рука изверга.

И она снова нагнулась къ землѣ, снова искала слѣдовъ.

— Нѣтъ ихъ, нѣтъ... гдѣ же они, о, мой Богъ! мой Богъ!

Подходятъ и другіе посѣтителі пузѣнта къ тому мѣсту, гдѣ происходитъ эта непонятная сцена, спрашиваютъ другъ друга, что "это такое"? кто эта дама? что она ищетъ, что говорить? Дѣти смотрятъ съ боязнью и жалостью.

— Папа,—шепчетъ Лиза Сперанскому, — зачѣмъ она ищетъ слѣды? чьи слѣды?

— Не знаю, милая,—должно быть, слѣды любимаго сына.

— А гдѣ онъ?

— Судя по ея словамъ, убитъ.

— А кто онъ?

— Не знаю, мой дружокъ... Видно, несчастная потеряла разсудокъ съ горя. Пойдемъ отсюда.

Сумасшедшая поднялась съ колѣнъ, безсознательно глянула по сторонамъ, какъ-бы ища кого-то, и приблизилась къ спуску, уложенному камнями и ведущему къ Невкѣ. За ней неотступно слѣдовала другая дама и лакей.

— Ты куда, Надина?—спросила послѣдняя.

Сумасшедшая остановилась у спуска и глядела на воду.

— Вотъ здѣсь онъ бросалъ камушки въ воду, когда былъ маленькій еще и игралъ здѣсь... Это было такъ недавно... вчера, кажется... Да, недавно... на водѣ еще слѣды въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ падали камушки... я вижу ихъ... А ты видишь?

— Нѣтъ, милая Надина, не вижу.

— А я вижу... На водѣ еще есть его слѣды, а на землѣ уже нѣтъ и слѣда... О, проклятая земля! проклятая! зачѣмъ создана ты, могила ненасытная! Тебя называютъ прекрасною землею, а ты мрачная могила, кладбище, кладбище ненасытное! Какъ жадный обжора, ты вскармливаешь людей не для ихъ счастья и довольства, а для своей прожорливой пасти... О, проклятая, безжалостная!

Она замолчала и внимательно смотрѣла на воду, надъ поверхностью которой скользили ласточки, гоняясь за невидимыми для глаза мошвами. Толпы гуляющихъ, опечаленныя видомъ чужого страданія, замѣтно рѣдѣли.

Вдали послышался веселый дѣтскій смѣхъ, и знакомый уже намъ голосъ маленькаго Саши Пушкина:

Стрекочущу кузнецу...

— Слышишь? это его смѣхъ! — говорила несчастная, радостно встрепенувшись. — Нѣтъ, не его... Онъ теперь не смѣется — отсюда не слышно было и стоновъ, а гдѣ же слышать смѣхъ?

Увидѣвъ на зеленой опушкѣ спуска лиловый колокольчикъ, она сошла къ нему и стала разсматривать.

— Онъ тогда нарвалъ ихъ цѣлый букетъ... Это тѣ самые цвѣты — въ эти чашечки смотрѣли его глаза... А теперь эти глаза на вѣки закрыты... Это онъ закрылъ ихъ, онъ, безжалостный людоедъ... А у него есть сынъ? •

— Есть, маленький.

— О! такъ Богъ покараетъ его въ его сынѣ... Его проклянуть матери, у которыхъ отнялъ дѣтей его отецъ-людоедъ... Своими проклятіями онъ заразитъ воздухъ; воду, землю, вѣтеръ, свѣтъ солнца, его собственную кровь... Въ каждомъ лучѣ солнца на него будетъ изливаться зараза. Гдѣ ступить его нога, изъ земли будутъ выползать мохнатые тарантулы; шипящія змѣи и ядовитыя жабы и будутъ кусать его ноги...

— Перестань, Надина, грѣшно это...

— О, нѣтъ, не грѣшно... Дай мнѣ извергнуть изъ себя этотъ ядъ, который мѣшаетъ моей печали, моимъ слезамъ... Да, да, проклятіе ему, проклятіе матерей!.. Въ каждой каплѣ воды онъ будетъ пить ядъ — слезы несчастныхъ матерей. Въ каждомъ кускѣ хлѣба будетъ сидѣть его отравы... Поцѣлуй отца найдетъ на него проказу, какъ онъ самъ проказа земли... Для его дыханія нѣтъ другого воздуха, кромѣ смрада труповъ... Въ глазахъ у него день и ночь будутъ стоять тѣни убитыхъ имъ, и онъ вѣчно

будетъ слышать стонъ и плачь... А когда онъ самъ захочетъ плакать, у него не будетъ слезъ, и вмѣсто слезъ будетъ сочиться кровь... О! самая мучительная жажда—жажда слезъ, когда онѣ выплаканы и глаза засохли, какъ земля безъ дождя... Я выплакала свои слезы, и мои глаза пересохли, какъ земля въ бездождіе...

Въ группѣ гуляющихъ, не далеко отъ того мѣста, гдѣ причитала безумная, послышался плачь ребенка. Онъ давно уже, выдвинувшись впередъ, напряженно слѣдилъ за всѣми движеніями и словами несчастной женщины. Это былъ довольно рослый и здоровый мальчикъ, хотя ему было всего около пяти лѣтъ, и онъ смотрѣлъ не по-дѣтски серьезно. При последнемъ безумномъ монологѣ сумасшедшей онъ подошелъ къ ней еще ближе, сляся заглянуть ей въ лицо, въ глаза, и когда та съ тихимъ стономъ проговорила, что ея слезы всѣ выплаканы и глаза пересохли, — мальчикъ громко заплакалъ.

— Ахъ, бѣдный Вася Каратыгинъ испугался,—заговорили дѣти.

Мать бросилась къ нему, обхватила его.

— Ты чего? Не бойся, дружокъ,—шптала она.

— Я не боюсь... Мнѣ жалко ее... Она всѣ слезы выплакала...

И ребенокъ снова заплакалъ. Безумная, услыжавъ его плачь и слова, быстро обернулась къ нему, и по лицу ея пробѣжало что-то вродѣ сознательной мысли, какой-то свѣтъ, сгонявшій тѣни съ смуглаго, словно застывшаго лица... Она рванулась впередъ, раскрывъ руки словно для объятія, и прежде чѣмъ Каратыгина успѣла отвести ребенка, безумная страстно обхватила его курчавую головку.

— Тебѣ жаль меня, мой ангелъ... О, добрый, милый!.. И у него такая же кудрявая головка была... о, Боже мой!—бормотала безумная, цѣлуя голову ребенка.

Мальчикъ стоялъ смирно, продолжая вслипывать.

— Вотъ и ты плачешь?—сказалъ онъ, поднимая съ удивленіемъ глаза на безумную.—Слезы воротились?

— Да, мой ангелъ, воротились, мнѣ легче—отвѣчала она.

Несчастная дѣйствительно плакала, слезы не всѣ были выплаканы. Со слезами къ ней воротился и разсудокъ. Она взглянула на мать Каратыгина и сквозь слезы проговорила:

— Ради Бога, простите меня... Я испугала васъ... Горе помutilо мой разсудокъ...

— Нѣтъ, нѣтъ,—отвѣчала Каратыгина,—я глубоко сочувствую вашему несчастью... Богъ да поможетъ вамъ.

— Онъ въ лицѣ вашего ребенка облегчилъ мою душу... Я благословляю ваше милое дитя...

И плачущая женщина, перекрестивъ маленькаго Каратыгина, молча пошла къ своей коляскѣ, сопровождаемая своею спутницею и лакеемъ. Скоро коляска скрылась изъ глазъ.

Маленькій Каратыгинъ разомъ сдѣлался центромъ общаго вниманія.

Его окружили, ласкали, спрашивали, кто такая была эта странная женщина въ траурѣ; но никто на это не могъ отвѣчать.

— Сейчасъ видать будущаго Гаррика: разомъ овладѣлъ общимъ вниманіемъ, — сказалъ подошедшій къ Каратыгиной Крыловъ, Иванъ Андреевичъ, баснописецъ, глядя мальчика по головѣ и здороваясь съ его матерью.

Крылову въ это время было лѣтъ подь сорокъ, но онъ уже глядѣлъ довольно грузнымъ мужчиной и подавалъ большія надежды на ожирѣніе. Жирныя губы, жирныя щеки, пухлыя руки, медленная походка и медленная рѣчь, все это изобличало въ немъ медвѣжью мѣшковатость. Философское равнодушіе къ внѣшности сказывалось въ небрежности костюма, который былъ потертъ и засаленъ. Волосы его были напудрены по тогдашнему обычаю, но такъ не искусно, что Тургеневъ утверждалъ, будто Крылова причесываетъ и пудритъ поваръ въ трактирѣ Палкина мукою, остающемся отъ варениковъ, до которыхъ баснописецъ былъ большой охотникъ. Вообще это была олицетворенная лѣнь, небрежность и разсыянность, и Тургеневъ увѣрялъ, что Иванъ Андреевичъ, по разсыянности, могъ обидать въ день три и четыре раза, и за столомъ сыпалъ соль въ чужую тарелку, а вмѣсто себя утиралъ салфеткою сосѣда или у него же чесалъ ногу, какъ чесалась своя. Но глаза Крылова смотрѣли живо, весело и лукаво, и когда ему замѣчали относительно лукавства этихъ глазъ, онъ отвѣчалъ: „да это не мои глаза, а воровскіе: ихъ мнѣ одинъ интендантъ подкинулъ“.

Мать Каратыгина была молоденькая, бѣлокуренькая, застѣнчивая барынька, съ лицомъ необыкновенной бѣлизны; эта необыкновенная бѣлизна была причиною того, что, по волѣ патріарха тогдашняго театра, знаменитаго Дмитревскаго, Каратыгина на сценѣ называлась Перловой. Пятилѣтній Вася, будущій трагикъ Каратыгинъ, былъ ея вторымъ сыномъ. Съ дѣтства онъ любилъ слушать, какъ его отецъ и мать разучивали и репетировали свои роли, и когда Вася послѣ какой-нибудь трагической или злодѣйской роли начиналъ бояться своего отца, буквально понимая его роль, то родители очень смѣялись надъ ребенкомъ и называли его „простодушнымъ райкомъ“.

— Гаррикъ, Гаррикъ, — продолжалъ Крыловъ, теребя мальчпка за пухлый подбородокъ.

— Нѣтъ, Иванъ Андреевичъ, онъ у насъ „простодушный раекъ“, — отвѣчала смѣясь Каратыгина.

— Какъ „простодушный раекъ“?

— Да вотъ недавно шла на сценѣ драма покойной императрицы Екатерины Алексѣевны — „Олегово правленіе“. Я играла Прекрасу, а Вальбергъ — Игоря, моего жениха. Вася былъ на репетиціи, видѣлъ игру, понималъ все буквально, какъ въ райкѣ понимаютъ пьесы, да такъ приверевновалъ ко мнѣ Вальберга, что во время самаго патетическаго нашего объясненія закричалъ на весь театръ: „мама, мама! не выходи за него: онъ женатъ“.

Разсказъ этотъ вызвалъ общій смѣхъ, который такимъ рѣзкимъ контрастомъ звучалъ послѣ горькихъ причитаній несчастной женщины. Особенно Крылову понравился разсказъ Каратыгиной о маленькомъ Васѣ.

— Ай-да Вася! вотъ такъ критикъ сценическій!—смѣялся онъ.—Но какъ онъ ловко умирить эту таинственную незнакомку! Онъ принялъ ея проклятія за монологъ на сценѣ.

— Я сама видѣла, что онъ ее чрезвычайно внимательно слушалъ, и думала то же,—сказала Каратыгина.

— А ты, Вася, какъ думаешь? Актриса она?—спрашивалъ Крыловъ.

— Кто?—спросилъ ребенокъ.

— Та дама, въ черномъ.

— Актриса.

— А почему ты такъ думаешь?—допрашивалъ онъ, едва удерживаясь отъ смѣху.

— Она на Дмитревскаго похожа,—отвѣчалъ мальчикъ.

— Какъ на Дмитревскаго?

— Да, на Дмитревскаго, на „Эдипа-царя“. Мнѣ и его было жаль.

Опять общій смѣхъ. Не смѣялся только одинъ юноша, молодой, очень молодой человѣкъ, на видъ не болѣе восемнадцати-девятнадцати лѣтъ, но не по лѣтамъ молчаливый и сосредоточенный. Въ лицѣ его есть что-то южное, даже болѣе—что-то цыганское, но только смягченное какою-то словно-бы дѣвическою застѣнчивостью и глубокою вдумчивостью, робко выглядывающею изъ черныхъ, плотную черныхъ глазъ, точно въ нихъ былъ одинъ зрачекъ безъ роговой оболочки. Онъ стоялъ съ кѣмъ-то нѣсколько поодаль и задумчиво глядѣлъ на маленькаго Каратыгина. При послѣднихъ словахъ мальчика, когда всѣ засмѣялись, этотъ цыгановатый юноша замѣтилъ какъ бы про себя:

— А какой глубокой отвѣтъ, хоть-бы и не для ребенка.

— Вы что говорите?—спросилъ его сосѣдъ, молодой человѣкъ, почти однихъ лѣтъ съ цыгановатымъ юношей, съ черными бѣгающими глазами и большими, негритянскими губами.

Цыгановатый юноша былъ Жуковский, Василій Андреевичъ, начинающій поэтикъ, котораго товарищи за робость и скромность, а также за меланхолическое настроеніе его поэзіи называли „нимфой Эгеріей“. Сосѣдъ его былъ Греть, Николинъ, юркій и смѣлый молодой человѣкъ, слывшій въ своемъ кружкѣ подъ именемъ „Николаки Грекондраки“.

— О чемъ говорить нимфа Эгерія съ Нумой Помпилиемъ?—повторилъ Греть, трогая Жуковскаго за руку.

— Да вотъ вы слышали, что сказалъ этотъ мальчикъ? — отвѣчалъ онъ.

— Слышалъ. А что?

— Онъ сказалъ величайшую похвалу Дмитревскому и глубокою истину, какой никто еще не сказалъ о нашемъ маститомъ артистѣ. Этотъ ребенокъ сказалъ, что та обезумѣвшая отъ горя женщина похожа на Дмитрев-

скаго въ „Эдипѣ“. Я смотрѣлъ на эту женщину внимательно: на лицѣ ея застыло мрачное отчаянье, она не играла роли. А мальчикъ своимъ дѣтскимъ чутьемъ—это чутье или генія, или будущаго трагика—онъ чутьемъ уловилъ сходство между этой безумной и Дмитревскимъ; онъ этимъ доказалъ, что Дмитревскій, играя „Эдипа“, страдающаго отъ мести Эвменидъ, великъ въ игрѣ, какъ велико отчаянье той женщины, что мы здѣсь видѣли.

— Да, ваша правда,—согласился Гречъ.

А Крыловъ пристаивалъ къ мальчику, допрашивалъ его:

— Ты чѣмъ хочешь быть, Вася? Хочешь быть актеромъ—Дмитревскимъ?

— Нѣтъ, не хочу.

— Отчего?

— Я не хочу быть слѣпымъ.

— Какъ слѣпымъ?

— Слепымъ Эдипомъ.

— А чѣмъ же ты будешь?

— Наполеономъ.

— Вотъ тебѣ на!

— У меня и сабля есть, и ружье папа купилъ...

— Ну, пропалъ Божій свѣтъ! Наполеонъ всѣхъ сдѣлаетъ солдатами и, нарядивъ шаръ земной въ мундиръ старой гвардіи, опоясавъ его шарфомъ по экватору, посадитъ землю на Пегаса съ ослиными ушами и пошлетъ ее воевать съ солнцемъ. А побѣдитъ солнце, завоюетъ свѣтъ—вотъ мраку-то напустить на вселенную! Ахъ, онъ проклятый корсиканецъ! да этакъ хоть ложись и умирай, капустнымъ листомъ прикрывшись,—говорилъ Крыловъ уже серьезно.

А въ это время Сперанскій, возвращаясь съ пунта вмѣстѣ съ Карамзинымъ и Тургеневымъ, былъ остановленъ одной молоденькой дамой, которая все время находилась въ обществѣ какихъ-то иностранцевъ, по костюму—французскихъ эмигрантовъ, и вела съ ними оживленную, на французскомъ языкѣ, бесѣду. Постоянно слышались слова: „яansenизмъ“, „католицизмъ“, „святой отецъ“, „богословская критика“, „ортодоксальность“, „восточная церковь“. Цитировались богословскія книги, слышались имена: Вольтеръ, Флери, шевалье д'Огаръ, графъ де-Местръ.

Дамочкѣ было лѣтъ двадцать пять. Она смотрѣла очень бойко, говорила увлекательно, съ примѣсью наивнаго педантизма. Маленькіе, подъ длинными рѣсницами голубые глаза постоянно, кажется, что-то общались сказать или выдать еще что-то, но не договаривали, не выдавали всего.

Это была Софи Свѣчина, жена стараго генерала, который смотрѣлъ старымъ колпакомъ, надѣтымъ на женину туфлю. Онъ слушалъ жену, разиня ротъ, и постоянно кивалъ головой въ знакъ согласія и одобренія: казалось, онъ слушалъ Евангеліе, и каждое слово, вылетающее изъ хорошенькихъ устъ жены, онъ глоталъ не жевавши, словно-бы это были ку-

сочки отъ тѣхъ пяти хлѣбовъ, которыми Христосъ накормилъ пять тысячъ своихъ слушателей. Софи Свѣчина, на жадное самолюбіе которой дѣйствовали ловкіе католическіе патеры и разные шевалье, эмигрировавшіе отъ французской революціи въ гостепріимную Россію, и въ особенности знаменитый фанатикъ-шарлатанъ и ханжа графъ Жозефъ-де-Местръ, въ это время быстро скользила по наклонной плоскости своего самолюбія въ пропасть католицизма, подталкиваемая сладкорѣчивыми аббатами и пустомелями эмигрантами, а мужъ, глядя на нее, млѣлъ и благоговѣлъ, какъ благоговѣлъ бы, если бъ его хорошенькая Софи не только скатилась въ широкую пазуху святого отца, но и попала, при помощи Магометовой кобылицы, въ рай пророка, лишь бы захватила съ собой и свой старый колпакъ.

Свѣчина подвела къ Сперанскому какого-то черномазаго еврея, который и своими еврейскими глазами, и халдейскими манерами, и хаваанскимъ языкомъ такъ и забирался въ душу и въ карманъ всякаго, на кого смотрѣлъ и съ кѣмъ говорилъ. Еврей этотъ выдавалъ себя за итальянца, по профессіи доктора.

— Позвольте, мой добрый и великодушный Михаилъ Михайловичъ, представить вамъ доктора Сальватори, изъ Москвы, — сказала Свѣчина, подводя къ Сперанскому еврей-итальянца. — Услыхавъ здѣсь ваше имя, мосье Сальватори пришелъ въ большое волненіе.

— Ваше славное имя стало достояніемъ Европы, — засластилъ еврей. — Меня привело къ вамъ глубокое удивленіе и благоговѣніе къ вашей дѣятельности.

Но слащавый потокъ этотъ былъ остановленъ неожиданнымъ обстоятельствомъ. Курчавый арапченокъ, Саша Пушкинъ, замѣтивъ, что няня его, усѣвшись на дернъ около дорожки, по которой проходилъ Сперанскій и былъ остановленъ Свѣчиной, совершенно углубилась въ вязанье своего безконечнаго чулка, быстро разбѣжался и, на бѣгу декламируя изъ „Димитрія Донскаго“ Озерова (онъ тогда былъ у всѣхъ на устахъ) —

Спокойся, о княжна! побѣда совершенна!
Разбитый ханъ бѣжить, Россія свободенна, —

перескочилъ черезъ голову старухи, сбиль съ этой головы повязку и растянулся у ногъ озадаченнаго Сальватори.

Лиза и Соня захлопали въ ладоши, а ошеломленная старуха, схвативъ маленькаго разбойника за ухо, приговаривала:

— Вотъ тебѣ княжна! вотъ тебѣ княжна!

XI.

— Ужъ и Богъ его знаетъ, что выйдетъ изъ этого ребенка, матыньки мой, — я и ума не приложу! — жаловалась няня Пушкина другимъ нянькамъ,

собравшимся съ Каменнаго и Крестовскаго острововъ на Елагинъ, чтобы наблюдать за играми своихъ барчатъ, а главнѣе затѣмъ, чтобы посудачить насчетъ своихъ господъ. — Ужъ такой выдался озористый да несутерпчивый, что и сказать нельзя—моченьки съ нимъ нѣтъ! Минутки-то онъ не посидитъ смирихонько да тихохонько, какъ другіе, а все-бы онъ властвовалъ да короводилъ въ мертву голову; да выдумывалъ бы непостижимое... И ничего не скажи ему, все заразъ подавай — вынь да положь, хучь бы это была тебѣ жаръ-птица. Скажешь ему это сказку — а сказки страхъ любить, сказкой только и смиряю его, — скажешь сказку, а онъ ее и приметъ вправду, да и ну надъ душой нудить: „покажь, няня, жаръ-птицу“, „найди, няня, цвѣтъ папоротника“, „купи мнѣ, няня, шапку-невидимку“ — и пошелъ, и пошелъ нить... И сна-то, и утому нѣтъ ему... Лежитъ это ночью въ постелькѣ, — ну, думаешь, слава Богу, чадо-то умялось, уснуло, — анъ нѣтъ! Лежитъ и болтаетъ: „а ты, няня, говорить, была у лукоморья—видала тотъ дубъ зеленый да кота ученаго, что мнѣ сказывала?“ — такъ вотъ меня варомъ и обдасть... А то покажи ему Черномора, вынь ему да положь все, что въ сказкѣ сказывается... А то забереть себѣ въ голову самъ искать да доискиваться: гдѣ, вишь-то, конецъ свѣту? кто, рассказы ему, звѣзды ночью зажигаетъ? какъ это, вишь, облака бѣгаютъ по небу?... А разъ возьми да и поди ночью въ лѣсъ — мы въ ту пору въ деревнѣ жили — и поди онъ въ лѣсъ искать русалокъ да такъ и уснулъ тамъ у рѣки, и ужъ утромъ рыбаки нашли его тамъ и привели къ барынѣ; а я со страху-то, когда спохватилась утромъ, чуть руки на себя не наложила—долго-ли до грѣха! Вить мнѣ, холопкѣ, и въ Сибири бы, поди, мѣста мало было...

— Что и говорить! — подтверждали другія няни: — шутка-ли! господское дите тоже, барченокъ, — за это нашу сестру не похвалить.

— Ужъ такой-то озорникъ, что, кажись, другого и на свѣтѣ такого нѣтъ... Такъ вотъ и думается, что не сносить ему своей головы — сущій Паліонъ! Да и быть ему Паліономъ... Какъ выросту, говорить, да достану, говорить, коня богатырскаго за двѣнадцатеры запорами, да добуду, говорить, мечъ-кладенецъ изъ-подъ мертвой головы богатырской — и пойду, говорить, на Паліона одинъ-на-одинъ, какъ Илья, слышь, Муромецъ на Соловья-разбойника... Ну, и быть ему гвардейцемъ — и сложить онъ тамъ свою головушку буйную... А не скажу, чтобъ золь былъ, али бы не любилъ меня — нѣтъ! души во мнѣ, старой, не часть: что бы это у него ни завелось — деньги тамъ либо сладкое что — заразъ ко мнѣ тащить: „на, говорить, нянюля, тебѣ, — возьми это, кушай, моя старенькая...“ Ужъ такое-то ласковое да привѣтливое дите... А задурилъ — ну, и полкомъ его, кажись, цѣлымъ не покоришь — и вездѣ-то онъ набольшій... Вонъ и теперь тамъ командуетъ всѣми, и большими, и маленькими, что твой Суворовъ.

И кудрявый арапченокъ дѣйствительно командовалъ. Весь дѣтскій хоръ покрывала его декламация изъ Тредьяковскаго, котораго онъ, кажется, зналъ наизусть. Слышно, какъ онъ напыщенно скандируетъ:

Съ одной стороны громъ,
Съ другой стороны громъ!
Страшно въ воздухѣ!
Ужасно въ ухѣ!

— А теперь вотъ, какъ побольше сталъ, пришла ему блажь книжки читать — всѣ книжки у барина перетаскалъ. Готовъ всю ночь напролѣтъ читать! Ужъ мы ему и свѣчей не даемъ на ночь,—такъ ухитрился: говорить, что безъ огня боится спать, чертей, слышь, видитъ и съ чертами разговариваетъ,—ну, и зажигаемъ лампадку. А ему это и на-руку: скукожится подъ лампадкой и читаетъ. Ужъ и Богъ вѣдаетъ, что это за дите!

— Порченное, поди,—замѣчаетъ одна няня.

— Нѣту, въ горячей водѣ маленькаго купали — отъ того,—глубокомысленно объясняетъ другая.

— Что ты, мать моя, клеплешь на меня! — ошетинилась няня Пушкина. — Али я молоденькая! сама его купывала: знаю, чать, какая вода полагается.

— А какая?

— Знаю какая... поди такая, въ какой вы своего нѣмчуру купывали.

— Какого нѣмчуру?—огрызается та нянька, что сказала, будто Сашу Пушкина купали въ горячей водѣ.

— Да вашего Сашу—Вѣдьмина, что-ли...

— Наши господа не Вѣдьмины, а Вельтманы, — защищается нянька Вельтмана.

— Ну, не все-ли едино! Вѣдьмины — Вѣдьмины и есть! Вонъ онъ у васъ какой...

— А какой?

— Ни кровинки въ емъ нѣтъ, словно онъ пеклеванный—дигиль какъ есть! А нашъ-ать кровь съ молокомъ.

Няньки чуть было окончательно не перессорились изъ-за своихъ барчатъ. Дѣйствительно, няня Пушкина была права: маленькій Вельтманъ смотрѣлъ совсѣмъ пеклеваннымъ, безкровнымъ мальчкомъ, постоянно задумывался, былъ разсѣянъ и не обладалъ живостью въ играхъ, такъ что въ сравненіи съ нимъ Саша Пушкинъ былъ орелъ передъ бѣлымъ голубемъ. Кюхельбекеръ тоже уступалъ въ живости и огненности Пушкину, и только Грибоѣдовъ, который, впрочемъ, былъ старше Пушкина года на четыре, побѣждалъ иногда и словомъ, и дѣломъ безпокойнаго и находчиваго арапченка.

Какъ неожиданно вспыхнула было война между няньками, такъ неожиданно и прекратилась она,—и все по винѣ неугомоннаго Саши Пушкина. Онъ, оставивъ другихъ дѣтей, которыми все время верховодилъ, влетѣлъ въ сонмище нянекъ словно ошпаренный и накинулся на свою старуху.

— Что-жъ ты мнѣ, нянька гадкая, не показала Державина!—вдругъ озадачилъ онъ ее.

— Какого, батюшка, Державина?

— Да Державина! онъ тутъ, говорятъ, былъ.

— Да я никакого такого Державина не знаю: знать не знаю, вѣдать не вѣдаю.

— Да онъ же, говорятъ тебѣ, сидѣлъ рядомъ съ папой Лизы Сперанской.

— Что-жъ изъ этого, батюшка, что сидѣлъ?

— Какъ же ты мнѣ не показала его!

— Охъ, Владычица! и что я буду дѣлать съ этимъ ребенкомъ!—взмолилась старуха.—То ему подай жаръ-птицу, то шапку-невидимку, а теперь, на-поди!—подай ему какого-то Державина, прости Господи!

— Да шапка-невидимка, няня, въ сказкѣ, а Державинъ не шапка въ сказкѣ—онъ живой, онъ тутъ былъ.

— Мало-ли кто тутъ былъ! не знать же мнѣ всѣхъ.

— Ахъ, няня! няня! Богъ съ тобой! ничего ты не знаешь. И Крыловъ, говоритъ Саша Грибоѣдовъ, былъ здѣсь, а ты и его мнѣ не показала... А онъ басни сочиняетъ...

— Да что ты, прости Господи, бѣлены что-ли объѣлся! — отчаянно защищалась старуха. На-ко чего выдумалъ! И сказки ему сказывай, и сочинителей подавай—жирно будетъ... Да пора и домой—молоко кушать... Вонъ Лиза Сперанская съ Соней и съ папой давно ушли.

Но арапченокъ не унимался и продолжалъ капризничать:

— Ъшь сама молоко... цѣлуйся съ своимъ Сперанскимъ...

— Да на что вамъ, батюшка баричъ, эта старая карга—Державинъ?—вступилась та нянька, что ходила за Сашей Вельтманъ.—Я жила у нихъ—пресварливый старикашка, ничѣмъ на него не угодишь... А теперь ужъ онъ и мышей не давить—какой онъ сочинитель!

Арапченокъ такъ и покатился со смѣху:

— Мышей не давить! Вотъ выдумала! А прежде онъ развѣ давилъ мышей? Развѣ онъ котъ?

— Ну, пойдемъ же, пойдемъ,—настаивала няня: — а то какъ мамашенька увидютъ, что Сперанскіе-то ужъ пришедши съ гулянья, а насъ нѣтъ, такъ мнѣ же, старой, и достанется за васъ.

А Сперанскіе дѣйствительно воротились на свою дачу, на Каменный островъ. Сальватори, представленный Сперанскому генеральшею Свѣчиной въ качествѣ московскаго гостя и человѣка бывалаго и наговорившій любимцу императора такъ много любезностей, что онъ отъ излишняго изобилія не могли не терять своей цѣнности, просилъ позволенія представиться „великому человѣку въ особой аудіенціи“ и, получивъ согласіе, остался съ Свѣчиной. Старая кости Державина увезены были съ пуэнта еще раньше, а Карамзинъ съ Тургеневымъ отправился искать адмирала Мордвинова, чтобъ потолковать съ нимъ о „слѣпомъ Якутѣ“, не дававшимъ спать исторіографу. По дорогѣ къ Сперанскому присоединились мать Сони Вейкардтъ и Магницкій, Михайло Леонтьевичъ, молодой человѣкъ—неудачная креатура Сперанскаго.

Магницкому, имя котораго впоследствии заслужило такую постыдную известность въ исторіи русскаго просвѣщенія, было въ то время около двадцати восьми-деяти лѣтъ. Это была личность, повидимому, ничѣмъ не выдававшаяся, представлявшая что-то вродѣ гладко отполированной плоскости и по внѣшности, и по характеру, тѣмъ не менѣе она обладала необыкновеннымъ талантомъ — талантомъ подлаживаться подъ всякое положеніе, подъ всякую личность, и подлаживаться такъ мастерски, что подлаживание это не казалось ни холопствомъ, ни заискиваньемъ. Сперанскій не терпѣлъ холопства, какъ и заискиванья; еще презрительнѣе казалось для него подлаживание, какъ бы оно ни было искусно: „заискиванье—это кража чужой совѣсти,—говорилъ онъ, а подлаживание—это нравственный подлогъ“,—и между тѣмъ Магницкому до нѣкоторой степени удалось совершить этотъ подлогъ: такъ глубоко коренились въ немъ эти нравственно-воровскіе инстинкты и такъ искусно умѣлъ онъ дѣлать фальшивыя подписи—не рукой, а языкомъ, голосомъ, выраженіемъ глазъ, удачнымъ вопросомъ, желательнымъ отвѣтомъ. И Сперанскій не только терпѣлъ его, но и приблизилъ къ себѣ—въ домѣ Сперанскаго Магницкій былъ своимъ человѣкомъ. Такимъ же своимъ человѣкомъ была и г-жа Вейкардтъ, „титularная мама“ Лизы, какъ называлъ ее Сперанскій. „Титularная мама“ была добрѣйшее, вполне обрусѣвшее нѣмецкое существо, и хотя родитель ея, герръ Амбургеръ, былъ банкиръ по плоти и крови, и деньги были его стихіей, внѣ которой онъ задыхался и бился какъ рыба на льду, однако „титularная мама“, можетъ быть вслѣдствіе этого самаго, чувствовала отвращеніе къ деньгамъ, которая, какъ выражался Сперанскій, съ дѣтства „отравили ее золотымъ ядомъ“. Это была женщина среднихъ лѣтъ, болѣе клонившаяся на сторону молодости, чѣмъ на сторону ей противоположную,—и средней полноты; ходила-же она немножко съ перевалочкой, словно уточка, и эта утиная грація очень шла къ ней.

Дача Сперанскаго фасадомъ выходила на Малую Невку къ сторонѣ Новой Деревни. Съ балкона сквозь зелень шоссеиной аллеи видна была гладкая поверхность Невки, по которой скользили разукрашенные ялики съ высоко поднятыми, точно пѣтушινные хвосты, кормами. Иногда слышно было пѣніе катающихся.

Вечеръ выдался тихій и теплый, и Сперанскій, воротившись съ гулянья, пожелалъ пить чай на балконѣ, что онъ позволялъ себѣ очень рѣдко, утверждая, что петербургское лѣто создано специально въ пользу зубныхъ врачей, и что Петръ, перенеся столицу Россіи въ Петербургъ, привилъ своему царству хроническій государственный флюсъ.

— Но вѣдь флюсъ, ваше превосходительство, есть признакъ гнилого зуба, замѣтилъ Магницкій.

— Да. И этотъ гнилой зубъ Россіи—есть Петербургъ,—серьезно отвѣчалъ Сперанскій.

— И этотъ зубъ, по вашему мнѣнію, слѣдуетъ вырвать?

— Вырвать... какъ столицу, а не какъ портъ.

— И перенести столицу въ Москву?

— О, нѣтъ,—меньше всего въ Москву... Вы, кажется, знаете, что я не сторонникъ квасныхъ московскихъ патріотовъ вродѣ Ростопчина и Глинки, и меньше всего мои мнѣнія сходятся съ мнѣніями противниковъ Петра... „Матушка Москва“ и „бѣлоколенная Москва“ еще долго будетъ оставаться Меккой русскаго народа, то-есть государственной квашней, въ которой вѣчно будетъ всходить опара обскурантизма.

— А гдѣ бы вы лучше желали видѣть русскую столицу?

— Въ Кіевѣ или въ Одессѣ... А еще лучше—знаете гдѣ?

И Сперанскій остановился. Магницкій недоумѣвалъ.

— У насъ въ деревнѣ, папочка, въ Великопольѣ,—вмѣшалась Лиза. Сперанскій разсмѣялся и погладилъ Лизу по головкѣ.

— Почти-почти что въ Великопольѣ... Въ Константинополь была бы когда-нибудь русская столица, еслибъ... еслибъ...—И онъ не договорилъ.

— Что—еслибъ, ваше превосходительство?—съ любопытствомъ спрашивалъ Магницкій.

— Если-бъ не... если-бъ,—какъ-то задумчиво сказалъ Сперанскій,—еслибъ... еслибъ не московская опара...

Онъ замолчалъ и, обратившись къ Лизѣ, которая вмѣстѣ съ Соней освобождала муху, попавшую въ паутину между балаясами балкона, сказалъ:

— Поди, Лизута, и ты, Соня,—порадуйте маму: я сегодня хочу на балконѣ пить чай.

— Ахъ, какъ весело! Ахъ, папуля!—заболтали дѣвочки и бросились искать „титulyрную маму“.

Въ это время на балконѣ словно изъ земли выросла казенная фигура. То былъ стереотипный образецъ министерскаго курьера, привезшаго изъ города вечернюю почту. Въ рукахъ у него былъ портфель.

— Здравствуй, Кавунецъ!—ласково сказалъ Сперанскій.

— Здравія желаемъ, ваше превосходительство!—отрубилъ Кавунецъ и кашлянулъ.

— Что новаго въ городѣ?

— Не могу знать, ваше превосходительство!

— Душно, должно быть?

— Не могу знать, ваше превосходительство!

— А какъ тебѣ нравится сегодняшній вечеръ?—съ сдержанной улыбкой спросилъ Сперанскій.

— Не могу знать, ваше превосходительство!

— Спасибо. Дай портфель. Ступай и вели дать себѣ стаканъ водки.

— Покорнѣйше благодаримъ, ваше превосходительство!

Курьеръ торжественно удалился, съ скромнымъ сознаніемъ, что онъ хорошо исполнилъ свой долгъ.

— Превосходнѣйшій курьеръ,—исполнитель и точенъ какъ хронометръ, сметливъ, расторопенъ и стереотипенъ какъ машина,—замѣтилъ

Сперанскій по его уходѣ. Только на нашемъ бюрократическомъ заводѣ выдѣляются такіе машины-люди, какъ этотъ Кавунецъ. А онъ далеко не глупъ, ни разу онъ не перепуталъ ничего и не перевралъ даже ни одного словеснаго приказанія. За то — лаконичнѣе спартанца: онъ отвѣчаетъ только на служебные вопросы, а на все остальное у него одинъ отвѣтъ — „не могу знать“, то-есть не курьерское это дѣло и курьеру объ этомъ говорить неприлично: знай-дескать службу и не въ свое дѣло не суйся.

Говоря это, онъ вынималъ изъ портфеля пакеты, быстро, почти не глядя, пробѣгалъ надписи ихъ, такъ-же быстро, привычными къ дѣлу пальцами оборачивалъ пакеты кверху печатами, взглядывалъ на печать и откладывалъ въ сторону. Два пакета онъ разсматривалъ долѣе другихъ.

— Это частныя... и оба „въ собственныя руки“, — тихо говорилъ онъ. — Ну, эти можно и здѣсь прочитать, а закланіе сихъ жертвъ, казенныхъ, отложу до послѣ-чаю, на алтарѣ чиновничьяго бога — гусинаго пера..

И онъ распечаталъ одно изъ частныхъ писемъ. Глаза искали подписи.

— Ба! легокъ на поминѣ... „совершенно конфиденціально...“ Что это съ Силой Богатыревымъ? То у него даже „мысли вслухъ на Красномъ крыльцѣ“, то совершенно конфиденціальныя письма, какъ будто могутъ быть полу-конфиденціальныя... Странное стеченіе обстоятельствъ: сегодня генеральша Свѣчина подкинула мнѣ на гуляньѣ этого макорони-Сальватори, а теперь Ростопчинъ пишетъ о немъ-же...

— Конфиденціально? — равнодушно спросилъ Магницкій, поглядывая на свои башмаки съ пряжками.

— Совершенно конфиденціально... предостерегаешь... Сила Богатыревъ не на шутку, кажется, собирается вступить въ единоборство съ Наполеономъ, принимая его за Редюю...

— Но вѣдь это „совершенно конфиденціально“, вѣроятно, для одного Сальватори только? — еще равнодушнѣе спросилъ Магницкій.

— И для Наполеона еще, — прибавилъ Сперанскій. — Онъ пишетъ, что „имѣетъ основательныя причины утверждать, что именующій себя докторомъ Сальватори состоитъ на негласной службѣ у Наполеона“, то-есть — шпионъ, будто-бы, и что „съ побѣдкой его въ Петербургъ соединена тайная миссія — изслѣдовать состояніе умовъ въ столицѣ и выпытать то, что должна знать только русская грудь да подохла...“

— Да, слогъ совершенно Силы Богатырева, — замѣтилъ Магницкій. — Да что онъ тамъ — развѣ ему поручено управленіе Москвою?

— Нѣтъ. Но послѣ того, какъ его „Мысли вслухъ на Красномъ крыльцѣ“ сдѣлали въ Москвѣ его имя такимъ же популярнымъ, какъ популярны царь-пушка и царь-колоколъ, и московская квашня окончательно вспучилась, онъ забралъ себѣ въ голову, что отъ него зависитъ спасеніе Россіи.

— Но согласитесь, Михайл Михайловичъ, — въ его „Мысляхъ“ есть мѣста несравненныя по остротѣ... Вотъ хоть бы то мѣсто, гдѣ онъ, осуждая наше французолубіе, говорить, что мы все передѣляли на французскій ладъ, что

у насъ теперь „Богъ помочь—bon jour, отецъ—monsieur, холопъ—mon ami, Москва—ridicule, Россія—fi donc!“ это очень остро.

— Остро, но бесполезно, какъ царь-пушка, которая не стрѣляетъ, и какъ царь-колоколъ, который не звонитъ... Не французы, мой другъ, намъ опасны, а московская квашня съ московскими дрожжами и московскою опарой... Французы, мой другъ, и древніе греки—вотъ два народа величайшихъ въ мірѣ, которые проливали свѣтъ во всѣ концы вселенной. Уже около полустолѣтія, какъ Франція изображаетъ собою того мифическаго Эліоса, котораго стрѣлы живительны, — плодотворны и живительны для однихъ, и смертельно ядовиты для другихъ. Около полустолѣтія взоры всѣхъ народовъ, какъ заколдованные, устремлены въ сторону Франціи, одни—съ мольбою и ожиданіемъ какого-то невѣдомаго блаженства, другіе—съ смертельнымъ ужасомъ. Никогда еще ни одно человѣческое имя не гремѣло во всемъ мірѣ такою славою, какъ имена Вольтера, Дидерота, Даламберта, Жанъ-Жака Руссо, а потомъ и Бонапарта, — имена не царственныхъ, не коронованныхъ особъ, а простыхъ мыслителей. Такія славныя царственные личности, какъ блаженныя памяти Великая Екатерина и Великій Фридрихъ прусскій, считали за честь для себя дружбу сихъ философовъ и гордились церопискою съ ними. Да и не удивительно, другъ мой: философы сіи давали законы царямъ и народамъ, правили рукою и мыслию властителей земныхъ, измѣняли лицо земного шара. Кто потушилъ озарявшіе страшными свѣтомъ зарева Европу костры, на которыхъ инквизиція сожигала тысячамъ свои жертвы, принося сіи ужасныя человѣческія гекатомбы въ теченіе столѣтій—кому же? доброму Богу! Кто потушилъ костры сіи дуновеніемъ своего великаго духа? Французъ Вольтеръ... Теперь, другъ мой, точно изъ „горюшняго зерна“ вышло другое что-то великое-великое въ своихъ замыслахъ и исполненіи, хотя страшное своею разрушительностію. Сіе великое—сынъ простой корсиканки, который, кажется, въ состояніи теперь, топнувъ ногою объ землю, опрокинуть эту землю, расплескать океаны, вотъ какъ „титularная мама“ расплескала мой стаканъ съ чаемъ...

„Титularная мама“ кротко улыбулась, съ любовью глядя на своего „Espréance de Russie“, какъ она его называла: заслушавшись его, она дѣйствительно пролила его стаканъ и покраснѣла. Зато дѣвочки набросились на нее такъ, что едва не опрокинули самоваръ:

— Ахъ, мама расплескала океаны!

— Ахъ, мамуля Неву выплеснула!

— Кто-жъ станетъ оспаривать у него это величіе! — пробормоталъ Магницкій и, какъ бы зондируя душу Сперанскаго, прибавилъ: — Да по отношенію-то къ Россіи—Ростопчинъ чуть-ли не правъ.

— Россія, другъ мой, это канцелярскій бланкъ на огромнѣйшемъ, еще невиданномъ въ мірѣ листѣ бумаги, бланкъ, на которомъ столѣтіями слабыя руки силятся что-то написать; пишутъ безграмотно подчасъ, подчасъ жестоко, разными почерками и разными стилями, но такими скверными чернилами, что они отъ свѣта не только линяютъ, блѣднѣютъ, но и со-

всѣмъ пропадаютъ, и пропадаетъ написанное и нацарапанное на бланкѣ. Писалъ на этомъ бланкѣ и Мономахъ, и Ярославъ, и Батый, и Грозный, и Петръ Великій... Пишетъ теперь и Ростопчинъ, и Карамзинъ,—Глинка даже пишетъ, просто уставомъ съ киноварью выводитъ патріотическіе ирмосы да кондаки, а бланкъ все остается бланкомъ... Что напишетъ на семъ бланкѣ всемогущая рука Господня, не знаю, но увижу хорошее, хотя не скоро... Теперь Москва нахлобучила себя на глаза шапку Мономаха, надѣла на ноги лапти стопудовые, вздернула на себя рубаху и порты сермяжные, подпоясалась мочалкой и, опираясь на дубинку, кричитъ: „Долой французовъ и все французское! долой книгу, умъ, знаніе! Будемъ вѣрны своимъ лаптямъ и сермягѣ! Отъ французовъ исходитъ все злое, и книги ихъ злы, и знанія злы, и просвѣщеніе растлѣвающее, и потому все чужое долой!“ Но не надо, другъ мой, смѣшивать шапку съ головою и Наполеона съ Франціей и просвѣщеніемъ. Вы знаете, что когда въ пятидесятыхъ годахъ французы раздавили вередъ, сидѣвшій на тѣлѣ Франціи, матерія, попросту, гной отъ этого вереда брызнулъ такъ далеко, что попалъ въ Россію... Простите, мамочка, что я такъ гнойно выражаюсь,—обратился онъ къ г-жѣ Вейкардъ,—но я не могу подобрать болѣе вѣрнаго сравненія.

— Прости его, мамуля! Прости, мамчичъ!—забормотали дѣвочки, кушая, какъ котята, молочко съ французской булкою.

— Продолжайте, mon Espérance, — весело сказала „титularная мама“,—я васъ внимательную слушаю.

— Гноземъ чирья я называю французскихъ эмигрантовъ, которые въ теченіе пятнадцати лѣтъ словно мухи, засиживающія зеркало, засиживали русское высшее общество, засиживали его своими бурбоническими, аристократическими, католическими и иными засиживаньями... Это была дѣйствительно гнойная матерія для Россіи... А эту матерію Ростопчинъ и Глинка приняли за то, что есть лучшаго во Франціи и въ мірѣ, и объявили отъ имени московской квашни войну западному просвѣщенію. Оно, говорятъ, само-по-себѣ, а мы сами-по-себѣ: нашъ-де Вассіанъ Рыло выше Монтескье, всѣ эти Вольтеры, Дидероты и Декарты въ подметки не годятся нашему Симеону Полоцкому и Лазарю Барановичу, а Григорій-де Сковорода за поясъ заткнетъ ихъ Шекспира... Вотъ до чего они договорились, и все это потому, что, между нами, наши военачальники пигмеями передъ Наполеономъ оказались... Онъ дѣйствительно топнулъ ногой... (Сперанскій улыбнулся) и... и перемѣшалъ полюсы земли.

— И расплескалъ океаны?—коварно замѣтила Лиза, которая, кушая молочко, не проронила ни одного слова изъ того, что говорилъ отецъ.

— Нѣтъ, папичъ стаканъ расплескалъ,—возразила Соня.

— Стаканъ само собой, моя кошечка, но онъ такой господинъ, что можетъ и молочко у васъ отнять,—отвѣчалъ Сперанскій, котораго на все хватало—и говорить о дѣлѣ, и болтать съ дѣтьми.

— А мы будемъ тогда простоквашу кушать, папуля,—простокваша очень вкусная,—возразила Лиза.

— А простокваша изъ чего дѣлается?

— Изъ коровы,—торжественно отвѣчала Соня.

Въ это время изъ-за дачной ограды послышались дѣтскіе возгласы, и знакомый всѣмъ голосокъ выкрикивалъ:

О, лѣто, лѣто горяче!
Обильно мухами паче!

— Охъ, Господи! что за ребенокъ! вотъ наказаніе!—плакалась нянька.

— Это Саша Пушкинъ,—пояснила Лиза:—онъ все изъ Тредьяковского, всего его наизусть знаетъ.

— Преострый мальчишка! что-то изъ него выйдетъ?—говорилъ Сперанскій, прислушиваясь, какъ арапченокъ продолжалъ выкрикивать:

Замерзають быстры рѣки.
Лѣзуть въ шубы человѣки...

— Однако вы, кажется, не дочли до конца письма Ростопчина?—замѣтилъ Магницкій вопросительно.—Мы вамъ помѣшали.

— Нѣтъ, любезнѣйшій Михайло Леонтьевичъ,—это я самъ себѣ помѣшалъ... Ростопчинъ пишетъ, что такъ какъ дескать вы близки къ особѣ государя императора, то Сальватори будетъ стараться проникнуть ваши, то-есть мои, мысли по отношенію къ Бонапарту, чтобы знать, съ которой стороны подѣзжать... Что-жъ имъ до моихъ мыслей о Наполеонѣ! Я не поклонникъ этого господина, я вообще не поклонникъ этого сорта господъ—они разрушаютъ то, что созидаетъ разумъ; но, по моему мнѣнію, Россія безопаснѣе быть въ ладу съ умнымъ и сильнымъ человѣкомъ, а то, чего добраго...

— Отниметъ простоквашу?—засмѣялась „титулярная мама“, вытирая салфеткой губы у своей Сони, — простоквашу, которая дѣлается изъ коровы.

— Да, простоквашу,—подтвердилъ Сперанскій.

Взявъ со стола другое письмо и взглянувъ на подпись, онъ съ недоумѣніемъ сказалъ:

— Дуровъ... какой это Дуровъ?.. Писано изъ Сарапула... ничего не понимаю!

„Ваше высокопревосходительство, милостивѣйшій государь мой!—читалъ онъ вслухъ.—Осмѣливаюсь прибѣгнуть къ вамъ не какъ къ сановнику, у престола правленія монаршею милостію поставленному, а какъ къ чело-
вѣку и отцу. Въ бытность мою, два года сему назадъ, въ Санктпетербургѣ по дѣламъ службы, я, будучи милостиво принятъ и обласканъ вашимъ высокопревосходительствомъ, имѣлъ счастье получить прощальную аудіенцію для выслушанія словесныхъ приказаній вашихъ и, бывъ на тотъ разъ

допущенъ въ кабинетъ вашего высокопревосходительства, я видѣлъ у васъ на колѣняхъ прелестнаго ребенка...”

— Постой, папа! это обо мнѣ!—перебила его Лиза, повидимому не слушавшая чтенія и укладывавшая въ постельку свою любимую куклу, „Графиню Тантавскую“.—Обо мнѣ?

— Нѣтъ, это, вѣрно, объ чужой дѣвчкѣ,—улыбаясь сказалъ Сперанскій.

— Нѣтъ! нѣтъ, папочка! обо мнѣ...

— Ну, хорошо... Посмотримъ, что дальше... Вотъ чудакъ! Когда же это я принималъ еѣ съ Лизой на рукахъ?..

— Вѣроятно, ваше превосходительство, были нездоровы и не выходили изъ кабинета,—пояснилъ Магницкій.

— А можетъ быть... Ну, что тамъ еще? Зачѣмъ ему понадобился „прелестный ребенокъ“?

„Это была, какъ я узналъ, ваша дочка, и я видѣлъ, съ какою нѣжною родительскою любовію вы на нее глядѣли“...

— Еще бы!—подъ носъ себѣ замѣтила Лиза, повидимому, вся поглощенная укладываньемъ въ постель „Графини Тантавской“.

„Ваше высокопревосходительство! у меня тоже была дѣвчонка, и вы поймете, какъ тяжело мнѣ было ея лишиться. Я бы покорился волѣ Божьей, еслибъ моя дочь умерла; но меня постигло другое несчастье. Едва лишь моей дочери минуло пятнадцать лѣтъ, какъ она, не сказавъ никому ни слова, ночью оставила родительскій домъ, взявъ изъ конюшни лошадь, которую я же подарилъ ей для катанья, и въ казацкомъ одѣяніи пустилась въ невѣдомый путь...“

— Ахъ, папочка! вотъ храбрая какая!—встрепенулась Лиза и даже позабыла о своей „графинѣ“.

— А что развѣ и ты хочешь бѣжать отъ меня?—улыбнулся Сперанскій.

— Нѣтъ, папа,—я боюсь мышей...

— Вотъ тебѣ на! причѣмъ же тутъ мыши?

— Да мы вчера съ Лизой смотрѣли, какъ Кавунецъ давалъ своей лошади овса изъ ведра,—и оттуда выскочила мышь—мы съ Лизой и испугались,—пояснила Соня.

— А! понимаю... глубокое, хотя отдаленное сопоставленіе...

„Это было 17-го сентября прошлаго года, и до сей поры я не имѣю о своей дочери никакихъ извѣстій. Всѣ поиски мои оказались тщетны. Теперь слухи до меня дошли, что въ одномъ изъ уланскихъ полковъ дѣйствующей арміи находится молоденькій уланъ, на коего падаетъ подозрѣніе, якобы онъ есть переодѣтая дѣвушка. Родительское сердце мое подсказываетъ мнѣ, что это—дочь моя Надежда. Съ просьбами моими по сему предмету я неоднократно обращался къ господину главнокомандующему дѣйствующею арміею и господину военному министру, а также утруждалъ прошеніемъ и графа Аракчеева, но на просьбы мои не получилъ никакого

отвѣта. Ваше высокопревосходительство! Къ вашему родительскому сердцу осмѣливаюсь я прибѣгнуть нынѣ. Именемъ дочери вашей умоляю васъ: примите участіе въ глубокой горести старика отца, который проситъ объ одномъ только освѣдомленіи и наведеніи справокъ о его погибшемъ дѣтищѣ...

Сперанскій остановился. Лиза и Соня напряженно ждали, не спуская глазъ съ задумчиваго лица его. На глазахъ дѣвочекъ искрились слезы.

— Папа! найди ее!—шептала Лиза, ласкаясь къ отцу.

— Да, это должно быть она,—сказалъ Сперанскій въ раздумѣ.—Сегодня Тургеневъ читалъ намъ письмо къ нему Дениса Давыдова, адъютанта генерала Баграціона, и Давыдовъ положительно говоритъ, что въ войскѣ упорно держится слухъ, что въ послѣднихъ битвахъ принимала участіе переодѣтая дѣвушка.

— Ахъ, это она, папа, она!—заволновались дѣвочки.

— Ну, дѣти,—пора спать... Вы ужъ и такъ сегодня заболтались,—сказала г-жа Вейкардъ.—Вонъ ужъ сонъ давно ходитъ по острову и спрашиваетъ—у кого не спать дѣти...

Сонъ дѣйствительно ходилъ по острову и закрывалъ людямъ усталые глаза.

ХІІ.

Ходитъ сонъ по улиці
Въ билесенькій кошулонци.

Такъ рисуется сонъ въ украинской колыбельной пѣснѣ. Сонъ—въ бѣлой рубашкѣ, но онъ же и съ бѣлой какъ иней бородой. Сонъ очень старъ. Онъ такъ же старъ, какъ и міръ Божій. Вѣчно ходитъ онъ по міру, невидимый и неосязаемый, и часто является тамъ, гдѣ его не просятъ, и уходитъ оттуда, гдѣ ждутъ его какъ добраго генія. Сколько сонъ принесъ утѣшенія людямъ—этого люди и выразить не въ состояніи... Когда Адамъ и Ева изгнаны были изъ рая и очутились въ невѣдомой пустынѣ, сонъ первый принесъ имъ успокоеніе: онъ не слышно ни для кого перенесъ ихъ обратно въ потерянный рай и подкрѣпилъ ихъ усталые, разбитые страданіемъ члены... Какъ добръ былъ сонъ, когда, послѣ ужаснаго дня, закрылъ усталыя и распухшія отъ слезъ вѣжды Гекубы и снова показалъ ей все, что было уже навѣки потеряно. Живымъ встаетъ въ моемъ воображеніи этотъ сѣдобородый старикъ, который бродитъ во тмѣ южной ночи по „стану Атрида“ и своею доброю рукою закрываетъ глаза героямъ отъ тѣхъ ужасовъ, которые совершились или должны были совершиться. Бродитъ онъ и по стогнамъ священнаго Іліона въ послѣднюю ночь передъ его паденіемъ, грустно бродитъ, зная, что въ слѣдующую ночь ему придется бродить по грудамъ развалинъ и по кучамъ пепла... И у Цезаря онъ гостилъ въ послѣднюю ночь передъ „идами марта“ и навѣвалъ ему грезы

о прошломъ, судилъ свѣтлое будущее, закрывъ собою ножи, которые въ ту ночь уже точились на дысу, прикрытую лаврами голову даровитаго автора „комментаріевъ“...

Ходить сонъ и по Петербургу, и по островамъ его, бродить и по Каменному острову, и по Черной рѣчкѣ... но упрямый и капризный старикъ не ко всѣмъ заходить. Охотнѣе идетъ онъ въ бѣдныя, жалкія, грязныя лачуги и даетъ успокоеніе усталымъ, опечаленнымъ, бѣднымъ, голоднымъ... Вонъ какъ ни гонить его отъ себя усталый часовой, а старикъ такъ и лѣзетъ на него, такъ и валить его съ ногъ... А вонъ мечется на роскошной постели изнѣженное тѣло, горитъ огнемъ отъ бессонницы, а сонъ нейдетъ—не любо ему въ богатыхъ палатахъ, на мягкихъ ложахъ...

Пришелъ сонъ и къ Лизѣ, и къ Сонѣ. Спать онѣ въ своихъ постелькахъ, задернутыя бѣлыми, какъ борода у стараго сна, прозрачными занавѣсками. И видится Лизѣ, что она, въ казачкомъ платьѣ, въ киверѣ и съ пикой, ѣдетъ по Елагину острову верхомъ на конѣ. Это конь курьера Кавунца... Далеко, далеко ѣдетъ Лиза отъ папы... Бѣдный папа! какъ онъ будетъ плакать о своей Лизѣ — будетъ искать ее, какъ тотъ Дуровъ ищетъ Надю... А Лиза возьметъ въ плѣнъ Наполеона и привезетъ къ мамѣ... А то онъ, говорятъ, отниметъ у всѣхъ молоко и простоквашу... Прощай, папа, прощай, Соня... Ыдетъ Лиза, ѣдетъ... и вдругъ изъ ведра съ овсомъ выскакиваетъ мышь въ видѣ Саши Пушкина и кричитъ: „Стрекохущу кузнецу!“ И Лиза отъ испугу просыпается...

Старый сонъ и на Соню навѣваетъ грезы, только странныя такія: на Лизиной постелькѣ спитъ не Лиза, а дѣдушка Державинъ въ бархатныхъ сапогахъ, а у него въ рукахъ Лизина кукла, „Графиня Таятанская“... А тутъ стоитъ курьеръ Кавунецъ, и что у него ни спросить Соня, на все онъ отвѣчаетъ: „не могу знать! не могу знать!“ И дядя Магницкій спрашиваетъ Кавунца: „кто расплескалъ океаны?“ — А Кавунецъ отвѣчаетъ: „не могу знать“.

Бродитъ старый сонъ изъ конца въ конецъ земли, бродитъ неутомимый, на клюку опираючись, на людей дрему насылаючи. Одолѣлъ сонъ дрема и Магницкаго... Поручилъ ему Сперанскій составить экстрактъ изъ обширной записки Румовскаго Степана Яковлевича, попечителя казанскаго округа, о новыхъ мѣрахъ казанскаго университета — для доклада государю... Далеко за полночь сидѣлъ Магницкій надъ этой запиской, ему въ голову все лѣзъ Наполеонъ, топающій ногою въ шаръ земной... И видится Магницкому, что Наполеонъ даетъ ногою пинка земному шару, и земной шаръ вертится какъ кубарь въ пространствѣ, а на высокой скалѣ стоятъ Сперанскій, въ ореолѣ славы и блеска, и говоритъ Наполеону: „не доплеснешь до меня океанами, не замочишь морями ногъ моихъ—высоко стою я“... И хочется Магницкому столкнуть Сперанскаго съ высоты — и онъ сталкиваетъ его... Ух! погибъ Сперанскій, а на его мѣстѣ стоитъ Магницкій въ ореолѣ величія... И гордый Наполеонъ протягиваетъ ему, Магницкому, руку, а Магницкій отворачивается отъ него и видитъ госу-

даря... „Ваше величество!“—робко шепчетъ онъ:—„ваше величество!“ — „Не могу знать!“—отвѣчаетъ государь... И Магницкій видитъ, что это не государь, а Кавунецъ... Ухъ!.. И Магницкій просыпается—записка Румовскаго не дочитана... Зло иногда шутитъ старый сонъ, охъ, какъ зло!

Только Сперанскаго не одолѣетъ старый сонъ... Далеко за полночь шуршать бумага въ кабинетѣ Сперанскаго, и по временамъ скрипитъ перо, да скрипитъ такъ неровно, нервно... Груды бумагъ наметаны на огромномъ письменномъ столѣ съ ящиками. На столѣ, на конторкѣ и на полу разбросаны книги, брошюры, рукописи... Беккарій, Монтескье, Бентамъ, Делольмъ, „Конституція Англіи“, „Вѣстникъ Европы“—иныя книги раскрыты, другія переложены закладками, исчерчены и испещрены помѣтками!.. У стола сидитъ Сперанскій и перелистываетъ толстую, увѣсистую, четко и красиво переписанную тетрадь и, по временамъ заглядывая въ книгу—„Конституція Англіи“, дѣлаетъ карандашомъ отмѣтки то въ книгѣ, то въ рукописи... Иногда голова его откидывается на спинку высокаго, изогнутаго стула, и онъ нѣсколько минутъ остается такъ, съ закрытыми глазами... Можно подумать, что онъ спитъ и бредитъ... „Уже онъ начинаетъ склоняться къ мысли о возможности представительства“, шепчетъ онъ: „начало уже сдѣлано въ учрежденіи министерствъ; остается опредѣлить кругъ дѣятельности „совѣта“ и возложить на него „отвѣтственность“... Надо ожидать и дальнѣйшаго согласія“... И нагнувшись къ рукописи, онъ на полѣ приписываетъ карандашомъ: „Представительство страны и отвѣтственность министровъ: есть мѣры, кои одно лицо, даже и всемогущее, не можетъ или не должно принимать на свою отвѣтственность. Таковы суть подати и налоги. Несвойственно и неприлично верховной, власти представляться въ видѣ непрерывной нужды и умножать народныя тягости. Пусть разсчитываютъ ихъ министры, присуждаетъ совѣтъ; и государь долженъ только прилагать къ нимъ печать своего необходимаго утвержденія *). Министры же должны быть отвѣтственны предъ представителями страны“... Затѣмъ онъ всталъ и въ волненіи заходилъ по кабинету, повременамъ нервно встряхивая головой, какъ-бы отгоняя отъ себя рой волнующихъ его мыслей... „Онъ самъ сказалъ недавно: „я на пути къ реформѣ—и радъ этому, ибо могу дать моимъ вѣрнымъ подданнымъ то, чего не могли и не умѣли дать мои предки“,—шепталъ онъ, съ любовью останавливаясь предъ портретомъ юноши съ короною на головѣ... А ночь уже близится къ исходу, а сонъ все не смѣетъ постучаться въ кабинетъ, заваленный бумагами и книгами... Гдѣ-то ударилъ церковный колоколъ—разъ... два медленно, ровно, глухо гудитъ колоколъ... Сперанскій подходитъ къ окну и задумывается...

„У Давиды у попа —

„Въ большой колоколъ звонятъ,

*) Изъ отчета, представленнаго Сперанскимъ императору Александру I. („Сборн. импер. истор. общества“, т. XXI, 449).

„Въ большой колоколъ звонять —
„Знать Параню хоронять“, —

звучить у него въ головѣ, вмѣстѣ со звономъ колокола, эта странная, дѣтская пѣсенка, которая и его самого переноситъ въ дѣтство... Никогда онъ не можетъ слышать церковнаго звона, чтобъ у него въ мозгу и въ сердцѣ не зазвучалъ горькій для него, грустный, много напоминающій мотивъ:

„У Данилы у попа —
Въ большой колоколъ звонять“...

О! какъ давно это было и какъ далеко!.. Мишѣ Сперанскому не больше восемнадцати-девятнадцати лѣтъ, а Паранѣ, дочери сосѣда, попа Данилы, не больше шестнадцати... Миша учится во владимірской духовной семинаріи и уже дошелъ до философіи. На вакачъ Миша изъ Владиміра приходитъ домой въ роднѣ село, приходитъ пѣшкомъ!... Эхъ! да и куда-бы тогда не занесли его молодые ноги!—и въ адъ, и въ рай, въ Іерусалимъ и въ преисподняя земли... Ходить Миша въ лѣсъ за ягодами, за грибами, и Параня ходитъ съ подружками... Эти встрѣчи въ лѣсу, бесѣды наединѣ... Забили тревогу молодые сердца, и Параня слышала, какъ подъ философскимъ подрясничкомъ сильно колотится философское сердце Миши, и Миша слышалъ, какъ подъ бѣлою сорочкою трепыхается дѣвическое сердце Паранино... И Паранины розовыя губы испытали, какъ горячи губы, съ которыхъ иногда срывались непонятныя для Парани философскія тонкости, и губы философа Миши познали вкусъ Параниныхъ губъ—„слаще меда и вина...“ И порѣшилъ Миша философъ скорѣе пройти богословіе и, получивъ санъ іерея въ родномъ селѣ, жениться на Паранѣ... Но не къ тому готовила Мишу судьба: когда Миша собирался идти во Владиміръ уже на богословскій классъ, Параня захворала оспой и въ нѣсколько дней умерла... Миша думалъ, что съ ума сойдетъ, какъ въ церкви у попа Данилы, у отца Парани, гудѣлъ колоколъ по Параниной чистой душенькѣ и какъ день и ночь въ безумной головѣ его звучалъ напѣвъ:

У Данилы у попа —
Въ большой колоколъ звонять...
Знать Параню хоронять...

И похоронили Параню, а Миша не сошелъ съ ума... Но онъ далъ себѣ безумный зарокъ: въ память Парани никого не любить и никогда не жениться, а завоевать себѣ знаніемъ и трудами другую невѣсту—церковь: пройти все богословскія мудрости, надѣтъ на себя черную рясу и клобукъ и идти дальше—до епископской шапки, до архіепископской и,

наконецъ, до бѣлой шапки митрополита... И Миша было сдержалъ слово: какія силы гиганта проявилъ въ пять-десять лѣтъ!

И куда дѣвался тотъ маленький Миша еще—не Сперанскій, а просто поповичъ, Михайлинъ сынишка, который, соскочивъ съ печки, гдѣ онъ зарывался во ржи, сохшей на печи, выбѣгалъ босикомъ на дворъ и бѣгалъ по снѣгу, желая убѣдиться, можетъ-ли онъ, когда вырастетъ большой, выдерживать трудные подвиги аскета—голодать, ходить босикомъ и въ веригахъ?.. И куда дѣвался тотъ Миша, уже не просто Миша, а Сперанскій, *sperans*—„надежды подающій“, какъ прозвалъ его отецъ ректоръ, ---Миша быстроглазый и звонкоголосый, такъ бойко переводившій изъ Корнелія Непота? Куда дѣвался философъ Миша, собирающій грибы вмѣстѣ съ Паранею?.. Миша—богословъ уже, звѣзда семинаріи, а тамъ онъ уже въ Петербургѣ, въ лаврѣ, работаетъ какъ волъ и веселъ, остроуменъ... Память у него—бездонная прорва, въ которую все валится безъ разбору, и все тамъ остается, систематизируется и бьетъ ключомъ знаній... „Ты что, Сперанскій, носишь тулупъ на одно плечо?“—спрашиваютъ его товарищи-бурсаки. „Приучаю себя къ собольей шубѣ...“ И вотъ у него теперь ужъ и соболья шуба—онъ первое лицо въ государствѣ послѣ царя...

Къ заутрени звонять,—шепчетъ онъ, задумчиво стоя у окна и глядя на просыпающуюся рѣку,—пора и мнѣ спать... Эхъ!... „У Данилы у попа въ большой колоколъ звонять...“ Звоните, звоните! да будетъ благословенна память прошлаго.

И Кавунцу старый сонъ навѣваетъ грезы, воспоминанія молодости... Сидитъ Кавунецъ на крыльцѣ, прикрывшись шинелью, и грезится ему, что онъ наубокъ, что еще его не брали въ „москаля“... Коситъ онъ зеленую траву и поетъ:

Ой, любивъ я дивчинку Кулину,
Та носивъ я до Кулины калину...

Только во снѣ Кавунцу и вспоминается его родная Украина, а наяву онъ не позволяетъ себѣ и думать о ней—„сказано—служба...“ Еслибъ его даже спросило начальство, „хочешь-ли ты, Кавунецъ, домой, на побывку?“—онъ навѣрное отвѣчалъ-бы: „не могу знать! про то начальство знае“. И Кулину свою онъ не смѣетъ днемъ вспоминать, и только во снѣ приходитъ къ нему его первая любовь, его „товстокоса Кулина“, которой онъ носилъ калину и свое казацкое сердце... Зачерствѣло теперь это сердце: вмѣсто Кулины въ немъ пріютились только казенные пакеты и вытѣснили изъ сердца и родину, и первую любовь... Но это только кажется... Да, Кавунецъ, кажется?—„Не могу знать!“

Спать и Саша Пушкинъ. И его неугомонную, курчавую головку уюмонилъ старый сонъ. И грезится ему, что онъ—старый, старый старичокъ, такой какъ дѣдушка Державинъ—„ужъ и мышей не давить“,—смѣшная нянька! какія глупости говорить. И подходитъ къ Сашѣ другой старичокъ.

въ парикѣ и въ красныхъ чулкахъ, и говорить: „какъ ты смѣешь насмѣхаться надо мной, клопъ этакой! Знаешь—кто я? Я—авторъ Телемахиды... Я бессмертный Тредьяковский! А ты—ничтожество: ты умрешь—и никто объ тебѣ не вспомнить; а мое прелестное произведение „Стрекозущу кузнecu“ Россія вѣчно будетъ помнить“. И Тредьяковский исчезаетъ, а вмѣсто него приходитъ Черноморъ, о которомъ няня разсказывала, и говорить такъ хорошо, лучше даже, чѣмъ дѣдушка Державинъ:

У лукоморья дубъ зеленый,
Златая цѣпь на дубѣ томъ,
И днемъ, и ночью котъ ученый
Все ходитъ по цѣпи кругомъ...

— Няня! няня!—кричитъ Саша, вскакивая съ постели.

— Что ты? что съ тобой!—испуганно спрашиваетъ няня.

— Ко мнѣ Черноморъ приходилъ...

— Господь съ тобой... Спи, спи, неугомонный...

— Ахъ, няня! да я даже помню, что онъ мнѣ говорилъ.

И мальчикъ, воображеніе котораго воспалено сказками старой няньки, повторяетъ стихи, навѣянные ему тревожною, сонною грезой:—„У лукоморья дубъ зеленый...“

— Охъ, Господи!—стонетъ нянька:—и сна-то ему нѣтъ. Охъ, Заступница!

Но мальчикъ скоро опять засыпаетъ.

А сонъ все бродитъ, опираясь на свою клюку, и словно дождемъ сыпаетъ грезами сонныхъ людей. Цѣлый міръ видѣній въ распоряженіи сѣдоголовскаго старика — есть и свѣтлыя видѣнія, есть и мрачныя, мучительныя.

Старику Державину грезится, что онъ лежитъ въ мрачномъ могильномъ склепѣ. Душитъ его могильная затхлость, а въ мрачномъ воздухѣ, словно летучія мыши, носятся тѣни тѣхъ, кого онъ пережилъ въ своей долготѣйшей жизни, и холодными крыльями задѣваютъ его похолодѣвшее лицо. Только въ одномъ уголку склена свѣтится огонекъ, но такой злобщій, словно глазъ нечистаго, и этотъ огонекъ освѣщаетъ гробовую крышку, а на крышкѣ—корону. Тихо, тихо поднимается крышка на этомъ гробѣ, а изъ гроба поднимается мертвое лицо съ остеклѣвшими глазами. Ужасъ и трепетъ!—это лицо „Фелицы“. „А, Гаврило Романовичъ!—говоритъ Фелица,—ты забылъ меня... Ты теперь другимъ подслуживаешься?.. Такъ помни, что у меня былъ Шешковский“.—И гробовая крышка опять захлопнулась за нею. Но вслѣдъ затѣмъ открываются двери склепа, и входитъ Шешковский. Старикъ въ ужасѣ просыпается.

— Охъ,—стонетъ онъ,—куда дѣвались мои молодые сны? Теперь иди безсонница тебя мучить, или страсти лѣзутъ въ очи, лишь только закроешь ихъ... Охъ, старость, старость!

А Карамзину грезится, что онъ сидитъ въ темномъ архивѣ и перебираетъ свитки рукописей. И кажется ему, что онъ самъ живетъ въ удѣльный періодъ, и то онъ цѣлуетъ крестъ кіевскому князю, то черниговскому, а кругомъ „катора“, „розратье“. Мысль, постоянно вращающаяся въ древности, и сны приносятъ ему изъ далекаго прошлаго: то встанетъ передъ нимъ Василько въ кровавой рубашкѣ и съ выдолбленными глазами, то „слѣпой Якунъ“ въ видѣ Тургенева. „Зачѣмъ ты ослѣпилъ меня?—плачетъ онъ,—я вовсе не былъ слѣпъ“. Это историческое сомнѣніе приходитъ къ историку въ образѣ сонной грезы и наводитъ его на вопросъ: дѣйствительно-ли Якунъ былъ слѣпъ?.. То грезится архивный котъ въ образѣ стараго академика-нѣмца, но только въ бархатныхъ сапогахъ Державина, и говорить:—„Я не Василій Міофаговъ, а тотъ котъ, который пришелъ съ Юрикомъ изъ-за моря, чтобы ѣсть новгородскихъ мышей“. То грезится „бѣдная Лиза“ въ образѣ Ярославны, которая, омочивъ „бебрия“ рукавъ въ Невѣ-рѣкѣ, плачется на него, „аркучи тако“: „Охъ, забылъ ты меня, забылъ свою бѣдную Лизу ради Рогнѣды... все забылъ ты ради твоей исторіи... О, противная лгунья! противная исторія! никто столько не лгалъ и не лжетъ, какъ она,—и я удивляюсь, какъ еще могутъ заниматься ею умные люди. О, лгунья старая! лгунья, низкопоклонница, салопница-ветошница!..“

— А Тургеневъ правъ, что я заработался,—бормочетъ Карамзинъ, просыпаясь и весь обливаясь потомъ.—У меня ужъ воображеніе разстроено, мысль путается. Мнѣ верзится во снѣ Богъ-знаетъ что такое...

И онъ силится отогнать отъ себя могильные признаки, хочется ему погрузиться въ интересы текущей жизни; но странное дѣло: они стали ему менѣе близки, чѣмъ интересы мертвецовъ!

— Лгунья исторія!.. А вѣдь это не созданье сонной грезы, а продуктъ моихъ сомнѣній... Развѣ мало лгала исторія, начиная отъ Гомера и Тацита и кончая Шлецеромъ и Татищевымъ? Правда, она лгала неумышленно, она ошибалась, но все же историческая истина—это храмина, построенная на пескѣ. Въ исторіи нѣтъ ничего прочнаго: открыть новый документъ, выкопана какая-нибудь могильная надпись, и все зданіе, построенное на пескѣ, рухнуло... Сколько російскихъ историковъ явится послѣ меня, и осудятъ меня за ошибки. Эти судьи мои, можетъ быть, еще не народились, но они народятся, и мой трудъ будетъ поставленъ на послѣднюю, на заднюю полку російскихъ книгохранилищъ... Но я надѣюсь, что судьи мои не упрекнутъ меня въ пристрастіи... Но кто знаетъ!.. Бѣдная, бѣдная исторія!

И онъ снова засыпаетъ, и снова сѣдобородый сонъ навѣваетъ на его усталую голову тревожныя грезы, грезы сомнѣній и какъ-бы историческихъ предвидѣній. „Лгунья исторія! слѣпая, лъстивая старуха...“

Съ Каменнаго острова старый сонъ перебрался черезъ Невку и на Черную рѣчку. Бредетъ онъ по берегу этой рѣчки, повѣвая своею сѣдой бородой и навѣвая на людей дрему и грезы. Пробирается старый сонъ на

дачу Шрейберъ, что противъ Строгонова парка, и входить въ небольшой деревянный домикъ, утонувшій въ зелени. На дверяхъ домика, на мѣдной дощечкѣ написано: „Иванъ Андреевичъ Крыловъ“. Неслышными шагами вошелъ сонъ въ этотъ домикъ; темно, тихо въ переднихъ комнаткахъ. Сонъ дальше, къ кабинету, гдѣ свѣтится огонекъ и слышится шопотъ и сдержанный смѣхъ...

— Ахъ, ты, моя прелестница, цыпочка моя!—шепчетъ кто-то тихо, сдержанно—это Ивана Андреевича голосъ.—Какъ ты давно не была у меня...

— Тише, тише!—шепчетъ женскій голосъ.—Тамъ кто-то ходитъ...

А это ходитъ сонъ. Заглядываетъ онъ въ кабинетъ и видитъ: вся комната завалена бумагами и книгами: книги на столѣ, на окнахъ, на полу, на кушеткѣ; на полу же и синій фракъ съ золотыми пуговицами, и шляпа, и подтяжки. На письменномъ столѣ безпорядокъ ужасный: бумаги, книги, платки, все это разбросано хаотически, а на самомъ видномъ мѣстѣ листъ бумаги, на которомъ на скорую руку набросано:

Бѣда, коль пироги начнетъ печи сапожникъ,
А сапоги тачать пирожникъ...

Проказница Мартышка,
Осетль,
Козель,
Да косолапый Мишка.

Что дальше—не видать, ибо на этомъ самомъ мѣстѣ, на исписанномъ листѣ, стоятъ рядомъ крохотные женскіе ботинки съ розовыми бантами, а вправо отъ нихъ—женская соломенная шляпка „пастушка“, тоже съ розовыми бантами, и высокій черепаховый гребень изъ женской косы...

— Прелестница моя! Прелесть моя милая!—доносился шопотъ изъ-за ширмъ.

— Охъ, больно, Ваня... ты задушишь меня,—протестуетъ женскій голосокъ.

— Услада моя!

Сонъ махнулъ рукою и побрелъ далѣе, бормоча: „Тутъ мнѣ нечего дѣлать...“

И побрелъ сонъ на западъ, далеко-далеко, туда, гдѣ еще недавно лились рѣки человѣческой крови.

Бродитъ сонъ у западныхъ границъ русской земли, бродитъ по Тильзиту, по полямъ, по деревнямъ. Вездѣ войска, пушки, обозы, табуны лошадей... Съ востока повѣваетъ уже предразсвѣтный вѣтерокъ и перебираетъ бѣлые пряди волосъ стараго бродяги-сна... Заглядываетъ сонъ въ бѣдную, обѣ двухъ окошечкахъ, черную избушку, и бѣлѣющее съ востока небо заглядываетъ туда-же, въ малыя оконца. На дощатыхъ нарахъ, устланныхъ соломой, изъ-подъ уланской солдатской шинели выглядываетъ

блѣдное, хотя сильно обветрившее и загорѣлое лицо молоденькаго уланка. Совсѣмъ ребенокъ! Лицо знакомое. Это лицо той дѣвочки, что когда-то рѣзвилась на берегу Камы и носилась иногда по полю на лихомъ конѣ. Да, это ея лицо, сильно измѣнившееся: дѣтскія очертанія смѣнились болѣе определенными линіями и изломами; выраженіе стало болѣе характерно; но и во снѣ это молодое лицо не покидаетъ какая-то сдержанность и сосредоточенность. Губы что-то шепчуть. Видно, старый сонъ баюкаетъ спящую грезами, видѣніями, картинами... Да, она видитъ себя въ битвѣ—какъ врѣзался въ нервы этотъ свистъ пуль противныхъ! И пули свистятъ. Но что до нихъ! Вотъ гибнетъ раненый кто-то... Это, должно быть, Панинъ... Нѣтъ, не онъ: это тотъ молоденькій, калмыковатый, симпатичный казацкій хорунжій, съ которымъ она ѣхала отъ самой Камы. Это Грековъ. Она бросается къ нему и поднимаетъ его съ земли. Она съ трудомъ выводитъ его изъ-подъ пуль въ небольшой лѣсокъ и кладетъ его голову къ себѣ на колѣни... Какая-то дрожь пробѣгаетъ по ея тѣлу, не холодная, но жаркая дрожь, такая дрожь, какой она прежде никогда не испытывала. Раненый открываетъ глаза и, уткнувшись головой въ ея колѣни, цѣлуетъ ихъ, обнимаетъ слабѣющими руками ея станъ, ноги и что-то шепчетъ ей такое жаркое, захватывающее духъ... „Надя! Надя! я люблю тебя, давно люблю! Я знаю—кто ты... Я полюбилъ тебя еще тогда, когда, помнишь, во время похода съ Камы на Донъ, мы охотились въ Даниловкѣ и ты уснула на травѣ... Я люблю тебя, Надя! жизнь моя, счастье мое!“ Охъ, что это съ нею! Голова кружится, сердце перестаетъ биться, въ ушахъ и въ сердцѣ что-то поетъ, поетъ, плачетъ—о! да это страшнѣе, чѣмъ въ яву бегны...

И она мечется на своемъ соломенномъ ложѣ. Шинель сбилась къ ногамъ. Руки безсознательно разстегиваютъ воротъ рубашки, обнажаютъ грудь... не грудь, а груди... Ей душно, она задыхается, хочетъ вскрикнуть и просыпается.

Краска такъ и залила лицо, когда она взглянула себѣ на грудь—на открытую грудь.

Фу, какой сонъ! (А на сердцѣ такъ хорошо—трепетно, жарко, а признаться не хочется). Вотъ былъ бы срамъ, еслибъ кто взошелъ,—но я заперла дверь... Какой сонъ!

Не такіа грезы выплетъ старый сонъ на спящую голову того, который некромсалъ Европу на куски какъ тыкву для каши и варить эту кровавую кашу съ человѣческими тѣлами десятки лѣтъ,—того, который погонялъ королей и королей изъ ихъ дворцовъ и владѣній, для котораго земля становится тѣсною. Вотъ онъ лежитъ, скукожившись, такой маленький, тихенькій, словно ребенокъ. Постель проста и вся бѣла, какъ колыбель ребенка. На бѣлыхъ подушкахъ рельефно отгѣняется маленькое тѣло великаго императора. Онъ лежитъ на лѣвомъ боку, скорчившись, какъ спать дѣти. Круглая, гладко остриженная, точно точеная, голова положена на подушку такъ, что античный профиль горбоносаго императора ясно об-

рисовывается на бѣломъ полотнѣ. Глаза закрыты какъ у мертвеца—такъ спокойно все лицо спящаго и высокій лобъ его. Ноги согнуты и поджаты такъ высоко, что вся фигура императора представляетъ фигуру младенца въ томъ положеніи, въ какомъ каждый младенецъ находится въ утробѣ матери. Странное дѣло, глубокая тайна природы: до могилы, до послѣдняго и вѣчнаго сна своего сонный человѣкъ безсознательно принимаетъ то положеніе, въ какомъ онъ въ первые мѣсяцы своей утробной жизни находился во чревѣ матери. Такимъ утробнымъ младенцемъ кажется теперь и Наполеонъ на своемъ простомъ императорскомъ ложѣ: обѣ руки—эти страшныя, заgreбистыя руки, захватившія короны и скипетры у десятка владѣтельныхъ особъ и перекраивающія шаръ земной, словно не по мѣркѣ сшитый кафтанъ, эти маленькія, пухленькія, бѣленькія ручки засунуты между поджатыхъ колѣнъ, а изъ-подъ сбившейся простыни видны голыя подошвы маленькихъ ногъ—ну, совершенно спящій ребенокъ, прикурнувшій послѣ игры въ мячъ!

И многое, многое грезится этой спящей головѣ, брошенной на бѣлую подушку. Видится ему первое свиданіе съ императоромъ Александромъ въ Тильзитѣ, на серединѣ Нѣмана, въ пловучемъ павильонѣ. Они рядомъ входятъ въ павильонъ, нога-въ-ногу... но дверь узка, разомъ не войти имъ: узка дверь для двоихъ, словно міръ имъ узокъ, надо прижаться другъ къ другу—и они прижимаются: Наполеонъ прижимаетъ къ себѣ Александра; въ обоихъ тѣлахъ чувствуется дрожь—это сотрясеніе Россіи и Франціи. А король прусскій, какъ пойманный школьникъ, ждетъ своей участи на берегу Нѣмана—такой блѣдный, трепещущій; не терпитъ ему—онъ тянется впередъ, въ воду, лошадь его бредетъ по водѣ, вода хватается до стремени.

Спящая фигура еще болѣе скукоживается на подушкахъ, и ей грезится, что на всемъ земномъ шарѣ ей тѣсно; вдвоемъ нельзя оставаться—надо и его столкнуть, того высокаго, подъ которымъ такъ много земли, воды и людей. Міръ долженъ принадлежать одному, подобно тому, какъ онъ созданъ одною высочайшею силою.

Но чей это голосъ раздается надъ спящею головою? „Ничтожество! ничтожество! ничтожество!“—гремѣть голосъ невидимаго существа.—„Ты думаешь покорить весь міръ? Зачѣмъ? Счастливы-ли будетъ человѣкъ отъ этого? Да тебѣ какое дѣло до его счастья, презрѣнное ничтожество, червь, грызущій шаръ земной словно орѣхъ! Для кого ты льешь кровь человѣческую? Для Франціи? О! Франціи такъ же нужна эта кровь, какъ повѣшенному веревка! О! великій паразитъ вселенной! Нѣтъ ни одного чловека во всей этой вселенной, котораго ты не былъ бы ниже, недостойнѣе и презрѣннѣе... Ты презрѣннѣе мусорщика, который собираетъ для дѣла послѣдніе отброски. Ты презрѣннѣе этихъ самыхъ отбросковъ, потому что они идутъ въ дѣло, а ты всякое дѣло разрушаешь. Ты презрѣннѣе крысы, которая очищаетъ землю отъ вредной падали и гнили. Ты презрѣннѣе блохи, которая тебя кусаетъ, ибо она высасываетъ изъ тебя подкожную

негодную кровь. Ты что сдѣлалъ, что создалъ въ жизни? Сдѣлалъ-ли ты хоть иглу, гвоздь ничтожный? Нѣтъ, ты только все разрушаешь! Придумалъ-ли твой чумный мозгъ что-нибудь полезное, созидающее... Нѣтъ, эта чумная голова выдумывала только все разрушающее... Ты бесполезнѣе для міра подошвы твоего сапога, ничтожнѣе послѣдняго шва въ твоихъ кальсонахъ, малоцѣннѣе твоей слюны, твоихъ экскрементовъ, которые удобряютъ землю... Если хочешь принести пользу землѣ — умри! Кромѣ личнаго удобренія ты ничего не можешь дать міру! О, величайшій земной паразитъ!”

— Брысь! брысь! — бормочетъ Наполеонъ, безпокойно ворочаясь на подушкахъ. — Выбросьте эту кошку. Это она, мадамъ Сталь... негодная!

— Что угодно вашему величеству? — говоритъ, входя къ Наполеону, Талейранъ.

Онъ уже всталъ и работалъ въ сосѣдней комнатѣ, округляя статьи тильзитскаго договора и почеркомъ своего карандаша, словно паутиной, опутывая и спутывая всю Европу.

— А... это вы! — отвѣчалъ Наполеонъ, протирая заспанные глаза. — Меня во снѣ мучила своимъ мяуканьемъ эта кошка въ синихъ чулкахъ — мадамъ Сталь.

— О, ваше величество! у ней не все въ порядкѣ, оттого она и злится.

— Правда, правда, у ней не въ порядкѣ ни тамъ, ни тутъ (Наполеонъ показалъ на голову). А желалъ бы я знать, какіе сны видитъ мой новый другъ, императоръ Александръ.

— Почему, ваше величество, это такъ интересуется васъ? Развѣ и у него есть своя кошка?

— Безъ сомнѣнія. У кого же нѣтъ своей кошки! Вотъ Александрову-то кошку я и желалъ бы узнать, чтобъ подослать ей мышенка. А что это у васъ въ рукахъ?

— Тенета для Европы, ваше величество, — отвѣчалъ тотъ.

— А! — улыбнулся Наполеонъ, съ полуслова понявъ хитраго министра. — Посмотримъ, прочны-ли.

Уже утро заглядываетъ въ тотъ маленький двухъ-этажный домикъ, въ которомъ остановился русскій императоръ въ Тильзитѣ; за окнами уже начинаютъ чирикать воробьи, проголодавшіеся за ночь, а въ уютной спальной русскаго императора еще не помята постель. Старый сонъ и не заглядывалъ сюда, какъ ни звалъ его истомленный своими думами и сомнѣніями всемогущій повелитель великой державы. Все повинуетъ мановенію державной руки, въ которой, какъ въ рукѣ Божіей, и сердце, и благосостояніе, и жизнь миллионовъ подданныхъ; все преклоняется передъ этой красивой, аполлоновой, какъ называлъ ее Наполеонъ, русой, съ небольшою лысинкой головой, — не повинуетъ и не преклоняется одинъ упрямый старикашка, который толкается по грязнымъ и жалкимъ лачугамъ, самовластно входитъ и въ царскіе дворцы, гдѣ его принимаютъ съ распростертыми объятіями, который, когда захочетъ, и великаго Наполеона повергаетъ въ

то младенчески-утробное положеніе, въ какомъ засталъ его этотъ утромъ Талейранъ,—не повинуется этотъ капризный старикашка русскому императору, не идетъ на его зовъ, не заглядываетъ въ его привѣтливую опочивальню...

— Изъ лоскутьевъ польскаго кунтуша, снятаго съ плечь прусскаго короля, образуется герцогство Варшавское... Бѣдный Фрицъ! бѣденъкая Луиза!.. Я приобретаю Вѣлостокскую область—новый лоскутъ къ моей обширной порфирѣ... А новые короли — Іосифъ, король Неаполя, Людовикъ, король Голландіи, Іеронимъ, король Вестфалии — это братья его, братья трипостаснаго бога войны — нѣтъ, четырепостаснаго! Наполеонъ размѣнялъ себя на мелочь—на трехъ королей, а самъ остался такимъ же, какъ и былъ неразмѣненнымъ червонцемъ-императоромъ... Необыкновенный человекъ! „Мы, говорить, раздѣлимъ владычество надъ міромъ — вамъ востокъ, мнѣ западъ... Когда ваши подданные будутъ ложиться спать, мои будутъ вставать, а когда мы будемъ спать подъ сѣнью ночи, вы будете бодрствовать подъ солнцемъ... Мы разрѣжемъ земной шаръ надвое, какъ лимонъ...“ Неужели это перстъ Божій!..

Такъ говорилъ самъ съ собой императоръ Александръ, ходя въ одномъ бѣлѣ по своей спальнѣ и напрасно призывая сонъ. Послѣдніе дни сильно истомили государя. Военныя неудачи послѣдней кампаніи, обнаружившаяся неспособность полководца, потеря лучшей части арміи, обнаруженіе цѣлой системы злоупотребленій по продовольствію войска, неслыханное воровство во всѣхъ частяхъ, и, наконецъ, это роковое свиданіе съ человѣкомъ, который сказалъ ему, что „если я стану на одинъ полюсъ земли, а ваше величество не станете на другой, то я опрокину землю“, — съ человѣкомъ, который иногда казался ему удавомъ, готовымъ проглотить его какъ кролика,—все это разбило нервы императора до такой степени, что онъ лишился сна и все думалъ, думалъ, думалъ...

— О, бѣдная страна моя, бѣдный народъ мой! Когда же я могу уснуть спокойно, не боясь обмановъ, продажности, повальнаго воровства вокругъ меня? О! они способны похитить мою корону, какъ похитили мой сонъ... о, казнокрады! Отдайте мой сонъ, отдайте покой мой! Вы украли мой сонъ... Сонъ, сонъ, гдѣ ты!

— Я, адѣсь, ваше императорское величество! — рявкнулъ вдругъ За-ступенко, показываясь въ дверяхъ, за которыми онъ стоялъ съ ружьемъ въ качествѣ ординарца и немножко вздремнулъ. — Мы тутъ съ Лазаревымъ, ваше императорское величество.

Государь невольно разсмѣялся... „Вотъ невинныя дѣти!“ — подумалъ онъ.

— Спасибо. Я зналъ, что вы оба молодцы.

— Ради стараться, ваше императорское величество!

Но никому въ эту ночь не грезилося такъ хорошо, какъ старому гусару Пилипенкѣ. Ему грезилося, что Жучка, которую солдатамъ удалось спасти отъ смерти, сидитъ съ Пилипенкомъ у котла и кушаетъ казенный сухарь, который ей дали. И что всего удивительнѣе—сухарь не гнилой...

XIII.

Утромъ Петербургъ узналъ о заключеніи тильзитскаго мира. Впечатлѣніе, произведенное этимъ извѣстіемъ, было менѣе чѣмъ неблагопріятно для большинства населенія: какъ ни были для всѣхъ чувствительны тяготы войны, какъ ни удручающе отзывался далекій, не слышимый ни въ Петербургѣ, ни въ Москвѣ гулъ орудій на душѣ и на карманѣ каждого, потому вслѣдствіе паденія денежнаго курса втридорога вздорожала жизнь, поднялся въ цѣнѣ каждый фунтъ хлѣба въ лавочкѣ, каждая осьмуха водки въ кабацѣ и даже не пойманный еще сигъ въ Невѣ,—какъ ни страшно было каждому за своихъ родныхъ воиновъ, которыхъ, аки левъ рыкаей, пожиралъ ненасытный „корсиканецъ“, однако вѣсть о томъ, что война кончилась и „корсиканецъ не сломилъ шею“, а еще, кажется, сѣлъ на шею русской чести, досадой и стыдомъ сверлила мысль почти каждого русскаго. Да, нельзя не сказать съ поюзомъ: „чудни, чудни люди!“

Едва-ли не одинъ Сперанскій, узнавъ о мирѣ, сказалъ какъ-бы про себя: „Это умно... Я, впрочемъ, ожидалъ этого...“

— Ты чему, папа, радъ?—спросила его Лиза, увидавъ, что отецъ въ хорошемъ расположеніи духа.

— А тому, что моя Лизы скоро опять начнутъ учиться.

— Лизы, папа? А развѣ у тебя много Лизъ?

— Нѣтъ, только двѣ.

— Я да Соня, папочка?

— Нѣтъ,—ты да Россія...

Лиза сдѣлала большіе глаза.

— Вотъ видишь-ли, моя умная дура, — сказалъ Сперанскій весело: *объ* моя Лизы, *объ* умныя дуры, воевали съ однимъ озорникомъ, съ Сашей Пушкинымъ...

— А развѣ, папа, и Россія воевала съ Сашей Пушкинымъ?

— Да, но только у нея свой Саша Пушкинъ, такой же озорникъ, какъ и твой,—Наполеонъ... Теперь Россія съ нимъ помирилась и станеть учиться, умнѣть, развиваться...

— А развѣ Россія, папа, не учена?

— Ни на мѣдный грошъ... Передъ ней ты, моя дурочка, всезнайка.

— Ахъ, какъ смѣшно! Такъ меня называетъ и Кавунецъ—курьеръ, которому я рассказала, какія въ Россіи моря есть и рѣки...

— Ну, такъ я тебѣ скажу, что вся Россія—это Кавунецъ, который на все отвѣчаетъ „не могу знать“, хотъ и исполняетъ все исправно, что ни прикажутъ ему.

— Ахъ, смѣшно! ахъ, смѣшно! Россія—Кавунецъ... Пойду скажу это Сонѣ и мамѣ.

Не то говорили въ городѣ.

Въ трактирѣ Палкина, въ томъ, что и нынѣ красуется на углу Невскаго и Садовой, сидятъ пріятели-купики и распиваютъ чай. День душный и потому на пойло тянетъ здорово. Купчики, видимо, народъ шибко кормленный, тѣльный, сырой и грузный, а такой народъ въ жаркое время шибко теряетъ вѣсъ на потѣнье и вслѣдствіе того шибко пьетъ для пополненія убыли въ тѣлѣ.

— Я велю, господа, еще подать кипяточку, — говоритъ купчина съ сѣдою бородою и сѣдыми вкружаломъ волосами, среди которыхъ красное, толстое, лоснящееся лицо, съ раздавленными черниками вмѣсто глазъ, напоминаетъ варенаго рака въ чепцѣ. — Какъ ты думаешь, Левонтіи Захарычъ?

— А по мнѣ, такъ надо полагать, и довольно, — отвѣчаетъ Левонтіи Захарычъ, скончешскому, безбородому лицу котораго не достаетъ только кошника, чтобъ превратиться въ лицо кормилицы.

— Довольно, говоришь? А который потъ спущаешь?

— Да, поди, четвертый будетъ.

— Ну, новѣ такая жарынь, что менѣ какъ до седьмого поту пить нельзя... Эй, малый! подай кипяточку.

„Малый“, словно обваренный кипяткомъ, бросился къ собесѣдникамъ, съ ужимками необычайной ловкости не взявъ, а сорвалъ со стола чайникъ и такъ тряхнулъ волосами, что казалось, будто его пчела укусила въ затылокъ, и онъ отъ нея отмахнулся.

— А! „политикъ“! добро пожаловать! — заговорилъ вдругъ первый купчина, напоминавшій варенаго рака въ чепчикѣ. — Откудова Богъ несетъ?

Привѣтствіе это относилось къ длиннолому, сухопарому существу, съ рѣдкою, сѣдватою бородою и очками въ толстой серебряной оправѣ, изъ-за которой черные, видимо, слабые глаза глядѣли какъ изъ-за забора.

— Откудова, господинъ „политикъ“?

— Изъ собора, Авксентій Кузьмичъ, — отвѣчалъ „политикъ“, здороваясь съ собесѣдниками.

— Что тамъ? Садись, нутры сполосни.

— Добре, испіеми питія сего... Въ соборѣ „миръ“ объявляли съ корсиканцемъ съ этимъ, съ Наполеоніемъ.

— Да что ты его въ Наполеонію окрестилъ, братецъ? — спросилъ первый, раковидный купчина.

— Наполеоній и есть, — серьезно отвѣтилъ „политикъ“.

— Какъ же такъ, братецъ, поученому что-ли? А вонъ вездѣ такъ печатаютъ — Наполеонъ Бонапартъ.

— То-то и есть, что *печатаютъ*... Пропечатаетъ онъ намъ...

На словѣ „печатаютъ“ „политикъ“ сдѣлалъ особое удареніе. Говорилъ онъ какъ-то таинственно.

— Да что такъ страшно говоришь? Что пужаешь насъ? — допытывался первый купчина.

— Не я пужаю, а Наполеоній пужаетъ...

— Опять Наполеоній, задалить!

— Наполеонти́й и есть... Какъ тебя зовутъ?—вдругъ печально обратился „политикъ“ къ другому купчинѣ, съ скорпешнимъ лицомъ.

Тотъ удивился.

— Меня? али ты забылъ?

— Нѣтъ, не забылъ.

— Ну, Левонти́й.

— У насъ, видишь ты, Левонти́й, Леонти́й, а у французовъ — Леонъ, вотъ что!.. Тебя какъ зовутъ?—также неожиданно и серьезно обратился „политикъ“ и къ первому купчинѣ.

— Ну, Авксенті́й,—сказалъ тотъ, смѣясь.

— А у нихъ, значить, Авксѣнъ... Теренті́й, къ примѣру, у нихъ Терѣнъ... Они, значить, однимъ словомъ, не любятъ этого *и́й*, какъ у насъ оно вездѣ: у насъ, видишь ты, Васи́лій; а у нихъ вонъ Васи́ль. Вотъ въ чемъ штука-то!.. Такъ вотъ и Наполеонти́й у нихъ, у французовъ-то, сталъ Наполеонъ.

— Что жъ изъ этого?

— Какъ что, братецъ! Да тутъ не приведи Богъ что! Читалъ ты „Апокалипсисъ“?

— Читывалъ когда-то. Такъ что жъ?

— А что сказано тамъ о концѣ свѣта? Кто должонъ придти на землю?

— Ну, антихристъ—„икона звѣрина“, что-ли.

— Такъ. А что онъ будетъ дѣлать съ людьми?

— Ну, пригонять въ свою вѣру... Да что ты пристаешь съ разпросами, али ты судья, али попъ на духу?

— Нѣтъ, а ты скажи, какой онъ знакъ будетъ класть на людей? какое число звѣрино?

— Ну, знамо! какое я въ пьяномъ видѣ не выговорю.

— Такъ, вѣрно. Число сіе шестьсотъ шестьдесятъ шесть.

Сказавъ это, „политикъ“ таинственно омянулся и подозвалъ къ себѣ „малаго“. Малый опять метнулся какъ ошпаренный, опять тряхнулъ волосами, какъ жеребецъ гривой, и проговорилъ:

— Кипяточку-съ?

— Нѣтъ, любезный, подай мнѣ счета...

— Счетъ-съ? Да вы что изволили заказывать-съ?—недоумѣвалъ „малый“, дѣтина четырнадцати вершковъ.

— Не счетъ, а счетъ, на чемъ считаютъ.

„Малый“ метнулся за счетами, словно на пожаръ, и черезъ минуту принесъ требуемое. „Политикъ“ передалъ счета купчинѣ, съ лицомъ варагаго рака въ чепчикѣ.

— Клади за мной,—сказалъ онъ.—Какое первое слово въ Наполеонти́й?—*Нашъ*?

— *Нашъ*,—отвѣчалъ раковидный купчина.

— А въ *нашъ* сколько считается? Пятьдесятъ?

- Пятьдесятъ.
— Клади пятьдесятъ.
— Положилъ.
— Какое второе слово въ Наполеонтиѣ? *Азъ?*
— Точно *азъ*.
— А сколько въ *азъ*? *Азъ*—единъ.
— Единъ.
— Клади единъ.
— Есть пятьдесятъ одинъ.
— Какое третье слово въ Наполеонтиѣ? *Покой?*
— Ну, *покой*.
— А въ *покой* сколько? Восемьдесятъ?
— Восемьдесятъ.
— На кости восемьдесятъ.
— На костяхъ... Сто тридцать одинъ есть.
— Ладно. А какое четвертое слово въ Наполеонтиѣ? *Онъ?*
— Вѣстимо *онъ*.
— А въ *онъ* сколько?
— Въ *онъ* семьдесятъ.
— На кости семьдесятъ.
— И это есть.
— Ну, братецъ ты мой, какое пятое слово въ Наполеонтиѣ? *Люди?*
— *Люди*... Смекаю... Значить, еще тридцать на кости?
— Такъ, тридцать на кости... Ну-съ... За *людьми* идетъ *есть*?
— *Есть*, это еще пять на кости.
— Вѣрно. А за *есть* что идетъ въ Наполеонтиѣ?
— За *есть* опять *онъ*... И его на кости?
— На кости...
— Такъ... Ну, всего-то покелева у насъ вышло на костяхъ триста шесть... Ишь ты штука!—дивился купчина, съ лицомъ печенаго рака въ чепчикъ.—А ужъ одна шестерочка-то, вправду, есть... Ну, а откуда ты еще двѣ выудишь?
Всѣхъ, видимо, занялъ таинственный счетъ. Даже „малый“ что-то считалъ по пальцамъ, повременамъ встряхивая гривой.
— Выудимъ, выудимъ,—самоувѣренно, съ торжественной важностью говорилъ „политакъ“.—На чемъ, бишь, мы остановились?
— На *онъ*, *онъ* на костяхъ.
— Добре. За *онъ* кто идетъ въ Наполеонтиѣ?
— Опять *нашъ*.
— Клади *наша* на кости...
— Пятьдесятъ положилъ.
— За *нашемъ* кто идетъ? Помни Наполеонтий...
— Ну, такъ за *нашемъ* таперича идетъ *твердо*... Эво *триста*... Ишь ты, дьяволъ! разомъ навалило сколько... Ай, ай, ай! вотъ штука!

шессотъ шесть... Ахъ, ты лядина! одного шести еще не достаешь... Ну, лядина!

— Найдѣмъ и еще шесть, говорить „политикъ“. Что за *твердой* идетъ въ Наполеонтиѣ?

— Ну, тутъ за *твердой*, братецъ ты мой, идетъ, кажись, *уже*.

— Не *уже*, а *i* десятиричное...

— Ну, все едино!

— Не все едино! Попъ али дьяконъ, Петръ али Яковъ. Не *уже*, а *i*... клади его на кости.

— Это десять-то?

— Да, десятиночку.

— Ну, на... Ахъ ты, лядина! а! ай-ай-ай! И точно шесть сотъ шесть-десять шесть... очко въ очко... фу, ты пропасть! Инда потъ прошибъ. Вотъ исторія—поди на! Ахъ, ты, дьяволъ! а!

Купцы ошеломлены—и раковидное, и скопческое лицо такъ и вытянулись. „Малый“ такъ глядѣлъ на счеты, точно ожидалъ, что вотъ оттуда что-нибудь выскочить, вотъ-вотъ выскочить... А „политикъ“, посматривая на нихъ черезъ заборъ своихъ очковъ, словно хотѣлъ сказать: „Что про-яяло? Понимаете, чѣмъ пахнетъ? Вотъ оно что значить наука! Поди, раскуси ее... Овому талантъ, овому два, а кому шишъ! Такъ-то, люди добрые“.

— Ну, и впрямь „политикъ“!—сказалъ, наконецъ, первый купчина.—Гдѣ это ты, Егоръ Фокичъ, эку лядину вычиталъ? Али самъ дошелъ?

— Дошелъ телокъ до коровьяго вымя!—загадочно отвѣчалъ политикъ.—Дойдешь до огня, на дымъ идучи.

— Точно, точно. Али плохи дѣла?

— Чего плоше! Къ намъ подбирается, а мы сами ему въ ротъ пальцы кладемъ. У насъ коли французъ, такъ садись на шею и поѣзжай. Коли что французское, такъ ужъ и охъ! лучше быть не можетъ.

— Это точно,—процѣдилъ другой купчина, съ скопческой фizioноміей,—и французская болѣзнь и та въ модѣ.

— Да, къ намъ въ лавки и не заглядываютъ—фи, русское-де! а все къ французамъ.

Политикъ полѣзъ въ карманъ и вынулъ оттуда какую-то книжку.

— Вотъ книжка изъ Москвы пришла, умная книжка: „Мысли вслухъ на Красномъ крыльцѣ“ называется. Такъ тутъ вотъ что пишуть: „Прости Господи! ужъ-ли Богъ Русь на то создалъ, чтобъ она кормила и богатила всю дрянъ заморскую, а ей, кормилицѣ, и спасибо никто не скажетъ. Ее жъ бранятъ всѣ не на животъ, а на смерть. Приѣдетъ французъ съ висѣлицы, всѣ его наперехватъ, а онъ еще ломается, говоритъ: либо принцъ, либо богачъ, за вѣрность и вѣру пострадалъ. Такихъ каторжни-ковъ и невѣжественныхъ еми-еми-гран-емигран-товъ, эмигрантовъ съ радостію у насъ берутъ въ воспитатели и учителя“. Вотъ оно что! А это все его слуги и аггелы его, все это рать Наполеонтиѣ.

— Да вить онъ теперь замирение взялъ,—возразилъ первый купецъ.

— Что его замирение, Авксентій Кузьмичъ!—одна пагуба.

— А что, развѣ глаза отвести хочетъ?

— Хуже того: волкъ подошелъ къ овчарнѣ да и говорить собакамъ: „вотъ вамъ мяса кусочекъ, подружимтесь“. Собаки мясо съѣли, да и заснули.

— А волкъ и тово—въ овчарню?

— А мы на что?—не вытерпѣлъ „малый“, который внимательно слушалъ разговоръ купцовъ, стоя у двери.

Всѣ засмѣялись.

— Молодецъ! — сказалъ первый купецъ и полѣзъ въ карманъ.—На, выпей за здравіе Россіи... А онамедни въ театрѣ давали „Димитрія Донского“,—такъ тамъ приходитъ посолъ отъ Мамаю, ломается, грозитъ русскимъ, вотъ какъ этотъ самый Наполеонъ... А Каратыгинъ, Андрей Васильичъ, какъ гаркнетъ на него:

Поди и возвѣсти Мамаю,
Что я его какъ чорта изломаю!

такъ раекъ, я вамъ доложу, въ такой дебошъ пришелъ, что хотѣли послѣ театра избить того актера, что Мамаю игралъ.

— Мы и избили бы, да намъ полиція не дала его,—виѣшался „малый“.

— Вотъ такъ!—За что-жъ его бить? Онъ—русскій.

— А онъ что грозитъ! Мы бъ ему помяли бока... Ишь ломается: „данъ, говорить, давайте!“

Опять общій хохотъ. Патріотъ „малый“ былъ шибко простоватъ, но до театра былъ большой охотникъ и все, что ни видѣлъ на сценѣ, понималъ въ прямомъ смыслѣ, какъ маленькій Вася Каратыгинъ. Такъ разъ, увидѣвъ, что актриса Перлова, она же Каратыгина, по смыслу пьесы, должна была поцѣловаться съ своимъ возлюбленнымъ за спиной мужа, „малый“ не вытерпѣлъ и испуганно, на весь театръ, заоралъ: „Смотри, смотри! она, стерва, цѣлуется“, — за что и былъ выведенъ изъ райка прямо на улицу. Теперь, слушая разговоръ о Наполеонѣ, онъ тоже, какъ и тогда въ театрѣ, чувствовалъ потребность кого-нибудь помять, такъ ужъ своеобразно прилажены были у него руки и голова. И всякій разъ, когда онъ слышалъ шумъ на улицѣ или гдѣ-бы то ни было, онъ всегда торопился туда словно на пожаръ и непременно спрашивалъ: „кого бить?“ А между тѣмъ въ сущности былъ добрый и смирный малый и любилъ нянчить дѣтей, чьи бы они ни были.

— Такъ ты думаешь, Егоръ Фокичъ, онъ намъ напакостить, Наполеонѣй-то твой?—спросилъ, немного погодя, первый купчина.

— На то похоже,—отвѣчалъ „политикъ“.

— Да чѣмъ-же? Войной на насъ пойдеть?—спросилъ другой купецъ, съ бабьимъ лицомъ.

— Не знаю, а ужъ чѣмъ-нибудь да доѣдетъ: не мытьемъ, такъ катаньемъ.

— А вотъ чего не хочеть-ли? — снова вмѣшался „малый“ и показалъ кулакъ.—Скулы сворочу.

— Молодецъ, молодецъ, Гриша!—засмѣялся первый купчина.—Вонъ у насъ какіе калачи ему припасены.

— Горяченьки,—промычалъ „малый“—съ масломъ... Намедни этта мы одного французина въ Мойкѣ кѣтили.

— Ой-ли? И утопъ?

— Нѣтъ, не утопъ песь—выволокли.

— А за что топили?

— За кукишъ.

— Какъ за кукишъ?

— Да такъ, за самый за этотъ за кукишъ... Кукишъ намъ показъ. Образъ несли по прешпехту, а онъ, французинъ, идетъ это и шапки не сымаетъ... Ему и сбили шапку, а онъ---кукишъ... ну, ево и въ Мойку... Кипяточку прикажете-съ?

— Нѣтъ, будетъ, малый, восьмой потъ спущаю.

— Что-жъ, ваша милость, это немного... Намедни этта у насъ купцы со Шукина по дюжинѣ поту спущали — оно для здоровья хорошо.

— Оно точно, и нутры, и кровь перемывается... Пóтомъ-то всякая болѣсть выходитъ.

— Только не французская—не Наполеоніѣй вонъ его,—замѣтило скорческое лицо.

— Ну, для Наполеоніѣи мы сулемы припасемъ,—отвѣчалъ „политикъ“.

Въ трактиръ вошли два новыхъ посѣтителя. Это были Крыловъ Иванъ Андреевъ и докторъ Сальватори. „Малый“ метнулся къ нимъ и, осклабился, увидавъ Крылова, который былъ постояннымъ посѣтителемъ Палкина.

— Дай намъ, братецъ, водочки да закажи селяночку, да позабавистѣе,—сказалъ Крыловъ, занимая свободный столъ.

— Селяночку какую прикажете?—мотнулъ парень волосами.

— Московскую—самую что-ни-есть первопрестольную, для московскаго гостя (и онъ указалъ на Сальватори).

— А водочку какую?—снова мотнулася голова „малаго“.

— Французскую. Теперь миръ съ Наполеономъ, значить давай французскую водку.

— Слушаю-съ.

И „малый“ стремглавъ ринулся въ буфетъ, словно искалъ „кого бить“ или кого изъ воды вытаскивать.

— Такъ вы полагаете, что у Наполеона заднія мысли? — спросилъ Сальватори съ еврейскимъ заискиваньемъ въ голосѣ и въ глазахъ.

— Да у него никогда и не было переднихъ, — отвѣчалъ Крыловъ равнодушно.—Талейранъ это съ него научился сказать: „Языкъ намъ данъ для того, чтобы скрывать свои мысли“.

По лицу Сальватори скользнула едва замѣтная тѣнь, которую онъ старался выдать за улыбку.

— Но какіе же могутъ быть у него тайные планы? — снова спросилъ онъ.

— Въ мирѣ-то съ нами?

— Да, въ этомъ.

— Ему англичанъ хочется допечь. Вѣдь онъ сказалъ, когда въ лоскъ положилъ Пруссію: „я завоюю у Англіи море посредствомъ суши и отберу у нея Индію и Пондшери — на Одеръ и Вислу“. Да и какъ ему не бѣситься на англичанъ! Они съ нимъ какъ съ мазурикомъ обходятся, косятъ его въ мертвую голову. Да отъ однихъ ихъ каррикатуръ можно взбѣситься и не такому человѣку, какъ Наполеонъ.

— Да, это правда. Англичане одни преслѣдуютъ его сарказмомъ.

— Мало того — презрѣніемъ. Такъ теперь ему хочется завоевать Англію — черезъ Петербургъ... Онъ ищетъ Калькутту и Пондшери на Гороховой.

— Слышишь, Авксентій Кузьмичъ? — многозначительно замѣтилъ „политикъ“ своему сосѣду. — И господа тоже говорятъ.

— Ишь ты — на Гороховой... А поди и впрямь до Гороховой дой-детъ... и-и-и!

— Помни шестьсотъ шестьдесятъ-шесть...

— Помилуй Богъ... не забуду.

— А вотъ я сегодня былъ у Сперанскаго — свидѣтельствовать ему свое почитаніе, такъ онъ доволенъ миромъ, — сказалъ Сальватори, умильно глядя въ глаза Крылову.

— Сперанскій — гениальный человѣкъ, но онъ мечтатель: онъ думаетъ вырастить ананасы тамъ, гдѣ растетъ рѣпа да крапива.

— Какъ? Я васъ не понимаю, почтеннѣйшій Иванъ Андреевичъ.

— Да Сперанскій, видите-ли, хочетъ сдѣлать изъ Россіи Европу.

— Что жъ, развѣ это вещь невозможная?

— Почти... Намъ приходится, какъ сухую дичь саломъ, лпшиговать Европой; а все мы остаемся дичью и пахнемъ дичью... Намъ не скоро вываришь въ Европу — въ десяти водахъ не вываришь.

— Почему же? Я вижу, напротивъ, просвѣщеніе очень прививается въ Россіи.

— Какъ къ вербѣ груши... А верба все вербой и остается... Вонъ посмотрите.

И Крыловъ указалъ изъ окна на Невскій. Сальватори глянулъ въ окно. Глянули и купцы. Среди Невскаго стояла коляска, запряженная парю воронихъ, а въ коляскѣ сидѣлъ какой-то генералъ, нѣсколько сутуловатый, съ сухимъ, точно деревяннымъ лицомъ. Около коляски стоялъ солдатикъ, блѣдный, дрожащій, готовый упасть отъ ужаса.

— Что это? — спросилъ Сальватори.

— Это Аракчеевъ, графъ изъ солдатъ.

— О! кто-же не знаетъ графа Аракчеева, любимца государя!

— Такъ видите: вѣроятно, солдатикъ не успѣлъ отдать ему честь или у солдатика одной пуговицы не оказалось, такъ Аракчеевъ, навѣрно, грозитъ прогнать его сквозъ строй—и прогнать.

— Не можетъ быть!

— Все можетъ... У него въ имѣніи бабы по равжиру маршируютъ, и онъ ихъ сбьетъ по-солдатски... Онъ всю Россію хочетъ превратить въ пахотнаго солдата... Вотъ вамъ и Европа Сперанскаго.

— Но, можетъ быть, вліяніе Сперанскаго осилить, — замѣтилъ Сальватори.

— Врядъ-ли. Развѣ Наполеона черти съ квасомъ съѣдятъ.

Купчики осклабились отъ удовольствія.

— Подавятся и черти,—процѣдилъ сквозъ зубы „политикъ“.

— Ну, вотъ и селянка! такой навѣрно и Наполеонъ не ѣдалъ,—сказалъ Крыловъ, увидѣвъ „малаго“ съ шипящей кострюлькой.

— Куда Наполеону! — осклабился „малый“. — Съ суконнымъ рыломъ-съ...

— А можетъ и сунется въ калашный рядъ, — процѣдилъ опять „политикъ“.

— А вотъ! на-ко-съ!

И „малый“ показалъ свой кулакъ — съ голову Наполеона.

XIV.

Москва еще больше чѣмъ Петербургъ ворчала на тидзятскій миръ и въ особенности на Наполеона. Онъ иначе и не назывался тамъ, какъ „исчадіе ада“, „геенна“, „корсиканскій волкъ“, „внукъ сатаны“, „кумъ асмодея“, „бѣшеная собака“, „французская болѣзнь“ и иное неудоборекомое. Москва давно считала себя сердцемъ Россіи, и это сердце распалось, и Москва засучивала рукава всякій разъ, какъ только ей казалось, что кто-нибудь задѣлвалъ честь Россіи, наступалъ на ея мозоль, не здравствовалъ на ея чиханье. „Мы-ста имъ покажемъ“, „мы-ста утремъ ему носъ“, „нѣтъ, шалишь“, „рыломъ не вышелъ“, „сунься-ко“, „узнаешь Кузькину мать“, „какъ Сидорову козу“—и тому подобныя безчисленные аргументы сыплются съ устъ Москвы въ доказательство ея величія и въ предупрежденіе того, что всякому дерзкому она покажетъ и себя, и тѣ мѣста, гдѣ „козамъ рога правятъ“, и „куда Макарь телятъ не гоняетъ“, и „куда воронъ костей не заноситъ“, и такъ далѣе, и такъ далѣе.

Когда въ Москвѣ получены были извѣстія о битвѣ при Фридландѣ и объ отступленіяхъ русской арміи на всѣхъ пунктахъ, никто не хотѣлъ вѣрить, что это были не побѣды наши, а пораженія, и всѣ были убѣждены, что русскіе „заманиваютъ“ корсиканскаго волка, чтобы онъ самъ попалъ въ капканъ. Побѣды Суворова такъ избаловали московское мнѣніе, что оно не позволяло никому говорить о пораженіяхъ: „въ бараній рогъ

корсиканца—и баста“. Къ тому-же эту патриотическую увѣренность сильно подкрѣпилъ графъ Ростопчинъ своими „Мыслями вслухъ на Красномъ крыльцѣ“—„Мыслями“, которыя сдѣлались московскимъ евангеліемъ. „Разъ его, корсиканца, ударить—и мокренько стало!“ И вдругъ получается вѣсть, что корсиканецъ не въ капканѣ, а напротивъ—на свободѣ, да еще и миръ съ нимъ заключенъ. Читаютъ въ соборѣ эту вѣсть, никто вѣрить не хочетъ. У всѣхъ на лицахъ недоумѣніе и смущеніе. Вонъ и самъ графъ Ростопчинъ стоитъ: какъ ни гордо глядятъ его глаза изъ-подъ высокаго лба, нѣсколько драпированнаго напудреннымъ парикомъ, однако стоящій недалеко отъ него бакалавръ Мерзляковъ, Алексѣй Федорычъ, видитъ въ нихъ нѣкое смущеніе.

— Что, графъ,—виновать—Сила Андренчъ, какъ вамъ сіе нравится?—шепчетъ Мерзляковъ.

— Что, господинъ бакалавръ и пѣснотворецъ?—отвѣчаетъ Ростопчинъ вопросомъ.

— Да миръ-то съ „мужичишкой корсиканскимъ“, что въ рекруты не годится“, какъ говоритъ почтенный Сила Андренчъ?

— Миръ-то? Да! Царю Петру Первому правнучекъ на мозоль наступилъ—черезъ девяносто восемь лѣтъ на мозоль наступили.

— Какъ, графъ?

— Да, знаете, котораго числа миръ подписанъ?

— Не знаю.

— Іюня 27-го... Охъ, повернулся Петръ Алексѣичъ въ гробъ!

— А! догадался, догадался... Это день Полтавской побѣды—да, да! неловко, очень неловко... И для Силы Андренча обидно,—прибавилъ Мерзляковъ, лукаво улыбаясь.

— Обидно-то, обидно ему, а бакалавру Мерзлякову должно быть еще и того обиднѣе,—также лукаво отвѣчалъ Ростопчинъ.

— Почему, графъ, мнѣ-то обидно?

— Да все-же за царя Петра Великаго.

— Не понимаю васъ, государь мой.

— А кто сію кантату сочинилъ на восшествіе на престолъ Александра—сію:

Лучами феба оживленный,
Счастливыя сѣверъ предъ тобой
Свергаетъ днесь одежды снѣжны,
И въ новой радости святой,
Блестая ранними цвѣтами,
Гласить и сердцемъ и устами,
Что ты—отецъ его, покровъ.
И духъ, Петромъ въ него вложенный,
Минервой сердце просвѣщено
Слились въ одно—къ тебѣ въ любовь!

— А?—продолжалъ тихо Ростопчинъ.—И за этотъ „духъ Петра“ да Петру же и на мозоль!

Мерзляковъ, видимо, былъ озадаченъ неожиданнымъ поворотомъ.

— Однако, ваше сіятельство, какая у васъ память — можно сказать, лестная для сочинителей, — говорилъ онъ сконфуженно. — Я и самъ это забылъ, а вы изволите помнить.

— А вы думали, небось, почтеннѣйшій, что я только и помню вашу канту —

Среди долины ровныя, на гладкой высотѣ...

— Ну, ваше сіятельство, вы совсѣмъ меня разбили, какъ Наполеонъ прусаковъ...

— Однако пора по домамъ: служба кончилась, всѣ расходятся... До свиданья, почтеннѣйшій Алексѣй Федорычъ, заходите какъ-нибудь вечеромъ, всегда радъ — и Глинка будетъ, и еще кое-кто изъ вашей братьи, сочинителей... Споемъ „Среди долины ровныя...“

И они вышли изъ собора. Но въ церкви еще оставалось довольно народу. Это были тѣ, которые пришли отслужить — кто благодарственный молебенъ, кто панихиду по усопшимъ, по убиеннымъ. Последнихъ было больше, чѣмъ первыхъ. Тоскливыя, убитыя, иногда плачущія лица и черныя платья съ бѣлыми, рѣжущими глазъ, обшивками говорили сами за себя. Особенно же рѣзали глазъ эти бѣлыя обшивки на двухъ крошкахъ, на мальчикѣ и дѣвчкѣ, беззаботно игравшихъ около старой, тоже въ черномъ, няни и пренаивно отвѣчавшихъ на вопросы соболѣзновавшихъ женщинъ въ то время, какъ мать ихъ, припавъ головой къ холодному полу, исходила, повидимому, тоской и слезами.

— По комъ это, матушка, панихида? — спрашиваютъ няню сердобольныя бабы.

— По папѣ панихида, — весело отвѣчаетъ дѣвочка-крошка.

— Да, по родителямъ по ихнемъ, милая.

— Что жъ, помре волею Божією или убить?

— Папа палъ на полѣ брани, бойко, — какъ по заученому отвѣчаетъ мальчикъ (слышалъ отъ кого-то).

— Охъ, Господи! крошечки-то какія остались... Убить, стало быть...

— Нѣтъ, папа палъ на полѣ чести, — безсознательно лепечетъ дѣвочка (тоже слышала эту ужасную фразу).

Сердобольныя бабы утираютъ слезы. А тамъ, отъ аналоя несется возгласеніе: „Упокой, Господи, душу усопшаго раба твоего, на брани убиенаго боярина Александра, и сохрани ему вѣчную память...“

— Папа скоро пріѣдетъ, — лепечетъ мальчикъ.

„Вѣчная память — вѣчная память — вѣ-ѣ-ѣчная...“ — плачетъ хриплый голосъ церковника.

— За что же, Господи! о! — Это раздается напрасный стонъ съ полу, напрасный протестъ.

Сердобольная баба махаетъ рукой и, уткнувшись носомъ въ платокъ, тоже напрасно надрыдается.

А на другой сторонѣ церкви идетъ благодарственный молебенъ. На колѣняхъ стоитъ дѣвушка, тоже въ черномъ, но безъ ужасныхъ бѣлыхъ обшивокъ, этой безвременной сѣдины сердца, сѣдины, выступающей мгновенно, какъ она иногда выступаетъ на волосахъ въ минуты страшнаго, потрясающаго горя. Дѣвушка тихо молится. Сѣрые, большіе, крѣпкіе глаза ея не отрываются отъ образа, изображающаго женщину, молящуюся при крестѣ. Изъ-подъ шляпки выбиваются золотисто-каштановые волосы, одна прядь которыхъ неровно обрѣзана. Это она, молящаяся, въ порывѣ тоски, провожая *его* на эту ужасную войну, не замѣтила за слезами, какъ отхватила для *него* ножницами, на память, цѣлую пасму волосъ. Особенно страстно молилась она за обѣдней въ то время, когда возглашали: „страждущихъ, плѣнныхъ и о спасеніи ихъ...“

— Плѣнныхъ... плѣнныхъ, Господи!—шептала дѣвушка.

Тотъ, для котораго она обрѣзала прядь волосъ, въ плѣну... *Онъ* былъ взятъ въ битвѣ при Гутштадтѣ, на глазахъ у друга своего, Панина, который тоже едва не попалъ въ плѣнъ и, только благодаря какому-то храброму юношѣ Дурову, избѣжалъ смерти. А *его* взяли раненаго,—подъ *нимъ* была лошадь убита. А прядь волосъ съ *нимъ*, у *него* на груди.

— Плѣнныхъ, Господи, помилуй,—шепчутъ уста, которыя *онъ* поцѣловалъ тогда въ первый и послѣдній разъ,—но какъ поцѣловалъ!

„И той бѣ самарянинъ“,—слышится дрожащій голосъ священника.

— Господи, спаси *его*,—шепчетъ молящаяся, а лукавая память вносить сюда, въ церковь, тотъ душный вечеръ, когда въ тѣни сиреней и акаціи *онъ*, наканунѣ выступленія ихъ эскадрона, въ первый разъ сказалъ, что любить ее, и цѣловалъ, такъ жарко цѣловалъ ея руки, только руки, а она не отнимала эти руки, похолодѣвшія отъ *его* жаркихъ поцѣлуевъ...

— А теперь миръ... *онъ* воротится... Господи! Господи!

„Благодареніе яко раби недостойніи приносимъ“,—возглашается „благодареніе“ рядомъ съ „вѣчною памятью“ и стонами вдовы.

— Благодарю, благодарю Тебя, Господи.

Это благодарить дѣвушка, боясь оглянуться туда, гдѣ не благодарятъ, а только рыдаютъ.

Кончились панихиды съ „вѣчною памятью“. Кончились и благодаренія. На паперти нищѣ грызутся изъ-за подачекъ вдовъ и сиротъ. Церковь опустѣла. Причетники считаютъ вырученные пятаки, гривны, полтинники. Стоитъ-ли жить послѣ этого!.. О, какъ хороша жизнь человѣческая и какъ жалка и прискорбна она!..

Дѣвушка, служившая благодарственный молебенъ, выйдя изъ Архангельскаго собора, остановилась въ раздумьи среди Кремлевской площади и, повидимому, не знала, что ей предпринять. Глаза ея невольно остановились на Замоскворѣчьи, и грандіозная картина города, всегда чаровавшая ее, не произвела теперь на нее никакого впечатлѣнія. Видно было, что другіе образы тѣснились въ ея душу, наполняли ее и не давали мѣста для

воспріятія вѣѣшнихъ впечатлѣній: въ томъ состояніи, въ какомъ находилась дѣвушка, цѣлый міръ кажется пустыней. Недостаетъ чего-то одного, а кажется, что весь міръ отсутствуетъ, солнце не свѣтитъ, небо перестаетъ быть голубымъ, близкіе становятся чужими...

Дѣвушка опомнилась, видимо, на что-то рѣшилась и пошла изъ Кремля.

— Неужели и теперь ничего не будетъ?—машинально шептала она.

По улицамъ безпорядочно толкался народъ, безтолково сновали экипажи, слышался говоръ, смѣхъ, пьяное пѣніе. Цѣлое море звуковъ, словъ; но все это кажется такимъ пустымъ, мелкимъ, ничтожнымъ. Когда человекъ несетъ въ своей душѣ что-то большое, тяжелое—или громадное горе, или страшную тоску, то подъ вліяніемъ этого субъективнаго чувства весь міръ и его интересы умяляются до ничтожества... Но были слова въ цѣломъ морѣ гама, которыя невольно били по сердцу: на одномъ перекресткѣ, у кабака, толкались солдатики и говорили:

— Али онъ осилилъ?

— Гдѣ осилить! Куда ему!

— Куда нашего осилить! ишь на мировую пошелъ, аспидъ...

— Пардону просить, дьяволъ! Солоно, чай...

— А наши плѣнные небось... поди на размѣня?

— То-то, плѣнные! А ты еще спроси, кто уцѣлѣлъ?... А то плѣнные! Можетъ онъ ихъ всѣхъ—во!

И солдатикъ показалъ рукой это „во“ такъ страшно, сдѣлалъ такой ужасный жестъ, что у дѣвушки ноги подкосились. „Господи! Господи..“ Она не знала, о чемъ просить... Можетъ быть, это ужасное „во“ уже совершилось—поздно и просить...

Она идетъ все дальше и дальше по безконечнымъ улицамъ; ноги путаются, въ ухахъ шумитъ, въ сердце отдается церковная служба: „благодареніе яко раби непотребніи приносимъ...“ „со святыми упокой...“

Отъ ходьбы и волненія волосы еще больше растрепались. Этотъ обрѣзанный локонъ—зачѣмъ онъ взялъ его? Кто беретъ волосы на память, того ужъ никогда не увидишь; оттого и у мертвыхъ отрѣзываютъ волосы на память. Зачѣмъ онъ взялъ!.. И опять это страшное „во“.

Ей вспоминается, какъ онъ самоуверенно говорилъ, что кампанія скоро кончится, что Наполеонъ будетъ разбитъ, и они нынѣшнимъ же лѣтомъ воротятся домой. Да, кампанія кончена; но Наполеонъ не разбитъ и они не воротились по домамъ... Иные тамъ и остались на вѣки... а можетъ и онъ тоже... можетъ быть, рана была смертельная... А этотъ ужасный солдатъ, это страшное „во“—ухъ, какъ страшно, Воже мой!

Черезъ нѣсколько минутъ дѣвушка подошла къ почтамтскому дому и дрожащими отъ волненія ногами поднялась въ отдѣленіе выдачи писемъ „до востребованія“. Тамъ сидѣлъ старенькій чиновникъ и вслухъ читалъ какую-то старую засаленную газету.

„Наполеонъ потерялъ въ семъ жаркомъ бою множество убитыми и ранеными, наши же потери...“

Увидѣвъ смущенную дѣвушку, онъ остановился какъ разъ на „нашихъ потеряхъ“.

— Что вамъ угодно, государыня моя?—спросилъ онъ вѣжливо и ласково, потому что лицо дѣвушки расположило его въ свою пользу.

— Нѣтъ-ли въ полученіи письма „до востребованія?“—заговорила дѣвушка дрожащимъ голосомъ.

— На чье имя, сударыня?

— На имя Ирины Владиміровны Мерзляковой... изъ-за границы...

— Заграничное отдѣленіе, государыня моя, вонъ тамъ, лѣвѣе, а здѣсь внутренняя почта.

Въ заграничномъ отдѣленіи сидѣли два молоденькихъ чиновника и громко смѣялись, читая подписи подъ какою-то лубочною картиной:

Подошелъ французъ къ Пултуску
И, увидавши тамъ силу русску,
Ну храбритца, пѣтушитца
И съ русскими накулачки битца.
Коли видить—дѣло плохо:
Больно, говоритъ, кусаются русски блохи.
А какъ подошелъ Беннгсенъ,
Дакъ онъ со страху совсѣмъ присѣлъ;
А какъ увидалъ, что идетъ Багратіонъ,
Такъ онъ и ну кричать пардонъ!

Увидавъ дѣвушку, молодые люди покраснѣли; покраснѣла и она, но тотчасъ же спросила о письмѣ на имя Ирины Мерзляковой.

— Изъ-за границы письмо?

— Изъ-за границы.

— Изъ какого государства ждете?

Дѣвушка знала это менѣе всего. Она не знала, что отвѣчать.

— Вы ждете письмо отъ плѣннаго?

— Да,—чуть слышно последовалъ отвѣтъ.

Чиновники усердно перерыли всѣ ящики, но ничего не нашли. Краска сошла съ лица несчастной, и она стояла блѣдная, потерянная, убитая.

— Вотъ, государыня моя, письмо на имя Ирины Владиміровны Мерзляковой,—зашамкалъ старый чиновникъ изъ отдѣленія внутренней корреспонденціи, показывая издали пакетъ. Дѣвушка бросилась туда. Дорогое письмо въ ея рукахъ... Въ глазахъ мутится, ноги подкашиваются, сердце замерло. „Онъ не за границей... онъ въ плѣну“... Эта мысль такъ и ожгла ее всю.

Схвативъ пакетъ, она бросилась вонъ изъ жаркаго, душнаго почтамта боясь, что упадетъ, закричить. Рука такъ и закоченѣла съ письмомъ, прижатымъ къ сердцу.

Выйдя изъ почтамтскаго двора, она почувствовала, что не можетъ дольше стоять на ногахъ, и опустилась на приворотную скамейку у будки. Она взглянула на конвертъ—рука незнакомая. Да и его рука не знакома ей:

они не переписывались прежде. Есть у нея нѣсколько буквъ его руки; но по нимъ почерка нельзя изучить. Эти дорогія буквы онъ вырѣзалъ у нихъ въ саду, за сиренью, на стволѣ старой березы. Тамъ вырѣзаны двѣ буквы К и И, а надъ ними—горящее сердцѣ, а въ сердцѣ—буква И. Это она—Ирина, въ сердцѣ, а тѣ двѣ буквы—его дорогое имя и фамилія.

Она вглядывается въ почеркъ на конвертѣ. Почеркъ смѣлый, твердый, но только немножко женскій. Особенно жадно впились красивые глаза дѣвочки въ слово „Иринѣ“... „Это мнѣ... Какъ писала это слово его рука?... дрожала?... да, немножко дрожала... на буквѣ *р* дрогнула, а *И* — такое милое, ласковое“...

Осторожно, какъ какая-нибудь драгоценность, вскрывается конвертъ. На печати буквы А и С. „Не его печать“. Опять въ сердцѣ холодъ, и руки не слушаются. Вскрыто письмо!.. „Милостивая государыня“...—„Это не онъ!“—Въ глазахъ темно, она не видитъ подписи, хватается за сердце; боится взглянуть на подпись, точно тамъ мертвецъ стоитъ—его милое, мертвое лицо... Но надо же узнать!... „Александръ Сеславинъ“ подписано—„это его другъ школьный“, вспоминается дѣвочкѣ, что онъ это говорилъ...

„Милостивѣйшая государыня, Ирина Владиміровна! Пишу вамъ по порученію моего друга Константина Николаевича Истомина“... Глаза бѣгутъ за сердцемъ впередъ, черезъ слова, черезъ строки... Нашли! нашли... „Онъ живъ... поправляется“...

Глаза машинально ищутъ церкви... Но церкви не видать, хоть ихъ такъ много въ Москвѣ, и взоръ поднимается въ голубую высь, къ небу, къ той невидимой церкви, на которую молится весь міръ, и крупныя слезы, выкатившись изъ отуманенныхъ глазъ, звонко ударились о бумагу.

Разомъ стало свѣтло кругомъ: дома, мостовая, небо, воздухъ, лица прохожихъ, зеленъ и даже прыгающій у ногъ воробей—все окрасилось иначе, тепломъ и привѣтомъ окрасилось, ожило... „Онъ живъ!“ Чего же еще! Онъ живъ—и весь міръ живъ.

„Ахъ, эти слезы! все замочили... чернила растекутся, и я ничего не разберу“... Ужъ эти слезы!

Успокоенная въ глубинѣ души, она читала, бережно отирая бумагу отъ слезъ: „Пишу вамъ по порученію моего друга Константина Николаевича Истомина“...

— Милый! и имя милое и фамилія (это въ скобкахъ).

„Онъ живъ и поправляется отъ болѣзни. Я поторопился написать вамъ эту первую фразу, чтобъ успокоить васъ, ибо я увѣренъ, что она-то для васъ и дорога и ее именно вы искали бы прежде всего въ моемъ письмѣ“...

— Ахъ, какой онъ милый, этотъ Сеславинъ, какъ угадалъ! Должно быть, онъ самъ любить (это тоже въ скобкахъ).

„А теперь сообщу вамъ все по порядку. Истоминъ мой школьный товарищъ, старый другъ и однополчанинъ. Настоящую кампанію мы были съ нимъ неразлучны. Передъ несчастной битвой при Гутштадтѣ, я и Истоминъ, какъ это водится между боевыми товарищами, въ виду весьма воз-

мужской смерти или плѣна, взаимно сообщили другъ другу каждый свою послѣднюю волю, съ тѣмъ, чтобы, если меня убьютъ, онъ бы выполнилъ мою волю, а если его не станеть, то я его душеприказчикъ. Его послѣдняя воля заключалась въ томъ, чтобы, если его не станеть, я написалъ вамъ, что, идя въ битву, онъ шепталъ ваше имя и благословлялъ васъ“...

Слезы опять закапали на письмо, да крупныя, крупныя, словно пули. „Ахъ, бѣдный! Господи!“ (это опять скобки).

„Онъ говорилъ, что если его убьютъ, то онъ умретъ съ вашимъ именемъ на устахъ, и если есть загробная жизнь, то съ этимъ же дорогимъ именемъ онъ переступитъ за порогъ вѣчности“...

— О, Боже мой! Боже мой! стою-ли я этого!.. И имя такое у меня нехорошее—Ирина, Ариша, точно у горничной.

„Въ началѣ сраженія мы держались вмѣстѣ, стремя къ стремени. Битва была жаркая, злая. Намъ нѣсколько разъ приходилось бросаться въ атаку, но все-таки сломить французовъ мы не могли. Подъ конецъ части войскъ окончательно смѣшались и я потерялъ Истомина изъ виду. Къ вечеру сраженіе было проиграно нами. Я плакалъ какъ ребенокъ, когда увидалъ, что Ваграціонъ, подъ которымъ убили коня, а сабля его разлетѣлась въ дребезги о штыкъ французскаго гренадера, Ваграціонъ, видя бѣгущихъ солдатъ своихъ и рѣшившись скорѣе умереть, чѣмъ видѣть бѣгство русскихъ, скрестивъ на груди руки, пошелъ прямо подъ пули, и только силою солдатъ могли увести его отъ вѣрной смерти. Тогда я бросился искать Истомина. Никто ни изъ офицеровъ, ни изъ солдатъ не могли сказать мнѣ ничего вѣрнаго о немъ. Нѣкоторые видѣли его въ первыхъ рядахъ сражавшихся; но потомъ онъ какъ въ воду канулъ. Только на другой день я узналъ о немъ; но то, что передали мнѣ, было не утѣшительно. Въ самомъ пылу битвы Истоминъ и другой офицеръ, Панинъ, увлекаемые безумной отвагой, бросились въ самые ряды отступавшаго на одномъ пунктѣ непріятеля, желая отбить знамя, потерянное однимъ изъ нашихъ полковъ. Удалцы были отрѣзаны. Панинъ, спасшійся чудомъ“...

— Да, это мнѣ говорили,—грустно шептала дѣвушка:—Панина спасъ этотъ молоденькій мальчикъ Дуровъ, а моего бѣдняка Костю некому было спасти.

„Панинъ, спасшійся чудомъ, рассказалъ мнѣ, что когда ихъ окружили, то онъ видѣлъ, какъ Истоминъ, который былъ уже почти у самаго знамени, упалъ съ лошади и былъ подхваченъ французами, а за нимъ тотчасъ же пала и лошадь его. Панинъ полагалъ, что Истоминъ палъ мертвымъ и больше не вставалъ. Его же самого спасъ ребенокъ-герой, нѣкто Дуровъ, это какое-то необыкновенное существо, о которомъ у насъ рассказываютъ невѣроятныя вещи. Но для васъ, я полагаю, болѣе интересно знать, что случилось съ Константиномъ. И посему я продолжаю мое повѣствованіе. Получивъ такія нерадостныя вѣсти о моемъ и вашемъ другѣ и помня его послѣднюю волю, я тотчасъ же хотѣлъ было писать вамъ. Но что я могъ сказать вамъ? И не разбилъ-ли бы я ваше сердце и, можетъ

быть, жизнь, сказавъ, что онъ погибъ, что кончилъ онъ, какъ герой? Для васъ это не было бы утѣхою. Я сказалъ себѣ, что всегда успѣю поразить ваше сердце страшною вѣстью, такъ не лучше-ли поврежнить убивать васъ?”

— Добрый! милый!.. только у него и можетъ быть *такой* другъ (это опять въ скобкахъ).

„И я благодарю Бога, что не написалъ вамъ сторяча — я бы убилъ васъ; а теперь я могу сообщить вамъ радостную вѣсточку. Вчера явился къ намъ одинъ уланъ, чудомъ спасшійся изъ плѣна. Онъ бѣжалъ изъ Фридланда, гдѣ французы устроили госпитали какъ для своихъ раненыхъ, такъ и для нашихъ. Уланъ этотъ, эскадронный дядька того самаго Дурова-мальчика, что спасъ Панина, рассказалъ намъ, что онъ лежалъ въ одномъ госпиталѣ, въ Фридландѣ, съ нашимъ Константиномъ, что Константинъ раненъ пулею въ правую руку, но не опасно, хотя и тяжело, и руку не потерялъ, хотя до сихъ поръ не владѣетъ ею...”

Дѣвушка чувствуетъ, что эта рана у нея въ сердцѣ, такъ остро, остро заняло оно, что она готова вскрикнуть отъ боли.

„Что съ нимъ было дальше, онъ не помнитъ; но когда пришелъ въ себя, рассказываетъ уланъ, то увидалъ, что спасеніемъ своей жизни онъ обязанъ образочку, висѣвшему у него на груди; а въ этомъ образочкѣ, говоритъ уланъ, положены у него чьи-то волосы, русенькіе такіе, съ краснецою, должно полагать, материнское благословеніе, по мнѣнію улана. Вамъ, сударыня, лучше знать, чьи это „русенькіе, съ краснецою волосы...”

Дѣвушка вся вспыхнула... „Это мои волосы...”

„Медальонъ, въ которомъ Константинъ хранилъ на груди вашъ локонъ (передъ сраженіемъ онъ, какъ я упомянулъ выше, исповѣдывался мнѣ, равно и я ему), уланъ принялъ за образокъ. Этотъ медальонъ и спасъ его. Когда его раздѣвали, то за сорочкой нашли сплюснутую въ мятную лепешку пулю: она расплющилась о медальонъ и причинила ему только контузію, но не убила его. Итакъ спасеніемъ своей жизни мой другъ обязанъ вашимъ прекраснымъ волосамъ, сударыня...”

Дѣвушка страстно прижала къ губамъ полубобрѣзанную прядь своей косы и долго смотрѣла на нее... „Да, русенькая, съ краснецою... какъ смѣшно... Вотъ и вѣрь повѣрѣямъ...”

„Теперь онъ поправляется и, вѣроятно, въ скоромъ времени, по окончаніи размѣна плѣнныхъ, мы обнимемъ нашего воскресшаго друга. Вотъ все, что я могу сообщить вамъ, сударыня, и считаю это за счастье для себя”.

Дѣвушка опять подняла глаза къ небу и тутъ только замѣтила, что около нея стоитъ нищенка, а со стороны съ удивленіемъ смотрятъ на нее ребятишки и привратники почтоваго двора.

Сунувъ въ руку нищей какую-то монетку, она быстро пошла домой, чувствуя, что какъ-будто вся Москва повеселѣла, а у нея въ сердцѣ — душистая сирень, его шепотъ ласковый и милыя буквы на стволѣ старой

березы... „Русенькая съ краснеюй... материнское благословеніе... нѣтъ, это мое благословеніе...“

Всю дорогу она держала руку приложенною къ лифу, за который она засунула письмо, и ей казалось, что письмо это ласкаетъ ее, шепчетъ слова, отъ которыхъ она трепетала тамъ, за кустомъ сирени...

— Та-та-та! ты гдѣ это пропадалъ, Ириней блаженный?

Такимъ восклицаніемъ встрѣтилъ ее дядя, Мерзляковъ, бакалавръ и профессоръ, который уже успѣлъ послѣ обѣдни разоблачиться и, шурша и шмыгая туфлями около письменнаго стола, что-то искалъ между бумагами.

— Гдѣ пропадалъ, разбойникъ иринейскій?—ворчалъ онъ ласково.

— Да я, дядя милый, съ вами же была въ Архангельскомъ, а вы ушли съ кѣмъ-то раньше и забыли обо мнѣ,—отвѣчала дѣвушка, красная какъ ракъ.

— Какова злодѣйка... забылъ! Да знаешь-ли ты, воробей иринейскій, съ кѣмъ я ушелъ?

— Не знаю, дядя.

— А! скажите пожалуйста! Она не знаетъ графа Ростопчина, вельможу и сочинителя, Силу Андреича Богатырева... А! сверчокъ ты иринейскій!

— Такъ это онъ, дядя?

— Онъ, Ириней ты этакій Ириненчъ! А что жъ ты, Емелька ты эдакій Пугачовъ, дѣлалъ до сихъ поръ въ церкви, Наполеонъ ты этакій!

— Службу, дядя, слухала.

— Службу, слышь! Ахъ ты, Бонапартъ Ириненчъ; а мы не службу слушали?

— Я благодарственный молебень слухала, дядя.

— Скажите благодарственный молебень! А за что это благодарить-то, Ириней ты Бонапартычъ?

— За миръ, дядя.

— Хорошъ миръ! нечего сказать!

И, разставивъ руки, бакалавръ полуласково, полусердито смотрѣлъ ей въ глаза.

— А! скажите пожалуйста! А вѣдь рожица въ самомъ дѣлѣ пресчастливая и глазенки превеселые! Точно она Наполеона побѣдила... Ахъ, молодость, молодость! Сколько-то въ васъ глупости—непочатой край глупости и непочатой край счастья...

И бакалавръ, грустно поникнувъ головой, задумался... А у молодости дѣйствительно оказался непочатой уголъ счастья... Мерзляковъ понялъ это, и ему стало грустно: какъ поэтъ и мечтатель, онъ боялся, что у него этотъ уголъ заполнился уже жизненнымъ опытомъ и всякимъ ненужнымъ мусоромъ, который обыкновенно сваливается на задній дворъ нашей жизни, хотя творцу знаменитой канты „Среди долины ровныя“ было въ это время не болѣе тридцати лѣтъ.

— Такъ благодарственный молебень, говоришь... „яко раби недостойніи“, — бормоталъ онъ задумчиво.

— Да, дядя милый.

— Ахъ, Иринея, Иринея ты мой маленькій, — ласково шепталъ онъ, тихо глядя голову дѣвушки.

А она припала губами къ сухой рукѣ его и расплакалась.

XV.

Въ это время въ комнату вошла баба, сильно изъѣденная оспой, и молча подала Мерзлякову записку.

— Отъ кого это?

— Отъ Хомутовыхъ... Яшка принесъ.

— Баба говорила сурово, нетерпѣливо двигая локтями.

— Ты что, Мавра, мрачная такая? — спрашиваетъ Мерзляковъ.

Баба молчитъ, но еще энергичнѣе двигаетъ локтями, не смѣя, повидимому, взглянуть въ лицо барышнѣ, которая, видя мрачное расположеніе бабы, какъ нарочно улыбается.

— Что, вѣрно пирогъ не удался? — допрашиваетъ бакалавръ. — А? не удался?

— Да у васъ развѣ что удастся! — гнѣвно отрезала баба.

— Что такъ? Чѣмъ я виноватъ въ твоёмъ пирогѣ? а?

Опять молчитъ баба.

— Ну, говори, чѣмъ я помѣшалъ твоему пирогу?

— Чѣмъ! а все у васъ воняетъ! и пирогомъ воняетъ, и кухней воняетъ, и лукомъ воняетъ... Ну!

— Ну, что-жъ, пирогъ тутъ при чемъ?

— А при томъ! И платокъ, Мавра, подай, и туфли сыщи — ну...

— Ну?

— Ну, и подгорѣлъ...

Барышня не удержалась, такъ и покатила со смѣху: Разсмѣялся и Мерзляковъ.

— Ну, Мавруша, такъ я лакея себѣ найму, чтобъ не отвлекать тебя отъ кухни, — сказалъ онъ улыбаясь.

— Ни въ жисть не хочу лакея! — протестовала баба. — Коли на васъ не ужоу, такъ отпустите меня.

— Да Богъ съ тобой!

— Не хочу лакея! Охальники они всѣ.

— Да полно, Мавруша, — дядя шутить, — ласково заговорила барышня. — А вы, дядя, читайте, не держите ее. Ступай, Мавруша, пускай лакей подождетъ.

Мавра ушла, сердито хлопнувъ дверь. Мерзляковъ развернулъ записку

и, увидавъ почеркъ, покраснѣлъ какъ-то неловко. Дѣвушка замѣтила это, но не показала виду.

— Это отъ моей ученицы... отъ Хомутовой барышни,—пробормоталъ онъ точно школьникъ, краснѣя еще болѣе.

„А, плутишка дядька!—подумала про себя дѣвушка.—Вѣрно тамъ что-нибудь есть; а какимъ философомъ притворяется!“.

Бакалавръ наконецъ овладѣлъ собой и снова весело зашагалъ по кабинету.

— Ну, Ириней Ириненчъ, сегодня я въ большемъ свѣтѣ, — сказалъ онъ, держа въ рукахъ записку и какъ-бы любуясь ею.—Кучу, братъ Ириней.

— У кого, дядя? у Хомутовыхъ?

— Да, у сенатора Хомутова... Вонъ моя ученица пишетъ, что она сегодня не будетъ со мной учиться, но не отъ лѣни—„съ вами, пишетъ разбойница, съ вами, говорить, я готова день и ночь учиться“, а сегодня, говоритъ, у насъ будутъ гости — Ростопчинъ графъ, князь Иванъ Михайловичъ Долгорукой, Глинка Сергѣй Николаевичъ, Козловъ—ну, этотъ повѣса всегда у нихъ торчить...

— Это все сочинители, дядя?—спросила дѣвушка.

— Сочинители, а то и вельможи. Да еще, говорить, мы вамъ покажемъ рѣдкость невиданную—героиню...

— Какую, дядя, героиню?

— А и Богъ ее вѣдаетъ, не пишетъ моя воструха... Да и еще, говорить, одного господина, который пріѣхалъ прямо съ войны и Наполеона видалъ носъ-къ-носу...

— Ну ужъ, Наполеонъ! Злодѣй онъ!—вспыхнула дѣвушка, вспомнивъ, что по милости Наполеона разбито ея счастье и страдаетъ дорогое ей существо.

На крыльцѣ послышался чей-то разговоръ и старческій голосъ проговорилъ:

— Милости просимъ, матушка, отдохнень и пообѣдаешь съ нами.

— Это бабушка съ кѣмъ-то,—проговорила въ свою очередь дѣвушка, прислушиваясь.—Съ кѣмъ это она?

— Да съ кѣмъ же больше быть маменькѣ, какъ не съ святыми людьми?—отвѣчалъ Мерзляковъ улыбаясь. Надо полагать, поймали еще какую-нибудь юродивую или странницу, которая и плететъ имъ мрежи словесныя—вреть не запинаясь, а маменька вѣкъ готова этакое все слушать.

Дѣйствительно, въ комнату вошла старушка, сѣденькая, благообразная, съ дѣтскимъ, добродушнымъ выраженіемъ сморщенного лица при совершенно бѣлыхъ волосахъ. Это была мать Мерзлякова, до сихъ поръ смотрѣвшая на него какъ на маленькаго и называвшая его не иначе, какъ Алешенька. За ней выступала чумазая, загорѣлая, краснощекая, съ умильными глазами, набожно смотрѣвшими изъ-подъ чернаго платка, баба-странница. Вздернутый кверху носъ, приподнятыя брови и осунувшіеся углы

губъ какъ-будто силились показать, что жирное лицо это постоянно пребываетъ въ молитвенномъ умиленіи.

— Ну, Алешенька, мой другъ, вотъ Богъ послалъ намъ богомолицу и молитвенницу нашу. Святой человѣкъ, я тебѣ скажу, Алешенька, — и-и-и святой! — затараторила старушка.

Баба мотнула спиной и головой, желая изобразить глубокой поклонъ хозяину, послѣ того какъ она мотнулась такимъ-же образомъ передъ вѣщшею въ переднемъ углу иконою.

— Святой, святой жизни человѣкъ!

— Грѣшная я, матушка, соръ и прахъ я передъ святыми людьми, — скромничала баба.

— Ужъ и радъ же ты будешь, Алешенька, что я привела ее, — знаю, радъ-радешенекъ будешь послушать ее, да и ты, Аришенька, — лепетала старушка, усаживая свою гостью. — Охъ, устала я.

— Да вы сами-то, бабушка, садитесь, вздохните хотя, — уговаривала старушку Ириша, цѣлуя ея руки.

— А то чаю, маменька, не выкушаете-ли? — предлагалъ бакалавръ, осматривая странницу. — У обѣдни были?

— У обѣдни, Алешенька... Ухъ, какъ дьяконъ забиралъ евангеліе, я тебѣ скажу. — такъ забиралъ высоко, что, я думала, окна полопаются... Ахъ, матушки мои! какъ ударить, какъ ударить! А пѣвчи-то за нимъ — какъ подхватить, да какъ понесутъ въ гору, подъ самое, кажись, небо хватаютъ... Да и дьячокъ Парфень съ апостоломъ далъ себя знать, ажъ въ животѣ у меня точно что оборвалось, какъ онъ дернулъ подъ конецъ... Славная служба была, Алешенька, тебѣ бы понравилось... А ты что-йто не былъ у обѣденки?

А, маменька, былъ съ Аришей въ Архангельскомъ.

Бонапарта, поди, поминали тоже?

Читали, маменька.

А! песъ-отъ безбожный! замирится-таки... Да его бы какъ Стеньку Разина, да Гришку Отрепкина съ Ивашкой Мазепкой на всѣхъ соборахъ проповѣдывать, злодѣя... А! бунтъ затѣялъ противъ бѣлаго царя, измѣнничать... Это другой Емелька Пугачовъ, что царемъ назвался.

И хуже того, матушка, сказываютъ, — вставила свое слово странница. — Вѣрные люди сказываютъ, — нечистый онъ, вантихристъ — отъ него слѣдовъ, матушка, не бываетъ...

— Слѣдовъ не бываетъ?

— Не бываетъ: это по снѣгу-ли идетъ онъ, по песцѣ-ли — нѣту отъ него слѣдовъ, матушка.

— Безслѣдный! ахъ, Боже мой, Боже мой!

— И тѣни отъ ево, матушка, нѣту.

— И тѣни нѣту?

— Нѣту, потому духъ нечистый, паръ, однимъ словомъ: какая отъ ево, отъ духа, тѣнь быть можетъ?

Странница начинала и бакалавра уже заинтересовывать: такой необыкновенной чепухи онъ ни отъ кого еще не слыхивалъ. Онъ устылся у стола, на который Ириша поставила чайный приборъ и въ ожиданіи самовара слушала интересную посѣтительницу, — и тоже слушала.

— И еще третья, матушка, въ емъ, въ Бонапартіѣ, примѣта есть, — продолжала странница, видимо польщенная тѣмъ, что ее всѣ слушали: — ево, матушка, въ зеркалѣ не видать.

— Какъ въ зеркалѣ не видать?

— Не видать да и на-поди... Глядитъ онъ это въ зеркало-ли, въ колодець-ли, въ рѣку-ли — нѣту ево образа тамъ, не видать ничево...

— Ничево! скажите!

— Ровнехонько ничево, потому тоже духъ видъ онъ единый, паръ — ну, и не видать духа-то въ зеркалѣ... Оттого его, матушка, и пуля не беретъ.

— Ахъ, онъ окаянный!

— Не беретъ, потому духъ... Вдарить это ево пуля — и наскрозь, вдарить — и наскрозь, потому — пустое мѣсто, аки-бы дыры въ воздухѣ.

Вошла Мавра съ самоваромъ, все такая же угрюмая какъ ночь: тутъ Богъ гостей посылаетъ, странничковъ, тамъ пирогъ пригорѣлъ — срамъ!

— Здравствуй, Мавруша! — ласково обратилась къ ней старушка.

— Здравствуйте, матушка барыня.

— Послушай-ка, Мавруша, какія чудобушки рассказываетъ святой челоуѣкъ, такія чудобушки, волосъ дыбомъ становится!

— Недосугъ мнѣ, матушка барыня, слушать-то, и лба-то толкомъ перекрестить не успѣю...

И Мавра бурей вышла изъ комнаты, возбудивъ улыбку бакалавра и веселый смѣхъ Ириши: у нихъ на умѣ было несчастье съ пирогомъ.

— Да ты, матушка, сними съ себя котомку-то, — снова заговорила старушка къ своей гостьѣ, — помѣха она тебѣ большая.

— Нѣту, матушка, отъ нея мнѣ никакой помѣхи, потому святые вещи въ ней все, святые вещи, матушка.

— Святые? Ахъ, Господи! — И старушка перекрестилась. — Что же у тебя таютка, матушка, есть?

— Всякія святые вещи, родная моя: и водица ерданская, въ которой водицѣ самъ Христосъ крещеніе прималъ; есть и камушекъ малъ отъ того мѣста, на коемъ мѣстѣ ножки святого Ивана Предтечи стояли, какъ онъ, батюшка, Спасителя кстилъ, ерданскою святою водицей обливалъ. Есть, матушка, и листочекъ сухонькой отъ той смоковницы неплодной, что кою смоковницу Христосъ, батюшка, проклялъ... Такъ-то теперь цвѣтетъ она, такъ-то цвѣтетъ! сама, грѣшная, своими грѣшными глазыньками видѣла...

Мерзляковъ молчалъ и только улыбался; но Ириша не выдержала и вся вспыхнула.

— Какъ же она цвѣтетъ теперь, вы говорите, когда ее Христосъ

проклять и она тогда же засохла?—сказала она, гремя чашками и торожась наливать чай.

— Усохла, барышенька-красавица, точно усохла, а теперь цвѣтеть: когда Спаситель воскресъ, то и велѣлъ своимъ ученикамъ полить ту смоковницу ерданскою водою—коли я-де воскресъ, пушай и она воскреснетъ, я всѣхъ-де приходилъ спасти и ее спасу. Такъ она съ той поры и цвѣтеть, матушка-барышенька,—невозмутимо отвѣчала странница, съ умилениемъ глядя въ потолокъ, къ мысленному небу.

— Что, Ириней, срѣзали тебя?—шутя замѣтилъ бакалавръ.

— Гдѣ тебѣ, Аришенька, съ нею тягаться,—замѣтила внушительно бабушка,—она, поди, и отца Савву загоняетъ святостію-то да всѣмъ божескимъ. А что, матушка,—обратилась она робко и просительно къ странницѣ,—можно посмотрѣть водицу-то эту іорданскую, да камушекъ тотъ, да листочекъ сухонькой? а?

— Можно, родимая, коли съ вѣрою...

— Съ вѣрою, съ вѣрою, ужъ это какъ Господь видитъ.

Странница сняла котомку и стала въ ней рыться, набожно бормоча: „Господи Иусе, Господи Иусе, открой очи наши грѣшныя, открой слѣпоту нашу“... Порывшись немного, она вынула бумажку и развернула ее; въ бумажкѣ оказался небольшой огарочекъ желтой восковой свѣчки!

— Это, матушка, свѣчка отъ самого гробика Господня, у самого гробика теплилась... А это нагарецъ на фителечкѣ на эфтомъ—это, матушка, отъ небеснаго огня.

— Отъ небеснаго! ахъ, Господи!

— Отъ небеснаго... Сама видѣла, какъ съ неба сходилъ... Таково страшно! Стоимъ это мы, матушка моя, у заутрени, у гроба Господня, въ ночь-то на Свѣтлое Воскресенье,—стоимъ это, слушаемъ службу божественскую... Коли, мать моя, какъ запоютъ, словно-бы ангелы на небесахъ, „Христось воскресе“, какъ запоютъ — смотримъ, а съ неба-то съ самага, черезъ кумполъ это, огоньки-огоньки-огоньки, словно бабочки,—и летять, и летять съ неба язычками да такъ къ свѣчкамъ-то, къ фитилькамъ, къ свѣтильнямъ самымъ и прилѣпились. И востепились свѣчки! У меня, матушка, отъ такого отъ чуда чуднаго ажно подъ колѣнками задрожало.

— Еще-бы! а! свѣчка-то какая святая! ахъ, ты Господи! вотъ сподобилъ! Ну, а водицу-то іорданскую покажь, матушка.

Баба опять роется и вынимаетъ пузырекъ, тоже завернутый въ бумажкѣ и заткнутый воскомъ.

— Вотъ, матушка, и водица ерданская. Сама набирала; цѣлый туюзъ набрала да роздала добрымъ людямъ.

— А! водица-то какая! какъ слеза...

— Чище, маменька, чѣмъ въ Мытицахъ?—съ улыбкою спросилъ бакалавръ.

— Чище, Алешенька, чище.

— Чиста, ужъ и такъ чиста, что и сказать нельзя... Мы, матушка,

страннички, купались въ Ердань-рѣкѣ, такъ такая, матушка, чистая вода, что наскрость человѣка въ ей видно... Стоишь въ водѣ—какъ стекло: скрость тебя все видно...

— Какъ сквозъ Наполеона?—не безъ лукавства ввернула слово Ириша, улыбаясь дядѣ.

— Точно, барышня, точно какъ сквозъ Наполеона... потому—святая вода чудо творить. И въ той во ерданской водѣ утонуть нельзя—не при-
мааетъ грѣшнаго тѣла и на-поди.

Между тѣмъ священные разговоры не мѣшали странницѣ попивать грѣшный чаекъ. Чашечку за чашечкой она пропускала тепленькое питіе въ свою окаянную утробу, и потъ градомъ лилъ съ ея благочестиваго, заплывшаго грѣшнымъ жиркомъ лица. Ириша все подливала ей и бабушкѣ, все подливала. Странница пила, звонко откусывая маленькіе кусочки сахара и отряхивая ихъ бережно въ блюдечко, пила въ прикуску, и послѣ каждой чашки кланялась и благодарила хозяевъ, а не догрызенный кусо-
чекъ клала на доньшко чашки, опрокинутой на блюдечко.

— Много довольны вашимъ угощеніемъ, кажись-бы и многонько этого будетъ,—говорилось послѣ каждой чашки.—„Страннаго напои, нищаго на-
корми, нагого одѣнь, слѣпенкаго проводи“, глаголетъ Господь.

— А листочекъ, матушка, отъ смоквоницы-то?—не отставала любо-
пытная старушка.—Покажь, родимая.

Вынимался и листочекъ, можетъ быть, и это всего вѣроятнѣе, со-
рванный не съ смоквоницы, а на Тверскомъ бульварѣ.

— Господи! Господи! а какой листочекъ-то... словно отъ вишенки,—
бормотала неугомонная старушка.

— Такъ, такъ, кормилица... А поди ему сколько тысячъ лѣтъ бу-
детъ!—поясняетъ странница.

— А много развѣ?

— Много. Съ того годика съ самаго цвѣтетъ, какъ Христось, батюшка,
воскресъ.

— И листочки не опадаютъ?

— Не опадаютъ, матушка... потому—святое дерево, да и зимы тамъ
нѣту.

— Какъ же?—опять не утерпѣла Ириша:—вѣдь въ тысячу восемьсотъ
семь лѣтъ ужъ давно бы всѣ листочки богомольцы оборвали съ этой бѣд-
ной смоквоницы—сколько ихъ тамъ бываетъ!

— Точно, оборвали бы, матушка-барышня, да оно, я говорю, святое-
то древо, чудесное: ты съ ево это, примѣромъ, срываешь листочекъ-отъ,
а во мѣсто ево тутъ же, матушка, новенькій вырастаетъ, такъ вотъ на
глазынькахъ у тебя пупырушекъ этакой зелененькой и лѣзетъ-лѣзетъ, да
листочкомъ-то передъ тобою и разверзится—такое чудесно!

— Что, Ириней, опять срѣзался?—лукаво замѣтилъ дядя.—Тутъ съ
критикой не суйся—сразу оборвутъ фактомъ.

— Оборвутъ, Алешенька, это точно, что оборвутъ,—подтверждаетъ ста-

рушка.—А ты, Аришенька, не суйся туда, гдѣ не понимаешь,—твое дѣло дѣтское, молоденькое.

— Что, Ириней? а? наскочила съ критикой?

— Ахъ, дядя! Ну, уш-шъ!—и Ириша надула губки.

Тѣмъ временемъ Мавра, грозною тучей врываясь изъ кухни въ столовую, собрала обѣдать, убравши предварительно чайныя принадлежности. Обѣдали Мерзляковы по старинѣ, очень рано, вскорѣ послѣ обѣденъ. За столомъ пили квасъ, который такъ искусно умѣла готовить на все дотошная Мавра, не любившая лакеевъ. Баринъ былъ немножко капризенъ, постоянно жаловался, что воняетъ то кухней, то чадомъ, то лукомъ, то Мавриными руками; но на это всегда получалъ соответственные, весьма резонныя возраженія отъ матери.

— Мавриными руками воняетъ,—а что-жъ ты цѣловалъ что-ли Маврины-то руки, Алешенька?

— Фу! маменька! такъ слышно, что воняютъ лукомъ.

— Это, другъ мой, все отъ носу—такой не хорошій носъ у тебя.

— Точно, матушка, отъ носу,—подтверждаетъ странница.—Вотъ тоже и у мощей святыхъ угодниковъ—иной носъ—отъ слышитъ райское благоуханіе, а иной—нѣту, ни за что не услышитъ, потому — все отъ Бога, кому какъ положено... Вотъ я, грѣшная, всегда слышу... / Тоже вотъ и насчетъ видѣнійъ этихъ: иному даетъ Господь эти самыя видѣнія видѣть, а иному не даетъ.

— Такъ ты, матушка, и видѣнія видѣла?—снова заинтересовалась старушка.

— Видала, матушка, видала—сподобилъ Господь.

— А что-жъ ты видала, мать моя?

— Разное, матушка,—все разное.

— И ангеловъ видѣла?

— Нѣту, матушка, анделовъ не привелъ Господь видѣть, не сподобилъ, а херувимовъ видала.

— Какіе же они, матушка?

— Такъ махоньки, словно робяточки малы... Только у нихъ и всего-то естества—головка да крылышки, а больше ничего нѣтути.

— Ни ножекъ, ни ручекъ?

— Ни ножекъ, ни ручекъ, только крылышки; крылышками это безплотными помаваютъ и гласы херувимски испущаютъ...

— Ну, матушка, еще пирожка скушай.

— Довольно, кажись, матушка, будетъ—оченно сыты.

— Нѣту, скушай, родная.

— Спасибо, спасибо... Не сквернить во уста...

— Ну, Мавра,—пирогъ на славу удался,—одобрительно киваетъ Мавръ бакалавръ,—хоть бы и Наполеону.

— Тѣфу-тѣфу-тѣфу! съ нами кресная сила!—зачурала Мавра, — чуръ ево, океаннаго.

— И совѣтъ не подгорѣлъ, Мавруша, такъ только немножко подрумянился,—успокоивала ее барышня.

— А все-таки кухней воняетъ,—дразнилъ бакалавръ.

— Ну, батюшка баринъ, Лексѣй Федорычъ, отпустите вы меня, не слуга я вамъ, не угрожу на васъ ничѣмъ—это не жизнь, а каторга!—заголосила огорченная Мавра.

— Полно, полно, Мавруша! онъ шутитъ,—успокоивала ее старушка.— Ахъ, Алешенька! какъ тебѣ не стыдно, да еще при гостяхъ!

Послѣ обѣда бакалавръ, поцѣловавъ руку у матери, удалился въ свой кабинетъ. Старушка и странница отправились въ спальню, чтобы отдохнуть маленько и о божественномъ поговорить, а Ириша вышла въ садъ, находившійся при домикѣ, въ которомъ жилъ Мерзляковъ. Въ этомъ-то саду, обнесенномъ высокимъ деревяннымъ заборомъ, находились и акаціи, и сирень, и аллея, и береза съ буквами на стволахъ—однимъ словомъ, все, что напоминало дѣвущѣ прошлогодніе вечера, и особенно одинъ душный, незабвенный вечеръ, когда... Ну, да объ этомъ Иришѣ лучше знать, чѣмъ намъ... Но въ саду она оставалась недолго, тревожимая какими-то мыслями, и воротилась назадъ. Такъ какъ кабинетъ дяди не былъ закрытъ, то она и прошла туда. Мерзляковъ сидѣлъ у письменнаго стола и, повидимому, мечталъ надъ полученной отъ Хомутовыхъ запиской. Дѣвушка, замѣтивъ это, улыбнулась. „У, дядька гадкій,—подумала она,—и у него письмоцо, и у меня—ишь тихоня!“

— Я вамъ, дядя милый, не помѣшала? Вы читаете?

— А! это ты, Ириней... Я вотъ читаю... смотрю, въ которомъ часу у Хомутовыхъ надо быть, — заговорилъ бакалавръ торопливо, пряча записку.

— А вотъ я никогда не видала вашу ученицу, дядя, — Хомутову... Молоденькая она?

— Лѣтъ двадцати или съ малюсенькимъ хвостомъ, вотъ какъ твой носъ.

— А хорошенькая она, дядя?

— Вотъ тебѣ на! Ужъ и ты стала разбирать хорошенькихъ... барышень или мужичиъ?

Ириша покраснѣла.

— Нѣтъ, дядечка,— я такъ, изъ любопытства.

— То-то, плутовка, Ириней эдакой Бонапартычъ!.. А не хочешь-ли почитать вотъ новую книжку—недавно вышла, книжка хорошая... И знаешь, кто сочинитель?

— Не знаю, дядя. Кто?

— Такая вотъ какъ ты,—барышня.

— Это Поспѣлова, дядя? „Муза рѣчки Клязьмы“, какъ ее называлъ князь Долгорукій?

— Нѣтъ,—да вѣдь Поспѣлова, ты знаешь, умерла больше года тому назадъ.

— Какъ-же, знаю. Еще мы съ вами и на могилу къ ней ходили. Помните ея эпитафію—такая чувствительная:

Любовь и дружество, рыдая въ сихъ мѣстахъ,
Поспѣловой сокрыли прахъ.

— Помню. А это недавно вышла „Неопытная муза“—Буниной.

— Бунинной, дядя, я не знаю.

— Ну, мы ее съ тобой, если хочешь, и начнемъ теперь же.

— Ахъ, какъ я рада, дядечка... Только сегодня у меня голова болитъ...

— Ну, въ другой разъ... А хорошо, сильно пишеть... О ней ужъ вонъ какъ говорятъ поэты:

Я впью Бунину—и Сафо нашихъ дней
И вижу въ ней.

Да у насъ ужъ много этихъ Сафъ было, дядя... Еще, помните, тотъ Тургеневъ, веселый такой, что пріѣзжалъ изъ Петербурга, дразнилъ насъ этими Сафами. Россійскія Сафы—какъ смѣшно!

Тургеневъ—это другъ Карамзина и Сперанскаго... А тебѣ, глупый Ириней, все смѣшно.

Да, конечно, дядя, смѣшно,—„россійскія Сафы“, „россійскіе Платоны“, „россійскіе Невтоны“, „россійскіе Наполеоны“ еще будутъ.

Ну, этому не бывать, Ириней.

А что, дядечка, плѣнныхъ скоро будутъ мѣнять?—вдругъ оборвала Ириша.

Вотъ тебѣ разъ! Какихъ плѣнныхъ?... Ты кого плѣнила?

Ну, ужъ, дядя, съ вами и говорить-то нельзя!—обидѣлась барышня.

— Ну, не сердись, Ириней... Что это тебѣ за охота пришла о плѣнныхъ вспомнить?

— Да такъ, дядечка,—о Наполеонѣ заговорили, ну и вспомнила... Вонъ въ церкви какъ рыдала одна молоденькая барыня. Должно быть, у нея кого-нибудь или убили, или въ плѣнъ взяли—такъ жалко было ее, такъ жалко! И многія плакали на панихидѣ, и я плакала, оттого и голова разболѣлась у меня.

— Ну, такъ ступай въ садъ—и пройдетъ. А Мавръ скажи—ишь какъ гремитъ посудой, точно Наполеонъ—скажи, дружочекъ, Мавръ, чтобъ принесла мнѣ квасу, да холоднаго, со льду... Я тутъ поваляюсь и почитаю...

— Хорошо, дядечка, сейчасъ.

— А маменька все о божественномъ, поди, съ этой выжигой разглагольствуетъ?

— Да, онѣ теперь о какомъ-то „безпιαтомъ бѣсѣ“ говорятъ... Ну, прощайте, дядя,—я пришлю Маврушу.

И Ириша, нагнувшись къ бакалавру, поцѣловала его сзади въ плечо, а онъ, обхвативъ ее за шею, притянулъ къ себѣ и поцѣловалъ въ лобъ.

— Ну, смотри у меня, чтобъ голова не болѣла...

— Не будетъ, дядечка,—и дѣвушка весело упорхнула.

XVI.

Оставшись одинъ и выпивъ залпомъ принесеннаго кухаркой со льду игриваго квасу, Мерзляковъ взялъ со стола небольшую, напечатанную на довольно грубой синеватой бумагѣ „Неопытную музу“ и, улегшись на диванѣ, который служилъ ему и постелью, сталъ читать.

Мерзлякову около тридцати лѣтъ, но лицо у него такого покроя, что показываетъ его значительно старѣе этого возраста. Гладко выбритое, сухощавое, съ тонкимъ, хотя пріятнымъ и какъ-будто нѣсколько плаксивымъ разрѣзомъ губъ, съ высокими навѣсами надъ глазами, которые какъ-бы искали уединенія въ тѣни бровей и выглядывали оттуда всегда задумчиво—лицо это выдавало мечтателя и меланхолика, съ смѣлою мыслью и робкимъ, нѣжнымъ сердцемъ. Прическа, сообразно вкусу того времени, направляла вьющіеся отъ природы, мелкіе каштановые, какъ у Ириши, волосы болѣе къ сторонѣ лица, чѣмъ затылка, и потому голова казалась нечесанною, какъ голова Байрона. Въ то время у всѣхъ головы казались нечесанными, если не были напудрены.

Повременамъ Мерзляковъ, закрывъ глаза, повторялъ наизусть какое-нибудь двустипіе или четверостипіе, какъ-бы смакуя; иногда бормоталъ одобрительно: „съ огонькомъ, съ огонькомъ дѣвица“; то книга опускалась вмѣстѣ съ рукою на диванъ, и глаза смотрѣли куда-то вдаль, черезъ эту стѣну, принимая выраженіе не то тоски, не то надежды.

„Анюта... Анюточка... Плѣнира моя... хоть бы разъ въ жизни назвать тебя въ глаза этимъ пменемъ, Плѣнира моя, Анюточка... День и ночь, говорить, готова со мной учиться... только учиться... Нѣтъ, высоко ея ножки стоятъ надъ моею головою, не досягнуть мнѣ до нихъ... Что я? бакалавръ, профессоръ изъ деревенскихъ мальчишекъ!..“

И видится ему гладкая, пустынная степь—это жизнь его. „Ни кустика зеленаго, ни деревца высокаго. Одинъ-одинъ бѣдняжка, какъ рекрутъ на часахъ. Да это жъ моя любимая пѣсня—„Среди долины ровныя...“ Этотъ дубъ зеленый—я самъ. А Москва этого не знаетъ, хоть и поетъ мою пѣсню.“

А за стѣной, въ спальнѣ старушки-матери, слышится: „И какъ пришли мы, матушка, къ Араратъ-горѣ, а на той Араратъ-горѣ ковчегъ стоитъ; и видимъ мы, идетъ къ намъ навстрѣчу старичокъ съдѣнькій, идетъ и Евангеліе читаетъ, а позади ево идетъ бѣсъ и горько плачетъ...“

Ириша между тѣмъ, ничего не узнавъ отъ дяди о размѣнѣ плѣнныхъ, снова пробралась въ садъ, зашла въ самое тѣнистое мѣсто, вынула изъ-за лифа письмо, гладенько его расправила на колѣняхъ и стала медленно перечитывать. „Онъ живъ и поправляется... Живъ! какъ страшно звучитъ это слово, потому что до него стояло—„убить“, „умеръ...“ Костя мой! ми-

лый!.. Въ виду весьма возможной смерти—ухъ! ужасно, ужасно! — сообщали другъ другу послѣднюю волю... Идя въ битву, онъ шепталъ вамъ имя и благословлялъ васъ... онъ умеръ съ вашимъ именемъ на устахъ... съ этимъ дорогимъ именемъ переступить за порогъ вѣчности...

„Гм... дорогое имя... А какъ онъ называетъ меня—Ириша или Ариша, или Ириночка?—не знаю... А можетъ быть—Ириней, какъ дядя?“

И дѣвушка сама разсмѣялась надъ этой мыслью... „Ириней... нѣтъ, лучше Ириночка...“ „Истоминъ упалъ съ лошади... палъ замертво... Нѣтъ, нѣтъ! Кости живъ—Панинъ ошибся... А кто этотъ ребенокъ-герой, этотъ Дуровъ? Бѣдный мальчикъ! герой... А вотъ такихъ дѣвочекъ не бываетъ...“

„Спасеніемъ своей жизни онъ обязанъ образочку... а въ образочкѣ чья-то волосы, русенькіе такіе, съ краснецою... Русенькіе съ краснецою—омъжно...“ И Ириша, отдѣливъ отъ головы прядь волосъ, стала ихъ разсматривать. „Русенькіе... а у него черные, какъ вороново крыло, и брови колесомъ... а глаза!.. Господи! когда же размѣтъ плѣнныхъ! А если онъ не выдоронѣтъ? Если бъ онъ не былъ опасно боленъ, онъ бы самъ написалъ...“ За минуту передъ тѣмъ розовое лицо поблѣднѣло, слезы дрожали на рѣсницахъ. Дѣвушка упала на колѣни и что-то жарко шептала—копечно, молитву, точно Богу только и дѣла, что слушать влюбленныхъ. Вставъ съ колѣнъ, дѣвушка пошла за сиреневые кусты къ березѣ и долго разсматривала вырѣзанныя на ней буквы. Потомъ снова припала на колѣни и въ порывѣ умилительной глупости поцѣловала землю, „гдѣ стояли его ноги“. Бѣдная барышня не знала, что она цѣловала слѣды ногъ не его, а Маирины слѣды: не далѣе какъ сегодня Мавра, срывая сиреневыя вѣтки для выгребанья золы изъ печки, останавливалась около этой самой березы и, увидѣвъ буквы на деревѣ, рѣшила, что это „заворожено недобрымъ человѣкомъ“, и трижды отчуралась отъ недобраго слова и трижды отплевалась на землю. А эту землю теперь цѣловали губы дѣвушки, губы, до которыхъ еще ни разу не касались губы взрослого мужчины, кромѣ дяди Алеши. Такъ-то всегда бываетъ съ влюбленными.

Эхъ ты, мужикъ необразованный! музланъ—такъ музланъ и есть!.. Антихристъ! какой онъ антихристъ!?

Вѣстимо, антихристъ; такъ, люди говорятъ и въ писаніи писано.

Писано! мѣломъ въ трубѣ писано!

Ириша прислушивается — голоса знакомые. „Да это Яковъ, лакей Хомутовыхъ, съ лавочникомъ спорить... О чемъ это они? Кажется, тоже о Наполеонѣ...“

— Какъ тамъ ни писано, а писано... Умные люди сказываютъ, — настаиваетъ лавочникъ.

— Умные люди! Что ты умныхъ людей съ огурцами что-ли на рынокъ купилъ?—осаживаетъ его Япка.

— А кто-жъ онъ по-вашему, по-лакейскому? Скажи.

— Онъ выдра—вотъ кто.

— Какая выдра?

— Ну, выдра—одно слово, и понимай какъ знаешь.

— Выдра—звѣрь, дѣло знакомое.

— Знаемое, да несовсѣмъ... А господа вотъ что читали въ книжкахъ: у нихъ, у французовъ, была такая царица, Ривалюцией звали. Ну, и царствовала она у нихъ долго, и царица она, говорятъ, была прежде-стокая: всѣмъ господамъ головы поснимала, какъ вонъ у насъ былъ Емелька Пугачевъ; а которые господа ушли отъ казни, и тѣ теперь живутъ у насъ, подъ защитой, значить, нашего государя.

— Ну, а при чемъ же тутъ Наполеонъ-отъ?—возражаетъ лавочникъ, видя, что собравшіеся около его лавки слушатели держатъ, кажется, больше сторону Яшки, чѣмъ его.

— А ты слушай, не перебивай!—авторитетно осаживаетъ его Яшка.— Ну, такъ, значить, была у нихъ эдакимъ манеромъ царица Ривалюция, а у нея, значить, былъ сынъ, да не простой, а выдра стоголовая.

— Какъ выдра стоголовая?

— Такъ—выдра, значить, а у этой у самой выдры сто головъ.

Слушатели даже ахнули и ближе сдвинулись къ Яшкѣ.

— Такъ эту выдру и называли, значить, исчадіе Ривалюции, то-есть, по нашему, по-русски—чадо, сынъ, значить. А какъ эта стоголовая выдра выросла, она возьми и задуши свою родную мать—Ривалюцию...

— Ахъ, она подлая!—послышался возгласъ бабы.

— А ты не лайся, дай слушать,—осаживали бабу.

— Что - жъ, подлая и есть! родную мать задушить!—стояла на своемъ баба.

Только теперь начинала догадываться Ириша, въ чемъ дѣло. Яшка, наслушавшись у господъ толковъ о революціи, о томъ, что во Франціи долго „царствовала революція“, понялъ все это буквально и вообразилъ, что у французовъ дѣйствительно была „царица Революція“ и что была она прежде-стокая царица, рубившая головы господамъ. Наполеонъ — „исчадіе революціи“. Ясно, съ Яшкиной точки зрѣнія, что у „царицы Ривалюции“ былъ сынъ; а какъ революцію и самого Наполеона, „задавившаго революцію“, называли господа „гидрой стоголовой“, то понятно, что у Яшки „гидра“ превратилась въ „выдру“.

— Ну, такъ задушивши такимъ манеромъ мать свою, онъ, Наполеонъ, и пошелъ войной на нашего государя, значить, по злобѣ: зачѣмъ-де онъ укрылъ у себя тѣхъ господъ изъ французовъ, что бѣжали къ намъ отъ жестокости его матери и теперича у насъ въ Россіи проживаютъ — кто губернаторомъ, кто губернанкой, а кто на скрипкѣ играетъ, али волосы завиваетъ, какъ, къ примѣру, вотъ тотъ французъ Како: онъ нашу барышню завиваетъ да когти у нашей обезьяны обрѣзываетъ,—продолжалъ ораторствовать Яшка.—Такъ вотъ кто Наполеонъ, а то — антихристъ! Антихристъ послѣ придетъ, при концѣ свѣта, когда всѣ звѣзды съ неба упадутъ, а теперь вонъ ихъ еще видимо-невидимо—въ кои годы одна упадетъ, да и то плевая, махонькая...

Лавочникъ былъ окончательно пораженъ. Яшка торжествовалъ.

— Такъ ты говоришь, милый человѣкъ, у ево сто головъ?—робко спрашивала баба.

— Сто, тетка.

— А какъ же на Кузнецкомъ я видѣла въ окнѣ образину ево—тамъ обь одной головѣ.

— Вреть, глаза отводить.

— Вотъ и стражайся съ имъ, коли у его, у проклятаго, сто головъ,—разсуждала баба.

— Такъ что жъ, что сто!—выступилъ лавочникъ, желая возстановить свой авторитетъ, который Яшка сильно поколебалъ.—А у насъ, знаешь, супротивъ ево ста головъ что найдется?

— А что, родимый?

— Царской орель—вотъ что!

— А какой это, батюшка, царской орель?

— Али не видала? Ево вездѣ пишутъ.

— Не видала, родимый.

— А обь двухъ головахъ, матка.

— Видала, видала... Вонъ какой... Ишь ты...

— Этотъ, матка, постоитъ за себя.—И лавочникъ внушительно окинулъ глазами слушателей.

— А рази онъ живой?—недоумѣвающе вопрошала баба.

— А то какъ-бы ты думала! Зачѣмъ бы ево тады и писать, коли бъ ево не было? А я служилъ въ Питерѣ въ дворникахъ, такъ это дѣло подлинно знаю: солдатъ сказывалъ, что во дворцѣ на караулѣ стоялъ. Этотъ самый орель, говорить, завсегды блюдетъ и царя, и Рассею—при емъ царю и чаровыхъ не нужно. Орель этотъ самый, первое дѣло, никады ни спитъ.

— Не спитъ? Какъ же это, милый человѣкъ?

— А сказано тебѣ по-русски: у ево двѣ головы; коли это одна голова спитъ, тады другая не спитъ: стережетъ, значить, блюдетъ царя и Рассею.

— Такъ, такъ... А живетъ онъ гдѣ, родимый?

— Знамо, во дворцѣ, и кормють ево енаралы съ царскаго стола.

— А летаетъ онъ по Питеру?

— Что ты! какъ можно! Онъ надъ престоломъ сидѣть долженъ,—началь снова удерживать свою позицію Яшка.—А ты видалъ, какъ ево пишутъ?

— Видалъ... Ну, такъ что жъ?

— А какъ же ему сидѣть, коли у ево ноги заняты: въ одной ногѣ онъ держитъ ядро золотое съ крестомъ, а въ другой—архирейскій жезлъ... Какъ же ему, значить, сидѣть?

Но въ это время послышался вдали женскій голосъ: „Яша! Яковъ Ильичъ! идите къ барышнѣ, безпримѣнно требуетъ...“ И Яковъ Ильичъ долженъ былъ прекратить ученый и политическій диспутъ, столь заинтересовавшій Иришу. Долго потомъ она бродила по тѣнистому саду, переживая впечатлѣнія сегодняшняго утра, которыя связывались съ воспомни-

наніями впечатлѣній болѣе глубокихъ,—когда она въ первый разъ испытывала то, что оставило неизгладимый слѣдъ въ ея жизни.

Когда затѣмъ въ садикъ вышелъ самъ бакалавръ, держа въ рукахъ „Неопытную музу“, Ириша встрѣтила его весело и рассказала о невольно подслушанномъ диспутѣ Хомутовскаго Яшки съ лавочникомъ. Добродушный бакалавръ очень смѣялся остроумнымъ толкованіямъ перваго насчетъ „царицы Ривалюции“ и задушившаго ее сына, „стоглавой выдры“, и патріотической находчивости послѣдняго относительно двуглаваго орла. Но Ириша опять замѣтила, что упоминаніе Хомутовыхъ всякій разъ приводило въ какое-то смущеніе дядю, и она женскимъ чутьемъ угадала, что не она одна скрываетъ нѣчто за своимъ лифомъ и цѣлуетъ землю, но что этимъ дѣломъ занимаются и ученые мужи, философы и бакалавры. Сбѣвъ съ племянницей на скамейку, подъ тѣнь сирени, Мерзляковъ сталъ читать ей „Неопытную музу“ и объяснять красоты поэзіи въ томъ или другомъ стихотвореніи. Все это были, согласно характеру того времени, большею частью слащавыя сентиментальничанья, вродѣ „вздоховъ сердца“, „стенаній при гробѣ друга“ или „капища“ сердечныхъ воспоминаній, „цвѣты на могилахъ“, „погребенныя сердца“ и тому подобныя чувствительности. Какъ они ни кажутся для насъ дѣтски наивными и смѣшными, но въ свое время надъ ними разливались слезами чувствительныя сердца, и эти слезы были искренни, какъ и тѣ, какія извлекала изъ глазъ читательница „Бѣдная Лиза“ или „Страданія Вертера“, ибо человѣческія общества чувствуютъ, любятъ и страдаютъ всегда эпидемически. Не будь этого эпидемическаго увлеченія, фанатизаціи духа и порывовъ чловѣческихъ обществъ, чловѣчество не создало бы ничего великаго. „Стенанія сердца Бунинной заставляли усиленіе биться или сжиматься болью сердца Ириши и ея ученаго дяди бакалавра: у каждаго было или свое „капище сердца“, или „аллея вздоховъ“, или „павильонъ стенаній“. Декламируя съ павосомъ „стенанія сердца“, Мерзляковъ мысленно относилъ ихъ къ своей „Плѣнницѣ“, повидимому, жестокосердой „Анютушкѣ“, а для Ириши „аллея вздоховъ“ и „павильонъ стенаній“ были на лицѣ, въ этомъ же саду, около старой, мѣченой любовными буквами березы.

У Ириши растрепались волосы, и тутъ только дядя замѣтилъ, что у нея одинъ локонъ обрѣзанъ.

— Кто это у тебя обрѣзалъ косу, Ириней?—спросилъ онъ не безъ удивленія.

Дѣвушка смѣшалась, покраснѣлась до корней волосъ и не знала, что отвѣчать.

— А, мудрецъ Иринейскій, кто обкарналъ тебя?—приставалъ дядя.

— Я, дядечка, нечаянно обрѣзала,—бормотала смущенная дѣвочка.

— Какъ нечаянно? Это все равно, что нечаянно обрить себя—надо, чтобъ была бритва...

— Да я, дядя милый, нечаянно обожгла косу, а потомъ и обрѣзала ее.

И, говоря это, Ириша расплакалась, да такъ неудержимо плакала,

что дядя начал ласкать и утѣшать ее, говоря, что пошутилъ, что все это вздоръ, что коса вырастетъ. Дѣвушка продолжала рыдать, закрывшись руками, а слезы такъ и брызгали сквозь пальцы.

— Вотъ глупенькая дѣвочка,—ласкалъ ее дядя:—это отъ чувствительнаго чтенія... ты взволновалась поэзіею... Это все „Неопытная муза“, что дѣлаетъ честь юной сочинительницѣ... Полно же, дружокъ!

Дѣвушка вырвалась и убѣжала въ свою комнату. Тамъ, упавъ на колѣни передъ образомъ, она продолжала всхлипывать и тихонько причитать: „Господи! я никогда не лгала, никого не обманывала, а сегодня три раза солгала дядѣ... О, какая гадкая, грѣшная!.. О благодарственномъ молебнѣ не сказала, не сказала, что получила письмо, была на почтѣ... Объ обмѣнѣ раненыхъ солгала а теперь о костѣ... Боже мой! прости меня!.. Прости меня, дядя дорогой... Если бъ я тебѣ сказала о молебнѣ, тогда и все надо было бы сказать: и о немѣ, и о сирени, и о березѣ, и что руки цѣловаль онѣ мнѣ... Нѣтъ, никогда! никогда!.. Да и самъ дядя сегодня неправду сказалъ о письмѣ отъ Хомутовыхъ, и у него есть тайна... Ахъ, Господи! какъ же это? Кто любитъ, тотъ ужъ знаетъ тайну—скрываетъ, лжетъ... Ахъ, Боже мой! да вѣдь этого же всѣмъ говорить нельзя—стыдно, нельзя, нельзя! Развѣ можно, чтобъ кто-нибудь видѣлъ, какъ онѣ мнѣ руки цѣловаль и что шепталъ мнѣ! Нѣтъ, нельзя... Это не грѣхъ... это не ложь... Вѣдь и Богъ не открываетъ намъ тайны природы, многихъ тайнъ, и это—тайна... любовь—тайна“.

И дѣвушка успокоилась на этихъ размышленіяхъ. Между тѣмъ приближался вечеръ. Къ предстоящему у Хомутовыхъ рауту Мерзляковъ одѣлся особенно тщательно и шеголевато, прибѣгнувъ даже относительно прически къ искусству парикмахера мосье Коко, который, впрочемъ, не самъ занялся головой ученаго мужа: по недосугу и по причинѣ болѣе серьезныхъ занятій самого мосье Коко, къ головѣ ученаго мужа былъ командированъ „мальшикъ Петрушка“, который и исполнилъ свое дѣло, какъ увѣрялъ мосье Коко, *très bien*. Самъ мосье Коко въ разговорахъ съ ученымъ профессоромъ иначе не отзывался о себѣ какъ „*nous les artistes et les savants*“. Съ Мерзляковымъ, профессоромъ пиитики и риторики, онъ, профессоръ отъ волосъ, считалъ себя человѣкомъ одной профессіи: „*Nous les artistes et les savants*“ или „*mon ami profeseur de Merslakoff*“—эти фразы постоянно сыпались изъ его устъ, когда онъ брилъ или пудрилъ сенатора Хомутова и убиралъ хорошенькую головку его дочери Анеты, „*mademoiselle la générale*“.

Мерзляковъ облекся въ новенькій гороховаго цвѣта фракъ съ золотыми пуговицами, на свои тонкія, сухія икры натянулъ шелковые чулки, которые придавали ему видъ робкаго, неудачнаго акробата въ трико; большіе башмаки, съ блестящими стальными пряжками дѣлали его похожимъ на волохатаго голубя, а пышными манжетами онъ напоминалъ маркиза, но только съ семинарскими манерами. Родственникъ Хомутовыхъ, поэтъ Козловъ, впоследствии знаменитый „слѣпецъ-поэтъ“, большой путешникъ и

повѣса, за-глаза не иначе называлъ бакалавра какъ „marquis de Mers-lakoff“, за что на него очень сердилась его кузина Аннеть Хомутова, и все-таки очень много смѣялась.

Ириша улыбалась, глядя на принарядившагося дядю и догадываясь, что тамъ у него съ Хомутовыми что-то не ладно и что шлемъ и латы Минервы не всегда защищаютъ сердца и головы ученыхъ мужей отъ тонкихъ стрѣлъ „плута Купидо“. „Охъ, ужъ этотъ плутъ Купидушка — думалось ей—не пощадить и моего дядечку... То-то, плутишка дядя, а надо мной какъ бы сталъ трунить!“

Домъ Хомутовыхъ былъ не очень далеко отъ домика, занимаемаго Мерзляковымъ, и потому бакалавръ отправился къ нимъ пѣшкомъ. Дорогой, подъ влияніемъ чтенія „Неопытной музы“ и вслѣдствіе личнаго меланхолическаго настроенія, онъ чувствовалъ себя какъ-то не радостно, одиноко, вдали отъ этой шумной, пустой, но для влюбленнаго—обаятельной жизни, въ сферу которой онъ теперь входилъ чужимъ, только какъ профессоръ и сочинитель, и въ душу его неотвязно просился монотонный, плачущій напѣвъ—„Среди долины ровныя, на гладкой высотѣ“... У него на сердцѣ давно накопилось признаніе, а разсудокъ шепталъ слова сомнѣнія, разочарованія, гордаго и холоднаго отказа. „Прощай—и былъ таковъ!.. Хотя она и добра какъ ангелъ, но и недосигаема, какъ ангелъ на небесахъ... А этотъ свищъ — Козловъ какъ вьюнъ вьется: „кузина“ да „кузина“, а самъ, знаю, на цыганокъ, на Матрешъ да на Парашъ, тратитъ и сердце свое, и поэтический жаръ. А она, чистая, ничего этого не понимаетъ“.

Богатый подвѣздъ барскаго дома отрезвилъ мечтательнаго бакалавра. Онъ бодро, развязно, хотя и съ напускной семинарской развязностью и съ робостью сомнѣнія въ сердцѣ, вступилъ въ обширную переднюю, гдѣ вдоль стѣнъ, на оконникахъ сидѣло нѣсколько лакеевъ, и сдалъ на руки Яшкѣ свою трость и плащъ. Всѣ лакеи дома Хомутовыхъ его знали и довольно фамиллярно, хотя искренно привѣтствовали его.

— Такъ во Франціи царствовала царица Революція? — съ улыбкой обратился онъ къ Яшкѣ.

Яшка былъ захваченъ врасплохъ и оторопѣлъ, но быстро оправился.

— Царица Риволуція-съ, сударь,—отвѣчалъ онъ улыбаясь.

— А у нея сынъ—стоглавая выдра?

— Точно такъ-съ, сударь,—выдра-съ.

Пройдя черезъ пустую залу и войдя въ гостинную, изъ которой дверь вела на террасу и въ садъ, Мерзляковъ, не встрѣтивъ никого и въ гостинной, вышелъ прямо на террасу. Было еще рано, гости не собрались, и Мерзляковъ, знакомый съ привычками обитателей дома, въ который онъ вступилъ, зналъ, что на террасѣ онъ кого-нибудь найдетъ. Дѣйствительно, едва онъ появился въ дверяхъ, какъ навстрѣчу ему поспѣшила молодая дѣвушка, средняго роста, стройная, подвижная, хорошо развитая физически и, повидимому, очень живого характера. Лицо ея, необыкновенно блѣлое, какъ это часто бываетъ у красноволосыхъ, и немножко веснушча-

Въ числѣ гостей послѣдняго, то-есть сочинительскаго сорта, особенно выдается литературная знаменитость дня, герой литературнаго сезона, нмѣщающій въ себѣ и столбовую знатность и литературную—это графъ Ростопчинъ, прославившійся подъ именемъ Силы Богатырева. Чопорно одѣтый и напудренный, съ энергически очерченными надбровными линиями и широкими ноздрями, полумаркизъ и полубояринъ, онъ стоитъ около хозяина и, указывая на Мерзлякова, разговаривающаго съ дочерью хозяина, своею ученицею, объясняетъ свою литературную съ нимъ пикировку сегодня въ соборѣ.

— Простой русскій человекъ, Сила Богатыревъ, заставилъ прикусить язычекъ ученаго профессора,—сказалъ онъ не безъ довольства.

А какъ вы думаете, почтеннѣйшій Сила Андреичъ, нашъ миръ съ Наполеономъ и особенно, какъ слышно, впечатлѣнїе, какое произвелъ на Государя Императора при свиданіи этотъ Бонапартъ, не отразятся на судьбѣ достойнаго ветерана?—спросилъ любезно хозяинъ, ловко впадая въ литературный тонъ.

Думаю, что не миновать маленькой опалы ни графу Ростопчину, ни его другу Силѣ Богатыреву.

Это очень жаль, поистинѣ жаль, графъ. А чѣмъ это можетъ выразиться?

Боюсь, какъ-бы „Мысли“ Богатырева не исчезли изъ обращенія.

Но это невозможно, графъ! Онѣ теперь стали „Мыслями“ всей ма-тушки Россіи.

А черезъ нѣсколько лѣтъ, увѣрю ваше превосходительство, онѣ станутъ мыслями и нашего обожаемаго монарха, — съ жаромъ сказалъ Ростопчинъ.

— Вы думаете, графъ?

— Я убѣжденъ въ этомъ. Корсиканца разлакомили дешевыя побѣды, и онъ, рано-ли, поздно-ли, захочетъ шеломомъ Дону испити и... захлебнется. И тогда-то государь оцѣнитъ Силу Богатырева, ибо его устами говоритъ весь русскій народъ.

— Дай-то Богъ.

Мерзляковъ въ это время, стоя около своей ученицы, допрашивалъ ее о томъ, кто такая эта таинственная „героиня“, о которой она упоминала въ запискѣ къ нему и которую Хомутовы ждутъ на вечеръ.

— Это женщина, имя которой прогремѣло по всей Европѣ,—уклончиво отвѣчала дѣвушка.

— Молодая?

— О лѣтахъ женщинъ не спрашиваютъ, знайте это, мой менторъ.

— Виноватъ, мой... Телемакъ...

Мерзляковъ хотѣлъ, какъ видно, сказать какой-то любезный эпитетъ, но не посмѣлъ, зайкнулся и покраснѣлъ какъ школьникъ.

— Можетъ быть, это г-жа Сталь?—спросилъ онъ, нѣсколько оправившись.

— Нѣтъ, не угадали.

— Русская? Нѣтъ, не можетъ быть! Въ Россіи, кромѣ Марѣи-посадницы, не было героинь... Кто же она, скажите пожалуйста.

— Женщина, подобной которой еще не было въ Россіи.

— Вы шутите...

Въ это время Хомутовъ быстро, почти бѣгомъ поспѣшилъ къ входной двери и черезъ нѣсколько секундъ вошелъ въ залу, почтительно сопровождая ветхую, согнувшуюся старушку, отъ которой вѣяло чѣмъ-то отжившимъ, историческимъ, скорѣе — археологически-могильнымъ. На головѣ у старушки — что-то вродѣ колпакѣ, изъ-подъ котораго виднѣются жидкія пряди сѣдыхъ, пожелтѣвшихъ отъ времени волосъ, которые видишь, кажется, не на живомъ человѣческомъ лицѣ, а на сухомъ, желтомъ костякѣ мертвеца. Губы у старушки не держатся, а какъ-то странно шевелятся, словно жуютъ одна другую или слятся удержать языкъ, который вотъ-вотъ вывалится изъ беззубаго рта. Ноги ея не идутъ, не ступаютъ, а словно какъ и языкъ мнутся и шамкаютъ по полу. Все на ней старомодно—отжитое, забытое. Это бредетъ прошлый вѣкъ, давно похороненный. На сухой груди у старушки блеститъ и искрится огнями брилліантовая звѣзда.

— Вотъ она—героиня, великая женщина,—тихо сказала Хомутова.

Мерзляковъ пришелъ въ недоумѣніе. Ему казалось, что надъ нимъ шутятъ.

— Что вы, Анна Григорьевна! Помилуйте!

— Я не шучу...

— Кто же она? Изъ могилы вышла?

— Это княгиня Дашкова, бывшій президентъ академіи наукъ, другъ Вольтера, Екатерины...

— А! такъ вотъ она! Боже! что дѣлаетъ время съ великими людьми!—сказалъ Мерзляковъ съ неподдѣльной грустью. О, жестокое время! И это—красавица Дашкова!

Къ старушкѣ быстро подошелъ графъ Ростопчинъ и почтительно поцѣловалъ дрожащую, сухую руку.

— Имѣю честь цѣловать руку, которая...—началъ онъ было.

— Которая только дрожить,—прошамкала старушка съ какою-то горькою усмѣшкой.

— Нѣтъ, которая, ваше сіятельство, заставляла усиленно биться старое сердце такого великаго поклонника вашего, какъ фернейскій пустынникъ.

— О, вы, точно этотъ лстецъ, говорите, графъ... Да и онъ, Вольтеръ, давно ужъ умеръ... никому ужъ больше не лстить...

И старушка закашлялась такъ безпомощно, что у Хомутовой, которая привѣтствовала ее, навернулись слезы.

— Здравствуй, милая Анета... ты все хорошеешь,—обратилась къ ней старушка.

— Благодарю васъ, княгиня,—сказала дѣвушка застѣнчиво.

— Благодари, мой другъ, природу и молодость.

Потомъ, оглядѣвъ ее съ головы до ногъ, старушка какъ-то безнадежно, безсильно махнула рукой.

— Не переживай, мой другъ, своей красоты, какъ мы пережили свою славу,—сказала она съ горечью.

— О, нѣтъ, нѣтъ, княгиня! Вы не пережили вашей славы! — горячо заговорила дѣвушка.—Ваша слава такъ ярка...

— Да, можетъ быть—въ прошломъ вѣкѣ... Теперь насъ забыли, со-всѣмъ забыли,—говорила старушка, поникнувъ головой.—Тогда на устахъ всей Европы были другія имена — Вольтеръ, Руссо, Екатерина Великая, Фридрихъ Великій, Потемкинъ, Суворевъ и... жалкая нынѣ старушка княгиня Дашкова. А теперь у всѣхъ на устахъ одинъ Наполеонъ...

— Да Сила Богатыревъ, ваше сіятельство,—подсказалъ Козловъ, тоже прикладываясь къ историческимъ мощамъ.

— А, это ты, повѣса, вѣрно сказалъ: Наполеонъ и... Сила Богатыревъ.

И историческая женщина опять безпомощно закашлялась, выставя то тому, то другому свою сухую, дрожащую руку для прикладыванья.

— Но мы надѣмся, ваше сіятельство, въ скоромъ времени насладиться чтеніемъ вашихъ личныхъ признаній и воспоминаній изъ вашей славной и богатой событіями жизни,—закискивающе сказалъ Хомутовъ.

— Нѣтъ, не надѣйтесь, любезный генералъ,—рѣзко отрѣзала старушка.

— Почему же такъ, княгиня?

— А потому, что я сама не буду читать ихъ въ печати — въ гробу не читають.

— А развѣ вы намѣрены, подобно Руссо, познакомить насъ съ вашею прекрасною душою только послѣ вашей смерти?

— А хоть-бы и такъ.

— О, такъ я желаю никогда лучше не читать вашихъ признаній...

— Любезно, любезно, графъ... хоть-бы и не Силѣ Богатыреву...

И старушка разомъ впала въ забытье.

А подвижная фигура Козлова уже вертѣлась среди молодежи, разсыпая на всѣ стороны остроты и вызывая дружный, хотя прилично сдержанный смѣхъ.

— Вы замѣчаете у старой муміи прошлаго вѣка румянецъ на историческихъ ланитахъ? — говорилъ онъ, показывая на княгиню Дашкову, голова которой тряслась отъ волненія.

— Да, это старческій румянецъ,—отвѣчала Хомутова.

— Нѣтъ, кузина, это не румянецъ, а кровь.

— Какъ кровь? Что вы говорите глупости?

— Не глупости, милая кузина, а кровь, — и притомъ кровь свиная, кровь невинныхъ свиней...

— Перестаньте же говорить вздоръ!

— Не вздоръ, кузина, а историческую правду. Если бъ здѣсь былъ Карамзинъ, онъ бы подтвердилъ мои слова архивными актами... Да что намъ далеко ходить! У меня архивные акты въ карманѣ.

И онъ вынулъ изъ кармана записную книжку.

— Вотъ документъ... я привезъ его изъ Петербурга. Онъ ходитъ тамъ по рукамъ.

— Что это? — спросил Мерзляковъ, какъ ученый, интересующійся всѣмъ писаннымъ и печатнымъ.

— А вотъ что, почтеннѣйшій Алексѣй Федорычъ. Это—извлечение изъ „дѣла“ софійскаго нижняго земскаго суда „о зарубленіи на дачѣ ея сіятельства, двора ея императорскаго величества штатсъ-дамы, академіи наукъ директора, императорской российской академіи президента и кавалера, княгини Екатерины Романовны Дашковой, принадлежавшихъ его высокопревосходительству, ея императорскаго величества оберъ-шёнку, сенатору, дѣйствительному камергеру и кавалеру Александру Александровичу Нарышкину голландскихъ борова и свиньи...“

— Помилуйте! это вы сочинили,—смѣялся Мерзляковъ.

— Нѣтъ, честное слово—не сочинилъ. Эту выписку сдѣлали въ Петербургѣ изъ управы благочинія,—оправдывался Козловъ.

— Когда же это было?—спросила Хомутова.

— Да когда, кузина, вы еще не родились—въ 1788 году.

— О, тогда мнѣ было ужъ четыре года...

— Не можетъ быть—вамъ нѣтъ двадцати лѣтъ!—воскликнулъ было Мерзляковъ и опять смѣшался, покраснѣлъ.

— Ну, чѣмъ же дѣло кончилось? — спросила Хомутова, съ грустью взглянувъ на старушку, о которой шла рѣчь.

— Вотъ чѣмъ-съ, кузина, — извольте прислушать. „Изъ онаго дѣла явствуетъ,—продолжалъ читать Козловъ:—ея сіятельство княгиня Екатерина Романовна Дашкова зашедшихъ на дачу ея, принадлежавшихъ его высокопревосходительству Александру Александровичу Нарышкину двухъ свиней, усмотренныхъ яко бѣ на потравѣ, приказала людямъ своимъ, загнавъ въ конюшню, убить, которыя и убиты были топорами; и за тѣ убитыя свиньи взыскать съ ея сіятельства княгини Екатерины Романовны Дашковой противъ учиненной оцѣнки 80 рублей, и по взысканіи отдать его высокопревосходительства Александра Александровича Нарышкина повѣренному служителю съ роспискою. А что принадлежитъ до показаній садовниковъ, якобъ означенными свиньями на дачѣ ея сіятельства потравлены посаженные въ шести горшкахъ разные цвѣты, стоющіе шести рублей, то сія потрава не только въ то время чрезъ постороннихъ людей не засвидѣтельствована, но и когда былъ для слѣдствія на мѣстѣ господинъ земскій исправникъ Панаевъ, и по свидѣтельству его въ саду и въ ранжереяхъ никакой потравы не оказалось. По отзыву жъ ея сіятельства, учиненному господину исправнику, въ бою свиней незнаніемъ закона, и что впредь зашедшихъ коровъ и свиней такожъ убить прикажетъ и отошлетъ въ госпиталь, то въ предупрежденіе и отвращеніе таковаго предпріятаго законамъ противнаго намѣренія, выписавъ приличныя узаконенія, благопріистойнымъ образомъ объявить ея сіятельству, дабы впредь въ подобныхъ случаяхъ отъ управления собою изволила воздержаться и незнаніемъ закона не отзывалась, въ чемъ ея сіятельство обязать подпискою“.

— Ахъ, бѣдная! Это все, конечно, Нарышкинъ устроилъ по злобѣ,—ска-

зала Аннетъ, съ жалостью глядя на старушку, которая, видимо, дремала.

— Да, ее многіе не любили при дворѣ за ея гордость, а многіе просто завидовали,—пояснилъ Мерзляковъ.

— Не любила ее сама императрица: ей было непріятно то, что въ Европѣ говорили о Дашковой.

— Ну, мои дамы и мои господа! — французская рѣчь изгнана вѣдь Силой Богатыревымъ—итакъ, мои дамы и мои господа, вы пустились въ скучную матерію—въ исторію и политику,—остановилъ Мерзлякова и свою кузину вѣчно веселый и болтливый Козловъ.—А мы лучше о свиньяхъ—доведемъ о нихъ рѣчь до конца. Вы, кузина, возстали и вознегодовали на меня, когда я сказалъ, что у сей великой женщины, нынѣ старой карги—свинная кровь вмѣсто румянца...

— И опять негодую!—шутя сказала дѣвушка.

— Ну, такъ вы необразованная женщина: вы не признаете исторіи...

— Только не такой, какъ ваша.

— А моя—это и есть настоящая исторія.

— Это правда, Анна Григорьевна: анекдотъ о свиной крови на щекахъ княгини Дашковой напечатанъ однимъ французомъ,—сказалъ Мерзляковъ серьезно.—Онъ говорить, что Нарышкинъ, послѣ исторіи съ его свиньями, увидавъ княгиню во дворцѣ, громко сказалъ, обращаясь къ другимъ придворнымъ: „Смотрите! у нея на щекахъ кровь моихъ свиней...“

— Это ужасно! бѣдная княгиня! Вотъ человѣческая слава и величіе!..

Мерзляковъ съ глубокою любовью взглянулъ на дѣвушку. Онъ все больше и больше убѣждался, что подъ свѣтскимъ лоскомъ, подъ этимъ блестящимъ наростомъ, который онъ теперь глубоко ненавидѣлъ своею кроткою душою, что подъ непроницаемымъ лифомъ великосвѣтской барышни теплится свѣточъ любви и нѣжности, и это приносило ему еще большія страданія. Ненавидя этотъ лоскъ, эту блестящую кору, онъ въ глубинѣ души плакалъ, зачѣмъ онъ лишенъ этой ненавистной коры, зачѣмъ воспитаніе дало ему виѣшность и иглы дикобраза-семинариста, а не дало той пустоты, той противной бойкости, которая дѣлала Козлова и ловкимъ, пусто-остроумнымъ, и, повидимому, глупо, мелко, но находчивымъ, пріятнымъ, а его, ученаго, серьезнаго, глубоко, мучительно глубоко чувствующаго, оставляли въ тѣни, незамѣченнымъ, безцвѣтнымъ, какъ будто и чувствовать неумѣющимъ... Не ловокъ, не ловокъ и не ловокъ!.. А! хоть бы чортъ побралъ эту ученость, эти знанія, эту солидность!.. Пустоты, легкости больше!

Бѣдный бакалавръ! Къ сожалѣнію, почти всегда бакалавры больше и глубже чувствуютъ, чѣмъ небакалавры, а получаютъ меньше, чѣмъ эти хлыщи. Вотъ она какъ украдкой глянула на Козлова—холодной льдиной кто-то дотронулся до горячаго сердца бакалавра.

— Вы, кажется, что-то грустны, Алексѣй Ѳеодоровичъ?—не голосомъ, а тепломъ и свѣтомъ входятъ въ душу слова дѣвушки.

— Я самъ не знаю, Анна Григорьевна,

— Она, историческая старушка, вѣроятно, навела васъ на грустные размышленія?

— Нѣтъ... да...

Охъ, не „историческая старушка“, а олицетворенная молодость и жизнь,—не развалина, а ты—ты—ты! Бакалавръ это страстно чувствовалъ, но робость сковывала ему языкъ.

— А! вотъ и Дени, наконецъ, пожаловалъ, — сказала радостно пріятельница Хомутовой, Софи Давыдова.

Къ нимъ подходилъ, словно изъ земли выросшій, невысокаго роста молодой человекъ въ адъютантскомъ мундирѣ. Лицо это—съ черными, блестящими мягкостью глазами, съ какими-то мягкими, добрыми очертаніями губъ и съ курчавыми, спадающими на бѣлый лобъ волосами—намъ уже знакомо. Мы видѣли его въ Тильзитѣ, въ свитѣ государя, выглядывавшимъ изъ-за спины Багратіона въ нетерпѣливомъ ожиданіи—когда же пріѣдетъ Наполеонъ! Это—Денисъ Давыдовъ. Нагнувшись немножко впередъ, какъ бы расталкивая невидимую толпу, онъ быстро подошелъ къ Аннетъ Хомутовой и показалъ, вмѣстѣ съ какой-то неувимой, не то робкой, не то насмѣшливой улыбкой, два ряда бѣлыхъ зубовъ.

При видѣ этихъ зубовъ Мерзлякову ни съ того, ни съ сего пришло на мысль: „Зубы подъ добрыми губами, а должно быть кусаются...“ И эти зубы, дѣйствительно, кусались больно.

— Что такъ поздно?—спросила Аннетъ.

— Любовь виновата, Анна Григорьевна,—отвѣчалъ онъ или скорѣе процѣдилъ сквозь бѣлые зубы.

— Вы влюблены?

— Нѣтъ, я не о своей любви говорю: я долженъ былъ удовлетворить законному любопытству пятнадцати любящихъ бабушекъ, ста-пятидесяти любящихъ маменокъ и тысячи пятисотъ любящихъ женъ, сестрицъ, кузинъ, племянницъ, свояченицъ, пріятельницъ, невестъ и всякихъ иныхъ барышень о томъ, живы-ли и здоровы-ли въ арміи внуки, сынки, мужья, братцы, кузены, дяди, деверья, пріятели, женихи, просто вздыхатели и иные кавалеры, словно-бы я такъ же зналъ наизусть всю армію, какъ Наполеонъ знаетъ въ лицо и поименно всю свою старую гвардію.

— Что-жъ тутъ труднаго!—замѣтилъ, здороваясь съ нимъ, какъ съ старымъ знакомымъ, Козловъ.—Вотъ я знаю въ лицо всѣхъ московскихъ барышень, а ихъ больше, чѣмъ у Наполеона старой гвардіи.

— Не знакомы?—и Аннетъ подвела Давыдова къ Мерзлякову.—Денисъ Василевичъ Давыдовъ, любимый адъютантъ Багратіона и рубака...

— Пока еще кромѣ капусты никого не зарубилъ, — перебилъ ее Давыдовъ.

— Алексѣй Ѳеодоровичъ Мерзляковъ, профессоръ и мой Менторъ.

— У котораго Телемакъ совсѣмъ отъ рукъ отбился,—подсказалъ Козловъ, комически подмигивая Давыдову.

— Какой Телемакъ?—спросила Аннетъ въ то время, когда Мерзля-

ковъ и Давыдовъ обмѣнялись рукопожатіями и ходячими привѣтствіями.

— Телемакъ въ юбкѣ съ робронами,—отвѣчалъ Козловъ съ ужимкою.

— О, неправда! теперь роброны не носятъ, а Телемакъ очень внимателенъ къ своему Ментору,—замѣтила Аннетъ.—Ну, что новенькаго?—обратилась она къ Давыдову.

— Да я не знаю, что вамъ сказать... Кажется, земля опрокидывается...

— Какъ? Отчего?

— Да все отъ женщинъ...

— Что-жъ тутъ удивительнаго!—замѣтилъ—Козловъ. Все говорили, что Наполеонъ поставитъ шаръ земной къ себѣ на столъ вмѣсто глобуса и будетъ вертѣть имъ, а я говорилъ, что нѣтъ, что Наполеону свернетъ шею женщина... Развѣ такая ужъ нашла?

— Не знаю, такая-ли,—отвѣчалъ Давыдовъ, посвѣчивая своими бѣлыми зубами и черными глазами,—но что какая-то женщина надѣлала переполоху во всей арміи—это несомнѣнно... Я вѣдь недавно изъ арміи, изъ Тильзита, а сегодня я получилъ письмо отъ Сеславина, гдѣ онъ пишетъ, что у насъ явилась новая Іоанна д'Аркъ...

— Да, пора бы, пора женщинѣ явиться на помощь мужчинѣ, а то у васъ мужчины оказались что-то очень смиренными, — откуда ни возьмись, заговорилъ Ростопчинъ, потрясая своимъ парикомъ.

Давыдовъ не особенно дружелюбно блеснулъ на него глазами, но сдержался.

— Вы что разумѣете, ваше сіятельство, подъ нашимъ смиреніемъ?—спросилъ онъ съ холоднымъ почтеніемъ.

— Я разумѣю, молодой человекъ, нашъ смиренный миръ съ Бонапартомъ.

— Такова, графъ, воля государя... Мы же всѣ, офицеры да и солдаты, того мнѣнія, что рано или поздно мы должны быть въ гостяхъ у Наполеона, а то иначе онъ самъ пожалуетъ къ намъ, чтобы шеломахъ Яузы испити...

— Треуголкой,—вставилъ Козловъ.

— Мы этой треуголкой трубу заткнемъ въ послѣдней пекарнѣ,—рѣзко сказалъ Ростопчинъ.—А что вы изволили заговорить объ Іоаннѣ д'Аркъ?—любезно обратился онъ къ Давыдову.

— Подозрѣваютъ, ваше сіятельство, что у насъ въ арміи находится молоденькая дѣвушка изъ хорошей фамиліи и, въ качествѣ охотника, несетъ всѣ трудности войны... Но кто она—этого никто не знаетъ... Теперь о ней рассказываютъ невѣроятныя вещи: она бросается въ самую жаркую сѣчу спасать своихъ раненыхъ—и такимъ чудомъ спасенъ офицеръ Панинъ, которому спасительница, какъ раненому, отдала и своего коня, а сама пошла пѣшкомъ подъ градомъ пуль и картечи. Да и конь у нея удивительный: говорить, разъ французы нечаянно напали на ихъ отрядъ, когда отрядъ спѣшился и отдыхалъ, а кони паслись въ сторонѣ, охраняемые часовыми. Всѣ побросались къ конямъ, а она только крикнула

своимъ дѣтскимъ голоскомъ: „Алкидь!“—это имя ея коня — и конь, заржавъ бѣшено, во весь опоръ примчался къ ней.

— Да, правда, удивительная дѣвушка, — сказалъ Ростоичинъ: — не даромъ я всегда вѣрилъ въ необычайныя доблести русскаго народа.

— Ахъ! да какъ же не могутъ узнать, кто она, какъ ея фамилія, откуда! — волновалась Аннетъ.—Вѣдь съ кѣмъ-нибудь же она дружна, откровенна...

— Ни съ кѣмъ... Есть у нея старый дядька, уланъ Пудъ Пудычъ, ворчунъ и резонеръ большой, который отзывается о ней, какъ о дворянчикѣ, у котораго на губахъ материное молоко не обсохло, а подъ сердитую руку называетъ ее щенкомъ бѣлогубымъ.

— А изъ офицеровъ она ни съ кѣмъ не дружна?

— Съ Грековымъ немножко, съ молодымъ донскимъ офицеромъ, но и этотъ ничего не знаетъ, а только подозреваетъ. Онъ говорить, что какой-то мальчикъ присталъ къ ихъ полку, когда они шли съ Урала, гдѣ-то за Казанью...

— Да это, вѣроятно, воскресшая татарская княжна Суюмбека, — замѣтилъ Козловъ.

— О комъ это вы такъ горячо рассказываете, молодые люди, что даже намъ, старикамъ, завидно стало?—зашамкало вдругъ что-то позади кружка, столпившагося вокругъ Давыдова.

Всѣ оглянулись. Передъ ними, поддерживаемая хозяиномъ дома, стояла согбенная старушка. Это подползла къ нимъ княгиня Дашкова, съ лѣтами не утратившая любознательности и внутренней пытливости. Много думавшая на своемъ вѣку съдая голова старушки дрожала. А когда-то эту трясущуюся нынѣ, старую голову, а тогда молоденькую, красивую головку, гладила, буквально гладила костлявая рука Вольтера, рука, гладившая весь міръ противъ шерсти, рука, игравшая сердцемъ и совѣстью всей Европы какъ мячикомъ, рука, залившая одною чернильницей костры инквизиціи. Эта костлявая рука гладила эту голову, которая такъ безсильно трясется теперь.

— Кто это, молодые государи мои, такъ интересуется васъ? — повторила она, опускаясь въ кресло рядомъ съ Софі Давыдовой.

— Господинъ Давыдовъ, ваше сіятельство, рассказываетъ о необыкновенной дѣвушкѣ, которая, прикрывъ свой нѣжный полъ одеждою война, дѣлала чудеса въ послѣднюю кампанію, — нагибаясь къ старушкѣ, отвѣчалъ Ростоичинъ.

— А кто она такая?—любопытствовала старушка.

— Имени ея никто не знаетъ, ваше сіятельство.

— Любопытно, любопытно... Это напоминаетъ мнѣ мою молодость... И я когда-то въ гвардейскомъ мундирѣ скакала впереди блестящихъ войскъ... (Старушка закашлялась).

— Вообразите эту каргу старую въ мундирѣ... вотъ картина! — шепталъ Козловъ на ухо Софі Давыдовой.—Да еще верхомъ на конѣ!

— Да, и обо мнѣ когда-то говорили... вся Европа говорила, — про-

должала старушка грустно, тихо качая и безъ того трясущеюся головой.— А теперь мой грабовщикъ уже дни считаетъ, когда онъ увидитъ, какъ повезутъ на кладбище сдѣланный имъ гробъ, а въ томъ гробу — вотъ это старое, покрытое пергаментомъ тѣло... А по этому пергаменту много писала рука времени!..

Всѣ почтительно молчали, съ грустью глядя на это изгрызанное временемъ жалкое существо.

— Зачѣмъ, княгиня, предаваться мрачнымъ мыслямъ? Вы сдѣлали бы намъ большую, несказанно большую честь и доставили бы величайшее удовольствіе, если бы вы припомнили то время, когда и васъ Россія видѣла на конѣ, — сказалъ хозяинъ дома. — Воспоминаніе свѣтлыхъ дней вашей жизни оживитъ васъ.

— О, мой другъ! *Nessun maggior dolore...* Знаете?

И старушка грустно махнула рукой. Все молчало, даже Козловъ при-
смирѣлъ. Дашкова, опираясь на руку хозяина, приблизилась къ дивану и тихо опустилась на него.

— Впрочемъ, государи мои, отчего не отвернуться на нѣсколько минутъ отъ могилы, чтобы сорвавъ нѣсколько цвѣтовъ воспоминаній, бросить ихъ въ оную, — сказала она раздумчиво.

— Сорвите, ваше сіятельство, сорвите, — настаивалъ хозяинъ.

— Инъ будь по вашему... вызову свѣтлые призраки моего прошлаго... отслужу по нимъ панихиды...

Всѣ тихо заняли мѣста около дивана и по сторонамъ. Дашкова, обѣдая собраніе своими старческими, выцвѣтшими отъ времени и горя глазами, начала свой рассказъ.

XVII.

— Это было, государи мои, ровно сорокъ пять лѣтъ назадъ — полстолѣтія почитай... Давно-давно было, тогда еще не родился этотъ Бонапартъ, что нынѣ всѣмъ міромъ какъ ящикомъ съ маріонетками играетъ... Давно было, охъ, давно, а кажется, точно вчера... Какъ время-то летитъ! какія крылья-то у него широкія — широко машутъ, быстро несутъ міръ отъ жизни къ могилѣ... все, все къ могилѣ несутъ крылья времени... Да, давно было... а будто вчера только... Будто я уснула вчера и видѣла сонъ молодости, видѣла всю жизнь мою долгую, а сегодня опять проснулась старушкой... Да и была-ли это жизнь въ самомъ дѣлѣ? Не сонъ-ли это былъ, и сладкій, и горестный, а пробужденіе — на краю могилы...

Старушка остановилась и грустно поникла головой. Всѣ благоговѣйно молчали, такъ благоговѣйно, какъ только умѣютъ молчать люди въ присутствіи смерти.

— Нѣтъ, не сонъ... Какъ теперь вижу я — сидимъ это мы, я да графъ Никита Ивановичъ Панинъ, обоимъ молоды, а мечты-то, мечты-то, Господи! такъ и обнимаютъ крыльями вселенную, весь міръ душатъ въ горячихъ объятіяхъ... Какъ теперь вижу эти старческія, теперь уже историческія лица — Дидерота и Вольтера... Охъ, и ихъ уже давно нѣтъ, и подъ ихъ умными

черепами осталось только по горсти—нѣту, государи мои,—гдѣ по горсти!—по щепотѣ могильнаго праха... Сидитъ это у меня Дидеротъ старикъ, слушаешь съ нѣжностію отца мое молодое щебетанье, и слезы умиленія на глазахъ у старика... А я-то, Боже! міръ цѣлый въ его глазахъ обнимаю моими молодыми крыльями—крыльями мечты моей, вселенную согрѣваю въ своихъ объятіяхъ... А онъ только головой качаетъ, да такъ-то любовно... „И я-то, говорить, княгиня, молодѣю съ вами, и мои старыя ноги, что стоятъ уже на краю могилы, за вами бредутъ“... А теперь ужъ и онѣ не бродятъ... И Вольтеро-рово злое лицо такъ вотъ и стоитъ передо мной—да злое-ли полно? Нѣтъ, не злое, не злое! доброе это лицо, улыбающееся только такъ, что будто бы онъ всю вашу душу выисповѣдалъ и улыбается ея слабостямъ... А и его нѣтъ... одна я осталась, какъ забытая наземлѣ... Да, забытая, забытая всѣми...

Снова молчать и думать о чемъ-то. Губы шепчутъ беззвучно, словно жуютъ мысль. Говорить про себя:

— Запаятовала, запаятовала... Ахъ, жизнь, жизнь! Кто-то носится въ воздухѣ, какой-то всемірный хищникъ, и выкрадываетъ у насъ молодыя грезы, молодые сны... выкрадываетъ изъ насъ сердце, его теплоту и вмѣсто жаркой крови вливаетъ холодную... свѣтъ и блескъ у глазъ выкрадываетъ... волосъ по волосу выкрадываетъ, а не выкраденные подмѣняетъ бѣлыми, „мертвыми... и память выкрадываетъ...“ О, хищникъ, великій хищникъ!.. А на чемъ это я остановилась? — спрашиваетъ, опомнившись и оглядываясь на слушателей.

— Вы о Вольтерѣ говорили, княгиня, подсказываетъ хозяйинъ...

— Да, да... о Вольтерѣ, точно... Старъ ужъ онъ былъ, вотъ какъ я,—очень, очень старъ и не выходилъ изъ своего халата: такъ и принималъ меня въ своемъ халатѣ да въ своихъ креслахъ — въ „вольтеровскихъ креслахъ“, которыя, кажется, бессмертнѣе и популярнѣе его бессмертныхъ твореній!.. Да-да, бессмертны кресла и мысли, а онъ—мертвъ, онъ сгнилъ... А то бывало придеть къ нему Губертъ, „Птицеловъ“ — такъ называли его: ужъ очень любилъ онъ соколиную охоту... Вольтеръ любилъ и боялся его... да, государи мои, боялся: это былъ единственный человѣкъ въ мірѣ, котораго Вольтеръ побаивался... Да и разбойникъ же былъ этотъ Губертъ, скажу я вамъ: бывало въ одну минуту набросаетъ карандашемъ такую злую карикатуру на Вольтера, что тотъ сразу присмирѣетъ, лишь бы Губертъ не пустилъ ее въ свѣтъ. Любилъ съ нимъ Вольтеръ, государи мои, въ шахматы играть и всегда проигрывалъ... И Боже мой! какъ же онъ злился при этомъ, какія дѣлалъ гримасы, какія ѣдки стрѣлы сарказма бросалъ въ своего побѣдителя! А тотъ возьми да и научи свою собаченку дѣлать совершенно такія же гримасы, какія дѣлалъ Вольтеръ, когда проигрывалъ... Всѣ узнаютъ въ этихъ гримасахъ гримасы великаго человѣка и смѣются... И я, государи мои, смѣялась, потому — молоденькая была. А теперь вотъ я развалина, и надъ моими гримасами смѣются, поди, молодые повѣсы, какъ я смѣялась надъ Вольтеромъ... А давно, охъ, какъ давно это было!..

И снова эта давность какъ-бы давить рассказчицу, гнетъ къ землѣ,

къ могилѣ. Старая голова склоняется, руки непроизвольно шевелятъ пальцами. Глаза закрыты, глубоко, глубоко ушли уставшіе глядѣть глаза.

— Бай-бай, бабуса—вотъ такъ разскажъ!—шепчетъ Козловъ, нагибаясь къ уху кузины.

— Перестаньте! она не спитъ.

Дѣйствительно не спитъ. Глаза открываются и осмысленно смотрять на слушателей.

— Да, да, государи мои, Вольтеры въ землѣ, ихъ забываютъ, а по землѣ ходятъ вмѣсто нихъ какіе-то Бонапарты, и земля дрожитъ подъ ихъ ногами—чужое дѣло,—продолжала она говорить какъ-бы сама съ собою.

— Да Наполеонъ, княгиня,—родное чадо вашего Вольтера,—вмѣшался Ростопчинъ.

Княгиня встрепелулась. Подбородокъ ея, словно отпавшій отъ верхней челюсти, вдругъ подобрался, задрожалъ, и сѣдая голова старушки ходенемъ заходила отъ праваго плеча къ лѣвому.

— Кто тебѣ сказалъ, что этотъ капралъ чадо Вольтера?—спросила она съ особеннымъ блескомъ въ давно потухшихъ глазахъ. — Кто? Сила Богатыревъ?

— Да, княгиня,—пожалуй и онъ...

— А ты прежде прочти Вольтера да тогда и говори, — продолжала сердиться старушка.

— Я читаль...

— Читаль, государь мой, да вѣрно съ указкой Силы Богатырева.

Ростопчинъ тоже начиналъ сердиться, но старался сдержать себя.

— Помилуйте, княгиня,—началь было онъ.

— Не помилую... за глупость не помилую... глупость — великое преступленіе... Это, государь мой, ты слышалъ, должно быть, отъ какого-нибудь политика изъ Охотнаго ряду.

— А хоть бы и изъ Охотнаго ряду,—настаивалъ, Ростопчинъ: — тамъ настоящій русскій умъ...

— А что-жъ по твоему, государь мой, русскій-то умъ изъ другой матеріи спитъ, чѣмъ не русскій?

— Да пожалуй что такъ...

Старушка окончательно заволновалась. Обезпокоенный этимъ хозяйинъ незамѣтно далъ понять Ростопчину, что лучше было бы не сердить отживающій XVIII вѣкъ и самъ вмѣшался въ разговоръ.

— Признаюсь вамъ, княгиня моя почтеннѣйшая,—ласково заговорилъ онъ:—всѣмъ прискучили толки объ этомъ бѣломъ бычкѣ... То ли дѣло—славное старое время, которое стало уже исторіею. Вотъ если бы вы вспомнили это время...

— Что ужъ! умерла я, заживо умерла и похоронена...

— Да что объ этомъ думать, княгиня! Успѣемъ еще всѣ туда явиться,—успокаивалъ ее хозяйинъ.

— Да, мой другъ, успѣемъ—не опоздаемъ, никто не опоздаетъ: одинъ

раньше, другой позже, а всё тамъ будемъ... тамъ никогда не поздно, дверь открыта для всѣхъ настѣжъ, и для желающихъ, и для нежелающихъ...

— И для корсиканца, княгиня?—улыбнулся Ростопчинъ.

— И для него, государь мой.

— Скорѣй бы его туда! Какъ это его еще земля терпѣть?

— Да, терпѣть,—терпѣлива она...

— Напрасно!

— Напрасно-то, поди, и на самомъ дѣлѣ,—соглашалась старушка.— А вонъ меня-то ужъ и земля не терпѣть, и настоящее не терпѣть.

Старушка остановилась и безнадежнымъ жестомъ выразила, что она не желала бы ни вспоминать, ни говорить: что-то горькое прошло по ея памяти...

— Что жизнь, что слава, что радость молодого сердца! Сонъ, греза, призракъ, обманъ... Да что! молода я была тогда — вѣрила, охъ какъ много вѣрила!—и она, положивъ руку на столъ, задумалась.

Все время, какъ говорила старушка, то останавливаясь и, повидному, теряя нить воспоминаній, то слабо кашляя—Софи Давыдова глазъ съ нею не спускала. Въ глазахъ этихъ свѣтилось и глубокое сочувствіе, и горечь, и стыдъ, такъ что казалось—вотъ-вотъ она расплачется.

— Да, да, правъ былъ Вольтеръ, охъ, какъ правъ, — продолжала какъ-бы про себя бормотать старушка: --- чувство благодарности, память сдѣланнаго намъ добра это—камень на сердцѣ... да, камень, истинно камень, да какой еще горючій!.. Тяжеле неоплаченного долга это чувство благодарности: это вексель вѣчный, на какую угодно сумму, и сколько по немъ ни плати, все долгъ останется не погашеннымъ... Да, правъ онъ былъ, правъ, а я, молоденькая, не вѣрила ему,—я вѣрила въ дружбу, въ родство сердецъ и... осталась сиротою, горькою сиротою, словно безродная на землѣ... За дружбу мою, за жаръ сердца молодого мнѣ платили—охъ! я сразу поняла это—мнѣ платили деньгами, какъ по векселю сердца... Въ сердцѣ вексель! странно подумать, а оно такъ... да, да, истинно такъ... Печально мнѣ стало, охъ, какъ печально!.. И я повесела мою печаль мыкать по свѣту, я побывала вездѣ, гдѣ думала найти терновникъ острый, чтобы на иглахъ его лепесточками малыми растрепалась печаль моя... Такъ вѣтъ! не растрепалась она, не размыкалась: куда я, туда и она со мной, какъ бы я ни веселилась, а на душѣ, въ глубинѣ гдѣ-то тамъ, все болѣло и саднило... Все это вокругъ меня ухаживаетъ, отовсюду почтеніе да аттенція, эти ученые да философы, принцы да герцоги—все это трубить обо мнѣ, у всѣхъ на языкѣ мое имя, и льстятъ это молодой суетности моей... да, да, льстить, только льстить, а не утѣшаетъ: въ сердцѣ-то, я чувствую это, паутина завелась, да такая цѣпкая, что ко всякому лепестку моего счастья, ко всякой моей радости такъ вотъ и липнетъ, такъ вотъ и тянется эта тонкая ниточка паутины... Да, паутина, кругомъ паутина... Да такъ эта ниточка цѣпкая и до гроба моего протянется...

Она опустила голову и закрыла глаза. Можно было подумать, что она

спить, если бѣ сухія, тонкія, втянутыя беззубымъ ртомъ губы не шевелились.
— О, жестокое время!—невольно вырвалось у кого-то тихое восклицаніе.

Всѣ оглянулись. Софи Давыдова, у которой, словно у маленькаго ребенка, собирающагося плакать, дрожали губы, стыдливо прятала лицо за спину своей пріятельницы, Аннетъ Хомутовой.

— Да, мой дружокъ, день и ночь я живу прошлымъ, мертвымъ и сама я живой мертвецъ стала... Ночью, чуть забудусь—я переношусь въ прошлое, я живу съ моими милыми, которыхъ ужъ давно нѣтъ... А просыпаюсь—меня охватываетъ ужасъ сознанія, что я во снѣ бредила счастьемъ... И такъ-то весь день: гляну на солнце—я не его вижу, а прошлое: такъ-то оно свѣтило тогда, когда мы въ Фернеѣ бродили съ нимъ, съ Вольтеромъ, по его любимой аллеѣ... А теперь и онъ умеръ, и солнце умерло... Въ каждомъ звукѣ жизни я слышу звуки прошлаго, въ каждомъ встрѣчномъ лицѣ я ищу слѣдовъ тѣхъ лицъ, которыхъ уже нѣтъ... И небо не то, не мое, и птицы не тѣ, и пѣсни ихъ инныя... Такъ-то, государи мои... Человѣкъ изображаетъ свое собственное кладбище: воспоминанья его—это кресты надъ могилами усопшихъ... А на моемъ-то кладбищѣ сколько крестовъ—Боже, Боже! словно на Выганьковомъ кладбищѣ.

Старуха поникла головой и замолчала. Никто не смѣлъ нарушить этого молчанія. Послышались чьи-то сдержанныя всхлипыванья. Это плакала Софи Давыдова, уткнувшись носомъ въ платокъ—только плечи вздрагиваютъ.

— Что съ тобой, голубушка моя, Соня дорогая?—нагибается къ ней встревоженная Аннетъ...

— Ничего, ничего, милая... Мнѣ... мнѣ жаль княгиню... бѣдная, бѣдная она.—И дѣвушка еще пуще заплакала. Къ ней подошли Денисъ и Козловъ.

— Софи! о чемъ ты?... Что съ ней?—спрашиваетъ Денисъ.

— Не вынесла разсказа, бѣдненькая—о княгинѣ плачетъ.

— Ахъ, Софи! какъ не стыдно...

— Какъ вамъ не стыдно останавливать эти святые слезы!—неожиданно вспылитъ Козловъ.—Оставьте ее, мы съ вами такъ не заплачемъ—у насъ слезы будутъ грязныя.

Всѣ съ удивленіемъ посмотрѣли на Козлова; даже плачущая отняла платокъ отъ глазъ и робко взглянула на него. Онъ былъ неузнаваемъ: блѣдное лицо вспыхнуло, губы дрожали...

— Оставьте ее! не мѣшайте ей!...—и нетерпѣливо махнувъ рукой, онъ вышелъ изъ комнаты.

— Вотъ онъ всегда такъ—такой сумасшедшій! Самъ же дурачился, издѣвался надъ старушкой, а теперь на насъ же накинулся,—объяснила огорченная Аннетъ.

— Ничего, милая,—я ужъ не плачу,—успокаивала ее Софи.

— То-то не плачу... А онъ на насъ же вспылитъ—зачѣмъ не плачетъ, зачѣмъ помѣшали плакать! Я ужъ его знаю... Теперь онъ, навѣрное, въ саду безумствуетъ: бѣгаетъ и цвѣтники портить.

Когда вслѣдъ затѣмъ Аннетъ, Софи и Мерзляковъ съ Денисомъ вышли на террасу, то позади цвѣтниковъ, за кустомъ рябины, они услышали голоса Козлова и Яшки.

— И тебѣ никогда не хотѣлось удавиться или утопиться?—сердито говорилъ первый голосъ.

— Помилуйте, баринъ, какъ же это можно!—нерѣшительно отвѣчала Яшка.

— Врешь, дуракъ! развѣ тебѣ никогда не было скверно, такъ чтобы въ петлю, значить?

— Какъ не бывать—бывало... А что подѣлаешь, баринъ,—жить надо.

— Да ты просто философъ, чортъ побери! А ты вотъ что, Яша, пооди да вынеси мнѣ тихонько мой плащъ, шляпу и трость. Я хочу улепетнуть.

— Такъ вамъ и позволили!—раздался вдругъ голосъ Аннетъ.

Застигнутый врасплохъ, Козловъ вышелъ изъ-за рябины. Яшка скромно удалился черезъ калитку, бормоча про себя: „Вотъ чудной баринъ... всегда такой... должно съ жиру бѣсится, да не съ чего: худъ какъ щепка... а добрый баринъ“...

— Вы что, сударь, хандрить вздумали?—продолжала Аннетъ.

— Нѣтъ, кузина,—такъ...

— Знаю, я васъ—такъ!

— Да вотъ тѣ Христосъ такъ! лопни глаза-утроба! съ мѣста не сойти...

— Знаю, знаю... Чѣмъ вамъ хуже, тѣмъ вы больше дурачитесь.

— Да я, милая кузина, и не дурачусь... Я вотъ сочиняю оду московскому небу—Глинкѣ общалъ въ „Русскій Вѣстникъ“, да Карамзинъ въ „Вѣстникъ Европы“ перебиваетъ... Вотъ начало:

Небо бѣлобрысое
Въ Москвѣ оказалось,
Уранія лысая
Намо тка досталася,
Что съ сѣдою крысою—
Съ Нордомъ обвѣнчалася...

Гости засмѣялись. Смѣялась и Софи, хотя глаза ея были еще заплаканы.

— Чѣмъ хуже какой-нибудь державинской оды? И у него непременно Нордъ, и у меня Нордъ, только у него Нордъ „сиповатый“, должно быть самъ Борей, а у меня онъ „сѣдой“, ибо покрытъ снѣгами. Да у меня и „лысая Уранія“ обрѣтается.

— Только у васъ „зефировъ крылатыхъ“ нѣтъ да „нимфъ“,—замѣтилъ Денисъ Давыдовъ.

— Что-жъ, и зефиры будутъ, и нимфы...

И Козловъ, разставивъ ноги и уткнувъ въ лобъ указательный палецъ, торжественно продекламировалъ:

Зефиры безъ штаниковъ.
Но съ вяземскимъ пряникомъ,
А нимфы безъ юбочекъ,
Но... но...

Вотъ, канальство, рифмы и не подберу... Алексѣй Ѳеодорычъ! профессоръ пѣтики! помогите,—обратился онъ къ Мерзлякову.

— А вѣдь ваша шутка больше серьезна, чѣмъ вы ей придаете значенія,—спокой носказалъ Мерзляковъ.—Я вижу и предчувствую, что въ русской поэзіи долженъ скоро совершиться переломъ и... крутой... По вашей шуткѣ я сужу, что „норды“, „зефиры“, „нимфы“ и вся эта греческая мионика въ поэзіи начинаетъ возбуждать смѣхъ. Державинъ умираетъ, умираетъ и его поэзія съ мионикой... Въмѣсто Державина на Руси долженъ народиться новый поэтъ—народный безъ мионики...

— А съ лаптями на ногахъ... Да такой ужъ народился.

— Кто же онъ?

— Да я, Козловъ—къ вашимъ услугамъ, господинъ профессоръ.

— Дай-то Богъ.

— А скажите пожалуйста,—перебила его Аннеть,—какое впечатлѣніе произвела на васъ княгиня Дашкова?

Мерзляковъ, помолчавъ въ какомъ-то нерѣшительномъ раздумьѣ, отвѣчалъ съ грустью:

— Признаюсь вамъ, Анна Григорьевна, если бъ я увидѣлъ теперь вотъ здѣсь, у меня подъ ногами, черепъ Цезаря—это зрѣлище едва-ли бы произвело на меня впечатлѣніе болѣе горькое, чѣмъ видъ Дашковой и ея разсказъ. Это черепъ Цезаря, которымъ играютъ дѣти... Вы, кажется, глубже всѣхъ насъ прочувствовали это,—ласково обратился онъ къ Софи.

— Да, я не могла слушать,—застѣнчиво отвѣчала дѣвушка.—Я другое думала...

— Что же вы думали?

— Мое сердце обливалось кровью при мысли, что она сама не сознаетъ, какъ жалка она, какъ отжила... Мнѣ кажется—я объ этомъ думала прежде совсѣмъ по другому поводу—что люди не сознаютъ своего паденія или несчастія, и видъ этого со стороны невыносимъ.

— Это глубокую мысль сказали вы, сударыня, глубокую,—повторилъ Мерзляковъ задумчиво.—Это такъ же справедливо, какъ и то, что мы сами не чувствуемъ нашего движенія вмѣстѣ съ землею вокругъ ея оси.

— Одни пьяные это чувствуютъ,—замѣтилъ философски Денисъ, которому въ кругу боевыхъ товарищей, и особливо въ обществѣ закадычнаго друга Бурцева, не разъ приходилось испытывать это вращательное движеніе съ землею около ея оси.

Только Козловъ, противъ своего обыкновенія, стоялъ молчаливый, задумчивый и грустный, скорѣе какъ-бы злой. По временамъ онъ взглядывалъ на Софи, и по лицу его пробѣгала какая-то добрая, смягчающая это лицо тѣнь. Аннеть видѣла это и почувствовала что-то на сердцѣ нехорошее, точно ссадина какая-то, боль тупая.

Когда они воротились изъ саду, княгиня Дашковой уже не было.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Д. Л. Мордовцева.

ДВѢНАДЦАТЫЙ ГОДЪ

ИСТОРИЧЕСКІЙ РОМАНЪ

ВЪ ТРЕХЪ ЧАСТЯХЪ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Томъ VII.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Изданіе Н. О. Мертца

1901.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 7-го марта 1901 г.

Типографія „В. С. Балашевъ и К^о“. Спб., Фонтанка, 95.

I.

На другой день Мерзляковъ проснулся поздно. Сонъ его былъ тревоженъ: то грезилась ему „Уранія“ въ образѣ княгини Дашковой, то „Нордъ-сиповатый“ въ видѣ графа Ростопчина, то Анюта Хомутова въ подвѣчномъ платьѣ, а самъ бакалавръ—въ роли жениха; только вмѣсто свадебнаго пѣнія доносилась откуда-то грустная мелодія его собственной пѣсни—„Среди долины ровныя“.

Проснулся онъ, впрочемъ, свѣжимъ и бодрымъ. Но едва успѣлъ умыться и облечься въ халатъ, какъ Мавра сурово доложила, что въ кухнѣ дожидается его „Ярыжка, что называетъ себя Кузькою Цицерою“.

— Говорить, безпремѣнно повидать долженъ,—большое, говоритъ, за нимъ дѣло есть.

— Ну, пошли его сюда,—торопливо сказалъ Мерзляковъ.

Онъ зналъ, что Кузька Цицеро даромъ не придетъ. Это былъ дѣйствительно ярыжка, писецъ полиціи; но когда-то онъ состоялъ наборщикомъ въ типографіи „Дружескаго типографическаго общества“, основаннаго знаменитымъ Николаемъ Ивановичемъ Новиковымъ, издателемъ „Древней российской вивліюени“, а потомъ арендаторомъ московской университетской типографіи, университетской книжной лавки и „Московскихъ Вѣдомостей“. Когда въ 1792 году Дружеское типографическое общество было закрыто, Кузьма Цицеро пересталъ быть наборщикомъ, а чтобы кормиться поступилъ писцомъ въ полицію. Въ полиціи онъ сталъ пить, сдѣлался положительно ярыжкой, но ни о Новиковѣ, ни о его типографіи не могъ вспоминать безъ слезъ. Въ типографіи этой судьба столкнула его съ Мерзляковымъ, тогда еще четырнадцатилѣтнимъ юношей, приносившимъ иногда отъ Новикова корректуры. Кузьма Цицеро былъ просто Кузька-наборщикъ, но товарищи прозвали его Кузькой Цицеро за то, что въ началѣ своей наборщицкой дѣятельности онъ постоянно смѣшивалъ шрифтъ „цицеро“ съ „петитомъ“ и больше любилъ набирать первымъ, чѣмъ послѣднимъ. Оплакивая Новикова и его типографію, какъ свою первую погибшую любовь, Кузька Цицеро старался хотя окольными путями служить „старцу Божію“, какъ онъ называлъ Новикова, въ память своей первой любви—„матушки

типографушки“, съ закрытіемъ которой онъ, съ горя, и началъ пить „забвенія ради“. Вслѣдствіе этого, когда по полиціи возникла какая-нибудь переписка о мартинистахъ, къ которымъ принадлежалъ Новиковъ, Кузька Цицero, узнавъ объ этомъ, тотчасъ спѣшилъ предупредить о грозящей опасности или самого Новикова или друзей его, и прежде всего забѣгалъ къ Мерзлякову, котораго зналъ лично.

Цицero вошелъ въ кабинетъ Мерзлякова и помолился на образъ. Онъ былъ въ старомъ, затасканномъ кафтанишкѣ казеннаго покроя. Лицо было красновато, съ припухшими щеками и мутными глазами, какъ это часто можно видѣть у людей, придерживающихся рюмочки. Рѣдкіе, посѣдѣлые, но только мѣстами, волосы казались какими-то пѣгми. Особенно пѣгою казалась голова съ правой стороны, выше праваго уха: это происходило оттого, что Цицero всегда вытиралъ перо о свои волосы, о правый високъ, и на сѣдѣхъ волосахъ чернила были очень замѣтны. Рукава кафтана у Цицero, отъ обшлаговъ до локтевыхъ загибовъ, съ нижней стороны были обшиты синей сахарной бумагой — съ цѣлю предохранить ихъ отъ протиранья при безпрестанномъ ерзаньи по столу во время канцелярскаго строченья. Лицо пришедшаго выражало доброту, мягкость и полное безволие. Вся голова и особенно лицо казались сдѣланными изъ размякшаго воску и подрашены, скорѣе подпачканы. Видно было, что Цицero уже выпилъ.

— Здравствуй, Кузьма, садись... Что хорошенцкаго скажешь? — прѣтливо обратился къ нему хозяинъ.

— Здравія желаю, батюшка Алексѣй Фeдopычъ... Вы знаете, я воронъ—все каркаю у васъ,—отвѣчалъ Цицero загадочно.

— Что же случилось?

— Да вотъ насчетъ Николая Ивановича. Выжиг тутъ есть у насъ въ Москвѣ, Сальватори зовутъ, такъ онъ на Николая Ивановича наядбничалъ, будто де тотъ съ французами въ сношеніяхъ состоитъ... Ну, вотъ и начнется дѣло. А гдѣ онъ теперича обрѣтается—въ вотчинѣ?

— Въ вотчинѣ, въ Авдотинѣ селѣ. А скоро будетъ дѣло?

— Да какъ напишутъ, да перепишутъ, да подпишутъ, да въ исходящую запишутъ, да запечатаютъ, да пошлютъ, да повезутъ, да привезутъ, да принесутъ, да запишутъ въ дежурную, да подадутъ, да распечатаютъ, да прочтутъ, да запишутъ во входящую, да опять принесутъ, да доложутъ, да резолюцію положутъ, да предписаніе напишутъ, да перепишутъ, да подпишутъ, да скрѣпятъ, да въ исходящую запишутъ...

— Да будетъ тебѣ!—со смѣхомъ сказалъ Мерзляковъ:—вотъ наладить.

— Да я дѣло, батюшка Алексѣй Фeдopычъ, говорю: это дѣло канцелярское,—вы его не знаете... Вотъ какъ сорокъ-сороковъ разъ бумагу напишутъ, да скрѣпятъ, да подпишутъ, да опять напишутъ, да опять скрѣпятъ, да доложутъ, да передоложутъ, да заслушаютъ, да прикажутъ — такъ вы, батюшка, и успѣте въ Авдотинѣ пообѣдать, а въ Москвѣ поужинать.

— Твоя правда, Кузьма, ты хороший, и умный человекъ, — сказалъ Мерзляковъ, пожимая руку своему бѣдному другу.

— Да, былъ и я когда-то человекъ! Поживи я у Николая Ивановича, поработай годокъ-другой, гляди и метранпажемъ сдѣлалъ бы, а то и факторомъ, да и жалованье бы какое положилъ—княжеское! вотъ какое жалованье! Онъ милліонами ворочалъ... А что книгъ-то мы печатавали — горы! съ Воробьевы горы вороха! Одной бумаги шло—Москву рѣку запрудить мы могли этой самой бумагой... А шрифтовъ что — пудами! Эти самыя петиты, да цецеры, да египетскіе—лопатами сгребали...

— Вотъ что, другъ Кузьма, я велю подать водочки да закусочки: выпьемъ и закусимъ.

— Дѣло хорошее, батюшка Алексѣй Фодорычъ, а въ Авдотьино еще поспѣете.

— Поспѣю, разумѣется.

Мерзляковъ всталъ, отворилъ дверь въ залу и крикнулъ:

— Ариша! Ириночка!

— Что дядя?—послышался молодой, мелодическій голосокъ, уже знакомый намъ.

Ириша выбѣжала въ залу въ бѣлой блузочкѣ. День былъ необыкновенно душный, и дѣвушка была одѣта совсѣмъ легко, по спальному.

— Здравствуй, дядечка, — сказала она, подбѣгая къ двери кабинета и цѣлуя у бакалавра щеку.—Мы еще не видались.

— Здравствуй, Ириней! Вотъ что, дружокъ; попроси у маменьки водки да закусить чего-нибудь, да только сама принеси въ кабинетъ—не трогай Мавру, а то она опять ворчать станетъ, что у нея или пироги подгорѣли, или каша изъ печи ушла.

— Хорошо, дядечка, — она и не узнаетъ ничего... А у тебя Кузьма?

— Кузьма, матушка барышня, Кузька Цицero, красавица,—радостно отозвался Кузьма, показываясь въ дверяхъ.—Ишь ангелочекъ какой, истинно ангелочекъ—въ ризкахъ бѣленькихъ.

— Здравствуй, Кузьма...

И дѣвушка убѣжала со смѣхомъ.

— Подлинно херувимчикъ—дитя Божье, безгрѣшное,—повторялъ про себя Цицero.

Скоро и водка, и закуска были готовы. Ириша внесла все это на подносъ, поставила на столъ, и едва Цицero успѣлъ прикоснуться губами къ подолу ея капота, исчезла за дверью.

Выпили по рюмочкѣ. Мерзляковъ налилъ для Цицero другую. Тотъ выпилъ. Но пилъ онъ какъ-то странно: лицо его при процессѣ питья не дѣлало тѣхъ сладострастныхъ гримасъ, какія замѣчаются у настоящихъ пьяницъ; онъ не присмакивалъ губами, не кряхтѣлъ отъ удовольствія, а напротивъ — доброе лицо его при этомъ морщилось; онъ смотрѣлъ на рюмку съ отвращеніемъ и злостью, насколько злость была родственна его незлобивой душѣ; онъ выпивалъ рюмку залпомъ, торопливо, какъ что-то

противное, жгучее, но неизбежное, и при этомъ какъ-то горестно качая головой, словно собираясь плакать, провозносилъ: „подлая... подлая...“

Послѣ выпивки Цицero размякъ и раскись еще больше и предался своимъ обычнымъ воспоминаніямъ о „Дружеской типографіи“ и о „старцѣ Божіемъ Николай Ивановичѣ“.

— То-то времячко было, то-то золотое, какъ вспомнишь!.. Собреремся мы это бывало въ типографію раненько, чѣмъ свѣтъ да заря, разберемъ это свои уроки, какой кому урокъ положенъ: кто гранки пригоняетъ, кто текстъ гонить, кто титулъ, кто шмуцтитулъ — и пошло щелканье, пошли погромыхивать у каждой кассы... Тутъ я стою, Цицero, тутъ это Петить — махонькой такой наборщикекъ, такъ Петитомъ звали, тамъ Абзацъ — верзила такой былъ, Сидоръ съ Замоскворѣчья, такъ Абзацемъ звали, — и ну катать, громыхаемъ да громыхаемъ... А тутъ изъ университета прибѣгутъ студенты, начнутъ это объ кураторѣ своемъ рассказывать, объ Михайлѣ Матвѣичѣ Херасковѣ, да изъ его „Россіады“ учнутъ катать наизусть али изъ „Бахаріаны“ — смѣху-то, смѣху что было! А особливо съ „Бахаріаной“: рассказали намъ это студенты, что Херасковъ новую поэму наворотилъ, „Бахаріану“, — такъ тяжела, говорятъ, страсть. Слухъ и пошелъ вездѣ по типографіямъ да по книжнымъ лавкамъ — „тяжела“ да „тяжела“... Вотъ и приноситъ онъ разъ рукопись свою въ лавку купца Подмордина, чтобы тотъ издалъ. А Подмординъ на вѣсы ее — вѣситъ, головой качаетъ... — „Ты что это дѣлаешь?“ — спрашиваетъ его Херасковъ. — „Да тяжела, говорить, сударь, поэма ваша — не можемъ взять...“ — Такъ тотъ плюнулъ и ушелъ... Да ужъ послѣ самъ, тихонько отъ жены, и издалъ себѣ въ убытокъ... Эхъ, времячко было! такъ бы и умеръ въ типографіи!

— Да что-жъ ты послѣ въ другую типографію не поступилъ, а въ полицію пошелъ?

— Не судилъ Богъ.

— Отчего такъ? кто мѣшалъ?

— Да съ горя-то у меня руки трястись стали, ну, и не гоюсь въ наборщики, шрифты только путаю да роняю... не судьба...

— А не съ водочки-ли?

— Съ этой, съ подлой-то? Нѣтъ, не съ нее!

И онъ еще выпилъ этой „подлой“ и опять горестно покачалъ головой.

— Какъ будете, батюшка, въ Авдотѣинѣ, скажите отъ меня старцу Божію, Николай Ивановичу, что Кузька-де Цицero земно ему, отпу и благодарѣтелю, кланяется, стопы-де его лобызаетъ.... Онъ зналъ меня, Кузьку Цицero... Какъ это бывало придетъ въ типографію, глянетъ это на насъ, улыбнется, а у насъ и ушки на макушкѣ, а рты отъ радости до ушей: „Работайте, говорить, работайте, дѣтки, да только воздухъ чаще, говорить, освѣжайте, чтобы окна были лѣтомъ настезъ, а то, говорить, эта свинцовая пыль вредна для здоровья... И чтобы вы думали, батюшка Алексѣй Федорычъ, — воздухъ этотъ отъ литеръ такой дѣлается, что ни одна

тварь въ типографіи не жила: ни крысы, ни мыши, ни клопы, ни тараканы—ничто не держалось; даже, я вамъ скажу, кошка дурѣла, какъ бывало полежить на наборѣ али-бо въ кассу заберется... Не выносить это никакая тваря этого духу...

Мерзляковъ, слушая полупьяную болтовню, задумчиво улыбался. Онъ самъ вспомнилъ, какъ юношей бѣгалъ въ типографію, удивлялся быстрой работѣ Кузьки Цицero, который бывало, взглянувъ въ оригиналъ, закрывалъ глаза и такъ съ закрытыми глазами набиралъ, приче́мъ его руки необыкновенно быстро бѣгали по кассѣ и никогда не ошибались въ выборѣ той или другой буквы. Юношу Мерзлякова изумляли горы бумаги и книгъ, выходившихъ изъ „Дружеской типографіи“ Новикова.

— Ну, пора мнѣ и въ свою постылую — строчить лепорты да пачпорты... Счастливо оставаться, батюшка Алексѣй Федорычъ... Спасибо на угощеньи, на привѣтѣ, на ласковомъ словѣ... Не забудьте же старцу Божію поклониться отъ горькой пьяницы, отъ Цицеры...

Онъ торопливо поклонился, какъ-бы стыдись дружескаго пожатія руки бакалавра, и такъ-же торопливо вышелъ.

— Ишь, шляется ярыга!—послышалась въ передней воркотня Мавры, когда Цицero уже вышелъ на дворъ.—Утопилъ ужъ зенки безстыжія! Шинига этакая!

Вслѣдъ за выходомъ „Цицеры“ въ кабинетъ вошла Ириша, которая, повидимому, сгорала нетерпѣніемъ узнать, въ какомъ расположеніи духа воротился дядя съ раута. Она не безъ основанія угадала вчера, что и у дяди ея „не достаетъ одной пряди волосъ“ или, скорѣе всего, сердца, которое потеряно бакалавромъ чуть-ли не въ домѣ Хомутовыхъ. Любя сама, дѣвушка поняла, что и ея сердце съ нѣкоторыхъ поръ стало глазастѣе и чего не видѣло прежде, то начинало усматривать теперь. И странное дѣло, — ей показалось, она даже это сознавала, что съ того момента, какъ она догадалась, что и у дяди „не достаетъ пряди волосъ“, она становилась съ нимъ на одну доску: дядя изъ философа превращался для нея въ такого-же человѣка „съ обрѣзаннымъ локономъ“, какъ и она сама,—и дѣвушка стала смѣлѣе... „У! тихоня дядька!“ говорило въ ней какое-то товарищеское чувство.

— Что, дядечка, весело было вамъ вчера у Хомутовыхъ?—смѣло зашебетала она.

— Нѣтъ, очень невесело, Ириней, — отвѣчала бакалавръ, не глядя на нее.

„Вѣднѣй дядечка!“ — разомъ подумала она: „вѣрно та огорчила его...“ И ей стало жаль дядю.

— Отчего невесело, дядечка милый?

— Да пришлось самому убѣдиться, братъ Ириней, что слава міра сего—листь на древѣ... Подулъ вѣтеръ—и опалъ листь.

Дѣвушка не могла понять, на что намекаетъ дядя—на личное-ли какое горе, или на что-либо иное.

— Что же такое случилось, дядечка?—спросила она нерѣшительно.

— Да была тамъ княгиня Дашкова, — помнишь, я тебѣ много говорилъ о ней.

— Ахъ, да! это та, что была начальникомъ надъ мужчинами?

Мерзляковъ улыбнулся наивному вопросу.

— Да, начальникомъ надъ мужчинами—президентомъ академіи российской.

— Помню, помню, еще портретъ ея видѣла въ мундирѣ и со звѣздой. Что жъ она?

— Она была вчера тамъ... это развалина какая-то жалкая. Вспомнила о томъ, какъ когда-то Вольтеръ у нея ручки цѣловалъ, а теперь ее почти всѣ забыли.

— Бѣдная!

Но ее не то интересовало. Повертѣвшись около дяди и заглядывая ему въ глаза, она стала ласкаться къ нему, какъ маленькая.

— А она, дядечка?

Несмотря на то, что не было сказано, кто она, Мерзляковъ догадался, о комъ спрашиваютъ, и смущеніемъ выдалъ себя... Ириша почувствовала въ этотъ моментъ, что она съ дядей не только на одной доскѣ, но что, напротивъ, они помѣнялись ролями: она стала дядей, а онъ — смущеннымъ Иринею.

— Кто она? — спросилъ бакалавръ, стараясь быть равнодушнымъ, хотя и у него она прозвучала какъ-то особенно, подчеркнуто, крупно.

— Да ваша ученица, дядечка?

— Ничего... что жъ ей...

— А съ вами, дядя, она ласкова?

— Ласкова.

— И любить васъ?

Бакалавръ опять смутился.

— Да что ты пристаешь ко мнѣ, гадкій Ириней! Какъ да какъ! Ну, какъ обыкновенно любить учителя,—говорилъ онъ, стараясь спрятать глаза.

— Учителя... А она хорошенькая?

— На Мавру похожа!

Ириша расхохоталась. Она увидѣла, что дядя овладѣлъ собой.

— А вы ее, дядечка, любите?—ластилась она словно кошечка.

— Люблю.

— А какъ? много? очень?

— Конечно, больше, чѣмъ тебя.

— Вотъ еще!

Но въ душѣ она сознавала, что иначе и быть не можетъ, что и сама она любить его больше, чѣмъ дядю.

— Однако, Ириней, намъ сегодня надо будетъ пораньше пообѣдать,—сказалъ бакалавръ дѣловымъ тономъ.—Что маменька?

— Да она все съ этой богомолкой, дядя.

— А развѣ она и ночевала у насъ?

— Да. Бабушка въ восторгѣ... Та ей іорданской водою глаза мазала и бабушка говорить, что глазамъ лучше стало.

— Ну, теперь маменька будетъ съ ней цѣлую недѣлю носиться — и пускай! Меньше будетъ жаловаться на поясицу да на глаза... А я послѣ обѣда сейчасъ ѣду.

— Куда, дядечка?

— Въ Авдотьино, къ Новикову.

— Это къ тому старичку, что мы въ прошломъ году съ вами ѣздили?

— Да, къ нему.

— Ахъ, дядечка милый, Возьмите и меня съ собой!

— Нѣтъ, Ириней, нельзя... Я по дѣлу, не надолго — на день не больше, и сейчасъ же ворочусь.

— Ахъ, дядя! — и дѣвушка сдѣлала печальное лицо. Ей вспомнилось, какъ хорошо въ прошломъ году было въ Авдотьино, какъ ей понравился старичекъ, его птицы, звѣри; рыбы, лѣсъ — все тамъ такъ хорошо! Тамъ просто рай. Мельница съ шумящими колесами, съ этой жемчужной водою, съ ея неустанной стукотней... А этотъ пчельникъ у опушки лѣса, этотъ пчелинецъ съ ситомъ на лицѣ и съ головою въ мѣшкѣ... эти рои пчелъ...

Дѣвушка вспомнила вечеръ въ Авдотьино. Что за вечеръ волшебный! Этотъ добрый старичекъ Новиковъ сказалъ ей, что на завтра пчелинецъ ожидаетъ, что нѣкоторые ульи будутъ роиться, что въ нихъ „молодые матки плачутъ“. — „Какъ плачутъ?“ — спрашиваетъ Ирина: „о чемъ?“ — „А вотъ о чемъ, милая“, — говоритъ дѣдушка Новиковъ: — „каждое лѣто старые пчелиные ульи роятся, то-есть пчелы выводятъ дѣтей. Дѣти эти не остаются въ старыхъ ульяхъ, у родителей, потому что въ домѣ родителей имъ было бы тѣсно, и потому молодые пчелы, какъ скоро возмужаютъ, должны покинуть домъ родительскій и искать себѣ новаго жилья... Въ каждомъ ульѣ есть своя матка, которой всѣ остальные пчелы ея улья служатъ. Матка очень добра; у нея даже нѣтъ жала, какъ у остальныхъ пчелъ, и потому она не кусается. Всѣ пчелы ее кормятъ медомъ и берегутъ съ дѣтскою почтительностію, и хотя говорятъ, яко-бы она не работаетъ, не собираетъ медъ со цвѣтовъ, но это ошибочное мнѣніе: у матки есть свое дѣло, очень важное. Но не въ томъ вопросъ, милая. Я хочу тебѣ только разсказать и объяснить, почему передъ роеньемъ молодого роя молодая матка плачетъ. Я сказалъ, что каждый улей имѣетъ свою матку. Таковую же матку, молодую, имѣетъ и каждый молодой рой; долженствующій роиться, то-есть оставить улей родителей своихъ и ядти искать себѣ новаго убѣжища. Эта-то молодая матка, говорятъ, разставаясь съ домомъ родительскимъ, и плачетъ, стонетъ тихо передъ разлукою съ родителями. Молодые матки, пчелинецъ подслушалъ, плачутъ и значить на завтра надо ожидать новыхъ роевъ...“ И Иришѣ захотѣлось подслушать, какъ плачетъ матка. И вотъ вечеромъ дѣдушка Новиковъ повелъ ее на пчельникъ. Была уже ночь — тихая, благоуханная... Въ роцѣ шелкалъ соловей, по временамъ

замолкая и снова заводя свое беззаботное, мелодическое пощелкивание своим маленьким музыкальным горлышком... Подходить они къ одному улью, на который указал пчелинецъ. Сначала прикладываетъ къ нему ухо пчелинецъ, старичекъ въ бѣломъ толстомъ колпакѣ, и слушаетъ... „Плачетъ“, шепчетъ онъ. Прикладывается къ тому-же улью ухомъ и дѣдушка Новиковъ, слушаетъ долго. „Плачетъ“, шепчетъ и онъ. Со страхомъ, съ замيرانіемъ сердца и Ириша прикладываетъ свое розовенькое ушко къ дереву улья. Бьется, бьется ея сердце... за этимъ бѣніемъ она ничего не слышитъ — слышитъ только, какъ ея же сердце стучитъ. Но въ то же время она слышитъ и въ ульѣ какую-то глухую, но тихую-тихую возню, что-то неясное, но среди этого она еще что-то слышитъ... Да, она явственно слышитъ, какъ тамъ, въ деревѣ, что-то стонетъ, не то плачетъ... „А-а-а-а“, точно ребенокъ, да такъ тихо, такъ тихо, что становится даже страшно. И Иришѣ стало страшно. Тамъ живое существо, оно стонетъ сознательно, въ немъ есть боязнь, опасеніе, жалость... И это — въ пчелѣ, въ насѣкомомъ... Ириша отошла отъ улья, вся трепетная, молчаливая, блѣдная. „Что?“ ласково спрашиваетъ дѣдушка Новиковъ. „Да, стонетъ, что-то... плачетъ... я боюсь..“ — „Чего, барышня, бояться?“ — говоритъ пчелинецъ: — „пчелка — Божья работница, на Бога работаетъ, на церковь, — чего ее бояться?“ И ночью потомъ слышалось Иришѣ, когда она старалась заснуть, что словно у нея въ подушкѣ что-то тихо стонетъ и плачетъ: „аа-аа-аа“. Такъ она на этомъ и заснула.

А на утро, вспоминается ей, дѣдушка Новиковъ повелъ ее на пчельникъ, чтобы она сама видѣла, какъ роятся молодые рои и какъ пчелинецъ снимаетъ ихъ. И приходять они на пчельникъ и видятъ, что пчелинецъ ходитъ между ульями и поглядываетъ на деревья. А одѣтъ онъ какъ-то особенно: все на немъ изъ грубаго бѣлаго холста; рукава широкой рубашки обвязаны веревочкой у самой кисти; рубаха у старика уже не на выпускъ, а заправлена въ штаны, и штанины у самыхъ ступней тоже перевязаны веревочками. „Это затѣмъ, — поясняетъ дѣдушка Новиковъ, — чтобы пчелы не забирались за рубаху и не кусали. Да они его, говорятъ, почти никогда и не кусаютъ — привыкли, а только молодая иногда кусаются“. Въ воздухѣ стоитъ невообразимый пчелиный гулъ, пчелы тучами кружатся надъ деревьями, а другія одна за другой вылетаютъ изъ ульевъ и присоединяются къ тѣмъ, что надъ деревьями. „Это молодая играютъ“, — говоритъ дѣдушка Новиковъ, — „ищутъ, гдѣ имъ привиться, къ какому дереву... Вонъ-вонъ, къ той липѣ прививается одинъ рой...“ И Ириша дѣйствительно видитъ, что у этой липы къ одной вѣткѣ все гуще и гуще слетаются пчелы, на вѣткѣ виднѣется уже темное пятно изъ пчелъ; пятно это все растетъ, растетъ, растетъ и превращается въ огромный черный комъ; это все пчелы, одна на другой — словно черная шапка виситъ на вѣткѣ... Какъ онѣ не задохнутся? А около липы уже почти нѣтъ летающихъ. „Привился“, — говоритъ дѣдушка Новиковъ... Тогда дѣдъ Зосима, пчелинецъ, съ помощью мальчика, у котораго совѣмъ

бѣлые волосы, бѣлая бѣлая копна на головѣ,—съ помощью этого бѣлоголоваго „мальца“, котораго зовутъ Микитейкою,—подставляетъ къ лингѣ лѣстницу; потомъ беретъ „роевницу“—лукошко, у котораго дно обтянуто ситомъ, а къ верхнему ободку пришито нѣчто въ родѣ мѣшка; вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ беретъ деревянный ковшъ съ длинной, въ аршинъ длиною, ручкой. „Этимъ ковшомъ онъ будетъ собирать пчелъ на вѣткѣ“,—поясняетъ дѣдушка Новиковъ. Надѣвъ на себя „роевницу“ черезъ плечо при помощи привязанной къ ней веревки, дѣдъ Зосима надѣваетъ на голову маленькое, овальное сито, которое въ видѣ плоской маски или вуаля изъ сита, вдѣланнаго въ лукошко такой величины, что въ него можетъ пройти только лицо,—защищаетъ его глаза, носъ и щеки отъ пчелъ, а такой же принятый къ лукошку, какъ и къ роевницѣ, мѣшокъ обхватываетъ всю голову дѣда и шею и на шеѣ же завязывается. „Это называется наличникомъ“,—поясняетъ дѣдушка Новиковъ. Въ этомъ костюмѣ дѣдъ Зосима кажется не только страннымъ, но даже страшнымъ: лица не видать, а вмѣсто лица и головы—лукошко съ мѣшкомъ. Вотъ онъ крестится на востокъ, подходитъ къ лѣстницѣ и взбирается на нее своими старыми ногами. „Не упади, Зосима“,—предостерегаетъ его дѣвушка Новиковъ:—„пора бы и Микитейкѣ снимать вмѣсто тебя“.—„Нѣту, баринъ, не упаду, Богъ поддержать должонъ, коли я съ молитвой да на святое дѣло. А Микитейка-то еще рыломъ не вышелъ для экого-то великаго дѣла“.—„Ну, ладно“.—И вотъ дѣдъ Зосима подбирается къ самому комку пчелъ и, тихонько подхватывая ихъ ложкой, ссыпаетъ въ роевницу. Пчелы словно въ обморокѣ,—такъ и валятся въ лукошко небольшими черненькими комьями. Все, мажется, снято... Тогда дѣдъ Зосима беретъ рукой вѣтку, на которой висѣлъ рой, и встряхиваетъ въ лукошко остальныхъ пчелъ, которыя еще цѣплялись къ вѣткѣ. Рой снятъ. Дѣдъ Зосима осторожно спускается съ лѣстницы съ закрытою мѣшкомъ роевницею и молча передаетъ ее въ руки дѣдушки Новикова. „Вѣситъ хорошо“,—говоритъ дѣдушка Новиковъ. — „Поди фунтиковъ десять будетъ—вѣтка такъ и гнулась, мало-мало не сломалась“,—съ смиренной гордостью говоритъ въ свою очередь дѣдъ Зосима. Микитейка стремглавъ бѣжитъ въ шалашъ и выносить оттуда безменъ. „Знаетъ свое дѣло соплякъ“,—одобрительно осклабляется дѣдъ Зосима. Взявшивають на безменѣ роевницу съ пчелами—лицо у дѣда свѣтится. „Десять фунтиковъ съ походцемъ“,—говоритъ онъ съ едва сдерживаемою радостью. — „Чистой пчелы?“—спрашиваетъ дѣдушка Новиковъ. — „Чистой, батюшка баринъ: въ роевницѣ три фунта съ походцемъ. Такова роечка Микитейкѣ и не поднять“.—„Анъ подниму!“—протестуетъ бѣлая всклопоченная голова. — „Куда тебѣ, пашенокъ!“

— Ты о чемъ это, Иринея, такъ крѣпко задумался? — спрашиваетъ Мерзляковъ, роясь въ бумагахъ.

Ирина точно отъ сна прокидывается.

— Это я, дядечка, вспомнила, какъ въ Авдотьины дѣдушка Новиковъ показывалъ мнѣ, какъ рой пчелъ снимаютъ съ деревьевъ.

И она, глядя въ окно, снова переносится мыслью въ Авдотьино... Вотъ они сажаютъ въ новый улей молодой рой. Сначала дѣдъ Зосима обкуриваетъ внутренность борти ладономъ. „Что улей свячонный да святой водой кропленный, что домъ съ образами — Божья вотчина“, — говоритъ дѣдъ и кропитъ улей святой водой, открывъ нижнюю затворку. Потомъ онъ вставляетъ въ эту затворку желобокъ, длинненькій, пологій, которымъ пчелы должны войти въ улей, въ свое новоселье. Затѣмъ даетъ дѣдушкѣ Новикову и Иришѣ по зажженной гнилушкѣ—это „курушки“, дымъ которыхъ отгоняетъ пчелъ и предохраняетъ отъ ихъ укушеній. Затѣмъ раскрываетъ роевницу и ставитъ ее бокомъ, чтобы по малому ковшу выкладывать изъ роевницы пчелъ на желобокъ. Предварительно дѣдъ Зосима положилъ въ новый улей кусокъ сотового меду: „хлѣбъ да соль на новоселье молодымъ...“ Пчелы, выпавшія въ желобокъ, сами сразу догадываются, что имъ надо дѣлать: онѣ не летятъ, но стадомъ ползутъ по желобу въ улей, стараясь перегнать одна другую... „Ншь, словно дѣти малыя бѣгутъ, спотыкаются“, — бормочетъ дѣдъ Зосима: „бѣгите съ Богомъ, бѣгите, дѣтушки, работнички Божьи...“ — И онъ любовно креститъ ихъ, а самъ зорко, зорко, уже безъ наличника слѣдитъ за каждою пчелою, хоть ихъ тамъ сотни разомъ спѣшать по желобу... Наличникъ надѣтъ на Иришу—ахъ, какъ она должна быть смѣшна въ наличникѣ, съ лукошкомъ на головѣ!—точь-въ-точь дѣдъ Зосима... даже Микитейка ухмыляется, глядя на нее. А дѣдъ все не спускаетъ глазъ съ ползущихъ кучами въ улей пчелъ. „Гдѣ-то ты, матушка, застряла“, — шепчетъ онъ, ища глазами матку этого молодого роя... „А! вотъ она! вотъ она, красавица, матушка!..“ Это онъ увидалъ матку, которую такъ комкомъ и облѣпили другія пчелы. И какъ только онъ угадалъ ее! Ничѣмъ она отъ другихъ пчелъ не отличается. „А, матушка! пожалуйте въ свою горенку...“ И онъ осторожно-осторожно беретъ ее двумя пальцами и сажаетъ въ „маточникъ“—это родъ фонарика маленькаго на рукояткѣ, съ деревянными, клѣтчатыми, пропускающими свѣтъ стѣнками. „Сиди тутъ—хозяйничай, а дѣтки ужъ безъ тебя не уйдутъ, кормить и беречь тебя будутъ...“ Ахъ, какъ тамъ хорошо въ Авдотьино!..

— Дядечка! голубчикъ! возьмите меня съ собой! съ собой!—съ жаромъ обращается она къ дѣдѣ.

— Да что ты, Ириней, съ ума сошелъ!

— Нѣтъ, дядюленька, нѣтъ!..

— Да на кого мы бабушку оставимъ?

— Съ ней богомолка останется да Мавруша... Съ богомолкой она рада весь вѣкъ говорить... Дядюленька! красавчикъ! возьмите... вѣдь всего на день...

И она постарому, какъ маленькая, бросилась ему на шею. Бакалавръ уступилъ:

— Ну, нечего съ тобой дѣлать, разбойникъ этакій, собирайся. Да чтобъ обѣдъ былъ скорѣе готовъ, послѣ обѣда сейчасъ и въ дорогу.

Ириша неудержимо бросилась цѣловать дядю.

— Постой! постой, душегубъ! ты мнѣ зубы вышибла совсѣмъ!

Въ одно мгновеніе Ириша исчезла изъ комнаты какъ ураганъ, такъ что испугала даже Мавру, торопившуюся на кухню... „Ахъ, Господи! это сущая каторга“,—ворчала баба, не понимая, что сдѣлалось съ барышней.

II.

— Вотъ мы теперича, матушка, ѣдимъ карасиковъ въ сметанкѣ—скусная рыбка, нечего сказать, вкусная. А я, мать моя, кушала въ Ерусалимѣ-градѣ однобокую рыбку. И называютъ эту рыбку камбалой, и глазокъ у нея одинъ-одинешенекъ, и живетъ она въ морѣ...

Такъ за обѣдомъ, при общемъ молчаніи, разглагольствовала странница Авдѣевна, кушая карася въ сметанѣ. Бакалавръ молчалъ, думая о вчерашнемъ вечерѣ и о предстоящей поѣздкѣ. Ириша молчала потому, что мысли ея также витали далеко—то въ невѣдомомъ Фридландѣ, у постели раненнаго Истомина, то въ Авдотьиныхъ... Ей чудилось даже, что она слышитъ, какъ въ ульѣ стонетъ молодая матка пчелиная, и теперь ей слышится не плачъ пчелы, а стоны раненаго, его стоны...

И бабушка молчитъ, вся поглощенная разсказомъ богомолки.

А у крыльца уже стоитъ кибитка, обтянутая черной клееною парусиной. Тройка обывательскихъ, кусаемая мухами, нетерпѣливо бьется на мѣстѣ и глухо звенитъ колокольцемъ, подтянутымъ къ дугѣ для того, что въ городѣ вольной почтѣ колоколець не полагается, а дозволяется ему голосить только за городомъ.

— Ну, съѣли тебя окаяннаго! стой!—довосится голосъ ямщика, успокоивающаго коней.—Кнутомъ дьявола лѣниваго не примешь, а то навонь! муха забиѣла, нѣжный какой!

Обѣдъ конченъ. Мавра укладываетъ въ кибитку коверъ и двѣ подушки.

— Узелокъ вынести? — спрашиваетъ она мрачно, ни къ кому не обращаясь.

— Вынеси, Мавруша,—задумчиво отвѣчаетъ барышня.

Всѣ задумчивы, какъ подобаетъ при проводахъ. Странница даже глубоко вздыхаетъ. По знаку старушки всѣ садятся, нагибаютъ головы, какъ бы обдумывая, не забыто-ли что, въ порядкѣ-ли все... Теперь этотъ обычай уже вывелся, а тогда это сидѣнье и думанье было закономъ. Шутка-ли! человекъ въ путь собирается. Въ дорогѣ все можетъ случиться—и хлѣба не достанетъ, и ось сломается, и разбойники нападутъ. Ёдешь за пятьдесятъ верстъ, молебень служи напутственный...

Посидѣли съ минуту, повздыхали. Даже Ириша смотритъ серьезно, сосредоточенно—можетъ быть, оно такъ и слѣдуетъ...

Встали. Крестятся всѣ на образа. Шепчутъ что-то...

„Луцѣ и Клеопѣ путешествовати хотящу“...—шепчетъ вслухъ Авдѣевна.
„Лука—это дядя“, думаетъ про себя Ириша, „а Клеопы—это я“.
„И рече каженикъ: се вода—что возбраняетъ мнѣ креститися?“—шепчетъ далѣе Авдѣевна.

„Зачѣмъ вода?“ думаетъ Ириша.—„А! каженикъ... помню евангеліе... это кого-то провожали на войну...“

Цѣлуются. Дядя цѣлуетъ бабушку, та креститъ его. И Ириша цѣлуетъ бабушку, бабушка и Иришу креститъ. А Мавра стоитъ у двери мрачнѣе ночи.

Вышли, Ямщикъ уже на козлахъ—встрихивается, подбираетъ возжи, ровняетъ лошадей.

— Эй ты! мухова кума!—за что-то коритъ онъ коренную, рыжую, съ густою гривой кобылу.

Ириша вскочила первая. Изъ кибитки выглядываетъ ея веселое, розовое личико. Кланяется.

— Прощайте, бабуленька.

— Прощай, тарара.

И Мерзляковъ, облеченный въ парусинное пальто, тоже влѣзъ въ кибитку, тоже кланяется, прощается. Старушка креститъ путниковъ... „Лука и Клеопы“, думается Иришѣ: „какой у Луки смѣшной картузъ...“

— Трогать, баринъ?

— Трогай.

— Съ Богомъ! эй ты! мухова кума!

Тронулись. „Мухова кума... какой смѣшной!... Мухова кума...“ И Ириша засмѣялась. И ямщикъ, и дядя невольно на нее оглянулись.

— Ты чему радуешься, дуракъ Ириней?—спрашиваетъ дядя.

— Я ничего... Вонъ онъ лошадь называетъ муховой кумой...

И ямщикъ улыбается. Тройка двинулась не особенно шибко. Да и невозможна въ такой зной быстрая ѣзда, особенно когда предстоитъ сдѣлать до пятидесяти верстъ. Московскія улицы накалились. Раскаленные мостовыя словно каменка въ банѣ: плеснуть на нихъ, такъ паръ пойдетъ. Вѣтру нѣтъ почти совсѣмъ и пыль, поднимаемая колесами и копытами лошадей, клубится въ воздухѣ и почти не опускается на-земь. Духота въ воздухѣ невыносимая. Галки сидятъ въ тѣни съ распушенными, ослабѣвшими отъ жару крыльями и разинутыми ртами; дышать нечѣмъ ни человеку, ни звѣрю, ни птицѣ. Только воробьи да куры особенно дѣятельно кулбются—купаются въ пескѣ и въ пыли за неимѣніемъ воды. Надъ всею Москвою стоитъ какая-то горячая, душная мгла; повидимому, она безсильна подняться туда, вверхъ, къ небу, которое смотритъ словно-бы закованнымъ, запыленнымъ... И деревья запылены, и имъ дышать нечѣмъ...

Когда тройка проѣзжала мимо одного дома, на террасѣ котораго, увитой плющемъ и другою зеленью, сидѣлъ въ креслѣ очень ветхій старикъ, а босоногая дѣвочка зеленой вѣткой отмахивала отъ него мухъ,—Мерзляковъ снялъ картузъ и привѣтливо поклонился старику.

— Что это за старичекъ, дядя?—спросила Ириша,

— А тотъ, котораго „Россіаду“ ты почти всю знала наизусть.

— А! Херасковъ, дядя? Ахъ, бѣдненькій, какой старенькій!.. даже мухъ не можетъ отъ себя отгонять.

— Да, Иришей... Вотъ и сталъ „муховой кумой“, а былъ славень... Съ прошлаго года съ мухами только воюетъ...

— И будетъ всегда... ахъ, бѣдный... „Мухова кума“—вотъ выдумалъ. Ямщикъ опять обернулся и осклабился.

— Но-но! боковы, погромыхай!—поощрялъ онъ лошадей; но погромыхивать было совершенно невозможно, въ-пору-бы только кое-какъ плестись.

Но вотъ и Москва осталась назади; такъ, кажется, и утонула, и задохлась подъ громадной пыльной шапкой, опрокинутой надъ нею. Жилье все рѣдѣетъ и рѣдѣетъ. Въ воздухѣ хотя все такъ-же душно, но дышется легче и легкія свободнѣе забираютъ менѣе пыльный и менѣе испорченный воздухъ. Отъ огородовъ и садовъ тянетъ болѣе влажнымъ воздухомъ, а все еще тяготитъ духота.

— Но-но! боковы, пофыркивай!

Но говорится это такъ лѣнливо, по привычкѣ... И лошади понимаютъ это: такъ же лѣнливо пофыркиваютъ, постукиваютъ трусдой копытцами, а то и шажкомъ, какъ-бы нечаянно, какъ-бы не понимая, что имъ шагъ прибавить велятъ.

— Ишь ты теплынь какая... ажно полдникі бѣгаютъ,—говорить ямщикъ, оглядываясь на сѣдоковъ.

— Какіе полдникі?—спрашиваетъ Мерзляковъ, не слыхавшій этого слова.

— А вонъ, баринъ, бѣгаютъ,—отвѣчаетъ онъ, показывая кнутовищемъ вдоль дороги.

Мерзляковъ и Ириша выглядываютъ изъ кибитки, перевѣшиваются, смотрятъ и ничего не видятъ.

— Да гдѣ ты ихъ видишь?—удивляется бакалавръ.

— Вона, вона... махоньки, такъ и бѣгутъ одинъ за другимъ.

— Да кто же они такіе? Я ничего не вижу.

— А Богъ ихъ вѣдаетъ, кто они,—полдникі, значить, баютъ.

— Да люди что-ли, или звѣри?

— А Господь ихъ! може звѣри, а може люди такіе... Это по здѣшнимъ мѣстамъ рѣдко бываетъ, а у насъ, на Волгѣ, какъ это жарынь наступитъ, такъ они, значить, и бѣгаютъ.

Диву дается бакалавръ, ничего не понимаетъ и ничего не видитъ. А Ириша—такъ та всѣ глаза проглядѣла, стараясь увидать эти таинственныя существа, что въ жарынь по полю бѣгаютъ. Но ничего нѣтъ, ничего не видитъ живого, кромѣ ворона, мѣрно расхаживающаго по черной явѣ или по зеленой, щетинистой озими, или ястреба, тихо плывущаго въ воздухѣ.

— Да растолкуй ты мнѣ, милый человѣкъ, что это за полдникі такіе и гдѣ ты ихъ видишь тутъ?

Ямщикъ даже оборачивается къ сѣдокамъ и показываетъ имъ свое улыбающееся, недоумѣвающее лицо, загорѣлое словно дубленый полушубокъ и почти безъ профиля.

— Да вонъ, баринъ, приглядись ты къ землѣ-то—такъ на четверть, на двѣ отъ земли—такъ, вонъ тамъ кубыть что перебѣгаетъ, двигаютца—духъ не духъ, дымокъ не дымокъ, вода не вода...

И бакалавръ увидѣлъ наконецъ „полдникі“—явленіе слишкомъ хорошо извѣстное всѣмъ, кто жилъ на югѣ, особенно въ степныхъ мѣстахъ: это—движеніе раскаленного, разрѣженного воздуха, замѣчаемое надъ трубой самовара, сильно накаленной углями, не дающими дыма.

— А что, баринъ,—заговорилъ вдругъ ямщикъ, снова обращая къ сѣдокамъ свое безпрофильное, добродушное лицо:—сказываютъ, французъ замирился?

— Да, замирился.

— Такъ... А гдѣ же онъ теперь жить будетъ?—въ морѣ?

— Какъ въ морѣ?

— Да въ водѣ, сказать бы, въ морѣ.

— Да развѣ онъ рыба?

— Не то рыба, не то, сказать бы, человѣкъ... Фараонъ, сказываютъ.

— Какой фараонъ?

— Да тотъ, что по морю по Черному гнался за казаками за донскими, а у казаковъ, значить, была на кораблѣ Иверска Богородица... Какъ махнуть это казаки Иверской—онъ, фараонъ-отъ, и сталъ потопать... А Богъ и говоритъ: „будь ты, грить, фараонъ, человѣкъ-рыба и живи ты, грить, въ морѣ“... Съ той поры и живетъ онъ въ морѣ... А какъ бурѣ быть, такъ онъ это выскакиваетъ изъ воды; выскочить да въ ладоши заплощетъ, да закричитъ—„фараонъ! фараонъ!“—да опять въ море... Ну, буря и подымется...

— Ужъ это тебѣ не странница-ли рассказывала?—спрашиваетъ, переглядываясь съ Иришей, бакалавръ.

— Нѣтъ, баринъ, не странница, а солдатъ оттудова съ офицеромъ, съ Денисъ Васильичемъ Давыдовымъ, пріѣхаль—это баринъ нашъ... Такъ этотъ солдатъ самъ сказывалъ, что видалъ его.

— Кого видалъ?

— Самово фараона, что французомъ назвался.

— Ну гдѣ-жъ онъ его видалъ? Любопытно.

— А въ водѣ... какъ онъ къ царю нашему изъ воды выходилъ.

— И солдатъ говоритъ, что видалъ его въ водѣ?

— Въ водѣ, точно... Это царь нашъ на кораблѣ ѣдетъ съ енералами, выѣхаль на середину моря, заиграль въ трубу золотую, а онъ и вышелъ изъ моря и далъ замиренье.

— Какой-же онъ изъ себя?

— Махонькій, говорить—не то чтобы какъ человекъ, а до пояса человекъ, а тамъ рыба, сказать бы... Вотъ съ имъ и воюй!

— Да, точно... трудно съ такимъ воевать.

— Чего не трудно! Ты къ ему, а онъ въ воду—и поминай, какъ звали!

— Удивительно!

— Чего не удивительно!.. Но-но! боковы!

Мерзляковъ взглянулъ на Иришу. Та сидѣла, вся раскраснѣвшаяся отъ жару и, видимо, сдерживавшаяся, чтобы не расхохотаться. Но при взглядѣ на дядю, который какъ-то отчаянно развелъ руками, она, наконецъ, покатила со смѣху. Ямщикъ, не зная, чему смѣется барышня, только ослабился и передвинулъ свой гречушникъ справа налѣво, чтобы почесать въ затылкѣ.

— Вотъ и толкуй съ ними! — разводя руками, говорилъ бакалавръ: тамъ французъ безпятиый и безъ тѣни и въ зеркалѣ его не видать, а тутъ фараоны въ морѣ да „мухова кума“.

— Ахъ, дядечка! да вотъ и мы вѣримъ въ купидоновъ да въ амуровъ...

— Да это, мой другъ, другое дѣло—мы знаемъ, что это такое...

Въ это время въ сторонѣ отъ дороги, на безоблачной синевѣ горизонта, вырисовалось одинокое развѣсистое дерево. Кругомъ—голая, немножко возвышенная равнина.

— А вонъ, дядя, вашъ дубъ, — сказала Ириша, показывая на одинокое дерево.

— Да, да, точно онъ... Онъ мнѣ далъ мысль написать „Среди долины ровныя“...

— Ахъ, дядечка, какой вы умный!..—И дѣвушка тихо запѣла:

„Одинъ-одинъ, бѣдняжечка, какъ рекрутъ на часахъ...“

— А скоро, баринъ, некрутовъ будутъ брать?—отозвался ямщикъ, услыхавъ слово „рекрутъ“.

— Не знаю, братъ.

— А поди скоро... на ево, на фараонтія на проклятаго... Вотъ я тѣ, мухова кума!

Ириша не вытерпѣла и спросила:

— Да кого это ты муховой кумой называешь? а?

— Я-то?

— Да,—кого?

— Да это у меня, барышня, поговорочка такая—мухова кума да мухова кума...

Жаръ не спадаль, хотя солнце начало уже склоняться къ западу; все косвеннѣе и косвеннѣе становились его лучи и длиннѣе становилась тѣнь отъ кибитки, отъ ямщика, отъ лошадей, и въ особенности отъ дуги. Лошади притомились. Ириша, глядя на тѣнь отъ своей колесницы и перебѣгая мыслью отъ предмета къ предмету, погрузилась въ какое-то полудре-

мтное состояніе. И тамъ, въ глубинѣ молодой памяти однѣ перебѣгающія тѣни, то свѣтлѣе, то менѣе свѣтлыя—и тутъ тѣни, бѣгущія рядомъ съ ними по лѣвую сторону дороги: вмѣсто колесъ—какія-то длинныя, вѣтящіяся фигуры, которыя словно плывутъ по травѣ, по зеленой ржи, по кустамъ... Вмѣсто лошадиныхъ ногъ—множество длинныхъ, неправильно движущихся палокъ. Тѣнь отъ дуги перебѣгаетъ съ пригорка на пригорокъ... Колокольчикъ звякаетъ тоже какъ-то странно: точно и онъ задумывается, забывается, а потомъ вскрикнетъ, проснувшись, и опять звякаетъ полусонно, вяло, неровно... Бакалавръ дремлетъ, покачиваясь то взадъ, то впередъ... Ямщикъ затинулъ было:

„Что ты тра—что ты, тра—что ты, тра—а—вынька!
Охъ, и что ты, траавынька—мура—ты мура—ты мураа...“

— Но-но, боговы!

„Ты мура—ты мура—ты мурааа—вынька...“

— А что, баринъ,—намъ пора бы покормить...

— Что?.. ты что говоришь?—изумляется бакалавръ.

— Покормить бы, говорю... Полъ путины сдѣлали. А тамотко вонъ и поило, есть, холодокъ подъ елками.

— Ладно.

— Ахъ, дядечка, какъ это хорошо! И по травѣ бѣгать можно, и цвѣтовъ нарвать,—обрадовалась Ириша.

— Ну, и закусить бы, Ириней, не мѣшало: въ дорогѣ оно ѣтся.

— Хорошо, дядечка, и закусимъ... И я проголодалась.

Ямщикъ свернулъ съ дороги къ зеленѣвшему у небольшой ложбины лѣску. Лошади прибодрились, подняли головы—и онѣ поняли, что ихъ ждетъ что-то хорошее.

Подѣхали къ лѣску, остановились. Ириша первая выскочила изъ кибитки и подбѣжала къ лошадямъ.

— Ахъ, бѣдненькія, какъ вы измучились... Ну, вотъ теперь отдохнете, напьетесь; покушаете, — говорила она, ласково обращаясь къ лошадямъ.

— Ну! мухова кума! стой—воду увидала.

А изъ-подъ корня старой ели дѣйствительно журчала вода. Ириша бросилась къ роднику и припала на колѣни. Разстегнувъ рукава ситцеваго сѣренькаго платья, она опустила руки въ холодную, родниковую воду. Ахъ, какъ хорошо! какая холодная, чистая вода! Потомъ, зачерпывая въ ладони эту воду, она начала пить, похваливая:

— Ахъ дядечка! какая вкусная вода... такой и въ Москвѣ нѣтъ...—Затѣмъ начала обливаться водой лицо, голову...—Ну, вотъ теперь совсѣмъ не жарко.

Мерзляковъ тоже вылѣзъ изъ кибитки и, разминая усталые отъ си-

дѣнья члены, радостно осматривался. Эта картина разомъ перенесла его въ дѣтство, въ то золотое времячко, когда онъ „на долгихъ“ ѣздилъ изъ училища домой на вакаціи. Такъ же останавливались у ручьевъ, родниковъ и рѣчекъ, такъ же кормили лошадей, лежали на травѣ, купались въ рѣчкахъ, собирали птичьи яички, ловили ящерицъ... О, золотое дѣтство, окрашивающее своими чудными красками всю послѣдующую, часто горькую безпросвѣтную жизнь человѣка!

— Да это рай, просто рай!

— Да, дядечка, въ Москвѣ ничего нѣтъ такого.

И бакалавръ тоже присѣлъ на корточки передъ родникомъ—куда дѣвалась его профессорская важность! Онъ тоже началъ пить первобытнымъ способомъ—пригоршнею... А вода точно сознательно красовалась передъ нимъ своею прелестью: живая струя, пробиваясь между корней ели, скатывалась маленькимъ водопадцемъ въ ложбину, сверкая брилліантами... Бакалавръ еще ниже припалъ къ роднику, окачиваясь голову алмазными струями... „Вотъ бы она увидала меня здѣсь... Что-то она дѣлаетъ теперь?“ мелькнуло въ головѣ бакалавра... „Ахъ,—въ свою очередь промелькнуло въ умѣ Ириши,—если-бы не противный Наполеонъ—фараонъ этотъ—то и онъ, можетъ быть, поѣхалъ бы съ нами...“

Мокрые волосы Ириши распустились и обнаружили отрѣзанную прядь.

— Ишь, Ириненчъ, откарналъ сколько!—замѣтилъ бакалавръ, любуясь косой племянницы.

— Опалила, дядечка, нечаянно... (И нечаянно же вспыхнула какъ маковъ цвѣтъ).

Ямщикъ распрягъ лошадей и тихонько вываживалъ ихъ, а онѣ все таянулись къ водѣ.

— Нѣтъ, братъ, дудки, мухова кума... не дамъ—обопьетесь,—уговаривалъ ихъ ямщикъ:—а ты прежь остынь, да пожри маленько, тады дамъ испить.

Бакалавръ между тѣмъ вынулъ изъ кибитки коверъ и разложилъ его въ тѣни подъ кустами неклена. На коверъ положилъ подушки. Ириша вытащила узелокъ, а изъ узелка кулекъ съ съѣстными припасами. И дядя, и племянница усѣлись на коврѣ, и послѣдняя начала выуживать изъ кулька все, что тамъ было. Сначала вынула бѣлые булки и положила ихъ рядышкомъ, за булками выползли изъ кулька свѣжіе огурцы. За огурцами—каленые яйца, такъ хорошо накаленные, что бока ихъ даже зарумянились; послѣ яицъ—холодная говядина, завернутая въ бумагу; за говядиной—кокурки, съ запечеными въ нихъ яйцами; за кокурками—цыпленокъ, наконецъ—соль въ бумажкѣ.

— О! да мы по-римски, точно Лукуллы какіе,—замѣтилъ бакалавръ.

— Ахъ, Мавра! она завернула соль въ „Кадма и Гармонію!“—воскликнула Ириша:—это отсюда листокъ.

— Что-жъ! „Кадму и Гармонію“ недоставало соли... А въ чемъ завернута курица?

Ириша развернула и стала разсматривать бумагу, а потомъ засмѣялась.

— Что? — спросилъ Мерзляковъ.

— Это, дядечка, „Лейнардъ и Термилиа, или злосчастная судьба двухъ любовниковъ“, что мы съ вами читали.

— А! Макарова попалась Мавръ подъ руку. Вотъ досталось бы намъ за нее отъ Державина: она его ученица.

Начали трапезовать. Не забыли и ямщика, которому отдѣлили хорошую часть своего запаса; а онъ, вынувъ изъ своего буфета, изъ-подъ снѣжня, коровай чернаго хлѣба, сначала съѣлъ огурцы, потомъ яйца, потомъ говядину—все съ чернымъ хлѣбомъ, а затѣмъ скушалъ пару кокурокъ и закусилъ бѣлой булкой. Покушавъ и помолившись на востокъ краткою, но выразительною, имъ самимъ сочиненною молитвою — „за хлѣбъ-за-соль Богородицу-троерушницу, за хлѣбъ-за-соль Миколу-угодника, за хлѣбъ-за-соль Ягоря“, — онъ припалъ къ роднику прямо ртомъ, какъ овца, и удовлетворилъ свою жажду тѣмъ простымъ способомъ, какимъ пили его далекие предки, не знавшіе еще ни ковшъ, ни ложки, какъ подобало дреговичамъ.

— Господи! какъ хорошо здѣсь! — вздохнула Ириша.

— Да, хорошо на лонѣ матери-природы... Въ городахъ-то мы отвыкаемъ отъ нея, черствѣемъ... А здѣсь — къ Богу ближе... и самъ лучше становимся...

— А вотъ они, — указала Ириша на ямщика, — они вонъ какіе...

— Что жъ! они лучше насъ... бѣдны только да непросвѣщенны...

Въ это время вдали, за лѣсомъ, что-то застучало, но такъ глухо и неясно, что какъ будто что-го громоздкое и тяжелое проѣхало по чему-то твердому и гулкому или что-го огромное гдѣ-то далеко упало и разбилось. И Мерзляковъ, и Ириша въ недоумѣніи взглянули другъ на друга. Ямщикъ посмотрѣлъ по тому направленію, откуда слышался ударъ и гулъ, и глянулъ на небо.

— Ишь, Илья... а рано бы, — произнесъ онъ неопредѣленно.

— Что Илья? — спросилъ бакалавръ.

— Колеса, сказать бы, подмазываетъ... рано бы говорю.

— Да какой Илья?

— Боговъ...

— А! Илья пророкъ?

— Онъ самый будетъ.

Ударъ повторился ближе и явственнѣе. Мужикъ снялъ гречушникъ и перекрестился. Голубое небо еще больше поглубѣло, а съ запада, изъ-за лѣсу, на него что-то напоззало съ неопредѣленнымъ глухимъ гуломъ: это надвигалась туча, но какая-то сплошная, безформенная, лѣнивая. Въ ней не было ничего грознаго, рѣзкаго, но это-то и было самое грозное. На сѣромъ, грязно-сизомъ пологѣ кое-гдѣ выдѣлялись бѣловатыя полосы, нити разорванныя... Воздухъ словно чего испугался, дрогнулъ и кое-гдѣ замесался вѣтеркомъ... Кони наострили уши — фыркають... То тамъ, то здѣсь

въ воздухѣ заметались испуганныя птицы, словно думая улетѣть отъ чего-то машущаго на нихъ, гонящагося за ними...

Опять стукъ, но уже не стукъ, а глухая, далекая стукотня и гуль...

— Ну, подвигается... быть грозѣ,—надо прятаться...

И бакалавръ, поднявшись съ ковра, сталъ оглядываться кругомъ. Ириша тоже вскочила торопливо и заметалась: она, видимо, струсила; за минуту оживленное, раскраснѣвшееся личико потускнѣло, какъ-то застыло въ испугъ и стало совсѣмъ дѣтскимъ, съ испуганными, широко раскрытыми глазами...

— А, Ириней! струсиль... заячій духъ напалъ? — улыбается бакалавръ.

— Ахъ, дядечка... коверъ... подушки... громъ...

— Ну, въ кибитку ихъ...

Ямщикъ перевернулъ кибитку задкомъ къ тому мѣсту, откуда надвигалась туча, и крѣпче привязалъ лошадей къ оглоблямъ.

Гулко ударились о верхушку кибитки первые крупныя капли... Грянулъ настоящій громъ; что-то какъ-бы треснуло, обломилось, разорвалось... Ириша такъ и присѣла, а потомъ, дрожа и крестясь, юркнула въ кибитку, словно зайчикъ, блеснувъ въ глаза ямщика бѣлыми чулочками. „Ишь ножки... и глядѣть-то не на что... съ огурецъ... по верхуку поди—словно у робенка“, подумалось ему.

Бакалавръ тоже взобрался въ кибитку.

— Ахъ, Ириней... тебя тутъ и не найдешь... Да ты бы лучше въ бутылку влѣзла...

Ириша не отвѣчала. Она шибко трусила и съ ужасомъ шептала: „святъ-святъ-святъ Господь Саваоѣ, исполни небо и земля...“

А грохотъ и пальба и какое-то разламываніе пополамъ земли, воздуха и небесъ не умолкали. Дождь словно обухами колотилъ въ кузовъ кибитки и что-то лилось, шумѣло, гудѣло, обламывалось, и снова разомъ грохало, и снова грохотало, перекатывалось, сталкивалось, словно шла какая-то свалка невидимыхъ, могучихъ силъ, словно небо шло войной на землю, небесные океаны противъ земли, разрушительныя силы неба противъ демоновъ-чертей, надземныхъ и подземныхъ.

Что-то страшно треснуло надъ самой кибиткой, послѣдоваль ослѣпительный блескъ молніи, снова грохнуло еще страшнѣе... Ириша въ ужасѣ вскрикнула... Да и было отчего: кибитка покатиалась...

— Тпруу! тпруу! черти! мухова кума!.. Стой! стой!

Это рванулись кони, привязанные къ кибиткѣ, и увлекли ее за собой. Ямщикъ съ трудомъ остановилъ ихъ.

Къ счастью, это былъ послѣдній ударъ, но ударъ почти въ упоръ. Туча проносилась къ востоку, а за ней какъ-бы вдогонку разсвирѣпѣвшее небо посылало ударъ за ударомъ, но уже слабѣе—не рѣзкіе, не отрывистые, а словно-бы усталые. Дождь также пересталъ разомъ, какъ бы по приказу, и изъ кибитки высунулось спокойное лицо бакалавра.

Ну, Приню, ты живъ?

Ахъ, дяди! дядя!

Каковъ Нилья?—спросилъ бакатавръ, обращаясь къ ямщику, который отряхивалъ воду съ своего гречушника и самъ встряхивался, мокрый до последней нитки. — Каковъ Нилья?

Уу-уу! сердить, больно сердить.

Скоро показалось и солнышко, словно омытое дождемъ. Вечеръ блисталъ. Въ воздухѣ стояла живительная свѣжесть, дышалось такъ легко, широко, приятно.

Ямщикъ налаживалъ колесницу въ путь, мазалъ оси, запрягалъ. Лошади мотло фыркали, накормленные и освѣженные.

Ахъ, какъ хорошо теперь,—радостно вздохнула Ириша.

Ахъ хорошо, потому что было худо, — философски отвѣчалъ ямщикъ.

Хорошо. Лошади бѣжали ровно, бодро. Наступилъ совсѣмъ вечеръ, но еще и свѣтлый, теплый.

Бакатавръ, покачиваясь изъ стороны въ сторону, подремывалъ. Ириша, покачиваясь изъ кибитки, глядѣла на западъ, гдѣ, по ея мнѣнью, жила Фондландъ, а въ Фридландѣ французскій госпиталь, а въ Шинландѣ...

Ямщикъ затянулъ было:

Волга-матушка бурлива, говорятъ,
Подъ Самарою разбойнички шалать,
А въ Саратовѣ дѣвцы хороши,
Хоро-шиши-шиши-шиши-шиши-ши...
Что въ Саратовѣ, слышь, дѣвки хороши...

А потомъ снова перешелъ на свою любимую:

Охъ, и что ты тра—что ты тра—что ты трааа-вынька...
Ты мура—ты мура—ты мура—ты мурааа-вынька...
Охъ, и что—охъ, и что—охъ, и чтоооо... это за тра...

И Мерзляковъ, и Ириша крѣпко спали. Спалъ и ямщикъ, изрѣдка во снѣ повторяя машинально: „но-но! боگوی“... Спали и „боگوی“, только но привычку передвигая ногами...

III.

Мерзляковъ проснулся первый. Онъ не мало удивился тому, что проспалъ напролетъ цѣлую ночь и очутился уже въ виду Авдотьиного. Утро было роскошное. Солнце, поднявшись изъ-за всхолмленного горизонта, лило своей красновато-золотистый свѣтъ на ярчайшую, какую онъ когда-либо видалъ, зелень; но еще не пекло, а только ласкало и согрѣвало. Надъ

небольшой извилистой рѣченкой, перепруженной плотиной, и надъ небольшимъ-же лѣснымъ, поросшимъ съ одной стороны лопухами и водяными лиліями озерцомъ, подымался, точно сизый дымокъ, прозрачный туманъ, который тутъ-же, на высотѣ аршина надъ поверхностью воды и съѣдали солнечные лучи. По иловатому берегу озерца сновали и пищали маленькіе длинноногіе и длинноносые кулики. Въ воздухѣ было столько ласки, цѣги и обаянія, что бакалавръ, котораго когда-то пеленала и убаюкивала сама природа и который послѣ втянулся въ омутъ городской, безприродной жизни, чувствовалъ, что его охватываетъ умиленіе, граничащее съ желаніемъ глупо, противъ всякой логики, но сладко и искренно зазныкать. Онъ не могъ допустить, чтобы и Ириша проспала такое чарующее утро. А она спала, сладко спала, скукожившись, свернувшись клубочкомъ и уткнувъ носъ въ подушку, точь-въ-точь какъ спалъ Наполеонъ въ Тильзитѣ.

— Ириней! мухова кума тебя спрашиваетъ,—говорилъ онъ, трогая дѣвушку за плечо.

Ямщикъ, который тоже всю ночь прокунялъ на козлахъ, повернулъ къ бакалавру свое безпрофильное лицо и добродушно ухмыльнулся шутиловому барину.

— Но-но, богovy!

— Мухова кума спрашиваетъ...

Ириша открыла глаза и сразу не могла понять, гдѣ она и что съ ней...

— А, мухова кума... Ахъ, дядечка! ужъ и утро...

— А вонъ и Авдотьино,—пояснилъ ямщикъ.

Къ озерцу отъ стоявшей на отшибѣ отъ села помѣщичьей усадьбы шли двѣ человѣческія фигуры, присматривавшіяся къ нашимъ путникамъ. То были — старикъ, опиравшійся на палку, и совершенно бѣлоголовый мальчикъ, несшій корзинку.

— Знаете, дядя, кто это? — радостно сказала Ириша: — это самъ дѣдушка Новиковъ и Микитейка.

— Да, пожалуй что они; у тебя глаза лучше моихъ.

— Они, они, дядечка.

Дорога, по которой ѣхали путники, поворачивала съ плотины къ озерцу, и потому кибитка должна была встрѣтиться съ Новиковымъ и Микитейкой, шедшими къ озеру особою тропинкою. Остановивъ кибитку, Мерзляковъ и Ириша вышли на встрѣчу тому, къ кому ѣхали въ гости.

— Здравствуйте, дорогой учитель! — привѣтливо и почтительно сказали Мерзляковъ, снимая картузъ.

— Здравствуйте, дѣдушка! — почти въ одинъ голосъ привѣтствовала Ириша.

— Здравствуйте здравствуйте, други мои милые! — крѣпко обнимая бакалавра и Иришу, отвѣчалъ старикъ, къ которому относилась привѣтствія первыхъ. — Спасибо, большое спасибо вамъ, что навѣстили анахорета, стараго отшельника.

— „Авдотынского отшельника“, дѣдушка, — поправила Ириша, — у французовъ быть „фернейскій отшельникъ“, а вы, дѣдушка, нашъ русскій — „авдотынский“.

Ахъ ты, козочка моя, ахъ ты, сладкая, — ты всегда сумѣешь сказать старику нѣчто похвальное, лестное... Да только куда намъ въ русскіе дѣзть! нашъ Россія не знаетъ... Ну, авдотынскіе мы — авдотынскими и останемся, — улыбался сказать старику.

Не говорите этого, дорогой наставникъ, — ваше имя живетъ въ сердцахъ русскихъ и слава оная перейдетъ къ отдаленнѣйшему потомству, серьезно замѣтилъ Мерзляковъ.

Старикъ грустно махнулъ рукой...

Старикъ этого былъ — Новиковъ, одна изъ крупныхъ личностей въ новейшей исторіи русской земли, громадная дѣятельность котораго въ пользу развитія русской мысли не имѣетъ себѣ равной. Новиковъ дѣйствительно сдѣлалъ для Россіи почти столько же, сколько Вольтеръ для Европы, и его по справедливости Ириша могла назвать „авдотынскимъ отшельникомъ“ на сопоставленіи „фернейскому“. Ириша знала исторію жизни „дѣдушки Новикова“ отчасти изъ рассказовъ дяди, частью же изъ признаній самого старика, насколько онъ могъ познакомить съ своей жизнью шестнадцатилѣтнюю дѣвочку.

Подозревавшись съ пріѣзжими, Новиковъ велѣлъ ямщику ѣхать прямо къ усадьбѣ, которая находилась недалеко отъ того мѣста, гдѣ онъ встрѣтилъ пріѣзжихъ.

А мы пойдемъ пѣшечкомъ, — обратился онъ къ гостямъ.

Но мы вамъ, кажется, помѣшали, добрѣйшій Николай Ивановичъ, сказалъ Мерзляковъ. — Вы куда-то шли.

О, это я къ своимъ нахлѣбникамъ и ученикамъ, — отвѣчалъ онъ съ какою-то добродушной ироніей въ голосѣ.

При этомъ бѣлоголовый мальчикъ, что несъ за нимъ корзинку, улыбающимся во весь ротъ, наполненный бѣлыми, словно изъ фарфора, зубами. Это былъ Микитейка, двѣнадцатилѣтній внукъ и помощникъ дѣда Зосима, писаница, и „правая рука Новикова“, какъ выражался самъ старикъ.

— Къ какимъ ученикамъ, дѣдушка? — спросила Ириша.

— Да вотъ, сладкая моя, они въ этомъ озерѣ живутъ, — съ ласковой улыбкой отвѣчалъ старикъ.

— Въ водѣ?

— Да, мой другъ, въ водѣ.

— Что-жъ это, дѣдушка, рыбы?

— Рыбки, мой другъ... Прежде, говорятъ, я былъ учителемъ и наставникомъ людей, а теперь сталъ учителемъ звѣрей, птицъ и рыбъ. Велика премудрость Божія! Прежде я находилъ умъ и честность въ людяхъ, теперь ищу того же въ безсловесныхъ тваряхъ...

— И находите, дѣдушка?

— Нахожу, мой другъ.

Во время этого разговора Мерзляковъ молчалъ, изрѣдка взглядывая на старика. За вѣшной ироніей рѣчи онъ видѣлъ серьезную мысль.

Подойдя къ берегу озера, Новиковъ и Микитейка съ корзинкой взошли на маленькій плотъ, сдѣланный изъ нѣсколькихъ досокъ, какъ бы для полосканья бѣлья. Взглянувъ въ воду, Микитейка засмѣялся.

— Ты что?—спросилъ старикъ.

— Да ужъ онъ, Микалай Ивановичъ, здѣсь,—отвѣчалъ мальчикъ.

— Кто онъ?

— Да енараль.

— А! Здѣсь ужъ?

— Вотъ онъ—глубко, у самого дна.

— Ну, твои глаза молоденькіе—лучше видятъ, а я его не вижу.

Ириша, любопытство которой возбуждено было страннымъ разговоромъ до крайней степени, взглянула съ плота въ воду и въ прозрачной глубинѣ ея увидала большую, тонкую, съ острою головою рыбу.

— Это щука?

— Щука,—пояснилъ Микитейка.

Мерзляковъ, видимо, ждалъ объясненія всему тому, что онъ видѣлъ.

— Вонъ и ученики, Микалай Ивановичъ, стали приходить... вонъ-вонъ,—радостно говорилъ Микитейка.

И Ириша, и Мерзляковъ ясно уже видѣли, что къ плоту стала собираться рыба и выигрывать на поверхность озера: плотва, красноперы, окуни, гольцы—все это поблескивало на солнцѣ своими серебристыми чешуйками и, видимо, тѣснилось къ плоту.

— Вотъ мои ученички,—сказалъ добродушный старикъ, указывая на воду.—Съ прошлаго года я ихъ учу, и уже кой-чему научилъ. Каждое утро я хожу сюда съ кормомъ и бросаю его въ воду. Рыба скоро поняла мои лекціи и аккуратно въ назначенный часъ является въ мою аудиторію. Но что удивительно, такъ это то, что эти окуни да гольцы узнаютъ меня въ лицо: когда я прихожу въ неурочный часъ на плотъ, они тоже выплываютъ и заглядываютъ на меня...

— А къ дѣду, Микалай Ивановичъ, они не идутъ,—неожиданно пояснилъ Микитейка.

— Не идутъ, не идутъ, а ко мнѣ идутъ... Вотъ вы и посудите: у окуня умъ, у гольца соображеніе, у плотвы, видите-ли, тоже умъ—она сильна въ физиогномикѣ...

— Ахъ, дѣдушка!.. (Ириша весело смѣялась).

Рыбы между тѣмъ показывали нетерпѣніе, плескались какъ угорѣлыя.

— А! не терпится? проголодались?

И старикъ, взявъ изъ рукъ Микитейки корзинку, сталъ бросать въ воду крошки хлѣба, кашу, мухъ, таракановъ. Рыбки на перехватъ ловили бросаемое, иногда старались отбить одна у другой лакомый кусокъ, перегнать другъ дружку...

— А! вотъ и ссорятся изъ-за куска... значить, голодны... а какъ

сыты—не ссорятся, — говорил старикъ, стараясь равномерно одѣлать своихъ питомцевъ.

Въ это время рыбы шарахнулись въ разные стороны, а инны даже высочили со страху на плотъ: у плота показалась щука.

— А! это онъ! старикъ! ахъ онъ, варваръ!—говорилъ старикъ, покачивая головой... А я замѣтилъ, что и рыбки стали у меня умнѣй, осторожнѣе—не всегда даются разбойнику.

— Однако, соловья баснями не кормятъ, — спохватился старикъ.— Рыбъ-то я накормилъ, а дорогихъ гостей морю съ голоду... Вотъ что значить старость-то... Идемте же ко мнѣ въ палаты—добро пожаловать... А ты, Микитейка, мигомъ лети къ дѣду и вели вырѣзать лучший сотокъ между изъ того улья, что сама барышня воспринимала отъ купели...

— Это, дѣдушка, у котораго matka ночью плакала? — спросила Ириша.

— Да, сладкая моя.

Микитейка полетѣлъ стрѣлой на пчельникъ, расположенный по ту сторону озера, а Новиковъ и его гости направились къ усадьбѣ.

IV.

Усадьба Новикова стояла при въѣздѣ въ село Авдотьино, нѣсколько на отшибѣ и въ сторонѣ отъ проѣзжей дороги. Это былъ обыкновенный средней руки помѣщичій домъ—деревянный, одноэтажный съ высокою сосновою, почернѣвшею отъ времени крышею и съ широкимъ крыльцомъ-балкономъ, обращеннымъ къ сѣверу. Нѣкоторые окна дома были закрыты ставнями, большая половина обширнаго двора поросла травой, черезъ которую были протоптаны дорожки къ кухнѣ, къ скотному и птичьему двору, къ конюшнѣ и леднику, находившимся подъ одною крышею. Дворъ представлялъ нѣкоторую запустѣлость, запущенность, а когда-то, во времена дѣтства Новикова, въ половинѣ XVIII столѣтїя, на этомъ дворѣ и въ этомъ обветшаломъ теперь домѣ бойкимъ ключемъ била жизнь средне-помѣстнаго дворянина. Барство сказывалось когда-то здѣсь и въ псарнѣ, и въ псаряхъ, и въ доѣзжачихъ, и въ сворахъ собакъ. Дворовыя дѣвки кружева плели, Акульки да Малашки иногда наряжаемы были Венерами да Психеями.

А съ тѣхъ поръ какъ выросъ молодой баринъ, Николянка, да поступилъ въ гвардію, а потомъ, скинувъ съ себя гвардейскій мундиръ, зарылся тамъ гдѣ-то въ Петербургѣ или въ Москвѣ въ груды книгъ да старыхъ бумагъ—опустѣла какъ-то барская усадьба Новиковыхъ и дворъ ея травой заросъ... А тамъ еще хуже пошло: прїѣхалъ самъ баринъ, и обратилъ усадьбу въ какой-то монастырь... Бумаги да книги, бумаги да книги — только и было всего добра... За то до мужичковъ, до своихъ—у-у! какъ добѣръ былъ баринъ Микалай Иванычъ — пальцемъ никого не

трогалъ... И жалъ было мужицкамъ своего барина; все онъ смутный такой да не веселый, ни пировъ у него, ни забавъ — все по-монастырскому.

Когда Новиковъ и его спутники пришли на дворъ, ямщикъ уже давно отпирегъ лошадей, поставилъ ихъ въ конюшню, засыпалъ имъ корму, а самъ, усѣвшись съ кучеромъ Новикова на крылечкѣ людской, рассказывалъ ему о французѣ-фараонѣ, о томъ, какъ французъ-фараонъ изъ воды вышелъ, изъ самаго Чернаго моря, и замйренье далъ...

Такъ какъ Ириша пожелала остаться на балконѣ, то хозяинъ приказалъ кухаркѣ полногѣлой, съ толстѣйшими руками бабѣ Сиклитинѣ, матери Микитейки, собрать самоваръ тутъ-же, на воздухѣ, и на завтракъ приготовить яичницу глазастую, которую очень любила Ириша, да зажарить грибовъ въ сметанѣ, до которыхъ Мерзляковъ былъ большой охотникъ.

— А Микитейка какихъ грибовъ набралъ — и-и-Заступница! — пояснила словоохотливая Сиклитинья.

Новиковъ сѣлъ у стола, стоявшаго на балконѣ-галлерей, снялъ съ себя картузъ, расправилъ руками волосы и бороду и о чемъ-то какъ будто задумался.

— Какой вы хорошенькій, дѣдушка, — сказала Ириша, подходя къ нему: — точно апостолъ.

Старикъ съ любовью взглянулъ на нее.

— Ахъ, ты, яичница глазастая!.. а глаза-то все больше у тебя дѣлаются... А! какова! всегда дѣдушкѣ какой-нибудь комплиментъ скажетъ, — говорилъ старикъ, любуясь дѣвушкой.

— Да это не комплиментъ, дѣдушка, а правда.

— А вотъ и я тебѣ скажу правду, глазастая: ты очень похорошѣла и возмужала... И ужъ думаю, что этими буркалами ты навѣрное прострѣлила сердце какому-нибудь герою... А? признайся — прободила еси?

Ириша вспыхнула. А старику почему-то вспомнился тотъ вечеръ, когда онъ, лѣтомъ 1767 года, накануне отъѣзда изъ Петербурга въ Москву, въ качествѣ дѣлопроизводителя въ комиссіи депутатовъ, прощался тоже съ Иришей — но только не съ этой... а такіе же глаза при черныхъ волосахъ... Что за ночь то была въ Царскомъ, въ саду!.. „Не забывай меня, милый-милый! не забывай ни на моментъ!“ шепчуть жаркія отъ поцѣлуевъ губы, а холодющія руки такъ и замираютъ, обнимая и лаская... „Не забуду, жизнь моя! рай мой! не забуду и на краю могилы...“ Да, правда, — и край могилы уже виднѣется, и вспомнилась та Ириша, вспомнилась при видѣ этой... Первое всегда остается первымъ и не вытравляется никакими вторыми и послѣдними...

Но старикъ тотчасъ опять овладѣлъ собой.

— А вотъ я заболтался съ вами, да и не спрошу доселѣ: что новаго у васъ въ Москвѣ? что новенькаго у васъ въ Россіи? — сказалъ, онъ, обращаясь къ Мерзлякову.

— Да что новенького, почтеннѣйшій Николай Ивановичъ!.. О мирѣ съ Бонапартомъ вы, конечно, слышали уже?

— Слыхалъ—и радуюсь этому... Все-же меньше крови будетъ пролито.

— Такъ и многіе думаютъ но Москва недовольна.

— Растопчигъ, конечно,—Сила Богатыревъ?

— Онъ первый, да онъ же и съ голосомъ, а за нимъ и всѣ „русскіе“, не галломаны... А есть новость, лично васъ касающаяся, Николай Ивановичъ: васъ подозрѣваютъ въ сношеніяхъ съ французами.

— Я съ разбойниками никогда не вступалъ въ сношенія,—брезгливо сказалъ старикъ.—А кто это считаетъ меня способнымъ надѣть на себя дурацкій колпакъ?

Тутъ Новиковъ пустился въ оцѣнку „лицъ и событій“ и незамѣтно перешелъ къ изложенію своихъ философскихъ взглядовъ на природу и человѣка.

— Но вѣдь согласитесь сами, Николай Ивановичъ, что хищничество—общее явленіе въ природѣ,—говорилъ Мерзляковъ.

— И воробей, дѣдушка, воръ,—добавила Ириша.

— И всякое животное—воръ и хищникъ,—пояснилъ Мерзляковъ.

— Нѣтъ, други мои,—задумчиво отвѣчалъ старикъ,—по вашему толкованію, и сія лилія—воръ: она воруетъ влагу изъ земли, она воруетъ тепло у солнца.

— Да, все это воровство, говоря въ строгомъ смыслѣ слова.

— А ваше дыханіе, дѣти мои, воровство?—неожиданно спросилъ старикъ.

И Мерзляковъ, и Ириша сразу не могли отвѣтить на послѣдній вопросъ.

— По вашему толкованію,—продолжалъ Новиковъ,—весь процессъ жизни природы—повальное воровство, вся природа только и дѣлаетъ, что воруетъ: человѣкъ воруетъ зерно у земли, шерсть у овцы, шелкъ у червя, воздухъ у природы, воду у рѣки; овца воруетъ траву; трава—тоже воровка: она воруетъ влагу у земли. А сама земля—такъ ужъ всесвѣтная воровка: она и людей воруетъ, и звѣрей, и растенія, и свѣтъ, и тепло—все! все! Нѣтъ, други мои,—въ этомъ воровскомъ мѣшкѣ слѣдуетъ разобратъся..!

Въ это время Сиклитинья поставила на столъ шипящую сковороду съ яичницей.

— У кого ты, Сиклитиньюшка, эти яйца украла?—съ улыбкой спросилъ Новиковъ.

— Ахъ, батюшка барня! что вы! Господь съ вами! Это яйца наши—сама и курочекъ пунала, сама и яйца собирала изъ-подъ нихъ!—затараторила Сиклитинья.

— А куры тебѣ позволили ихъ яйца брать?—снова спросилъ старикъ.

— Ахъ, Заступница! да что-жъ это такое! Куры—знамо куры: на то онѣ и куры...

— Вотъ это—умный отвѣтъ!—замѣтилъ Мерзляковъ.

— Вѣстимо—на то онѣ куры, баринъ, чтобъ яйца господамъ нести...

Новиковъ махнулъ рукой. Ириша хохотала. Сиклитинья съ недоумѣніемъ разводила руками.

— Вотъ всегда онъ такой, баринъ-отъ нашъ,—объясняла она барышня:—скажетъ такое, что и-и, Заступница!

— Точно и-и!—самъ повторялъ старикъ, улыбаясь.

— А какъ-же, баринъ? Всегда бывало говорите: „поди, Сиклитиньяшка, украдь у коровы молочка, али-бо украдь у мужиковъ хлѣбца“... Нашъ-отъ, барскій хлѣбъ, а ты украдь! что выдумаютъ...

И Сиклитинья, махнувъ рукой—что не стоитъ-де на его чудныя рѣчи обращать вниманія, что онъ-де завсегда чудитъ, а баринъ все-таки добрый—побѣжала къ кухнѣ, какъ-бы подзадоривая себя: „А ужъ каки грибки въ сметанѣ выдуть... и-и, Заступница“!

Яичница оказалась отличная. Ириша кушала прямо съ сковороды, а бакалавръ наложилъ себѣ полную тарелку.

— А ну, Ириней, украдь мнѣ солдцы немножко,—сказалъ онъ, пробуя яичницу.

— Воруйте, дядечка,—отвѣчала Ириша, подвигая къ нему солоницу.

— Смѣйтесь-смѣйтесь, други мои,—продолжалъ Новиковъ, накладывая и себѣ глазастой.—А я вамъ скажу,—намъ исторія и самая жизнь такъ сплюснули мозги, что многое намъ кажется смѣшнымъ, когда оно при-скорбно, и надъ хорошимъ мы скорбимъ, не понимая, что оно хорошее... Человѣчество изолгалось дальше предѣловъ возможнаго, запуталось въ своемъ невѣдѣніи—и не можетъ распутаться. Вездѣ ложь и воровство, когда эти слова не должны существовать. Посмотрите—что можетъ быть естественнѣе и законнѣе чувства любви? А мы и изъ нея сдѣлали ложь. Чистая дѣвочка, никогда, положительно *никогда* ни однимъ словомъ не солгавшая и не умѣвшая лгать, какъ невинный младенецъ, какъ только полюбила—начинаетъ лгать... Она лжетъ, скрываетъ свое святое чувство, потому что или стыдится, или боится его обнаружить, потому—въ свою очередь, что ей не позволяютъ любить или велятъ любить другого...

Ириша чувствовала, какъ краска стыда заливала ея щеки. И она лгала уже, мало того, что скрывала—лгала дядѣ. Она низко нагнулась надъ яичницей.

— Какая ты красная, Ириней,—замѣтилъ дядя.

— Это отъ яичницы... (Отъ яичницы! Да—во всемъ виновата яичница. Дѣвушка чувствовала, что она скоро заплачетъ. Она жестоко лжетъ!)...

— Исторія сдѣлала изъ человѣка... просто фальшивую монету, подѣлку подъ человѣка,—продолжалъ старикъ.—Я помню, разъ, еще въ Москвѣ, вздумалъ прослѣдить за собой и за всѣмъ, съ чѣмъ я сталкивался въ продолженіе дѣлаго дня, и къ вечеру пришелъ въ ужасъ и отчаяніе отъ мысли, что какъ могло до такой степени испортить себя человѣчество—такъ испортило, что на заказъ, кажется, такъ испортить нельзя...

Едва я вышелъ изъ дому, какъ сразу почувствовалъ, что я очутился между волками и что я самъ волкъ...

— Homo homini lupus,—процѣдилъ сквозь зубы бакалавръ, смакуя яичницу.

— Точно lupus,—отвѣтилъ Новиковъ.

Что это значитъ, дѣдушка?—спросила Ириша, нѣсколько оправившаяся.

— А то, что каждый человѣкъ для другого человѣка — волкъ, мой дружокъ.

— И я для васъ волкъ и для дяди волкъ?

— Волкъ, овечка моя невинная.

— Какъ же это, дѣдушка?

— А вотъ какъ, другъ мой. Лишь только я вышелъ на улицу — передо мною нищій. По его глазамъ я тотчасъ видѣлъ, что я для него — добыча, что онъ ждетъ отъ меня чего-то... Я далъ ему... Иду дальше — лавка съ товаромъ: изъ нея выглядываютъ волки, заманиваютъ меня для добычи... Прохожу: мастерская гробовщика — и самъ гробовщикъ у двери — волкъ, волкъ! Онъ, видимо, считаетъ мои годы, взвѣшиваетъ мое здоровье — скоро-ли-де для меня закажутъ у него гробъ... Дальше — лавка свѣчная и восковая: и тамъ волки глядятъ на меня, ждутъ, не куплю ли вѣнчальныхъ свѣчъ или кому на погребеніе... Еще дальше сапожникъ... волкъ! — смотреть мнѣ на ноги, скоро-ли-де износить сапоги этотъ баринъ... Дальше — моя прачка... Смотрить лисой и волкомъ: „какой-де скупой баринъ, ходить въ поношенномъ бѣльѣ, рѣдко отдастъ мыть“... Прохожу мимо портного — крыльцо; я пѣпляюсь плащомъ за что-то... оказывается гвоздикъ не прибитый... ну, плащъ съ дырой, а портной волкомъ смотреть: „скоро-де новый плащъ понадобится“... И видѣлъ я вокругъ себя стаи волковъ, а пока дошелъ до типографіи — и счетъ имъ потерялъ.

А Сиклитинья еще издали, торопясь съ сковородой въ рукахъ, громко заявляла: „Ну, ужъ и грибки! ужъ и грибки! и-и, Заступница!“

— Да и яичница у тебя, Сиклитиньюшка, просто прелесть, обьяденье, — похвалила барышня.

— На здоровье, матушка, на здоровье.

— А грибки молоденькіе? — спросилъ Новиковъ.

— Молодехоньки, баринъ, молодехоньки, вотъ какъ сами барышенька.

— Такъ и ты, Ириней, въ грибы попалъ? — замѣтилъ дядя.

— Да, други мои, такъ-то люди себѣ жизнь устроили, — продолжалъ Новиковъ, глядя куда-то въ пространство. — Птицы и звѣри одинаковыхъ породъ живутъ между собою дружиѣ, чѣмъ люди. А все потому, что міромъ править невѣдніе. Греки, хотя тоже по невѣднію, но создали самое гениальное представленіе о томъ, кто правитъ міромъ.

— Вы кого, Николай Ивановичъ, разумѣете? — спросилъ Мерзляковъ, наслаждаясь грибами въ сметанѣ.

— Слѣпыхъ.

— Кого же именно?

— А правосудіе! Развѣ Оемида не слѣпая?

-- Но это для того, чтобы она не была пристрастна къ вѣщности.

— А Мойра? а Фортуна? Развѣ онѣ не слѣпыя?

— Да—счастье слѣпое.

— Но оно не должно быть слѣпымъ. Оно и не было-бы слѣпымъ, если-бъ на землѣ господствовала справедливость: счастье являлось-бы тогда, какъ награда добродѣтели. А теперь счастье раздается людямъ какимъ-то слѣпымъ и безумнымъ существомъ. Это слѣпое существо — самодуръ, идіотъ: оно и есть само человѣчество.

Въ это время неожиданно у крыльца показалась бѣлая голова Микитейки. Мальчикъ смѣло подошелъ къ периламъ и остановился.

— Микалай Иванычъ! а—Микалай Иванычъ!—сказалъ какъ-то таинственно маленький другъ философа.

— Ты что, Микитейка?—спросилъ старикъ.

— Она выползла и спить,—тихо почти шопотомъ сказалъ мальчикъ.

— Гдѣ?—оживился старикъ.

— Тамотка, на плотинѣ...

— И ты ее не спугнулъ, не разбудилъ?

— Нѣту... какъ можно!

— Молодецъ, Микитейка! молодецъ, моя правая рука... Ну, такъ я сейчасъ иду,—извините, други мои.

И старикъ заторопился, взялъ свою палку, надѣлъ картузь.

— Куда вы, дѣдушка?—заинтересовалась Ириша, бросая грибы.—Мнѣ можно съ вами?

— Можно, мой другъ, можно, только ни гу-гу—не шумѣть...

Ириша вскочила и накинула на голову платочекъ, потому что лѣтнее солнце начинало уже печь порядочно. Мерзляковъ тоже оставилъ не доѣденною тарелку съ грибами и желалъ присоединиться къ невѣдомой для него экспедиціи.

— Такъ и мнѣ можно съ вами?—спросилъ онъ.—Вашъ адъюнктъ Микитейка заинтересовалъ меня таинственностью, съ которою онъ докладывалъ вамъ, что *она* спить?.. Кто *она*?

— А вотъ увидите,—съ улыбкой сказалъ старикъ, торопясь черезъ дворъ къ выходу.—Вы помните то мѣсто въ лѣтописи Нестора, гдѣ онъ говорить о смерти Олега?

— Это когда кудесникъ говорить ему, что онъ умретъ отъ своего любимого коня?

— Да.

— И я это знаю, дѣдушка,—заговорила Ириша.—Олегъ, боясь исполненія предвѣщанія кудесника,—начала она по школьному, словно отвѣчала урокъ,—приказалъ взять отъ себя любимого коня, дабы его не видѣть. По прошествіи же нѣсколькихъ лѣтъ, князь вспомнилъ о немъ и спросилъ приближенныхъ: „Что мой конь любимый и живъ-ли онъ?“ Ему отвѣчали, что конь умеръ.—„Такъ покажите мнѣ хоть кости его“, говорить князь.—

Когда привели его на мѣсто, гдѣ валялись кости коня, князю стало жаль его и онъ, приблизясь къ головѣ его, лежавшей на землѣ, тронуть ногою кости и сказалъ: „Бѣдный конь мой! если-бъ я не повѣрилъ кудеснику, то можетъ быть доселѣ ѣздилъ-бы на тебѣ... Не буду же я вѣрить кудесникамъ“. Но въ эту минуту изъ черепа коня выползла змѣя и укусила его за ногу. Отъ той раны и скончался Олегъ.

— Ай да сладкая! какъ она хорошо рассказала... Такъ вотъ въ этомъ-то укусила и весь вопросъ,— говорилъ Новиковъ, продолжая слѣдовать за Микитейкой.—Когда Августъ Шлеперъ издавалъ своего „Нестора“, онъ, какъ потомъ признавался мнѣ, долго мучился надъ этимъ мѣстомъ. Онъ говоритъ, что во всѣхъ спискахъ лѣтописи явственно написано, что змѣя „уклюну“, просто уклонула князя въ ногу. А Шишковъ оспаривалъ, говорилъ, что это описка, что змѣя не „клюетъ“, а „кусаетъ“, что „клюетъ“ только птица...

— А рыба, Микалай Ивановичъ?—неожиданно поразилъ всѣхъ Микитейка, оглядываясь на господъ.

— Каковъ!—засмѣялся Меряляковъ.—Да онъ у васъ и натуралистъ, и филологъ.

— Да, да... Онъ у меня на всѣ руки,—сказалъ Новиковъ.—Именно, Микитейка, ты правъ, и рыба „клюетъ“, какъ птица. Теперь намъ надо узнать, „клюетъ“-ли змѣя.

— Такъ мы къ змѣѣ идемъ, дѣдушка?—испуганно спросила Ириша.

— Да, къ змѣѣ, мой другъ.

Дѣвушка остановилась какъ вкопаная. Испугъ оковалъ ея языкъ.

— А, Ириней! струсила?—улыбнулся дядя.

— Да... она укуситъ...

— Да она не кусается, а клюется...

— Ахъ, дядя! Господи!

— Не бойся, дружокъ, мы тебя не дадимъ,—сказалъ Новиковъ, улыбаясь.

— Она васъ укуситъ...

— И себя не дадимъ.

Микитейка обернулся и сдѣлалъ знакъ, чтобъ замолчали. Они подошли къ плотинѣ, переброшенной черезъ небольшую, въ видѣ ручья, рѣчку, на которой, внизъ по теченію, поставлена была небольшая наливная мукомольная мельница, однообразно шумѣвшая своимъ рабочимъ колесомъ. Солнце, стоявшее уже высоко, обдавало плотину жаркими лучами. Этого-то магнитъ и выманилъ змѣю изъ ея логовища—понѣжиться на солнышкѣ.

Микитейка молча указалъ на одно мѣсто плотины. Тамъ, растянувшись во всю длину на пересохшей и утоптанной соломѣ, лежала сѣрая, болѣе аршина длиною змѣя. Чешуйчатая кожа ея блестѣла на солнцѣ, словно-бы она покрыта была множествомъ миниатюрныхъ рефлекторовъ.

Новиковъ, взявъ тихонько двѣ длинныя, тонкія какъ хворостъ слѣги,

лежавшія на плотинѣ, одну оставилъ у себя, а другую далъ Микитейкѣ и шепнулъ:

— Не бей ее, а только не давай уйти.

Только тогда, когда они уже, такъ сказать, отрѣзали отступленіе змѣѣ подъ плотину, она увидала ихъ и бросилась было уходить. Но Новиковъ искусно преградилъ ей путь слѣгою, а Микитейка угрожалъ съ другой стороны. Пресмыкающееся, видя опасность, свернулось кольцомъ и выставило немного вверхъ свою тонкую, плоскую и продолговатую головку. Оно наблюдало и выжидало. Едва Новиковъ приблизилъ къ ней слѣгу, змѣя спрятала головку.

— Да, по-библейски—блюдетъ главу свою,—улыбаясь и не спуская съ нея глазъ, сказалъ старикъ.

Потомъ онъ началъ приближать слѣгу, какъ-бы дразня пресмыкающееся. Змѣя не шевелилась, а только высывала черный, въ видѣ стрѣлочки язычекъ, который словно дрожалъ. Новиковъ еще приблизилъ слѣгу, еще, еще... Вдругъ головка змѣи отдѣлилась отъ кольца и щелкнула палку... разъ... два... три...

— Клюетъ, дѣйствительно клюетъ,—радостно сказалъ старикъ.—Шлецеръ правъ, въ рукописи не было описки. Теперь я напишу объ этомъ и ему, и Шишкову. Я долго искалъ случая повѣрить лѣтописца, но въ этой мѣстности рѣдко показываются змѣи. Вотъ только теперь, благодаря моему адъютанту Микитейкѣ, омытъ сдѣланъ и вполнѣ удачно... Ну, уходи же, прятаясь,—сказалъ онъ, тронувъ змѣю и отступая въ сторону.

— Ахъ, Микалай Ивановичъ, она уйдетъ!—спохватился Микитейка.

— Пускай уходитъ,—она намъ больше не нужна.

Въ это время вдали, по московской дорогѣ, послышалось что-то похожее на звяканье колокольчика. Всѣ стали прислушиваться. Звукъ колокольчика становились явственнѣе. Можно было даже различить, что приближалось двѣ тройки.

V.

Тотчасъ по заключеніи тильзитскаго мира русскія войска отъ границъ отодвинулись въ глубь Россіи. Но такъ какъ прочности этого мира никто не вѣрилъ и въ народѣ ходили толки въ родѣ того, какъ увѣрялъ Мерзлякова ямщикъ, что фараоны того-и-гляди вынырнуть изъ моря и залепнуть руками, главныя наши силы были расквартированы вдоль западныхъ окраинъ, по пути, по которому коварный французскій котъ могъ бы ближе всего попытаться идти или на Москву или на Петербургъ. Главная квартира находилась въ Витебскѣ, а по линіи Западной Двины расквартированы были другія части арміи.

Въ этотъ западно-двинскій край обстоятельства дѣла переносятъ и насъ изъ села Авдотына.

Раннимъ утромъ, по дорогѣ отъ Витебска къ Полоцку, спорой рысью несется всадникъ о-дву-конь, какъ обыкновенно ѣздить казаки, когда предстоитъ продолжительный и спѣшный переѣздъ. Это и есть казакъ, потому что одѣяніе на немъ казацкое и притомъ донского атаманского полка. Одна лошадь подъ всадникомъ, другая бѣжитъ за нимъ на поводѣ. Или дорога, по которой ѣдетъ всадникъ, какъ и вся окружающая ея мѣстность прискучили ему своимъ однообразіемъ, или мысли ѣдущаго сосредоточены на чемъ-нибудь, что заслоняетъ для него весь виѣшний міръ, только взоры его не останавливаются ни на одномъ предметѣ по сторонамъ пути, ни на щетинистой зелени елей, сомкнувшихся стройной шеренгой вдоль небольшой рѣчки, робко скрывающейся въ этой же щетинистой, темной чащѣ, ни на голубые просвѣты, открывающіе по временамъ далекій горизонтъ или кутающуюся среди болотъ деревеньку... Да и на что смотрѣть! Кругомъ — невеселая, однообразная, постоянно втиснутая въ зеленныя рамки картина... Ни простора, чтобы казацкій привычный глазъ могъ окинуть равнину далеко-далеко и уловить на ней или серебристые султаны кавыль-травы, или горькое, но все-же вольное перекатиполе... То-ли дѣло на Дону, на Волгѣ! Тамъ коли и охватываетъ казацкую душу тоска, такъ тоска широкая и необятная какъ степь... А здѣсь — трясына да болотина, да угрюмый, однообразный лѣсъ, изъ котораго нѣтъ выхода, какъ нѣтъ выхода для тоски, охватывающей душу при видѣ этой безконечной, проросшей темными борами болотины.

И тоскливо смотреть всадникъ о-дву-конь. Смуглое, немножко калмыковатое, молодое лицо грустно-задумчиво..

Вдругъ на поворотѣ дороги, изъ-за чащи придорожнаго ельника, послышался топотъ конскихъ копытъ и изъ-за зелени показались два конные уланы. При видѣ ихъ, лицо казака немного оживилось.

— Здравствуйте, ребята, — сказалъ онъ, когда уланы приблизились къ нему.

— Здравія желасмъ, ваше благородіе! — отвѣчали уланы, изъ которыхъ одинъ былъ уже старый служака.

— Коннопольцы еще въ Полоцкѣ? — спросилъ казакъ (это былъ казацкій офицеръ).

— Точно такъ, ваше благородіе.

— Вы куда?

— Съ бумагами въ штабъ, ваше благородіе.

— Не знаете — юнкеръ Дуровъ не въ отпуску?

— Это безусый-то, ваше благородіе, что отъ няньки бѣжалъ? — спросилъ, улыбаясь, старый уланъ.

— А ты его знаешь? — торопливо спросилъ казакъ.

— Какъ же, ваше благородіе, онъ у меня на выучкѣ былъ... Я ему дядькой, значить, прихожусь — сродни.

— Такъ онъ не въ отпуску?

— Никакъ нѣтъ, ваше благородіе, — у насъ въ полку.

— Спасибо, братец... Прощайте, ребята.

— Счастливой пути, ваше благородіе.

И спутники разстались. Старый уланъ узналъ донского офицера о-двуконь: это былъ Грековъ. Но Грековъ не узналъ улана, ворчливаго Пудыча, который, когда юный Дуровъ былъ у него на выучкѣ, постоянно твердилъ: „Коли ты называешься уланъ, такъ тебѣ, братъ, съ коня падать не полагается: хуть ты живъ, хуть ты убитъ, а сиди на конѣ... Уланъ падать съ лошади не должонъ—ни-ни—ни Боже мой! Падай вмѣстѣ съ конемъ—таковъ уланской законъ, а съ коня—ни-ни! не роди мать на свѣтъ!“ Это тотъ самый Пудычъ, который былъ въ плѣну у французовъ вмѣстѣ съ Истоминнымъ и бѣжалъ изъ фриландскаго госпиталю съ извѣстіемъ, что Истоминъ живъ, что его спасъ отъ пули образокъ на груди „съ матернимъ волосомъ—русенькой такой волосъ съ краснецей...“ Это Иришины-то волосы, Мерзляковой, онъ называлъ „матернимъ волосомъ“. Пудычъ въ плѣну и послѣ раны сильно измѣнился, оттого Грековъ и не узналъ его; а Пудычъ призналъ Грекова: „потому—часто видалъ вмѣстѣ съ моимъ молокососомъ, съ Дурашкой юнкаремъ...“

— Что жъ, изъ ево, сказываютъ, уланикъ вышелъ бойкій, заправскій,—замѣтилъ младшій спутникъ Пудыча.

— Ничево—шустеръ—таки, да только въ атакѣ рѣнжиру не держится, словно блоха впередъ скачетъ, а это, братъ, не порядки,—отрѣзалъ серьезный Пудычъ.

Простившись съ встрѣчными уланами, Грековъ прищипорилъ своего коня и понесся усиленной рысью, несмотря на свою усталость. Онъ ѣхалъ отъ Витебска до Полоцка, не отдыхая ни на часъ, ѣхалъ день и ночь. Что-то безпокойное свѣтилось и въ его черныхъ, узенькихъ, съ калмыцкимъ разрѣзомъ глазахъ, хотя обыкновенно эти глаза смотрѣли съ спокойной ровностью, съ симпатичной задумчивостью.

— А если Коньковъ правъ? Если *ее* прямо вытребовали въ Петербургъ?.. Государь ждать не станетъ,—проговорилъ онъ про себя, какъ бы продолжая разговоръ, начатый съ уланами.

Лицо его поблѣднѣло, губы дрогнули. Онъ крѣпко сжалъ колѣнками лошадь, и привычное животное угадало нетерпѣніе хозяина: рысь превратилась въ полный бѣгъ, а топотъ восьми копытъ звучалъ по звонкой дорогѣ словно барабанная дробь.

— Какъ же государь узналъ, что *она*—не мужчина?.. Не даромъ и мое сердце сказывало мнѣ тоже... А теперь, эти мѣсяцы, я просто истосковался по ней—ѣды нѣту, сна нѣту, Бога забылъ!..

А между тѣмъ та, о которой думалъ юный казакъ, только что проснулась. Коннопольскій полкъ, въ которомъ она все еще оставалась, послѣ компаніи расквартированъ былъ въ Полоцкѣ и его окрестностяхъ. Дурова помѣстилась въ бѣдномъ еврейскомъ семействѣ, на краю города, и ей отведена была маленькая, обь одномъ окошечкѣ, комната. Евреи полюбили этого юнаго, застѣчиваго уланика, а мелеенькіе еврейта, которыхъ

она ласкала, вспоминая свое далекое, покинутое ею родное семейство, просто души въ ней не чаяли. Они водили на водопой ея Алкида, кормили его огурцами и капустой... Особенно они полюбили ковы съ той поры, когда однажды, вбѣжавъ нечаянно въ сарай, они увидали, что „русскій паничъ“, обнявъ за шею Алкида, горько плачетъ. Хотя причины слезъ еврейта и не узнали, но чуткимъ сердцемъ догадались, что у молоденькаго панича нѣтъ здѣсь ни одной родной души и что только съ конемъ онъ можетъ поплакать... А она сама не знала, о чемъ плакала... вспомнила отца... да кстати въ этотъ же день выступалъ изъ Полоцка атаманскій казачій полкъ... уходилъ съ нимъ и Грековъ, а Грекова она видѣла еще тамъ, далеко, на Камѣ, тотчасъ послѣ бѣгства изъ родительскаго дома... Ну, и грустно стало, и заплакалось, а еврейта увидали...

Сегодня она проснулась довольно поздно, такъ какъ день былъ свободный—ученья утренняго на этотъ разъ не назначалось. Солнце уже поднялось изъ-за сосѣдняго огорода и ласково смотрѣлось въ ея маленькое, зеленоватое окошечко. На дворѣ слышались голоса играющихъ еврейтъ.

Приподнявшись на своемъ жесткомъ ложѣ, состоявшемъ изъ нѣсколькихъ досокъ, устланныхъ сѣномъ и покрытыхъ грубымъ, дерюжнымъ рядномъ, дѣвушка обхватила руками колѣна и задумалась. Она была въ одномъ бѣльѣ; но какъ оно имѣла вполнѣ мужской покррой, то только высота груди, не совсѣмъ по-мужски выпяченной впередъ, и могла возбудить подозрѣнiе насчетъ странныхъ формъ молоденькаго уланика. Тутъ же лежали уланскiе рейтузы съ кожаными нашивками на внутреннихъ частяхъ ляжекъ, чтобъ о сѣдло не терлись; тутъ же лежала и вся уланская амуниція, а на полу стояли казенные солдатскiе сапоги со шпорами. Что было мученiемъ всей боевой жизни нашей юной героини, такъ эти казенные сапоги. Это были страшные, словно изъ желѣза выкованные сапожницы, которые приковывали ея нѣжныя, привыкшія къ мягкимъ ботинкамъ ноги къ землѣ точно десятипудовыми гирями. Они издають невообразимый стукъ. Въ нихъ ноги—словно заключенныя въ двухъ отдѣльныхъ башняхъ, и эти башни надо волочить за собою, и волочить стройно, бойко: „чтобы,—говорилъ тиранъ Пудычъ,—нога у тебя словно на гитарѣ играла“. Но это не гитара, не ея звукъ, шпоры на этихъ сапожищахъ бряцаютъ такъ, словно бьютъ молотомъ по наковальнѣ... „Уланъ должонъ гулко ходить, чтобы за версту улана слышно было... А коли уланъ на бекетѣ, ночью въ разъѣздѣ, чтобы ево французъ не слыхалъ, какъ ему уланъ съ конемъ за пазуху вѣдетъ...“ Вотъ афоризмы Пудыча, и юнкеръ Дурашка должонъ былъ исполнять ихъ...

Сидя на кровати, она что-то вспомнила и потянулась за саблей.

— Я ужъ и не помню, когда видала себя въ зеркалѣ,—прошептала она.

Вынувъ саблю изъ ноженъ, она стала глядѣться въ блестящій, гладко отполированный клинокъ ея.

— Вот мое дѣвическое зеркало... (Это сказала женщина въ уланѣ). Какая дурнушка...

Вложивъ саблю въ ножны, она встала съ кровати и начала одѣваться. Если бы Пудычъ видѣлъ, какъ она неловко надѣвала на себя рейтузы, какъ не по-улански подымала ноги, съ какимъ трудомъ натягивала узкія штанины, онъ непременно сказалъ бы съ негодованіемъ: „Ишь вонъ какъ у юнкарей дворянчиковъ бедра-то отъ манной каши распучило—рейтузы не лѣзутъ...“

Только уже надѣвъ солдатскій мундиръ и застегнувъ его на верхнія пуговицы, дѣвушка вышла въ сѣни, чтобы умыться. Евреята окружили ее и стали рассказывать, какъ сегодня они давали Алкиду моркови и рѣпы и какъ онъ у маленькаго Сруля самъ вырвалъ кусокъ хлѣба съ масломъ и съѣлъ.

Умывшись изъ висѣвшаго на крыльцѣ глинянаго рукомыльника съ горлышкомъ и утершись полотенцемъ—это полотенце такъ памятно ей... оно вышито горничной Натальей и подарено ей на именины, въ приданое... „Этимъ полотенцемъ, барышня, вы тогда утретесь въ первый разъ, когда къ вѣнцу васъ будутъ одѣвать... мужъ любить будетъ...“—дѣвушка прямо направилась въ сарай, гдѣ стоялъ ея Алкидъ. При видѣ хозяйки, лошадь радостно заржала и умными, веселыми глазами смотрѣла на свою повелительницу.

— Здравствуй, Алкидушка.

Лошадь опять отвѣчаетъ тихимъ ржаніемъ. Дѣвушка гладитъ ея шею, ласково треплетъ за уши, поправляетъ чубъ, свѣсившійся на лобъ между ушами. Алкидъ, увидѣвъ на плечѣ улана непривычное украшеніе—шитое цвѣтными нитками полотенце—сдергиваетъ его зубами.

— Ахъ ты, разбойникъ! зѣчѣмъ сорвалъ полотенце?.. Отдай его...

Алкидъ не отдаетъ, крѣпко держитъ въ зубахъ — шалитъ. Въ сарай вбѣгаютъ евреята съ деревянной миской, въ которой дымится только что сваренный картофель. Алкиду захотѣлось картофелемъ и онъ выпускаетъ изо рта полотенце. Но этотъ картофель не для Алкида, а для самого панича—на завтракъ ему мама прислала.

— Ты ужъ завтракалъ... рѣпу и хлѣбъ съ масломъ,—говоритъ обиженный Сруликъ.

Паничъ тутъ же въ сараѣ садится на опрокинутую кадку и ѣстъ „картофель въ мундирѣ“, очищая его руками, а маленькій Сруликъ держитъ солонку, куда паничъ и макаетъ картофелемъ. Алкидъ, перебалованный конь, подходитъ къ мискѣ, нюхаетъ картофель и фыркаетъ.

— А! горячо—не суйся...

На дворѣ послышался топотъ конскихъ копытъ и бряцанье сабли. Алкидъ насторожилъ уши и вытянулъ свою гибкую шею, чтобы разсмотрѣть—какихъ ему товарищей Богъ послалъ.

У Дурова почему-то стукнуло сердце. Мысль ея разомъ и заодно съ сердцемъ мгновенно ускѣла сообразить, что это посѣщеніе не ordinary:

не такъ стучать копыта, не такъ стучить ея сердце... А оно отгадчивое, чуткое... Она выглянула изъ сарая, и въ одно мгновеніе лицо ея залила краска: она узнала Грекова и при этомъ разомъ и обрадовалась его пріѣзду и испугалась, шибко испугалась. Но увидавъ лицо пріѣзжаго, усталое и грустное, она уже окончательно почувствовала, что ею овладѣлъ безконечный страхъ.

Зато у Грекова, при видѣ ея, по лицу пробѣжало радостное, но такое мимолетное выраженіе, что только глаза матери или глаза любящей женщины могли уловить это что-то неудовимое.

— Здравствуйте, Дуровъ,—сказалъ онъ, протягивая ей руку.

— Здравствуйте,—застѣнчиво отвѣчала дѣвушка, которая чувствовала, что Грековъ въ первый разъ какъ-то особенно пожалъ ей руку, а она въ первый разъ почувствовала, при видѣ его, дѣвическую стыдливость и смущеніе.

— Я къ вамъ по дѣлу... (Грековъ сдѣлалъ удареніе на *вамъ*).

— Ко мнѣ? а не по службѣ?

— Нѣтъ, только къ вамъ... и по важному дѣлу.

„Онъ знаетъ *кто я*“, промелькнуло въ умѣ дѣвушки: по его лицу, по глазамъ она это узнала, она ощутила это, между тѣмъ какъ прежде не ощущала...

Евреята окружили ихъ и заглядывали въ глаза то тому, то другому. Избалованный Алкидъ тоже старался-было выбраться изъ сарая—къ дорогимъ гостямъ, да недоуздокъ придерживалъ, а хотѣлось бы обнюхать земляковъ..

Грековъ хотѣлъ что-то сказать, но посмотрѣлъ на евреятъ и остановился. Дуровой женское сердце подсказало, что евреята тутъ лишніе.

— Дѣти,—сказала она,—позовите сейчасъ-же Салазкина взять лошадей у офицера.

Евреята побѣжали, оставивъ Дурову и пріѣзжаго вдвоемъ. Дѣвушка испуганно ждала...

— Намъ надо поговорить по секрету—не здѣсь, гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ... Дѣло очень важное,—скороговоркою проговорилъ Грековъ.—Куда бы?

— Можно въ рошу, къ рѣкѣ...

Въ это время въ воротахъ показался уланъ съ вязанкой сѣна.

— Возьми, братецъ, хорошенько выводи коней... Съ Витебска они не отдыхали и не ѣли,—ты кавалеристъ, знаешь, что надо,—сказалъ Грековъ пришедшему улану.

— Слушаю, ваше благородіе,—отвѣчалъ уланъ.

— Да смотри не напой...

— Какъ можно! али впервой!

Забѣжавъ къ себѣ въ избенку, чтобы взять фуражку и подвязать саблю, Дурова растерянно упала на колѣни, но не знала о чемъ молиться... „Папа! папа! помолись ты обо мнѣ“.

Через минуту она вышла блѣдная, но старалась казаться покойною. Грековъ нетерпѣливо ждалъ ее.

— Пойдемте,—сказалъ онъ:—время не терпитъ... Для васъ оно особенно дорого.

— Ради Бога! что-же такое?—скажите!

Они уже были на улицѣ, гдѣ безпрестанно попадались солдаты — кто велъ лошадь на водопой или съ водопоя, кто несъ сѣно, кто просто почесывался на солнцѣ отъ нечего дѣлать. Тамъ играли въ свайку, и одинъ ловкій игрокъ вызывалъ всеобщіе восторги солдатиковъ: всякій разъ свайка попадала въ кольцо и уходила въ землю по самую головку.

Тутъ и гусаръ Пилипенко съ своей неразлучной Жучкой. Собачонка, совсѣмъ, оправившаяся отъ раны, стоитъ передъ Пилипенкомъ на заднихъ лапкахъ съ кусочкомъ булки на носу. Много бѣдной Жучкѣ нужно усилій и ловкости, чтобъ держаться прямо и не уронить драгоценнаго куска. Она не сводитъ глазъ съ своего повелителя; а у Пилипенка на лицѣ восторгъ и нѣжность.

— Азъ, буки, вѣди, глаголь, добро... есть!—говоритъ онъ быстро, и кусокъ искусно переходитъ въ ротъ Жучкѣ.

Собачка опять поднимается на лапки. Пилипенко опять кладетъ ей на носъ кусочекъ хлѣба.

— Слушать команды!—Азъ—буки—вѣди—глаголь—добро—живети—земля—иже—и—како—люди—мыслете...

А бѣдная собачонка ждетъ, дрожитъ—когда-же будетъ это проклятое „есть“, когда можно сглотнуть кусочекъ... куда оно запропастилось... не пропустила-ли она его, не обслушалась-ли... А Пилипенко продолжаетъ.

— Нашъ—онъ—покой—рцы—слово—твердо...

— Говорите же, не мучьте меня!—умоляетъ Дуровъ, когда они отошли на порядочное разстояніе отъ солдатъ...

— Въ штабъ главнокомандующаго получена бумага насчетъ васъ,—отвѣчалъ Грековъ тихо.

— Насчетъ меня?.. Отъ кого-же?.. отъ отца?

— Нѣтъ, по высочайшему повелѣнію—отъ государя..

— Государь...

Дѣвушка остановилась. Она не могла продолжать, не могла и идти дальше: у нея дрожали ноги.

— Государь требуетъ васъ въ Петербургъ... желаетъ видѣть васъ...

— Меня видѣть... какъ же это?.. за что? я...

— Это неслыханная честь... Юнкера требуютъ на глаза государя... Развѣ мало юнкеровъ?

Грековъ замаялся. Онъ хотѣлъ видѣть глаза своего собесѣдника, но они упорно глядѣли въ землю.

— Послушайте... Дуровъ... простите меня... я не изъ простого любопытства... Вы скрываете какую-то тайну... Вы не то, за что себя выдаете... Еще въ прошломъ году, когда вы только пристали къ нашему полку, мнѣ

что-то подсказало, что вы... что въ васъ кроется что-то особенное... Потомъ, въ дорогѣ,—тамъ, на Медвѣдицѣ, въ Даниловкѣ, когда вы, послѣ охоты, уснули на травѣ и во снѣ бредили—я тогда разбудилъ васъ—вы еще змѣю послѣ того брали руками... А тутъ, во время кампаніи... Я все время слѣдилъ за вами... Но ради Христа, не подумайте, что это было пошлое, грубое любопытство... Нѣтъ, я... я боялся за васъ... Мнѣ казалось, что если съ вами что случится, такъ это—какъ вамъ сказать?—я не знаю, не умѣю сказать... я простой казакъ, не умѣю говорить... но мнѣ казалось, что если бы что съ вами случилось, то это было бы святотатство... ну, понимаете, грѣхъ, большой грѣхъ всѣмъ намъ...

Онъ остановился, Дурова взяла его за руку.

— Благодарю васъ, Грековъ,—сказала она чуть слышно:—я самъ видѣлъ, что вы благородный человѣкъ.

— Но въ васъ была не одна тайна, а—какъ вамъ сказать?—точно двѣ тайны... Ихъ вамъ тяжело было носить въ себѣ...

— Нѣтъ...

— Не говорите, Дуровъ! Вы были слишкомъ одиноки... вы чуждались и общества офицеровъ, и общества солдатъ... Вы постоянно что-то прятали въ себѣ и себя прятали... А это тяжело—это какія-то кандалы на душѣ...

— Нѣтъ, нѣтъ! я не былъ одинокъ...

— Что-жъ! старый Пудычъ, который ворчалъ на васъ?... Алкидь?

— Да, Алкидь... Это мой другъ, другъ моего дѣтства, подарокъ отца...

— Но, Боже мой! не говорите этого... Конь—другъ, собака—другъ... А люди?

— Да вотъ вы всегда были добры ко мнѣ... какъ братъ...

Она остановилась, и почувствовала, что краснѣетъ... но въ то время ей почему-то стало страшно и холодно... «Петербургъ... государь... они узнали...»

— А теперь вы уѣдете... можетъ быть не воротитесь... мы никогда больше не увидимся,—говорилъ какъ-то растерянно молодой казакъ, чувствуя, что его что-то душитъ за горло—голосъ обрывается...

— Не говорите этого... Развѣ государь... Что-жъ я сдѣлалъ!—(и она чувствовала, что голосъ ея обрывается).

Оглянувшись, она увидала, что Грековъ, припавъ головой къ стволу сосны, какъ-будто плакалъ. Плечи его вздрагивали. Дѣвушкѣ стало жаль его.

— Ради Бога! что съ вами?

Онъ не отвѣчалъ: онъ дѣйствительно плакалъ.

— Грековъ... другъ мой... (Она положила руку на его плечо—плечо билось подъ ея рукою)... О чемъ вы плачете?

Молодой казакъ поднялъ голову, сдерживая слезы, и взялъ дѣвушку за руку.

— Простите меня, ради Христа... вы называли меня другомъ... Я буду говорить съ вами откровенно... Вы видите—я плачу... Скажите мнѣ,

кто вы?.. Я потому спрашиваю васъ, что... я не знаю, какъ вамъ объяснить... но безъ васъ я—пропащій человѣкъ... Съ тѣхъ поръ какъ насъ перевели отсюда, безъ васъ, не видя васъ—я Бога забылъ, мать забылъ... А теперь, когда васъ совсѣмъ берутъ отсюда, навѣки отнимаютъ у меня, я хочу знать—только имя ваше... Скажите—кто вы... имя скажите, чтобъ я могъ упоминать его на молитвахъ... Все равно—вѣдь государю вы скажете... я знаю, что вы—женщина... Клянусь вамъ всѣмъ святымъ, я не выдамъ вашей тайны, о которой уже догадываются... Скажите, откройтесь мнѣ!

Дѣвушка молчала. Рука ея дрожала въ рукѣ казака.

— Я умоляю васъ, Богомъ заклинаю, оставьте мнѣ хоть это утѣшеніе на память—ваше имя... Я больше ничего не прошу... Кто вы?

— Надежда,—чуть слышно проговорила дѣвушка, и снова краска залила ея лицо.

Грековъ тихо, бережно какъ-то поднесъ ея руку къ губамъ и, прошепталъ—„Благодарю, благодарю васъ... Я зналъ, я догадывался объ этой тайнѣ...“—Онъ чувствовалъ, что рука дѣвушки, заглубляя въ суровой жизни, дрожала.

— Расскажите-же все о себѣ, умоляю васъ.

Дурова взглянула ему въ лицо. Оно было блѣдно и грустно. Ей стало жаль его.

— Хорошо,—сказала она.—Вамъ я все открою. Я—Дурова, Надежда. Я бѣжала изъ дому родительскаго—и вотъ вы видите меня здѣсь. Мой отецъ—гусаръ; теперь въ отставкѣ. Я родилась на походѣ, и вѣроятно, умру на походѣ... Ну, да что объ этомъ!.. Судьба моя—горькая какая-то, страшная. Когда я еще не родилась, моя матушка, начитавшись романтическихъ исторій, бредила „Вадимомъ Новгородскимъ“. Ей хотѣлось родить мальчика, Вадима. Но вмѣсто него на несчастье родилась я. Когда, послѣ родовъ, матушка пришла въ себя и потребовала, чтобы ей показали ребенка,—къ ней поднесли меня. Вмѣсто Вадима она увидѣла дѣвочку и съ великою злостью оттолкнула ее отъ себя... Съ той минуты она возненавидѣла меня. Это было и ея и мое несчастье... Я должна была расти на маршѣ, нелюбимая матушкой. Походная жизнь, постоянныя неудобства, а тутъ еще нелюбимый ребенокъ—и матушка окончательно ожесточилась противъ меня... Я такъ некстати родилась—вся жизнь моя оказалась некстати... Однажды я, какъ больной ребенокъ, сильно раскричалась, не давала матушкѣ спать, а это было какъ-разъ на маршѣ... Матушка, выведенная изъ терпѣнія, выбросила меня изъ окна кареты прямо подъ копыта гусарскихъ коней...

— Ахъ, Боже мой!—невольно воскликнулъ Грековъ, жадно слушавшій удивительныя признанія дѣвушки.

— Да... но добрые гусары спасли меня,—продолжала она.—Въ ужасѣ увидали они подъ копытами коней безпомощное существо, взяли его, думали, что я нечаянно вывалилась изъ кареты, и поднесли къ дверцамъ,

чтобъ передать матушкѣ... Но въ это время подскакалъ мой отецъ — онъ все зналъ, онъ догадался, что я была выброшена... Онъ плакалъ надо мной, но матушкѣ не отдалъ... Онъ положилъ меня къ себѣ на сѣдло... Вотъ гдѣ была моя первая колыбель...

Она остановилась. Передъ нею всталъ образъ ея добраго, тихаго, нѣсколько грустнаго отца. Грековъ тоже молчалъ. Никогда еще молодой казакъ не переживалъ того, что переживалъ теперь.

— Милый, милый папа! Какъ онъ былъ всегда добръ ко мнѣ, какъ я помню его кроткое, ласковое-ласковое лицо, его любящіе глаза, — задумчиво продолжала дѣвушка. — Да и я же любила его!

— Любили? Развѣ его нѣтъ ужъ на свѣтѣ? — участно спросилъ Грековъ.

— Не знаю... Я покинула его... Я ничего не знаю... Можетъ быть, я убила его, бѣдный папа!.. Да (продолжала она), отецъ, занятый службою, отдалъ меня на воспитаніе и попеченіе фланговаго гусара Астахова... Добрый Асташа! Онъ по цѣлымъ днямъ носилъ меня на рукахъ, да такъ нѣжно, такъ любовно, какъ не сумѣла-бы лелеять меня ни одна няня... Онъ ходилъ со мною въ эскадронныя конюшни, сажалъ меня на спину лошади, давалъ въ руки пистолеть, махалъ передо мною саблею, и я привыкала ко всему этому... Я была счастлива: я хлопала рученками и заливалась смѣхомъ при видѣ блестящей стали... Со спины лошади я карабкалась на шею Астахову, отъ Астахова переходила на сѣдло... Вечеромъ онъ носилъ меня къ полковымъ музыкантамъ; тамъ играли зорю, и подъ эту музыку я засыпала на рукахъ у моего пестуна... Да, странная, странная моя матушка; я боялась ея съ тѣхъ поръ, какъ стала понимать себя; увидавъ ее, я съ ужасомъ закрывала лицо и оббивала рученками грубую шею моего добраго Астахова... Но скоро не стало у меня и Астахова, моей незабвенной няни... Когда мнѣ исполнилось пять лѣтъ, отецъ мой вышелъ въ отставку, и тутъ начинается во мнѣ борьба противъ моего собственнаго пола, борьба противъ женскаго призванія. Я поступила на попеченіе матушки... Взросшая въ конюшнѣ, съ ухватками Астахова, которому я, какъ моему идеалу, во всемъ подражала, я могла только возбуждать ужасъ въ моей матушкѣ. Въмѣсто того, чтобы играть въ куклы или приучаться къ женскимъ рукодѣльямъ, я требовала себѣ пистолета, съ плачемъ прося позволенія „пошелкать“ имъ. По дому только и слышалась моя команда: „эскадронъ направо!.. Заѣзжай!.. Съ мѣста маршъ-маршъ!“ Я страстно любила лошадей и мою книжку я несла къ моимъ любимцамъ, чтобы учиться поближе къ лошадямъ, къ конюшнѣ... Но, Боже мой! развѣ же я была виновата въ этомъ изуродованіи моей природы, моихъ наклонностей! Когда матушка замѣтила во мнѣ эти дикіе инстинкты, она слишкомъ круто повернула дѣло и окончательно изломала мою природу: она не отпускала меня отъ себя ни на шагъ — ни погулять, ни порѣзвиться. По цѣлымъ днямъ я должна была сидѣть въ горницѣ и плестъ кружева. Матушка сама учила

меня вязать, шить и все это съ раздраженіемъ. Видя, что я не имѣю охоты да и способностей къ этимъ скучнымъ упражненіямъ, что все въ рукахъ моихъ рвется и ломается, матушка сердилась, выходила изъ себя и била меня по рукамъ, била больно, безжалостно... При мнѣ бывало она говорила отцу, что не выносить огня моихъ глазъ, боится меня—ребенка-то!.. Что лучше желала-бы видѣть меня въ гробу, чѣмъ такую дикую, какою я росла... И я все это слышала, и во мнѣ умирала женщина, умиралъ человѣкъ... Меня стали держать въ заперти... Только въ добрыхъ глазахъ отца, да въ ласкѣ, которую онъ тайкомъ давалъ мнѣ, я видѣла сочувствіе, жалость ко мнѣ... О! зато какъ же я и полюбила его! Это любовь превратилась въ страсть, когда я начала подростать и болѣе понимать то, что окружало меня. Я могла бы задохнуться въ неволѣ; но въ мою тюрьму мой добрый отецъ бросилъ лучъ свѣта: онъ поселилъ во мнѣ любовь къ знанію, къ ученю. Онъ давалъ мнѣ читать книги, въ которыхъ я нашла невѣдомый для меня міръ. Я жила съ людьми, которыхъ никогда не видала, но я жила съ героями, съ высокими человѣческими идеалами... Въ этомъ заколдованномъ мірѣ я и росла... Передъ матерью я молчала и покорялась; но угнетеніе дало зрѣлость моему уму. Я приняла намѣреніе свергнуть съ себя тягостное иго, и, подростая, стала обдумывать планъ, какъ мнѣ успѣть въ этомъ. Для меня оставался одинъ выходъ—выступить въ жизнь въ роли мужчины, ибо только для мужчины этотъ необъятный міръ открыть, какъ свой домъ. Куда же я могла направить свою мысль? Туда, куда стремились мысли всего міра... Передо мною возсталъ образъ Наполеона! Я имѣла дерзость думать—идти противъ него... Но эта дерзость и спасла меня: я положила перестать быть женщиной—и вотъ вы видите меня... Я не женщина!

Грековъ взялъ ея руки и крѣпко пожалъ.

— Вы... вы... я не знаю, кто вы... Вы больше чѣмъ человѣкъ... вы...—но онъ не докончилъ.

— Да, я не человѣкъ, а уродъ...

— Нѣтъ! ради Бога, не говорите этого... Вы—великая!

— Нѣтъ, я мелкая птица, отбившаяся отъ своей стаи и приставшая къ чужой... Но меня могутъ узнать и заклевать... Все же я счастлива: я завоевала себѣ свободу мужчины... Какъ только я рѣшилась похоронить себя, какъ женщину, я старалась приучить себя къ мужскимъ занятіямъ: ѣздить верхомъ, стрѣлять изъ ружья. Для этого я не упускала ни одной минуты, когда могла урваться изъ-подъ надзора матушки и отдаться своимъ занятіямъ. У матушки гости, она запята ими, а я уже въ саду, въ своемъ арсеналѣ: это уютный уголокъ въ кустахъ, гдѣ хранились мои стрѣлы, лукъ, сабля и негодное ружье... Я забывала весь свѣтъ, и забывала матушку, и только отчаянные крики горничныхъ давали мнѣ знать, что меня ищутъ, и я со страхомъ возвращалась къ матери... Брань, укоры, наказанія—я все выносила; я обтерпѣлась, потому что впереди свѣтило мое **сѣлице**—свобода! О, вы, мужчины, не знаете, что такое свобода для

женщины!.. Мой милый папа и тутъ былъ моимъ союзникомъ: онъ купилъ мнѣ черкаскаго жеребца.

Это Алкида?—спросилъ Грековъ, съ благоговѣніемъ глядя на дѣвушку.

Да, Алкида... На немъ сосредоточилась тогда вся моя нѣжность: я кормила его хлѣбомъ, сахаромъ, солью, и дикій конь привязался ко мнѣ, къ двѣнадцатилѣтней дѣвочкѣ: онъ ходилъ за мной какъ овца... За то каждый день я скакала на немъ какъ бѣшеная. Въ то-же время съ каждымъ днемъ я становилась смѣлѣе и предприимчивѣе. Кромѣ матушки, я никого и ничего не боялась. Мнѣ казалось страннымъ, что моя сверстница-дѣвочка боялась оставаться однѣ въ комнатѣ; я, напротивъ, готова была въ глубокую полночь идти на кладбище, въ лѣсъ, въ пустой домъ, въ пещеру, въ подземелье. Когда всѣ спали, я скакала по полю на моемъ Алкидѣ, и въ семействѣ считали меня лунатикомъ, видя, какъ я въ ночное время шатавалась къ своему любимцу... Вотъ почему я такъ люблю этого коня...

А Алкида—рѣдкая лошадь, да и васъ онъ любитъ...

Онъ отнюдь, что мы съ нимъ—сироты круглыя...

Грековъ нерешительно вскопился было, схватилъ свою собеседницу за руку, но не рѣшился и снова опустился на свое сидѣнье.

Настъ говорите о себѣ лучше... Я точно во снѣ,—тихо сказала она и повторила...

А я все сказала, кажется... Впрочемъ, можетъ быть, матушка сказала для меня больше, чѣмъ я думаю... Да, быть можетъ, я вышла изъ маго заколдованнаго круга, бросила бы всѣ мои гусарскія замашки и сдѣлалась бы обыкновенною дѣвушкой, какъ всѣ, если-бъ матушка не представляла мнѣ въ самомъ безотрадномъ положеніи участь женщины. Она говорила при мнѣ въ самыхъ обидныхъ выраженіяхъ о судьбѣ этого пола. Женщина, по ея мнѣнію, должна родиться, жить и умереть въ рабствѣ... Вѣчная неволя, тягостная зависимость и всякаго рода угнетеніе есть ея доля отъ колыбели до могилы. Женщина исполнена слабостей, лишена всякихъ совершенствъ и ни къ чему не способна. Женщина, однимъ словомъ, самое несчастное, самое ничтожное и самое презрѣнное твореніе въ свѣтѣ! Голова моя шла кругомъ отъ этой картины участи женщины—и я рѣшилась, хотя бы это стоило мнѣ жизни, отдѣлиться отъ пола, который находится, какъ мнѣ казалось, подъ проклятіемъ Божиимъ... Мой полъ былъ моею нравственной каторгой. Даже мой добрый папа говорилъ иногда, что вмѣсто Надежды онъ желалъ бы имѣть сына подъ старость... А вѣдь я такъ любила его!.. И вотъ я рвалась изъ каторги.. и вырвалась... Правда, когда мнѣ было четырнадцать лѣтъ и я гостила въ Малороссіи у своей бабушки, у Александровичъ,—я немножко вздохнула тамъ: у бабушки меня хоть не зашнуровывали и не морили надъ кружевомъ... Тамъ я много читала, рисовала, гуляла... Въ Малороссіи я...

Она разомъ остановилась и почувствовала, что краска разлилась по ея блѣднымъ щекамъ. Грековъ ждалъ, недоумѣвая надъ тѣмъ, что остановило ее. А ее остановилъ образъ юноши, выглянувшій изъ ея прошлаго. „Кирыякъ, Кирыякъ!“ это далекое воспоминаніе, это имя, какъ бы кѣмъ-то произнесенное въ ея сердцѣ, остановили ея рассказъ. Если бъ его не отняли у нея, можетъ быть, она была бы не тѣмъ, чѣмъ стала она теперь.

— Я слушаю васъ,—робко подсказалъ Грековъ.

Она опомнилась и тихо сказала:

— Я кончила, остальное вы все знаете.

Они замолчали оба. Чувствовалось, что что-то осталось недосказаннымъ и съ той, и съ другой стороны. Наступила какая-то мучительная тишина: хоть бы вѣтеръ, хоть бы шумъ деревьевъ, шелестъ листьевъ! Нѣтъ, тихо, невыносимо тихо... Все точно ждетъ чего-то: и лѣсъ ждетъ, и небо ждетъ, и воздухъ ждетъ...

— Я... вы... А если васъ оставить... отошлуть домой...—старается сказать молодой казакъ; хочетъ что-то высказать, но не можетъ—словъ нѣтъ.

Еще тише стало... Фу! да такъ съ ума сойти можно отъ такой тишины проклятой.

— Вы оставите насъ... забудете...—выдавливаетъ изъ себя слова бѣдный Грековъ, этотъ храбрый казакъ,—вы не воротитесь къ намъ...

— Нѣтъ!.. нѣтъ!..

И храбрый уланъ заплакалъ. Она припала лицомъ къ ладонямъ. Странно было видѣть эту круглую, стриженую женскую голову на туловищѣ улана.

И храбрый казакъ растерялся. Онъ сталъ отнимать ладони улана отъ плачущаго лица.

— Ради Господа!.. что-жъ это такое будетъ!.. Дуровъ!.. Надежда!—казакъ совсѣмъ сбился съ толку: и „Дуровъ“, и „Надежда“, а по батюшкѣ какъ—не знаетъ. По неводѣ растеряешься.

— Надежда!.. Надя!

Такъ-то лучше. И казакъ обнялъ улана, цѣловалъ его руки, рейтузы... Руки улана потянулись и обвилились вокругъ шеи казака. И казацкія, и уланскія губы соединились.

Ну, а дальше какъ слѣдуетъ: это всякій знаетъ.

VI.

— Ну, братецъ ты мой, и сунулъ же нонѣ меня нечистый въ лѣсъ—ай-ай!—разсказывалъ въ тотъ же вечеръ словоохотливый гусарикъ, котораго мы уже видѣли подъ Фридландомъ и который разсказывалъ Дуро-

вой, какъ ихъ „эскадронная Жучка“ съ ними въ атаку ходила и какъ ее французъ ранилъ.— Вотъ угораздилъ.

— А что?—спрашивали товарищи.

— Да такое, братецъ тый-мой, что не приведи Богъ.

— Ноли лѣшій?

— Гдѣ лѣшій! хуже того.

— Али русалка?

— Да ты, чортъ, слушай!

— Что лаешься, песъ?

— Не лаюсь—дѣло говорю.

— Ну, и говори!

— И говорю... Вотъ, братецъ тый-мой (обращается рассказчикъ къ другому), иду это я лѣсомъ, къ рѣчкѣ этакъ, коли слышу впереди этакъ— не то стонетъ, не то плачетъ... Глядь—анъ черти.

— Что ты! въ образѣ?

— Да ты не пербивай.

— Я не пербиваю... ну, черти?

— Каки черти! Казакъ улана...

— Что ты! бьетъ? убилъ?

— Не бьетъ... Цалуетъ, братецъ тый-мой!

— Ой-ли! какъ цалуетъ?

— Да такъ... Посадилъ этакъ ево къ себѣ на колѣни...

— На колѣни! Ахъ, дьяволъ!

— На колѣни да и облапилъ... словно бабу.

— Ай-ай-ай! вотъ срамъ! А уланъ что?

— Знамо—уланъ раскисъ да казака обнимаетъ...

— Эге-ге-ге! Такъ ее, бачъ, казакъ зъ уланомъ женихается?—не утерпѣлъ Заступенко, пріятель Лазарева, тотъ самый, что Александра Павловича насмѣшилъ въ Тильзитѣ.—Отъ бисовы москали!

— Ну, и что-жъ?—любопытствовали товарищи.

— Что! Я какъ воззрилъ на эту вещь—да назадъ!

— Какъ назадъ! Что-жъ ты ихъ не накрылъ?

— А поди сунься, ожгись.

— Что двое-тр? Эка невидаль!

— Не двое... А уголовщина, братецъ тый-мой. Въ свидѣтели притянули-бы—какъ да что... Затаскаютъ!

— Это точно что затаскаютъ.

— За что затаскать?

— Какъ за что? Да это дѣло, братецъ тый-мой, Сибирью пахнетъ.

— Пахнетъ, вѣрно.

— Ну-ну! ужъ и казаки, Бога на нихъ нѣту.

— Вѣстимо нѣту. Не даромъ сказано: казака кобыла родила.

— А народъ храбрый... Что грѣшить—ловкій народъ, занозистый.

Такъ-то солдатики своимъ непосредственнымъ умомъ и своимъ непо-

средственнымъ отношеніемъ къ явленіямъ жизни отнеслись къ той простой идиллической сценѣ въ лѣсу, на берегу Двины, дѣйствующими лицами въ которой были—застѣчивый, растерявшійся Грековъ и пораженная неожиданною вѣстью Надя Дурова.

День и ночь она провела въ какомъ-то полубреду. То бродила она по лѣсу, когда Грековъ, торопившійся возвратомъ въ Витебскъ, оставилъ ее, надѣясь увидѣть въ штабъ-квартирѣ, садилась на то мѣсто, гдѣ они сидѣли вдвоемъ, искала слѣды его ногъ на пескѣ, и нашла даже слѣды его колѣнъ... безуміе!—возвращалась въ свою квартиру, молча, ничего не понимая, слушала болтовню суетившихся около нея евреевъ, то брала свой дневникъ, въ послѣдствіи, въ 1836 году, напечатанный Пушкинымъ въ „Современникѣ“, куда она вносила наиболѣе выдающіяся и памятные впечатлѣнія своей жизни, а теперь, держа перо въ рукѣ, никакъ не рѣшалась и не умѣла внести въ него то, чѣмъ переполнена была ея душа—не находила словъ, звуковъ, потому что то, что она чувствовала теперь, кричало въ ея душѣ, пѣло и ныло и радостнымъ чѣмъ-то и чѣмъ-то похороннымъ, прощальнымъ... То выходила она, ночью, къ Алкиду, и припавъ къ нему на шею, плакала, то прощалась съ нимъ, то здоровалась, охватываемая какою-то блаженною радостью... Безуміе, блаженное безуміе!..

Но зато какъ часто она вынимала изъ ноженъ свою саблю и смотрѣлась, какъ въ зеркало—да и гдѣ было ей взять зеркало—въ ея блестящій клинокъ... „Дурнушка... дурнушка... рябая... и глаза!.. А у него какіе милые глаза... милый-милый!..“

— Пожалуйте къ генералу!—раздается вдругъ голосъ.

Это уже утро. На порогѣ стоитъ вѣстовой... Дрогнуло сердце, да такъ и замерло... „такъ это правда... Боже!“

— Сейчасъ буду,—никакъ не совладаетъ она съ своимъ голосомъ.

— Счастливо оставаться.

— Прощай...

„Нѣтъ, это не мой голосъ“,—думается:—„куда мой дѣвался? въ лѣсу тамъ, гдѣ слѣды колѣнъ?..“ Вѣстовой уходитъ, брызгая шпорами. Она одѣвается. Руки холодныя, дрожатъ. Сердце сжато. Торопливо вычищенъ мундиръ, застегнутъ... Трудно на груди застегивается... А онъ... его рука тутъ—Боже мой!.. Надѣваются бѣлые шерстяныя эполеты, подвязывается сабля, и эта брызкаетъ, словно живая... Черезъ плечо—бѣлая перевязь съ подсумкомъ и патронами... Талія перетянута... Вышла, надѣвъ каску съ султаномъ.

На дворѣ обступаютъ евреята, ахаютъ...

— Ахъ, какой паничъ! ахъ, какъ хорошо!

На улицѣ, кажется, всѣ глядятъ на нее. У всѣхъ на лицахъ что-то особенное, а это „особенное“ у нея въ душѣ, въ ея нервахъ, а не у нихъ на лицахъ...

— Азъ—буки—вѣди—глаголь—добро—есть!..

Это голосъ Пилипенка, муштрующаго свою Жучку.

— Въ кольцо! въ кольцо! эхъ, въ самое сердце угодить...

Это голоса солдатъ, играющихъ въ свайку. Все это какъ-то странно звучитъ, особенно...

„А вдругъ государь скажетъ: „Я назначаю тебя своимъ адъютантомъ“... А тамъ—послѣ... Наполеонъ въ плѣну... я отбираю у него шпагу... везу его... А онъ... Грековъ... какъ же безъ него?..“

Жоры-дачка тан-ка,
Ръчи-ка глыба-ка—
Жордачка танка.
Ръчка глыбака...

Это кто-то на балалайкѣ выщипываетъ, весело кому-то, беззаботно... А ей не весело—все какъ-то спуталось въ душѣ, перебилося, въ разбродъ идетъ...

„Неужели Каховскій ничего не увидитъ у меня на губахъ?.. Я сама чувствую, что есть что-то, слѣды чего-то отпечатались... Онъ узнаетъ—стыдно, стыдно... И по глазамъ узнаетъ... И государь узнаетъ—этого скрыть нельзя... Развѣ спрячешь солнце?..“

Какъ-то машинально, автоматически вступила-она въ квартиру Каховскаго. Это былъ уже не молодой генералъ, съ сильною просѣдью въ бѣлокурыхъ волосахъ, особенно на вискахъ, и съ голубыми, все еще ясными и говорливыми глазами. Онъ сидѣлъ у стола, на которомъ стояла большая хрустальная чернильница съ этажерочкой, уложенной гусинными перьями. На столѣ разбросаны были бумаги—ордеры, приказы, рапорты эскадронныхъ начальниковъ, письма. Тутъ же сидѣлъ какой-то пожилой господинъ, котораго Дурова видѣла въ первый разъ.

Едва дѣвушка явилась предъ лицомъ начальства, какъ трезвость мысли сразу воротилась къ ней. Она помнила одно, что она солдатъ, что ее требовали по дѣламъ службы.

Вытянувшись въ струнку, она ждала приказаній. Но въ то-же время она сразу увидѣла, что и здѣсь на нее смотреть какъ-то особенно, а неизвѣстный господинъ—такъ тотъ положительно воззрился на нее, хотя старался не дать этого замѣтить.

— Здравствуйте, господинъ Дуровъ!—ласково, хотя начальнически сказалъ Каховскій.

— Здравія желаемъ, ваше превосходительство!—отвѣчала дѣвушка тоже служебнымъ тономъ, звякнувъ шпорами и выпитивъ и безъ того выпяченную природою грудь.

— Скажите, пожалуйста,—продолжалъ генералъ,—согласны-ли были ваши родители, чтобы вы служили въ военной службѣ, и не противъ-ли ихъ воли вы поступили?

— Противъ ихъ воли, генералъ.

— Вы дворянинъ?— снова спросилъ Каховскій.

— Да, генераль, нашъ родъ дворянскій.

— Что же побудило васъ идти противъ воли родителей?

— Моя непреодолимая наклонность къ оружію. Я съ дѣтства мечталъ о военномъ дѣлѣ... Но такъ какъ родители не хотѣли меня отпустить, то я тайно ушелъ отъ нихъ съ казачьимъ полкомъ.

— Странно, очень странно все это,—говорилъ генераль какъ-бы самъ съ собою.—А теперь родители ваши знаютъ, гдѣ вы и что съ вами?

— Не знаю, генераль. Въ маѣ, передъ походомъ нашимъ за границу, я писалъ отцу, извѣщалъ его, гдѣ я и что со мной, просилъ его прощенія... Но, вѣроятно, письмо не дошло до него.

— Хорошо, молодой человѣкъ. Я васъ призвалъ затѣмъ, чтобъ объявить вамъ приказъ главнокомандующаго: вы сейчасъ же должны ѣхать въ Витебскъ и явиться графу Буксгевдену. Полковникъ Нейдгардтъ (онъ указалъ на незнакомаго господина), адъютантъ графа, самъ проводитъ васъ въ Витебскъ.

Дѣвушка не могла не удивиться, когда увидѣла, что Нейдгардтъ всталъ и поклонился ей—это полковникъ-то, адъютантъ главнокомандующаго, кланяется юнкеру!

— Но вы должны оставить ваше оружіе здѣсь,—добавилъ Каховскій.

Дѣвушка сдѣлала движеніе испуга.

— Не бойтесь, господинъ Дуровъ...

— Ваше превосходительство! — жалобно заговорила странная дѣвушка.

— Повторяю вамъ—не пугайтесь: я не арестую васъ, я только соблюдаю форму,—съ улыбкой сказалъ Каховскій.

— Генераль... я не заслужилъ, чтобъ...

Она не могла говорить отъ волненія.

— Успокойтесь, успокойтесь, молодой человѣкъ... Вы большаго заслужили, чѣмъ это... Я лично былъ свидѣтелемъ вашей храбрости и могу сказать—не въ обиду вамъ—безумной. Я тогда же, помните, намылилъ вамъ голову. Потомъ, обратясь къ Нейдгардту, прибавилъ:—вообразите, полковникъ, этотъ юноша (на „этомъ юношѣ“ генераль сдѣлалъ очень подозрительное удареніе)—этотъ юноша, въ битвѣ при Гудшадтѣ, во время жарчайшей схватки бросается на кучу французовъ и отбивается у нихъ плѣннымъ почти, раненаго русскаго офицера. Эта безумная дерзость юноши до того поразила французовъ, что они растерялись и ускакали. А этотъ молодецъ отдастъ свою лошадь раненому. А потомъ еще лучше: перехватываетъ гдѣ-то, подъ самымъ огнемъ непріятеля, раненаго улана и возится съ нимъ какъ нянька... Такъ, сударь, могутъ поступать только дѣти,—закончилъ онъ, обращаясь уже къ Дуровой.—А теперь—счастливаго пути.

— Но мое оружіе, генераль...

— Объ оружіи—послѣ, а теперь исполняйте приказаніе начальства.

Нейдгардтъ всталъ и простился съ генераломъ.

— Такъ вы со мной?—обратился онъ къ недоумѣвающей дѣвушкѣ.

— Какъ прикажете... я сейчасъ...

Она никакъ не могла отстегнуть саблю—руки ходенемъ ходили.

— Я помогу вамъ,—сказалъ Нейдгардтъ, нагибаясь, чтобы отстегнуть крючекъ.

„Полковникъ помогаетъ юнкеру... солдату... Да, Грековъ правъ—тамъ что-то знаютъ... догадываются“, мелькнуло въ головѣ страннаго юнкера.

Они вышли. Съ обѣихъ сторонъ чувствовалась неловкость.

— Вы, вѣроятно, желаете приготовиться къ дорогѣ?—сказалъ Нейдгардтъ нерѣшительно.—Мы сейчасъ ѣдемъ.

— Да, полковникъ, я долженъ зайти къ себѣ — распорядиться насчетъ коня...

— О конѣ не беспокойтесь—его будутъ беречь впредь до распоряженія. А вы о себѣ подумайте.

— Развѣ меня навсегда увозятъ отсюда?—съ испугомъ спросила дѣвушка.

— Не знаю... Мнѣ не дано на этотъ счетъ приказаній... Но лучше приготовьтесь... къ дорогѣ, конечно.

— Къ дальней, полковникъ?

— Можетъ быть... на всякій случай... Черезъ четверть часа мой экипажъ будетъ у воротъ вашей квартиры... До свиданья.

Онъ ушелъ. Она стояла въ нерѣшительности, точно забыла, гдѣ ея квартира. Слово весь свѣтъ перевернулся. Это все тотъ же Полоцкъ — да не тотъ: не то освѣщенье, не тѣ дома, не тѣ выраженья на лицахъ у людей... Что это?—чувство разлуки?... Точно разомъ все это становится чужимъ—и такъ скоро, мгновенно! Это словно такъ, какъ смотришь на мертваго: вчера онъ смотрѣлъ, разговаривалъ, понималъ, а сегодня—онъ точно чужой всѣмъ и всѣ ему чужіе... Онъ точно ушелъ куда-то, ушелъ навѣки, хоть онъ лежитъ тутъ... Такъ и Полоцкъ разомъ ушелъ — и та роща ушла, что вчера была такъ зелена и тиха, что вынудила его говорить... И то мѣстечко ушло, гдѣ сидѣли они... Ушли и слѣды его колѣнъ на пескѣ... и онъ ушелъ...

— Ахъ, паничъ, гдѣ ваша сабля?—пищитъ Сруликъ.

Тутъ только она опомнилась — увидѣла, что она уже на квартирѣ у себя. Быстро дрожащими руками уложивъ свой немудреный походный багажъ, дѣвушка вынесла его на крыльцо и бросилась въ сарай къ своему Алкиду. Конь, не видавшій ее съ утра, радостно заржалъ и какъ сабака сталъ тереться головой о ея плечо. А она, обхвативъ его шею, крѣпко сжала.

— Прощай, Алкидушка, прощай, мой милый!—шептала она.

Евреята окружили эту группу и стояли съ разинутыми ртами... Умные глаза коня говорили, что онъ что-то понимаетъ...

У воротъ послышался стукъ экипажа, и во дворъ вошелъ Нейдгардтъ...

Изъ сарая вышла Дурова, окруженная евреями, а за ними вышелъ и Алкидь—онъ оборвалъ недоуздокъ и слѣдовалъ за своей госпожей... Дурова какъ-то отчаянно махнула ему рукой...

— Ради Бога, Салазкинъ, возьми его, береги, корми его лучше... давай ему соли чаще,—быстро говорила она, обращаясь къ подошедшему улану.

Нейдгардтъ, видимо, былъ тронутъ этой трогательной привязанностью къ коню.

— О немъ не беспокойтесь: его сберегутъ вамъ,—успокаивалъ онъ.

Но Алкидь былъ не-промахъ,—онъ сразу понялъ, въ чемъ суть: не давшись въ руки Салазкину, онъ все лѣзъ къ своей госпожѣ, такъ что та не устояла: она снова бросилась къ нему и обняла его шею.

— Прощай-прощай, мой милый!

Но-едва она вмѣстѣ съ Нейдгардтомъ вошла въ коляску и тройка тронулась, какъ Алкидь, поваливъ Салазкина, бросился за экипажемъ, твердо, повидимому, рѣшившись поставить на своемъ. Пришлось остановить коляску и прибѣгнуть къ насилію. Нейдгардтъ очень смѣялся, а Дурова чуть не плакала. Но дѣлать было нечего: сошлось нѣсколько уланъ, притянули крѣпкій арканъ съ петлею, и избалованный конь только тогда всунулъ голову въ эту петлю, когда она преподнесена ему была руками его любимицы... Уланы съ трудомъ удержали его, когда коляска двинулась въ путь.

Проѣзжая мимо рощи, Дурова силилась вспомнить послѣднія слова, сказанныя ей Грековымъ тамъ, на откосѣ берега, но не могла: она только чувствовала ихъ...

Курьерская тройка мчалась вихремъ, колокольчикъ захлебывался подъ дугой, рощи, боры, болота, поля и человѣческія жилища мелькали какъ въ передвижной волшебной панорамѣ... Ямщикъ то и дѣло выкрикивалъ: „соколики, грабуютъ! не выдай!“—и соколики мчались отъ станціи до станціи, словно бы за ними въ самомъ дѣлѣ по пятамъ гнались разбойники.

Дурова сидѣла задумчивая, грустная... Ей самой казалась загадочною ея судьба: оглянуться назадъ—страшно какъ-то, сердце щемитъ отъ этого оглядыванья; тамъ порваны какія-то нити, а концы этихъ нитей все еще висятъ у сердца, какъ змѣи, и сосутъ его... Впередъ заглянуть—еще страшнѣе: вѣдь это туда, впередъ, и мчитъ бѣшеная тройка, торопится... А что тамъ?.. Но что бы тамъ ни было—впередъ, впередъ! Молодое воображеніе тянетъ вдаль—хочется разомъ распахнуть завѣсу будущаго, разомъ охватить все, разомъ выпить чашу жизни... Вотъ-вотъ, кажется, разверзнутся небеса... Да, они вчера разверзались уже на моментъ—и опять закрылись... А онъ?.. Неужели все это уже кануло въ пропасть и не вынырнетъ оттуда?.. Но вѣдь это былъ только сонъ...

— Васъ пугаетъ, кажется, неизвестность того, что ожидаетъ васъ?—ласково спрашиваетъ Нейдгардтъ.

— Да, полковникъ,—отвѣчаетъ она неопредѣленно.

— Напрасно... Конечно, я не могу сказать вамъ вѣрнаго, но могу предсказать только хорошее... Вамъ который годъ?

— Вотъ ужъ семнадцать минуло недавно.

— Ужъ семнадцать! Эки ужасныя лѣта! —добродушно засмѣялся полковникъ.— Ужъ семнадцать... А давно вы оставили вашъ домъ?

— Ровно годъ.

— И это вы продѣлали все шестнадцати лѣтъ!.. Ну, удивляюсь вамъ, рѣшительно удивляюсь... А я въ ваши годы чуть-ли не въ лошадки игралъ въ корнусъ... А вы гдѣ воспитаніе получили?

— Дома, подъ руководствомъ отца.

— А вашъ батюшка военный?

— Да, онъ былъ гусаромъ.

— И фамилія его Дуровъ?

— Дуровъ.

Добрѣякъ полковникъ еще что-то хотѣлъ спросить, но не рѣшился: онъ чувствовалъ, что это уже будетъ нескромность, нѣчто въ родѣ выпытыванья. Поэтому на серьезные вопросы онъ и не отваживался.

— Да, да... Ужъ и конь у васъ—вотъ умница! Умѣе иного солдата... Онъ давно у васъ?

— Съ двѣнадцати лѣтъ.

— А избалованъ шельма—ухъ, какъ избалованъ... А васъ слушается?

— Слушается.

— Удивительный конь!

Опять молчаніе. Опять—„соколики, грабуютъ!..“ Полковникъ чувствуетъ свою неловкость.

— А у меня дочка вашихъ лѣтъ,—заговариваетъ онъ,—и вдругъ конфузится, почувствовавъ, что сказала будто-бы что-то лишнее.—Она у меня въ Смольномъ...

Молчаніе.

— Видѣли Наполеона?—попытка поправить промахъ.

— Видѣлъ, полковникъ.

— Гдѣ изволили видѣть?

— И подъ Фридландомъ—издали, и въ Тильзитѣ—близко.

— Необыкновенный геній!

— Я, полковникъ, удивляюсь ему, но не люблю его.

— Такъ, такъ,—онъ и не стоитъ... честолюбецъ, и пржестокій.

Бѣдный полковникъ не зналъ, какъ скоротать скучную дорогу. Это порученіе, выпавшее ему на долю, порученіе — доставить таинственнаго юношу, подъ которымъ—передаютъ за величайшій секретъ—скрывается дѣвушка,—да, это порученіе—труднѣйшее и щекотливѣйшее изъ всѣхъ, какія онъ исполнялъ въ своей жизни... И притомъ—„по высочайшему повелѣнію“, это вотъ чѣмъ пахнетъ... Вотъ тутъ и вертись словно на иголкахъ; того и гляди бухнешь невпопадъ, скажешь лишнее... А болваномъ сидѣть тоже совѣстно... дѣвченка, можетъ, въ самомъ дѣлѣ... и усовъ не видать,

и голосъ тонковать для семнадцатилѣтняго молодца, да и мундиръ-то какъ будто бы неададно сидитъ на груди, расползается какъ-то; ну, и рейтузы на бедрахъ тоже мое почтеніе—расперло-таки... Чортъ знаетъ что такое!.. Вотъ тутъ и вертись, чтобъ въ дуракахъ не остаться... А! пропадай ты совсѣмъ!.. Приходится хоть на конѣ выѣзжать, всего безопаснѣе...

— Что-то онъ, голубчикъ, подѣлываетъ?—закидываетъ полковникъ.

— Кто, полковникъ?

— Да конь вашъ.

— А! Алкидъ...

— Такъ его Алкидомъ зовутъ?

— Алкидомъ, полковникъ.

— Хорошее имя—романтическое.

И опять матеріалъ для дипломатическаго разговора истощается.

— Вотъ у меня кобыла Клеопатра—тоже имя романтическое... Хорошая кобылка...

Но словомъ „кобылка“ бѣдный полковникъ опять давится—поперхнулся... А чортъ ее знаетъ—можетъ, и въ самомъ дѣлѣ барышня, а я, болванъ, о кобылѣ брякнулъ... Эхъ! скорѣй бы Витебскъ—съ плечъ эту гору... Только ямщикъ немножко и выручаетъ...

— Эхъ, но! соколяки, грабютъ!.. Съ горки на горку, дасть баринъ на водку.

— Хорошіе ямщики здѣсь—русскіе... это ужъ мы развели ихъ, съ войной... а то здѣшніе... ѣздятъ не умѣютъ,—поддерживаетъ разговоръ изъ силъ выбившійся полковникъ.

А съ другой стороны молчаніе. Мысль работаетъ усиленно; но ни на чемъ она не можетъ сосредоточиться. Теперь меньше чѣмъ когда-либо можно найти точку опоры для мысли, словно бѣгъ Меркурія совершаетъ она, только вмѣсто Меркуріева шара подъ ногою—шаръ земной... Есть какая-то свѣтлая точка, но и она, кажется, назади, тамъ, на берегу Двины, за рощей... это слѣды колѣнъ да шопотъ, да какія-то слова...

А бѣднаго полковника ужъ въ жаръ бросаетъ... „Вотъ комиссія! И о чемъ я стану говорить?.. Все выйдетъ щекотливо, неловко... А главнокомандующій прямо приказалъ, что дескать—поделкатнѣе надо, не показывать виду, да чтобъ оно выходило не щекотливо... А вотъ самъ бы попробовалъ влѣзть въ мою шкуру—и вышло бы щекотливо... Вѣдь дьяволъ его знаетъ, что оно такое—сидитъ-то около тебя... Вѣдь „по высочайшему повелѣнію“—тутъ такъ влопаешься, что и не вылѣзешь... Можетъ оно сдѣлается такимъ, что намъ, полковникамъ, головы будетъ свертывать, не даромъ оно заинтересовало государя...“ Бѣдный полковникъ совсѣмъ растерялся: онъ и мысленно не зналъ, какъ относиться къ своему спутнику—„ни онъ, ни она—чортъ знаетъ что такое!.. оно и больше ничего...“

— А я все думаю о вашемъ конѣ,—дѣлаетъ послѣднія, отчаянныя усилія полковникъ.—Удивительный конь!.. Какъ бишь его зовутъ?

— Алкидъ, полковникъ.

— Да, да, — Алкидъ... преромантическое имя...

Но — слава Богу! вотъ и Витебскъ... Ямщикъ гикаетъ какъ-то нечеловѣчески, лошади забираютъ въ мертвую, коляску бьетъ лихорадка — не до разговоровъ больше... Черезъ нѣсколько секундъ тройка остановилась у квартиры главнокомандующаго.

Пріѣзжіе прямо изъ экипажа вошли въ пріемную графа Буксгевдена. Они не успѣли даже стряхнуть съ себя дорожной пыли — такъ торопливо исполнялось требованіе изъ Петербурга...

Дежурные офицеры и всѣ бывшіе въ пріемной съ недоумѣніемъ смотрѣли на привезеннаго юношу. Всѣ полагали, что это государственный преступникъ, тѣмъ болѣе, что при немъ не было оружія; но онъ былъ не подъ карауломъ: это вызывало новыя недоумѣнія...

Полковникъ Нейгардтъ былъ введенъ въ кабинетъ главнокомандующаго, и черезъ минуту вышелъ оттуда.

Ввели Дурову. Графъ Буксгевденъ былъ одинъ. Онъ стоялъ по одну сторону стола, заваленнаго бумагами и ландкартами съ натканными въ нихъ булавками. При входѣ дѣвушки, маленькіе, прищуренные, видимо усталые отъ чтенія рапортовъ и всякой дѣловой переписки глаза графа быстро окинули ее всю съ макушки до носковъ казенныхъ сапогъ. Впечатлѣніе, повидимому, было благопріятное.

— Вы Дуровъ? — спросилъ онъ скороговоркой.

— Точно такъ, ваше сіятельство, — былъ отвѣтъ, въ которомъ слышалось дрожанье молодого голоса.

Графъ вышелъ изъ-за стола и, подойдя къ дѣвушкѣ, положилъ руку на ея плечо.

— Я много слышалъ о вашей храбрости, — сказалъ онъ, желая заглянуть въ глаза, которые были опущены: — и мнѣ очень пріятно, что всѣ ваши начальники отзывались о васъ самымъ лучшимъ образомъ.

Онъ остановился и отнялъ руку отъ плеча, которое, какъ ему казалось, немножко дрожало.

— Вы не пугайтесь того, что я скажу вамъ, — продолжалъ главнокомандующій: — я долженъ отослать васъ къ государю... Онъ желаетъ видѣть васъ. Но повторяю — не пугайтесь этого: государь нашъ исполненъ милости и великодушія, — вы узнаете это на опытъ.

Страхъ все-таки не былъ осилень этимъ предупрежденіемъ. Сердце въ свою очередь предъявило сильный права: впрощанье съ полкомъ, съ полною тревогъ и поэзія боевою жизнью, съ товарищами... А этотъ шопотъ за рошей, эти слова чарующія, ласки — самая сосна, кажется, подъ которою они прощались, нагибалась, чтобы подслушать этотъ шопотъ... Прости! всему надо сказать — прости!.. Она задрожала...

— Ваше сіятельство! государь отошлетъ меня домой, и я умру съ печали!

Это было выкрикнуто такъ по-дѣтски, съ такою искренностью, что

тяжелая рука главнокомандующаго опять легла на дрожащее плечо. Она подняла на него глаза, полные мольбы и страха—такіе дѣтскіе глаза!

— Не опасайтесь этого, молодой человѣкъ!—мягко сказалъ старикъ.— Въ награду вашей неустрашимости и отличнаго поведенія государь не откажетъ вамъ ни въ чемъ. А какъ мнѣ велѣно сдѣлать о васъ выправки, то я къ полученнымъ мною отзывамъ вашего шефа, эскадроннаго командира, взводнаго начальника и ротмистра Казимірскаго приложу еще и своего донесеніе. Повѣрьте мнѣ, что у васъ не отнимутъ мундира, которому вы сдѣлали столько чести.

Щеки дѣвушки розовѣли, сердце распушалось... Она уже живетъ надеждой, возвратомъ, свиданьемъ... соловьи просыпаются въ сердцѣ...

— Будьте же готовы къ отъѣзду немедленно... Васъ доставитъ къ государю флигель-адъютантъ Зассъ, который проѣдетъ съ вами черезъ Москву для исполненія другого порученія его величества. Прощайте. Желаю скорѣе увидѣть васъ въ числѣ моихъ офицеровъ.

Выйдя изъ кабинета въ дежурную, дѣвушка остановилась какъ вкопанная: задомъ къ ней стоялъ какой-то генераль въ штабной формѣ и строгимъ голосомъ говорилъ что-то стоявшему противъ него навтыяжку молодому донскому офицеру... это былъ—Грековъ! Дѣвушка изъ словъ генерала успѣла разслышать:

— За самовольную отлучку въ Полоцкъ вы должны высидѣть на гауптвахтѣ недѣлю...

— Слушаю-съ, ваше превосходительство,—былъ отвѣтъ Грекова.

Въ это время глаза его встрѣтились съ испуганными глазами дѣвушки, но въ этой испуганности было что-то такое, что заставило калмыковатые, добрые глаза Грекова отвѣчать, что за эту испуганность онъ съ радостью готовъ высидѣть на гауптвахтѣ мѣсяць, полгода, годъ!.. И у нея отлегло на сердцѣ.

VII.

Опять идетъ служба въ Архангельскомъ соборѣ въ Москвѣ. Восковыя свѣчи—и толстыя, купеческія, какъ купеческіе карманы, и тоненькія, словно одни фитильки, мужицкія свѣчки—тысячами огней теплятся и оплываютъ, и чадятъ, теплятся и чадятъ въ душномъ, тяжеломъ, насыщенномъ дымомъ ладана, свѣчнымъ чадомъ и чадомъ дыханія молящихся воздухъ церковномъ. Глухія, словно выходящія изъ пивной бочки возгласенія любимаго купцами и купчихами рыжаго дьякона, скрипучія попискиванія стараго, испостившагося на осетринкѣ отъ благодѣтелей, протоіерея, октавы, басы, тенора и дисканты проголодавшихся пѣвчихъ, шопотъ и по временамъ стоны молящихся, стуканье кулаками въ сокрушенныя перси, сокрушенными лбами въ помостъ церковный, звяканье о ктиторово блюдо лобанчиковъ, рублей, пятаковъ и всего громче кричащихъ къ небу

грошей бѣдняковъ,—все это такъ величественно, внушительно, какъ внушительно движеніе волны морской, шумъ говора народнаго, говоръ дремучаго бора въ вѣтеръ...

Вонъ у самого клироса стоять знакомая уже намъ фигура, съ высокимъ, гордымъ, но опущеннымъ книзу бѣлымъ лбомъ; на лицѣ, въ опущенныхъ глазахъ, въ задумчивомъ склоненіи головы отражается эта внушительность мѣста и обстановки. Это графъ Ростопчинъ.

„На этихъ склоненныхъ головахъ, на этихъ согбенныхъ спинахъ, на этой дѣтской вѣрѣ, что заливаютъ церкви огнями копѣчныхъ свѣчечекъ, а церковный помостъ слезами—на этомъ фундаментѣ я сумѣю построить величавое зданіе, храмъ народнаго духа, и имя мое, какъ имя архитектора, записано будетъ на скрижаляхъ безсмертія... Вотъ гдѣ наша сила—въ восковой копѣчной свѣчкѣ; и я еще когда нибудь зажгу ее—и будетъ она вѣчно теплиться въ исторіи вмѣстѣ съ моимъ именемъ...“

Такъ мечтала, прикрытая французскимъ парикомъ, длинная, честолюбивая голова Ростопчина, которому не давалъ спать патріотическій успѣхъ его „Мыслей вслухъ на Красномъ крыльцѣ...“

Нѣсколько въ сторонѣ отъ Ростопчина стоитъ Мерзляковъ. И его доброе лицо задумчиво. Ему вспоминается старикъ Новиковъ, заживо схоронившій себя въ своемъ Авдотьянѣ и воспитывающій карасей въ своемъ вотчинномъ озерѣ. Молитва его мѣшается съ этими воспоминаніями,

„Да, караси, караси... молящіеся караси—все больше караси... А есть и щуки—вонъ купцы съ Мясницкой, изъ Охотнаго ряду—это щуки зубастыя... Вонъ еще щуки молящіяся... Мечтатель—Николай Ивановичъ, старый мечтатель... Эхъ, не весело житье человѣческое!...“

Рядомъ съ дядей стоитъ и Ириша. Тепла ея молитва, и молодое лицо ея теплится радостью и благодарностью, вонъ какъ та свѣчка восковая, что поставила дѣвочка съ радостнымъ личикомъ и новымъ платочкомъ на головѣ... За этотъ платочекъ-обновку она и свѣчку ставитъ: Богъ послалъ обновочку, крестный подарилъ... А у Ириши своя обновочка: плѣнныхъ размѣняли... Эхъ, всемогущая молодость!—ты все творишь изъ ничего...

А вонъ, какъ видно, тотъ отставной военный, что стоитъ у стѣнки и глядитъ на Спасителя, не умѣетъ создать себѣ счастье изъ ничего. Съ мольбою смотритъ онъ на образъ—и нѣтъ-нѣтъ да и скатился по лицу его одинокая слеза и стукнетъ о полъ... Онъ еще не очень старъ, но видно горе его старо...

А это чье молодое лицо смотреть на него съ такою любовью и тоскою? Чьи это молодые губы шепчутъ: „Господи! пошли ему успокоеніе и радость... Папа! папа! это я дала тебѣ горе, бѣдный мой!“—Да, это тѣ губы шепчутъ такъ, которыя недавно цѣловались съ другими, калмыковато толстыми губами за рощею, у Двины, подъ Полоцкомъ. Это она—Дурова въ своемъ уланскомъ мундирѣ стоитъ въ соборѣ и молится. Флигель-адъютантъ Засѣвъ, взявъ ее изъ Витебска, захватилъ по дѣламъ службы

въ Москву, и она въ то время, когда Засеъ отправился съ какимъ-то порученіемъ къ московскому главнокомандующему и сказалъ, что воротится не раньше двухъ часовъ,—она пошла взглянуть на Кремль и зашла въ Архангельскій соборъ, гдѣ обѣдня еще не кончилась... Стоя въ церкви и разглядывая ее, она вдругъ издали узнаетъ знакомый затылокъ и лысину... Сердце такъ и запрыгало у нея, не то оборвалось и заныло при видѣ этого широкаго затылка и этой свѣтящейся лысины... „Это папинъ милый затылокъ, папина лысина, которую я цѣловала когда-то...“ Подходить ближе и видѣть, что это молится и плачетъ ея отецъ... о ней, дурѣ, плачетъ, о безсердечной, о недостойной дочери молится... Такъ-бы она и бросилась передъ ними на колѣни, такъ бы и выцѣловала съ холоднаго пола всѣ слезенки, которыя упали изъ его добрыхъ глазъ на этотъ полъ и разбились, да не смѣетъ она этого сдѣлать, не можетъ... *теперь* не смѣетъ, потому что ее везутъ къ государю и никто не долженъ знать, кто она.

Между тѣмъ служба кончается. Молящіеся расходятся. Но къ старенному попику, выглянувшему изъ боковыхъ вратъ, суется кучка мужичиъ и въ особенности женщинъ и бабъ, желающихъ служить молебны. Дурова стоитъ сзади и видѣть все это. Впереди всѣхъ—ея папа.

— Вамъ, государь мой, панихиду или о здравіи?—спрашиваетъ, тряся головкой, попикъ папу.

— Я и самъ не знаю, батюшка,—отвѣчаетъ папа, утирая слезы.

— Какъ, государь мой, не знаете,—удивляется попикъ.

— Не знаю, батюшка.

— О комъ же вы молитесь желаете, государь мой?

— О дочери.

— Что-жъ она—умерла, помре?.. скончалась?

— Не знаю. батюшка.

— Больна, можетъ? немоществуетъ?

— И того не знаю... Можетъ быть умерла, можетъ—жива... Но думаю, что ея нѣтъ уже на свѣтѣ.

— Такъ глухую вамъ, государь мой, молитву можно,—соображаетъ попикъ.

— Хоть глухую, батюшка,—отвѣчаетъ тоскливо папа.

Въ это мгновеніе надъ ухомъ его раздаются слова:

— Дочь ваша жива и здорова... не печальтесь...

Какъ громомъ пораженный, онъ задрожалъ и чуть не упалъ.

— Надя! Надя!.. это ея голосъ!

Но когда онъ обернулся, онъ не увидѣлъ той, голосъ которой слышалъ:—она быстро скрылась въ толпѣ.

— Солдатикъ какой-то,—шптали пораженныхъ бабы.

— Уланикъ молоденькій,—подтверждалъ попикъ.

Дуровъ бросился искать уланика въ церкви, на паперти, на площади—уланика и слѣдъ простылъ.

Черезъ два дня уланикъ былъ уже въ Петербургѣ. Весь этотъ путь отъ Полоцка и Витебска до Петербурга, эта бѣшеная фельдъегерская скачка, Москва, никогда ею не виданная, подавляющая своей безтолковой громадною и суетлою всякаго, кто жилъ только въ глуши, потому эта потрясающая сцена въ Архангельскомъ соборѣ, а тутъ Петербургъ, словно грибокъ необычайнаго вида, выросшій на трясины и не проваливающийся въ болотную глубину, эти гранитныя, каменныя и бронзовыя чудища, въ видѣ дворцовъ, храмовъ, палатъ и памятниковъ, торчащія надъ водою, этотъ блескъ, и стукъ, и гамъ, и хрестъ оголтелыхъ, торопящихся и суетящихся десятковъ тысячъ людей, эти тысячи колесъ, стучащихъ и дребезжащихъ по всѣмъ улицамъ,—все это слишкомъ ново, слишкомъ разомъ, слишкомъ много для дѣвочки, по нервамъ которой хотя и перекатилось такое тяжелое колесо, какъ Фридрихъ съ громомъ сотенъ орудій, съ пальбою сотенъ тысячъ ружей и тысячами стонущихъ и умирающихъ людей,—однако все же этого слишкомъ много, слишкомъ разомъ: впечатлѣній и переходовъ, крутыхъ и невѣроятныхъ, слишкомъ много образовъ, сценъ, потрясеній тоже много — и не ея бы нервамъ вынести это; а они вынесли... Да чего не вынесетъ молодость съ крыльями Меркурія на ногахъ и въ сердцѣ!

А тутъ надо вынести еще нѣчто...

Въ день пріѣзда въ Петербургъ юный уланикъ, сопровождаемый Засомъ, ѣдетъ во дворецъ... Всѣ эти переходы по громадному зданію, этотъ лабиринтъ, блестящій золотомъ убранства и золотымъ шитьемъ на людяхъ—все это мелькаетъ въ глазахъ какъ сонъ, какъ волшебство, и исчезаетъ, мгновенно вылетаетъ изъ памяти, оставляя слѣды только на нервахъ...

Юный уланикъ машинально, но стройно, какъ восковая свѣчка, входитъ въ императорскій кабинетъ, ничего не видя вокругъ себя... Она видитъ только, что къ ней тихо, ровно, какъ-то монументально приближается очень высокій, очень стройный, съ немигающими глазами человекъ... Гдѣ она видѣла такіе же совсѣмъ не мигающіе глаза!.. Да, въ Тильзитѣ, у маленькаго, кругленькаго человека въ странной треугольной шляпѣ... Да еще она видѣла немигающіе глаза у одной большой птицы въ Малороссіи, когда она гостила тамъ... Это былъ орелъ. И тутъ глаза не мигаютъ...

Задумчивое лицо, разомъ, такъ-сказать окативъ съ головы до сапогъ вошедшую своимъ немигающимъ взглядомъ, подходитъ къ ней и, взявъ за руку, которая, холодная, дрожала какъ осиновый листъ осенью, подводитъ ее къ столу, опирается другою рукою на столъ съ богатыми инкрустациями и, продолжая держать трепетную, холодную руку, говоритъ тихо словно на исповѣди:

— Я слышалъ, что вы—не мужчина... Правда-ли это?

Она стоитъ съ потупленною головою. Голова гладко стрижена—такая круглая, словно точеная... Немигающіе глаза все это осматриваютъ—и эту круглую, наклоненную голову, и эту выдавшуюся, приподнятую и поднимающуюся какъ у взволнованной женщины грудь... Минута молчанія... Накло-

ненная голова поднимается, и въ немигающіе глаза смотрятъ робкіе, смущенные женскіе глаза...

— Да, ваше величество, правда, — шепчутъ губы безстыдницы, нѣсколько дней тому назадъ цѣловавшіяся съ толстыми, калмыковатыми губами мужчины.

Немигающее лицо краснѣетъ мало-по-малу. Краска заливаетъ и лицо той, которая сейчасъ отвѣчала, что она не мужчина... Ея глаза—не изъ немигающихъ, не орлиные; они не выносятъ немигающихъ глазъ и опускаются долу, да такъ ужъ больше и не поднимаются.

— Что было причиною, побудившею васъ отказаться отъ своего пола? — спрашиваетъ ее государь.

— Ваше величество! съ самаго дѣтства я получила наклонности, которыя привели меня къ этому рѣшенію, — отвѣчаетъ наклоненная голова.

— Вашъ отецъ военный?

— Отставной гусарь, ваше величество.

— Какъ же вы пришли къ такому рѣшенію, небывалому въ Россіи? Въ прошедшемъ вы не могли найти примѣровъ для себя.

— Я нашла ихъ въ моемъ сердцѣ, государь, въ моей природѣ. Я родилась на походѣ. Я имѣла несчастье родиться вопреки надеждамъ моей матушки и потеряла ея любовь. Гусарское сѣдло было моею колыбелью, эскадронный фланговый — моей няней и воспитателемъ, эскадронная конюшня — моею первою школою. Оружіе замѣняло мнѣ дѣтскія игрушки. Съ дѣтства матушка моя внушала мнѣ, что женщина — жалкое, презрѣнное существо, на которомъ тяготѣетъ проклятіе Божіе...

— Напрасно она такъ говорила. Это — худа на Духа Святого... Какъ же вы привели въ исполненіе ваше намѣреніе?

— Когда мнѣ исполнилось шестнадцать лѣтъ, государь, я тайно ушла отъ родителей и пристала къ казачьему полку, слѣдовавшему на Донъ.

— Когда это было?

— Ровно годъ, государь.

— Въ какихъ дѣлахъ вы участвовали?

— При Гутштадтѣ и подъ Фридландомъ, государь.

— И васъ не испугало то, что вы тамъ видѣли?

— Нѣтъ, государь.

— Да, вѣрю... Всѣ ваши начальники отзывались съ великими похвалами о вашей храбрости, называя ее безпримѣрною... Мнѣ очень пріятно этому вѣрить, и я желаю сообразно этому наградить васъ и возвратить съ честью въ домъ отцовскій, давъ...

Государь былъ прерванъ — слово не досказалось. Вскрикнувъ отъ ужаса, точеная голова упала къ ногамъ императора.

— Не отсылайте меня домой, ваше величество! не отсылайте! Я умру тамъ, умру! Не заставляйте меня сожалѣть, что не нашлось ни одной пули для меня въ эту кампанію. Не отнимайте у меня жизни, государь! Я добровольно хотѣла ея пожертвовать для васъ...

Точная голова билась о сапоги императора, руки ея обнимали его колѣна... Голосъ дрогнулъ, когда императоръ, поднимая ее, сказалъ:

Чего-жъ вы хотите?

Быть воиномъ, носить мундиръ, оружіе... Это единственная награда, которую вы можете дать мнѣ, государь. Другой нѣтъ для меня. Я родилась въ лагерѣ. Трубный звукъ былъ колыбельною пѣснью для меня. Со дня рожденія люблю я военное званіе. Съ десяти лѣтъ обдумывала средства вступить въ него, въ шестнадцать достигла цѣли своей, одна, безъ всякой помощи. На славномъ постѣ своемъ поддерживалась однимъ только своимъ мужествомъ, не имѣя ни отъ кого ни протекціи, ни пособія. Всѣ согласно признали, что я достойно носила оружіе, а теперь ваше величество хотите отказать меня домой. Если-бъ я предвидѣла такой конецъ, то ничто не побуждало бы мнѣ найти славную смерть въ рядахъ воиновъ вашихъ.

Государь омылъ, видимо, растроганъ. Въ его глазахъ затеплилась доброта и жалость. Онъ задумался.

А законъ? — сказалъ онъ какъ-бы про себя.

Законъ ваше слово, государь.

Но женщина по закону не можетъ быть воиномъ.

И останусь женщиной, ваше величество.

Хорошо. Ваша тайна и должна оставаться тайной.

Кинусь, государь,—эта тайна умереть въ груди моей.

Но передъ нею разомъ встало калмыковатое, дорогое ей лицо... Сердце оросило кровь къ щекамъ—онѣ запылали...

Если вы полагаете,—сказалъ государь, что одно только позволеніе носить мундиръ и оружіе можетъ быть вашею наградою, то вы будете имѣть ее и будете называться по моему имени — Александровымъ... Не сомнѣваюсь, что вы сдѣлаетесь достойною этой чести отличностію вашего поведенія и поступковъ. Не забывайте ни на минуту, что имя это всегда должно быть безпорочно и что я не прощу вамъ никогда и тѣни пятна на немъ.

Новый Александровъ упалъ на колѣни, чтобы благодарить.

— Встаньте. Я опредѣляю васъ въ маріупольскій гусарскій полкъ — офицеромъ.

„А гдѣ онъ стоитъ—маріупольскій полкъ — далеко отъ атаманскаго казачьяго?“ промелькнуло въ головѣ новаго Александра:— „Бѣдненькій Грековъ—онъ и теперь на гауптвахтѣ... думаетъ обо мнѣ...“

— Мнѣ сказывали, что вы спасли офицера. Неужели вы отбили его у непріятеля? Расскажите мнѣ объ этомъ,—говорить государь. Гдѣ это было?

— При Гутштадтѣ, ваше величество.

— Въ самомъ бою?

— Въ бою, государь.

— Какъ же это было?

— Во время одной изъ атакъ я увидѣла, что нѣсколько человѣкъ непріятельскихъ драгунъ, окруживъ русскаго офицера, выбили его выстрѣ-

лами изъ сѣдла. Раненный офицеръ упалъ и драгуны хотѣли рубить его лежащаго... Тогда я быстро понеслась къ нимъ, держа пистолетъ на-перевѣсъ. Надобно думать; ваше величество, что моя сумасбродная смѣлость озадачила ихъ и испугала нечаянностью, потому что они въ то же мгновеніе оставили офицера и разсыпались врозь. Я подняла раненаго, посадила на свою лошадь и отправила въ обозъ, а сама оставалась въ битвѣ пѣшею. Офицеръ, которому я подала помощь, былъ Панинъ.

— Это извѣстная фамилія,—замѣтилъ государь, — и неустрашимость ваша въ этомъ одномъ случаѣ сдѣлала вамъ болѣе чести, нежели въ продолженіе всей кампаніи, потому что имѣла основаніемъ лучшую изъ добродѣтелей—состраданіе. Хотя поступокъ вашъ служить самъ себѣ наградой, однако-жъ справедливость требуетъ, чтобъ вы получили и ту, которая вамъ слѣдуетъ по статуту: за спасеніе жизни офицера дается георгіевскій крестъ.

Государь обернулся къ столу. Взглянула на столъ и дѣвушка: тамъ, на бумагѣ, она увидѣла бѣленькій крестикъ на полосатой, черножелтой ленточкѣ.

— Вотъ вашъ кавалерскій знакъ—вы заслужили его.

И государь, взявъ крестикъ, собственноручно сталъ вдѣвать его въ петлицу героя. Петлица приходилась какъ-разъ на самомъ возвышеніи груди героя. Грудь эта поднималась отъ волненія—крестикъ не попадалъ въ петлицу. Герой, новый кавалеръ, пунцовѣлъ какъ маковъ цвѣтъ.

Наконецъ крестикъ вдѣтъ, болтается, бьется вмѣстѣ съ грудью. Не успѣлъ государь отнять руку отъ груди новаго кавалера, какъ въ кабинетѣ, безъ доклада, неожиданно появилось новое лицо—словно изъ земли выросло. Лицо это было не изъ привлекательныхъ—длинное, сухое, жесткое, словно деревянное и съ маленькими, мутными, словно оловянными глазами подъ высоко-вскинутыми круглыми бровями. Фигура — нѣсколько сутуловатая, словно-бы у вновь пришедшаго субъекта такъ былъ устроенъ хребетъ, что не позволялъ ему глядѣть на небо, а позволялъ только подглядывать, подслушивать, копаться и разнюхивать.

— А! это ты, графъ,—сказалъ государь, взглянувъ на вошедшаго,—рекомендую тебѣ новаго офицера и георгіевскаго кавалера. Это — Александръ.

На послѣднемъ словѣ государь сдѣлалъ особенное удареніе. Вошедшій пытливо и недружелюбно оглядѣлъ съ ногъ—и непременно съ ногъ до головы, а не наоборотъ—представленнаго ему молодого человѣка.

— Если-бъ я встрѣтилъ его не въ кабинетѣ вашего величества, я бы посадилъ его на гауптвахту. — быстро, нѣсколько гнусливо сказалъ пришедшій.

Дѣвушка растерялась—она догадалась, кто былъ пришедшій. А государь съ удивленіемъ спросилъ:

— За что же?

— За то, ваше величество, что онъ осмѣлился явиться не въ формѣ.

— Но, ваше сіятельство, у меня отобрали саблю, — смѣло отвѣчала дѣвушка.

— Это не резонъ.

— Но, графъ, ты слишкомъ строгъ... тебѣ не все извѣстно, — замѣтилъ государь.

— Государь! что касается службы и особы вашего величества — мнѣ все должно быть извѣстно, — отвѣчалъ упрямецъ.

— О, я увѣренъ въ твоей ревности, — ласково сказалъ императоръ. — Но тутъ тебѣ не все извѣстно.

— Все, ваше величество, — настаивалъ упрямецъ.

Это былъ Аракчеевъ. Ему дѣйствительно все было извѣстно: онъ зналъ, кто стоитъ передъ нимъ, и въ его сердце уже заползла змѣя подозрительности. Какъ! эта дѣвчонка, въ формѣ улана, вошла въ кабинетъ государя помимо него, графа Аракчеева, военного министра и правой руки государя! Эта рука, а не другая, должна была ввести ее... Такъ сго, графа Аракчеева, могутъ отгнать и отъ кормила правленія — и черезъ кого же! Черезъ дѣвченку, которая задумала играть роль Іоанны д'Аркъ! Нѣтъ, времена чудесъ прошли — и при Аракчеевѣ они не повторятся: у него и чудеса должны ходить въ мундирѣ, держать руки по швамъ и отдавать честь начальству! И Іоанну д'Аркъ онъ посадить на хлѣбъ и на воду за отступленіе отъ формы...

Потомъ, обратясь къ безмолвно и неподвижно стоящей съ опущенными глазами дѣвушкѣ, Аракчеевъ спросилъ не безъ ехидства:

— А гдѣ вы, молодой человѣкъ, получили военное воспитаніе?

— Въ домѣ родителей, графъ, я получилъ воспитаніе.

— И военное?

— Нѣтъ, ваше сіятельство...

— Гм... такъ вамъ многому надо поучиться.

— Александровъ еще молодъ, графъ, — военная практика дастъ ему то, что не дано школою, — примирительно замѣтилъ государь.

— Дай Богъ, ваше величество, дай Богъ.

Когда дѣвушка вышла изъ кабинета государя, и смущенная и радостная, ее окружили пажы, вертѣвшіеся въ сосѣдней съ кабинетомъ залѣ.

— Что говорилъ съ вами государь? — слышалось отъ одного.

— Произвелъ васъ въ офицеры? — перебивалъ другой.

— Пожаловалъ Георгія? — перебивалъ другого третій.

— Вы спасли Панина? — перебивалъ всѣхъ четвертый.

Дѣвушка не знала, кому отвѣчать, и молчала, глядя на любопытныхъ юношей, блѣлые, розовые, упитанные лица которыхъ въ сравненіи съ ея загорѣлымъ лицомъ казались дѣвическими. Но въ это время изъ среды ихъ отдѣлился одинъ юноша и, робко, но съ привычной ловкостью, поклонившись, сказалъ:

— Я Панинъ, братъ того Панина, котораго вы спасли.

— Я очень радъ. Что онъ поправляется?

— Благодарю васъ, поправляется... Но позвольте просить васъ, господинъ Дуровъ...

— Извините, я уже не Дуровъ.

Юноша съ удивленіемъ посмотрѣлъ на нее. Остальные пажы и рты разинули.

— Какъ! Кто же вы?

— Я—Александровъ.

— Почему же?

— Эту фамилію пожаловалъ мнѣ самъ государь: это фамилія—имени его величества.

— Поздравляю васъ, господинъ Александровъ, отъ души поздравляю.

— Поздравляемъ, поздравляемъ,—вторили другіе.

— Моя матанъ и мой братъ поручили мнѣ передать вамъ ихъ желаніе лично видѣть васъ и засвидѣтельствовать вамъ глубокую благодарность и удивленіе, внушаемая всѣмъ вашими геройскимъ подвигомъ,—проговорилъ Панинъ какъ по заученному.—Матанъ поручила мнѣ просить васъ сдѣлать намъ честь своимъ посѣщеніемъ. Когда и куда я долженъ пріѣхать за вами, если вы не откажете намъ въ этой чести?

Когда она отвѣчала, черезъ залу проходилъ среднихъ лѣтъ мужчина съ толстой папкой подъ мышкой. Лицо его было нѣсколько худо, казалось утомленнымъ, а глаза—кротки и задумчивы. Пажи почтительно раступились передъ нимъ и поклонились. Онъ прошелъ прямо въ кабинетъ—тоже безъ доклада.

То былъ Сперанскій.

VIII.

И Надя Дурова, и юнкеръ Дуровъ перестали такимъ образомъ существовать: на мѣстѣ ихъ выросъ Александровъ! Надя добилась своего: ей дозволено носить оружіе; она—офицеръ и притомъ гусарскій! Но чего ей это стоило!

Въ гусарствѣ и уланствѣ Надя Дурова искала въ сущности того, чего нынѣшнія дѣвушки наши ищутъ на фельдшерскихъ и медицинскихъ курсахъ, въ гимназіяхъ, на такъ-называемыхъ университетскихъ курсахъ: она искала признанія за женщиной человѣческихъ правъ. Она искала того, чего искали американскіе негры времени „дяди Тома“. Дѣйствительно, если сравнить положеніе русской женщины, въ особенности дѣвушки, начала нынѣшняго столѣтія, времени Дуровой, съ положеніемъ ея въ наше время, то едва-ли можно ошибиться, сказавъ, что эти два положенія русской женщины равны положеніямъ американскаго негра при „дядѣ Томѣ“ и въ настоящее время. Давно-ли у насъ еще травили дѣвушку за отрубленную косу? Поэтому для современной русской дѣвушки менѣе чѣмъ для дѣвушки начала этого столѣтія будутъ понятны слова, вырвавшіяся изъ-

тотъ пера Дуровой въ тотъ моментъ, когда она уланскимъ киверомъ при-крыла свою погибшую дѣвическую косу, а рейтузами — свое историческое рабство. Вотъ эти слова, записанныя ею въ своемъ дневникѣ, слова, обра-женные къ тогдашней русской дѣвушкѣ:

„Свобода, драгоценный даръ неба, сдѣлалась наконецъ удѣломъ моимъ навсегда! Я ею дышу, наслаждаюсь, ее чувствую въ душѣ, въ сердцѣ! Ею проникнуто мое существованіе, ею оживлено оно! *Вамъ, молодая мои сестрицы, вамъ однимъ понятно мое восклицаніе!* Одиѣ только вы можете знать цѣну моего счастья! Вы, которыхъ всякій шагъ на счету, которымъ нельзя пройти двухъ сажень безъ надзора и охраненія, которыя отъ колыбели и до могилы въ вѣчной зависимости и подѣ вѣчною за-щитою Богъ знаетъ отъ кого и отъ чего! (конечно отъ мужчинъ). Вы, по-вторяю, одиѣ только вы можете понять какимъ радостнымъ ощущеніемъ полно сердце мое при видѣ обширныхъ лѣсовъ, необозримыхъ полей, горъ, долинъ, ручьевъ и при мысли, что по всѣмъ этимъ мѣстамъ я могу хо-дить, не давая никому отчета и не опасаясь ни отъ кого запрещенія. Я прыгаю отъ радости, воображая, что во всю жизнь мою не услышу болѣе словъ: „Ты, дѣвка, сиди. Тебѣ неприлично ходить одной прогуливаться“. Увы! сколько прекрасныхъ, ясныхъ дней началось и кончилось, на которые я могла только смотрѣть заплаканными глазами сквозь окно, у котораго матушка приказывала мнѣ плести кружева“...

Дневникъ этотъ, сначала напечатанный Пушкинымъ въ „Современникѣ“ 1836 года, а потомъ изданный самою Дуровою въ 1839 году, сталъ уже библиографической рѣдкостью.

Такъ вотъ изъ-за чего билась эта необыкновенная Надя. Но что она вынесла потомъ, пока не сдѣлалась тѣмъ, чѣмъ она стала черезъ годъ! Заглянемъ опять въ ея дневникъ. Ее приняли въ уланы, обмундировали на казенный счетъ. Но пусть она говорить сама:

„Мнѣ дали мундиръ, саблю, пику, такъ тяжелую, что мнѣ кажется она бревномъ; дали шерстяные эполеты, каску съ султаномъ, бѣлую перевязь съ подсумкомъ; наполненнымъ патронами; все это очень чисто, очень кра-сиво и очень тяжело... Надѣюсь однако-жъ привыкнуть; но вотъ къ чему нельзя уже никогда привыкнуть—такъ это къ тиранскимъ казеннымъ са-погамъ: они какъ желѣзные! До сего времени я носила обувь мягкую и ловко сшитую; нога моя была свободна и легка, а теперь! ахъ, Боже! я точно прикована къ землѣ тяжестью моихъ ногъ и огромныхъ бряцающихъ шпоръ! Съ того дня, какъ я надѣла казенные сапоги, не могу уже болѣе попрежнему прогуливаться и, будучи всякій день смертельно голодна, про-вожу все голодное время на грядкахъ съ заступомъ, выкапывая оставшіяся картофель. Поработавъ прилежно часа четыре сряду, успѣваю нарыть столько, чтобы наполнить имъ мою фуражку; тогда несу въ торжествѣ мою добычу къ хозяйкѣ (полкъ стоитъ, въ ожиданіи Наполеона, въ Литвѣ, на квартирахъ), чтобы она сварила ее. Суровая эта женщина всегда съ вор-чаньемъ вырветъ у меня изъ рукъ фуражку; нагруженную картофелемъ, съ

ворчаньемъ высыпаетъ въ горшокъ, и когда поспѣетъ, то, выложивъ въ деревянную миску, такъ толкнетъ ее ко мнѣ по столу, что всегда нѣсколько ихъ раскатится по полу. Что за злая баба! а, кажется, ей нечего жалѣть картофеля: онъ весь уже снятъ и гдѣ-то у нихъ запрятанъ; плодъ же неуспынныхъ трудовъ моихъ не что иное, какъ оставшійся очень глубоко въ землѣ или какъ-нибудь укравшійся отъ вниманія работавшихъ“.

Это—на квартирахъ. А что же на походѣ, въ летучей войнѣ, когда по пятамъ гонится косматая старая гвардія Наполеона и приходится идти идти—безпрестанно идти!

„Есть, однако-жъ, границы, далѣе которыхъ человекъ не можетъ идти!“ записываетъ она въ своемъ дневникѣ, въ одну изъ остановокъ. „Я падала отъ сна и усталости; платье мое было мокро. Двое сутокъ я не спала и не ѣла, безпрерывно на маршѣ, а если и намѣстѣ, то все-таки на конѣ, въ одномъ мундирѣ (у нея шинель украли), безпрестанно подверженная холодному вѣтру и дождю. Я чувствовала, что силы мои ослабѣвали частъ отъ часу болѣе. Мы шли справа по три, но если случался мостикъ или какое другое затрудненіе, что нельзя было проходить отдѣленіями, тогда шли по два въ рядѣ, а иногда и по одному; въ такомъ случаѣ четвертому взводу приходилось стоять по нѣсколько минутъ неподвижно на одномъ мѣстѣ; я была въ четвертомъ взводѣ, и при всякой благодѣтельной остановкѣ его вмигъ сходила съ лошади, ложилась на землю и въ ту-же секунду засыпала. Взводъ трогался съ мѣста, товарищи кричали, звали меня, и какъ сонъ, часто прерываемый, не можетъ быть крѣпокъ, то я тотчасъ просыпалась, вставала и карабкалась на лошадь, на своего Алкида, таща за собою тяжелую дубовую пику. Сцены эти возобновлялись при каждой самой кратковременной остановкѣ; я вывела изъ терпѣнія своего унтеръ-офицера и разсердила товарищей: всѣ они сказали мнѣ, что бросать меня на дорогѣ, если я еще хоть разъ сойду съ лошади. „Вѣдь ты видишь, что мы дремлемъ, да не встаемъ же съ лошадей и не ложимся на землю; дѣлай и ты такъ“. Вахмистръ ворчалъ вполголоса: „Зачѣмъ эти щенята лѣзутъ въ службу! Сидѣли бы въ гнѣздѣ своемъ“. Остальное время я оставалась уже на лошади—дремала, засыпала, наклонялась до самой гривы Алкида—и поднималась съ испугомъ: мнѣ казалось, что я падаю! Я какъ будто помѣшалась. Глаза открыты, но предметы измѣняются какъ во снѣ. Уланы кажутся мнѣ лѣсомъ, лѣсъ—уланами! Голова моя горитъ, но сама дрожу, мнѣ очень холодно. Все на мнѣ мокро до тѣла“.

Страшныя испытанія для дѣвочки! И при этомъ — надо прятать свой полъ, не выдать себя во снѣ; надо прятаться съ такими дѣяніями, которыми ея товарищи уланы дѣлають открыто... Это жизнь между скорпіями.

А въ сраженіяхъ!.. Вотъ хоть бы подъ Фридландомъ... „Въ этомъ жестокомъ и неудачномъ сраженіи,—заноситъ она въ свой дневникъ,—храбраго полка нашего легло болѣе половины! Нѣсколько разъ ходили мы въ атаку, нѣсколько разъ прогоняли непріятеля, и въ свою очередь не одинъ

разъ были прогнаны. Насъ осыпали картежами, мозжили ядрами, а пронзительный свистъ адскихъ пуль совсѣмъ оглушилъ меня. О, я ихъ терпѣть не могу! Дѣло другое—ядро. Оно по крайней мѣрѣ реветъ такъ величественно и съ нимъ вездѣ короткая раздѣлка...

О, велико ты, безуміе человеческое!

Такъ вотъ какими адами добралась дѣвочка до права носить оружіе. На другой день послѣ ауденціи у государя она неожиданно получила приглашеніе отъ Сперанскаго. Въ коротенькой запискѣ, написанной въ третьемъ лицѣ, Сперанскій просилъ господина Александрова сдѣлать ему честь своимъ посѣщеніемъ и добавлялъ, что имѣетъ сообщить ему нѣчто, лично его касающееся. Записку привезъ Кавунецъ, который никакъ не могъ придти въ себя отъ изумленія, увидѣвъ передъ собой такого молоденькаго офицерика и притомъ съ Георгіемъ на груди. У самого Кавунца на груди болтался Георгій; но онъ помнитъ, какъ нелегко онъ ему достался.

Дурова получила записку въ тотъ моментъ, когда вмѣстѣ съ Зассомъ, въ квартирѣ котораго она остановилась въ Петербургѣ, она вышла въ швейцарскую, намѣреваясь куда-то ѣхать. Она, сама недавно получившая Георгія, не могла не заинтересоваться этимъ орденомъ на груди стараго солдата, и потому спросила Кавунца:

— За какую кампанію ты пожалованъ кавалеромъ?

— Не могу знать, ваше благородіе, — молодецки отвѣчалъ старый служака.

Дѣвушка улыбнулась. Она догадалась, что не такъ спросила.

— Въ какомъ сраженіи ты отличился?— снова спросила она.

— Не могу знать, ваше благородіе, — былъ отвѣтъ.

— Ну, такъ гдѣ?

— Не могу знать, ваше благородіе, — стоялъ на своемъ Кавунецъ.

— Экой ты, братецъ! Я тебя спрашиваю—за что тебѣ дали Георгія?

— За чорта, ваше благородіе.

— За какого чорта? (Она не могла не разсмѣяться).

— Чортовъ мостъ, ваше благородіе, съ Ваграціономъ брали.

— А! это въ италійскую кампанію?

— Не могу знать, ваше благородіе.

— Въ Швейцаріи?

— Не могу знать, ваше благородіе.

— Съ Суворовымъ?

— Такъ точно, ваше благородіе.

Она поняла, что съ такимъ говоруномъ не много наговорилъ, и потому коротко сказала:

— Доложи его превосходительству, что я непремѣнно буду.

— Слушаю, ваше благородіе.

Вечеромъ она явилась къ Сперанскому. Увидавъ въ передней Кавунца, дѣвушка невольно улыбнулась. Кавунецъ сдѣлалъ руки по швамъ. Когда

лакей услышалъ фамилію прїѣзжаго молодого офицера, то тотчасъ же сказалъ, что „его превосходительство проситъ пожаловать въ кабинетъ“, и провелъ ее черезъ залу въ большую, свѣтлую, но словно траурную комнату: въ ней, кромѣ массивныхъ шкаповъ съ книгами и ящиками да огромнаго письменнаго стола, не было никакихъ ни украшеній, ни картинъ на стѣнахъ, ни кабинетныхъ разныхъ бездѣлушекъ. Сперанскій любилъ работать и предаваться своимъ дѣловымъ мечтамъ только въ такой комнатѣ, въ которой ни одинъ лишній предметъ не привлекалъ бы его вниманія и не заслонялъ бы собою, такъ сказать, тѣхъ образовъ его духовнаго творчества, которые зарождались въ немъ, развивались и воплощались въ дѣлѣ. „Когда человекъ наслаждается — цѣлуетъ, напимѣръ, любимое существо, онъ непременно какъ-то инстинктивно закрываетъ глаза: это для того, чтобы наслажденіе, вся его сила концентрировалась и всецѣло передавалась душѣ. Для меня работа — тоже наслажденіе; за работой я какъ-бы закрываю глаза на все остальное, концентрирую наслажденіе въ глубинѣ моего ума... Вотъ почему я люблю, чтобы комната, въ которой я работаю, была для меня какъ бы невидима“. Такъ говорилъ онъ о своемъ кабинетѣ. И какую же титаническую работу успѣвалъ онъ совершать въ этомъ кабинетѣ! сколько онъ дѣлалъ!

Когда Дурова вошла въ этотъ кабинетъ, Сперанскій сидѣлъ за письменнымъ столомъ и что-то писалъ. Увидѣвъ входящаго юнаго гусара, онъ тотчасъ же всталъ и, привѣтливо протягивая гостю руку, сказалъ:

— Простите меня, что я не исполнилъ по отношенію къ вамъ долга вѣжливости. Но я все объясню сейчасъ. Государь сообщилъ мнѣ вчера разговоръ свой съ вами и мнѣ до нѣкоторой степени извѣстны главныя обстоятельства вашей жизни. Ваша тайна останется неприкосновенною. Но я долженъ былъ сообщить вамъ одно обстоятельство и, въ интересахъ вашей тайны, сообщить его безъ свидѣтелей. Вотъ почему я и осмѣлился пригласить васъ къ себѣ—противъ правилъ вѣжливости. А теперь—очень радъ познакомиться. Прошу садиться.

Смущенный этой рѣчью гусарикъ звякнулъ, какъ подобааетъ гусару, саблей, шпорами и всѣми металлическими штуками, какія на гусарѣ обрѣтаются, сѣлъ, не зная, какъ открыть ротъ.

Сперанскій, взявъ со стула какую-то бумагу, подаль ее гостю.

— Вамъ знакомъ этотъ почеркъ?—спросилъ онъ.

Гусарикъ, какъ только взялъ бумагу и увидѣлъ почеркъ, воскликнулъ съ испугомъ:

— Это рука моего отца! Что съ нимъ?

— Прочтите.

Гусарикъ торопился прочесть письмо, но руки такъ ходенемъ ходятъ, что глаза не попадутъ на строчки. А Сперанскій молча и съ видимымъ сочувствіемъ на лицѣ вглядывается въ интереснаго гостя, въ его молоденькое, блѣдное, но загорѣлое лицо, въ это оригинальное очертаніе круглой точеной головы, въ невысокій, но какой-то раздвинутый лобъ. Ему

кажется, что эта голова формировалась не по такому лекалу, чтобы быть разрубленной саблею или стать глупою, безответною вѣхою для шальной цули нѣтъ, это черепъ существа способнаго мыслить не только прямолинейно, но всесторонне и кубически...

... Ахъ, бѣдный папа!

Изъ глазъ гусарика брызнули слезы. А бумага все дрожить въ рукѣ, еще не вся дочитанная. А глаза Сперанскаго уже нѣжно смотреть на это плачущее лицо гусарика, ставшее совсѣмъ дѣтскимъ, съ дрожащими губами и подбородкомъ.

— Бѣдный, бѣдный папочка!.. Какая гадкая!—тихо говорила она, доканчивая письмо, а потомъ, какъ бы вспомнивъ, гдѣ она, быстро прибавила:—простите меня, ваше превосходительство, за эту слабость...

— Простить?... за что-же?

— Что я плачу...

— Да за эти слезы я полюбилъ васъ какъ мою дочь... Это кошншія слезы...

— А я такъ гадко поступила.

— Нѣтъ. Но развѣ вы ни разу не писали отцу?

— Писала, ваше превосходительство.

— Называйте меня Михайломъ Михайловичемъ лучше. Мнѣ ужъ и отъ курьеровъ надоѣло слышать свой титулъ.

— Я сначала боялась писать батюшкѣ, чтобъ онъ не вытребовалъ меня домой; но когда весной нашъ полкъ выступалъ за границу, я писала ему, просила у него прощенія и благословенія; но, вѣроятно, письмо не дошло до него. А теперь я видѣла его въ Москвѣ...

— Вашего батюшку?

— Да. Но онъ не видѣлъ меня.

— Какимъ образомъ?

— Въ проѣздъ черезъ Москву, когда флигель-адъютантъ Засѣ долженъ былъ отлучиться по дѣламъ на все утро, я зашла въ Архангельскій соборъ и тамъ случайно увидѣла отца.

— Онъ, вѣроятно, сюда ѣдетъ—все васъ ищетъ.

— Мнѣ тоже кажется. Онъ плакалъ, когда я увидѣла его въ церкви. Мое сердце обливалось кровью, но я не смѣла подойти къ нему.

— Отчего-же?

— Онъ могъ остановить меня, задержать... А меня требовалъ государь...

— Да, вы правы. Но по крайней мѣрѣ теперь, если онъ будетъ здѣсь и я увижу его, я скажу ему, что вы живы, что я самъ видѣлъ васъ здоровою.

— Я ему сама это сказала въ Москвѣ.

— Сказали? Какъ же вы это сумѣли сдѣлать?

— По окончаніи обѣдни онъ просилъ священника отслужить ему панихиду, или молебенъ о здравіи, и когда священникъ спрашивалъ, что-же отслужить — панихиду или молебенъ, отвѣчалъ, что самъ не

знать, что служить—панихиду-ли по умершей дочери, или о ея здравіи. Тут-то я тихонько пробралась къ нему и сказала: „ваша дочь жива“, а сама тотчасъ скрылась, но слышала его возгласъ: „Надя! это ея голосъ!“

Сперанскій съ глубокимъ сочувствіемъ слушалъ этотъ разсказъ и хотѣлъ что-то сказать, какъ въ кабинетъ неожиданно влетѣла Лиза, съ раскраснѣвшимися отъ воздуха и гулянья щечками, и радостно воскликнула:

— Ахъ, папа! мы помирились съ Сашей Пушкинымъ...

Но увидавъ незнакомаго офицера, вдругъ остановилась, сдѣлала большіе глаза, съ недоумѣніемъ посмотрѣла на гостя, и тотчасъ-же, что-то сообразивъ, какъ благовоспитанная дѣвочка присѣла... Она замѣтила въ рукахъ гостя письмо, узнала это письмо и ея головка быстро поняла, въ чемъ дѣло: тайной дескать пахнетъ... Она взглянула на отца. Тотъ тоже хорошо понялъ ее и съ улыбкой сказалъ:

— Очень радъ, что вы помирились... Рекомендую вамъ, господинъ Александровъ, мою „бѣдную Лизу“.

При словѣ „Александровъ“ дѣвочка опять сдѣлала большіе глаза и недоумѣвающе посмотрѣла и на отца, и на гостя. Но тотчасъ-же опять сообразила, въ чемъ дѣло—въ папашу пошла: подъ маленькимъ черепомъ мозгъ хорошо работаетъ.

— А вы читали „Бѣдную Лизу“?—съ улыбкой обратился къ ней гость.

— Да, мы съ мамой и съ Соней читали,—отвѣчала дѣвочка.

— О! она у меня большой начетчикъ,—ласково замѣтилъ Сперанскій.

— А Саша Пушкинъ больше меня знаетъ,—перебила дѣвочка.

— Ну, Саша Пушкинъ и самъ старше тебя.

— А черезъ два года я буду старше его,—поторопилась дѣвочка, да тотчасъ-же спохватилась.

— Вотъ тебѣ разъ!—засмѣялся отецъ.

Дѣвочка поняла, что попала въ просакъ, и ей стало стыдно гостя, но гость постарался поправить ея ошибку...

— Да, черезъ два года вы будете старше его умомъ и знаніями,—сказалъ онъ.

— Нѣтъ... У Саши Пушкина память лучше моей и Сониной, лучше даже, чѣмъ у Вили Кюхельбекера и у Саши Грибоѣдова.

— Это все ея пріятели,—подсказалъ отецъ.

— А Саша Грибоѣдовъ ужъ большой—ему четырнадцатый годъ,—продолжала дѣвочка, снова входя въ свою роль.—Саша Пушкинъ знаетъ назусть всего Державина, почти всего Хераскова и Тредьяковского—ахъ, какъ онъ его смѣшно знаетъ!

Стрекочущу кузнецу,
Въ алемъ блатъ сушу...

— Ахъ, какой онъ смѣшной, какъ гередазвиваетъ его!

Она снова остановилась. Въ кабинетъ входили новые гости. Одинъ—мужчина лѣтъ за сорокъ, видимо, засидѣвшійся, заработавшійся, съ блѣднымъ, уже изрѣзаннымъ едва замѣтными рѣзцами времени лицомъ и усталыми глазами. Тутъ-же вошелъ и его спутникъ, съ молодымъ, веселымъ лицомъ и свѣтскими манерами.

— А! Николай Михайловичъ, Александръ Ивановичъ... очень радъ васъ видѣть,—сказалъ хозяинъ, вставая и подавая гостямъ руки.

Всталъ и гусарикъ, съ котораго Лиза не спускала глазъ и, видимо, желая подружиться, уже терлась около него, потрогивая за саблю.

— Позвольте познакомить васъ, господа,—продолжалъ хозяинъ:—господинъ Александровъ, юный герой, которому вчера государь лично и собственноручно возложилъ на грудь георгиевскій крестъ за необыкновенную храбрость и за чудесное спасеніе отъ смерти молодого Панина.

Юный герой поклонился, брызнувъ шпорами и другими своими металлическими частями.

— Николай Михайловичъ Карамзинъ — исторіографъ,—продолжалъ хозяинъ въ сторону рекомендуемаго.

Юный герой, быстро, ярко какъ-то взглянувъ въ лицо Карамзина, сдѣлалъ второй, самый глубокій, какой только можно было сдѣлать, поклонъ... Щеки его покрылись румянцемъ радости и стыдливости...

— Я вами воспитанъ... я читалъ... я глубоко...—бормоталъ онъ безсвязно.

Карамзинъ протянулъ ему руку... „Мнѣ пріятно“...

— Александръ Ивановичъ Тургеневъ,—продолжалъ хозяинъ въ сторону другого рекомендуемаго.

— Повѣса,—подсказалъ съ улыбкой рекомендуемый:—исторіографъ и... повѣса...

— Но повѣса умный, просвѣщенный, благородный,—добавилъ хозяинъ.

— Вездѣущій, вседовольный, всеблаженный, — добавлялъ рекомендуемый.

Они обмѣнялись поклонами и рукопожатіями.

— Опять насилу вытащилъ изъ архива,—сказалъ Тургеневъ, указывая на Карамзина.

— И хорошо сдѣлали,—отвѣчалъ Сперанскій.

— Но можете представить, чѣмъ я его выманилъ оттуда?

— Опять „слѣпымъ Якуномъ“?

— Нѣтъ, сказалъ, что адмиралъ Мордвиновъ гдѣ-то нашелъ и подарилъ вамъ знаменитые сапоги Редеди, чубъ Святослава и зубочистку Θεодосія Печерскаго.

И Сперанскій, и Карамзинъ засмѣялись. Улыбнулся и гусарикъ, переглянувшись съ Лизой, которая имъ, кажется, окончательно завладѣла.

— А можете вообразить, что этотъ повѣса надѣлалъ?—сказалъ Карамзинъ, указывая на Тургенева.

— Какой-нибудь манускриптъ испортилъ?—улыбнулся Сперанскій.

— Нѣтъ, нервы разстроилъ у моего архивнаго кота.

— Это у академика Василя Васильевича Міофагова,—пояснилъ Тургеневъ.

И Лиза, и ея новый другъ охотно, какъ видно, слушали этотъ серьезный разговоръ ученыхъ мужей.

— Чѣмъ же это?—спросилъ Сперанскій.

— Я ему за ученые заслуги повѣсилъ мышъ на шею.

И Лиза, и ея другъ засмѣялись. Ученый разговоръ становился очень занимательнымъ.

— Въ самомъ дѣлѣ,—сказалъ Карамзинъ:—повѣсилъ ему мышенка на шею; мышенокъ изъ паше-паше, искусно сдѣланный—настоящая мышъ, и мой Васька совсѣмъ потерялъ спокойствіе: живыхъ мышей не ловить, а все возится съ своимъ орденомъ, хочеть поймать его, и не можетъ.

— Однако, какъ двигается ваша исторія?—серьезно спросилъ Сперанскій.

— Медленно... такъ много архивной работы, такъ много не разобранныхъ, не очищенныхъ критикой матеріаловъ, что голова идетъ кругомъ,—отвѣчалъ задумчиво Карамзинъ:—кажется, я такъ и положу свою усталую голову надъ этой исторіей, а все-таки не кончу ее.

— Затѣмъ-же? Вы еще молоды.

— Да, но силы падаютъ... По возвращеніи государя, я читалъ его величеству одну главу изъ новаго тома... Государь остался очень доволенъ, милостиво благодарилъ; но одно чтеніе такъ утомило меня, что я чуть-было не лишился чувствъ.

— Да, государь говорилъ мнѣ объ этомъ, выражалъ сожалѣніе...

— А прежде со мной ничего подобнаго не было,—продолжалъ Карамзинъ задумчиво:—я чувствую, что исторія будетъ мнѣ гробомъ...

— И монументомъ безсмертія,—горячо добавилъ Сперанскій.

— И безсмертія Василя Міофагова... На монументъ надо будетъ изобразить и Ваську, оберегающаго лѣтописи,—съ своей стороны прибавилъ неугомонный Тургеневъ.

А Лиза ужъ совсѣмъ завладѣла своимъ новымъ другомъ и, сидя чуть-ли не на колѣняхъ у него, таинственно шептала:

— А я знаю, что вы—не вы.

— Какъ не я?—съ удивленіемъ спрашивалъ гусарикъ.

— Такъ—не вы...

— Кто же я?

Лиза нагнулась къ самому уху новаго друга и прошептала:

— Вы—дѣвочка, а не мальчикъ...

— Кто вамъ сказалъ? папа?

— Нѣтъ, не папа... я сама догадалась.

— Какъ же вы догадались, милая?—смущенно говорилъ попавшійся воинъ.

— А когда я взошла, вы читали письмо... А это письмо, я знаю, ваше папы.

— Почему же вы знаете?

— Когда папа получилъ его лѣтомъ, какъ мы еще на дачѣ жили, на Каменномъ, и тамъ поссорились съ Сашей Пушкинымъ... онъ сказалъ, что хоть папа Лизинъ и любимецъ царскій, а все-таки у Лизы Сперанской обидка семинарской...

Ахъ, какой злой мальчишка!

Нѣтъ, онъ не злой, а только шалунъ — шпилькой мы его называли... Такъ папа мой читалъ письмо вашего папы при мнѣ и еще жалко вашего папу, а Соня говорила, что и мы, какъ вотъ вы, ушли-бы въ гусары, да мышей боимся...

Гусарикъ разсмѣялся и погладилъ дѣвочку... — „Какая храбрая“...

Ну, я и узнала у васъ это письмо и васъ узнала... Только я никому не скажу, что вы дѣвочка...

Хорошо, милая. Вы умница и честная дѣвочка.

А о чемъ вы тамъ шушукаетесь, Елизавета Михайловна? — обратился вдругъ къ Лизѣ Тургеневъ.

Озадаченная неожиданностью, дѣвочка не нашлась сразу и нѣсколько растерялась.

— Мы... я говорила... я вамъ этого не скажу, — вдругъ рѣшительно оборвала Лиза.

— Ого! секреты, государственныя тайны! — шутилъ Тургеневъ.

— Да, мы говорили о какомъ-то Сашѣ Пушкинѣ, объ очень живомъ мальчикѣ, — выручалъ Лизу ея новый другъ.

— О, я знаю этого арапченка... Елизавета Михайловна къ нему равнодушна.

— Мы съ нимъ помирились ужъ, — пояснила Лиза.

— Вотъ какъ! А вы давно изъ арміи? — спросилъ Тургеневъ, обращаясь уже прямо къ гусарику.

— Пять дней, какъ я изъ Полоцка и изъ главной квартиры.

— А не знакомы вы съ Денисомъ Васильевичемъ Давыдовымъ? — адъютантъ у Багратіона.

— Да, я его знаю нѣсколько.

— Онъ мой пріятель... Скажите пожалуйста: онъ мнѣ писалъ, что тамъ у васъ появилась новая Іоанна д'Аркъ? Видали вы этотъ феноменъ? О немъ много говорятъ.

Большіе глаза Лизы такъ и застыли на лицѣ ея новаго друга. Она съ волненіемъ и страхомъ ждала. Волненіе ея усилилось еще болѣе, когда она замѣтила смущеніе на лицѣ друга. Но дѣвочка не выдала ни себя, ни своего друга.

— Да и тамъ на этотъ счетъ держатся упорные слухи, — немного помолчавъ, отвѣчалъ гусарикъ довольно покойно. — Но удивительно — никто ее не видалъ, хоть всѣ о ней говорятъ... Я думаю, что это басня.

— Не говорите — слухъ имѣетъ основаніе... Признаюсь вамъ откро-

венно, глядя на васъ и соображая собственноручное пожалованіе вамъ государемъ этого ордена, я бы могъ подозрѣвать, что...

Но онъ не докончилъ своей щекотливой фразы, которая и Лизу, и ея друга сильно смутила. Въ комнату вбѣжала Соня, за ней вошла госпожа Вейкардтъ и за нею—непремѣнный другъ дома Магницкій съ послѣднею, только-что полученною изъ Москвы новостью: умеръ Херасковъ.

— Ахъ, бѣдный!—жалобно сказала Лиза:—а мы только сегодня съ Сашей Пушкинымъ читали наизусть его „Россіаду...“ Вѣдненькій!

— Очередь за Державинымъ,—сказалъ Тургеневъ.

— Что? что? какая очередь за Державинымъ?—зашамкалъ кто-то въ дверяхъ.

Всѣ оглянулись — на порогѣ стоялъ самъ Державинъ въ своихъ бархатныхъ на мѣху сапогахъ.

IX.

Державинъ вошелъ сильно старческою походкой. Хотя онъ и бодрился, но и беззубый ротъ замѣтно шамкалъ, и бархатныя ноги словно тоже шамкали.

Особенно видъ его поразилъ Дурову. Читая его сильный стихъ, его напускной пафосъ и риторику, которые, казалось, дышали страстью, пылали огнемъ воодушевленія, дѣвушка, мечтательная и увлекающаяся по природѣ, воображала Державина какимъ-то титаномъ, полубогомъ, а если ей и говорили, что онъ уже старикъ, то онъ не иначе рисовался въ ея воображеніи, какъ въ образѣ „боря“:

Съ бѣлыми борей власамъ
И сѣдою бородой,
Потрясая небесамъ,
Облака сжималъ рукой...

А тутъ она видитъ шамкающаго старца, который не только не потрясаетъ небесами, но у котораго собственная сѣдая голова трясется, а глаза, которые ей представлялись орлиными, старчески моргають и слезятся... Господи! какъ грустно это видѣть... И нижняя губа отвисла—не держится... И подъ носомъ табакъ, и на манжетахъ табакъ, и на жилетѣ табакъ... А ноги—точно въ валенкахъ, точно у нихъ коровьяго пастуха...

— Какая очередь за Державинимъ?—спрашивалъ старикъ, здороваясь съ хозяиномъ и гостями.

— Написать, ваше превосходительство, что-нибудь новенькое по поводу мира съ Наполеономъ,—извернулся Тургеневъ.—А то вонъ только и слышно, что о „Димитріѣ Донскомъ“ Озерова да о „Пожарскомъ“ Крюковского.

— Оба сіи творенія, государь мой, слабы,—отвѣчалъ старикъ.

— Вотъ потому-то и ждутъ отъ вашего превосходительства чего-нибудь сильненькаго, чего-нибудь „державинскаго“ — такъ и говорятъ.

— Оно-то такъ... Я кое-что и скомпоновалъ, вотъ Михайло Михайловичъ знаетъ.

— Что-же это такое, ваше превосходительство? — спросилъ Карамзинъ.

— Гаврило Романовичъ написалъ оду, — отвѣчалъ Сперанскій.

— Пророческую, — добавилъ Державинъ.

— Это правда, — продолжалъ Сперанскій. — И хотя государю она понравилась, однако, въ виду политическихъ обстоятельствъ, онъ нѣсколько стиховъ собственноручно подчеркнулъ.

— А подчеркнулъ-таки? — любопытствовалъ старикъ.

— Подчеркнулъ довольно мѣстъ таки...

— А какія все больше? Чай, сильненькія, съ огонькомъ которыхъ?

— Да, именно съ огонькомъ.

— Я такъ и зналъ, такъ и писалъ съ оглядкою... Я вотъ и Мерзлякову послалъ копію въ Москву, такъ для прочтенія, да и пишу ему насчетъ мира-то и моей оды на оный: „Радоваться-то можно, какъ просто сказать, съ оглядкою; а для того и не могъ я предаться полному вдохновенію, а какъ боецъ, спешій съ поля сраженія, хотя показывался торжествующимъ, но, будучи глубоко раненъ, изливалъ свою радость съ нѣкоторымъ уныніемъ...“

— Это касается васъ, юный боецъ, только-что спешій съ поля сраженія, — съ улыбкой, отечески обратился Сперанскій къ Дуровой, которую Лиза успѣла и познакомить и даже подружить и съ своей Соней, и съ мамой, съ г-жей Вейкардтъ. — Позвольте вамъ, ваше превосходительство, представить этого юнаго бойца...

Дурова встала и торопливо, смущенно подошла къ Державину, почти-тельно кланяясь и звеня шпорами.

— Господинъ Александровъ, которому вчера государь собственноручно пожаловалъ Георгію, — рекомендовалъ хозяйнѣ.

— Очень, очень пріятно, — прошамкалъ знаменитый старецъ. — Да какой-же вы, государь мой, молоденькій... А знаете, молодой человѣкъ, кого вы напоминаете?

Дѣвушка смѣшалась и не знала, что отвѣчать.

— Княгиню Дашкову, Катерину Романовну, когда она была вашихъ лѣтъ.

„Юный боецъ“ покраснѣлъ еще больше и взглянулъ на Сперанскаго.

— Что-жъ, это сходство пріятное, — поддержалъ онъ смущенную дѣвушку.

— Только, государь мой, не въ пользу сравниваемой, — перебилъ Державинъ: — княгиня Дашкова, признаюсь, никогда не нравилась мнѣ... У нея всегда была склонность къ велерѣчію и тщеславію, хвастовство, корыстолюбіе... женщина эта, сказать правду, всегда отличалась вспыльчивымъ и сумасшедшимъ нравомъ.

— А теперь она совсѣмъ развалина... Я ее видѣлъ—она пріѣзжала въ Москву изъ своей деревни,—сказалъ Тургеневъ.

— Ну, наши съ ней годы не молодые.

— Она годомъ старше васъ, ваше превосходительство, — вставилъ Магницкій.

— Ну, вотъ!.. А вамъ какъ извѣстны наши годы, молодой человѣкъ?—спросилъ старикъ.

— Годы вашего превосходительства извѣстны всей Россіи, — подольстился Магницкій.

— У! льстецъ...

— Не льстецъ, ваше превосходительство: я говорю правду.

— А вотъ Мерзляковъ пишетъ мнѣ еще объ одномъ моемъ сверстникѣ,—и это уже касается васъ, Пиколой Михайловичъ,—обратился старикъ къ Карамзину.

— О комъ-же, ваше превосходительство?

— О Новиковѣ Николаѣ Ивановичѣ. Вѣдь онъ вамъ сродни...

— По „Древней российской вивліоикѣ“ развѣ?

— Да... но и теперь у него остается въ мозгу нѣкій историческій зудъ—все не забываетъ исторіи.

— Да?

— Какъ-же... Мерзляковъ пишетъ: былъ онъ у него, у мартиниста-то стараго, въ гостяхъ, въ его Авдотьи... Ну, и чѣмъ-же старикъ занимается? Воспитываетъ, слышь, карасей... А потомъ на живой змѣѣ повѣрлялъ одно мѣсто въ лѣтописи Нестора.

— Какъ-же это на змѣѣ?—заинтересовался Карамзинъ.

— Да отыскалъ ту змѣю, что укусила Олега,—шутливо вставилъ Тургеневъ.

— Да почти что такъ. Онъ, видите-ли, отыскалъ тамъ у себя въ деревнѣ змѣю, да и разсердилъ ее, дразня палкою. Такъ оказалось, что змѣя не кусаетъ и не жалитъ, а именно „клюетъ“, какъ и рыба. А въ лѣтописи будто-бы сказано—я не помню самъ — что змѣя Олега „уклюнула“, а не „укусила“.

— Да, это совершенно вѣрно,—подтвердилъ Карамзинъ.—Такъ, значитъ, старикъ все еще интересуется исторіей?

— Интересуется, интересуется... не равнодушенъ къ старушкѣ Клію,—сострилъ старикъ.

— Да вообще я замѣтилъ, что за мамзель Клію ухаживаютъ больше тѣ, для которыхъ женщина становится незрѣлымъ виноградомъ,—пояснилъ Тургеневъ.

— Это вы на мой счетъ?—спросилъ Карамзинъ.

— Нѣтъ, такъ вообще.

— Удивительная судьба этого человѣка,—замѣтилъ Сперанскій, послѣ нѣкоторой паузы, послѣдовавшей за шуткою Тургенева.—Безспорно, это даровитѣйшая личность, когда-либо стоявшая въ ряду дѣятелей умствен-

самъ развѣтъ Россіи: какъ апостолъ нашего просвѣщенія — Новиковъ стоитъ передъ нами. Если можно сколько-нибудь наглядно представить результаты дѣятельности Новикова и другихъ русскихъ общественныхъ работниковъ, то Новиковъ воздвигъ себѣ пирамиду Хеопса, а прочіе...

Тротуарныя тумбы,—перебилъ его Тургеневъ.

Ну, не тротуарныя тумбы, но все же и не пирамиды, — спокойно продолжалъ Сперанскій. — И что-же! этотъ человѣкъ почти половину жизни провелъ въ несчастіи. Теперь вотъ онъ сталъ отшельникомъ, воспитываетъ карасей и производитъ опыты надъ змѣями... Если кого можно приравнять къ Новикову — не по многоплодности, а по духу — такъ это Радищева... Какъ Новикова, такъ и Радищева оцѣнить только наше потомство, ибо природа произвела ихъ на свѣтъ ошибочно: время не доносило ни Новикова, ни Радищева, и недоноскамъ этимъ слѣдовало-бы родиться столѣтіемъ позже... Какъ вы объ этомъ думаете, ваше превосходительство? — обратился онъ къ Державину.

— Какъ? что? спать пора?

Старикъ вздремнулъ и не слышалъ послѣдняго разговора. Въ послѣдніе годы вообще всякій разговоръ, гдѣ старецъ стоялъ не на первомъ планѣ, не самъ говорилъ, а другіе и о предметахъ, лично его не касавшихся, онъ начиналъ дремать: такъ и тутъ — разговоръ о Новиковѣ и Радищевѣ нагналъ на него дремоту.

— Говорятъ, ваше превосходительство, — снова подольщался къ старику министру Магницкій, — будто у насъ всѣ умные люди кончаютъ неблагополучно... Я думаю, Александръ Ивановичъ ошибается...

— Да, конечно, вы такъ не кончите, — вскользь бросилъ Тургеневъ.

Магницкій поблѣднѣлъ, но сдержался, пересилилъ свой гнѣвъ. Дурова замѣтила это и приняла къ свѣдѣнію.

— И притомъ, ваше превосходительство, — продолжалъ лисить Магницкій, — Михаилъ Михайловичъ извоилъ говорить о временахъ прошедшихъ... Что было, то прошло и быльемъ поросло... А о благополучномъ нынѣ царствованіи этого сказать никакимъ образомъ нельзя: это было-бы грѣхомъ великимъ. Посмотрите на все, что нынѣ совершается — и сердце ваше возрадуется: у насъ на престолѣ — ангелъ кротости. Вы были правы, ваше превосходительство, когда вдохновенно восклицали въ неподобной одѣ на восшествіе на престолъ Александра:

Вѣкъ новый! Царь молодой, прекрасный
Пришелъ днесь къ намъ весны стезей!
Мои предвѣстья велегласны
Уже сбылись, сбылись судьбой.
Умолкъ ревъ норда сиповатый,
Закрылся грозный, страшный взглядъ;
Зефиры вспорхнули крылаты,
На воздухъ вѣютъ ароматы;
На лицахъ россовъ радость блещетъ,
Во всей Европѣ миръ цвѣтетъ.

— Такъ, истинно такъ,—самодовольно бормоталъ тщеславный старикъ.— Нынѣ настало златое время... Я же тогда и предсказывалъ сіе въ своей одѣ:

Уныла муза, въ дни борея
Державшая вслухъ пѣсни пѣть,
Блаженству общему радѣя,
Уроки для владыкъ гремѣть,—
Передъ царемъ днесъ благосклоннымъ,
Взявъ лиру, прахъ съ нея стряси,
И сердцемъ радостнымъ, свободнымъ,
Вѣщай, греми, звучи, гласи
Того ты на престолъ вступленье
Кого воспѣлъ я въ пеленахъ.

Декламируя свои стихи, старикъ воодушевился, всталъ съ кресла, въ которомъ дремалъ, и ерзая по полу бархатными сапогами, воздвѣвая къ потолку руки и колотя себя въ грудь, казался очень смѣшнымъ и очень жалкимъ. Дурова глядѣла на все это съ грустью, а Тургеневъ проницательно улюбался...

— Завели машину,—шепнулъ онъ Сперанскому:—конца не будетъ.

Но конецъ скоро послѣдовалъ: старикъ закашлялся и въ изнеможеніи опустился на кресло.

— Нѣтъ, не могу больше,—сказалъ онъ, тяжело дыша.

— Да, Гаврило Романовичъ,—улыбнулся Карамзинъ своею задумчивою улыбкою,—вы крѣпче на бумагѣ, чѣмъ на ногахъ...

— Совсѣмъ плохи ноги... да и кашель... а съ чего-бы?

— А слышали вы продѣлку Вакселя?—спросилъ Тургеневъ Сперанскаго.

— Какого Вакселя?

— Въ конно-гвардейской артиллеріи служить.

— Нѣтъ, ничего не слыхалъ.

— А вотъ что. Вѣдь военные да и вся наша аристократія, несмотря на миръ, ужасно злы на Наполеона. Понятно, что и посланника его Савари не очень-то любезно приняли во многихъ домахъ. А сегодня Ваксель такъ совсѣмъ учинилъ скандалъ. Онъ нанялъ карету четверней и все катался по Невскому, выжидая, когда Савари будетъ ѣхать изъ дворца. Увидавъ, что карета Савари подъѣзжаетъ къ Полицейскому мосту, Ваксель направилъ на него, въ перерѣзъ, свою четверню, такъ что кареты сцепились. Савари высовывается въ окно и кричитъ: „Faites reculer votre voiture“.—„C'est votre tour de reculer“, отвѣчаетъ Ваксель:—„en avant!“—Ну, и Савари долженъ былъ выдти изъ кареты и велѣть кучеру осадить своихъ лошадей.

— Ну, это глупая шалость,—замѣтилъ Сперанскій:—надо было умѣть осадить Наполеона въ полѣ...

— Да, конечно, на Полицейскомъ мосту оно легче,—съ своей стороны добавилъ Карамзинъ.

— Каковъ исторіографъ! онъ острить,—не унимался Тургеневъ.—А

знаете, откуда онъ теперь заимствуетъ свои остроты?—спросилъ онъ Сперанскаго.

— А откуда?

— Больше все изъ поученій Вассіана Рыла да Луки Жидаты, да изъ „Вопросовъ Кирика“, а самыя новыя изъ „Слова Даниїла Заточника“.

— Ну, Александръ Ивановичъ почтеннѣйшій, и ваши остроты насчетъ Николая Михайловича „Стоглавомъ“ да „Номоканонъ“ пахнутъ,—замѣтилъ Сперанскій.

А Карамзинъ сидѣлъ и добродушно улыбался. Его мысли дѣйствительно больше жили въ прошедшемъ, чѣмъ въ настоящемъ. На мозгу налегло слишкомъ много прочитаннаго, архивнаго, чтобъ можно было легко отъ него отрѣшиться. Зато мозгъ Державина возвращался уже, кажется, къ младенческому состоянію: старикъ опять тихонько похрапывалъ въ креслѣ.

— Видите, дѣдушка Державинъ дремлетъ, — шепчетъ Лиза своему новому другу.

— Онъ, вѣрно, сегодня мало спалъ, бѣдненькій,—отвѣчаетъ Дурова.

— Нѣтъ, онъ всегда спитъ, когда не говоритъ... А вы долго остаетесь въ Петербургѣ?

— Нѣтъ, милая, мнѣ надо ѣхать въ полкъ.

— Ну, ужъ! зачѣмъ?

— На службу.

— А развѣ здѣсь нельзя служить? Вонъ папа здѣсь служить.

— Папа вашъ не военный.

— А въ Петербургѣ много военныхъ.

— Но я, милая, служу въ дѣйствующей арміи.

— Ну, ужъ! а то-бы вы часто ходили къ намъ... такъ было-бы весело!

Скоро г-жа Вейкардтъ пригласила гостей въ столовую къ чаю. Общество уютно расположилось за круглымъ столомъ, на которомъ шипѣлъ массивный серебряный самоваръ, располагая своимъ пѣніемъ къ продолжительному чаепитію, тѣмъ болѣе, что на дворѣ ллѣ тотъ перемежающійся, противный дождь, надъ которымъ постоянно острить Тургеневъ.

— У петербургскаго неба катарръ пузыря,—съострилъ онъ и на этотъ разъ, когда г-жа Вейкардтъ куда-то отлучилась изъ столовой.

— А у васъ, мой другъ, катарръ языка,—замѣтилъ на это Карамзинъ.

— Это изъ „Ипатьевской лѣтописи?“—отпарировалъ Тургеневъ.

— Нѣтъ, изъ „Русской Правды“.

Послѣ чаю, чтобы занять дремлющаго Державина, Магницкій предложилъ его превосходительству сразиться въ шахматы.

— А! съ Наполеономъ потягаться—извольте, извольте, молодой человекъ... Мы когда-то и съ Суворовымъ игравали и я побѣждалъ непобѣдимаго.

Магницкій изъ усердія и изъ почтительности къ министру постоянно проигрывалъ, а старикъ этимъ тѣшился какъ маленькій, постоянно приговаривая: „шахъ Наполеону“, или: „а мы его по усамъ, по усамъ“.

— А что вы, господинъ Александровъ, не подѣлитесь съ нами вашими военными впечатлѣніями?—обратился Сперанскій къ своему юному гостю.

— Они для васъ едва-ли будутъ интересны,—отвѣчала дѣвушка, чувствуя, что Лиза таинственно дергаетъ его за рукавъ.

— Отчего-же? Напротивъ. Вонъ я вижу — даже Лиза ждетъ этого... Она отъ васъ не отходитъ весь вечеръ.

— Ахъ, папа! отчего я не мальчикъ!—вдругъ отрѣзала Лиза.

— Вотъ тебѣ разъ! что это за фантазія?

— Я-бы съ ними (она указала головой на Дурову) уѣхала въ полкъ.

— Да вѣдь ты мышей боишься,—подскочила къ ней Соня, которая начала было уже ревновать свою пріятельницу къ неизвѣстному молоденькому офицеру и почти не отходила отъ матери, занимавшейся какимъ-то рукодѣльемъ, а теперь совсѣмъ испугалась, что Лиза уйдетъ отъ нихъ.— Тамъ мыши...

— Съ ними (и опять кивокъ на Дурову) я и мышей не буду бояться,—отрѣзала Лиза.

— Ну, такъ прощайте Елисавета Михайловна, прощайте,—заговорилъ Тургеневъ. А какъ-же Саша Пушкинъ безъ васъ останется?

— И онъ хочетъ идти въ офицеры.

— Ну, пропалъ теперь бѣдный Наполеонъ, совсѣмъ пропалъ.

— А мы его по усамъ, по усамъ,—самодовольно бормочетъ старикъ Державинъ, дѣлая шахъ Магницкому.

— А мы уклонимся, ваше превосходительство,—уклончиво отвѣчаетъ этотъ послѣдній.

Дурова, видя все то, что около нея происходило, и слушая то, что говорилось, ни глазамъ своимъ, ни ушамъ не вѣрила: она никакъ не могла себѣ представить, что сидитъ въ кругу первѣйшихъ знаменитостей Россіи и слушаетъ ихъ болтавню, перемѣшанную иногда серьезными замѣчаніями, которыя она жадно ловила. Ничего подобнаго она не видѣла среди военныхъ. Правда, здѣсь она попала въ самый высшій кругъ, который принялъ ее запросто, по семейному, тамъ же она больше частью толкалась въ кругу субалтерныхъ офицеровъ и солдатъ; къ высшимъ же военнымъ лицамъ она имѣла только служебное и само косвенное отношеніе. Здѣсь ее необыкновенно поразили контрастъ между серьезности бесѣды и самыми простыми шутками и остротами, которыми въ особенности пробавлялся Тургеневъ: ученые мужи, свѣтила государства болтаютъ и дурачатся какъ школьники! Но это именно и подкупало ея молодое сердце. Это-то отсутствіе педантичности и очаровывало ее: и этотъ смѣшной, въ бархатныхъ сапогахъ, „великій Державинъ“, норовящій кого-то все „по усамъ“, да „по усамъ“ и засыпающій при всякомъ удобномъ случаѣ; этотъ тихій, какъ

будто-бы застѣнчивый Карамзинъ, „главный исторіографъ“ и авторъ „Бѣдный Лизы“, надъ которою плакала Россія, скромно отпаривающій нападки Тургенева; знаменитый Сперанскій, любимецъ царя и преобразователь правительственного механизма всего государства, такой ласковый, добрый, такъ деликатно умѣвшій успокоить ея личное волненіе и такъ неподражаемо обходительный, нѣжно игривый съ своею Лизою; этотъ болтунъ Тургеневъ, все видящій въ смѣшномъ видѣ, и даже этотъ сладкорѣчивый Магницкій, ловко „уклоняющійся“ отъ шаха,—все это глубоко и хорошо задѣло ея мысль, ея впечатлительность.

„Серьезные люди шутятъ“, думала она... Да развѣ это не то-же, что ея товарищи уланы, иногда послѣ самой кровавой схватки съ врагомъ, тотчасъ перестаютъ о ней говорить или вспоминать ея подробности, эпизоды, вспоминать убитыхъ, толкуютъ или о томъ, что гуся гдѣ-нибудь раздобыли, или играютъ съ Жучкой; или рассказываютъ сказки, предаются воспоминаніямъ самого мирнаго свойства?... Это для нихъ отдохновеніе, отвлеченіе мысли отъ одного направленія къ другому — это освѣженіе мысли...

„Сапоги Редеди“, „зубочистка Θεодосія Печерскаго“, „академикъ Васька съ мышью на шеѣ“—все это такъ и подмывало ее, и ей становилось и легко, и весело среди знаменитостей... Прежде она любила читать; чтеніе развило въ ней природное воображеніе; внутренняя кипучесть искала простора, свободы, дѣятельности,—и она, очертя голову, бросилась въ омутъ боевой жизни—другого исхода не было... А тутъ она начинаетъ чувствовать, что для женщины могла бы быть и другая свободная, свѣтлая, дѣятельная жизнь—не на конѣ, не съ пикой въ рукѣ...

Этотъ вечеръ у Сперанскаго невидимо для нея самой забросилъ въ ея молодую, впечатлительную душу зерно будущаго развитія... Двѣ самыя крупныя личности въ исторіи русскаго просвѣщенія — Новиковъ и Радищевъ, и она объ нихъ прежде ничего не слыхала, ничего не читала, хотя такъ много слышала и читала о Державинѣ, Карамзинѣ, Херасковѣ, Ломоносовѣ...

— А на васъ юпочки есть? — конфиденціально шепчетъ Лиза своему новому другу.

— Нѣтъ, милая.

И ей трудно не расхохотаться, тѣмъ болѣе, что Лиза ведетъ себя такъ таинственно и серьезно, какъ будто-бы ей поручено было храненіе важной государственной тайны.

А тамъ опять заговорили о Новиковѣ.

— Я не могу забыть, какъ онъ однажды накинудся на меня за дворянъ,—сказалъ Карамзинъ, улыбаясь своею мягкою улыбкой.

— За какихъ за дворянъ?—спросилъ Сперанскій.

— За российскихъ, которыхъ я похвалилъ въ своемъ „Вѣстникѣ Европы“... Я до сихъ поръ не могу забыть этой несчастной страницы, за которую мнѣ такъ досталось. У меня было напечатано: „Я люблю воображать себѣ российскихъ дворянъ не только съ мечемъ въ рукѣ, не только

съ вѣсами Ѳемиды, но и съ лаврами Аполлона, съ жезломъ бога искусствъ, съ символами богини земледѣлія. Слава и счастье отечества должны быть имъ особенно драгоценны. Не всѣ могутъ быть военными и судьями, но всѣ могутъ служить отечеству. Герой разить непріятелей или хранить порядокъ вънутренній, судья спасаетъ невинность, отецъ образуетъ дѣтей, ученый распространяетъ кругъ свѣдѣній, богатый сооружаетъ монументы благотворенія, господинъ печется о своихъ подданныхъ, владѣлецъ способствуетъ успѣхамъ земледѣлія: всѣ равно полезны государству“... Такъ вотъ за это онъ и взялся на меня. „А куда, говорить, дѣвали вы, государь мой, мужика, поселенина? Всѣ, говорить, по-вашему полезны, одинъ онъ не полезенъ? А на комъ, говорить, государство держится? А какъ, говорить, „господинъ печется о своихъ подданныхъ?“

— Что-жь, онъ правъ,—замѣтилъ Сперанскій, нѣ улыбой прибавилъ:—но не подумайте, что это говорить во мнѣ російскій попovichъ, а не дворянинъ...

— Ну, конечно, зависть,—шутя пояснилъ Тургеневъ.

— Что-жь, вы помирились съ нимъ послѣ?—спросилъ Сперанскій.

— Разумѣется, я тотчасъ же написалъ ему, что я виноватъ—не договорилъ и старикъ благословить меня какъ на журнальную дѣятельность, такъ и на дѣло исторіографіи, но при этомъ въ поученіи прибавилъ: „судите умершихъ безпристрастно, да не осуждены будете тѣми, которые еще не родились“...

— Да, это совѣтъ великаго человѣка, — сказала задумчиво Сперанскій.—Страшенъ судъ тѣхъ, которые еще не родились.

— А я его не боюсь,—съ своей неизмѣнной веселостью заключилъ Тургеневъ.

— Почему?—спросилъ Сперанскій.

— Меня не будутъ судить... Васъ—это другое дѣло: вы—историческіе дѣятели, и потянутъ васъ, рабовъ божіихъ, къ Іисусу... А я, что я!—симбирскій помѣщикъ и дворянинъ... ничтожество...

Когда Дурова стала уходить, Сперанскій, крѣпко пожалъ ей руку, отвелъ нѣсколько въ сторону и тихонько сказалъ:

— Заходите, пока въ Петербургѣ—всегда радъ васъ видѣть.—А потомъ прибавилъ:—а если вашъ батюшка будетъ здѣсь и станеть о васъ спрашивать, — что сказать ему?

Дѣвушка не сразу могла отвѣчать на этотъ вопросъ. Волненіе ея было такъ замѣтно, что Сперанскій чувствовалъ, какъ дрожить у нея рука.

— Скажите, что вы видѣли меня... что я здорова... что государь былъ милостивъ ко мнѣ...

— Да, это его порадуетъ... А если онъ пожелаетъ видѣть васъ?

— Я боюсь... я не перенесу его просьбъ... его слезъ...

— Такъ сказать, что вы уѣхали къ арміи?

— Да... а я сама напишу ему.

Лиза тоже таинственно шепнула ей:

— Вы приходите еще—чаще, чаще... можетъ быть и я уѣду съ вами...

Державинъ на прощальный поклонъ ея отвѣчалъ:

— А вамъ, молодой человѣкъ, еще придется имѣть дѣло съ Бонапартомъ... Вы смиритесь съ-такъ у меня и въ одѣ значится.

— Желаю вамъ не смириться, а *побѣдить* Наполеона, — загадочно сказалъ Тургеневъ, особенно, какъ ей показалось, дѣлая удареніе на словѣ „побѣдить“.

Она покраснѣла, но ничего не отвѣчала—она была озадачена.

Выходя отъ Сперанскаго, Дурова чувствовала, что въ душѣ ея зарождается что-то новое, открывается какая-то новая свѣтлая полоса въ будущемъ, которой она прежде не замѣчала.

X.

Дурова снова въ Полоцкѣ. Но какая разница въ томъ, что было здѣсь до ея отъѣзда въ Петербургъ, и въ томъ, что она нашла тутъ по своему возвращенію!

И сама она явилась не тѣмъ, чѣмъ была. Ничто прежде не отличало ее отъ обыкновеннаго солдатика улана или много-много бѣдненькаго юнкера изъ дворянъ: жила она въ солдатской обстановкѣ подъ жестокононой ферулой своего ворчуна дядьки, стараго Пуда Пудыча; сама чистила и сѣдала своего Алкида; жила на солдатскомъ пайкѣ; кормилась картофелемъ, который сама выкапывала изъ грядъ; была большею частью въ обществѣ солдатъ, а если офицеры и обходились съ ней ласково, какъ съ отъиымъ, но храбрымъ юношей, однако сама она, боясь своего пола и разныхъ случайностей, держала себя поодаль отъ офицерскаго кружка... Только Грековъ, по понятнымъ намъ комбинаціямъ, старался сблизиться съ нею. Но во всемъ остальномъ она была одинока, и только дневнику своему, къ которому постоянно прибѣгала, она довѣряла ту сторону своей жизни, ту область ощущеній, думъ и мечтаній, о существованіи которыхъ никто и не подозрѣвалъ въ юномъ уланикѣ.

Теперь она стала чѣмъ-то замѣтнымъ, выдающимся. Она воротилась офицеромъ, который, какъ прошла молва, былъ облаканъ государемъ и котораго государь самъ пожелалъ видѣть. Теперь у нея на груди блестящій почетный крестикъ, который былъ повѣшенъ на эту грудь самимъ императоромъ. Прежде у нея не было за душой ни копѣйки; теперь она ни въ чемъ не нуждалась, потому что въ случаяхъ надобности государь позволялъ ей писать ему въ собственныя руки и высылалъ ей деньги черезъ Аракчеева, черезъ того самаго, который съ первой встрѣчи съ нею испугался ея соперничества... Мало того, молоденькій уланикъ, ученикъ Пуда Пудыча, явился изъ Петербурга съ другой даже фамиліей, данной ему самимъ государемъ—съ „именною царскою фамиліею“ Александрова... Всѣ чувствовали, что въ жизни бывшаго уланика совершилось что-то крупное, но какъ, вслѣдствіе чего—это оставалось тайной...

Но не радостна была для нея эта переменѣна. Тамъ, гдѣ она мечтала увидѣть знакомыя, дорогія лица, найти жизнь полную движенія, извѣдать до конца то, что приснилось ей какъ бы во-снѣ, — тамъ она нашла пустыню... Почти всѣ войска, стоявшія вдоль западной границы, исчезли изъ этихъ мѣстъ: они потянулись къ сѣверу, къ Петербургу, къ Финляндіи... Вездѣ слухи о войнѣ съ Швеціею... Хотя и осталось нѣсколько полковъ у западной границы и въ Полоцкѣ, но тѣхъ, *своихъ* полковъ нѣтъ уже; нѣтъ и ея полка-колыбели, ея милаго конно-польскаго уланскаго полка... Каховскій, Бенигсенъ, добрый Нейдгардтъ, такъ отлично занимавшій ее въ дорогѣ, Фигнеръ, Платовъ, Денисъ Давыдовъ, — всѣ, кого она знала, всѣ эти знакомыя лица, къ которымъ привыкъ ея глазъ и съ которыми породнилось ея сердце — все это потянулось на сѣверъ... „Храбрѣйшій“ и простодушнѣйшій Лазаревъ, отмѣченный самимъ Наполеономъ, и его острякъ-хохолъ и душевная простота Заступенко, и ворчунъ Пудъ Пудычъ, и старый Пилипенко — все это ушло на сѣверъ... Жучка даже потянулась за войскомъ — развѣ безъ Жучки возможна война съ Швеціею!..

И не видать больше этой милой, скуластой рожицы, этихъ добрыхъ калмыковатыхъ глазъ Грекова — и онъ съ своимъ полкомъ ушелъ на сѣверъ!

Пустыня, мертвая, безконечная пустыня! Это пустыня въ ея душѣ: по ея сердцу, какъ по сожженной солнцемъ донской степи, перекатилось сухое перекасти-поле и исчезло за горизонтомъ... Пусто, мертво кругомъ... Да, это былъ сонъ, перекасти-поле...

Она сидитъ за своимъ дневникомъ въ новой, чистенькой офицерской квартирѣ; но что-то не пишется... Да и о чемъ писать, когда жизнь прошла? Даже еврейскіе маленькихъ нѣтъ здѣсь и они тамъ остались, на той квартиркѣ, гдѣ жилось съ надеждами, и теперь пришлось жить съ мертвецами, воспоминаваньями... Сидитъ она, думаетъ, все думаетъ, а горькая голова такъ и валится на руки; такъ бы хотѣлось выплакаться, выстонать всю боль сердца, всю тяжесть души, выстонать эту тоску безпросвѣтную — и не плачется, не стонется, застыло, закоченѣло все въ душѣ... Ухъ, какая тоска смертная!

И то было сонъ, тамъ, въ Петербургѣ... Эти орлиные глаза, ласковый голосъ Сперанскаго, Державинъ въ бархатныхъ сапогахъ, Лиза, Карамзинъ... И это уже мертвецы для нея... Или она сама мертвецъ въ этомъ тихомъ склепѣ могильномъ? Нѣтъ, вонъ за стѣной слышится монотонное причитанье деньщика... Это онъ съ хозяйскимъ ребенкомъ забавляется...

Ку-ка-реку!
На повѣткѣ сажу,
Лапотки плету,
Кочадыкъ потерялъ,
Денежку нашель,
Дѣвушку купишь,
Дѣвушка добра,

Пирогъ испекла,
Съ куриными легкими...

„За денежку дѣвушку купилъ... не велика же цѣна дѣвушкамъ... Но какая тоска, Боже мой!“

А за перегородкой слышится солдатскій разговоръ:

— Наши, сказываютъ, нагрѣли порядкомъ шведа: самую что ни-на-есть неприступную укрѣпушку у ихъ взяли.

— Кто сказывалъ?

— Пишутъ быдто оттудова.

— Ну и ладно: тутъ не взяли, такъ тамъ свое возьмемъ — это не французъ.

— Гдѣ до француза! французъ и намъ бока помялъ.

— Ну, да погоди — и нашъ чередъ придетъ, и мы ему въ-защей накладемъ.

„Да,—думается тутъ подъ этотъ разговоръ,—они тамъ дерутся, а мы сидимъ, тоскуемъ... А что онъ?.. Цѣлые вѣка, кажется, прошли, какъ я его не видѣла: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь... и конца нѣтъ мѣсяцамъ... а теперь ужъ лѣто... А онъ хоть бы строчку написалъ... Да какъ онъ напишетъ? кому? куда? Онъ и не знаетъ, такъ куда писать? Да и живъ-ли онъ? Вонъ какія тамъ жестокія дѣла, говорятъ, были, особенно подъ Улеаборгомъ, когда Тучкова разбили... Вонъ Кульневъ писалъ къ своимъ, что это просто „вандейская“ война... А все лучше бы вмѣстѣ съ ними: и убили бы вмѣстѣ...“

Въ сѣняхъ слышится шаги, бряцанье шпоръ. Дурова прячетъ дневникъ и беретъ въ руки книгу.

— Дома, ваше благородіе,—отвѣчаетъ деньщикъ.

Въ дверяхъ показывается невысокаго роста, коренастый, загорѣлый и, остановившись на порогѣ, декламируетъ съ самымъ комичнымъ выраженіемъ въ лицѣ и голосѣ:

Бурцевъ ера, забяка,
Собутыльничъ дорогой,
Ради рома и арака
Посѣти домишко мой...

— Вотъ я и посѣтилъ, хоть ты и не звалъ меня... Здравствуй, Александрюша!

— Здравствуй, Бурцевъ... Добро пожаловать.

— А ты все монахомъ—за святцами?

— Да, читаю Карамзина.

Вошедшій былъ типъ беззаботнаго кутилы-гусара въ мирѣ, и отчаяннаго рубаки на войнѣ. Все на немъ сидѣло и глядѣло какъ-то небрежно-ухарски. Даже сѣрые, небольшіе, раздѣленные красноватымъ носомъ какъ ширмами, глаза какъ-то словно небрежно смѣялись надъ всѣмъ, что бы ни видѣли — слезы, радость, горе, смерть, друга, врага, начальника или

подчиненнаго... Это былъ Бурцевъ, другъ Дениса Давыдова и наставникъ его „по части романической“, то-есть по части выпивки рому.

— Что новаго?—спросила Дурова, пожимая руку пришедшему.

— Да много, Александрюша, новаго: отъ Дениски письмо получилъ—пребольшущее.

— Да?—съ затаеннымъ страхомъ спрашиваетъ его.—Ну, и что-жъ?

— Пишетъ, какъ Свеаборгъ брали — сей сѣверный Гибралтаръ... И знаешь, онъ пишетъ, кто вступилъ въ союзъ со шведами?

— Англичане?

— Нѣтъ, Александрюша, не угадаешь... Дениска пишетъ, что самыми сильными легионами шведскими оказались наши провіантскіе чиновники.

— Ну, это какъ и въ войну съ Наполеономъ.

— Хуже, Александрюша. Дениска пишетъ, что почти во всякомъ мѣстѣ вмѣсто муки они находили либо мусоръ, либо опилки... Да еще какіе подлцы: какъ стали ихъ ловить на этомъ, такъ они, дьяволы, ухитрились вотъ какъ увертываться: какъ только куда назначутъ обозъ съ провіантомъ, такъ они, провіантскіе-то Геростраты наши, и посылаютъ къ шведамъ своихъ лазутчиковъ предупредить, что тамъ-де и тамъ пойдутъ обозы съ провіантомъ—не зѣвайте-де... Ну, шведы и не зѣваютъ... А мы остаемся безъ хлѣба, безъ сухаря. Дениска пишетъ, что только грибами и живетъ солдатъ, а вмѣсто хлѣба парятъ въ котлахъ шведскую рожь да ячмень—ну, и кушаютъ аки кашицу.

— А пишетъ, кто раненъ изъ нашихъ, кто убитъ? — чуть слышно спрашиваетъ Дуровъ.

— Особаго ничего не пишетъ... Хвалить Каменскаго да Кульнева — только на нихъ, говорить, и выѣзжаемъ.

Дуровой еще хочется что-то спросить, но она молчитъ.

— А вѣдь я, Александрюша, подѣлу къ тебѣ,—продолжаетъ Бурцевъ, которому не сидится на мѣстѣ.—Я хочу тебя, братъ, похитить!

— Куда? на охоту опять?

— Нѣтъ, братъ... Да оно пожалуй, Александрюша, на охоту, да только на краснаго звѣря — на красную дѣвицу... Къ Кульневымъ махнемъ.

— Миѣ что-то не хочется,—немножко тревожно отвѣчаетъ Дурова.

— Э! дудки, Александрюша: тебѣ не хочется, а миѣ хочется...

— Ну, и поѣзжай одинъ.

— Нѣтъ, шалишь, Александрюша,—это не по-товарищески, не по-гусарски. Да безъ тебя миѣ и нельзя.

— Отчего-же?

— Да оттого, братъ, что богиня эта, Діана прелестная, прошлый разъ миѣ прямо сказала: „безъ Александрюши и глазъ не кажите къ намъ“.

Дурова замѣтно покраснѣла.

— Вотъ вздоръ какой! все это ты самъ сочиняешь,—сказала она смущенно.

— Убей меня Богъ бутылкой рому! чтобы мнѣ на томъ свѣтѣ водки не видать!—сама богиня такъ сказала.

Дурова знала, что онъ не лгалъ; но это тѣмъ больше приводило ее въ смущеніе. Еще съ зимы она стала замѣчать, что въ семьѣ Кульневыхъ, которыхъ помѣстье было верстахъ въ пятнадцать отъ Полоцка и которые наѣзжали иногда въ Полоцкъ, младшая дочь, молоденькая, прелестная шестнадцатилѣтняя дѣвочка, принимая ее за мужчину, оказывала ей такое недвусмысленное, хотя наивное вниманіе, что положеніе гусара съ женскими прелестями становилось часъ отъ часу щекотливѣе. Дурова видѣла, что дѣвочка ищетъ взаимности, тоскуетъ... Надо было бы положить конецъ этому — но какъ? Ни холодность, ни видимое желаніе избѣжать съ нею встрѣчи, ничто не помогало. Оставалось одно—или грубо оттолкнуть отъ себя доброе, милое, наивное существо, или открыть все...

Дурова рѣшилась на послѣднее.

— А! братъ, увлекъ дѣвочку, а теперь и на попятный, — говорить между тѣмъ Бурцевъ, которому просто хотѣлась ѣхать къ Кульневымъ самому, потому что онъ былъ равнодушенъ къ старшей сестрѣ „богини“. — Такъ, Александрюша, хорошіе гусары не дѣлаютъ... это свинство... Ну, коли грѣхъ вышелъ—пожалуй немножко тамъ, утѣшь...

— Не говори этого, Бурцевъ... Какъ честный человѣкъ говорю, я постоянно избѣгалъ ея.

— А вотъ не избѣжалъ: бѣдная дѣвочка сохнетъ, этакая цыпочка... а ты, Александрюша, безсердечная скотина, вотъ что я тебѣ скажу.

— Ну, такъ и быть, ѣдемъ,—рѣшительно сказала Дурова.

Бурцевъ даже припрыгнулъ отъ радости и, бросившись къ Дуровой, сжалъ ее въ объятіяхъ, какъ въ тискахъ...

— Ой-ой! медвѣдь... задунишь, — защищалась она.

— Ай, да Александрюша! ай, да другъ! — радостно повторялъ Бурцевъ. — Да зачѣмъ ты велишь портному столько ваты подкладывать себѣ на грудь? У тебя грудь точно бабья...

Дурова въ это время отвернулась и что-то очень долго рылась въ ящикѣ стола... Просто смерть съ этой высокой грудью!

— А навѣрно тамъ будетъ этотъ маркизъ изъ бурсы, — продолжалъ Бурцевъ, рассказывая по комнатѣ и ероша себѣ волосы.

— Какой маркизъ изъ бурсы?—засмѣялась Дурова, но какъ-то насильственно.

— Да новый Сперанскій.

— Ахъ, этотъ Талантовъ?

— Да. Вотъ пономарь во фракъ! А косится онъ на тебя, Александрюша.

— Талантовъ? за что?

— А за богиню... какъ-же! А ты, простота, и не замѣтилъ?

— Ей-богу не замѣтилъ.

— Э-эхъ! какія онъ ей, богинѣ-то, очеса запускаеть — вотъ очеса! Такъ, кажется, и пронизываютъ насквозь—отъ „блаженъ мужъ“ до „вскую шаташася“... А все пока дальше первой каѳизмы дѣло его съ богиней нейдетъ—вотъ и косится на тебя.

— Ахъ, бѣдный! Мнѣ жаль его. Да и зачѣмъ у него такая смѣшная фамилія—Талантовъ?

— А чтобъ быть похожимъ на Сперанскаго... У нихъ въ семинаріи всѣмъ теперь надавали подобныхъ громкихъ фамилій: Талантовъ, Прогрессовъ, Прудентовъ, Сапіентскій, Пульхерримовъ, Омнипотентовъ...

— Что ты вздоръ болтаешь!

— Клянусь бутылкой, онъ мнѣ самъ рассказывалъ... Ну, такъ ѣдемъ, Александрюша?

— Ыдемъ.

— Ну, спасибо, другъ. Собирайся-же, а я побѣгу тоже принарядиться, чтобъ и мою недотрогу какъ-нибудь провѣять... Такъ прощай; черезъ полчаса мы ужъ на пути въ храмъ любви будемъ.

И онъ ушелъ, напѣвая: „Бурцевъ ера, забіяка, собутыльникъ дорогой“...

Черезъ полчаса пріятели дѣйствительно были уже въ дорогѣ. День выдался ясный, теплый, тихій, одинъ изъ лучшихъ майскихъ дней. Мягкое солнце грѣло, ласкало, но не пекло. Послѣ дождей поля и возвышенности зеленѣли изумрудомъ. Птица, молчавшая всю зиму, теперь распѣвала на разные голоса, словно торопясь выкричать все, что накопилось въ груди за зиму, за все время молчанья и скуки. Да и какъ не торопиться! И людямъ приходится пѣть не долго, а маленькой птичкѣ и подавно... А за птичкой тянется всякая козявка, трещить и скрипитъ, да такъ смѣло, неумолчно, словно-бы весь міръ созданъ для того, чтобы слушать это весеннее торжество козявокъ...

— Эхъ, хороша природа, Александрюша!—не вытерпѣлъ Бурцевъ.—А воздухъ! дышешь имъ, словно коньякъ попиваешь... Да нѣтъ, баста! коли ѣдешь къ богинямъ, ни-ни! пить не смѣй, Бурцевъ!

Дурова молчить, какъ-бы прислушиваясь къ гулкому постукиванью копытъ о гладко укатанную дорогу. Эта чудесная весна, разлитая кругомъ, эта далекая синева неба, кажущаяся бирюзовою отъ яркости изумрудной зелени, теплый, ласкающій воздухъ — все это навѣваетъ тихое, грустное раздумье на того, кому не достаетъ счастья...

— Да, что это ты, Александрюша, все нось вѣшаешь?—снова заговариваетъ Бурцевъ.—Счастье везетъ ему бѣшеное: мальчишка—и ужъ кавалеръ, лично извѣстный государю... Все у него есть, богини сами готовы на шею ему повѣситься, а онъ нось вѣшаетъ!

— Съ чего ты взялъ, Бурцевъ? Совсе нѣтъ... это у меня характеръ такой.

— Характеръ! это точно мой деньщикъ... вѣчно спитъ, разоспится

такъ, что надъ сапогомъ со щеткой засыпаетъ... А крикнешь на него: „ты что спишь?“ такъ нѣтъ, говоритъ: „я не сплю — у меня характеръ такой“... Вотъ и у тебя характеръ... Да тебя, вѣрно, занозила тамъ полъка какая-нибудь, когда вы стояли въ Польшѣ.

— Ну, вотъ вздоръ!

А между тѣмъ ей вспоминаются добрые калмыковатые глаза, а тутъ-же рядомъ съ ними мелькаютъ другіе глаза, добрые-же, но не мигающіе... нечеловѣческіе какіе-то глаза... А тѣ, калмыковатые, черные, словно безъ зрачковъ—эти лучше, теплѣе...

— А вѣдь скоро, я думаю, какъ тамъ порѣшатъ, такъ и здѣсь начнется работка,—разсуждаетъ Бурцевъ, который не любитъ молчать.

— Что? гдѣ порѣшатъ?

— Да со шведами... Сюда наши придутъ, и Дениска придетъ, и Кульневъ, и „чортовъ генералъ“, и Гаврилычи всѣ съ Платовымъ... весело будетъ.

Тепломъ эти слова вѣютъ на сердце Дуровой.

— Да, скорѣй-бы приходили, скучно безъ нихъ,—говоритъ она, сама чувствуя, что не вполне искренно говорить.

— Придутъ... У Наполеона вѣдь носъ—у-у, какой! понюхалъ Нѣмана, захочетъ понюхать и Москвы-рѣки, и Невы, и Фонтанки...

— Ну, этому не бывать!—горячо говоритъ Дурова.

— И я, братъ Александруша, знаю, что не бывать, и все-таки Наполеонка захочетъ понюхать, тѣмъ Фонтанка пахнетъ... Ну, а мы дадимъ ему пороку понюхать.

— Скорѣй-бы!—не терпится Дуровой.

Дорога заворачивала влѣво къ рѣчкѣ, и изъ-за рѣдкаго, полувырубленнаго березняка показалась деревня, расположенная вдоль рѣчного берега, нѣсколько всхолмленнаго. На одномъ изъ плоскихъ возвышеній виднѣлся деревянный, съ деревянными-же колоннами, поддерживавшими балконъ мезонина, и съ зеленою крышею домъ, а за нимъ лѣпились по берегу черныя крестьянскія избы съ почернѣвшими отъ времени и непогоды крышами. Около барской усадьбы виднѣлась зелень и стояли купами деревья, избражавшія собою не то паркъ, не то садъ: въ деревнѣ-же и вокругъ деревни, на задахъ, зелень была точно вытравлена, а виднѣлся только вывѣтрѣвшійся, почернѣлый навозъ да перегнившая солома. Зато у каждой избы торчало по нѣсколько скворешень съ воткнутыми въ нихъ хворостинами да чернѣлись кое-гдѣ гнѣзда аистовъ, устроенныя на негодныхъ, воткнутыхъ на высокіе колья колесахъ. Дорога шла тутъ по рѣчному нагорью, которое справа окаймлялось расчищенною рошею.

— Ба, ба! а вонъ и сами богини шествуютъ,—весело сказалъ Бурцевъ.—Клянусь бутылкой!—и Талантовъ съ ними.

Въ рошѣ дѣйствительно изъ-за деревьевъ мелькали свѣтлыя платья. Вскорѣ ясно можно было различить двѣ женскія и двѣ мужскія фигуры. Когда солнце въ прогалинкахъ падало на свѣтлыя женскія платья, они

ярко блестѣли, словно васильки и павелики въ зелени. Мужчины — собственно былъ одинъ мужчина, а другой мальчикъ — оба тоже въ свѣтлыхъ коломенковыхъ костюмахъ и съ соломенными шляпами на головахъ. Барышни — это дѣйствительно были барышни Кульневы, „богини“, несли въ рукахъ по зонтику, а мужчины — по небольшой корзинкѣ.

Барышни замѣтили всадниковъ и повернули къ дорогѣ. Всадники приостановили своихъ коней и сошли съ нихъ, когда увидѣли, что барышни идутъ къ нимъ.

— Здравствуйте, прелестныя лѣсныя богини! — весело сказалъ Бурцевъ.

— Здравствуйте, господа, — отвѣчала одна изъ барышень, высокая, плотная, бѣлая и румяная. — Какія мы богини!?

— Какъ-же-съ! лѣсныя нимфы, сопровождаемая Паномъ — виноватъ, сатиромъ...

Барышня положила палецъ на свои розовыя губы, Бурцевъ догадался и замолчалъ... Подходилъ высокій мужчина въ лѣтнемъ пальто и въ такомъ-же пальто мальчикъ: это были — Талантовъ и его ученикъ, девятилѣтній братъ „богинь“.

„Богини“ были барышни въ самомъ русскомъ стилѣ, нынѣ исчезающемъ подъ давленіемъ неблагоприятныхъ условій: не высокія, какъ линейныя англичанки, а высокенькія вѣдуньи, наливныя какъ волжскія бѣлѣвыя яблоки, полнотѣлыя и упруготѣлыя до неущипу, большекосыя, съ персиковыми щеками и ямочками на подбородкахъ, немножко, словно-бы подѣтски курносенькія и съ сѣрыми съ поволокой глазами. При видѣ ихъ, особенно старшей, у Бурцева являлось какое-то конвульсивное движеніе въ рукахъ, которыя у него невольно тянулись погладить что-нибудь у „богини“, какъ невольно хочется погладить бархатную шерстку у кошечки, хорошенькую мордочку собаки, курчавую головку ребенка. „Богини“ были похожи одна на другую, какъ два персика, но только младшая была менѣе плотна тѣломъ и въ лицѣ часто замѣчалась почти дѣтская смущенность.

Талантовъ былъ молодой человекъ лѣтъ за двадцать, видимо занимавшійся своей особой и преимущественно своими волосами, которые у него были очень хороши — огненнокрасныя, густыя, но сильно теряли отъ того, что Талантовъ, которому не нравилась ихъ краснота, сильно смазывалъ ихъ, для приданія имъ нѣкоторой черноты, помадой и завывалъ по модѣ — колбасками на вискахъ и хохолкомъ на лбу: Онъ думалъ, что этимъ, моднымъ тогда способомъ, онъ сдѣлаетъ себя похожимъ на Сперанскаго: ему почему-то казалось, что Сперанскій бралъ хохолкомъ. Тогда всѣ семинаристы мечтали быть Сперанскими.

— Вы, кажется, по грибы ходили? — спросилъ Бурцевъ, глядя на корзинки.

— Да, но мы больше отдавали дань природѣ, ея красотѣ, — высокопарно заговорилъ Талантовъ.

— Какъ-же вамъ не стыдно — безъ насъ-то? — обратился Бурцевъ къ старшей богинѣ. — И мы хотимъ съ вами по грибы.

— Что-жъ! мы послѣ обѣда опять пойдемъ, всё—да?

— Отлично... А то вотъ мой Александрюша все хандрить—влюбленъ въ кого-нибудь.

И Дурова, и младшая Кульнева все это время какъ-то неловко молчали. Но при послѣднихъ словахъ Бурцева они смущенно, украдкой взглянули другъ на друга, но только взгляды эти сопровождались различными послѣдствіями: Кульнева покраснѣла до корней волосъ, а Дурова почувствовала, какъ щеки ея блѣднѣютъ. Талантовъ видимо чувствовалъ себя въ неловкомъ положеніи.

— А какъ по-латыни гусаръ, Иринархъ Ивановичъ?—неожиданно вынулъ его маленькій Кульневъ.

— Гусаръ по-латыни—„эквестъ“,—отвѣчалъ тотъ наставительно.

— Да вѣдь „эквестъ“, значить всадникъ?

— Ну, все равно—у римлянъ не было гусаръ.

— Ауланы были?—спросилъ Бурцевъ, переглядываясь съ своей „богиней“.

— Нѣтъ, и уланъ не было.

— Вотъ дураки римляне! самого красиваго войска у нихъ не было.

Въ это время Алкидъ, которому наскучило слушать, какъ господа болтаютъ съ барышнями, тоже подошелъ къ бесѣдующимъ и, просунувъ морду между плечомъ младшей Кульневой и Талантовымъ, сталъ обнюхивать лежавшіе въ корзинкѣ грибы.

— Ахъ, милый Алкидъ!—обрадовалась барышня.—Хочешь грибка?—И она поднесла къ мордѣ коня большой красный грибъ. Конь понюхалъ предлагаемое, но не взялъ.

— А, не хочешь? А жареный въ сметанѣ скушаешь?

— Скушаетъ... Его Александрюша избаловалъ—вареньемъ кормить,—продолжалъ шутить Бурцевъ.

— Однако, любезно съ нашей стороны,—вспомнила старшая Кульнева:—держимъ усталыхъ гостей на дорогѣ, а къ себѣ не приглашаемъ... Пожалуйте, господа,—насъ ужъ и мама давно ждетъ.

Общество двинулось къ усадьбѣ. Бурцевъ шелъ подъ руку съ своей „богиней“, а въ другой рукѣ держалъ поводъ коня. Дурова предложила свою руку младшей Кульневой. Рука послѣдней замѣтно дрожала. Талантовъ и маленький Кульневъ съ корзинками въ рукахъ составляли авангардъ. Сзади всѣхъ шелъ Алкидъ безъ всякаго понужденія со стороны своей госпожи: онъ зналъ свое дѣло, да кромѣ того хорошо помнилъ, гдѣ у Кульневыхъ конюшни.

И Дурова, и Кульнева молчали—онѣ чувствовали, что объясненіе неизбежно... Дольше тянуть было уже нельзя.

XI.

Усадьба Кульневыхъ состояла изъ деревяннаго, довольно помѣстительнаго одноэтажнаго дома съ боковыми пристройками и мезониномъ. По

правую руку главного дома, нѣсколько въ сторонѣ, стоялъ отдѣльный флигель для ночлега заѣзжихъ гостей, по лѣвую—постройки для дворни, а назади дома всѣ прочія службы. Къ одной сторонѣ дома примыкалъ небольшой цвѣтникъ съ бесѣдкою, уютною хмѣлемъ. Но лучшимъ украшеніемъ усадьбы служили пирамидальные тополи, посаженные вдоль лицевого рѣшетчатого забора.

Когда хозяева и гости вошли во дворъ, кучера тотчасъ-же взяли гусарскихъ коней, чтобъ вести на конюшню. Но такъ какъ избалованный Алкидъ иногда капризничалъ и не слушался чужого кучера, то и въ этомъ случаѣ Дурова, желая заставить его повиноваться кучеру Кульневыхъ, подошла къ нему, погладила его гибкую, упругую шею, и показывая на кучера, сказала: „Слушайся его, Алкидъ—это Артемъ...“ Умное животное до сихъ поръ не забыло имени своего прежняго конюха Артема, и потому всякій, кто желалъ взять этого капризнаго коня, долженъ былъ на время стать Артемомъ. Уланы и гусары знали эти лошадиные капризы и стали самого Алкида величать Артемомъ.

По парадному крыльцу, на площадкѣ котораго стояли цвѣты въ кадкахъ и ящикахъ, гости и барышни вошли въ домъ. Тамъ ихъ встрѣтила полная, розовая, среднихъ лѣтъ дама съ батистовымъ въ оборкахъ чепцомъ на головѣ, на которой не было ни одного сѣдого волоса, хотя полное лицо начинало уже покрываться морщинами, этими таинственными, но для всѣхъ понятными гіероглифами безпощаднаго времени. Сѣрые глаза ея напоминали глаза „богинь“ въ такой степени, въ какой засохшая и сплюснутая въ книгѣ незабудка напоминаетъ себя въ прошедшемъ, когда она выглядывала изъ зеленой травы и словно улыбалась, блестя не высохшею еще на ней утреннею росинкою. И полноча ея, болѣе обстоятельная, чѣмъ полноча „богинь“, напоминала этихъ послѣднихъ, но такъ, что рука Бурцева не тянулась погладить полноту „богининой мамы“. Это и была мама, сама хозяйка дома, Кульнева, повторившая свою молодость въ своихъ дочкахъ, только не въ свою, а въ ихъ пользу... Да, все такъ на свѣтѣ дѣлается, все такъ предопредѣлено таинственными законами жизни; даже безсмертіе человѣческое полагается не въ пользу того, кто заслужилъ его, а въ пользу... господъ архивариусовъ...

— Какъ мило съ вашей стороны, господа, что вы вспоминаете насъ, а то ужъ мы объ васъ скучать стали, — сказала хозяйка въ то время, когда гости цѣловали ея пухлую руку, а она своею пухлою щекою скользила по ихъ щекамъ.

— Я бы давно къ вамъ, добрѣйшая Анна Гавриловна, да вотъ этотъ монахъ, Александруша, сиднемъ сидитъ надъ своими книгами,—отвѣчалъ развязно Бурцевъ.

— Какъ вамъ это не стыдно, сударь? — обратилась хозяйка къ Дуровой.—Вонъ ужъ и папочка (папочкой она называла мужа) постоянно твердить за обѣдомъ: „что это, говорить, не видать Сивки - Бурки, ни Александруши? Не съ кѣмъ и о политикѣ потолковать“.

Дурова бормотала извиненія, говорила, что боится надѣдать, да и дѣло мѣшало.

— Дѣло! Это у него дѣло—весь обложился книгами: тамъ у него и „Свитокъ музъ“ какой-то, и „Моя лира“, и „Журналъ русской словесности“... И откуда всего этого онъ набралъ? Точно въ профессора готовится,—обличалъ ее Бурцевъ.

Дурова, по возвращеніи изъ Петербурга, дѣйствительно облажилась книгами. Она вывезла оттуда цѣлый чемоданъ какъ новыхъ журналовъ, такъ и книгъ наиболѣе замѣчательныхъ. Это былъ результатъ ея знакомства съ Сперанскимъ, у котораго она встрѣчала представителей тогдашняго умственного движенія. Отъ себя лично Сперанскій подарилъ ей книгу Пнина, автора, мало тогда извѣстнаго въ Россіи, но о которомъ Сперанскій выразился, что „Пнинъ останется учителемъ для русскій и черезъ сто лѣтъ, тогда какъ на Карамзина русскіе будутъ взирать какъ на школьника.“ И когда дѣвушка въ недоумѣніи спросила—„почему же это такъ должно быть,“—Сперанскій отвѣчалъ, подавая ей книгу: „Прочтите, мой другъ, эту книгу и тогда поймите меня.“—Книга эта была—„Опытъ о просвѣщеніи относительно къ Россіи,“ изданная въ 1804 году... Чтеніе, которому послѣ того дѣвушка отдалась со всею страстью, открыло для нея новый міръ и новыхъ боговъ, и нѣкоторые изъ старыхъ ея кумировъ были разбиты...

Послышался стукъ колесъ, и во дворъ вѣхалъ самъ хозяинъ на бѣговыхъ дрожжахъ. Онъ былъ въ бѣломъ парусинномъ пальто и такой-же фуражкѣ съ большимъ козырькомъ. Кульневъ былъ бодрый, не высокаго роста, хорошо выкормившійся старикъ, съ двойнымъ подбородкомъ, съ коротенькими руками и ногами.

— Вотъ и папочка пріѣхалъ,—сказала хозяйка:—значить, и за столъ сейчасъ.

Барышни между тѣмъ ушли къ себѣ „оправиться“: нельзя же, гости пріѣхали, молодые люди. Талантовъ съ корзинкой также скрылся: ему также слѣдовало „оправиться“, взглянуть въ зеркало на свои буки и коки, поправить на шеѣ голубой галстучекъ, принять передъ зеркаломъ мечтательное, à la „Бѣдная Лиза“, выраженіе.

— Ба-ба-ба! вотъ удружили—спасибо, спасибо, господа!—радостно и искренно привѣтливо говорилъ Кульневъ, входя въ домъ и здороваясь съ гостями.—Что новенькаго?—какъ наши воюють?

— Не наши, Григорій Петровичъ, а ваши... Кульневы,—перебилъ его Бурцевъ.

— Да, братецъ-то мой двоюродный... Молодецъ, молодецъ! не ожидалъ я отъ него такой прыти.

— Какъ не ожидали?

— Да маленькимъ онъ былъ трусъ естественный, а вонъ теперь поди—на!

— Дни и ночи на бивакахъ всегда—и ѣсть, и спать съ солдатами,—подтверждалъ Бурцевъ.

— Что и говорить!—Правая рука у Каменского.

— И оба его глаза, Григорій Петровичъ,—добавила скромно Дурова:— Я видѣлъ его въ полѣ.

— Да, да, героемъ сталъ, что и говорить! А что вы, господа, о бѣсѣ-то полуденномъ думаете?

— О Наполеонѣ?

— Да...

Ужъ мы просо сѣяли—сѣяли,
А онъ просо вытопчетъ—вытопчетъ,—

запѣлъ вдругъ старикъ какъ-то особенно комично.

— Заварить онъ кашу изъ нашего проса, да кто-то ее расхлебаеть,— пояснилъ онъ.

— Да самъ-же и расхлебаеть, только не солоно,—пояснилъ съ своей стороны Бурцевъ.

Вышли и барышни—такія свѣженькія, розовенькія, словно изъ яйца выдупившіяся. Кажется, все на нихъ осталось прежнее, и платья, и платочки, и бантики, а между тѣмъ то, да не то: тутъ приподнято, тамъ опущено, здѣсь передернуто, еще гдѣ-нибудь выпущено, подправлено, заправлено, оправлено—и видъ уже не тотъ—изданіе исправленное и пополненное. У Бурцева и глаза разгорѣлись на эти исправленные изданія.

— Ну, что, козочки, набрали грибовъ?—спросилъ отецъ, подходя къ старшей.

— Набрали, папа,—все рыжики больше.

— И то хорошо, моя Услава...

— То-то, Услава, папа—все грибы да грибы, а амазонки мнѣ и не купишь.

— Куплю, куплю... А тебѣ, царевна Неулыба, чего купить?—обратился онъ къ младшей.

— Мнѣ, папа, ничего не надо.

— Ну, такъ ты, значить, дурочка, царевна Неулыба. Какъ-таки ничего не хотѣть! А куколку?

— Ну, ужъ, папа! ты всегда...

— Надя, папа, въ ученыя записалась,—объяснила старшая сестра.— Помѣшалась на какомъ-то сочинителѣ—и фамилія-то смѣшная—Пнинъ, а она говоритъ, что онъ лучше Державина и Карамзина...

Дурова взглянула на младшую Кульневу. Та, чтобы скрыть свое смущеніе, нагнулась къ цвѣтамъ, стоявшимъ у открытаго окна.

— Что-жъ, Вѣра Григорьевна, я самъ того-же мнѣнія, какъ и Надежда Григорьевна,—тоже нѣсколько смущенно заговорила Дурова.— Да это и не мое только мнѣніе—это мнѣніе Сперанскаго, съ которымъ я имѣлъ честь познакомиться... Вы помните, конечно, оду „Богъ“ Державина?

— Помню, потому что ее постоянно твердитъ господинъ Талантовъ,—отвѣчала барышня.

— Помните то мѣсто, гдѣ онъ говоритъ: „я червь, я рабъ“...

— Еще-бы!—это и Митя постоянно твердить.

— Такъ Пиниъ въ одѣ „Человѣкъ“ вотъ что говоритъ объ этомъ „червѣ“:

Какой умъ слабый, униженный,
Тебѣ дать имя червѣ смѣль?
То рабъ несчастный, заключенный,
Который чувствій не имѣлъ:
Въ оковахъ тяжкихъ пресмыкаясь
И съ червемъ подлинно равняясь,
Давимый сильнаго рукой,
Сначала въ горести признался.
Что чѣловѣкъ—лишь червь земной,—
Потомъ въ сихъ мысляхъ вѣкъ остался.

Дурова декламировала это съ увлеченіемъ. Голосъ ея звучалъ силой, убежденіемъ.

— Вотъ такъ и Надя теперь постоянно храбрится,—засмѣялась старшая сестра.

— Что-жъ, развѣ это не возвышенно? развѣ Пиниъ не правъ? и развѣ онъ не сильнѣе Державина?—продолжала Дурова.

— Ну, пошелъ, теперь его не остановишь, — комически говорилъ Вурцевъ, обращаясь то къ тому, то къ другому. — Вотъ Господь насылаетъ на меня друзей, которые всѣ помѣшаны на стихахъ: тамъ Денисъ Давыдовъ вездѣ суетъ стихи, словно соль во щи, а тутъ и Александрюша—словно бѣсноватый съ своимъ Пиниомъ.

Но въ это время явился лакей и доложилъ, что кушать готово. Въ столовой ожидали уже господъ лакеи и казачки—дворовые мальчики, одѣтые въ нанковые казакинчики, которые назначались для мелкихъ, совершенно ненужныхъ услугъ, какъ-то: стоять у дверей и лѣниво хлопать глазами, отгоняя отъ господъ мухъ, чесать у барина спину, такъ какъ при короткихъ рукахъ и тучности своей онъ самъ не могъ этого дѣлать, да и не хотѣлъ—для этого-де Богъ холуевъ создалъ. Лакеи были въ бѣлыхъ сомнительной чистоты перчаткахъ, и одинъ, за неимѣніемъ перчатокъ, который находились въ стиркѣ, стянулъ гдѣ-то сунувшіеся на веревкѣ барышники чулочки и напялил ихъ себѣ на руки: издали все равно не видать, было-бы бѣло.

Когда всѣ усадились за столъ, хозяйнѣ, сидя на почетномъ мѣстѣ и что-то вспоминая, обратился къ младшей дочери:

— Да ты что, царевна Неулыба? а?

— Что, папа? я не знаю.

— Какъ не знаешь! Пинина какого-то наизусть выучила, а обязанности свои забыла.

— Какія обязанности, папа?—улыбалась она, видя, что отецъ шутить.

— А возложу на тя убрусъ бѣлъ.

— Ахъ, виновата, папа,—забыла.

Она вскочила, подошла къ отцу, взяла съ его прибора салфетку и

обвязала ее вокруг шеи отца. Подвязывать отцу во время стола салфетку на грудь—это была ее обязанность. Исполнив эту церемонию, она нагнулась и получила от родителя поцѣлуй въ лобъ и ласковый щипокъ за розовую щеку.

— То-то Пинъ, червь ты этакій,—съострилъ отецъ.

Къ столу явился и господинъ Талантовъ съ Митей. Талантовъ казался задумчивымъ и глубокомысленнымъ, а Митя за супомъ порывался фыркнуть и смотрѣлъ на мать превеселыми и плутоватыми сѣрыми глазами, какъ-бы желая сказать что-то очень забавное и интересное.

— Ты что, Митя, не кушаешь супъ?—спросила его мать.

— Такъ, мама,—загадочно отвѣчалъ мальчикъ.

— Почему-же такъ? Дѣти всегда должны супъ кушать... А ты, вѣрно, успѣлъ у няни побывать—не голоденъ.

— Нѣтъ, мама, я голоденъ,—еще загадочно отвѣчалъ мальчикъ.

— Ну, такъ что-жъ не кушаешь?

— Я послѣ скажу.

Всѣхъ насмѣшилъ этотъ лаконическій отвѣтъ. Даже царевна Неулыба засмѣялась.

— О! онъ у меня продувной мальчишка —вѣрно въ дядю пойдетъ,—замѣтилъ отецъ.

Талантовъ изрѣдка бросалъ ядовитые взгляды на младшую „богиню“, а Бурцевъ больше налегалъ на горячіе, поджаренные пирожки, чѣмъ на любезничанье съ своей „богиней“, которая тоже кушала съ аппетитомъ. Одна Неулыба казалась не въ своей тарелкѣ, но эта позиція въ чужой тарелкѣ, повидимому, никѣмъ не была замѣчена кромѣ господина Талантова, который чувствовалъ, что и у него тарелка какъ-бы чужая.

— Все утро я рыскалъ по работамъ, по полямъ своимъ,—говорилъ между тѣмъ Кульневъ.—Ужъ и бестіи-же эти мужики! Какъ Богъ ихъ сотворилъ хамами, такъ хамами и остались!.. Самъ издали вижу, что н-работаютъ, проклажаются, а какъ замѣтить только моего гнѣдка да бѣгое выя дрожки, такъ словно прилипнуть къ работѣ... Ну, и по-стегаешь.

Супъ между тѣмъ убрали. Перемѣнили тарелки. Митя смотрѣлъ еще веселѣе—такъ и сиялъ.

— Ну, продувной мальчишка, говори, почему не ѣлъ супу?—спросилъ отецъ.

— Какъ-же, папа,—мама боится таракановъ, а въ супѣ былъ тараканъ... Если-бъ я раньше сказалъ, такъ мама испугалась-бы и не кушала,—торжественно отвѣчалъ находчивый молодой человекъ.

Но эффектъ, который послѣдовалъ за его отвѣтомъ, былъ не тотъ, какого онъ ожидалъ. Лица у всѣхъ вытянулись. Хозяйка и дочери вспыхнули. Самъ хозяинъ побагровѣлъ.

— Какъ! тараканъ въ супѣ!—закричалъ онъ, задыхаясь отъ гнѣва.—Позвать сюда каналья повара!.. Я его!..

Лакеи и казачки стремглавъ бросились исполнять приказаніе барина. звенѣли тарелки.

— Стой, скоты!—кричитъ разсвирѣпѣвшій господинъ.—Пускай идетъ да съ кострюлькой и съ горячимъ супомъ... чтобъ кипѣлъ супъ... Я у этого супъ, канальѣ, на голову вылью... ошпарю... задеру.

Лакеи, дрожа отъ страху, снова бросились. Всѣ онѣмѣли—не знали, о начать, что сказать... Всѣ знали крутой нравъ обезумѣвшаго барина ждали страшной развязки.

— А! осрамилъ при гостяхъ!.. Это по злобѣ... на волю захотѣли! хамы, я васъ!—бѣсновался человѣкъ, котораго исторія уполномочила евращаться иногда въ звѣря.

— Ой, батюшки! Господи! ой, смерть моя! — слышались вопли на орѣ.

Топотъ множества ногъ, бабій вой на дворѣ. Творится что-то возмутельное...

Лакеи, блѣдные, дрожащіе, вводятъ подъ руки полумертваго отъ раху старика. Онъ уже самъ не можетъ стоять на ногахъ—онѣ дрожатъ; руки дрожатъ, голова ходенемъ ходить, сѣдые волосы прилипли къ скамъ—ихъ прилѣпилъ холодный, какъ у мертвеца, потъ несчастнаго. Одинъ изъ лакеевъ держитъ кипящую кострюлю... Всѣ блѣдны—и лакеи, казачки, и господа.

— Га!—снова задыхается баринъ.—Ты такъ и ядомъ окормишь насъ! дьявольское сѣмя!

Старикъ вырвался изъ рукъ лакеевъ и грохнулся объ полъ... Стукнула дая голова, да такъ глухо, страшно, словно раскололась.

— Лей на него кипятокъ!—хрипитъ баринъ.

— Охъ!—вырывается крикъ изъ груди младшей дочери.

— Лей! а то и тебя запорю!

Лакей поднималъ кипящую кострюлю. Кто-то еще вскрикнулъ... вско-ли... что-то грянуло...

Митя припалъ къ повару и обхватилъ его сѣдую голову руками. Руки лея, поднявшаго вверхъ кострюлю, остановились въ воздухѣ. Все за-рло—но тотчасъ-же все измѣнилось.

Чистое сердце ребенка спасло отца отъ звѣрскаго преступленія. Митя, вольный виновникъ этой ужасной сцены, очень любилъ стараго повара харинку. Старикъ рассказывалъ барченку сказки и всякія страшныя торіи, отыскивалъ ему въ саду гнѣзда малиновокъ, яички ящерятъ, вилъ ему зайчатъ и всякихъ рѣдкихъ насѣкомыхъ, а вчера еще пой-малъ ему двухъ ежатъ, маленькихъ, бѣленькихъ, кругленькихъ, которые не колятся и пьютъ молоко съ блюдечка.

Митя бросился къ повару и громко заплакалъ. Барышни тоже ухва-лись за отца и плакали, прося за повара, гости просили также усердно, обенно Дурова.

— Эка бѣда!—смѣясь говорилъ Бурцевъ.—Мало мы ихъ, этихъ тара-

кушечъ, переѣли въ походѣ! Все же вкуснѣе щи съ таракшей, чѣмъ солдатскій сухарь съ хрустомъ.

— Да и гдѣ онъ взялся, этотъ тараканъ, въ поварской?—говорила едва пришедшая въ себя отъ испуга хозяйка.—Тамъ нѣтъ ни одного таракана—я знаю.

— Это я, мама,—всклипывалъ Митя.

— Что ты?

— Я принесъ туда таракановъ...

— Ты! зачѣмъ?

— Цѣлый тазъ принесъ...

— Для чего? откуда?—спрашивали всѣ въ недоумѣніи.

А голова повара все еще тряслась на полу. Лакей все еще держалъ кострюлю въ рукахъ.

— Зачѣмъ?—спрашивалъ отецъ.

— У него, папа, у Захарыча, скворецъ тамъ... онъ выучилъ его говорить... Онъ все говоритъ, папа—и „здравствуй, баринъ“ говоритъ, и „французъ собака“, и „Господи, помилуй“... А мы съ Иринархъ Иванычемъ научили скворушку пѣть „На божественной стражѣ“.

Всѣ расхохотались, а господинъ Талантовъ покраснѣлъ какъ ракъ. Даже у самого Кульнева сразу прошелъ гнѣвъ и онъ помирать со смѣху...

— Ну, ну... такъ какъ же? гдѣ-жъ тараканы?

— А онъ любитъ таракановъ...

— Ну... и что жъ?

— А я взялъ да у птичницы у Акулины въ избѣ и наловилъ ихъ цѣлый тазъ.

— Ну? (старикъ становилось совсѣмъ весело).

— А тазъ смазалъ масломъ...

— Ну, такъ поваръ не виновать... Вставай-же—счастливъ твой богъ,—сказалъ баринъ милостиво.

Поваръ поднялся и снова повалился на полъ, желая поймать ноги своего повелителя.

— Ну, будетъ, будетъ... ступай.

Старый холопъ ерзалъ по полу и цѣловалъ ноги барченка, барыни.

— Ну, ступай, ступай... мы проголодались.

Обѣдъ прошелъ весело—веселѣе, чѣмъ кто-либо ожидалъ.

— Ну господа, теперь и на боковую, часочка два соснемъ,—сказалъ хозяинъ, когда всѣ встали изъ-за стола; а потомъ, обращаясь къ одному изъ лакеевъ, отдалъ слѣдующій приказъ:—ты, Епипка, вели ключницѣ приготовить господамъ офицерамъ флигель, да чтобъ казачки выгнали оттуда всѣхъ мухъ до единой—слышишь!—до единой, а то если приду и найду хоть одну муху — запорю, шкуру всю спущу, такъ и знай... Да скажи ключницѣ, чтобы поставила господамъ для питья квасу холоднаго да меду, да чтобъ прямо со льду, чтобъ холодный былъ, такой, чтобъ въ кишкахъ

леденѣло, иней-бы по животу сталь, чтобъ хоть на салазкахъ въ кишкахъ катаясь—такой холодный—слышишь! а то засѣку до смерти, съ конини не сойдешь... Да чтобъ казачки все время надъ господами сиреными вѣтками махали, мухъ-бы отгоняли,—чтобы ни-ни, ни Боже мой, ни одной бы мухи... закатаю! слышишь!

Лакей хотѣлъ уйтн.

Стой!—кричитъ баринъ.—А я, господа, люблю подъ дождичекъ спать, чтобы этакъ на дворѣ у-у-у-у! шлепъ, шлепъ, шлепъ... такъ-то любезно спится подъ ливень,—а нынче, какъ на зло, солнце такъ и печетъ; ну, такъ я себѣ искусственный дождикъ дѣлаю — у меня на это дѣвки да парни... Какъ жаркій день, такъ у меня и дождь... Такъ слушай, Емилка, скажи старостѣ, чтобъ нарядилъ сейчасъ десять дѣвокъ и десять парней на дождикъ, да чтобъ живо... Ступай!

— Какъ-же это вы дождь дѣвками дѣлаете?—спросилъ Бурцевъ, лѣниво улыбаясь.

А вотъ какъ! Наряжаетъ староста десять парней съ ковшами да десять дѣвокъ съ ведрами; парни это взлѣзаютъ на крышу, да тамъ и становятся по коньку въ рядъ, парень къ парню, съ ковшами; а дѣвки таскаются изъ рѣчки воду да и подаютъ ее на крышу; для подачи наряжается два „подателя“, которые стоятъ на лѣстницахъ, приставленныхъ къ крышѣ, и передаютъ ведра „ливнямъ“—такъ парни на крышахъ называются... Ну, парни, принявъ ведра, ковшами и льютъ воду на крышу, да только въ ту сторону, гдѣ моя спальная... Ну, вода-то и шумитъ по крышѣ—у-у-у-у—точно ливень... А мнѣ такъ-то сладко спится... Прощайте, господа, пойду раздѣнусь...

„Ну, барщина!—подумалъ Бурцевъ: такой я еще и не видывалъ“.

И наши друзья, отдыхая въ прохладномъ флигелѣ и попивая холодный квасъ да медъ, все время слышали—не то чтобы ливень, а какое-то шлепанье и журчанье воды по сосѣдству.

Когда они вышли, то увидѣли, что Митя и барышни все уже приготавливали для экспедиціи по грибы: къ двумъ прежнимъ корзинкамъ прибавилась еще третья.

Сборы были коротки.— и экспедиція двинулась въ путь. Впереди съ корзинками въ рукахъ шли Митя и господинъ Талантовъ. Послѣдній, подъ вліяніемъ прочитанной имъ въ слащаво-сентиментальномъ карамзинскомъ вкусѣ повѣсти „Кедадонъ и Амелія“, страсть которыхъ была дружба, основанное на добродѣтели и невинности, вообразивъ себя „Кедадономъ“, а младшую Кульневу—„Амелією“, теперь, послѣ скандала со скворцомъ, чувствовалъ, что онъ окончательно упалъ во мнѣніи своей „Амеліи“ и находился въ самомъ мрачномъ настроеніи духа. Со времени скандала онъ ни разу не смѣлъ поднять на нее своихъ огорченныхъ взоровъ.

Бурцевъ шелъ съ старшею богинею, Дурова — съ младшей. Первая пара весело болтала; у второй же разговоръ совершенно не вязался.

Наконецъ они и въ лѣсу... Пары разбрелись по разнымъ направле-

нимъ... Дурова и Надя Кульнева остались вдвоемъ; долѣе молчать нельзя—тяжело, невыносимо... А тутъ какъ на зло—ни одного триба!

Лѣсъ становится все гуще и гуще... Одиночество абсолютное...

— Вы довольны книгами, которыя я вамъ привезъ въ послѣдній разъ?—рѣшается наконецъ Дурова; но голосъ ея какой-то странный, точно чужой...

— Да... я такъ благодарна вамъ... Съ этими книгами я точно сама переродилась...

— Я понимаю васъ—тоже было и со мной, особенно послѣ знакомства съ Сперанскимъ и нѣсколькихъ бесѣдъ съ нимъ... Что за возвышенная душа! Какъ-бы я хотѣлъ всегда оставаться въ Петербургѣ!

— А ваша служба?—робко спросила дѣвушка, нагибаясь къ землѣ, чтобы скрыть наворачившіяся на глаза слезы.

— Служба!—Богъ съ ней... Я избралъ эту жизнь какъ крайность.

— И вы-бъ бросили полкъ?—еще робче и тише спрашиваютъ.

— Да... Есть призваніе благороднѣе войны.

— А товарищи? друзья?

Въ этомъ вопросѣ слышатся уже слезы... Горло они заливаютъ и сдавливаютъ... вотъ-вотъ брызнуть... Дурова слышитъ это, чувствуетъ... Ей становится невыносимо жаль бѣдной дѣвочки...

— Друзья... да...

— А знакомые?... а мы?...

Это мука! это пытка съ обѣихъ сторонъ... Дурова не выдерживаетъ...

— Надежда Григорьевна... умоляю васъ... выслушайте меня,—говорить она, взявъ руку своей спутницы.

Дѣвушка вся задрожала отъ этихъ словъ...

— Я—низкое, недостойное созданіе!—страстно заговорила Дурова.—Простите меня...

— За что?—съ страстнымъ же, стыдливомъ восторгомъ воскликнула дѣвушка:—я люблю васъ—развѣ вы не видите?

— О! я низкое существо! я не долженъ этого слушать...

— Нѣтъ! нѣтъ!—повторила обезумѣвшая барышня:—я люблю васъ, я давно люблю васъ... вотъ я вся ваша!

И она, широко раскрывъ руки, обвила ими вокругъ шеи мнимаго мужчины... „Я люблю... я умру безъ васъ... я твоя...“ шептала она то, что обыкновенно шепчутъ безумные люди.

— Надя! Надечка! другъ мой! дѣвочка бѣдная, опомнись!—заговорила Дурова какимъ-то страннымъ голосомъ...—Я не мужчина... Я такая же Надя, какъ и ты... Развѣ твоя грудь не чувствуетъ этого?

И дѣйствительно, женская грудь ощутила, какъ-то инстинктивно ощутила не мужскую грудь...

Какъ ужаленная, съ безумными глазами, въ которыхъ горѣлъ стыдъ, отвращеніе, ненависть, отскочила обманувшаяся женщина отъ другой...

Ночью она уже металась въ бреду... Нравственное потрясеніе было

... что нервная горячка едва не свела молодую жизнь въ м...
... думали, что она простудилась въ лѣсу. Въ бреду она бормо...
... рѣчи, и можно было иногда слышать: „женская грудь...
... тоже Надя... женская грудь — лягушка, я не хочу ее... не
... надо... уведите ее — она всѣхъ обманываетъ... она жаба... я
... фу, какую гадость...“

XII.

Послѣ свиданія императора Александра Павловича съ Наполеономъ въ Эрфуртѣ, въ воздухѣ чувствовалось приближеніе грозы. Гроза должна быть страшная, неслыханная. Накопленное въ атмосферѣ электричество должно было разрѣшиться громами, отъ которыхъ должна была пошатнуться земля. Это чувствовалось народными нервами, было какъ невыносимый зудъ въ душѣ каждого.

„Щось велике въ лиси сдохло“ говорятъ украинцы, когда совершается что-либо необычайное, неожиданное. Отъ этого „дохлаго великаго“ запахъ носится въ воздухѣ, далеко носится—изъ лѣсу даже слышенъ... Этотъ-же запахъ носился въ воздухѣ и передъ *двѣнадцатымъ* годомъ. Что-то „великое“ не „сдохло“ еще, а должно было „сдохнуть“.

Тильзитское свиданіе происходило 13 іюня 1807 года, эрфуртское — 17 сентября 1808 г. Такъ скоро!.. Но въ этотъ короткій промежутокъ времени многое совершилось: раздавленная Наполеономъ Испанія успѣла уязвить и въ пяту и въ сердце безсердечнаго исполина, за то вся остальная Европа стонала подъ этою желѣзною пяткою; Россія громила Швецію въ Финляндіи.

Наполеонъ безумѣлъ отъ сознанія своей силы, которая бушевала въ немъ, несла его невѣдомо куда, какъ спертый въ паровозномъ котлѣ могучій паръ несетъ по рельсамъ чудовище-локомотивъ... Этой силѣ тѣсно вдвоемъ на земномъ шарѣ, надо остаться одному... Одному на земномъ шарѣ, на всемъ земномъ шарѣ, гдѣ нѣтъ равнаго тебѣ,—какая эта должна быть адская тоска!—такая тоска, все равно что одному остаться на одной песчинкѣ среди океана... на песчинкѣ Святой Елены... Нѣтъ, онъ ищетъ этого одиночества; такой страшный звѣрь долженъ жить на необитаемомъ земномъ шарѣ, какъ левъ въ пустынѣ, гдѣ нѣтъ ему равныхъ, смѣлыхъ, а есть только слабые, трепещущіе.

Съ этими цѣлями онъ задумалъ эрфуртское свиданіе — очаровать послѣдняго равнаго ему на земномъ шарѣ.

Очаровать, ослѣпить... обставить свиданіе небывалыми признаками величія, пышности, торжественности, богатства... Для карауловъ и почетной стражи въ Эрфуртѣ стянуты гвардейскіе гренадеры и лучшіе полки. Навалила орава придворныхъ, стада прислуги, съ бронзой, фарфоромъ, серебромъ, золотомъ, гобеленами и роскошной мебелью изъ Тюльери... Все лучшее и

изящнѣйшее, что въ теченіе столѣтій сработали миллионы рукъ французовъ, самое дорогое, надо чѣмъ трудился геній француза,—все это свезено въ Эрфуртъ и театръ французскій съ знаменитыми Тальмой, Жоржемъ Дюшенуа...

Двигается огромный кортежъ Александра. Въ свитѣ его—великій князь Константинъ Павловичъ, оберъ-гофмаршалъ графъ Толстой, министръ иностранныхъ дѣлъ Румянцевъ, генераль-адъютантъ князь Волконскій, Сперанскій, котораго задумчивые глаза смотрятъ грустно... Этотъ звонъ величія, звонъ золота почему-то напоминаетъ ему церковный звонъ и это тоскливое:

У Даниила у пока въ большой колоколъ звонятъ,
Въ большой колоколъ звонятъ—знать, Параню хоронятъ...

И вспоминается ему Лиза, а тамъ Дурова съ дѣтскими глазами, мертвое, въ гробу, лицо Пнина... Не червь... передъ людьми—не червь, но предъ этимъ чудовищемъ, передъ природой—червь...

А въ Эрфуртѣ уже ждутъ собранные со всей Германіи германскіе короли: король саксонскій, король баварскій, король виртембергскій, король вестфальскій и братъ прусскаго короля Вильгельмъ... Тутъ-же цѣлая толпа другихъ владѣтельныхъ князей, у которыхъ на головахъ—все-же короны.

А вотъ и онъ, маленькій человѣчекъ—величайшій межъ людьми исполнѣ зла... А за нимъ—орудія зла: Талейранъ, который и мать свою, кажется, обманывалъ въ утробѣ, и Бертье, и Шампаньи, и Маре...

Наполеонъ на конѣ. Лицо его холодно и зло, хотя желаетъ казаться любезнымъ... И онъ вспоминаетъ что-то непріятное, злое... да, злую кошку, что приходила къ нему, когда онъ босикомъ, въ одномъ бѣльѣ, скукожившись какъ ребенокъ въ утробѣ матери, сналъ въ Тильзитъ, и эта злая кошка говорила ему: „Ты что сдѣлалъ, что создалъ въ жизни? Сдѣлалъ-ли ты хоть иглу, гвоздь ничтожный? Нѣтъ, ты только все разрушаешь! Если хочешь принести пользу землѣ—умри!...“

Но вотъ они увидѣли другъ друга... Маленькій человѣчекъ первый разъ въ жизни торопится—торопится сойти съ коня, чтобъ обнять своего единственнаго на земномъ шарѣ противника... Они обнимаются...

И послѣдовали торжество за торжествомъ. Короли ждутъ рѣшенія своей участи.

Тутъ-же, въ рядахъ блестящихъ золотомъ и орденами, виднѣется и юпитеровская голова великаго германскаго поэта и философа. Это Гете. Но у него не юпитеровское выраженіе, а иное, за которое онъ получаетъ изъ рукъ Наполеона орденъ почетнаго легіона, и униженная Германія не смѣетъ отвернуть отъ негъ своего заплаканнаго лица.

А это что такое?—Театръ. Идетъ представленіе „Эдипа“. Наполеонъ и Александръ сидятъ рядомъ на возвышеніи. Пониже—короли, князья, графы.

„Дружба великаго человѣка есть благодѣяніе боговъ!“—громко декламируетъ актеръ на сценѣ.

Александръ встаетъ и обнимаетъ „великаго человѣка“... Зрители потрясены—театръ дрожить... Наполеонъ блѣднѣетъ—не то отъ счастья, не то отъ злобы...

Кажется, отъ злобы... Быть бурѣ! что-то „великое“ должно „сдохнуть“...

На эрфуртскомъ свиданіи Наполеонъ предлагалъ Александру чудовищный планъ, планъ, который могъ созрѣть только въ мозгу чудовища—разрѣзать земной шаръ, какъ апельсинъ, на двое, и одну половину этого все еще незрѣлаго апельсина взять Александру, а другую—Наполеону. Александръ ужаснулся этого плана—ужасенъ ему сталъ и самъ Наполеонъ.

Ужась этотъ былъ предвѣстникомъ грядущаго, сѣменемъ великихъ событій: изъ этого сѣмени выросъ *двадцатый годъ*...

По возвращеніи изъ Эрфурта, императоръ Александръ чаще и чаще началъ испытывать какое-то тайное, глухое недовѣріе—къ кому? къ чему? онъ самъ этого не могъ объяснить. Онъ чувствовалъ потребность совѣтоваться съ кѣмъ-нибудь, но съ кѣмъ? Каждый изъ совѣтниковъ говоритъ что-нибудь противное тому, что говорилъ его предшественникъ. Какъ тутъ разобраться? на чемъ остановиться? кто правъ? Аракчеевъ, кажется, глубоко вѣренъ, глубоко преданъ... Да, преданъ—но не своекорыстно-ли? Да и философія Аракчеева такъ суха, такъ деревянна и жестка, какъ онъ самъ... А Сперанскій? О, это большой умъ, глубокій... Но и этотъ поповичъ, какъ и Наполеонъ, изъ хищныхъ птицъ—у него полетъ орлиный... Не даромъ онъ такъ восхищенъ Наполеономъ... Но онъ нуженъ—это государственная рабочая лошадь...

КОНЕЦЪ ВТОРОЙ ЧАСТИ.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Д. Л. Мордовцева.

ДВѢНАДЦАТЫЙ ГОДЪ

ИСТОРИЧЕСКІЙ РОМАНЪ

ВЪ ТРЕХЪ ЧАСТЯХЪ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Томъ VIII.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе Н. О. Мертца
1901.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 7-го марта 1901 г.

Типографія „В. С. Балашевъ и К°“. Спб., Фонтанка, 95.

I.

Годъ, который, по счету, принятому христіанскою эрою, приходится двѣнадцатымъ въ девятнадцатомъ столѣтіи, безспорно составляетъ необычное исключеніе въ безконечномъ ряду тысячелѣтій, прожитыхъ коллективнымъ человѣкомъ, ибо съ тѣхъ поръ, какъ человѣчество начало себя помнить, не было ни одного, положительно ни одного года, который бы остался до такой степени памятнымъ и единственнымъ, чтобы люди всего земного шара, не условливаясь между собою, при одномъ упоминаніи о немъ съ эпитетомъ, или, скорѣе когноменомъ, „двѣнадцатый“, тотчасъ-же понимали бы, что рѣчь идетъ о двѣнадцатомъ годѣ не восемнадцатаго столѣтія, не пятнадцатаго и никакого другого, а именно девятнадцатаго, и мало того — съ именемъ этого года тотчасъ же въ умѣ каждаго возникаетъ цѣлый рядъ извѣстныхъ, весьма сложныхъ, весьма рельефныхъ, то яркихъ и отрадныхъ, то болѣею частію мрачныхъ и обидныхъ для человѣческаго ума, но для всѣхъ болѣе или менѣе одинаковыхъ, или же до извѣстной степени сложныхъ представленій. Такого другого года нѣтъ ни въ одномъ изъ столѣтій и тысячелѣтій ни нашей эры, христіанской, ни эры библейской, ветхозавѣтной. О какомъ бы годѣ ни зашла рѣчь — о первомъ-ли, о пятнадцатомъ, двадцатомъ и т. д., — всегда самъ собою является вопросъ: „какой годъ? какого столѣтія или какой эры?“ Но никто не подумаетъ спросить этого, услыхавъ о годѣ съ эпитетомъ „двѣнадцатый“. Всякій сразу пойметъ, о какомъ годѣ и о чемъ идетъ рѣчь, какъ всякому сразу станетъ ясно, о комъ говорить, когда скажутъ — „Цезарь“, „Горацій“, „Гуттенбергъ“, „Наполеонъ“, „Россія“, „Петербургъ“. *Двѣнадцатый годъ* — это единственный годъ въ безконечной шеренгѣ тысячелѣтій своихъ собратьевъ-годовъ, какъ Архимедъ или Ньютонъ суть единственныя личности среди миллионъ и миллиардовъ себѣ подобныхъ существъ, безслѣдно и безвучно прошедшихъ по землѣ и забытыхъ людьми, какъ забыты ими тысячи годовъ, не оставившихъ по себѣ такой громкой и горькой памяти, какую оставилъ *двѣнадцатый годъ*, ставшій собственнымъ именемъ въ исторіи. Это какой-то необычайный выродокъ, уродъ въ без-

численной семьѣ стараго Хроноса, давно потерявшаго счетъ своимъ дѣтямъ—годамъ, столѣтіямъ, тысячелѣтіямъ и т. д. до безконечности и безначальности.

Вслѣдствіе какихъ причинъ или, вѣрнѣе, вслѣдствіе какихъ несчастныхъ отклоненій въ процессѣ многотысячелѣтной жизни земного шара ветхій Хроносъ произвелъ на свѣтъ Вожій этого уroda—историки и неисторики говорятъ различно. Одни полагаютъ, что главною причиною родовъ страшнаго дѣтища девятнадцатаго вѣка былъ другой такой же выродокъ въ человѣческой семьѣ—„маленькій корсиканецъ“, который гениальнымъ безуміемъ своимъ успѣлъ довести до такого-же, только слѣпого, безумія одну половину Европы и погнать ее, какъ стадо голодныхъ шакаловъ, на другую половину—на Россію, отчего произошло страшное, небывалое столкновение западной половины нашего полушарія съ восточною. Другіе сваливаютъ вину временнаго обезумленія Европы скорѣе на Англію, чѣмъ на маленькаго корсиканца, который своею „континентальною системою“ хотя и больно наступилъ на мозоль „царицы морей“, однако „царица морей“ могла бы, говорятъ, и не поморщиться отъ этого, а она поморщилась и вовлекла Россію въ ужасную войну. Третьи находятъ, что виной столкновения западной половины Европы съ восточною были „сеledки“ и „соль“. Такъ по крайней мѣрѣ объясняетъ источникъ великой народной войны графиня Шуазель-Гуффе, которая съ свойственной ей милой наивностью говоритъ, что вслѣдствіе принятія Россіею континентальной системы, „со всѣхъ концовъ имперіи, среди дѣйствительнаго и мнимаго богатства, раздавался голосъ нищеты, такъ какъ прекратился всякій отпускъ за границу, всѣ порты были заперты, и ощущался недостатокъ въ необходимѣйшемъ народномъ для Россіи продуктѣ—въ соли“. Графиня поясняетъ, что „можно было обойтись безъ сахара, вина, но не безъ соли и сельдей, которыя (будто-бы) составляютъ ежедневную пищу въ теченіе продолжительныхъ русскихъ постовъ“; что „англійскій кабинетъ тайно работалъ надъ возбужденіемъ всеобщаго неудовольствія“ и т. д. Наконецъ, глубоко-талантливый, гениальный авторъ „Войны и Мира“ съ неотразимой логикой и чарующей убѣдительностью доказываетъ, что маленький корсиканецъ столько же повиненъ въ томъ, что въ „двѣнадцатомъ году“ случилось именно то, что случилось, какъ маленький воробей повиненъ въ томъ, что земля вертится около своей оси, а Нева течетъ отъ Охты къ Пряжкѣ, а не отъ Пряжки къ Охтѣ.

Какъ бы то ни было, но случилось то, что, сообразно ходу всѣхъ дѣлъ человѣческихъ, предшествовавшихъ „двѣнадцатому году“, *должно было* случиться неизбежно.

„Россія увлечена рокомъ. Идемъ впередъ, перейдемъ Нѣманъ и внесемъ войну въ самыя владѣнія противника“.

Таковы были слова приказа, которымъ Наполеонъ повелѣвалъ своимъ войскамъ вступить въ русскіе предѣлы.

„Россія увлечена рокомъ“. Наполеонъ былъ правъ, говоря эти слова.

Но онъ не подозрѣвалъ, что этотъ рокъ увлекалъ его самого съ большею страстностью, чѣмъ то можно было сказать о Россіи.

Въ то самое время, когда Наполеономъ отданъ былъ войскамъ этотъ роковой приказъ, изъ Петербурга, ночью съ 17 на 18 марта, въ московскую заставу выѣзжала почтовая тройка. Небольшой возокъ на зимнихъ полозьяхъ съ отводами и съ кожаными, еще не заиндевѣвшимъ отъ мороза кузовомъ былъ задернутъ до половины такимъ же кожаными съ ремнями фартукомъ. У опущеннаго плахбаума возокъ долженъ былъ остановиться, потому что полицейскій порядокъ требовалъ прописки проѣзжающихъ. Къ возку, закутанный въ овчинный тулупъ и шаркая по землѣ масленными кенъгами, подошелъ часовой.

— Кто ѣдетъ?—сдѣлалъ онъ свой обычный окликъ, и, увидавъ изъ-за отдернувшагося фартука голову съ признаками офицерскаго званія, приподнесъ варежку къ лицу, показывая тѣмъ, что онъ дѣлаетъ честь проѣзжающимъ офицерамъ.

— Надворный совѣтникъ Шипулинскій,—отвѣчалъ одинъ изъ проѣзжающихъ, которыхъ въ возкѣ было двое.

Въ это время изъ караулки, въ которой свѣтился огонекъ, вышелъ кто-то съ фонаремъ и подошелъ къ возку. Свѣтъ изъ фонаря упалъ на лица проѣзжающихъ, которые невольно стали моргать и щуриться. Когда заставный смотритель—это онъ вышелъ съ фонаремъ—увидалъ освѣщенное лицо одного изъ проѣзжающихъ, того, который сидѣлъ глубже, спрятавъ въ мѣховой воротникъ до половины свои худыя, мертвенно-блѣдныя щеки, то невольно отшатнулся назадъ и едва не уронилъ фонарь. Ему показалось, что онъ гдѣ-то видѣлъ это блѣдное лицо съ ласковыми, какъ будто прозрачными глазами, и видѣлъ не въ такой простой обстановкѣ. Ему стало какъ-то боязно, неловко.

— Позвольте подорожную,—робко заговорилъ онъ, опуская фонарь и невольно прикладывая руку къ козырьку.

Тотъ, кто называлъ себя надворнымъ совѣтникомъ Шипулинскимъ, быстро досталъ изъ висѣвшей у него черезъ плечо сумки бумагу, развернулъ ее и, поднеся къ свѣту фонаря, молча ткнулъ пальцемъ на верхній правый уголъ бумаги.

— Видите,—лаконически пояснилъ онъ.

— По высочай...—началъ было смотритель и еще болѣе оробѣлъ. — Слушаю-съ,—заторопился онъ, отступая отъ возка.—Подвысь! подвысь!

Зазвенѣла плахбаумная цѣпь, взвизгнувъ, повертываясь на петляхъ и поднимаясь однимъ концомъ, длинный, окрашенный 'бѣлыми, черными и красными полосами заставный брусъ и остановился въ воздухѣ въ видѣ огромнаго указательнаго пальца, обращеннаго къ небу. Ямщикъ, который тѣмъ временемъ успѣлъ отвязать колокольчикъ, похлопывая рукавицами и позѣвывая, взлѣзъ на козлы, перекрестился, тряхнулъ вожжами и проговорилъ свое обычное: „но! съ Богомъ!“ Возокъ тронулся.

„А вѣдь это самъ Сперанскій... онъ, ей-Богу, онъ“,—бормоталъ смо-

тритель, съ изумленіемъ глядя на удаляющійся возокъ, котораго темный кузовъ казался издали двигающеюся копною. „Я его тотчасъ узналъ... Да и какъ его не узнать! кто разъ его видѣлъ, тотъ никогда не забудетъ... Въ послѣдній разъ я его видѣлъ, какъ онъ проѣзжалъ здѣсь въ монастырь въ одной коляскѣ съ государемъ... Вотъ судьба-то человѣку—поповичъ, а куда залетѣлъ!.. А я еще помню, какъ онъ въ Невскомъ, въ стихарѣ, проповѣдь говорилъ... Ужъ и проповѣдь-же на диво!.. Куда-жъ это онъ? — По важному секрету, должно быть... И на подорожной—„по высочайшему повелѣнію“. Развѣ къ этому корсиканцу, къ Бонапарту, зачѣмъ посылаютъ? Да поди больше не къ кому... Эка штучка тоже, подумаешь,—почище Сперанскаго будетъ...“

Смотритель поглядѣлъ-поглядѣлъ вдоль разстилавшейся передъ нимъ за заставой московской дороги, прислушался къ звяканью колокольчика, который, казалось, что-то иное вызванивалъ въ ночномъ морозномъ воздухѣ, чѣмъ вызваниваютъ обыкновенные колокольчики проѣзжающихъ, поглядѣлъ на звѣздное небо, сообразилъ, по положенію нѣкоторыхъ знакомыхъ ему звѣздъ—Оріона съ Сиріусомъ, которыхъ онъ почему-то называлъ „заставнымъ смотрителемъ съ фонаремъ“,—что недалеко уже утро, зѣвнулъ, перекрестилъ ротъ и тихо побрелъ въ свой караульный домикъ.

Смотритель не ошибся. Тайнственный возокъ дѣйствительно увозилъ Сперанскаго изъ Петербурга, на житье въ Нижній.

Что случилось—Сперанскій самъ не могъ понять; но случилось что-то очень важное для него. Одно онъ понималъ, что это дѣло его враговъ, результатъ ихъ давнишней зависти къ нему, къ поповичу. Много лѣтъ они копались подъ него, и чѣмъ онъ поднимался выше, чѣмъ большую область захватывали его законодательныя работы, тѣмъ болѣе увеличивались ряды „землекоповъ“, какъ онъ называлъ своихъ недоброжелателей, копавшихъ ему яму. Теперь оказалось, что яма выкопана и онъ столкнутъ въ эту яму. Но чья рука толкнула — онъ могъ только догадываться, и догадывался вѣрно: это былъ Балашовъ... Роковой вечеръ прошелъ для него какъ-то смутно, точно на всемъ лежалъ туманъ. Кипы бумагъ, записокъ, проектовъ, докладовъ, лежавшія на столѣ, на этажеркахъ, на конторкѣ, казались какими-то мертвыми тѣлами, изъ которыхъ только-что вылетѣла душа... „Все я это долженъ забыть... а забыть не могу...“ Только личико Лизы, которая особенно ласкалась къ нему въ этотъ вечеръ, какимъ-то отраднымъ, живительнымъ огонькомъ свѣтилось среди этихъ разбросанныхъ мертвецовъ... „Завтра, папа, я тебѣ новые стихи прочту, которыхъ и Саша Пушкинъ не знаетъ“, тайнственно болтала дѣвочка; но взглянувъ ему въ глаза, которые, казалось, высматривали что-то тамъ, внутри гдѣ-то, она серьезно прибавила: „ты, вѣрно, опять какой-нибудь важный проектъ сочиняешь...“ Проектъ... въ головѣ у него проектъ новой жизни, темной, невѣдомой. Что-же будетъ съ нимъ? Кому достанутся эти груды бумагъ, которыя всѣ какъ-бы искраплены кровью его сердца, его заветными думами—тамъ приписка, тамъ пометка карандашомъ, нотатки, вопро-ситель-

ные крючки!.. Кто прочтетъ въ нихъ его мысль, его душу? Балашовъ? Магницкій? А кто прочтетъ мысль на мертвомъ, строгомъ лицѣ покойника?.. Только теперь онъ понялъ, что въ этихъ работахъ, въ этихъ кипахъ бумагъ—его жизнь, его любовь, и другой жизни у него нѣтъ.

Когда тройка проѣзжала по Петербургу, на улицахъ было уже мало движенія, потому что время перешло далеко за полночь. Городъ разомъ показался ему чужимъ, почти незнакомымъ: сидя въ глубинѣ возка, Сперанскій испытывалъ такое чувство, какъ будто его везутъ въ бурсу послѣ каникулъ, а позади—мертвая Параня на столѣ, и у Данилы у попа опять въ большой колоколъ звонятъ...

Если что казалось Сперанскому несомнѣннымъ, такъ это то, что имя его враги связали какимъ-то непонятнымъ образомъ съ именемъ Наполеона. Но какъ? Конечно, только посредствомъ намековъ, сопоставленій и произвольныхъ выводовъ изъ нихъ; но что связь эту устроили—это несомнѣнно... Странно все это ему кажется: и бурса, и Параня, и босой семинаристъ — и рядомъ съ этимъ семинаристомъ Наполеонъ, величайшій геній войны... Непостижимо! а между тѣмъ, все это такъ просто: и самое великое на землѣ, и самое малое, ничтожное уравниваются до ничтожества передъ тѣмъ-то величайшимъ и непостижимымъ, которое разбросало въ пространствѣ, въ безпредѣльной дали, эти міры, эти свѣтящіяся пылинки, которые передъ нимъ, этимъ непостижимымъ, такъ-же ничтожны, какъ Миша Сперанскій, владимірскій бурсакъ, и Наполеонъ, какъ жалкое звяканье этого почтового колокольчика и удары грома, потрясающаго землю, эту жалкую, холодную пылинку. А на этой пылинкѣ такъ много жизни и счастья! А развѣ въ каплѣ воды не такъ-же много жизни и такихъ-же живыхъ, счастливыхъ существъ, какъ и на всей землѣ? Да, все это—и величіе, и ничтожество—все это такъ только кажется, все это относительно—и все ничтожно! Нѣтъ, все велико и непостижимо! оспариваетъ упрямая мысль.

Но особенно саднящая боль ощутилась въ сердцѣ, когда, уже за заставой, Сперанскій не видѣлъ впереди себя ничего, кромѣ теряющейся въ темной дали дороги, кое-гдѣ мелькающихъ дорожныхъ столбовъ и этого непостижимаго неба, смотрѣвшаго, казалось, на землю тысячами такихъ же непостижимыхъ глазъ. Все это—что-то далекое, таинственное, невѣдомое, какъ та жизнь, на порогъ которой теперь толкнула его какая-то, опять-таки невѣдомая, сила. А позади—все такое милое, свѣтлое, дорогое: и кабинетъ, въ которомъ такъ много думалось, и Лизино личико, и даже этотъ ея пальчикъ въ чернилахъ, который онъ сейчасъ только видѣлъ, вотъ-вотъ не далѣе, кажется, нѣсколькихъ мгновеній этого безконечнаго, страннаго, таинственнаго времени,—а теперь ничего этого уже нѣтъ и нѣтъ! Только эта сутуловатая спина ямщика, подергивающаго возжамп, да звяканье колокольчика, надрывающее душу. Какъ легко, казалось ему теперь, было подниматься отъ деревянной, некрашенной, изъерзанной скамейки въ бурсѣ до кресла государственнаго секретаря, и какъ тяжело было теперь спус-

каться оттуда въ этомъ темномъ возкѣ, подъ однообразное завыванье колокольчика! Или то все было во снѣ?—И бурса, и семинарія, и Параня, и лавра,—все это сонъ? А эта странная дѣвушка въ уланскомъ мундирѣ и съ робкими, дѣтски моргающими глазами? Гдѣ она? что съ ней? нащелъ ли ее отецъ?

Нѣтъ—напрасно онъ искалъ ее. Въ дѣвущкѣ жила еще та молодая энергія и та жажда сильныхъ ощущеній, которыя постоянно толкаютъ впередъ, показываютъ тамъ впереди что-то невиданное, обаятельное. Уже шестой годъ Дурова находилась въ войскѣ, которое послѣ тильзитскаго мира оставалось у нашихъ западныхъ границъ, тогда какъ другая его часть совершала турецкую кампанію. Нѣкоторые изъ гусарскихъ и уланскихъ полковъ, въ томъ числѣ и Литовскій, въ который въ 1811 году перешла Дурова изъ Мариупольскаго гусарскаго полка, расположены были около Бѣлостока, Гродно и Вильно. Дурова, которая по волѣ государя носила теперь фамилію Александрова, считалась уже старымъ офицеромъ, хотя, къ соблазну товарищей и солдатъ, у этого „старика“ не было и намековъ на усы и бороду. Отсутствие растительности на лицѣ—это былъ для нея тяжкій крестъ, особенно, когда, служа въ гусарахъ, она постоянно должна была сталкиваться съ кутилой и забіякой Бурцевымъ. Бурцевъ допекалъ ее шутками, доказывая, что она родомъ изъ мѣняль, и оттого у нея не растетъ борода. „А все оттого, братуха Александровъ—пояснялъ онъ—что ты не умѣешь пить погусарски, вотъ какъ мы съ Дениской“. Дениской онъ называлъ Давыдова и былъ его закадычнымъ другомъ. Постоянно включенные волосы искрасна-рыжаго цвѣта съ торчащими изъ нихъ стеблями сѣна или перьями изъ продранной подушки, фуражка какимъ-то чудомъ держащаяся на самомъ затылкѣ, сѣрые на выкатѣ глаза съ мѣшечками подъ ними, пріятный, подѣтски очерченный ротъ, кверху вздернутый носъ, словно нюхающій, гдѣ пахнетъ ромомъ или старой водкой, красныя, трясущіяся отъ смѣха щеки, веселый, нѣсколько сиповатый голосъ — все въ Бурцевѣ дышало добротой и безпечностью. Но при всей необыкновенной добротѣ своей, при полномъ отсутствіи всякой злопамятности, при щедрости, заставлявшей его горстями бросать деньги направо и налево, когда онъ у него заводились, а „на экваторѣ“, какъ онъ выражался, при безденежѣ занимать на чай и на табакъ у своего деньщика, который его-же обиралъ безсовѣстно, когда баринъ былъ „въ знакѣ водолея“, то-есть съ деньгами, и лить вино какъ воду,—при всѣхъ своихъ добрыхъ и мягкихъ качествахъ Бурцевъ былъ необыкновенный задира и забіяка. Никто, кажется, не любилъ такъ Дурову за ея скромность и нравственную чистоту, какъ Бурцевъ; ни передъ кѣмъ онъ, даже передъ женщинами, не останавливался въ своихъ безумныхъ дурачествахъ, не всегда приличныхъ, особенно когда онъ потѣшался надъ евреями, тѣмъ-либо не угодившими ему, и только подъ ласковымъ взглядомъ Дуровой этотъ Бурцевъ краснѣлъ какъ школьникъ; но тѣмъ не менѣе за то, что она не пьянствовала въ его сообществѣ или въ кружкѣ его пріятеля Дениски, — онъ и ее за-

диралъ, главнымъ образомъ, нападеніемъ на ея безусость и безбородость. Эти задирки Бурцева, котораго Дурова въ свою очередь не могла не любить за доброту и беззапятную честность, а главное—постоянная необходимость увертываться отъ попойекъ, невозможность не быть свидѣтельницей разныхъ не совѣтъ скромныхъ походовъ разудалаго гусарскаго кружка во главѣ съ Бурцевымъ и Дениской,—были отчасти причиной, что Дурова снова надѣла на себя уланскій мундиръ, который давалъ ей возможность чаще находиться въ обществѣ болѣе скромныхъ, чѣмъ гусары, уланъ. И замѣчательно — когда Дурова перешла въ уланы, Бурцевъ такъ затосковалъ по ней, что пересталъ было даже совѣтъ пить и былъ неузнаваемъ. Онъ удалялся отъ товарищей, отъ кутежей, по цѣлымъ днямъ бродилъ по лѣсу и по полямъ съ ружьемъ, самъ съ собой разговаривалъ, похуздѣлъ страшно и совѣтъ осунулся. Гусары не узнавали его; а на вопросы ихъ — что съ нимъ подѣлалось, не болѣнь-ли онъ, о чемъ тоскуетъ — Бурцевъ только отругивался: „черти! мерзавцы! пьяницы! ангела своего пропили...“ И гусары никакъ не могли понять, какого ангела они пропили. Больше всѣхъ онъ возненавидѣлъ своего закадычнаго друга Дениску, особенно послѣ того, какъ Дениска сочинилъ и послалъ ему стихотворное приглашеніе на кутежъ, приглашеніе, которое впоследствии знала наизусть вся Россія:

Бурцевъ ера, забіяка,
Собутыльникъ дорогой,
Ради рома и арака
Посѣти домишко мой.

Бурцевъ хотѣлъ было даже перейти въ уланы, чтобъ быть поближе къ Алексашѣ, какъ многіе изъ офицеровъ называли Дурову, рѣшился наконецъ совѣтъ остепениться, но только вѣсть о томъ, что съ весной этого года опять начнется война съ Наполеономъ, остановила его отъ исполненія добраго намѣренія. На радостяхъ онъ шибко напился съ Дениской, съ которымъ окончательно помирился на четвертой бутылкѣ рому, и тутъ-же старому напроказилъ. Въ періодъ своего унынія и временной трезвости онъ замѣтилъ, что еврей-шинкаръ безсовѣстно обиралъ солдатъ какъ на водкѣ, такъ въ особенности на томъ, что давалъ имъ взаймы денегъ за огромные проценты и въ то же время заставлялъ ихъ работать на себя. Явившись вмѣстѣ съ подвыпившими офицерами въ винный складъ еврея, Бурцевъ грозился выпустить вино изъ всѣхъ его бочекъ, если еврей не покается передъ нимъ и не приметъ крещеніе. Еврей валялся въ ногахъ, каялся, просилъ прощенія, но на крещеніе ни за что не могъ рѣшиться. Тогда Бурцевъ положилъ крестить его по своему, по-гусарски — въ сорокоушѣ съ водкой. Бочку поставили стоймя, саблями выбили изъ нея верхнее днище и раздѣли еврея до-нага. Несчастный совѣтъ обезумѣлъ отъ страха и только шепталъ какія-то молитвы. Его подняли на руки и опустили въ бочку, полную до краевъ, такъ что вино полилось на землю. Бурцевъ, взявъ у одного изъ офицеровъ пистолетъ, взвелъ курокъ.

— Крестись, пся кровь! — крикнулъ онъ, наводя дуло пистолета на еврея и стараясь сдѣлать свои добрые, пьяные глаза страшными. — Крестись, а то сейчасъ—разъ... два... ну!

Еврей съ головой окунулся въ бочку, такъ что вино снова полилось черезъ край. Послѣдовалъ дружный хохотъ. Бурцевъ лукаво подмигнулъ товарищамъ.

Изъ бочки снова показалось блѣдное, искажившееся лицо еврея. Онъ тихо, жалобно визжалъ и фыркалъ. Намокшіе волосы и распустившіеся пейсы болтались по голымъ, костлявымъ плечамъ несчастнаго.

— А! ты не хочешь креститься!—съ трудомъ удерживая смѣхъ, снова закричалъ Бурцевъ.—Такъ теперь капуть... Разъ... два... н-ну!

Опять еврей юркнулъ въ бочку. Послѣдовалъ выстрѣлъ, конечно, въ воздухъ, ради вящаго испуга еврея. Но голова еврея уже не показывалась изъ-подъ водки, а только пузыри выскакивали на поверхность бочки.

— Да онъ задохнется, утонетъ, — сказалъ одинъ изъ офицеровъ и бросился къ бочкѣ.

Запустивъ руку въ сорокоушу, онъ за волосы приподнялъ голову еврея. Несчастный лишился чувствъ.

Въ этотъ моментъ въ дверяхъ склада показалась Дурова.

— Господа! что это вы дѣлаете? — съ изумленіемъ спросила она, не понимая, въ чемъ дѣло.

Увидавъ ее, Бурцевъ задрожалъ и схватилъ себя за волосы.

— Подлецъ! я подлецъ! я пулю себѣ въ лобъ!—дико закричалъ онъ и бросился изъ склада.

Дурова и нѣкоторые изъ офицеровъ бросились за нимъ, а прочіе остались приводить въ чувства еврея.

Такъ ознаменовали молодые повѣсы радостный день объявленія войны Наполеону—войны „двѣнадцатаго года“.

II.

Но не одни молодые повѣсы праздновали радостный день объявленія войны „двѣнадцатаго года“. Когда къ веснѣ главные силы арміи двинулись къ Вильнѣ и когда самъ государь прибылъ къ войскамъ, рѣшено было начало кампаніи отпраздновать грандіознымъ баломъ, которымъ должна была, такъ сказать, коллективно почтить русскаго императора вся Литва и та часть Польши, которая не была еще занята арміями Наполеона. Въ устройствѣ бала должны были принять участіе и русскіе военачальники, весь императорскій штабъ, генералъ и флигель-адъютанты, простые генералы и дипломаты. Хозяйкою и распорядительницею бала общее мнѣніе называло генеральшу Беннигенъ, которая, какъ мѣстная помѣщица, предложила для этого торжества свою роскошную виллу въ Закретѣ, недалеко отъ Вильны,

прелестное зданіе, передѣланное изъ стариннаго католическаго монастыря, съ богатыми садами, оранжереями, богатѣйшими аллеями померанцевыхъ деревьевъ, съ лужайками и гротами, бесѣдками и клумбами цвѣтовъ.

Военная молодежь и немолодежь, желавшая пустить пыль въ глаза виленскимъ и всѣмъ литовскимъ красавицамъ и потанцевать на широкую ногу, привольно, не въ душныхъ залахъ, а на воздухѣ, среди живой зелени, среди аромата цвѣтовъ и подъ громъ оркестровъ, которые бы сливались съ хорами лѣсныхъ птицъ, съ соловьиными трелями и пугающимъ уканьемъ ночной птицы, филина и пушика, подъ оркестровое кваканье лягушекъ,—потанцовать и повеселиться такъ, чтобы вся природа принимала участіе въ пирѣ воинства, идущаго на бой, чтобы гремѣла и ликовала зелень, ликовало небо,—все равно-де, можетъ быть, послѣдній разъ придется ликовать, такъ уже повеселиться на виду у Бога и голубого неба, въ виду которыхъ, быть можетъ, скоро гдѣ-нибудь, въ лѣсу или въ полѣ, придется помирать,—молодежь рѣшила устроить на красивой лужайкѣ сада танцевальный помостъ съ сквозною галлереею на колоннахъ, съ клумбами и съ цѣлою рощею апельсиновыхъ деревьевъ.

Было начало мая. Погода стояла прекрасная, южная. Померанцевыя и другія деревья были въ полномъ цвѣту, изображая изъ себя гигантскіе букеты.

Работа галлерей шла быстро, лихорадочно. Въѣдъ того и гляди, болѣе чѣмъ полумилліонная армія Наполеона перейдетъ Нѣманъ, и тогда будетъ не до танцевъ: придется затѣять другой пиръ, болѣе величественный, хотя тоже подъ открытымъ небомъ, при пѣніи птицъ, но только подъ иную оркестровую музыку.

Былъ въ Вильнѣ извѣстный архитекторъ, польскій патриотъ отъ дошвы до маковки, хотя и съ нѣмецкою фамиліею—панъ Шульцъ. Подобно всѣмъ нѣмцамъ да и вообще всѣмъ людямъ, потерявшимъ свою народность и всосавшимъ молоко и душу другой, ихъ пріютившей, панъ Шульцъ былъ больше полякъ, чѣмъ всякій другой прирожденный шляхтичъ. Онъ былъ такой-же энтузіастъ, какимъ нѣкогда, во время расчлененія Польши, былъ панъ Рейтенъ, который на послѣднемъ польскомъ сеймѣ былъ однимъ и послѣднимъ полякомъ, заявившимъ, что если всѣ поляки оставятъ сеймъ, то онъ одинъ будетъ изображать собою и сеймъ, и всю Польшу, и что пускай лучше выволокутъ изъ сеймовой залы его трупъ за ноги, какъ выволакиваютъ за ноги изъ исторіи Европы трупъ старой, доплевашейся до могилы Польши, чѣмъ онъ самъ выйдетъ изъ сеймовой избы. Но будучи большимъ энтузіастомъ и патриотомъ, панъ Шульцъ, какъ эту шутку часто позволяетъ себѣ капризная природа, былъ плохимъ архитекторомъ. Его-то и пригласили устроить танцевальную галлереею для предстоящаго бала. Страстный мечтатель въ душѣ, тихій, скромный и робкій по наружности, панъ Шульцъ фантазировалъ о томъ, какъ онъ, съ помощью-ли Наполеона, или въ союзѣ съ русскимъ императоромъ—онъ еще не могъ рѣшить съ кѣмъ именно,—но что онъ, панъ

Шульцъ, непременно возстановить свою дорогую ойчизну, матку Польску, во всей ея исторической широтѣ и долготѣ отъ Валтійскаго моря до Балканъ, и отъ Эльбы до Днѣпра и чуть-чуть не до Дона, однимъ словомъ, въ предѣлахъ старой Польши до „сасовъ“ и при „сасахъ“ и въ полныхъ границахъ великаго княжества литовскаго—за Псковъ и Смоленскъ. Себя, пана Шульца, онъ уже видѣлъ крулемъ великой монархіи и искреннимъ другомъ двухъ такихъ-же великихъ, какъ и онъ, панъ Шульцъ, монарховъ—Наполеона и Александра, которыхъ онъ любилъ искренно обоихъ и обоимъ одинаково удивлялся. Мечтая такимъ образомъ о будущей коронѣ, онъ плохо наблюдалъ за рабочими, строившими галерею: то ему представлялось, что это онъ строить себѣ дворецъ королевскій, то эстраду, на которой вся возвелеченная имъ Польша будетъ короновать его, скромнаго и честнаго спасителя отчизны; то казалось ему, что съ этой эстрады онъ уже держитъ рѣчь къ народу...

— Цо, пане архитекторе,—не надо-ли глубже вкопать въ землю эти бревна?—спрашивалъ его еврей подрядчикъ, встряхивая пейсами, словно засушенными колбасками.

— Цо-цо? глубже? зачѣмъ глубже?.. я высоко буду стоять,—непопадъ отвѣчалъ панъ Шульцъ подрядчику.

— Да глубже, пане, надо-бы вкопать устои колоннъ.

— Не надо глубже, такъ красивѣе—выше... Я всѣ колонны украшу зелеными листьями да капителями и перевью все это гирляндами изъ каштановыхъ цвѣтовъ.

— Все-же это, пане, не прочно.

— Прочно будетъ—я крышей соединю колонны... Какое очарованіе будетъ!

Но очарованіе скоро исчезло. Едва галерея была построена и обвита гирляндами цвѣтовъ, какъ все зданіе рухнуло: колонны, не глубоко врытыя въ землю, не выдержали тяжести крыши, какъ ни легка была она, и галерея, гдѣ вечеромъ долженъ былъ собраться весь цвѣтъ Литвы и Польши, всѣ красавицы края, всѣ представители военной и дипломатической силы и власти, всѣ придворные и самъ государь съ своими министрами—галерея обвалилась! Вмѣстѣ съ галереею обвалилась, рухнула и величаява Польша, образъ которой лелѣялъ въ душѣ своей бѣдный мечтатель, панъ Шульцъ. Это случилось въ то самое время, когда рабочіе ушли обѣдать, а Шульцъ ходилъ одинъ вокругъ своего прелестнаго созданія и любовался имъ, мечтая о коронѣ... Наполеонъ, выйдя изъ солдатъ и своею солдатскою рукою добывъ корону Франціи и множество другихъ коронъ, всѣхъ своихъ современниковъ сдѣлалъ мечтателями: всѣ мечтали добыть по коронѣ. Мечталъ объ этомъ и бѣдный Шульцъ. Такъ во время Колумба, и особенно велѣдъ за нимъ, всѣ мечтали объ открытіи новыхъ странъ, чуть-ли не третьяго полушарія—и иные открыли если не полушарія, то цѣлыя части свѣта. Одному Шульцу не удалось добыть себѣ корону великой Польши... Услышавъ какой-то страшный шумъ и шуршаніе, котораго сначала онъ не

могъ себѣ объяснить, а потомъ увидавъ, какъ разбѣжались въ стороны колонны галлерей, какъ растягивались и разрывались померанцевыя гирлянды и какъ потомъ, словно живое тѣло, затряслось и рухнуло все зданіе, издавъ болѣзненный, нестройный крикъ, трескъ и грохотъ, — Шульцъ и тутъ, казалось, не понялъ, что случилось. И только оглядѣвшия кругомъ дикими глазами, сообразивъ что-то, онъ схватился рукою за лѣвый бокъ, слабо застоналъ и черезъ клумбы цвѣтовъ и невысокую загородъ парка бросился къ рѣкѣ, протекавшей у подножія Закрета. Это была извилистая, живописная Вилія, на гладкой поверхности которой плавали молодые утята съ маткой; не останавливаясь ни на секунду, какъ-бы боясь, чтобы его не схватилъ кто сзади, Шульцъ, вытянувъ впередъ руки, какъ-бы ловя убѣгавшую отъ него тѣнь—это была тѣнь жизни, убѣгавшія отъ него золотыя иллюзіи,—стремительно кинулся съ крутого берега въ воду, головою внизъ. Черезъ нѣсколько секундъ изъ-подъ воды вынырнула соломенная шляпа, сильно испугавшая утятъ, которые было уже успокоились послѣ паденія въ воду чего-то большущаго, что потомъ болѣе уже не вынырало изъ воды. Шляпу прибило къ берегу далеко ниже того мѣста, гдѣ утонулъ Шульцъ.

Этотъ трагическій случай вызвалъ разнообразныя толки въ Вильнѣ, въ арміи, при дворѣ, по всей Литвѣ и Польшѣ, а потомъ и въ цѣлой Европѣ. Герцогиня д'Абрантесъ, романами которой въ оно время зачитывалась вся Европа, сдѣлала пана Шульца даже героемъ одного изъ своихъ романовъ. Слѣпые приверженцы Наполеона, мечтавшіе о возстановленіи старой Польшы, говорили, что Шульцъ хотѣлъ повторить трагическую роль Самсона, погребавшаго филистимлянъ подъ развалинами храма, и съ умысломъ установилъ колонны галлерей такъ, чтобы во время разгара торжества галлерей обрушилась и раздавила бы собою всѣхъ русскихъ военачальниковъ, императорскій штабъ и самого государя; но что будто-бы Шульцъ не рассчиталъ ни времени, ни вѣса крыши галлерей, ни другихъ случайностей—и храмъ разрушился раньше, чѣмъ въ него вступили филистимляне. Другіе, напротивъ, утверждали, что Шульцъ дурно построилъ зданіе по своей разсѣянности, что никого губить онъ не хотѣлъ, что съ филистимлянами онъ, въ такомъ случаѣ, губилъ и своихъ соотечественниковъ—іудеевъ, цвѣтъ литовскаго дворянства и всѣхъ прекраснѣйшихъ въ мірѣ женщинъ—сѣроглазыхъ и голубоглазыхъ литвинокъ.

Какъ-бы то ни было, трагическій случай съ строителемъ танцевальной галлерей не заставилъ отложить задуманный балъ до другого времени. Да и поздно бы было...

Въ самомъ разгарѣ бала случилось нѣчто болѣе историческое, чѣмъ этотъ балъ, который мы, конечно, не намѣрены описывать.

Въ самомъ разгарѣ бала, когда громъ военной музыки разносился по окрестностямъ на десятки верстъ подмывающія мелодіи музыки, по берегу Виліи къ Закрету скакали два всадника.

— А слышишь, Алексаша, какъ тамъ веселятся?—говорилъ одинъ

хриповатый голосъ, который и въ темнотѣ ночи давалъ возможность узнать того, кто говорилъ.—Ишь огней-то, огней распустили!

— Да, веселятся... фейерверкъ на-славу, — отвѣчалъ тихо другой голосъ.

— А Дениска, подлецъ, поди, какъ отхватываетъ—а?

— Да, и онъ...

— Съ бабами, чай,—съ поляками, подлецъ... Ухъ, лебезить, поди, ракалья... Слышишь, Алексаха,—мазура отхватываютъ.

— Да, пусть въ послѣдній разъ повеселятся,—отвѣчалъ тотъ-же, немного грустный голосъ.

Всадники видимо торопятся. Взмывленные кони дышутъ тяжело, и какъ ни приучены къ осторожной ѣздѣ, иногда устало фыркаютъ.

— Вотъ сполуху зададимъ танцующимъ, канальство,—продолжалъ споватый голосъ:—а особливо дамочкамъ... Вотъ, канальство, струхнуть.

— Да, но не польки: эти рады будутъ нашей роковой вѣсти,—сказалъ грустный голосъ.

— Да что ты, Алексаха,—точно не радъ, что Наполеонишка, словно карась, самъ въ нашу вершу забирается?—а?

— Да, Бурцевъ,—теперь не радъ... Я готовъ встрѣтить десять смертей, но мнѣ за всю Россію страшно—за матерей, сестеръ, отцовъ тѣхъ, которые скоро полягутъ, обнявшись съ мертвымъ врагомъ.

— Эхъ, Алексаха,—что дѣлать! Надо же доконать этого разбойника.

Скакавшіе къ Закрету всадники были Бурцевъ и Дурова-Александровъ. Они, бывъ въ ночныхъ разъѣздахъ, первые увидали, что Наполеонъ съ своими арміями переходитъ Нѣманъ, и частью уже перешелъ,—и скакали съ этой роковой вѣстью въ главную квартиру.

— Вотъ хорошо бы было, еслибъ онъ всѣхъ на балъ захватилъ... Вотъ чортъ эдакій! вотъ подкрался!—разводилъ руками Бурцевъ.

Дурова ничего не отвѣчала. Въ ней происходила тяжелая внутренняя работа. Уже съ самой поѣздки въ Петербургъ, въ особенности же послѣ знакомства съ Сперанскимъ, она начала переживать душой что-то новое, прежде ей неизвѣстное: это было какое-то медленное, но окончательное разложеніе ея прежнихъ вѣрованій и симпатій; ея прежніе идеалы шатались, падали, разбивались вдребезги, какъ глиняныя статуетки; а новые слагались неясно, неполнѣ очерченные. Ей казалось, что она ходитъ по дорогимъ обломкамъ, ищетъ чего-то еще болѣе дорогого; но сомнѣніе, недостатокъ прежней вѣры словно паутиной застилаетъ передъ нею и прошлое, то, что въ немъ казалось святымъ, и настоящее, тотъ путь, по которому она шла подавленная сомнѣніями. И она завидовала той дѣтской свѣтлости, съ которою другіе смотрѣли на жизнь. Она завидовала Бурцеву, для котораго не было неразрѣшенныхъ вопросовъ жизни. Дѣвочкой она жаждала свободы, она не хотѣла быть рабой условныхъ приличій—и вотъ она свободна; но свобода эта опять какая-то условная, украденная... Кромѣ того, онъ и другимъ глубоко затаеннымъ чувствомъ

сознавала, что она—женщина; она теперь только, когда Грековъ, послѣ финляндской кампаніи ушелъ съ своимъ полкомъ на Донъ,—теперь только поняла она, какъ слаба она, какъ ничтожна ея мнимая свобода и какъ ничтожно ея геройство передъ простымъ человѣческимъ чувствомъ.

И вотъ теперь, въ моментъ начала великаго дѣла, въ которомъ она, несмотря на свое личное ничтожество, невольно или вольно принимала участіе,—она чувствовала, что въ душѣ ея не бодрость, не рѣшимость, не отвага, не злобно-наивная радость, какъ у Бурцева, а гнетъ сомнѣній. Въ чемъ?—Она и сама не могла-бы на это отвѣчать.—Давно-ли, кажется,—не болѣе какъ съ мѣсяцъ назадъ, она писала въ своемъ дневникѣ: „Мы стоимъ въ бѣдной деревушкѣ, на берегу Наревы. Каждую ночь лошади наши осѣдланы, мы одѣты и вооружены; съ полуночи половина эскадрона садится на лошадей и выѣзжаетъ за селеніе содержать пикетъ и дѣлать разѣзды; другая остается въ готовности на лошадяхъ. Днемъ мы спимъ. Этотъ родъ жизни очень похожъ на описаніе, которое дѣлаетъ мертвецъ Жуковского:

Близъ Наревы домъ мой тѣсной:
Только мѣсяцъ поднебесной
Надъ долиною взойдетъ,
Лишь полночный часъ пробьетъ,
Мы коней своихъ сѣдлаемъ,
Темны кельи покидаемъ...

„Это точь-въ-точь мы, литовскіе уланы: всякую полночь сѣдлаемъ, выѣзжаемъ, и домикъ, который занимаемъ—тѣсенъ, малъ и близъ самой Наревы. О, сколько это положеніе опять дало жизни всѣмъ моимъ ощущеніямъ! Сердце мое полно чувствъ, голова—мыслей, плановъ, мечтаній, предположеній; воображеніе мое рисуетъ мнѣ картины, блистающія всѣми лучами и цвѣтами, какіе только есть въ царствѣ природы и возможно-стей. Какая жизнь, какая полная, радостная, дѣятельная жизнь! Какъ сравнить ее съ тою, какую вела я въ Домбровицѣ (это тамъ, гдѣ Бурцевъ жидка крестилъ въ бочкѣ старой вудки). Теперь каждый день, каждый часъ я живу и чувствую, что живу: о, въ тысячу, въ тысячу разъ превосходнѣе теперешній родъ жизни! Балы, танцы, волокитства, музыка... о, Боже, какія пошлости, какія скучныя занятія!

Когда она писала это, то писала искренно: она дѣйствительно чувствовала то, что срывалось у нея съ пера. Пятилѣтняя мирная стоянка на литовскихъ квартирахъ, однообразіе и пустота этой жизни, которую, полную праздности и тунейства, разнообразили такіе-же праздныя и тунейныя занятія—утромъ ученье для формы, чтобы поразмѣть людей и лошадей, а тамъ, весь день—или карты и попойка, или толканье по гостямъ, по знакомымъ польскимъ домамъ: болтовня, ѣда, танцы, заигрыванья, не имѣвшія для нея, какъ для женщины, никакого значенія. Напротивъ, заигрыванья съ нею женщинъ обѣсили ее, возбуждали въ ней отвращеніе, просто даже физическую дрожь. Въ одномъ мѣстѣ своего днев-

ника она такъ говорить объ этихъ заигрываньяхъ съ нею прекраснаго пола и о томъ, какъ остро чувствовалось ею, что она сама женщина: „Въ танцахъ я всегда мысленно браню свою даму, если она говоритъ со мной вполголоса, взглядываетъ на меня чаще, нежели водится, особливо если даетъ глазамъ своимъ выраженіе, которое для мужчины имѣло-бы свою цѣну, но для меня... Мнѣ кажется тогда, что она передразниваетъ меня! Но ничто не бываетъ мнѣ такъ досадно, какъ то, когда, уставъ отъ мучительнаго вальса, только успѣю сѣсть на стулъ и вдругъ кто-нибудь изъ моихъ товарищей подводитъ ко мнѣ свою даму и говоритъ: „уступи, братъ, свое мѣсто... *le rage au coeur!*“ Я встаю, забываю свой колетъ, шпоры; помню только свои права и хмурю брови, но стулъ все-таки отдаю“.

Вывавшись снова въ поле, охваченная походною, предбоевою атмосферою, она приняла, и приняла искренно, простое движеніе вдали отъ надобныхъ картъ, танцевъ и барышень—за жизнь: пикетная жизнь сторожевой собаки показалась ей полною предести. Но это ей только казалось такъ: не пикетная жизнь возвышала ея душу, а перемѣна одного однообразнаго на другое однообразное. А главное — вся полнота новой жизни была въ ея воображеніи; оно-то рисовало ей невиданныя картины, образы, идеалы. Но едва она оглянулась вокругъ себя, какъ опять увидѣла то-же. Сегодня, пробираясь съ Бурцевымъ по берегу Нѣмана, она вдругъ увидѣла, что армія Наполеона перебирается на эту сторону. Сердце ея забилось было радостно, такъ, какъ оно никогда, кажется, не билось—и радостно, и тревожно... „Что-то великое начинается“,—заколо-тилось у нея въ сердцѣ. И вслѣдъ затѣмъ это жѣ сердце подсказало ей: „А развѣ ты уже не видѣла это великое? А Фридландъ? А Гутштадтъ? А рѣчка Алле, превратившаяся въ кровавой морсь? А безпорядочное бѣгство войска, поражаемаго картечью?“ Она уже извѣдала это „великое“—и почувствовала, что оно снова начинается, но только чувствовала опредѣленнѣе, сознательнѣе: тогда она сама не могла отвѣчать, что такое было это „великое“? Она къ эпитету не могла подобрать слова; а теперь сразу, какъ только увидѣла въ темнотѣ какія-то движущіяся чудовищныя массы, которыя—она это знала —идутъ убивать навѣрняка и навѣрняка умирать, какъ услышала плескъ падающихъ въ воду съ наведеннаго моста несчастныхъ, вольныхъ и невольныхъ убійцъ,—она мгновенно въ нервахъ, въ сердцѣ, въ мозгу подобрала къ эпитету подходящее слово.

Но въ тотъ же моментъ она заподозрила въ себѣ недостатокъ мужества, храбрости. Неужели это правда? Да, она чувствовала, что это была правда, только какая-то особенная правда, не обидная. Тогда, въ первую кампанію, въ битвѣ при Гутштадтѣ и подъ Фридландомъ, она чувствовала въ себѣ храбрость, какой-то возвышенный, безумный трепетъ. Но то была и храбрость, и трепетъ новизны, храбрость невѣднія, впервые испытываемое сильное ощущеніе. А теперь не то: это не трусость. Она теперь безтрепетнѣе, привычнѣе... Но—она стала умнѣе, опытнѣе; она умѣла те-

перь находить настоящую цѣну вещамъ, цѣну жизни. Самое цѣнное этой жизни она нашла теперь: это—возможность думать, чувствовать, слышать это безумно-радостное кваканье лягушекъ, это задирающее щелканье ничего знать нехотящей, кромѣ жизни, ночной птички вонъ въ томъ темномъ кусту на берегу Вилии, гдѣ утонулъ Шульцъ.

— А вотъ бы вышелъ кавардакъ изъ всего этого, Алексаша, коли бы теперь гаркнуть во все горло: „французы идутъ! французы перешли Нѣманъ!“—тихо сказалъ Бурцевъ, когда они подъѣхали къ самой изгороди закретскаго сада, залитаго огнями разноцвѣтныхъ фонариковъ и безчисленнаго множества свѣчъ, горѣвшихъ прямо на воздухѣ — ночь была такъ тиха, что свѣчи въ саду горѣли, совсѣмъ не колыхаясь, и среди бальной музыки слышно было, какъ въ саду, среди цвѣтовъ и зелени, официанты звенѣли посудой, накрывая столы къ ужину.—А? вотъ была бы картина, Алексаша,—а?

— Все равно—завтра будетъ почти то же,—отвѣчала Дурова, думая о своемъ.

— Да, завтра, поди, другая музыка будетъ.

— Вѣроятно, Вильну защищать будемъ...

— А ну ее! Я бы вонъ тамъ на балу лучше поѣлъ, жрать хочется—ажно шкура трещить... А боюсь — проклятый Наполеонка и поѣсть не дастъ.

Они скрылись въ замковыхъ воротахъ, сказавъ что-то часовымъ, стоявшимъ у входа.

Наполеонъ, дѣйствительно, многимъ не далъ поѣсть...

III.

На другой день послѣ бала въ Вильнѣ происходила необыкновенная суматоха, скорѣе похожая на безтолковую суетоку, чѣмъ на то, что дѣло идетъ о встрѣчѣ великой арміи и должною ея пріемъ другою великою арміею. Весь день черезъ городъ шли войска, слышался барабанный грохотъ, звуки рожковъ, командные приказанія и крики, брань и остроты солдатъ, особенно при видѣ переполоха, охватившаго всѣхъ жителей города, какъ мѣстныхъ, такъ въ особенности русскихъ, которыхъ въ Вильнѣ проживало немало. То и дѣло солдаты натывались на фуры, телѣги, коляски, запружавшія улицы, на суетящуюся прислугу, таскавшую на фуры пожитки своихъ господъ и свою собственную рухлядь. Ясно было, что множество народу собралось бѣжать изъ города куда-нибудь дальше, вглубь Литвы или даже въ Россію. Цѣлыя горы сундуковъ и ящиковъ, подушекъ и одѣялъ, дѣтскія колыбельки съ кричащими дѣтьми и даже клѣтки съ бьющеюся въ отчаяніи птицею, — все это напоминало пожарную панику. Хрестъ ломаемой мебели, звонъ колотимой посуды, ругань русской прислуги съ польскими бабами и собачій лай мѣшались съ звяканьемъ ору-

жія, съ топотомъ кавалеріи, съ громыханьемъ тяжелыхъ колесъ артиллеріи и зарядныхъ ящиковъ. На многихъ лицахъ, высовывавшихся изъ воротъ, калитокъ и оконъ, отпечатывались то тупой страхъ неизвѣстности, то худо скрываемаѣя усмѣшка злорадства. По городу летали разнообразныя, иногда тревожныя, иногда успокоительныя слухи: одни говорили, что русскіе дадутъ битву подъ самымъ городомъ, что будетъ рѣзня на улицахъ, что дома всѣ будутъ разрушены и сожжены пушечнымъ огнемъ, что надо или бѣжать въ горы, или прятаться въ погребахъ, въ подвалахъ; другіе говорили, что русскіе не примутъ сраженія въ Вильнѣ, а отдадутъ городъ французамъ—и тогда настанетъ всеобщая вольность въ дружбѣ съ непобѣдимою французскою арміею.

Войска, проходившія черезъ городъ безконечными рядами и кучами, словно бы они изъ мѣшка вытряхались невидимою рукою, и жители, торопившіеся изъ города и не знавшіе, гдѣ они будутъ ночевать слѣдующую ночь,—все это двигалось къ Зеленому мосту, который, скрививъ и треща на устояхъ, едва выдерживалъ тяжесть двигавшихся по немъ массъ. День былъ жаркій, и потому, несмотря на суматоху, голые жиденята, словно рыба-веселка передъ икрометаніемъ, плескались въ водахъ Вилии, поблескивая на солнцѣ то бѣлыми руками и спинами, то мокрыми черноволосыми головами: для нихъ—что поляки, что русскіе, что французы—все едино. Казалось, конца не будетъ этой пылящей пѣхотѣ съ лѣсомъ штыковъ, этой фыркающей и бряцающей желѣзомъ конницѣ, этимъ громыхающимъ зеленымъ ящикамъ, этимъ фурамъ, коляскамъ, телѣгамъ.

Дурова, полкъ которой выходилъ изъ города едва ли не послѣднимъ, ѣхала рядомъ съ своимъ эскадромъ повидимому весело, бодро, хотя усталое и загорѣлое до черноты лицо обнаруживало особымъ блескомъ глазъ, что глазамъ этимъ не удалось соснуть и онѣ свѣтятся глубокою внутреннею возбужденностью. Нынѣшнюю ночь она въ первый разъ видѣла Балашова, знаменитаго министра полиціи, и онъ не выходилъ у нея изъ головы, потому что съ именемъ Балашова теперь связывалось для нея другое имя, давно ставшее ей дорогимъ по воспоминаніямъ и по многимъ другимъ причинамъ. Когда, ночью, прямо съ разѣздовъ она съ Бурцевымъ въѣхала на дворъ замка въ Закретѣ, чтобы доложить немедленно своимъ подлежащимъ начальникамъ о томъ, что они видѣли, они попались на глаза Балашову, который отдавалъ приказанія бывшимъ въ замкѣ ординарцамъ государя и посылалъ куда-то вѣстовыхъ. Увидавъ Дурову и Бурцева, онъ приказалъ спросить, кто они, и когда тѣ сказали, что пріѣхали съ важнымъ извѣстіемъ и должны немедленно доложить о томъ по начальству, онъ тотчасъ-же позвалъ ихъ къ себѣ и именемъ государя приказалъ доложить ему, какъ министру полиціи, все, что они узнали. Услыхавъ, что французы уже перешли Нѣманъ, Балашовъ какъ-то стремительно качнулся назадъ, смѣрилъ глазами, въ которыхъ свѣтилось не то подозрѣніе какое-то, не то недвѣріе, не то просто лукавство,—смѣрилъ глазами Бурцева и Дурову, снова переспросилъ ихъ фамилін, какъ-то особенно поглядѣлъ въ глаза Дуровой, приказалъ тот-

часть-же явиться къ своимъ начальникамъ, а отъ всѣхъ прочихъ хранить привезенное извѣстіе въ глубочайшей тайнѣ — и тотчасъ-же скрылся во внутренности замка. Такъ вотъ тутъ-то, при видѣ Балашова, она невольно вспомнила о Сперанскомъ. Съ пріѣздомъ двора къ арміи, въ войскахъ распространился слухъ, что человѣкъ, въ послѣдніе годы ближе всѣхъ стоявшій къ государю, удаленъ чуть-ли не въ моментъ объявленія войны Наполеону, и что удаленіе Сперанскаго связывали и съ именемъ Наполеона съ одной стороны, и съ именемъ Балашова — съ другой. На Дурову, можетъ быть, именно вслѣдствіе этого слуха, Балашовъ произвелъ непріятное, отталкивающее впечатлѣніе. И сегодня она не могла выгнать его у себя изъ головы и въ то-же время думала разомъ и о Наполеонѣ, и о Сперанскомъ. Послѣдній теперь представлялся ей еще болѣе загадочнымъ и болѣе обаятельнымъ. А Наполеонъ началъ пугать ее какимъ-то суевѣрнымъ страхомъ, и голова его, а особенно блѣдное, какъ старый мраморъ, лицо, которое она хорошо разсмотрѣла тогда въ Тильзитѣ, стало рисоваться ей не человѣческимъ лицомъ, а именно лицомъ древней мраморной статуи съ глазами безъ бликовъ и лавровымъ вѣнкомъ на головѣ.

Когда эскадронъ Дуровой сталъ подходить къ мосту, то становилось яснымъ, что о скоромъ переходѣ черезъ этотъ Зеленый мостъ, который, казалось, самъ живою стѣною ползъ на ту сторону рѣки и тамъ расплазался еще шире, — и думать было нечего. И тотъ, и этотъ берегъ запружены были войсками и какими-то невообразимо нестройными кучами народу и экипажей.

Влѣво отъ дороги эскадронъ гусаръ, осыпaeмый бѣлою пылью, стоялъ смирно, ожидая очереди. Передъ фронтомъ, подбоченясь на конѣ и заломивъ фуражку на затылокъ, Денисъ Давыдовъ, весь красный, видимо не выспавшійся, осаживая коня, какъ-то плясавшаго задомъ, пушилъ за что-то какого-то гусара. — „Да я тебя, каналья!.. Я тебѣ фухтелей!.. Да я тебѣ, мерзавецъ, шенкель въ морду!“ — горячился онъ, а Бурцевъ, равнодушно сидя на своемъ конѣ и улыбаясь добрыми глазами, какъ-бы говорилъ: „да это все вздоръ — это Дениска напустилъ на себя“. Увидавъ Дурову, онъ издали мигнулъ ей и, лукаво указывая на Давыдова, старался выразить на своемъ полнощекомъ лицѣ: „ишь, Дениска осерчалъ“. Тутъ-же, въ первомъ ряду эскадрона, виднѣлась украшенная Георгіемъ и сѣдинами фигура Пилипенка съ суровымъ лицомъ, которое кого-то предостерегало глазами и какъ ни желало нахмуриться сердито, все это ему какъ-то не удавалось. Это Пилипенко хотѣлъ нахмуриться на Жучку, которая, стоя на заднихъ лапкахъ почти у самыхъ копытъ лошади Дениса Васильича, глазъ не спускала съ своего пестуна. А пестунъ напрасно силился сердито показать глазами: „прочь-де, глупая псица — не суйся на глаза начальству: начальство-де сердится“... Но Жучка не понимала этихъ предостереженій и продолжала торчать передъ эскадрономъ.

Дурова вспомнила, что въ первый разъ она увидѣла эту собаченку, раненую, жалкую такую, послѣ битвы при Гуттштадтѣ, на рукахъ вонъ у

того сѣдого и суроваго гусара, что теперь сердито смотритъ на нее изъ-подъ нависшихъ сѣдыхъ бровей. Уже пять лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ. Какъ давно все это было! какъ постарѣло все съ тѣхъ поръ: и люди постарѣли, и на душѣ у нея постарѣло и полиняло многое, и сама она постарѣла...

Глухой барабанной дробью застучало что-то по мосту. Дурова опомнилась отъ минутнаго забытья. Это гусары переходили уже мостъ, стуча копытами и лязгая желѣзомъ. Давыдовъ и Бурцевъ были уже на той сторонѣ моста, и Бурцевъ, дѣлая какіе-то знаки руками, показывалъ Дуровой что-то завернутое въ бумагѣ, и какъ-бы приглашая къ себѣ. Дурова догадалась, что это онъ показывалъ ей колбасу, нѣсколько колецъ которой онъ успѣлъ прихватить на дорогу. Жучка такъ искусно маневрировала ногами и тяжелыми копытами лошадей, что какой-то пѣхотинецъ, оставъ отъ своей роты и выбравшись за перилы моста, чтобы не быть подмятымъ подъ лошадей, только ахалъ отъ удивленія: „ахъ ты мразь! ахъ ты сволочь! ишь-ишь, аспидный псенышъ!“

Не успѣвъ эскадронъ Дуровой весь вступить на мостъ за гусарами Давыдова, какъ на томъ берегу, на взгорбкѣ, показались два всадника и остановились какъ вкопанные, глядя въ зрительныя трубы на городъ. Одинъ изъ нихъ замахалъ Давыдову, и тотъ молодцомъ вскакалъ на взгорбокъ, держа руку у козырька, повернулъ лошадь и во весь опоръ бросился къ мосту, наскакивая на гусаръ и на скаку крича рѣзкимъ металлическимъ голосомъ: „уланъ, зажигай мостъ! Бурцевъ, веди своихъ съ панломъ! Живѣй! пади и руби мостъ, заднѣ!“

Передніе уланы наддали и вылетѣли на берегъ, а гусары Бурцева, спѣшившись и захвативъ бывшія у нихъ витушки сухого сѣна, бросились на мостъ и какъ кошки по-за перилами полѣзли по мосту, къ пригородному концу. Уланы Дуровой, также спѣшившись на мосту и отдавъ коней товарищамъ, торопившимся къ берегу, кинулись ломать мостъ, сталкивая въ воду перилы, разщепляя палашами половины моста и также спихивая ихъ въ рѣку. Въ разныхъ мѣстахъ вспыхнуло сѣно—прощай все!

Съ городского берега послышались отчаянные вопли женщинъ. Это кричали тѣ изъ обывателей, которые собирались бѣжать изъ города, но не успѣли попасть на мостъ. Одна женщина, неся впереди себя ребенка, бѣжала по взломанному и загоравшемуся уже мѣстами мосту и вдругъ съ ужасомъ остановилась: передъ нею зіяло широкое провалье на серединѣ моста, а края половицъ уже вспыхнули. Она бросилась назадъ, нагнувъ голову и пряча ребенка, какъ будто бы на нее падало небо.

Мостъ все болѣе и болѣе охватывало огнемъ. Середина его была вся въ пламени, которое словно живое пробиралось все дальше и дальше кривыми, лижущими языками. Въ дыму металались голуби и галки, напрасно отыскивая свои гнѣзда, которыя были свиты подъ мостомъ, между пазами, устоями и перекладинами... Не видать больше бѣдной птицъ своихъ гнѣздъ и своихъ дѣтенышей!

Вдруг съ городской, охваченной пламенемъ половины моста послышался отчаянный вой собаки.— „А вить это, братцы, Жучка воетъ“, заговорили гусары, палившіе мостъ. „Она — она и есть: ея голосъ, Жучкинъ“... — „Гдѣ Жучка!“ встрепенулся Пилипенко, который такъ усердно работалъ, отдирая и швыряя доски въ воду, что не замѣтилъ собачьяго воя.— „Да вонъ тамъ, чу, осталась—ишь молится бѣдная псина“...

Мышцы стараго, суроваго лица дрогнули у Пилипенка, и онъ растерянно посмотрѣлъ на ту сторону моста, объятаго пламенемъ. За этимъ пламенемъ была собаченка. Пилипенко, какъ сумасшедшій бросился вдоль уцѣлѣвшаго моста къ берегу, ничего не видя, наталкиваясь на товарищей и безсвязно бормоча что-то въ родѣ молитвы или заклинанья. Сбѣжавъ съ моста и остановившись у воды, онъ хрипло-надорваннымъ голосомъ закричалъ: „Жуча! Жучушка! ана-на-на! ана! Жучка! Жучка!“ Собака, какъ видно, узнала его голосъ и жалостно завизжала.

Пилипенко наскоро сбросилъ съ себя сапоги, куртку, штаны, перекрестился, кинулся въ воду и поплылъ, сился поднять выше сѣдую голову и крича почти въ слезы: „Жуча! Жучушка! сюда! сюда! а-на-на!“

Собаченка поняла, въ чемъ дѣло,—и бултыхнулась въ воду. Вынырнувъ изъ воды и фыркая, она быстро начала молоть передними лапками по водѣ... На мосту послышался взрывъ хохота.

Между тѣмъ въ то время, когда уланы и гусары жгли Зеленый мостъ, Наполеонъ вступалъ въ Вильну съ противоположной стороны. Городскія власти, болѣею частью тѣ самыя лица, которыя въ эту ночь танцовали въ закретскомъ замкѣ на одномъ паркетѣ съ русскими офицерами, или которыя по старости или по тучности своей не танцовали, а просто любовались танцующими и старались увѣрить русскихъ въ вѣчной дружбѣ,—эти самыя лица, въ національныхъ польскихъ костюмахъ, съ кокардами изъ національныхъ польскихъ цвѣтовъ, на массивномъ золотомъ блюдѣ подносили Наполеону массивные золотые ключи отъ города и привѣтствовали его, какъ своего избавителя. Лицо счастливаго побѣдителя полуміра выражало скорѣе добродушіе, чѣмъ величіе. Его собственное счастье, счастье бѣшеное, неслыханное въ исторіи міра, а съ другой стороны -- несчастье и полная неудачливость и неспособность всѣхъ, съ кѣмъ ему приходилось имѣть дѣло, до того избаловали его, что ему все казалось легкимъ, возможнымъ и самымъ простымъ дѣломъ. Вчера Берлинъ покорно подносилъ ему свои ключи, третьяго дня Вѣна, сегодня Вильна, завтра—эта la sainte Moskowa; все это такъ просто, такъ естественно, что нельзя было къ этому не привыкнуть и не относиться съ полнымъ добродушіемъ, все равно какъ будто-бы это подносили ему его утреннюю чашку кофе.

— Eh bien!—промычалъ онъ ласково, взглянувъ на чудовище-ключъ и съ ключа переноса свои свѣтлосѣрые, до-нельзя прозрачные глаза на бритыя и усатыя лица депутаціи города. — Eh bien! А я полагалъ, что Вильна обойдется мнѣ въ тридцать тысячъ...

Увидавъ пожаръ и узнавъ, что это русскіе, отступивъ за рѣку, зажгли

мость, Наполеонъ тотчасъ-же, въ сопровожденіи Мюрата, короля неаполитанскаго, Даву и другихъ маршаловъ, поѣхалъ къ Зеленому мосту, сопровождаемый восторженными криками толпы — „нѣхъ жые! нѣхъ жые!“ Огонь съ догораваго моста перекинулся между тѣмъ на ближайшія къ водѣ постройки и угрожалъ городу. Наполеонъ тутъ-же распорядился немедленнымъ тушеніемъ пожара, сошелъ съ лошади и сѣлъ на брусъ, сложенный на пристани. Маршалы и литовская знать полукругомъ, въ почтительномъ отдаленіи, стояли, переминаясь на мѣстѣ. Пройдя спокойнымъ и яснымъ взоромъ по рядамъ присутствовавшихъ, императоръ остановилъ его на графѣ Пацѣ, въ глазахъ котораго больше, можетъ быть, чѣмъ у всѣхъ остальныхъ, свѣтилась ребяческая, восторженная радость. Графъ почтительно приблизился. Наполеонъ съ улыбкой сказалъ:

— Говорятъ, Литва славится своимъ пивомъ, какъ Москва квасомъ — du kouass... а я кстати пить хочу.

Графъ Пацъ стремительно, словно юный пахоленокъ, бросился въ сторону, не отводя лица отъ лица Наполеона, метнулся къ толпѣ знати и исчезъ, чтобы немедленно утолить державную жажду властителя судебъ полу-вселенной, и черезъ нѣсколько минутъ уже стоялъ передъ нимъ съ серебрянымъ подносомъ, на которомъ массивный золотой кубокъ пѣнился пивомъ. Наполеонъ выпилъ и крикнуть, какъ простой смертный, смакуя губами.

— Добрэ пиво! — произнесъ онъ по-польски съ сильнымъ французскимъ акцентомъ.

Историческую фразу эту, эти два польскихъ слова польскія хроники съ благоговѣніемъ занесли на свои страницы. А графиня Шуазель-Гуфье, урожденная полька, панна Тизенгаузь, въ то время молоденькая и, если вѣрить ея „Запискамъ“, неотразимо очаровательная дѣвушка, записавъ эту историческую фразу Наполеона, съ горечью разочарованія прибавляетъ: „и вотъ — въ ту-же минуту явились люди, готовые идти за него въ огонь“.

Въ то-же время войска французскія, итальянскія, испанскія, португальскія и другихъ всевозможныхъ національностей, а равно польскія вступали въ городъ всѣми улицами, которыя, украшенные флагами и махающими съ балконовъ и оконъ „хустечками“, словно открывали дорогимъ гостямъ свои объятія. — „Полкъ князя Доминика Радзивилла — говоритъ панна Тизенгаузь въ своихъ „Запискахъ“, или „Воспоминаніяхъ“ — прошелъ по нашей улицѣ: то были польскіе уланы въ своихъ прелестныхъ мундирахъ съ значками изъ польскихъ цвѣтовъ. Я стояла на балконѣ замка. Они съ улыбкой отдавали мнѣ честь. И въ первый разъ въ жизни я увидѣла поляковъ! (т. е. не литовцевъ, а настоящихъ поляковъ). Слезы восторга и радости полились изъ моихъ глазъ — я признала себя полькой! И эта минута была восхитительна; но какъ она была коротка!“

За польскими уланами Радзивилла шла неаполитанская гвардія герцога де-ла-Рокка-Романа, невиданнаго красавца, за эту невиданную красоту прозваннаго Аполлономъ Бельведерскимъ. Прелестная гвардія его шла точно

на парадъ, на показъ своего изыщества всему міру: въ великолѣпныхъ яркомалиновыхъ гусарскихъ курткахъ и въ бѣлыхъ, тонкаго сукна, словно женскихъ, плащикахъ, мотыльками взвивавшихся на плечахъ красавцевъ юга—все это было восхитительно для Неаполя, для паркета, для южнаго солнца... А ихъ ожидали московскіе снѣга и вьюги... Но кто объ нихъ думалъ!

Все радовалось и ликовало на улицахъ, на площадяхъ. По лицамъ старыхъ литвиновъ и молодыхъ литвинокъ катились слезы умиленія.

Въ тотъ-же день Наполеонъ принималъ во дворцѣ все литовское дворянство. На лицѣ его покоилось все то-же добродушіе довольства и удовлетворенности.

— Почему русскіе не захотѣли дать мнѣ сраженіе?—спросилъ онъ скороговоркой, ни къ кому не обращаясь.—Выгоды были на ихъ сторонѣ.

— Ваше величество внушаетъ имъ ужасъ, — отвѣчалъ стоявшій впереди другихъ старый конфедератъ, сражавшійся когда-то съ русскими подъ знаменами Косцюшки.

При этомъ отвѣтѣ Наполеонъ, говорятъ современники, „отскочилъ, какъ-бы ужаленный осой“. Онъ на опытѣ уже испыталъ, что не „ужасъ“ на умѣ у сѣверныхъ варваровъ, а что-то другое, непонятное ему пока. Кучи невѣроятной безмыслицы—говорятъ сами поляки, современники и очевидцы—пришлось Наполеону выслушать, пока онъ обходилъ ряды литовскаго паньства. Только мимо одного польско-литовскаго магната, мимо графа Тизенгаузена, отца прелестной сочинительницы панны Тизенгаузъ, императоръ прошелъ, не удостоивъ его ни однимъ словомъ:—всѣ замѣтили это и въ то-же время всѣмъ бросилась въ глаза невиданная дотошъ вещь—голубая, яркая, такъ и бьющая въ глаза, такъ и кричащая своей обидной яркостью—голубая лента русскаго Бѣлаго Орла на груди у дерзкаго графа... Да, это небывалая дерзость передъ лицомъ великаго императора!—За то онъ и не удостоилъ безумца даже кивкомъ пальца, движеніемъ державныхъ рѣсницъ.

Тутъ же императоръ изъявилъ желаніе видѣть представленными ему „литовскихъ женщинъ, которыя умѣютъ рожать такихъ бравыхъ молодцовъ, мужественно сражавшихся подъ его знаменами въ Германіи, Пруссіи, Италіи, Испаніи, подъ палящими лучами солнца Сиріи и Палестины, въ тѣни пирамидъ Египта и среди тропической природы Санъ-Доминго“... О! маленькій челоѣкъ умѣлъ красно говорить... Послѣ всякаго его краснаго словца поля и рѣки краснѣлись челоѣческой кровью. И теперь литовцы за это красное словцо сразу отдали ему безповоротно и свою душу, и свою горячую кровь.

На женщинъ великій полководецъ смотрѣлъ специально съ точки зрѣнія поставки будущихъ рекрутъ—и только. „Вонъ идетъ прелестная мать будущаго солдата“, говорилъ онъ обыкновенно при видѣ хорошенькой дѣвушки. Какъ, по его словамъ, „каждый солдатъ носить въ своемъ ранцѣ маршальскій жезлъ“, такъ каждая здоровая дѣвушка носить за

газухой по малой мѣрѣ полдюжины рекрутъ. Поэтому онъ и желалъ взглянуть на литовскихъ женщинъ, изъ которыхъ однѣ уже народили ему бравыхъ солдатъ, а другія должны родить; если не ему, то крошечному наслѣднику, королю римскому и будущему императору Европы.

Ночью же развели по городу повѣстки, которыми „приказывалось дамамъ явиться во дворецъ для представленія императору“. Панна Тизенгаузь въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ говоритъ, что ей, тоже получившей такую любезную повѣстку, словно отъ мирового судьи или околodочнаго, сильно не понравилась эта форма приглашенія, „напоминавшая обычай саутвахты“, и она рѣшила не ѣхать. Но отецъ ея, старый придворный короля Станислава, не удостоенный уже, при общемъ представленіи Наполеону литовскаго дворянства, кивкомъ великаго императора за голубую ленту, благоразумно напомнилъ дѣвущкѣ, что ея поступокъ можетъ быть курно истолкованъ, что ихъ семейство уже и безъ того считаютъ въ числѣ приверженцевъ Россіи и потому косятся и на нихъ и на другихъ. Дѣвушка согласилась, но на томъ только условіи, что надѣнетъ свой фрейлинскій шифръ, предложенный ей и нѣкоторымъ другимъ литовскимъ дамамъ императоромъ Александромъ Павловичемъ во время послѣдняго его пребыванія въ Варшавѣ. Молодая графиня говорила при этомъ отцу, что при полученіи фрейлинскаго знака она хотя и не была нисколько этимъ обрадована, но герцогъ считала безчестнымъ не надѣть его при такихъ обстоятельствахъ, какія имъ пришлось пережить: не надѣть шифръ передъ Наполеономъ—это значило или малодушно испугаться императора-пришельца, или оказывать пренебреженіе къ своему законному императору въ то именно время, когда онъ принужденъ былъ отступить передъ своимъ противникомъ.

Когда хорошенькая графиня явилась во дворецъ и дамы замѣтили на ней шифръ, все пришло въ смятеніе: шифръ русской фрейлины во дворцѣ великаго Наполеона, идущаго на Россію—это вызовъ, бунтъ...

Онъ скажетъ вамъ какую-нибудь колкость, милая графиня,—съ ужасомъ шептали польки, уже знавшія безцеремонность великаго человѣка во Варшавѣ.—О! вы не знаете, что это за человѣкъ... Это, это, пани... О! она скажетъ вамъ дерзость...

А я ему отвѣчу,—храбро возразила хорошенькая графиня.

О! тише, тише, милая графиня!—прикладывала къ своимъ пухлымъ розовымъ пальцамъ пани Абрамовичъ, бойкая варшавянка изъ еврейскаго семейства, ловко владѣвшая и языкомъ, и перомъ, и потому служившая секретаремъ красавицѣ Велевской въ ея интимной перепискѣ съ Наполеономъ.—„О, дорогая пани!“ говорила бывало при этомъ пани Абрамовичъ Велевской: „вы прекрасно владѣете языкомъ, не хуже m-me Сталь; но вы дѣлаете ореографическія ошибки отъ избытка чувствъ, а великій императоръ не любитъ у другихъ ореографическихъ ошибокъ, хотя самъ и дѣлаетъ ихъ... Но ему позволительно все—онъ великій человѣкъ и законодатель: онъ можетъ издать законъ объ ореографіи, какой его вѣществу угодно“...

— О! не говорите этого, дорргогая графиня!—хрустѣла своимъ еврейскимъ язычкомъ пани Абрамовичъ, останавливая храбрую фрейлину:—здѣсь стѣны все слышать и передаютъ ему...

Одна панна Тизенгаузъ оказалась съ шифромъ—всѣ остальные струсили.

Къ паннѣ Тизенгаузъ испуганно подошелъ графъ Коссаковский, ея дядя. Онъ былъ блѣденъ и стоялъ какъ на иголкахъ.

— Ты очень дурно поступила, надѣвъ *вотъ это*,—шептала онъ дрожащимъ голосомъ.—Я отступаю отъ тебя—ты мнѣ не племянница.

— Я знаю, что дѣлаю,—отвѣчала храбрая панна.

Но все-таки въ душѣ она чувствовала страхъ, какъ послѣ и сознавалась въ этомъ. Она знала, что передъ этимъ маленькимъ челонѣкомъ дрожать даже старые, заслуженные маршалы; она знала, что для него не существуютъ никакія общепринятые человѣческія правила; она одно чувствовала, что она, молоденькая дѣвочка, „должна была предстать предъ Наполеономъ, который носилъ весь свѣтъ въ своей головѣ и которому тѣсно было въ старой Европѣ—онъ задыхался въ ней“. Но все-таки въ дѣвущкѣ сидѣлъ какой-то инстинктъ, который шепталъ ей, что все обойдется благополучно: инстинктъ этотъ—сознаніе, что она хорошенькая, что она красивѣе всѣхъ литовскихъ женщинъ. Откуда это она узнала—она сама не могла-бы объяснить; но она это знала, чувствовала. Точно также невѣдомо откуда, но она узнала, что красотѣ все прощается; что даже звѣрь безсиленъ передъ красотой. Она чувствовала это и теперь по тѣмъ милымъ взглядамъ—взглядамъ самой тонкой, прелестной зависти, которые украдкой бросали на нее прочія литовскія дамы.

— Императоръ!—возгласилъ вдругъ камеръ-лакей въ косую сажень, до того времени словно статуя стоявшій у дверей.

Всѣ невольно вздрогнули. У панны Тизенгаузъ, какъ ей казалось, сердце остановилось.

Въ то-же мгновеніе въ залу влетѣлъ или, вѣрнѣе, вкатился „какъ ядро“, по выраженію очевидицы, маленькій, толстенькій, коротенькій челонѣчекъ на широко разставленныхъ ножкахъ, въ зеленомъ, съ большою вырѣзкою на кругломъ брюшкѣ и на груди, мундирѣ, въ бѣломъ жилетѣ, съ большою, гладко обстриженною, словно точеною головою, съ бѣлымъ, безцвѣтнымъ, пожелтѣвшаго мрамора лицомъ, точь-въ-точь какъ у античнаго бюста. Сѣро-прозрачные глаза его, казалось, разомъ видѣли всѣхъ, въ залѣ находившихся, хотя повидимому ни на кого не смотрѣли. За нимъ быстро, но чинно и какъ-бы робко, выступила, беззвучно шагая, цѣлая свита старыхъ и молодыхъ маршаловъ.

Дамы стояли въ какомъ-то нерѣшительномъ, томящемъ ожиданіи. Сѣро-прозрачные глаза на мгновеніе остановились на госпожѣ Абрамовичъ, и она выступила нѣсколько впередъ, какъ-бы приглашая взглядомъ стоявшую впереди другихъ дамъ графиню Коссаковскую. Та шевельнула и скрипнула лифомъ и зашуршала шелковымъ шлейфомъ, дѣлая реверансъ и заставляя искриться брилліанты, которыми были залиты ея грудь и шея.

— Графиня Коссаковская, — пропустила сквозь розовыя губы пани Абрамовичъ.

— Урожденная Потоцкая, — гордо добавила графиня.

— Котораго изъ Потоцкихъ вы дочь? Ихъ такъ много, — скороговоркой спросилъ Наполеонъ, какъ-бы шурясь отъ блеска брилліантовъ.

— Сестра Владиміра Потоцкаго, ваше величество, — былъ отвѣтъ.

Она съ умысломъ не назвала имени отца, а упомянула имя брата. Владиміръ, братъ ея, считался героемъ и былъ славой и гордостью рода Потоцкихъ. Въ своихъ богатыхъ родовыхъ помѣстьяхъ на Подоли онъ набралъ цѣлый полкъ изъ своихъ рослыхъ, красивыхъ хлоповъ-хопловъ, одѣлъ ихъ на свой счетъ молодцами-уланами, выучилъ, вымуштровалъ и повелъ во Францію подъ знамена Наполеона; и пошли рослые, добродушные украинцы — Тарасы да Харьки, Петруси да Грицьки носить французскихъ орловъ и славу Наполеона въ Египетъ, подъ пирамиды, въ Сирію, въ Италію, на Санъ-Доминго, а теперь тѣ изъ нихъ, которые не погибли у подножія пирамидъ, не погибли отъ чумы въ Сиріи, не утѣснили своею украинскою кровью плантаціи Санъ-Доминго, — теперь эти Грицьки да Петруси были приведены подъ знаменемъ Наполеона въ Вильну, чтобы идти на москаля, а вмѣстѣ съ тѣмъ и на своего брата Заступенка, да на стараго Пилипенка, да на аккуратнаго курьера Кавунца.

Очередь дошла до хорошенькой панны Тизенгаузъ. Она совсѣмъ оправилась. Она чувствовала, что она... ну, однимъ словомъ, она не могла не чувствовать, какъ раза два это мраморное, сфинксовое лицо съ глазами безъ бликовъ останавливалось на ней какъ-то вопросительно, пытливо, но не зло... она это глубоко чужая, какъ собаченка чувствуетъ, что не зло взглянулъ на нее ея хозяинъ.

— Графиня Тизенгаузъ, — почтительно процѣдила пани Абрамовичъ, перенося глаза съ молоденькой графини на императора и какъ-бы кланяясь ему и глазами, и голосомъ.

Глаза безъ бликовъ уставились на фрейлинскій шифръ, потомъ впились въ лицо, въ щеки, въ глаза дѣвушки.

— Какой знакъ отличія надѣтъ на васъ? — уронились слова съ мраморнаго, сфинксоваго лица.

— Фрейлинскій шифръ двора ихъ величествъ государынь императрицъ всей Россіи, ваше величество, — прозвучалъ колокольчикъ, и щеки этого колокольчика медленно залились слабымъ румянцемъ.

— Слѣдовательно, вы русская? — продолжалъ мраморный бюстъ.

— Нѣтъ, ваше величество, я только имѣю фрейлинскій знакъ.

— У васъ братъ служить въ легкой кавалеріи?

— У меня, государь, два брата, но они еще нигдѣ не служатъ.

— Нѣтъ, одинъ служить — я знаю.

Ему не противорѣчили. Онъ скользнулъ глазами отъ лба до шеи дѣвушки, перенесъ ихъ на другое лицо.

— Пани Огинская, — поспѣшила пани Абрамовичъ.

— А! Есть у васъ толстыя и большія дѣти?

— Есть, государь.

— Хорошо. Вудуть маршалами.

— М-ше Гедройцъ, — хруститъ пани Абрамовичъ, перекликая женскую половину Литвы.

— А! но вѣдь у васъ также есть шифръ? (Онъ уже заранѣе все зналъ). — Затѣмъ-же вы не надѣли его?

— Моя отчина, государь... обстоятельства... я полька...

— Отчего-же! можно быть настоящей полькой и носить шифръ.

И мраморный бюстъ, повернувшись на коротенькой шеѣ, выразительно глянулъ на хорошенькую панну Тизенгаузъ и засмѣялся, выказавъ рядъ мелкихъ, великолѣпныхъ зубовъ, бѣлыхъ точно у молодой собаки.

Потомъ далѣе и далѣе — и все „толстые и большіе мальчики“ — „сколько дѣтей“ — „скоро-ли родите“ — „давно-ли родили толстаго мальчика“ — и все въ томъ-же родѣ.

— Императоръ Александръ очень любезный человѣкъ. Онъ васъ всѣхъ очаровалъ. Настоящія-ли вы польки? — заключилъ онъ.

Всѣ молчали, кто наклонивъ голову, кто улыбаясь, кто краснѣя.

Въ одинъ моментъ онъ исчезъ изъ залы. Всѣ чувствовали, что были на какой-то странной, обидной выставкѣ... Это не приѣмъ, а какой-то акушерскій экзаменъ. Неловко какъ-то.

А дѣлать было нечего!

IV.

Послѣ сожженія Зеленаго моста началось то непостижимое для современниковъ отступленіе русской арміи, которое навело ужасъ и оцѣпенѣніе на всю страну. Никто не зналъ, никто не могъ понять, что дѣлается тамъ, куда выставленъ весь цвѣтъ населенія, и эта неизвѣстность наводила суевѣрный страхъ на всѣхъ. Даже сами войска, офицеры, генералы — и они не понимали, что дѣлается, къ чему все это идетъ, чѣмъ должно кончиться. Одно, что всѣ испытывали одинаково съ ужасомъ и стыдомъ, чего никто не могъ заглушить въ себѣ, это — глухое, шемащее сознаніе, что совершается поголовное бѣгство...

Болѣе всѣхъ чувствовала это, какъ казалось ей самой, Дурова. Она не боялась за себя, но она боялась за все, что происходило кругомъ и что казалось непостижимымъ ей. Страхъ, общій страхъ, казалось ей, носился въ воздухѣ помимо ея личнаго чувства. Чѣмъ-же другимъ, если не страхомъ, думалось ей, можно было объяснить это бѣгство, бѣгство безостановочное, бѣгство день и ночь, по дорогамъ и безъ всякихъ дорогъ, по лѣсамъ и болотамъ? Въ этомъ бѣгствѣ она въ первый разъ поняла, что есть границы силъ человѣческихъ и человѣческаго терпѣнія, — границы, дальше которыхъ человѣкъ идти не можетъ. Она изнемогала отъ какой-то и гнетущей, и

рѣжущей тоски, падала отъ сна и усталости, не видя конца бѣгству. На бѣду пошли дожди. Все платье ея было пробито холоднымъ дождемъ до нитки. Вотъ уже двое сутокъ, какъ ни она и никто не ѣлъ и не спалъ—день и ночь на маршѣ, а если и явится остановка, то опять-таки не велятъ сходить съ коней—все, повидимому, ждуть чего-то страшнаго, а если и не ждуть; то сами не знаютъ, что дѣлаютъ. А дождь и холодный вѣтеръ все нижутъ и нижутъ насквозь. Вслѣдствіе бездорожья уланы шли гуськомъ, по три въ рядъ, растянувшись въ нитку, словно утки на водопой; но гдѣ попадалось препятствіе на пути, тамъ шли въ два коня только, а то и по одному, и въ такомъ случаѣ одному взводу приходилось стоять и ждать. При всякой такой остановкѣ, продолжавшейся нѣсколько минутъ, Дурова вмгъ слѣзала съ лошади, тутъ-же падала въ грязь у самыхъ копытъ умнаго Алкида, и въ ту-же секунду теряла сознание—засыпала какъ мертвая. Въ ту-же минуту взводъ трогался, товарищи кричали ей, будили ее, и она, какъ безумная, вскакивала, карабкалась на лошадь, проклинала себя, свою слабость, свой полъ, общее бѣгство и того невидимаго демона, передъ которымъ все бѣжало. Товарищи грозили ей, что бросать ее на дорогѣ, если она будетъ сходить съ лошади...

— Эхъ, Алексаша, Алексаша!—сказалъ ей съ участіемъ Бурцевъ, спѣша куда-то съ порученіемъ и видя, какъ она, блѣдная, жалкая, поднималась съ земли.—Ты, дружище, дѣлай по нашему: вонъ видишь—всѣ дремлютъ и спятъ на лошадахъ, рыбу удать... Дѣлай, братуха, и ты такъ... Эхъ, чортъ-бы побралъ!..

Кого--всѣ знали... И вотъ Дурова крѣпится на лошади: дремлетъ, засыпаетъ, качается, падаетъ до самой гривы Алкида, съ ужасомъ просыпается, думая, что летитъ въ пропасть, — и снова качается и спитъ. Ей казалось, что она начинаетъ мѣшаться въ разсудкѣ. Она знала, что смотритъ, что глаза ея открыты, а предметы мѣняются передъ ней, какъ во снѣ, какъ въ горячечномъ бреду: уланы кажутся ей лѣсомъ, лѣсъ—уланами... Передъ глазами то зданія высятся, то пропасти чернѣютъ, то рѣка разстилается... Голова въ огнѣ, такъ отъ нея полымемъ и пышетъ, а самой холодно, вся дрожитъ, и чувствуется, какъ мокрая, холодная рубашка то липнетъ къ тѣлу, то отдирается съ болью, причиняя дрожь.

Третій день продолжается бѣгство—всей-ли арміи, или только нѣкоторыхъ ея частей—этого никто не знаетъ. Но люди бѣгутъ куда-то день и ночь. На Дурову нападаетъ ужасъ: а что, думается ей, какъ она окончательно изнеможетъ и ляжетъ? Вѣдь ее сведутъ въ госпиталь, и тамъ все можетъ открыться. Надо во что-бы то ни стало побороть эту слабость тѣла. Но какъ съ нею бороться? Вонъ остальные уланы, едва остановятся полкъ на полчаса, успѣваютъ выспаться, набраться силъ, а она не можетъ. А тутъ перестаетъ неустанно ливній дождь и начинается жарить солнце. Чѣмъ дальше идутъ, тѣмъ зной усиливается, жажда начинаетъ палить внутренности. Это не простая жажда, а горячечная, жажда внутренняго огня. Есть вода, только дождевая, старая, зеленая, скопившаяся въ при-

дорожных канавкахъ. Это—какая-то зеленая плесень, попробовавъ которую, Алкидъ замоталъ головой и зафыркалъ. А надо пить. Дурова набиралъ въ бутылку этой мутной зелени и везетъ съ собою, не имѣя рѣшимости бросить, ни мужества—проглотить эту ужасную жидкость. Но жажда беретъ свое: несчастная кончила тѣмъ, что выпила, какъ сама признавалась, эту теплую, „адскую влагу“.

По ночамъ, на ходу, уланы роняютъ съ головъ каски. И солдату не въ моготу! А начальство ругается—зачѣмъ люди дремлютъ! Но начальство и само дремлетъ. Даже Бурцевъ, попадающійся иногда на глаза во время остановокъ, смотреть такимъ хмурымъ. Только при видѣ Дуровой лицо его немножко проясняется.

— А что, братуха Алексаша,—усталъ?—спросилъ онъ на третью ночь бѣгства Дурову, когда на ровномъ полѣ и гусарскіе, и уланскіе взводы могли двигаться рядомъ.—Шибко усталъ?

— Да, Бурцевъ, я просто падаю съ сѣдла,—отвѣчала дѣвушка, которая начинала въ душѣ проклинать и войну, и свое безумство.

— А Дениска еще бранить людей, что дремлютъ... чортъ-чортомъ сталъ—презлой... А видишь—вонъ самъ рыбу удить.

Впереди дѣйствительно ѣхалъ Давыдовъ и крѣпко спалъ, кляя носомъ въ гриву своего привычнаго коня. Поводья выпали у него изъ рукъ, плечи сгорбились.

— А вотъ посмотри, Алексаша, — я его, подлеца, проучу, чтобъ не лаялся.

И Бурцевъ, прищипивъ свою лошадь, стремительно проскакалъ мимо Давыдова. Лошадь послѣдняго шарахнулась, — и надо было видѣть изумленіе и торопливость, съ какою сердитый начальникъ подбиралъ распущенные поводья, разбуженный такъ неожиданно.

— А! это ты, ракаля!—процѣдилъ онъ сердито, догадавшись, чья это шутка.

— Не лайся,—пояснилъ Бурцевъ:—это тебѣ за лаенье.

Къ утру они настигли нѣсколько пѣхотныхъ полковъ, обозы, артиллерию. Тутъ только выяснилось Дуровой, что они не все бѣжали впередъ, а дѣлали какіе-то обходные марши, чтобы стать на другомъ крылѣ арміи, ближе къ арьергарду и къ непріятелю. Пѣхотные солдаты имѣли такой видъ, какъ будто-бы они шли на побывку: большею частью босикомъ, въ рубахахъ и съ сапогами, висящими то на штыкахъ, то на плечахъ. Дѣла скорого, какъ видно, не предвидѣлось, и они шли вольно, вольготно, зная, что позади ихъ еще есть свои, землячки — не выдадутъ. У пѣхоты усталости на лицахъ не замѣчалось, а всѣ какъ будто говорили: „что-жъ—коли велѣно идти, такъ и надо-быть идти—это ихнее дѣло, начальничковъ,—не наше“...

Бурцевъ опять подѣхалъ къ Дуровой — улыбается, шуритъ добрые глаза.

— Ну вотъ, Алексаша, скоро и отдохнемъ, а то мнѣ на тебя смот-

рѣтъ жалко—ишь, какъ сбѣжалъ съ лица,—говорилъ онъ участно.—Посмотри-ка на себя въ зеркало.

Дурова слабо улыбнулась и показала на голое поле съ вытоптанными пашнями: какое-де тутъ зеркало!

— Да зеркало при тебѣ, братуха,—истолковалъ ея мысль Бурцевъ.

— Какъ?—недоумѣвающе спросила дѣвушка, вспомнивъ въ то-же время, что будь она дома, не въ этихъ рейтузахъ, она давно полюбопытствовала-бы видѣть свое лицо въ зеркалѣ.

— А вотъ!—сказалъ Бурцевъ:—на—гляди.

И онъ вынулъ изъ ножонъ свою широкую, блестящую саблю и поднесъ свѣтлую ея полосу къ лицу Дуровой. Дѣвушка дѣйствительно увидѣла тамъ отраженіе своего лица. Но что это было за лицо! Черно-блѣдное, съ впалыми, потухшими глазами, съ бѣлыми, растрескавшимися отъ вѣтру и внутреннего жара губами. О! какъ боялась она въ этотъ моментъ, чтобы не узнали, что это—лицо женщины, молоденькой дѣвушки...

Этотъ день назначенъ былъ для отдыха. День выдался не холодный и не жаркій. Земля послѣ дождей просохла и обмывшаяся зелень смотрѣла необыкновенно ярко и весело. Мѣстомъ стоянки былъ избранъ всхолмленный, возвышенный берегъ, внизу котораго протекала, извиваясь, какъ брошенный на дорогѣ чумацкій длинный батоги, небольшая, голубая, поросшая у другого берега камышами и зеленымъ чаканомъ рѣчка. За рѣчкой шли ровныя поля, кое-гдѣ перегораживаемыя молодымъ ельникомъ вперемежку съ березами. Тутъ-же, въ сторонѣ, вдоль рѣчки, вытянулась небольшая деревенька съ почернѣвшими крышами.

Полкъ Дуровой, а равно гусары Мариупольскаго полка и драгуны Новороссійскаго расположились по сосѣдству. Солдаты тотчасъ-же развели огни и копошились около нихъ, тогда какъ другіе ихъ товарищи разсыпались въ разные мѣста—кто за травой и сѣномъ для лошадей, кто—чтобы себѣ что-либо промыслить.

Едва Дурова слѣзла съ коня и осмотрѣлась, какъ Бурцевъ уже отыскалъ ее и тащилъ куда-то, схвативъ за обшлага. Онъ казался веселъ и доволенъ. Лѣвый глазъ по привычкѣ комично подмигивалъ.

— Пойдемъ, пойдемъ Алексаша,—торопился онъ,—Дениска сегодня раскошелливается: чай будемъ пить съ архирейскими сливками—ужъ онъ и бутылку вынулъ. А такъ какъ ты этихъ сливокъ не пьешь, то мы тебѣ достанемъ—ну, да ужъ хоть птичьего молока, а достанемъ... Подоймъ, братъ, французскаго орла—вотъ у насъ и сливки для тебя.

— Да постой, Бурцевъ,—что ты меня тянешь? Точно въ плѣнъ взялъ,—защищалась Дурова.

Бурцевъ подмигнулъ еще хитрѣе.

— И яйца будутъ,—пояснилъ онъ:—я ужъ послалъ на деревню парламентера.

Дурова обѣщала придти тотчасъ-же, сказавъ, что она должна прежде всего позаботиться объ Алкидѣ. И едва она подошла къ деньщику, кото-

рый вываживалъ Алкида, какъ словно изъ земли выросъ старый Пилипенко съ своею неразлучною Жучкою, чуть не погибшею при сожженіи Зеленаго моста, и добродушно, какъ-то отечески улыбаясь, заговорилъ скороговоркой и со свистомъ: еще подъ Фридландомъ онъ сгоряча наткнулся, какъ самъ выражался, на „веретено“—такъ называлъ онъ французскій штыкъ—и потерялъ два переднихъ зуба; а коренные онъ давно потерялъ на службѣ, на гнилыхъ, съ закаломъ и съ хрустомъ, т. е. съ землею, сухаряхъ.

— Ваше благородіе! а я вамъ курочку раздобылъ,—говорилъ онъ ласково и вынулъ изъ-подъ куртки курицу со свернутою головой.

Этотъ старый гусарь, который не долбилъ молодыхъ офицеровъ, барчатъ, матушкиныхъ сынковъ, въ первую кампанію косился сначала и на Дурову; но потомъ привязался къ ней какъ-то отечески, какъ привязался давно и къ своей Жучушкѣ, и хотя Дурова перестала быть гусаромъ и „пошла въ сѣбири“—такъ называли солдаты красногрудыхъ улановъ,—однако, Пилипенко продолжалъ любить ее.

— Жирная, гладенькая курочка,—говорилъ онъ, выщипывая и раздвывая перья своей жертвы,—желтая, какъ воскъ.

— Да гдѣ ты ее взялъ?—спросила Дурова.—На. деревнѣ поймалъ? Какъ-же тебѣ не стыдно! Вѣдь это грабежъ, мародерство...

— Какое, ваше благородіе, міродерство!—добродушно оправдывался старый гусарь.—Она, эта курочка, дикая—она ничья.

— Какъ ничья?

— Да ничья, ваше благородіе: хозяева всѣ попрятались... Да и то сказать—завтра ее, эту курочку, все равно французъ слопалъ-бы, такъ ужъ лучше не доставайся ему.

Дурова сообразила, что Пилипенко былъ правъ. Не однѣ куры попадаютъ въ руки французовъ!.. Все еще съ угрызениемъ совѣсти, нерѣшительно, но она взяла курицу, тѣмъ больше, что только теперь, на покой, она почувствовала давно сидѣвшій въ ней голодъ, и вынула изъ кармана монетку, чтобы дать услужливому гусару.

— Затѣмъ-же, ваше благородіе! за что обижать старика!—обиженно заговорилъ гусарь.—Я не жидъ какой-нибудь—не торгую.

— Да какъ-же, братъ! А ты съ чѣмъ-же останешься?

Пилипенко улыбнулся и изъ-подъ другой полы вынулъ пѣтушка.

— У меня кочетокъ, ваше благородіе.

Дѣвушка засмѣялась, обняла старика и пошла розыскивать Давыдова и Бурцева.

У Давыдова уже была раскинута палатка, и къ нему собралось довольно большое общество офицеровъ, между которыми по обыкновенію особенно бурлилъ Бурцевъ. Онъ требовалъ, чтобы веселая компанія непременно расположилась въ палатки, подъ открытымъ небомъ, на травѣ и на коврѣ—„кто любитъ бабиться“,—вокругъ „эскадроннаго костра“, какъ онъ выражался! Костеръ этотъ усердно разжигалъ деньщикъ Давыдова,

Рахметка, изъ сызранскихъ татаръ, пренеутомимое узкоглазое, чернолицое существо. Бурцевъ, горячася и споря разомъ со всѣми, безъ фуражки, съ всключенною головою, рылся что-то въ кострѣ.

— Бурцевъ! а—Бурцевъ!—смѣялся дискантомъ массивный, хотя еще очень молодой, широкоплечій драгунскій офицеръ, тщательно выбритый и щеголевато одѣтый.—Позволь, братъ, припустить моего коня къ твоей головѣ.

— А зачѣмъ тебѣ?—не поворачивая головы, отвѣчалъ Бурцевъ.

— Да у тебя столько набилось сѣна въ волосы, что на кормъ моему коню хватить,—отвѣчалъ драгунъ.

Всѣ засмѣялись. Бурцевъ приподнялся, прищурилъ лѣвый глазъ и сталъ ощупывать свою голову.

— А вѣдь и въ самомъ дѣлѣ, чортъ побери, сколько тутъ сѣна! прорва!

— Да оно у тебя растетъ тамъ,—добавилъ драгунъ.

Бурцевъ повидимому ошетинился. Оба глаза его прищурились, и онъ сталъ фертить, вызываяще глядя на Усаковского—такъ звали драгуна.

— Господа, прислушайте!—возвысилъ голосъ Бурцевъ.—Мы съ Усаковскимъ мѣняемся головами: онъ беретъ мою съ сѣномъ въ волосы, чтобъ моимъ сѣномъ накормить своего коня, а намъ даетъ свою во щи... Ура! господа—мы сегодня щи ѣдимъ со свѣжей капустой.

Снова кое-кто засмѣялся; но Усаковский не обидѣлся, да и некогда было: всѣ обратились къ Дуровой, которая принесла курицу.

— Ай да Алексаша!—торжествовалъ Бурцевъ.—Сегодня у насъ щи и жаркое изъ курицы... Эй, Рахметка! скуби и потроши курицу на жаркое. Потомъ онъ покопалъ въ кострѣ и вынулъ оттуда пару печеныхъ яицъ.—Это тебѣ, Алексаша... Денискины—у него скралъ,—говорилъ онъ шепотомъ, но такъ, что всѣ слышали.

Давыдовъ, который въ это время отдавалъ приказанія фельдфебелю, только улыбнулся на слова Бурцева.—„Это за то, что онъ ночью лялся“, пояснилъ послѣдній.

Дурова хотѣла было свести разговоръ на то, что ее занимало въ настоящемъ дѣлѣ, т. е. въ какомъ положеніи находятся военныя дѣла, что значить это отступление, когда будетъ дано сраженіе и т. п.; но Бурцевъ остановилъ ее.

— Охота тебѣ, Алексаша, такими пустяками заниматься! Это дѣло штабныхъ. А когда придетъ пора драться—будемъ драться.

— Да куда мы идемъ?—допытывалась Дурова.

— На богомолье, — процѣдилъ Давыдовъ: — къ Смоленской Божіей Матери.

— Вѣрно, — пояснилъ Усаковский: — ужъ насъ почти до Смоленска догнали.

Между тѣмъ поспѣлъ чай въ походныхъ чайникахъ. Рахметка, стоя надъ костромъ, въ обѣихъ рукахъ держалъ по шомполу: на одномъ вздѣта

была принесенная Дуровой курица, на другомъ—огромный гусь, раздобытый деньщикомъ Бурцева. Нашлись и старыя колбасы, еще виленскія, „стара вудка“ въ плетенкѣ, ромъ...

Вдругъ невдалекѣ заревѣла корова... Всѣ оглянулись и невольно расхохотались. Нѣсколько гусаръ держали за рога невѣдомо откуда явившуюся корову—должно быть, бѣжала изъ лѣсу отъ хозяевъ, которые со скотомъ и имуществомъ спрятались въ лѣсу—а Бурцевъ, припавъ на корточки, усердно доилъ ее въ жестяную манерку, постоянно ворча на гусаръ: „Да держите-же, черти, дьяволы!—все проливаю...“

Черезъ минуту онъ уже стоялъ передъ Дуровой, держа манерку съ парнымъ молокомъ.

— Это Алексашѣ, сливки,—говорилъ онъ, шурясь лѣвымъ глазомъ,—а намъ Денискины сливочки, отъ египетской коровы.

Потомъ онъ взялъ стоявшій на коврѣ ларецъ, досталъ изъ него самый большой стаканъ, положилъ сахару и развелъ сахаръ горячимъ чаемъ, налитымъ менѣе чѣмъ до половины стакана.

— Дружище, Усаковский, передай-ка мнѣ сливки,—обратился онъ съ самымъ добродушнымъ видомъ къ драгуну, съ которымъ за нѣсколько минутъ предъ этимъ повздорилъ было.

— Какіе сливки?—спросилъ тотъ недоумѣвающе. — Мы безъ сливокъ пьемъ.

— Да вонъ-же молошникъ у тебя подъ носомъ стоитъ — экой ты, братецъ!

Усаковский догадался,—передъ нимъ стояла бутылка съ ромомъ. Онъ улыбнулся.

— На-на,—говорилъ онъ, подавая бутылку:—не скислись-ли только.

— Эти не скисаются, потому отъ библейской коровы. — И Бурцевъ долилъ свой стаканъ ромомъ.

Давыдовъ и сегодня казался не въ духѣ. Онъ, сидя на коврѣ, крутилъ правый високъ, что означало у него или волненіе, или внутреннюю работу. Эти дни у него почему-то не шель изъ головы тотъ вечеръ, который онъ, пять лѣтъ назадъ, провелъ въ Москвѣ у Хомутовыхъ, когда княгиня Дашкова вспоминала свою молодость...—„А намъ-то и вспомнить нечѣмъ будетъ нашу молодость“,—досадливо говорило его сердце: „такъ канитель тнемъ... и насъ постъ никто не вспомнить...“

— Это чортъ знаетъ что такое!—сказалъ онъ, наконецъ, выпивъ залпомъ свой стаканъ.

Всѣ посмотрѣли на него. Бурцевъ, мигая лѣвымъ глазомъ, старался не смотрѣть на Дурову и пилъ свой пуншъ скромно, маленькими глотками. Дурова вопросительно смотрѣла на Давыдова: она давно замѣтила, что онъ скучаетъ и часто, задумываясь, говорить что-то самъ съ собою.

— Такъ жить нельзя, господа! — продолжалъ Давыдовъ, теребя високъ. — Что мы за копители неба! Насъ гонять, а мы даже и оглядываться не смѣй; не смѣй заглянуть въ рыло тому, кто тебя гонитъ. Вонъ

Фигнеръ—дѣлаетъ свое дѣло, и Сеславинъ начинаетъ лакомиться французатиной, и Платовъ съ своими казачишками отъ почечую лечится французскими красными каплями—*guttae sanguinis*... А мы...

Не успѣлъ онъ кончить, какъ уже Бурцевъ душилъ его въ своихъ объятіяхъ.

— Денисунка! красавецъ!—теребилъ онъ своего друга.—Да ты, дьяволова душа,—геній! Ты намъ всѣмъ въ душу залѣзъ и увидѣлъ, что мы съ голоду умираемъ—такъ французатины хочется.

— Ну, полно—полно, перестань меня душить, чортовъ ноготь! — отбивался Давыдовъ.

Бурцевъ, отскочивъ отъ него, повернулся къ Дуровой, раскрылъ руки, настежь развелъ ихъ, какъ для объятій, и засеменялъ ногами.

— Алексаша! другъ! ангелъ! поцѣлуемся!—Потомъ, какъ бы опомнившись, онъ смѣшался и отступилъ назадъ, бормоча: — эхъ, свинья я! Отъ меня винищемъ несеть...

— Слушайте, господа,—продолжалъ Давыдовъ...—Мои ребята встрѣтились недавно съ казаками изъ атаманскаго полка—за фуражомъ ѣздили и по своему казацкому обычаю вынюхивали, нельзя ли чѣмъ поживиться. Такъ эти бестѣи-ицейки сказывали нашимъ, что недалеко отсюда замѣтили они обозъ непріятельскій, — обозъ хорошій, и прикрытія у него немного. Такъ вотъ я и думаю себѣ — не попытать ли счастья: обозъ обозомъ, а то десяточекъ-другой и дичи настрѣляемъ, и полону себѣ захватимъ, да поразспросимъ: что и какъ? Какъ думаете?

Всѣ согласились съ радостью и порѣшили ночью же, вызвавъ охотниковъ, отправиться въ тайную экспедицію.

— Чѣмъ болши блахамъ кусать, тѣмъ менши будить гранцузамъ спать,—одобрилъ общее рѣшеніе Рахметка.

— Bravo, Рахметка!—обрадовался Бурцевъ...—Да ты, чортъ побери, философъ!

V.

Дурова проснулась, когда уже было совсѣмъ темно. Когда она, сидя у „эскадроннаго костра“, напилась чаю съ парнымъ молокомъ „бурцевскаго удою“, какъ выражался силачъ Усаковский, потомъ подкрѣпилась виленской колбасой, курицей и гусемъ, отлично сжаренными на шомполахъ Рахметкою, ее охватила такой непобѣдимый сонъ, что она тутъ же, у костра, на соломѣ, положивъ голову на чье-то сѣдло и прикрывъ лицо носовымъ платкомъ, что называется, въ воду канула. Истомленная трехдневною безсонницею, усталостью, голодомъ и лихорадкою, она спала какъ убитая, не чувствуя, что день уже кончился, солнце сѣло, солдаты и лошади отдохнули, и только одинъ Бурцевъ бурлилъ, не переставая, налилавшись до икоты на радостяхъ, что вотъ-де сегодня Дениска поведетъ ихъ добывать французатины. Дурова не слышала даже, какъ Бурцевъ, который и во

хмѣлю помнилъ, что съ „Алексашей“ надо обходиться деликатнѣе и беречь ее, притащилъ откуда-то бурку и прикрылъ ею своего „Алексашу“ — „чтобъ онъ, канальство, не простудился“. Дурова и того не слыжала, какъ тутъ же, около нея, чуть не разыгралась кровавая драма. Разбуженный Бурцевъ, вспомнивъ недавнюю свою сценку съ Усаковскимъ, снова сталъ задирать его. Тотъ посоветовалъ ему проснаться. Бурцевъ вспылилъ и обозвалъ Усаковского „маринованною головою“. До того смирный и уступчивый, Усаковский пришелъ въ ярость и, выхвативъ саблю, бѣшено закричалъ:

— Защищайся, пьяная рожа, а то я убью тебя, какъ собаку!

Бурцевъ посмотрѣлъ на него пьяными глазами, съ трудомъ обнажилъ свою саблю и сталъ въ позицію, икая и покачиваясь.

— Такъ на сабляхъ?.. Отлично, чортъ побери.. безъ секундантовъ... люблю, люблю—это по-гусарски... Ай да маринованная голова! — бормоталъ онъ.

— Защищайся!

Сабли скрестились, завизжали, скользя сталью по стали... Откуда имъ возмись Давыдовъ...

— Стойте, черти, дьяволы! что вы! взбѣсились! — и онъ кинулся грудью на скрещенныя сабли.—Я васъ арестую... бросайте сабли!

Эта неожиданность смутила противниковъ. Они опустили сабли. Усаковский стоялъ блѣдный...

— Да какое вы имѣете право, господинъ Давыдовъ?—заговорилъ онъ, знаясь.

— Какое право! право друга... А ты, пьяная бутылка, — обратился онъ къ Бурцеву, подступая къ самому его носу:—проси прощенія у товарища... Вѣдь ты спяну оскорбилъ его... Проси прощенія — цѣлуйся съ нимъ.

Бурцевъ, котораго гнѣвъ проходилъ скорѣе, чѣмъ хмѣль, тотчасъ-же полѣзъ цѣловаться.

— Ну, прости, братуша... прости—больше не буду называть маринованной головой... Прости... а то Алексаша увидитъ... мнѣ будетъ стыдно...

Усаковский, улыбаясь, обнялъ его... „А все-таки у тебя на головѣ копна сѣна“, заключилъ онъ.

Когда Дурова проснулась, то сначала никакъ не могла сообразить, гдѣ она и что съ ней. На ночь костры всѣ были потушены, чтобъ не привлекать вниманія непріятеля, и кругомъ слышался глухой, неясный говоръ. Она приподнялась и осмотрѣлась — память воротилась къ ней. Одного она не могла понять, откуда взялась эта бурка, которую она ощутила на себѣ.—„Развѣ это добрякъ Пилипенко прикрылъ меня?“ подумала она. Она припомнила весь день, всѣ предшествовавшіе дни, которые съ самаго выступленія изъ Вильны прикрывались какою-то мрачною дымкою. На душѣ у нея стало опять тяжело, хотя, подкрѣпившись пищею и сномъ, она чувствовала себя здоровою и бодрою.

Она оглядѣлась кругомъ, и ее поразили какія-то багровыя колосы на западномъ горизонтѣ. Она смотрѣла и не могла понять, что это такое. Заря, конечно, не можетъ быть такою багровою. Это не заря—это что-то зловѣщее, невиданное: это зарево огня, зарево пожаровъ... Это далеко гдѣ-то горитъ, и горитъ не въ одномъ мѣстѣ, а на далекомъ разстояніи... Огни то дальше, то ближе...

„Боже!“—она догадалась—„это горятъ села, это горитъ покинутый нами край“... Что-то вроде тупого испуга охватило ее: то былъ испугъ передъ стихіею, предъ неизбежнымъ... „Пылаетъ Россія... вотъ до чего мы дожили“...

Вслѣдъ за минутнымъ испугомъ—испугомъ не лично за себя, а передъ какимъ-то страшнымъ, слѣпымъ и невидимымъ рокомъ—въ ней шевельнулось нехорошее чувство, чувство злобы къ кому-то, но къ кому—она этого сама ясно не сознавала. Одно сознавала она съ болью, со стыдомъ, что во всемъ этомъ есть кто-то виноватый, виноваты многіе, и ей казалось, что и она тутъ виновата. Она чувствовала, что этого, чего-то страшнаго, неотвратимаго, могло-бы и не быть; мало того—оно не должно-бы быть совсѣмъ, а оно есть—вонъ оно, вонъ какъ пылаетъ! А что-же тамъ, что они, эти, у которыхъ все это дѣлается,—что они чувствуютъ?..—„Ахъ зачѣмъ-же! зачѣмъ это! чѣмъ они тутъ виноваты!“ гвоздило и ныло у нея въ душѣ. Нытье это было невыносимо. Это было далеко не то чувство, которое она испытывала въ битвахъ при Гуттштадтѣ и подъ Фридландомъ: то было также скверное чувство, и горькое, и обидное, но тамъ все это какъ-бы скрашивалось шумомъ, грохотомъ, свистомъ, стонами, криками—криками кругомъ и въ глубинѣ души; тамъ было какое-то движеніе, страстное чувство борьбы, ожиданіе, что вотъ-вотъ все это кончится, исчезнетъ, замолчитъ. А тутъ—это-то молчаніе тамъ, гдѣ-то далеко, эта мертвая по-ридимому тишина тамъ и это, такое-же тихое, молчаливое, мертвое зарево—вотъ гдѣ ужасъ!.. „Господи! да за что-же! зачѣмъ-же!“

Она вскочила—и наткнулась на Бурцева, который шелъ, пошатываясь и бормоча что-то. Она даже пьяному Бурцеву обрадовалась. Онъ узналъ ее и остановился.

— Ахъ, Алексаша—видишь, видишь, голубчикъ? взявъ дѣвушку за руку, тихо, какъ бы шепотомъ, словно-бы боясь, чтобы не услышали его,—заговорилъ онъ. — Видишь, Алексаша? (онъ указывалъ на зарево). Это они... Зачѣмъ? за что-же? зачѣмъ-же ихъ-то!

Холодомъ обдало ее отъ этихъ словъ. И онъ то-же думаетъ!.. „Зачѣмъ-же! за что-же!“

— А я тебя, Алексаша, бурочкой прикрылъ, а то холодно стало, — перемѣнилъ свою мысль Бурцевъ.

— Спасибо, ты всегда такой милый.

— Нѣ-нѣ, Алексаша... я—я пьяная скотина... Ахъ, за что-же это!—снова обратился онъ къ зареву.

— А гдѣ Давыдовъ?

— Онъ тамъ распоряжается, отдастъ приказанія... Вѣдь мы, Алексаша, знаешь (и Бурцевъ съ таинственностью пьянаго нагнулся къ самому уху дѣвушки),—мы сегодня ночью... тово... въ гости къ этимъ подлецамъ... Ухъ, и зудятъ-же руки!

Дурова вспомнила, что въ эту ночь предполагалось сдѣлать нечаянное нападеніе на непріятельскій обозъ, и въ ней зашевелилось чувство какъ-бы ожидаемой какой-то удовлетворенности, успокоенія отъ глухой, ноющей боли. Она тотчасъ-же пошла къ эскадронному начальнику заявить о своемъ намѣреніи. Когда она подошла къ эскадрону, то Алкидъ, узнавъ ее въ темнотѣ, сорвался съ коновязи, подбѣжалъ къ ней съ радостнымъ ржаніемъ и, положивъ морду на ея плечо, такъ дохнулъ ей въ лицо, что дѣвушка отшатнулась и невольно ударила его по носу.—„Противный какой! какъ дышетъ!“

Одни изъ ея уланы возились около коновязей, другіе у сѣделъ, лежащихъ на землѣ. Тутъ-же слышенъ былъ и голосъ стараго Пилипенка: „Ни-ни, подлая, ни Боже мой! тебя нельзя брать—мы въ секретъ ѣдемъ... А ты, дура, не утерпишь—залаешь“.

Дурова догадалась, что это Пилипенко разговариваетъ съ Жучкой. И мысль ея вдругъ почему-то перенеслась далеко отсюда, къ тѣмъ мѣстамъ, гдѣ она провела послѣдніе годы своего дѣтства: передъ нею—широкая Кама, такая тихая, гладкая; а она, Надя Дурова, сидитъ на берегу Камы и думаетъ о томъ, какъ она, Надя, будетъ воевать съ Наполеономъ—о томъ, вотъ объ этомъ самомъ, что теперь она дѣлаетъ, но тогда не такъ это представлялось—о! далеко не такъ!.. тогда она и Пилипенка не знала, и Жучки не знала: тогда она знала только своего кота Бонапартушку да Робеспьерку-волкодава, который чужихъ цыплятъ любилъ, да косматаго Вольтерку, который не любилъ свиней... И добрый Артемъ конюхъ... А отецъ! — „Милый, милый папа! какъ онъ постарѣлъ, должно быть...“ И она много пережила въ эти пять лѣтъ: и Кама, и отецъ, и Артемъ постоянно вытѣснялись другими лицами, другими картинками—Сперанскій, Наполеонъ, Тильзитъ, Нѣманъ, Фридрихъ, Грековъ... Этотъ образъ, кажется, и недостижимъ всѣхъ, и всѣхъ ближе. Гдѣ-то онъ!

— И с....ъ же ты сынъ, я тебѣ скажу, братъ: я тебѣ, с....у сыну, надѣсь цѣлую луковницу далъ, а ты мнѣ щедоты кирпичику не даешь... Видишь—бляхи почистить нечѣмъ,—говорилъ одинъ уланъ другому.

— Разсказывай, чортъ, — луковница, что луковница! попрекать ѣдой грѣхъ... а кирпичику самому мнѣ не хватитъ поди... А то луковница!

— Ишь, черти, какъ жгутъ чужое добро, и жалости въ нихъ нѣту...

— Какая жалость! Ишь горитъ... словно свѣчечка передъ Господомъ...

— А то луковница!

— Ну и луковница—что-жъ! а тебѣ грѣхъ...

„Каждый о своемъ!“ подумала Дурова, и ей стало еще грустнѣе.

Эскадронный командиръ, которому она заявила о своемъ намѣреніи

принять участіе въ ночной экспедиціи, сначала уговаривалъ ее не ѣздить, представляя ей всё опасность такого рискованнаго предпріятія; но когда перечисленіе опасностей на нее не подѣйствовало, онъ сталъ было доказывать незаконность, съ научно-военной точки зрѣнія, такого казацкаго, хищническаго способа веденія войны, говоря, что регулярнымъ войскамъ заниматься этимъ „неприлично“, что „военная наука, въ чистомъ ея значеніи, не одобряетъ этого“, и другія „ученыя“ тонкости...

— Неприлично, господинъ ротмистръ?—съ дрожью въ голосѣ возразила дѣвушка. — А это прилично? (она указала на зарево). Это ваша наука одобряетъ?

— Но это, господинъ Александровъ, злоупотребленіе законами войны...

— Законы войны! Война имѣетъ законы! Да развѣ сама война не есть нарушеніе всякихъ законовъ,—и божескихъ, и человѣческихъ?

Ротмистръ насмѣшливо, съ видомъ глубокомыслія посмотрѣлъ на нее... „О, нѣмецкая тупица!“ чуть было не сорвалось съ языка дѣвушки, и она бросилась отыскивать Давыдова.

Черезъ часъ послѣ этого отрядъ охотниковъ перебрался вбродъ черезъ рѣчку и направился на западъ, слѣдуя на огни пожаровъ. Впереди ѣхалъ Давыдовъ, сторбившись какимъ-то круглымъ комомъ на сѣдлѣ. Лицо его было серьезно и задумчиво. Дуровой казалось, что она видитъ другого Давыдова,—не того живого Дениску, который такъ часто „пылилъ“ и накидывался на своего друга Вурцева. Его лицо, казалось ей, напоминало теперь выраженія тѣхъ лицъ, которыя, стоя въ церкви у амвона, передъ сосудомъ съ дарами, полушепотомъ и со страхомъ повторяютъ за священникомъ: „днесь, Сыне Божій, причастника мя приими, не яко Іуду, но яко разбойника“... Можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ Давыдовъ молился теперь, какъ передъ страшными дарами... Въ темнотѣ фигура Усаковского казалась еще массивнѣе. Голова его была высоко поднята; онъ, казалось, хотѣлъ заглянуть теперь своими глазами дальше и глубже, чѣмъ куда можетъ проникнуть глазъ человѣческій.—проникнуть въ невидимое и невидимое. На лицѣ Вурцева и слѣда не оставалось того, что онъ недавно былъшибко пьянъ. Сейчасъ только, когда уже сѣдлали лошадей, Рахметка вылилъ ему на голову съ полдюжины манерокъ воды, и онъ былъ теперь причесанный, чистенькій, съ добрымъ, дѣтскимъ выраженіемъ на лицѣ, которое съ любопытствомъ заглядывало туда, въ глубь ночи.

Дурова оглянулась на солдатъ. Они были все тѣ-же, какими она видѣла ихъ, когда они ничѣмъ не были заняты, и повидимому ни о чемъ не думали: „работы никакой, ѣдешь себѣ смирно, дѣло свое знаешь, начальство тебя не бранить—чего-жъ тебѣ еще!“ казалось, говорили эти лица. Только Пилипенко, какъ старый солдатъ, котораго всѣ называли „дяденькой“, осматривалъ иногда своихъ племянничковъ: то вдоль по фронту поглядить, ровно-ли идутъ кони, не зарывается-ли который, то зорко глянетъ впередъ. Лицо у него болѣе строгое, чѣмъ обыкновенно, словно-бы онъ въ церкви стоитъ, и какъ ни старается уловить смыслъ

того, что читаетъ дьячекъ въ паремѣ, все никакъ не можетъ уловить, хотя чувствуетъ, что что-то глубокое, непостижимое, но душѣ понятное читается тамъ.

Вотъ уже они много проѣхали. То ровнымъ полемъ и вытопанными пашнями проѣдутъ, то лѣскомъ прослѣдуютъ, то балкой потянутся нѣсколько времени и снова выѣдутъ на открытое мѣсто. Пожарное зарево все ближе виднѣется, а кругомъ мракъ болѣе и болѣе сгущается. Всѣ ѣдутъ молча.

Давыдовъ на минуту поворачиваетъ коня и останавливается.

— Ребята, не дремать,—говоритъ онъ тихо, но внятно. — Подобрать поводья, сабли прижать колѣнкой къ сѣдлу, чтобы звуку не было, другъ съ дружкой не сближаться, чтобы стрема о чужое не заговорило... Глядѣть зорко, въ оба—промаху чтобы не было!

Кто-то глубоко, во всю грудь вздохнулъ.

Давыдовъ раздѣлилъ отрядъ на три части: одну онъ оставилъ при себѣ, другую поручилъ Усаковскому, остальную — Бурцеву. Пилипенко и Дурова остались при Давыдовѣ.

Солдаты стали размѣщаться по партіямъ. Они это дѣлали такъ же спокойно, какъ и на стоянкѣ, словно бы собирались на водопой.

— А ты осади—что сталъ! Эй ты—который!

— Что! не на твоей землѣ сталъ—али мало мѣста?

— Такъ-ту, братцы, лучше—въ аккуратѣ, потихоньку да полегоньку.

— А то на?.. луковица! Эхъ, человекъ тоже!

— А вы полно,—успокаивалъ Пилипенко:—на всѣхъ хватить...

— А ты стремемъ не звони, чортъ!

— Не лайся—грѣхъ... Не приказано...

— А вже-жъ и бисивъ комаръ! укусивъ у саме око...

Размѣстились. Поводья подобраны. Все въ струнку. — „Смирно!“ командуетъ Давыдовъ. Чего-жъ еще смирнѣе! Теперь и комаръ укуситъ, такъ не икнутъ: потому—смирно!

По распоряженію Давыдова, Бурцевъ съ своею горстью долженъ былъ идти прямо. Самъ Давыдовъ и Усаковскій съ своими людьми — зайти съ боковъ.

Раздѣлившись такимъ образомъ, партизаны тихо подвигались еще съ полчаса подъ прикрытіемъ небольшого лѣска, изъ-за котораго виднѣлось небольшое пламя: это догорала деревенька. Затѣмъ Давыдовъ велѣлъ снова остановиться. Сойдя съ коня и отдавъ его фланговому гусару, онъ знакомъ подозвалъ къ себѣ жидка—такъ звали бойкаго, рябого гусара, выкреста изъ евреевъ,—и стараго Пилипенка. Тѣ тоже сошли съ лошадей, и всѣ трое тихо пошли лѣсною прогалинкой на огонь.

Ночь была тихая. Въ травѣ и въ лѣсу трещали кузнечики, да повремениамъ откуда-то издали доносился не то вой собаки, не то плачь какой-то страшный... Ночные звуки всегда такъ таинственны...

Дурова посмотрѣла на небо. Знакомыя звѣзды... давно когда-то, еще тамъ на родинѣ, она знала ихъ. Теперь онѣ едва мигаютъ, блѣднѣютъ—

время идетъ къ утру. Вонъ и уланы нѣтъ-нѣтъ да и перекрестятъ ротъ—зѣваютъ, хоть и выпались за день.

Какъ-будто колокольчикъ—тонкій, тонкій—слышится вдали. Нѣтъ, это не колокольчикъ. Это все тѣ-же таинственные звуки ночи—не то они на землѣ, не то въ небѣ, на воздухѣ, зарождаются и безслѣдно исчезаютъ... Алкидь насторожилъ уши—что-то сопить впереди, шуршитъ; это ежъ нюхаетъ воздухъ—вонъ черный клубокъ прокатился въ лѣсъ...

Изъ лѣсу вышелъ Давыдовъ съ своими спутниками и быстро подошелъ къ своимъ товарищамъ.

— Все хорошо... Спать, что убитые... Мы ихъ, какъ мокрымъ рядомъ, накроёмъ,—говорилъ онъ торопливо.—За мной, ребята—справа заѣзжай—тихо, не звени... Уланы, пики на перевѣсъ... ты, Бурцевъ, ударъ прямо на обозъ, а мы съ боковъ примемъ...

Дурова подобралась, укрѣпилась на сѣдлѣ и оглянула всѣхъ. Пилипенко, сѣвъ на лошадь, широко перекрестился. За нимъ перекрестились всѣ. Даже Бурцевъ сдѣлалъ крестное знаменіе.

„На сонныхъ!“ шевельнулось что-то въ душѣ Дуровой, и она вздрогнула. Но въ то-же время на далекомъ синѣющемъ горизонтѣ она увидѣла тѣ-же багровыя полосы, что и прежде, съ вечера видѣла, и она изо всей силы тиснула обнаженную саблю холодною какъ ледъ рукою... „Не отъ меня это—такъ тому и быть“... И въ этотъ же самый моментъ ей такъ захотѣлось быть дома, тамъ, около отца, что у нея невольно въ глубинѣ души выкрикнулось: „папа! папа мой!“

Дальше—она ничего уже не помнитъ въ послѣдовательномъ порядкѣ; это какая-то страшная путаница: лошадиный топотъ, звяканье стремятъ, испуганные крики, стоны, какой-то ревъ; ея сабля ударилась о что-то какъ-бы упругое, и застряла тамъ—она съ трудомъ ее выдернула... Это былъ раздробленный ею черепъ... да, черепъ! кто-то ничкомъ упалъ раскинувъ руки... О! это въ тысячу разъ казалось ей страшнѣе, омерзительнѣе, чѣмъ подъ Фридландомъ... Тамъ что-то величественное, грандіозное, шумное; а тутъ... Только крики какіе-то неясныя да стоны, да выкрики ужаса, да удары смѣшанные—желѣзо на желѣзо—вотъ что стояло въ этой суматохѣ. Надъ всѣми криками и выкриками этой адской ночи преобладалъ одинъ: „les cosaques? cosaques! oh“!..

Свалка шла въ ея растерявшихся глазахъ то какою-то нестройною кучею, то въ-одиночку что-то тамъ дѣлали, то ея Алкидь—ей казалось, что это не она, а Алкидь—бѣшено кидался между какими-то фурами, а она машинально махала саблей и за что-то задѣвала... Разъ только она сознательно слышала, какъ надъ ея ухомъ внезапно раздался голосъ Бурцева: „ай да, Алесаша! ловко рубанулъ!“ Да послѣ, когда уже почти совсѣмъ стало свѣтло, она увидѣла, какъ мимо нея проѣхалъ Пилипенко, перекинувъ что-то впереди себя черезъ сѣдло—кажется, чья-то голова свѣсилась у него съ сѣдла и чьи-то руки хватились за гриву его ло-

шади—и Пилипенко торопливо сказалъ ей: „назадъ, ваше благородіе, кончили, наша взяла... Назадъ пора“...

Окончательно она опомнилась, когда уже было совсѣмъ свѣтло и всѣ они рысью скакали по жнитву, и тутъ же ѣхали съ ними какія-то фуры, обвязанныя кожей, а сверху фуръ—привязанные веревками люди въ синихъ и зеленыхъ съ краснымъ мундирахъ. Это были плѣнные французы и отбитыя у непріятеля фуры. Бурцевъ весело смѣялся, показывая своему Денискѣ на нее, Дурову, пальцемъ.

— Алексаша чортomъ дрался, а теперь раскисъ,—говорилъ онъ, оскаливая бѣлые зубы и подмигивая лѣвымъ глазомъ.

И Дениска весело улыбался, и всѣ уланы, и гусары, драгуны смотрѣли весело, словно бы они съ ученья, только у иныхъ были подвязаны руки, у кого голова повязана.

— Вотъ тѣ и луковица, чортъ! Говорилъ — грѣхъ попрекать ѣдой; вотъ тебя и поцарапали маленько,—говорилъ одинъ уланъ своему сосѣду, который вчера не далъ ему кирпичику почистить бляхи.

А Пилипенко ѣхалъ рядомъ съ одной фурой, на которой лежалъ, раскинувъ руки, длинный, красивый, загорѣлый французъ въ рейтузахъ съ желтыми лампасами и съ такою же желтой грудью и тихо стоналъ.

Когда счастливые партизаны пріѣхали къ мѣсту привала своихъ полковъ, со всѣхъ сторонъ окружили ихъ солдаты—кричали, не слушая другъ дружку, спрашивали, смѣялись, лѣзли къ фурамъ съ плѣнными, дивовались на нихъ, словно-бы это были съ того свѣта, развязывали ихъ, ласково спрашивали, какъ кого зовутъ...—„Эй, мусью! не бойся!“—„Иди, иди смѣло, голубчикъ,—на насъ кресты“.—„Не пужай ихъ, братцы!“—„Сала-мала, сала-кала—эхъ ма!“ французилъ какой-то веселый уланчикъ. — „Эй, Рахметка! поговори съ ними пособачьи!“ — „Что пустое мелешь!“

Дико, испуганно смотрѣли плѣнные. Ихъ было человѣкъ пятнадцать, повидимому люди разнаго оружія и разныхъ полковъ. Были и старые, и молоденькіе.

Пилипенко вмѣстѣ съ своимъ фланговымъ снималъ съ фуры раненаго высокаго француза съ желтой грудью, постоянно цыкая на Жучку, которая, казалось, съ ума сошла отъ радости.

— Да цыцъ ты, окаянная! Тише, тише, братику—полегоньку сымай,—говорилъ онъ фланговому, снимая съ фуры раненаго, котораго онъ самъ, добрый Пилипенко, въ горячности перваго натиска просадилъ въ грудь никою.

— Ой-ой!—слабо выкрикнулъ раненый французъ.—Ой, болитъ!—о—о—не рушьте мене...

У Пилипенка и руки опустились. Солдаты ахнули, услыхавъ отъ француза такую рѣчь.

— Братцы! да это хохоль—не французъ... Вотъ исторія!

— А може бѣглый, изъ нашихъ...

Всѣ обступили страннаго француза-хохла. Подошли и Бурцевъ, и Дурова.

— Да онъ, бѣдный, кажется, въ грудь раненъ,—жалостливо сказала послѣдняя.

— Въ груди, въ правую, ваше благородіе,—тихо сказалъ Пилипенко, сисясь поддержать несчастнаго.

— Доктора! доктора скорѣе!—кричалъ Бурцевъ.—Грудь ему разстегнуть надо—вонъ кровь.

Дрожащими руками Пилипенко сталъ разстегивать раненаго. Бурцевъ помогалъ ему. Несчастнаго положили на землю. Разорвали рубаху на груди. Рана краснѣлась справа почти у подмышки, и изъ нея текла кровь. Бурцевъ зажалъ рану рукою, сисясь остановить кровь. Пилипенко припалъ на колѣни, блѣдный, безмолвный, дрожащій. На груди у раненаго, мускулистой, широкой, на черномъ гайтанѣ блестялъ большой крестъ, такой пменно, какіе продаются въ кіевскихъ пещерахъ.

Увидавъ этотъ крестъ, взглянувъ на грудь и на лицо раненаго, Пилипенко ударился головой объ землю и зарыдалъ, какъ женщина.

— Ой-ой-ой!.. Ооооо! Я убилъ своего сына!.. Оо! сынку мій! Грицю!.. Оо! сына убилъ, проклятый! Оо! Грицю! Грицю!

Всѣ были поражены. Никто ничего не понималъ. Собака, поднявъ морду къ небу, жалобно выла.

— Тату-тату,—простоналъ раненый:—вы не вбили мене... я... я не вмеръ ще...

VI.

Раненый не умеръ. Атлетическое здоровье плѣннаго и задержаніе крови сдѣлало то, что когда докторъ, осмотрѣвъ и перевязавъ рану, заставилъ больнаго выпить стаканъ вина для возбужденія жизненности въ тѣлѣ, французъ-хохолъ окончательно пришелъ въ сознаніе и дѣйствительно призналъ въ Пилипенкѣ своего отца, равно какъ и Пилипенко вновь убѣдился, что это его любимый сынъ, Грицько Пилипенко, котораго онъ такъ усердно, ночью, во время нападенія на французскій обозъ, саданулъ пикою, что чуть не отправилъ на тотъ свѣтъ.

Но какъ Грицько, сынъ Пилипенка, попалъ въ ряды французовъ и шелъ на Россію въ числѣ двадцати языкъ?

Удивительна историческая судьба украинца! То онъ, какъ плоть отъ плоти и кость отъ костей тѣхъ славянъ-полянъ, которые „имѣли стыденіе къ снохамъ“, въ то время когда другіе славяне его не имѣли, возжигается въ Кіевѣ первый свѣточъ человѣческаго развитія и пересаживается на кіевскую почву и новое ученіе вѣры, и старую культуру классической Греціи, изображая изъ себя зерно, изъ котораго выросло великое дерево русской земли; то онъ, погранный и поверженный Батыемъ, много вѣковъ бродить по развалинамъ своей милой Украины, въ то время, когда, при-

крытая басмою и ханскимъ ярлыкомъ, „собиралась“ воедино московско-русская земля,—и на этихъ развалинахъ милой Украины снова созидаетъ то, что было разрушено,—и мало того, что созидаетъ разрушенное, а зажигаетъ новый свѣточъ жизни въ то время, когда въ „собираемой“ московско-русской землѣ царилъ еще мракъ, росли однѣ сорные травы знанія и развитія, пока украинецъ и въ эту тьму не внесъ свѣточъ новой жизни вмѣстѣ съ такими свѣтлыми личностями, какъ Дмитрій-Ростовскій-Тутало, Симеонъ-Полоцкій-Ситановичъ, Елифаній Славинецкій; то опять онъ, этотъ украинецъ, послѣ Батыева погрома подпадаетъ подъ батыевщину насильственного окатоличенія своими яко-бы союзниками, а въ сущности панями-поляками; то, почувствовавъ эту новую батыевщину, онъ борется съ панями и въ то-же время окуриваетъ мушкетнымъ дымомъ стѣны того города, откуда его предки, поляне, вынесли и свѣтъ новаго ученія, и культуру классической Греціи; то онъ, доведенный до отчаянія панями, протягиваетъ руку своему брату великоруссу, „собравшему“ свою землю и окрѣпшему, и отбивается отъ пановъ; но его снова отдають панямъ, разорвавъ на-двое, какъ ризу нешвенную, его дорогую Украину — и Пилипенка-отца берутъ въ рекруты въ московское войско и онъ честно сражается втеченіе двадцати-пяти лѣтъ подъ русскими знаменами за свободу и славу Россіи, а Пилипенка - сына, Грицька, вмѣстѣ съ семействомъ и другими дѣтьми Пилипенка-отца, въ отсутствіе этого послѣдняго, панъ Потоцкій изъ русскихъ своихъ имѣній переселяетъ въ подольскія и беретъ его вмѣстѣ съ другими своими хлопами въ польскій легіонъ, предназначенный служить Наполеону въ его міровыхъ завоеваніяхъ и въ воображаемомъ возстановленіи старой Польши...

И вотъ съ той поры пошелъ бродить по свѣту Грицько Пилипенко, молодой, красивый украинецъ: и въ Сиріи-то онъ дрался бокъ-о-бокъ съ старою гвардією Наполеона, и на египетскія пирамиды дивовался, вспоминая свою Украину, и въ Испаніи - то воевалъ онъ, и въ Парижѣ - то, на площади, вмѣстѣ съ старою гвардією и польскими, т. е. украинскими, уланами кричалъ во все украинское горло — „vive l'empereur!“ Грицько и кричать по французски научился, и ругаться, и пѣсни пѣть, и говорить... И вотъ теперь, вмѣстѣ съ двадцатью языками, Грицька, Стецька и тысячи Грицьковъ и Стецьковъ повели на покореніе Россіи и затѣмъ яко-бы, чтобы возстановить Грицькову „ойчизну — матку Польску“... Вѣдныє, глупые Грицьки и Стецьки!...

Но Грицько натывается на отцовскую пику... „Сынку-сынку!“ плачетъ надъ нимъ старый Пилипенко, и даже объ Жучкѣ не вспомнить, которая вонъ въ сторонѣ присѣла на заднія лапки и глядитъ такой жалкой сироточкой.

Да, удивительное было время и удивительна судьба Украины! Не менѣе удивительна судьба и Польши...

Если чья память должна быть священна для поляковъ, такъ это память императора Александра Перваго. Цѣлая армія польская сопровождала На-

насталъ гибель... Указывали даже имена продавцовъ-измѣнниковъ, и въ томъ числѣ Сперанскаго.

Полкъ Дуровой—уланскій Литовскій—проходилъ именно недалеко отъ Кульневки. Она узнала эту мѣстность, вспомнила, что тутъ недалеко эта Кульневка, гдѣ жилось такъ привольно, гдѣ каждое послѣ-обѣда самъ круглотѣлый добрякъ Кульневъ закатывался спать часа на два, а крестьяне его для удовольствія барина „дѣлали дождикъ“ по наряду, выливая сотни ведеръ воды на крышу, которая отъ этого скоро загнивала и часто перекрывалась; гдѣ рыжій семинаристъ Талантовъ, учитель Мити Кульнева, корчившій изъ себя Сперанскаго, училъ скворца пѣть божественныя пѣсни; гдѣ, однимъ словомъ, люди жили въ свое удовольствіе, словно въ раю, какъ жили Адамъ и Ева до грѣхопаденія, не вѣдая ни горечи, ни сладости „труда въ потѣ лица“, ни неизбѣжности смерти. Дуровой, послѣ пережитыхъ ею нѣсколькихъ мѣсяцевъ ада, ужасно захотѣлось заглянуть въ этотъ маленький эдемъ, украшенный тополями и цвѣтами, успокоить глазъ на добрыхъ, привѣтливыхъ лицахъ, увидѣть живыхъ людей не на коняхъ, не въ палаткахъ, не на сѣнѣ, не на бивакѣ, а въ домѣ, на креслахъ, безъ этихъ сабель и пикъ, вдали отъ этой брызкотни стремянъ и удилъ, отъ этого громыханья зарядныхъ ящиковъ, вѣтъ гула кривковъ—„стой-равняйся!“ „заходи справа!“ „смирно!“ „куда лѣзешь, чортъ!“ „эхъ, щецъ-бы теперь!“ и тому подобныхъ, натершихъ душу до мозолей, восклицаній. Да, она чувствовала, что у нея мозоли на душѣ, ссадины на сердцѣ...

Отдѣлившись отъ своего эскадрона, она поскакала по знакомой дорожкѣ въ гору, къ кульневской рошѣ, гдѣ у нея произошло роковое объясненіе съ бѣдненькой Надей Кульневой. Когда она выѣхала на пригорокъ, эдемъ открылся передъ нею во всей красѣ. Яркое утреннее солнце золотую пеленою легло на крышу барской усадьбы. Видно было, что крыша—съ иголочки что-называется, перекрыта заново и не дальше какъ вѣроятно этой весной. Зеленъ красивыхъ тополей казалась особенно ярко.

Алкидъ, увидавъ знакомыя мѣста, тоже прибавилъ ходу. И у него въ памяти сидѣлъ свой эдемъ—вотъ та просторная барская конюшня, гдѣ и овса, и ароматнаго сѣна вдоволь и гдѣ, въ холодку, ни мухи, ни овода не жалятъ, какъ они, проклятые, жалятъ на походѣ, подъ жаркимъ солнцемъ, да у коновязей на стоянкахъ. Но Дурову сразу удивило нѣчто особенное въ воздухѣ: тишина, отсутствіе собачьяго лая и какая-то мертвая пустота на поселкѣ. Ее удивило и то, что барская усадьба стояла съ закрытыми ставнями—и на дворѣ ни души: ни конюховъ, ни собакъ, ни казачковъ, ни домашняго козла. Она въѣхала на дворъ, сама отворивъ высокую рѣшетчатую калитку, и сошла съ Алкида. Умный конь съ удивленіемъ оглядываясь по сторонамъ, какъ-бы не вѣря своимъ глазамъ, самъ направился къ конюшнѣ. Дурова вступила на крыльцо, звякнула шпорами—и вздрогнула отъ этого единственнаго звука въ мертвой тишинѣ, которая охватила ее. Она остановилась: у дверей висѣлъ замокъ.

Болью сжалось ея сердце, слезы подступали къ горлу. Изъ-подъ крыльца

Дурову-же это обстоятельство поразило необыкновенно. Она видѣла въ этомъ непостижимую руку Провидѣнія. Ей казалось, что всѣ они—и русскіе, и французы, и поляки—въ какомъ-то ослѣпленіи, невѣдомо кѣмъ руководимые, всѣ идутъ противъ своихъ-же братьевъ, отцовъ, сыновей, но только въ слѣпомъ порывѣ безумія не узнаютъ другъ дружку. Ей представлялось даже, что во время ночного нападенія и она разрубила черепъ своему младшему, любимому брату.—А за что? что онъ ей сдѣлалъ?—Съ этой ночи она возненавидѣла партизанское дѣло и даже какъ-бы склонилась на сторону своего эскадроннаго командира, ученаго нѣмца, который утверждалъ, что партизанская война нарушаетъ законы войны, установленные наукою. Къ старому Пилипенкѣ она съ этихъ поръ привязалась еще больше и часто навѣщала его больного сына, который медленно поправлялся.

Между тѣмъ она не могла не сознавать, что общее положеніе дѣлъ становится невыносимо тяжелымъ. Чувствовалось это какъ-то невольно, и чѣмъ дальше, тѣмъ мрачнѣе казалось будущее. Дни шли за днями, войска все двигались и двигались по какому-то невѣдомому ни для кого плану; ни офицеры не знали, что все это значить и къ чему идутъ дѣла, ни солдаты, очень чуткіе передъ рѣшительными моментами, не постигали своимъ чуткимъ инстинктомъ сути того, что всѣхъ занимало. Одно понятно было всѣмъ, что кто-то другой хозяйничаетъ въ странѣ, только не русскіе; это поняли и солдаты, и не солдаты. Какимъ-то чутьемъ населеніе края, по которому уходили—что „уходили“, это какъ будто въ воздухѣ чуюлось—по которому уходили войска, давно угадало истину, ту страшную истину, что оно кѣмъ-то покинуто и страна покинута, несмотря на то, что тамъ, назадъ, русской силы двигалось, какъ говорили всѣ, видимо-невидимо. Да, покинуто—это сознаніе носилось въ воздухѣ... И вѣоть вслѣдствіе этого населеніе этихъ мѣстностей, отъ Двины, Дриссы и Березины вплоть до Смоленска, покидало все, что имѣло и не могло взять съ собой,—и уходило куда-то дальше, къ Смоленску, къ Пскову, къ Москвѣ, или пряталось гдѣ-то, словно въ землю уходило.

Особенно болѣзненно отзывалось въ сердцѣ Дуровой это сознаніе, когда полкъ ихъ, вмѣстѣ съ другими полками отступая отъ Двины по направленію къ Полоцку и Смоленску, проходилъ мимо того имѣнія Кульнева, гдѣ Дурова четыре года назадъ часто гашивала и гдѣ, къ несчастію, возбудила страстную любовь къ себѣ молоденькой дочери этого помѣщика. Главныя русскія силы двигались нѣсколько лѣтъ Кульневки, растянувшись на сотни верстъ отъ Динабурга до Могилева, съ тайнымъ, повидимому, опасеніемъ, чтобы страшный непріятель не избралъ для своего побѣднаго шествія сѣверный путь—къ Петербургу: этого именно хода—хода ферезью—особенно боялись, когда вмѣстѣ съ неопредѣленнымъ страхомъ въ воздухѣ носился слухъ, что Россія кѣмъ-то „продана“—и чѣмъ неопредѣленнѣе былъ этотъ слухъ, тѣмъ болѣе страшнымъ казался онъ. „Россія продана“, „войска проданы“—кѣмъ, какъ? этого никто не зналъ, а всѣ знали, что для Россіи

— Господа въ Смоленской уѣхали, забрали съ собой все, что подъ силу было поднять: и кареты, и коляски всѣ, и лошадей, и у мужиковъ почитай всѣ подводы съ господскимъ-то добромъ угнали...

— А давно?

— Да другая недѣля, кажись, на исходѣ будетъ, какъ уѣхали.

— А въ поселкѣ что? и тамъ никого нѣтъ?

— Никого, батюшка... Что мужики-то были, такъ съ подводами въ Смоленской угнали, а бабы да ребятишки съ коровенками да собаками вѣлѣсь ушли — хоронятся... А какъ тутъ отъ Господа хорониться? Господь все видитъ: видѣлъ, чу, Господь, какъ попускалъ, чтобы лихіе люди русскую землю продали... какъ же отъ Господа-то схоронишься?

И тутъ говорятъ, что Россію „продали“—страшный глаголь, облетѣвшій всю потрясенную имъ страну! Общій слухъ, общая народная вѣра, что только проданная Россія не отстоитъ себя отъ цѣлаго міра...

— А какъ же ты-то остался тутъ одинъ, дѣдушка? Или господа велѣли остаться?

— Нѣту, батюшка-баринъ, самъ попросился у господъ оставить меня тутъ—добро чтобы господское поприглядѣть, коли Господь *его*-то наплетъ на насъ за грѣхи наши... Да и то сказать правду вашей милости: хочу умереть здѣсь, на родной сторонѣ, чтобы кости мои старыя тутъ лежали—не ныли бы до страшнаго суда...

Въ это время надъ головой Дуровой что-то заплѣло, но какимъ-то страннымъ птичьимъ голоскомъ, точно бы и не по-птичьи. Дѣвушка подняла голову и увидѣла, что это надъ крышей, на старой скворешнѣ сидитъ скворецъ и силится пропѣть что-то, но все у него не-совсѣмъ выходить это что-то.

— Да вотъ и скворушка,—продолжалъ старикъ, выйдя изъ избы и еще кланяясь Дуровой,—вонъ и скворушка, малая пташка, неразумная, а не хотѣла вонъ оставаться на чужой сторонѣ... Барченокъ увезъ его въ Смоленской въ клѣткѣ, а вонъ намеренъ онъ и прилетѣлъ опять сюда—какъ и дорогу-то нашелъ, Господи! А все домой, значить, и его, малую пташку, тянуло...

Скворецъ продолжалъ усердствовать—вывести что-то насвистанное ему, но еще не усвоенное вполнѣ—и не могъ: все выходило не то.

„Не доучился, бѣдненькій“, какъ-то грустно улыбнулась въ душѣ дѣвушка, глядя, какъ глупая птичка вытягивала шейку, раскрывала и закрывала ротикъ, стараясь голосомъ подражать господину Талантову и Митѣ—и не могла.

— А какъ-же вы, батюшка-баринъ, сюда попали теперь?—спросилъ Захарычъ.

— Да нашъ полкъ тутъ недалеко проходить—я и заѣхалъ справиться, узнать о здоровьѣ... да вотъ... никого и не нашелъ ужъ кромѣ тебя...

Она остановилась, не зная, что говорить: тяжело ей было.

— Такъ-такъ... А что-же *онъ*-то... проклятый?.. Старикъ сказалъ это

тихо, оглядываясь, какъ-бы опасаясь, чтобъ онъ не услышалъ.—Значить вы идете съ *нимъ* стражаться, съ самимъ?

Дѣвушка и стыдно, и досадно стало. Въ своей землѣ человекъ боится громко говорить о *немъ*, о чужомъ. Ей и за себя какъ-бы лично стало стыдно.

— Можетъ, и будемъ сражаться,—сказала она нерѣшительно, не смѣя взглянуть въ глаза старику... „Вотъ до чего довели“, думалось ей снова; а кто довелъ, какъ—это было и для нея такъ-же темно, какъ для Захарыча.

— Такъ-такъ-такъ... будете... помогите-то вамъ Богъ.

Въ глазахъ старика свѣтилось что-то такое, чего дѣвушка не могла долѣе выносить.

— Помогите, помогите вамъ Богъ... а ужъ мы думали—на вотъ—ишь ты—тото-бы, кажись... ахъ вотъ оно! А то на поди! что сказали—продали... Экое слово, Господи! поди-жъ ты... ахъ вонъ еще есть люди... Продана матушка! Продана!—ахъ нѣтъ!

И старикъ, пискливо взвизгнувъ и замотавъ головою, заплакалъ, какъ ребенокъ.

Дѣвушка, вскочивъ на коня, безъ оглядки поспѣшила изъ этого мѣста, гдѣ ей было и тяжело, и стыдно. Барская усадьба казалась ей гробомъ, а высокіе, красивые тополи—это были печальные кипарисы, росшіе на кладбищѣ. Проѣзжая мимо рощи, она увидѣла, какъ какой-то мужичонко, съ вилами на плечахъ, показавъ было изъ лѣсу; но, замѣтивъ всадника, юркнулъ въ чащу словно испуганный заяцъ.

Взѣхавъ на пригорокъ, она оглянулась на усадьбу. Видно было, что въ воротахъ стоитъ Захарычъ и что-то дѣлаетъ рукою. Это старикъ въ лицѣ дѣвушки крестилъ всѣхъ, отъ кого онъ ожидалъ спасенія своей землѣ.

Дѣвушка прищипорила Алкида и понеслась, что было мочи. Вдали, надъ большою дорогой, стояло облако пыли, и изъ-за этой пыли блеснули, переливаясь на солнцѣ, серебряныя иглы—то были штыки. Вскорѣ Дурова сама вступила въ это пыльное облако. Шли пѣхотники, Бутырскій полкъ. Лица солдатъ по обыкновенію смотрѣли дѣтски наивно, несмотря на усталость. Впереди шли пѣсельники и заливчаты, съ выкрикиваньями, выгаркиваньями и высвистами, высоко-высоко выносили своими привычными къ работѣ голосами что-то очень веселое. Въ то время, когда одинъ худой, высокій и черный солдатъ какъ-то свирѣпо, полошадиному, ржалъ здоровою глоткою, другой, курносенькій солдатъ, закинувъ вверхъ голову, самымъ высокимъ бабьимъ голосомъ отхватывалъ:

Эхъ, Маланья, эхъ, Маланья, отворяй-ка ворота!

А впереди пѣсельниковъ, оборотаясь къ нимъ лицомъ, краснымъ, потнымъ и запыленнымъ, завернувъ полы шинели за поясъ и пристѣвъ на

корточки, въ-присядку, шелъ на каблучкахъ плясунъ, выдѣлывая ногами и всѣмъ тѣломъ, кромѣ лица — лицо было серьезно — выдѣлывая такіе штуки, „что и чортъ его знаетъ“, какъ говорили солдаты.

Курносенькаго солдата съ его „Маланьей“ въ свою очередь подхватывалъ и выносилъ въ гору весь хоръ, дружно выкрикивая:

Я бы рада отворила—буйный вѣтеръ въ лицо бьетъ!..

— Ты думаешь, Алексаша, имъ въ самомъ дѣлѣ весело, что вотъ поютъ-то и пляшутъ? Это нарочно, они врутъ—они два дни не ѣли; посмотри на нихъ... Это колбаса приказалъ пѣть и плясать—чтобъ люди-де веселыми и довольными смотрѣли. Продали насъ!.. Вотъ я и запелъ опять—не стойтъ!

Это говорилъ Бурцевъ, шатаясь на сѣдлѣ и наклоняясь къ Дуровой. Онъ былъ пьянъ. И его смутило страшное слово, облетѣвшее всю Россію.

VII.

Всю весну и почти все лѣто русскія войска, то быстро, не отдыхая ни дни, ни ночи, не кормя ни солдатъ, ни лошадей, точно гонимые по пятамъ невидимымъ врагомъ, то медленно и неправильно, какъ стада, потерявшія пастуха и собакъ и сегодня переходившія на то мѣсто, которое вчера ими-же было вытравлено, а завтра топтавшіяся попусту на старомъ, еще болѣе вытоптанномъ полѣ, по какому-то никому невѣдомому плану и неизвѣстно для чего, двигались отъ западныхъ границъ вглубь страны, ни непріятелю не предлагая генеральнаго сраженія, ни отъ непріятеля не принимая его и ограничиваясь отдѣльными, повидимому малоцѣнными и ненужными, эпизодическими стычками, результатами которыхъ были или нѣсколько сотъ и тысячъ нашихъ труповъ, бесполезно брошенныхъ подъ копыта французскихъ драгунъ, или нѣсколько сотъ плѣнныхъ французовъ, которыхъ и отсылали еще дальше вглубь страны для прокормленія, какъ живое доказательство того, что французы давно уже въ Россіи и, кажется, еще долго намѣрены въ ней остаться. Въ Петербургѣ не знали, чѣмъ объяснить подобныя дѣйствія главнокомандующихъ, и государь былъ глубоко озабоченъ и опечаленъ такимъ положеніемъ дѣлъ, а Москва и вся остальная Россія стономъ стонали о какой-то измѣнѣ, о продажѣ страны и войска Наполеону, о конечной гибели Россіи, которой ничего болѣе не оставалось какъ выставить рекрутъ за рекрутами, щипать коршію для раненыхъ, плакать и молиться.

На дворѣ уже августъ, а войска наши, гонимые Наполеономъ, готовы уже были и Смоленскъ оставить за собою, махнувъ и на него рукою, какъ они, казалось, махнули давно и на Литву, и на всю западную половину Россіи,—и идти все глубже и глубже, до Москвы и за Москву, до Уральскаго

хребта и за хребетъ, въ Сибирь, въ самую глубь Азіи. Неудивительно, что въ это тяжелое время государь могъ сказать тѣ знаменательныя слова, что онъ „уйдетъ съ своимъ народомъ въ глубь азіатскихъ степей, отростить бороду и будетъ питаться картофелемъ“, а не покорится волѣ Наполеона, — слова, которыя служили выраженіемъ чувствъ, воодушевлявшихъ всю, глубоко потрясенную событіями, Россію.

Но случилось, однако, такъ, что подъ Смоленскомъ нельзя было не дать битвы...

— Эй ты, лѣшій! али все ведро вылокать хошь, чортъ, пра — чортъ!

— Что лаешься—который!

— Что!.. другой ковшъ лопаешь—вотъ-что!

— На, свинья!.. который...

Это перекорялись между собой два улана, которые еще въ началѣ кампаніи повздорили изъ-за луковичы и кирпичика, а теперь ссорились изъ-за квасу. Теперь они, во фронть, стоятъ подъ стѣнами Смоленска, недалеко отъ кирпичныхъ сараевъ, съ утра ждутъ дальнѣйшихъ приказаній къ предстоящей битвѣ, а вдоль фронта ходятъ съ ведромъ квасу баба въ огромной головной повязкѣ и дѣвочка лѣтъ десяти-одиннадцати. День жаркій, и сердобольная баба поить квасомъ „соколиковъ“, отчасти по влеченію собственнаго, мягкаго, какъ ея полное тѣло, сердца, частію-же по воспоминанію о томъ, что и ея „соколикъ“ ушелъ тоже на войну и нѣту объ немъ никакой вѣсточки.

— То-то, который!—перекорялись уланы.

— Кушайте на здоровье, соколики,—еще принесу,—успокоивала ихъ баба, поднося упарившимся воинамъ ковшъ за ковшомъ, и послѣ каждаго ковша кланяясь въ поясъ, такъ что при этомъ концы годовного платка ея касались уланскихъ стремянъ, а сзади короткая панева обнаруживала толстыя красныя икры.

— Эй, тетка! а намъ-то что-жъ останется!

— Намъ, тетенька, бѣднымъ пѣхотинцамъ!—а то они, кобылятники, все слопаютъ...

Это кричали съ противоположной стороны солдаты Бутырскаго полка, который стоялъ о-бокъ съ уланами, однимъ крыломъ упираясь въ городскую стѣну, у ея изгиба.

— Имъ что, жеребцамъ, на четырехъ-то ногахъ, да на чужихъ, а каково намъ-то на двухъ на своихъ отломать экую путину, жаловались пѣхотинцы, естественно завидуя счастливымъ-кавалеристамъ.

— Мы что! мы и тутъ въ черномъ тѣлѣ — и теткѣ-то веселѣ коло жеребцовъ,—говорилъ бутырецъ, плясавшій когда-то на дорогѣ впереди своего полка.

Баба слышала это и была задѣта за живое. Она вся покраснѣла и заметалась.

— Сейчас-сейчасъ, соколики, и къ вамъ,—заторопилась она, суя

ковшъ въ руку дѣвочки:—подноси ты, Кулюша, здѣсь изъ этого ведра, а я побѣгу туда.

И передавъ ковшъ дѣвочкѣ, баба съ другимъ ведромъ и ковшомъ метнулась къ бутырмамъ. Бѣловолосая и босоногая Кулюша, восторженно красяся, зачерпывала ковшомъ изъ ведра, вытягивалась на цыпочки, чтобы подать ковшъ слѣдующему улану, и, подражая матери, кланялась въ поясъ, тоже обнаруживая худенькія икорки почти до самыхъ колѣнъ.

— Спасибо-спасибо... Ай да дѣвка! замужъ возьму — только молись, чтобъ пуля въ ротъ попала, а не въ лобъ—тады проглочу...

Вдругъ что-то глухо грохнуло вдали, а потомъ какъ-бы ударилося въ городскую стѣну. Нѣкоторые лошади и уланы вздрогнули; иные перекрестились.

Въ одно мгновеніе вдоль фронта поскакали офицеры — и молодые, и старые, толстые и тоненькіе—откуда и взялись они!

— Смирно! стррройсяяя!—послышались рѣзкія, съ протяженіемъ, командныя слова.

То-же повторилось и около пѣхотинцевъ. Грохнуло въ тотъ самый моментъ, когда плясунъ - бутырецъ, съ наслажденіемъ вытянувъ полковша квасу, такъ что на щекахъ и на вискахъ показались даже красныя пятна отъ усилія, а въ глазахъ слезы—отъ ядрености квасу,—собирался донять живительную влагу...

— Эхъ! и тутъ-то намъ, пѣшимъ, заколодило,—заговорилъ было онъ...

— Давай, давай-ка мнѣ, чортъ! — отнималъ у него ковшъ сосѣдъ, курносый пѣвецъ съ бабынымъ голосомъ.

— Смирно! стрройсяяя!—раздалось и вдоль пѣхотнаго строя.

— Эй! молодуха, молодуха! уходи скорѣй отсюда,—видишь, не до тебя теперь, — говорилъ бабѣ какой-то офицеръ, махая на нее рукой, чтобы шла вонъ.

Баба заторопилась, побѣжала было къ уланамъ, наткнулась на скачущихъ офицеровъ, снова метнулась въ сторону, бормоча въ испугѣ: „Ай, Господи! ай, Матушка Смоленска! ай, свѣты мои!.. Кулюша! Акулька! Акулька!“ закончила она отчаяннымъ голосомъ и исчезла.

Это начинался смоленскій бой — первый крупный бой „двѣнадцатаго года“, всецѣло потерянный русскими.

Вдали, по неровному полю съ небольшими перелѣсками, то тамъ, то въ другомъ мѣстѣ двигались какія-то кучки, продолговатыя большею частью, то въ видѣ изогнутыхъ линій, такъ-что простымъ глазомъ съ трудомъ можно было различить, и то по догадкѣ, что это были люди, а не просто темныя пятнышки. Но тѣ кучки, которыя были ближе и которыхъ было меньше, ясно изобличали, что это были войска, и между ними можно было отличать уже пѣхоту отъ кавалеріи. Когда въ первый разъ грохнуло оттуда, то видно было явственно, какъ тамъ, вдали, на одномъ пригоркѣ, разстился и медленно таялъ въ воздухѣ бѣлый шаръ, словно изъ взбитой ваты, и пока онъ еще не совсѣмъ растаялъ, то тамъ-же, рядомъ съ этимъ таю-

щимъ шаромъ, вздулся новый бѣлый какъ изъ ваты шаръ, и снова грохнуло, а черезъ нѣсколько секундъ эхо отгрохнуло отъ города, отъ стѣнъ, отгрохнуло, куда-то покатилося и какъ будто рассыпалось въ разныхъ мѣстахъ. Затѣмъ бѣлые шары стали вскакивать и на другихъ возвышеніяхъ—и грохотать начало уже чаще и чаще, почти безъ перерыва. И воздухъ, и земля, казалось, вздрагивали. Отсюда, отъ Смоленска, съ русскихъ батарей, тоже началось грохотанье, но не такое, какъ тамъ, а болѣе определенное, рѣзкое, болѣе какъ-бы раздражительное. Что дѣлалось тамъ—этого отсюда не видно было; а что дѣлалось тутъ, у Смоленска, а особенно у кирпичныхъ сараевъ—это было видно, и это видимое не казалось какъ - будто особенно страшнымъ со стороны: упадетъ что-то, неизвестно откуда, не то круглое, не то длинное, сыпнетъ не то землю, не то огнемъ—и нѣсколько человѣкъ упадетъ на землю то тамъ, то здѣсь, а другіе люди стоять тутъ-же и сдвигаются тѣснѣе, какъ-будто-бы имъ холодно подъ жаркимъ лѣтнимъ солнцемъ, а какіе-то третьи люди откуда-то подбѣгаютъ къ упавшимъ, поднимаютъ ихъ, торопливо владутъ на что-то и куда-то уносятъ... А тутъ одни снова падаютъ, другіе тѣснѣе смыкаются, а третьи уносятъ упавшихъ... и опять падаютъ, и опять ихъ уносятъ, и опять грохотъ и гулъ съ той и другой стороны...

Ближайшія кучки, что виднѣлись *тамъ*, становились все больше и больше, и ясно было, что они идутъ *сюда*: сплошныя кучки превращались, уже совсѣмъ явственно, въ людей, одѣтыхъ во что-то синее и темное, надъ которыми развѣвались какія-то полотна, и темныя, и золотистыя. Начался какой-то свистъ и щелканье—словно тысячи бутылокъ откупоривали гдѣ-то *тамъ*, и двитавшіеся синіе ряды покрылись дымомъ, а ряды, что стояли *тутъ*, у городскихъ стѣнъ, какъ-то разомъ дрогнули, потеряли ту правильность линій, какую представляли до сихъ поръ, потому что въ этихъ стройныхъ рядахъ сотни и тысячи рукъ разомъ, мгновенно, измѣнили свое прежнее правильное положеніе: одна схватилась за сердце, другая вытянулась впередъ, иная закинулась вверхъ, схватилась за голову—и вмѣстѣ съ шломя падали на землю впереди рядовъ или заваливались назадъ. Теперь на землѣ валялись, корчились и стонали, а то и тихо, неподвижно лежали уже не десятки, а сотни и можетъ тысячи, такъ что тѣ, которые прежде подбѣгали и поднимали падавшихъ, уже не успѣвали этого дѣлать... А лопанье ружей, свистъ и шлепанье *оттуда* пулъ продолжалось съ ужасающимъ возрастаніемъ, и ему отвѣчало то-же рѣзкое, почти непрерывное допотопанье *отсюда*... Потомъ эти, что стояли у стѣнъ города, наши, страшно закричали разомъ, ряды ихъ перегнулись впередъ и съ ружьями на-перевѣсъ, штыкомъ впередъ, бросились туда, на синіе ряды—и смѣшались съ ними... Потомъ эти, наши, побѣжали назадъ, но уже не рядами, а беспорядочною кучкою и въ-одиночку, кто кого перегонять, а тѣ погнались за ними и били того, кого догоняли... Когда наши ряды воротились на прежнее мѣсто, къ городу, то ихъ уже убывло чуть-ли не на половину...

Такъ по крайней мѣрѣ казалось это бабѣ, которая недавно поняла сол-

дать своимъ свѣжимъ, ядренымъ квасомъ. Она, отыскавъ свою Акульку, прошмыгнула въ городскія ворота, попотчивавъ кваскомъ и сторожа, который и позволилъ ей пробраться по лѣсенкѣ на городскую стѣну и укрыться за каменнымъ выступомъ, откуда все, что дѣлалось подъ стѣнами, вблизи города, и далеко въ полѣ, видно было какъ на ладонкѣ.

Когда воротились сюда эти, пѣшіе, которыхъ она только начала было понить квасомъ да помѣшали офицеры, тогда другіе, что были на коняхъ, тѣ, которыхъ и она и Акулька пойли квасомъ, то-же громко закричали и поскакали на тѣхъ, дальнихъ, синихъ; поскакали и изъ другихъ мѣстъ—то-же, должно быть, наши... Ну теперь—думалось бабѣ—наши прогонять ихъ. Но въ то время, когда они почти подскакали уже къ синимъ, синіе разомъ поразступались въ разныя стороны—„испугались, должно“—а изъ нихъ, въ прогалинахъ-то, разомъ какъ громыхнеть чѣмъ-то—разъ, да въ другой, да въ третій, да какъ сыпануло что-то, какъ приснуло по рядамъ скакавшихъ, шаркнуло словно вѣникомъ,—такъ наши вмѣстѣ съ другими, то же, надо полагать, нашими, что скакали на синихъ — такъ окарачъ, кажись, и стали, шарахнулись назадъ, вразсыпную, а иные съ коней долой, а то и съ конями такъ и уложили землю — пластомъ полегли... Не выгорѣло и тутъ, значить... А тѣ, идолы, синіе-то, да съ ними другіе, въ бѣлыхъ разлетайчикахъ, да еще другіе съ красными да желтыми грудями, да съ перьями на головахъ словно удода да потатуйки — такъ вотъ и пруть,—все ближе да ближе, да съ ихъ-же стороны все больше и больше громыхаетъ да стучить, да дымить, да посыпаетъ чѣмъ-то словно чернымъ горохомъ—и со всѣхъ-то сторонъ валить да лопочеть.. А наши-то соколики опять кучатся, равняются, а тамъ новые подходятъ—видимо-невидимо нашихъ—и тѣ, что квасъ пили, и совсѣмъ новые... Ну, теперь—думаетъ баба—набрались силы—Боже помоги—осадятъ синихъ дьяволовъ...

И баба крестится...

— Глянь-кось, глянь-кось, мама!—испуганно шепчетъ Акулька.

— Что ты? гдѣ?

— Вонъ, маминька,—охъ какъ страшно!—Дѣвочка показывала назадъ, внутрь города.

Баба оглянулась, посмотрѣла внизъ. Тамъ, направо отъ воротъ, подъ внутреннею городскою стѣною, все лежали на землѣ солдаты, иные корчились и кричали, другіе лежали смирно, а къ нимъ нагибались другіе люди, то съ платками и тряпками въ рукахъ, то съ какими-то не то ножами, не то пилами, и что-то съ ними дѣлали... Одинъ сидитъ и качается изъ стороны въ сторону словно маятникъ. Другой обхватилъ свою голову и, кажется, хочетъ самъ раздавить ее да не можетъ...

— Охъ мамынька! пилить... руку пилить... охъ!

Баба сама видитъ, что пилить руку у длиннаго... Да это тотъ, что она квасомъ поила—онъ-онъ—только зубы сцѣпилъ... Разъ-два, разъ-два, шаркаетъ пила по правой рукѣ, выше локтя...

— Упала!.. отвалилась рука, мамынька!

Упала. Длинный открылъ глаза. Что-то говорить, показывается лѣвой рукой на отрѣзанную руку. Ему передаютъ ее... Онъ смотритъ на нее, что-то шевелитъ губами, крестится лѣвой рукой, цѣлуетъ отрѣзанную въ самую ладонь—а она такъ и валится—упала—и лѣвая упала—и голова завалилась назадъ...

— Простился, соколикъ, съ рученькой... Не работница ужъ она ему.

Когда баба снова оглянулась туда, гдѣ все это дѣлалось, она увидѣла что-то новое. Синіе и красногрудые были уже недалеко отъ кирпичныхъ сараевъ, а влѣво отъ нея скакали черезъ поле, къ лѣсу, наши — она узнала ихъ—они прежде стояли почти у самыхъ сараевъ, и еще межъ ними она тогда, когда пошла улана съ сѣдыми усами квасомъ, замѣтила одного молоденькаго—молоденькаго офицера, совсѣмъ мальчишка, и онъ еще тогда шутилъ съ черненькой собаченкой, Жучкой ее называлъ, а она все прыгала передъ его лошадыю на заднихъ лапкахъ... Теперь всѣ они скакали по полю, а за ними скакали, на лошадахъ-жо, синіе—вотъ-вотъ догонять... И баба ахнула со страху! Тотъ-то молоденькій, что съ собачкой игралъ, отсталъ, должно быть, отъ своихъ, отъ нашихъ, а синіе такъ вотъ и настигаютъ его, такъ и настигаютъ да саблями машутъ... Вотъ-вотъ догонять! А онъ, бѣдненькій, какъ оглянется, да свою саблю назадъ за спину закинулъ, пригнулся ниже и ниже къ лошади—а тѣ все ближе, ближе...

— Охъ, родимый, убьютъ!—невольно вскрикнула баба.

Нѣтъ, не убили—ускакалъ.

Этотъ молоденькій, за котораго боялась баба, былъ—Дурова. Вотъ что сама она говоритъ въ изданныхъ Пушкинымъ, въ 1836 году, въ „Современникѣ“, запискахъ своихъ, объ этомъ случаѣ: „Удерживая коня, неслась я большимъ галопомъ вслѣдъ скачущаго эскадрона, но, слыша близко за собою скокъ лошадей и увлекаясь невольнымъ любопытствомъ, не могла не оглянуться. Любопытство мое было вполне награждено: я увидѣла скачущихъ за мною на аршинъ только отъ крестца моей лошади трехъ или четырехъ непріятельскихъ драгунъ, старавшихся достать меня палашами въ спину. При семъ видѣ, я хотя не прибавила скорости моего бѣга, но сама не знаю для чего закинула саблю за спину остриемъ вверхъ“.

Баба, впрочемъ, увѣрена была, что наши не пустятъ ихъ, синихъ, въ городъ. Да и какъ это можно? Въ городѣ и губернаторъ, и архіерей, и все начальство. А утромъ на базарѣ чиновникъ говорилъ: „Вы, говорить, православные, не бойтесь—чтобы, говорить, безпорядку никакого не было. Коли ежели что, говорить, до чего, Боже сохрани, дойдетъ, такъ владыка архіерей, говорить, велитъ самое Матушку Богородицу поднять и съ нею, Матушкою, самъ, говорить, на городскую стѣну выйдетъ, такъ тогда не токма что они намъ ничего подѣлать не смѣютъ, а и своихъ не соберутъ...“

Но вышло не то.

Цѣлый день подъ городомъ шла ожесточенная борьба двухъ, повиди-

тому, неравномерных силъ. Десятки разъ русскіе ходили на непріятеля и кавалерійскими атаками и со штыковой работой; но всякій разъ должны были отступать съ большимъ урономъ. Въ городѣ не знали положенія дѣлъ, потому что судьба битвы рѣшалась на пространствахъ нѣсколькихъ десятковъ квадратныхъ верстъ внѣ города, да и сами командиры не могли бы съ точностью уяснить, гдѣ то мѣсто, гдѣ рвется страшная нитка; но что нитка рвалась, они это знали: и въ городѣ также чувствовалось, что что-то трещитъ, что нитка не выдерживается...

Баба-квасница давно уже сошла съ городской стѣны, успѣла побывать дома, управиться съ хозяйствомъ, вышла потомъ на рынокъ съ полными ведрами свѣжаго, ядренаго квасу съ укропцемъ и со льдомъ, въ ожиданіи, что вотъ „соколики“ будутъ проходить рынокъ послѣ того, какъ прогонять „синихъ“, что заходить они, „соколики“, испить, и тогда она, какъ-разъ кстати, тутъ какъ тутъ.

Уже и вечерни отошли, а тамъ все громыхаютъ. И съ колоколенъ смотрѣли звонари, а все ничего разобрать толкомъ нельзя: „то бытъа наши ихъ погонять, да назадъ скорехонько, то бытъа они на нашихъ вдарятъ, а наши какъ примутъ ихъ, такъ тѣ и на утекъ“.

А тамъ, уже къ вечеру, отъ городскихъ воротъ разомъ повалили солдаты, да не въ ногу, а такъ, какъ попало, да запыленные такіе, съ потными, почернѣвшими лицами — идутъ торопливо, одинъ другого опережаютъ, никто никого не слушаетъ. Напрасно офицеры и верховые командиры, тоже запыленные, почернѣвшіе, кричатъ хрипылыми голосами: „не расходись, ребята!“ — „стройся, каналы!“ — „куда, дьяволы!“ Солдаты, кучась и толкаясь, запрудили весь рынокъ. Иной наскоро подбѣжитъ къ бабѣ, торопливо крестясь и не глядя бабѣ въ лицо, выпьетъ залпомъ ковшикъ квасу, крикнетъ — и убѣгаетъ съ прочими, съ трудомъ придерживая тяжелое ружье, которое, повидимому, оттянуло ему руку. Другой издали хрипло кричитъ: „ахъ, тетенька! испить-бы — всю душу спалило“ — и также, какъ и тотъ, не глядя въ лицо, выпиваетъ ковшъ и убѣгаетъ. Тамъ калашники съ калачами, крестясь набожно, суютъ бѣгущимъ въ руки по калачику, а тѣ, не глядя — иной тотчасъ-же калачикъ въ ротъ, а иной за пазуху — и бѣгутъ дальше.

Немного погодя, показались конные вперемежку съ зелеными ящиками на высокихъ колесахъ, а тамъ и пушки. Солдаты громко кричатъ на лошадей, что везутъ пушки, а одинъ солдатъ, сидя на пушкѣ, переобувается, обматывая ногу тряпкой и вытряхивая что-то изъ сапога.

За пушками и зелеными ящиками ѣхали густыми рядами знакомые бабѣ уланы, а впереди нихъ бѣжала тоже знакомая собачка. Узнала баба и того молоденькаго, что скакалъ черезъ поле. Онъ ѣхалъ, не поднимая головы.

Это была Дурова. Смутно сознавая, что случилось что-то непоправимое, она видѣла уже наступленіе конца всему. Но это все представлялось ей въ такихъ неуловимыхъ формахъ, и въ то-же время такимъ страш-

вымъ, что она постоянно спрашивала себя: „что-же это такое? — что-же случилось?—неужели все кончено?—что-же все? какое оно?..“

Эскадронъ ихъ проѣхалъ рыночную площадь и пошелъ далѣе на улицу къ противоположному выѣзду изъ города. Вся улица вплоть до домовъ занята была скучившимися рядами уланъ, такъ что Дуровой приходилось держаться почти у самыхъ заборовъ и стѣнъ домовъ. Проѣзжая мимо одного каменнаго двухъ-этажнаго дома, она услышала какой-то стонъ наверху и подняла голову: на балконѣ этого дома стояла—Надя Кульнева! По щекамъ ея текли слезы... „Господи! Господи!“ громко стонала она. Когда Дурова взглянула не нее, дѣвушка, всплеснувъ руками, страстно заговорила: „О! благодари васъ Богъ... Спаси—о! спаси ее, Господи!“ и она порывисто нѣсколько разъ перекрестила дѣвицу-кавалериста.

Дурова, блѣдная, усталая, убитая горемъ, чувствовала, какъ краска стыда залила все ея лицо до ушей и потомъ снова сбѣжала со щекъ.

Что-то пролетѣло, свистя въ воздухѣ, и съ трескомъ упало за заборомъ... Послышался дѣтскій крикъ и чьи-то слабые стоны...

На концѣ улицы, изъ дверей аптеки показалась чья-то обвязанная платкомъ голова на гусарскомъ тѣлѣ—мундиръ мариупольца. Изъ-подъ платка круглое, красное лицо гусара смотреть совсѣмъ бабьимъ, мѣщанскимъ. Обвязанная голова бросается къ Дуровой, со стономъ хватается ее за стремя и припадаетъ лицомъ къ колѣну дѣвушки...

— Алексаша! что-жъ это! милый мой!.. О, Господи! оо—все пропало!.. нашъ полкъ перебитъ до половины... и Денисъ—милый мой! Денисушка! пропалъ—а мы отступаемъ—бѣжимъ—охъ—ооо!

Это былъ раненный въ голову Бурцевъ. Онъ плакалъ какъ баба, припавъ къ сѣдлу Дуровой.

VIII.

Извѣстiе о битвѣ подъ Смоленскомъ и о потерѣ русскими этого города произвело сильное, хотя не совсѣмъ одинаковое впечатлѣнiе на Москву и Петербургъ и вызвало въ той и другой столицѣ сильную, хотя опять-таки не совсѣмъ одинаковую патріотическую сенсацію и дѣятельность. И въ Москвѣ, и въ Петербургѣ патріотическое движеніе проявилось жаромъ благотворительности и порывомъ приносить жертвы: въ Москвѣ—по обыкновенію тулупами, валенками, сапогами, рукавицами и шапками въ пользу раненыхъ, хотя стояло еще жаркое лѣто, —затѣмъ калачами и молебнами съ колокольнымъ звономъ; въ Петербургѣ—всевозможными увеселеніями въ пользу убитыхъ и ихъ семействъ, концертами, публичными гуляньями съ базарами и изгнаніемъ изъ гостинныхъ французскаго языка,—причемъ это послѣднее было особенно большою жертвою для петербургскаго свѣта, ибо въ немъ тѣ, которые и которые были необыкновенно умны и образованы пофранцузски, нерѣдко оказывались набитыми дураками и дурами порусски.

Много шуму надѣлало въ Петербургѣ публичное гулянье и базаръ, устроенные послѣ смоленскаго дѣла княгиней Елизаветою Александровною Волконскою, урожденною княгиней Вѣлосельскою. Мѣстомъ для гулянья и базара княгиня выбрала самую модную въ то время въ Петербургѣ мѣстность, именно—Елагинъ островъ и, какъ скинію его, аристократическій „пуэнтъ“—для базара, которымъ она главнымъ образомъ и распоряжалась, хорошо зная, что въ базарномъ буфетѣ каждая грошовая рюмка водки въ ея очаровательной ручкѣ и при помощи ея волшебной улыбки превратится въ десятирублевую по малой мѣрѣ, а каждый трехкопѣечный пирожокъ, предложенный этою ручкой и плѣнительнымъ взглядомъ, тотчасъ вздорожаетъ на сто, на тысячу процентовъ.

На счастье, и день для гулянья и базара выдался великолѣпный, настоящій петербургскій, августовскій: хотя дождь принимался въ этотъ день идти раза три или четыре, но дорожки острова такъ хорошо были утрамбованы и такъ густо посыпаны краснымъ пескомъ, что по нимъ безопасно можно было ходить, не рискуя, кромѣ флюса, насморка и кашля, ничего другого схватить—ни горячки, ни воспаления легкихъ; а самый базаръ и буфетъ были устроены въ безопасномъ отъ дождя мѣстѣ—подъ клеенчатымъ навѣсомъ, отороченнымъ красною и черною каймами, эмблемами крови и траура; хотя съ другой стороны ртуть въ термометрѣ стояла немного выше нуля, но воздухъ былъ такой прекрасный и чисто-лѣтній, что достаточно было драповаго пальто на ватѣ, чтобы не озябнуть, а для людей зябкихъ буфетъ предоставлялся въ полное распоряженіе, конечно за приличное случаю базарное вознагражденіе. За то зелень—роскошь: тоже настоящая петербургская—чистая, яркая, блестящая, не тронутая ни пылью, ни засухой, влажная и холодная, какъ лобъ мертвеца.

Толпы гуляющихъ представляютъ нѣсколько рядовъ живыхъ стѣнъ, которыя двигаются и извиваются по извилистымъ дорожкамъ, словно тѣ черви-дождевики, которыхъ такъ много на прекрасныхъ елагинскихъ дорожкахъ, но которые въ этотъ день всѣ раздавлены мужскими сапогами и женскими ботинками гуляющихъ. Чего недостаетъ между гуляющими и что особенно бросается въ глаза—это отсутствіе военныхъ мундировъ, которые такъ рѣдки теперь въ этой пестро-темной толпѣ гуляющихъ, словно лѣтніе цвѣты среди осенняго поля. Всѣ эти живыя стѣны направляются то къ крытому, на самомъ тычкѣ пуэнта, павильону, гдѣ происходитъ базаръ, то отъ павильона по расходящимся дорожкамъ, обставленнымъ по сторонамъ полицейскими и жандармскими солдатами на гладкихъ, гладко вычищенныхъ и умно, иногда кажется умнѣ сѣдока, глядящихъ на публику лошадахъ.

Гуляющіе не всѣ рѣшаются прямо подходить къ прилавкамъ съ винами, закусками и бездѣлушками, потому что за прилавками стоятъ и привѣтливо смотрятъ на толпу такія избранныя красавицы Петербурга какъ княгиня Волконская, центръ и солнце базара, княжна Поллина Щербатова, та, которая пять лѣтъ назадъ на этомъ самомъ пуэнтѣ маленькій

дѣвочкой рѣзвилась съ Лизой Сперанской, Соней Вейкардтъ, Самей Вельманомъ, Вильгельмушкой Кюхельбекеромъ и Самей Пушкинымъ, неутомимымъ арапченкомъ, постоянно декламировавшимъ „стрекочущу кузнецу“. За прилавкомъ же стояли красавица-княгиня Салтыкова, урожденная княжна Долгорукая, петербургская или, скорѣе, „елагинская Калипсо“, какъ ее называли; княгиня Долгорукая, урожденная княжна Гагарина; блѣдненькая, граціозная княжна Лопухина и роскошная красавица Нарышкина.

Однимъ изъ первыхъ къ буфету княгини Волконской подошелъ Тургеневъ, почти силой таща подъ руку Карамзина. Тургеневъ смотрѣлъ почти такимъ же молодымъ весельчакомъ, какимъ онъ былъ на этомъ же самомъ пузѣтъ пять лѣтъ назадъ, только немножко развѣ пополнилъ; за то почтенный исторіографъ казался лѣтъ на пятнадцать старше противъ того, какимъ мы его видѣли тутъ же на пузѣтъ пять лѣтъ раньше: лицо его сдѣлалось еще блѣднѣе и желтѣе, а добрые глаза смотрѣли усталыми и частно щурились; лобъ обнажился больше и характерный на немъ холодокъ какъ-то отодвинулся назадъ и полинялъ—линяlostью сѣдины.

— Что вамъ угодно будетъ выпить и скушать, почтеннѣйшій Николай Михайловичъ?—съ глубокой вѣжливостію, какъ по-заученному, спросила княгиня, обращаясь къ Карамзину.

Историкъ медлилъ отвѣтомъ. Ему собственно ничего не угодно было ни выпить, ни скушать.

— Николаю Михайловичу, княгиня, надо будетъ предложить что-нибудь пикантное, историческое, немножко архивное,—отвѣчалъ за него Тургеневъ. Нѣтъ-ли у васъ въ буфетѣ, предестная княгиня, старой, очень старой наливки, которую приготавливала еще сама Марѳа Посадница? а если нѣтъ у васъ историческихъ пирожковъ, приготовленныхъ по „Домострою“ Сильвестра, то не найдется-ли хоть одинъ изъ завалящихся пирожковъ, которые кушала „Бѣдная Лиза“?

Княгиня весело засмѣялась, показавъ рядъ бѣлыхъ, маленькихъ и чистыхъ, какъ у мышки, зубовъ.

— Вы все шутите, Александръ Ивановичъ,—добродушно улыбнулся исторіографъ.

— „Mais... mais—pardon“... Княгиня вспомнила, что теперь не принято говорить пофранцузски—не патріотично это, а порусски, „на этомъ миломъ, простомъ, родномъ русскомъ языкѣ она говоритъ немножко затруднялась“; но она скоро нашлась—сумѣла перевести французскую мысль на русскій языкъ. „Но—но, согласитесь“—подбирала княгиня слова, перебирая пальчиками, словно отвѣчая русскій leçon: — согласитесь, Александръ Ивановичъ шутить такъ... такъ... такъ граціозно! нашлась она наконецъ.—Что же вамъ угодно будетъ выпить и скушать, почтеннѣйшій Николай Михайловичъ?—спросила она опять по-заученному.

— Я попрошу у васъ, княгиня, рюмку лафиту,—снова улыбнулся исторіографъ.

— Рюмку... рюмку лафить? — съ грасіознымъ удивленіемъ спросила красавица.

— Да, только рюмку-съ, — подтвердилъ Карамзинъ.

— Нашъ исторіографъ охотно выкушалъ-бы и полный турій рогъ, еслибы въ вашемъ буфетѣ, княгиня, находился этотъ историческій бокалъ, — продолжалъ шутить Тургеневъ.

— О — о, Александръ Ивановичъ! — Vous... pardon... вы... вы — кистить! — такого слова русскій языкъ не имѣетъ, — торжественно сказала княгиня и налила Карамзину рюмку лафиту.

Карамзинъ выпилъ и положилъ на блюдо червонецъ, — съ своей стороны княгиня подарила исторіографа рублемъ — очаровательнымъ взглядомъ.

— А вамъ что угодно будетъ выпить и скушать? — подарила она тѣмъ-же рублемъ и тою-же заученною фразою Тургенева.

— Я-бы, княгиня, выпилъ очищенной — самый патріотическій напитокъ теперь, но не хочу приносить доходъ Злобину — онъ и безъ того на откупѣхъ вышелъ въ Крезы... Англійскую *горькую* (горькую онъ подчеркнулъ голосомъ и гримасой) пьеть теперь наша армія — такъ лучше всего выпить звѣробой...

— Звѣробой... звѣробой? — растерялась хорошенькая княгиня, оглядываясь назадъ за помощью.

Назадъ, въ почтительномъ отдаленіи, стоялъ знакомый уже намъ „малый“, Гриша, великанъ-дѣтина изъ трактира Палкина, большой патріотъ, готовый всякаго „бить“, на кого-бы ему ни указали, хотя въ душѣ добрейшее существо и любившее нянчиться съ чужими дѣтьми. Княгиня Волконская, устраивая базаръ съ буфетомъ, просила Палкина, какъ буфетнаго специалиста, заняться этимъ дѣломъ, что онъ съ радостью для княгини и для цѣлей патріотическихъ и сдѣлалъ; а какъ княгиня не могла же знать названій всѣхъ водокъ и винъ въ буфетѣ, то онъ и приставилъ адъютантомъ къ княгинѣ самаго расторопнаго и честнаго изъ своихъ „малыхъ“ дѣтину, именно Гришу. Гриша для этого торжественнаго дня былъ одѣтъ съ непремѣннымъ условіемъ „чисто-по-русски“ — въ бѣлую какъ снѣгъ рубаху и въ желтые, ярко-канареечнаго цвѣта штаны; русая голова его была тщательно приглажена, на что пошла цѣлая банка помады „резеда“ и вслѣдствіе чего отъ головы Гриши такъ разлило помадой, что Иванъ Андреевичъ Крыловъ увѣрялъ послѣ и своихъ знакомыхъ, и Гришу, что, отправляясь къ пуэнтю на базаръ, онъ еще съ Каменнаго острова слышалъ запахъ Гришиной головы.

Когда княгиня обратилась къ Гришѣ со словами „звѣробой — звѣробой“, Гриша по обыкновенію метнулся, какъ ошпаренный кипяткомъ, тряхнулъ волосами, словно собираясь прыгнуть съ пуэнта въ Неву и плыть къ Кронштадту; но потомъ вспомнилъ, что хозяинъ предупреждалъ его „не кидаться словно на пожаръ“, засеменялъ ногами и, ступая точно по раскаленнымъ угольямъ, досталъ требуемый графинъ и поставилъ его передъ княгиней, не преминувъ мотнуть волосами и завонять „резеδοю“ такъ, что

княгиня должна была поднести надушенный платокъ къ носу... Ей показалось даже, что и кружевной платокъ ея весь пропахъ „резедой“.

Тургеневъ, выпивъ рюмку шикарной въ то время, самой патріотической, „чисто русской“ настойки (ее ввелъ въ моду Иванъ Андреевичъ Крыловъ, рекламируя этотъ „русскій“ напитокъ въ „русскомъ“ трактирѣ Палкина)—выпивъ „звѣробой“—и самое названіе патріотическое—звѣрей, ворвавшихся въ Россію, бить-де—Тургеневъ поморщился и сдѣлалъ гримасу, собираясь вновь острить.

— А закусить мнѣ, княгиня, нельзя-ли тартинкой изъ окорока вестфальскаго короля?—сказалъ онъ, безцеремонно разумѣя подъ вестфальской ветчиной вестфальскаго короля Іеронима, брата Наполеона, злѣйшаго врага Россіи.

Съѣвъ тартинку и бросивъ на блюдо два червонца, онъ раскланялся съ хорошенькой буфетчицей и увлекъ съ собою Карамзина.

Въ толпѣ показалась плотная фигура Крылова, который протискивался къ буфету. Нечесаная голова его накрыта была широкополой соломенной шляпой, которая превращала плотное, бритое и досягающее лицо російскаго славнаго баснописца въ лицо нѣмецкаго колониста на пашнѣ.

— Мой нижайшій поклонъ княгинюшкѣ, вашему сіятельству,—подошелъ онъ, привѣтствуя своими смѣющимися, „воровскими“ или „интендантскими“, какъ онъ самъ называлъ ихъ, глазами хорошенькую буфетчицу и снимая свою шляпу.—Конечно, сія шляпа не по сезону, и я пріѣхалъ сюда въ мѣховую шапкѣ, но изъ боязни господъ газетчиковъ—а они народъ презлой—оставилъ свою шапку у извозчика... А то сами согласитесь, княгинюшка, завтра господа газетчики будутъ описывать вашъ прелестный праздникъ, расхваливать, конечно, и прибавять, что сама природа радовалась патріотическому торжеству нашему и погода была великолѣпнѣйшая, и солнце согрѣвало всѣхъ своими патріотическими лучами—и вдругъ Крыловъ въ шапкѣ!—это-де не патріотично, неблагонамѣренно.

Княгиня сочла долгомъ мило улыбаться на шутивыя рѣчи „россійскаго Лафонтена“, котораго она хотя меньше знала, чѣмъ французскаго, но слышала, что и Крыловъ тоже „очень-очень костикъ“, и потому охотно показывала ему свои мышиные зубки.

— А что угодно будетъ вамъ выпить и скушать, почтеннѣйшій Иванъ Андреевичъ?—повторила княгиня своего „блага бычка“.

— О, княгинюшка,—я готовъ весь вашъ буфетъ и выпить, и скушать, особенно изъ такихъ прелестныхъ ручекъ, какъ ваши...

„Малый“, который съ того самаго момента, какъ увидалъ въ толпѣ знакомую фигуру Крылова, постояннаго посѣтителя ихъ трактира, держалъ свой ротъ ослабленнымъ до ушей, при послѣднихъ словахъ Крылова о буфетѣ чуть не прыснулъ ео смѣху и потому зажалъ носъ кулакомъ.

— Звѣробой угодно?—улыбнулась княгиня:—она уже знала теперь, что „звѣробой“—самое патріотическое вино.

— Звѣробойцу-звѣробойцу, княгинюшка!—обрадовался Крыловъ.—А...

Гнѣдичъ! и ты за Рубиконъ стремишься? что битья!—черезъ Фермопилы пробираешься?—Браво, храбрый Леонидъ, достойный сынъ древней Эллады!—заговорилъ онъ весело, увидавъ въ толпѣ высокаго, чопорно одѣтаго, бритаго, тщательнаго прилизаннаго мужчину, пробиравашагося къ буфету.

Это былъ Гнѣдичъ, длиннотелый, съ длиннымъ прямымъ носомъ, мужчина, съ украинскимъ типомъ и выговоромъ — знаменитый переводчикъ Иліады Гомера. Модный костюмъ его отличался безукоризненностью чистоты и покрою, которая особенно бросалась въ глаза рядомъ съ неряшливымъ, засаленнымъ костюмомъ Крылова. Гнѣдичъ подошелъ къ буфету.

— Имѣю честь рекомендовать древняго эллина,—продолжалъ болтать Крыловъ, который сегодня былъ особенно разговорчивъ:—настоящій грекъ, доложу вамъ, княгинюшка—„суть бо лъстиви греци и до сего дни“ — на язычекъ златоустъ...

Рѣчи изъ устъ его вѣщихъ сладчайшія меда лѣются...

— J'ai l'honneur... pardon... — заторопилась княгиня, поправляя себя: — я имѣю честь быть знакома съ почтеннѣйшимъ Николаемъ Ивановичемъ.

Гнѣдичъ церемонно, совсѣмъ посвѣтски поклонился. Крыловъ въ это время уплеталъ разомъ селедку и масло.

— Что вамъ угодно выпить и скушать? — послѣдовалъ стереотипный вопросъ.

— Ему, ваше сіятельство, какъ древнему эллину—рюмочку нектару и тартинку съ амброзіей слѣдуетъ,—отвѣчалъ Крыловъ за Гнѣдича, накладывая себѣ на блюдечко икры.

— Изъ вашихъ прелестныхъ ручекъ все будетъ нектаръ и амброзія,—топорно ссалонничалъ переводчикъ Иліады, расшаркиваясь.

— Онъ, ваше сіятельство, воображаетъ, что онъ нынѣ въ Аѳинахъ, на олимпійскихъ играхъ присутствуетъ и любезничаетъ съ прекрасною Аспазіею, а себя воображаетъ прекраснымъ Алкивиадомъ,—бормоталъ Крыловъ, усердно уписывая второе блюдечко икры, совсѣмъ позабывъ, что онъ не въ трактирѣ у Палкина.

Въ это время, лавируя въ толпѣ, какой-то молодой человѣкъ, любезно изгибаясь и забѣгая впередъ, не отставалъ отъ высокаго сгорбленнаго старика, одѣтаго въ толстое на ватѣ пальто со звѣздой.

— Ба, ба, ба!—подмигнувъ Крыловъ княгинѣ и Гнѣдичу: — да тутъ совсѣмъ Парнасъ у васъ—извините, княгинюшка, за скверную риему — вонъ и самъ россійскій разбитый на ноги Пиндаръ ковыляетъ въ бархатныхъ валенкахъ, а за нимъ и парнасскій сторожъ...

Онъ замолчалъ и уткнулся въ свое блюдечко. Къ буфету, жуя старческими губами и шурша по мокроватому песку бархатными сапогами, подходилъ Державинъ. За нимъ व्यюномъ вился, улыбаясь негритянскими губами, Николай Ивановичъ Грець, молодой писатель, подающій надежды, хотя еще неизвѣстно какія...

Державинъ любезно поздоровался съ княгиней, говоря съ ней такимъ голосомъ и съ такимъ выраженіемъ лица, съ какими обыкновенно заигрываютъ съ дѣтьми.

— О, княгиня! вотъ не знаютъ, кого послать противъ Бонапарта — посылаютъ одноглазаго Кутузова... дѣло плохо... А вотъ послали-бы васъ, княгиня, съ такими глазками: вы-бы разомъ подстрѣлили ими корсиканца, — шамкалъ онъ беззубымъ ртомъ, улыбаясь слезливыми глазами.

— О! вы большой ферлакуръ, Гаврило Романовичъ! — засмѣялась княгиня. — Mais... pardon, — поправила она: — васъ, я думаю, труднѣе побѣдить чѣмъ Наполеона... — Что вамъ угодно будетъ выпить и скушать? сѣла она разомъ на своего конька.

— Выпить и скушать, сударыня... — Онъ задумался, какъ будто забылъ, что ему нужно было, а потомъ вспомнилъ: — вотъ какъ блаженный памяти императрица Великая Екатерина спросила меня однажды: чѣмъ тебя, говорить, Гаврило Романовичъ, пожаловать — помѣстьемъ или звѣздой? — я отвѣчалъ: и звѣздой, матушка государыня, и помѣстьемъ, коли ваша милость будетъ. А она и изволить отвѣтствовать съ своею ангельскою улыбкою: „я знала, говорить, что поэты любятъ звѣзды и сельскую природу съ пастухами и пастушками“ — и пожаловала мнѣ вотъ сію звѣзду и вотчину.

Услыхавъ въ сотый разъ этотъ рассказъ, Крыловъ не успѣлъ даже икру стереть съ губъ, положилъ на блюдо золотой (онъ сѣлъ не меньше какъ на червонецъ по трактирнымъ цѣнамъ) и, шепнувъ княгинѣ: „остальное доплатить Злобинъ“, — затерся въ толпѣ.

— Что ему, беззубому, тутъ кушать? — говорилъ онъ, пробираясь съ Гнѣдичемъ дальше: — по его зубамъ тутъ ничего нѣтъ — ни даже манной кашки.

— А можетъ для старцевъ у хорошенькой княгини соска припасена, — замѣтилъ Гнѣдинъ.

И пріатели затерлись въ толпѣ. А жующаго свои губы Державина и улыбающагося отвислыми губами Греча смѣнили у буфета великосвѣтскіе франты, съ которыми княгинѣ было, конечно, веселѣе, чѣмъ съ неуклюжими литераторами. Въ это-же время подошелъ и Уваровъ, тогда еще не графъ и не министръ народнаго просвѣщенія, а только попечитель петербургскаго учебнаго округа, быстро дѣлавшій свою карьеру, благодаря своимъ способностямъ и такту. Онъ смотрѣлъ совсѣмъ еще молодымъ человекомъ. Подъ руку съ нимъ шла дѣвушка, уже знакомая намъ по Москвѣ, ученица Мерзлякова и тайная его страсть — Аннеть Хомутова, барышня много развитѣе другихъ своихъ свѣтскихъ знакомыхъ и потому предпочитавшая общество ученыхъ и литераторовъ. Заговорили тотчасъ о войнѣ, о Наполеонѣ, о Смоленскѣ, о томъ, кто убить, кто раненъ, кто получилъ новое назначеніе. Выражали сомнѣніе, чтобы Кутузовъ съ его лѣтами и лѣнью могъ осилить такого борца, каковъ Наполеонъ.

— Не Кутузовъ осилить Наполеона, — замѣтилъ Уваровъ, стараясь

выражаться точнѣе и потому медленно, какъ будто-бы онъ говорилъ съ каведры:—у Наполеона нѣтъ въ мірѣ противника, равнаго ему. Но Наполеона осилить Россія, русскій народъ во главѣ съ обожаемымъ монархомъ. Вотъ страшный для всемірнаго побѣдителя противникъ. Делиль пророчить это великое дѣло нашему благодущному государю, говоря въ своемъ прекрасномъ къ нему обращеніи:

Sur le front de Louis tu mettras la couronne:
Le sceptre le plus beau...

— Ахъ, ахъ!—остановила его княгиня Волконская.—Mais... pardon... вы, Сергѣй Семеновичъ, говорите французскую поэзію... но извините — французскій языкъ... онъ... онъ изгнанъ теперь изъ... изъ... изъ порядочнаго общества,—съ трудомъ договорила она порусски.—Я васъ... я васъ... рипі... я васъ штрафовую...

— Штрафу, княгиня, — поправилъ ее Уваровъ:—и я охотно плачу штрафъ... Сколько прикажете?

— Сколько... сколько... велико ваше... преступленіе! она даже ножкой топнула, произнося такое трудное русское слово—„пресступленіе!“

Но условія базара требовали, чтобы публика, въ видахъ скорѣйшаго опорожниванія ея кармановъ, не заставалась долго у одного буфета или прилавка съ дорогими пустяками, а успѣла-бы обойти ихъ всѣ и вездѣ оставить клокъ шерсти въ рукахъ хорошенькихъ продавщицъ. Оштрафовавъ Уварова самымъ безсовѣстнымъ образомъ и сорвавъ клочекъ шерстки съ ученой овечки, съ милой Аннетъ Хомутовой, княгиня Волконская отпустила ихъ, чтобы продолжать доить и стричь другихъ овечекъ и барашковъ своего патріотическаго стада.

Въ это время у прилавка показались двое юношей, совсѣмъ мальчишковъ, въ новенькихъ лицейскихъ мундирчикахъ. Одинъ изъ нихъ черный, съ смуглымъ цвѣтомъ лица, съ черными, блестящими, какъ-бы совсѣмъ безъ роговой оболочки зрачками и бѣлыми арапскими бѣлками, съ курчавыми какъ у негра волосами и съ большими, припухлыми, какъ у неграже, губами,—ну, совсѣмъ арапченокъ. Другой высокенькій, бѣлобрысенькій, съ кроткими голубыми глазками, стройненькій какъ дѣвочка—ну, совсѣмъ остзейскій нѣмчикъ. Это были юные лицеисты и закадычные друзья—Саша Пушкинъ, который пять лѣтъ назадъ на этомъ самомъ мѣстѣ, гдѣ происходилъ базаръ, декламировалъ „стрекочущу кузнецу“, обидѣлъ злымъ экспромтомъ Лизу Сперанскую насчетъ ея семинарскаго происхожденія и постоянно тормозилъ свою любимую нянюшку,—и Вильгельмушка Кюхельбекеръ. Хотя они и были закадычными друзьями, но уже и тогда, въ лицѣ, Саша Пушкинъ доѣзжалъ своего скромнаго друга и уже въ то время отзывался бывало о чемъ-либо скучномъ любимымъ своимъ выраженіемъ, облетѣвшимъ въпослѣдствіи всю Россію и обезсмертившимъ безвѣстнаго Вильгельмушку Кюхельбекера:

И кюхельбекерно, и тошно...

Теперь Саша Пушкинъ хотя тоже былъ большой разбойникъ и любилъ декламировать Тредьяковского, но уже чаще и чаще сталъ задумываться надъ мягкимъ, плачущимъ, задушевымъ стихомъ молодого Жуковского, изучилъ все, что было наиболѣе образнаго и грандіознаго у дряхлѣющаго и тѣломъ, и духомъ, и стихомъ Державина, и началъ пробовать крылья своей юной, смѣлой и мощной фантазіи. Въ душѣ это былъ серьезный, съ глубокими задатками мальчикъ, съ честными порывами духа. Одно, что онъ самъ въ глубинѣ своей честной и серьезной мысли презиралъ въ тайнѣ и огъ чего не имѣлъ силъ отрѣшиться потомъ всю жизнь—это запавшее въ его характеръ въ лицѣ, среди аристократической обстановки и напитанной барствомъ атмосферы. поползновение—невольное, неумовимое поползновение къ аристократическому фатству. Вотъ и теперь, когда онъ подходилъ къ прилавку книжны Волконской, въ немъ боролись два чувства—и чувство фатства, тайное, глубокое, которое онъ скрывалъ отъ самого себя, и презрѣніе къ этому чувству, злость какая-то на себя самого и на другихъ...—„Зачѣмъ оно есть въ жизни?—А если есть, то надо и его испробовать... но зачѣмъ оно побѣждаетъ меня? — Вѣдь есть-же такіе сильные, которыхъ оно не побѣждаетъ и которые его презираютъ, какъ презираю и я“, досадливо думала его упрямая головка. И несмотря на это, онъ все-таки подошелъ къ прилавку, съ досадой, чтобъ только сказать потомъ товарищамъ-аристократикамъ, и сказать съ презрѣніемъ, что и онъ тамъ былъ, какъ и всѣ эти фаты...

Но, взглянувъ въ глаза княгини, услыжавъ ея голосъ, съ которымъ она обратилась къ нему, предлагая „выпить и скушать“—онъ все это забылъ... Онъ только видѣлъ передъ собою „чудо красоты“, то чудо, о которомъ онъ мечталъ подѣ сказки старой няни... Онъ вспыхнулъ—арапская кровь такъ и прилила къ его смуглымъ щекамъ, и хотя ничего не „выпилъ“, однако два сладкихъ пирожка „скушалъ“ и тоже бросилъ на блюдо червонецъ—последній, который у него былъ въ карманѣ послѣ каникулъ; но уже къ другимъ хорошенькимъ продавщицамъ не подошелъ, хотя и видѣлъ между ними княжну Щербатову, съ которою когда-то игралъ въ мячикъ на этомъ пузѣтѣ. Онъ все думалъ о Волконской... Уже много лѣтъ спустя, посвящая ей свою знаменитую поэму „Цыгане“, онъ думалъ объ этомъ базарѣ на пузѣтѣ, когда писалъ ей это градіозное посвященіе:

Среди разсыянной Москвы,
При толкахъ виста и бостона,
При бальномъ лепетѣ молвы,
Ты любишь игры Аполлона.
Царица музъ и красоты,
Рукою нѣжной держишь ты
Волшебный скиптръ вдохновеній,
И надъ задумчивымъ челомъ,
Двойнымъ увѣнчаннымъ вѣнкомъ,
И вьется и пылаетъ геній.
Пѣвца, плѣненного тобой,
Не отвергай смиренной дани:

Внемли съ улыбкой голосъ мой,
Какъ мимоѣдомъ Каталани
Цыганкѣ внемлетъ кочевой...

Эти будущіе звуки его лиры уже трепетали въ его горячей головкѣ, когда онъ ходилъ потомъ по Елагину острову съ своимъ другомъ Кюхельбекеромъ, ходилъ молчаливый, задумчивый, и немножко злой...

Между тѣмъ къ буфету княгини Волконской подошелъ, сопровождаемый чуйкою съ кожанымъ мѣшкомъ въ рукахъ, высокій 'старикъ въ длинно-поломъ купеческомъ сюртукѣ, въ высокихъ бутылками сапогахъ, съ строгимъ, умнымъ профилемъ какого-то, если можно такъ сказать, стараго иконописнаго пошиба, и съ глазами, которые иначе никакъ-бы нельзя было назвать, какъ глазами читающими: они буквально читали все, на что ни обращались, въ особенности читали легко лица и глаза тѣхъ, на кого смотрѣли.

Подойдя къ Волконской, старикъ снялъ картузъ и поклонился, тряхнувъ волосами, которые были уже съ сильной просѣдою. Княгиня догадалась, что это богатый купецъ.

--- Что вамъ угодно будетъ выпить и скушать?—спросила она робко какъ-то, видя, что старикъ читаетъ ей глаза, да такъ читаетъ, что княгинѣ показалось, будто онъ знаетъ ее всю, до мелочей, прочелъ ее настоящаго и прошлаго, прочелъ даже то письмо, которое она вчера писала тихонько отъ мужа...

Прочитавъ княгиню отъ доски до доски и закрывъ ее, какъ легкую, но умную и занимательную книгу, ужасный старикъ почтительно сказалъ: „хотя я русскій человѣкъ, ваше сіятельство, но кромѣ квасу и воды ничего не пью-съ... Ежели можно стаканчикъ кваску-съ?“

Княгиня робко оглянулась на Гришу—тотъ метнулся, вспомнилъ, что это не на пожаръ и не бить кого-либо, осовѣлъ на секунду, вспомнилъ, гдѣ у нихъ квасъ, поставилъ стеклянный кувшинъ съ пѣнистымъ напиткомъ на прилавокъ передъ княгиней. Княгиня торопливо схватилась быстро своей маленькой ручкой за тяжелый кувшинъ, не подняла его, испугалась, взглянула робко въ читающіе глаза страшнаго старика, который глядѣлъ на нее съ доброй, ласковой, совершенно отеческой улыбкой,—и окончательно растерялась. Ужасный старикъ, добро улыбаясь, сказалъ: „не безпокойтесь, ваше сіятельство“, самъ налилъ себѣ квасу, выпилъ, поставилъ стаканъ на прилавокъ и знакомъ подозвалъ къ себѣ чуйку съ кожанымъ мѣшкомъ.

— Вынь тысячу червонцевъ!—тихо сказалъ ужасный старикъ чуйкѣ.

Чуйка вынула массивный свертокъ съ золотомъ. Страшный старикъ взялъ его и положилъ передъ княгиней.

— Извольте, ваше сіятельство, на святое дѣло.

Поклонился и пошелъ къ другому прилавку. Княгиня стояла нѣмая, блѣдная, испуганная.

— Это Злобинъ—милеевничекъ,—бормоталъ Гриша, не смѣя шевельнуться.—Тышу лобанчикова за стаканъ квасу—и-ну!

IX.

Злобинъ, „именитый гражданинъ“ города Вольска, Саратовской губерніи, представляетъ собою исторически-крупный типъ русскаго практическаго дѣятеля. Въ дѣтствѣ и молодости—крестьянинъ, потомъ волостной писарь, только изворотливостью своего гибкаго и тягучаго какъ золото ума спасшій свою умную голову отъ висѣлицы, предназначенной ему Пугачевымъ; въ среднихъ лѣтахъ—ловкій, юркій мужикъ, тотъ мужикъ, о которомъ давно сложилась пословица—„мужикъ сѣръ, да умъ у него не чортъ съѣлъ“, сѣрый мужичокъ, обратившій на себя вниманіе такого милостивца и вельможи, какъ генераль-прокуроръ императрицы Екатерины Алексѣевны, не улыба князь Александръ Алексѣевичъ Бяземскій; въ зрѣлыхъ и преклонныхъ лѣтахъ—откупщикъ, воротило на всю Россію и Сибирь, миллионеръ такого крупнаго пошиба, какіе со временъ именитыхъ людей Строгоновыхъ на Русь и не виданы,—Злобинъ, наполнившій своимъ именемъ три царствованія и съ особаго высочайшаго соизволенія сохранившій за собою уничтоженный въ началѣ нынѣшняго столѣтія титулъ „именитаго гражданина“,—этотъ самородокъ Злобинъ съ читающими глазами былъ замѣчательнымъ явленіемъ своего вѣка: находясь въ тѣснѣйшей, можно сказать, пріятельской связи со всѣми вельможами, государственными людьми и представителями ума и таланта, будучи отлично принимаемъ Москвою и Петербургомъ, радушно открывавшими свои палаты уму и богатству мужика изъ курной избы,—Злобинъ не покидалъ своего роднаго города, который сталъ какъ-бы его резиденціею, ибо онъ украсилъ его истинно царскими зданіями, садами, парками, слѣды величія и красоты которыхъ и теперь продолжаютъ изумлять всякаго, кто бывалъ пробѣдомъ въ Вольскѣ, — и ворочалъ капиталами всей Россіи изъ своего маленькаго Вольска, зорко глядя оттуда своими читающими глазами за ходомъ своей громадной откупной жнеи, какъ паукъ изъ центра своей сѣти слѣдитъ за всею областью своей паутиной ловитвы. Но какъ „рыбакъ рыбака“ — онъ такъ-же издалека увидалъ другую, себѣ подъ пару крупную интеллигентную личность, у которой подъ семинарскимъ халатикомъ билось большое сердце—сердце государственнаго чловека, которое если и сжато было послѣ бюрократическою скорлупою и сузилось отъ этого, то лишь единственно по винѣ глубокихъ историческихъ причинъ, но изъ котораго была ключемъ не бюрократическая кровь. Однимъ словомъ—Злобинъ былъ связанъ тѣсною дружбой съ Сперанскимъ, и не потому единственно, что, какъ ловкій чловекъ, онъ искалъ дружбы любимца государя, дружбы, которая всегда могла ему пригодиться; нѣтъ—онъ былъ друженъ съ Сперанскимъ и тогда, когда тотъ стоялъ у кормила

правления, какъ „правая рука“ царя, по собственнымъ словамъ этого послѣдняго, и тогда, когда Сперанскій жилъ въ Нижнемъ. Во время ссылки Сперанскаго одинъ Злобинъ не отвернулся отъ него; онъ одинъ продолжалъ поддерживать съ нимъ, какъ это ни было трудно, тайную и явную переписку. Дружба Злобина съ Сперанскимъ истекала изъ чистаго источника—изъ источника внутренняго сродства: и тотъ, и другой проявлялъ широкія замашки духа,—и если у кого у третьяго въ то время были такія замашки духа, хотя иного рода и притомъ титаническія, такъ это у Наполеона. У всѣхъ у трехъ этихъ современниковъ мы видимъ орлиный мамахъ крыльевъ и одну и ту-же жажду владычества: у Наполеона—владычество грубой силы, у Сперанскаго—владычество силы ума, у Злобина—владычество капитала. Вотъ почему два послѣдніе питали глубокое удивленіе къ первому и—симпатію другъ къ другу.

Высылка Сперанскаго поразила Злобина болѣе, чѣмъ еслибы онъ узналъ, что Наполеонъ завоевалъ всю Россію, какъ онъ завоевалъ Италію. Узнавъ объ этомъ, Злобинъ поскакалъ въ Петербургъ—на мѣстѣ развѣдать источникъ и обстоятельства поразившаго его событія. Но въ Петербургѣ онъ нашелъ, что на имя Сперанскаго наброшенъ непроницаемый покровъ таинственности, какой-то саванъ тайны,—никто ничего не зналъ... что-то было, что-то произошло, а можетъ быть и не было ничего, а такъ казалось, такъ кому-то думалось, что-то подозрѣвалось... однимъ словомъ—никто, положительно никто ничего не зналъ.

Встрѣтившись теперь на пузѣтѣ съ Державиннымъ, Злобинъ воспользовался случаемъ попытаться узнать что-либо отъ него, какъ отъ министра юстиціи, о своемъ опальномъ другѣ. Для этого онъ пригласилъ Гаврилу Романовича присѣсть къ одному свободному столику, чтобы выпить бокалъ „донскаго“—„шампанскаго“ патріотизмъ вытѣснилъ и замѣнилъ донскимъ цыплянскимъ—выпить бокалъ донскаго за здоровье „славнаго преслѣдователя русскаго Наполеона“.

— Такъ, такъ,—улыбался самолюбивый старикъ, трепля по плечу Злобина:—ты это меня величаешь славнымъ преслѣдователемъ русскаго Наполеона—Емельки Пугачова?

— Какъ-же, ваше высокопревосходительство, я помню, какъ вы гнались за нимъ черезъ нашу Малыковку, что нынѣ городомъ Вольскомъ называется,—говорилъ Злобинъ, читая потухшіе глаза отживающаго поэта.

— Да, да, хорошее то было время,—бормоталъ Державинъ, качая головой, — я говорю хорошее не по отношенію къ Россіи, а ко мнѣ... молодъ я тогда былъ... а теперь...

— Да, точно—тридцать-восемь лѣтъ прошло съ той поры... много воды утекло въ море... многонько... Я помню это такъ, словно-бы оно вчера было: красивый гвардейскій офицеръ...

— Это я-то... да, да, былъ красивъ,—шамкалъ старикъ,—а теперь...

— Вы и теперь бодры,—ваше высокопревосходительство,—поправился Злобинъ, духомъ все молоды и дѣло у васъ изъ рукъ не вывалится...

— Да, да—дѣло... это такъ...

— И перо стихотворное...

— Да, да... и перо... и перо...

— У меня ваша ода „Богъ“ золотомъ отпечатана на аршинномъ лександринскомъ листѣ—на стѣнѣ за стекломъ—въ золотой рамѣ...

— Да, да, какъ зеркало,—бормоталъ старикъ, и глаза его какъ-бы оживали.

Но Злобина занимала не ода „Богъ“ и не то, какъ Державинъ когда-то „гнался“ за Пугачевымъ (въ сущности, молодой поэтъ отъ него самъ улепетывалъ); это была припѣвка къ дѣлу, его занимавшему, и этой припѣвкой онъ хотѣлъ расшевелить дрыхлаго министра юстиціи, напомнивъ ему о молодости и о стихахъ.

— А что слышно, ваше высокопревосходительство, о Михайлѣ Михайловичѣ Сперанскомъ?—спросилъ онъ какъ-будто мимоходомъ, но не глядя на собесѣдника своими читающими глазами, а уставивъ ихъ на свои сапоги, словно-бы они представляли теперь особенно любопытное зрѣлище, любопытнѣе даже вида заката солнца съ пунта.

При этомъ вопросѣ Державинъ немножко встрепенулся, отодвинулъ отъ себя недопитый бокалъ и изъ-подлобья посмотрѣлъ на Злобина, который усердно созерцалъ свои сапоги.

— О Сперанскомъ... да пока ничего вниманія достойнаго не слышно... Высланъ онъ на жительство въ Нижній, и при семъ тамошнему губернатору сообщено, что государю императору благоугодно, дабы оному тайному совѣтнику Сперанскому оказываема была всякая пристойность по его чину.

— Такъ, такъ... вить государь у насъ по добротѣ-то своей ангелъ во плоти,—тихо говорилъ Злобинъ, все еще созерцая свои сапоги съ бутылочными голенищами.—Такъ, значить, онъ тамъ не въ стѣсненіи...

— Надо полагать... Только надзоръ за нимъ строгій: губернатору вмѣнено въ неупустительную обязанность доносить Балашову обо всемъ замѣчательномъ касательно Сперанскаго и о всѣхъ лицахъ, съ какими онъ будетъ имѣть знакомство или частыя свиданія.

— Такъ-съ... И Злобинъ перенесъ свои читающіе глаза съ сапоговъ на бокалъ Державина, долилъ его, пододвинулъ и какъ-то наивно глянулъ въ глаза собесѣдника.—Такъ-съ... знакомство, свиданіе... и поди, и переписка...

— Да, разумѣется... письма его, а равно и къ нему, отъ кого-бы ни было, вѣльно представлять въ подлинникѣ къ Балашову-жъ, для доклада государю.

При послѣднихъ словахъ Злобинъ сдѣлалъ такое движеніе, какъ будто-бы у носа его завертѣлась муха и онъ отъ нея откинулся.

— Вотъ какъ-съ!..

— Да, осторожно... слѣдять и за перепиской его служителей, родственниковъ и иныхъ лицъ, дабы не было передачи ему и пересылки его писемъ подъ чужими адресами.

— Такъ, такъ... Что-же извѣстно, ваше высокопревосходительство, о его жизни тамъ? какъ онъ себя ведетъ? Вамъ, по вашему мѣсту, все должно быть извѣстно...

— Нѣтъ, это не мое дѣло — не дѣло министра юстиціи... Балашовъ говоритъ, что онъ ведетъ себя скромно, тихо, но ни у кого не бываетъ.

— Удивленія достойно!.. Просто не знаешь, что и подумать... Ужъ не Бонапартъ-ли этотъ замѣшался тутъ?—говорилъ Злобинъ, снова глядя въ глаза Державина и читая ихъ; но вычитать ничего не могъ.

— Бонапартъ... думаютъ и это, думаютъ и другое...

— Нѣтъ, ваше высокопревосходительство, коли-бы Бонапартъ, то-есть какая ни на-есть измѣна—не такъ-бы поступили.

— А, Васи! Нимфа Эгерія въ шлемъ и латахъ! Что это значить?— послышалось восклицаніе позади Державина и Злобина.

Они оглянулись.

Восклицаніе сдѣлано было Тургеневымъ, который за сосѣднимъ столомъ сидѣлъ рядомъ съ Карамзинымъ, а противъ нихъ на чугунномъ рѣшетчатомъ со спинкою стулѣ грузно помѣщался Крыловъ, завѣшенный салфеткою какъ ребенокъ за обѣдомъ, и тыкалъ вилкою въ огромный кусокъ какой-то рыбы съ зеленью. Относилось-же восклицаніе Тургенева къ молодому человѣку, одѣтому въ только-что появившійся тогда ополченскій мундиръ—сѣрый русскій кафтанъ съ краснымъ широкимъ поясомъ, шаровары въ сапоги съ высокими голенищами и картузь съ крестомъ. Въ молодомъ человѣкѣ не легко было узнать того цыгановатаго, задумчиваго и робкаго юношу съ черными глазами, котораго мы видѣли на пунтѣ пять лѣтъ назадъ—онъ значительно возмужалъ. Это былъ Жуковский, уже составившій себѣ извѣстность элегією „Сельское кладбище“ и другими глубоко-поэтическими, больше грустными и унылыми, чѣмъ оживляющими, но всегда очень сердечными стихотвореніями. Смотрѣлъ онъ попрежнему робко и задумчиво.

— Иди, иди, дай взглянуть на тебя, скромная нимфа, — продолжалъ Тургеневъ. Что это ты?

Жуковский подошелъ и молча со всѣми поздоровался, какъ съ старыми знакомыми. Крыловъ, взглянувъ на него, такъ и остановился съ недожеваннымъ кускомъ во рту.

— А я тебя нарочно ищу,—заговорилъ Жуковский, ласково и какъ-бы грустно глядя въ глаза Тургеневу.—Я пріѣхалъ проститься—я тороплюсь ѣхать...

— Куда? сейчасъ?—съ изумленіемъ спросилъ Тургеневъ.

— Да, сегодня-же—въ Москву.

— Да что съ тобой! Ты точно на свиданіе съ Нумой Помпилиемъ торопишься...

Жуковский хотѣлъ улыбнуться, но не могъ. Нижняя губа его какъ-то дрогнула.

— Я ѣду въ ополченіе—я не могу здѣсь оставаться... такое ужасное время... Наполеонъ къ Москвѣ идетъ...

— А сила Богатыревъ на что? — уставился на него Крыловъ, глотая свою вкусную рыбу и облизывая губы. Они съ Ростопчинымъ шапками его закидають.

Крыловъ говорилъ какъ-бы серьезно, но „воровскіе“ глаза его зло надъ кѣмъ-то смѣялись. Карамзинъ, напротивъ, съ любовью смотрѣлъ, часто моргая глазами, на взволнованное лицо молодого поэта и какъ-будто думалъ о чемъ-то другомъ, далекомъ, которое онъ ясно видѣлъ своими моргающими глазами, когда никто другой этого не видѣлъ.

— Да ты съ ума сошелъ, Василій блаженный! — говорилъ Тургеневъ, насильно усаживая около себя молодого поэта и не выпуская его руки изъ своихъ рукъ. Тебѣ-ли соваться туда — тебѣ-ли вступать въ „златѣ стремени“? Твое дѣло — на Пегасѣ ѣздить, благо этого коня ты давно осѣдлалъ. А то на-поди — кровь проливать за отечество? Повѣрь, другъ, у много чернила дороже для отечества, чѣмъ кровь героя... Погляди — ка на свои пальцы... Посмотрите, государи мои!

И Тургеневъ показалъ Карамзину и Крылову руку Жуковского, разжавъ его тонкіе, длинные, какъ худощаваго еврея пальцы.

— Смотрите — у него чернила на пальцахъ, поди новую элегію строчить, а то и балладу, какого-нибудь этакого „Громобоя“ — и вдругъ на! Да такъ и Николай Михайловичъ бросить свою исторію, и свои архивы, и своего кота — виновать! академика Василя Мюфагова — и пойдетъ противъ галловъ, какъ его прадѣдушка, Цезарь — историкъ... Да и тотъ дуракъ былъ: сидѣлъ-бы въ Римѣ да строчилъ — эхъ, сколько-бы написалъ хорошаго!

— Да, — скромно замѣтилъ Карамзинъ, откидывая за ухо локонъ посѣдѣшаго виска: — но тогда бы онъ не написалъ своего „De bello gallico“, а также „De moribus germanorum“.

— А можетъ написалъ-бы что-либо лучшее, — вмѣшался Крыловъ, освобождая подбородокъ отъ салфетки. Не люблю я этихъ войнъ: все это люди дѣлають по глупости, точно нельзя иначе спѣться... Вѣдь я-же не дерусь съ Палкинымъ, когда прихожу къ нему завтракать: онъ меня накормить, а я ему заплачу — и дѣло въ шляпѣ... А то на войнѣ и поѣсть-то порядкомъ не дадутъ — такъ оголтѣлые какіе-то! — все по глупости, резонту никакого не понимаютъ...

— Именно, именно — резонту не понимаютъ, — подтвердилъ Тургеневъ. — Ну, и пусть дерутся тѣ, которые этого самаго резонту не понимаютъ — ихъ еще много, непочатой уголь, и долго еще много ихъ будетъ... А такихъ какъ ты у насъ немного; ты этотъ самый резонтъ понимаешь, и съ тебя, братецъ, тово... взыщется: овому талантъ, овому два, овому шишъ, а тебѣ — во! И Тургеневъ разставилъ руки, какое большое „во“ дано Жуковскому.

Жуковский молчалъ, нервно, неловко и конфузливо теребя свой грубый поясъ,

— Однако, прощай, Саша, мнѣ пора,—сказалъ онъ наконецъ съ легкой дрожью въ голосѣ.—Не забывай меня...

— Да что ты въ самомъ дѣлѣ! Я... я... и Тургеневъ вспыхнулъ: это чортъ знаетъ что такое!

— Такъ надо... такъ надо,—тихо, но настойчиво говорилъ Жуковский.—Дѣти идутъ *туда*, женщины идутъ... Пока мы здѣсь барствовали, за насъ билась дѣвушка—пойми ты! дѣвушка—въ этомъ аду...

— Знаю я, что есть тамъ одна сумасшедшая дѣвка — тѣмъ хуже, тѣмъ стыднѣе для нашего вѣка... этого еще недоставало! дѣвки воюють; да мы совсѣмъ этакъ одичаемъ.

— Нѣтъ, мы будемъ щи варить, а дѣвки за насъ воевать,—хладнокровно замѣтилъ Крыловъ.—Не знаю, устояла-ли бы великая армія этого корсиканца, еслибъ противъ нея выслали этакъ тысячу-другую пышекъ этакихъ, амурчиковъ въ юбочкахъ—навѣрное передралась-бы изъ-за этихъ пышекъ великая армія.

Тургеневъ засмѣялся, хотя смѣхъ этотъ выходилъ какимъ-то насильственнымъ.

— Иванъ Андреичъ сказалъ глубокую истину: рано-ли, поздно-ли, но побѣдитъ красота, а не пушка—красота въ обширномъ смыслѣ,—заговорилъ онъ торопливо, обращаясь къ Карамзину.—Не правда-ли?

— Да, я то-же думаю,—тихо отвѣчалъ историкъ—и еще болѣе заморгалъ какъ-бы отъ тѣдой архивной пыли.—Гармонія вселенной побѣдила довременный хаосъ, люди побѣдили свирѣпыхъ звѣрей, кроткіе побѣдятъ злыхъ, правда убьетъ ложь, красота — безобразіе... Къ тому идетъ міръ... Придетъ время, когда слово человѣка будетъ сильнѣе его самого и всѣхъ его пушекъ—недаромъ „въ началѣ бѣ Слово“...

— А теперь ракн,—пробурчалъ Крыловъ, просматривая карточку кушаньямъ.—Эй, малый! порцію раковъ!—мигнулъ онъ „малому“. — Нѣтъ, подай парочку порцій, да рачки-бы покрупнѣй...

— Я увѣренъ,—улыбнулся на эти слова Тургеневъ,—что эта дѣвка, которая тамъ будто-бы сражается и о' которой кричать вотъ уже пятый годъ, но которой никто не видалъ, — я увѣренъ, что дѣвка эта, если только ее не сочинилъ самъ пріятель мой, Дениска Давыдовъ, а то можетъ и Бурцеву съ-пьяну пригрезилось, что онъ видѣлъ не гусара, а дѣвку въ рейтузахъ,—я убѣжденъ, что эта дѣвка надѣла на себя рейтузы съ отчаянья отъ своего уродства, что рожа у нея—анаемская.

Жуковский сидѣлъ такъ безпокойно, какъ будто-бы ему неловко и тѣсно было въ ополченскомъ мундирѣ, и будто-бы сапоги жали, и будто-бы жарко было и чего-то стыдно.

— Нѣтъ, Александръ, ты ошибаешься,—попрежнему тихо возразилъ онъ.—Панинъ, котораго эта дѣвочка—ей тогда, говорить, было не болѣе семнадцати лѣтъ,—такъ Панинъ, котораго она спасла отъ смерти въ самомъ пылу битвы, говорилъ мнѣ, что она очень миловидна, что небольшая рябоватость...

— Рябая форма!

— Вафельная доска!—въ одинъ голосъ протянули и Тургеневъ, и Крыловъ.

— Нѣтъ, нѣтъ,—защищался Жуковский:—маленькая рябоватость, говоритъ Панинъ, дѣлаетъ ея лицо еще милѣе,—и самый загаръ ее краситъ, а глаза—дивные, невинные...

— Вотъ какъ у этого малаго,—подсказалъ Крыловъ, глянувъ дѣйствительно въ невинные, пустые глаза Гриши, который подавалъ раки и осклаблялся, что онъ всегда дѣлалъ, съ любовью прислуживая „доброму барину“.

— Рачки-съ первый сортъ—галански...

— Галански... Самъ ты гусь галанскій,—передразнилъ малаго неунывающій баснописецъ.—А вотъ какъ-то ты француза будешь кормить галанскими раками...

— Хранцуза-съ? какого это?—встрепенулся малый.—Не того-ли, что мы когда-то въ Мойкѣ встали?

— Нѣтъ, не того... А вонъ онъ самъ идетъ на Москву, а оттуда и къ намъ, въ Питеръ, пожалуетъ. Тогда и служи ему—корми раками.

Отъ этихъ словъ точно ожгло малаго. Онъ отшатнулся назадъ, тряхнулъ своими напомаженными волосами, перекинулъ салфетку изъ подмышки на плечо и весь покраснѣлъ.

— Нѣтъ ужъ, баринъ, ни въ жисть этому не бывать, чтобы я да этому... нѣтъ, дудки!

— Какія, братецъ, дудки! Придетъ и возьметъ Петербургъ вмѣстѣ съ твоимъ Палкинымъ. Можетъ уже Москву-то и взять... Вотъ этотъ баринъ ѣдетъ туда сражаться съ нимъ...

Крыловъ указалъ на Жуковского, который хотѣлъ было встать, но его удерживалъ Тургеневъ. При послѣднихъ словахъ Крылова по лицу малаго пробѣжала какая-то тѣнь, потомъ лицо его поблѣднѣло, губы задрожали. Онъ оглянулся на буфетъ княгини Волконской, которая весело болтала съ какими-то франтами, улыбалась, шутила. Потомъ Гриша окинулъ взоромъ весь пѣзнтъ, какъ-бы ища въ этой веселой толпѣ отвѣта на вопросъ, ножомъ, казалось, полоснувшій его по сердцу.—„Да что-жъ это будетъ! да какъ-же это, Господи!“

И вдругъ Гриша повалился на земь, головою къ ногамъ Жуковского. Послѣдній неожиданно попятился назадъ. Всѣ изумлены, озадачены. Одинъ Крыловъ поглядывалъ изъ-подлобья своими плутовскими глазами, погрызвая клешню огромнаго рака.

— Что съ тобой! что съ тобой!—бормоталъ озадаченный поэтъ, силясь приподнять малаго.—Встань, Бога ради... чего тебѣ?

— Баринъ! батюшка! заставь вѣчно Богу молиться,—валялся малый у ногъ Жуковского.

— Да что съ тобой! Говори...

— Возьми меня съ собой! возьми на этого—на проклятаго...

Малого обступили со всѣхъ сторонъ. Подошли и Державинъ, и Злобинъ. Малый приподнялся съ земли весь красный, стирая со лба сырой песокъ, приставшій и къ напомаженнымъ волосамъ. Жуковскій казался неменѣе его взволнованнымъ.

— Такъ ты въ ратники хочешь?

— Въ ратники, баринъ... Моченьки моей нѣту...

— Молодецъ, молодецъ,—бормоталъ Державинъ,—видный малый, постоитъ за себя...

— И за насъ,—пояснилъ Крыловъ, принимаясь за новую клешню.

— Oh! quel patriotisme!—всплеснула было ручками хорошенькая княгиня, но тотчасъ-же прикусила язычекъ, увидавъ читающіе глаза Злобина.

Послѣдній мигнулъ этими глазами на чуйку, не спускавшую съ него своего бойкаго взгляда, и чуйка подошла съ своимъ мѣшкомъ.

— Вынь сто червонцевъ,—шепнулъ Злобинъ.

Чуйка вынула и подала тонкій, продолговатый сверточекъ.

— Вотъ тебѣ, малый, на дорогу и на ратницкую одежду,—сказалъ Злобинъ, подавая сверточекъ оторопѣвшему Гришѣ.—Ты больше всѣхъ насъ жертвуешь на святое дѣло.

— Кто деньгами, кто собой, а я, безпутный, раками, — ворчалъ Крыловъ.

Гриша стоялъ истуканомъ, съ недоумѣвающими, широко раскрытыми глазами, а глаза хорошенькой княгини какъ-бы испуганно спрашивали: „что-же я пожертвовала?.. Охъ, онъ прочтаетъ—все прочтаетъ...“ И она зардѣлась стыдомъ. Она была необыкновенно хороша въ эту минуту. Еслибъ она знала, что стыдъ есть величайшее украшеніе женщины, то она постоянно прибѣгала-бы къ этому непокупаемому ничѣмъ косметики.

Х.

Уваровъ проводилъ Аннетъ Хомутову съ пунта на Каменный островъ, гдѣ Хомутовы занимали дачу, ту самую, на которой пять лѣтъ тому назадъ жилъ Сперанскій.

Въ своей комнатѣ на письменномъ столѣ Аннетъ нашла толстый пакетъ, запечатанный гербовой печатью, и по почерку адреса тотчасъ-же узнала, что это письмо изъ Москвы, отъ лучшей ея пріятельницы, Софи Давыдовой. Аннетъ давно ждала вѣсточекъ отъ своего друга и потому очень обрадовалась толстому пакету. Она впередъ предвкушала сладость чтенія посланія отъ особы, съ которою давно жила какъ-бы одною внутреннею жизнью, знала всѣ ея мысли, всѣ движенія ея сердца, и которой сама повѣряла всѣ мысли и чувства, которыя требовали раздѣла, поддержки, дружеской оцѣнки и пониманія. Какъ это часто бываетъ у людей, желающихъ продлить и усилить наслажденіе,—Аннетъ нѣсколько времени

номучила себя тѣмъ, что не тотчасъ-же приступила къ чтенію письма, — она отложила это наслажденіе до ночи. Она знала, что то, что принесетъ ей большую радость, теперь уже у нея въ рукахъ, что оно не уйдетъ отъ нея — и потому она маленькими глотками рѣшилась пить эту радость, чтобы пить дольше.

Только уже проставившись на ночь съ отцомъ, отпустивъ горничную спать и оставшись совершенно одна, Аннетъ вынула изъ ящика письмо, придвинула поближе свѣчи, вскрыла пакетъ, и, не утерпѣвъ, чтобы не сосчитать, сколько въ посланіи почтовыхъ листиковъ, — оказалось шесть и притомъ нѣкоторые исписаны крестъ-на-крестъ, что составляетъ особенную прелесть при чтеніи, — только послѣ всего этого Аннетъ начала читать.

„Дорогая Аннетъ! Такъ какъ мы условились съ тобой вести переписку изо-дня-въ-день, въ формѣ дневниковъ, то я и начинаю теперь исповѣдь моей души и моего сиротства безъ тебя, мой незамѣнимый другъ. Ты, я думаю, знаешь, что изъ двухъ разстающихся и одинаково любящихъ другъ друга существъ, всегда бываетъ несравненно тяжеле тому, кто остается, а не тому, кто уѣзжаетъ. Уѣзжающій за потерю друга вознаграждается хоть перемѣной мѣста, новыми впечатлѣніями, каковы-бы они ни были, даже новыми заботами; а остающійся — *только теряетъ* и ничего, ничего, кромѣ тоски о потерянномъ, не получаетъ. Первые дни послѣ твоего отъѣзда, милый другъ мой, я находилась въ положеніи этого послѣдняго: съ утратою тебя я ощутила какую-то томительную пустоту въ сердцѣ и въ мысляхъ. Странное дѣло! я не только ощущала пустоту въ своемъ сердцѣ, но мнѣ казалось, что и вся Москва какъ-то опустѣла, обезлюдѣла и казалась мнѣ чужою. То, что прежде, при тебѣ, имѣло для меня интересъ, занимало меня, такъ или иначе наполняло незанятые тобою и моими мыслями уголки души моей, — съ твоимъ отъѣздомъ какъ-будто выцвѣло, полиняло, и точно со всего сбѣжали живыя краски. Я разомъ почувствовала себя въ положеніи отжившей и заживо умершей княгини Дашковой — помнишь тотъ вечеръ у васъ, въ 1807 году, когда она развертывала передъ нами нѣкоторые полинявшіе и пожелтѣвшіе листы своей жизненной книги — о своемъ знакомствѣ съ Вольтеромъ, Дидеротомъ, о своей славѣ, о своей дружбѣ съ императрицею Екатериною II, и какъ потомъ еще я разревѣлась изъ жалости къ этой бѣдной старушкѣ? И что еще особенно страннымъ казалось мнѣ послѣ разлуки съ тобою, такъ это то, что свѣтъ, вся вселенная какъ-то перевернулась въ моихъ глазахъ. Я не знаю только, поймешь-ли ты это, а если не поймешь, то по обыкновенію скажешь: „мечтательница, философка — и больше ничего!“ Такъ слушай-же, моя дорогая. Прежде, когда ты жила въ Москвѣ, мнѣ казалось, что все, что лежитъ отъ меня къ югу — вѣдь вашъ домъ лежитъ на югъ отъ нашего, — такъ все, что было отъ меня къ югу, было ближе, роднѣе моему сердцу, и я больше любила югъ, южное солнце, южную природу и больше думала обо всемъ южномъ, а сѣверъ меня почти совсѣмъ не занималъ. Теперь — же,

когда ты уѣхала на сѣверъ, въ Петербургъ, югъ опустѣлъ для меня, и моя мысль, мое сердце, даже мои глаза постоянно тянутся къ сѣверу, думаютъ о немъ, воображаютъ—у меня вѣдь мысль не отдѣляется отъ сердца—воображаютъ себя этотъ сѣверъ, этотъ Петербургъ, гдѣ живешь ты, и кажется мнѣ, что вся жизнь переселилась на сѣверъ, оставивъ югъ сиротствующимъ и безжизненнымъ. Понимаешь ты меня, другъ мой?”

Аннетъ, оторвавшись отъ письма и откинувшись на спинку кресла, закрыла глаза.

— Милая! какая у нея душа глубокая,—шептала она сама съ собой.— Да, кажется, я понимаю ее...

И она вспомнила, что давно когда-то, когда она въ самый первый разъ была влюблена, и именно въ своего двоюроднаго брата, въ поэта Козлова, ей тоже казалось, что та часть Москвы, у Пречистенки, гдѣ жилъ Козловъ, была для нея роднѣе и дороже остальной половины Москвы, а когда послѣ Козлова жилъ на Басманной, то мысли и симпатіи ея повернулись къ этой половинѣ Москвы, и даже когда она бывало зимой каталась съ гувернанткою, то какъ только сани поворачивали по направлению къ Басманной, ей становилось веселѣй, а лишь только лошади поворачивали въ противоположную отъ Басманной сторону, катанье теряло для нея всякій интересъ, и она скучала... Какъ это, однако, давно было!..

Открывъ глаза, она продолжала чтеніе письма.

„Быть можетъ, такое душевное настроеніе мое помогло мнѣ глубже почувствовать то ужасное положеніе, какое переживаетъ теперь Россія: О, мой другъ! только общее бѣдствіе, только видъ страданія русскихъ и сознаніе того глубокаго бѣдствія, въ которое ввергъ Россію безжалостный рокъ, заставили меня со всею страстію чувствовать и сознаться, понять, что я—русская всѣмъ моимъ духомъ, каждымъ моимъ дыханіемъ и каждою каплею моей крови. Боже! какія же еще новыя напасти ожидаютъ насъ! Уже и такъ мы дожили до той горестной минуты, когда, исключая невинныхъ, еще немыслищихъ ничего дѣтей, никто не знаетъ радости—радость укатилась куда-то, уплыла съ водами вѣшними. А еще что ожидаетъ насъ—это никому невѣдомо: можетъ быть, страшная будущность. Сначала мы ничего не знали, въ какомъ положеніи дѣла тамъ, въ той страшной дали, куда ушелъ весь цвѣтъ нашего мужественнаго населенія. Графъ Ростопчинъ торжественно увѣрялъ Москву, что наши „завели будто бы французскаго ученаго медвѣдя въ западню и приняли звѣря на рога-тину“, что намъ бояться и падать духомъ нечего, а главное—не вѣрять вздорнымъ слухамъ. А между тѣмъ, слухи ходили страшные, и что день, то страшнѣе и правдоподобнѣе казались они: то говорили, что Наполеонъ—о! жестокое исчадіе ада! чего еще жаждетъ его ненасытная кровью душа!—что этотъ извергъ силится прорваться мимо Дриссы къ Петербургу, и едва-ли наши удержать его въ этомъ стремленіи; то увѣряли, что главная цѣль его—Москва, это сердце Россіи, на которое ему хочется наступить жестокою пятою, чтобы остановить кровообращеніе во всей Русской

землѣ. Наконецъ, по Москвѣ потянулись обозы съ ранеными—и Господи! каждый день, съ утра до ночи, мы видимъ эти блѣдныя лица, слышимъ стоны страдающихъ. Цѣлыя горы корпіи, кажется, нащипали мы, я все свое самое тонкое бѣлье извела на корпію, обливаю моими слезами, и все это Москва сносила въ отведенный Ростовчиннымъ складъ. И что-же, другъ мой! Сколько-же надо нанести Россіи ранъ, чтобы не хватило этихъ тюковъ корпіи, которые поставила одна Москва! Сколько надо было пролиться крови, если въ Россіи не хватаетъ рукъ, чтобы зажимать раны страдалцевъ и останавливать ихъ драгоцѣнную священную кровь! А теперь пришло еще болѣе ужасное извѣстіе: мы разбиты! Я затрепетала и едва не лишилась чувствъ, когда изъ-подъ Смоленска прискакали сюда курьеръ—еще я его видѣла нерѣдко съ моимъ кузеномъ Дени—прискакали съ извѣстіемъ, что подъ Смоленскомъ мы проиграли битву и что Смоленскъ уже во власти Наполеона. Я весь день ходила какъ убитая. Народъ толкуетъ о какихъ-то измѣнникахъ въ войскѣ, и всѣ увѣряютъ, что насъ продали нѣмцы. Конечно, я этому не вѣрю. Всего скорѣе я соглашусь съ мнѣніемъ Дениса, который и прежде говорилъ, что насъ побѣждаетъ не Наполеонъ, а наши собственные полководцы: они въ постоянной враждѣ другъ съ другомъ. А нашъ милый Козловъ—представь себѣ, мой другъ, онъ неузнаваемъ, лишился прежней своей веселости и хочетъ поступить въ ополченіе. Господи! какъ это страшно! скоро, кажется, всѣ уйдутъ *туда*, въ это ужасное *туда*!—Такъ Козловъ говорилъ, что всѣ наши бѣды происходятъ отъ того, что у насъ нѣтъ умнаго полководца, что всѣ они школьники передъ Наполеономъ, ничему они не учились, ничего не читали, ни о чемъ, кромѣ выправки и маршировки, понятія не имѣютъ, а между тѣмъ противникъ ихъ, этотъ страшный Наполеонъ, онъ учился съ дѣтства, онъ весь военный опытъ свой добылъ потомъ и кровью, и только развѣ нашъ незабвенный Суворовъ могъ сравниться съ нимъ въ знаніяхъ, умѣ, опытности.

„Видишь, другъ мой, я ни о чемъ другомъ теперь не могу ни говорить, ни думать, кромѣ какъ объ этой проклятой войнѣ и ея жертвахъ. Сколькихъ уже не стало изъ тѣхъ, кого мы съ тобою знали, съ кѣмъ танцовали въ счастливую пору общаго мира! Однихъ ужъ нѣтъ и больше мы не увидимъ ихъ на этомъ свѣтѣ, а другихъ этотъ бичъ Божій превратилъ въ калѣки: у кого руки нѣтъ, у кого ноги. Вчера привезли сюда Бурцева—помнишь, кутила, забіяка и неразлучный спутникъ нашего Дениса? Онъ раненъ подъ Смоленскомъ и теперь лечится здѣсь. Я была у него, чтобъ поразспросить о Денисѣ и обо всемъ, что тамъ дѣлается. Что пришлось мнѣ выслушать и какъ при этомъ я страдала—одному Богу извѣстно. И Бурцевъ говоритъ то-же, что Козловъ: „людей нѣтъ, а если и есть, говоритъ, Ермоловы да Коновницыны, такъ чиномъ не вышли“. И представь себѣ, милый другъ, я тутъ только узнала, что за прелестное сердце, что за дивная душа у этого „Бурцева—еры и забіяки“, какъ его называлъ Дени въ стихахъ. Съ какимъ благоговѣйнымъ умиленіемъ гово-

риль онъ о настоящихъ герояхъ войны—о простыхъ солдатахъ! Они, говорятъ, въ одно и то-же время и дѣти, и—боги. А какую нѣжную боязнь за какого-то своего друга „Алексашу“ онъ высказывалъ.—„Ахъ, Алексаша! Алексаша“ жаловался онъ, бѣдненькій: „убьютъ они его у меня! Да вѣдь это, говорить, будетъ святотатство. Алексаша—это чистое, невинное дитя, около котораго, я, говорить, я, грязный пьяница, очищался душой и не смѣлъ пить. И его убьютъ! Я, говорить, не выдержу этого леченія—я тихонько убѣгу къ войску, хоть ползкомъ доползу до моего Дениски и Алексаши—я лучше умру около нихъ чистымъ, чѣмъ валяться здѣсь негодной ветошью, а потомъ отъ тоски съ кругу спиться“. Это ему, бѣдненькому, жаль какого-то молоденькаго улана-офицера, Александрова.

„Вчера-же, въ церкви, я встрѣтила твоего милѣйшаго бакалавра, Мерзлякова. Онъ былъ съ своей хорошенькой, съ золотистыми волосами и черными глазами, племянницей, которую называетъ „Иринеемъ блаженнымъ“. Спрашивалъ о тебѣ. Въ лицѣ его, въ выраженіи глазъ, въ голосѣ я прочла многое *нѣчто*, касающееся тебя, мой милый другъ. Даже хорошенькій „Ириней“, повидимому, догадывается о чемъ-то и жалѣетъ своего дядю. Но и у нея, бѣдненькой, я тоже прочла *нѣчто* въ глазахъ, когда заговорили о войнѣ, о раненыхъ, убитыхъ—а развѣ-же можно теперь говорить о чемъ-либо другомъ! Вѣрно и у „Ириней“ есть что-то *тамъ*, въ этомъ ужасномъ *тамъ*, что-то свое, дорогое. Да и у кого его нѣтъ! И Мерзляковъ говоритъ, что былъ у насъ одинъ умный человѣкъ, по-плечу Наполеону, хоть и не полководецъ, но и того сдѣлали измѣнникомъ.

„Но, Боже мой! тяжело все это, какъ тяжело убѣждаться въ томъ, что самое лучшее и божественное, что дано намъ провидѣніемъ—любовь—становится для насъ источникомъ невыразимыхъ страданій, и именно въ то время, когда наиболѣе говорить въ насъ этотъ священный пламень. Я, кажется, только теперь вполне почувствовала, какъ глубоко люблю и тебя. мой гений-утѣшитель, и Россію, и это именно какъ-разъ теперь, когда тебя я не могу видѣть, а бѣдной, терзаемой Россіи ничѣмъ не могу помочь и ничего не могу ей дать кромѣ моихъ слезъ и кромѣ моихъ жалкихъ, беспомощныхъ моленій. Теперь-же я болѣе чѣмъ когда-либо чувствую, что еще ношу въ себѣ зерно спасительнаго утѣшенія; это—моя вѣра въ провидѣніе, вѣра, которая не даетъ мнѣ впадать въ отчаяніе; а это непременно случилось-бы, еслибъ я полагалась на силы и гений жалкаго человѣчества, еслибъ не вѣрила, что есть какая-то высшая сила, которая и эти міры бросила въ пространство, и насъ изъ ничтожества привела въ эту юдоль плача, а подчасъ и неизрѣченнаго счастья, и этого бѣднаго мотылька привела къ роковому пламени моей свѣчи вмѣсто свѣта солнца, и онъ, обманутый, погибаетъ теперь отъ своего невѣдѣнія. О, еслибы и тотъ извергъ, котораго провидѣніе, какъ мотылька на свѣчу, повело на Россію, нашелъ въ ней свою гибель!

„Съ того самаго дня, какъ здѣсь получена была ужасная вѣсть о по-

терѣ Смоленска и о томъ, что наши войска отступаютъ, Москва потеряла надежду на спасеніе. Всѣ, кто имѣетъ возможность двинуться въ невѣдомый путь, чтобы хоть виѣ милой Россіи, хоть въ Сибири, за Ураломъ искать убѣжища—всѣ двинулись изъ Москвы, и все больше по направленію къ востоку—къ Нижнему, къ Казани, къ Симбирску, къ Перми, къ Вяткѣ. Мы тоже думали было выѣзжать въ наше симбирское имѣніе, но пріѣхавшій оттуда конторщикъ нашъ говорить, что теперь тамъ вездѣ идетъ наборъ ратниковъ, и что мы не вынесемъ этого раздирающаго душу зрѣлища. Онъ говорить, что народъ ведетъ себя прекрасно, геройски, какъ и солдаты. Мужики не только не ропшутъ, что ихъ отрываютъ отъ полевыхъ работъ въ самое горячее, страдное время, но, напротивъ, говорятъ, что они теперь готовы всѣ идти на врага, что готовы поголовно ополчиться, только-бы повели ихъ и указали имъ супостата. „У себя дома—говорятъ они—только Богъ сильнѣ насъ“. Но за то бабы наполняютъ воздухъ рыданіями, и этотъ плачъ ужаснѣ всего, эти вопли не выносятъ даже такіе привычные люди, какъ наборщики ратниковъ.

„Сегодня я особенно поражена была однимъ зрѣлищемъ, которое видѣла первый разъ въ жизни, и оно, признаюсь тебѣ, мой другъ, нагнало на меня суевѣрный страхъ — опасеніе, что на насъ грядутъ еще новыя, невѣдомыя бѣдствія. Я одно вижу во всемъ томъ, что поразило меня сегодня, это то, что природа, которая окружаетъ насъ и тайнъ которой мы постигнуть не можемъ, и люди, а равно всѣ живыя существа, на землѣ обитающія, находятся между собою въ тайномъ духовномъ общеніи и имъ самымъ невѣдомыми путями идутъ къ какой-то, тоже имъ невѣдомой цѣли, руководимые тою-же единою таинственною силою, которая цѣлые міры гоняетъ по начертаннымъ ею въ небесномъ пространствѣ стезямъ и которая сегодня вечеромъ гнала цѣлыя стан птицъ на западъ,—а куда? зачѣмъ?—это объяснилъ мнѣ старый садовникъ своимъ простымъ, непосредственнымъ умомъ, живущимъ въ непосредственномъ общеніи съ природою и съ тою таинственною силою, которая приводитъ насъ въ благоговѣнный трепетъ въ порывѣ вѣтра, въ блескѣ молніи, въ ударахъ грома. Вечеромъ мы съ Козловымъ сидѣли въ саду—помнишь ту скамейку подъ дубомъ, съ которой еще такъ хорошо виденъ величественный Кремль?—сидѣли и большею частью молчали, прислушиваясь какъ-бы къ вѣянію нашихъ собственныхъ грустныхъ мыслей. Послѣ душнаго дня вечеръ былъ дивный. Закатившееся за Кремлемъ солнце золотило только маковки нѣкоторыхъ церквей, а западная окраина неба горѣла блѣдно-розовою зарею. Я думала о тебѣ. Козловъ казался особенно грустнымъ, и мнѣ тутъ-же припомнился тотъ вечеръ—помнишь—все тотъ-же, съ княгиней Дашковой, рассказывающею о Вольтерѣ и постоянно забывающею, что она хотѣла сказать,—помнишь когда мы потомъ съ тобою, Денисомъ и Мерзляковымъ вышли на террасу и услышали за кустомъ голосъ Козлова, который спрашивалъ у вашего Якова: „развѣ тебѣ никогда не было скверно, такъ, чтобы въ петлю хотъ—такъ въ пору?“ Такимъ онъ казался и сегодня въ саду. Вдругъ я

вижу, что нашъ Миронъчъ, старый садовникъ, который помнитъ еще Бирона, а у Пугачева руку цѣловалъ, за что у него потомъ и отрѣзали одно ухо подъ висѣлицей,—стоитъ, опершись на заступъ, смотреть на небо и качаетъ своею лысою, точно отполированную головой. Я тоже взглянула на небо. По густо-голубому фону его тихо, плавно, изрѣдка лишь глухо вскаркивая, тянулись вереницы птицъ, слѣдуя черезъ Кремль по направленію къ западу, къ той полосѣ неба, на которой медленно погасала вечерняя заря. Никогда не видала я, мой другъ, такого множества птицы, летящей куда-то, все въ одномъ и томъ-же направленіи. Летящіе странники, казалось, не торопились; они точно увѣрены были въ неизбѣжномъ достиженіи того, чего они ищутъ въ своемъ воздушномъ странствіи. Я замѣтила при этомъ, что и тѣ вороны, которыя сидѣли на кремлевскихъ стѣнахъ, снимались со стѣнъ и присоединялись къ тѣмъ стаямъ, которыя летѣли повидимому издалека. Страшно мнѣ чего-то стало при видѣ того, чего я не понимала. Я точно сердцемъ угадала что-то нехорошее, зловѣщее въ этомъ птичьемъ перелетѣ. „Что это такое, Миронъчъ?“ спрашиваю я. „Къ худу это, барышня“, отвѣчаетъ онъ: „такъ было и въ Пугачовщину, какъ онъ шелъ отъ Казани къ Симбирску да къ Саратову“. И старикъ объяснилъ намъ, что *тамъ* гдѣ-то или идетъ сраженіе, большое, очень большое, или оно недавно было, и птица узнала объ этомъ и летитъ туда питаться мертвыми тѣлами. Такъ, говоритъ онъ, и въ падежные годы: за сотни верстъ узнаетъ птица, что въ такихъ-то мѣстахъ падежъ, и летитъ туда кормиться падалью. Боже милостивый! до чего мы дожили: это нашими-то братьями, отцами, женихами летятъ кормиться хищные вороны. Это шлетъ ихъ туда та невѣдомая сила, которая навела на русскую землю и Наполеона съ его полчищами. Я такъ и жду теперь новыхъ вѣстей, еще болѣе страшныхъ чѣмъ тѣ, которыя всю русскую землю повергли въ уныніе и трепетъ.

„Много шуму надѣлалъ здѣсь этотъ богачъ вольскій, Злобинъ. Онъ пожертвовалъ на ополченіе какія-то громадныя суммы. Ростопчинъ прославилъ его за это по всей Москвѣ и говоритъ,—вѣдь ты знаешь, какой у него языкъ,— Козловъ говоритъ, что царь-колоколъ потому не звонитъ, что Ростопчинъ укралъ у него языкъ и носитъ съ нимъ по Москвѣ,—такъ Ростопчинъ говорилъ въ собраніи дворянства, что въ Злобинѣ воскресъ духъ Космы Минина и что намъ недостаетъ только Пожарскаго, чтобы спасти Россію отъ иноплемениковъ. Такъ кто-то въ собраніи и сказалъ, что Ростопчинъ-то и есть самъ Пожарскій. Признаюсь, мой дружокъ, все это мнѣ какъ-то не понравилось: не до того теперь, чтобы рисоваться и выставлять себя на показъ, когда другіе молча умираютъ. И Злобинъ этотъ произвелъ на меня нехорошее впечатлѣніе. Я видѣла его, когда онъ пріѣзжалъ къ папа по какому-то дѣлу. Въ глазахъ у него какъ будто постоянно сидитъ кто-то со счетами и соображаетъ, глядя на васъ въ упоръ: „сколько изъ этого человѣка можно сдѣлать рублей“. Вѣдь богатства, и особенно такія, какъ у него, добромъ не называются: милліоны,

наполняющіе его сундуки, были когда-то рублями въ рукахъ бѣдныхъ людей, а теперь у многихъ изъ этихъ бѣдняковъ не осталось и куска хлѣба. Не думай, мой другъ, что я осуждаю Злобина; но меня не приводитъ въ умиленіе то, что изъ своихъ сундуковъ, набитыхъ милліонами, онъ выбросилъ нѣсколько тысячъ только для того, чтобъ онъ звякнули на всю Россію и разнесли по ней славу его имени.

Другими глазами, другъ мой, я смотрю на подвигъ Новикова — помнишь того кроткаго, прекраснаго старика, котораго мы разъ видѣли у Глинки и еще называли благообразнымъ Іосифомъ? Я потомъ перечитала всѣ его журналы, книги и даже „Древнюю Россійскую Библіотеку“. Въдѣ ужъ кѣмъ его ни называли — и якобинцемъ, и мартинистомъ, и масономъ, и безбожникомъ! А у этого безбожника оказалась такая прекрасная душа, что ей поклоняться нужно. И не даромъ такъ благоговѣть передъ нимъ милый Алексѣй Федоровичъ — учитель твой, Мерзляковъ, да и Козловъ его глубоко уважаетъ. Такъ этотъ безбожникъ Новиковъ устроилъ теперь въ своемъ имѣніи, въ Авдотинѣ, лазаретъ для раненыхъ, отдалъ подъ это заведеніе весь свой домъ, снабдилъ его всѣмъ нужнымъ, ухаживаетъ за больными, какъ отецъ родной, а самъ помѣщается въ избушкѣ своего пчельника, на пчельникѣ. Вотъ это я называю подвигомъ человеколюбія; это большая, мой другъ, жертва, чѣмъ сто тысячъ, оторванные отъ милліоновъ и привѣщенные къ звонкому языку графа Ростопчина.

„Но, Господи! до чего довело меня горе общее, бѣдствіе народное! Я открываю въ себѣ постыдное качество: во мнѣ начинаетъ сказываться злоязычіе. Въ самомъ дѣлѣ, за что я обижаю Злобина? за что я такъ злословлю Ростопчина? Въдѣ я ихъ осуждаю. Но не ошибаюсь-ли я сама въ моихъ сужденіяхъ? Что я сама сдѣлала, чтобъ имѣть право говорить такъ о другихъ? Пожертвовала нѣсколькими тряпками на корпію? Но Боже мой! что-же я могу еще сдѣлать? Что! А что сдѣлала та необыкновенная дѣвочка, которая отъ далекой Камы дошла, одинокая, въ казачьемъ или уланскомъ одѣяніи, отъ всѣхъ скрывая свой полъ, — дошла до границъ русской земли, мало того — перешла эти границы вмѣстѣ съ прочими войсками, билась лицомъ къ лицу съ этимъ страшнымъ апокалипсическимъ звѣремъ и, можетъ быть теперь ея нѣжное тѣло лежитъ, бездыханное, гдѣ-нибудь въ полѣ, и вотъ эти птицы, что сегодня летѣли черезъ Кремль *туда куда-то*, завтра утромъ начнутъ клевать его, и непременно съ глазъ: говорятъ, что птица всегда съ глазъ начинается клевать мертвато челоуѣка. Ахъ, Аннетъ, какъ все это страшно, какъ безотрадно все это!

„Сегодня я кормила въ саду своихъ кроликовъ и вспомнила тебя и Дениса. Помнишь, когда весной онъ пріѣзжалъ сюда изъ арміи по какому-то спѣшному дѣлу и засталъ насъ съ тобою въ саду около этихъ кроликовъ, которыхъ мы кормили только-что пробывавшеюся изъ земли травкою, — онъ такъ весело и самоувѣренно сказалъ намъ: „смотри-же, кузина, и вы, барышня, постарайтесь, чтобъ къ нашему возвращенію изъ похода кролики были такъ откормлены травкой и капусткой, какъ Наполеонъ че-

ловѣческимъ мясомъ,—и тогда мы съ Бурцевымъ позавтракаемъ ихъ мясомъ послѣ хорошей выпивки“. Да—бѣдный Бурцевъ, бѣдный Дени! Можетъ быть вашимъ тѣломъ скоро позавтракаютъ хищныя птицы, а невинные кролики будутъ поданы къ столу изверга рода человѣческаго... Но, Боже мой! Боже мой! что за мрачныя мысли у меня! Прости меня, мой нѣжный другъ,—вмѣсто письма-дневника, который-бы развлекъ тебя, я написала что-то очень горькое и печальное. Прости меня, но видѣть Богъ—темна душа моя, темна, какъ могила. Я нигдѣ, ни въ чемъ не нахожу себѣ успокоенія—все думаю, думаю, думаю! Сегодня даже мама журила меня за мое уныніе: она говоритъ, что я очень, очень похудѣла.

„А тутъ и Козловъ хочетъ уходить въ армію. Что-жъ это будетъ такое! Ахъ, душечка Аннетъ, я боюсь сама себя признать, а кажется это такъ, и это открытіе принесло мнѣ новыя муки: я, кажется, люблю Козлова. Понимаешь ты это? Я сама поняла весь ужасъ моего положенія только тогда, когда онъ сказалъ, что поступаетъ въ ополченіе и „понесетъ свою безпутную голову туда, гдѣ каждый день падаютъ благородныя головы“. Я теперь чувствую, что я, лично я, теряю все, все—и Россію, и его! Не оттого-ли и страдаю я такъ, что страдаю лично? О, какая-же я низкая!...“

Аннетъ не дочитала письма. Она плакала.

XI.

— Это что за село, братцы?

— Бородино называется.

— Бородино! А поди привалъ будетъ?

— Должно будетъ. Вѣтъ поспимъ!—страхъ спать хочется.

— Да и пожрать-бы чего мокренъкаго—ухъ, хорошо-бы!

— А какъ подѣ Смоленскимъ она, чиненка эта, упадетъ коло насъ, да какъ завертится, а мы всѣ на-земь, а она жакъ—у! сыпанетъ землей, а Типка нашъ какъ чихнетъ съ испугу—что смѣху было!

— А они въ то время огурецъ ѣли—большой такой—такъ и не доѣли, обѣхъ скосило...

— Ну, и с..... же ты с..., послѣ этого...

Дурова машинально прислушивалась къ безсвязной, повидимому, но для нея теперь имѣющей глубокой смыслъ болтовнѣ своихъ уланъ, тихо покачиваясь на сѣдлѣ впереди своего взвода, въ то время, когда полкъ ихъ подходилъ къ какому-то селу, которое солдаты называли Бородинымъ. То, что она вынесла, пережила, передумала и перестрадала вмѣстѣ съ этими безотвѣтными, непостижимо выносливыми людьми въ теченіи пяти лѣтъ и въ особенности въ эти послѣдніе страшные мѣсяцы, придавало этимъ словамъ значеніе, познать цѣну котораго можно было только въ школѣ, пройденной ею и ими. Это желаніе чего-нибудь „мокренъкаго“ послѣ длин-

ныхъ переходовъ подъ августовскимъ солнцемъ, когда пыль набивалась въ глаза, и въ ротъ, и въ легкія: эта надежда на то, что „поспать“ можно будетъ наконецъ; этотъ смѣхъ надъ осколками разорвавшейся гранаты; этотъ огурецъ, не доѣденный потому, что... э! да это цѣлая исторія отечественной войны, наша грустная Иліада... Дурова не надѣялась уже ни на что, какъ никто, кажется, не надѣялся, и у ней оставалось только одно желаніе—„поспать“, забыться. Назначеніе главнокомандующимъ Кутузова подняло было духъ войска; но когда увидѣли, что положеніе дѣлъ отъ этого не измѣнилось ни на волосъ къ лучшему, всѣми овладѣла какая-то досадливость. Даже солдаты начинали скучать и злиться, неизвѣстно за что, повидимому другъ на дружку, на лошадей и на окружающіе предметы. То-и-дѣло слышались неизвѣстно къ кому относившіеся возгласы: „эй ты, чортъ!“—„а, да провались ты! не до тебя!“ — „эй, который!“—„который“ особенно казалось браннымъ словомъ.

Въ особенности Дурову поразила сцена, на которую она наткнулась при вѣздѣ въ Бородино. У, крайней избы, на завалинкѣ, сидѣлъ Давыдовъ (онъ не былъ убитъ подъ Смоленскомъ, какъ это сгоряча показалось Бурцеву), а около него терся объ локоть сѣренькій котенокъ, граціозно выгибая спинку. Противъ Давыдова стоялъ старый Пилипенко и не то улыбался котенку, не то показывалъ видъ, что хмурится на него — „не мѣшай-де начальству“, „не до тебя“. Давыдовъ казался сердитымъ, но не просто сердитымъ, а какъ-бы съ похмѣлья, словно-бы онъ сердился на самого себя.

— Ну, а Егоровъ?—лаялся онъ какъ-то по собачьи, косясь добрыми глазами на котенка.

— Убить, вашеско-родіе,—казенно отвѣчалъ Пилипенко, тоже покашиваясь на котенка.

— А Гладкой?

— Убить, ваше ско-родіе.

— Ну, а Пташкинъ тамъ?

— Убить, ваше ско-родіе.

— Да что ты, старый чортъ, заладилъ—убить да убить!.. Ну, пошли тамъ кого другого—кто изъ унтеръ-офицеровъ, который остался...

— Слушаю-съ, вашеско-родіе.

Давыдовъ взялъ на руки котенка, чтобы скрыть слезы, которыя готовы были брызнуть: наканунѣ его отрядъ, прикрывая движеніе пѣхоты, нѣсколько часовъ держался противъ вдвое сильнѣйшаго непріятеля и былъ вторично перебитъ на половину. Дурова знала это, и собственнымъ переболѣвшимъ сердцемъ угадала, что двигало рукою гусара, глadiвшешо котенка въ то время, когда въ ухахъ его раздавалось ужасное „убить, убить и убить“: и сердцу, и глазамъ, уставшимъ смотрѣть на убивающихъ и убиваемыхъ, хотѣлось отдохнуть на другихъ картинахъ, отвести душу на невинномъ личикѣ ребенка, забыться вдали отъ этой области ужасовъ, смерти и страданій. Люди казались такими страшными, такими

злыми и безпощадными; что рука, уставшая губить других и безжалостно защищать свою собственную жизнь, невольно тянулася погладить шелковистую головку ребенка, приласкать косматую собаченку, глунаго, беззаботно мурлыкающего котенка.

Только-что Дурова хотѣла-было поздороваться съ Давыдовымъ, какъ услышала церковное пѣніе, простая, но задумчивая мелодія котораго глубоко проникала въ душу и, какъ по свѣжнмъ ранамъ, проходила по притомленнымъ, болѣзненно усталымъ нервамъ. Съ горки, по московской дорогѣ двигалась процессія, во главѣ которой колыхалось что-то блестящее, далеко отбрасывавшее отъ себя лучи полуденнаго солнца, освѣщавшаго бородинское поле и окрестныя возвышенности, зеленѣвшія рѣдкимъ кустарникомъ и лѣсомъ. То была большая икона, несомая солдатами. Изъ-за серебрянаго съ золотымъ вѣнцомъ оклада выглядывалъ темный ликъ Богородицы. Большіе, замѣтно выдѣлявшіеся на темномъ фонѣ лика глаза Богоматери, казалось, строго глядѣли туда, вдаль, на тѣ зеленѣвшія лѣсомъ возвышенія, откуда съ часу на часъ ожидалось появленіе того страшнаго чудовища, которое неустанно гнало русскія войска отъ границъ къ самому сердцу страны. Что-то рыдающее слышалось въ дребезжащихъ голосахъ сопровождавшаго икону духовенства. На усталыхъ, вспотѣвшихъ лицахъ носильщиковъ покоилась увѣренность во всемогуществѣ совершаемаго акта и глубокое благоговѣніе. Солдаты, работавшіе у возводимыхъ на ближайшихъ холмахъ насыпяхъ для установки орудіи, бросали заступы и лопаты, другъ за дружкой бѣжали на встрѣчу иконѣ; нѣкоторые при ея приближеніи бросались ницъ на землю, среди самой дороги, для того чтобы черезъ нихъ прошла несомая по войскамъ святыня. Дѣтскою, умиительною вѣрою свѣтились глаза солдатиковъ при взглядѣ на Богородицу; руки, на минуту оставившія ружье или лопату, широко и размахисто вскидывались въ воздухъ, чтобы перекрестить тѣло, которое не сегодня-завтра можетъ быть будетъ раздроблено, раздавлено, искалѣчено; пересохшія и потрескавшіеся отъ солнца и пыли губы шептали молитвы, въ которыхъ часто ничего другого не слышалось, кромѣ „Матушка Богородишка“.

Навстрѣчу иконѣ, вдоль линіи возводимыхъ укрѣпленій, выступалъ эскортъ всадниковъ, большею частью въ генеральскихъ мундирахъ всѣхъ оружіи. Нѣсколько впереди всѣхъ, на массивномъ съ толстыми ногами и густою гривой конѣ, плавно покачивалось и тихо вздрагивало не менѣе массивное, ожирѣвшее тѣло съ нѣсколько приподнятою лысою головою, покоившеюся на жирной, съ двойнымъ подбородкомъ шеѣ. Все это тѣло, начиная отъ большого, свисаго къ сѣдлу живота и кончая толстыми обвисшими руками и ногами, плечи, опустившіяся книзу, толстыя обвисшія щеки—все это казалось старчески дряблымъ, ожирѣвшимъ, осунувшимся. И выраженіе лица гармонировало съ остальнымъ тѣломъ: одинъ глазъ смотрѣлъ какъ-то сонно, апатично, какъ это часто видится у стариковъ, а другой казался совсѣмъ мертвымъ, остеклѣлымъ.

Въ этомъ осунувшемся на сѣдлѣ старомъ тѣлѣ Дурова сразу угадала Кутузова, котораго прежде не видала и на котораго теперь вся Россія должна была возлагать свои надежды. Что-то острое шевельнулось въ сердцѣ дѣвушки при видѣ главнокомандующаго. Въ умѣ ея мелькнулъ образъ другого—съ лицомъ сфинкса подъ странной, единственной въ мірѣ трехугольной шляпой и съ неразгаданными глазами на этомъ блѣдномъ египетскомъ лицѣ... А этотъ осунувшійся?..— „Нѣтъ, не такого бы теперь надо“, невольно заняло въ ея сердцѣ.

Почти рядомъ съ ожирѣвшимъ лицомъ Кутузова плавно покачивалось на длинной шеѣ длинное, сухое, съ длиннымъ прямымъ носомъ, остробородое лицо, которое тоже, казалось, съ сожалѣніемъ искоса взглядывало иногда на жалкую старческую фигуру главнокомандующаго и шурилось, косясь на кувыркавшихся передъ процессіею солдатиковъ, казавшихся такими жалкими дѣтьми. Этотъ длиннотелый былъ Барклай-де-Толли, командовавшій „первою арміею“. Рядомъ съ нимъ—уже давно знакомое намъ энергическое съ сильнымъ восточнымъ типомъ лицо Баграціона, командира „второй арміи“: по этому безхитростному лицу пробѣгала добродушная улыбка всякій разъ, какъ глаза его встрѣчались съ широко-раскрытыми, почтительно и наивно-изумленными глазами солдатиковъ. Далѣе, за плечами и по бокамъ этихъ трехъ главныхъ полководцевъ видѣлись лица второстепенныхъ вождей—молодое лицо Ермолова, Дохтурова, Коновницына, Кутайсова и сухоносый, загорѣлый болѣе другихъ обликъ Платова.

Въ виду приближенія иконы Кутузовъ нѣсколько своротилъ въ сторону и остановилъ свою лошадь. Остановилась и вся его свита. Въ кучкахъ солдатъ, подбѣгавшихъ къ образу и кланявшихся въ землю, произошло движеніе; иные попятились назадъ, одни вытянулись, другіе еще усерднѣе стали креститься. Кутузовъ долго, съ трудомъ, слѣзая съ лошади, налегши тучнымъ животомъ на гриву и перетаскивая свою толстую, неповоротливую, точно чужую ногу черезъ высокую луку сѣдла. Коновницынъ, успѣвшій соскочить съ своего коня, поддержалъ старика.

— Спасибо, голубчикъ... Вонъ кто насъ всѣхъ поддержитъ,—указалъ онъ на икону, которая остановилась.

Кутузовъ, давно снявшій свою бѣлую фуражку, неловкими шагами, переваливаясь и торопясь, подошелъ къ иконѣ и, припавъ сначала на одно колѣно и упираясь рукою въ землю, упалъ потомъ на оба и лысымъ высокимъ лбомъ приложился къ землѣ. Старческая фигура его представляла что-то невыразимо жалкое и какъ-бы младенческое. Поднявшаяся затѣмъ съ земли голова тряслась, губы и глаза подергивались, какъ-бы собираясь плакать. При помощи Коновницына онъ всталъ на ноги и поцѣловалъ руку иконы.

По серебру оклада пробѣжала слеза и спряталась подъ жемчужными подвѣсками. Стоявшій у самой иконы попъ съ крестомъ усиленно заморгалъ глазами и затоптался на мѣстѣ. Солдаты громко вздыхали, какъ будто бы кругомъ не хватало воздуха. Издали, изъ-за покрытаго лѣсомъ

взгорья доносились неясные звуки рожковъ, а иногда слышался какой-то смутный гулъ, волнами проносившійся надъ тѣмъ же взгорьемъ: Дурова догадалась, что это тамъ, по закрытому лѣсомъ взгорью, французскія войска приветствуютъ своего императора. А тутъ было тихо: русскія войска собирались молиться... Послѣ Кутузова другіе генералы также подходили къ образу и кланялись въ землю. Въторокъ, дувшій отъ Бородина, тихо шевелилъ церковными хоругвями, которыя какъ-то жалобно поскрипывали. Низко, почти надъ самыми обнаженными головами солдатъ проносились ласточки и испуганно шныряли въ сторону. Слѣва, съ возвышеннаго, но полого бугра доносились поскрипыванья колесъ: то скрипѣли тачки, на которыхъ солдаты подвозили землю, укрѣпляя редутъ Раевского или правыя флешы.

Началось молебствіе. Солдатики, не слыша привычнаго возгласа начальниковъ „смирно!“—понадвинулись стѣной и усиленно замахали руками, торопливо перемахивая сложенными пальцами со лба на животъ да на плечи. Скрипучій голосокъ священника какъ-то особенно скрипѣлъ по душѣ, и Дуровой, при видѣ голубого неба, по которому пробѣгали облака, казалось, что и эта тихая, робкая молитва, и эти сдержанные, въ виду начальства, солдатскіе вздохи несутся прямо туда, ввысь, до самаго голубого неба. Кутузовъ стоялъ, нагнувши голову, точно дремалъ, и только иногда качалъ тихонько этою большею головою въ тактъ молитвъ священника.

А гулъ со взгорья доносился то явственнѣе, то глуше; иногда онъ смолкалъ совсѣмъ, то вдругъ прорывался, словно бы то была далекая стрѣльба... „Это онъ,—думалось Дуровой,—заряжается французскія сердца... Быть чему-то страшному“...

Кончилось молебствіе. Всѣ сыпнули къ кресту и къ водокропленію. Кутузовъ со свитою поѣхалъ вдоль линіи войскъ, по направленію къ редуту Раевского и къ Багратионовымъ флешамъ, темнѣвшимися черными дулами пушекъ впереди поселка Семеновскаго: это былъ ключъ позиціи русскихъ—жалкія, наскоро сдѣланныя крѣпостцы, всѣ утыканныя пушками и защищаемыя не стѣнами, которыхъ не было, а живымъ мясомъ, которое вонъ какъ законопилося, издали увидавши „дѣдушку“. Икона съ процессіей также двинулась передъ войсками, расположенными въ первой позиціи, въ той, которая первую должна была принять на себя ожидаемые удары непріятеля.

Въ это время между солдатами, сопровождавшими икону, произошло какое-то движеніе. Всѣ поднимали головы и указывали на какую-то огромную птицу, которая, медленно махая крыльями, летѣла черезъ бородинское поле по направленію къ флешамъ Багратиона.

— Смотри-тко, братцы! мотри какая птица!

— Ай-ай! да это никакъ баба-птица... Ужъ и крылья же сажовныя — ну!

— И впрямь баба! вотъ птица!

— Како баба?—орелъ!

— Орель и впрямь!.. орель... ай-ай!

Дурова, слѣдовавшая за процессіей, видѣла все это и слышала, и сердце ея болѣзненно сжалось. Она замѣтила, что когда орель пролеталъ надъ Кутузовымъ и его свитой, тамъ тоже увидали рѣдкаго пернатого странника и указали на него главнокомандующему. Старикъ поднялъ голову, снялъ шапку и перекрестился. Надъ рядами, мимо которыхъ проѣзжалъ главнокомандующій, пронеслось громогласное „ура“. Испуганная птица метнулась въ сторону, торопливо замаячила своими огромными крыльями и взмыла въ виду изумленныхъ войскъ. Дуровой припомнилось, что она гдѣ-то читала, какъ появленіе орла надъ войсками, готовящимися къ бою, римляне считали предвѣстникомъ побѣды. Ей самой хотѣлось вѣрить этой примѣтѣ, но почему-то не вѣрилось. Она видѣла, что орель летѣлъ оттуда, съ того таинственнаго взгорья, по которому проходилъ неясный гулъ голосовъ: орель, значить, и тамъ пролеталъ надъ *ними*, а можетъ быть онъ *ихъ* же голосами и былъ гдѣ-нибудь испугнутъ. Но вѣртіе ей казалось, что этотъ неожиданный пролетъ орла—нерадостная примѣта: или этотъ орель чуетъ скорую поживу, или онъ давно сопутствуетъ войску, можетъ быть уже нѣсколько лѣтъ совершаетъ походы вмѣстѣ съ Наполеономъ, зная, что гдѣ онъ—тамъ и трупы, пиръ горой для всякой хищной птицы. Не даромъ въ казачьихъ думачъ, которыя такъ глубоко трогали ея душу, когда она гостила когда-то въ Малороссіи, постоянно упоминаются около умирающаго казака „орлы сизокрыльцы“ и „волки сѣроманды“. Дрожь пробѣжала у нея по тѣлу, когда, при видѣ этого орла и этихъ дѣтски-наивныхъ, обращенныхъ на него глазъ солдатъ, она невольно заглянула въ таинственное „завтра“, можетъ быть даже „сейчасъ“, тогда какъ здѣсь, казалось, ничто еще не было готово для встрѣчи врага, хотя всѣ были готовы для встрѣчи смерти: многіе изъ солдатъ уже сегодня утромъ надѣли чистыя рубашки, у кого таковыя были, какъ-бы готовясь къ причастію.

Между тѣмъ икона останавливалась то тамъ, то здѣсь, смотри по расположенію частей арміи, и всякій разъ около нея кучились солдаты, какъ дѣти около матери. Обнесли Богородицу и вокругъ люнета Раевского. Скоро потомъ риза ея заискрилась и на высотахъ флешей Баграціона: Баграціонъ самъ встрѣтилъ Смоленскую святыню и вмѣстѣ съ солдатами вынесъ ее на самый высокій редутъ, какъ-бы желая этимъ сказать непріятелю: „смотри — вотъ гдѣ крѣпость русскаго народа: ее ты не побѣдишь ни пушками, ни всѣми легіонами старой гвардіи“...

И Наполеонъ дѣйствительно смотрѣлъ въ это время съ высоты взгорья, съ возведеннаго имъ за ночь у Шевардина редута, смотрѣлъ въ зрительную трубу, положенную имъ на плечо Мюрата, и не могъ понять истинной причины необыкновеннаго движенія русскихъ въ этомъ пунктѣ, именно на высотѣ флешей Баграціона: онъ видѣлъ только, какъ въ одномъ пунктѣ что-то блистало и искрилось, и около этого искристаго пункта, около свѣтлой точки толпились москвиты; онъ догадался, что это носили по войскамъ и укрѣпленіямъ русскую святыню и понималъ, что въ этихъ именно

мѣстахъ онъ и встрѣтитъ самое стойкое сопротивленіе со стороны этихъ досадливыхъ варваровъ.

Кутузовъ съ своей стороны хотѣлъ также, повидимому, осмотрѣть позиціи непріятеля. Подѣхавъ къ багратионовымъ флешамъ, онъ сошелъ съ лошади съ той-же неожиданной помощью Коновницына, бросилъ поводья какъ-то не глядя, потоптался около ординарца, который мигомъ завладѣлъ его лошадей, посмотрѣлъ, шурясь, на процессію, повернувшую во вторую линію войскъ, и, пыля ногами, поднялся на возвышеніе редута. Присѣвъ на дышло заряднаго ящика, онъ долго шурился на возвышеніи у Шевардина, гдѣ стоялъ Наполеонъ, окруженный свитою.

— Дай, голубчикъ,—сказалъ онъ, отыскивая кого-то глазами и протягивая руку.

Коновницынъ тотчасъ-же снялъ висѣвшую у него черезъ плечо на перевязи зрительную трубу и подаль ее главнокомандующему. Кутузовъ раздвинулъ ее, долго наводилъ по направленію къ шевардинскому редуту жеваль что-то губами. Руки его видимо тряслись. Нѣкоторые изъ генераловъ свиты молча переглядывались, косясь на старика, который съ сдвинутою на затылокъ бѣлою фуражкой походилъ на кормилицу въ кошениикѣ.

Впереди редутовъ, по равнинѣ, по направленію къ лѣвому крылу арміи, двигались казацкіе полки. Увидавъ главнокомандующаго, они дружно выкрикнули „ура“. Крикъ ихъ подхватили ближайшія колонны войска, и „ура“ пошло по линіямъ. Единственный здоровый глазъ старика замигалъ и зрительная труба еще болѣе заходила въ рукахъ.

Отъ казаковъ отдѣлился кто-то въ красной фуражкѣ, съѣхавшей на затылокъ, и подскочилъ къ флешамъ.

— А! вонъ моя зрительная труба!—съ улыбкой сказалъ Кутузовъ, глядя на подѣхавшаго.

Подѣхавшій былъ Платовъ. За пять-шесть лѣтъ, какъ мы его не видали, лицо его еще болѣе покоричневѣло и лицевые мускулы замѣтно почерствѣли. Соскочивъ съ коня, онъ быстро взомелъ на редутъ и приблизился къ Кутузову. Старикъ ласково посмотрѣлъ на него.

— Вотъ гдѣ мои глаза—глаза русской арміи,—съ улыбкой обратился старикъ къ Платову.—Ну, что видѣли мои глаза, что разузнали?

— Имѣю честь доложить вашей свѣтлости, что въ сію ночь къ утру расположеніе непріятельской арміи измѣнено: противъ Бородина, за рѣчку Калочку, выдвинутъ корпусъ вице-короля, который и составляетъ лѣвое крыло арміи; на правомъ флангѣ—корпусъ Понятовскаго къ старой смоленской дорогѣ; въ центрѣ, отъ Шевардина до Калочи—Мюратъ съ корпусами Нансути, Монбрюна и Латуръ-Любюра. Главная квартира—въ Шевардинѣ. Казаки мои видѣли, что французы возводятъ укрѣпленія противъ Бородина, и вонъ тамъ прямо (Платовъ показалъ впередъ на взгорье, куда Кутузовъ сейчасъ безуспѣшно наводилъ зрительную трубу)—у Шевардина.

— Я такъ и зналъ,—какъ бы отвѣчая на свою мысль, сказалъ главнокомандующій.—Спасибо, мой другъ.

Риза Богородицы между тѣмъ поблескивала уже далеко, переносимая отъ одной части войскъ къ другой, которыя въ свою очередь двигались то въ ту, то въ другую сторону, занимая позиціи, указанныя имъ распоряженіями командовавшихъ арміями. За этими передвиженіями и день прошелъ. Дурова съ своими уланами и съ гусарами Давыдова очутилась позади Багратіоновыхъ флешей, какъ-разъ у поселка Семеновскаго.

Солдаты дождались наконецъ того, чего такъ долго не имѣли: и „привалъ“ и „мокренъкое“—наканунѣ битвы.

„Ребята! водку привезли! ступай къ чаркѣ!“ кричали по рядамъ квартиреры, когда наступилъ вечеръ.

— Не къ тому готовимся—не такой завтра день,—отвѣчали нѣкоторые изъ солдатъ, вынимая изъ ранцевъ чистыя рубахи.

— Не до водки теперь—къ Богу можетъ позовутъ сейчасъ... а то водка...

— Рубаху чистую—это такъ: къ Богу идемъ...

Другіе шли къ чаркѣ. Выдавали всего двойную порцію, чтобъ подкрѣпились люди.

Вечеръ становился сырымъ и холоднымъ. То тамъ, то здѣсь замигали бивачные огни, но какъ-то недружно: солдаты видимо неохотно разводили ихъ—не то на душѣ было. Зато тамъ, черезъ равнину, по туманному взгорю ярко пылали огни французской арміи.

Когда совсѣмъ стемнѣло, Дурова, отдавъ коня деньщику, пошла пѣшкомъ къ Багратіоновымъ флешамъ, которыя возвышались впереди ея полка. У самаго средняго редута толпились защитники этой главной укрѣпленной позиціи—гренадеры сводной дивизіи. Одни изъ нихъ, устѣвшись вдоль окоповъ, тихо, неохотно перекидывались словами; другіе, сидя кружками на землѣ, хлебали что-то деревянными ложками изъ большихъ деревянныхъ же мисокъ; иные лежали, укрывшись шинелями, и не то спали, не то думали молча. Съ другой стороны редута, подъ защитою земляной насыпи, горѣлъ небольшой костеръ и освѣщалъ то лицо, то профиль, то вооруженіе стоявшихъ около костра: то были офицеры сводной гренадерской дивизіи. Они о чемъ-то говорили...—„Наше счастье, господа“, говорилъ одинъ голосъ, въ которомъ Дурова узнала голосъ графа Воронцова, командира сводной дивизіи, предназначавшейся защищать флешу:—„у того извѣстная тактика—всею тяжестью обрушиться на центръ непріятельской арміи, чтобы потомъ бить ее по частямъ... Мы, господа, лихо примемъ этотъ ударъ“... Металлическій голосъ говорившаго звучалъ какъ-то странно въ ночномъ воздухѣ; у Дуровой сжалось сердце отъ этого голоса.

Она искала Давыдова, но не находила, и воротилась къ мѣсту своей стоянки, къ Семеновскому. Въ овражкѣ, на которому протекалъ ручей, около воды въ темнотѣ копошились солдаты, позвякивая манерками. То

ть, то здѣсь фыркали лошади, звеня мундштуками. Кое-гдѣ раздавались плаканы, сердитыя покрикиванья то на лошадей, то другъ на дружку.

самомъ Семеновскомъ, въ нѣкоторыхъ избушкахъ, мелькали огоньки. и-дѣло заслоняемые двигавшимися въ темнотѣ тѣнями. Иногда раздастся яскій топотъ скачущаго въ темнотѣ ординарца или вѣстового, донесется ясный вопросъ: — „какой дивизіи?“ — „гдѣ командиръ?“ — хлопнетъ быстро открываемая дверь, звякнетъ щекотка, нерѣшительно залаетъ собака.

Дурова нашла своего денщика у одного изъ костровъ, вокругъ котораго сидѣли офицеры ея полка, закусывали на ночь, запивали и говорили о предстоящемъ утрѣ. Она присѣла тутъ же, отказалась отъ предложеннаго ей угощенія, потомъ, пригрѣтая огонькомъ, улеглась на землѣ, утаивъ голову шинелью и подъ говоръ товарищей уснула, какъ убитая.

Сонъ перенесъ ее далеко отъ костра. Видѣлись ей картины дѣтства. Она играла съ собаками на берегу Камы. На горѣ стояла Наталья, горничная, и звала ее чай кушать. Артемъ, конюшій, велъ Алкида на волю. Увидавъ свою барышню, избалованный конь заржалъ, да такъ громко, что земля задрожала — и дѣвушка проснулась...

• XII.

Дѣйствительно, земля задрожала и разбудила спавшую у потухшаго костра Дурову.

Она вскочила, не понимая, что съ ней и гдѣ она. Передъ ней стоялъ денщикъ и держалъ въ поводу ея лошадь. Солнце только-что выглянуло изъ-за лѣсу и тумана. Эскадронъ строился рядами.

Скоро она все поняла. Страшные залпы оттуда, изъ-за долины, и тамъ же встрѣчные залпы съ редутовъ Баграціона и со всѣхъ ближайшихъ гарей буквально потрясали и воздухъ, и землю. Казалось само небо дрогло.

Эскадронъ Дуровой выстроился на возвышеніи, лѣвѣе Семеновскаго. туда видно было, что дѣлалось впереди. По сторону ложбины, тянувшейся въ возвышеній, на которыхъ возведены были Баграціоновы флешы, до противоположныхъ возвышеній, подходившихъ къ Шевардину, оставалось ничто не занятое пространство, раздѣлявшее русскихъ отъ французовъ на сколько сотъ сажень. Обѣ грани этого свободнаго пространства — русская и французская — дымили по всей линіи и сверкали брызжащими немъ: это были какія-то огненно-дымныя коймы, изрыгавшія адскій огонь неумолкаемо грохотавшія. Скоро такой же грохотъ начался и гораздо лѣвѣе, противъ Бородина, и противъ самаго центра. Дымъ относился отъ этихъ огненныхъ окаймленій, къ югу, и заволакивало лѣсъ, раскинувшійся за деревней Утицей.

Скоро огненно-дымныя коймы съ той стороны отъ французовъ, не переставая грохотать и застилать небо дымомъ, а еще усиливая эту дьяволь-

скую грохотню, какъ-бы разорвались на нѣсколько частей, и изъ-за дыма выдвинулись стройныя массы, сверкая оружіемъ. Это непріятель повелъ атаки на флешу Багратиона и на Бородино. Живыя стѣны двигались по свободной отъ дыма долигѣ какъ на парадѣ. Живыя стѣны двинулись и съ нашей стороны; кога въ ногу шли солдаты, колыхаясь цѣлыми колоннами.

Вдругъ среди грохота пушекъ раздалось какое-то лопотанье, сначала залпомъ, а потомъ неумолкаемою дробью. Это задымили изъ ружей живыя, двигавшіяся одна на другую стѣны. И съ той, и другой стороны поднимались къ верху руки и вмѣстѣ со всѣмъ тѣломъ опрокидывались назадъ, или падали ничкомъ впередъ, падали почти цѣлыми колоннами, а другіе, шагая черезъ упавшихъ, тотчасъ смыкались въ такія же стѣны, и шли впередъ. Французы видимо давили нашихъ — вотъ они уже, опрокидывая наши колонны, взбираются къ самымъ редутамъ...

Дрогнуло сердце у Дуровой. Рука, невольно схватившаяся за саблю, дрожала....— „Воронцовъ былъ правъ“, колотилось у нея въ сердцѣ: „на его редуты смерть идетъ“...

— Въ атаку! съ мѣста маршъ-маршъ!—грянулъ чей-то голосъ.

И Дурова пришла въ себя только тогда, когда увидѣла, что вмѣстѣ съ своими уланами, съ гусарами Давыдова и новороссійскими драгунами она врѣзалась въ непріятельскіе ряды и саблей била по направленнымъ на нее штыкамъ.

— Маршалъ Даву упалъ!—закричалъ кто-то у нея съ боку:—убить!

Тамъ, со стороны французовъ, въ толпѣ, которая видимо разстроилась, среди криковъ, стоновъ и лязга сабель, послышался какой-то стонъ испуга. Французы дрогнули. Багратионовы флешы были удержаны.

Почти не сознавая ничего, что вокругъ дѣлается, Дурова такъ-сказать оглядѣлась только тогда, когда эскадронъ ихъ снова занялъ прежнюю позицію на возвышеніи. Изъ отрывочныхъ фразъ солдатъ и офицеровъ, изъ словъ команды и изъ самаго положенія позиціи она поняла, что атака французовъ на флешу была отбита, хотя съ огромнымъ урономъ съ нашей стороны, что подъ маршаломъ Даву убита лошадь и самъ онъ упалъ, должно быть, убитый, что видѣли, какъ упало еще нѣсколько французскихъ генераловъ; а что тамъ, на правомъ крылѣ, дѣло плохо: французы опрокинули нашихъ черезъ рѣчку и заняли Бородино... Дуровой почему-то при этомъ страшномъ извѣстіи вспомнился тотъ сѣренькій котенокъ, который вчера терся на рукахъ у Давыдова... Вмѣстѣ съ тѣмъ она какъ-бы въ туманѣ видѣла, что та свободная ложбина, которая отдѣляла русскія войска отъ французскихъ, уже несвободна: вся ложбина была чѣмъ-то застлана, чѣмъ-то чернымъ и сѣрымъ съ краснымъ; въ иныхъ мѣстахъ лежали цѣлыя кучи, а межъ ними безпорядочно двигались люди... То валялись убитые и раненые, люди и лошади, а межъ ними двигались люди съ носилками, подбирая нѣкоторыхъ, а остальныхъ бросая въ ложбинѣ. Такъ какъ команда изъ-за ложбины и съ нашихъ редутовъ умолкла, то

... страшное: стоны и крики раненых не только не это и видѣлось и слышалось тутъ, точно въ разнѣженныхъ скакали офицеры—это летѣли вѣсти и просились подкрѣпленія, отыскивались разрозненные свѣдѣнія объ уронѣ.

Дурова видѣла, что изъ-за тыла ихъ эскадрона, и съ новыми силами, подвигались новыя силы къ переднимъ линіямъ, вѣдѣлись вѣдѣлись на возвышенія. Иныя пушки солдаты тащили, снова поднимались и тащили. Изъ зарядныхъ былъ цѣлый таборъ.

Снова прошли командные крики. Снова задымили окранныя, но эти окранны такъ сблизились одна съ другой, что видны были французскіе артиллеристовъ, пока эти лица не заволоклись дымомъ. Скоро дымныя окранны превратились въ огненныя линіи. Снова артиллерія вынеслись страшныя живыя стѣны, и, послѣ убійства залповъ, со штыками на перевѣсѣ, пошли вторично въ атаку. Первые наши ряды, защищавшіе багратионовскія флешы, были быстро сметены и смяты. Все смѣшалось и дрогнуло по сю сторону редутовъ; натискъ нападенія оказался слишкомъ стремительнымъ, и французы ворвались въ лѣвую флешъ. Дурова, которой эскадронъ стоялъ теперь во второй линіи, видѣла нѣсколько минутъ, какъ на лѣвой флешѣ сверкали пламя нашихъ гренадеръ; но скоро гренадеры всѣ полегли. Нѣсколько минутъ еще слышенъ былъ на правомъ редутѣ металлическій голосъ Воинцова (она опять узнала его издали); но скоро и его, блѣднаго, окровавленнаго, покрытаго разорванными и окровавленными знаменемъ, пронесли на носилкахъ мимо уланъ не свои гренадеры, а чужіе: его дивизія вся полегла на мѣстѣ—Багратионовы флешы были въ рукахъ французовъ.

Дурова оглянулась на своихъ уланъ. Лица — сосредоточенно блѣдныя, большею частью пепельныя; казалось, у каждого зубы стиснуты, какъ отъ нестерпимой боли. И Дурова стиснула зубы, потому что чувствовала какъ ходенемъ ходила ея нижняя челюсть—ее била лихорадка.

Со второй и третьей линіи опять надвигалась пѣхота. Это Багратионъ, пораженный потерей своихъ редутовъ, послалъ въ дѣло свѣжія войска. Пѣхота шла въ ногу, подъ задорную, но строгую дробь барабановъ. И лица солдатъ смотрѣли строго: казалось, они идутъ въ церкви прикладываться ко кресту или къ чудотворной иконѣ—вчера они такъ подходили къ образу Смоленской Богородицы. Все ближе и ближе подходятъ къ редутамъ, надъ которыми они же вчера мозолили руки, укрѣпляя ихъ и обводя окопами: и сегодня эти редуты не ихъ уже, а французскіе: вонъ изъ-за дыма поблескиваютъ наполеоновскіе орлы на древкахъ, точно собираются летѣть на новую добычу.

Редуты брызнули огнемъ и загремѣли; между редутами—тотъ же брызжащій тонкими полосками огонь; но пѣхота, падая и смыкаясь снова, продолжаетъ выбивать тактъ на своей собственной могилѣ; ложатся цѣлые

ряды этих сѣрыхъ, строгихъ лицъ, но колонны, уменьшаясь въ числѣ, все двигаются впередъ. И съ той стороны прибываютъ свѣжія силы. Впереди конныхъ егерей, несущихся на нашу пѣхоту, Дурова явственно различаетъ картинную фигуру Мюрата, котораго она видѣла еще въ Тильзитѣ.

Но скоро все смѣшалось—пѣхота, егеря, кирасиры, драгуны, уланы... Когда эскадронъ Дуровой, заскакавъ, съ боку пѣхоты, за правый редутъ, вмѣстѣ съ кирасирами и драгунами опрокинулъ мюратовыхъ егерей и когда они поворотили влѣво, Дурова увидѣла, что на флешахъ вмѣсто французскихъ орловъ опять трѣплется въ дымномъ воздухѣ наше тяжелое знамя и блестятъ знакомыя кирасы: плечи были опять отбиты, но не надолго.

Наша пѣхота была почти вся перебита. Промежутки между редутами были завалены трупами. Хотя къ Баграціону подходили новыя, не бывшія въ дѣлѣ дивизіи, хотя редуты были въ нашихъ рукахъ, и свѣжіе полки, словно подвижныя щиты или шанцы, по выраженію очевидца француза, сверкая сталью и пламенемъ, атакуемые конницею, опять заполняли собою утерянное ихъ мертвыми товарищами пространство у редутовъ, — однако брызнувшая изъ сотенъ огненныхъ глотокъ картечь уложила и эти полки почти всѣ на мѣстѣ. Уланы Дуровой понеслись по трупамъ навстрѣчу французской кавалеріи, топтавшей остатки нашей пѣхоты; но ихъ также встрѣтилъ чугунный дождь. Дурова инстинктивно закрыла глаза, какъ человѣкъ, закрываетъ ихъ при порывѣ вѣтра съ пылью; только тутъ вмѣсто пыли въ воздухѣ визжала картечь. Когда она открыла глаза, многіе уланы и лошади бились уже на землѣ. Подъ инымъ раненый конь одыбился и бился на мѣстѣ; иного унесло впередъ; тамъ всадникъ, откинувшись на сѣдлѣ назадъ и разставивъ широко руки какъ-бы для объятій, нѣсколько мгновеній мчался черезъ трупы и самъ падалъ на нихъ; иной, уткнувшись лицомъ въ гриву коня, опутивъ руки, какъ плети, видимо умиралъ на сѣдлѣ; третій, завязнувъ ногой въ стремя, волока за лошадью и колотился головою о головы мертвыхъ товарищей, о ружейные приклады, о трупы лошадей.

А канонада съ обѣихъ сторонъ уже превратилась въ какой-то сплошной гулъ и ревъ, отъ котораго дрожали и земля и небо. Ни команды, ни криковъ, ни стоновъ уже не слышать. Въ двухъ-трехъ шагахъ отъ себя Дурова увидѣла проѣхавшаго Баграціона, который отдавалъ фхавшему съ нимъ рядомъ адъютанту приказанія и повидимому кричалъ громко, хотя хрипло; но Дурова, за ревомъ орудій, не могла слышать его словъ: она только видѣла его насупившееся, покраснѣвшее и вспотѣвшее лицо и закушенные губы, изъ-за которыхъ вылетали отрывочныя, какъ-бы бранчивыя фразы...

Но вдругъ онъ пошатнулся на сѣдлѣ, быстро поднявъ лѣвую руку, словно боясь потерять равновѣсіе, и упалъ грудью на гриву лошади. Адъютантъ и Коновницынъ, бывшій тутъ-же, бросились поддержать его.

Онъ приподвѣлъ голову, что-то повидимому сказалъ, и опять уткнулся носомъ въ гриву. Около него тотчасъ столпились, сняли его съ сѣдла, и четыре гренадера понесли его на рукахъ, какъ носить убитыхъ...

Унесли Багратіона. Онъ уже не видѣлъ, какъ его флеша, за удержаніе которыхъ онъ заплатилъ жизнью, оглашаясь криками атакующихъ, непрерывно дымясь и сверкая огнемъ, заваленныя трупами, подбитыми и опрокинутыми пушками, ружьями съ изломанными штыками и прикладами, переходя изъ рукъ въ руки, то отъ насъ къ французамъ, то отъ французамъ къ намъ, буквально залитыя кровью сверху и подтопленные снизу, — наконецъ, къ полдню, окончательно остались за французами.

Русскіе были отброшены къ Семеновскому, за оврагъ, гдѣ наканунѣ ночью Дурова слышала копошившихся и звенѣвшихъ манерками солдатъ, и расположились на высотахъ по обѣимъ сторонамъ селенія.

День прошелъ только наполовину, а часть поля была уже проиграна русскими, и не только проиграна, но укрыта трупами лучшихъ частей арміи, цвѣтомъ молодежи, еще вчера такъ усердно молившейся чудотворной иконѣ и сегодня утромъ встрѣчавшей солнце съ тою-же мольбою о спасеніи. Нѣтъ, ничто не спасло. Вонъ лежатъ по равнинѣ и около редутовъ по всему скату до оврага распластанныя тѣла — кто запрокинувъ голову и уставивъ остеклѣвшіе глаза къ этому солнцу, которое, словно безмолвные укоры, бросаетъ на мертвыя лица свои негнѣющіе лучи; кто, уткнувшись носомъ въ кровавую землю и разставивъ руки, какъ-бы цѣлуетъ эту безжалостную мать сыру-землю; кто раскинулся поперекъ трупа своего врага, а кого и не распознаешь — человѣкъ-ли это, или что-то ужасное...

Но французы не думали кончать дѣла; имъ было мало того, что они сдѣлали. Имъ надо было отнять у насъ и Семеновское, какъ они отняли Бородино. Они выдвинули теперь свои ужасныя батареи къ самому семеновскому оврагу, за которымъ опять густыми колоннами выстроилась наша пѣхота, та, которая уцѣлѣла, и та, которая подошла вновь. Опять застала земля отъ орудійныхъ залповъ. Клубы дыма вмѣстѣ съ огнемъ, ядрами и картечью неслись черезъ оврагъ. Чугунъ опять рвалъ свѣжепостроенные ряды пѣхоты. Жертвы валялись, какъ трава подъ вѣтромъ, и вѣдругъ среди этого ада съ обѣихъ сторонъ, съ боковъ, обрушились на насъ массы кавалеріи Мюрата, которая обошла русскую армію и выше, и ниже Семеновскаго. Наполеоновскіе желѣзные кирасиры—hommes de fer—обошли наши войска даже съ тылу—и гибель русской арміи казалась неизбежною. Сдавленные словно клещами, справа, слѣва, сзади обсыпанные картечью въ лицо, уже давленные по краямъ копытами желѣзныхъ всадниковъ, громимые ружьями съ сѣделъ, разсѣкаемые палашами, пробиваемые копьями—русскіе искали послѣдняго спасенія въ сомкнутыхъ каре, среди которыхъ, какъ за живыми крѣпостными стѣнами, укрывшись генералы. Ощетинясь штыками, русскіе цѣлыми каре, разомъ, сыпали въ непріятеля, давившаго ихъ, градомъ пуль, а потомъ съ разряженными

ружьями ходили въ штыки на кавалерію, пробивая въ грудь коней, сшибая прикладами съ сѣделъ всадниковъ, добывая ихъ чѣмъ-попало...

Но все-таки и Семеновское было потеряно нами. Въ то же самое время и редутъ Раевского палъ, какъ пали багратионовы флеші. Все было потеряно—и поле битвы, и укрѣпленія, и села, и армія, бывшая въ дѣлѣ—все!

Гдѣ-же въ это время былъ Кутузовъ? Что дѣлалъ маститый главнокомандующій, когда у насъ все погибало?

А вонъ онъ. Ровно за четыре версты отъ главнаго поля битвы, у сельца Татарина, на выѣздѣ, старикъ сидитъ на солнышкѣ и, пригрѣтый его плохо грѣющими старую кровь лучами, кушаетъ, обгладывая легонько, куриное крылышко. Высокій лобъ его съ лысиной свѣтится надъ тучнымъ, нагнувшимся надъ тарелкой лицомъ, покраснѣвшимъ отъ усилія—чище обглодать беззубымъ ртомъ жесткое крылышко. Жирный, пухлый, какъ у ребенка, подбородокъ свѣсился на салфетку, обвязанную, тоже какъ у ребенка, вокругъ его жирной шеи и прикрывающую его бѣлый жилетъ и тучный животъ.

Въ такомъ видѣ увидѣла его Дурова, когда, вся дрожащая, съ перекосившимся отъ ужаса, отчаянія и боли лицомъ, она вмѣстѣ съ Каховскимъ, въ качествѣ его ординарца, прискакала къ главнокомандующему, чтобы доложить ему объ отчаянномъ положеніи дѣла на обонхъ крылахъ арміи и въ центрѣ, и просить послѣднихъ, оставшихся въ резервѣ подкрѣпленій. Едва дыша, она осадилла шатающуюся лошадь, и, шатаясь сама, чуть не падая, стала на землю, которая и здѣсь, казалось, все еще дрожала. Она увидѣла около Кутузова много другихъ генераловъ и адъютантовъ, тоже прискакавшихъ съ поля и докладывавшихъ о своемъ поражении. Тутъ-же, по обѣимъ сторонамъ главнокомандующаго, сидѣвшаго на деревянной скамьѣ у деревяннаго, покрытаго скатертцею столика и позади его толпились цѣлыя кучи штабной знати—всѣ въ новенькихъ, съ иголочки, мундирахъ, съ блестящими украшеніями, не тронутыми ни пылью, ни кровью, всѣ эти маменькины и батенькины сынки, срывавшіе, не шевеля ни мозгами, ни пальцемъ, ордена и розы жизни, когда другіе срывали ея шипы, раны, увѣчья и смерть—все это беззаботно между собою шушукалось, переглядывалось, иногда надъ чѣмъ-то и надъ кѣмъ-то подсмѣивалось. Стыдъ и злоба шевельнулись въ сердцахъ Дуровой, когда она, сразу, сгоряча, вся охваченная острымъ ужасомъ только-что ею пережитого вмѣстѣ съ прочими, увидала все это...

А Кутузовъ продолжалъ обсасывать крылышко, какъ-бы стараясь не слушать того, о чемъ ему надоѣдали. Вѣдь тысячи разъ онъ уже слышалъ это, и думалъ объ этомъ, и давно видѣлъ все это—и въ Турціи, за Дунаемъ, и въ Крыму, у Алушты, гдѣ ему глазъ выстрѣлили, и подъ Аустерлицемъ—все это онъ давно знаетъ и все это давно ему надоѣло, и думать ему обо всемъ этомъ противно...

Не вынимая изъ рта куриной косточки, онъ поднималъ отъ тарелки на-

судившееся, досадливое какъ-то и лоснящееся лицо. Но лицо оказалось добрымъ, и единственный здоровый глазъ старика свѣтился не то теплою и лаской, не то слезой. Вынувъ изо рта крылышко, онъ пожевалъ сальными губами, обвелъ взоромъ стоявшихъ вокругъ него, какъ-бы съ недоумѣніемъ остановился на Дуровой, на ея блѣдномъ, запыленномъ, съ засохшими на щекахъ грязными каплями пота лицѣ, остановился какъ-то добро, участливо, съ сожалѣніемъ, моргнувъ, словно смахнулъ съ рѣсницы слезу, и обратился къ хмуро стоявшему въ сторонѣ молодому генералу. Дурова узнала Ермолова.

— Голубчикъ! посмотри—нельзя-ли тамъ что сдѣлать, чтобъ ободрить войско,—сказалъ старикъ ласково, обращаясь къ Ермолову словно къ ребенку.

У Дуровой отъ сердца отлегло. Если онъ, этотъ дѣдушка всей Россіи, говорить такъ спокойно, значить—не все потеряно. Въ этотъ моментъ Дурова готова была-бы броситься на шею старику и расцѣловать его лоснящіеся щеки, лысину, руки.

Ермоловъ, не говоря ни слова, тотчасъ-же сѣлъ на лошадь и поскакалъ, щуря глаза и окидывая съ возвышенія взоромъ двигавшіеся въ отдаленіи, повидимому въ полномъ безпорядкѣ, полки, колонны, эскадроны, батареи, обозные ящики, больничные фургоны. Надъ всѣмъ полемъ стояли клубы пыли и цѣлыя облака дыма. Каховскій и Дурова поскакали за Ермоловымъ.

Подѣхавъ на недалекое разстояніе къ кургану, на которомъ были редутъ Раевского, онъ увидѣлъ тамъ необыкновенное смятеніе—все бѣжало, падало и катилось внизъ, поражаемое картечью французовъ, которые уже кишѣли по всему редуту и по кургану. Все казалось потеряннымъ. Барклай-де-Толли, командиръ всей этой половины несчастной или первой арміи, сѣшеннѣйшій, покрытый пылью и кровью, съ саблею въ одной рукѣ и какою-то тряпкою—обрывкомъ знамени—въ другой, самъ карабкался на курганъ навстрѣчу своимъ падающимъ и умирающимъ солдатамъ и самъ повидимому искалъ смерти. Онъ что-то безсвязно кричалъ и махалъ саблей. Тутъ-же черезъ курганъ и трупы упавшихъ бѣшено неслась лошадь. Кутайсова, вся въ крови и съ кровавымъ сѣдломъ, а самого Кутайсова уже не было.

Ермоловъ спокойнымъ, но рѣзкимъ и твердымъ крикомъ заворотилъ двѣ уходившія куда-то конныя роты и, приказавъ ближайшей, еще неподбитой, батарее открыть огонь по редуту, повелъ эти роты прямо на курганъ. Къ нему примкнули другіе, третьи—и цѣлою „толпою, въ образѣ колонны“, ринулись на непріятельскія батареи и на самый редутъ. Началась буквальная рѣзня—колка людей какъ барановъ. И кололи-же разсвирѣпѣвшіе и немного оправившіеся драгуны и пѣхотинцы!..—„Коли и перекалывай проклятыхъ!.. Такъ ихъ! такъ ихъ!..“—„Oh! oh! pardon!“—„A! пардону просишь!—вотъ тебѣ!“

— Je suis roi de Naples!—кричитъ отчаянный голосъ.—Oh!

— Стой, братцы, не коли! это король политанскій! Мюрать это ихній!— слышитъ Дурова знакомый голосъ—это голосъ стараго Пилипенка, который рядомъ съ Гризкомъ-сыномъ, недавнимъ французомъ, уже поправившимся отъ раны, колотъ французовъ; какъ бывало они калывали когда-то въ Малороссіи кабановъ на сало.

— О! згода! згода, панове москали!..

— А! згода, проклятый полячишка! Такъ 'вотъ-же тебѣ—нна!

Дурова, повернувъ коня, съ ужасомъ ускакала изъ этого ада кровѣшнаго. Но и тамъ были ужасы. Она наткнулась на полки принца Евгенія Виртембергскаго, шедшаго на подкрѣпленіе Ермолова. Полки невольно разомкнули строй, чтобы пропустить раненаго или убитаго—Дурова не разобрала; она одно разобрала, что на ружьяхъ, черезъ которыя былъ перекинутъ плащъ въ видѣ носилокъ, солдаты несли—Ермолова!..—„Голубчикъ!“ заныли въ душѣ ея ласковыя слова:—„голубчикъ—посмотри...“ Она не въ силахъ была смотрѣть на эту сцену—и отвернулась. Но и тамъ не лучше. Къ принцу Евгенію подскакалъ красивый юноша съ черными, блестящими глазами и осадилъ лошадь.—„Ваше высочество требуетъ къ себѣ генераль Милорадовичъ“, торопливо сказалъ юноша.—„Гдѣ генераль?“ спросилъ принцъ, невольно останавливаясь. Юноша указалъ рукою—но не успѣлъ: рука улетѣла вмѣстѣ съ оторвавшимся ее ядромъ. Кровь застыла въ жилахъ Дуровой. Но юноша, у котораго унесло руку, удержался на сѣдлѣ. Мало того—онъ поднялъ другую руку и показалъ куда ѣхать: „туда! спѣшите!“ Но и принцу Евгенію не на чемъ было спѣшить: подъ нимъ тотчасъ пала лошадь, пораженная ядромъ, и самъ онъ упалъ навзничъ.

Въ тотъ-же моментъ Дурова почувствовала всѣмъ своимъ существомъ, какъ что-то невидимое ожгло ей ногу и срѣзало словно клубкомъ нѣсколько солдатъ въ ближайшей колоннѣ. Огонь прошелъ по тѣлу, въ глазахъ потемнѣло и все кругомъ какъ бы зашаталось...—„Убита... ранена“, промелькнуло въ мозгу. Картина боя стала еще смутнѣе. Она видѣла только, и долго, казалось, видѣла, какъ съ тыла, изъ-за возвышеній нахлынула конница, цѣлыя волны конницы, какъ они сшибались съ другою конницею и пѣхотою, какъ падали кони и лошади, какъ гремѣли орудія со всѣхъ сторонъ. Казалось ей, что и она принимала участіе въ этой бѣшеной скачкѣ, слышала крики, и особенно одинъ крикъ поразилъ ее: „пропало все!“—Что пропало—она не понимала... Она видѣла только, что солнце было низко—не то оно всходило изъ-за дымныхъ облаковъ, не то садилось... Утро это или вечеръ?..

Она окончательно опомнилась, когда ѣхала уже по дорогѣ, чувствуя невыносимую боль въ правой ногѣ, къ которой, казалось, привѣшена была тяжелая гири. Жажда палила внутренности. Кровавое солнце спускалось къ дымящемуся взгорью. Рядомъ съ ней ѣхалъ Пудъ Пудычъ, придерживая за поводъ ея лошадь. Дорога запружена была тѣлѣгами, въ которыхъ стонали люди, пушками, зарядными ящиками, на которыхъ тоже видѣ-

лись искаженные лица. Попадались носилки не то съ мертвыми, не то съ ранеными. Сзади все еще гудѣли орудія, а впереди видѣлась деревенька. Навстрѣчу ѣхали какіе-то всадники, и остановились у мостика, чтобы пропустить зарядный ящикъ и носилки, съ брошеннымъ на нихъ повидимому мертвымъ офицеромъ, голова котораго закинулась острымъ подбородкомъ кверху и видѣлись подошвы сапогъ, колотившіяся одна о другую. Передняго всадника узнала Дурова—это былъ Кутузовъ. За нимъ—его штабъ. Какой-то всадникъ, держа руку подъ козырекъ, что-то говорилъ ему. Дурова разслышала только: „непріятель овладѣлъ всѣми важнѣйшими пунктами позиціи... войска наши совершенно разстроены...“

— Какъ вы смѣете, милостивый государь, говорить мнѣ такія вещи!—вспылилъ на него Кутузовъ.—Ходъ сраженія мнѣ извѣстенъ какъ нельзя лучше... Непріятель отраженъ на всѣхъ пунктахъ... Завтра погонимъ его изъ священной русской земли!

Старикъ говорилъ громко—онъ просто кричалъ, весь покраснѣвъ. Но Дурова уже не вѣрила ему: она вѣрила тому, что видѣла сама.

Скоро она очутилась у берега небольшой рѣчки, въ сторонѣ отъ селенія. Весь берегъ укрытъ былъ палатками и просто навѣсами изъ парусины. Видѣлись окровавленные столы, валялась на землѣ кровавая одежда, сновали люди. Весь берегъ и пространство у навѣсовъ были заняты ранеными и мертвыми, которыхъ не успѣли еще убрать. Это былъ перевязочный пунктъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ слышны были отчаянные крики или слабые стоны. Къ Дуровой подошелъ солдатъ въ окровавленномъ фартукѣ и помогъ ей сойти съ коня. Она чувствовала ужасную боль въ ногѣ, но ступать на нее могла слегка: нога не была перебита.

Солдатъ въ фартукѣ повелъ ее къ ближайшему навѣсу, гдѣ на невысокомъ деревянномъ столѣ она увидѣла чьи-то голыя бѣлыя ноги, а надъ ними нагнувшуюся сѣдую голову...

Но что она увидѣла рядомъ съ этимъ столомъ, на землѣ! На разостланной буркѣ лежалъ казакъ—она узнала это по краснымъ лампасамъ, по лица, которое было слишкомъ запрокинуто назадъ, она сначала не узнала. Что-то, казалось, ножомъ рѣзнуло ее по сердцу. Она рванулась впередъ, къ этому запрокинувшемуся лицу казака. Другой казакъ, стоя около него на колѣняхъ, отводилъ ото лба лежавшаго пряди черныхъ волосъ и старался закрыть его мертвые глаза непослушными вѣками...

Въ блѣдномъ, застывшемъ, калмыковатомъ лицѣ Дурова узнала Грехова...

XIII.

Бородино не остановило Наполеона. Вырвавъ изъ рядовъ русской и своей непобѣдимой арміи до девяноста тысячъ молодыхъ жизней, онъ продолжалъ гнать русскихъ по пятамъ. Не успѣютъ они передохнуть, какъ

казаки аррьергарда начинают уже перестрелку съ авангардами Мюратъ, который вѣчно на конѣ и вѣчно впереди всѣхъ. Въ битвѣ подъ Бородинымъ, при вторичномъ отнятіи Ермоловымъ редутовъ Раевского, въ то время какъ русскіе, овладѣвъ укрѣпленнымъ курганомъ, начали колоть французовъ, кто-то закричалъ, желая спастись: „je suis roi de Naples“; но это былъ не Мюратъ, а прикрывшійся отъ остроты ники Грицька Пилипенка именемъ неаполитанскаго короля генералъ Бонами. Мюратъ остался цѣлехонекъ, не смотря на свою безумную отвагу и на фантастическій костюмъ, который невольно привлекалъ къ себѣ взоры и пули непріятеля. Но ни одна пуля не попадала въ этого заколдованнаго, страннаго безумца: — съ развѣвающимся на шляпѣ высокимъ, изъ разноцвѣтныхъ перьевъ, султаномъ, въ своемъ пестромъ, напоминающемъ костюмъ паяца ментикъ и въ красныхъ либо желтыхъ сапожкахъ,—онъ былъ постоянно впереди французской арміи съ своими неутомимыми драгунами, постоянно, такъ-сказать, на хвостѣ у нашихъ казаковъ и постоянно беспокоилъ русскую армію. Не успѣютъ солдаты устѣться кучками, развести огни и заварить кашу (чѣмъ ближе подходили къ Москвѣ, тѣмъ плотнѣе наѣдались солдатики, потому что матушка Москва съ избыткомъ отправляла навстрѣчу своимъ ратникамъ хлѣбъ, крупу, мясо, водку, а офицерамъ еще чаю и винъ), не успѣютъ солдатики заварить себѣ кашки, а господа офицеры вскипятить чайники для чаю, какъ ужъ позади начинаютъ постукивать казацкія винтовки, а солдатики ворчатъ: „ишь его носить, пѣтуха проклятаго“ („пѣтухъ проклятый“ — это пестрый Мюратъ)—„и угомону ему нѣтъ, аспиду: попить-поѣсть не дасть людямъ...“ Но это было такъ часто, что солдаты обтерпѣлись и уже не обращали вниманія на заднія перестрѣлки и на пули, попадавшія иногда въ кашу:—„ишь аспидъ—грудку нетолченой соли вкинулъ въ кашку; смотрите братцы, жуйте—не подавитесь“, шутятъ солдатики, немножко повеселѣвшіе оттого, что хоть кормъ-то есть; о томъ, что ихъ каждый день бьютъ, они и тужить перестали: „такъ-де Богу угодно; а отойдетъ его линія—мы свое у него ца спинѣ отобьемъ...“—„Ай-ай!“ невольно вскрикиваетъ молодой ополченецъ, которыхъ недавно пригнали изъ Москвы: „пуля никакъ!“ — „Что-жъ пуля! на то она и есть пуля, а ты ѣшь — хлебай себѣ...“

Вотъ и теперь, на четвертый день послѣ Бородинна, русская армія расположилась на ночлегъ въ полѣ между Можайскомъ и Москвою. Солдаты развели костры, варятъ кашу и грѣются, тѣмъ болѣе что ночи становились все свѣжѣе и свѣжѣе. Тамъ кучка гусаръ, тамъ уланы, тамъ драгуны, а то и въ-перемежку, особенно гдѣ костеръ большой. У одного костра видѣются уланы. На первомъ планѣ Пилипенко, угрюмо свѣсивъ сѣдые усы, разминаетъ на ладони корешки табаку. Около него сидятъ на заднихъ лапкахъ Жучка и глазъ не сводитъ съ своего любимца: у Жучки — свое маленькое горе; въ собачьемъ привязчивомъ сердцѣ съ нѣкоторыхъ поръ поселился червячекъ ревности — это съ тѣхъ поръ, какъ Пилипенко не-

чаянно выпелъ своего сына Грицька и обратилъ на него всю свою нѣжность. Тутъ-же и Грицько, и другіе гусары — кто курить, кто сушить онучи противъ огня, кто, снявъ съ себя рубаху и скрутивъ ее жгутомъ, держать надъ костромъ, а рубаха, развертываясь и раздуваясь отъ теплоты, производить очень знакомыя солдатамъ потрескиванья... — „Ну, братъ, накопилъ ты ихъ“, подсмѣиваются товарищи. — „Наконишь, коли съ самой Вильны не сымалъ рубахи—заѣли проклятыя: и подъ Бородиной все чesался“, отвѣчаетъ полуголый гусаръ, выпаривающій рубаху. — „А жарко было“. — „Гдѣ не жарко!“ — „Ну, скоро отдохнемъ“. — „Знамо отдохнемъ, да не скоро“. — „А что?“ — „А Москва-то?—али такъ имъ отдадимъ матушку? Вонъ она—кормить насъ: съ коихъ мѣстъ хлѣба не видали, а теперь—на! и говядинку жремъ“. — „Это точно—вонъ и Жучка отъѣлась“ (Жучка наостряетъ уши и виляетъ хвостомъ): „вонъ, подлая, какая гладкая стала“. — Жучка лѣзетъ цѣловаться съ тѣмъ, который назвалъ ее подлой.

По другую сторону дороги, тоже у костра, сидятъ офицеры, сошедшіеся изъ разныхъ сосѣднихъ полковъ. Давыдовъ, полулежа и полузакрывъ глаза, покуриваетъ изъ своей коротенькой трубочки и иногда встряхиваетъ головой, какъ-бы сляясь отогнать неотвязчивую мысль. Дурова—необыкновенно блѣдная и какъ-бы позеленѣвшая—вытянувъ раненую ногу (подъ Бородинымъ ее контузило ядромъ), не сводила глазъ съ огня, въ бѣломъ блескѣ котораго она повидимому искала или видѣла чей-то образъ:—эта запрокинувшаяся назадъ мертвая голова, эти милыя калмыковатыя губы и широкія скулы, этотъ блѣдный лобъ съ упавшею на него прядью черныхъ волосъ и эти глаза, померкшіе, холодные, которые плачущій казакъ силится закрыть непослушными вѣками мертвеца — вотъ все, что осталось въ ея памяти изъ того, что было—и такъ не долго — самымъ дорогимъ въ ея жизни. Казалось, вся эта жизнь превратилась въ мертвеца и имѣла для нея только интересъ воспоминанія; но такого горькаго, такого обиднаго... По глазамъ ея видно было, что она недавно плакала. Около нея сидѣлъ, насупившись, Бурцевъ и иногда изподлѣбя поглядывалъ на нее, не рѣшаясь повидимому заговорить. Онъ уже оправился послѣ раны, полученной имъ подъ Смоленскомъ; но досадовалъ, что не успѣлъ попасть подъ Бородино.—Онъ пододвинулся къ Дуровой и положилъ ей легонько на плечо руку... — „Ты все, Алексаша, объ немъ... Полно, душа моя“, сказалъ онъ тихо и нѣжно.

Къ костру подошелъ Усаковский съ чайникомъ въ рукѣ и съ сумкой. Онъ смотрѣлъ весело, казался такимъ красивымъ, чистенькимъ. Подъ Бородинымъ онъ отличился съ своими драгунами у Багратионовыхъ флешей, и Кутузовъ при всѣхъ поцѣловалъ его въ голову, сказавъ: „спасибо, голубчикъ: и дѣло сдѣлалъ, и цѣлю вынесъ изъ огня эту красивую голову—она намъ нужна“.

— А я, господа, къ вамъ чай пришелъ пить,—весело проговорилъ онъ, стави на землю чайникъ.—Кто со мной?

— Вотъ еще какія затѣи! — отвѣчалъ кто-то, лежавшій въ сторонѣ отъ костра. — До чаю-ли теперь! Можетъ, черезъ часъ будешь корчиться на этомъ самомъ мѣстѣ, гдѣ стоитъ твой чайникъ.

— Тогда то и будетъ, а теперь мы все-таки напьемся, — безопасно отвѣчалъ Усаковский.

— Вѣрно, братуха, — и я хвачу, а то мухи въ голову лѣзутъ, — сказалъ и Давыдовъ, встряхивая головой.

— И Алексашу напоимъ, а то вонъ онъ какой, — пробурчалъ Бурцевъ.

Дурова ласково, хотя болѣзненно улыбулась и пожала Бурцеву руку... — „Какой ты славный“, — тихо сказала она. — „Пьяницы всѣ такіе“, — отшутился тотъ.

Чайникъ пріятно журчалъ. Трубка Давыдова посапывала. Отъ сосѣдняго, потухающаго костра слышался солдатскій говоръ: „А онъ какъ сыпанетъ картечью, какъ сыпанетъ...“ — „Ужъ и каша-же, братцы! — а-ахъ!“ — „А какъ придетъ это Иванъ-царевичъ къ желѣзнымъ вратамъ, да какъ вдарить мечемъ-кладенцомъ...“ — „Богородицу-то несутъ, а орелъ какъ махнеть крыльями...“ — „Ужъ и с...-же... стрѣлять — страхъ!...“

Вдругъ по направленію цѣпи, гдѣ стояли часовые, послышались выстрѣлы. Забили тревогу. Давыдовъ первый вскочилъ на ноги.

— Мундштучь! садись! стройся!

Не успѣлъ строй сомкнуться и выстроиться въ линію, какъ передъ фронтомъ и по кострамъ заскакали ядра, никого не задѣвъ однако. Одинъ Усаковский покончилъ свою молодую жизнь: съ полминуты онъ, съ расшибленной, еще такъ недавно красивой головой, корчился на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ надѣялся напиться чаю, и потомъ вытянулся во всю длину.

Нечаянное нападеніе было отбито тотчасъ-же, и непріятель, думавшій напасть на нашихъ врасплохъ, открытый во время и встрѣченный казаками Платова, немедленно скрылся во мракъ.

Кружокъ офицеровъ снова собрался у костра, гдѣ лежалъ трупъ Усаковского. Бурцевъ сталъ передъ нимъ на колѣни и цѣловалъ его еще теплую руку, не смѣя прикоснуться къ обезображенному лицу, облитому кровью и мозгомъ. — „Прости меня, другъ мой!“ — шепталъ онъ: — „я же, подлецъ, смѣялся надъ твоей прекрасной головой... а теперь... вотъ она...“ И онъ горько махнулъ рукой.

Нечаянная тревога и вѣсть о смерти Усаковского собрали къ костру массы солдатъ и офицеровъ изъ другихъ ближайшихъ частей аріергарда. Подъѣхалъ и Платовъ, покончившій съ преслѣдованіемъ бѣжавшаго врага. Тутъ видѣлось и безстрастное, кошачье лицо Фигнера и насупившійся Сеславинъ. Красный свѣтъ огня придавалъ особое выраженіе лицамъ, словно-бы на всѣхъ этихъ лицахъ отражалась кровь того, кто лежалъ на землѣ.

Порѣшили тутъ-же, гдѣ онъ палъ, выкопать ему могилу. И могила была выкопана быстро. Копали ее сами офицеры не лопатами, а саблями,

въ знакъ особаго сочувствія къ покойнику. Завернули его въ плащъ всего—съ раздробленной головы до ногъ—не его перваго, не его и послѣдняго хоронили такъ на походѣ. Засыпавъ свѣжую могилку землей, снова по-прежнему усѣлись тутъ-же вокругъ костра и припомнили все, что кто помнилъ хорошаго изъ жизни покойника; а потомъ скоро перешли и на другое: не такое было время, чтобъ долго вспоминать про убитыхъ товарищей—на это смотрѣли какъ на разлуку, и быть можетъ не надолго... „Всякій вечеръ,—читаемъ въ дневникѣ Дуровой изъ этого времени—мы сходимся къ огню всѣ, кто уцѣлѣетъ въ продолженіи дня. Если кого уже не станетъ въ кругу нашемъ, о томъ поговоримъ, пожалѣемъ съ четверть часа, а тамъ опять разговоръ нашъ веселъ. Теперь не то время, чтобъ долго сожалѣть о потерѣ друзей, потому что всякій имѣетъ надежду или опасеніе послѣдовать за нимъ на другой-же день, если еще не въ эту ночь... Въ теперешней жизни нашей нѣтъ ничего такъ обыкновеннаго и такъ мало обращающаго на себя вниманія, какъ смерть. Здѣсь ея владычество и здѣсь именно никто объ ней не думаетъ, не боится и въ грошъ ея не ставитъ. — „А гдѣ такой-то?“ — „Убить“. — „Ну, такъ позови ко мнѣ того-то“. — „И онъ убить“. — „Ну, глупецъ! затвердилъ—убить, убить!.. Пошли, кто тамъ остался въ живыхъ...“ И приказанія, и вопросы, и отвѣты дѣлаются такъ хорошо, такъ покойно, какъ-бы дѣло шло о людяхъ куда-нибудь посланныхъ, а не отправившихся на вѣчной покой. Все, что мы видимъ, слышимъ, испытываемъ каждый день, терять въ разумъ не можемъ: хорошее—все то что въ немъ было хорошаго, дурное—начинаетъ казаться дурнымъ вполноту, а иногда и съ примѣсью хорошаго“.

Такъ было и тутъ, когда закопали Усаковского. Отыскали его чайникъ, въ которомъ вся вода давно выкипѣла, налили его вновь, усилили костеръ, поставили чайникъ Усаковского, вмѣстѣ съ другими принесенными, къ костру, достали вина, въ изобиліи присланнаго изъ Москвы, и стали править тризну по милымъ товарищамъ, павшимъ въ бою. Разговоръ оживился. Серебряный кубокъ Давыдова переходилъ изъ рукъ въ руки. Въ дружескомъ кружкѣ видѣлись новыя лица, въ томъ числѣ и молодое, задумчивое цыгановатое лицо Жуковского въ ополченскомъ костюмѣ.

— Господа! — торжественно произнесъ Бурцевъ, который успѣлъ съ гора хватить больше другихъ и былъ въ возбужденномъ состояніи. — Господа! сегодня на привалѣ, толкаясь межъ московскими ратниками, я набрелъ на слѣдующую картину: подъ кустомъ, закрытый отъ солнца тѣнью березы, сидитъ нѣкій молодой витязь и, положивъ къ себѣ на колѣни записную книжку, строчить... И что-же бы вы думали онъ строчилъ! Угадайте!

— Что? стихи, — отозвалось нѣсколько голосовъ, и всѣ обернулись къ Давыдову.

Давыдовъ съ удивленіемъ смотрѣлъ на Бурцева. — „Ты, братъ, перепилъ, кажись“.

— Нѣтъ, я не перепелъ,—скаламбуриль Бурцевъ:—да ты, братъ, и не туда попалъ... Строчили подъ кустомъ такое, я вамъ доложу...

И онъ коварно, подмигивая и шурясь, взглянулъ на Жуковского. Жуковский давно сидѣлъ какъ на иголкахъ.

— Строчили, господа. вотъ что,—продолжалъ Бурцевъ: „*Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ*“.

— Кто-же это?—спросилъ Давыдовъ.

— А вонъ — наша красная дѣвушка, — указаль Бурцевъ на Жуковского.

Жуковский, который совсѣмъ покраснѣлъ, хотѣлъ было уйти; но его стали упрашивать прочесть стихи, говорили, что нехорошо таяться отъ товарищей, что они всѣ теперь—одна семья. Жуковский говорилъ на это, что его стихи не кончены, что это только наброски, задуманныя, но не исполненныя картины, что въ нихъ нѣтъ связи, не вездѣ отдѣланъ стихъ; но ничего не помогло: его просили прочесть хотя отрывки. — Нечего дѣлать: онъ полѣзъ въ карманъ, вынулъ оттуда небольшую, темномалинового бархата книжечку, вышитую разноцвѣтными бисерами и свѣтлорусыми, словно лень, женскими волосами (подарокъ перѣдъ разлукой), подсѣлъ ближе къ костру и несмѣлымъ, дрожащимъ голосомъ началъ:

На полѣ бранномъ тишина,
Огни между шатрами;
Друзья, здѣсь свѣтитъ намъ луна,
Здѣсь кровь небесъ надъ нами.

Приступъ былъ удаченъ. Всѣ слушали, затаивъ дыханіе. Давыдовъ сидѣлъ глубоко задумчивый: онъ чутьемъ поэта сразу ощутилъ мастерство стиха: онъ чувствовалъ вѣянье таланта. Бурцевъ съ благоговѣніемъ смотрѣлъ на цыгановатое, робкое и скромное лицо поэта, и не шевелился. Дурова сидѣла блѣдная, несмотря на красноватый отблескъ костра. Всѣ ждали—даже въ темнотѣ виднѣлись лица солдатиковъ, на которыя падалъ огонь отъ костра—и они слушали. Жуковский, у котораго дрожали руки, какъ и голосъ, продолжалъ съ большей силой:

Наполнимъ кубокъ круговой!
Дружнѣ! руку въ руку!
Запѣемъ виномъ кровавый бой
И съ падшими разлуку.

Онъ взглянулъ на то мѣсто у костра, гдѣ недавно зарыли Усакowska; у Дуровой вырвался изъ груди глубокой вздохъ, словно стонъ—всѣ взглянули на нее; но Жуковский съ силой продолжалъ чтеніе:

Кто любить видѣть въ чашахъ дно,
Тотъ бодро ищетъ боя...
О, всемогущее вино,
Веселіе героя!

Онъ остановился. Ропотъ одобренія былъ единодушный. Бурцевъ не усядѣлъ и бросился цѣловать поэта, восторженно повторяя: „Безподобно! безподобно!—Кто любить видѣть въ чашахъ дно, тотъ бодро ищетъ боя! Божественно!—О, всемогущее вино, веселіе героя! Пребожественно!—Выпьемъ-же, Вася, другъ, цыпочка!“ — И онъ душилъ бѣднаго поэта; тотъ защищался, краснѣя еще болѣе.

— Перестань, Бурцевъ,—ты залушишь его,—вмѣшался Давыдовъ.

Съ трудомъ усадили забіяку и просили Жуковского продолжать. Тотъ снова отговаривался, что далѣе у него не все выправлено; но его просили—и онъ, повернувъ листокъ, началъ:

Отчизнѣ кубокъ сей, друзья!
Страна, гдѣ мы впервые
Вкусили сладость бытія,
Поля, холмы родные,
Родного неба милый свѣтъ,
Знакомые потоки,
Златыя игры первыхъ лѣтъ
И первыхъ лѣтъ уроки,—
Что вашу прелесть замѣнить?
О, родина святая,
Какое сердце не дрожить,
Тебя благословляя?

Отъ этихъ послѣднихъ стиховъ, казалось, дѣйствительно всѣ задрожали. Голосъ читавшаго перешелъ въ какой-то молитвенный тонъ, отзывавшійся и плачемъ, и восторгомъ. На лицахъ слушавшихъ горѣло и дрожало умиленіе. Дурова, спрятавшись за Бурцева и закрывъ лицо руками, вздрагивала всѣмъ тѣломъ—она глухо рыдала. Всѣ были такъ глубоко потрясены и мелодіею голоса читавшаго, и прелестью и музыкою стиха; мысль, положенная въ этотъ стихъ, до того глубоко выражала душевное настроеніе cadaго; всѣмъ, пережившимъ ужасы послѣднихъ дней за эту именно родину, до того она казалась теперь дорогою съ ея полями и родными холмами, политыми кровью ихъ товарищей; этотъ милый свѣтъ родного неба, эти знакомые потоки, замутившіеся отъ родной же крови, и „златыя игры первыхъ лѣтъ и первыхъ лѣтъ уроки“—все это теперь, и именно теперь, до того стало дорогимъ и святымъ, до того наполняло душу cadaго, что гармоническія строфы, прочитанныя гармоническимъ, полу-плачущимъ голосомъ, вызвали какой-то стонъ восторга. Никто снѣчала не замѣтилъ за общимъ потрясеніемъ, а когда замѣтили, то не повѣрили, что Бурцевъ, этотъ всесвѣтлый повѣса и пьяница—горько плакалъ, сидя на корточкахъ и мотая всклокоченною головою, какъ это обыкновенно и невольно дѣлаютъ люди, когда плачутъ о чемъ-либо безнадежно. Никто не замѣтилъ и того, что изъ-за спинъ и застывшихъ отъ вниманія лицъ солдатиковъ, которые подвинулись къ костру и, держась нѣсколько въ отдаленіи, въ тѣни, жадно вслушивались въ каждое пѣвучее, знакомое ихъ сердцу слово читавшаго и какъ-то по-дѣтски моргали глазами, боясь

шевельнуться и громкодохнуть какъ на смотру,—что изъ-за спинъ солдатиковъ выглядывало худое, морщинистое и загорѣлое лицо съ сѣдыми, нависшими на маленькіе, глубоко сидѣвшіе подо лбомъ глаза бровями — лицо Платова, котораго хотя солдатики и узнали, и посторонились было отъ него, но онъ знакомъ показалъ имъ, чтобъ они не трогались, и стояли бы попрежнему смирно, не обращая на него вниманія.

Долго не могли прійти въ себя слушатели; но когда первый нѣмой восторгъ прошелъ, всѣ шумно начали хвалить молодого поэта, благодарили его, жали ему руки, придвигались къ нему все тѣснѣе и тѣснѣе. У Давыдова лицо подергивало—такъ пораженъ онъ былъ неслышанною задушевностью и неслышанною же мелодіею стиха. Всѣ начали просить:—дальше, ради Бога дальше!

Ободренный неожиданнымъ успѣхомъ, Жуковский сталъ смѣлѣе перелистывать свою книжку.

— Это еще не кончено—несовсѣмъ гладко—развѣ это?—тихо говорилъ онъ какъ-бы самъ съ собою.—Вотъ это, кажется, кончено—это...

Хвала нашъ вихорь-атаманъ,
Вождь невредимыхъ, Платовъ!
Твой очарованный арканъ
Гроза для супостатовъ.
Орломъ шумишь по облакамъ,
По полю волкомъ рыщешь,
Летаешь страхомъ въ тылъ врагамъ,
Бѣдой имъ въ уши свищешь:
Они лишь къ лѣсу—ожилъ лѣсъ,
Деревья сыплютъ стрѣлы,
Они лишь къ мосту—мостъ исчезъ,
Лишь къ селамъ—пышутъ села.

Солдаты заворошились и оглянулись. Сквозь ихъ кучку протискивался, торопливо и нервно дергая себя за сѣдой усъ, Платовъ: по лицу стараго атамана текли слезы, и онъ громко, какъ-то сердито сморкался, шагая черезъ ноги сидѣвшихъ у костра офицеровъ и пробираясь къ Жуковскому. При видѣ атамана произошло общее смятеніе; многіе съ изумленіемъ вскочили съ мѣстъ.

— Сидите, пожалуста сидите, господа!—торопливо успокаивалъ старикъ.—Я къ вамъ тоже... я вотъ къ нимъ... не знаю какъ имя-отечество...

И старикъ порывисто обнялъ молодого, окончательно смутившагося поэта, который узналъ Платова.

— Не стою этого, мой другъ, не стою,—говорилъ разчувствовавшійся атаманъ:—я совсѣмъ не стою... Спасибо—похвалили, хоть и не заслужилъ, ей-Богу не заслужилъ...

Жуковский безсвязно бормоталъ что-то; Давыдовъ вѣжливо подошелъ къ старику и попросилъ не побрезговать ихъ кружкомъ—выкупать съ господами офицерами стаканъ чаю или чару хорошаго вина. Старикъ благодарилъ, жаль руки, утиралъ глаза, сморкался все такъ-же громко и бы-

стро, какъ быстро онъ все дѣлалъ. Ему очистили мѣсто около Давыдова, который казался хозяиномъ въ этой импровизированной гостиной у костра.

— Что прикажете, ваше превосходительство, — вина?

— Винца, винца, мой другъ, спасибо... Погрѣюсь у васъ и послушаю вотъ ихъ...

Ему откомендовали Жуковского. Старикъ кой-о-чемъ спросилъ его; снова благодарилъ за дестные стихи, которыхъ онъ не заслужилъ... Старикъ сегодня утромъ былъ огорченъ замѣчаніемъ главнокомандующаго, что будто бы онъ, Платовъ, недостаточно распорядительно дѣйствовалъ при удержаніи непріятеля послѣ выступленія изъ Можайска нашихъ главныхъ силъ: старика, грызло это замѣчаніе, не давало ему покоя — и вотъ эти стихи росой пали на его огорченную душу.

Когда смятеніе улеглось и Платовъ высморкался въ послѣдній разъ такъ энергически, какъ будто бы посылалъ свой носъ на штурмъ, Жуковский снова завелъ своимъ пѣвучимъ голосомъ:

Хвала безтрепетнымъ вождямъ!
На коняхъ окрыленныхъ
По доламъ скачутъ, по горамъ
Вослѣдъ враговъ смятенныхъ;
Днемъ мчатся строй на строй; въ ночи
Страшать, какъ привидѣнья;
Блещутъ смертью ихъ мечи,
Отъ стрѣлъ ихъ нѣтъ спасенья;
По всѣмъ разсыпаны путямъ,
Невидимы и зримы,
Сломили здѣсь, сражаютъ тамъ,
И всюду невредимы.
Нашъ Фигнеръ старцемъ въ станъ враговъ
Идетъ во мракъ ночи;
Какъ тѣнь прокрался вкругъ шатровъ,
Все зрѣли быстры очи...
И станъ еще въ глубокомъ снѣ,
День свѣтлый не проглянулъ —
А онъ ужъ, витязь, на конѣ,
Уже съ дружиной грянулъ.
Сеславинъ — гдѣ ни пролетитъ
Съ крылатыми полками,
Тамъ брошенъ въ прахъ и мечъ, и щитъ,
И устланъ путь врагами.
Давыдовъ, пламенный боецъ,
Онъ вихремъ въ бой кровавый,
Онъ въ мирѣ счастливый пѣвецъ
Вина, любви и славы...

Давыдовъ сидѣлъ блѣдный, глубоко потупившійся; рука, въ которой онъ держалъ давно погасшую трубку, дрожала. Старческіе, свѣтлые глаза Платова радостно смотрѣли на него. И вдругъ Бурцевъ, словно сорвавшійся съ петли, забывъ и Платова и все окружающее, бросился на своего друга и сталъ душить его въ своихъ объятіяхъ.

— Дениска! Дениска подлецъ!.. Денисушка мой, вѣдь это ты, ракаля! пьяно бормоталъ онъ, теребя озадаченнаго друга.—У! подлецъ, какой ты хорошій...

Офицеры покатались со смѣху. Даже солдаты приснули. Но въ этотъ моментъ вдали бухнула какъ изъ пустой бочки вѣстовая пушка — и всѣ схватились съ мѣстъ. Надо было торопиться въ походъ, поснѣшать къ Москвѣ, которая была уже недалеко.

XIV.

Старый Миронъ былъ правъ, говоря Софи Давыдовой, пораженной необычайнымъ перелетомъ черезъ Москву на западъ птицы, что тамъ гдѣ-то или идетъ сраженіе, большое, очень большое, или оно недавно было, и птица узнала объ этомъ раньше человѣка и летитъ туда питаться мертвыми тѣлами. Черезъ нѣсколько дней по Москвѣ разошлись смутныя, неясныя, но тѣмъ болѣе пугающія вѣсти, что подъ Можайскомъ, у какого-то села Бородина, происходила кровопролитная битва, а тѣмъ кончилась — никто достовѣрно не зналъ, какъ это всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ: одни говорили, что наша взяла, другіе — что ничья. Поэтому съ ранняго утра, 27 августа, Софи видѣла, какъ народъ валомъ валилъ на Лубянку, гдѣ жилъ Ростопчинъ: ожидали, что тамъ будутъ „афиши“ — „ростопчинскіе пачпорты“, какъ ихъ называлъ народъ, необыкновенно вдругъ пристрастившійся къ чтенію политическихъ извѣстій и особенно извѣстій о сраженіяхъ.

Съ утра Лубянка представляла какой-то необычайный каналъ, набитый сермягами, синими чапанами, красными и пестрыми рубахами парней изъ Охотнаго и Обжорнаго рядовъ, кузнецовъ, суконщиковъ и слонявшихся безъ дѣла приказныхъ, — и все это волною валило то въ ту, то въ другую сторону, толкалось и ругалось, наполняя воздухъ то бранью, то вздохами. Особенное оживленіе замѣчалось у стѣны, облѣпленной „афишами“, къ которымъ собственно и стремились толпы. У самой стѣны, энергически размахивая руками, ораторствовалъ знакомый намъ Кузьма Циперо. Онъ что-то доказывалъ высокому малому безъ профиля. Малый, водя указательнымъ пальцемъ правой руки по обмозоленной, какъ верблюжья пятка, ладони лѣвой, въ чемъ-то урезонивалъ Кузьму — „Такъ вотъ и написано — „фараонъ“ — де“... — „Какой тамъ фараонъ!“ — „Знамо какой — водяной — съ руками чу, да съ рыбьимъ плесомъ — вотъ что!“ — „Вздоръ!“ — „Не вздоръ!“ — а ты прочти-ко вотъ на ей самой, на этой на афишкѣ, что-ли!“ — „А ты впрямъ прочти!“ — возвышаются голоса.

„Въ субботу французовъ хорошо попарили — видно отдыхаютъ!“ громко читалъ Кузьма одну изъ афишъ.

— Это не та! эту мы слыхали! — раздались голоса. — То было въ субботу, а нонѣ вторникъ... Махни другую — вотъ эту слѣва.

— Ладно... „Вы знаете, что я знаю все—началь снова чтець—что въ Москвѣ дѣлается; и что было вчера—нехорошо, и побранить есть за что: два иѣмца пришли деньги мѣнять, и народъ ихъ катать; одинъ чуть-ли не умеръ. Вздумали, что будто шпионы, а для этого допросить должно—это мое дѣло. А вы знаете, что я не слушаю и своему брату русскому. И что за диковинка—ста человѣкамъ прибыть костянова француза, или въ парикѣ окуреннаго иѣмца! Охота руки марать! и кто на это пускается, тотъ при случаѣ за себя не постоитъ. Когда думаете, кто шпионъ, ну! веди ко мнѣ, а не бей—не дѣлай нареканія русскимъ. Войска-то французскія должно заковать, а не шутерамъ глаза подбивать. Сюда раненыхъ привезено они лежать въ Головинскомъ дворцѣ; я ихъ осмотрѣлъ, напоилъ, накормилъ и спать положилъ. Вишь они за васъ дрались—не оставьте ихъ, посѣтите и поговорите. Вы и колодниковъ кормите, а это государевы вѣрные слуги и наши друзья—какъ имъ не помочь!“

Знаемъ и эту!—слышали!.. это на нашъ счетъ, братцы, какъ мы тамъ двумя поджарымъ ребра посчитали... Собакѣ собачья и смерть!—отомщались жители изъ Охотнаго ряду.—И напередки тоже будемъ дѣлать—на то законъ! у насъ законъ крѣпокъ!

Читай другую—вонъ эту, большую, загалдѣла толпа... Садони-ко въ цѣль!—слушаемъ: можетъ, въ ей вся сила, какая она есть—напрямой, прямо, эту!

Добро! слушай!—И Кузьма, откашлявшись началъ: „Слава Богу! мы у насъ въ Москвѣ хорошо и спокойно. Хлѣбъ не дорожаетъ и мясо не дорожаетъ. Одного всѣмъ хочется, чтобъ злодѣя побить, — и то будетъ. Станемъ Богу молиться, да воиновъ снаряжать, да въ армію ихъ отправлять. А за насъ предъ Богомъ заступники: Божія Матерь и московскіе чюдотворцы, предъ свѣтомъ—милосердый государь нашъ Александръ Павловичъ, и предъ супостаты—христіанское воинство. А чтобъ скорѣе дѣло рѣшить, государю угодить, Россію одолжить и Наполеону насолить, то должно имѣть послушаніе, усердіе и вѣру къ словамъ начальниковъ, а они рады съ вами жить и умереть. Когда дѣло дѣлать — я съ вами; на войну идти — передъ вами; а отдыхать за вами. Не бойтесь ничего—пашла туча, да мы ее отдуемъ; все перемелется, мука будетъ; а берегитесь одного: пьяницъ да дураковъ; они распусти уши шатаются, да и другимъ въ уши въ расплохъ надуваютъ. Иной вздумаетъ, что Наполеонъ за добромъ идетъ; а его дѣло кожу драть: общаетъ все, а выйдетъ ничего. Солдатамъ сулить фельдмаршалство, нищимъ золотыя горы, народу свободу; а всѣхъ ловить за виски да въ тиски, и пошлеть на смерть: убьютъ либо тамъ, либо тутъ. А для сего и прошу: если кто изъ нашихъ или изъ чужихъ станетъ его выхвалять и сулить и то, и другое, то какой бы онъ ни былъ—за хохолъ да на съѣзжую: тотъ кто возьметъ—тому честь, слава и награда; а кого возмуть, съ тѣмъ я раздѣлаюсь, хоть пяти пядей будь во лбу; мнѣ на то и власть дана и государь изволилъ приказать беречь матушку Москву; а кому жъ беречь мать, какъ не

дѣткамъ! Ей-Богу, братцы, государь на васъ, какъ на Кремль, надѣется, а я за васъ присягнуть готовъ. Не вводите въ слово. А я вѣрный слуга царской, русской баринъ и православный христіанинъ“.

Нѣтъ, не то, не то: все это давно слышано и переслышано; всѣ это знаютъ наизусть, а все ждутъ, — не вырвется ли изъ устъ чтеца какое-нибудь новое слово — всѣ не спускаютъ съ него глазъ, слѣдить за его глазами, какъ они медленно ходятъ по строкамъ, за губами его слѣдить: вотъ-вотъ вырвется изъ-за желтыхъ, пенъковатыхъ зубовъ это самое слово, неслышанное, котораго всѣ ждутъ... А слова этого нѣтъ — не напечатано такое слово... И лица становятся сумрачнѣе... Все это не то, все это слова. А вонъ не слова: по улицамъ тинутся обозы съ ранеными — и конца имъ нѣту: кто тихо стонетъ, кто такъ лежитъ, а можетъ и за стукомъ колесъ не слышать его стоновъ. Да не даромъ и господа всѣ, и ихъ жены и дѣти, и богатые купеческія семьи покидаютъ Москву: по заставамъ отъ каретъ, колясокъ и телѣгъ со всякимъ добромъ проходу нѣтъ; по пустымъ барскимъ дворамъ собаки воютъ; у присутственныхъ мѣстъ только сторожа на крылечкахъ остались, а бумаги и казна, говорятъ, повывезены... Такъ что жъ онъ говорить, что „слава Богу!“ — Сомнѣніе закрадывается въ народъ... „Что жъ *они* въ самомъ дѣлѣ — а! — Али у насъ силы нѣту! Али насъ продали! Что жъ это такое! Али *они* шутить вздумали!“ — Это уже начинаетъ сердиться народъ, ворчитъ Охотный рядъ — это не даромъ: — на комъ-нибудь должна сорваться давно накипѣвшая, хотя невѣдомо на кого, злоба... *Они* — мнѣ какой-то, фараоны съ рыбьимъ плесомъ, „выдра“ стоголавая — и вотъ руки зудятъ...

Въ это время на крыльцѣ дома, передъ которымъ особенно толпился народъ — то былъ домъ Ростопчина — показался полицмейстеръ. Въ рукахъ у него была толстая пачка „афишъ“. Народъ зашевелился, понадвинулся. Всѣ сняли шапки. На всѣхъ лицахъ ожиданіе. Тихо — хоть бы вздохъ.

— Слушай, братцы! — громко выкрикнулъ полицмейстеръ. — Вотъ что писать вамъ его сіятельство: „Два курьера, отправленные съ мѣста сраженія, привезли отъ главнокомандующаго арміями слѣдующія извѣстія. Вчерашній день, двадцать шестого, было весьма жаркое и кровопролитное сраженіе. Съ помощію Божіею русское войско не уступило въ немъ ни шагу, хотя непріятель съ отчаяніемъ дѣйствовалъ противъ него. Завтра, надѣюсь я, возлагая мое упованіе на Бога и на московскую святыню, съ новыми силами съ нимъ сразиться. Потеря непріятеля несчетная; онъ отдалъ въ приказѣ, чтобъ въ плѣнъ не брать — да и брать не кого, и что французамъ должно побѣдить или погибнуть. Когда сегодня съ помощію Божіею онъ отраженъ еще разъ будетъ, то злодѣй и злодѣи его погибнуть отъ голода, огня и меча. Я посылаю въ армію четыре тысячи человѣкъ новыхъ солдатъ, на пятьдесятъ пушекъ снаряды, провіанта. Православные! будьте спокойны. Кровь нашихъ проливается за спасеніе отечества, наша готова, и если придетъ время, то мы подкрѣпимъ войска.

ь укрѣпить силы наши, и злодѣй положить кости свои въ землѣ рус-
и!“

Послѣднія слова полицмейстеръ особенно выкрикнулъ—отъ усилія онъ
е попуцовѣлъ. Послѣднія слова, казалось, всѣмъ понравились: „по-
пть-де кости свои...“ Только когда еще положить?

— А теперь, братцы, ступайте по домамъ — занимайтесь своимъ дѣ-
ь, да и его сіятельству не мѣшайте,—сказалъ полицмейстеръ, садясь въ
инны ему дрожки, и помчался вдоль по Лубянкѣ.

Народъ, почесывая въ затылкахъ и перетолковывая по своему слы-
ное, сталъ расходиться—кто по домамъ, а кто по кабакамъ.

Прошелъ вторникъ, среда, четвергъ. Москва смотрѣла все зловѣще.
а пустѣли, все убѣгало, а на мѣсто бѣжавшихъ городъ наполнялся
эными: казалось, и конца не будетъ обозамъ съ ранеными! Это везли
единцевъ; день и ночь скрипѣли телѣги, раздавались голоса погонщи-
ь, больничной прислуги, стоны раненыхъ... Скоро народъ началъ по-
мѣвать что-то очень страшное: какъ ни таилось начальство, но народъ
нюхалъ, что приказные и полиція, по ночамъ, точно воры, вывозили
нное имущество. Значить, *тамъ* хуже, чѣмъ говорятъ. То тамъ, то
сь по казеннымъ домамъ, въ глухую ночь, бѣгаютъ огни и изъ во-
ь выѣзжаютъ нагруженные возы. А тамъ за городомъ стали строить,
ю отъ народа, какой-то огромный шаръ: кто-то хочетъ летѣть на этомъ
ѣ подъ небеса. А кто? — зачѣмъ? — этого никто не зналъ — и еще
ише становилось. Одни говорили, что Иверскую къ небесамъ поды-
ь и она, Матушка, оттелева всѣхъ громомъ поразить супостатовъ.
гіе сказывали, что царь-пушку къ облакамъ подымутъ на шарѣ, да
ь шарахнутъ съ облаковъ-то по емъ, по фараонтію, — такъ только
ренько станеть. А то были и такіе невѣрующіе, что сказывали, будто
этомъ на самомъ шарѣ начальство въ Питеръ утечи собирается... И
одъ опять кучится на Лубянкѣ. Опять подавай имъ „афишку“. И Ро-
ичинъ поневолѣ долженъ успокаивать расходившихся политиковъ Охот-
ряда.

„Здѣсь мнѣ поручено отъ государя,—объявлялось въ новой афишѣ,—
чать большой шаръ, на которомъ 50 человѣкъ полетятъ, куда захо-
ь, и по вѣтру и противъ вѣтра, а что отъ него будетъ,— узнаете и
адуетесь. Если погода будетъ хороша, то завтра или послѣ завтра
мнѣ будетъ маленькій шаръ для пробы. Я вамъ заявляю, чтобы вы,
ия его, не подумали, что это отъ злодѣя, а онъ сдѣланъ къ его вреду
гибели“.

— Вонъ она штука-то какая!—радовался политикъ изъ Охотскаго
а.—Я говорилъ, братцы, что Иверску въ небесы — она на мое и
ло: именно—ее, Матушку, да преосвященнаго Платона митрополита,
архирея—чу, да нятдесять протопоповъ подымутъ съ святой водой
кропиломъ, да какъ кропятъ на фараоновъ, такъ они и разсыпятся
прахъ.

— А мы звонить во всё колокола станемъ — такого звону напѣтимъ до неба, что онъ, проклятый, ужаснется и лопнетъ, — пояснили другіе.

А онъ все не лопался. Мало того — говорятъ, гонить нашихъ по пятамъ, Можайскъ прошелъ, къ Москвѣ движается. Народъ свирѣлѣть начинаетъ. Въ пятницу толпа молодцовъ изъ Ножовой линіи, подъ предводительствомъ Хомутовскаго лакея Яшки, оставленнаго господами стеречь домъ и спившагося съ кругу, того самого Яшки, который ораторствовалъ о „стоглавой выдрѣ“, — метнулась къ парикмахеру Коко, побила у него окна и хотѣла было заставить несчастнаго французика проглотить цѣлую женскую косу, красовавшуюся у него на окошкѣ, да увидала, что народъ бѣжитъ на Лубянку читать новую „афишу“, бросила помертвѣвшаго со страху француза и метнулась къ дому Ростопчина. Яшка съ подбитымъ глазомъ и съ оторванной въ единоборствѣ съ безпрофильнымъ ямщикомъ, что говорилъ о фараонѣ съ рыбьимъ плесомъ, штаниной, шелъ впереди всѣхъ и неизвѣстно къ кому кричалъ: „подавай ружье и штандартъ!“ Пьяныхъ попадалось все больше и больше. При видѣ толпы полиція чаще и чаще стала прятаться.

У дома Ростопчина дѣйствительно нашли новую „афишу“. Такъ какъ въ толпѣ на этотъ разъ не нашлось ни одного грамотнаго, то метнулись къ ближайшему богомазу. Самого богомаза не нашли, а привели ученика — мальчика, что охру третъ. Мальца съ перепачканнымъ охрой лицомъ посадили, по малости его роста, на саженныя плечи одного дѣтны, и малецъ пискливымъ голосомъ началъ, водя пальцемъ по афишѣ:

„Свѣтлѣйшій князь, чтобъ скорѣе соединиться съ войсками, которыя идутъ къ нему, перешелъ Можайскъ и сталъ на крѣпкомъ мѣстѣ, гдѣ неприятель не вдругъ на него пойдетъ. Къ нему идутъ отсюда сорокъ восемь пушекъ съ снарядами, а свѣтлѣйшій говорить, что Москву до послѣдней капли крови защищать будетъ, и готовъ хоть въ улицахъ драться...“

— Ружье! подавай ружье и штандартъ! — неистово заоралъ Яшка, засучивая рукава и угрожая кому-то въ пространствѣ.

Малецъ чуть не упалъ съ испугу. Яшку оттащили въ сторону, но тотъ все кричалъ: „подавай ружье и штандартъ“, пока ему ротъ не зажали. — Читай далѣ, что тамъ! Все выкладывай!“ кричали другіе.

„Вы, братцы, — продолжалъ читать малецъ, — не смотрите на то, что присутственныя мѣста закрыли — дѣла прибрать надобно, а мы своимъ судомъ съ злодѣемъ разберемся! Когда до чего дойдетъ, мнѣ надобно молодцовъ и городскихъ, и деревенскихъ: я кличъ кликну дни за два, а теперь не надо — я и молчу! Хорошо съ топоромъ, не дурно съ рогатиной; а всего лучше вилы тройчатки: французъ не тяжеле снопа ржанова. Завтра послѣ обѣда я подымаю Иверскую въ екатерининской госпиталь къ раненымъ. Тамъ воду освятимъ, они скоро выздоровѣютъ, и я теперь здоровъ: у меня болѣлъ глазъ, а теперь смотрю въ оба!“

— „Го-го-го!“ — заревѣла вся толпа: — молодцовъ зоветь — и городскихъ

и деревенскихъ! Вилы тройчатки, ребята, припасай! Въ желѣзный рядъ за вилами!..“ „Въ скобяной—не въ желѣзный!..“ „А топоры!..“ „Топоры не надо!.. вилы тройчатки!..“ „Подавай ружье и штандарть!..“ „Коли ежели ево да вилами!..“ „Не пушай, братцы!..“ „Иверску подымай!“

Застучали колеса и въ воротахъ показалась коляска. Въ ней, положивъ руку на плечо кучера, стоялъ во весь ростъ *самъ*. Народъ узналъ его. Онъ пришелся по душѣ ему: такой-же, какъ и народъ, горластый крикунъ, словно колоколъ на Иванѣ-Великомъ; краснобай.

— Урррраа! урррраа!—завопила толпа, увидавъ этого кровного потомка Чингисъ-хана, изъ татарина превратившагося, какъ Ростопчинъ *самъ* выражался, въ „русскаго барина и православнаго христіанина“.

— Здорово, ребята!

Стономъ застонала Лубянка отъ этихъ словъ. Ростопчинъ махнулъ бумагой, что была у него въ рукѣ: это была новая афиша. Народъ притихъ. Яшка продирался къ самому экипажу, гордый и пьяный.

— Братцы!—громко началъ Ростопчинъ, глядя въ бумагу: — сила наша многочисленна и готова положить животъ, защищая отечество, не впустить злодѣя въ Москву. Но должно пособить, и намъ свое дѣло сдѣлать. Грѣхъ тяжкій своихъ выдавать. Москва наша мать. Она васъ кормила, поила и богатила. Я васъ призываю именемъ Вожіей Матери на защиту храмовъ Господнихъ, Москвы, земли русской. Вооружитесь, кто чѣмъ можетъ, и конные и пѣшіе, возьмите только на три дни хлѣба; идите со крестомъ, возьмите хоругви изъ церквей, и съ симъ знаменіемъ собируйтесь тотчасъ на Трехъ-Горахъ: я буду съ вами — вмѣстѣ истребимъ злодѣя. Слава въ вышнихъ, кто не отстанетъ! Вѣчная память, кто мертвый ляжетъ! Горе на страшномъ судѣ, кто отговариваться станетъ!

Онъ остановился. Мертвая тишина превратилась въ бурю. Толпа обезумѣла, бросаясь подъ лошадей, хватаясь за колеса... „Ваше сіятельство! я господь Хомутовыхъ... мнѣ бы ружье... штандарть... пушку!“ оралъ Яшка, спотыкаясь и падая, когда коляска двинулась. — „Штандарть! ружье!..“ Толпа ринулась вслѣдъ за удалявшимся экипажемъ, потрясая воздухъ неистовыми криками.— „Звони въ колокола!.. подымай хоругви изъ церквей!.. *самъ* велѣлъ!.. поповъ сюда!.. гдѣ попы?“... „Зачѣмъ попы!.. къ митрополиту, братцы!..“ „Бей сполохъ!... безъ сполоху нельзя!“ — „Зачѣмъ сполохъ!.. не горимъ-ста!..“ — „А ты не ори!.. „Да я не ору!..“ „Стой, братцы! зачѣмъ драка!..“ „А! я тѣ сворочу рыло!..“ „Сунься!.. я тѣ салазки выверну!..“ „На Три-Горы идемъ, ребята!.. хлѣба на три дни!..“ Всѣ кричали, никто никого не слушалъ...

Откуда ни возьмись—Кузьма Цидеро. Замѣтивъ его, толпа невольно остановилась, озадаченная видомъ стараго приказнаго. Видъ былъ дѣйствительно необыкновенный. Одѣтъ былъ Кузьма все въ тотъ-же потертый полукафтанъ, но на плечѣ у него блестяло ружье со штыкомъ, а у пояса болталась кавалерійская сабля. Подъячій противъ обыкновенія былъ не пьянъ, а напротивъ—лицо его поражало какой-то спокойной рѣши-

мостью и серьезностью. Онъ казался блѣднымъ; въ глазахъ горѣлъ лихорадочный огонь. Въ рукахъ у него видѣлась послѣдняя ростопчинская афиша. Его обступили.

— Братцы! народъ православный!—началъ старый подъячій дрожащимъ голосомъ.—Не такое теперь время, чтобы кричать и ссориться. Слышали, что вотъ въ этой бумагѣ прописано? Злодѣя, какъ видно, не удержатъ нашимъ; сюда идетъ—Москву нашу хочетъ взять себѣ, храмы Божьи осквернить... Мало онъ крови выпилъ! такъ и этого мало ему! Надо надъ Москвой натѣшиться еще... Такъ не бывать этому! Сами спалимъ матушку, а ему не дадимъ—никому-де не доставайся!.. А допрежъ того не пустимъ его въ Москву—идемъ на Три-Горы. Идите, братцы, за мной: тамъ въ арсеналѣ оружіе раздадутъ православнымъ—вонъ и мнѣ дали. А вооружился—тогда и съ Богомъ...

— Ладно! ладно! веди насъ!—загудѣла толпа и двинулась къ арсеналу.

Весь этотъ и слѣдующій день, воскресенье, шла раздача оружія изъ арсенала. Кузька Цидеро неожиданно очутился во главѣ народнаго ополченія. Въ воскресенье всѣ свободные московскіе молодцы, приказные безъ мѣстъ и бродяги, мясники и водовозы, бочары и разношники, парни сидѣльцы изъ всѣхъ рядовъ, особенно изъ Охотнаго и Обжорнаго, всегда отличавшіеся острымъ сангвинизмомъ, подъ предводительствомъ Кузьки двинулись въ Успенскій соборъ и требовали отслужить напутственный молебенъ. Они требовали также, чтобы митрополитъ поднялъ Иверскую и шелъ вмѣстѣ съ ними на Три Горы; но оказалось, что преосвященный Платонъ еще утромъ уѣхалъ въ свою пустынь—въ Виаінію.

Оголтѣлая толпа, то кучась въ одну массу, преимущественно на Лубянкѣ, то разбиваясь на отдѣльныя кучки, бродили и кричали до ночи. Они все ждали, что ихъ поведетъ самъ Ростопчинъ исчезъ. Въ субботу онъ выбросилъ, такъ сказать, послѣдній свой патріотическій кусокъ для голодной толпы, и замолчалъ. Кусокъ этотъ былъ слѣдующаго содержания: „Я завтра рано ѣду къ свѣтлѣйшему князю, чтобы съ нимъ переговорить, дѣйствовать и помогать войскамъ истреблять злодѣевъ; станемъ и мы изъ нихъ искоренять и этихъ гостей къ чорту отправлять. Я пріѣду назадъ къ обѣду и примемся за дѣло, додѣлаемъ и злодѣевъ отдѣлаемъ“. Прошелъ и обѣдъ, а его нѣтъ. Настала и ночь съ воскресенья на понедѣльникъ, съ 1-го на 2-е сентября.

Ночью уже ясно стало, что Москвы не удержатъ. Сама полиція, казалось, обезумѣла: всю ночь таскали изъ арсенала и бросали въ Москву-рѣку пушки—болѣе полутораста пушекъ бултыхнуло въ воду—и толпа при этомъ только ахала да крестилась. Потомъ стали таскать охапками и тоже швырять въ воду ружья, пистолеты и сабли, и почти загатили этотъ московскій Тибръ оружіемъ. Къ утру же начали туда-же въ воду сваливать кули съ провіантскимъ добромъ — съ сухарями, крупой и солью, такъ что утромъ въ понедѣльникъ Москва-рѣка представляла буквально длинное, гигантское корыто съ тюрей; историческая тюря эта обшлась,

одним, русскому народу въ два съ половиною милліона рублей: на эту сумму утоплено было въ Москвѣ рѣкѣ провіантскихъ запасовъ для войска, по считаніи стоимости брошенныхъ въ воду 80-ти тысячъ ружей и пистолетовъ и болѣе 100-ти тысячъ штукъ холоднаго оружія. Все это потомъ приносили 20 и тысячами пудовъ пороху! Казалось, Москва-рѣка превратилась въ чернильную рѣку, если-съ по ней не плавали, какъ массы черной смолы, милліоны черныхъ само-по-себѣ и отъ пороху сухарей. Это было что то ужасное и отвратительное. Собаки при видѣ черной рѣки неминуемо мыли, лаяли въ воду и шныряли въ насыщенную пороховъ воду и ржали.

Когда же это было известно, полиція бросилась разбивать бочки съ виномъ на всякомъ дворѣ и жечь барки съ казеннымъ и частнымъ имуществомъ. Надъ всемъ присутствовалъ народъ и окончательно безумѣлъ отъ ужаса. Ужасъ достигъ того, что люди нашли утонувшимъ въ бочкѣ спирту. Когда же бочки загорались, люди вѣхали зажигать барки—лодки не могли плыть по рѣкѣ, переполненной сухарями.—„Ужъ и тюря, братцы!“ смѣялся, но въ душѣ былъ въ страхѣ, ошарашенный народъ.

Съ этого вечера и барки. То тамъ, то здѣсь огненные языки тянулись по теченію. День былъ тихій, и суда горѣли ровно, словно свѣчи на иконахъ. „Пушай никому не достается“, тихо, какъ-бы про себя промолвилъ Кузька Цицero, задумчиво глядя на красное пламя. Онъ не пилъ и не молился. Потомъ, обратясь къ толпѣ, началъ кричать, перекрестясь на колокольню Ивана-Великаго, которая стояла въ видѣ черной точки изъ-за кремлевскихъ стѣнъ: „Молитесь, православные! Не ждите, часъ насталъ!“—Всѣ сняли шапки и перекрестились, даже те, которыхъ было больше чѣмъ трезвыхъ.—„Идемъ, братцы, къ церкви, пушай ведетъ: мы готовы положить свои головы за матушку Москву да за Русь святую!“—Громкое, необузданное „ура!“ было отвѣтомъ на эту краткую рѣчь. Толпа двинулась на Лубянку. Тамъ улица была уже запружена народомъ. Вновь прибывшая толпа заставила переместиться впередъ, и часть вооруженныхъ и невооруженныхъ москвичей ворвалась потокомъ на дворъ къ Ростовчину. Слышны были возгласы: „Ваша матушка нашъ! веди насъ на злодѣевъ! Мы всѣ готовы помереть съ тобою!“

Другая часть, съ Кузькою Цицero впереди, шумно направилась къ Дорогомиловской заставѣ. У Красной площади они натолкнулись на обозы и на войска: это наша несчастная армія, гонимая по пятамъ Мюратомъ, спѣшала пройти Москву, чтобы укрыться отъ непріятеля за Коломенской заставой.

За тѣсною и за непрерывно тянувшимися обозами съ ранеными и боевыми запасами, войска должны были постоянно останавливаться. Солдаты видимо старались не глядѣть въ глаза ни изрѣдка попадавшимъ, растеряннымъ и изумленнымъ москвичамъ, ни другъ другу. Иные, глядя на церковь и на Кремль, крестились и плакали, прощаясь съ ними.

Черезъ Красную площадь проходилъ московскій гарнизонный полкъ. Впереди его шли музыканты и играли съ необыкновеннымъ оживленіемъ:

Громъ побѣды раздавался,
Веселися, храбрый россия.

Всѣ съ удивленіемъ смотрѣли на этихъ храбрыхъ и веселыхъ россиянъ, когда кругомъ все или плакало, или терзалось горемъ и отчаяніемъ— молча. А гарнизонные продолжали наяривать, хотя и ихъ лица были мрачны и блѣдны. Кругомъ слышался ропотъ. — „Кто радуется нашему несчастію?“

Въ это время во весь опоръ подскакалъ Милорадовичъ, весь красный, взбѣшенный и прямо обратился къ генералу Брозину:

— Кто приказалъ вамъ идти съ музыкой? — закричалъ онъ на всю площадь.

Брозинъ остановился и, увидавъ старшаго генерала, ловко отдалъ ему честь.

— Если гарнизонъ при сдачѣ крѣпости получаетъ позволеніе выступить свободно, то выходитъ съ музыкою, — вѣжливо, но гордо отвѣчалъ онъ какъ по писанному.

— Кто вамъ это сказалъ, милостивый государь! — съ запальчивостью снова крикнулъ Милорадовичъ.

— Такъ сказано въ регламентѣ Петра Великаго, — былъ отвѣтъ, по прежнему гордый и спокойный, какъ бы озадачивающій противника.

— Да развѣ есть въ регламентѣ что-либо о сдачѣ Москвы! — съ яростію уже и бѣшенствомъ закричалъ Милорадовичъ. — Прикажете замолчать вашей музыкѣ!

Музыка смолкла. Ее смѣнила другая музыка, болѣе соответствующая обстоятельствамъ: Москва узнала, что тѣ, на кого она возлагала всѣ свои надежды, оставляютъ ее на произволъ судьбы—войска не останавливались въ городѣ, чтобы защищать его, а уходили невѣдомо куда. Начался такой вопль, повсюду слышалось такое отчаяніе, такой ужасъ написанъ былъ на лицахъ несчастныхъ москвичей, что у солдатъ и офицеровъ видимо кровью обливалось сердце и они готовы были, казалось, остаться въ Москвѣ, чтобы побѣдить или умереть, лишь бы не видѣть этихъ растерявшихся и обезумѣвшихъ лицъ, не слышать этихъ воплей. При неожиданномъ извѣстіи о сдачѣ Москвы произошло то, что происходитъ разомъ, особенно ночью, когда вдругъ послышится отчаянные возгласы: „горимъ! батюшки, горимъ! спасайся, кто можетъ!“ Тутъ растерянность, неожиданность и страхъ доводятъ людей до безумія. Сначала всѣ стоятъ ошеломленные, какъ бы не понимая въ чемъ дѣло, а потомъ съ воплемъ и отчаяніемъ всѣ бросаются—кто спасать деньги, и вмѣсто шкатулки съ деньгами схватываетъ шапку и ищетъ ее же, кто укладывать серебро и дорогую посуду—и бьютъ ее вдребезги, кто выносить заспавшихся дѣтей, и вмѣсто дѣтей уносить собаченку, кто выбрасываетъ на мостовую съ четвертаго этажа зеркала, фарфоръ... То-же было и съ москвичами: одинъ искалъ спасти то, что у него было самаго дорогого и цѣннаго, и не могъ вспомнить, что вмѣнно у него самое цѣнное, и метался какъ безумный; другой

изаказъ, отказъ послѣдній поклонъ дому, въ которомъ родился, и не зная, гдѣ будетъ ночевать эту ночь; кто велъ за рога корову, которая упира-лась и испуганно ревѣла; изъ кабаковъ неслись неистовые крики, и—ни одной ибсыи: въ трюмъ выходили такіа личности, которымъ уже ничто не было страшно—и кому-то грозили.

Когда гусары и уланъ проѣзжали мимо лавокъ съ панскимъ товаромъ и галантереею, Дурову поразило то, что она увидала. Изъ лавокъ выбѣ-гали купцы и со слезами зазывали къ себѣ солдатъ: „берите, родимые, наше добро, берите, что кому нужно! Готовили дѣткамъ—не привелъ Богъ: такъ русский не достается злодѣямъ“. Одинъ съдой, благообразный старикъ хваталъ Дурову за стремяна, приговаривая: „батюшка, родной!—бери все, что къ моей лавкѣ есть дорогого—только бы врагамъ не доставалось“... Дурова отвернувшись, чтобы скрыть слезы, которыя падали на малиновые отвороты ея сюртука... Бурцевъ фхалъ красивый, сильно выпившій и не-известно ругался, то и дѣло повторяя: „это чертъ знаетъ, что такое!“

Не доѣзжая до Яузскаго моста, Дурова увидѣла, что изъ одного глу-хого переулка, сопровождаемый только Коновнинымъ, выѣзжалъ Куту-зовъ. Онъ велѣлъ провезти себя черезъ Москву такъ, чтобы его никто не видалъ, и потому они принуждены были пробираться глухими улицами. Да и самъ старикъ, казалось, ничего вокругъ себя не видалъ и ни на что не смотрѣлъ. Глаза его сосредоточенно уставились въ гриву коня, и Дурова замѣтила, что по обвисшимъ щекамъ старика текли слезы.

Такъ покинута была русскими Москва—въ первый и единственный разъ со времени ея основанія...

А въ этотъ самый моментъ, когда Кутузовъ пробирался по Яузскому мосту и утиралъ слѣды слезъ, чтобы ихъ никто не замѣтилъ, Наполеонъ, окруженный штабомъ, въѣхалъ на Поклонную гору и какъ вкопанный, пораженный невиданнымъ, волшебнымъ зрѣлищемъ, которое представилось его глазамъ, казалось, прикипѣлъ на сѣдлѣ, тогда какъ сфинксовые, не-мигающіе глаза его въ первый разъ забѣгали, какъ глаза ребенка передъ игрушечной лавкой. Эти сфинксовые глаза расширились и потемнѣли какъ-бы отъ ужаса; брови, вскинутыя строго и прямо, поднялись; плотно сжатые губы дрогнули и разжались, чтобы захватить въ ротъ и въ легкія больше воздуха, котораго не хватало въ груди. И блестящій штабъ стоялъ немного поодаль въ нѣмомъ изумленіи. У Мюрата даже перья на шляпѣ трепетали.

— *La voilà donc enfin cette fameuse ville!.. Il était temps!*—невольно вырвалось у Наполеона.

А Москва тихо искрилась на солнцѣ своими безчисленными главами. Мрачныя стѣны Кремля, причудливо изогнутыя и кольцомъ охватывающія какую-то таинственную, какъ Наполеону казалось, святыню; холмообразныя, волнистыя линіи невиданныхъ темныхъ и цвѣтныхъ крышъ; зелень, какъ-бы проросшая сквозь вѣковыя зданія москвитовъ; невиданныя и причудливыя для европейца формы построекъ, и—что всего поразительнѣе—церкви, церкви безъ креста!.. И все это—этотъ городъ великой, пустынной страны,

это гнёздо и сердцевина жизни многочисленного, захватившаго полміра народа—все это у его ногъ...

Городъ казался тихо спящимъ, какъ всякій городъ издали. Только южныя и восточныя окраины, казалось, дымились. Наполеонъ догадался, что это—пыль отъ удаляющихся войскъ побѣжденной имъ страны. Никогда во всю свою кровавую жизнь, ни въ палимой солнцемъ Сиріи, ни подъ мрачными пирамидами, онъ не испытывалъ такого трепета восторга и какой-то неуловимой боязни—боязни не въ міру громаднаго, подавляющаго своимъ величіемъ торжества,—какой испытывалъ въ эту торжественную и суровую минуту, въ виду, какъ ему казалось, поверженнаго въ прахъ и униженнаго священнаго города московитовъ. И какъ всегда это бываетъ въ минуты раздумья, тревожная, хотя торжествующая мысль перенесла его за десятки лѣтъ назадъ, въ то золотое время, когда онъ еще былъ юношей и передъ нимъ разстилалась таинственная, свѣтлая панорама жизни... Ничего подобнаго онъ и представить себѣ не могъ, что видѣлъ онъ теперь и что безконечной лентой, перевитой кровавыми битвами, небывалыми побѣдами и небывалымъ торжествомъ, тянулось позади его...

Онъ подаль знакъ—и грянула вѣстовая пушка. Войска точно дрогнули: и они слишкомъ долго ждали этого торжественнаго момента.

Какъ боры великіе, съ отдѣльно высившимися величественными дубами, сорвавшись съ своихъ основъ, двинулись войска къ городу, потрясая воздухъ криками: „vive l'empereur!“ Отъ скака кавалеріи застонала земля. Пѣхота бѣжала съ ревомъ, какъ на приступъ. Знамена и значки трепались въ воздухѣ, какъ крылатые змѣи. Артиллерія, скакавшая что было мочи у лошадей и немолчно громыхавшая всѣми своими тяжелыми металлическими частями, довершила эту адскую музыку, мелодичнѣе которой не было для этого кроваваго человѣка, снова принявшаго неподвижно-сфинксовый образъ. Солнце померкло отъ пыли, поднятой сотнями тысячъ ногъ, копытъ и колесъ.

У Дорогомидовской заставы Наполеонъ осадилъ своего коня. Онъ оглядѣлся кругомъ и чего-то ждалъ. Впереди, на пыльных улицахъ города, сколько ни окидывалъ глазъ, не виднѣлось ни души. Городъ казался вымершимъ. Окна домовъ были закрыты ставнями, а въ кое-гдѣ открытыхъ не виднѣлось ни одного лица. По улицамъ бродили только куры, да изрѣдка на дворѣ выла собака.

По лицу Наполеона пробѣжала тѣнь нетерпѣнія. Онъ ждалъ депутацію отъ покорнаго города, ждалъ „бояръ“—„les boyards“—съ золотыми ключами на блюдѣ; но бояре не являлись—и онъ начиналъ сердиться.

Онъ долго ждалъ, слишкомъ долго для такой рѣшительной минуты. А „бояръ“ все не было... Свита начинала чувствовать неловкость положенія... Становилось—этого французъ никогда не можетъ простить—становилось смѣшно!

Изъ Москвы успѣли воротиться нѣкоторые маршалы, уже проникшіе туда съ другими частями войскъ, и, робко подъѣхавъ къ императору, о чемъ-то тихо ему докладывали...

Moscou déserte!—съ изумленіемъ откинулся онъ на сѣдлѣ.—Quel événement invraisemblable! Il faut y pénétrer... Allez et amenez moi les boyards!

Опять поскакали маршалы по пустымъ улицамъ; а онъ все ждетъ... Блѣдное лицо его начинаетъ перекашиваться судорога. Зубы стиснуты. Глаза словно застыли... Наполеонъ дожидается... Онъ, который раздавилъ Европу, какъ орѣховую скорлупу, принужденъ ждать, словно проситель въ передней у вельможи... И онъ разомъ почувствовалъ стыдъ, да такой жгучій стыдъ, какого онъ никогда въ жизни не испытывалъ—и онъ почувствовалъ также, что первый разъ въ жизни покраснѣлъ; покраснѣлъ до корней волосъ... Въ тотъ же моментъ въ душѣ его шевельнулась адская, пожирающая злоба...

Воротились маршалы и вмѣсто бояръ привели наскоро нахватавшую кучку французовъ, испоконъ вѣка жившихъ въ „Моску“—парикмахеровъ, портныхъ, парфюмеровъ... Какъ самый представительный на видъ, впереди всѣхъ выступалъ мосье Кокко, завитой и раздушенный...

Наполеонъ глянулъ на нихъ, резко отвернувшись, не удостоивъ ни словомъ, ни кивкомъ головы. Онъ взглянулъ въ городъ, остро чувствуя, что онъ вступалъ въ покинутый городъ какъ... какъ ворюшка въ пустой домъ...

О! онъ этого никогда не проститъ варварамъ московитамъ!

XV.

Черезъ день послѣ отступленія отъ Москвы русскія войска расположились на кочевья. Армія была сильно утомлена усиленными переходами и потому торопилась спать. Кавалерія прикрывала тылъ арміи, и также сдѣлала привалъ.

Ночь съ 3-го на 4-е сентября выдалась сухая, хотя вѣтряная. Солдаты, поставивъ рюкзакъ въ козлы по обѣимъ сторонамъ рязанской дороги на разстояніи сѣмидесяти верстъ, занялись собираніемъ дровъ для костровъ, отпущенныхъ для лошадей фуража по сосѣднимъ деревнямъ и, при скупкѣ, заготовили приварка, а то и простой ботвы:—все же вкуснѣе, чѣмъ жевать сухарь съ хрустомъ, да „холостыя щи“, попросту—вода.

Кавалерія жила закипѣла живо. Несмотря на совершившееся страшное сраженіе, несмотря на прежнія пораженія и подчасъ тупое отчаяніе при видѣ живыхъ женныхъ неудачъ, несмотря наконецъ на общее горькое сознаніе, что они бѣгутъ, солдаты почему-то стали смотрѣть бодрѣе впередъ, чѣмъ раньше. Они до Москвы, особенно же до Бородина. Каждый изъ солдатъ чувствовалось, что хотя совершилось нѣчто ужасное, но что это было — послѣднее, что хуже и ужаснѣе этого уже быть не могло и что съ этого именно ужаснаго должна пойти „другая линия“...— „Нѣтъ, нѣтъ, братцы, музыка начнется“,—говорилъ старый, общій дядька Никита, тертый калачъ,—который бывалъ и въ кольяхъ, и въ мельничихъ жерновахъ и полонѣ, и бѣгство изъ полону, и говорилъ нарочно громко, чтобы его услышалъ вонъ тотъ его бывший ученичокъ, когда-то жиденскій мальчишка Дуровъ, а теперь офицеръ и георгіевскій кавалеръ, облаченный

ный самым государемъ и съ царскихъ-де устъ получившій почетную фамилию Александрова, и вотъ ужъ съ коихъ поръ носъ повѣсившій.— „Да, да—другую пѣсню запоютъ поджарые... Запоютъ—

„Ахъ ты матушка родима,
Почто на горе родила?“

Старому дядькѣ жаль стало своего бывшего питомца, котораго онъ давно полюбилъ, первое—за скромность, за то, что онъ словно-бы красная дѣвушка, а второе—за его храбрость и ласковость. Суровый дядька видѣлъ своего ученика и подъ Фридрихсдорфомъ, и подъ Смоленскомъ, и подъ Бородинымъ, и всегда что-называется на самомъ припекѣ, въ самой какъ есть квашнѣ рукопашной... А теперь—на поди—закручинился...

Дядька стоялъ у костра, тянулъ дымокъ изъ своей носогрѣйки—спасибо московскимъ табашникамъ, сунули-таки въ ранецъ горстку-другую добраго кнастеру — тянулъ дядька дымокъ изъ носогрѣечки, сплевывалъ черезъ губу въ сторону и, косясь на Дурову, которая, опустивъ голову, проходила мимо, направляясь къ гусарамъ, продолжалъ къ товарищамъ: „да, запоютъ теперь кургузые—почто на горе родила...“

Дурова слышала это, грустно улыбулась и пошла далѣе, опираясь на саблю и прихрамывая, такъ какъ нога ея, контуженная подъ флешами Раевского, у Бородина, продолжала ныть. Она скоро отыскала „войсковой клубъ“, какъ они называли тотъ костеръ, который Рахметка, неутомимый татаринъ, всегда дѣлалъ на привалахъ для Давыдова и у котораго по ночамъ любили собираться офицеры всѣхъ оружій. Давыдова всѣ любили за его умъ, мягкость, радушіе и какія-то такъ-сказать облегающія по душѣ качества. Много значило присутствіе въ этомъ кружкѣ, въ качествѣ непремѣннаго заведѣвателя, неутомимаго Бурцева. Кромѣ Давыдова и Бурцева, Дурова застала у костра Фигнера и Жуковского, котораго также всѣ обыкновенно полюбилъ за его „голубиную душу“.

— А ты все, Алексаша, хромаешь, — сказалъ участливо Бурцевъ, увидавъ Дурову. — Экой упрямецъ; ничего съ нимъ не подѣлаешь: не хочетъ дать доктору осмотрѣть ногу (обратился онъ къ прочимъ офицерамъ). Я хотѣлъ самъ снять съ него рейтузы, поглядѣть, что тамъ—такъ ни-ни, ни Боже мой! къ себѣ не подпускаетъ, и сапога даже не хочетъ снять.

— Я самъ снималъ—такъ, ничего, пустяки; красноватость одна, — нехотя отвѣчала дѣвушка. — А замѣтили вы, господа, вчера, какъ главнокомандующій плакалъ, когда проѣзжалъ черезъ Москву?

— Да, плакалъ!—проворчалъ Давыдовъ. — Не то-бы было, если-бы живъ былъ Багратионъ... эхъ!

— На совѣтѣ въ Филяхъ, говорятъ, когда Бенигсенъ требовалъ дать битву подъ Москвой—не пускать злодѣевъ въ городъ, главнокомандующій, говорятъ, отдѣлался простой остротой: *je sens, говорить, que je rayegaï les pots russes*“, — тихо замѣтилъ Фигнеръ, ни на кого не глядя.

— „Разбитые горшки!“ каково! наши головы онъ считаетъ горшками! — вскипятился Бурцевъ.

— Что-жъ! горшки, да еще пустые,—пробурчалъ Давыдовъ.

Жуковский молчалъ и задумчиво глядѣлъ на огонь. Разговоръ какъ-то вообще плохо вязался, и всѣ были болѣе обыкновеннаго задумчивы. Можно было сразу догадаться, что всѣ думали о Москвѣ.

— Что-то въ Москвѣ теперь?—не вытерпѣлъ Давыдовъ, вспомнивъ, какъ весной онъ хвастался своей кузинѣ Софи, что какъ только пошашутъ съ Наполеономъ—всѣ весной думали, что дальше Дриссы онъ не дойдетъ, что тамъ ему и капутъ такъ какъ только пошашутъ съ Наполеономъ, то онъ, Денисъ, съ своимъ другомъ Сивкой-Буркой явится къ ней, кузинѣ, въ Москву и закусятъ воспитанными ею кроликами отличнѣйшую выпивку; а вотъ тебѣ и выпивка!

— Да, поди кутать, ракальи, на нашъ счетъ!—огрызнулся, облизываясь, Бурцевъ.—Вина всѣ изъ погребовъ выглохтять, анаемы.

И опять умолкли—о Москвѣ думаютъ.

— А казаки — ишь кобылятники востропузые, какіе кострищи развели,—слышится въ сторонѣ говоръ солдатъ.—И впрямь, братцы, костры аховые... Поди небу тамъ жарко.—Гдѣ не жарко! страсть!—Ужъ и подлець-же народецъ—только охнешь.—Гдѣ не подлець! — голова народъ, умный.—Это точно—на все скоропостижный. — Да это, братцы, не казаки.—Какъ не казаки?—Казаки не тамъ—ихъ биваки вонъ гдѣ.—И то правда... Что-жъ это, братцы? гдѣ это огонь?—Да это бытъа въ Москвѣ—мы оттолѣ шли.—Точно оттолѣ... это, братецъ ты мой, горить.—Ой-ли! а и точно, что горить... Ишь, полымя... Это не костры... — Не костры и есть—это пожаръ...

Послышалось: „Москва горить“. Всѣ поднялись на ноги. „Москва горить“, повторяли голоса то тамъ, то здѣсь. Иные испуганно крестились.

„Москва горить“, послышалось и среди офицеровъ. Вѣсть эта пронеслась по всему стану.

Дѣйствительно, сѣверная окраина ночного неба багровѣла, словно изъ-подъ горизонта выползли огненные тучи и тихо, зловѣще плыли на востокъ. У подножія этихъ огненныхъ облаковъ вздымались иногда отдѣльныя багровыя тучки среди какъ-бы горящаго дыма, и пламя это передавалось верхнимъ облакамъ, двигавшимся по небу, такъ что, казалось, пожаръ переходилъ отъ земли къ небу и само небо воспламенялось и горѣло. Масса огня, хотя далекаго, была такъ велика, что раскинула багровый свѣтъ на десятки верстъ, освѣтила весь необозримый станъ русской арміи и окружающіе его предметы; горѣли недоумѣвающія и испуганныя лица солдатъ и офицеровъ; фосфорическимъ свѣтомъ искрились лошадиныя гривы и волосатыя съ настороженными ушами морды; искрились краснымъ свѣтомъ группы ружей и штыковъ, поставленныхъ въ козлы; красный свѣтъ скользилъ по холоднымъ дуламъ орудій; яркочернымъ заревомъ горѣли вершины лѣса, съ котораго осень уже срывала листья или окрашивала ихъ въ блѣдныя, чахоточныя краски. Отъ этой массы далекаго свѣта поблѣднѣли и какъ-бы сузились въ объемѣ огни костровъ, а въ сосѣднихъ ку-

стахъ и за спиною каждого солдата темень стала еще непрогляднѣе. То тамъ, то здѣсь изумленно ржали лошади.

„Москва горитъ“, нервно дрожаль голосъ то въ одной, то въ другой группѣ.

Дурова видѣла, какъ Жуковскій дрожавшими руками теребилъ свою ополченскую шапку, которую онъ невольно снялъ, какъ передъ образомъ или проносимымъ мимо покойникомъ. И Дуровой показалось, что дѣйствительно несутъ покойника. Съ дрожью въ тѣлѣ она перекрестилась на зарево, какъ крестились и многіе солдаты. У Фигнера безстрастное лицо дергалось судорогой.

Въ это время на дорогѣ, около которой стояла Дурова съ другими офицерами, показались два всадника, освѣщаемые багровымъ заревомъ. Дурова узнала Кутузова и Коновницына. Багровое полыми такъ освѣщало ожирѣвшее лицо перваго, что, казалось, щеки старика горѣли... Онъ ѣхаль какъ-бы ничего не видя кромѣ этого зарева, и вдругъ остановился. Передъ нимъ вытянулся кто-то, отдавая честь: то былъ Фигнеръ. Онъ говорилъ что-то Кутузову, но такое, чего старикъ, казалось не понималъ, и иногда взглядывалъ то на Коновницына, то на говорившаго вопрошающими глазами. Фигнеръ показывалъ на зарево.

— Хорошо, голубчикъ, — явственно послышались слова Кутузова: — зайди ко мнѣ пораньше.

Во всемъ станѣ въ эту ночь никто не спалъ. Заснули только тогда, когда поблѣвшій востокъ заставилъ поблѣднѣть зарево, которое все болѣе и болѣе затухевывалось клубами дыма. Потемнѣли и красныя всю ночь облака.

Черезъ день послѣ этого, утромъ, когда солнце только что разогнало туманъ, а придорожная, большею частью помятая и вытопанная зелень блестѣла каплями росы, къ Москвѣ по рязанской дорогѣ подъѣзжали двѣ телѣги, на каждой изъ коихъ, на переднемъ облучкѣ, сидѣло по мужику. По всему видно было, что мужики ѣхали на базаръ, потому что передняя телѣга, которою правилъ сѣдой старикъ въ бараньей шапкѣ, вся наполнена была мѣшками съ картофелемъ, рѣпой и морковью, а въ задней, на которой сидѣлъ молодой человекъ или скорѣе мужикъ среднихъ лѣтъ въ гречушникѣ, видны были мѣшки съ мукою. Задній мужикъ въ гречушникѣ и въ драпомъ бараньемъ полушубкѣ смотрѣлъ мельникомъ, потому что онъ былъ весь въ мукѣ, начиная съ верхушки гречушника и кончая истоптанными лаптами: мукою было выпачкано и лицо, и брови, изъ-подъ которыхъ свѣтились сѣрые плутоватыя глазки, и рукавицы, которыя по своей необычайной величинѣ повидимому не держались у него на рукахъ.

Только кого же могло въ такое время понести въ Москву на базаръ, если только не дозарѣзная нужда выгнала изъ села въ несчастный городъ, который видимо, на глазахъ у всѣхъ, горѣлъ вотъ уже вторыя сутки? И мужики замѣтно поражены были картиной, которая имъ представлялась. Изъ-за почти сплошного пламени торчали только церкви, да мрачныя

стѣны Кремля, тоже закоптѣвшія отъ дыма. То тамъ, то здѣсь, вмѣстѣ съ черными клубами дыма взлетали къ небу огненные столбы, брызжущіе искрами, словно тысячами ракетъ: это обрушивались стѣны домовъ, изъ которыхъ, когда разгоняло дымъ и пламя, высывались черные великаны-трубы и словно-бы съ жалобой тянулись къ небу. Въ иныхъ мѣстахъ слабо дымилося; видно, огню тамъ уже нечего было дѣлать-- все горячее было съѣдено и вылизано огненными языками.

Чѣмъ ближе мужики подъѣзжали къ городу, тѣмъ чаще видѣлись то тамъ, то здѣсь невиданные люди въ невиданныхъ одѣяніяхъ, то пѣшіе, то конные. У Яузскаго моста мужики были замѣчены часовыми и остановлены.

— *Qui vive!*—послышался какой-то птичій окликъ.

Передній мужикъ снялъ шапку и низко поклонился. Одинъ изъ часовыхъ подошелъ къ телѣгѣ и сталъ осматривать ее, а потомъ весело взглянулъ на старика.

— На базаръ, батюшка кавалеръ, ѣдемъ: картошку веземъ продавать, рѣпку, морковку, да вонъ мучицы,—говорилъ мужикъ, моргая и учащенно кланяясь.

Французъ, взглянувъ въ лицо старика, добродушно расхохотался: должно быть ужъ слишкомъ забавнымъ показался ему этотъ московскій старый медвѣдь. Но смѣшливый французъ разразился еще болѣе неудержимымъ смѣхомъ, когда къ нему, тоже кланяясь, подошелъ задній мужикъ, испачканный мукою до самыхъ глазъ.

— *Oh, quel monstre, sapristie!*—такъ и схватился французъ за бока.

А мужики все кланялись.

— Пропустите, кавалеры, дайте квитокъ, сдѣлайте Божескую милость...—и мужикъ показывалъ на ладони, какой ему „квитокъ“ дать.—Вумажку эдаку—ярлычокъ.

— *Que ça—irlichoque—ir-li-choque?*

— Ярлычекъ, батюшка... квитокъ...

— *Kui-toque? oh!*

И французъ снова расхохотался, толкнувъ добродушно мужика въ плечо и показавъ рукой, что они-де свободно могутъ ѣхать въ городъ, что имъ даже будутъ тамъ очень рады, какъ гостямъ, да еще съ съѣстными припасами.

Мужики еще ниже поклонились и, не надѣвая шапокъ, тронули свои телѣги и поплелись рядомъ съ ними.

— Ахъ, сволочь!—не вытерпѣлъ молодой мужикъ, когда уже не стало видно французовъ, и лицо мужика приняло серьезное выраженіе, сѣрые глаза блеснули фосфорическимъ свѣтомъ, какъ у кошки.

А старикъ, глядя на горящій городъ, жалобно качалъ головой и крестился на церкви. Цѣлые кварталы стояли испепеленными и только слабо дымили; другіе-же были обѣяты пламенемъ. Чѣмъ ближе мужики подъѣзжали къ пожару, тѣмъ явственнѣе становилось имъ, что французы старались остановить разливающееся пламя. Цѣлые взводы окружали иные

богатые дома и энергически отстаивали их от пожирающей соседние дома стихии. Но в то же время нельзя было не замечать, что по глухим переулкам и закоулкам шель грабеж: то француз юркнет в калитку уцѣлѣвшаго дома при стукѣ колесъ, то русскій оборвышъ прячется гдѣ-нибудь съ добычей за полуобгорѣлымъ заборомъ. Со всѣхъ сторонъ несло гарью. Гулъ стоялъ надъ городомъ ужасный. Испуганная и голодная птица, голуби, галки, воробьи, потерявъ свои пристанища, метались въ воздухѣ съ крикомъ и еще болѣе дѣлали страшною, пугающею взоръ и воображеніе картину разрушенія.

Скоро телѣги повернули въ уцѣлѣвшій отъ огня переулокъ и остановились у воротъ одного невысокаго каменнаго одноэтажнаго домика съ садикомъ. Окна дома были закрыты ставнями, ворота заперты.

Младшій мужикъ постучалъ кнутовищемъ въ калитку. На дворѣ лаяла собака, какъ-то робко, испуганно. На стукъ никто не откликался. Мужикъ постучалъ еще сильнѣе, позвенѣлъ въ щеколду. Нѣтъ отклика. Собака лаяла пуще прежняго.

— Михай! а Михай! ты гдѣ?—закричалъ мужикъ.

— Кто тамъ? — отвѣчали со двора, и слышались шаги къ калиткѣ.

— Отопри, Михеюшка, свои—не злодѣи.

— Охъ, Владычица! кажись, голосъ бариновъ,—испуганно заговорили со двора.

Завизжалъ засовъ. Звякнула щеколда, и калитка отворилась. Въ калиткѣ показалась лысая голова старика, въ казакинѣ стариннаго покроя, съ сморщеннымъ лицомъ и давно небритымъ, щетицистымъ, подбородкомъ. Увидавъ мужиковъ, щетинистый подбородокъ съ испугомъ отступилъ назадъ.

— Охъ, батюшки!.. а мнѣ послышалось...

— А, не узналъ, старина!—сказалъ улыбаясь младшій мужикъ.—Это я въ маскарадѣ собрался.

Щетинистая борода всплеснула руками.

— Батюшка баринъ! Охъ, Владычица! что съ вами!

— Ничего, Михеюшка, какъ видишь: пріѣхалъ къ вамъ въ гости — пускай на постой.

Михеюшка засуетился, торопливо, спотыкаясь и ахая, отворилъ ворота, самъ ввелъ во дворъ телѣги, и, обращаясь къ старому мужику, наивно спросилъ:

— И вы тоже баринъ будете?

— Нѣтъ, милый человекъ, мы господски,—отвѣчалъ старикъ.

— Ну что, Михеюшка, вашъ дворъ Богъ помиловать?—спросилъ тотъ, кого называли бариномъ.

— Помиловалъ, батюшка баринъ; весь нашъ порядокъ, надо благодарить Бога, уцѣлѣлъ.

Отъ изумленія и неожиданности Михай казался совсѣмъ растеряннымъ и въ то-же время, казалось, радовался, что среди ужасовъ и разрушенія

идать живых соотечественниковъ. Онъ топтался около того, кого называли баринномъ, заглядывалъ ему въ глаза, улыбался.

— Ужъ и чудно-же вы, баринъ, нарядились: изъ себя какъ-будто вы мельникъ.

— Точно мельникъ—крупы привезъ злодѣямъ на кашу. Только вотъ что, Михеюшка: возьми ты вонъ тамъ подъ сѣномъ мѣшокъ и принеси его въ комнаты. Пора мнѣ перестать быть мельникомъ: скорѣй хочу кашу заварить.

Михей досталъ изъ-подъ сѣна чистый мѣшокъ, не запачканный мучною пылью, и принесъ въ домъ. За нимъ послѣдовалъ и таинственный мельникъ. Михей скоро вернулся изъ дому на дворъ и вмѣстѣ съ прѣхавшимъ старикомъ занялся уборкою и кормомъ лошадей, которыя были поставлены въ пустую конюшню, а телеги—въ каретный сарай, тоже почти ничего, кромѣ старыхъ дрожжекъ и городскихъ саней, въ себѣ не заключавшій.

Не далѣе какъ черезъ полчаса вышелъ изъ дому тотъ, котораго называли баринномъ. Онъ дѣйствительно смотрѣлъ теперь баринномъ и при томъ довольно франтоватымъ: синій фракъ съ золотыми пуговицами, черная пуховая шляпа, голубой галстучекъ, сиреневыя перчатки, лакированныя съ пряжками башмаки на сѣрыхъ фильдекосовыхъ чулкахъ, толстая трость съ серебрянымъ набалдашникомъ, на рукѣ плащъ; но еслибъ кто-нибудь засунулъ руку въ карманъ плаща, то ощущалъ-бы тамъ увѣсистый шестиствольный пистолетъ, а если бы повернулъ набалдашникъ у трости и потянулъ его вверхъ, то вынулъ-бы изъ сердцевины палки блестящій, трехгранный стилетъ, достаточно длинный, чтобы проколоть насквозь хотя-бы такое раздробившее тѣло, какъ круглое тѣлце человѣка съ единственною въ мірѣ по своему фасону шляпою на головѣ,—все это такъ и отдавало шикомъ французскаго щеголеватаго комми съ Кузнецкаго моста или изъ Гороховой. Только въ глазахъ у него сидѣлъ не комми, а что-то другое...

Сказавъ Михею и старику, чтобъ его не ждали, таинственный комми вышелъ за ворота. Онъ разными переулками вышелъ на Тверской бульваръ и направился къ тѣмъ кварталамъ, которыхъ не коснулся пожаръ. Видно было, что Москва ему была хорошо знакома. Иногда онъ останавливался передъ какимъ-нибудь сгорѣвшимъ зданіемъ, задумчиво глядѣлъ на его остатки, осматривалъ окрестности и шелъ далѣе. Какъ ни безпечна казалась его наружность, но въ глазахъ его блескъ нехорошій фосфорическій свѣтъ. Поровнявшись съ увѣлѣвшими кварталами, онъ остановился противъ одного дома, взглянулъ на вывѣску парикмахера и улыбнулся. Вывѣска гласила: „Louis de-Коко, coiffeur de Paris“.

На крыльцѣ парикмахерской стоялъ самъ Коко, завитый и разряженный, и смотрѣлъ на дымившійся вдали городъ. Таинственный комми подошелъ къ нему и раскланялся.

— Bonjour, monsieur de-Коко, (на де сдѣлано было особенно вѣжливое удареніе).

Мосе Коко радостно встрепенулся, отвѣтилъ еще болѣе любезнымъ

гортанимъ привѣтомъ и выразилъ живѣйшее желаніе знать, съ кѣмъ онъ имѣетъ честь говорить.

Щеголеватый прищелецъ назвалъ себя перчаточникомъ Фроманто изъ Петербурга, сказалъ, что только вчера пріѣхалъ въ Москву съ своимъ товаромъ, что никого здѣсь не знаетъ, но что отъ всѣхъ слышалъ, какимъ заслуженнымъ почетомъ пользуется здѣсь во всей Москвѣ и особенно среди своихъ соотечественниковъ и покорителей этой варварской Московіи онъ, мосье де-Коко, и потому счелъ первымъ долгомъ явиться къ нему, чтобъ засвидѣтельствовать ему свое удивленіе и просить его высокаго покровительства.

Мосье Коко окончательно растаялъ, принялъ любезно-пѣтушиную позу, милостиво жалъ мосье Фроманто руку, говорилъ, что радъ оказать ему свое скромное покровительство, что хотя онъ не желалъ-бы хвастаться передъ своимъ соотечественникомъ, но не можетъ въ то-же время скрыть, что когда его императорское величество, непобѣдимый повелитель всего міра, побѣдоносно въѣзжалъ въ Москву, то на его, мосье де-Коко, долю выпало величайшее счастье и можно сказать историческое призваніе — явиться во главѣ депутаціи, которая повергала къ ногамъ величайшаго человѣка древнюю столицу московитовъ и свои вѣрноподданическія чувства. При этомъ мосье Коко прибавилъ, что его величество изволилъ милостиво подать ему, мосье де-Коко, руку и удостоить лестными словами, какъ представителя Москвы.

Догадливый читатель, а еще болѣе догадливая читательница безъ сомнѣнія давно узнали въ неуклюжемъ и смѣшномъ мельникѣ, а теперь щеголеватомъ перчаточникѣ Фроманто—старого знакомаго, страшнаго партизана Фигнера, котораго когда-то вмѣстѣ съ Давыдовымъ и Бурцевымъ не рѣдко брилъ и завивалъ мосье де-Коко, а теперь, ослѣпленный своимъ величіемъ и милостями великаго Наполеона, не узналъ.

Оставимъ, однако, Фигнера съ его таинственными замыслами въ Москвѣ и посмотримъ, что дѣлаютъ тѣ, которыхъ мы давно не видали, увлеченные общимъ ходомъ роковыхъ событій „двѣнадцатаго года“.

XVI.

Мерзляковы оставили Москву только наканунѣ прихода въ нее французовъ. Оставались они въ Москвѣ такъ долго по разнымъ причинамъ. Ириша, которая, какъ говорится, могла вить изъ мягкаго дяди веревки, упорно отказывалась покинуть Москву, поддерживаемая тайною надеждою, что наши войска, отразивъ „злодѣя“, воротятся въ столицу, а вмѣстѣ съ ними прибудетъ и тотъ, чье имя, вырѣзанное въ саду на корѣ березы, давно потрескалось и расплзлось отъ пятилѣтняго роста дерева, такъ расплзлось, что буква К—Константинъ, Костя, превратилась въ какого-то паука, а изъ буквы И—Истоминъ, вышли не то грабли, не то Маврины руки. Каждый день Ириша томилась ожиданіемъ и все грустнѣе и грустнѣе ей было глядѣть на исковерканныя временемъ буквы его имени, а о слѣдахъ на пескѣ, въ той сиреневой аллеякѣ, и думать было нечего.

Даже та прядь ея „русявенькой съ краснеюй“ косы, которую она такъ усердно отхватила для него и которая когда-то спасла его отъ пули, давно отросла и сравнялась со всею остальною косою, да чуть-ли и не длиннѣе ея стала.

И самъ бакалавръ тоже неохотно собирался покинуть Москву, потому что хотя у него и не оставалось никакихъ буквъ на березѣ, однако онъ все надѣялся, что Хомутовы воротятся изъ Петербурга и онъ увидить свою... При этомъ Мерзляковъ досадливо махалъ рукой и тихо затыгивалъ „среди долины ровныя...“

Наконецъ, судя по афишамъ Ростопчина, что Москвѣ не одобровать, они рѣшились уѣхать въ Авдотьино, тѣмъ болѣе, что старикъ Новиковъ давно ждалъ ихъ къ себѣ и извѣщалъ, что Иришинымъ ручкамъ предстоятъ не мало работы въ уходѣ за ранеными, которыми наполнена была не только его усадьба, но и все Авдотьино. Мавра наотрѣзъ отказалась покинуть свои ухваты, горшки, сковородки и прочія сокровища своихъ владѣній, увѣряя, что она „ихъ приметъ ухватомъ по-русски“. Ямщикъ былъ тотъ-же, который возилъ ихъ въ Авдотьино пять лѣтъ тому назадъ, и все также называлъ своихъ лошадей то „мухова кума“, то „боговы“, но только онъ уже не пѣлъ дорогой: „что ты тра... что ты тра... что ты трааа-вонька...“ О „фараонѣ“ же съ рыбьимъ плесомъ разспрашивалъ всю дорогу, тѣмъ особенно заинтересовалъ старушку, мать бакалавра, которая по-прежнему любила все „божественское“ и чудесное, и только о томъ сожалѣла, что нѣтъ съ ней теперь ея любимой странницы Авдѣвны.

Чѣмъ ближе подъѣзжали къ Авдотьину, тѣмъ болѣе Ириша чувствовала, что ея овладѣваетъ безпокойство. Конечно, это происходило отъ сознанія того, что она скоро увидить раненныхъ: съ одной стороны ей представлялось ужаснымъ видѣть страданія больныхъ; съ другой—она чувствовала, что каждого раненаго она будетъ отождествлять съ тѣмъ, кого она и въ Москвѣ ждала напрасно и образъ котораго мучительно наполнялъ всю ея молодую жизнь. И вдругъ—вѣдь все можетъ быть—и при этомъ лицѣ ея то блѣднѣло, то вспыхивало—вдругъ между ранеными, среди страданій и горя, она увидить его! При этомъ пальцы ея холодѣли, а въ виски стучало молотками.

Но вотъ и плотина, гдѣ дѣдушка Новиковъ змѣю дразнилъ, а она „клевала“ его въ палку. Вонъ и прудъ, въ которомъ жили ученики Новикова—караси да окуни, наученные имъ по часамъ кушать и узнававшіе его въ лицо. Вонъ и пчельникъ виднѣтся, гдѣ она когда-то ночью подслушивала, какъ плачетъ пчелиная матка. А вонъ и усадьба. На дворѣ виднѣются двѣ фигуры... Такъ и есть!—это самъ Николай Ивановичъ съ корзиною въ рукахъ, а за нимъ его „правая рука“—бѣловолосый Микитейка, который уже вытянулся въ порядочнаго царя... Неужели они опять идутъ кормить рыбъ?—Нѣтъ, онъ шелъ навѣщать своихъ больныхъ и доставить каждому изъ нихъ либо лѣкарство, либо чего кисленькаго, либо чего сладенькаго—выздоровливающимъ, а Микитейка тащилъ за нимъ кое-какіе необходимые припасы.

Старикъ очень обрадовался, увидавъ прїѣзжихъ. За пять лѣтъ онъ еще постарѣлъ и сгорбился. Бѣлая борода сдѣлалась, казалось, еще мягче, еще какъ-бы красивѣе, хотя приняла отчасти цвѣтъ волосъ Микитейки. Особенно старикъ былъ радъ Иришѣ: видъ постоянного страданія больныхъ, разговоры съ докторомъ то о безнадежности одного, то объ ухудшеніи положенія другого, приготовленія къ похоронамъ третьяго, и смерть, кругомъ смерть — все это такъ истомило его душу, что старикъ искалъ присутствія дѣтей какъ цѣлительнаго лѣкарства; если-бъ не тяжелый долгъ, который онъ самъ на себя наложилъ, онъ цѣлые дни проводилъ-бы съ деревенскими дѣтьми, смотрѣлъ-бы на ихъ игры въ лошади, самъ-бы, казалось, готовъ былъ играть съ ними, потому что только въ нихъ, въ глупыхъ дѣтяхъ, онъ видѣлъ непочатый уголъ того счастья, того блаженнаго невѣдѣнія, которое люди сами у себя отнимаютъ вмѣстѣ съ чистотою дѣтства. Такою чистотою невѣдѣнія, казалось ему, свѣтились глаза Ириши, когда она, обнявъ его и глядя рукою его шелковую, холодную словно серебро (на дворѣ стояло свѣжо) бороду, ласково говорила: „ахъ, дѣдушка, какъ я соскучилась объ вашихъ глазахъ — какіе у васъ глаза добрые!“ А его глаза въ это время свѣтились такою нѣжностью, что готовы были, кажется, расплакаться... Вотъ гдѣ, вотъ на чьемъ невинномъ лицѣ онъ можетъ успокоить свою усталую мысль и свое упавшее воображеніе, переполненное картинами страданій и смерти.

Когда Мерзляковъ заговорилъ о Москвѣ, о томъ, что ее, вѣроятно, мы потеряемъ, что это будетъ величайшее несчастье, старикъ горячо прервалъ его.

— Вы всѣ тамъ изростопчинились и потеряли головы! Ростопчинъ всѣхъ васъ съ ума свелъ — станьте-де всѣ разбойниками и деритесь съ разбойниками; да этакъ люди-бы совсѣмъ загрызли другъ-друга... Вы говорите, что потеря Москвы—величайшее несчастье, а я утверждаю, государь мой, что это—величайшее счастье и спасеніе Россіи. Я сначала думалъ, когда Кутузова назначили главнокомандующимъ, что онъ пойметъ это—вѣдь онъ человѣкъ старый, почти мнѣ ровесникъ: мнѣ—шестьдесятъ девятый, а ему шестьдесятъ восьмой, — такъ думалъ, что пойметъ; а онъ не понялъ и вступилъ съ Наполеономъ въ битву при Бородинѣ... Не трогай онъ Наполеона, не показываясь ему даже на глаза съ своей арміей, отдай ему безъ выстрѣла Москву—и тогда Наполеонъ пропалъ-бы.

И Мерзляковъ, и Ириша смотрѣли на него съ недоумѣніемъ. Мерзляковъ, впрочемъ, зналъ своего друга, зналъ его оригинальный, самостоятельный взглядъ на всѣ явленія жизни, взглядъ, всегда противоположный ходячей, обыденной философіи вѣка, — и ждалъ разъясненія.

— Васъ удивляютъ мои слова, — продолжалъ тотъ задумчиво: — да, они странны. Но я повторяю: я признаю Кутузова гениальнымъ полководцемъ и философомъ вѣка, если онъ безъ бою сдастъ Москву. Я-бы на мѣстѣ Кутузова не далъ-бы ему ни одного сраженія, я-бы не пожертвовалъ для него ни однимъ солдатомъ, и онъ все-таки остался-бы въ ду-

ракашъ. И бы принялъ такую тактику: тотъ за мной — я отъ него; тотъ хочетъ идти Москву бери, а самъ я уйду дальше, положимъ къ Твери. Онъ сократился сдѣлать въ Москвѣ, и опять за мной, а я опять отъ него... Тотъ замочекъ въ Петербургъ — жди, я же удерживаю; но въ Петербургъ онъ уже самъ он же уйдетъ за мной. Вы спросите, почему? — А вотъ почему, государи мои. Когда въ Наполеонъ сидѣлъ въ Москвѣ, дожидаясь какъ войтъ въ Россию и мира, онъ-бы все съѣлъ вокругъ себя; а когда онъ не было ни одного мужичокъ-бы не повезъ туда ничего, да и тогда... Государи мои: Наполеону стало кушать нечего и тогда онъ уѣхалъ изъ Франціи ни сѣна, ни овса, ни французской рожь не привезъ, вотъ какъ нечего-бы стало кушать, онъ-бы опять пошелъ за мной; а я, знамо дѣло, идучи отъ него, утекая, всё корма воровалъ, а знаю, и овесъ, и хлѣбъ, а скотину мужикъ угналъ далеко, такъ же у него же съѣлъ съ солдатикомъ... И я-бы Наполеона измощилъ, это самая лучшая военная тактика. А то — Господи Боже мой, сколько молодыхъ жизней погибло!

Старикъ остановился; у него блеснули слезы на глазахъ. Ириша въ слезы потрусовала ему, и бросилась къ нему на шею... „Дѣдушка! вы смейтесь!“ шептала она, ласкаясь къ нему. Старикъ нѣжно улыбнулся.

Ахъ ты моя сладкая! ахъ ты моя чистая! — говорилъ онъ дрожащею голосомъ. Да, за всю Москву я-бы не отдалъ жизни одной роты, не пожертвовалъ-бы десятью сыновьями бѣдныхъ матерей, десятью женами идущихъ дѣвушекъ, потому что все равно, рано ли, поздно ли, Наполеонъ погибнетъ со всею своею арміею. Москву если-бъ онъ и взялъ у насъ, то долго не удержалъ бы: повторяю — его великая армія умерла-бы съ голоду. Одно зло, которое онъ можетъ сдѣлать — это разрушить Москву. Но это въ большомъ горе, но все-же меньшее, тѣмъ если-бы мы защищали ее съ оружіемъ въ рукахъ. Разрушенную Москву мы можемъ опять построить, а погибшихъ человѣческихъ жизней не воротимъ... Я долго об этомъ думаю, государи мои, и умру съ этимъ убѣжденіемъ.

Въ это время на дворъ въѣхала телѣга, запряженная парой. Лошади какъ омы въ мыль и тяжело дышали. Изъ телѣги вышелъ средних лѣтъ мужчина, не то приказный, не то военный писарь.

Что, Ардунинъ, — спросилъ Новиковъ: — ты, кажется, очень торопишься? Вонъ лошади какъ упарились.

Ахъ, батюшка, Николай Ивановичъ! въ Москвѣ несчастье! не успѣлъ я ни лѣкарствъ, ни инструментовъ купить — насиду самъ ноги унесъ.

Что случилось? — тревожно спросилъ Новиковъ.

Москву злодѣи взяли...

Какъ!.. было сраженіе?

Нѣтъ, такъ наши бѣжали... всё ругаютъ Кутузова: отъ старости, говорить, отъ своей испужался злодѣевъ.

Новиковъ всталъ (они сидѣли на крыльцѣ), снялъ шапку и набожно перекрестился.

— Слава Тебѣ, Боже великій и милостивый!—мы спасены, Россія восторжествовала... Теперь я вижу, что Кутузовъ—геніальный полководецъ.

Ардунинъ—онъ былъ фельдшеръ—смотрѣлъ на старика глубоко изумленными глазами.

— Такъ поди и доложи Петру Андренчу, что ты воротился ни съ чѣмъ... Надо будетъ спосылать въ Рязань,—говорилъ старикъ, что-то обдумывая.—Да, въ Рязань... Вотъ, други мои, что случилось... Слава Богу, слава Богу!..

Фельдшеръ прошелъ въ домъ. Тамъ лежали больные и раненые.

— Только при больныхъ не говори о сдачѣ Москвы,—предупредилъ его старикъ:—вызови Петра Андренча и скажи тихонько.

Скоро и самъ онъ съ своими гостями, съ Мерзляковымъ и Иришей—старуха Мерзлякова ушла къ попадѣ—вошелъ въ домъ. Въ залѣ поставлено было шесть кроватей, но Иришѣ показалось ихъ несчетное множество: у нея въ глазахъ помутилось при видѣ этихъ бѣлыхъ простынь, бѣлыхъ подушекъ и лежащихъ на нихъ, вытнутыхъ и блѣдныхъ, бѣлыхъ людей—точно все это саваны и мертвецы... У Ириши и руки похолодѣли, и сердце, казалось, остановилось...

Но скоро Ириша разглядѣла, что около одной кровати что-то дѣлалъ какой-то курчавый, большоголовый человѣкъ, который, увидавъ Новикова, весело его встрѣтилъ. Веселость такъ и играла на лицѣ и въ глазахъ молодого человѣка. Казалось, онъ находился въ самомъ пріятномъ мѣстѣ. Бѣлые зубы его такъ и свѣтились изъ-подъ улыбающихся губъ.

— Ну что—какъ у васъ?—спросилъ Новиковъ.

— Отлично, Николай Ивановичъ, всѣ молодцами смотреть, — громко и весело отвѣчалъ молодой человѣкъ.

— Спасибо, мой другъ; вы просто—золото.

— Только вотъ сей юный Марсъ начинаетъ капризничать, — продолжалъ молодой докторъ, указывая на блѣдное, добродушное лицо юноши, лежавшее на подушкѣ:—не ѣсть кашки—сладенькаго захотѣлъ.

— Я и сладенькаго принесъ, — отвѣчалъ Новиковъ, вынимая изъ корзинки банку съ вареньемъ.

Ириша начала приходить въ себя отъ симпатичнаго, повидимому беззаботнаго голоса юнаго эскулапа. Она съ участіемъ взглянула въ лицо больного, выпѣтшее отъ долгаго лежанья, и какъ-бы безкровное. Тотъ тоже не спускалъ съ нея глазъ.

— Что у него?—тихонько спросила она у Новикова.

— Ножку отпилили... подъ Смоленскомъ еще...

У Ириши точно кто рукой сдвинулъ сердце. Такой молоденькій—и уже безъ ноги!.. Она стояла спиной къ другимъ кроватямъ и не видала, какъ на слѣдующей койкѣ полнолицая Сиклитинья, въ качествѣ сестры милосердія, повязанная бѣлымъ платочкомъ, пухлыми, засученными выше локтей руками кормила чѣмъ-то изъ ложки другого больного.

Это былъ плечистый мужчина, съ широкимъ и, казалось, упрямымъ,

какъ обухъ, лбомъ, съ широкими костлявыми скулами, съ круглыми, нависающими, мягкими глазами и смуглымъ лицомъ. Высокая, покрытая черными волосами грудь виднѣлась изъ-за растегнувшейся бѣлой рубашки и тамъ-же, на смуглой груди, блестѣлъ образокъ на розовомъ гайтанѣ. На столикѣ, стоявшемъ у самой койки, лежали и искрились два бѣленькихъ крестика—два Георгія, повидимому ни разу не надѣванные.

Когда Ириша обернулась вмѣстѣ съ прочими къ этому больному, Сиклитинья какъ-разъ въ этотъ моментъ подносила къ его рту ложку съ кашкой. Глаза больного точно брызнули свѣтомъ, и самъ онъ весь задрожалъ, поднимаясь на подушкѣ и протягивая обѣ руки, которыя обѣ... были отрѣзаны по локоть!.. Но несчастная дѣвушка не замѣтила этого: — она увидала лицо, голову, глаза—и, вскрикнувъ, задыхаясь, бросилась къ койкѣ.

— Ирина Владиміровна!

— Константинъ...

Дѣвушка увидѣла руки—не руки, а колодки... Несчастная припала къ раненому, тотъ обхватилъ ее ужасными колодками, сился объять и прижать къ себѣ... Ноги дѣвушки подкосились, она сползала съ койки все ниже и ниже—и грохнулась на полъ... Голова раненаго также завалилась на ту сторону койки, и колодки упали вдоль тѣла...

— Проклятіе!—невольно вырвалось у Новикова.

Мерзляковъ и Сиклитинья возились около безчувственной Ирины.

— Се есть носопихательное вещество, изящнаго вкуса фруфта.

— Да ты, чертова перешница, разводи не разводи, а дай понюхать.

— И сидить въ ней бобокъ—веселить онъ глазокъ...

— Тыфу ты, дьяволъ!

— На-на! жри!

И Кузька Цидеро, въ ополченскомъ кафтанѣ и съ мѣднымъ крестомъ на шапкѣ, пощелкавъ указательнымъ пальцемъ въ ирышку тавлинки, подалъ ее старому Пуду Пудычу.

— Съ бобкомъ, дядя московской.

— И не жисть, братецъ ты мой, а масляница.

— Привезли это намъ картошки—ужъ и ядреная-же, братецъ ты мой.

— Только этотъ самый Фигневъ и нарядись истопникомъ, да, значить, къ ему къ самому во дворецъ, къ Напаліону... Вотъ и сталъ у ево печки топить это, ну и топить кажинъ тебѣ день, а самъ наровить, значить, тою, какъ-бы, значить, самово злодѣя...

— Ужъ и пройдинъ-же сынъ! а-ахъ!

Такъ отъ скуки болтали солдаты, вотъ уже сколько времени расположенные лагеремъ у Тарутина и отъ бездѣйствія успѣвшіе себѣ даже, какъ дѣти безъ игры, брюха поотростить...—„Не жисть, братецъ ты мой, а масляница!“

Дурова съ каждымъ днемъ тосковала все болѣе и болѣе, да и кругомъ была такая мертвая пустота, которую дѣвушка особенно испытывала

съ того страшнаго момента, когда послѣ бородинскаго погрома она на перевозочномъ пунктѣ застала, какъ плачущій казакъ сѣлся закрыть мертвые глаза Грекова мертвыми застывшими вѣками. Хотя дѣвушка давно присмотрѣлась къ смерти, однако послѣдняя смерть, какъ-бы загасила въ душѣ ея свѣточъ жизни, и мракъ упалъ на прошедшее и на будущее. Какая смертная тоска! какая пустота и въ душѣ, и кругомъ! Бурцевъ съ самаго начала стоянки у Тарутина пилъ безъ просыпа и на глаза не показывался Дуровой. „Дениска ушелъ куда-то разбойничать“, какъ выразился самъ Бурцевъ о своемъ другѣ. Дѣвушка стала какой-то раздражительной и изъ-за пустяковъ крупно повздорила со своимъ начальникомъ, который прикрикнулъ было даже на нее, что прикажетъ ее разстрѣлять за несоблюденіе субординаціи. Вся ея жизнь стала казаться ей ошибкой. Зачѣмъ она пла на смерть, зачѣмъ сама убивала? Часто, сидя одинокая у костра и обхвативъ руками больную ногу, она думала теперь обо всемъ этомъ. И, какъ это часто бываетъ съ людьми въ періодъ рокового, поворотнаго, такъ сказать, жизненнаго раздумья,—всѣ краски и рельефы ея жизни какъ-то передернулись, стали не на своихъ мѣстахъ: геройство утратило свою яркость, и смерть, какова-бы она ни была, явилась во всей своей мрачной наготѣ и безобразіи. Вонъ какіе славные, живые, беззаботные и добрые солдатики, когда они отдохнули, когда смерть не скачетъ по ихъ рядамъ и не стонлетъ съ ихъ лицъ вотъ эти дѣтскія улыбки. А какіе страшные и жалкіе были они тамъ, у флешей Баграціона подъ Бородинымъ, у кирпичныхъ сараевъ подъ Смоленскомъ—именно жалкіе и безумные какіе-то. Такъ думалось ей теперь, и все ярче и ярче выступали передъ ней контрасты жизни и смерти. Развѣ же можно винить Кутузова за то, что онъ не велѣлъ бросить подъ огонь ружей, нодъ огненные брызги картечи вотъ эти простодушныя лица, заливающіяся искреннимъ смѣхомъ надъ тѣмъ, какъ Жучка, вертясь у костра, ловить свой собственный хвостъ, вѣроятно кусаемый блохой? Развѣ отступленіе безъ боя отъ Москвы не великій подвигъ человѣчности?.. „Я,—говорить,—отвѣчаю за разбитые горшки“... Да, онъ за все отвѣчаетъ; но вѣдь потеря и гибель Москвы въ сравненіи съ потерей десятковъ тысячъ жизней—это, въ самомъ дѣлѣ, потеря разбитаго горшка... Онъ правъ, одинъ онъ правъ...

И дѣвушка снова почувствовала страстную нѣжность къ этому „старичку“, который въ самый опасный моментъ бородинской битвы сосалъ куриное крылышко.

— Нѣтъ! дальше отъ смерти!—вслухъ громко сказала она, и поднялась съ земли вся красная (она за блѣдностью давно уже не краснѣла).

Въ этотъ-же вечеръ она уѣхала въ главную квартиру, въ Леташевку. Кутузовъ помѣщался въ простой крестьянской избѣ. Сильно билось сердце дѣвушки, когда она, опрошенная ординарцемъ главнокомандующаго, стояла въ снѣгахъ избышки, занимаемой русскимъ полководцемъ, и ждала возврата ординарца изъ самой избышки. Но вотъ дверь отворилась—маленькая такая, черная, низенькая дверца—вышелъ ординарецъ, громко сказалъ:

„войдите“—и сердце, бившее усиленно, разом упало... Хоть бѣжать, такъ внору!.. Она переступила черезъ порогъ, ничего не видя и не помня, и остановилась какъ вкопанная: только теперь поняла она, какую дерзость сдѣлала...

— Что тебѣ надобно, другъ мой?—вдругъ прозвучалъ надъ ея ухомъ добрый старческий голосъ.

Она подняла голову; глаза ея встрѣтились съ ласковымъ глазомъ старика, все лицо котораго, казалось, говорило: „бѣдный ребенокъ! и онъ ищетъ смерти! и его не пощадили!“ Какъ очарованная, словно на образъ смотрѣла она безъ словъ на доброе лицо старика, и, вѣроятно, ея собственное лицо въ этотъ моментъ было такъ наивно, такъ дѣтски-глухо, что старикъ невольно улыбнулся.

— Что тебѣ, мой дружокъ?—сказалъ онъ еще ласковѣе, и дѣвущкѣ въ его голосѣ послышалась такая ласкающая нота, какъ-бы онъ говорилъ маленькому ребенку: „агу, агу, глупое дитяtko“.

— Я... я желалъ-бы... имѣть счастье быть ординарцемъ вашей свѣтлости во все продолженіе кампаніи и пріѣхалъ просить васъ объ этой милости,—отрапортовала она.

Вотъ тебѣ и на Старикъ еще болѣе улыбнулся...—„Ну, можно-ли сердиться на такого дурачка, можно-ли взыскивать съ этой глупой рожицы!“ говорило, казалось, старое доброе лицо... Вѣдь это совсѣмъ ребенокъ, даже усики ни однимъ волоскомъ не пробиваются, а щеки и губы—совсѣмъ какъ у дѣвочки...

— Какая-же причина такой необыкновенной просьбы (старикъ видимо даже трунилъ надъ глупой рожицей просителя), а еще болѣе способа, какимъ предлагаете ее, государь мой?

— Я!.. я не могу тамъ оставаться... меня оскорбили... меня хотѣли разстрѣлять ни за что... А я этого не заслужилъ (она захлебывалась отъ своихъ словъ)... Я родился и выросъ въ лагерѣ, я любилъ военную службу со дня моего рожденія, посвятилъ ей мою жизнь, готовъ пролить всю кровь мою, защищая пользы государя, котораго чту, какъ Бога, и имѣя такой образъ мыслей и репутацію храбраго офицера, я не заслуживаю быть угрожаемъ смертью...

Она совсѣмъ захлебнулась и покраснѣла, какъ вареный ракъ, замѣтивъ выраженіе добродушной насмѣшливости на лицѣ главнокомандующаго при словѣ „храбраго офицера“. Она спохватилась.

— Въ прусскую кампанію, ваша свѣтлость,—зачастила она,—всѣ мои начальники такъ много и такъ единодушно хвалили мою смѣлость и даже самъ Буксгевденъ называлъ ее „безпримѣрною“, что послѣ всего этого я считаю себя въ правѣ назваться храбрымъ, не опасаясь быть сочтеннымъ за самохвала. Кутузова видимо поразила эта рѣчь. Онъ даже отступилъ назадъ.

— Въ прусскую кампанію! Да развѣ вы служили тогда? Который вамъ годъ? Я полагалъ, что вамъ не больше шестнадцати.

— Нѣтъ, ваша свѣтлость, мнѣ ужъ двадцать третій годъ... Въ прусскую кампанію я служилъ въ конно-польскомъ полку.

Кутузовъ какъ-бы припоминалъ что-то. Лицо его вдругъ стало серьезно.

— Какъ ваша фамилія?—поспѣшно перемѣнилъ онъ тонъ.

— Александровъ, ваша свѣтлость.

Слова эти произвели странное дѣйствіе. Доброе лицо старика освѣтилось радостью и онъ протянулъ впередъ руки, какъ-бы желая благословить дѣвушку. Но онъ сдѣлалъ не то—онъ обнялъ ее.

— Такъ ты Александровъ!—нѣжно говорилъ онъ, заглядывая ей въ смущенное лицо и поворачивая его къ свѣту.—Такъ это вы... Какъ я радъ, что имѣю, наконецъ, удовольствіе узнать васъ лично! Я давно ужъ слышалъ объ васъ, давно... Оставайтесь у меня, если вамъ угодно; мнѣ очень пріятно будетъ доставить вамъ нѣкоторое отдохновеніе отъ тягости трудовъ военныхъ.

Онъ, отойдя отъ нея, опять подходилъ къ ней и клалъ на плечо руку, ласково оглядывая ее.

— Такъ это вы,—повторялъ онъ:—а! кто-бъ подумалъ!.. Радъ, очень радъ... А что касается до угрозы разстрѣлять васъ, то вы напрасно приняли ее такъ близко къ сердцу: это были пустяки слова, сказанныя въ досадѣ.

Онъ остановился, отошелъ, снова подошелъ, хотѣлъ что-то спросить, но, услышавъ шаги въ сѣнцахъ, остановился.

— А! Александровъ,—повторилъ онъ какъ-бы про себя.—А теперь вотъ что, дружокъ: подите къ дежурному генералу Коновницыну и скажите ему, что вы у меня безсмыннымъ ординарцемъ.

Дѣвушка брякнула шпорами, отдала честь, повернулась и пошла. Взоръ старика слѣдилъ за нею.

— Что это! вы хромаете? отчего?

Дѣвушка опять вытянулась въ струнку передъ главнокомандующимъ. Грудь ее подымалась высоко, не по-мужски, и бѣленькій Георгій трепеталъ на ней. Старикъ глядѣлъ на юнаго уланика съ нѣжностью и сожалѣніемъ.

— Вы не ранены?

— Раненъ, но легко, ваша свѣтлость: я получилъ контузію отъ ядра.

— Контузію отъ ядра! и вы не лѣчитесь! Сейчасъ скажите доктору, чтобъ осмотрѣлъ вашу ногу.

Дѣвушка сказала, что контузія очень легкая и что раненая нога почти не болитъ. „Говоря это,—пишетъ она въ своемъ дневникѣ,—я лгала: нога моя болитъ жестоко и вся багровая“.

Нѣсколько дней спустя у нея записано въ дневникѣ: „Лихорадка изнуряетъ меня. Я дрожу, какъ осиновый листъ. Меня посылаютъ двадцать разъ на день въ разные мѣста. На бѣду мою Коновницынъ вспомнилъ, что я, бывъ у него на ординацахъ, оказалась отличѣйшимъ изъ всѣхъ тогда бывшихъ при немъ. „А! здравствуйте, старый знакомый!“ сказалъ онъ, увидя меня на крыльцѣ дома, занимаемаго главнокомандующимъ, и съ того дня не было уже мнѣ покоя: куда только нужно послать скорѣе, Коновницынъ кричалъ: „уланскаго ординарца ко мнѣ!“—и бѣдный уланъ

скій ординарецъ носился, какъ блѣдный вампиръ, отъ одного полка къ другому, а иногда и изъ одного крыла арміи къ другому“.

Эта, какъ выражался Бурцевъ, „измѣна“ его Алексаша своимъ товарищамъ надѣлала таки бѣды: Бурцевъ зашилъ въ мертвую голову, бранилъ весь свѣтъ, лѣзъ къ каждому съ кулаками и вообще буянилъ такъ, что не знали даже, что съ нимъ и дѣлать. Иногда видѣли, какъ онъ издали грозилъ кулакомъ той избушкѣ, въ которой помѣщался главный штабъ, бормоча: „это они украли у насъ Алексашу“. А когда, бывало, проспится послѣ нѣсколькихъ дней безобразія, то непременно раздобудетъ гдѣ-нибудь бутылку сливокъ и смиренно тащить ее къ „подлецу Алексашѣ“.

Черезъ нѣсколько дней Кутузовъ велѣлъ позвать къ себѣ Дурову. Она вошла, звякнула шпорами и вытянулась свѣчечкой. Старикъ улыбнулся и быстро подошелъ къ ней, такъ быстро, какъ только позволяли старья, развинченныя ноги.

— Ну что, мой другъ (онъ взялъ дѣвушку за руку—рука была холодна, какъ у мертвеца)—покойнѣе у меня, чѣмъ въ полку? Отдохнулъ-ли ты? что твоя нога?

Она молчала, чувствуя, какъ холодная рука ея дрожатъ въ теплой пухлой рукѣ старика. Старикъ взялъ обѣ руки дѣвушки, какъ-бы стараясь отогрѣть ихъ въ своихъ рукахъ.

— Что-же, дружокъ, отдохнулъ?

— Нѣтъ, ваша свѣтлость: нога болитъ, каждый день у меня лихорадка... я только по привычкѣ держусь на сѣдлѣ, а силъ у меня нѣтъ и за пятилѣтняго ребенка.

— Бѣдное дитя!

Старикъ притянулъ ее къ столу и посадилъ насильно на лавку.

— Бѣдное дитя!—повторилъ онъ, качая головой: ты, въ самомъ дѣлѣ, похудѣла и ужасно блѣденъ... Это безбожно... Поѣзжай немедленно домой—отдохни тамъ, вылѣчись и пріѣзжай обратно.

И вдругъ, при этихъ словахъ, страхъ напалъ на сумасбродную дѣвушку... Бросить все, отказаться отъ того, что она лѣтѣла въ себѣ съ дѣтства, съ чѣмъ срослась, сроднилась родствомъ страданій...

— Ваша свѣтлость!—въ голосѣ ея дрожали слезы:—какъ-же я поѣду, когда ни одинъ человѣкъ теперь не оставляетъ арміи?

— Что-жъ дѣлать, дружокъ,—ты боленъ! Развѣ лучше будетъ, когда останешься гдѣ-нибудь въ лазаретѣ? Поѣзжай! Теперь мы стоимъ безъ дѣла, можетъ быть и долго еще будемъ стоять здѣсь.

Потомъ, взявъ со стола одну бумагу и ткнувъ въ нее пальцемъ, онъ какъ-то странно засмѣялся.

— Да, да, непременно уѣзжай, дружокъ!

Онъ взялъ со стола свертокъ и подалъ его дѣвушкѣ, съ любовью слѣдившей за его движеніями.

— Вотъ тебѣ деньги на дорогу—поѣзжай скорѣе... Если что нужно—пиши прямо ко мнѣ—я все сдѣлаю... Мнѣ и государь говорилъ о тебѣ...

Убѣжай-же скорѣй, а то... (старикъ нагнулся къ самому лицу дѣвушки)... Бенигсенъ донесъ государю, что мы (онъ подчеркнулъ *мы*) съ тобой тутъ сибаритничаемъ и что ты—моя любовница, переодѣтая уланомъ...

Дѣвушка вспыхнула, вскочила; глаза ея чуть не брызнули слезами.

— Да, да, донесъ государю, только не называй твоего имени, а нашъ ангелъ, государь, прислалъ этотъ гнусный доносъ ко мнѣ...

Дѣвушка не выдержала: изъ глазъ ея брызнули слезы.

— Ну полно, полно, дружокъ! — утѣшалъ ее главнокомандующій, и нѣжно, словно ребенка малаго, взялъ за подбородокъ и приподнял плачущее лицо. — Не плачь, мой другъ!.. И это воинъ! противникъ Наполеона! ахъ!

И старикъ такъ сжалъ и приподнял ея трясущійся подбородокъ, что дѣвушка невольно, сквозь слезы, улыбнулась.

— Ну такъ вотъ на-же! пусть не даромъ говорятъ, что ты моя любовница—на-же!

И онъ, не отнимая руки отъ ея подбородка, поцѣловалъ ее сначала въ губы, а потомъ въ лобъ.

— Ну, а теперь прощай, дружокъ!

Дѣвушка бросилась цѣловать его руки, и заплаканная, ничего не видя, воротилась въ штабъ, который помѣщался въ одной изъ сосѣднихъ крестьянскихъ избушекъ. На порогѣ она столкнулась съ Бурцевымъ, у котораго изъ шинельнаго кармана торчало горлышко бутылки со сливками.

— Вотъ тебѣ, Алексаша...

Дѣвушка какъ-то порывисто обняла его и снова заплакала.

— Прощай, Бурцевъ, прощай, мой добрый и честный другъ! Я ѣду домой, въ отпускъ...

Бурцевъ задрожалъ и выпустилъ изъ рукъ бутылку, которая стукнулась объ порогъ и разбилась.

Прошло еще нѣсколько дней.

Глухой осенній вечеръ въ далекомъ при-камскомъ захолустьѣ. Изъ мрака чуть выглядываетъ разбросанное по горному берегу Камы жалкое жилие. Хоть-бы фонарикъ на улицѣ! Это—Сарапулъ городъ.

Въ одномъ небольшомъ домикѣ, на берегу Камы, свѣтится огонекъ. Войдемъ туда. Огонь только въ одной комнатѣ. За столомъ сидитъ старикъ въ халатѣ и молча курить длинно-чубучную трубку: типъ стараго гусара на покой. Тутъ-же, облокотившись обоими локтями на столъ мальчикъ лѣтъ четырнадцати что-то читаетъ вслухъ: „злѣдѣи не пощадили храмовъ божіихъ...“

— А гдѣ-то теперь Надя?—обрываетъ мальчикъ чтеніе.

Старикъ молчитъ, только трубка энергически засопѣла.

— Я, папа, пойду на войну—мнѣ передъ Надей стыдно,—продолжалъ мальчикъ.

На дворѣ залаяли собаки... „Цыцъ, Валтерка!“ слышится голосъ на дворѣ.—„Арте́мъ, это ты?“—другой голосъ, знакомый. Что-то застучало въ сѣняхъ. Шаги въ залѣ—это звяканье шпоръ... „Кто-бы это?“ Кто-то уже на поро́гѣ. Свѣтъ отъ свѣчей падаетъ на лицо: это Дурова.

— Папа! милый папа!

У старика вываливается трубка изъ рукъ. Онъ вскакиваетъ блѣдный, дрожащій, и обхватываетъ дочь, повисшую у него на шеѣ.

— „Папа!..“ „Надя! Надечка!..“ „Папа мой!..“ „Ангель! дочушка!“.

Плачутъ и обнимаются, обнимаются и плачутъ... Подошелъ и мальчикъ: „и меня, Надя!“—Обнимаютъ и цѣлуютъ и его.—„Ахъ какой мундиръ! сабля! малиновые отвороты! шпоры! ахъ, Надя!“

— Господи! Казанска!.. Барышня наша!—раздается еще голосъ.

И Арте́мъ, и старая Наталья—все ахаетъ да крестится... Мальчикъ весь красный...

Старикъ отецъ отошелъ въ сторону, смотреть, молитвенно смотреть, губы его дрожать отъ счастья, нижняя челюсть трясется...

— Уланъ... офицеръ... съ Гео́ргіемъ... Господи!—бормочетъ онъ:—да что-жъ это!.. Надя! Надька! уланъ!.. да иди-жъ ты ко мнѣ на руки, какъ прежде хаживала—иди, иди, дитятко!

И онъ сѣлъ и привлекъ къ себѣ на колѣни дочь. Она утѣлась и страстно обхватила руками шею отца.

— Хорошій мой! старенькій... сѣденькій...

— Вотъ она—Надька — и въ рейтузахъ... уланъ у меня на рукахъ...

И онъ то обнималъ ее, прижималъ къ себѣ, отстранялъ отъ себя, разглядывалъ ея лицо, руки, грудь, Гео́ргія, то трогалъ ея ноги въ жесткихъ рейтузахъ и кавалерійскихъ высокихъ сапогахъ, то цѣловалъ лицо и руки, будто совсѣмъ рехнувшись отъ радости.

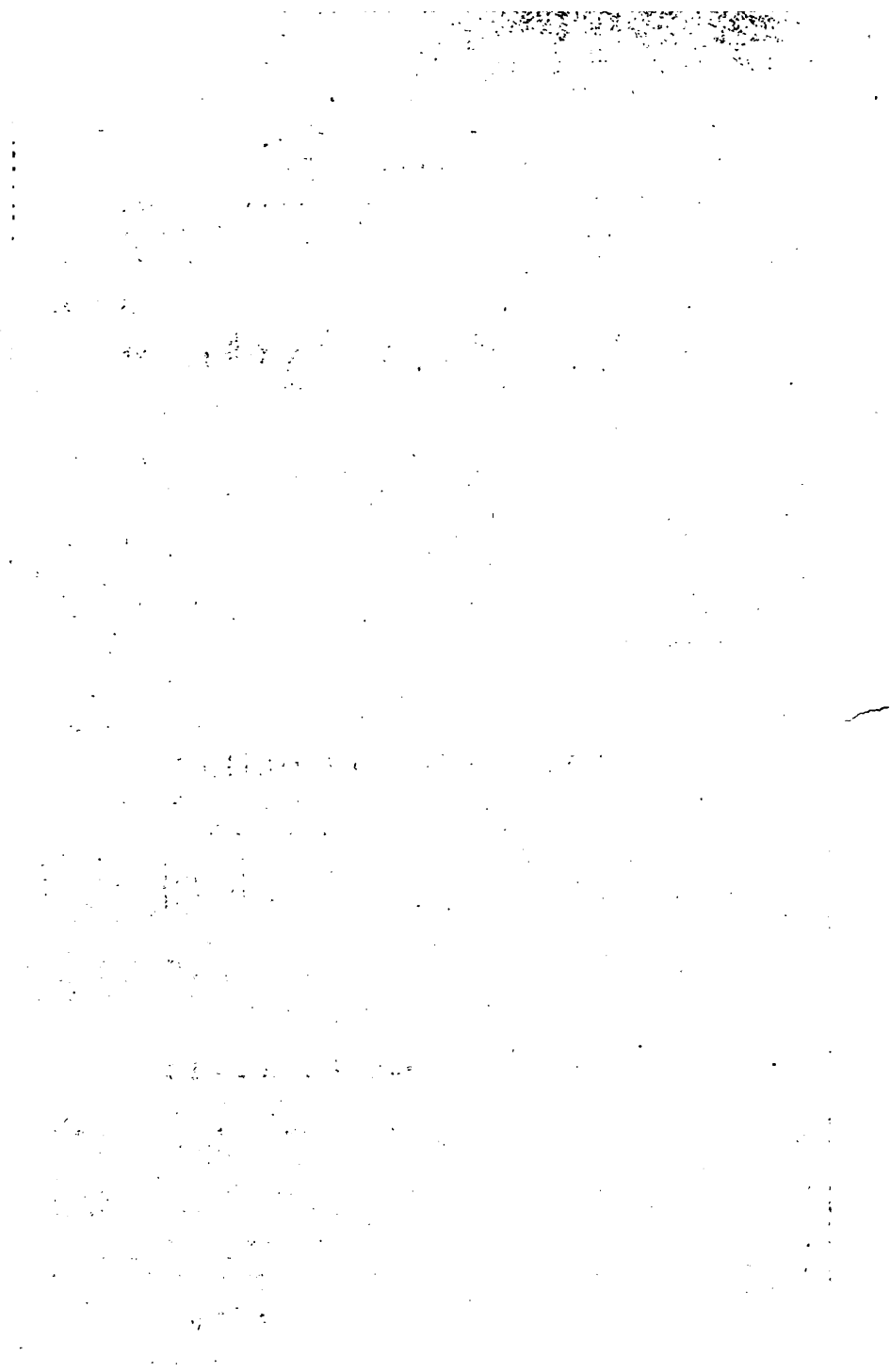
А ее капризная память переноситъ на берегъ Двины, далеко-далеко на западъ... Она такъ-же, какъ теперь здѣсь, сидитъ на колѣняхъ и обнимается и цѣлуетъ калмыковатое лицо... А потомъ это лицо—мертвое, подъ Бородинымъ, мертвые вѣки надвигаются на мертвые глаза...

Все, все невозвратное воротила шальная память — и бѣдный уланикъ, уткнувшись носомъ въ плечо отца, тихо, безутѣшно заплакалъ...

Эта-же шальная память въ одно мгновеніе поставила передъ нею кѣльныя картины пережитого, незабываемаго, забываемые образы, рѣчи. Голоса: Бородино, Москва въ пламени, плачущій Бурцевъ, милый профиль мертваго калмыковатаго лица...

— О, проклятый, проклятый годъ! — невольно вырвалось у нея изъ груди:—никогда я его не забуду!..

Не забудетъ никогда этого года и исторія — этотъ скорбный листъ хроническаго безумія человѣчества.



ОГЛАВЛЕНІЕ ПОДПИСКИ НА 1902 ГОДЪ НА

XV-ый годъ
изданія.

„СЪВЕРЪ“

XV-ый годъ
изданія.

ЕЖЕГОДНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ.

Въ 1902 году гг. подписчики «Съвера» получаютъ: 52 №№ журнала; 52 №№ газеты; 12 №№ журнала «Парисскія моды, Хозяйство и Домоводство», 12 №№ выкройки. Кроме того, на основаніи приобретеннаго отъ автора права печатанія всѣхъ вышедшихъ въ свѣтъ его произведеній, редакция дѣлаетъ въ теченіе 1902 года, въ книгахъ «Библиотека Съвера»,

24 ТОМА

СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

24 ТОМА

● Д. Л. Мордовцева, ●

ВЪ КОТОРЫХЪ ВУДУТЪ ДАНЫ:

- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| 1—„Идеалисты и реалисты“, ист. ром. | 11—„Мамево побиеніе“, ист. п. | 35—„Грустное воспоминаніе“, разск. |
| 2—„Гайдамачина“, ист. моног. | 12—„Архимандритъ-Гетманъ“, ист. пов. | 26—„Иппи пирамиды“, разск. |
| 3—„Вспышки понизовой вольницы въ 1812 г.“, истор. мат. | 13—„Лжедмитрій“, ист. ром. | 27—„Два призрака“, быль-фантазия. |
| 4—„Былый король“, ист. пов. | 13—„Свету большаго“, ист. ром. | 28—„Кто онъ?“—еванг. быль. |
| 5—„Новые люди“, повѣсть. | 15—„Воспоминанія о Шевченкѣ“, пер. съ малор. | 29—„Тысяча лѣтъ назадъ“, ист. пов. |
| 6—„Царь безъ царства“, ист. р. | 16—„Социалистъ прошла. вѣка“, ист. пов. | 30—„Помнани есте Богомъ“, истор. пов. |
| 7—„Русскія историческія женщины“ (допетровской Руси), ист. раз. | 17—„Тульский кречетъ“, ист. п. | 31—„Державная сажа“, быль. |
| 8—„Русскія женщины новаго времени“ (первой половины XVIII вѣка), истор. очер. | 18—„Видѣніе въ публичной библиотекѣ“, истор. повѣсть. | 32—„Любовь сплала“, ист. быль. |
| 9—„Русскія женщины новаго времени“ (второй половины XVIII вѣка), истор. очерки. | 19—„Крымская неволя“, ист. п. | 33—„Жерты вулкана“, истор. ром. |
| 10—„Русскія женщины новаго времени“ (XIX-го в.), ист. оч. | 20—„Говоръ камней“, 14 разск. | 34—„Иродъ“, истор. романъ. |
| | 21—„Тимошъ“, истор. повѣсть. | 35—„Промѣнаго потамство“, ист. ром. |
| | 22—„Русскія полонники въ Турнімъ“, ист. пов. | 36—„Желѣзомъ и кровью“, ист. романъ. |
| | 23—„Фанатикъ“, ист. повѣсть. | |
| | 24—„Кавказскій герой“, ист. быль. | |

Кромѣ этого, годовые подписчики получаютъ ВЕЗПЛАТНО большой романъ того же автора

„ЗНАМЕНІЯ ВРЕМЕНИ“

Въ отдѣльной продажѣ сочиненія эти стоятъ 28 руб.

ПОДПИШОНАЯ ЦѢНА ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ:

На годъ безъ до- ставки въ СПБ.	6 р.	Безъ дост. въ Москвѣ: 1) у Метцль и К°; 2) у В. Алшванга и А. Гер- лаха (противъ Мал. театра)	6 р. 25 к.	Безъ дост. въ Одессѣ въ кон- торѣ Кіевской Г. В. Свисту- нова	6 р. 50 к.	Съ пер- ес. во всѣ го- рода и мѣсти.	7 р.
--	------	---	------------	---	------------	--	------

На 1/2 года съ дост. и перес. 3 р. 50 к., на 3 м.—1 р. 75 к., на 1 м.—60 к. За границу 11 р. Разсрочка допускается по полугодіямъ, четвертымъ года и помѣсячно. Поручительство гг. казначеевъ и управляющихъ не требуется. Подписки въ кредитъ не принимаются. Подписавшіеся съ разсрочкою и уплатившіе не позднее 1-го декабря 1902 года подписную плату сполна, получаютъ премию наравнѣ съ гг. годовыми подписчиками.

Кромѣ всего вышеуказаннаго, гг. подписчики «Съвера» могутъ получить, въ видѣ особаго пріема, полное собраніе сочиненій

Е. П. ГРЕБЕНКИ,

въ 10 томахъ, съ приложеніемъ портрета автора, его автографа и биографіи.

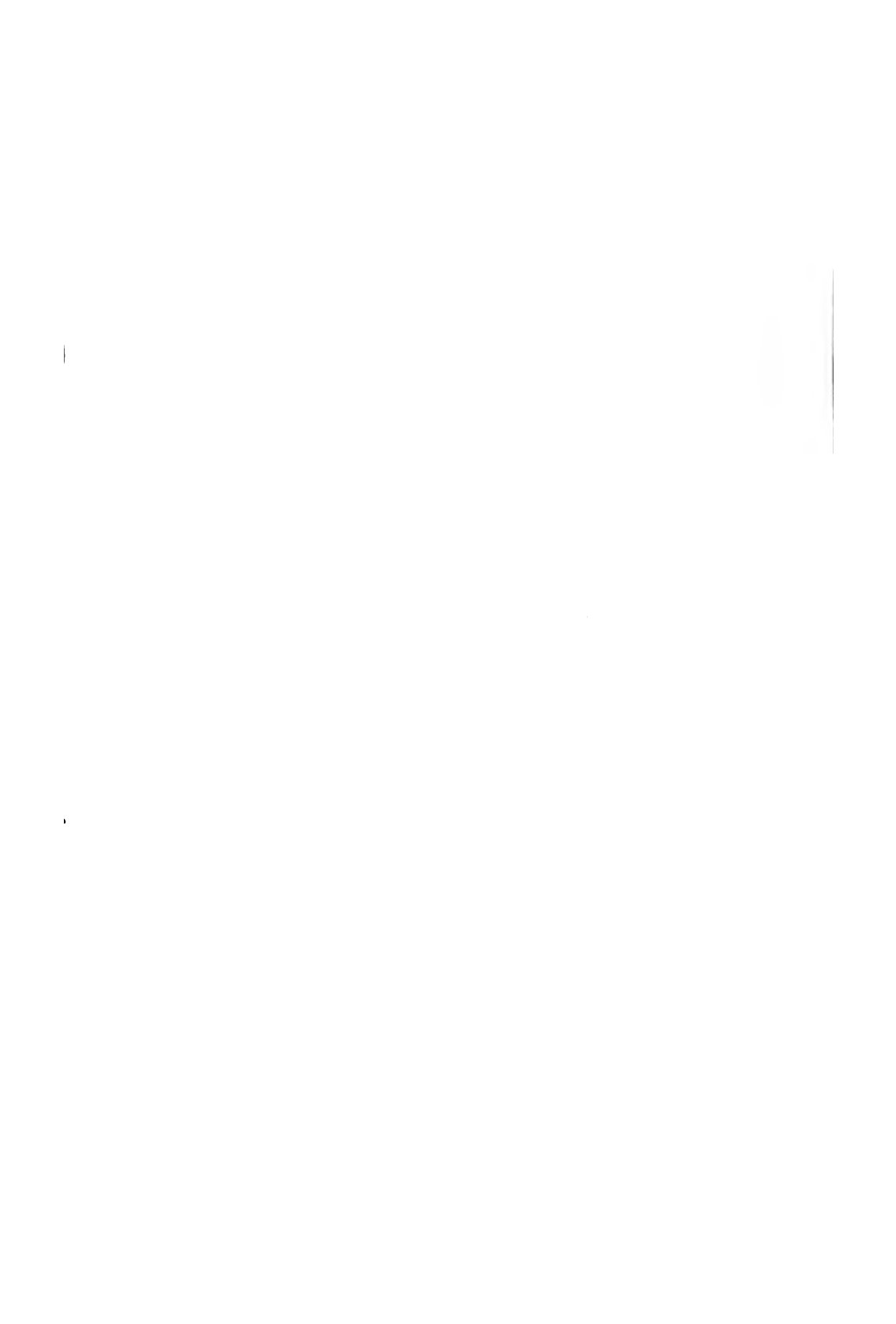
Указывая на Гребенку, безсмертный Бѣлинскій говоритъ: „Въ талантѣ Гребенки большая аналогія съ малороссійскими пѣснями. Онъ дома, когда говоритъ о родинѣ, разсказываетъ о бытѣ и нѣмущихъ племенъ, приводитъ преданія старины о запорожцахъ. Въ романахъ Гребенки много неподдѣльной теплоты. Стародавній бытъ Украины прекрасно отразился въ романѣ „Чайковский“. Авторъ возмущается до паоса очевидца, сочувствуя своему предмету, какъ бы раздѣляя казакскую удачу и принимая горячо къ сердцу страданія южной Руси“. Отзывъ Бѣлинскаго можетъ служить лучшей рекомендаціей и вѣрнымъ указаніемъ на большія литературныя достоинства произведеній Е. П. Гребенки.

Гг. подписчики «Съвера», желающіе приобрести таковыя, доплачиваютъ за всѣ 10 томовъ только: 3 р. безъ перес. и 3 р. 50 к. съ перес. (безъ разсрочки). Для книг. магаз. и потороннихъ лицъ: 4 р. безъ перес. и 6 р. 50 к. съ перес. Съ наложен. платежомъ высылаются по полученіи 10

иски просить адресовать въ Главную контору журнала „Съверъ“ (СПБ., Невскій, 170-й) на имя редактора-издателя Ник. Фед. ЖЕРТЦА.

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings.

2.



1000



DATE DUE			

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004

